



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slaw 176.25

Bd June, 1890.

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1888).

Received *28 Jan. - 28 Feb.,*
1890.

КНИГА 1-я. — ЯНУАРЬ, 1890.

Стр.

I.—РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ, 15-го декабря 1889 г.	3
II.—ИСПОЛНИТЬ ТѢНЬ и сгласать въ исторической наукѣ.—I-XI.—В. И. Герье.	5
III.—СТИХОТВОРЕНИЯ. — I. СРЕДНЕВѢКОВАЯ ЛЕГЕНДА. — II. НЕБО И МОРЕ. — III. У МОРЕЯ.—IV. Молитва.—V. Пылая вилла.—Д. Мерсиковскаго	66
IV.—Н. В. ГОГОЛЬ и А. С. ДАНИЛЕВСКИЙ.—I-VIII.—В. И. Шенрокъ	71
V.—НА УЩЕРБѢ.—Романъ.—Часть первая: I-XI.—Н. Д. Боборыкина.	119
VI.—ГРИБОДОВЪ.—Историческія замѣтки.—А. И. Пышина	185
VII.—ПѢСНИ ОБЪ УЕДИНЕНИИ.—Стих. А. М. Жемчужникова	225
VIII.—НАКАНУНѢ ПЕРЕВОРОТА ВЪ 60-хъ ГОДАХЪ.—Романъ Маріонъ Крофорда. Часть первая.—I-V.—Съ англ. А. Э.	227
IX.—СТИХОТВОРЕНИЯ.—I. Изъ Гейне.—II. На мотивъ вальса: Невозвратное время. —Влад. Мартова.	280
X.—ИНТИМНАЯ ЛИТЕРАТУРА.—Journal des Goncourts.—I-III.—Евг. Утина.	282
XI.—МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ БІОГРАФІИ М. Е. САЛТЫКОВА. — I. — 1826-1836 гг. К. К. Арсеньева	313
XII.—ПОЭТЪ ЛЮБЛОСТИНЪ. Огрывокъ.—Александра Градовскаго.	352
XIII.—ХРОНИКА. — ОТЧЕТЪ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО РОСПИСИ НА 1888 г. — 0.	360
XIV.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Главныя итоги истекшаго года	369
XV.—ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ ЗЕМСКАГО ОБЛОЖЕНІЯ.—Письмо въ редакцію.—Кн. Н. С. Волконскаго.	375
XVI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Политическіе итоги 1889-го года.—Нѣкоторые характерные факты.—Положеніе дѣлъ во Франціи.—Особенности новѣйшаго булакизма.—Внутренніе и внѣшніе вопросы въ Германіи.—Африканскія экспедиціи.—Австрійскія и балканскія дѣла	403
XVII.—ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ ВО ФРАНЦІИ.—Письмо изъ Парижа.—М.	421
XVIII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Полное собраніе сочиненій А. С. Грибоедова, подъ ред. И. А. Шапкина, т. I и II. — Сочиненія А. Скабичевскаго, въ 2-хъ томахъ.—Книга Калита и Димна, перев. съ арабскаго М. О. Аттая и М. В. Рябинина.—А. И.—Киргизы и Каракиргизы Сырь-Дарьинской области, Н. И. Гродекова.—Киргизы Букеевской орды, А. Харузина.—А. В.—Новыя книжки и брошюры.	428
XIX.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—Histoire des institutions politi- ques de l'ancienne France, par Fustel de Coulanges. — Remarques sur l'ex- position de centenaire, par le v-te E. M. Vogué.—Der Boulanger-Schwindel und die Patrioten-Liga, von Bosse	441
XX.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—С. И. Боткинъ, е. Э. Эйхвальдъ и А. И. Доброславинъ ф.—Сессія губернскихъ земскихъ собраній. — Ходатайство орловскаго дворянства.—Газетный походъ противъ присяжной адвокатуры.— „Юридическій Вѣстникъ“ и драмы изъ отечественной исторіи передъ су- домъ печати.	447
XXI.—БІОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ. — II. Карлъкъ, Сущность историческаго про- цесса и роль личности въ исторіи. Вилуекъ I.—Новѣйшіе успѣхи знанія, популярные очерки Я. В. Абрамова.—Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1036—1736). Е. Лихачевой.—Сказка про чаленскую рыбу и про великаго человека, В. Карелова.—Дѣятельность земства по устройству ссудо-сберегательныхъ товариществъ, П. А. Седоловскаго.	

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XXXII стр.

Подписка на годъ, полугодіе и четверть года въ 1890 г.
(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки.)

ВѢСТНИКЪ

Е В Р О П Ы

ДВАДЦАТЬ-ПЯТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ I.

ГОДЪ LIV. — ТОМЪ ССОХУ. — 1/4: ЯНВАРЯ, 1890.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

524-32
2

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-СОРОКЪ-ПЕРВЫЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЬ-ПЯТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ I

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:	Экспедиція журнала:
на Васильевскомъ Острове, 2-я линія,	на Вас. Остр., Академич. переулокъ
№ 7.	№ 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1890

P Slaw 176.25

~~131.84~~

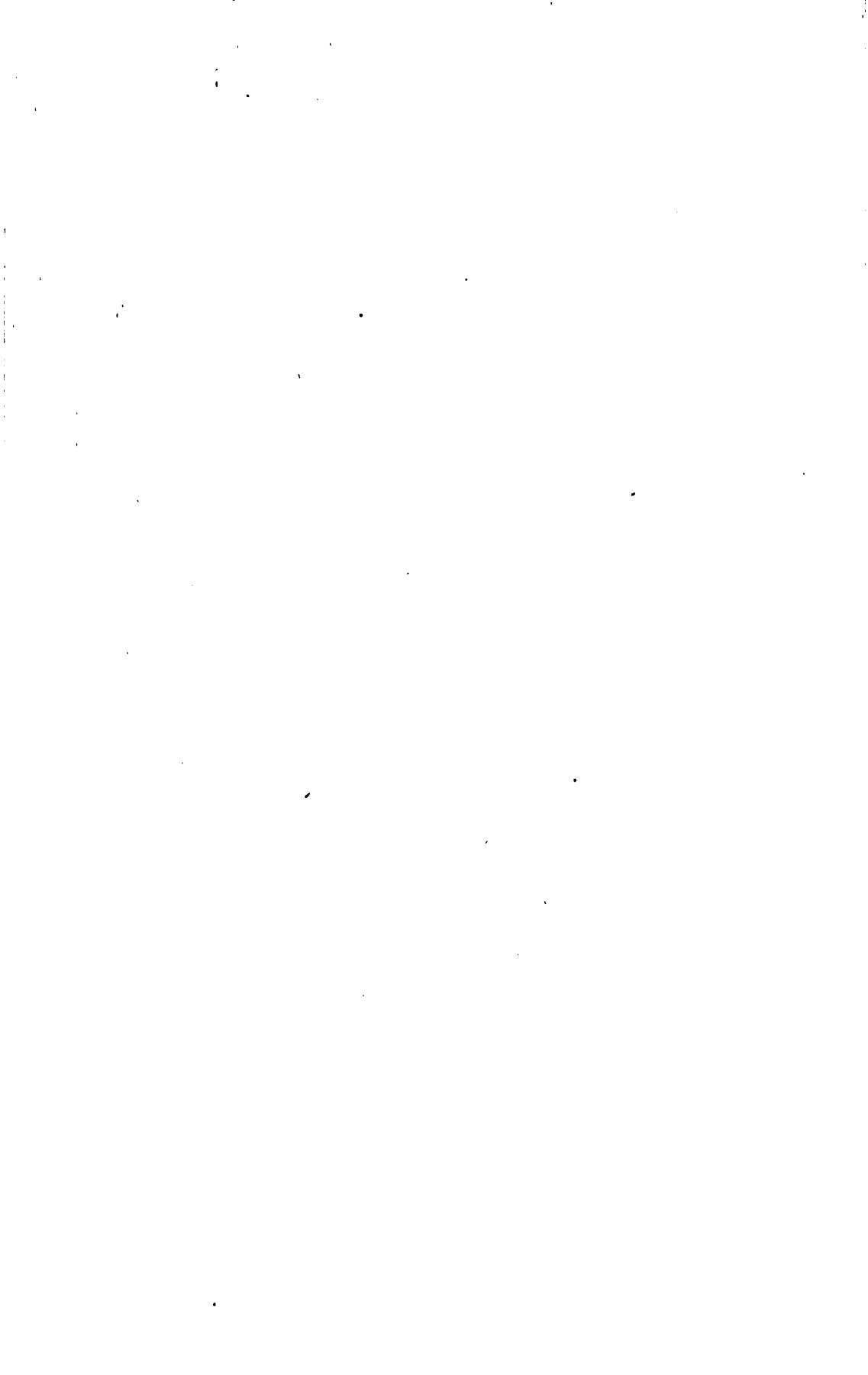
~~Star 30.2~~

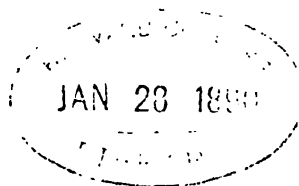
пораженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ

15-го декабря 1889 года.

Въ соображеніе, что журналъ „Вѣстникъ Европы“ рядъ статей относится не иначе какъ съ осужде-
важнѣйшимъ мѣропріятіямъ Правительства, а статьи
ва: „Очерки изъ исторіи русскаго сознанія“, появив-
траницахъ этого изданія, раздражительною критикою,
ою противъ русской Церкви и Государства въ исто-
ихъ развитіи, внушаютъ ложныя о нихъ представленія
въ уваженіе къ основамъ ихъ и вообще къ принципу
ціональности, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на осно-
44 Уст. Ценз. Св. Зак. т. XIV (изд. 1886 г.) и со-
поченію Совѣта Главнаго Управленія по дѣламъ пе-
миз: объявить этому журналу *первое* предостереженіе,
ателя-редактора, дѣйствительнаго статскаго совѣтника
тасюлевича.







ИПОЛИТЪ ТЭНЬ

и

ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКѢ.

I.

Задолго еще до появленія въ свѣтъ сочиненія: „О происхожденіи современной Франціи“, доставившаго ея автору мѣсто среди самыхъ талантливыхъ и вліятельныхъ историковъ нашего вѣка, литературная дѣятельность Тэна представляла высокій интересъ и серьезное значеніе для историковъ. Литературная и художественная критика Тэна имѣла такое близкое и непосредственное отношеніе къ исторіи, что и самый методъ изслѣдованія этой критики, и результаты, добытые этимъ путемъ, не могли остаться безъ вліянія на родственную литературѣ область исторіи.

Но такимъ косвеннымъ вліяніемъ не ограничивалось значеніе Тэна въ дѣлѣ исторической науки. Вѣрный общему направленію своего ума и всей своей ученой дѣятельности, Тэнь пытался самую исторію поставить на научную почву, выработать для нея общую теорію и придать ей такую же точность и систематичность изслѣдованія и такую же безошибочность результатовъ, какими обладаютъ науки естественно-историческія и математическія. Тэнь пытался исполнить эту задачу двумя способами: онъ старался проникнуть двумя путями къ разрѣшенію своей проблемы: главный изъ этихъ путей пролегалъ по области психологіи, которая должна была, съ одной стороны, сдѣлаться посредницей между исторіей и естественными науками—біологіей и фізіологіей,—а съ

другой—служить опорой для самыхъ смѣлыхъ комбинацій о свойствахъ историческаго процесса и о законахъ, обуславливающихъ его развитіе; для другого пути, болѣе скромнаго, исходной точкою служила научная обработка историческихъ фактовъ; этотъ путь имѣлъ ближайшее отношеніе къ исторіографіи, но отсюда и онъ также велъ къ области историческихъ *законовъ*, чтобы установить понятіе объ исторіи какъ о *наукѣ*.

Согласно съ такими, сдѣланными нами, указаніями, мы сначала разсмотримъ, какія точки соприкосновенія съ исторіей представляетъ теорія Тэна о критикѣ литературныхъ и художественныхъ произведеній, и какіе результаты можно извлечь изъ нея для исторіи, а затѣмъ обратимся къ теоріи самого Тэна объ исторической наукѣ въ двухъ ея развѣтвленіяхъ.

Критическая теорія Тэна сводится, главнымъ образомъ, къ тому, что въ основаніи литературной и художественной критики полагается *генетическій* методъ изслѣдованія. Въмѣсто того, чтобы хвалить или осуждать извѣстное произведеніе, критикъ долженъ прежде всего дать себѣ отчетъ о *происхожденіи* анализируемаго имъ предмета; онъ долженъ показать, *какъ* и вслѣдствіе какихъ вліяній оно возникло, и *почему* оно обладаетъ тѣми или другими свойствами или особенностями. Критикъ, напр., замѣчаетъ, что въ драмахъ Расина героини слишкомъ краснорѣчиво и умно разсуждаютъ о скорби, причиняемой имъ любовью; но вмѣсто того, чтобы защищать или порицать за это Беренику у Расина, критикъ вспомнилъ о доннѣ Аниѣ въ извѣстной оперѣ Россини: „было бы странно,—говоритъ Тэнъ,—требовать, чтобы донна Анна высказывала свое чувство не въ мелодической аріи; не менѣе странно было бы требовать, чтобы Береника выражала свои сѣтованія въ иной, менѣе краснорѣчивой, формѣ; одна облекаетъ свою скорбь въ музыкальные звуки, какъ другая облекаетъ ихъ въ логически связанныя разсужденія, и въ обоихъ случаяхъ мы ничего не достигли бы замѣчаніемъ, что страсть не прибѣгаетъ для своего проявленія ни къ ораторскимъ періодамъ, ни къ музыкальнымъ аріямъ. Гораздо *интереснѣе* изслѣдовать, почему въ извѣстномъ вѣкѣ или у извѣстнаго народа искреннее чувство украшаетъ себя и изливается въ условныхъ музыкальныхъ формахъ, а въ другомъ случаѣ—въ условныхъ ораторскихъ формахъ; гораздо интереснѣе изслѣдовать, какимъ образомъ поэтическая или музыкальная драма возникаетъ и заимствуетъ свою форму и свою силу изъ какой-нибудь господствующей въ данномъ обществѣ привычки или изъ какого-нибудь національнаго таланта“. Такимъ образомъ, методъ изслѣдованія, прилагаемый Тэномъ въ эстетиче-

ской и художественной критикѣ, есть не что иное, какъ *историческій* методъ изслѣдованія; критическая теорія Тэна знаменуетъ собою необъятное *расширеніе* предѣловъ исторіи; ея власти подчиняются области, до того отъ нея совершенно независимыя; благодаря этой теоріи, на почвѣ литературы и искусства возникаютъ тысячи и тысячи новыхъ вопросовъ *историческаго* содержания и характера, и въ какомъ бы числѣ и съ какою бы успѣхомъ они ни разрѣшались, каждое изъ такихъ разрѣшеній ведетъ къ обогащенію исторической науки. Подобное же обогащеніе исторіи представляетъ собою еще другая сторона критической теоріи Тэна. Критикъ потому можетъ ставить себѣ задачею объясненіе историческаго происхожденія литературныхъ памятниковъ, что эти памятники отражаютъ на себѣ чувства и страсти создавшей ихъ эпохи. Вслѣдствіе этого можно, съ помощью литературнаго памятника „воскресить угасшія чувства и страсти“. Благодаря этой формулѣ, цѣлая масса литературныхъ памятниковъ, на которые историки не обращали вниманія, такъ какъ не находили въ нихъ историческихъ фактовъ, становится самымъ цѣннымъ историческимъ матеріаломъ, и такой матеріалъ тѣмъ болѣе цѣненъ, что иногда относится къ эпохамъ особенно бѣднымъ историческими источниками. Пояснимъ это замѣчаніе ссылкой на замѣтку Тэна о Рено де Монтабанѣ, представляющей особенно блестящій образецъ критической статьи, плодотворной для исторіи. Предметомъ этой статьи послужила эпическая поэма, относящаяся къ циклу Карла Великаго и въ первый разъ изданная по рукописямъ въ 50-хъ годахъ. Для историковъ эта поэма, повидимому, не могла имѣть никакого значенія, такъ какъ была дѣломъ *трувера*, т.-е. поэта, *изобрѣтающаго* разсказъ о битвахъ и геройскихъ подвигахъ. Между тѣмъ эпоха, въ которую она возникала, весьма нуждалась въ историческомъ матеріалѣ. Лѣтописи этой грубой эпохи до крайности сухи; онѣ отрывочно упоминаютъ объ отдѣльныхъ событіяхъ, объ убійствахъ, потопахъ, неурожаяхъ. „Мысль тогдашнихъ людей,—говоритъ Тэнь,—была слишкомъ тяжеловѣсна, чтобы разглядѣть условія историческаго событія, мелкіе подготовлявшіе его факты, проявленія чувства и воли; ихъ разсказы подобно людскимъ фигурамъ, начертаннымъ карандашомъ ребенка,—неуклюжимъ, съжуженнымъ, похожимъ другъ на друга, неспособнымъ дать намъ понятіе объ отгѣнкахъ въ движеніяхъ и характерахъ. Но старинный труверъ, принужденный своею задачею входить въ подробности и сообщать разговоръ людей, описываетъ то, что предшествовало событію, изображаетъ перемѣны въ душевномъ настроеніи, однимъ словомъ, все, что

исчезало отъ вниманія лѣтописца, — и часто двухъ-трехъ такихъ мелкихъ фактовъ достаточно, чтобы объяснить всю культуру извѣстной эпохи. Они обрисовываютъ *особое*, свойственное той эпохѣ, состояніе человеческой души, — состояніе, которое, слѣдовательно, въ то время было общимъ для всѣхъ и потому было присуще всѣмъ дѣйствіямъ людей того времени“.

Къ этимъ словамъ Тэна слѣдуетъ, однако, прибавить, что какъ ни признавать вмѣстѣ съ нимъ заслуги трувера, умѣвшаго передать намъ образъ мысли и чувства своихъ современниковъ, нужно было еще сѣмѣть прочесть этого трувера и нужно было обладать отрывочнымъ воображеніемъ историка-художника, чтобы сдѣлать изъ однообразной эпопеи — живой источникъ историческихъ соображеній. А это уже заслуга Тэна; ему было достаточно „двухъ-трехъ мелкихъ фактовъ“, чтобы угадать по нимъ и возстановить цѣлую картину минувшейкульт турной эпохи.

Вотъ, напр., сцена прибытія пословъ Карла Великаго къ его невѣрному вассалу, герцогу Бовону. Послы передаютъ герцогу требованіе императора явиться къ его двору подѣ страхомъ смертной казни. Бовонъ при этихъ словахъ вскакиваетъ, кричитъ своей дружинѣ: „схватите этихъ пословъ и отрубите имъ головы!“ бросается самъ на нихъ и разсѣкаетъ Ангфрану голову до самой челюсти. Таковъ фактъ, переданный труверомъ съ большою обстоятельностью, но почти съ сухою, дѣловитою сухостью лѣтописца. Но Тэнь *угадалъ* порывъ дикой страсти, обузавшей Бовона: „суровый воинъ, оскорбленный угрозою, сдѣланной ему въ его собственномъ замкѣ, передъ его вассалами, чувствуетъ, какъ у него наливаются жилы, закипаетъ кровь, напрягаются мускулы, и онъ бросается на посла, какъ разъяренный быкъ. Все исчезаетъ передъ нимъ подѣ наплывомъ непреодолимой ярости“ — всѣ соображенія о неприкосновенности пословъ, о человѣчности, о его собственномъ интересѣ. И эта картина страсти, возстановленной воображеніемъ художника, служить историку основой для его наблюденій и соображеній объ эпохѣ.

„Они слишкомъ сильны физически, эти люди, — говоритъ Тэнь, — слишкомъ скоро готовы давать волю рукамъ, слишкомъ глубоко еще погружены въ животную жизнь, слишкомъ подвержены внезапнымъ схваткамъ воображенія или темперамента. Они провели свою жизнь на охотѣ и въ рукопашномъ бою, питаются тяжелымъ мясомъ и дичью, привычны къ крови и къ ударамъ, слишкомъ еще близки, по состоянію своихъ мускуловъ и по своимъ инстинктамъ, къ хищнымъ звѣрямъ. Голова ихъ свободна отъ безчисленныхъ предписаній, благоразумныхъ расчетовъ, стройныхъ

идей, которыми воспитаніе, бесѣда съ другими и чтеніе наполняютъ нашу голову. Они не разсуждаютъ, не сдерживаются, они чувствуютъ, отдаются страсти, бросаются впередъ, бранью оскорбляютъ противника и затѣмъ наносятъ ударъ. Еще нѣсколько аналогическихъ сценъ изъ эпопей трувера, рисующихъ внезапность и дикость порывовъ, и у читателя складывается совершенно ясное представленіе о психическомъ состояніи людей феодальной эпохи".

Но почему мы эту эпоху называемъ феодальной? какъ вообще могла при такомъ состояніи людей образоваться и существовать какая-нибудь общественная связь и организація? Нѣсколько новыхъ эпизодовъ изъ трувера объясняютъ дѣло. Обратите вниманіе на глубокое, искреннее раскаяніе Рено де Монтабана, когда онъ, не узнавъ въ стыкѣ своего сеньора, императора Карла, нанесъ ему ударъ; на его готовность, въ искупленіе своего проступка, отдать императору, который его преслѣдуетъ, свой вѣрный замокъ, своего боевого коня, которому равнаго нѣтъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, отдать все свое имущество, повинуть Францію на всю жизнь и отправиться пѣшкомъ и босикомъ въ святую землю. Однажды Рено де Монтабану даже удастся взять въ плѣнъ императора, и онъ, отпуская на свободу плѣнника, возобновляетъ свои мольбы принять его снова на службу и свои увѣренія въ преданности императору; на одно только онъ не согласенъ, и именно за это онъ подвергается всѣмъ невгодамъ и преслѣдованіямъ со стороны Карла—онъ не хочетъ ему выдать своего родственника и союзника Можиса. Вѣрность сюзерену сталкивается съ вѣрностью и чувствомъ чести по отношенію къ товарищу по оружію—*побратиму*. Въ этомъ антагонизмѣ между преданностью сюзерену, основанной на обѣщаніи вѣрной службы, и другими привязанностями и обязательствами въ жизни, заключается весь драматическій интересъ эпопей; и Аймонъ также, какъ и сынъ его Рено, чтобы сохранить вѣрность Карлу Великому, преслѣдуетъ своихъ четырехъ сыновей и съ слезами на глазахъ обнажаетъ мечъ противъ нихъ. Этотъ драматическій интересъ и дѣлаетъ эпопеи столь поучительнымъ для феодальной эпохи памятникомъ. Исторія можетъ объяснить организацію феодальной системы, такъ сказать, скелетъ феодализма, но жизнь этого историческаго учрежденія становится понятной лишь съ помощью того чувства, которое взаимно связывало вассала и сюзерена. Эпопеи труверовъ и даютъ намъ изображеніе этого чувства, и объясняютъ его возникновеніе. Въ эпоху, когда рушилось государство, когда вездѣ торжествовало право сильнаго, когда страна подвергалась со всѣхъ сторонъ нападеніямъ дикихъ пришельцевъ

и разбойниковъ, жизнь становилась возможною лишь при условіи добровольнаго соглашенія и подчиненія другъ другу вольныхъ людей и при условіи вѣрности взятому на себя обязательству. Эта вѣрность, столь необходимая для самосохраненія общества, и стала высшею добродѣтелью, нравственнымъ идеаломъ. На этой вѣрности основано феодальное общество.

Вотъ это чувство и на ряду съ нимъ дикая необузданность страстей, подмѣченная Тэнномъ, служатъ ему для объясненія эпохи. „При сеньорѣ состоитъ его вассалъ, который питается его хлѣбомъ, служитъ ему за столомъ, наливаетъ ему вино, ходитъ за его конемъ. Но сеньоръ, также какъ и его вассалъ, по воспитанію и по инстинктамъ стоитъ на уровнѣ простолюдина. Карлъ Великій въ эпопеѣ ударилъ своего плѣнника Ришара, они схватились за шиворотъ и оба повалились на землю“.

„Эти двѣ черты,—заключаетъ Тэнъ свою замѣтку объ эпопеѣ,—открывая при этомъ перспективу, охватывающую весь феодальный періодъ, резюмируютъ всѣ чувства средневѣковой эпохи. Люди этого времени—солдаты и по склонности дѣйствовать кулакомъ, и по способности къ высокимъ подвигамъ,—по неразвитой грубости своей и по честной преданности тѣломъ и душою. Когда въ X вѣкѣ общество вольныхъ людей берется за оружіе и начинаетъ жить съ оружіемъ въ рукахъ, возникаетъ средневѣковье; въ XV вѣкѣ, когда это общество складываетъ оружіе и передаетъ его организованной, постоянной арміи, средневѣковье прекращается“.

II.

Приведенная нами статья Тэна о Рено де Монтанбанѣ показываетъ, какую пользу можно извлечь для исторіи изъ мало извѣстнаго и мало интереснаго памятника литературы, если разсматривать его какъ памятникъ „угасшихъ чувствъ и страстей“.

Но эта формула Тэна представляетъ собою только видоизмѣненіе другой, болѣе обширной формулы его, которая лежитъ въ основаніи его метода—объяснять происхожденіе литературныхъ и художественныхъ памятниковъ. Мы видѣли, что этотъ методъ развѣтвляется на два направленія, смотря потому, будетъ ли изслѣдователь искать объясненіе памятника въ состояніи духа и свойствахъ создавшаго художника, или же въ общемъ состояніи эпохи и въ духѣ вѣка, къ которымъ относится памятникъ. Второй способъ имѣетъ болѣе близкое отношеніе къ исторіи и потому объ-

щаетъ ей болѣе непосредственные и богатые результаты. При примѣненіи этого способа къ изученію памятниковъ, каждый шагъ, который сдѣлаетъ изслѣдователь, каждое изъ его наблюденій будетъ вкладомъ въ историческую науку. Какъ скоро изслѣдователь будетъ видѣть въ памятникѣ продуктъ или хотя бы отраженіе національнаго духа современнаго общества или *среды* и историческаго момента, каждая черта, подмѣченная изслѣдователемъ въ памятникѣ, обратится въ историческій фактъ, въ матеріалъ, драгоцѣнный для историка.

Въ подтвержденіе и объясненіе этого можно было бы привести много примѣровъ изъ сочиненій Тэна, самый убѣдительный изъ которыхъ представляетъ собою статья о Расинѣ. Этотъ примѣръ особенно тѣмъ интересенъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ памятникомъ, который когда-то цѣнился очень высоко въ художественномъ отношеніи, а за тѣмъ сталъ подвергаться даже во Франціи строгому осужденію опять-таки съ эстетической точки зрѣнія. Благодаря методу, примѣненному Тэномъ, т.-е. историческому объясненію литературныхъ памятниковъ, драмы Расина воскресаютъ къ новой жизни; все, что онѣ утратили въ художественномъ отношеніи въ нашихъ глазахъ, онѣ вновь приобрѣтаютъ какъ историческій памятникъ; вся заключавшаяся въ нихъ эстетическая *ложь* превращается въ историческую *правду*. Мы думаемъ, что читатель не расчаетъ, если сдѣлаетъ опытъ прочесть какую-нибудь драму Расина, а затѣмъ снова перечесть ее, познакоившись съ статьей Тэна. Тѣмъ читателямъ, которыхъ не подкупаетъ при первомъ чтеніи изящество языка и стиха, драмы Расина покажутся безжизненными и скучными, а герои и героини его драмъ неестественными. Если же читатель перечтетъ тѣ же драмы съ намѣреніемъ при помощи ихъ познакомиться ближе съ исторіей XVII-го вѣка, и герои драмы, и почти каждое слово ихъ, приобрѣтутъ въ его глазахъ величайшій интересъ.

Все дѣло въ формулѣ, изъ которой исходитъ Тэнь: „Расина осуждали за то, что онъ подъ античными именами изображалъ придворныхъ Людовика XIV; но въ этомъ именно и заключается его заслуга—всякій театръ воспроизводитъ нравы современниковъ“. Оставимъ въ сторонѣ вопросъ, считать ли это заслугою Расина; но нельзя не признать за Тэномъ заслугу, что онъ сумѣлъ подъ именами Расиновскихъ героевъ и героинь весьма живо воспроизвести предъ нами придворныхъ Людовика XIV, съ ихъ міровоззрѣніемъ, съ ихъ культурой, съ ихъ чувствами и интересами, со всей ихъ обстановкой. Нѣтъ лучшаго средства характеризовать аристократическую монархію при Людовикѣ XIV, французскій

ancien régime въ эпоху его высшаго и дѣйствительнаго процвѣтанія, какъ сгруппировать тѣ данныя, которыя извлекъ Тэнъ въ бѣглому очеркѣ о Расиновскомъ театрѣ. Въ этой статьѣ предъ нами проходятъ длиною вереницей нарядные и изящные образы, которые нѣкогда оживляли роскошно убранныя залы Версальскаго замка и искусственныя аллеи лежащаго предъ нимъ парка.

Въ драмахъ Расина, если не въ художественномъ отношеніи, то по историческому значенію, прежде всего привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе—роль государя. Всѣ государи Расина—и Агамемнонъ, и Митридатъ, и Неронъ, и Ассуръ—играютъ одну роль, представляютъ собою одно лицо Людовика XIV. По многочисленнымъ мемуарамъ и другимъ источникамъ XVII-го вѣка можно составить себѣ очень ясное понятіе объ этомъ лицѣ, которое знаменуетъ собою въ высшей степени замѣчательный историческій типъ, типъ обоготворяемаго дворомъ монарха. Безчисленные факты, разбросанные у Сен-Симона, у Данжо, у m-me де-Севинь, у Бюсси-Рабютена, и пр., сводятся къ одному образу, которому Ла-Брюеръ далъ такое пластическое выраженіе словами: „это обратить вниманіе на то, въ какой степени взоръ монарха составляетъ блаженство придворнаго; какъ онъ хлопочетъ и посвящаетъ всю жизнь тому, чтобы его видѣть и быть у него на виду,—тотъ до нѣкоторой степени пойметъ, какимъ образомъ лице-зрѣніе Господа составляетъ всю славу и все блаженство святыхъ“. Драмъ Расина воспроизводятъ предъ нами этотъ типъ государя въ художественномъ отвлеченіи со всею его обстановкою, во всемъ ореолѣ соотвѣтствующаго ему образа мыслей и чувствъ; и роли Расиновскихъ государей интересны тѣмъ, что заставляютъ говорить и дѣйствовать предъ читателемъ типическаго государя XVII-го вѣка. Двѣ черты особенно ярко выступаютъ въ этой царской роли. Во-первыхъ, то, что эта роль именно—парадная роль, которую приходилось играть безъ перерыва и безъ отдыха, днемъ и ночью. „Король въ XVII вѣкѣ долженъ былъ быть королемъ во всѣ моменты своей жизни,—за столомъ, въ постели, передъ своими лакеями, равно какъ и передъ своими приближенными; даже играя на бильярдѣ, онъ долженъ былъ сохранять видъ влстителя міра“. Надо вспомнить, что Людовикъ XIV проводилъ всю жизнь въ публикѣ, обѣдалъ, вставалъ съ постели, раздѣвался и гулялъ въ присутствіи всего своего двора... „Вслѣдствіе этого онъ былъ постоянно принужденъ маскировать свою мысль, всегда казаться спокойнымъ, взвѣшивать слова, размѣрять разстоянія, и все это подъ взглядомъ двухъ сотъ пронизательныхъ и напряженныхъ глазъ“.

„Сдерживать себя“ и постоянно помнить свой царскій санъ было первымъ слѣдствіемъ такого образа жизни и такого общественнаго воспитанія. Вотъ это-то величественное спокойствіе отражаютъ на себѣ цари Расина: „они всегда говорятъ благороднымъ и изящѣйшимъ языкомъ; въ минуты самой сильной страсти они владѣютъ собою, потому что уважаютъ себя, отъ нихъ не слышно брани, они возвышаютъ голосъ только на половину“. Оттого Неронъ и Агрипина Тацита такъ неузнаваемы у Расина.

Но это величественное спокойствіе происходитъ еще изъ другой причины—изъ яснаго сознанія своего права, которое еще не помутилось ни малѣйшимъ посягательствомъ на него. „Ни общественный договоръ Руссо, ни взятіе Бастиліи не пошатнули еще этой увѣренности; напротивъ, юристы и богословы наперерывъ, теоретически и догматически выводятъ это право изъ божественнаго источника и доводятъ его до самыхъ крайнихъ практическихъ послѣдствій, а „повиновеніе народа, поклоненіе придворныхъ и уваженіе Европы подтверждаютъ теорію и еще болѣе увеличиваютъ довѣріе къ ней.“

Государи Расина носятъ на себѣ отпечатокъ этой спокойной самоувѣренности. Въ нихъ отражается Людовикъ XIV, „этотъ монархъ, столь увѣренный въ общемъ повиновеніи, столь спокойный въ приказаніяхъ, съ его величественной снисходительностью къ подчиненнымъ, съ его холоднымъ высокоуміемъ при малѣйшемъ сопротивленіи, и столь различный отъ другихъ людей, что едва самъ не считалъ себя божествомъ“.

Мы поставили на первый планъ въ драмахъ Расина роль государя, вслѣдствіе первостепенной важности, которую имѣла монархическая идея для культуры XVII-го вѣка. Правы, сложившіеся подъ вліяніемъ этой идеи, какъ справедливо замѣчаетъ Тэнъ, „преобразили всего человѣка самого, такъ и самое общество, театръ, какъ и самую природу, добродѣтели столько же, сколько и пороки, монарха, какъ и его подданныхъ“. Но драмы Расина воспроизводятъ предъ нами, кромѣ того, и другіе характерные типы французскаго общества въ XVII вѣкѣ. На ряду съ монархомъ въ нихъ выступаетъ предъ нами аристократическій прелатъ, „другой государь, знатной породы, высокоумный и съ великимъ достоинствомъ, опирающійся на свое право такъ же горделиво, какъ и первый, властитель духовнаго міра, какъ тотъ властитель на землѣ“. Мы видимъ предъ собою *кавалера*, „всегда любезнаго, всегда готоваго говорить, льстить, улыбаться, опуститься на колѣни, благодарить, всегда готоваго служить и умереть“. Среди всѣхъ этихъ эпитетовъ Тэна недостаетъ, однако, въ на-

шемъ переводѣ самаго главнаго, безъ котораго типъ *кавалера* полонъ и блѣденъ,—эпитета, котораго мы не могли бы передать, такъ какъ русскій языкъ, несмотря на долготѣнее вліяніе французской культуры на русское общество, не усвоилъ себѣ французскихъ словъ: *galant* и *galanterie*, хотя принялъ соответствующее этому понятію обозначеніе женскаго свойства. Впрочемъ это понятіе *кокетства* имѣетъ мало отношенія въ драмахъ Расина. Воспроизводя въ своихъ драмахъ современное общество, Расинъ удѣлилъ женщинамъ лучшее мѣсто; онъ выставлялъ на видъ только серьезную сторону въ ихъ жизни и искренность въ ихъ чувствахъ, онъ изобразилъ эти чувства со всею тонкостью и изяществомъ, которыя выработались среди самаго аристократическаго изъ европейскихъ обществъ.

Различіе между эстетическимъ и чисто историческимъ интересомъ ни въ чемъ однако не обнаруживается такъ наглядно, какъ въ роли *наперсниковъ* (*confidants*) въ драмахъ Расина. Представители этой роли всѣ до крайности безсодержательны и ничтожны, но самая безличность ихъ составляетъ характеристическій моментъ въ исторіи XVII-го вѣка. Заслуга наперсника, хотя бы онъ былъ самаго знатнаго происхожденія, не въ томъ, чтобы быть *лицомъ*, съ индивидуальнымъ характеромъ, а простымъ отголоскомъ; тѣмъ „умнѣе наперсникъ, тѣмъ болѣе онъ ступаетъ, ибо при дворѣ только одна мысль достойна вниманія—мысль государя“. „Поэтому незачѣмъ обращать вниманіе на то, добры ли наперсники или злы, глупы или умны, есть ли у нихъ своя религія, семья и характеръ; всѣ эти черты исчезли подъ уровнемъ обычаевъ, которые они соблюдаютъ, и службы, которую они исполняютъ“. Наперсники имѣютъ впрочемъ въ драмѣ XVII-го вѣка еще другое назначеніе. Роль наперсника—единственная роль, которая даетъ доступъ *плебею* къ аристократическому двору. Наперсникъ—единственный представитель *народа* на придворномъ театрѣ и выразитель той роли, которая отводилась народу на сценѣ тогдашняго міра.

Драмы Расина интересны впрочемъ для историка не только тѣмъ, что воспроизводятъ такъ наглядно въ лицахъ и типахъ политическій строй и социальный бытъ золотого вѣка *старая порядки*; съ точки зрѣнія позднѣйшихъ политическихъ теорій, можно сколько угодно критиковать этотъ порядокъ: въ исторіи цивилизаціи онъ имѣетъ свою прелесть, какъ и эпоха „ренессанса“, благодаря той культурѣ ума и чувства, которая расцвѣла на почвѣ этого порядка. Благоуханіе этой культуры, которое поэту легче

уловить, чѣмъ историкъ, — драмы Расина и воспроизводить предъ нами въ изящныхъ и благородныхъ образахъ.

Дворъ Людовика XIV, центръ и регуляторъ аристократическаго общества Франціи, имѣетъ одну великую заслугу, которая далеко выходитъ за предѣлы его вѣка и его народа. „Дворъ Людовика XIV, — говоритъ Тэнь, — по моему мнѣнію, представляетъ собою мѣсто, гдѣ люди дошли всего дальше въ искусствѣ общежитія: это искусство было выражено ими въ правилахъ и возведено въ теорію; оно было предметомъ ихъ размышлений, темою для разговоровъ, цѣлью воспитанія, мѣриломъ достоинства челоуѣка, содержаніемъ жизни; люди посвящали ему все свое время, весь свой умъ и всѣ свои занятія“. Историческая заслуга придворной жизни Людовика XIV и заключается въ томъ, что она представляла самыя благопріятныя условія для развитія искусства жить въ обществѣ. Мы не станемъ здѣсь обсуждать извѣстные всѣмъ недостатки салонной жизни; она представляетъ одно великое преимущество — она *культивируетъ* челоуѣка. Она *культивируетъ* его потому, что приучаетъ его смотрѣть за собою и быть внимательнымъ къ другимъ; „въ гостиной говорятъ тихо, громкіе возгласы въ ней не допускаются и не допускаются слишкомъ рѣзкія дѣйствія. Челоуѣку необходимо здѣсь сдерживаться и владѣть собою, ему необходимо умѣрять свои тѣлодвиженія и смягчать выраженія. Всякій избѣгаетъ быть непріятнымъ, и почти всѣ стараются нравиться. Взаимная и изысканная вѣжливость устраняетъ столкновенія и опасности дѣйствительной жизни, подобно тому, какъ ковры и лампы гостиной смягчаютъ суровость и неровность климата и природы“. Воспитаніе въ гостиной — если брать во вниманіе не пустыя формы, а духовное вліяніе — является, такимъ образомъ, конечно, первою школою общественности.

Гостиная имѣетъ еще другое вліяніе — она развиваетъ умъ и придаетъ большую тонкость чувствамъ. Какимъ образомъ театръ Расина отражаетъ на себѣ въ этомъ отношеніи благотворное вліяніе салоновъ на культурное развитіе людей въ XVII вѣкѣ, мы не станемъ здѣсь подробнѣе излагать, такъ какъ для этого пришлось бы приводить соотвѣтствующіе отрывки изъ Расина.

III.

Сдѣланныхъ здѣсь указаній достаточно, чтобы пояснить, какую пользу можетъ извлечь исторія изъ предлагаемаго Тэномъ приема: „возвратить литературный памятникъ средѣ, которая его поро-

дила" ¹⁾. Но, не выходя изъ предѣловъ статьи о Расинѣ, мы можемъ указать примѣръ плодотворнаго значенія для исторіи другого критическаго приѣма Тэна при объясненіи происхожденія памятниковъ.

Кромѣ среды, а иногда на ряду съ средой, характеръ литературнаго или художественнаго памятника носить на себѣ отпечатокъ *народности*, или, какъ выражается Тэнтъ, *расы*, которой памятникъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Значеніе расы въ исторіи давно замѣчено учеными, но не легко опредѣлить и указать ея вліяніе на ходъ историческихъ событій. Вліяніе это слишкомъ глубоко и отдаленно; оно заслонено другими, болѣе наглядными вліяніями—предшествовавшими событіями, случайностями, идеями, заимствованными путемъ культуры и образования, наконецъ индивидуальностью личныхъ дѣятелей, которые не всегда являются чистыми или несложными типами своей *расы*. Вслѣдствіе этого вліяніе *расы* скорѣе чувствуется въ историческихъ событіяхъ, чѣмъ можетъ быть сформулировано. Поэтому-то для историковъ такъ цѣнны тѣ явленія, гдѣ національный элементъ является, такъ сказать, на поверхности, а это именно литературные памятники, и поэтому для исторіи имѣетъ такое значеніе критическій приѣмъ Тэна—при анализѣ памятника выдѣлать, такъ сказать, изъ него національный элементъ. Объяснить цѣлую литературу съ этой точки зрѣнія было бы, конечно, дѣломъ неисполнимымъ безъ натяжекъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ такой критическій приѣмъ даетъ замѣчательные результаты. Однимъ изъ самыхъ удачныхъ примѣровъ можетъ служить та глава въ статьѣ Тэна о Расинѣ, которая изображаетъ вліяніе національнаго духа французовъ на *отъз* Расина. Эта небольшая глава должна была бы войти цѣлкомъ во всякую историческую характеристику XVII-го вѣка.

По Тэну, національный духъ французовъ заключается въ способности, которая есть нѣчто „среднее между высокимъ философскимъ созерцаніемъ и мелочною наблюдательностью, между смѣлымъ изобрѣтеніемъ универсальныхъ идей и добросовѣстнымъ собираніемъ мелкихъ фактовъ. Этотъ національный духъ вращается между указанными двумя крайностями и сближаетъ ихъ; онъ умѣетъ объяснять, освѣщать и развивать; онъ способенъ всякую идею сдѣлать доступною всякому пониманію; онъ подвигается впередъ безъ прыжковъ, шагъ за шагомъ; оставляя одну идею, онъ прямо переходитъ къ ближайшей къ ней по логической связи.

¹⁾ Remplacer le livre parmi les circonstances qui l'ont produit. По поводу Лабрюера. N. E. 36.

Онъ всегда избираетъ для мысли путь самый ровный, самый краткій и самый удобный; ему чуждо всякое удаление въ сторону; онъ по преимуществу методиченъ и универсаленъ. Его можно признать общимъ наставникомъ человѣчества и *секретаремъ* чело-вѣческаго духа“.

Этому духу чуждъ методъ ученаго, такъ какъ онъ не обра-щаетъ должнаго вниманія на подробности; ему не менѣе чуждъ талантъ живописца, такъ какъ онъ не усваиваетъ себѣ тѣ осяза-тельные мелочи, которыя придаютъ каждому предмету его инди-видуальную окраску и рельефность. Съ другой стороны, онъ не обладаетъ ни метафизической способностью нѣмцевъ, ни художе-ственной способностью грековъ, которыя дозволяли этимъ наро-дамъ проникать въ сущность предмета. Его задача заключается въ томъ, чтобы точно опредѣлить смыслъ понятій и установить логическій порядокъ общихъ идей, и его лучшая слава—въ произ-веденіяхъ краснорѣчія.

Установивъ такимъ образомъ то, что онъ называетъ *la raison oratoire*—ораторскимъ духомъ, Тэнъ показываетъ, какъ подъ влияніемъ этого духа сложились въ XVII вѣкѣ во Франціи церковная жизнь, философія, литература, общественные нравы. Въ области церкви догматы и преданія остались неприкосновен-ными. Несмотря на все возбужденіе умовъ въ ту эпоху, никто во Франціи не думалъ проникнуть въ глубину вѣрованій. Образовались, правда, двѣ небольшія религіозныя секты: янсенистовъ и квіетис-товъ; нѣсколько замѣчательныхъ людей отваживаются принять ученіе этихъ сектъ, но никто не слѣдуетъ за ними, и они сами, непослѣдовательно, на половину отрекаются отъ своихъ идей; оба движенія были подавлены церковью и государствомъ, оста-лись непопулярными, безсильными и скоро были забыты. Какой контрастъ — говоритъ Тэнъ — между бесплодностью мысли въ этомъ случаѣ и постояннымъ движеніемъ и оживленіемъ мысли въ лагерь протестантовъ!

„Во Франціи всѣ усилія направлены только къ тому, чтобы объяснить и защитить вѣру и комментировать установленный дог-матъ; результатомъ этого являются превосходныя рѣчи (*discours*) о религіи, но это именно—только превосходныя рѣчи. Фенелонъ, Боссюэтъ, Бурдалу, Николь, Ла-Брюэръ перерабатываютъ, въ ин-тересахъ вѣры, психологію, исторію и политику; они придаютъ вѣрѣ форму, которая дѣлаетъ ее доступною для свѣтскаго обще-ства; они дѣлаютъ людей свѣтскаго общества способными ее по-нимать; они приводятъ вѣру въ тѣсную связь со всѣми потреб-ностями общества и со всѣми обязанностями ихъ вѣка, съ систе-

мою воспитанія и со всѣми общественными учрежденіями. Они ничего не создаютъ, они доказываютъ и развиваютъ свои доводы, они произносятъ защитительныя рѣчи, — *ils plaident*, — какъ мѣтко выражается Тэнъ. Это ораторы христіанства“.

Ту же мысль Тэнъ проводитъ по отношенію къ французской философіи XVII вѣка. Оригинальность Декарта, по мнѣнію Тэна, заключается не въ его идеяхъ, а въ его методѣ и манерѣ изложенія, т.-е. „въ искусствѣ найти правильный порядокъ мыслей и точное выраженіе“. Если у Декарта есть новая идея—представленіе о мірѣ, какъ о продуктѣ протяженія и движенія,—то онъ достигъ ея благодаря отчетливости своего логическаго анализа и ясности слога, въ противоположность схоластическому методу. „Если мы, французы, — говоритъ Тэнъ, — возвышаемся до метафизики, то только путемъ анализа философіи Декарта, какъ наша философія вообще не что иное какъ рядъ рѣчей (*discours*), которыя вся Европа понимаетъ, вся Европа слушаетъ, которыя популярны благодаря ихъ слогу, основательны благодаря методу, и которыя придаютъ совершенство формы, силу, изящество и власть надъ умами идеямъ, зародившимся внѣ Франціи и выраженнымъ тамъ въ безобразной или тяжеловѣсной формѣ“.

Страницы, посвященныя литературѣ и нравамъ и доказывающія ихъ зависимость отъ главнаго національнаго свойства — ораторскаго духа, — представляютъ собою въ зародышѣ то, что Тэнъ потомъ, много лѣтъ спустя, такъ блестяще развилъ въ своей книгѣ о „старомъ порядкѣ“, т.-е. въ первомъ томѣ своей исторіи революціи. Вся литература стала какъ бы вѣтвью ораторскаго искусства. Не даромъ она зародилась въ салонахъ; во всѣхъ своихъ видахъ она сводилась собственно къ „письменной бесѣдѣ“. Одинъ вкусъ, одно желаніе господствовали въ обществѣ—желаніе превосходно говорить. Отсюда успѣхъ и авторитетъ „грамматическихъ указаній“ Вожеля (*Vaugelas*) и стилистическихъ образцовъ Бальзака. Въ салонныхъ разговорахъ и вслѣдствіе этого въ литературѣ не дорожили ни силою страсти, ни новизною идей, ни блескомъ образовъ, но послѣдовательностью мысли, точностью выраженій и благозвучіемъ періодовъ. Въ обществѣ меньше интересовались силою и искренностью чувствъ, чѣмъ словесными тонкостями, пріятными мадригалами и остроумными разсужденіями. Выраженіе цѣнилось выше выражаемаго предмета, и слогъ выше души. Оттого въ поэзіи, хотя она вся основана на вдохновеніи, общими наставниками стали Мальзербъ и Буало, терпѣливые труженики и строгіе педантическіе учителя, которые обратили музу къ здравому смыслу и „посадили ее на черствый хлѣбъ“, такъ

что подъ конецъ вѣка, когда хотѣли похвалить стихи, говорили, „что они прекрасны какъ проза“.

„И дѣйствительно,—заключаетъ Тѣнь свою характеристику литературы XVII вѣка,—проза составляла духовное богатство этого вѣка, и въ самой прозѣ—не романъ, гдѣ необходимъ вымыселъ, а изложеніе, разсужденіе, рѣчь, полемика, переписка, всѣ виды сочиненій, гдѣ все дѣло въ томъ, чтобы краснѣ говорить (*le talent de bien dire*); а этотъ талантъ былъ тогда такъ великъ, искусство хорошо говорить такъ совершенно, воспитаніе въ этомъ искусствѣ такъ законченно, что съ достигнутымъ тогда успѣхомъ не можетъ сравниться литература никакого другого народа и никакой другой эпохи“.

Если, благодаря условіямъ жизни въ XVII вѣкѣ и господствовавшимъ тогда вкусамъ, національный духъ французовъ получилъ возможность съ особенной рельефностью высказаться въ тогдашней литературѣ, то тотъ же самый фактъ можно прослѣдить на правахъ и на всей культурной обстановкѣ французскаго общества того времени. Ходъ исторіи привелъ Францію къ моменту, „когда на историческую сцену входитъ свѣтскій человѣкъ“, и когда „талантомъ наиболѣе полезнымъ становится искусство хорошо говорить“. Какія именно историческія событія создали такіе условія, довольно извѣстно. Вмѣстѣ съ феодальной независимостью и религіозными войнами XVI вѣка прекратилась для французскаго дворянства жизнь уединенная и вмѣстѣ съ тѣмъ полная приключеній и требовавшая отъ человѣка находчивости. Теперь дѣло не въ томъ, чтобы составлять лиги или укрѣпиться въ своемъ замкѣ, дѣйствовать по своему усмотрѣнію или искать себѣ развлеченій по своему вкусу. Абсолютная монархія и благоустроенная администрація заставили досужихъ и смирившихся дворянъ появиться въ салонахъ и при дворѣ; здѣсь царствуетъ одинъ однообразный вкусъ; приходится принаравливать къ нему свое настроеніе; общепринятая приличія подводятъ подъ одинъ уровень причудливыя особенности ума и характера. Нужно быть „какъ всѣ“, иначе пересташь быть „порядочнымъ человѣкомъ“, а это значило бы стать погибшимъ человѣкомъ. Какимъ бременемъ ложатся на изобрѣтательность мысли это принужденіе, это подражаніе и этотъ страхъ сдѣлаться смѣшнымъ! Но, съ другой стороны, какую школу для искусства вести рѣчь представляетъ эта привычка проводить время въ обществѣ и эта необходимость разговаривать! Въ прежнее время можно было выдвинуться впередъ благодаря мечу и подвигамъ; теперь средствомъ къ этому служатъ умѣнье обращаться въ обществѣ и удачно сказанныя фразы.

„Нужно уметь хвалить, влословить, рассказывать, рассуждать и писать въ благородныхъ выраженіяхъ, чтобы сохранить свое общественное положеніе; нужно уметь все это дѣлать въ выраженіяхъ тонкихъ, чтобы доказать свою вѣжливость,—основательно, чтобы побѣдить своего противника,—пріятно, чтобы имѣть успѣхъ въ публикѣ“.

Этимъ общественнымъ нравамъ и вкусамъ соответствуетъ и вся обстановка; самая природа подчищена и обрѣзана, чтобы приноровиться къ нимъ и служить имъ. „Сады и парки принимаютъ видъ салоновъ подъ открытымъ небомъ, съ ихъ драпировкой, канделябрами и жирандолями“.

Той же цѣли служатъ и искусства—архитектура и особенно скульптура. Тэнъ удачно сравниваетъ статуи античныхъ богинь, въ Версальскомъ паркѣ, по ихъ позамъ и жестамъ, съ великоsvѣтскими дамами, а выраженіе лица на аллегорическихъ изображеніяхъ рѣчныхъ боговъ—съ повелительнымъ и спокойнымъ взоромъ Людовика XIV.

Той же цѣли, наконецъ, служилъ и театр. Тэнъ показываетъ, какъ ораторскій духъ отразился на планѣ трагедій Расина, на характерѣ дѣйствующихъ лицъ и на слогѣ, какимъ они говорятъ. Мы не станемъ слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ этой мысли, такъ какъ она имѣетъ болѣе спеціальный литературный интересъ. Но объясненныя такимъ образомъ трагедіи Расина получаютъ и съ этой стороны значеніе историческихъ документовъ. Критикъ намъ уже показалъ, какъ въ типахъ Расина, въ ихъ образѣ мысли и чувствахъ отразилась историческая среда, ихъ создавшая. Теперь онъ показываетъ, какъ другой элементъ исторіи—національный духъ—проявляется въ творествѣ поэта, и такимъ образомъ наиболѣе спеціальный литературный или эстетическій вопросъ о свойствѣ таланта писателя пріобрѣтаетъ интересъ историческаго „свидѣтельства“, поучительнаго для историка.

IV.

Отъ вопроса о вліяніи расы мы перейдемъ къ разсмотрѣнію другого пріема, которымъ руководится Тэнъ въ своемъ критическомъ методѣ,—къ вліянію „господствующаго свойства“. Повидимому, послѣдній способъ имѣетъ мало отношенія къ исторіи. Объясненіе памятника не выходитъ изъ предѣловъ біографическаго или психологическаго интереса. Но на самомъ дѣлѣ, какъ нами было раньше указано, оба способа не такъ далеки другъ отъ

друга. Господствующее или основное свойство писателя, какъ Тэнь его понимаетъ, не что иное какъ концентрированное выраженіе духа времени. При такихъ условіяхъ „основное свойство“ писателя становится историческимъ симптомомъ, чрезвычайно важнымъ для историка, и включемъ въ разумнѣю эпохи. А вслѣдствіе этого критическіе этюды, написанные съ цѣлью показать, какъ одно основное свойство налагаетъ свою печать на творчество писателя и проходить по всѣмъ его произведеніямъ — при всей своей специальності — могутъ служить историку пособіемъ для пониманія и изображенія извѣстной эпохи. Но особенно цѣнно для историка примѣненіе теоріи основного свойства Тэномъ къ историческимъ эпохамъ.

Теорія „основного свойства“ представляетъ для біографа то преимущество, что даетъ ему возможность привести къ стройному единству отдѣльныя черты въ изображаемомъ писателѣ или дѣятелѣ. Всѣ эти другія черты выводятся изъ „основного свойства“, какъ изъ своего источника, или по крайней мѣрѣ стройно группируются около него, подчиняясь его вліянію. Въ обоихъ случаяхъ общій характеръ лица или „духовная его фізіономія“ обрисовываются въ цѣльномъ контурѣ и рѣзко отпечатлѣваются въ памяти. Но такой приѣмъ — естественно перенести отъ лицъ къ историческимъ эпохамъ. И историческія эпохи имѣютъ свою фізіономію, только черты ихъ многочисленнѣе и сложнѣе, и поэтому группировка ихъ въ стройную систему тѣмъ болѣе можетъ принести пользы въ исторіи. Это и пытался дѣлать Тэнь. Подобно тому, какъ въ лицѣ онъ отыскивалъ „основное свойство“ или „господствующую способность“, онъ объяснялъ эпоху „господствовавшей въ ней идеей“ — *l'idée maitresse* — или основной идеей, служившей источникомъ для другихъ — *l'idée mère*.

Въ статьѣ о буддизмѣ Тэнь показываетъ, какъ идея о томъ, что существованіе есть зло, порожденное политическими и общественными бѣдствіями Индіи, становится „господствующей идеей“, создавшей буддизмъ, съ его религіозной догматикой, съ его монастырскими учрежденіями, съ его этикой и его культурой. Критикъ не вноситъ здѣсь ничего новаго въ исторію; онъ не открываетъ новыхъ фактовъ, но своей отчетливой группировкой фактовъ онъ даетъ историку возможность легче усвоить себѣ цѣльное и полное представленіе о предметѣ. Особенно же удачный примѣръ примѣненія къ исторіи описаннаго приѣма Тэна представляетъ его характеристика протестантизма. Это историческое явленіе такъ сложно, такъ обширно, что его трудно обозрѣть цѣлкомъ съ одной точки зрѣнія и привести къ единству его разно-

образныя проявленія въ искусствѣ, въ морали, въ богословіи и психологіи. Тэнъ и здѣсь отыскиваетъ основную идею и, „переходя отъ одной идеи къ другой, болѣе глубокой“, старается проникнуть въ сущность этого историческаго явленія. Тэнъ начинается съ внѣшняго проявленія протестантизма. Въ его бытность въ Голландіи его поразили громадныя, однообразно выбѣленные, лишенные всякихъ художественныхъ украшеній храмы, въ которыхъ собираются для богослуженія кальвинисты. Онъ старается объяснить себѣ это явленіе и выводитъ его изъ общаго представленія кальвиниста о богослуженіи. Эта-то идея „видоизмѣнила архитектуру католическаго храма, ниспровергла въ немъ статуи, удалила картины, уничтожила украшения, сократила обряды, заключила молящихся среди скамеекъ съ высокими спинками, мѣшающими видѣть кругомъ себя, и опредѣлила всѣ подробности относительно позъ молящихся и всего внѣшняго чина“. Но эта идея о формѣ богослуженія вытекаетъ изъ другой, болѣе общей,—изъ представленія о томъ, какъ долженъ вести себя человѣкъ по отношенію къ Богу и къ своему религіозному долгу; эта идея опредѣлила характеръ молитвы, „ввела догматъ о благодати, уменьшила значеніе духовенства, преобразила таинства, устранила соблюденіе постовъ и другихъ обязанностей, практиковавшихся католиками, и измѣнила религію обрядовую въ религію моральную“. А эта идея объ отношеніи человѣка къ Богу, въ свою очередь, находилась въ зависимости отъ третьей, еще болѣе общей и руководящей: это —представленіе о нравственномъ совершенствѣ, олицетворяемомъ въ Богѣ, нравственно-совершенномъ судѣ, безгрѣшномъ, строгомъ, суровомъ блюстителѣ совѣсти, предъ которымъ всякая душа—грѣшница, достойная кары, неспособная къ добродѣтели и къ спасенію иначе какъ вслѣдствіе переворота совѣсти и нравственнаго возрожденія, которое самъ Господь вызываетъ. „Вотъ это-то,—воскликаетъ Тэнъ,—и есть основная идея—la conception maitresse, которая заключается въ томъ, чтобы провозгласить долгъ абсолютнымъ властителемъ человѣческой жизни и повергнуть всѣ идеалы къ стопамъ нравственнаго идеала“.

Такимъ образомъ протестантизмъ съ своей догматикой, этикой и эстетикой, т.-е. обрядовою стороною и обстановкою, представляется цѣльнымъ міросозерцаніемъ, всѣ части котораго становятся понятны и по отношенію взаимной связи, ихъ соединяющей, и по отношенію причины, ихъ породившей. Конечно, можно замѣтить, что путь развитія протестантской идеи былъ иной, что протестантизмъ взялъ свое начало не изъ этическаго представленія, а изъ религіознаго, что его послѣдователями руководило не фи-

лософское побужденіе, а религіозная потребность спасенія; можно замѣтить, что набросанная Тэномъ схема не столько соответствуетъ первоначальной формѣ протестантизма, сколько послѣдующей ступени его развитія—кальвинизму; но за этой отвлеченной схемой нужно признать заслугу, что она выдвигаетъ на первый планъ тотъ нравственный принципъ, которому протестантизмъ обязанъ своею силой и своимъ культурнымъ значеніемъ, и который служитъ его историческимъ и эстетическимъ оправданіемъ.

Но откуда же этотъ нравственный принципъ, откуда эта идея абсолютнаго долга, которой должны быть принесены въ жертву всѣ остальные идеи? Чтобы объяснить эту основную идею, говоритъ Тэнъ, нужно обратить вниманіе на самую расу, давшую начало протестантизму; нужно рассмотреть германца, структуру его характера и ума, его способа мыслить и чувствовать, эту медленность и холодность ощущенія, мѣшающія ему насильственно и внезапно подпасть подъ власть чувственнаго удовольствія, эту суровость вкуса, эту неправильность и эти скачки пониманія, задерживающіе въ немъ зарожденіе стройныхъ и гармоническихъ формъ, это пренебреженіе во всему *казовому*, эту потребность истиннаго, это расположеніе къ отвлеченнымъ и не замаскированнымъ идеямъ, которыя развиваютъ въ немъ совѣсть въ ущербъ всего другого. Здѣсь останавливается изслѣдованіе. Изслѣдователь имѣетъ передъ собою данныя исторіею свойства извѣстной расы, которыя онъ долженъ принять какъ существующій фактъ и которыя онъ не можетъ объяснить.

Чтобы повести изслѣдованіе дальше, мы должны будемъ перейти въ другую область, въ которой также проявилась плодотворная для исторіи дѣятельность Тэна. До сихъ поръ мы рассматривали значеніе для исторіи критическихъ приемовъ Тэна въ области литературы. Мы видѣли, что, примѣняя историческій методъ къ объясненію литературныхъ и художественныхъ памятниковъ, Тэнъ расширилъ предѣлы исторіи. Мы видѣли, какъ онъ обогатилъ исторію новыми документами и новымъ фактическимъ матеріаломъ, обращая самыя сухіе памятники литературнаго творчества въ живыя свидѣтельства прошлаго. Мы видѣли, какъ, благодаря его приемамъ, литературные памятники другого свойства, представлявшіе прежде только художественный или эстетическій интересъ, сдѣлались для историка лучшимъ пособіемъ для того, чтобы воскресить прошедшее съ его политическими учрежденіями, общественными отношеніями, нравами, понятіями и всею обстановкою культурной жизни. Вообще вслѣдствіе всего этого исторія литературы и исторія искусства органически слились съ исто-

рической наукою. Прежде онѣ заслуживали названіе исторій только потому, что располагали свой матеріалъ въ хронологическомъ порядкѣ и приурочивали его къ историческимъ эпохамъ. Теперь, ставъ отраженіемъ общей исторіи, литература и искусство получили характеръ историческихъ явленій, и изученіе ихъ сдѣлалось изученіемъ историческаго прогресса народной жизни.

Историки давно сознавали необходимость внести обзоръ литературныхъ и художественныхъ памятниковъ въ изображеніе историческихъ эпохъ; но связь между политическимъ отдѣломъ ихъ изложенія и отдѣломъ литературнымъ часто бывала самая слабая и совершенно механическая. Укажемъ, напр., на Шлоссера, одна изъ главныхъ заслугъ котораго заключается въ томъ, что онъ, какъ въ своемъ „Обзрѣніи исторіи древняго міра“, такъ и въ своей „Исторіи XVIII вѣка“, самымъ подробнымъ и тщательнымъ образомъ изучалъ литературу каждой эпохи. Но эти литературныя главы у Шлоссера скорѣе перебиваютъ его историческій разсказъ, чѣмъ поясняютъ его, и у читателя является желаніе выдѣлить эти главы изъ различныхъ томовъ сочиненія и соединить ихъ въ особую книгу. Только тогда, когда литература и искусство стали разсматриваться какъ произведенія и отраженія исторической среды, между ними и исторіей могла установиться внутренняя связь, и глава объ литературѣ и искусствѣ изъ случайнаго, произвольнаго добавленія къ исторіи, могла стать самымъ существеннымъ средствомъ для изображенія вѣка эпохи. Прибавимъ къ этому, что при этихъ условіяхъ явилась также возможность установить ясное мѣрило для того, насколько и въ какомъ отношеніи историку слѣдуетъ касаться литературныхъ и художественныхъ памятниковъ cadaго вѣка, а именно: историкъ долженъ изображать ихъ лишь какъ историческіе памятники и свидѣтельства о ходѣ историческаго процесса, имъ изучаемаго, предоставляя болѣе спеціальную сторону дѣла исторіи литературы или искусства, или философіи. Такимъ образомъ, будетъ достигнутъ еще одинъ результатъ: будетъ проведена опредѣленная черта между общей исторіей и спеціальными науками, исторією литературы, искусства и философіи.

V.

Мы показали, какое значеніе имѣетъ для исторіи литературная и художественная критика Тэна. Но Тэнъ обогатилъ исторію не только на счетъ и посредствомъ исторіи литературы и искусства. Онъ ввелъ въ область исторіи и приложилъ къ разрѣшенію

различныхъ историческихъ вопросовъ еще другую науку, стоявшую еще дальше отъ исторіи, чѣмъ литература и искусство, а именно: *психологію*. Обратимся теперь къ психологіи Тэна и укажемъ, въ какую связь привелъ Тэнъ психологіи съ исторіей, что онъ ~~сдѣлалъ~~ для исторіи съ помощью психологіи, и чего онъ надѣялся *достигнуть* этимъ путемъ.

Связь, которую устанавливаетъ Тэнъ между исторіей и психологіей,—самая тѣсная и органическая: исторія въ его глазахъ не что иное, какъ *прикладная психологія*. Въ введеніи къ своему сочиненію о психологіи Тэнъ говоритъ, что исторія представляетъ собою такое же приложение (application) психологіи, какъ и наука о *языкѣ*, которая выводитъ явленія языка изъ психологическихъ законовъ. Объ исторіи Тэнъ по этому поводу говорить, что исторія должна сдѣлаться приложеніемъ психологіи подобно тому, какъ метеорологія является приложеніемъ физики. Физикъ изучаетъ въ своемъ кабинетѣ на небольшомъ объемѣ и избранныхъ имъ предметахъ законы тяжести, теплоты, испаренія и пр.; метеорологъ изучаетъ тѣ же явленія, но на большихъ массахъ и на случаяхъ болѣе сложныхъ, пользуясь законами физики для объясненія образованія тучъ, глетчеровъ, рѣкъ и вѣтровъ. Таково же положеніе историка по отношенію къ психологу. Вотъ почему они не могутъ не оказывать другъ другу взаимной помощи, ибо въ одномъ случаѣ проявленіе закона въ жизни наводитъ изслѣдователя на теорію; въ другомъ случаѣ теорія указываетъ, гдѣ она находитъ себѣ примѣненіе.

„Я, напр., не думаю,—говоритъ Тэнъ,—чтобы историкъ могъ имѣть ясное представленіе о браминахъ и буддистахъ Индіи, если онъ не изучалъ предварительно экстазъ, каталепсію, галлюцинацію и безуміе въ формѣ резонерства. Однимъ словомъ, тотъ, кто изучаетъ человѣка, и тотъ, кто изучаетъ людей, психологъ и историкъ, раздѣленные своей точкой зрѣнія, тѣмъ не менѣе имѣютъ въ виду одинъ и тотъ же предметъ; вотъ почему всякое новое соображеніе одного изъ нихъ должно считаться приобрѣтеніемъ для другого. Это ясно обнаруживается теперь, особенно въ исторіи. Чтобы понять превращенія, происшедшія въ такомъ-то *человѣческомъ молекулѣ*, или въ такой-то группѣ этихъ молекулъ, необходимо, какъ теперь всѣмъ понятно, изслѣдовать ихъ психическую жизнь. Нужно знать психологію пуританина, чтобы понять революцію 1648 года въ Англіи, и психологію якобинца, чтобы понять 1789 годъ во Франціи. Карлэйль далъ намъ психологію Кромвеля; Сентъ-Бёвъ—психологію янсенистовъ Портъ-Рояля; Стендаль принимался двадцать разъ за физиологію итальянца;

Ренанъ далъ намъ психологію семита. Всякій проникательный и философски настроенный историкъ трудится надъ психологіей какого-нибудь лица или какой-нибудь группы лицъ, или какого-нибудь вѣка, или народа, или расы; изысканія лингвистовъ, миеологовъ, этнографовъ не имѣютъ другой цѣли. Дѣло всегда въ томъ, чтобы описать человѣческую душу или общія черты какой-нибудь естественной группы человѣческихъ душъ; а что историки дѣлаютъ для прошлаго, то дѣлаютъ для настоящаго великіе романисты и драматурги“.

Тэнъ не ограничился провозглашеніемъ принципа, что исторія должна быть прикладною психологіей, что историкъ, изображая извѣстную эпоху, или людей извѣстной эпохи, долженъ сдѣлаться психологомъ; онъ самъ слѣдовалъ этому принципу, и во многихъ его сочиненіяхъ мы можемъ встрѣтить примѣненіе его психологическаго метода. Этотъ методъ, какъ извѣстно, положенъ Тэнномъ въ основаніе его „Исторіи англійской литературы“. Психологическія замѣчанія объ отдѣльныхъ писателяхъ и о характерѣ *расы* занимаютъ такъ много мѣста въ этомъ сочиненіи, что было предложено озаглавить его такъ: „Психологія англійскаго народа на основаніи его литературы“.

Всего систематичнѣе однако примѣнилъ Тэнъ психологію въ исторіи въ извѣстномъ сочиненіи о якобинцахъ. Можно думать, что когда Тэнъ въ 1870 г. написалъ вышеприведенныя слова въ предисловіи къ своей книгѣ — „L'Intelligence“, онъ уже задался мыслію разъяснить революцію 1789 и слѣдующихъ годовъ, съ помощью психологическаго анализа главныхъ дѣятелей въ этомъ переворотѣ — якобинцевъ.

Не входя въ подробное разсмотрѣніе этого сочиненія, мы коснемся здѣсь только общаго методологическаго его значенія. Съ тѣхъ поръ какъ совершилась французская революція, ее разсматривали почти не иначе, какъ съ политической точки зрѣнія. Каждая политическая партія во Франціи спѣшила овладѣть этимъ важнѣйшимъ событіемъ національной исторіи, чтобы подъ покровомъ его популярности и его драматическаго интереса провести и прославить свои идеалы. Такъ возникали легенды за легендой. Въ своей патріотической легендѣ Тьеръ представлялъ якобинство олицетвореніемъ новой демократической Франціи съ ея административной централизаціей и ея военнымъ торжествомъ надъ одрабѣвшей Европой. Мишлѣ проводилъ въ исторіи революціи свой идеалъ гуманной, демократической республики; Бюше и Ру создали на этой почвѣ мистическую легенду о христіанскомъ социализмѣ и новомъ евангеліи, которое Франція принесла на-

родамъ; и идя по ихъ слѣдамъ, Луи Бланъ свелъ революцію къ торжеству принципа *братства* и къ апотеозу Робеспьера, какъ провозвѣстника и мученика этой идеи.

Правда, благодаря Токвилю, начался поворотъ къ научному изученію революціи. Онъ указалъ путь къ объясненію этого событія не съ точки зрѣнія позднѣйшихъ политическихъ партій и идеаловъ, а съ помощью прошедшаго, котораго продолженіе оно составляетъ и которое опредѣлило его направленіе и характеръ. И Тэнъ вполне усвоилъ себѣ эту точку зрѣнія и во многомъ развилъ далѣе мысли Токвиля. Но болѣе равнодушный къ политической сторонѣ дѣла и привыкшій въ своихъ критическихъ изслѣдованіяхъ искать объясненія памятника въ душевномъ строѣ его автора, Тэнъ восполнилъ новымъ и чрезвычайно важнымъ элементомъ научное направленіе Токвиля. Дѣйствительно, видѣть въ революціи только продуктъ прошедшаго—значить занять слишкомъ отвлеченную точку зрѣнія на предметъ. Этимъ путемъ хорошо выясняется политическая сторона революціи, его государственная централизація, совершенное ею національное объединеніе; вся ея внутренняя и внѣшняя политика. Но вліяніе прошлаго отразилось на французской революціи не только въ области государственной; это прошлое, кромѣ государственнаго механизма, создало самый народъ, вылило въ извѣстную форму народный духъ; въ этомъ отношеніи вопросъ о вліяніи прошлой исторіи Франціи на революцію уже переходитъ на психологическую почву. Психологическій интересъ выступаетъ еще болѣе на первый планъ, если мы обратимъ вниманіе на другую сторону событій 1789 и слѣдующихъ годовъ. Революція была не только продолженіемъ историческаго процесса, совершавшагося въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ; она была въ полномъ смыслѣ *переворотомъ*, который повлекъ за собою цѣлый рядъ послѣдствій. Этотъ переворотъ совершился не только въ учрежденіяхъ, но въ *душѣ* людей, свѣдѣтелей или дѣятелей въ этомъ переворотѣ. Такимъ образомъ, революція 1789—1794 года представляетъ собою *психологическій фактъ* первой величины; и въ области психологическихъ явленій нужно искать главное объясненіе какъ многихъ отдѣльныхъ событій революціи, такъ и важнѣйшихъ ея послѣдствій; а поэтому психологическій путь объясненія, проложенный Тэномъ, долженъ былъ дать новыя и плодотворныя результаты.

Помимо этой систематической попытки объяснить крупную историческую эпоху психологическимъ строемъ ея главныхъ дѣятелей, можно было бы указать въ разныхъ сочиненіяхъ Тэна много отдѣльныхъ психологическихъ наблюденій и замѣчаній, ин-

интересныхъ для историковъ. Изъ нихъ особенно характерны для Тэна тѣ соображенія, въ которыя онъ такъ охотно вдается, сопоставляя психологическій строй цивилизованнаго человѣка и людей, стоящихъ на болѣе низкихъ ступеняхъ культуры

Можетъ быть, самый важный вопросъ въ исторіи—вопросъ о цивилизаціи и объ условіяхъ прогресса. Въ чемъ заключается цивилизація? Какимъ путемъ она развивается и совершенствуется человѣчество? Существуютъ по этому предмету двѣ противоположныя теоріи: одна видитъ сущность прогресса въ накопленіи и распространеніи знаній; другая считаетъ главнымъ условіемъ прогресса *нравственное* усовершенствованіе человѣка. Тэнь, можно сказать, подошелъ къ этому вопросу съ новой стороны. Онъ нигдѣ не высказался объ этомъ теоретически, но многочисленныя наблюденія и замѣчанія его, которыя можно встрѣтить въ его сочиненіяхъ, наводятъ читателя на мысль, что прогрессъ и цивилизація заключаются въ усовершенствованіи и утонченіи психологическихъ и физиологическихъ процессовъ, совершающихся въ человѣкѣ и проявляющихся въ мышленіи, въ чувствахъ и въ дѣйствіяхъ воли. Вопросъ этотъ, конечно, не назрѣлъ для разрѣшенія; но сколько интереснаго матеріала для разрѣшенія его даетъ Тэнь, когда сопоставляетъ эти процессы у неразвитаго человѣка съ тѣми, какіе совершаются у человѣка, стоящаго на болѣе высокой ступени развитія! Эта психологія цивилизаціи—одна изъ любимыхъ темъ Тэна, къ которой онъ часто возвращается. По поводу одной сцены въ упомянутой нами эпопее Рено де Монтанбанъ, въ которой Рено, жестоко оскорбленный племянникомъ Карла Великаго, бросается къ ногамъ императора и проситъ удовлетворенія, а императоръ съ бранью накидывается на него, Тэнь замѣчаетъ: „никогда нельзя быть увѣреннымъ ни въ чемъ относительно такихъ лицъ, неразвитыхъ и необузданныхъ; они дѣйствуютъ не на основаніи твердо установленныхъ принциповъ, но по расположенію минуты. Пожалуйста простолюдину на его дѣтей; смотря по расположенію духа или обстоятельствамъ, онъ накинется на васъ или на нихъ; во всякомъ случаѣ онъ накинется на кого-нибудь съ кулаками или, по крайней мѣрѣ, съ ругательствами“. Описавъ кровавую ссору между императоромъ и его вассаломъ Рено, Тэнь переноситъ насъ въ среду аналогическихъ сценъ изъ быта позднѣйшаго рыцарства, описаннаго Фруассаромъ, а затѣмъ, черезъ нѣсколько вѣковъ, къ правамъ французскаго дворянства при Генрихѣ IV, когда 4.000 дворянъ погибло на дуэли, —и изъ этихъ частныхъ фактовъ дѣлаетъ слѣдующій общій выводъ, важный для исторіи культуры: „Чтобы обезпечить современную

безопасность, нужно было не только преобразить учрежденія, но еще и въ особенности ослабить страсти, умножить идеи, установить привычку предварительнаго размышленія, подвести человѣческіе помыслы подъ общепризнанныя предписанія, однимъ словомъ, передѣлать человѣческую голову и, чтобы все сказать, измѣнить состояніе мускуловъ и нервовъ“.

Эти послѣднія слова Тэна, отождествленіе культурнаго усовершенствованія съ состояніемъ мускуловъ и нервовъ, указываютъ намъ на дальнѣйшую и главную задачу, которую ставилъ себѣ Тэнъ въ своихъ психологическихъ изслѣдованіяхъ.

VI.

Исторія должна была, по мысли Тэна, сдѣлаться прикладной психологіей, не только въ вышеуказанномъ смыслѣ, — т.-е. заимствовать у психологіи средства для объясненія людскихъ дѣйствій и стремленій, — но съ помощью психологіи исторія должна была сдѣлаться *наукою*. Руководясь психологическими данными, историкъ долженъ былъ открыть *законы*, управляющіе движеніемъ исторіи, свести самыя сложныя историческія явленія на простыя формулы и объяснить необъятную область человѣческихъ судебъ, гдѣ по видимому царствуетъ случай и произволъ, дѣйствіемъ стройныхъ механическихъ силъ, и такимъ образомъ превратить науку *прошедшаго* въ знаніе *будущаго*.

Но для того, чтобы историкъ могъ стоять на вполнѣ научной почвѣ, нужно было бы, чтобы сама психологія усвоила себѣ вполнѣ научный методъ, чтобы она была въ состояніи свести психологическія явленія на такіе процессы, которые подлежатъ точному наблюденію и изложенію, однимъ словомъ — чтобы она вступила въ тѣсную связь съ фізіологіей. Самъ Тэнъ пытался двинуть науку и въ томъ, и въ другомъ направленіи, и такимъ образомъ онъ ставилъ себѣ двойную задачу — извлечь изъ психологіи историческіе законы и связать міръ психическихъ явленій съ непреложными законами физической природы человѣка.

Познакомимся сначала съ тѣмъ, что Тэнъ успѣлъ сдѣлать для разрѣшенія первой задачи.

Тэнъ высказалъ свой взглядъ на возможность придать исторіи посредствомъ психологіи научный характеръ въ своемъ введеніи къ исторіи англійской литературы. Это произошло не случайно. Тэнъ именно отъ литературныхъ изслѣдованій перешелъ къ исторіи, и при этомъ связующимъ звеномъ между этими двумя обла-

стями служила для него психологія. По мнѣнію Тэна, его предшественники въ исторіи литературы, усвоивъ себѣ психологическій методъ, этимъ самымъ произвели переворотъ въ исторической наукѣ. Переворотъ этотъ начался слишкомъ сто лѣтъ тому назадъ въ Германіи, со времени Лессинга и Гердера, во Франціи—съ начала нынѣшняго вѣка, благодаря Шатобріану, Огюстену Тьерри и Мишлэ.

Переворотъ этотъ былъ произведенъ открытіемъ, что „литературное произведеніе—плодъ не случайной игры воображенія, не произволь какой-нибудь разгоряченной головы, а копія правотъ извѣстной среды, симптомъ извѣстнаго состоянія умовъ“. Отсюда былъ сдѣланъ выводъ, что на основаніи литературныхъ памятниковъ можно возстановить чувства и мысли людей прошлыхъ вѣковъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, по словамъ Тэна, было понято, что мысли и чувства людей находятся въ тѣсной связи съ величайшими событіями, что они объясняютъ ихъ и находятъ въ нихъ свое объясненіе, и поэтому заслуживаютъ важное мѣсто въ исторіи. „Съ этихъ поръ все измѣнилось въ исторіи: ея предметъ, ея методы, способъ ея изученія, представленіе о ея законахъ и причинахъ“.

На своемъ образномъ языкѣ Тэнъ объясняетъ, что всѣ памятники человѣческаго слова — поэма, законодательные сборники, символъ вѣры—подобны ископаемымъ раковинамъ или даже тѣмъ отпечаткамъ, которые оставило на камнѣ жившее когда-то животное. Раковина имѣетъ для насъ цѣну только какъ остатокъ живого существа, которое мы хотимъ узнать. Такъ и литературный памятникъ свидѣтельствуетъ о живомъ человѣкѣ, и мы должны изучать этотъ мертвый остатокъ угасшей жизни, чтобы возстановить съ его помощью полное и живое существо.

Увлекаясь своею мыслію, Тэнъ развиваетъ ее дальше. „Въ сущности,—говоритъ онъ,—не существуетъ ни міеологін, ни языковъ; существуютъ только люди, которые вырабатываютъ слова и образы согласно съ потребностями своихъ органовъ и съ самобытной формой своего духа. Догматъ самъ по себѣ ничего не значить“; чтобы понять такой-то пуританскій догматъ, изучайте людей, которые его сочинили, „взгляните на этотъ портретъ XVI вѣка, на суровый и энергическій образъ этого англійскаго архіепископа или мученика. Все существуетъ только благодаря индивидууму,—самый индивидуумъ и нужно изучать“.

Если въ этихъ словахъ есть увлеченіе, то это не случайное увлеченіе воображенія,—въ нихъ высказываются субъективный вкусъ и направленіе Тэна, какъ историка. „Языкъ, законодательство, катехизисъ,—говоритъ онъ далѣе,—во всякомъ случаѣ только от-

влеченная вещь; настоящее дѣло—это человѣкъ, дѣйствующій и осязаемый во плоти человѣкъ, который питается, движется, сражается, работает; оставьте изученіе конституцій и ихъ механизма, религій и ихъ системы, и старайтесь увидѣть людей за верстакомъ, въ канцеляріи, на ихъ землѣ, подъ ихъ небомъ, въ ихъ домахъ, въ ихъ одеждѣ, за ихъ трапезой“. Кто по этому совѣту пренебрежъ изученіемъ конституціонныхъ теорій не узнаетъ автора „Происхожденія современной Франціи“, говорившаго лишь съ ироніей о законодательствѣ „учредительнаго собранія“ и не упомянуваго въ своихъ двухъ томахъ объ исторіи якобинцевъ, ни однимъ словомъ—о законодательной дѣятельности конвента! Болеѣ умѣренно и справедливо формулирована мысль Тѣна въ другомъ мѣстѣ. „Если вы,—говоритъ онъ,—установили филиацію догматовъ, или классификацію поэмъ, или прогрессъ конституцій, или преобразованіе нарѣчій, вы только расчистили почву; настоящая исторія начинается только съ того момента, когда историкъ распознаетъ на разстояніи вѣковъ человѣка живого, дѣйствующаго, одареннаго страстями, усвоившаго себѣ извѣстныя привычки, создавшаго себѣ извѣстную обстановку“.

Такого пониманія своей задачи исторія достигла съ помощью литературы. За этимъ первымъ шагомъ,—говоритъ Тѣнь,—послѣдовалъ и второй, почти уже пройденный исторіей также при помощи современной литературной критики. Подъ человѣкомъ прошлаго, который открытъ исторіей со всею ея реальною обстановкою, скрывается живая душа. Вся эта обстановка, вся внѣшняя дѣятельность людей прошлаго—не что иное, какъ оболочка, которая служитъ выраженіемъ души. Мы разсматриваемъ жилища, обстановку и костюмъ людей, чтобы разгадать ихъ вкусы, привычки, степень ихъ культурнаго развитія, ихъ житейскія правила; мы прислушиваемся къ ихъ бесѣдѣ, чтобы составить себѣ понятіе о ихъ темпераментѣ; мы изучаемъ ихъ сочиненія, ихъ художественныя произведенія, ихъ коммерческія предпріятія и политическія мѣры, чтобы измѣрить объемъ и предѣлы ихъ ума и изобрѣтательности, открытъ свойство, порядокъ и силу ихъ идей. „Всѣ эти изысканія,—говоритъ Тѣнь,—какъ бы отдѣльныя аллеи, соединяющіяся въ одномъ центрѣ, и мы слѣдуемъ по нимъ именно для того, чтобы проникнуть въ этотъ центръ. Здѣсь мы находимъ настоящаго человѣка, ту группу свойствъ и чувствъ, которая произвела все остальное“. „Это новый міръ, міръ безконечный“, ибо каждое дѣйствіе человѣка есть слѣдствіе безконечнаго ряда разсужденій, страстей, давнишнихъ и недавнихъ ощущеній. „Вотъ этотъ подземный міръ и составляетъ вторую задачу, на-

стоящій предметъ историка. Когда его критическая снаровка достаточна, онъ способенъ открыть подъ каждымъ архитектурнымъ орнаментомъ, подъ каждой фразой сочиненія—то особенное чувство, которое было причиною орнамента, картины, фразы; историкъ присутствуетъ при внутренней драмѣ, совершавшейся въ художникѣ или писателѣ; выборъ словъ, краткость или долгота періодовъ, свойства метафоръ, ритмъ стиха, логическій порядокъ мыслей—все для него служитъ указаніемъ; пока его глаза пробѣгаютъ текстъ, онъ внутренне слѣдитъ за непрерывнымъ развитіемъ и чередующей ея смѣной чувствъ и понятій, производившихъ этотъ текстъ; онъ занимается его *психологіей*.

Вотъ эта психологія, „это точное и пробѣренное угадываніе угасшихъ чувствъ,—говоритъ Тэнъ,—въ наши дни дало новую жизнь исторіи“. Еще въ прошломъ вѣкѣ она была почти неизвѣстна. Въ то время представляли себѣ людей всѣхъ вѣковъ и всѣхъ племенъ почти одинаковыми; грекъ и варваръ, современникъ „ренесанса“ и человекъ XVIII-го вѣка были какъ будто вылиты изъ одной формы, и всѣхъ этихъ людей представляли себѣ по одному отвлеченному типу, который служилъ для характеристики всего человѣческаго рода. Знали человека, но не знали людей; не проникали въ душу ихъ; не имѣли понятія о безконечномъ разнообразіи и удивительной сложности психической жизни; не знали, что нравственный строй народа или вѣка также индивидуаленъ и своеобразенъ, какъ физическій строй какой-нибудь семьи растений или какого-нибудь зоологическаго порядка.

Указывая на заслуги писателей, которые до него обращались къ психологическому методу для разъясненія литературныхъ и историческихъ вопросовъ, Тэнъ всегда съ особенною признательностью говоритъ о Стендалѣ и Сентъ-Бѣвѣ. Но, отдавая полную справедливость своимъ предшественникамъ, Тэнъ вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчаетъ тотъ предѣлъ, на которомъ они остановились и откуда онъ имѣлъ въ виду повести историческую психологію по пути дальнѣйшаго развитія. Читателямъ уже извѣстно, какой недостатокъ находилъ Тэнъ въ психологическихъ очеркахъ Сентъ-Бѣва; онъ упрекалъ ихъ въ томъ, что они имѣли лишь описательный, а не философскій или научный характеръ; развѣ можно, замѣчалъ Тэнъ, называть психологіей страницу, наполненную психологическими замѣчаніями? Чтобы стать наукою, психологія должна была, по мысли Тэна, отъ собиранія отдѣльных фактовъ перейти къ изысканію причинъ. Исследователь долженъ былъ прежде всего отыскать ту психическую причину, отъ которой зависѣли всѣ другія стороны и свойства извѣстнаго явленія и которая давала

имъ общее единство. Такое единство индивидуальная психическая жизнь получала, по мнѣнію Тэна, отъ *основной* или *господствующей* способности; и господство такого же основного начала или силы Тэнь признавалъ въ каждой исторической эпохѣ и во всѣхъ проявленіяхъ духовной жизни каждаго вѣка. „Въ каждомъ вѣкѣ, — говоритъ онъ ¹⁾, — философія, религія, искусство, семейная жизнь и государство получаютъ извѣстный характеръ отъ какой-нибудь господствующей наклонности или способности. Одинъ и тотъ же умъ, одно и то же сердце мыслили, молились, творили воображеніемъ и дѣйствовали въ извѣстномъ обществѣ. Одно и то же общее положеніе или одно и то же прирожденное свойство опредѣляли характеръ и давали направленіе всѣмъ отдѣльнымъ и разнообразнымъ проявленіямъ духовной жизни вѣка. Одна и та же печать отпечатывалась хотя и различно на всемъ этомъ различномъ матеріалѣ“.

Мы уже излагали роль, которую играетъ теорія Тэна „о господствующей способности“ въ его литературной критикѣ и въ его эстетикѣ; а въ началѣ этой главы мы указывали на значеніе, которое можетъ имѣть эта теорія для исторіографіи. Теперь намъ приходится говорить о новой сторонѣ этой теоріи, а именно, она служить Тэну средствомъ для того, чтобы внести *законъ* въ исторію и построить такимъ образомъ свою философію исторіи.

VII.

Откуда это общее единство во всѣхъ явленіяхъ извѣстнаго общества или вѣка? чѣмъ обуславливается эта общая печать, лежащая на религіи, философіи, искусствѣ и государственныхъ учрежденіяхъ извѣстнаго народа? Почему одна общая идея лежитъ въ основаніи всѣхъ проявленій протестантизма? Мы вернулись въ тому пункту, на которомъ, какъ выше было сказано, долженъ былъ остановиться историкъ протестантизма, и можемъ теперь указать, какимъ путемъ Тэнь считаетъ возможнымъ повести изслѣдованіе дальше.

Всякое сложное явленіе, говоритъ Тэнь, возникаетъ изъ стеченія другихъ явленій, болѣе простыхъ. Поэтому и въ мірѣ нравственномъ, какъ и въ мірѣ физическомъ, нужно искать простѣйшія данныя, обуславливающія собою болѣе сложное явленіе. Такое

¹⁾ Предисловія къ первымъ изданіямъ Сборника—Essais de critique et d'Hist., р. 2.

сложное явленіе представляет собою психическое состояніе или міросозерцаніе какого-нибудь народа или какой-нибудь эпохи; а она имѣетъ свою причину, т.-е. сложилась изъ простѣйшихъ данныхъ. Тѣмъ видитъ эти простѣйшія данныя, эти причины — „въ извѣстныхъ общихъ чертахъ, извѣстныхъ свойствахъ ума и чувства, одинаковыхъ у всѣхъ людей извѣстной расы, извѣстнаго вѣка, извѣстной страны“. Тѣмъ сравниваетъ эти первичные психологическіе элементы съ первичными геометрическими элементами, опредѣляющими характеръ кристалловъ, подобно тому, какъ въ минералогіи кристаллы, при всемъ своемъ разнообразіи, происходятъ отъ нѣсколькихъ очень простыхъ геометрическихъ формъ, такъ и цивилизаціи, какъ бы онѣ ни были различны, вытекаютъ изъ нѣсколькихъ простыхъ психическихъ формъ. Эти первичные психическіе элементы, которые лежатъ въ основаніи всей психической жизни, всего историческаго развитія народовъ и расъ, Тѣмъ видитъ въ образахъ или *представленіяхъ* о предметахъ. Эти образы, т.-е. то, что возникаетъ въ человѣкѣ, когда онъ увидѣлъ такое-то дерево или животное, что существуетъ въ немъ нѣкоторое время, потомъ исчезаетъ и снова возвращается — составляютъ матеріалъ психической жизни. Этотъ матеріалъ развивается двойнымъ путемъ: теоретическимъ и практическимъ, т.-е. образы переходятъ съ одной стороны въ *общія понятія*, съ другой — въ *рѣшенія воли*. Въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ заключаются зародыши всѣхъ различій между свойствами народовъ и характеромъ ихъ культуры и исторіи. Эти элементы сами по себѣ кажутся ничтожными, но такъ какъ они дѣйствуютъ одинаково въ цѣлыхъ массахъ людей, то всякое малѣйшее видоизмѣненіе ихъ даетъ въ концѣ развитія громадныя результаты. Смотря потому, отчетливъ ли и цѣленъ ли этотъ образъ, или туманенъ и неопредѣленъ, смотря потому, охватываетъ ли онъ большое или небольшое количество свойствъ въ предметѣ, возникаетъ ли онъ въ человѣкѣ насильственно и потрясая его, или спокойно — всѣ психическія операціи человѣка или извѣстнаго народа принимаютъ различный характеръ.

Съ другой стороны, не менѣе важенъ способъ перехода образовъ въ понятія. „Если, — поясняетъ Тѣмъ свою теорію, — общее понятіе, къ которому ведутъ образы, сухо и прозаично, какъ у китайцевъ, языкъ становится какой-то алгеброй, религія и поэзія атрофируются, философія не идетъ далѣе какого-то трезваго здравомыслія въ нравственныхъ и практическихъ вопросахъ, наука становится собраніемъ рецептовъ, классификаціей, утилитарной мнемотехникой, весь духъ принимаетъ направленіе къ позитивизму“. Этому ходу дѣла Тѣмъ противопоставляетъ богатое ду-

ховное творчество арійской и семитической расы. Въ обоихъ случаяхъ исходной точкой служить способность племени отъ представленія перейти къ *поэтическому и образному понятію*; вслѣдствіе этого у арійцевъ языкъ становится какой-то эпичесей съ богатыми оттѣнками и красками, гдѣ каждое слово является живою личностью; поэзія и религія получаютъ величественное и неисчерпаемое развитіе; метафизика, не заботясь о практическомъ своемъ приложеніи, развивается обширно и уточненно; духъ расы принимаетъ направленіе къ высокому и изящному, и она создаетъ идеалы, способные своимъ благородствомъ и гармоніей привлечь къ себѣ симпатіи и энтузіазмъ всего человѣческаго рода. И у семитовъ понятіе, слагающееся изъ первичныхъ представленій, поэтично, но въ немъ меньше чувства мѣры; оно возникаетъ въ человѣкѣ не постепенно, а посредствомъ внезапнаго напѣя; вслѣдствіе этого въ умѣ семитовъ нѣтъ мѣста метафизикѣ; ихъ религія постигаетъ только Бога-царя, уединеннаго въ своемъ величіи сокрушителя; наука не можетъ развиваться, поэзія вся состоитъ изъ ряда величественныхъ и страстныхъ восклицаній; языкъ не въ состояніи выразить логическое сдѣленіе понятій въ аргументаціи и краснорѣчіи; вся жизнь человѣка изливается въ лирическомъ энтузіазмѣ, въ неудержимой страсти, въ фанатическомъ и нравственно-узкомъ подвигѣ. Пояснивъ свою теорію подобными же замѣчаніями относительно различія въ характерѣ ума между народами арійскими, Тэнъ переходитъ къ вопросу о волѣ. И здѣсь Тэнъ настаиваетъ на значеніи элементарныхъ различій, зависящихъ отъ того, живо ли принятое изъ внѣшняго міра впечатлѣніе, какъ у народовъ южныхъ, или нѣтъ, быстро ли оно переходитъ къ дѣйствию, какъ у варваровъ, или медленно, какъ у народовъ цивилизованныхъ. Здѣсь коренится, по словамъ Тэна, вся система человѣческихъ страстей, всѣ условія мира и безопасности, всѣ источники труда и дѣятельности.

Поэтому-то Тэнъ признаетъ за этими первичными психическими функціями значеніе великихъ двигателей исторіи. Въ нихъ нужно искать настоящія причины событій, ибо онѣ дѣйствуютъ вездѣ и всегда, въ каждый моментъ и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; онѣ неразрушимы и въ концѣ должны остаться побѣдителями, такъ какъ всѣ случайности, имъ препятствующія, ограничены временемъ и сферою своего дѣйствія, и потому принуждены уступить ихъ незамѣтному, но непрерываемому вліянію. „И такимъ образомъ,—заключаетъ Тэнъ,—общій строй міра и главная черта событій—ихъ дѣло, и всѣ религіи, всѣ философіи, всѣ проявленія поэзіи, всѣ формы промышленности, общественности и

семьи, въ концѣ концовъ, не что иное какъ отраженія ихъ вліянія. Эти именно первичные психологическіе элементы, предопредѣляющіе направленіе духовной жизни всѣхъ народовъ и расъ и вызывающіе все разнообразіе культурныхъ явленій, — составляютъ самый видный результатъ психологическихъ изысканій Тэна, самое ядро его теоріи. Отсюда отправляется его изслѣдованіе въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ—внизъ, чтобы связать психологию съ физиологіей, чтобы свести эти первоначальныя психическія функціи на физиологическіе процессы, подлежащіе наблюденію и опыту—вверхъ, чтобы вывести изъ этихъ элементовъ психологическіе законы и превратить исторію въ психическую механику. Обратимъ сначала наше вниманіе въ эту послѣднюю сторону.

Итакъ, зависимость всѣхъ духовныхъ явленій, составляющихъ историческую жизнь народовъ и расъ отъ первоначальныхъ психическихъ операцій ума и воли, есть основной психологическій законъ, который Тэнъ вноситъ въ объясненіе исторіи. Историкъ долженъ прежде всего составить себѣ отчетливое понятіе объ индивидуальныхъ свойствахъ этихъ первичныхъ психологическихъ функцій у изучаемаго имъ народа; они дадутъ ему ключъ къ разнообразнымъ явленіямъ культурной жизни этого народа. Рассматривая воздѣйствіе первичныхъ психологическихъ функцій на культурную жизнь народовъ, Тэнъ приходитъ къ установленію нѣсколькихъ положеній, которыя онъ называетъ громкимъ именемъ историческихъ законовъ. Первое изъ этихъ положеній Тэнъ называетъ закономъ взаимной зависимости явленій—*loi des dépendances mutuelles* ¹⁾).

Для поясненія этого закона Тэнъ предлагаетъ читателю подробно познакомиться съ литературными и художественными произведеніями какой-нибудь эпохи или какого-нибудь общества. Въ результатъ у читателя явится извѣстное общее впечатлѣніе, смутное сознаніе какого-то соответствія между всѣми явленіями, прошедшими передъ его глазами. Чтобы разобраться въ этомъ впечатлѣніи, читатель долженъ будетъ распределить отмѣченные имъ факты по группамъ, смотря по тому, къ какой области они относятся. Ибо нѣкоторыя изъ областей духовной жизни соприкасаются ближе другъ къ другу, чѣмъ къ остальнымъ. Тэнъ такимъ образомъ признаетъ три главныя группы: одну составляютъ великія произведенія человѣческаго духа—религія, философія и искусство; другую—великіе результаты человѣческаго общенія

¹⁾ О немъ всего подробнѣе Тэнъ говоритъ въ предисловіи къ послѣднимъ изданіямъ своихъ *Essais*.

— семья и государство; третью — матеріальные результаты чело-вѣческаго труда, промышленности, торговли и земледѣлія. Связь каждой группы основана на томъ, что одинъ общій элементъ входитъ во всѣ ея явленія. Такимъ общимъ элементомъ въ первой группѣ является представленіе людей о мірѣ и о дѣйствующемъ въ мірѣ принципѣ, — такъ что, какъ выражается Тэнь, искусство можно назвать философій, принявшей наглядные образы; религію — поэзіей, сдѣлавшей ее предметомъ вѣры, а философію — искусствомъ и религіей, выраженными въ логическихъ формулахъ и отвлеченныхъ идеяхъ.

Подобнымъ образомъ вторая группа — семья и государство, при всемъ различіи условій ихъ существованія, соединены однимъ общимъ элементомъ — чувствомъ подчиненія или повиновенія.

Если затѣмъ читатель, — говоритъ Тэнь, — сопоставитъ между собою результаты, къ которымъ его привели наблюденія въ различныхъ областяхъ, выше означенныхъ, то онъ замѣтитъ во всѣхъ этихъ результатахъ извѣстныя общія черты; онъ придетъ къ убѣжденію, что однѣ и тѣ же способности и однѣ и тѣ же потребности вызвали, напримѣръ, какъ философію данной эпохи, такъ и религію, и искусство ея. Какъ бы ни была обширна и сложна извѣстная цивилизація, всѣ отдѣльныя части ея соединены *взаимной зависимостью*, и эта зависимость обусловлена всеобщимъ присутствіемъ извѣстныхъ способностей и извѣстныхъ наклонностей.

Въ поясненіе этой мысли Тэнь приводитъ въ примѣръ цивилизацію древней Индіи, Греціи и Рима, указывая, какъ у каждого изъ этихъ трехъ народовъ религія, философія и поэзія отличались общими чертами и были пронизаны общимъ духомъ, и какъ все это зависѣло отъ психическихъ свойствъ этихъ народовъ, различнымъ образомъ формулировавшихъ представленіе о мірѣ и о божествѣ. Мы не остановимся на этомъ примѣрѣ, такъ какъ уже имѣли случай говорить объ аналогическомъ явленіи, — о французской культурѣ въ вѣкъ Людовика XIV, всѣ проявленія которой — религія, философія, государственный строй, театр, общественная жизнь, семейные нравы, декоративная сторона жизни — до убранства домовъ и садовъ, — все отмѣчено однимъ общимъ началомъ. Но мы не обойдемъ мѣткаго и характернаго для Тэна примѣра, который онъ приводитъ для объясненія связи между явленіями семейной и государственной жизни. И та, и другая основана на чувствѣ повиновенія, но результатъ будетъ весьма различенъ, смотря по тому, какъ національныя или расовыя свойства видоизмѣняютъ это чувство.

„Если, — говоритъ Тэнь, — это повиновеніе будетъ основано на

страхъ, то въ семьѣ мы увидимъ порабощеніе женщины и гаремную жизнь, въ государствѣ—грубый деспотизмъ, многочисленность казней, эксплуатацію подданнаго, холопство въ правахъ, необеспеченность собственности, скудную производительность. Если чувство повиновенія будетъ проистекать изъ инстинкта дисциплины, общественности и чести, то результатомъ его будутъ отличная военная организація, стройная административная іерархія, отсутствіе общественнаго духа рядомъ съ вспышками патріотизма, исполнительное послушаніе подданныхъ на ряду съ революціонными замашками, угодливые поклоны придворныхъ и оппозиція „честнаго“ челоѣка, а въ семейной жизни—утонченное наслажденіе салонной бесѣдою и раздоръ семейнаго очага, равенство мужа и жены и плохіе браки подъ необходимымъ давленіемъ закона. Если же, наконецъ, чувство повиновенія будетъ корениться въ инстинктѣ субординаціи и въ идеѣ долга, мы увидимъ—какъ у германскихъ націй—обеспеченность и счастье въ брачѣ, прочность домашней жизни, медленное и неполное развитіе свѣтскости, прирожденное уваженіе къ установленной іерархіи въ государствѣ, суевѣрную привязанность къ прошедшему, сохраненіе соціальнаго неравенства, прирожденное и привычное уваженіе къ закону“.

Отправляясь въ своемъ опредѣленіи восточнаго быта отъ Монтескьё, который призналъ страхъ созидательнымъ принципомъ азіатскихъ государствъ, Тэнъ на приведенной здѣсь страницѣ далъ три характеристики расовой культуры, которыя по своей мѣткости, глубинѣ и значенію для исторіи не уступаютъ тремъ извѣстнымъ политическимъ формуламъ автора „Духа законовъ“.

Культурные портреты Тэна, приведенные имъ для иллюстраціи формулированнаго имъ отвлеченнаго закона „взаимной зависимости“, такъ живы, тонки и полны исторической правды, что придаютъ, можно сказать, главную цѣну самому закону. И въ данномъ случаѣ можно придти къ выводу, что отвлеченныя формулы и законы Тэна получаютъ жизнь и значеніе, благодаря тѣмъ мастерскимъ картинамъ, которымъ тѣ служатъ какъ бы внѣшними рамками.

Такимъ образомъ, въ силу закона взаимной зависимости, всякая цивилизація представляетъ собою цѣльную систему, всѣ части которой въ такой же взаимной связи между собою, какъ и части органическаго тѣла. Отсюда Тэнъ дѣлаетъ выводы, что, благодаря этому закону, опытный историкъ, изучивъ одну какую-либо область извѣстной цивилизаціи, можетъ понять и, такъ сказать, предугадать другія изъ этихъ областей; зная, напримѣръ, религію или фило-

софію, онъ можетъ составить себѣ напередъ понятіе о литературѣ и искусствѣ у даннаго народа.

Отсюда, кромѣ того, Тэнъ выводитъ еще другой историческій законъ о соотвѣтствующемъ вліяніи (*loi de l'influence proportionnelle*). Если всякая данная культура представляетъ собою такую же стройную систему, какъ и какой-нибудь организмъ, то къ исторіи можно примѣнить законъ, наблюдаемый въ органической жизни, а именно, что измѣненіе одного органа влечетъ за собою соотвѣтствующее его важности измѣненіе въ другихъ. Въ силу этого можно утверждать, что всякое измѣненіе, проявившееся въ какой-нибудь одной области культуры, въ государственномъ строѣ или въ религіи, должно повліять на литературу, искусство, философію и т. д. Такъ какъ Тэнъ не развиваетъ этой мысли подробнѣе и не обставляетъ ее никакими доказательствами или примѣрами, то и мы не станемъ останавливаться на этомъ законѣ.

Но мы находимъ у Тэна еще другой законъ, играющій болѣе важную роль въ его философіи исторіи. Законъ *соразмѣрнаго вліянія* есть какъ бы только видоизмѣненіе закона взаимной зависимости или дополненіе къ нему. Они вмѣстѣ составляютъ какъ бы одинъ законъ. По установленіи этого закона „остается сдѣлать еще одинъ шагъ“, какъ говоритъ Тэнъ. До сихъ поръ шло дѣло о связи вещей *одновременно* существующихъ; теперь должна зайти рѣчь о связи явленій, *слѣдующихъ* другъ за другомъ; явленія одновременныя взаимно вліяютъ другъ на друга. Въ явленіяхъ, слѣдующихъ другъ за другомъ, первое вліяетъ на послѣдующее, является, такимъ образомъ, его условіемъ. Отсюда законъ *условности*, какъ его называетъ Тэнъ—*loi des conditions*.

Всякая историческая эпоха отличается, какъ мы видѣли, извѣстными существенными чертами, изъ которыхъ могутъ быть выведены всѣ остальные черты. Эти существенныя черты могутъ быть опредѣлены какою-нибудь краткой, но точной и выразительной фразой, — которая какъ бы будетъ представлять собою формулу, выражающую собою сущность данной эпохи. Если съ этою эпохою сопоставить ту, которая ей предшествовала, и затѣмъ еще нѣсколько предыдущихъ, то можно будетъ подмѣтить одну общую между ними черту, — а именно духъ, свойственный племени, передаваемый изъ поколѣнія въ поколѣніе и остающійся тѣмъ же при всѣхъ измѣненіяхъ въ культурѣ и политической организаціи и среди всего разнообразія историческихъ результатовъ. Этотъ духъ, однажды установившись, болѣе или менѣе расположенъ къ дисциплинѣ или къ личной независимости, болѣе или менѣе способенъ къ логическому разсужденію или къ поэти-

ческому чувству. Во всякій данный моментъ въ теченіе извѣстнаго періода этотъ духъ дѣлаетъ свое дѣло, и его свойство въ соединеніи съ свойствомъ созданнаго имъ дѣла является *условіемъ* слѣдующаго за этимъ историческаго дѣла или результата, подобно тому какъ въ организмѣ прирожденный темпераментъ въ соединеніи съ даннымъ состояніемъ становится *условіемъ* слѣдующаго за этимъ состоянія. Какъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ исторіи данное условіе достаточно и необходимо для осуществленія своего результата; если условіе на-лицо, результатъ неминуемъ; если его нѣтъ, результатъ не можетъ явиться въ жизни. Духъ англійскаго народа и деспотизмъ Тюдоровъ, преемственно перешедшій къ Стюартамъ, вызвали на свѣтъ англійскую революцію. Чтобы произвести при Львѣ X это великолѣпное цѣтеніе изобразительныхъ искусствъ, понадобился духъ итальянскаго народа съ его способностью къ раннему развитію и съ его свойствомъ представлять себѣ міръ въ живописныхъ образахъ, и, кромѣ того, нужна была продолжительная пора средневѣковья съ его энергическими нравами и физическими инстинктами. „Пусть, говоритъ Тэнъ, читатель произведетъ опытъ на какой угодно эпохѣ; если онъ близко и систематически познакомится съ предметомъ, если онъ постепенно будетъ переходить отъ свойствъ, господствующихъ надъ жизнью мелкихъ группъ, къ группамъ болѣе обширнымъ, если онъ будетъ внимательно исправлять свои формулы и неустанно ихъ точнѣе опредѣлять, если онъ привыкнетъ ясно видѣть тѣ свойства и общія положенія (*ces qualités et ces situations générales*), которыя простираютъ свое господство надъ цѣлыми народами или вѣками, — тогда онъ убѣдится, что они находятся въ зависимости отъ такихъ же общихъ свойствъ и положеній; что когда дана первая, должна наступить и вторая, что всѣ эти свойства и общія положенія разыгрываютъ великую игру исторіи, что они творятъ и разрушаютъ цивилизаціи своимъ согласнымъ или несогласнымъ дѣйствіемъ, и что наша эфемерная жизнь — не что иное какъ волна въ ихъ потокахъ.

VIII.

Такимъ образомъ, вся исторія сводится въ глазахъ Тэна къ дѣйствію законовъ и силъ, которыя могутъ быть выражены формулами; вся исторія въ своемъ конечномъ результатѣ становится рядомъ формулъ. На самомъ дѣлѣ, „всякая группа явленій, составляющихъ исторію извѣстнаго вѣка, по словамъ Тэна, получаетъ

свое единство, свою сущность и свою жизнь отъ закона или силы, которая производитъ и опредѣляетъ всѣ частности и всѣ тысячи случайностей, сталкивающихся между собою во времени, и только вліяютъ не поверхность историческаго потока, не измѣняя его теченія. Всѣ выдающіяся черты или свойства извѣстной эпохи вытекаютъ изъ первоначальной формулы, и онѣ имѣютъ значеніе лишь потому, что изъ нея вытекаютъ. Онѣ приходятъ не извнѣ, а происходятъ изъ самой сущности вѣка; онѣ составляютъ цѣлое, изъ котораго ничто не можетъ быть устранено безъ того, чтобы все остальное не погибло; онѣ выражаютъ собою общую силу, вездѣ присущую и дѣйствующую, господствующую надъ всѣми крупными явленіями, направляющую всѣ великія событія. Только эта сила одна и интересуетъ философа, ибо, по выраженію Аристотеля, общее (l'universel) есть единственный предметъ науки. Создать эту силу было назначеніемъ всего предшествующаго вѣка; подъ ея давленіемъ сложится весь грядущій вѣкъ. Каждый изъ этихъ вѣковъ предполагаетъ своего такимъ образомъ предшественника и предсказываетъ своего преемника. *Цѣль исторіи* — не въ томъ, чтобы тонуть, какъ этого требуютъ теперь, въ массѣ подробностей, но чтобы подняться до этой державной силы (force maîtresse), включить ее для каждаго вѣка въ особую формулу, связать эти формулы между собою, отмѣтить необходимость, въ силу которой одна вытекаетъ изъ другой, и распознать, наконецъ, унаслѣдованный типъ и первоначальное положеніе, изъ которыхъ развилось все остальное“ ¹⁾.

Тэнъ, впрочемъ, въ другомъ мѣстѣ еще нѣсколько иначе формулируетъ задачу исторіи. Выше было имъ сказано, что исторія должна отъ фактовъ восходить къ причинамъ, должна такую-то религію, такое-то искусство объяснять духовнымъ состояніемъ среды, создавшей эту религію, это искусство. Обогатившись этими результатами и исходя отъ нихъ, исторія можетъ, по словамъ Тэна, поставить себѣ задачею изслѣдованіе общихъ условій, необходимыхъ для возникновенія религіи, искусства и т. д. Исторія, такимъ образомъ, въ состояніи не только указывать причину такой-то религіи или такого-то искусства, но устанавливать общій законъ, управляющій извѣстной духовною областью, объясняющій происхожденіе религій и отдѣльных формъ искусства вообще. Ибо каждый видъ человѣческаго творчества: литература, музыка, живопись, философія, наука, политика, промышленность, имѣетъ

¹⁾ Предисловіе къ первымъ изданіямъ *Essais de critique...* p. 18. Въ послѣднемъ изданіи этого мѣста нѣтъ.

свой „особый корень въ обширномъ полѣ человѣческой психологіи“, имѣть свою причину, вмѣстѣ съ которой онъ возникаетъ и вмѣстѣ съ которой исчезаетъ, слабость и сила которой обуславливаетъ его слабость или силу. Существуетъ особое состояніе духа, особая система впечатлѣній и психическихъ процессовъ, для музыканта, живописца, для основателя секты, для варвара и политически развитого человѣка; у каждаго изъ нихъ чередованіе силъ и взаимная зависимость идей и чувствъ различны, у каждаго изъ нихъ своя особая духовная исторія и свое психологическое строеніе съ какимъ-нибудь господствующимъ надъ другими свойствами и съ какою-нибудь преобладающею чертою. Вотъ это-то и опредѣляетъ предстоящую задачу исторіи; на ея обязанности лежить установить „законы человѣческой произрастительности“ (*la végétation humaine*), изслѣдовать специальную психологію каждаго вида человѣческаго творчества и составить полную картину условій, его вызывающихъ“.

Хотя такимъ образомъ исторіи предлагаются двѣ различныя задачи, но общій характеръ ея отъ этого не измѣняется. Будетъ ли историкъ подводить подъ особую формулу явленія каждаго вѣка и затѣмъ изъ ряда этихъ формулъ выводить общую формулу человѣческой исторіи въ ея хронологическомъ развитіи, или же историкъ будетъ устанавливать формулу для возникновенія каждой особой дѣятельности человѣческаго духа—религіи, музыки и т. д.,—въ обоихъ случаяхъ конечная цѣль исторіи будетъ заключаться въ составленіи отвлеченныхъ формулъ. А если это такъ, то исторія приметъ видъ громаднаго механизма, дѣйствія котораго можно вычислять и опредѣлять по точнымъ формуламъ.

Тэнъ нисколько не отклоняетъ отъ себя такой аналогіи между исторіей и механикой. Напротивъ, онъ самъ ее устанавливаетъ, самъ отождествляетъ историческую науку съ механикой. По его мнѣнію, исторія, подобно механикѣ, имѣетъ дѣло только съ *силами*,—правда, съ *психическими* силами,—и она должна, подобно механикѣ, измѣрять эти силы, *взвѣшивать* ихъ результаты, подводить ихъ дѣйствія подъ формулы, производить сочетанія такихъ формулъ и при помощи ихъ угадывать съ достовѣрностью неизбѣжный результатъ дѣйствующихъ въ механизмѣ силъ. Тэнъ хвалилъ своего предшественника въ психологическомъ объясненіи историческихъ явленій—Стендаля, особенно за то, что онъ обращался съ чувствами, имъ анализированными, „какъ съ ними слѣдуетъ обращаться“, т.-е. какъ *натуралистъ* и физикъ, производя классификацію, къ какой высотѣ градусника его слѣдуетъ приурочить. Но хотя бы средства отмѣчать явленія въ наукахъ нравствен-

ныхъ и въ наукахъ физическихъ не одни и тѣ же, однако, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ матеріалъ одинъ и тотъ же и одинаково состоитъ изъ силъ, изъ количества и направленія силъ, то можно сказать, что въ тѣхъ и другихъ окончательный результатъ складывается на основаніи того же закона. Этотъ результатъ великъ или малъ, смотря потому, велики или малы основныя, создавшія его силы...

Отождествившись такимъ образомъ въ своихъ приемахъ съ механикой, исторія въ полномъ смыслѣ слова сдѣлается наукою, и въ награду за это Тэнъ сулитъ ей способность *предусматривать будущее*. „Какъ скоро мы будемъ знать, — говоритъ Тэнъ, — необходимыя и достаточныя условія великихъ явленій человѣческаго творчества, мы овладѣемъ будущимъ, также какъ мы овладѣли прошедшимъ. Мы будемъ въ состояніи съ увѣренностью сказать, при какихъ условіяхъ они снова появятся, мы будемъ въ состояніи безъ опрометчивости предвидѣть многія страницы нашей грядущей исторіи и съ осторожностью намѣтить нѣкоторыя черты ея дальнѣйшаго развитія“¹⁾.

Для самого Тэна главные факторы, вліяніемъ которыхъ онъ объясняетъ человѣческое творчество и ходъ исторіи — раса, среда и моменты, — не что иное, какъ *силы*, и послѣдній изъ этихъ факторовъ объясняется опредѣленіемъ, заимствованнымъ изъ механики — *импульсъ приобретенной скорости движенія*. Историческій законъ, которымъ Тэнъ хочетъ объяснить образованіе „крупныхъ историческихъ теченій“ или эпохъ, напр. ренессанса, классическаго вѣка во Франціи и т. п., является закономъ механическимъ. Говоря объ этихъ эпохахъ, Тэнъ замѣчаетъ: „во всемъ этомъ, какъ и вездѣ, предъ нами лишь проблема механики; общій результатъ — не что иное, какъ сложная величина, опредѣляемая количествомъ и направленіемъ силъ, ее произведшихъ“. И не слѣдуетъ думать, чтобы формула Тэна — „исторія не что иное, какъ проблема психической механики“ — была основана только на аналогіи и имѣла лишь метафорическій смыслъ. Единственное различіе, — говоритъ Тэнъ, — которое отдѣляетъ эти духовныя проблемы отъ проблемъ физическихъ, заключается въ томъ, что величина и направленіе силъ не могутъ быть въ первомъ случаѣ такъ измѣряемы и точно опредѣляемы, какъ во второмъ. Хотя какая-нибудь потребность или какая-нибудь способность есть также известное количество, которое можетъ быть больше или меньше, это количество не поддается измѣренію, подобно количеству какого-

¹⁾ Введ. къ Ист. Лит., франц. текстъ, стр. 43.

нибудь давленія или тяжести; мы не можемъ опредѣлить его точно или приближительною формулою, мы можемъ составить себѣ о ней и передать другимъ только литературное впечатлѣніе; намъ предоставлено только отмѣтить и привести выдающіеся факты, въ которыхъ оно обнаруживается и которые указываютъ лишь приблизительно, очень грубо.

Противъ такого отождествленія исторіи съ механикой Тэнъ предвидитъ только одно возраженіе: „какую сухость, скажутъ намъ, и какую непривлекательность получить исторія, сведенная на геометрію силъ!“ — на что Тэнъ отвѣчаетъ, что „исторія не имѣетъ своей задачей развлеченіе“. Онъ однако не удовлетворяется однимъ этимъ отвѣтомъ и утѣшаетъ читателя пантеистической идеей тождества индивидуальнаго я съ созидающими исторію силами и изображеніемъ величественнаго потока исторіи цивилизаціи. „Эти силы, — говоритъ Тэнъ, — которыя управляютъ человѣкомъ, всецѣло принадлежать міру человѣка. Это не что иное, какъ страсти, употребляемыя въ дѣло способностями, и способности, вызываемыя страстями. Это не что иное, какъ неизмѣнныя способы мыслить и чувствовать, присущіе человѣку или племени, отъ его рожденія до смерти. Нѣчто подобное живетъ въ насъ самихъ, и мы не можемъ видѣть ихъ въ другихъ безъ того, чтобы они не пробудились въ насъ самихъ и не затрепетали въ глубинѣ нашего сердца. Я рѣшаюсь сказать больше: эти силы — не что иное, какъ мы сами; онѣ составляютъ нашу сущность и наше бытіе; онѣ пришли къ намъ черезъ цѣлый рядъ вѣковъ и проникли въ насъ вмѣстѣ съ нашимъ сознаніемъ и кровью. Въ насъ нѣтъ ни одной идеи и ни одного чувства, источникъ которыхъ мы не могли бы указать, и путь которыхъ мы не могли бы прослѣдить. Эта привычка все анализировать пришла къ намъ отъ XVII вѣка; эта свобода мысли началась во время ренесанса; этотъ глубокій потокъ скорби прорытъ средними вѣками и т. д. Вся исторія содѣйствовала созиданію того существа, которое мы представляемъ, и прошедшее, сохранившись въ настоящемъ, пробуждается такимъ образомъ къ новой жизни. Это прошедшее поэтому такъ же интересно, какъ настоящее, оно даже въ тысячу разъ интереснѣе. Ибо эти способности и эти страсти, пошлыя въ каждомъ изъ насъ являются величественными въ великихъ людяхъ прошлаго и въ большихъ массахъ. Онѣ получаютъ значеніе отъ генія, въ которомъ онѣ олицетворялись, отъ вѣка, которымъ они управляли. Такая-то изъ нихъ создала религію въ Палестинѣ, другая — имперію въ Римѣ, третья — философію въ Греціи; такія-то создали

цѣлый міръ въ Китаѣ и въ Индіи“¹⁾. „Вглядѣвшись въ эти силы хоть короткое время, человѣкъ обниметъ своимъ взоромъ то цѣлое, которымъ онѣ управляютъ; онъ увидитъ въ нихъ уже не отвлеченныя формулы, но какъ бы живыя силы, присущія явленіямъ, вездѣсущія, повсюду дѣйствующія—настоящихъ боговъ человѣческаго міра, подающихъ руку другимъ, стоящимъ ниже ихъ, силамъ и господствующимъ надъ матеріей, подобно тому, какъ онѣ сами управляютъ духомъ, чтобы вмѣстѣ составить тотъ невидимый хоръ, о которомъ говорятъ древніе поэты, тотъ хоръ, который слышится во всѣхъ явленіяхъ міра и вноситъ жизнь въ вѣчное мірозданіе“²⁾.

IX.

Такова цѣль, которой можетъ достигнуть исторія съ помощью психологіи. Обратившись въ прикладную психологію или психическую механику, исторія становится стройнымъ міромъ, управляемымъ такими же опредѣленными, непреложными законами, какъ и міръ физическій. Но этимъ еще не ограничивается, по мысли Тэна, услуга, которую психологія можетъ оказать исторіи. На самомъ дѣлѣ, психологія можетъ сдѣлаться связующимъ звеномъ между исторіей человѣчества и физическимъ міромъ. Она можетъ не только установить *аналогію* между историческими процессами и процессами физическаго міра; благодаря ей, можетъ быть установлено, что эти историческіе процессы—не что иное, какъ *слѣдствіе* физическихъ процессовъ, что законы исторіи основаны на законахъ физическаго міра.

Психологія научила историка, что онъ долженъ искать причины событій въ элементарныхъ психическихъ функціяхъ *представленія* и *воли*, свойственныхъ каждой расѣ. Далѣе этихъ первичныхъ данныхъ историкъ, какъ выразился Тэнъ, не можетъ идти. Но нѣтъ ли возможности проложить для изслѣдованія еще дальнѣйшій путь? Нѣтъ ли средства прослѣдить глубже корни этихъ простѣйшихъ психическихъ элементовъ, объяснить способъ ихъ возникновенія, отыскать ихъ причины?

Тэнъ самъ сдѣлалъ попытку содѣйствовать разрѣшенію этой проблемы и установить связь между психической жизнью и физической. Знакомство съ этой попыткой откроетъ передъ нами

¹⁾ Первое предисловіе къ *Essais de Critique*.

²⁾ Новое предисловіе къ *Essais de Critique*, стр. 19.

совершенно новую сторону научной дѣятельности Тэна и его отношеній къ естественнымъ наукамъ. До сихъ поръ вліяніе естественныхъ наукъ на изслѣдованіе явленій духовнаго міра ограничивалось у него примѣненіемъ ихъ метода къ объясненію этихъ явленій и установленіемъ аналогій между физическими и психическими процессами; теперь естественныя науки являются сами на сцену, и ихъ результаты непосредственно примѣняются къ объясненію духовныхъ явленій. Тэнъ начинаетъ искать самыя причины духовныхъ процессовъ въ процессахъ физическихъ и пытается перекинуть мостъ изъ области психологіи въ область фізіологіи.

Какъ психологъ, Тэнъ пошелъ дорогою, которая была открыта въ прошломъ вѣкѣ Кондильякомъ; онъ возстановилъ „великую истину, угаданную Кондильякомъ и сто лѣтъ остававшуюся погребенною и какъ бы мертвою, по отсутствію достаточныхъ доказательствъ“. Эта „плодотворная“ теорія заключалась въ томъ, что основаніе всѣхъ нашихъ общихъ идей составляетъ ощущеніе (*sensations*). Наши общія идеи — только *знаки*, подобно знакамъ, употребляемымъ въ геометріи или алгебрѣ, и этими знаками мы обозначаемъ извѣстные, возникающіе въ насъ, образы. Эти образы — не что иное, какъ сохранившіеся въ насъ и произвольно возрождающіеся ощущенія. Но Тэнъ не могъ довольствоваться раціоналистическимъ методомъ, господствовавшимъ въ XVIII вѣкѣ; обладая всѣми научными данными нашего вѣка, онъ къ логическому анализу психическихъ явленій присоединилъ фізіологическій анализъ ощущеній, чтобы этимъ путемъ разложить психическія явленія на самыя мелкіе первичные элементы, свести общія идеи къ ощущеніямъ, а ощущенія — къ молекулярнымъ движеніямъ въ нервныхъ центрахъ.

Эта задача и составляетъ главное содержаніе сочиненія Тэна: „*L'Intelligence*“. Рассмотрѣвъ въ первомъ томѣ представленія и идеи, а затѣмъ образы и законы, по которымъ эти образы возобновляются въ сознаніи] человѣка и исчезаютъ, Тэнъ переходитъ къ ощущеніямъ и вступаетъ на почву фізіологіи. Здѣсь Тэнъ подробно излагаетъ богатые результаты наблюденій современныхъ фізіологовъ надъ ощущеніями слуха, зрѣнія и другихъ чувствъ, отсюда переходитъ къ изученію функцій нервныхъ центровъ и отдѣльных частей мозга и, наконецъ, рассматриваетъ отношеніе этихъ функцій къ психическимъ явленіямъ и личному сознанію. Последнія главы перваго тома: „человѣческая личность“ и „фізіологическая индивидуальность“, представляютъ собою выводы, къ которымъ приводитъ Тэна фізіологія душевныхъ явленій. Подго-

товивъ, такимъ образомъ, весь нужный матеріалъ, Тэнъ во второмъ томѣ своего сочиненія строитъ свою *теорію познаній*. Объяснивъ общій механизмъ познанія, Тэнъ рассматриваетъ его отдѣльные виды *познаванія тѣлъ*, или внѣшняго міра, *познаванія духа*, или человѣческаго я, и познаванія общихъ идей и законовъ, или науки.

Областью *ума*—l'intelligence—ограничивается психологическое изслѣдованіе Тэна; онъ не коснулся другой стороны своего предмета—перехода представлений въ рѣшенія, т.-е. области *воли*.

Изъ этихъ указаній видно, что содержаніе книги „L'Intelligence“ чрезвычайно спеціально. Если это можно сказать о психологической его части, то тѣмъ болѣе относится это къ тѣмъ отдѣламъ книги, которые непосредственно касаются физиологіи.

Тэнъ раскрываетъ здѣсь передъ читателемъ новую область своего обширнаго знанія и новую сторону своего таланта. Онъ обнаруживаетъ обстоятельное знакомство съ результатами современной физиологіи и съ трудами извѣстнѣйшихъ въ этой наукѣ ученыхъ, и читатель, любовавшійся тонкимъ анализомъ и блестящимъ воображеніемъ Тэна въ области литературной и художественной критики, пораженъ здѣсь точностью и чистотою изслѣдованія ученаго натуралиста. Было бы чрезвычайно интересно, если бы какой-нибудь специалистъ по физиологіи подвергъ научной оцѣнкѣ трудъ Тэна въ этой области, но нужно однако прибавить, что какая бы степень самостоятельности и оригинальности ни была признана за физиологическими изслѣдованіями Тэна, они носятъ на себѣ лишь эпизодическій характеръ въ общемъ итогѣ его ученой дѣятельности. Для насъ изслѣдованія Тэна въ области физиологіи и ея примѣненія къ психологіи важны не столько сами по себѣ, сколько по отношенію къ общимъ, высказаннымъ здѣсь, взглядамъ Тэна. И въ этомъ отношеніи особеннаго нашего вниманія заслуживаютъ четыре вопроса: значеніе общихъ идей, патологическіе процессы сознанія, вопросъ о человѣческой личности—и объ отношеніяхъ внѣшняго, физическаго міра къ духовному.

Читателямъ книги Тэна о французской революціи должно было броситься въ глаза какое-то нерасположеніе ея автора къ общимъ идеямъ XVIII-го вѣка и къ отвлеченному направленію мысли въ тогдашнемъ обществѣ. Многимъ можетъ показаться, что такое нерасположеніе обусловлено несочувствіемъ Тэна къ *результатамъ*, къ которымъ привела французовъ отвлеченность ихъ политическихъ идеаловъ. Однако въ психологіи Тэна читатель найдетъ *научную* основу указанного настроенія этого автора; оно

объясняется всею его теоріей познанія, его общимъ взглядомъ на природу человѣка и на происхожденіе процессовъ мысли изъ ощущеній и процессовъ фізіологическихъ.

Для рационалистически настроеннаго и на реторикѣ воспитаннаго общества XVIII-го вѣка отвлеченныя понятія и общія идеи имѣли абсолютную цѣну; дѣйствительность, реальный міръ, изъ котораго они были извлечены, имѣли лишь значеніе грубаго матеріала. Для Тэна отвлеченныя понятія только какъ бы алгебраическіе *знаки*, въ которыхъ нуждается умъ; *средства*, чтобы разобратся въ дѣйствительности, которая одна имѣетъ абсолютную цѣну. Читая книгу Тэна, мы какъ будто присутствуемъ при возобновеніи—на новыхъ условіяхъ—стариннаго спора между реалистами и *номиналистами* среднихъ вѣковъ. Подобно номиналистамъ, которые видѣли въ метафизическихъ *сущностяхъ* (entités) только названія, имена, Тэнъ старается разрушить смыслъ сохранившихся въ современномъ обиходѣ сущностей. „Надо оставить въ сторонѣ,—говоритъ онъ,—такія слова, какъ *разсудокъ*, *разумъ*, воля, личность (pouvoir personnel) и даже слово я, подобно тому какъ были оставлены слова: жизненная сила, цѣлительная сила (vis medicatrix), растительная душа; это не что иное какъ литературныя метафоры; все значеніе ихъ въ томъ, что они представляютъ нѣкоторое удобство въ качествѣ выраженій, сокращающихъ и выражающихъ итоги для обозначенія общаго состоянія и цѣльнаго эффекта. Все, что наблюдатель-фізіологъ находитъ въ глубинѣ живого существа—это различнаго рода клѣточки, способныя къ самопроизвольному развитію и видоизмѣняемыя при этомъ развитіи содѣйствіемъ или антагонизмомъ сосѣднихъ клѣточекъ. Все, что наблюдатель-психологъ находитъ въ глубинѣ мыслящаго существа,—это, кромѣ ощущеній, образы разнаго рода, первичныя или сложныя, обладающіе извѣстными стремленіями (напримѣръ стремленіемъ вновь возникнуть въ представленіи) и видоизмѣняемые въ своемъ развитіи содѣйствіемъ или антагонизмомъ другихъ образовъ, одновременныхъ или соприкасающихся“ ¹⁾.

Изъ этой борьбы противъ философскихъ *сущностей* не слѣдуетъ, конечно, чтобы Тэнъ недостаточно цѣнилъ значеніе общихъ понятій въ области логики и мышленія. Напротивъ, онъ вноситъ въ избытій школьною логикою вопросъ объ образованіи общихъ понятій изъ частныхъ представленій—свѣжій интересъ. Его наблюденія надъ тѣмъ, какъ складываются у маленькихъ дѣтей общія понятія, чѣмъ они отличаются отъ понятій взрослыхъ и

¹⁾ De l'Intell., I. 123.

какъ они постоянно *исправляются* и сводятся къ обще-принятымъ понятіямъ—всѣ эти наблюденія оживляютъ его разсужденія объ отвлеченныхъ логическихъ терминахъ струей дѣйствительной жизни и заслуживаютъ вниманія педагоговъ и лингвистовъ. Но, цѣня важность общихъ понятій для мыслительнаго процесса, Тэнъ постоянно выставляетъ на видъ, какъ они въ то же время удаляютъ человѣка отъ реальной дѣйствительности и жизненной правды. Чѣмъ обобщеннѣе общее понятіе, тѣмъ оно дальше отъ жизни, тѣмъ болѣе оно представляетъ безжизненное *извлеченіе* изъ нея. Исходной точкой мыслительнаго процесса, ведущаго къ общимъ понятіямъ, всегда бываетъ частный фактъ, единичный индивидуумъ. Возьмемъ, напримѣръ, отдѣльнаго человѣка. Наблюденія надъ нимъ вызываютъ въ насъ цѣлый рядъ или группу представленій, группу очень богатую содержаніемъ; мы убѣдимся въ этомъ богатствѣ, если начнемъ описывать внѣшній образъ или характеръ видѣннаго нами человѣка. Но возьмемъ теперь нѣсколько однородныхъ людей, напримѣръ французовъ; отъ индивидуума поднимемся къ понятію извѣстнаго народа; мы получимъ понятіе, общія черты котораго раскинуты на большомъ пространствѣ и существуютъ на протяженіи долгаго времени, такъ какъ встрѣчаются въ длинномъ рядѣ преемственныхъ поколѣній; но зато это общее понятіе, такимъ образомъ нами полученное, много бѣднѣе содержаніемъ частнаго понятія, лежавшаго въ его основаніи; его общія черты гораздо менѣе многочисленны, ибо всѣ черты, отдѣляющія одинъ индивидуумъ отъ другихъ, отброшены, и *общій типъ*, полученный въ итогъ, посредствомъ сокращенія общихъ чертъ представляетъ лишь *остатокъ*. Этотъ остатокъ еще сократится, по мѣрѣ того какъ мы будемъ подниматься къ еще болѣе общимъ понятіямъ европейца или *человѣка*.

Подобную операцію мы можемъ совершить въ области естественныхъ наукъ; по мѣрѣ того какъ мы будемъ возвышаться отъ вида къ роду, отъ рода къ семейству, отъ семейства къ порядку, отъ порядка къ царству, общій типъ будетъ расширяться, приобрѣтая новыхъ представителей, и въ то же время будетъ скупѣвать, теряя нѣкоторыя изъ своихъ общихъ чертъ.

Такимъ образомъ, общія понятія, располагаясь ярусами другъ надъ другомъ, становясь все болѣе и болѣе универсальными, вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе утрачиваютъ содержаніе. Лежащія въ ихъ основаніи элементы—дѣйствія, состоянія или факты—заклучаютъ въ себѣ чрезвычайно сложныя данныя и имѣютъ свою собственную окраску. Изъ этихъ элементовъ посредствомъ отвлеченія получается индивидуумъ. Если мы отсѣчемъ отъ такого инди-

видуума всѣ личныя черты, въ остаткѣ получится понятіе породы, т.-е. типъ, присущій въ этомъ индивидуумѣ и многимъ другимъ. Извлеченіемъ изъ этого остатка будетъ видъ, т.-е. типъ, присущій нѣсколькимъ породамъ. Извлеченіемъ изъ этого извлеченія будетъ родъ, т.-е. типъ, присущій нѣсколькимъ видамъ. Такимъ образомъ, цѣлымъ рядомъ усѣченій (*suppressions*) мы идемъ отъ со-
 вращеннаго (*écourté*) остатка къ остатку еще болѣе сокращен-
 ному, и въ то же время отъ данныхъ общаго свойства къ дан-
 нымъ еще болѣе общимъ.

Понятно, какъ скучно и безжизненно должно было казаться Тэну, съ точки зрѣнія этого психологическаго воззрѣнія, *общее понятіе о человѣкѣ*, которое было движущимъ началомъ политической мысли XVIII-го вѣка и исходной точкой политическихъ преобразованій, предпринятыхъ французской революціей!

Мы не станемъ входить подробнѣе въ аргументацію Тэна о логическихъ процессахъ, но возпользуемся ею для одного замѣ-
 чанія, на которое наводитъ это упоминаніе о французской ре-
 волюціи. Тэнтъ, между прочимъ, высказываетъ весьма глубокую
 мысль, что наши общія понятія, которыя не что иное какъ *на-
 званія* или *знаки*, обозначающіе рядъ однородныхъ фактовъ или
 извѣстный классъ однородныхъ индивидуумовъ, обыкновенно со-
 провождаются осязательнымъ, хотя и неопредѣленнымъ представ-
 леніемъ объ одномъ изъ этихъ фактовъ или индивидуумовъ.

Тэнтъ поясняетъ это слѣдующимъ примѣромъ изъ личнаго
 опыта. Ему случилось однажды увидѣть въ Англіи въ первый
 разъ нѣсколько *араукарій*, и у него сохранилось послѣ этого какое-
 то общее, неопредѣленное впечатлѣніе объ араукаріи. Это впе-
 чатлѣніе не соответствовало ни одной изъ 20 или 30 араукарій,
 которыя онъ тогда внимательно разсматривалъ; ихъ образы сли-
 лись между собою въ его представленіи. Это общее представле-
 ніе, которое онъ вынесъ изъ своихъ воспоминаній, съ другой сто-
 роны, не было тождественно и съ общимъ отвлеченнымъ поня-
 тіемъ объ араукаріи, которое въ немъ составилось, а только какъ
 бы сопровождало его. Это общее понятіе было совершенно ясно
 и опредѣленно; оно-то и давало ему возможность узнать арау-
 карію и отличать ее отъ растений подобнаго рода; общее же
 представленіе, рядомъ съ нимъ существовавшее, смутное и блуж-
 дающее, было, въ сущности, *плохимъ эскизомъ одной опредѣлен-
 ной араукаріи изъ числа прежде видѣнныхъ*. „Если я удерживаю
 это представленіе,—говоритъ Тэнтъ,—и упорно всматриваюсь въ
 него, оно повторяетъ во мнѣ какое-то частное, зрительное мною
 испытанное ощущеніе; я вижу въ умѣ контуръ, который при-

надлежитъ именно такой-то аравуаріи, и, слѣдовательно, не можетъ относиться ко всему классу; общее же мое понятіе покрываетъ весь классъ; слѣдовательно это нѣчто иное, а не мое представленіе о такомъ-то недѣлимомъ ¹⁾).

Подобное же случилось во время французской революціи съ понятіемъ о *человѣкѣ*. Это было общее понятіе, выработанное раціоналистической философій. Популяризирующая литература внесла это понятіе въ общество и пустила его въ обращеніе. Но большинство людей не въ состояніи усвоить себѣ или удерживать долго въ ясности общее понятіе, особенно когда этому мѣшаютъ страсти и интересы. Такой мыслитель, какъ Тэнъ, былъ въ состояніи различить въ своемъ сознаніи общую идею аравуаріи и общее представленіе о ней, сопровождавшее эту общую идею, такъ сказать, какъ ея *тѣнь*; большое число людей ощущаетъ въ себѣ только эту *тѣнь*. Во время французской революціи общее понятіе *человѣка* не долго господствовало и служило руководящимъ принципомъ; это продолжалось, и то отчасти, пока главными руководителями были люди, стоявшіе на высотѣ тогдашняго образованія. Скоро однако это общее понятіе стало покрываться своею *тѣнью*, стало отождествляться съ *тѣмъ* общимъ представленіемъ, которое, въ сущности, имѣло контуръ извѣстнаго класса.

Когда власть перешла въ руки людей типа жирондистовъ, общее понятіе о *человѣкѣ* было подмѣнено представленіемъ объ *интеллигентѣ* того времени; когда вступили во власть якобинцы, они, болѣе или менѣе, безсознательно подмѣнили понятіе о *человѣкѣ* представленіемъ *пролетарія*. Весь раціоналистическій аппаратъ, приготовленный философами для мирнаго и разумнаго торжества отвлеченнаго *человѣка*, оказался орудіемъ борьбы для обезпеченія побѣды парижскаго пролетарія и его вождей.

Другая особенность психологіи Тэна, весьма характерная для будущаго историка французской революціи — это выдающаяся роль, которая отведена въ его объясненіи психологическихъ явленій — *патологіи ума*. Тэнъ съ особеннымъ вниманіемъ изучалъ относящуюся сюда литературу и не только сочиненія психіатровъ, но и непосредственный матеріалъ, который представляютъ автобіографіи, письма, стенографическія записи разговоровъ съ душевно-больными. Никогда, можетъ быть, психологія больного *человѣка* не служила такимъ могущественнымъ орудіемъ для объясненія нормальныхъ психическихъ процессовъ, какъ у Тэна. Не случайно

¹⁾ De l'Intell. II. 259

только, а систематически онъ пользуется этимъ средствомъ. Главное средство психологiи, внутреннее наблюдение или сознаніе (la conscience),—говоритъ онъ,—недостаточно, подобно тому, какъ простой глазъ слишкомъ слабъ для тонкихъ оптическихъ наблюдений; и въ психологiи нужно освѣщать предметы болѣе рѣзкимъ свѣтомъ, увеличивать ихъ посредствомъ орудій, подобныхъ микроскопу или телескопу, изолировать ихъ и давать необходимую рельефность. Такими орудіями могутъ служить рѣзко выдающіеся и странные случаи, наблюдавшіеся медиками въ сомнамбулизмѣ и гипнотизмѣ, въ сновидѣніяхъ и болѣзненныхъ галлюцинаціяхъ. Они представляютъ собою именно то *увеличенное* состояніе психическаго процесса, благодаря которому мы познаемъ способъ возникновенія, исчезновенія и взаимной борьбы *образовъ*. Особенно любопытны наблюденія надъ психически-больными. „Они освѣщаютъ весь механизмъ нашей мысли. Пусть психіатры собираютъ записки своихъ больныхъ или пишутъ подъ ихъ диктовку; этимъ способомъ они могли бы доставить намъ все, чего намъ еще недостаетъ для объясненія психическаго механизма возникновенія образовъ. Не одна крупная метафизическая проблема нашла бы такимъ путемъ свое разрѣшеніе“. Въ числѣ проблемъ, которыя именно этимъ путемъ приблизились бы къ своему разрѣшенію, Тэнъ помѣщаетъ проблему возникновенія въ насъ понятія о насъ же. Въ виду этого, Тэнъ самъ въ своей книгѣ приводитъ много любопытныхъ фактовъ изъ жизни душевно-больныхъ, у которыхъ происходило раздвоеніе сознанія, и у которыхъ сознаніе одного я чередовалось такимъ же полнымъ и отчетливымъ сознаніемъ въ себѣ другого я.

Вообще читатель найдетъ въ книгѣ Тэна много чрезвычайно интересныхъ фактовъ и существенно важныхъ наблюдений надъ патологическими процессами въ психологiи для освѣщенія нормальныхъ ея явленій. Особенно, напримѣръ, поучительны тѣ страницы, гдѣ Тэнъ пользуется наблюденіями надъ галлюцинаціями, чтобы объяснить возникновенія и борьбу образовъ въ нормальномъ психическомъ процессѣ. На эту темную область *безсознательной* психической жизни падаетъ какъ бы свѣтъ дарвинизма. Воспріятыя человекомъ въ жизни впечатлѣнія и образы у Тэна также ведутъ между собою борьбу за существованіе. Какъ отдѣльныя растенія и виды растеній въ природѣ, и между ними также есть побѣдители и побѣжденные, и здѣсь побѣда рѣшается благоприятными условіями среды. Наконецъ, даже къ своей теоріи познанія Тэнъ прилагаетъ свой методъ объяснять нормальные

психическіе процессы съ помощью патологическихъ, и самое происхожденіе познаній приводится Тэномъ къ формулѣ:

„Природа употребляетъ въ дѣло, главнымъ образомъ, два средства, чтобы произвести въ насъ тѣ операціи, которыя мы называемъ познаніями; одно состоитъ въ томъ, что она *создаетъ въ насъ иллюзію*, другое—въ томъ, что эти иллюзіи исправляются болѣе правильными представленіями. Патологическія явленія въ сознаніи человѣка становятся, впрочемъ, у Тэна не только средствами, чтобы угадать и разъяснить нормальные психическіе процессы, они сгущаются въ общій темный фонъ, на которомъ здоровое, нормальное психическое состояніе рѣзко выдѣляется, какъ *небольшая свѣтлая точка*, которой ежеминутно грозитъ опасность померкнуть. Существованіе ея обусловливается извѣстнымъ равновѣсіемъ силъ, которое можетъ быть нарушено при малѣйшемъ толчкѣ, какъ утлая ладья легко можетъ безслѣдно исчезнуть въ темномъ мракѣ бушующаго около нея, безбрежнаго океана“.

„Подобно тому,—говоритъ Тэнтъ,—какъ живое тѣло какого-нибудь органическаго существа представляетъ собою не что иное, какъ извѣстный рядъ, или *полимеръ* (polipier), влѣтозекъ, находящихся въ взаимной зависимости, такъ и мыслящій духъ (l'esprit agissant)—такой же рядъ или *полимеръ* образовъ, взаимно другъ отъ друга зависимыхъ, и единство въ томъ и въ другомъ случаѣ—не что иное, какъ гармонія или общій эффектъ. Каждый образъ обладаетъ автоматической силою и самопроизвольно стремится къ извѣстному состоянію, которое въ субъектѣ вызоветъ галлюцинацію, иллюзію памяти или какой-нибудь другой видъ заблужденія или безумія. Но этотъ образъ задерживается въ этомъ стремленіи противовѣсомъ другого ощущенія, образа или цѣлой группы образовъ. Это взаимное задерживаніе и столкновеніе имѣютъ своимъ общимъ послѣдствіемъ извѣстное равновѣсіе. Это равновѣсіе и есть состояніе разумнаго бдѣнія, въ противоположность сну. Какъ скоро оно прекращается, вслѣдствіе гипертрофіи или атрофіи какого-нибудь элемента, наступаетъ своего рода безуміе. Если это состояніе продолжается долѣе извѣстнаго срока, наступаетъ утомленіе, и мы засыпаемъ; образы въ насъ не укрощаются и не управляются болѣе противодѣйствующими ощущеніями, идущими изъ вѣшняго міра, не подавляются связными воспоминаніями и сужденіями; вслѣдствіе того, эти образы достигаютъ полнаго своего развитія, превращаются въ галлюцинацію, свободно группируются, слѣдуя новому направленію, и сонъ, хотя полный утомляющихъ сновидѣній, является покоемъ, потому что, устраняя напряженіе сознанія, онъ влечетъ за собою облег-

ченіе ¹⁾. Но нормальное сознаніе подвержено не только такимъ правильнымъ, періодическимъ нарушеніямъ, которыя мы называемъ *сномъ*; для него всегда возможно нарушение болѣе глубокое—настоящее безуміе“.

„Безуміе, — говоритъ Тэнъ, въ другомъ томѣ своего сочиненія,—всегда сторожитъ насъ на межѣ здраваго разсудка, подобно тому, какъ недугъ всегда стоитъ на межѣ здоровья, ибо та комбинація элементовъ, которую мы называемъ здоровьемъ тѣла или нормальнымъ состояніемъ сознанія, не что иное, какъ счастливый случай, который наступаетъ и повторяется, только благодаря постоянной побѣдѣ надъ противными силами. Но эти послѣднія всегда на-лицо, простая случайность можетъ дать имъ перевѣсъ; имъ немногого недостаетъ для побѣды. Въ моральномъ и въ физическомъ отношеніи та форма, которую мы называемъ нормальной, какъ бы часто она ни встрѣчалась въ дѣйствительности, все-таки возникаетъ въ жизни только среди безконечнаго числа возможныхъ искаженій. Можно сравнить,—говоритъ Тэнъ,—темную для насъ работу природы, слѣдствіемъ которой является (нормальное) сознаніе, съ шествіемъ того раба, который послѣ зрѣлищъ цирка проходилъ по аренѣ съ яйцомъ въ рукѣ, среди утомленныхъ львовъ и насыщенныхъ тигровъ: если онъ достигалъ цѣли, его отпускали на волю. Подобнымъ образомъ подвигается впередъ жизнь духа среди сутолоки уродливыхъ стремленій и дивныхъ безумствъ“ ²⁾.

Изъ того, что здѣсь было приведено для характеристики воззрѣній Тэна на значеніе патологическаго элемента въ психологіи, конечно, уже достаточно ясно обрисовался его взглядъ на одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ въ психологіи и исторіи—на личность человека. Къ числу метафизическихъ сущностей, которыя Тэнъ сводитъ на простыя литературныя метафоры, принадлежитъ, какъ мы видѣли, и понятіе о человѣческомъ я. По словамъ Тэна, обыкновенный взглядъ на этотъ предметъ пригоденъ только для обычнаго обихода и для практической жизни; научная психологія не можетъ признать такого понятія; для нея въ этомъ я „нѣтъ ничего реальнаго, кромѣ вереницы совершающихся въ немъ событий“.

„Если это слово *нѣчто* обозначаетъ что-нибудь, — говоритъ Тэнъ въ другомъ мѣстѣ,—то это нѣчто заключается въ постоянной возможности извѣстныхъ событій, при извѣстныхъ условіяхъ, и въ по-

¹⁾ De l'Int. I, 124.

²⁾ De l'Intell. II, 281.

стоянной необходимости этихъ самыхъ событій при этихъ условіяхъ, съ прибавкою еще одного, а именно, что всѣ эти событія имѣютъ одну общую и отличительную черту—они представляются субъекту происходящими *снутри* него“. „Въ этомъ смыслѣ, говорить Тэнъ, мы можемъ сказать, что я, подобно физическимъ тѣламъ, его окружающимъ, есть сила—и сила, которая, по отношенію къ нимъ, представляетъ собою внутренній міръ (*un dedans*), тогда какъ они, по отношенію къ ней, составляютъ внѣшній міръ (*un dehors*). Всѣ эти три слова однако — сила, внутренній и внѣшній міръ — выражаютъ собою только отношенія и ничего болѣе. Во всѣ моменты моей жизни я представляю собою внутренній міръ, способный къ извѣстнымъ событіямъ при извѣстныхъ дѣйствіяхъ. Вотъ что продолжается во мнѣ и что во всѣ моменты этого продолженія будетъ всегда неизмѣнно“. При помощи этихъ объясненій мы достигли той точки зрѣнія, съ которой взглядъ Тэна на человѣческую личность вполне опредѣляется. Понятіе личности получило такое опредѣленіе, вслѣдствіе котораго оно стало совершенно излишнимъ какъ въ исторіи, такъ и въ психологіи. Въ исторіи, какъ мы видѣли, личность была сведена на степень частнаго проявленія великихъ силъ — *расы* и *среды*, взаимодействіе которыхъ создаетъ исторію; въ психологіи личность является лишь коллективнымъ понятіемъ извѣстнаго ряда мелкихъ психологическихъ или фیزیологическихъ процессовъ, вызванныхъ въ жизни и направляемыхъ тѣми же двумя историческими силами — *расой* и *средой*. Исслѣдователь въ обоихъ случаяхъ видитъ передъ собою только *силы*, дѣйствующія по *законамъ*. Личность сама по себѣ является въ мірѣ *силою*, но для изслѣдователя она лишь продуктъ силъ, которыя ее создаютъ или въ ней проявляются.

Но изслѣдователь можетъ быть, подобно Тэну, въ то же время художникомъ, и тогда у него является потребность выразить въ художественной формѣ результатъ своего сухого, логическаго анализа и своихъ фیزیологическихъ наблюденій. Тогда ему личность представляется въ видѣ поэтическаго образа, и міръ человѣческій изъ механизма превращается въ живописную картину. „На ряду, — читаемъ мы у Тэна, — съ лучезарнымъ снопомъ (*gerbe*), который мы сами представляемъ, поднимаются цѣлыя ряды другихъ аналогическихъ явленій, составляющихъ тѣлесный міръ, различныхъ по виду, но тождественныхъ по существу и ярусами расположенныхъ другъ надъ другомъ; игрою своихъ лучей они наполняютъ безпредѣльную бездну пространства. Безконечная масса ракетъ одного и того же вида, которыя на различной высотѣ

непрерывно и вѣчно поднимаются и опускаются въ мрачную пустоту—вотъ что такое всѣ физическія и нравственныя существованія; всѣ они не что иное, какъ рядъ событій, отъ которыхъ остается только форма, и природу можно представлять себѣ какимъ-то великимъ сѣвернымъ сіяніемъ. Какой-то всеобъемлющій потокъ, какая-то непрерывная преемственность метеоровъ, которые зажигаются лишь чтобы потухнуть, и снова зардѣть и потухнуть, безъ устали и конца — таковъ видъ міра; таковъ, по крайней мѣрѣ, его видъ при первомъ взглядѣ на него, когда онъ отражается въ крошечномъ метеорѣ, который мы собою представляемъ и когда мы для пониманія вещей прилагаемъ только многократныя представленія, неопредѣленно накапливающіяся въ насъ одно за другимъ“.

Мы встречаемся впрочемъ у Тэна для опредѣленія личности еще съ другимъ художественнымъ образомъ, болѣе соотвѣтствующимъ этому понятію—съ готическимъ соборомъ. Объяснивъ въ своей психологіи свойство ощущеній и ихъ переходъ посредствомъ дѣятельности мозга въ образы и, наконецъ, въ отвлеченныя понятія, Тэнъ заключаетъ свою книгу словами: „подобно этому, первобытные элементы готическаго собора—не что иное, какъ зерна песку или кремнезема, сплоченныя между собою въ камни разныхъ формъ; прикрѣпленные другъ къ другу по-парно или группами, эти камни образуютъ поднимающіяся кверху и держащія другъ друга въ равновѣсіи массы, и всѣ эти скопленія, всѣ эти давленія срастаются въ одной необъятной гармоніи“. Это сравненіе прямо обнаруживаетъ слабую сторону всей аргументаціи. Созидующую силу готическаго собора составляетъ мысль или геній архитектора, который приводитъ въ движеніе нужныя ему каменные глыбы и располагаетъ ихъ, согласно своему плану, въ стройномъ порядкѣ; эта мысль архитектора и есть та самостоятельная, творческая сила, присутствіе которой Тэнъ не признаетъ въ личности.

Итакъ, художественный образъ, какъ бы онъ ни былъ поэтиченъ, не можетъ устранить затрудненій, возникающихъ при физіологическомъ объясненіи личности, и въ окончательномъ итогѣ у читателя является вопросъ: какъ можно при такомъ взглядѣ на человѣческую личность интересоваться исторіей? Если личности людей подобны метеорамъ, то имѣетъ ли какое-нибудь значеніе игра этихъ метеоровъ, и есть ли какой-нибудь смыслъ въ изученіи этой игры?

Противовѣсомъ живописному образу метеора является у Тэна научное понятіе о законѣ, который лежитъ въ основаніи всѣхъ

явленій. Природа и міръ человѣка представляются ему совокупностью частныхъ и общихъ законовъ, пронстекающихъ другъ изъ друга и поднимающихся другъ надъ другомъ, какъ ярусы величественнаго зданія, построеннаго въ одномъ гармоническомъ стилѣ. Назначеніе и величіе человѣка заключается именно въ томъ, что ему дана возможность раскрывать эти законы и постигать общій типъ дѣлаго, въ которомъ онъ самъ играетъ роль преходящаго метеора или песчинки, незамѣтно исчезающей подъ давленіемъ несмѣтныхъ массъ.

Х.

Въ виду этой цѣли Тэнъ думалъ преобразовать исторію и изъ простаго повѣствованія обратить ее въ науку, устанавливающую законы вмѣсто изложенія фактовъ. По мнѣнію Тэна, этотъ путь уже до извѣстной степени пройденъ исторіей, и онъ считалъ возможнымъ указать въ исторіи нѣсколько очень точныхъ законовъ, вполне соотвѣствующихъ законамъ, открытымъ въ наукахъ органическаго міра, такъ что въ общемъ итогъ Тэнъ дѣлаетъ заключеніе, что философія исторіи—не что иное, „какъ вѣрное отраженіе философіи естественныхъ наукъ“.

Принимая во вниманіе выведенные изъ психологіи историческіе законы, о которыхъ рѣчь шла выше, Тэнъ формулируетъ пять законовъ, устанавливающихъ тождество процессовъ органической природы и историческаго процесса.

Во-первыхъ. Естествоиспытатели замѣтили, что различные органы животнаго находятся въ зависимости другъ отъ друга, что, напр., зубы, желудокъ, оконечности, инстинкты и многое другое измѣняется въ опредѣленныхъ отношеніяхъ, такъ что измѣненіе одного органа влечетъ за собою соотвѣствующее измѣненіе во всемъ остальномъ. Согласно съ этимъ историки могутъ замѣтить, что различныя склонности или способности лица или расы, или вѣка, связаны другъ съ другомъ такимъ способомъ, что измѣненіе одного изъ этихъ данныхъ, замѣченное въ сосѣднемъ лицѣ или группѣ, въ эпохѣ, предшествующей или послѣдующей, вызываетъ въ нихъ соотвѣстственное измѣненіе всей системы.

Во-вторыхъ. Естествоиспытатели установили, что преувеличенное развитіе какого-нибудь органа въ животномъ, какъ напр. въ кенгуру или въ летучей мыши, всегда влечетъ за собою ослабленіе или уменьшеніе соотвѣствующихъ органовъ. Подобно этому, историки могутъ установить, что чрезвычайное развитіе какого-нибудь

свойства, напр. нравственного инстинкта въ германской расѣ или метафизической и религіозной способности у индусовъ, приводятъ у этихъ расъ къ ослабленію противоположныхъ инстинктовъ.

Въ-третьихъ. Естествоиспытатели доказали, что въ числѣ свойствъ какого-нибудь вида животныхъ или растений, одни второстепенны, измѣнчивы, иногда ослаблены или вовсе отсутствуютъ, другіе, наоборотъ,—какъ напр. концентрическое строеніе растений или позвоночность у животныхъ,—играютъ преобладающую роль и опредѣляютъ всю ихъ организацію. Такимъ же образомъ историки могутъ доказать, что между свойствами извѣстнаго индивидуума или группы людей одни имѣютъ характеръ второстепенный или придаточный, другія,—какъ напр. преобладаніе образовъ или отвлеченныхъ идей или большая или меньшая способность къ общимъ представленіямъ—занимаютъ господствующее положеніе и напередъ опредѣляютъ направленіе жизни этихъ индивидуумовъ и группъ и характеръ ихъ духовнаго творчества.

Въ-четвертыхъ. Естествоиспытатели указываютъ, что въ извѣстномъ классѣ животныхъ тотъ же планъ организаціи присущъ всѣмъ видамъ; что лапа собаки, нога лошади, крыло летучей мыши, рука человѣка, плавательное перо кита представляютъ собою то же самое анатомическое данное, приновренное, съ помощью нѣсколькихъ сокращеній или удлиненій, къ самому разнообразному употребленію. Подобнымъ образомъ историки могутъ указать, что у одного и того же художника, у одной и той же художественной школы, въ извѣстномъ вѣкѣ, у извѣстной расы, всѣ личности, какъ бы онѣ ни были противоположны другъ другу по своему положенію, по воспитанію и характеру, представляютъ собою одинъ общій типъ, т.-е. извѣстное ядро персональных способностей и свойствъ, которыя своимъ различнымъ развитіемъ или ослабленіемъ, своимъ различнымъ сочетаніемъ, дають матеріалъ для всего безконечнаго разнообразія данной группы.

Въ-пятыхъ. Естествоиспытатели устанавливаютъ, что тѣ индивидуумы лучше всего развиваются и вѣрнѣе воспроизводятся, которые, благодаря какой-нибудь особенности строенія, лучше приноврены къ окружающей ихъ средѣ, а что для другихъ притивоположныя свойства влекутъ за собою противоположныя послѣдствія; что, такимъ образомъ, естественный ходъ вещей обуславливаетъ собою постоянныя отсѣченія и постепенное развитіе; что это слѣпое предпочтеніе или преслѣдованіе дѣйствуетъ какъ намѣренный подборъ, и такимъ образомъ природа предназначаетъ въ каждой средѣ къ жизни и къ власти—породы, наиболѣе приновренные къ этой средѣ. Съ помощью аналогическихъ наблюденій и раз-

суждений историки могутъ установить, что въ любой человеческой группѣ тѣ индивидуумы достигаютъ величайшаго авторитета и самаго широкаго развитія, свойства и наклонности которыхъ наиболее соотвѣтствуютъ свойствамъ и наклонностямъ ихъ группы, что нравственная среда дѣйствуетъ, подобно физической средѣ, на индивидуумовъ посредствомъ непрерывнаго возбужденія и давленія, обуславливаетъ собою успѣхъ однихъ и дальнѣйшее развитіе другихъ, согласно съ степенью соотвѣтствія между нею и ими. Эта глухая работа есть также своего рода подборъ, и посредствомъ цѣлаго ряда незамѣтныхъ воздѣйствій въ противоположномъ направленіи вліяніе среды вызываетъ на поприще исторіи художниковъ, философовъ, религіозныхъ реформаторовъ, политиковъ, способныхъ истолковать или осуществить завѣтную мысль ихъ вѣка или народа.

Тэнъ прибавляетъ, что между естественной исторіей и человеческой исторіей можно было бы указать еще много другихъ аналогій, и, исходя отсюда, онъ слѣдующимъ образомъ формулируетъ ихъ отношеніе. Ихъ сходство основано на сходствѣ ихъ содержанія. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ изслѣдователь имѣетъ дѣло съ естественными группами, т.-е. съ индивидуумами, созданными по одному общему типу и распредѣляемыми на семьи, виды и роды. Въ обоихъ случаяхъ предметъ изслѣдованія—живое существо, т.-е. подверженное безпрестанному преобразованію. Въ обоихъ случаяхъ прирожденная форма наследственна, а форма пріобрѣтенная отчасти и медленно передается по наслѣдству. Въ обоихъ случаяхъ организованный молекулъ развивается лишь подъ вліяніемъ своей среды. Въ обоихъ случаяхъ состояніе всѣхъ индивидуумовъ зависитъ отъ двухъ условий: предшествовавшаго состоянія и общаго направленія типа.

На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ,—воскликаетъ Тэнъ,—царство человѣка является продолженіемъ царства животныхъ (*l'animal humain continue l'animal brut*), ибо человеческія способности коренятся въ дѣятельности мозга, и это относится какъ къ высшимъ способностямъ, составляющимъ привилегію человѣка, такъ и къ низшимъ, принадлежащимъ не ему одному; а вслѣдствіе этой связи органическіе законы простираютъ свое господство до той области, на порогъ которой останавливаются естественныя науки, чтобы предоставить власть наукамъ нравственнымъ.

На этомъ основаніи построенъ окончательный выводъ Тэна, что нравственнымъ наукамъ открыто то же поприще, что и наукамъ естественнымъ; что исторія, младшая изъ наукъ, можетъ

открывать законы, подобно своимъ предшественникамъ; что она можетъ, подобно имъ, въ своей области управлять идеями и руководить усиліями человѣка; что въ конечномъ результатѣ цѣлаго ряда правильно веденныхъ изслѣдованій она будетъ въ состояніи опредѣлять условія крупныхъ человѣческихъ событій, т.-е. условий, необходимыхъ для возникновенія, продолжительности и паденія различныхъ формъ политическаго строя, творческой мысли и практической дѣятельности, а они не что иное, какъ сумма наклонностей и способностей индивидуумовъ; что наши общіе термины суть только собирательныя выраженія, съ помощью которыхъ мы соединяемъ подъ одну точку зрѣнія 20 или 30 милліоновъ душъ, настроенныхъ или дѣйствующихъ въ одномъ направленіи. Но онъ забываетъ, что если сто тысячъ человѣкъ двигаютъ колесо, общая сила, приводящая колесо въ движеніе—не что иное, какъ итогъ силъ этихъ ста тысячъ человѣкъ, и что индивидуумы существуютъ и живутъ среди извѣстнаго народа или вѣка, какъ единицы, входящія въ составъ арифметическаго сложенія, которому итогъ подводится въ одной лишь цифрѣ. Съ другой стороны, онъ забываетъ, что такое индивидуальная душа, т.-е. онъ не хочетъ видѣть элементовъ, изъ которыхъ она состоитъ. Подобно тому, какъ историческая сила представляетъ не что иное, какъ итогъ дѣйствующихъ въ ней индивидуумовъ, такъ индивидуальная душа—не что иное, какъ итогъ дѣйствующихъ въ ней способностей и наклонностей. Онъ не замѣчаетъ, что основныя способности и наклонности души лично ей принадлежатъ, что тѣ изъ нихъ, которыя она заимствуетъ изъ среды или изъ національнаго духа, становятся ея личными свойствами, что если она дѣйствуетъ посредствомъ ихъ, то она слѣдуетъ при этомъ самой себѣ, дѣйствуетъ своей собственной силою, самовольно, всецѣло по своей инициативѣ и за своей полной отвѣтственностью. Наконецъ, онъ не замѣчаетъ, что подобнаго рода изслѣдованія не только не лишаютъ человѣка бодрости, объясняя ему его рабскую зависимость, но, наоборотъ, увеличиваютъ его надежды и усиливаютъ его могущество; подобно физическимъ наукамъ, они въ своемъ результатѣ устанавливаютъ прочныя отношенія между фактами; раскрытіе этихъ отношеній въ области физическихъ наукъ дало людямъ средство до извѣстной степени предусматривать и видоизмѣнять событія въ природѣ.

Прежде чѣмъ разсматривать самые законы, установленные Тэнномъ, нельзя не сдѣлать оговорки относительно конечнаго результата, котораго Тэнъ ожидаетъ отъ своей теоріи. Теорія эта должна со временемъ дать средства предугадывать будущее и даже до из-

вѣстной степени направлять и создавать будущее. Однако теорія механизма въ исторіи основана главнымъ образомъ на неизмѣнности коренныхъ расовыхъ свойствъ; если же это такъ, то этимъ устраняется возможность вліять на будущее; ибо если одинокій изслѣдователь и оказался бы въ состояніи предусмотрѣть дѣйствія и предстоящую судьбу извѣстнаго общества, то самое это общество, находясь подъ вліяніемъ своихъ унаслѣдованныхъ и пріобрѣтенныхъ свойствъ, не уклонится отъ своего пути въ виду такихъ предсказаній, и человѣку, слѣдовательно, едва ли будетъ возможно сдѣлаться этимъ путемъ „господиномъ своей судьбы“. Что же касается до самихъ законовъ и ожидаемаго отъ нихъ результата для исторической науки, то мы охотно повторимъ въ примѣненіи къ нимъ слѣдующія слова Тэна: „такое поле дѣятельности, открытое передъ человѣкомъ; оно не имѣетъ предѣловъ; въ такой области всѣ усилія человѣка могутъ подвинуть его впередъ лишь на одинъ или на два шага; ему виденъ небольшой уголокъ лежащаго предъ нимъ поля, затѣмъ становится виденъ другой; отъ времени до времени онъ останавливается, чтобы указать другимъ путь, который ему кажется самымъ короткимъ и самымъ вѣрнымъ“.

Но, оставляя въ сторонѣ будущее, можно сказать, что въ настоящее время главный интересъ установленныхъ Тэномъ законовъ заключается не столько въ ожидаемыхъ отъ нихъ въ будущемъ научныхъ плодовъ, сколько въ тѣхъ принципахъ, выраженіемъ которыхъ они служатъ.

Приведенные выше пять законовъ распадаются въ этомъ отношеніи на двѣ группы. Первые четыре тѣсно связаны другъ съ другомъ и представляютъ собою собственно видоизмѣненія и послѣдствія одного и того же закона; отдѣльно отъ нихъ стоитъ *пятый законъ*... Какой принципъ этотъ послѣдній законъ собою знаменуетъ — ясно съ перваго взгляда: это принципъ „естественнаго подбора“, — т.-е. возникновенія и процвѣтанія жизненныхъ явленій подъ вліяніемъ окружающей ихъ *среды*. Между остальными четырьмя законами главное мѣсто занимаетъ *третій*; онъ знаменуетъ собою *общій* фактъ, утверждаемый Тэномъ, что характеръ всякаго историческаго явленія (лица, народа, вѣка) опредѣляется нѣсколькими или *однимъ* кореннымъ свойствомъ, которому подчинены всѣ остальные. Отсюда, конечно, вытекаетъ взаимная зависимость всѣхъ этихъ свойствъ, соразмѣрность вліянія каждаго изъ нихъ на остальные, согласно съ его ролью въ жизни цѣлаго, и, наконецъ, присутствіе общаго типа во всѣхъ явленіяхъ, которыя могутъ считаться производными отъ главнаго явленія (въ примѣненіи къ творчеству историческихъ лицъ и народовъ). Не

трудно теперь установить и принципъ, который выражаетъ собою вся группа законовъ—это Тэновскій принципъ создающаго *основною или господствующаго свойства*.

XI.

Мы встрѣчаемся такимъ образомъ въ *исторіологіи* Тэна, т.-е. въ его теоріи историческихъ законовъ, съ двумя методическими приѣмами, которые были имъ положены въ основаніе его литературной и художественной критики и которые теперь являются предъ нами въ видѣ основныхъ историческихъ законовъ. Здѣсь намъ вполнѣ выясняется общее значеніе ихъ въ міровоззрѣніи Тэна. Связывая область литературной и художественной критики съ философіей исторіи, они поднимаются на степень міровыхъ законовъ и являются выраженіемъ для двухъ великихъ идей современной науки. Законъ вліянія среды обозначаетъ собою введеніе въ область исторіи идеи *дарвинизма*; законъ вліянія основного свойства является выраженіемъ другой великой идеи, научная обработка которой принадлежитъ Тэну—идеи *расы*. Вліяніе расы въ исторіи давно признавалось историками, и нѣкоторые изъ нихъ пытались прослѣдить это вліяніе на самыхъ фактахъ, но эти наблюденія имѣли лишь отрывочный, случайный характеръ. Тэнъ впервые формулировалъ научнымъ образомъ вліяніе расъ, стараясь доказать, что „*основныя свойства* расъ вызываютъ къ жизни и опредѣляютъ событія, составляющія исторію данной расы“. Этотъ способъ вліянія расы Тэнъ объяснялъ и подтверждалъ аналогіей съ естественными науками. Человѣческимъ расамъ соответствуютъ до извѣстной степени роды и виды существъ въ стоящемъ ниже человѣка органическомъ мірѣ. Классификація этихъ родовъ и видовъ основана на выдѣленіи ихъ характерныхъ или основныхъ свойствъ, т.-е. такихъ свойствъ, которыя своимъ значеніемъ и вліяніемъ въ организмѣ обуславливаютъ собою типичность или жизненность рода или вида. Такой именно типическій характеръ, обуславливающий собою всю жизненную дѣятельность извѣстной человѣческой расы, имѣютъ въ глазахъ Тэна основныя свойства или господствующее свойство расы, вліяніе которыхъ исторіи и подмѣчаетъ во всѣхъ историческихъ дѣйствіяхъ и во всѣхъ проявленіяхъ творческой дѣятельности изучаемой имъ расы.

Самыя же свойства расы Тэнъ объяснялъ, какъ мы видѣли, прирожденными расѣ индивидуальными формами элементарныхъ психическихъ функцій, которыя онъ, въ свою очередь, считалъ

возможнымъ свести, по крайней мѣрѣ, теоретически, на опредѣленные физиологическіе процессы. Такимъ образомъ Тэнъ объясняетъ путемъ *естественно-научнымъ* какъ самое *понятіе* расы, такъ и *способъ* вліянія ея въ исторіи, т.-е. ставилъ, съ своей точки зрѣнія, исторію на твердую почву естественныхъ наукъ. Тэнъ, можно сказать, подходитъ съ двухъ сторонъ къ разрѣшенію этой проблемы: онъ обращалъ исторію въ точную науку, посредствомъ примѣненія къ ней двухъ принциповъ, выработанныхъ на почвѣ естественныхъ наукъ — принципа подбора особей, посредствомъ вліянія среды, и принципа классификаціи породъ на основаніи *господствующихъ* признаковъ, обусловленныхъ ихъ организаціей. Но эти два принципа являются въ исторіологии Тэна не разрозненными, не чуждыми другъ друга, а тѣсно сплоченными — раса видоизмѣняетъ среду, — среда вліяетъ на расу, вырабатываетъ ее, и общее взаимодействіе ихъ становится источникомъ всѣхъ явленій исторической жизни.

Все ли, однако, въ исторіи можетъ быть объяснено такимъ способомъ и достаточно ли указать среду и назвать расу, чтобы исчерпать вопросъ о причинахъ историческихъ явленій? Тэнъ, повидимому, не сомнѣвается въ возможности отвѣчать на этотъ вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ. Онъ не задумывается сводить самыя крупныя и сложныя событія на дѣйствіе среды и расы. Въ числѣ историческихъ фактовъ, объясняемыхъ Тэномъ такимъ способомъ, мы находимъ, на примѣръ, на ряду съ англійской революціей, монархіей Людовика XIV и процвѣтаніемъ искусствъ при Лувѣ X — происхожденіе христіанства. „Чтобы произвести, — говоритъ Тэнъ, — въ первые вѣка нашей эры это удивительное произрастаніе мистическихъ философій и религій, нужна была вся способность нашей арійской расы къ метафизическому созерцанію и вмѣстѣ съ тѣмъ крушеніе древняго міра подъ давленіемъ безвыходнаго деспотизма и расширеніе человѣческаго духа вслѣдствіе гибели національностей“ ¹⁾, — что представляетъ намъ эпоха римской имперіи. Среда и раса играютъ такимъ образомъ у Тэна роль двухъ извѣстныхъ принциповъ, *формального* и *материальнаго*, которыми Аристотель объяснялъ все разнообразіе бытія. Тэнъ признаетъ за ними не только видоизмѣняющее вліяніе, но созидающую силу ²⁾. Относительно *среды* — съ этимъ ни въ какомъ случаѣ нельзя согласиться. Если въ органическомъ

¹⁾ Новое пред. къ Essais de critique, стр. 18.

²⁾ Въ поясненіе этого и въ видѣ аналогіи мы укажемъ на различіе въ нѣмецкой наукѣ между терминами — *das regulative* и *das constitutive Princip*. Эти два принципа прилагаются, напр., къ объясненію исторіи протестантизма.

міръ среда только направляетъ жизненный процессъ и налагаетъ на него свою печать, но не создаетъ его — такъ какъ сѣмя, или зародышъ попадаютъ въ среду извнѣ,—то и въ исторіи нѣтъ основанія признавать за средой, напр., за политическимъ и культурнымъ бытомъ римской имперіи въ приведенномъ выше примѣрѣ,—другого, болѣе творческаго значенія.

Но, можетъ быть, эта творческая сила въ исторіи принадлежитъ именно расѣ? Чтобы установить такой догматъ въ исторіи нужно было бы преодолѣть два затрудненія, нужно было бы примириться съ двумя послѣдствіями этого догмата. Во-первыхъ, въ такомъ случаѣ исторія человѣчества утратила бы свое единство и распалась бы на исторію расъ или народовъ; теченіе исторіи состояло бы изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ потоковъ, глубоко вры-завшихся въ свое отдѣльное ложе и текущихъ параллельно; каждое историческое явленіе должно было бы нести на себѣ отчетливую печать, подобно кирпичамъ въ древнихъ постройкахъ месопотамскихъ царей. Но затѣмъ, если признаніе за расой создающей силы въ исторіи послѣдовательно приводитъ къ отрицанію обще-человѣческой исторіи, то оно приводитъ также къ отрицанію тѣхъ живыхъ элементовъ, изъ которыхъ складывается жизнь расы—къ отрицанію индивидуальностей и ихъ самобытнаго дѣйствія въ исторіи. Тѣмъ, какъ мы видѣли, вполне примиряется съ такимъ результатомъ. Индивидуальность въ его глазахъ—не что иное какъ сумма физиологическихъ и психологическихъ процессовъ, предопредѣляемыхъ расой.

Такою цѣною покупаетъ онъ право признавать исторію механизмомъ, который дѣйствуетъ по *точнымъ* законамъ и потому подлежить изученію, посредствомъ вычисленія и измѣренія. Многимъ такая цѣна покажется слишкомъ высокою. Исторія этимъ способомъ обогатилась бы догматомъ, который, правда, сблизилъ бы ее съ естественными науками, но, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ далъ только формальные результаты; зато,—съ другой стороны, исторія утратила бы свое живое содержаніе. In der Scholastik aber geht das Leben unter ¹⁾),—сказалъ по поводу философіи Гегеля историкъ, особенная способность котораго и заслуга состояли въ умѣннѣи подмѣчать и оцѣнивать индивидуальныя силы въ исторіи. Возражая противъ философской системы, усматривавшей въ исторіи лишь развитіе логическаго процесса, Ранке не хотѣлъ мириться съ теоріей, съ точки зрѣнія которой лишь логическія „идеи имѣли

¹⁾ „Но въ школьной догматикѣ погибаетъ жизнь“.—См. Ranke: Weltgesch. IX Th., 2. Abth., p. 6.

самостоятельное существованіе, а всѣ люди становились тѣнями и призраками, принявшими въ себя эти идеи". Въ системѣ Тэна мѣсто логической идеи занимаетъ фیزیологическое понятіе расы или представленіе о психологическомъ механизмѣ, и такой же протестъ, конечно, раздастся противъ господства въ исторіи философской догматики въ этой ея новой формѣ.

Между двумя полюсами такой антиноміи—исторія, понимаемая какъ механизмъ, и исторія какъ результатъ дѣятельности творческихъ индивидуальностей—будетъ долго колебаться человѣческая мысль. Исторіологія Тэна представляетъ собою попытку рѣшить вопросъ въ первомъ смыслѣ; но замѣчательно то, что она сама не есть плодъ исключительно механическаго міровоззрѣнія; чтобы правильно понять и оцѣнить механическую исторіологію Тэна, необходимо ее дополнить его же общимъ философскимъ міровоззрѣніемъ.

В. ГЕРЬЕ.



СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

СРЕДНЕВѢКОВАЯ ЛЕГЕНДА.

Надъ Новымъ Заветомъ склонился монахъ молодой,
Онъ полонъ святой, безконечной отрады;
На древнемъ пергаментѣ съ тихой зарей
Сливается отблескъ лампы;
И тусклымъ, желтымъ грани стекла
Въ готическихъ окнахъ денница зажгла.
Прочелъ онъ то мѣсто, гдѣ пишетъ въ посланіи Павелъ:
„Какъ день передъ Господомъ тысячи лѣтъ“!—
И Новый Заветъ
Въ раздумьѣ оставилъ
Смущенный монахъ и сомнѣньемъ объять,
Печальный идетъ онъ изъ кельи, не видитъ, не слышитъ,
Какъ утро въ лицо ему дышетъ,
Какъ свѣжъ монастырскій запущенный садъ.
Но вдругъ, какъ изъ рая, послышалось чудное пѣнье
Какой-то невѣдомой птицы въ росистыхъ вустахъ—
И въ сладкихъ мечтахъ
Забылъ онъ сомнѣнье,
Забылъ онъ себя и людей.
Онъ слушаетъ жадно, не можетъ наслушаться вволю,
Все дальше и дальше, по рощѣ и полю
Идетъ онъ за ней.

Той пѣсней вполнѣ не успѣлъ онъ еще насладиться,
 Когда ужъ замѣтилъ, что—поздно, что съ темныхъ небесъ
 Вечернія росы упали на доли, на лѣсъ,

Пора въ монастырь возвратиться.

Подходить онъ къ саду, глядить — и не вѣрить очамъ:
 Не тѣ уже башни, не тѣ уже стѣны, и гуще

Деревьевъ зеленныя кущи.

Стучится въ ворота. — „Кто тамъ?“

Привратникъ глядитъ на него изумленный.

Онъ видитъ—все чуждо и ново кругомъ,

Изъ братьевъ-монаховъ никто незнакомъ...

И въ трапезу робко вступилъ онъ, смущенный.

„Откуда ты, странникъ?“ — Я братъ вашъ! — „Тебя никогда
 Никто здѣсь не видѣлъ“... Онъ годы свои называетъ —
 Тѣ юные годы умчались давно безъ слѣда...

Сѣдая, какъ лунь, борода

На грудь упадаетъ.

Тогда изъ-за трапезы всталъ

Игуменъ; толпа разступилась предъ нимъ молчаливо

Онъ кипу пергаментовъ пыльных досталъ изъ архива

И долго искалъ...

И въ хроникѣ древней они прочитали

О томъ, какъ однажды поутру весной

Пошелъ изъ обители въ поле монахъ молодой...

Безъ вѣсти пропалъ онъ, и больше его не видали...

Съ тѣхъ поръ три столѣтья прошло...

Онъ слушалъ — и тѣнью печали

Покрылось чело.

„Увы! три столѣтья... о, птичка, пѣвунья лѣсная!

Казалось — на мигъ, на одинъ только мигъ

Забылся я, пѣснѣ твоей сладковзвучной внимая —

Вѣка пролетѣли минутой!“ — и, очи смежая,

Промолвилъ онъ: „Вѣчность я понялъ!“ — главою поникъ

И тихо скончался старикъ.

II.

НЕБО И МОРЕ.

Небо когда-то въ печальную землю влюбилось,
 Съ нѣгою страстной въ объятья земли опустилось...
 Стали съ тѣхъ поръ небеса океаномъ безбрежнымъ,
 Вѣчнымъ, какъ небо,—какъ сердце людское мятежнымъ;
 Любить онъ землю и берегъ холодный цѣлуетъ,
 Но и о звѣздахъ, о звѣздахъ родимыхъ тоскуетъ.
 Хочетъ о небѣ забыть океанъ,—и не можетъ,
 Скорбь о родныхъ небесахъ его вѣчно тревожитъ.
 Вотъ почему онъ порою къ нимъ рвется въ объятья,
 Мечется, стонетъ, землѣ посылаетъ проклятья...
 Тщетно! вернется къ ней море и, полное ласки,
 Будетъ ей вновь лепетать непонятныя сказки...
 Мало небесъ ему—мѣръ ему кажется тѣснымъ:
 Вѣчно земное въ груди его спорить съ небеснымъ!

III.

У МОРЕ.

Сквозь тучи солнце жжетъ, и душно предъ грозой
 Тяжелый запахъ травъ серебряно-зеленыхъ
 Смѣшался въ воздухъ со свѣжестью морской,
 Съ дыханьемъ волнъ соленыхъ...

И шепчетъ грозныя, невнятные слова
 Сердитый валъ, съ гранитомъ споря;
 Зловѣщей блѣдностью покрылась синева
 Разгнѣваннаго моря.

О, мощный океанъ! прекрасенъ и угрюмъ,
 Какъ плачъ непонятый великаго поэта,
 Останется на-вѣкъ твой безпредѣльный шумъ
 Вопросомъ безъ отвѣта.

IV.

МОЛИТВА.

О, Боже мой, благодарю
За то, что далъ моимъ очамъ
Ты видѣть мѣръ, Твой вѣчный храмъ,
И ночь, и волны, и зарю...
Пускай мученья мнѣ гремятъ,—
Благодарю за этотъ мигъ,
За все, что сердцемъ я постигъ,
О чемъ мнѣ звѣзды говорятъ....
Вездѣ я чувствую, вездѣ
Тебя, Господь,—въ ночной тиши,
И въ отдаленнѣйшей звѣздѣ,
И въ глубинѣ моей души.
Я Бога жаждалъ—и не зналъ;
Еще не вѣрилъ, но, любя,
Пока разумомъ отрицалъ,—
Я сердцемъ чувствовалъ Тебя.
И Ты открылся мнѣ: Ты—мѣръ.
Ты—все. Ты—небо и вода,
Ты—въ полѣ травка, Ты—вѣнръ,
Ты—мысль поэта, Ты—звѣзда...
Пока живу—Тебѣ молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру—съ Тобой сольюсь,
Какъ звѣзды съ утренней зарей;
Хочу, чтобъ жизнь моя была
Тебѣ немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть—благодарю!..

V.

* * *

Нѣмая вила спитъ подъ пѣнье волнъ мятежныхъ...

Здѣсь грустью дышетъ все—и небо, и земля,
И сѣнь плакучихъ ивъ, и маргаритокъ нѣжныхъ
Безмолвныя поля.

Сквозь сонъ журчатъ струи въ тѣни кустовъ лавровыхъ,
И стаи пчелъ гудятъ въ заросшихъ цвѣтникахъ,
И острый кипарисъ надъ кущей розъ пунцовыхъ
Чернѣетъ въ небесахъ.

Зато незримыя цвѣтутъ пышнѣе розы,
Таинственнѣе льетъ фонтанъ во мглѣ вѣтвей
Невидимыя слезы,
И плачетъ соловей...

Его уже давно, давно никто не слышитъ,
И окна ставнями закрыты много лѣтъ...
Межъ тѣмъ какъ все кругомъ глубокимъ счастьемъ дышетъ,—
Счастливыхъ нѣтъ...

Зато въ тиши аллей живетъ воспоминанье
И сладостная грусть умчавшихся годовъ,
Какъ чайной розы теплое дыханье,
Какъ музыка валовъ...

Д. МЕРЕЖКОВСКІЙ.



Н. В. ГОГОЛЬ

и

А. С. ДАНИЛЕВСКИЙ.

Года четыре тому назадъ, начавъ собирать сохранившіеся о Гоголѣ устные воспоминанія, — въ числѣ другихъ лицъ, къ которымъ я предполагалъ обратиться съ просьбой о сообщеніи ихъ, — я подумалъ прежде всего о Данилевскомъ, этомъ другѣ и товарищѣ Гоголя, хорошо знавшемъ его съ отроческихъ лѣтъ. Къ сожалѣнію, мнѣ попалось на глаза невѣрное сообщеніе въ изданіи въ 1884 г. „Лицеѣ князя Безбородко“ о томъ, что Данилевскій будто бы тогда уже умеръ. Черезъ нѣсколько времени послѣ того, совершенно случайно, къ великой моей радости, узналъ я, что это показаніе несправедливо. Предварительно списавшись и получивъ позволеніе пріѣхать въ село Анненское (харьковской губ., близъ Сумъ), гдѣ жилъ покойный, я немедленно отправился къ нему и засталъ его еще бодрымъ и свѣжимъ старикомъ, съ прекрасно сохранившимися способностями и особенно — памятью, что было, разумѣется, въ высшей степени благопріятно для моей цѣли. Несмотря на то, что послѣ фактовъ, о которыхъ приходилось припоминать ему въ нашей бесѣдѣ, прошло не меньше пятидесяти лѣтъ, было очевидно, что память нисколько не измѣняла ему, и подробности, которыя могли быть проверены по печатнымъ источникамъ, оказывались безусловно согласными съ ними, за исключеніемъ немногихъ, неточность которыхъ становилась неподлежащею никакому сомнѣнію по соображеніи съ рассказомъ Данилевскаго.

Не только года и мѣсяцы, но и мельчайшія подробности, касающіяся мѣстъ, были опредѣляемы имъ съ изумительною точностью.

Къ сожалѣнію, мнѣ удалось, однако, лишь въ самой незначительной степени воспользоваться этимъ богатымъ и—скажу безъ преувеличенія—дорогимъ матеріаломъ, такъ какъ, имѣя въ своемъ распоряженіи ограниченный промежутокъ времени, я долженъ былъ торопиться, предоставляя себѣ вскорѣ вернуться на болѣе продолжительный срокъ. Существенное затрудненіе въ бесѣдѣ съ покойнымъ представлялось въ томъ, что, по самой сущности дѣла, воспоминанія съ трудомъ поддавались искусственному напряженію памяти въ данную минуту, и то, что въ другое время легко возникало въ ней по поводу разныхъ впечатлѣній жизни, осталось теперь по необходимости въ значительной мѣрѣ запаятованнымъ. Кромѣ того, воспоминанія чрезвычайно волновали старика, что дѣлало неизбежными довольно частые перерывы въ его разсказахъ. Но домашніе его передавали мнѣ, что нерѣдко, по тому или другому поводу, случалось имъ слышать разрозненные, но чрезвычайно живыя и интересныя воспоминанія, которыя они, къ сожалѣнію, не записывали, не переставая питать надежду на то, что Александръ Семеновичъ соберется когда-нибудь самъ исполнить свое давнее намѣреніе передать ихъ въ связномъ литературномъ изложеніи, чего онъ не могъ потомъ сдѣлать, вслѣдствіе внезапно постигшей его слѣпоты.

Такимъ образомъ мнѣ удалось во время моего пріѣзда къ нему овладѣть только, такъ сказать, одной канвой его воспоминаній. Покойный общалъ со временемъ провѣрить ихъ въ моей передачѣ, но всему помѣшали его болѣзнь и смерть, такъ что теперь остается ограничиться только тѣмъ, что, по первоначальному предположенію, должно было составить исходную точку для работы.

Но прежде, чѣмъ перейти къ пересказу этихъ воспоминаній, позволю себѣ прибавить нѣсколько словъ о самомъ А. С. Данилевскомъ, какимъ я засталъ его въ мою къ нему поѣзду.

Александръ Семеновичъ производилъ впечатлѣніе одного изъ тѣхъ идеалистовъ-романтиковъ—„послѣднихъ моголанъ“, которые окончательно вымираютъ и будутъ скоро всецѣло достояніемъ преданія. Судьба, осыпавъ его въ молодости такими дарами счастья, о которыхъ немногимъ можно даже мечтать, съ безпощадной жестокостью оставила ему подъ старость одно изъ самыхъ ужасныхъ бѣдствій. Для человѣка съ сильно возбужденными съ дѣтства умственными интересами потеря зрѣнія была, разумѣется,

убийственна. Но замѣчательно, что, несмотря даже на старость и слѣпоту, онъ сохранилъ до самой послѣдней болѣзни живой интересъ къ текущей литературѣ (преимущественно русской, отчасти и иностранной), и при помощи чтеца или кого-нибудь изъ домашнихъ неутомимо слѣдилъ за періодическими изданіями. Печально доживалъ онъ послѣдніе дни своей когда-то далеко не безцвѣтной жизни, казавшейся теперь промелькнувшею съ обидной быстротой. Въ разсказѣ его по временамъ слышалась глубоко-трагическая нота. Чѣмъ искреннѣе и задушевнѣе становилось его воодушевленіе, съ которымъ онъ передавалъ свои воспоминанія о счастливыхъ временахъ минувшей юности, о ея надеждахъ и молодомъ упоеніи жизнью (въ благородномъ значеніи этого слова), тѣмъ замѣтнѣе примѣшивалось къ нимъ щемящее чувство сосредоточенной грусти отъ ужаснаго сознанія, что почти все, что когда-то было ему дорого и красило его жизнь, давно и безвозвратно погибло. Теперь это былъ несчастный слѣпецъ, находившій нѣкоторую печальную отраду въ томъ, что въ послѣдній разъ оживлялъ въ своей памяти прошлое,—

У гробовой своей доски
Все потерявъ невооруженно...

И, конечно, больше всего его волновали жгучія воспоминанія о Гоголѣ, особенно о жизни съ нимъ въ Италіи, которую оба они любили до обожанія и называли своей второю родиной. Разсказывая о самыхъ незначительныхъ происшествіяхъ, случившихся въ Римѣ, Данилевскій положительно оживалъ. Въ частности, съ большимъ воодушевленіемъ припоминалъ онъ о своей жизни съ Гоголемъ на Piazza di Spagna.

Но, повторяю, при крайне возбужденномъ состояніи, въ которое приводили Александра Семеновича воспоминанія, трудно было овладѣть ими въ короткое время.

I.

Въ числѣ друзей Гоголя А. С. Данилевскому, по многимъ причинамъ, должно быть отведено первенствующее мѣсто. Онъ пользовался особенно сильной и прочной привязанностью нашего писателя, называвшаго его своимъ „ближайшимъ“. Тѣсная дружба ихъ продолжалась отъ колыбели до могилы Гоголя. Въ письмахъ послѣдняго едва ли къ кому-нибудь выразилось столько искренней, задушевной любви, какъ къ Данилевскому. „Ты

мнѣ роднѣе родного брата“,—писалъ однажды ему Гоголь,—и дѣйствительно, есть не мало доказательствъ того, что онъ чувствовалъ такъ, какъ говорилъ. Еще съ дѣтства Гоголь усвоилъ себѣ привычку давать въ шутку родственныя имена тѣмъ людямъ, къ которымъ былъ особенно расположенъ. Такъ, ребенкомъ, вздумалось ему однажды прозвать „сестрицей“ одну изъ знакомыхъ сосѣдокъ (А. Ѳ. Тимченко), долго жившую въ домѣ его матери. Данилевскаго онъ также съ раннихъ лѣтъ еще имѣлъ обыкновеніе называть то братомъ, то почему-то даже племянникомъ, а впослѣдствіи онъ прямо выдавалъ его за самаго близкаго родственника своимъ московскимъ друзьямъ. Сестрамъ, Елизаветѣ и Аннѣ Васильевнамъ, онъ писалъ однажды изъ-за границы: „Напишите, получили ли вы мое письмо, которое я писалъ къ вамъ черезъ Данилевскаго, Александра Семеновича, *вашего кузена*“ (Соч. Гог., изд. Кул., V, 340). Самому Данилевскому онъ пишетъ: „Хотя бы вовсе не слѣдовало писать изъ Ліона, этого, неизвѣстно почему, неприличнаго мѣста, но, покорный произнесенному слову въ минуту разставанья нашего, *о, мой добрый братъ и племянникъ*, пишу“. Наконецъ, однажды одному изъ своихъ друзей онъ рекомендовалъ Данилевскаго такъ: „Прими моего двоюроднаго брата, какъ самого меня“¹⁾.

Дружба Гоголя къ Данилевскому не всю жизнь, правда, продолжалась въ одинаковой степени: между ними была однажды даже непродолжительная размолвка; но тѣмъ живѣе и естественнѣе предстаютъ передъ нами ихъ вполне искреннія отношенія. Эта единственная размолвка (если справедливо употребить такое сильное выраженіе) нисколько не мѣшаетъ намъ утверждать, что они всегда были истинными друзьями. Правда, въ послѣдніе годы, углубившись въ созданный имъ внутренній міръ и сблизившись съ людьми, болѣе склонными сочувствовать овладѣвшему имъ новому настроенію, Гоголь какъ будто нѣсколько отдалился отъ неразлучнаго, со временъ дѣтства, друга, но никогда, въ сущности, въ немъ не умирало чувство самаго горячаго расположенія къ нему. Для него Данилевскій былъ не только другомъ и това-

¹⁾ Другимъ, наиболѣе любимымъ школьнымъ товарищемъ Гоголя былъ Н. Я. Прокоповичъ. Ему Гоголь писалъ однажды изъ Рима: „Не совѣстно ли тебѣ, мой милый, не писать ко мнѣ, позабыть меня! Не совѣстно ли тебѣ лѣниться! А я о тебѣ думаю часто, всегда. И ни роскошь этихъ странъ, гдѣ я живу теперь, ни югъ, ни чудныя небеса, ничто не въ силахъ помѣшать мнѣ думать о тебѣ, съ кѣмъ начался союзъ нашъ подъ аллеями липъ пѣжинскаго сада, во второмъ музеѣ, на маленькой сценѣ нашего домашнего театра, и крѣпился, стянутый стужей петербургскаго климата, черезъ всѣ дни нашего пребыванія вмѣстѣ“ („Русское Слово“, 1859, I, 10, 9).

рищемъ молодости, свидѣтелемъ его первыхъ литературныхъ и свѣтскихъ успѣховъ, но и спутникомъ въ заграничныхъ странствованіяхъ, участникомъ въ лучшихъ наслажденіяхъ жизни, въ благородныхъ наслажденіяхъ роскошью южной природы и великими произведеніями искусства,—однимъ словомъ, это былъ человекъ, связанный съ нимъ сердцемъ и всѣми наиболее дорогими впечатлѣніями юности, человекъ, съ которымъ, по собственному выраженію Гоголя, онъ шелъ въ жизни „рука объ руку“. По словамъ сестры Гоголя, Анны Васильевны, задушевная привязанность ея брата къ Данилевскому ярко проявлялась въ томъ, что каждый разъ неожиданный пріѣздъ послѣдняго въ ихъ деревню производилъ чудо; угрюмый въ послѣдніе годы своей жизни писатель мгновенно оживлялся, къ нему возвращался веселый юморъ молодости, и во всемъ домѣ наступалъ настоящій праздникъ. Ничье появленіе, на взглядъ сестры, не имѣло на него такого волшебнаго дѣйствія, никому не удавалось возбуждать въ Гоголѣ такое отрадное настроеніе. Впечатлѣніе получалось такое, какъ будто пріѣтливый лучъ весенняго солнца заигралъ веселымъ блескомъ въ пасмурной обстановкѣ ветхаго деревенскаго дома. Даже въ послѣднее посѣщеніе Данилевскимъ Гоголя въ Васильевкѣ, уже не болѣе, какъ за полгода до смерти послѣдняго, по поводу поданныхъ на столъ любимыхъ Гоголемъ малороссійскихъ варениковъ, пріятель затѣяли шумный споръ о томъ, отъ чего было бы тяжелѣе отказаться на всю жизнь—отъ варениковъ или отъ наслажденія пѣніемъ соловьевъ?..

Благодаря этой веселости Гоголя въ присутствіи Данилевскаго, послѣдній меньше всѣхъ остальныхъ друзей его былъ знакомъ, по непосредственнымъ впечатлѣніямъ (*не по письмамъ*), съ мрачнымъ, сосредоточеннымъ настроеніемъ Гоголя въ послѣдніе годы.

II.

Знакомство Гоголя съ Данилевскимъ началось съ дѣтства обоихъ. Отцы ихъ были товарищами въ школѣ и, будучи близкими сосѣдами, не прекращали своихъ отношеній, хотя и не были связаны той тѣсной дружбой, которая завязалась впоследствии между ихъ сыновьями.

Семереньки, помѣстье Данилевскихъ, отстояло отъ Васильевки на 30 верстъ. Однажды, когда маленькій Данилевскій сталъ немного подростать, отецъ вздумалъ его повести съ собой къ сосѣдамъ Яновскимъ. Такъ произошло первое свиданіе будущихъ

друзей, хотя они тогда почти вовсе не ознакомились другъ съ другомъ. Гоголь былъ боленъ и лежалъ въ постели, такъ что новый знакомый его долженъ былъ все время играть съ его младшимъ братомъ. Но раннія впечатлѣнія иногда неизгладимо врѣзываются на всю жизнь; такъ было и на этотъ разъ: въ дѣтскую память Гоголя запала незначительная подробность угощенія гостя клюквой. Не разъ случалось ему припоминать потомъ серьезно объ этомъ ничтожномъ обстоятельстве, а однажды онъ замѣтилъ даже въ письмѣ: „Не помни ничего того, какъ я надѣдалъ тебѣ, и помни только, какъ я люблю тебя, моего спутника, шедшаго о плечо мое всю дорогу жизни, отъ тѣхъ поръ, какъ ты ѣлъ въ первый разъ клюкву въ нашемъ домѣ“.

Дѣйствительно, съ тѣхъ поръ судьба связала ихъ; она какъ будто заботилась о томъ, чтобы сблизить ихъ и сдѣлать друзьями на всю жизнь. Къ тому же они были и ровесники: А. С. Данилевскій родился въ Семеренькахъ 28-го августа 1809 года. Вскорѣ отецъ его умеръ, а мать, Татьяна Ивановна, тогда же вышла вторымъ бракомъ за одного изъ сосѣдей по имѣнью, Василія Ивановича Черныша, помѣстье котораго, Толстое, было всего въ шести верстахъ отъ Васильевки. Если эта перемѣна могла отразиться на взаимныхъ отношеніяхъ семействъ, то во всякомъ случаѣ не иначе, какъ еще тѣснѣе скупляя узы существовавшей пріязни. Мать Данилевскаго была и прежде дружна съ Марьей Ивановной Гоголь, но со временемъ обстоятельства и привычка все болѣе способствовали упроченію ихъ добрыхъ сосѣдскихъ отношеній. Чернышъ былъ также общительный, хорошій человекъ, простой въ обхожденіи и пользовавшійся общимъ уваженіемъ знакомыхъ. Жену онъ любилъ и съ ея дѣтьми обращался какъ съ своими собственными.

Вотъ какъ рассказывалъ мнѣ А. С. Данилевскій о своихъ дѣтскихъ отношеніяхъ къ Гоголю. Разсказъ его передаю съ буквальною точностью, за исключеніемъ небольшихъ перестановокъ въ тѣхъ мѣстахъ, когда увлекавшія его воспоминанія заставляли дѣлать отступленія и забѣгать впередъ:

„Я съ нимъ познакомился въ дѣтствѣ. Мнѣ было семь лѣтъ. Наши родители вмѣстѣ воспитывались въ кievской духовной академіи. Мы пріѣхали съ отцомъ къ нимъ въ деревню. Мы жили отъ нихъ верстахъ въ тридцати, въ Семеренькахъ. Это было около Рождества. Тутъ я увидѣлъ въ первый разъ маленькаго

Никошу ¹⁾. Онъ былъ нездоровъ и лежалъ въ постели. Мы играли съ его младшимъ братомъ Иваномъ. Пробыли мы нѣсколько дней. Я возвратился съ отцомъ домой, и въ этотъ довольно значительный промежутокъ времени мы не видались. Я лишился отца; моя мать вышла замужъ за Василя Ивановича Черныша (его имѣніе, Толстое, находилось верстахъ въ 6 отъ Васильевки). Я жилъ дома и въ Зеньковѣ ²⁾ у моего домашнего учителя, который былъ потомъ назначенъ смотрителемъ уѣзднаго училища. Въ 1818 году я поступилъ въ полтавскую гимназію. Тутъ послѣ нѣкоторыхъ разговоровъ мы вспомнили другъ друга. Вмѣстѣ съ нимъ мы пробыли года два. Онъ жилъ вмѣстѣ съ братомъ у учителя Спасскаго. Я поступилъ въ Нѣжинъ въ 1822 г., гдѣ опять засталъ уже Гоголя, поступившаго годомъ раньше меня, и съ тѣхъ поръ мы были неразлучны. Мы всегда ѣздили съ нимъ и съ сыномъ отчима, П. А. Барановымъ ³⁾ домой на вакаціи.

„Помню одинъ засавный случай съ надзирателемъ Зельднеромъ ⁴⁾. Зельднеръ навазлся ѣхать съ нами. Коляску прислали четверомѣстную. Было бы мѣсто для всѣхъ, но къ намъ напросился еще нѣкто Щербакъ (онъ былъ знакомъ съ семействомъ Гоголя); онъ жилъ около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднеръ еще сохранялъ тогда для насъ авторитетъ; его присутствіе насъ очень стѣсняло. Къ тому же съ нимъ было несчастье: каждый разъ, когда онъ пускался въ дорогу, съ нимъ случалось расстройство желудка, да и въ деревнѣ жить съ нимъ было не очень пріятно. Онъ ѣхалъ къ намъ обоимъ, но обоимъ не хотѣлось его брать. Когда условились съ нимъ ѣхать, то онъ пошелъ съ нами на черный дворъ, гдѣ была коляска, и хотѣлъ непременно доказать, что можно ѣхать впятеромъ... Неружность его была забавная; ноги циркулемъ... Наконецъ, все было готово къ отъѣзду. Наканунѣ жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла намъ на дорогу пирожковъ, и на другой день, тѣмъ свѣтъ, мы должны были тронуться въ путь. Но мы составили заговоръ—уѣхать раньше. На другой день, утромъ, при-

¹⁾ Такъ всѣ называли Н. В. Гоголя въ семьѣ.

²⁾ Зеньковъ и Пирятинъ—уѣзды города полтавской губерніи.

³⁾ Барановъ былъ потомъ въ военной службѣ.

⁴⁾ Зельднеръ упоминается въ статьѣ профессора Лавровскаго: „Гимназія высшихъ наукъ“ (См. „Извѣстія историко-филологическаго института кн. Безбородко въ Нѣжинѣ“, т. III, 1879 г., неофициальный отдѣлъ, стр. 165 и слѣд., и „Воспоминанія о Гоголѣ“ г. Пашкова („Берегъ“, 1880 г., № 268, дек., 18), гдѣ онъ обозначенъ инициаломъ З.

ѣхавшій за нами человекъ Гоголя, Ѳедоръ, разбудилъ насъ въ музеѣ (такъ назывались отдѣленія, на которыя раздѣлялись воспитанники; ихъ было три: старшее, среднее и младшее). Зельднеръ потомъ насъ долго искалъ и ни за что не хотѣлъ повѣрить, что мы уѣхали. „А, мерзкая мальчишка!“ говорилъ онъ...

„Дорога была продолжительная; мы ѣхали на своихъ, и на третій день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывалъ колья. Щербакъ былъ грузный мужчина съ большимъ подбородкомъ. Когда онъ бывало заснетъ, Гоголь намажетъ ему подбородокъ халвой, и мухи облѣпять его; ему доставался и „гусаръ“ (гусаръ—это была бумажка, свернутая въ трубочку). Когда кучеръ запрягалъ лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая. Помню, когда проѣзжали Ярески ¹⁾ (это было въ іюлѣ), мы подбирались къ Толстому. Съ нами повстрѣчались Василій Аѳанасьевичъ ²⁾ и Василій Ивановичъ. Кажется, это произошло случайно, а не была намѣренная встрѣча. Живо припоминается мнѣ Василій Аѳанасьевичъ; онъ былъ красивѣе сына... На немъ была тогда шляпа лощеная, матросская. Человѣкъ онъ былъ интересный, неподобный рассказчикъ. Я зналъ его, зналъ даже мать Василя Аѳанасьевича, Татьяну Семеновну. У нея въ саду былъ маленький домикъ... Отецъ Василя Аѳанасьевича былъ домашнимъ учителемъ у Лизогуба и женился на Татьянѣ Семеновнѣ, его дочери. Имѣніе принадлежало Татьянѣ Семеновнѣ. Татьяна Семеновна была сморщенная, какъ губка, вѣчно ходила съ палочкой; молчаливая, добрая, прекрасная...

„Часто мы заѣзжали туда съ Гоголемъ дѣтьми по дорогѣ въ Нѣжинъ къ Трощинскому въ Кибицы; для подарковъ дѣлались иногда небольшія предварительныя путешествія. Такъ, въ 1828 г., въ послѣдній нашъ проѣздъ черезъ Кибицы, Гоголь привезъ изъ Кременчуга бутылку великолѣпной мадеры... Мы много разъ бывали въ Кибицахъ и Ярескахъ и гостили подолгу, но Трощинскій держалъ себя недоступно и едва ли промолвилъ съ нами даже слово. Домъ былъ открытый; кто ни пріѣзжалъ, пользовался хорошимъ приѣмомъ. Былъ даже занимательный случай съ однимъ Барановымъ, артиллерійскимъ офицеромъ. Онъ случайно, совершенно незнакомый, попалъ какъ-то въ Кибицы какъ разъ передъ именинами Трощинскаго и, въ видѣ сюрприза, устроилъ великолѣпный фейерверкъ. Его обласкали, и онъ остался проживать въ Кибицахъ, года на три совершенно позабывъ про службу.

¹⁾ Имѣніе Трощинскихъ. Дмитрій Прокофьевичъ Трощинскій жилъ всегда въ Кибицахъ, но на лѣто переезжалъ въ Ярески.

²⁾ Отецъ Гоголя.

„Въ школѣ Гоголь мало выдавался, развѣ подъ конецъ, когда онъ былъ нашимъ редакторомъ лицейскаго журнала. Сначала онъ писалъ стихи и думалъ, что поэзія—его призваніе ¹⁾. Мы выписывали съ нимъ и съ Прокоповичемъ журналы, альманахи. Онъ заботился всегда о своевременной высылкѣ денегъ. Мы собирались втроемъ и читали „Онѣгина“ Пушкина, который тогда выходилъ по главамъ. Гоголь уже тогда восхищался Пушкинымъ. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольскаго даже Державинъ былъ новый человѣкъ. Гоголь отлично копировалъ Никольскаго. Вообще Гоголь удивительно воспроизводилъ тѣ черты, которыхъ мы не замѣчали, но которыя были чрезвычайно характерны. Онъ былъ превосходный актеръ. Еслибы онъ поступилъ на сцену, онъ былъ бы Щепкинымъ. Въ Нѣжинѣ товарищи его любили, но называли: *таинственный карла*. Онъ относился къ товарищамъ саркастически, любилъ посмѣяться и давалъ прозвища. Самъ онъ долго казался зауряднымъ мальчикомъ. Онъ былъ болѣзненный ребенокъ. Лицо его было какое-то прозрачное. Онъ сильно страдалъ отъ золотухи; изъ ушей у него текло. Надъ нимъ много смѣялись, трунили. Но передъ окончаніемъ курса его замѣтилъ и сталъ отличать профессоръ исторіи Бѣлоусовъ, котораго онъ, въ свою очередь, весьма уважалъ и любилъ“.

Кромѣ этого, болѣе или менѣе послѣдовательнаго разсказа А. С. Данилевскаго, мы могли вынести слѣдующее изъ отрывочныхъ воспоминаній о жизни его и Гоголя въ Нѣжинѣ.

Жизнь въ пансіонѣ была привольная: дѣти пользовались хорошимъ помѣщеніемъ, большою свободой и могли даже устроить сообще удовольствія, изъ которыхъ на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ, конечно, гимназическій театръ. Весною и осенью къ ихъ услугамъ былъ обширный лицейскій садъ, въ которомъ они рѣзвились и проводили большую часть вѣкъ-класснаго времени. При тогдашнихъ ограниченныхъ требованіяхъ отъ учащихся на долю послѣднихъ выпадало не мало досужихъ часовъ, да и самое приготовленіе къ занятіямъ происходило у нихъ нерѣдко въ саду, подъ обаятельнымъ небомъ Украйны. А. С. Данилевскій живо припоминалъ, какъ иные изъ воспитанниковъ умудрялись даже, забравъ съ собою необходимый письменный матеріалъ, въ видѣ карандашей и бумаги, обдумывать и отчасти набрасывать свои сочиненія, сидя гдѣ-нибудь въ саду на деревѣ. Безпечность и

¹⁾ Въ Нѣжинѣ, по словамъ А. С. Данилевскаго, Гоголь писалъ во вкусъ Бестужева, и у него встрѣчались пышныя описанія природы, лѣсъ и т. п. Все это помѣщалось въ лицейскомъ изданіи „Звѣзда“.

игры устанавливали между школьниками живое общеніе и теплыя товарищескія отношенія, сохранившія для нихъ значеніе на всю жизнь. Немного, правда, выносили они изъ стѣнъ учебнаго заведенія, но юность ихъ текла привольно и весело, и у нихъ всегда оставалось достаточно свободнаго времени для чтенія, для собственныхъ любимыхъ занятій и для впечатлѣній жизни. Отсюда вытекають всѣ свѣтлыя и темныя стороны тогдашняго лицейскаго быта. Въ многолюдной толпѣ почти предоставленныхъ себѣ мальчиковъ, не всегда получившихъ предварительно хорошее домашнее воспитаніе, было, разумѣется, несравненно больше такихъ, которые, пользуясь предоставленнымъ имъ привольемъ, упивались преимущественно прелестями малороссійскаго климата и наслажденіями на лонѣ природы, и изъ такихъ выходили очень часто самые заурядные люди. Вѣчно веселый, кудрявый мальчикъ Гребенка, безцеремонно перетѣзающій черезъ плетень къ своему сосѣду учителю Кульжинскому за альманахами и журналами (см. „Лицей кн. Безбородко“, изд. 1884 г., стр. 381), живо переноситъ насъ въ патріархальныя нравы лицея Безбородко въ концѣ двадцатыхъ и даже въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ, т.-е. уже гораздо позднѣе Гоголя. Но Гребенка, эта „воплощенная юность“, по сочувственному отзыву о немъ любившаго его наставника, былъ уже натура богатая, исключительная, тогда какъ преобладающее большинство составляли тѣ „существователи“, которые, по словамъ Гоголя, при встрѣчѣ съ первыми затрудненіями готовы были отказаться отъ своихъ идеаловъ и „наострить лыжи обратно въ скромность своихъ недалекихъ чувствъ и удовольнитъ ничтожностью почти вѣчною“. Не муча себя честолюбивыми заботами и стремленіями, они, по примѣру отцовъ и дѣдовъ, избирали себѣ невидное мирное поприще, терялись въ глуши и исчезали, по окончаніи курса, изъ виду своихъ болѣе энергичныхъ товарищей, направлявшихся обыкновенно въ Петербургъ. Но, съ другой стороны, не мало было въ ихъ средѣ и такихъ, которымъ, къ чести ихъ, снисходительный надзоръ начальства не помѣшалъ сдѣлаться со временемъ серьезными и дѣльными людьми, а нѣкоторымъ даже получить въ послѣдствіи весьма почетную извѣстность. Являвшаяся у болѣе даровитыхъ и развитыхъ юношей страсть къ литературѣ и чтенію должна была, естественно, провести рѣзкую грань между молодыми людьми съ склонностью къ умственному труду—и будущими корнетами и титулярными совѣтниками.

Между воспитанниками уже тогда выдвигались люди серьезнаго труда и мысли, какъ извѣстный въ послѣдствіи профессоръ П. Г. Рѣдинъ, еще въ лицейское время работавшій много и

дѣльно. Для Гоголя и Данилевскаго лицейскіе годы были полезны преимущественно той умственной пищей, которую имъ доставляло хорошее чтеніе, постепенно развивая ихъ и воспитывая въ нихъ эстетическое чувство. Для перваго изъ нихъ, впрочемъ, недостатокъ правильнаго систематическаго труда въ школѣ остался роковымъ, сдѣлавъ изъ него человѣка, обязаннаго рѣшительно всѣмъ своимъ богатымъ природнымъ дарованіямъ, а никакъ не ученью. Но съ другой стороны это была одна изъ тѣхъ натуръ, которыя требуютъ особенно осторожнаго съ ними обращенія и которымъ безпощадная школьная регламентація съ ея нивелирующимъ давленіемъ, можетъ быть полезная для обыкновеннаго большинства, могла бы скорѣе причинить вредъ,—потому, во-первыхъ, что въ нихъ мало гибкости, а во-вторыхъ лучшая учительница такихъ избранныхъ людей все-таки ихъ природа. Данилевскій же хотя не былъ натурой гениальной, но также былъ хорошо одаренъ отъ природы и во всякомъ случаѣ далеко не принадлежалъ къ числу людей дюжинныхъ: его живая воспримчивость, сохранившаяся до послѣднихъ дней, его тонкое эстетическое чувство и замѣчательный интересъ къ литературѣ достаточно говорятъ за это.

Артистическая жилка въ школьное время не была чужда Данилевскому такъ же, какъ и Гоголю. Въ гимназическомъ театрѣ Данилевскій тоже былъ однимъ изъ дѣятельныхъ актеровъ или, точнѣе, актрисой, потому что чрезвычайно красивая наружность его заставила кружокъ товарищей разъ навсегда отдать ему женскія роли. Такъ, въ „Эдипѣ въ Афинахъ“ Базили ¹⁾ игралъ Эдипа, Данилевскій—Антигону; въ „Фингалѣ“ ему приходилось всегда изображать Мойну. Но сценическимъ дарованіемъ, по собственному откровенному признанію, Данилевскій не отличался вовсе и подвизался на товарищеской сценѣ больше благодаря охотѣ и счастливой наружности, хотя неизмѣримо уступалъ Кукольникову и Гоголю, настоящимъ мастерамъ дѣла. Такъ въ „Недорослѣ“ Гоголь и Кукольникъ приводили въ восторгъ публику дѣйствительно блестящимъ исполненіемъ: первый отличался въ роли Простаковой, тогда какъ послѣдній превосходно игралъ Митрофана. Въ этихъ роляхъ оба, по единодушному признанію всѣхъ, кто ихъ видѣлъ на сценѣ, были неподражаемы. Кукольникъ же тогда обращалъ на себя вниманіе наклонностью къ драмѣ и трагедіи: когда онъ исполнялъ послѣднюю сцену трагедіи Сумарокова: „Дмитрій Са-

¹⁾ Базили, Константинъ Михайловичъ, авторъ „Очерковъ Константинополя, Архипелага въ Греціи“ „Восфора“, изъ школьныхъ товарищей Гоголя, впоследствии консулъ въ Смирнѣ и въ Сиріи.

мозвонецъ", онъ, послѣ эффектно произнесенныхъ заключительныхъ словъ, падалъ на полъ какъ трупъ, чѣмъ производилъ сильное впечатлѣніе; онъ изумлялъ также публику патетическимъ исполненіемъ заглавной роли въ „Фингалъ“, Озерова.

Театръ съ его волненіями, торжественной обстановкой (конечно, не въ первое время, когда кулисами были классныя доски) и съ его многократными репетиціями вносилъ въ жизнь воспитанниковъ, безъ сомнѣнія, много необычайнаго, праздничнаго, что еще болѣе способствовало ихъ сближенію. Но и въ обыкновенное время у нихъ не было недостатка въ развлеченіяхъ. Въ обыденномъ домашнемъ быту воспитанники постоянно встрѣчались другъ съ другомъ и забавлялись шалостями, изобрѣтаемыми Гоголемъ и другими рѣзвыми мальчиками. А. С. Данилевскій припоминалъ нѣкоторые эпизоды, какъ напр. однажды Гоголь, передразнивая учителя физики Шапалинскаго, попался ему на глаза, за что послѣдній, сильно разсердившись, схватилъ его и долго трясъ за плечи, и какъ Севрюгинъ, учитель пѣнія, замѣчая, что Гоголь иногда фальшивилъ и не былъ въ состояніи пѣть въ тактъ съ товарищами, приставлялъ ему скрипку къ самому уху, называя его глухаремъ, что, разумѣется, возбуждало общее веселье. Гоголь любилъ всѣ искусства вообще, любилъ и пѣть; но между тѣмъ какъ онъ дѣлалъ большіе успѣхи въ рисованіи, пѣнье не давалось ему, благодаря недостатку музыкальнаго слуха. Но въ хорѣ онъ участвовалъ, когда во время рекреаціи воспитанники пѣли стихи:

„Златые наши дни, теките!
Красуйся ты, нашъ русскій царь“, и проч.¹⁾

Совершенно особый міръ представляла больница, служившая для нѣкоторыхъ воспитанниковъ своего рода клубомъ. Въ больницѣ особенно фигурировалъ другъ Гоголя Высоцкій, о которомъ А. С. Данилевскій припоминалъ, что онъ вѣчно находился тамъ, страдая отъ болѣзни глазъ. Онъ сидѣлъ обыкновенно съ зонтикомъ. У него съ Гоголемъ было много общаго, но Высоцкій былъ гораздо авторитетнѣе. Ихъ соединяло другъ съ другомъ въ особенности то, что, по словамъ Гоголя, они „скоро поняли другъ

¹⁾ На вопросъ мой о любимыхъ играхъ Гоголя въ школѣ А. С. Данилевскій отвѣчалъ, что любимыхъ игръ у него даже и не было, какъ впослѣдствіи не было никакихъ любимыхъ физическихъ упражненій; напр., онъ не любилъ никакого спорта, верховой ѣзды и проч.; до нѣкоторой степени нравившимся ему развлеченіемъ была разигъ игра на бильярдѣ. Нельзя не пожалѣть, что П. Г. Рѣдкинъ никогда не сообщалъ ничего изъ своихъ лицейскихъ воспоминаній о Нѣжинѣ.

друга" и ихъ „сроднили глупости людскія“, надъ которыми они вмѣстѣ потѣшались.

Въ концѣ 1826 года Гоголю предстояло на непродолжительное время разстаться съ Данилевскимъ, оставившимъ по какому-то случаю гимназію высшихъ наукъ и перешедшимъ въ московскій университетскій пансіонъ. Въ письмѣ къ Высоцкому, отъ 17-го января 1827 г., Гоголь сообщалъ между прочимъ: „Я здѣсь совершенно одинъ: почти всѣ оставили меня; не могу безъ сожалѣнія и вспомнить о вашемъ классѣ ¹⁾. Много и изъ моихъ товарищей ушло. Лукашевичъ поѣхалъ въ Одессу, Данилевскій тоже выбылъ. Не знаю, куда понесетъ его ²⁾ (V, 45)...

Но не долго оставался Данилевскій въ Москвѣ: скоро онъ соскучился по товарищамъ и вернулся снова въ Нѣжинъ. Въ Москвѣ онъ пробылъ меньше года. 26-го іюня 1827 г. Гоголь писалъ Высоцкому: „Данилевскій находится теперь въ Москвѣ — не могу навѣрное сказать — гдѣ, но, кажется, въ пансіонѣ“ (V, 51), а въ декабрѣ того же года онъ былъ уже снова въ Нѣжинѣ (V, 70) ³⁾.

Въ іюнѣ 1828 года Гоголь и Данилевскій кончили курсъ въ гимназіи высшихъ наукъ — оба дѣйствительными студентами ⁴⁾.

¹⁾ Высокій былъ двумя курсами старше Гоголя.

²⁾ Въ случайно попавшемся намъ спискѣ (или копіи съ него) наказанныхъ въ продолженіе цѣлаго полугодія воспитанниковъ (на большой старинной бумагѣ синяго цвѣта), по распоряженію надзирателей, Амана, Зельднера и Капитона Павлова, довольно часто встрѣчается имя Яновскаго, напр.: „оставленъ за то, что занимался игрушками во время класса священника“, за „дерзкія слова стоялъ въ углу“, или просто: „получилъ достойное наказаніе за худое поведеніе“. Можетъ быть, этотъ списокъ относится къ 1827 г.

³⁾ А. С. Данилевскій сообщилъ мнѣ на мой вопросъ о подробностяхъ: „Изъ Нѣжина я вышелъ въ концѣ 1826 года и былъ въ университетскомъ пансіонѣ въ Москвѣ до іюля 1827 года; затѣмъ вновь поступилъ въ нѣжинскую гимназію высшихъ наукъ въ концѣ того же 1827 года.

⁴⁾ Отметимъ кстати, что въ официальныхъ данныхъ нѣжинскаго лицея значилось, что при выпускѣ „по окончаніи музыки, пѣнія и танцевъ близились на ранирахъ и сабляхъ пансіонеры, окончившіе курсъ наукъ: Григорьевъ, Данилевскій I (Александръ Семеновичъ) и Миллеръ“ (см. статью проф. Лавровскаго: „Гимназія высшихъ наукъ“, 8, 1879, неоффиц. отдѣлъ, стр. 157, примѣч. Тамъ же: „танцевали матлотъ Пузыревскій и Данилевскій I“. Упоминаемъ объ этомъ потому что, какъ мы слышали и изъ другихъ источниковъ, Данилевскій въ молодости отличался вообще живостью, ловкостью и красотой.

III.

По окончаніи курса друзья рѣшили вмѣстѣ ѣхать въ Петербургъ: Данилевскій для поступленія въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, Гоголь—на государственную службу. Данилевскій, какъ всегда, явился руководителемъ Гоголя въ отношеніи путевыхъ издержекъ, трудностей и хлопотъ. Было условлено, что онъ заѣдетъ за Гоголемъ изъ Толстого въ Васильевку, откуда они должны были вмѣстѣ двинуться въ дальній путь. Дѣло было въ декабрѣ 1828 г. Для дороги былъ приготовленъ помѣстительный экипажъ, и послѣ продолжительныхъ проводовъ и напутствій Марьи Ивановны Гоголь вибитка двинулась.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь ни за что не хотѣлъ проѣзжать черезъ нее, чтобы не испортить впечатлѣнія первой торжественной минуты въѣзда въ Петербургъ. Поэтому они поѣхали по бѣлорусской дорогѣ, на Нѣжинъ, Черниговъ, Могилевъ, Витебскъ и т. д. Въ Нѣжинѣ прожили нѣсколько дней, повидались съ нѣкоторыми товарищами и, между прочимъ, съ неуспѣвшимъ выѣхать въ Петербургъ же Прокоповичемъ. Во время пути не произошло ничего особенно замѣчательнаго, но по мѣрѣ приближенія къ Петербургу нетерпѣніе и любопытство юныхъ путниковъ возрастало съ каждымъ часомъ. Наконецъ издали показались безчисленные огни, возвѣщавшіе о приближеніи къ столицѣ. Дѣло было вечеромъ. Обоими молодыми людьми овладѣлъ невыразимый восторгъ: они позабыли о морозѣ и, какъ дѣти, то и дѣло высовывались изъ экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше разсмотрѣть невиданную ими столицу. Наконецъ, ихъ жаднымъ взорамъ открылось вождельнное зрѣлище, хотя, въ сущности, они приближались только къ окраинамъ города. Гоголь совершенно не могъ придти въ себя; онъ страшно волновался и за свое пылкое увлеченіе заплатилъ самымъ прозаическимъ образомъ, схвативъ насморекъ и легкую простуду, но особенно обидная непріятность была для него въ томъ, что онъ, отморозивъ носъ, вынужденъ былъ первые дни просидѣть дома. Онъ чуть не слегъ въ постель, и Данилевскій перепугался—было за него, опасаясь, чтобы онъ не разболѣлся серьезно. Отъ всего этого восторгъ быстро смѣнился совершенно противоположнымъ настроеніемъ, особенно когда ихъ стали беспокоить страшныя петербургскія цѣны и разныя мелочныя дразги: съ облаковъ пришлось спуститься на землю.

На послѣдней станціи передъ Петербургомъ наши путники

прочли объявленіе, гдѣ можно остановиться, и выбрали домъ Трута у Кокушкина моста, гдѣ и пришлось Гоголю проскучати нѣсколько дней въ одиночествѣ, пока Данилевскій, не будучи въ состояніи устоять противъ соблазна и оставивъ его одного, пустился странствовать по стогнамъ Сѣверной Пальмиры. Неудивительно, что первыя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ знакомства съ Петербургомъ, были несравненно отраднѣе, нежели у Гоголя ¹⁾).

Вскорѣ Данилевскій выдержалъ экзаменъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Во все время пребыванія въ школѣ, пользуясь отпусками въ воскресные и праздничные дни, онъ постоянно проводилъ ихъ у Гоголя, тѣмъ болѣе, что другихъ знакомыхъ у него не было. Въ Петербургѣ наши прїѣзжіе застали, впрочемъ, многихъ однокашниковъ-нѣжинцевъ. Всѣ они въ опредѣленные дни сходились другъ у друга и составляли тѣсно сплотившуюся товарищескую компанію. Случалось, конечно, и Гоголю принимать у себя товарищей, и это-то обстоятельство подало поводъ одному благопріятелю наговорить Марьѣ Ивановнѣ, что у Гоголя будто бы „пировало“ множество гостей на его счетъ, и что онъ одинъ занималъ квартиру, состоявшую изъ трехъ комнатъ, чего никогда въ дѣйствительности не было.

Въ кружкѣ нѣжинцевъ Гоголю особенно были близки два брата Прокоповича (пріятель его Николай, прозванный за румяный цвѣтъ лица Красенькимъ, и Василій, обыкновенно называемый Гоголемъ—Васька), Иванъ Григорьевичъ Пашенко и художникъ Мокрицкій. Вечера проходили оживленно и шумно, и кружокъ постепенно расширялся отъ присоединенія къ нему новыхъ лицъ. Такъ, спустя нѣсколько лѣтъ, въ 1834 году, въ немъ часто бывалъ извѣстный впослѣдствіи писатель, П. В. Анненковъ, получившій въ кружкѣ прозваніе Жюль-Жаненъ.

¹⁾ Этими данными ограничиваются записанныя и выслушанныя мною отъ Данилевскаго воспоминанія о нѣхъ школьной жизни и совѣстныхъ поѣздкахъ до переезда въ Петербургъ. Считаю не лишнимъ привести здѣсь еще небольшую записку Гоголя Данилевскому по поводу одной изъ прежнихъ поѣздокъ, вѣроятно въ Нѣжинъ:

„Не забудь меня уведомить въ случаѣ какого-нибудь измѣненія по части нашего выѣзда, то-есть если онъ подвинется подальше воскресенья (пославши верхового изъ Сорочинцевъ въ пятницу или субботу). Если же все по-старому, то ми всѣ будемъ въ Сорочинцѣ въ воскресенье на обѣдъ, никакъ не позже двухъ часовъ, а если можно, то и раньше, чтобы пораньше выѣхать послѣ обѣда въ то же воскресенье“.

Подпись: „твой Н. Г.“ (буквы эти слиты въ подобіе вензеля). Даты на письмѣ никакой нѣтъ.

IV.

Первое время по приѣздѣ въ Петербургъ было употреблено Гоголемъ на всевозможныя хлопоты объ устройствѣ. Впрочемъ по крайней безпечности у него безъ пользы пролежали въ карманѣ нѣсколько рекомендательныхъ писемъ. Вначалѣ у него еще были кое-какія маленькія деньги, но ихъ было мало, и приходилось въ первый разъ въ жизни серьезно позаботиться о своей судьбѣ. Только-что оправился онъ отъ простуды, какъ немедленно пошелъ къ Логгину Ивановичу Кутузову, къ которому имѣлъ рекомендательное письмо отъ Д. П. Тропинскаго. По словамъ А. С. Данилевскаго, Кутузовъ принялъ его очень хорошо, обласкалъ, сразу перешелъ съ нимъ на ты и пригласилъ его часто бывать у себя запросто, хотя этимъ почти все и ограничилось.

Но цѣлый рядъ разочарованій и неудачъ произвелъ вскорѣ на Гоголя настолько удручающее впечатлѣніе, что онъ, какъ извѣстно, задумалъ оставить Петербургъ и пуститься за границу. Въ самомъ началѣ столичной жизни онъ было отдался съ жаждою наблюденіямъ надъ новымъ, незнакомымъ ему міромъ, осмотрѣлъ и изучилъ городъ и его окрестности (Екатерингофъ и проч.), но вскорѣ имъ овладѣли попеременно—сперва безотчетная, но сильная тоска по родинѣ, а потомъ еще болѣе сильное и болѣе неясное ему самому стремленіе куда-то въ даль, въ чужіе края. Очевидно, Гоголь не нашелъ въ Петербургѣ того, что искалъ и на что страстно надѣялся (Данилевскій зналъ объ этомъ, но мало тогда ему сочувствовалъ и не могъ раздѣлять его фантастическихъ стремленій).

Подобно тому, какъ въ Нѣжинѣ Гоголь не могъ примириться съ низменными стремленіями „существователей“, такъ и о петербургской жизни онъ отзывался вскорѣ съ презрѣніемъ: „Тишина въ Петербургѣ необыкновенная; никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все погрязло въ низменныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ“... Между тѣмъ Гоголя манило что-то необыкновенное; его юношескій пылъ требовалъ идеаловъ, и онъ все еще не терялъ надежды найти что-то необходимое ему на чужбинѣ. Онъ еще не догадывался или не хотѣлъ знать, что обиденная жизнь вездѣ одинакова, что нигуда нельзя уйти отъ житейской прозы. Въ душѣ его былъ запросъ на что-то призрачно-грандіозное, на что дѣйствительность не могла дать отвѣта. Его тянуло въ какую-то фантасти-

ческую страну счастья и разумаго, производительнаго труда. По словам покойнаго Данилевскаго, такой страной представлялась ему Америка. Не тамъ ли мечталъ онъ „передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ гудѣ и дѣятельности“, какъ онъ писалъ своей матери? Но онъ былъ еще въ полномъ смыслѣ „зеленый“ юноша, и никто даже изъ товарищей не вѣрилъ, чтобы постоянно мѣнявшіяся мечты его могли быть близки къ осуществленію, да и денегъ на большую поѣздку у него не достало бы. Его словамъ и не придавали особеннаго значенія—одни, думая, что онъ по странной привычкѣ, замѣчавшейся въ немъ чуть не съ дѣтства, забавляется мистификаціей и не желаетъ открыть имъ свое настоящее намѣреніе; другіе—нисколько не сомнѣваясь, что если фантазія его и искренна, то изъ нея ничего не выйдетъ. А между тѣмъ вотъ какая перспектива рисовалась его пылкому воображенію: „Пресмыкаться—другое дѣло *тамъ*, гдѣ каждая минута—богатый запасъ опытовъ и знаній; но изжить вѣкъ, гдѣ не представляется впереди совершенно ничего, гдѣ всѣ лѣта, проведенныя въ ничтожныхъ занятіяхъ, будутъ тяжкимъ упрекомъ звучать душѣ,—это убійственно!“ Едва ли всѣ эти планы Гоголя не могутъ быть объяснены преимущественно неудовлетворенностью настоящимъ, потому что они мигомъ исчезли, когда онъ вошелъ въ кругъ Плетнева и Пушкина и могъ считать свою жизнь достаточно наполненною.

Но какъ было объяснить эти планы матери, смотрѣвшей на вещи съ обычной точки зрѣнія большинства пожилыхъ провинціаловъ, согласно которой Петербургъ представляется благодарнымъ, если не блестящимъ поприщемъ чиновничьей карьеры. Ей непремѣнно хотѣлось, чтобы сынъ безостановочно шагаль по служебной лѣстницѣ, что казалось материнскому пристрастію не только естественнымъ, но и законнымъ. Слѣдующія строки одного изъ отвѣтныхъ писемъ Гоголя отчасти знакомятъ насъ съ тѣми широкими надеждами, которыя Марья Ивановна возлагала на будущую карьеру сына: „Вы говорите, почтеннѣйшая маменька, что многіе, пріѣхавъ въ Петербургъ и сначала не имѣвшіе ничего, жившіе однимъ жалованьемъ, приобрѣли себѣ впослѣдствіи довольно значительное состояніе единственно стараніями и прилежаніемъ по службѣ и приводите въ примѣръ Гелижинскаго. Я вамъ сотню самъ приведу примѣровъ такихъ людей, которые, точно, не имѣя ни гроша, приобрѣли впослѣдствіи многое; но вспомните, въ какому времени это относится, когда протекало ихъ поприще службы? Зачѣмъ вы не приведете въ примѣръ хотя

одного такого, который бы въ нынѣшнее время, т.-е. въ послѣднюю половину царствованія Александра (I) и въ продолженіе царствованія Николая приобрѣлъ богатство по службѣ? Въ этомъ-то и дѣло, что не тѣ времена. Это вамъ скажетъ всякій, служащій въ столицѣ "... Въ слѣдующихъ затѣмъ строкахъ прямо высказывается самое вѣроятное предположеніе, что подобнаго рода быстрое обогащеніе происходило благодаря взяткамъ. Простодушная Марья Ивановна, не выѣзжавшая дальше Кіева и живя почти безвыѣздно въ деревнѣ, не имѣвшая случая близко присмотрѣться къ ходу служебныхъ дѣлъ, была совершенно проникнута убѣжденіемъ, подкрѣпляемымъ примѣромъ, что достаточно усердно служить въ столицѣ, и можно составить и карьеру, и приличное состояніе. По дѣтской неопытности въ жизни она не повѣрила бы, что ея добрые знакомые, можетъ быть, подобно другимъ, пользовались тѣмъ самымъ простымъ и поворнымъ способомъ обогащенія, который одинъ только и давалъ средства осуществлять подобныя стремленія. Какъ было Гоголю согласить съ такимъ взглядомъ свое отвращеніе къ тому, чтобы „за цѣну, едва могущую выкупить годовой наемъ квартиры и стола, продать свое здоровье и драгоцѣнное время; имѣть въ день свободнаго времени не больше какъ два часа, а прочее все время не отходить отъ стола и переписывать старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ!“

Безъ сомнѣнія, Марья Ивановна была убѣждена, что сыну ея предстоитъ блистательное поприще, что его ожидаютъ триумфы и почести, такъ что и ей должно было казаться возмутительнымъ подобное употребленіе времени. Но этого было все-таки мало; пришлось прибѣгнуть къ хитрости—изобрѣсть такой поводъ для предполагаемой поѣздки, который долженъ былъ бы имѣть вполнѣ убѣдительное значеніе въ глазахъ Марьи Ивановны. Ссылаясь на пламенную страсть къ какой-то неизвѣстной особѣ, какъ на причину своей странной поѣздки, Гоголь, по всей вѣроятности, лукавилъ: ни Данилевскій, ни другіе товарищи не видѣли въ немъ никакихъ слѣдовъ романтическихъ увлеченій и вообще никакой нравственной перемѣны. Никогда и впослѣдствіи никому не обмолвился Гоголь ни словомъ объ этой страсти, существовавшей въ его воображеніи. Едва ли не правъ былъ и Кулишъ, выразившійся однажды, что мать Гоголя была единственною его страстью (см. „Русск. Стар.“ 1887, № 3, ст. г-жи Бѣлозерской: „М. И. Гоголь“). Правда, Гоголь былъ весьма скрытенъ по природѣ; но сколько ни припоминалъ А. С. Данилевскій,—все его душевное состояніе и самое поведеніе въ то время нисколько не подтверж-

дали это невѣроятное сообщеніе. Въ нѣкоторыхъ письмахъ къ Данилевскому есть какъ будто намеки на какую-то прежнюю страсть, но слишкомъ неясные. Трудно даже рѣшить, заключается ли въ нихъ что-то похожее на признаніе въ быломъ увлеченіи, или, можетъ быть, напротивъ, сожалѣніе о томъ, что никогда не удалось его испытать. Весьма загадочны, напр., слѣдующія строки, написанныя въ отвѣтъ Данилевскому на изображеніе его пламенной любви къ одной особѣ: „Очень понимаю и чувствую состояніе души твоей, хотя *самому, благодаря судьбу, не удалось испытать*. Я потому говорю: *благодаря* ¹⁾, что это пламя меня бы превратило въ прахъ въ одно мгновеніе. Я бы не напелъ себѣ въ прошедшемъ наслажденія; я силился бы превратить это въ настоящее и былъ бы самъ жертвою этого усилія. И потому-то, къ спасенію моему, у меня есть твердая воля, *два раза отходящая меня отъ желанія заглунуть въ пропасть*. Ты счастливеецъ, тебѣ удѣлѣ вкусить первое благо въ свѣтѣ — любовь, а я... Но мы, кажется, своротили на байронизмъ“ (Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 165). Если въ этихъ словахъ видѣть намекъ на прежнюю страсть, то оправдывается увѣреніе Гоголя, что за границу „онъ бѣжалъ отъ самого себя“ (V, 89) и что онъ „увидѣлъ, что нужно бѣжать отъ самого себя, чтобы сохранить жизнь, водворить тѣнь покоя въ истерзанную душу“ (V, 89). Но тогда почему же тому же Данилевскому онъ писалъ впоследствии: „Ты спрашиваешь, зачѣмъ я въ Ниццѣ, и выводѣшь догадки насчетъ сердечныхъ моихъ слабостей. Это, вѣрно, сказано тобой въ шутку, потому что *ты знаешь меня довольно съ этой стороны*“ (VI, 66).

Достаточно внимательно прочитавъ нѣсколько писемъ Гоголя сряду въ разсматриваемую пору и сопоставивъ ихъ со словами Данилевскаго, чтобы довѣріе къ искренности словъ Гоголя о любви его къ неизвѣстной особѣ поколебалось. Въ письмѣ отъ 22 мая 1829 года Гоголь явно заботится подготовить Марью Ивановну къ убійственному для нея извѣстію о предстоящей продолжительной разлуцѣ. Необходимость взять деньги изъ опекунскаго совѣта также могла не мало смущать Гоголя. Наконецъ, онъ просилъ и Данилевскаго съ своей стороны, насколько возможно, помочь ему подѣйствовать на мать. Замѣтивъ въ одномъ письмѣ, въ довольно загадочной формѣ, что „многое еще отъ него закрыто завѣсомъ“, и что онъ „съ нетерпѣніемъ желаетъ вздернуть таинственный покровъ“, онъ обѣщалъ извѣстить въ слѣдующій разъ

¹⁾ Курсивъ въ подлинникѣ.

„объ удачахъ или неудачахъ“... „Нынѣшнія извѣстія моего письма не будутъ слишкомъ утѣшительны. Мои надежды не исполнились (начинаетъ онъ слѣдующее письмо, какъ будто возвращаясь къ обѣщанному сообщенію; по своему обыкновенію онъ подходитъ къ дѣлу издалека). Все состояло въ томъ, что мои небольшія способности были признаны, и мнѣ представлялся прекрасный случай ѣхать въ чужіе края. Это путешествіе, сопряженное обыкновенно съ величайшими издержками, мнѣ ничего не стоило; все бы за меня было заплачено, и малѣйшія мои нужды во время пути должны были быть удовлетворены“. Послѣ этого слѣдуетъ сообщеніе, что „великодушный другъ скоростижно умеръ“. Но кто бы могъ быть такимъ великодушнымъ другомъ Гоголя въ совершенно чуждомъ городѣ? А. С. Данилевскій не слыхалъ отъ него ни о чемъ подобномъ. Въ приемахъ, которыми Гоголь думалъ дѣйствовать на мать, есть что-то отроческое; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, кажется, зная хорошо натуру Марьи Ивановны, мало заботился о послѣдовательности въ своей тактикѣ, но старался больше о томъ, чтобы затронуть чувствительную струну ея материнскаго честолюбія. Разсчитывая этимъ способомъ убѣдить Марью Ивановну, онъ долженъ былъ перенестись на ея точку зрѣнія и заговорить понятнымъ ей языкомъ. Ей ли, которая жила всегда мечтой о томъ, что любимый сынъ прославится, сдѣлается знаменитостью и будетъ извѣстенъ лично государю, могло не польстить, что такъ скоро представился ему случай зарекомендовать себя, и что за достоинства его хотѣли взять за границу! Но рассказавъ о своей мнимой неудачѣ и словно переходя уже совершенно къ другому, Гоголь закидываетъ снова словечко о созрѣвавшемъ у него намѣреніи. „Итакъ, я стою въ раздумьѣ на жизненномъ пути, ожидая рѣшенія еще нѣкоторымъ моимъ ожиданіямъ“. Правда, онъ говоритъ, между прочимъ, что „ожидаетъ мѣста по-выгоднѣе и поблагороднѣе“; но и здѣсь надежда на почетное и хлѣбное мѣсто была скорѣе во вкусѣ матери, державшейся обычныхъ тогда воззрѣній на службу, нежели уносившагося въ тридцатое государство мечтателя-сына. Но и тутъ тотчасъ же дѣлается знаменательная оговорка: „если мнѣ и тамъ (т.-е. на новомъ, выгодномъ мѣстѣ) не повезетъ, если нужно будетъ употреблять много времени на глупыя занятія, то я слуга покорный“. Прося у матери денегъ, онъ высказываетъ какъ будто надежду на лучшее устройство въ Петербургѣ („Дайте мнѣ еще нѣсколько времени укорениться здѣсь; тогда надѣюсь какъ-нибудь зажить состояніемъ“); но это показываетъ скорѣе неустойчивость въ его планахъ, нежели преднамѣренную хитрость, и потому онъ могъ не-

много позднѣе написать: „несмотря на свои неудачи, я рѣшился— въ угодность вамъ больше—служить здѣсь во что бы то ни стало“. Онъ ли внушилъ Марьѣ Ивановнѣ богатая надежды на Петербургъ передъ отправленіемъ туда изъ Васильевки, или тутъ дѣйствовали примѣры Гелижинскаго и другихъ—сказать трудно; но вѣроятно объ эти причины совпадали и притомъ были согласны съ обычнымъ идеализированіемъ провинціалами далекой, неизвѣстной столицы.

Всѣ указанные маневры имѣли, безъ сомнѣнія, значеніе только подготовительное. Наконецъ, наступило время поднять таинственную завѣсу. Но тутъ никакъ нельзя было обойтись безъ хитрости: сказать прямо, въ чемъ дѣло, значило бы убить мать. Здѣсь на помощь является реторика: „дрожащее въ рукахъ перо и мысли, налегающія тучами одна на другую“. Наконецъ, обходя прямое объясненіе причины своего рѣшенія, Гоголь ссылается на волю Всевышняго. Какъ у поэта, фантазія у него, быть можетъ, незаметно сливается здѣсь съ искреннимъ чувствомъ и вѣрованіемъ. Онъ говоритъ о „вѣчно неумолкаемыхъ желаніяхъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ него, претворивъ его въ жажду, ненасытимую бездѣйственной разсѣянностью свѣта“. Въ послѣднихъ словахъ, несмотря на нѣкоторую искусственность слога, высказано то искреннее стремленіе къ высокой, облагороженной цѣли въ жизни, которое въ сходномъ тонѣ и выраженіяхъ проявилось раньше въ письмахъ къ П. П. Косыровскому („Русск. Старина“, 1876, № 1). Наконецъ, онъ говоритъ прямо и, безъ сомнѣнія, искренно: „Богъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспитать свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высокую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣвать благо и работать на пользу міра“. Здѣсь опять звучитъ та же нота, что и въ письмахъ къ дядѣ и къ товарищу Высоцкому.

Разсказавъ о страданіяхъ безнадежной любви, Гоголь не безъ натяжки усматриваетъ въ нихъ дѣйствіе „пекущейся о немъ невидимой десницы“ и прибавляетъ, что Богъ „благословилъ такъ давно назначаемый путь“. Зная любопытство своей матери и желая отклонить его напередъ, Гоголь умоляетъ ее: „ради Бога, не спрашивайте ея имени“. Между тѣмъ по возвращеніи изъ-за границы онъ позабылъ самъ о представленномъ прежде предлогѣ поѣздки и въ оправданіе придумалъ какую-то болѣзнь, отъ которой будто бы онъ долженъ былъ лечиться: „Я, кажется, и забылъ объявить главную причину, заставившую меня ѣхать именно

въ Любекъ. Во все почти время весны и лѣта въ Петербургъ я былъ боленъ; теперь хотъ и здоровъ, но у меня по всему лицу и рукамъ высыпала большая сыпь" (V, 90). Эти слова не на шутку перепугали Марью Ивановну и заставили ее сдѣлать невыгодное предположеніе, но, по словамъ А. С. Данилевскаго, никакой подобной болѣзни никогда и не было, да это и безъ того очевидно: цѣлью путешествія Гоголя былъ вовсе не Любекъ и даже никакъ не Гамбургъ; это были только первыя станціи на его предполагавшемся пути.

Но достаточно было очутиться Гоголю на морѣ, среди чуждыхъ людей, почувствовать тоску одиночества и жестокіе приступы морской болѣзни и испытать затрудненія отъ незнанія языковъ, какъ въ рѣшительную минуту, еще до отъѣзда, его охватилъ такой ужасъ, который тутъ же чуть не заставилъ его отказаться отъ путешествія. Представивъ себѣ возможность вѣчной разлуки съ матерью и любимыми товарищами, онъ содрогнулся (см. „Авторскую Исповѣдь“). Въ письмѣ къ матери съ дороги онъ уже сознался: „Теперь только, когда я, находясь одинъ посреди необозримыхъ волнъ, узналъ, что значить разлука съ вами, неоцѣненная маменька, въ эти торжественные, ужасные часы моей жизни, когда я бѣжалъ отъ самого себя и старался забыть все окружающее меня, мысль: *что я вамъ причиняю смѣхъ*, тяжелымъ камнемъ налегла на душу, и напрасно старался я увѣрить самого себя, что я принужденъ былъ повиноваться волѣ Того, Который управляетъ нами свыше!“

Когда дѣло было уже кончено и не нужно было измышлять мнимыя объясненія, Гоголь далъ матери еще третье и повидимому уже правдивое объясненіе своей фантастической поѣздки. „Вотъ вамъ мое признаніе: одни только гордые помыслы юности, проистекавшіе, однакожъ, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ далеко“ (см. письмо отъ 24 сент. 1829 г.). Это объясненіе согласно и съ „Авторскою Исповѣдью“, въ которой нѣтъ ни слова ни о пылкой страсти, ни о болѣзни.

Извѣстенъ рассказъ Прокоповича о томъ, какъ онъ былъ изумленъ, неожиданно увидѣвъ въ своей квартирѣ возвратившагося изъ-за границы Гоголя съ лицомъ, закрытымъ руками. Не менѣе удивленъ былъ и А. С. Данилевскій, когда онъ, входя къ Прокоповичу, услышалъ звуки хорошо знакомаго голоса. Хотя, по собственнымъ словамъ его, онъ совершенно не вѣрилъ въ серьезность плана, составленнаго Гоголемъ, и предвидѣлъ его скорое

возвращеніе, но все-таки никакъ не ожидалъ, что это случится такъ быстро.

V.

Вскорѣ по возвращеніи Гоголя въ Петербургъ онъ постепенно вошелъ въ кругъ Пушкина, Жуковского, Плетнева и Смирновой (тогда еще Россетъ). Все это произошло уже въ половинѣ 1831 г., когда Данилевскій оставилъ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и уѣхалъ изъ Петербурга. Въ мартѣ 1831 года, распростившись съ школой, онъ переселился прямо къ Гоголю и оставался у него до дня отъѣзда (28 апрѣля 1831 г.). Около того же времени Пушкинъ пріѣхалъ изъ Москвы съ молодой женой и поселился въ Царскомъ Селѣ (въ маѣ 1831 г.). Данилевскій полагалъ, что еслибы Гоголь познакомился съ Пушкинымъ до его отъѣзда, то онъ непременно зналъ бы объ этомъ, тѣмъ болѣе, что Гоголь всегда гордился знакомствомъ и дружбой Пушкина и говорилъ о немъ съ энтузіазмомъ ¹⁾. Изъ всѣхъ названныхъ выше лицъ А. С. Данилевскій зналъ только Плетнева, но пока единственно какъ преподавателя въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ; лично же познакомился съ нимъ позднѣе, по возвращеніи въ Петербургъ съ Кавказа въ 1834 году. Какъ профессора, онъ такъ характеризовалъ Плетнева: „онъ говорилъ очень хорошо, но особенно не выдавался; онъ только-что поступилъ еще на службу и, видимо, конфузился. Товарищи и ученики его любили“.

Въ день выѣзда Данилевскаго изъ Петербурга Гоголь писалъ въ посылаемомъ съ нимъ письмѣ въ матери: „Примите радушно нашего Александра Семеновича. Это вѣстникъ о прибытіи моемъ на слѣдующій годъ“. На прощаньѣ друзья обѣщали часто писать другъ другу, но Данилевскій съ своей стороны не очень спѣшилъ исполнить данное слово. Начата была переписка не имъ, а Гоголемъ, который по его порученію наводилъ въ Петербургѣ справки у докторовъ о наилучшемъ леченіи его болѣзни. Черезъ четыре дня по отъѣздѣ Данилевскаго Гоголь уже писалъ къ нему слѣдующее письмо, которое, какъ небывшее въ печати, припомнимъ здѣсь вполнѣ:

Маѣ 2-го (1831 г.).

„Вышла моя правда: Арендтъ совершенно забылъ и о тебѣ, и о твоей болѣзни, несмотря на то, что я былъ у него на другой

¹⁾ Въ брошюрѣ: „Хронологическая канва для біографіи Пушкина“, изд. второе, академикъ Я. К. Гротъ относитъ также начало знакомства Пушкина съ Гоголемъ къ июню 1831 г. (стр. 30). Итакъ, вопросъ этотъ можно считать рѣшеннымъ.

день послѣ твоего отъѣзда; и когда я сказалъ нѣсколько словъ о болѣзни твоей, онъ совѣтовалъ написать къ тебѣ, чтобы ѣхалъ скорѣе на Кавказъ и слѣдовалъ въ точности предписаніямъ тамошняго доктора, который дастъ тебѣ всѣ предуготовительныя къ тому средства. Пилюль же не почитаетъ онъ нужнымъ по благорастворенности малороссійскаго воздуха и потому, что ¹⁾ время для нихъ прошло.

„Я до сихъ поръ сижу еще на прежней квартирѣ, и никакая новостъ и внезапностъ не потревожили мирной и однообразной моей жизни. Красенькій ²⁾ (эта вещь принадлежитъ тоже къ внезапнымъ явленіямъ) не показывался со дня отъѣзда твоего. Съ друзьями твоими Беранжеромъ и Близнецовымъ случились несчастія. Первый долго скитался безъ пріюта и угла, изгнанный изъ ученаго сообщества Смирдина неумолимымъ хозяиномъ дома, вздумавшимъ передѣлывать его квартиру. Три дня и три ночи не было вѣсти о Беранжерѣ; наконецъ, на четвертый день увидѣли на окошкахъ дому (sic) графини Ланской (гдѣ были звѣри) Хозрезовъ на бѣлыхъ лошадяхъ. А бѣдный Близнецовъ сошелъ съ ума!.. Вотъ что наши знанія!..

„На первый день мая по обыкновенію шелъ снѣгъ, и даже твой Сомъ не показывался на улицу.

„Моя книга ³⁾ врядъ ли выйдетъ лѣтомъ: наборщики пьеть запоемъ.

„Ну, какъ-то принимаютъ война, пріѣхавшаго отдыхать на лаврахъ ⁴⁾. Не забудь (разсказать) подробно и обстоятельно, не исключая Саввы Кирилловича ⁵⁾, ни Катерины Григорьевны, ни Марины Федоровны. Я думаю: нами обоими не слишемъ довольны дома, — мною, что вмѣсто министра сдѣлался учителемъ, тобою — что изъ фельдмаршаловъ попалъ въ юнкера.

„Счастливецъ! ты пьешь теперь весну! а у насъ что-то сырое, что-то холодное, въ родѣ осени. Упомяни хоть слова два про

¹⁾ Въ подлинникѣ стоитъ еще слово *ты*; затѣмъ послѣ зачеркнутого слова ит. д. — должно: „время для нихъ прошло“.

²⁾ Н. Я. Прокоповичъ.

³⁾ „Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки“.

⁴⁾ Гоголь не прочь былъ иногда дружески потрунить надъ своими домашними и сосѣдами, которые бывали ему полезны своимъ знаніемъ малороссійской старины (см. V, 140, гдѣ интересно, между прочимъ, то, что онъ просилъ для этой цѣли разыскать между сосѣдами „старосвѣтскихъ людей“).

⁵⁾ Савва Кирилловичъ — священникъ въ Олифировкѣ. Онъ сообщалъ Гоголю, какъ и нѣкоторые другіе сосѣди, разныя данныя о малороссійскомъ бытѣ для „Вечеровъ на Хуторѣ“ (см. V, 88).

нее въ письмѣ своемъ, чтобы я могъ хоть за морями подышать ею.

„Прощай. Адресуй: Николаю Васильевичу Гоголю въ Институтъ Патріотическій Общества благородныхъ дѣвицъ, потому что я еще не знаю, гдѣ будетъ моя квартира.

„Мое нелицемѣрное почтеніе Василю Ивановичу и Татьянѣ Ивановнѣ“.

На это письмо долго пришлось ждать отвѣта. Наконецъ, выйдя изъ терпѣнія, Гоголь писалъ матери уже 24 іюня 1831 года: „Увѣдомьте меня пожалуйста о Данилевскомъ. Я до сихъ поръ не имѣю никакого извѣстія о немъ со времени отъѣзда его изъ Петербурга. Скажите ему, что я разсорюсь съ нимъ на вѣки, если не получу отъ него письма“¹⁾. Между тѣмъ Данилевскій, проживъ нѣкоторое время въ деревнѣ, успѣлъ, по совѣту Арендта, уѣхать на Кавказъ, чтобы пользоваться леченіемъ нарзаномъ. Но прежде чѣмъ ѣхать въ Кисловодскъ, онъ поселился въ домѣ какого-то генерала въ Пятигорскѣ. Вскорѣ сердце его было завоевано ослѣпительной красотой извѣстной родственницы Лермонтова, Эм. Ш.-Г. Не знаемъ, насколько могъ онъ рассчитывать на сочувствіе, но о бракѣ, вслѣдствіе значительной разницы въ положеніи, нельзя было и мечтать юному воину.

Первыя письма Данилевскаго въ Гоголю были наполнены восторженнымъ прославленіемъ предмета его пламенной страсти. Въ нихъ заключался также цѣлый рядъ порученій, возлагаемыхъ на Гоголя пріятелемъ. Данилевскій безпрестанно просилъ его покупать и пересылать ему подарки, книги, скюртки, галстуки, даже духи, забывая, что послѣдніе не принимаются на почтѣ. На первый разъ онъ просилъ достать для своей повелительницы самыхъ лучшихъ нотъ. „Вотъ оно какъ!“ изумлялся по этому

¹⁾ По своей крайней безпечности А. С. Данилевскій сдѣлалъ даже немалую невольность: какъ только вышли „Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки“, о печатаніи которыхъ Гоголь сообщалъ ему въ приведенномъ письмѣ,—ему одному изъ первыхъ былъ высланъ экземпляръ въ Сорочинцы вмѣстѣ съ требуемымъ имъ словаремъ Олѣдиона. Впрочемъ посылка не застала уже Данилевскаго въ деревнѣ и книги попали въ руки его отчима В. И. Черныша и ятя Егора Львовича Лапо-Данилевскаго (мужа родной сестры Александра Семеновича, Марьи Семеновны). Сообщал потомъ Данилевскому объ успѣхѣ „Вечеровъ“, Гоголь былъ, очевидно, доволенъ имъ и упоенъ первой славой, доставшейся ему такъ легко. Онъ рассказываетъ о своемъ знакомствѣ съ Плетневымъ, Пушкинымъ и Жуковскимъ, и о томъ, какія произведенія вышли изъ-подъ пера послѣднихъ; онъ уже вступилъ въ ихъ литературный кругъ. Но въ то же время онъ не скрывалъ своего удовольствія и по поводу наивно-хвалебнаго письма Черныша, который называлъ его сочиненіе „прекраснѣйшимъ дѣломъ“ и „благороднѣйшимъ занятіемъ“.

поводу Гоголь: „пятый мѣсяцъ на Кавказѣ и, можетъ быть, еще бы столько прошло до первой вѣсти, еслибы *Купидо сердца не подошло лозю*“. Въ письмѣ шесть разъ упоминалось о нотахъ. Гоголь поспѣшилъ собрать всѣ возможныя свѣденія, чтобы лучше исполнить просьбу своего друга, и съ этой цѣлью обратился къ знакомымъ фрейлинамъ, которыя, благодаря вліянію М. Ю. Вѣльгорскаго, хорошо изучили музыку и увлекались ею. Просьбой о нотахъ Гоголь беспокоилъ Софію Урусову и Александру Осиповну Россетъ, которыя шутливо настаивали на объявленіи той счастливой смертной, для коей Гоголь такъ усердно хлопоталъ. Гоголь отдѣлался шуткой, сказавъ, что „средоточіе его любви согрѣваетъ ледовитый Кавказъ и бросаетъ на него лучи косвеннаго сѣвернаго солнца“¹⁾. Данилевскому же онъ писалъ, что готовъ исполнять его желанія и прислать бы ему охотно самыхъ изящныхъ дамскихъ вещей, которыя только-что получены изъ-за моря, и которыя— „совершенное обѣденіе“,—если только онъ ему откровенно скажетъ, чего хочетъ. Гоголь даже просилъ объ этомъ Данилевскаго, которому уже послѣ покупки ноть оставался кое-что долженъ. Въ каждомъ письмѣ притомъ онъ не забывалъ извѣщать Данилевскаго о товарищахъ нѣжинцахъ, которые не переставали попрежнему бывать у него каждую среду и каждое воскресенье, и „изъ которыхъ еще ни одинъ не имѣетъ звѣзды и не директоръ департамента“³⁾.

¹⁾ Нѣкоторыя подробности объ этомъ были уже сообщены нами въ статьѣ: „А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь“ („Русская Старина“, изд. 1888, 4, стр. 40, примѣч.).

²⁾ Все это составляетъ содержаніе письма Гоголя къ Данилевскому отъ 2 ноября 1831 года, которое напечатано у Г. Кулиша съ незначительными пропусками (см. V, 138—140); послѣдніе возстановляемъ здѣсь.

Послѣ словъ: „Все лѣто я прожилъ въ Павловскѣ и въ Царскомъ Селѣ“—слѣдуетъ дополнить: „Стало быть, не былъ свидѣтелемъ временъ терроризма, бывшаго въ столицѣ“.

Замѣчательно, что цензура затруднилась пропустить слово „терроризмъ“ и наша нужнымъ выпустить эту фразу, хотя не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что рѣчь касается здѣсь свирѣпствовавшей въ 1831 г. въ Петербургѣ холеры.

Далѣе, въ самомъ концѣ письма есть также пропускъ:

„Хотя по назначенному тобою адресу можно было тебя отыскать, но все лучше и скорѣе будетъ, когда ты станешь употреблять слѣдующій: 2-ой Адмиралтейской части, въ Офицерскую улицу, въ домъ Брунста“.

Въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 1 января 1832 года) пропущены только два слова: „проклятыя почты!“ Пропускъ обозначенъ въ изданіи Г. Кулиша двумя чертами.

Негодование Гоголя вызвано было пропажей письма Данилевскаго, въ которомъ онъ описывалъ свой пріѣздъ изъ Петербурга домой. Письма вообще нерѣдко пропадали въ то время; но почти въ то же время пропала у Гоголя и отправленная имъ домой цѣнная посылка на 90 р., и онъ жаловался на это кн. Голицину, главному директору почтъ въ Петербургѣ (см. V, 144).

VI.

Къ страсти Данилевскаго Гоголь относился съ какой-то шутилой ироніей. Онъ какъ будто не хотѣлъ или не могъ повѣрить въ силу и искренность увлеченія своего легко воспламенявшагося пріятеля, и смотрѣлъ на все дѣло какъ на одинъ изъ тѣхъ незначительныхъ и забавныхъ эпизодовъ, которые нерѣдко разыгрываются на кавказскихъ минеральныхъ водахъ. Благодаря обычной свободѣ нравовъ и легкости сближенія на тамошнихъ курортахъ, такіе эпизоды вносятъ пріятное разнообразіе въ жизнь посѣщающей воды молодости и помогаютъ ей украсить и сократить время сезоннаго срока; они потомъ легко забываются, и, конечно, не мѣшаютъ иногда по поводу ихъ поговорить и посмѣяться въ свободной дружеской бесѣдѣ. Притомъ Кавказъ считался въ тѣ времена классическимъ мѣстомъ всякихъ любовныхъ и романтическихъ приключеній, а въ качествѣ военного человѣка первой молодости, блестящаго, ловкаго и представительнаго, Данилевскій, казалось, не могъ и обойтись безъ романа; это было бы неестественно. Недаромъ Гоголь одно изъ первыхъ писемъ своихъ къ нему начинаетъ многозначительнымъ возгласомъ: „впустили молодца на Кавказъ!“

Высокій ростъ и стройная фигура Данилевскаго въ соединеніи съ счастливою наружностью производили самое выгодное впечатлѣніе, а обходительность и свобода въ обращеніи дѣлали его симпатичнымъ и обворожительнымъ въ обществѣ. Вообще люди, знавшіе его съ дѣтства, въ своихъ воспоминаніяхъ не безъ удовольствія отзываются объ юности Данилевскомъ, котораго въ занимающую насъ пору представляютъ пріятнымъ и развязнымъ свѣтскимъ кавалеромъ. Ошибочно было бы, однако, выдвигать въ его характеристикѣ исключительно эту сторону въ ущербъ его духовной жизни, которой онъ никогда не былъ чуждъ, но въ тѣ годы ранней юности она еще была заслоняема бросающимся въ глаза внѣшнимъ изяществомъ.

Весьма можетъ быть, что Гоголь зналъ прежде за Данилевскимъ нѣкоторую слабость въ отношеніи сердечныхъ склонностей, и потому готовъ былъ и въ данномъ случаѣ видѣть обыкновенный мимолетный романъ молодого человѣка, только-что со школь-

Словамъ Данилевскаго въ этомъ случаѣ, однако, можно и не довѣрять; ему иногда случалось сваливать свою неаккуратность на почту и выставить даты заднимъ числомъ (см. упрека ему за это со стороны Гоголя въ письмѣ изъ Рима, отъ 11 апрѣля 1838 г. (Соч. Гог., изд. Кулиша, V, 306).

ной скамьи вступающаго въ жизнь съ самыми благопріятными данными для сердечныхъ побѣдъ. Съ другой стороны естественнымъ поводомъ къ шуткамъ Гоголя могъ послужить даже просто черезъ-чуръ рыаный, чисто романтическій энтузіазмъ, которымъ были преисполнены письма его друга. „Знаешь ли“, — спрашивалъ Гоголь, — „сколько разъ ты, въ письмѣ своемъ, просилъ меня не забыть прислать нотъ? Шесть разъ: два раза сначала, два въ серединѣ, да два при концѣ. Ге, ге, ге! дѣло далеко зашло!“ — „Подлинно много чуднаго въ письмѣ твоёмъ!“ восклицаетъ онъ въ самомъ началѣ слѣдующаго письма.

Какъ истый романтикъ, Данилевскій не спѣшилъ познакомиться своего друга обстоятельно и прозаически съ предметомъ своей страсти и не называлъ его даже по имени, восторженно величая его „кавказскимъ солнцемъ“, что вызвало со стороны Гоголя слѣдующія шутливыя строки: „Поэтическая часть твоего письма удивительно хороша, но прозаическая въ довольно плохомъ состояніи. Кто это кавказское солнце? Почему оно именно одинъ только Кавказъ освѣщаетъ, а весь міръ оставляетъ въ тѣни, и какимъ образомъ ваша милость сдѣлалась фокусомъ зажигательнаго стекла, то-есть привлекла на себя всѣ лучи его? За такую точность ты меня назовешь бухгалтерскою книгою, или инымъ чѣмъ; но самъ посуди: если не прикрѣпить красавицу къ землѣ, то черты ея будутъ слишкомъ воздушны, неопредѣленно общи и потому безхарактерны“.

Гоголю, безъ сомнѣнія, гораздо естественнѣе казалось предположить, при чтеніи пламенныхъ тирадъ, которыя онъ называлъ поэтической стороной писемъ своего друга, что въ нихъ получало себѣ исходъ броженіе неуходившихся силъ воспримчивой натуры юнаго сангвиника, нежели повѣрить, что и въ душѣ послѣдняго возгорѣлось наконецъ настоящее, а не искусственное, театральное пламя. Такому взгляду особенно способствовала чрезмерная расточительность Данилевскаго на восторженные лирическія изліянія, показавшіяся сдержанному скептику Гоголю преувеличенными и напускными. Въ высшей степени доступный лиризму въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ, Гоголь, не испытавшій никогда любви и не часто изображавшій ее въ своихъ произведеніяхъ, повидному, не узналъ ея при встрѣчѣ съ ней въ дѣйствительной жизни. Въ то время какъ Данилевскаго молодость и дружба побуждали безъ оглядокъ и щепетильнаго взвѣшиванія словъ говорить языкомъ сердца, причемъ онъ впадалъ, правда, въ крайность и письма его отзывались романтическимъ пафосомъ, — Гоголь, въ силу юмористическаго склада ума, при

всемъ дружескомъ расположеніи къ нему и готовности исполнять малѣйшую его просьбу или порученіе, не могъ, однако, воздерживаться отъ стрѣль остроумія, тѣмъ болѣе, что къ нимъ вообще особенно располагають щекотливые сердечные вопросы. Но во всякомъ случаѣ нельзя забывать, что въ перепискѣ двухъ молодыхъ пріятелей, привыкшихъ говорить между собой обо всемъ безъ стѣсненія, что только было на душѣ, существовали вполне интимныя отношенія; на ихъ взаимныя упреки и слегка задирающій тонъ шутокъ слѣдуетъ смотрѣть такъ, какъ обыкновенно принято въ подобныхъ случаяхъ, нисколько не предполагая тѣни намѣренной насмѣшки или рассчитанныхъ уколовъ самолюбія. Во всѣхъ шутивыхъ выходкахъ Гоголя звучалъ тотъ беззабѣтно-веселый тонъ, который такъ плѣняетъ насъ въ вышедшихъ около того времени „Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки“. Къ такимъ безцеремоннымъ выходкамъ нельзя не отнести, напримѣръ, притѣненіе имъ къ Данилевскому извѣстныхъ стиховъ Пушкина:

„Счастливы ты въ прелестныхъ...,
Ты Saint-Priest въ каррикатурахъ“¹⁾.

Впрочемъ, перечитывая одно за другимъ письма Гоголя къ Данилевскому, нигдѣ нельзя уловить въ нихъ дѣйствительно насмѣшливаго отношенія къ предмету рѣчи; въ нихъ проявлялась только его обычная склонность къ юмору. Но не такъ представлялось дѣло заинтересованному въ немъ Данилевскому. Его коробило и отчасти оскорбляло слишкомъ шутиливый тонъ пріятеля. Особенно задѣли его за живое приведенныя выше шуточки относительно „кавказскаго солнца“, когда Гоголь, принимая роль благоразумнаго скептика, не удовлетворился дидаграммами очаровательной красотѣ, но по праву дружбы потребовалъ болѣе существенныхъ и обстоятельныхъ свѣдѣній о предметѣ такой возвышенной страсти, безъ стѣсненій называя ее „страстишкой“ и выражая юмористическое желаніе самому „принять на время образъ влюбленнаго и взглянуть на другихъ такимъ же взоромъ, исполненнымъ сарказма“, какимъ, по его словамъ, Данилевскій смотрѣлъ на какихъ-то мышей, выбѣгающихъ на середину его комнаты. Особенно дался Гоголю этотъ мнимый сарказмъ Данилевскаго и его блаженство на седьмомъ небѣ. Какъ бы не же-

¹⁾ Стихи эти были сказаны Пушкинымъ за два года передъ тѣмъ объ одномъ знакомомъ, встрѣченномъ имъ на кавказскихъ водахъ. Гоголь, безъ сомнѣнія, зналъ, и къ кому они относятся; зналъ это и А. С. Данилевскій, но, къ сожалѣнію, во время моего непродолжительнаго пребыванія у него, не могъ припомнить, — къ кому именно.

лая отстать отъ своего пріятеля, онъ насмѣшливо сочиняетъ себѣ собственную „сѣверную повелительницу“ своего „южнаго сердца“.

„Чортъ меня возьми,—шутить онъ,—если я самъ теперь не близко седьмого неба! и съ такимъ же сарказмомъ, какъ ты, гляжу на славу и на все, хотя моя владычица куда суровѣе твоей“, и проч.

Легко понять, что всѣ эти шутки, имѣвшія въ виду напускное или неглубокое чувство, мало гармонировали съ настроеніемъ, вызывавшимъ длинныя пламенные посланія, въ которыхъ кипѣла страсть, и краснорѣчіе лилось бурнымъ потокомъ. Данилевскій замолчалъ. Но по этому слишкомъ неясному признаку при его хронической неисправности въ корреспонденціи, которою онъ въ нѣсколько разъ превосходилъ Гоголя, еще нельзя было сдѣлать никакихъ предположеній о неудовольствіи. „Видно, тебѣ теперь ничего не нужно изъ Петербурга, потому что ты только тогда писалъ ко мнѣ, когда имѣлъ во мнѣ надобность“, жаловался ему Гоголь, кажется и не подозрѣвая о настоящей причинѣ молчанія. Замѣтимъ кстати, что въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ писемъ къ Данилевскому онъ поставилъ въ упрекъ его чрезвычайную щекотливость и обидчивость, и, дѣйствительно, въ ихъ перепискѣ есть данныя, изъ которыхъ видно, что у послѣдняго были чувствительныя струны, которыя не допускали нежелательнаго прикосновенія съ чьей бы то ни было стороны. Такъ было и на этотъ разъ: безобидныя въ сущности шутки Гоголя были приняты имъ за профанацію его чувства, и онъ рѣшился, наконецъ, показать обиду. При этомъ, какъ видно, онъ не особенно выбиралъ выраженія и прямо обозвалъ сдѣланное Гоголемъ раздѣленіе характеристики любимой имъ особы на поэтическую и прозаическую—*безсмысленной*. Съ нескрываемой досадою отозвался онъ и о шуткахъ, наполнявшихъ письма Гоголя. Упреки эти вызвали со стороны послѣдняго подробное объясненіе въ слѣдующемъ письмѣ того, что именно разумѣлъ Гоголь подъ этимъ раздѣленіемъ. Обидѣ Данилевскаго, конечно, не серьезной, онъ не придавалъ, съ своей стороны, никакого значенія и отвѣчалъ ему тономъ праваго,—вообще тонъ отвѣта его обычный: спокойный, шутливый, дружескій. Тутъ же, какъ всегда, передаются и новѣйшія извѣстія о литературѣ и о нѣжинскихъ товарищахъ—Кукольникѣ и Прокоповичѣ¹⁾.

¹⁾ Отношеніе къ этимъ товарищамъ-нѣжинцамъ у Гоголя было весьма различное: каждая строка, касающаяся Красненькаго (Прокоповича), дышетъ искреннимъ расположеніемъ, тогда какъ Кукольника, съ его любовью ко всему натянutoму и напыщенному, Гоголь не долюбивалъ и саркастически надъ нимъ потѣшался, называя его Возвышеннымъ.

Только значительно позднѣе, уже въ самому концу пребыванія Данилевскаго на Кавказѣ, Гоголь принялъ болѣе серьезный тонъ, говоря о его страсти. Это произошло уже послѣ личнаго ихъ свиданія, когда онъ имѣлъ, вѣроятно, случай убѣдиться, что дѣло было нешуточное, отъ котораго Данилевскій собирался „дать тягу въ Одессу или въ иное мѣсто“. Тогда, напротивъ, Гоголь называлъ его счастливецемъ и высказывалъ зависть къ нему, вкусившему сладость и волненія любви, хотя и не раздѣленной, но въ то же время рекомендовалъ ему упорный трудъ, какъ самое дѣйствительное средство для исцѣленія отъ страстей. На этотъ разъ, между прочимъ, по поводу спора объ искренности Пушкина и Байрона въ стихотворномъ изображеніи любви (Гоголь, какъ всегда, стоялъ горою за Пушкина), онъ высказалъ ясно свой взглядъ на различныя проявленія ея, вполне разъясняющій намъ, почему письма Данилевскаго заставляли его сомнѣваться въ серьезности увлеченія послѣдняго. „Сильная, продолжительная любовь,—говоритъ Гоголь,—проста, какъ голубица, то-есть, выражается просто, безъ всякихъ опредѣлительныхъ и живописныхъ прилагательныхъ. Она не выражаетъ, но видно, что хочетъ что-то выразить, и этимъ говоритъ сильнѣе всѣхъ пламенныхъ, краснорѣчивыхъ тирадъ“ (Кулишъ, V, 165).

Лѣтомъ 1832 года Гоголь собирался провести вакаціонное время (онъ былъ тогда, какъ то извѣстно, преподавателемъ патріотическаго института въ Петербургѣ) въ Васильевѣ, которую не видалъ уже три года. Ему улыбался счастливый, привольный отдыхъ отъ обычныхъ преподавательскихъ занятій въ кругу домашнихъ и товарищей, такъ какъ случайно его намѣреніе совпало съ такимъ же рѣшеніемъ другихъ нѣжинцевъ, съ которыми, конечно, было бы не трудно видѣться въ родныхъ палестинахъ,—наконецъ, въ заманчивомъ видѣ рисовалось ему предстоящее мирное наслажденіе обаятельной природой Малороссіи послѣ продолжительнаго томленія на угрюмомъ сѣверѣ. Недоставало ему одного Данилевскаго, тогда какъ его-то видѣть больше всѣхъ и жаждало сердце Гоголя. И вотъ какъ онъ соблазняетъ своего друга пріѣхать въ Малороссію. „Желалось бы мнѣ поглядѣть на тебя. Да нельзя ли это сдѣлать такимъ образомъ, чтобы мы выѣхали одинъ другому на-встрѣчу? Сборное мѣсто положить хотя въ Толстомъ или въ Васильевѣ. Наши нѣжинцы почти всѣ потянулись на это мѣсто въ Малороссію, даже Красненскій уѣхалъ. А въ іюлѣ мѣсяцѣ, еслибы тебѣ вздумалось заглянуть въ Малороссію, то засталъ бы и меня, лѣниво возвращающагося съ поля отъ косарей или безропотно

лежащаго подъ широкой яблоней, безъ скюртука, на коврѣ, воелѣ холодной воды со льдомъ“, и проч. ¹⁾

13-го декабря ²⁾. Санктъ-Петербургъ (1832).

„Стыдно тебѣ не написать мнѣ ни строчки. Я отъ маменьки слышу, что ты уже не ѣдешь въ Петербургъ, а думаешь служить въ Одессѣ. Если этому виною, какъ говорятъ, холодъ, который ты воображаешь найти въ Петербургѣ, то увѣряю тебя, что здѣсь теперь теплѣе, нежели у насъ въ Малороссіи. Вотъ уже ползимы, слава Богу, а еще не было ни одного порядочнаго морозу. Термометръ постоянно показываетъ или два, или одинъ градусъ тепла. Ты все мѣряешь Петербургъ по параду, на которомъ заставляли тебя мерзнуть нѣсколько часовъ Звѣгин-

¹⁾ Далѣе въ изданіи Кулиша пропущено: „Письмо можешь адресовать ко мнѣ въ Полтаву, а оттуда въ Васильевку“.

²⁾ Дополнимъ по подлинному письму отъ 20-го декабря 1832 г. пропускъ, сдѣланный въ изданіи г. Кулиша послѣ словъ: „Здѣсь и драгунъ. Василій Яковлевичъ Прокоповичъ, братъ „Красенькаго“. Такой молодецъ съ себя! съ страшными бакенбардами и очками, но необыкновенный флегма.“

„Братецъ, чтобы показать ему все любонитное въ городѣ, повелъ его на другой день въ —; только онъ все время — прехладнокровно читалъ книгу и вышелъ, не прикоснувшись ни къ чему, не сдѣлавъ даже значительной миннъ брату, какъ будто изъ кондитерской.“

„Получивши отъ тебя письмо, я получилъ такую объ тебѣ живую идею, что когда встрѣтилъ близъ Синяго моста шедшаго подпрапорщика, то подумалъ про себя: нужно зайти къ нему: его, вѣрно, не пустили за невыплатою денегъ въ казну за черы, и поворотилъ къ школѣ и уже спросилъ солдата на часахъ, былъ ли сегодня великій князь и не ожидаютъ ли его... да послѣ опомнился и пошелъ домой“.

Конецъ письма въ изданіи г. Кулиша напечатанъ безъ пропускавъ.

Слѣдующее письмо (отъ 8-го февраля 1833 г.) было отправлено къ Данилевскому уже въ деревню, гдѣ онъ дѣйствительно видѣлся съ Гоголемъ лѣтомъ и гдѣ потомъ остался жить на неопредѣленное время. Гоголь вспоминалъ въ этомъ письмѣ объ ихъ лѣтнемъ свиданіи. „Мнѣ ужъ кажется, что время то, когда мы были вмѣстѣ въ Васильевкѣ и въ Толстомъ, чортъ знаетъ какъ отдалилось, — какъ будто ему минуло пять лѣтъ! Оно получило для меня уже прелесть воспоминанія“ (Изд. Кул., V, 171). Въ этомъ письмѣ опять сообщаются петербургскія литературныя и другія новости. Пропущенъ въ немъ слѣдующія строки: „Насмѣшилъ ты меня Лангомъ. Чтобы его чортъ побралъ съ его влиститрами“. (Лангъ — черниговскій оберъ-фортмейстеръ.) Далѣе, послѣ словъ: „Одинъ Хвостовъ и Шишковъ, на зло и посмѣяніе вѣкамъ, остаются тверды и переживаютъ всѣхъ — свои исподнія платья“. Послѣ словъ: „Вообрази себѣ: уже печатаетъ малороссійскій романъ подъ названіемъ „Мазепа“, слѣдуетъ читать: „Пришлось и намъ терпѣть!“ Наконецъ, послѣ словъ: „Красенькій еще не женился, да что-то и не столько уже поговариваетъ объ этомъ“, слѣдуетъ: „баеть, что ему не хотѣлось бы, да непремѣнно долженъ“. Въ концѣ приписка: „Свидѣтельствуй мое почтеніе папенькѣ и маменькѣ и поцѣлуй за меня ручки сестрицъ, Анни и Варвары Семеновны“.

цовъ и Гудимъ. Но впрочемъ, если ты имѣешь какія-нибудь выгоды особенныя въ Одессѣ служить, то противъ этого я ничего не смѣю тебѣ совѣтовать.

„Какъ бы то ни было, въ томъ или другомъ случаѣ пиши ко мнѣ и извѣщай подробности обо всемъ.“

„Я теперь такъ спѣшу, что не сообщаю тебѣ ни о чемъ здѣшнемъ, не увѣренъ будучи, застанетъ ли это письмо тебя дома. До того времени вотъ тебѣ мой адресъ: 2-й Адмиралтейской части, въ Новомъ переулкѣ, въ домѣ Демуть-Малиновскаго. Это очень близко возлѣ твоего гнѣзда, твоихъ воспоминаній—юнкерской школы. Прощай. Съ нетерпѣніемъ ожидаю отъ тебя извѣстія. Твой Гоголь“.

Прибавимъ къ обзору писемъ Гоголя къ Данилевскому во время пребыванія послѣдняго на Кавказѣ еще одно указаніе на шутивую дружескую ноту, которая слышится въ слѣдующихъ забавныхъ упрекахъ ему Гоголя по поводу замѣчательной несправности его пріятеля въ корреспонденціи.

„Разсмѣшила меня до крайности твоя приписка или общаніе въ концѣ письма: „Можетъ быть, въ слѣдующую почту напишу къ тебѣ еще, а, можетъ быть, нѣтъ“. Къ чему такая благородная скромность и сомнѣніе? къ чему это: *можетъ быть, нѣтъ*? Какъ будто удивительная твоя аккуратность мало извѣстна!“ И дѣйствительно, непосредственно послѣ этого общанія, Гоголю пришлось пѣнать на то, что прошло ужъ три мѣсяца, а онъ не получаетъ „ни двоеточія, ни точки“. И опять исполнялись имъ по прежнему порученія Данилевскаго, посылались и сообщались литературныя новинки, напр., послѣднія главы „Онѣгина“ и собственные новыя сочиненія.

Послѣ этого переписка съ Данилевскимъ прекратилась, такъ какъ вскорѣ онъ перѣхалъ въ Петербургъ. Съ этихъ поръ только изрѣдка встрѣчаются о немъ незначительныя упоминанія въ письмахъ Гоголя къ матери; напр.: „скажите Ивану Данилевскому, что братецъ его, который сейчасъ только ушелъ отъ меня, приказывалъ ему крѣпко-на-крѣпко привезть ему варенья, по крайней мѣрѣ пять банокъ. Онъ бы и самъ къ нему писалъ объ этомъ, да не пишетъ потому, что въ десять разъ лѣнивѣе меня“. Въ печальномъ дѣлѣ учрежденія разорившей М. И. Гоголь фабрики, затѣянномъ по мысли мечтателя поляка, ея зятя, Павла Осиповича Трутковскаго, Николай Васильевичъ возлагалъ большія надежды на родителей Данилевскаго, которые, по его плану, должны были сдерживать въ извѣстныхъ границахъ увлеченія непрактичной Марьи Ивановны. Съ своей стороны, Гоголь настоятельно

совѣтовалъ матери соображаться съ имѣніемъ Василя Ивановича Черныша и привлечь его къ участию въ составленіи смѣты. Онъ даже писалъ: „Да ведете ли вы, то-есть ведетъ ли Василій Ивановичъ, приходы и расходы по имѣнію аккуратно каждый мѣсяцъ“ (Изд. Кул., V, 218). Все это не повело ни къ чему, и предупредить разореніе было уже невозможно, но считаемъ излишнимъ упомянуть и объ этой мелкой подробности, показывающей, что Гоголь не только называлъ, но и считалъ дѣйствительно семейство Данилевскихъ близкимъ для себя и почти родственнымъ.

VII.

Въ Петербургѣ Данилевскій поступилъ на службу въ канцелярію министерства внутреннихъ дѣлъ. Онъ поселился вмѣстѣ съ своимъ младшимъ братомъ Иваномъ Семеновичемъ, а Гоголь перѣхалъ на Малую Морскую, въ домъ Модераха, гдѣ оставался все время до отъѣзда за границу. Здѣсь-то происходили тѣ вечера, на которыхъ въ средѣ нѣжинцевъ стали появляться нѣкоторые другія лица, какъ П. В. Анненковъ. Данилевскаго Гоголь старался ввести въ свой кружокъ и познакомилъ раньше всѣхъ именно съ Анненковымъ, а потомъ уже съ Плетневымъ и княземъ Одоевскимъ. Съ первымъ Гоголь былъ въ то время уже коротко знакомъ, а послѣдняго узналъ близко только за нѣсколько мѣсяцевъ до отъѣзда за границу. У Плетнева Данилевскій встрѣчалъ также нерѣдко Крылова и Пушкина.

О знакомствѣ съ Пушкинымъ Александръ Семеновичъ припоминалъ слѣдующее. Однажды лѣтомъ отправились они съ Гоголемъ въ Лѣсной на дачу къ Плетневу, у котораго довольно часто бывали за просто. Черезъ нѣсколько времени, почти слѣдомъ за ними, явились Пушкинъ съ Соболевскимъ. Они пришли почему-то гнѣшомъ съ зонтиками на плечахъ. Это первое знакомство съ Пушкинымъ осталось особенно памятно Данилевскому. Онъ живо передавалъ, какъ вскорѣ къ Плетневу пріѣхала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкинъ затѣялъ съ нею споръ. Карамзина выразилась о комъ-то: „она въ интересномъ положеніи“. Пушкинъ сталъ горячо возставать противъ этого выраженія, утверждая съ жаромъ, что его напрасно употребляютъ вмѣсто коренного, чисто русскаго выраженія: она *брюхата* ¹⁾, что послѣднее

¹⁾ Такъ дѣйствительно и выражался всегда Пушкинъ, напр. въ письмахъ („Смирнова ужасно *брюхата*, а родить черезъ мѣсяцъ“ (Соч. Пушкин., изд. Лит. Фонда, VII, 350 стр.)

выраженіе совершенно прилично, а напротивъ неприлично говорить: „она въ интересномъ положеніи“.

Послѣ обѣда былъ любопытный разговоръ. Плетневъ сказалъ, что Пушкина надо разсердить и тогда только онъ будетъ настоящимъ Пушкинымъ, и сталъ ему противорѣчить.

Впечатлѣніе, произведенное на Данилевскаго Пушкинымъ, было то, что онъ и въ обыкновенномъ разговорѣ являлся замѣчательнымъ человекомъ, каждое слово его было вѣско и носило печать гениальности; въ немъ не было ни малѣйшей натянутости или жеманства; но особенно поражалъ его долго не выходившій изъ памяти совершенно дѣтскій, задушевный смѣхъ. Онъ бывалъ съ женой у Плетнева. Въ это время Плетневъ дѣлалъ уже быстрые успѣхи въ обществѣ и былъ преподавателемъ при меньшихъ великихъ княжнахъ, Ольгѣ Николаевнѣ и Александрѣ Николаевнѣ.

Въ 1835 году, передъ поступленіемъ Гоголя адъюнктъ-профессоромъ въ петербургскій университетъ, онъ вмѣстѣ съ Данилевскимъ ѣздилъ домой въ Малороссію. Гоголь только-что хлопоталъ о профессурѣ въ Кіевѣ, гдѣ мечталъ устроиться вмѣстѣ съ однимъ изъ близкихъ своихъ друзей Максимовичемъ, перешедшимъ туда изъ московскаго университета. Но, какъ извѣстно, надежда Гоголя не оправдалась, и онъ былъ въ великомъ разочарованіи. Рѣшившись взять мѣсто адъюнктъ-профессора въ Петербургѣ, Гоголь, какъ видно изъ его писемъ, относящихся къ концу 1834 года, все-таки, — такъ какъ ему не удалось ѣхать осенью совсѣмъ въ „гетманщину“, — рѣшился по крайней мѣрѣ навѣстить въ ней на короткое время Максимовича при первой возможности. При этомъ онъ не хотѣлъ оставить мысль о кіевской кафедрѣ и утѣшалъ себя тѣмъ, что, занявъ кафедру въ столицѣ, тѣмъ больше правъ получить къ занятію ея въ Кіевѣ. Въ 1835 году онъ собирался хоть въ концѣ весны непременно взглянуть къ Максимовичу въ Кіевъ, хотя бы это было совсѣмъ не по дорогѣ. На дѣлѣ вышло иначе: спѣша домой, онъ не захотѣлъ сдѣлать большой крюкъ въ сторону и направилъ путь прямо въ полтавскую губернію, не оставляя однако мысли на обратномъ пути хоть на нѣсколько дней посѣтить Максимовича. Такъ онъ и сдѣлалъ. На обратномъ пути онъ нарочно сдѣлалъ 300 верстъ крюку и заѣхалъ съ Данилевскимъ къ Максимовичу, у котораго они остановились. Пробывъ у Максимовича дня два, они принуждены были взять на прокатъ воляску, такъ какъ дилижансовъ тогда еще не существовало, и отправились изъ Кіева въ

Москву, гдѣ Гоголь хотѣлъ повидаться съ Погодинымъ и другими своими друзьями. Поѣздки они совершали втроемъ; къ нимъ присоединился еще одинъ изъ бывшихъ нѣжинскихъ лицесловесотоварищей, Иванъ Григорьевичъ Пашенко, находившійся съ обоими въ наилучшихъ отношеніяхъ.

Здѣсь была разыграна оригинальная репетиція „Ревизора“, которымъ тогда Гоголь былъ усиленно занятъ. Гоголь хотѣлъ основательно изучить впечатлѣніе, которое произведетъ на станціонныхъ зрителей его ревизія съ мнимымъ инкогнито. Для этой цѣли онъ просилъ Пашенку выѣзжать впередъ и распространять вездѣ, что слѣдомъ за нимъ ѣдетъ ревизоръ, тщательно скрывающій настоящую цѣль своей поѣздки. Пашенко выѣхалъ нѣсколькими часами раньше и устраивалъ такъ, что на станціяхъ всѣ были уже подготовлены къ пріѣзду и къ встрѣчѣ мнимаго ревизора. Благодаря этому маневру, замѣчательно счастливо удававшемуся, всѣ трое катили съ необыкновенной быстротой, тогда какъ въ другіе разы имъ нерѣдко приходилось по нѣскольку часовъ дожидаться лошадей. Когда Гоголь съ Данилевскимъ появлялись на станціяхъ, ихъ принимали всюду съ необычайной любезностью и предупредительностью. Въ подорожной Гоголя значилось: адъюнктъ-профессоръ, что принималось обыкновенно сбитыми съ толку зрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорскаго Величества. Гоголь держалъ себя, конечно, какъ частный человѣкъ, но какъ будто изъ простаго любопытства спрашивалъ: „покажите пожалуйста, если можно, какія здѣсь лошади; я бы хотѣлъ посмотреть ихъ“ и проч. Такъ ѣхали они съ самага Харькова.

VIII.

Въ половинѣ 1836 года, лишившись каюедры въ университетѣ и учительскаго мѣста въ патріотическомъ институтѣ и измученный неистовыми воплями негодованія, возбужденными въ нѣкоторыхъ слояхъ общества появленіемъ на сценѣ „Ревизора“, Гоголь отправился вмѣстѣ съ своимъ неразлучнымъ другомъ за границу. Онъ снова взялъ путь на Любекъ. Въ Бременѣ они посѣтили знаменитый погребъ съ рейнвейномъ, искусно сберегаемымъ цѣлыя сотни лѣтъ (см. соч. Гог., изд. Кул. V, 268). По словамъ Гоголя, этотъ рейнвейнъ отпускался только опаснымъ больнымъ и знаменитымъ путешественникамъ, но и имъ съ Данилевскимъ удалось достать его за большія деньги. Произошло это, по разсказу А. С. Данилевскаго, слѣдующимъ образомъ.

Обѣдая въ гостинницѣ вмѣстѣ съ Данилевскимъ, Гоголь неожиданно сказалъ ему торжественнымъ тономъ: „потребуемъ стараго, стараго рейнвейна“. Но вино ни ему, ни Данилевскому не понравилось вовсе. По воспоминанію Данилевскаго, оно было слишкомъ „sapiteux“ (его собственное выраженіе) и не понравилось также сосѣдямъ, бывшимъ съ ними вмѣстѣ за табль-д’отомъ. Сберегаютъ это вино, какъ имъ объясняли, слѣдующимъ образомъ: обыкновенно изъ столѣтнихъ бутылокъ часть его переливаютъ въ стоявшія девятисто-девять лѣтъ и такъ далѣе по порядку, вслѣдствіе чего всегда остается старое вино, и бутка не исчерпывается. За это удовольствіе путешественники должны были заплатить наполеондоръ (20 франковъ)—цѣна довольно внушительная, особенно если принять въ соображеніе тогдашнюю дешевизну продуктовъ (около полумперіала золотомъ). По словамъ Данилевскаго, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ѣздили очень экономно, но тутъ рѣшились непременно испробовать этотъ знаменитый рейнвейнъ. Изъ Бремена они двинулись въ Ахенъ, который произвелъ на нихъ весьма неблагоприятное впечатлѣніе. „Ахенъ, гдѣ мы проскутали нѣсколько дней, обильно, но плохо обѣдали въ нарядныхъ гостинницахъ, задыхались отъ пыли на гуляньѣ, понятно, оставилъ въ Гоголѣ не особенно пріятное впечатлѣніе“, рассказывалъ Данилевскій. Это показаніе вполне согласнo съ письмами Гоголя. Когда года черезъ три Данилевскій звалъ его снова пріѣхать въ Ахенъ, Гоголь отвѣчалъ, что „одна мысль объ Ахенѣ, трактирѣ Карломановомъ и о несчастійшемъ, покрытомъ пылью гуляньѣ, и о болѣзни, которая тамъ приключилась съ его горломъ, отвращаетъ его отъ этой поѣздки“ (V, 444) ¹⁾. Зато по выѣздѣ изъ Ахена ожидали Гоголя высокія наслажденія живописными ландшафтами береговъ Рейна.

Въ Ахенѣ Гоголь разстался съ Данилевскимъ, и они стали выбирать маршрутъ каждый по своему вкусу. Это было въ первыхъ числахъ іюля 1836 года. Здѣсь повторилась старая исторія: несмотря на чуть не клятвенный уговоръ какъ можно чаще писать другъ къ другу, ихъ переписка сначала опять не клеилась было, и притомъ, какъ всегда, по винѣ Данилевскаго. Го-

¹⁾ Упомянутый въ томъ же письмѣ красный Э***, которому въ Ахенѣ „посчастливилось узнать врага своего“, не былъ названъ мнѣ А. С. Данилевскимъ, а самое письмо оказалось въ числѣ немногихъ утраченныхъ (розданныхъ на память о Гоголѣ). Но онъ нашелъ вполне вѣроятнымъ мое предположеніе, что этотъ инициалъ долженъ означать слово: Энглишъ, которое въ изданіи г. Кулиша вездѣ напечатано прописной буквой; по крайней мѣрѣ никакихъ знакомыхъ въ Ахенѣ ни у Гоголя, ни у Данилевскаго, кромѣ немногихъ сотоварищей по табль-д’оту, совсѣмъ не было.

голю пришлось наводить о немъ справки даже въ Россіи, такъ какъ онъ окончательно терялъ его, Данилевскаго, изъ виду. Уже въ концѣ сентября освѣдомлялся онъ у Марьи Ивановны, не знаетъ ли хоть она чего-нибудь о его другѣ: „Не пишетъ ли Данилевскій своей матери? Узнайте и извѣстите меня о его адресѣ. Я ничего о немъ не знаю съ того времени, какъ съ нимъ разстался“. Около того же времени наудачу писалъ Гоголь и въ Петербургъ къ Прокоповичу: „Пишетъ ли къ тебѣ Данилевскій? Я три мѣсяца, какъ разстался съ нимъ, и не получаю отъ него ни строчки, и не знаю даже, гдѣ онъ теперь. Увѣдоми меня и пришли его адресъ, если имѣешь“¹⁾. Но на свѣденія изъ Россіи была, безъ сомнѣнія, также плохая надежда. Очевидно, Гоголь, соскучившись безъ извѣстій о другѣ, посылаетъ свои запросы, такъ сказать, на всякій случай, въ томъ предположеніи, что такое упорное молчаніе, чего добраго, при извѣстной лѣтн Данилевскаго можетъ продолжаться еще неопредѣленное время. Въ этомъ же письмѣ къ Прокоповичу Гоголь спрашивалъ у него еще: „Получилъ ли ты письмо Данилевскаго, писанное изъ Гамбурга, при которомъ была моя приписочка?“ (См. „Русское Слово“, письма Гоголя къ Прокоповичу, 1859, 1, 87 и 90 стр.) Здѣсь, слѣдовательно, кромѣ неаккуратности корреспондента предполагались еще другія причины неисправнаго полученія писемъ. Между тѣмъ Гоголь путешествовалъ по Швейцаріи, и пока ему удавалось проводить время въ пріятномъ обществѣ Балабиныхъ и Репниныхъ, онъ еще не чувствовалъ тягости одиночества, видя себя посреди уважаемыхъ и любимыхъ людей, но зато сиротство его стало вдвойнѣ ощутительно, послѣ разлуки съ ними, и тогда Гоголь, узнавъ уже адресъ Данилевскаго, написалъ ему приглашеніе, чтобы онъ поскорѣе поспѣшилъ пріѣхать въ Лозанну или Веве.

Кочуя вмѣстѣ по разнымъ городамъ Италіи, Швейцаріи и Франціи, Гоголь и Данилевскій, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, жили преимущественно одинаковыми впечатлѣніями, интересами и отчасти на одни и тѣ же средства, т.-е. на тѣ деньги, какія случались у каждаго изъ нихъ. Ихъ отношенія были истинно-товарищескія, и на чужбинѣ они находили другъ въ другѣ опору и отраду. Они то оставляли другъ друга на непродолжительное

¹⁾ Вотъ маленькая записка Гоголя къ Данилевскому, относящаяся, вѣроятно, къ 1838 г., характеризующая неисправность Данилевскаго, какъ корреспондента: „Ни слова, ни полслова и никакого словечка! Но, можетъ быть, тебѣ тяжело писать. Если дастъ Богъ и мои силы, труды и здоровье позволять, то, можетъ быть, будущую зиму мы увидимся въ Россіи. Прощай, цѣлую тебя. Твой Гоголь“.

время, то снова встрѣчались въ какомъ-нибудь заранее условленномъ пунктѣ, будучи неразрывно связаны между собою. Они ничѣмъ не были стѣснены въ своихъ маршрутахъ: выборъ мѣста жительства обуславливался самыми разнообразными соображеніями, но всего чаще зависѣлъ отъ случайныхъ встрѣчъ съ друзьями и знакомыми, на которыя оба были необыкновенно счастливы. Такъ, замѣчательно, что Гоголь во время своихъ многолѣтнихъ странствованій за границей весьма рѣдко не вращался въ дружескомъ кругу соотечественниковъ. Въ Италіи онъ долго жилъ съ Балабиниными и Репнинными (особенно въ Неаполѣ и Каstellамаре) и съ ними же былъ одновременно въ Баденъ-Баденѣ; въ Ниццѣ и также въ Римѣ онъ жилъ не разъ съ Смирновыми и Віельгорскими, въ Римѣ въ 1839 г. лѣтомъ съ Жуковскимъ, Погодинными (мужемъ и женой) и Шевыревыми; нѣсколько разъ встрѣчался въ разныхъ городахъ и жилъ вмѣстѣ въ Римѣ съ П. В. Анненковымъ и проч. (Данилевскій не былъ введенъ въ свѣтскій кружокъ своего друга, но все существенное, касавшееся отношеній къ нему Гоголя, было ему хорошо извѣстно). Разница въ характерѣ странствованій обоихъ заключалась преимущественно въ томъ, что тогда какъ неугомонная любознательность не давая покоя Гоголю, влекла его все впередъ и, побуждая мѣнять мѣстопребываніе, заставляла вести тревожный образъ жизни, — Данилевскій, также любознательный и воспримчивый, пожалуй даже болѣе живой по темпераменту, но любившій больше спокойную нѣгу и комфортъ, предпочиталъ неторопливое изученіе немногихъ избранныхъ мѣстъ. Частые переезды Гоголя удивляли многихъ, въ томъ числѣ и его мать, которая, какъ всегда, сдѣлала неудачное предположеніе о причинѣ ихъ. Гоголь отвѣчалъ ей: „Вы удивляетесь, что я скоро летаю съ мѣста на мѣсто, а я, напротивъ того, удивляюсь тому, что я двигаюсь необыкновенно медленно. Вы къ этому присоединяете ту же минуту свою догадку; но ваши догадки (не разсердитесь, маменька) всегда были невпопадъ. Вы думаете, что я оттого такъ скоро перемѣняю мѣста, что имѣю недостатокъ въ деньгахъ, между тѣмъ какъ я въ такомъ случаѣ долженъ былъ бы долѣе сидѣть на одномъ мѣстѣ, потому что ѣздить здѣсь несравненно дороже, нежели сидѣть на мѣстѣ“ (V, 273). Данилевскій, напротивъ, замѣшквался долго въ разныхъ нѣмецкихъ курортахъ, когда Гоголь, подъ вліяніемъ безпокойной страсти къ новымъ впечатлѣніямъ, успѣлъ уже совершить поѣздку по Рейну и направить путь въ Швейцарію. Гоголь заранее склоненъ былъ восхищаться прекрасными и величественными картинами природы; предаваясь наслажде-

ніямъ плѣнительными видами береговъ Рейна, онъ сторалъ уже нетерпѣніемъ увидѣть грандіозное зрѣлище альпійскихъ снѣговыхъ горъ. Еще только собираясь предпринять это путешествіе, онъ предвѣшталъ восторги и съ увлеченіемъ писалъ матери о рейнскихъ ландшафтахъ: „Это совершенная картинная галерея: съ обѣихъ сторонъ города, горы, утесы, деревни, словомъ — виды, которыхъ вы даже на эстампахъ рѣдко видали“. Въ каждомъ слѣдующемъ письмѣ описываются новые виды. Вскорѣ оказалось, однако, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ преждевременное заочное очарованіе поэта было уже черезъ-чуръ преувеличено, и потому дѣйствительность не всегда уже его удовлетворяла. Онъ не разъ, напримѣръ, повторялъ потомъ въ своихъ письмахъ, что на него особенно сильное впечатлѣніе произвели только „ледяные богатыри Альпъ да старыя готическія церкви“ (см. „Русское Слово“, 1859 г., 1, 87 стр., и Соч. Гого., изд. Кул., V, 275), тогда какъ многіе города, большіе и малые, промелькнули мимо него, и онъ уже едва помнилъ ихъ имена. Но путешествіемъ по Рейну онъ остался чрезвычайно доволенъ, хотя и долженъ былъ сознаться, что безпрестанные виды „подъ конецъ ему надоели“. Во всякомъ случаѣ многое изъ того, что пока сохраняло для него полное обаяніе, послѣ очарованія красотами Италіи показалось уже бѣднымъ и непривлекательнымъ (по склонности своей къ увлеченію послѣдними онъ сравнивалъ потомъ Швейцарію чуть не съ Сибирью, а климатъ Женевы онъ и прежде называлъ уже иркутскимъ). Сначала онъ весьма усердно осматривалъ и изучалъ Швейцарію, восходилъ на снѣговыя горы, напр. даже на Монбланъ, а потомъ, отдыхая отъ бремени впечатлѣній, усердно принялся перечитывать и изучать любимыхъ корифеевъ иностранной литературы и, наконецъ, засѣлъ въ Веве за „Мертвыя Души“. Теперь онъ испытывалъ могучій приливъ вдохновенія, какого еще не зналъ раньше, и который уже никогда не возвращался къ нему послѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ сороковыхъ годахъ Гоголь работалъ уже туго и вымучивалъ изъ себя вдохновеніе, все болѣе и болѣе отказывавшееся ему служить „по старому, по бывалому“. Но пока трудъ у него замѣчательно спорился: случай, рассказанный въ воспоминаніяхъ Н. В. Берга, когда Гоголь написалъ въ трактирѣ, при самой отчаянно-неудобной обстановкѣ, цѣлую главу „Мертвыхъ Душъ“ за одинъ присѣстъ, доказываетъ справедливость нашихъ словъ. Вотъ еще нѣсколько строкъ въ письмѣ къ Погодину, показывающія, какъ живо представлялась Гоголю на чужбинѣ оставленная имъ „Русь“. Онъ видѣлъ передъ собой Чичиковыхъ и Собакевичей, какъ живыхъ, и говорилъ по этому по-

воду: „На Руси есть также изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что не въ терпѣжъ глядѣть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина; но въ сердцѣ моемъ Русь, — одна только прекрасная Русь: ты, да нѣсколько другихъ близкихъ, да небольшое число заключившихъ въ себѣ прекрасную душу и вѣрный вкусъ“ (Соч. Гог., V, 274).

Соскучившись по Данилевскому, Гоголь ежедневно сталъ выходить въ Лозаннѣ на пароходную пристань, въ надеждѣ встрѣтить его въ числѣ высаживающихся на берегъ пассажировъ, и часто видѣлъ его во снѣ. Слѣдующія строки его письма къ Данилевскому изъ Лозанны даютъ понятіе о нетерпѣивіи увидѣть друга, такъ сильно овладѣвшемъ Гоголемъ. „Ну, не стыдно ли, не совѣстно ли тебѣ? Какъ можно до сихъ поръ не дать совершенно никакой вѣсти! Я писалъ, писалъ, нѣсколько разъ писалъ въ Крейцнахъ, разослалъ къ тебѣ письма во всѣ нѣмецкіе дорожные города, писалъ на всѣхъ памятникахъ мой адресъ; оставилъ во всѣхъ гостинницахъ къ тебѣ письма. Зато въ наказаніе ты просадишь изрядное количество сантимовъ, если получишь всѣ мои письма“. Гоголь уже прибѣгалъ къ обычному способу успокоенія себя тѣмъ, что небо будто бы намѣренно отдаляло пріятную минуту свиданія, чтобы тѣмъ еще сильнѣе возвысить чувство наслажденія при взаимной встрѣчѣ, и рѣшился вооружиться терпѣніемъ. Въ письмѣ изъ Лозанны онъ говорилъ Данилевскому: „Не знаю, такъ ли я обрадовался бы, еслибы получилъ милліонъ денегъ, какъ обрадовался твоему письму. Почти въ продолженіе цѣлаго мѣсяца я видѣлъ тебя безпрестанно во снѣ, и все въ самыхъ неблагопріятныхъ положеніяхъ, такъ что я уже со страхомъ начиналъ о тебѣ развѣдывать и думалъ, ужъ не лучше ли оставаться въ неизвѣстности; но, слава Богу, ты живъ и здоровъ, и я, посылая тебѣ это письмо, лечу вслѣдъ за нимъ самъ (къ тебѣ) въ Парижъ“ (V, 282).

Такъ, наконецъ, онъ не выдержалъ и поѣхалъ къ Данилевскому въ столицу міра, въ которую давно уже переселился послѣдній послѣ довольно продолжительнаго пребыванія въ Висбаденѣ. „Я получилъ отъ Данилевскаго письмо, — сообщалъ Гоголь Прокоповичу, — что онъ скучаетъ въ Парижѣ, и рѣшился ѣхать раздѣлять его скуку“ („Русское Слово“, 1859, I, 91). Такому рѣшенію не мало, впрочемъ, способствовала и холера въ Италіи, заставившая Гоголя отложить поѣздку туда на неопредѣленное время.

Въ ноябрѣ 1836 года пріѣхалъ Гоголь въ Парижъ. Къ тому

времени Данилевскій успѣлъ уже хорошо изучить городъ и могъ явиться въ качествѣ достаточно опытнаго чичероне. Въ первыя же недѣли жизни Гоголя въ Парижѣ они вдвоемъ успѣли осмотрѣть все выдающіяся достопримѣчательности его: картинныя галереи Лувра, извѣстный ботаническій садъ (Jardin des Plantes), сѣздили въ Версаль и проч. Часто отправлялись они вмѣстѣ въ театръ, преимущественно въ оперу, гдѣ Данилевскій со страстью увлекался особенно Рубини и Гризи, до того, что Гоголь, самъ горячій любитель оперы, сталъ подтрунивать въ ежедневныхъ бесѣдахъ, а потомъ и въ письмахъ, надъ его обоженіемъ послѣдней. Вмѣстѣ ходили они обѣдать въ разные кафѣ, которые называли обыкновенно въ шутку „храмами“, а послѣ обѣда подолгу оставались тамъ играть на бильярдѣ. Въ Парижѣ Гоголь уже нерѣдко удручалъ Данилевскаго своею убійственною мнительностью: вдругъ вообразить, что у него какая-нибудь тяжелая болѣзнь (всего чаще онъ боялся за желудокъ), и носится съ своимъ горемъ до того, что тяжело и грустно на него смотрѣть, а разубѣдить его въ основательности ужасныхъ призраковъ не было никакой возможности. Вотъ въ связи съ этими-то недугами и находились усиленные заботы объ обѣдахъ въ ресторанахъ. Отправленіямъ желудка приходилось придавать чрезвычайно важное значеніе, и потому обѣдъ получилъ у Гоголя названіе жертвоприношенія, а содержатели ресторановъ величались жрецами ¹⁾).

¹⁾ Замѣчательно, что цензура затруднялась пропускать въ письмахъ все тѣ мѣста, гдѣ встрѣчались эти шуточныя выраженія. Дополняя пропуски въ изданіи Кулиша по подлинникамъ (кроме перваго письма изъ Лозанны, въ которомъ пропущена только подпись *Гоголь*, пропуски встрѣчаются въ каждомъ письмѣ). Такъ, въ письмѣ изъ Ліона (28, воскресенье, 1837; изд. Кул., V, 298) послѣ словъ: „Вообрази, что по всей дорогѣ, по всемъ городамъ“, пропущено: „храмы бѣдныя, богослуженіе то же, жрецы нечѣжи, и неопратно“. Нѣсколько ниже, послѣ словъ: „признаюсь, поневолѣ находятъ вольнодумныя“, слѣдуетъ: „и богоотступныя мысли и чувства, что ежеминутно слабѣютъ мои религіозныя правила и вѣра въ истину религіи, такъ что еслибъ только нашлась другая, съ искусными жрецами, а особенно жертвами, какъ напр. чай или шоколадъ, то прощай и послѣдняя набожность“. (Эти строки отчасти удержаны г. Кулишемъ, но вмѣсто *вольнодумная* напечатано: *вольнодумная* и вмѣсто набожность — ревность, а слово храмы замѣнено написаннымъ кѣмъ то внизу: *cafés*. Далѣе, въ концѣ письма пропущено: „Прощай, мой ненаглядный! Безъ всякаго сомнѣнія еще увидимся съ тобою не разъ, не два, другі! На это письмо я уже надѣюсь застать въ Римѣ отвѣтъ. Кланяйся Квиткѣ и Козлову“.

Въ письмѣ, напечатанномъ въ изданіи Кулиша, на стр. 297, есть только незначительный пропускъ: послѣ словъ: *несвареніе желудка*, стоятъ слова: запоръ и поносъ, и въ концѣ опущена подпись: *твой Гоголь*. Упомянутый въ этомъ письмѣ Филиппъ — *garçon de café*, по поводу котораго А. С. Данилевскій объяснилъ: „*pour avoir habitués café Montmartres; забавный слуга!*“

5-го декабря приѣхалъ къ нимъ, по приглашенію Данилевскаго, давно поджидаемый изъ Висбадена сотоварищъ по гимназій высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, Симоновскій, такъ что въ Парижѣ образовался также небольшой нѣжинскій кружокъ, какъ и въ Петербургѣ: такъ баловала судьба нѣжинцевъ.

Между петербургскимъ кружкомъ, представителями котораго теперь оставались братья Прокоповичи и Ив. Григ. Пащенко, и парижскимъ, установилась полупутливая, развязная дружеская

Въ письмѣ, у Кулиша, отъ 2 февраля 1838 года, есть только незначительный пропускъ послѣ словъ: „Жаль мнѣ очень, что ты не нашелъ Лукашевича, еще болѣе, что не нашелъ Нозла“, слѣдуетъ дополнить: „Благодарю душевно Грися, что хоть она тебя развлекаетъ“. Въ концѣ письма стоитъ: „Не гнѣись и пиши. Адресуй не на poste restante, а въ мою квартиру (вся на солнцѣ): „Strada Felice, № 126, ultimo piano“. Крашенинниковъ, упоминаемые въ письмѣ („братья Крашенинниковъ восхищаются Тальони“), были знакомые Гоголя въ Академіи художествъ. Ихъ было трое. Они бывали въ Петербургѣ у родственника А. С. Данилевскаго, Григорова (собственно родственника его отца, Василия Ивановича Черныша) и у Мартоса (архитектора); тутъ бывалъ и баронъ Клодтъ.

Наоборотѣ написана пѣснь Невская:

„Стоитъ царскій дворецъ на Невѣ-рѣкѣ,
Передъ нимъ лежитъ площадь бѣлая,
А на ней стоитъ царь-гранитный столѣ,
Притащилъ петербургскій мужикъ, притащилъ его“.

Намъ кажется, что Кулишъ нехѣрно отнесъ письмо Гоголя къ Данилевскому изъ Ліона къ концу 1837 года. Оно, очевидно, написано было тотчасъ же послѣ ихъ разлуки, слѣдовательно приблизительно въ началѣ марта 1837 же года. Оно притомъ носитъ на себѣ всѣ слѣды недавняго сожительства въ Парижѣ и было написано по дорогѣ въ Римъ.

Въ письмѣ отъ 11 апрѣля 1838 года слѣдуетъ добавить въ концѣ: „Золотаревъ проситъ тебя сходить на квартиру Козлова (хотя бы онъ даже и уѣхалъ), взять тамъ письмо, которое онъ, Золотаревъ, завтра къ нему напишетъ и прочитаетъ его вмѣсто Козлова“.

Далѣе, въ письмѣ отъ 18 мая 2588 отъ основанія города (изд. Кул., V, 821) пропускъ послѣ словъ: „Существо, встрѣтившее тебя на гѣстницѣ, заставило меня задуматься“. „Но съ другой стороны я никакъ не могу согласить вмѣстѣ съ этимъ встрѣчу твою—приглашеніе того же дня. Пусть это случилось прежде, но ты говоришь въ письмѣ ясно“—и проч. Въ концѣ письма пропущено: „Но цѣлую и обнимаю тебя и жду съ нетерпѣніемъ твоего письма“. Въ письмѣ отъ 30 іюня, въ концѣ, передъ словами: „Прощай, мой ближайшій мнѣ“, читаемъ: „Теперь ѣду въ Неаполь. Тамъ пробуду два мѣсяца, т.-е. до послѣднихъ чиселъ августа, послѣ чего возвращаюсь въ Римъ. Итакъ до этого времени ты адресуй письма въ Неаполь (poste restante), по истеченіи же этого времени въ poste restante въ Римъ.“

„Я узналъ, что Жуковскій уѣхалъ уже за границу, и потому не поспѣваю къ тебѣ письма. Можетъ быть, мнѣ удастся увидѣться съ нимъ лично, и я поговорю съ нимъ, а до того времени ты напиши ко мнѣ, что, по твоему мнѣнію, ты считаешь для себя лучшимъ, чтобы я зналъ, какъ дѣйствовать. Прощай, мой ближайшій мнѣ! Не забывай меня! Пиши ко мнѣ!“ Въ письмѣ отъ 31 дек. 1838 г., послѣ словъ: „На дняхъ при-

переписка. Впрочемъ, еще до прїѣзда Симоновскаго, сочинены были Гоголемъ и Данилевскимъ и посланы въ Петербургъ извѣстные стихи:

„Да здравствуетъ нѣжинская бурса,
Севрюгинъ, Билевичъ и Урсо“, и проч.

Вскорѣ нѣжинцы познакомились и близко сошлись съ однимъ молодымъ французомъ, Новлемъ, жившимъ въ верхнемъ этажѣ одного изъ самыхъ высокихъ домовъ Латинскаго квартала. Къ нему они ежедневно собирались обѣдать и оставались потомъ брать уроки разговорнаго итальянскаго языка, въ виду предстоявшаго путешествія въ Италію ¹⁾.

Въхаль“, пропущено: „Наслѣдникъ, а съ нимъ вмѣстѣ Жуковский“. Далѣе, послѣ словъ: „Жуковский весь полонъ Пушкинымъ“, слѣдуетъ дополнить: „Наслѣдникъ, какъ извѣстно тебѣ, имѣетъ добрую душу. Всѣ русскіе были приглашены къ его столу на второй день его прїѣзда“. (Эти строки я указываю на основаніи „Записокъ о жизни Гоголя“; но такъ какъ подлинникъ былъ кому-то подаренъ А. С. Данилевскимъ, то остаются неизвѣстными еще два пропуска). Въ концѣ слѣдующаго письма, отъ 5 февраля 1839 г., пропущено: „Нашъ Его Высочество доволенъ чрезвычайно и, разѣзжая въ блузахъ, бросаетъ муку въ народъ корзинами и мѣшками и тѣмъ попоало“ (рѣчь идетъ о карнавалѣ). Въ концѣ письма отъ 2 апрѣля 1839 г. опущенъ конецъ; у Кулиша стоитъ на немъ въ скобкахъ (въ знакъ предположенія) 1838 г., но оно по содержанию, очевидно, принадлежитъ 1839.

„Съ первымъ днемъ 1840 г., кажется, должна выдти первая книжка „Отечественныхъ Записокъ“.

„Кстати о журналѣ „Отечественныя Записки“. Я получилъ тотчасъ по прїѣздѣ моемъ въ Римъ предлинное письмо отъ Краевскаго, на которое я никакъ не собрался отвѣчать, да притомъ и не знаю—какъ. Къ тому жъ и самое письмо пошло на какія-то требн. Краевскій просто воетъ и поднимаетъ рѣшительно всѣхъ ополчиться на сатану. Говорить, что здѣсь должны мы всеобщими силами двинуться, что это послѣдній крестовый походъ, и что если этотъ не удастся, тогда ужъ рѣшительно нужно бросить все и отчаяться. Я себя представляю мысленно, какъ этотъ человекъ хлопочетъ и почесываетъ очень солидно бакенбарды на своемъ миниатюрномъ лицѣ.

„Погодинъ видѣлъ первую книжку и говорить, что вдвое больше „Библіотеки для Чтенія“, но что онъ не заглядывалъ въ середину книги и не имѣлъ для этого времени. Еще онъ же сказывалъ, что ему говорилъ одинъ, что Краевскій очень благонамѣренно дѣйствуетъ и поощряетъ молодыхъ литераторовъ, собирая ихъ около, но что именъ этихъ литераторовъ трудно упомянуть, а литераторы хорошіе и образованные. Я самъ то же думаю...

„Слѣдующее письмо вручить тебѣ Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ.

„Прощай. Цѣлую тебя. Твой—Гоголь“.

Здѣсь идетъ рѣчь о книжкѣ „Отеч. Зап.“ за 1840 г., слѣдовательно письмо 1839 г., тѣмъ болѣе, что въ этомъ году были въ Италіи Погодинъ и Шевыревъ. Ниже помѣщено то письмо, о которомъ здѣсь сказано, что его вручать Погодинъ съ Шевыревымъ.

¹⁾ Впослѣдствіи Александръ Семеновичъ рекомендовалъ его своему хорошему полтавскому знакомому, Алексію Васильевичу Калнисту, въ гувернеры къ дѣтямъ, но это не состоялось, потому что Новль перѣхалъ въ Брюссель, и слѣдн его были потеряны. По словамъ А. С. Данилевскаго, онъ былъ даже немного поэтъ.

Сначала Гоголь намѣревался пробыть въ Парижѣ около пол-года, но уже въ началѣ февраля страсть къ новымъ впечатлѣніямъ опять сильно заговорила въ его душѣ, и онъ неудержимо рвался въ Италію, гдѣ ему улыбалась предстоящая торжественная встрѣча праздника Пасхи въ храмѣ св. Петра. Карнавалъ онъ уже пропустилъ, отпраздновавъ его въ Парижѣ.

Въ послѣднее время Гоголя только и удерживала развѣ возможность видѣться часто съ Мицкевичемъ, который жилъ тогда въ Парижѣ, еще не бывши профессоромъ въ Collège de France, и другимъ польскимъ поэтомъ, Залѣскимъ. (Такъ какъ Гоголь не зналъ польскаго языка, то разговоръ обыкновенно происходилъ на русскомъ или чаще—на малороссійскомъ языкѣ.) Все остальное ему прискучило, и онъ впалъ въ жестокую хандру.

Еще въ Парижѣ застало Гоголя роковое для него извѣстіе о смерти Пушкина. Данилевскій рассказывалъ мнѣ, какъ однажды онъ встрѣтилъ на дорогѣ Гоголя, идущаго съ Александромъ Ивановичемъ Тургеневымъ. Гоголь отвелъ его въ сторону и сказалъ: „Ты знаешь, какъ я люблю свою мать; но еслибы я потерялъ даже ее, я не могъ бы быть такъ огорченъ, какъ теперь: Пушкинъ въ этомъ мірѣ не существуетъ больше!“ Въ самомъ дѣлѣ, онъ казался сильно опечаленнымъ и удрученнымъ.

Въ концѣ февраля 1837 года Гоголь выѣхалъ въ Италію, и снова Данилевскій оказался неисправнымъ корреспондентомъ. Оставляя Парижъ, Гоголь взялъ съ него обѣщаніе писать какъ можно чаще, извѣщая даже о неимѣніи матеріи для письма, а самъ, въ свою очередь, далъ слово писать непременно съ каждаго мѣста остановки. Въ самомъ дѣлѣ, онъ писалъ и изъ Ліона, и изъ Марсея, наконецъ изъ самаго Рима, но Данилевскій не откликался ни одной строкой. Снова пришлось его усовѣщивать: „Я не требую длинныхъ писемъ,—говорилъ Гоголь:—нѣсколько строчекъ, записочекъ, но только чтобы это было часто. Это было бы мнѣ напоминаніе, что ты еще существуешь, что ты еще подъ бокомъ у меня, что идешь рука объ руку со мною, хотя невидимо. Пожалуйста, прошу, молю, умоляю, заклинаю“. Уговаривая, такимъ образомъ, своего пріятеля, Гоголь даже увѣряетъ его съ добродушнѣйшимъ юморомъ, что послѣ исполненія этого священнаго долга онъ лучше будетъ себя чувствовать, что желудокъ будетъ лучше варить, и что даже Рубины и Гризи будутъ лучше пѣть.

Послѣ разлуки съ Данилевскимъ, какъ видно изъ писемъ,

парижскія впечатлѣнія долго еще не могли изгладиться изъ памяти Гоголя, и все ему представлялись boulevard des Italiens, гдѣ они жили вмѣстѣ съ Данилевскимъ, и café Montmartres, гдѣ они постоянно обѣдали (до и послѣ знакомства съ Нозлемъ). Онъ вспоминалъ нерѣдко всѣ мелочи ихъ парижской жизни и обстановки, даже m-me Hochard и Филиппо, garçon de café Montmartres.

Петербургскіе друзья, привыкшіе къ извѣстіямъ о совмѣстномъ жителствѣ и переѣздахъ Данилевскаго и Гоголя, были не мало удивлены ихъ разлукой, и одинъ изъ нихъ предположилъ даже между ними ссору. Когда это предположеніе дошло до Гоголя, онъ пришелъ въ негодованіе и написалъ по этому поводу Прокоповичу: „Данилевскій теперь тоже въ Римѣ. Онъ думалъ на зиму возвратиться въ Парижъ и рассказать тебѣ все. Да естати, чтобы не позабыть: пожалуйста, выбрани хорошенькѣ Пащенко за эту достойную его догадку, что мы поссорились, и потому не ѣдимъ вмѣстѣ. Что мы не ѣдимъ всегда вмѣстѣ, это зависитъ отъ разности въ образѣ возрѣній, которымъ разнообразно наполнены наши людскіе умы. Полковникъ ¹⁾ больше человѣкъ современный, воспитанный на современной литературѣ и жизни, я больше люблю старое. Его тянетъ въ Парижъ, меня гнететъ въ Римъ; но, порыскавши, мы всегда сходимся съ нимъ и, такимъ образомъ, приготавливаемъ другъ для друга запасъ разговоровъ“.

Итакъ, Данилевскій пріѣхалъ въ Римъ почти слѣдомъ за Гоголемъ. Теперь настала очередь Гоголю взять на себя трудъ ознакомленія Данилевскаго съ вѣчнымъ городомъ и его дивной роскошью природы и искусства. Ему было не трудно, впрочемъ, сдѣлать это, потому что онъ буквально упивался Римомъ и всегда съ большимъ восторгомъ готовъ былъ показывать его вновь пріѣзжающимъ знакомымъ и друзьямъ. Извѣстно, какъ онъ водилъ по Риму Жуковскаго, и какъ они вмѣстѣ взбирались на куполь св. Петра, откуда представился имъ грандіозный видъ на Кампанью.

Гоголь и Данилевскій вращались въ Римѣ преимущественно въ кружкѣ русскихъ художниковъ, пансіонеровъ академіи художествъ, въ числѣ которыхъ у нихъ были даже довольно короткіе знакомые; но вообще большинству изъ нихъ,—кромѣ, конечно, А. А. Иванова,—они мало сочувствовали и часто надъ ними подсмѣи-

¹⁾ Такъ здѣсь въ шутку названъ Данилевскій, какъ служившій прежде въ военной службѣ.

вались. Къ такимъ принадлежалъ нѣкто Дурновъ, человекъ, любившій порисоваться и поволочиться, съ огромнымъ самомнѣнiемъ и, между прочимъ, не стѣсняяшійся бранить „наповалъ все, что ни находится въ Римѣ“; Никитинъ, надъ которымъ Гоголь смѣялся по поводу безобразнаго произношенiя имъ по-итальянски своего адреса (Vicolo dei Greci, метого dieci; „адресъ Никитина въ стихахъ“, говаривалъ Гоголь); Ефимовъ, показывавшій Погодину, какъ собственное открытiе, какiя-то египетскiя древности, потому что имѣлъ благородное обыкновенiе, свойственное впрочемъ всѣмъ художникамъ, не заглядывать въ книги“ (изд. Кул., V, 369)¹⁾. Обо всѣхъ о нихъ Гоголь говорилъ: „что за народъ! ужасъ, какая тоска! и всякій изъ нихъ увѣренъ отъ души, что имѣетъ много таланта“ (V, 364).

(Жилъ Гоголь въ Римѣ сначала на Strada Felice, № 126, ultimo piano).

Мы не имѣемъ почти никакихъ данныхъ, чтобы слѣдить за перѣздами Гоголя въ этотъ длинный промежутокъ времени, почти до конца 1837 года. Впрочемъ можно, кажется, приблизительно опредѣлить его маршрутъ по слѣдующимъ строкамъ письма къ А. С. Данилевскому (V, 299): „Когда я изъ Неаполя выѣхалъ во Франкфуртъ, я не замѣтилъ совсѣмъ перемѣны въ небѣ и солнцѣ, и прiѣхавши даже въ Парижъ, мнѣ казалось, все предомною то же небо; но когда я подвигался къ Италiи, даже въ Марсель... у, какая разница! Потокъ свѣта. Ей, ей, полнеба тонетъ въ свѣту!“ (тамъ же). Слѣдовательно, Гоголь между 15-мъ iюня, когда, какъ видно изъ писемъ, онъ былъ въ Туринѣ, и 1-го октября, когда онъ прiѣхалъ уже въ Женеву, успѣлъ побывать и въ Германiи (во Франкфуртѣ), и тогда же былъ, вѣроятно, въ Испанiи.

Осень же Гоголь провелъ снова съ Данилевскимъ въ Швейцарiи, какъ видно изъ письма къ матери отъ 24-го ноября 1837 г. („Я съ большою радостью оставилъ, наконецъ, Женеву, гдѣ, впрочемъ, мнѣ не было скучно, тѣмъ болѣе, что я имѣлъ счастливую встрѣчу съ Данилевскимъ, и такимъ образомъ мы провели осень довольно прiятно“. См. изд. Кул., V, 294.) Они жили вмѣстѣ въ Hôtel de la Couronne, гдѣ часто видались, между прочимъ, съ Мицкевичемъ, переселившимся тогда въ Лозанну и прiѣзжавшимъ часто въ Женеву. Мицкевичъ въ 1839 г. получилъ въ Лозаннѣ кафедру древнихъ литературъ. На зиму Го-

¹⁾ По словамъ А. С. Данилевскаго, одинъ Ефимовъ занимался египетскими древностями, другой — греческими; оба были архитекторы.

голь поѣхалъ снова въ Римъ, а Данилевскій очутился опять „сѣдокомъ въ солнцѣ великолѣпія“, какъ называлъ Гоголь Парижъ. Къ карнавалу Гоголь былъ уже въ Римѣ и съ увлеченіемъ описывалъ потомъ это, видѣнное имъ въ первый разъ, зрѣлище, которое онъ изображалъ со всѣми подробностями.

Послѣ этой разлуки имъ уже не суждено было вмѣстѣ странствовать за границей, и сношенія ихъ ограничивались преимущественно рекомендаціями другъ другу знакомыхъ, которые, перѣѣзжая изъ Рима въ Парижъ или обратно, передавали разныя ихъ порученія. Такъ, Данилевскій однажды рекомендовалъ вниманію Гоголя нѣкоего Золотарева, юношу, года за два передъ тѣмъ кончившаго курсъ въ дерптскомъ университетѣ и познакомившагося съ ними во время поѣздки на пароходѣ въ Любекъ и Гамбургъ. Гоголь, въ свою очередь, поручалъ Данилевскому Квитку, Межаковыхъ и Мантейфеля, о которыхъ потомъ освѣдомлялся въ нѣсколькихъ письмахъ сряду.

В. ШЕНРОКЪ.



НА УЩЕРБѢ

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

— Туда ли ты ѣдешь?

— Туды, господинъ, мы здѣшніе... Будьте покойны. Намъ ошибаться не слѣдъ.

Ямщикъ обернулся къ Ермилову. Сквозь сизыя, разрывчатая облака октябрьскаго неба просачивался двойственный свѣтъ. Баринъ—полный и рослый, въ клѣтчатомъ заграничномъ эльстерѣ, съ капюшономъ—переваливался съ боку на бокъ въ тарантасикѣ на длинныхъ дрогахъ. Ноги его прикрыты одѣяломъ, на головѣ круглая сѣрая шляпа. Его везли парой, съ колокольчикомъ. Ямщикъ въ мужицкомъ оземѣ сидѣлъ бочкомъ, на козлахъ. Обернувшись къ барину, онъ повелъ кнутовищемъ по воздуху и прибавилъ:

— Вотъ лошадку минуемъ, заворотъ налѣво. Къ Евментью Филиппычу проселкомъ двѣ версты аекурать.

— Ты его и по батюшкѣ знаешь?

— Какъ не знать, сударь. Баринъ — рубашка!.. И овсеца когда купишь у нихъ... въ кредитецъ.

— Въ кредитецъ?—переспросилъ Ермиловъ и усмѣхнулся.

На его немного скуластомъ лицѣ лежалъ ровный цвѣтъ холеной, но уже немолодой кожи. Борода съ просѣдью, по модѣ остриженная, придавала ему молоджавость. Большіе близорукіе глаза смотрѣли въ черепаховое *pinse-nez*.

Ермиловъ усмѣхнулся и попристальнѣе оглядѣлъ ямщика, потомъ дорогу, направо и налево отъ бѣлесоватаго шоссе, разрыхленнаго дождемъ.

Ямщикъ сидѣлъ все еще бокомъ. Изъ-подъ шапки висѣла рыжеватая прядь, прямо надъ самымъ носомъ. Онъ косилъ, и правый его глазъ былъ, кажется, съ бѣльмомъ. Ротъ растягивала ухмыляющаяся усмѣшка подмосковнаго плутоватаго мужика.

Дорога шла безъ жилья кругомъ, съ жидкимъ лѣсомъ съ одной стороны, скучная и бѣдная картина безъ рельефа, безъ малѣйшей неожиданности при легкихъ спускахъ и подъемахъ.

Въ головѣ Ермилова, раздраженной отъ тряски въ тарантасѣ, мелькали недавніе образы. Ласковое, праздничное солнце, бирюзовыя волны, толпа молодыхъ женщинъ въ купальныхъ костюмахъ. Прибой гудитъ и всплываетъ валы. Тѣлу такъ отраднo въ тепловатой водѣ, ожигающей васъ брызгами. Надъ вами синее, точно расплавленная лапись-лазурь — небо южной Франціи, на побережьѣ Атлантическаго океана. Ноги и руки, головы и мельканье бюстовъ, кругомъ, около него, среди пѣны и всплесковъ, голоса мужчинъ и женщинъ, картавые французскіе и шепелявые испанскіе, эта изящная смѣлость молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ — какъ все это замолаживало его. Онъ любитъ тургеневское слово: „замолаживать“ — и повторилъ его мысленно. Сколько женщинъ! И почти съ каждой можно заговорить, взять ее за руку, предложить свои услуги, положить ее на руки, чтобы она „дѣлала доску“.

Да, онъ былъ — всего двѣ недѣли назадъ — въ своей стихіи.

— „*Odor di femmina*“!

Эти слова произносилъ особенно вкусно одинъ его пріятель, бокомъ поглядывая на него, бывало, когда они ходили по бульварамъ Парижа, и онъ, сжимая руку пріятеля своими бѣлыми, гибкими въ суставахъ пальцами, подбадривалъ себя возгласомъ:

— Какая фамма!.. *Nom d'un petit bonhomme!*..

На подъемѣ тарантаса сырой вѣтерокъ забрался ему подъ заграничный эльстеръ.

Тутъ только попенялъ онъ на себя за то, что слишкомъ легко одѣлся. Такъ одѣться было бы въ пору тамъ, въ Біаррицѣ, на закатѣ солнца, а не здѣсь, подъ Москвой, въ началѣ октября, въ тарантасѣ, безъ верха, по шоссе и по проселочной дорогѣ.

— Лѣсомъ — проселокъ? — поторопился онъ спросить у ямщика.

— Нештд!

„Нештд!“ повторилъ мысленно Ермиловъ и выбранилъ себя. Какая глупость и чтѣ за ухарство! Ему пошелъ сорокъ-пя-

тій „годовъ“, а онъ позволяетъ себѣ такія „prouesses“, точно онъ гимнастъ или наѣздникъ въ циркѣ.

Развѣ онъ не знакомъ съ ревматизмами и невралгіями? Вотъ еще одна подобная неосторожность — и ляжешь въ номерѣ гостиницы, съ болями въ ногѣ или лопаткѣ, и будешь валяться недѣли двѣ.

Пріятно!

Но у него съ собой нѣтъ теплаго платья, кромѣ этого эльстера, купленнаго въ Лондонѣ, въ прошломъ году. Его шуба въ Петербургѣ, на храненіи у мѣховщика въ Караванной. Онъ надѣлся почему-то на хорошую погоду. Ему вспомнились, когда онъ развѣ ѣхалъ изъ-за границы, превосходные осенніе дни — въ октябрѣ.

Одинъ такой день изъ того времени какъ теперь стоитъ передъ нимъ. Нескучный садъ. Золотистая листва, кое-гдѣ сохранившаяся на липахъ, длинная-длинная аллея — и они одни. Онъ — студентъ въ скюртукѣ съ голубымъ воротникомъ, даже безъ пальто. Она — кордебалетная дѣвочка. И какіе поцѣлуй! Чтѣ за свѣжій пылъ среди осенняго эмира, полного запаха спѣлыхъ яблокъ, откуда-то донесшагося до нихъ!

Тогда и безъ пальто было хорошо. Небо — безъ облачка. Крестъ храма Спаса вдали бросалъ свои искры.

Какъ жилось! И въ карманѣ было всего два рубля — послѣдніе — отдать лихачу-извозчику, взятому у Страстного монастыря...

— Пошелъ, братецъ, скорѣе! — вдругъ крикнулъ Ермиловъ.

Онъ не на шутку испугался. Правда, у него подъ рубашкой вязаная фуфайка — онъ носитъ фуфайки больше пятнадцати лѣтъ. Но фуфайка шолковая, она не грѣетъ. Съ собой онъ не захватилъ фляжечки съ коньякомъ; она осталась тоже въ номерѣ Лоскутной гостиницы. Надежда на одинъ пледъ, довольно теплый. Онъ захватилъ только сакъ, лежавшій подъ сидѣньемъ ящика, — съ туалетными вещами и парой маншетъ, — переночевать, а завтра утромъ назадъ въ Москву.

„Авось пронесетъ!“ веселѣе воскликнулъ онъ про себя. Безпечность его натуры ваяла верхъ — все тоже жизненное свойство, которое онъ зналъ за собою съ дѣтства.

Развѣ человекъ мѣняется? Какой вздоръ!.. Вотъ онъ, — Ермиловъ, — не измѣнился даже въ мелочахъ привычекъ, тѣловъ, построеній языка, не говоря уже о преобладающихъ инстинктахъ. И другіе также...

Милѣйшій Кустаревъ, — къ кому онъ ѣхалъ на ночлегъ, — вылился въ то, чтѣ сидѣло въ немъ еще въ гимназіи, когда они

ходили на Лубянку и передавали другъ другу учебники географіи и алгебры. По ученю они шли параллельно. Ихъ раздѣляли два класса. Кустареву теперь сорокъ-два, ему—сорокъ-четыре и девять мѣсяцевъ съ днями.

И тогда Кустаревъ былъ такой же — приземистый, съ удивленными добрыми глазами, вообще молчаливый; съ пріятелями теплый и словоохотливый; „нутрякъ“, какъ кто-то прозвалъ его, склонный къ мечтамъ о всемірномъ торжествѣ добра, любящій излить душу про „гадость“ порядковъ и дѣлъ, способный на порывъ, на выходку, за которую по головѣ не погладать. Тогда это было изъ-за товарищей, противъ учителей и начальства, позднѣе — изъ-за гражданскихъ идеаловъ въ аудиторіяхъ и на сходкахъ, еще позднѣе — на ученой службѣ вплоть до добровольнаго выхода въ отставку, послѣ одной исторіи, гдѣ онъ въ лицо всѣмъ сослуживцамъ сказалъ:

— Съ такими гадостями я, господа, мириться не могу!

Вышелъ изъ совѣта и подалъ прошеніе объ отставкѣ. И до сихъ поръ въ его душѣ сочится ранка не оттого, что онъ не у дѣлъ, отставной профессоръ, живущій на хуторѣ, пописывающій въ газетахъ, а оттого, что люди, товарищи, единомышленники, выказали такую измѣну тому, что у нихъ было на губахъ еще утромъ, передъ засѣданіемъ.

Нѣтъ, никто не мѣняется, только старѣетъ и теряетъ аппетитъ, силу, умъ, талантъ, радость жизни, записываетъ себя — добровольно или нѣхотя — въ старики.

Онъ не можетъ и этого сказать про себя... Когда онъ съ глазу на глазъ съ собой проникаетъ безпощаднымъ зондомъ въ свое „самочувствіе“, — ему не вѣрится, что онъ скоро перешагнетъ во вторую половину пятаго десятка.

„Подъ пятьдесятъ!“ Да вѣдь это почти старость, особенно въ Россіи, гдѣ мужчина такъ скоро выходитъ въ отставку изъ жизни, опускается во всеміе: въ туалетъ, въ тонъ, въ манерахъ, въ желаніи нравиться женщинамъ.

А онъ еще чувствуетъ себя молодымъ. Въ чемъ-же и молодость, какъ не въ обладаніи женщиной?

Ермиловъ щелкнулъ языкомъ и протеръ стекла ринсе-нез цвѣтнымъ моднымъ фуляромъ.

Какой же онъ старикъ? А въ Біаррицѣ... та французенка изъ города Байонны, съ золотыми глазами и сизо-черными прядями волосъ?..

Въ Парижѣ своимъ чередомъ, въ кружкѣ „des Moissonneurs“ въ томъ особомъ кабинетѣ ресторана, гдѣ собираются его пріатели-

парижане, основавшіе этотъ „клубъ“... Тамъ его познакомили съ одной натурщицей гречанкой.

Какой бюстъ! Чтѣ за божественная пластика! И еще не избалована въ плохихъ дѣлахъ.

Даже по дорогѣ въ Россію, на вѣнской „Ringstrasse“, въ Café Frohner мороженное, предложенное имъ одной венгеркѣ, повело къ свиданію... въ Stadtpark'ѣ... Онъ вздохнулъ... Давно ли все это было?

А теперь эта тошная дорога, проселокъ, а потомъ Москва все съ тѣми же „хорошими людьми“, прѣсными разговорами „по душѣ“, съ грязными улицами безъ изящныхъ женщинъ, или съ женщинами въ глубокихъ галошахъ, въ толстыхъ безформенныхъ пальто, въ невозможныхъ баблыкахъ!..

— Боже мой!—вздохнулъ еще громче Ермиловъ.

Они вѣхали въ еловый лѣсъ, охватившій его теменью и запахомъ хвои. Дорога шла узкая, съ выбоинами и колеями.

— Долго еще этотъ лѣсъ?—спросилъ, наконецъ, Ермиловъ, и его токнуло въ бокъ на колдобинѣ.—Тише, братецъ!

— Долго ли лѣсомъ?—переспросилъ ямщикъ.—Да акеурать до самаго хутора, баринъ.

— Удовольствіе!.. Тихо ли здѣсь насчетъ проѣзжающихъ?

— Чево?.. Тихо ли?.. Пошаливаютъ когда.

— Грабятъ, хочешь ты сказать, мой другъ?

— Нештѣ!

Это „нештѣ“ было сказано съ прелестнымъ хладнокровіемъ. „Чтѣ за страна!“—хотѣлъ возмутиться Ермиловъ, но у него это не вышло. Онъ кончилъ мысленно:

„Оригиналы мы—это точно. И никакое подражаніе Европѣ не выбьетъ изъ насъ нашего квіэтизма“.

— Однако, какъ же это, милый мой?—спросилъ онъ ямщика, нагнувшись къ нему всѣмъ своимъ жирноватымъ туловищемъ.—Этакъ насъ съ тобой и прирѣжутъ, какъ цыплятъ.

Онъ хотѣлъ съострить какъ слѣдуетъ, но колдобины и колеи рѣшительно не позволяли. Да и вообще, съ тѣхъ поръ, какъ онъ опять въ Москвѣ, его привычка къ остротамъ и „shots“ что-то хирѣетъ.

— Богъ милостивъ!—отъликнулся ямщикъ.

„Со мной ли револьверъ?“—торопливо спросилъ себя Ермиловъ и ощупалъ всѣ карманы.

Револьвера не было.

Забывчивость онъ очень не любилъ. Это одинъ изъ признаковъ старчества... Самъ по себѣ онъ не разсѣянъ. Вышло это

оттого, что онъ заторопился къ поѣзду, и не захватилъ револьвера, который клалъ всегда въ ночной столикъ, гдѣ бы онъ ни ночевалъ, или въ карманъ, дорогой, въ общемъ ли русскомъ вагонѣ, въ sleeping car, или въ купѣ французскихъ и нѣмецкихъ дорогъ.

— Глупо, глупо!—почти вслухъ выбрали онъ себя и тутъ же досталъ изъ бокового кармана записную книжечку и, еле-еле разбирая написанное, черкнулъ карандашомъ:

„Не забыть револьвера“.

— Авось пронесетъ!—сказалъ онъ ямщику.

— Нешто!

Это трехкратное „нешто“ разувѣрило его и настроило игриво.

Онъ не безъ удовольствія началъ думать о Кустаревѣ, о его женѣ, о томъ, какъ онъ засядетъ у нихъ за чайный столъ, и отвѣдаетъ „своихъ“ сливокъ, и поразить ихъ мотивомъ своего визита.

Вотъ ужъ не ожидаютъ!.. И обрадуются. Онъ въ этомъ не сомнѣвался.

Они должны тосковать, особенно же этотъ „комочекъ нервовъ“, Маргарита Сергѣевна—„Гаря“, какъ называется ее милѣйшій Евменій Филипповичъ.

Должны быть рады, думалъ онъ, и сейчасъ же вспомнилъ заглавие французской пьесы, когда-то видѣнной имъ въ Михайловскомъ театрѣ: „La maison sans enfants“.

— „La maison sans enfants“,—протяжно и вслухъ выговорилъ онъ.

А вдругъ ихъ дома нѣтъ?..

Онъ имъ депеши не посылалъ... Хуторъ не на линіи телеграфа... Съ депешей вышла бы возня, да и некогда было сегодня... Писалъ онъ Кустареву, съ дороги, изъ Варшавы, и дѣлалъ тамъ полутаинственный намекъ на свою „миссію“. Говорилъ, кажется, что будетъ между 5 и 10 октября на хуторѣ.

Чего же больше?

Въ такихъ дѣлахъ онъ былъ небреженъ... Часто способенъ былъ опоздать, не предупредить... Зато до педантизма аккуратенъ въ денежныхъ счетахъ. „Это—великая добродѣтель для русскаго“, говаривалъ онъ пріятелямъ.

„Миссія“ совсѣмъ не тяготила его и не вызывала никакихъ укоровъ совѣсти, никакихъ упрековъ себѣ, счетовъ съ прошлымъ.

— Баринъ, а баринъ!

— Что?—немножко тревожно отозвался Ермиловъ.

— Выселки, значитъ... Кустаревка... Эхъ, вы, распекарако-

выя!..—ухнулъ ямщикъ, и Ермиловъ чуть не выскочилъ изъ тарантаса.

II.

Лохматый песъ могуче лаялъ, подпрыгивалъ на цѣпи и рвался къ лошадямъ.

На лай собаки выбѣжалъ изъ сарайчика—Ермиловъ уже плохо различалъ строенія на дворѣ—малый въ полушубкѣ, простоволосый, и сталъ высаживать гостя.

— Дома господъ?—спросилъ Ермиловъ и, спросивъ, увидѣлъ свѣтъ въ двухъ окнахъ одноэтажнаго флигелька, съ крылечкомъ, въ русскомъ вкусѣ.

— Дома-съ, пожалуйста!

— Вотъ мѣшочекъ возьмите, а вылѣзть я попробую самъ.

Ермиловъ всякой прислугѣ, даже половымъ въ московскихъ трактирахъ, говорилъ „вы“; исключеніе дѣлалъ для крестьянъ, ямщиковъ и городскихъ извозчиковъ.

-- Батюшка! Егоръ Петровичъ!

Въ передней обнималъ его Кустаревъ. Они три раза поцѣловались.

Тутъ же стоялъ малый съ сакомъ Ермилова. Рослая горничная держала въ рукахъ свѣчку.

— Ждемъ, ждемъ!.. Снимайте свой заморскій капотикъ! На-легкѣ вы, голубчикъ... Думали мы съ Гарей, что вы утречкомъ пожалуете.

Кустаревъ помогъ ему стащить съ себя клѣтчатый эльстеръ и ввелъ въ небольшую залу, стоявшую еще въ деревѣ, безъ штукатурки, какъ и весь домикъ.

Ласково оглядывали большіе глаза Ермилова неизмѣнную „благопріятеля“—такъ Кустаревъ самъ звалъ себя.

Постарѣлъ онъ физически за два послѣднихъ года: сталъ какъ-то ниже ростомъ, въ лицѣ худощавѣе, борода отросла и сильно засеребрилась; курчавые, длинные волосы также. Но все тотъ же бодрый и энергическій ротъ безъ двухъ верхнихъ зубовъ и взглядъ задумчивыхъ карихъ глазъ съ немного нависшими бровями, и бѣлый, уже морщинистый, болѣе продолговатый, чѣмъ широкій лобъ.

Не удивился Егоръ Петровичъ и тому, что на Кустаревѣ была бѣлая рубаха съ косымъ воротомъ, расшитымъ цвѣтной бумагой, и въ накидку, не то поддѣвка, не то куртка, и боль-

шіе сапоги, отдававшіе ворванью. Онъ зналъ его народные вкусы и симпатіи.

Голосъ Кустарева сталъ поглуше. Онъ и прежде говорилъ съ легкой хрипотой, которую всѣ его пріатели очень любили; отъ нея голосъ его дѣлался задумчивѣе.

— Гаря! Вотъ и онъ, парижанинъ!.. Въ нашей берлогѣ... Иди сюда, Гаречка!

Выбѣжала жена Кустарева — „комочекъ нервовъ“, по выраженію Ермилова, маленькая, худая, моложавая и бѣлокурая женщина, съ плоской грудью, въ шерстяной полосатой кофточкѣ. Она и Ермиловъ оглянули себя быстро, пока жали другъ другу руку.

И она измѣнилась на его взглядъ: носикъ заострился, глаза воспаленные, вся ссохлась, и нѣтъ прежней живости въ движеніяхъ... Точно будто она была серьезно больна.

Ермилова она нашла мало измѣнившимся: только немного пополнѣлъ, да еще меньше волосъ стало на круглой, подстриженной головѣ яркаго блондина, съ бородкой цвѣтомъ потемнѣе. Она хорошо знакома была съ его головой и лицомъ чистокровнаго сангвиника: все тѣ же свѣрые, близорукіе и большіе глаза съ привѣтливымъ и выжидающимъ выраженіемъ любителя женщинъ, и нервныя, глубоко вырѣзанныя ноздри породистаго хрящеватаго носа, и ротъ вишней, не утратившій своей сочности, и бѣлая, круглая шея, виднѣвшаяся изъ-подъ подстриженной, по модному, бородки.

Она все это знала и про себя чувствовала къ пріателю мужа родъ снисходительной брезгливости, какъ женщина чистая въ самыхъ помыслахъ своихъ, не умѣющая понять, какъ могутъ мужчины быть такими „гадкими“.

— Маргарита Сергѣевна, ручку позвольте!

Ермиловъ низко нагнулся и продолжительно поцѣловалъ ея нервную, худенькую и красненькую руку. Лысина круглымъ пятномъ обозначилась на его маковѣѣ. Отъ всего полного туловища, стянутаго узко-скроеннымъ дорожнымъ костюмомъ, пахло какими-то сильными духами, ей неизвѣстными.

Она находила всегда, что Ермиловъ держится съ нею, съ другими женщинами ихъ круга и съ мало-знакомыми мужчинами, съ преувеличенной вѣжливостью въ тонѣ и манерѣ говорить, считала это барствомъ, желаньемъ показать, что его воспитывали гувернеры, и мать его была „по себѣ“ графиня. Мужъ ей не разъ говорилъ, что это у Ермилова „просто привычка“. И ее воспи-

тывали гувернантки, и она говорила прежде только по-французски. Но у нея же нѣтъ этого тона...

Каждый разъ, всѣ эти мысли и ощущенія проходили по душѣ маленькой женщины, при новой встрѣчѣ съ пріятелемъ ея мужа.

Но она ему все-таки искренно обрадовалась. Ермиловъ у нихъ всегда милъ, простъ, также преданъ ея „Менѣ“—она такъ звала мужа,—остеръ, неистощимъ въ разсказахъ, привозить съ собою совсѣмъ другой запахъ—взвинченной жизненности.

Онъ непременно оживить ея мужа... А у Маргариты Сергѣевны затаенная тревога въ сердцѣ: ея Меня „не у дѣлъ“, не нынче-завтра долженъ захандрить, какъ онъ себя ни подбадриваетъ. Такіе пріатели, какъ Егоръ Петровичъ—чистый кладъ: развлечетъ, наскажетъ цѣлую массу всякихъ веселыхъ интересныхъ вещей „изъ Европы“—и про новыя книжки, и про политику, и про театръ, и про женщинъ, хотя Евменій Филипповичъ не большой охотникъ до такихъ сюжетовъ, да и она также.

— Чѣмъ васъ поить-кормить?—спросила она его своимъ вздрагивающимъ, низковатымъ голоскомъ, съ легкой картавостью.

Этотъ голосъ у ней отдавался и въ горлѣ, и въ груди.

— Сейчасъ и кормить!.. О, Москва!.. О, моя свѣжесть! О, моя родина! О, Сивцевъ-Вражекъ!..

Всѣ расхохотались разомъ и перешли въ столовенькую, такую же миниатюрную, какъ и зальце.

— Чай!. Чего же лучше!—вскрикнулъ Ермиловъ и пригласить хозяйку, комическимъ жестомъ, къ самовару.—Извольте священнодѣйствовать.

— А закусить?—спросилъ Кустаревъ.—Чѣмъ Богъ пошлетъ...

— Не откажусь!..

Маленькая женщина что-то шепнула горничной, сама сбѣгала въ другую комнату, вернулась съ большой банкой варенья—Ермиловъ—сластѣна!—стала безъ шума, ловко и быстро уставлять закуску и, не мѣшая разговору мужчинъ, успѣла получить отвѣты отъ гостя на всѣ свои гостепріимные вопросы.

Самоваръ шипитъ, запахъ чая пріятно щекочетъ нервы; сквозь паръ, на столѣ, при свѣтѣ лампы, блестятъ тарелки, рюмки, ножи.

Все это чистенько и хозяйственно. Маленькая женщина умѣла угостить, и ее нельзя было застать врасплохъ; всегда у нея найдутся запасы и закуски изъ хорошихъ гастрономическихъ магазиновъ.

— Маргарита Сергѣевна!—окликнулъ Ермиловъ:—что это за рыба? Прелесть!

Онъ только-что пропустилъ въ ротъ большой кусокъ рыбы въ маслѣ, доставъ ее изъ продолговатой красной жестянки.

— Это у меня Гаря мастерица, отыщетъ на днѣ морскомъ, — отвѣтилъ за жену Кустаревъ и самъ полѣзъ вилкой въ жестянку.

— Макрель, — назвала отчетливо, какъ все, что она говорила, Маргарита Сергѣевна. — Изъ Балаклавы... крымская... русское произведение.

— Макрель!.. Вотъ это чудесно! Французская. — Ермиловъ повелъ носомъ. — Двусмысленность и такъ прекрасно обрусѣла. Гдѣ это продается, скажите?

— Она только и знаетъ, — продолжалъ возбужденно Кустаревъ. — Подъ самымъ историческимъ музеемъ, батюшка! Въ пеклѣ обрусѣнія!

Онъ разсмѣялся. Ему стало весело и молодо отъ близости этого „парижанина“, съ такимъ аппетитомъ жевавшего закуску.

— А мнѣ не везетъ, — принялся рассказывать Ермиловъ, когда дожевалъ. — Прихожу къ „татарамъ“ позавтракать... Спрашиваю устрицъ. Засуетились, заставили ждать... И не оказалось. Зато, смотрю, по стѣнѣ ползетъ тараканъ.

Онъ вытянулъ лицо, поднялъ глаза кверху и договорилъ въ заключение:

— Устрицъ — нѣтъ! Тараканъ — есть!

Всѣ расхохотались разомъ: и онъ, довольный своей шуткой, которую помѣстилъ въ первый разъ, тутъ же „создалъ“; и они, поддаваясь обаянію этого живого сангвиника и умнаго, тонко понимающаго человѣка, который сразу страхнулъ съ нихъ душевную пыль, на этомъ хуторѣ, въ домѣ „безъ дѣтей“, гдѣ ихъ подтачивало возрастающее чувство того, что дѣло жизни идетъ какъ будто подъ гору.

Ермиловъ, когда попадалъ къ своимъ московскимъ товарищамъ и вообще къ людямъ тамошнихъ кружковъ, испытывалъ совершенно особенное довольство. Онъ долженъ былъ сознаться, что ему, въ сущности, нигдѣ не бывало такъ ловко и хорошо, какъ съ ними — ни въ его миломъ Парижѣ, ни въ петербургскомъ свѣтѣ, ни на модныхъ водахъ и купаньяхъ. Тутъ только его цѣнили какъ надо, вполнѣ смаковали его образованіе, начитанность, остроту ума, темпераментъ, гуманность, лежавшую въ основѣ его натуры.

Но онъ не могъ подолгу любить Москву какъ городъ. Къ ней онъ охладѣлъ давно, и хотя не особенно восхищался Петербургомъ, все же считалъ его единственнымъ русскимъ горо-

домъ, гдѣ „можно жить“. Его прїѣзды въ Москву дѣлались все рѣже и рѣже.

Зато ощущеніе сердечности и умственного лада съ московскими прїятелями каждый разъ всплывало съ той же окраской. Ему все такъ же хорошо съ Кустаревымъ, какъ было и два года назадъ, и даже лучше; присутствіе его жены не даетъ уже ноты пытливо-чопорнаго разглядыванья, обращеннаго на его личность, сквозь ласковую заботу о немъ, какъ о гостѣ.

— Ха, ха, ха!— снова засмѣялся Кустаревъ и повторилъ, разставляя рѣдко слова:—устриць—нѣтъ, тараканъ—есть... Знаете, дружище, вѣдь вы глубокую метафору изволили построить, быть можетъ, и не подозревая того...

Они были на „вы“, хотя и учились вмѣстѣ въ гимназїи и потомъ въ университетѣ. Такъ пошло еще съ тѣхъ поръ, какъ ихъ раздѣляли два класса.

Ермиловъ покосился на Кустарева и спросилъ съ интонаціей, извѣстной его прїятелю:

— Въ какихъ смыслахъ?

— Да въ такихъ, батенька, что времена настали подлѣйшія. Таракана этого развелось видимо-невидимо, а устриць нѣтъ.

Ермиловъ понялъ намекъ. Маленькая женщина кинула боковой взглядъ на мужа. Она услышала такіе звуки въ его голосѣ, которые ее все больше тревожили. Начнутся разговоры о „тяжелыхъ временахъ“... Ея Мень—неисправимый мечтатель, все еще внутренне надѣется на какой-то „подъемъ духа“. Она давно рѣшила, что „кружокъ“ распадался, что всѣ постарѣли и дотягиваютъ до пенсіи. Но она не любила, чтобы онъ самъ начиналъ говорить объ этомъ.

— Не въ авантажѣ обрѣтаемся?—спросилъ Ермиловъ, намазывая себѣ тартинку.

— Не въ авантажѣ,—повторилъ Кустаревъ и пододвинулъ гостю тарелку съ сыромъ.—Отвѣдайте, Егоръ Петровичъ, какъ на вашъ вкусъ? это своего изготовленія... на манеръ невпательскаго.

Ермиловъ отрѣзалъ кусокъ, положилъ его на густой слой масла и сталъ медленно разжевывать, прищуривая глаза.

Сыръ былъ, дѣйствительно, „на манеръ“, и похвалить его Ермиловъ затруднился. Онъ сдержалъ гримасу: огорчить прїятеля ему не хотѣлось, да и воспитанность не позволяла.

— Сыръ—товд...—сказалъ онъ тономъ, какимъ обыкновенно дѣлалъ цитаты.

— Откуда это?—спросилъ Кустаревъ.

— Забыли?.. Изъ „Игроковъ“, Гоголя.

— Да, да!.. Точно... Сыръ—товд.

Разговоръ повернулъ опять въ ту же сторону. Слишкомъ долго накапливалось въ Кустаревѣ чувство невеселыхъ итоговъ за послѣдніе два-три года. Онъ рѣдко высказывался дома и съ пріятелями, какихъ видѣлъ въ городѣ: что-жъ перебирать вслухъ то, что каждый изъ нихъ знаетъ прекрасно про себя? Да и приходилось говорить слишкомъ горькія истины, жаловаться не на одно то, что „потянуло“ другимъ духомъ, а также и на вялость, если не на малодушіе близкихъ друзей, на отсутствіе стойкости и солидарности.

Ермиловъ явился свѣжимъ человѣкомъ. Съ нимъ можно многое перебрать заново.

Не горячася, безъ фразъ и восклицаній, своимъ нутрянымъ хриповатымъ голосомъ, съ паузами питья чая и закусыванья, Кустаревъ говорилъ больше о томъ, куда „все“ идетъ,—тѣмъ о собственной жизни.

— Вотъ Гаря огорчается частенько тѣмъ, что я, видите-ли, не у дѣлъ... Честолюбивы женщины, Богъ съ ними... А меня мой немудрый хуторокъ только и поддерживаетъ, душевно... Съ хлѣба на квасъ перебиваемся. Это ничего... Стрѣчи я, каждый день, передовицы въ газету, было бы не въ примѣръ доходнѣе; да мнѣ и разъ-то въ недѣлю въ городѣ жутко бываетъ... все тамъ молчу или односложными звуками отдѣлываюсь.

— А вы тоже въ хозяйство ударились?—спросилъ Ермиловъ, и въ его вопросѣ Маргарита Сергѣевна почуяла тайный вопросъ: какъ-то она борется съ своимъ материнскимъ горемъ—смертью двоихъ дѣтей, хорошенькихъ мальчиковъ, унесенныхъ дифтеритомъ года два передъ тѣмъ?

— Ну, насчетъ хуторскаго дѣла мы плохи,—отвѣтилъ за нее мужъ.—Вокругъ дома ничего... У нея все въ исправности... Особенно по части закусокъ и варений...

Она неопредѣленно усмѣхнулась.

— Мужа занимаетъ хуторъ,—сказала она и начала перемывать чашки.

— Да и здѣсь мы подъ сумнѣньемъ,—выговорилъ Кустаревъ и улыбнулся глазами изъ-подъ навислыхъ бровей.—Герой—Разуваевъ... Онъ царитъ и въ уѣздѣ... Я для него вредный человѣкъ, рабочихъ съ пути сбиваю, заработки поднялъ на цѣлую гривну серебромъ. Эхъ, Егоръ Петровичъ, посмотрю я на васъ—благу вы часть избрали: снимаете пѣнки со сливокъ Европы,

сегодня тутъ, завтра тамъ, смотрите на все, какъ древній эллинь-эпикуреецъ!

— Да какъ же иначе?—вырвалось у Ермилова.—И вамъ всѣмъ, господа, пора бы убѣдиться вотъ въ чемъ: слѣдуетъ въ наши дѣла, людямъ знанія и таланта, глядѣть на то, что у насъ дѣлается, какъ Ливингстонъ или Стэнли смотрѣли на бытъ африканцевъ: ѣди, наблюдай, пиши книги, обогащай науку, но души своей не отдавай на съѣденье.

— Ха, ха!.. Идея хороша... Только не всѣмъ дано вмѣстить ее... Не такую закуску получили мы...

„Ну, не особенно занимательно это будетъ,—подумалъ про себя Ермиловъ.—Пойдетъ теперь долгій разговоръ въ „гражданскомъ“ направленіи, родъ безконечной пѣсни „на рѣкахъ вавилонскихъ“, все съ тѣмъ же отсутствіемъ вывода и новизны“...

Горничная показала въ дверяхъ столовой. Хозяйка взглянула на нее вопросительно.

— Ихъ ямщикъ расчету просить, спрашиваетъ: обратно поѣдутъ, или здѣсь ночевать останутся?

— Ахъ, Боже мой!—вскричалъ гость и шумно поднялся.—Я совсѣмъ забылъ объ этомъ „милостивомъ государѣ“.

— Какъ обратно? Егоръ Петровичъ? Ночевать извольте оставаться!—крикнулъ Кустаревъ.

На ночевку рассчитывалъ и Ермиловъ. Но надо было заплатить ямщику. Онъ засуетился, и всѣ трое перешли въ залъцу.

III.

— Друзья мои!—Ермиловъ сидѣлъ на диванѣ между обими хозяевами—теперь я приступлю къ предмету моей миссіи, о которой писалъ Евменію Филипповичу. Это дѣло тонкаго свойства.

— Вы точно Добчинскій у Хлестакова,—перебилъ Кустаревъ. Жена его усмѣхнулась. Она уже сидѣла съ работой.

— Именно!.. Рѣчь идетъ о ребенкѣ, рожденномъ внѣ брака...

— Но совершенно такъ, какъ бы и въ бракѣ,—добавилъ Кустаревъ и громко разсмѣялся.

Его веселое возбужденіе все еще не проходило.

„Ахъ, этотъ Ермиловъ!—подумала Маргарита Сергѣевна и опустила голову надъ вышиваньемъ.—Не можетъ безъ скабрёзностей“.

— Такъ, какъ бы и въ бракѣ,—повторилъ Ермиловъ.

„Какъ это можно,—думала Кустарева,—въ водевильномъ тонѣ говорить о такихъ вещахъ!“

Она уже начала догадываться. Что-то такое она слыхала про связь Ермилова съ одной свѣтской женщиной-вдовой. Но когда и гдѣ—она не могла припомнить. Вѣроятно, и Меня знаетъ это. А можетъ быть и совсѣмъ забылъ; у мужчинъ на такіа дѣла память короткая, для нихъ связь съ порядочной женщиной, ребенокъ—все это пустяки, раздѣлывайся за нихъ мать, какъ хочеть, а они будутъ порхать около другого цвѣтка.

Маргарита Сергѣевна не сдержала брезгливаго движенія своихъ блѣдныхъ и характерно вырѣзанныхъ губъ.

— Слушаемъ васъ, дружище, слушаемъ.

— Я принимаю участіе,—началъ Ермиловъ, сохраняя смѣсь серьезности съ шутивымъ звукомъ голоса—въ судьбѣ одного ребенка, дѣвочки. Мнѣ поручено теперь перемѣстить ее поближе къ Петербургу. Она временно у одного доктора, моего пріятеля въ провинціи.

Онъ назвалъ губернской городъ, верстъ за триста отъ Москвы.

Кустарева отняла голову отъ штыя и даже слегка покраснѣла.

Они обмѣнялись значительнымъ взглядомъ съ мужемъ.

— Вотъ оно что!—выговорилъ Кустаревъ и закурилъ новую папиросу.

Во взглядахъ мужа и жены было сочувственное любопытство и еще что-то. Они знали, что Ермиловъ весь свой вѣкъ увлекался женщинами и, кажется, не разъ попадалъ въ разныя, не совсѣмъ пріятныя исторіи. Но его отличительной чертой была джентльменская скромность, даже съ мужчинами въ пріятельской бесѣдѣ. Никогда онъ не хвасталъ своими побѣдами, никогда не называлъ никакой женщины по имени. Очень рѣдко, если исторія была уже старая, и онъ въ ней игралъ роль неудачника, онъ рассказывалъ ее пріятелямъ, да и то въ общихъ чертахъ и никого не называя.

Маргарита Сергѣевна прощала ему многое изъ-за этого свойства, очень рѣдкаго у мужчинъ, какъ выходило по ея наблюденіямъ.

— И вотъ, друзья мои,—продолжалъ уже искреннѣе и проще Ермиловъ,—я остановился на васъ.

— На насъ?—выстѣ спросили Кустаревы. Изъ рукъ Маргариты Сергѣевны выпиванье упало на колѣни.

— Да, на васъ. Лучшаго выбора я, согласитесь, сдѣлать не могъ, и мать ребенка будетъ вполне счастлива...

— Позвольте,—перебила Кустарева, быстро встала и заходила по комнатѣ, останавливаясь передъ диваномъ:—мать ребенка... не свободна, значить?

Даже такая деликатная женщина, какъ она, не нашла неловкимъ сдѣлать этотъ вопросъ. Женская натура, въ такихъ дѣлахъ, слишкомъ подчинена особаго рода нервности.

— Она не свободна,—выговорилъ Ермиловъ медленно и посмотрѣлъ на нихъ поверхъ своего черепахового рince-peз.

— Замужемъ?—спросила Маргарита Сергѣевна.

— Гаречка!.. Да не все ли это равно?—перебилъ мужъ почти съ упрекомъ въ голосъ.

— Совсѣмъ не все равно!—съ живостью возразила Кустарева.—Егоръ Петровичъ дѣлаетъ намъ серьезное, очень серьезное предложеніе. Если мы согласны, надо же намъ знать, съ кѣмъ мы будемъ имѣть дѣло, и для ребенка, и для насъ самихъ?

— Конечно!..

Ермиловъ сдѣлалъ успокоительный жестъ своей бѣлой и широкой ладонью.

— Mais... какъ говорится въ одной веселой пьесѣ, *prepon la chose spirituellement*...

— Вамъ все игрушки, Егоръ Петровичъ, а это страшная отвѣтственность.

Маленькая женщина приходила все въ большую нервность: щеки ея уже горѣли, воспаленные глазки заблестали и быстро мѣняли направленіе взгляда.

— Гара!—остановилъ ее мужъ.—Что жъ тутъ такого ужаснаго?.. Ну, положимъ, мать не свободна... Она скрываетъ существованіе этого ребенка...

— До поры, до времени,—добавилъ Ермиловъ и откинулся на спинку дивана.

— Стало быть, надо поддержать у себя ребенка годъ, много два. Который ей годъ?

— Около двухъ лѣтъ...

— Видишь?!—замѣтила Кустарева мужу:—это уже начало сознательной жизни.

— Ахъ, матушка!—Кустаревъ тоже всталъ и заходилъ:—оставимъ мы эту педагогику!.. Мнѣ дѣло представляется гораздо проще: кормить мы ребенка будемъ не плохо, возьмемъ толковую няньку. На хуторѣ дѣвочка у насъ раздобѣть. А главная статья та—намъ съ ней будетъ веселѣе... Ты тоскуешь.

— Почему же?—слабо защищалась Маргарита Сергѣевна.

— Что-жъ скрытничать передъ благопріятелемъ! Понятно, тоскуешь.

— *La maison sans enfants!*—громко произнесъ Ермиловъ.— Онъ очень встати вставилъ заглавіе, пришедшее ему на память въ тряскомъ тарантасѣ.

— Да, домъ безъ дѣтей,—повторилъ Кустаревъ и смолкъ.

— Прекрасно, прекрасно,—скороговоркой начала Маргарита Сергѣевна:—возьмешь дѣвочку, привяжешься къ ней, вдругъ явится мать и увезетъ...

— Это можетъ быть,—сказалъ совсѣмъ серьезно Ермиловъ.

— Что-жъ изъ этого?..—сказалъ Кустаревъ.—Съ тѣмъ ее и отдають... Такъ и мы на нее станемъ смотрѣть... А нельзя матери будетъ взять къ себѣ, тѣмъ лучше. Воспитаемъ, даже коли и свои еще пойдутъ, усыновимъ... Ахъ, Гаречка, Гаречка!.. Резонеръ ты у меня неизлечимый!..

Онъ взялъ жену за худенькую талію, повернулъ ее, привлекая къ себѣ и поцѣловалъ.

Маленькая женщина внезапно просіяла, подбѣжала къ Ермилову, взяла его за руку и начала трясти.

— Ну, если такъ,—спасибо, другъ, что вы къ намъ обратились... У насъ и дѣтская есть,—она подавила нахлынувшія слезы,—и все... Спасибо!

— Слава тебѣ, Господи! — крикнулъ Кустаревъ: — выпить что-ли на радостяхъ... или кантату пропѣть... Гара! Садись за пьанино!

Въ углу зальцы притаилось незамѣтное, въ полутемнотѣ, низенькое пьанино.

Кустарева пошла къ нему легкой походкой, какую она имѣла въ рѣдкіе дни молодой радости и надежды на то, что ихъ жизнь еще будетъ согрѣта дѣтской лаской.

— Позвольте!—остановилъ Ермиловъ пріятеля за бортъ его рубашки.—Вѣдь тутъ есть и финансовая сторона дѣла.

— Чтò еще?

— Безъ этого... ни мать, ни я... не можемъ...

— Да какіе же счеты!.. Въ нашей-то деревенской жизни, ну чтò можетъ стоять ребенокъ?

— Совершенно опредѣленную сумму: нянька, платье, бѣлье, лекарство, игрушки, непредвидѣнные расходы.

— И еще чтò? Ха, ха, ха!

Но Кустаревъ зналъ Ермилова по части денежныхъ расчетовъ.

„Онъ не уступитъ. Придется назначить цѣну“.

— Ну, ладно, только нельзя ли завтра утромъ объ этомъ переговорить... А теперь кахетинскаго выпьемъ, на сонъ грядущій, и отпразднуемъ это событіе... по-студенчески!..

Ермиловъ всталъ и крѣпко пожалъ руку хозяина.

— Маргарита Сергѣевна!—крикнулъ онъ.—Я вамъ привезъ изъ Парижа ноты пѣсенки „En revenant de la revue“, буланжистская! Вездѣ поютъ до оскомины...

— Вы нешто вѣрите въ этого честолюбца? — остановилъ его Кустаревъ на пути къ кабинету, гдѣ лежалъ его мѣшокъ.

— По моему, онъ тупица и комическій персонажъ!.. Въ родѣ французскаго „момента“.

— И я такъ думаю! А пѣсню давайте.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ трое были за пьянино, гдѣ горѣли два огарка. Кустарева разбирала голосъ и аккомпаниментъ съ суховатымъ, но пріятнымъ туше; мужъ ея помурлыкивалъ, перепутывая ноты. Ермиловъ покрывалъ ихъ обоихъ, выговаривая слова съ умышленною картавостью и дѣлая жесты пѣвца Paulus, прославившаго пѣсенку.

— *Gais et contents!*—распѣвалъ Ермиловъ, покачиваясь всѣмъ своимъ широкимъ туловищемъ.—Сильнѣй, Маргарита Сергѣевна, сильнѣй,—другой темпъ, это *refrain!*..

— Дѣйствуй, Гара, дѣйствуй! Слушайся его! Онъ пропоетъ по кафе-шантанному!

— *Gais et contents!*—разливался Ермиловъ и даже не фальшивилъ, хотя музыки не зналъ, чѣмъ и огорчался иногда, называя это „пробѣломъ“ въ своемъ барскомъ воспитаніи.

Послѣ перваго чтенія—второй куплетъ пошелъ какъ по маслу.

— *Gais et contents!*—выговаривалъ и Кустаревъ, и трепалъ пріятеля по широкимъ плечамъ.

И дѣйствительно оба они, и мужъ и жена, были „веселы и довольны“; оба мечтали теперь, какъ на ихъ хуторѣхъ опять раздастся дѣтскій лепетъ, и дѣвочка — навѣрно хорошенькая, какъ всѣ почти дѣти любви — будетъ бѣгать по этимъ комнатамъ, смѣяться, ломать игрушки, болтать всякій малопонятный вздоръ...

— Выпить надо! — крикнулъ Кустаревъ, и сталъ разливать кахетинское.

Они перешли въ столовую, гдѣ стояла уже новая закуска и просидѣли до поздняго часа.

Оба почувствовали себя студентами, и маленькая женщина вторила имъ, глазки ея искрились; она то-и-дѣло, подливала имъ и радовалась всему: и молодой бесѣдѣ, и близкой минутѣ появленія у нихъ ребенка... хоть и чужого.

Товарищи перебирали годы, близкіе въ выходу изъ университета. Ермаловъ просидѣлъ, по лѣтн, два года на одномъ курсѣ, и Кустаревъ почти нагналъ его. Онъ участвовалъ и въ выходной пирушкѣ того курса, съ которымъ кончилъ Ермаловъ. Парижанинъ и сластолюбецъ исчезъ, за этимъ столомъ, въ гостѣ Кустаревыхъ. Съ дѣтскою возбужденностью перебиралъ онъ разные эпизоды пирушки въ Сокольникахъ, около шестой проськи, на травѣ. И тогда пили кахетинское, подешевле и покислѣе. Вспомнили они, какъ одинъ изъ новыхъ кандидатовъ, перешедшій изъ Казани, заставлялъ ихъ пѣть мѣстный куплетъ о какомъ-то студентѣ Новокщеновѣ, и всѣ они—ужъ совсѣмъ „готовые“—кричали хоромъ:

Новокщеновъ, Павелъ,
Жженку заварилъ,
Тѣмъ себя прославилъ,
Удовлетворилъ...

...Черезъ часъ на кушеткѣ кабинета Ермаловъ засыпалъ съ пылающими щеками... Сквозь стѣнку до него доходилъ шопотъ разговора Кустаревыхъ, быстрый и согласный.

IV.

— Тараканъ есть! — повторялъ Ермаловъ, черезъ два дня, осматривая близорукими глазами обои нумера, отведеннаго ему въ почтовой гостинницѣ губернскаго города.

Онъ переодѣвался съ дороги и, ходя по просторной, неопратно угрюмой комнатѣ, думалъ о томъ, какъ вся комбинація съ Лилей, съ дѣвочкой, за которой онъ пріѣхалъ сюда, хорошо уладилась.

Имя „Лилиа“ не особенно трогало его. Въ немъ не пробудился еще родительскій инстинктъ. Не то чтобы онъ бездушно смотрѣлъ на судьбу ребенка,—нѣтъ. Ему было даже непріятно, что мать не позволила ему матеріально заботиться о дѣвчкѣ, на чемъ онъ довольно долго и сильно настаивалъ... У матери есть свое состояніе... Она, въ самомъ дѣлѣ, богаче его: онъ живетъ не на ренту, а на заработокъ... Но все-таки ему это было непріятно.

Связь, въ видѣ этого ребенка, затянулась не къ особенной его радости; а между тѣмъ любви уже не было... Больше года прошло, какъ мать Лили снова замужемъ, и вышла она по страсти, что не очень лестно для него,—вышла вдовой слишкомъ тридцати

лѣтъ за молодого „адвокатика“ съ наружностью и головой артельщика. Она скрываетъ отъ него ребенка въ надеждѣ сдѣлать признаніе въ удобный моментъ, и тогда—взять дочь къ себѣ и узаконить. Въ первые мѣсяцы дѣвочку держали у акушерки въ Москвѣ; потомъ Ермиловъ предложилъ отвезти ее къ доктору Невзорову, своему пріятелю, на большее приволье провинціи. Но онъ дѣлалъ все это какъ ея довѣренное лицо. Она знала, что онъ не злоупотребитъ ея довѣріемъ, не украдетъ у нея дочери, не скроетъ ее.

Ни на чтѣ подобное онъ неспособенъ; да и охоты у него нѣтъ.

Дѣвочка воспитается у хорошихъ людей, а потомъ перейдетъ къ родной матери. Можно было бы сдѣлать это и теперь; да матери мѣшаетъ ея сентиментальность. Она, видите ли, преклоняется передъ своимъ вторымъ супругомъ, „обсахариваетъ его“, —брезгливо досказалъ про себя Ермиловъ, —хочетъ еще порисоваться передъ нимъ, увѣряетъ, поди, что онъ одинъ вызвалъ въ ней „истинное чувство“.

— Всѣ на одну стать!—подумалъ Егоръ Петровичъ, и отъ напѣванья чего-то перешелъ къ посвистыванью.

Но онъ не могъ язвить женщинъ подолгу. Онъ дѣлалъ это иногда,—изъ одной потребности обобщать и находить остроумныя опредѣленія. Женщина, какова бы она ни была, только не уродъ,—обезоруживала его. Гораздо лучше было бы совсѣмъ не думать объ этой, уже выдохшейся и фактически не существующей связи. И въ ту зиму, когда они сошлись, съ его стороны не было особеннаго увлеченія. Онъ не охотникъ до такихъ большихъ лирически-слащавыхъ въ любви женщинъ, у которыхъ нѣтъ настоящаго темперамента, а только подобіе его. А потомъ начинаются допросы, сомнѣнья, да охи, да ахи...

Хорошо еще, что подвернулся „адвокатикъ“, въ-время разувзавшій, что у вдовы хорошее состояніе.

Строгого же вопроса: почему онъ самъ не женился на ней, когда она готовилась быть матерью, Ермиловъ не задавалъ себѣ. Настаивай она—онъ, быть можетъ, и женился бы. Но тогда вдова дорожила своей свободой и держалась очень даже смѣлыхъ взглядовъ на любовь и супружескій долгъ. Онъ зналъ, что у нея и при первомъ мужѣ были интриги,—разумѣется, зналъ не отъ нея самой,—а къ „адвокатику“ она „воспылала“. Ей тридцатьшесть, ему на девять лѣтъ меньше; страсть женщины въ извѣстномъ періодѣ.

Все это не мѣшало Егору Петровичу оставаться съ ней въ

милыхъ, товарищескихъ отношеніяхъ. Черезъ него происходили помѣщенія дѣвочки у „хорошихъ людей“; онъ возилъ мать въ дочери сюда, въ городъ; онъ же поможетъ ей теперь видаться съ своимъ ребенкомъ чаще, ѣздить въ Москву подѣ тѣмъ или другимъ предлогомъ изъ Петербурга, гдѣ ея мужъ основался...

Корридорный отворилъ дверь и доложилъ Ермилову, что извозчикъ готовъ.

На дворѣ стоялъ октябрьскій, сухой и ясный день, съ легкимъ морозцемъ,—но снѣгу еще не было.

Ермиловъ вышелъ на крыльцо гостиницы съ навѣсомъ. Передъ нимъ тянулся городской садъ, съ запущеннымъ прудомъ; еще желтѣли остатки листьевъ. Въ воздухѣ пахло осенью, овощами, яблоками...

Извозчикъ въ коричневомъ кафтанѣ, съ толстымъ наваченнымъ сидѣньемъ, подѣхалъ на широкихъ пролеткахъ съ красной обивкой. Лошадь, толстозадая и грудастая, выкидывала красиво ноги.

— Доктора Невзорова знаешь домъ?

— Никифора Иваныча?.. Помилуйте.

Извозчикъ повелъ на особый ладъ головой въ картузѣ, слѣва вправо, и перебралъ голубыми новыми возжами. Пролетка затрещала по булыжникамъ неровной мостовой.

Не впервые ѣхалъ Ермиловъ по этой самой дорогѣ отъ гостиницы, вдоль пруда, по Дворянской улицѣ, мимо гимназіи, все немного въ гору, по улицѣ, гдѣ стояли уѣздное училище и архіерейскій домъ, въ глубинѣ обширнаго сада, за длиннымъ деревяннымъ заборомъ съ облѣзлой бурой окраской.

Ничего новаго не могъ онъ отмѣтить на этотъ разъ: все встало на своихъ мѣстахъ: дома съ мезонинами, дома безъ мезониновъ, три-четыре выѣски, керосиновые фонари съ обрывками афишъ, троттуары изъ кирпичей съ горбылями, лавочка на углу, съ кусками арбуза на лоткѣ и лукошкомъ съ лиловой и желтой рѣпой. Имъ не попалось ни одного экипажа. По срединѣ улицы, гдѣ архіерейскій домъ, мужикъ-угольщикъ, весь черный, въ шапкѣ грешникомъ, кричалъ глухо и музыкально:

— Угдлья, угдлья, угдлья!

...И вотъ, этотъ умный, и даже тонко умный и развитой Невзоровъ мирится съ жизнью въ такой „дырѣ“,—даже въ Москву его не вытянешь. Въ пять лѣтъ пріѣзжалъ всего разъ, да и то потому, что не понадѣялся на собственную діагнозу, захотѣлъ взять консультацію одного тамошняго спеціалиста, когда у него

показались признаки какой-то сложной болѣзни кровеносныхъ сосудовъ. Съ тѣхъ поръ онъ больше и не жалуется на нее.

...И во что живетъ Невзоровъ?—спрашивалъ себя Егоръ Петровичъ, покачиваясь на пролеткѣ. —Въ деньги?.. Онъ не жаденъ. Любитъ недорогой комфортъ, построилъ себѣ домикъ, на половину въ кредитъ, и теперь зарабатываетъ его... Въ науку? У него были стремленія къ профессурѣ, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ старшій врачъ въ городской больницѣ и первый практикантъ въ городѣ, ему нечего о ней думать, а въ медицинѣ, къ терапіи, онъ всегда относился скептически... Въ тщеславіе, въ играніе роли? Характеръ у него для этого совсѣмъ неподходящій, онъ не честолюбивъ, тяготится обществомъ дамъ и свѣтскихъ людей. Поѣсть любить, это вѣрно, даже катарръ развелъ въ себѣ, по вечерамъ немного почитаетъ—листокъ газеты, номеръ медицинскаго журнала, да и на боковую...

„Провинція засосетъ и его“,—сказалъ про себя Ермиловъ, и тутъ только подумалъ о томъ, какъ сложилась семейная жизнь доктора: дѣтей у него нѣтъ, жена умная женщина изъ самоучекъ, съ ней онъ живетъ хорошо, но жизнь эта—строгая, молчаливая, съ очень рѣдкими проблесками задушевности. До сихъ поръ Ермиловъ не зналъ за нимъ никакой охоты до женщинъ, внѣ дома.

Онъ вспомнилъ, когда пролетка повернула въ боковую, на половину немощеную улицу, какъ обрадовались Невзоровъ съ женой дѣвочкѣ, хотя она была еще грудная; стало, въ домѣ чувствовался пробѣлъ, какъ и у Кустаревыхъ. И онъ, и она, принялись отыскивать кормилицу, перепробовали съ дюжину, и отдали подъ дѣтскую—прекрасную, свѣтлую комнату, придумывали разныя гигиеническія приспособленія.

Это воспоминаніе проскользнуло въ головѣ Ермилова, но не смутило его. Онъ только подумалъ:

„Какъ ни придирайся къ любезному отечеству, а добрыхъ людей водится во всѣхъ губерніяхъ“...

Извозчикъ остановилъ свою сѣрую въ яблокахъ лошадь около калитки заборчика въ русскомъ веусѣ.

— Вонъ, и Никифоръ Ивановичъ сами идутъ,—указалъ онъ рукой.

— Никифоръ Ивановичъ!

Ермиловъ устремился черезъ калитку по доскамъ и передъ высокимъ крыльцомъ сѣраго двухъ-этажнаго дома обнялъ доктора.

Невзоровъ былъ почти на цѣлую голову выше его. Сильно сѣдѣющая длинная борода, вьющіеся бѣлокурые волосы изъ-подъ мягкой шляпы, лицо—умнаго старосты или сельскаго священника.

обдали его опять чѣмъ-то серьезнымъ и самобытнымъ, передъ чѣмъ онъ всегда чувствовалъ особаго рода почтенье.

— Здорово, Егоръ Петровичъ, — вотъ это ловко!

У доктора были свои слова и онъ говорилъ маленькими фразами, низкимъ голосомъ.

Они обнялись тутъ же.

— Вы на практику? Идите.

— Подождуть... Посижу.

Онъ взбѣжалъ на четыре ступени крыльца безъ навѣса и сильно позвонилъ.

Домъ, съ своей окраской и узорчатыми обшивками оконъ, просторный дворъ, палисадникъ, чистыя службы, чудесный бѣлый пѣсь-овчарка, который узналъ Ермилова и ласкался къ нему, дышали правильною и здоровою жизнью. Отецъ Лили чувствовалъ, какъ дѣвочкѣ тутъ хорошо.

Отворила дверь Оня, дѣвушка, взятая изъ деревни по сочувствію къ ея хворости, въ опрятномъ сарафанѣ, старательно причесанная, съ художавымъ, пріятнымъ лицомъ.

— Ахъ, баринъ! — тихо вскрикнула она при видѣ гостя и покраснѣла.

— А Лили? Здорова? — спросилъ Ермиловъ вполголоса, пока дѣвушка силилась стащить съ него пестрое лондонское пальто.

— Зубки дѣлала, — отвѣтилъ Невзоровъ. — Куксила... Теперь молодцомъ.

Въ передней было свѣтло и пахло прохладнымъ запахомъ мяты. Стѣны съ веселыми сбоими, отдѣлка обширнаго кабинета съ дубовою мебелью, прямо широкая лѣстница наверхъ — показывали, съ какой заботой о гигиенѣ и умномъ удобствѣ строилъ докторъ свой домикъ, гдѣ внизу онъ принималъ, а наверху были жилыя комнаты, такія же просторныя, чистыя и удобно расположенныя.

— Она наверху? — спрашивалъ гость вполголоса, испытывая неожиданное волненіе.

Они поднимались по лѣстницѣ.

— Барышня въ дѣтской, — доложила горничная. — А Павла Петровна чай кушаютъ, въ столовой.

Прислуга догадывалась — чья дочь Лили. Знали это и Невзоровы, но никогда не дѣлали никакихъ намековъ самому Ермилову. О дѣвочкѣ говорилось какъ о дочери какой-то барыни, поручившей Егору Петровичу позаботиться о ея судьбѣ. Такъ было удобно и для нихъ, и для Ермилова.

Волнение его не унялось наверху, на площадке, откуда одна дверь вела въ столовую, другая въ дѣтскую.

— Лили, а Лили!—протяжно окликнулъ Невзоровъ еще съ площадки.—Гляди, кто пришелъ! Узнай-ка!

Они оба разомъ вошли въ дѣтскую, продолговатую, въ три окна. Крашеный полъ былъ навощенъ и лоснился отъ свѣта, смитченнаго опущенными кисейными занавѣсками. Мебели было умышленно мало, и она стояла вдоль стѣнъ. Кроватка, металлическая, заграничная, изъ сѣтки, ютилась въ правомъ углу.

По срединѣ комнаты, на коврикѣ, сидѣла дѣвочка, и надъ ней, на скамеечкѣ—кормилица, еще сохранившая свой нарядъ.

Дѣвочка первая вскинула на вошедшаго гостя своими длинными рѣсницами. Глаза она наслѣдовала отъ матери; Ермиловъ узнавалъ это сильнѣе прежняго,—круглые, съ широкимъ вырѣзомъ, синеватые, степенные и пристальные, очень красивые. Эти глаза и вызвали когда-то усиленное ухаживанье Ермилова за ея матерью. Пепельные волосики лежали на лбу густой, подстриженной челкой и дѣлали ее похожей на мальчика. Тонкость линіи носа, овалъ лица, манера складывать губки, обличали барское дитя. Отцу показалось, когда онъ нагнулся къ дѣвочкѣ, что ноздри у нея его, а также и очертаніе черепа у висковъ.

Это ударило его въ краску.

Про себя онъ успѣлъ выговорить по-французски: — „Serais je un père de famille manqué?“

— Лили!.. Дядю узнала, небось?—спросилъ Невзоровъ, наклоня къ ней свое длинное туловище.

— Здоровы ли, батюшка?—выговорила на „онъ“ кормилка, немного рябоватая и кроткая баба.

По лицу ея прошла чуть уловимая усмѣшка, говорившая: „и я тоже смеаю, кто Лиличка“.

— Говорить?—спросилъ Ермиловъ.

— Все говорить.

— И какъ еще!..—подхватилъ возбужденно Невзоровъ.—По цѣлымъ днямъ разливается, только при чужихъ мы дики.

Слово „чужой“, сорвавшееся у него съ губъ, задѣло Ермилова больнѣе, чѣмъ онъ самъ ожидалъ.

Дѣвочка почти сурово оглядывала его и молчала. Она его не узнавала, и онъ ей не понравился; это поняли и кормилица, и Невзоровъ.

— Какъ меня зовутъ?—спросилъ Ермиловъ и почувствовалъ, что вопросъ его прозвучалъ глупо.

— Дядя!—подсказала кормилка.

— Дядя!—повторилъ Невзоровъ. — Дики мы... на первыхъ порахъ!.. Дайте срокъ, за обѣдомъ какъ подружитесь.

„Онъ утѣшаетъ меня“,—подумалъ Ермиловъ, овладѣвъ собою, взявъ дѣвочку на руки, расцѣловалъ, потомъ пощекоталъ ее полъ пухленькимъ подбородкомъ и понесъ на рукахъ въ столовую.

Павла Петровна выбѣжала къ дверямъ, въ блузѣ, довольно нарядной, и крикнула:

— Егоръ Петровичъ! Вотъ сюрпризъ!

Она его немного стѣснялась, какъ „аристократа“ и „франта“, хотя Ермиловъ бывалъ съ ней ласково вѣжливо, съ такимъ же оттѣнкомъ почтенія, какъ и къ ея мужу. Она похудѣла, зубы потемнѣли отъ куренья, лицо сохранило остатки красоты блондинки—подъ-сорокъ.

Усадили его за чайный столъ, и начались угощеніе, разспросы—сдержанные, но искренніе; улыбка заиграла на лицахъ мужа и жены: и къ нимъ этотъ „парижанинъ“ привозилъ воздухъ Европы, шутку, блескъ, начитанность, неистощимую легкость жизни и милыхъ слабостей.

Покушать они оба любили — и на столѣ сейчасъ же появилась разнообразная ѣда, начиная съ свѣжей икры, на которую Ермиловъ напалъ съ особенной охотой.

Сценарій его визита выходилъ повтореніемъ того, что было на хуторѣ, у Кустаревыхъ: сначала веселая бесѣда за чаемъ, а потомъ выполненіе „миссіи“ въ гостиной. За чаемъ Егоръ Петровичъ сталъ разливаться въ разсказахъ и островахъ, и не очень огорчился тѣмъ, что Лилия сползла съ его колѣнъ и убѣжала въ дѣтскую. Узналъ онъ и про то: какъ она лѣтомъ болѣла коклюшемъ; была рѣчь о томъ, что Невзоровъ пристрастился къ стуколкѣ и ѣздилъ каждый вечеръ въ клубъ по маленькой; далъ онъ и обстоятельныя свѣденія Павлѣ Петровнѣ о томъ, гдѣ покупалъ свои фуляровые платки, когда она его объ этомъ спросила.

Будь онъ менѣе оживленъ болтовней съ этой четой „хорошихъ“ людей, онъ бы навѣрно замѣтилъ, какимъ тономъ говорить про его Лилию Невзоровы... Такой тонъ складывается только у отца съ матерью. Дѣвочка была ихъ „чадомъ“; съ нею они надѣялись скоротать свой вѣкъ.

Но Егоръ Петровичъ пропустилъ это мимо ушей и сидѣлъ безъ ринсе-пез: выраженіе ихъ лицъ также ускользало отъ него.

Въ гостиной—или лучше въ кабинетѣ Павлы Петровны, такой же свѣтлой и опрятной, какъ и всѣ остальные комнаты,

Ермиловъ сѣлъ на диванъ и точно такимъ голосомъ, какъ у Кустаревыхъ, началъ:

— А теперь, друзья мои, позвольте вамъ сообщить про мою миссію...

Когда онъ сказалъ, что пріѣхалъ за Лилей, Невзоровъ вско-
чилъ и весь выпрямился, а потомъ схватился за бороду. Павла
Петровна позеленѣла, глаза замигали, и она неудержимо заплакала.

Вышла тяжелая пауза. Ермиловъ протиралъ ринсе-пез и
опустя голову сидѣлъ, подавленный и изумленный.

— Егоръ Петровичъ... Это — тово!.. Ударъ!.. — выговорилъ
первый Невзоровъ, и въ углахъ его круглаго рта стало поддер-
гивать.

Онъ самъ еле-еле сдерживалъ слезы.

— Вы не сдѣлаете этого!.. Не сдѣлаете!.. — залепетала Павла
Петровна — и въ сильномъ волненіи выбѣжала изъ комнаты.

Черезъ минуту въ дѣтской раздались чуть не вопли. Плакала
барыня, ревѣла кормилица, всхлипывала горничная, и всѣ три жен-
щины окружили Лилю, сидѣвшую на диванчикѣ, цѣловали ей руки,
голову, ноги и жались къ ней, какъ три испуганныхъ насѣдки.

„Вотъ оно что!“ — вскричалъ мысленно Ермиловъ и всталъ.

— Никифоръ Ивановичъ... Я не ожидалъ! А вижу — это
большое горе.

— Еще бы!

Больше докторъ ничего не сказалъ.

„Ну, пускай мать сама расклебываетъ это, а я не могу и
не хочу отнимать у нихъ ребенка“, — подумалъ онъ про себя.

— Павла Петровна! Павла Петровна! — крикнулъ онъ и по-
бѣжалъ въ дѣтскую успокаивать женщинъ.

Оттуда все еще раздавались рыданья и всхлипыванья... Док-
торъ двинулся вслѣдъ за Ермиловымъ и на ходу успѣлъ повторить:

— Ну, вотъ славно!.. Ну, вотъ славно!

V.

По узенькой лѣстницѣ, спускавшейся съ потолка, точно въ
трапъ, всходилъ съ трудомъ Ермиловъ, раннимъ вечеромъ того
же дня.

Онъ вспомнилъ, у себя въ гостинницѣ, что тутъ въ городѣ —
родственникъ Кустарева, по матери, Семенъ Александровичъ Бах-
туринъ, холостякъ лѣтъ подъ-восемьдесятъ, изъ пострадавшихъ
въ двадцать-пятомъ году. Послѣ „неудачной миссіи“ въ домѣ

доктора Ермиловъ захотѣлъ разсѣяться немного бесѣдой со старикомъ, „весьма занятнымъ“, по опредѣленію Кустарева, который просилъ навѣстить его.

Ермилову свѣтилъ кто-то сверху, изъ мезонина, куда надо было проникать съ темной площадки заднихъ сѣней деревяннаго домика, стоявшаго почти на выѣздѣ, около какой-то „Звѣдиной Дамбы“.

— Осторожнѣе, осторожнѣе! головой какъ бы не стукнуться.

Голосъ хозяина доносился книзу—высокій и мягкій, совсѣмъ еще не старческій. Наверху, когда Ермиловъ ступилъ лѣвой ногой на полъ первой комнаты мезонина, передъ нимъ стоялъ человекъ небольшого роста, въ шолововомъ халатикѣ, съ свѣжимъ, круглымъ лицомъ, сѣдой какъ лунь, хорошо выбритый, и съ ожерельемъ сѣдыхъ волосъ подъ подбородкомъ.

Бахтуринъ былъ предупрежденъ о его визитѣ и прислалъ ему сказать, что онъ проситъ къ себѣ, на чашку чаю—къ семи часамъ... Послѣ обѣда онъ спалъ.

— Добро пожаловать!.. А вотъ мы сейчасъ и запремъ за-падню, чтобы снизу намъ не мѣшали съ самоваромъ.

Старикъ поставилъ свѣчу на стулѣ, и когда Ермиловъ посторонился, ловко и быстро спустилъ на отверстіе лѣстницы довольно большую квадратную крышку изъ нѣсколькихъ досокъ—какія въ старинныхъ домахъ употребляли для погребцовъ.

Ермиловъ оглянулъ комнатку. Въ ней вездѣ лежали цѣлые тюки книгъ, стояли два-три старыхъ кресла Николаевскихъ фасоновъ; въ углу блестѣла своей позолотой огромная расписная чашка крестьянской работы, съ анисовыми яблоками, наполнявшими весь мезонинъ пріятной прохладой.

— Милости прошу! Въ мою келью!

Старичокъ ввелъ его въ свой кабинетъ, служившій ему и спальней, — низкій и помѣстительный, въ два окна на улицу, въ одной половинѣ заставленный шкапомъ съ книгами и письменнымъ столомъ. Правый уголъ занимала узкая, вся бѣлая кровать и умывальный столикъ. По свободнымъ стѣнамъ, на пестрой изразцовой печкѣ, въ нишѣ, въ простѣнкахъ оконъ висѣли портреты, гравюры, статуэтки и нѣсколько образовъ безъ ризъ новой иконописной работы съ золотымъ фономъ.

И въ этой комнатѣ пахло яблоками. Она мягко освѣщалась низенькой лампой съ зеленымъ стекляннымъ колпакомъ.

— Вотъ сюда!.. Въ креслице!.. Прощу покорно.

Давно Ермиловъ не слыхалъ этого стариковскаго учтиваго тона. Онъ чрезвычайно цѣнилъ вѣжливость и ставилъ ее среди высшихъ добродѣтелей. Съ мало-знакомыми онъ самъ старался

держаться того же отъѣнка въ обхожденіи, за что многіе и называли его „баричемъ“, или „аристократомъ“, или „хлыщемъ“, смотря по тому—кто отдѣлывалъ его за глаза.

— Душевно радъ... Много наслышанъ и отъ Евменія, и вообще...

Бахтуринъ короткими шагами обогнулъ письменный столъ и прежде чѣмъ сѣсть въ соломенное кресло—нагнулся къ Ермилову и тихо, почти шопотомъ спросилъ:

— Имя, отчество?.. На карточкѣ—безъ очковъ не разобралъ.

— Егоръ Петровичъ.

— Не угодно ли курить, Егоръ Петровичъ? Самъ—изъ раскольниковъ.

— И я также, Семенъ Александровичъ.

— Вотъ это похвально—и рѣдкое исключеніе въ наше время.

Ничего смѣшного и старчески чуднаго не замѣтно было въ разговорѣ и манерахъ этого остатка исторической эпохи. Кустаревъ говорилъ ему не разъ про дядю своей матери, его умственную свѣжесть, начитанность, про то, что онъ двадцать лѣтъ пишетъ сочиненіе по философіи исторіи, или что-то въ этомъ родѣ, которое никому не читаетъ; что онъ собиратель рукописей, гравюръ, книгъ изъ первой четверти вѣка, и старинныхъ, и дорогихъ новыхъ, переплетовъ... И самъ онъ, когда руки еще не ослабли, занимался переплетнымъ дѣломъ и многимъ дарилъ свои издѣлія.

Эта спеціальная охота старика заставила Ермилова отыскать его съ особеннымъ любопытствомъ: онъ самъ, съ нѣкоторыхъ лѣтъ, увлекался модой на художественные переплеты, въ старыхъ стиляхъ, и уже завелъ себѣ весь аппаратъ переплетнаго мастерства, собрался—когда удосужится—брать уроки у одного швейцарца, въ Моховой, перваго „gainier“, извѣстнаго въ кружкахъ охотниковъ до этого новѣйшаго спорта.

Съ коллекцій старика и повелѣ Ермиловъ съ нимъ разговоръ. Бахтуринъ былъ тронутъ такимъ вниманіемъ и, безъ хвастливости, сталъ рассказывать гостю: что у него есть рѣдкаго и систематически собраннаго и за какіе года. Всего богаче былъ онъ документами всякаго рода за періодъ съ 1812 по 1825 годъ.

Ермиловъ, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, впалъ въ возбужденное состояніе европейца, парижанина, почувствовалъ себя не на „Звѣздной Дамбѣ“, отъ которой пахло плесенью пруда, когда онъ подъѣзжалъ къ дому Бахтурина, а гдѣ-нибудь въ антресолѣ антиквара или ученаго собирателя въ „rue des Martyrs“ или на набережной Сены.

Онъ закидывалъ Бахтурина вопросами. Старикъ былъ очень скромнень, говорилъ про свою библіотеку и коллекціи какъ о добрѣ, собранномъ на „мѣдные деньги“, больше любовью къ дѣлу, чѣмъ ученостью или крупными издержками. Книги у него далеко не въ порядкѣ, не разобраны еще „по статьямъ“, внизу занимаютъ двѣ большихъ „парадныхъ комнаты“; зимой онѣ заколочены и топятъ только изъ другихъ комнатъ. Многое стоитъ и въ ящикахъ на сухомъ чердакѣ.

Наверху, гдѣ они посидѣли съ нимъ, Бахтуринъ показалъ гостю одинъ рѣдкій „эльзевиръ“, переплеты изъ телячьей кожи и изъ прекраснаго сафьяна, досталъ съ полки двѣ-три книги по масонству, въ томъ числѣ полный и въ отличномъ порядкѣ „Магазинъ свободныхъ каменщиковъ“ и рукописную книгу изъ сочиненій „Іоанна Массона“, переписанную рукой извѣстнаго московскаго ревнителя масонства, сенатора Лопухина. И знаковъ разныхъ ложъ нашлось у него достаточно. Нѣкоторые висѣли тутъ же на цвѣтныхъ картонахъ собственной работы.

— А что же значать эти образа?—спросилъ Ермиловъ, остановившись противъ одной небольшой иконы, совсѣмъ новой, съ изображеніемъ, на позолоченномъ фонѣ, византійскаго пошиба, русскаго угодника, въ ростъ, одного изъ великихъ князей суздальскихъ.

Онъ уже зналъ отъ Кустарева, что Бахтуринъ — свободомыслящій человѣкъ, и вопросъ былъ естати.

— Да, полегоньку собираю... Видите, здѣсь давно водилось иконописанье, съ этой вотъ матовой позолотой. Изъ мужляковъ есть очень изрядные богомазы... Захотѣлось мнѣ составить небольшую коллекцію—по годамъ. Кому-нибудь пригодится... Угодникъ-то вышелъ, право, не плохо, въ хорошемъ стилѣ—и цѣна всего три рубля на заказъ.

Старичокъ рѣшительно плѣнялъ Ермилова своимъ отношеніемъ ко всѣмъ видамъ искусства и мастерства.

Въ старыхъ людяхъ было гораздо больше того, что онъ считалъ признакомъ высшаго развитія: изучать что-нибудь подробно, собирать, отыскивать тонкости, пристращаться къ деталямъ, къ рѣдкимъ остаткамъ эпохи—и такъ же обращаться съ писателями—чего онъ совсѣмъ не видѣлъ въ литературныхъ кружкахъ столицъ, да очень мало и между учеными.

А вотъ этакой древній обломовъ двадцатыхъ годовъ, въ провинціальной глуши, изо дня въ день собираетъ, изучаетъ, изощряетъ свой вкусъ и пониманіе.

И въ себѣ самомъ онъ чувствовалъ жилку собирателя и даже

„эрудита“, но полосами, безъ выдержки, со скачками отъ одного вида охоты и забавы къ другому.

„Дилеттантишка я!“ — выбранилъ себя Ермиловъ и забылъ, что очень часто, въ спорахъ, считалъ себя настоящимъ знатокомъ искусства и литературы, особенно нѣкоторыхъ авторовъ и эпохъ.

Бахтуринъ продолжалъ говорить ему про мѣстные задатки изящнаго мастерства въ народѣ. Деревянныя подѣлки интересовали его также. Онъ указалъ рукой гостю черезъ дверь на огромную чашку въ первой комнатѣ, расписанную и позолоченную, съ вычурнымъ рисункомъ и славянскою вязью на широкомъ ободѣ.

— Признаюсь, до этого я небольшой охотникъ, — выговорилъ мягко Ермиловъ, надѣвая рinсе-пез. — Народничанью не подверженъ.

— Да и я не тѣхъ взглядовъ, что мой родственникъ Евменій Филипповичъ, — сказалъ Бахтуринъ съ тонкой усмѣшкой. — Это только курьезно. Когда-нибудь будутъ и по другому работать. Даровитость есть.

Гостю ужасно хотѣлось справиться — который же годъ этому старцу, если онъ могъ „пострадать“ въ числѣ другихъ декабристовъ?

— Семенъ Александровичъ, — не выдержалъ онъ и наклонился черезъ столъ къ Бахтуру, — вы меня поражаете вашею необычайною свѣжестью. Какой же вамъ пошелъ годовъ? Извините за нескромность.

— Какая же нескромность, дорогой мой? Я не скрываю... Въ „Архивѣ“ и въ „Старинѣ“ просили меня опубликовать кое-какія воспоминанія... Еще изъ дѣтскихъ и отроческихъ лѣтъ.

Надо было признаться, что этихъ вещей гость не читалъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ прочту. Я все былъ въ разъяздахъ, — оправдался Ермиловъ.

— Позвольте поднести вамъ оттиски, редація прислала мнѣ недавно изъ Петербурга, да и тѣхъ, кажется, изъ „Архива“, осталось штукъ пять-шесть.

Онъ-было засуетился доставать оттиски; Ермиловъ упросилъ его оставить это до минуты прощанья.

— Вы, стало, были очень молоды, Семенъ Александровичъ, когда разразилась гроза?

— Мальчикъ совсѣмъ былъ... Тогда вѣдь мы рано жить начинали... Только-что меня произвели въ первый чинъ... По семнадцатому году... Въ конно-егерскомъ полку я служилъ... И состоялъ по „южному“ обществу.

— Домашняго воспитанія?

— Домашняго... гувернеры... швейцарецъ, французъ-эмигрантъ... извѣстно, по тогдашнему обычаю... Читать-то начинали такія книжки, какъ „Кандидъ“ Вольтера, по десятому году, и „Эмиля“ Руссо прочелъ я въ подлинникѣ двѣнадцати лѣтъ отъ роду...

Глазки старика, узкіе и слезливые, заискрились.

Гостю онъ все больше и больше нравился.

— И пострадали вы, Семенъ Александровичъ, по девятнадцатому году?

— Какъ разъ осьмнадцать лѣтъ мнѣ минуло, когда я былъ арестованъ... позднѣе, въ февралѣ двадцать-шестого года. Полкъ нашъ стоялъ въ Сумахъ...

„А все-таки старецъ не говорить, сколько ему именно лѣтъ“, — шутливо подумалъ Ермиловъ и самъ сообразилъ, что ему семьдесятъ-восемь. Возрастъ—возможный и считается очень большимъ только у русскихъ. Недавно, въ маѣ того же года, видалъ онъ каждый день императора Вильгельма въ Эмсѣ. Ему-то стукнуло уже восемьдесятъ-восемь лѣтъ. А онъ ходилъ безъ палки, сидѣлъ въ театрѣ, слушалъ доклады, отправился потомъ въ Гаштейнъ.

...Другой старикъ— разъ его вы поставили на зарубку воспоминаній, началъ бы безконечную болтовню, съ отступленіями и эпизодами; но Бахтуринъ не впалъ въ старческое словообиліе. Ермиловъ задалъ ему еще нѣсколько вопросовъ, по части его собранія рукописей, все изъ той же эпохи.

Въ полу, подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они сидѣли, постукали снизу.

— Сигналъ!—смѣшливо назвалъ Бахтуринъ.—Это насъ чай зовутъ пить... Ужъ извините... побезпокою васъ... Такая привычка у самовара чайничать; а сюда носить неудобно.

Онъ пригласилъ гостя къ траппу, заперъ за собою дверку на крючокъ и поднялъ крышку отверстія.

Во всѣхъ этихъ пріемахъ и въ самой этой лѣсенкѣ Ермиловъ распозналъ привычку—долгіе годы жить съ предосторожностями.

Старикъ посвѣтилъ ему, самъ спустился и ловко, еще сильной рукой, захлопнулъ за собою траппъ.

Внизу ихъ встрѣтилъ человѣкъ, сѣдой, бритый, опрятно одѣтый, сутуловатый, немногимъ моложе барина, инородецъ, пріѣхавшій съ нимъ изъ Сибири. Въ столовой, теплой комнатѣ съ бѣлыми обоями и висячей лампой за самоваромъ сидѣлъ мальчикъ-подростокъ, брюнетъ, въ темной блузѣ гимназиста.

— Мой воспитанникъ,—представилъ его гостю Бахтуринъ. Женскаго пола въ домѣ не было; старикъ не любилъ этого, и даже кухарка рѣдко показывалась на глаза барину: заказывалъ онъ кушанья черезъ лакея и всегда на цѣлую недѣлю, по бумажкѣ.

Чай былъ сервированъ опротно, съ баранками и вареньями, очень крѣпкій, по вкусу хозяина. Стоялъ и пузатенькій, старинный графинчикъ съ ромомъ изъ граненаго хрусталя.

— Классикъ! Изнываетъ надъ греками и латинью!

Бахтуринъ прикоснулся рукой до плеча мальчика и поглядѣлъ на гостя.

— Вы развѣ противникъ?—спросилъ Ермиловъ, считавшій этотъ споръ ненужнымъ и стоявшій за общеевропейскую выучку.

— Надо и классиковъ знать, да только очень ужъ ихъ муштруютъ. Вотъ Павлушѣ моему семнадцатый пошелъ въ августъ, а вѣдь онъ у меня мальчуганъ... ничего не читалъ, потому что некогда; мы же въ его лѣта, сами изволите знать, не тоюмо что въ обществѣ молодыми людьми роль играли, да и дѣловъ какихъ надѣляли, хе, хе!..

— Этакъ безопаснѣе, Семенъ Александровичъ,—пошутилъ Ермиловъ.

— Не скажите, дорогой, не скажите! До аттестата зрѣлости сидитъ такой малый надъ зубристикой, а послѣ—гладишь—гдѣ очутился и на что пошелъ!

Онъ вздохнулъ и косвенно оглядѣлъ и гостя, и своего воспитанника.

Ермиловъ подумалъ: „три поколѣнія: декабристъ, человѣкъ шестидесятихъ годовъ и классикъ-гимназистъ восьмидесятихъ“—и прибавилъ: „не забыть—черкнуть въ записной книжечкѣ нѣсколько штриховъ“.

Отъ классицизма и юношества рѣчь перешла къ сверстникамъ и пріятелямъ Евменія Кустарева.

— Очутились они,—говорилъ старикъ и отхлебывалъ короткими глотками свой крѣпкій чай съ лимонной цедрой—и Евменій, и его друзья—ни въ сихъ, ни въ оныхъ... Задній ходъ!—вотъ команда на теперешней вахтѣ...

— Прекрасное сравненіе!—вскричалъ Ермиловъ и даже беззвучно захлопалъ ладонями.

— Честный, отличный человѣкъ—Евменій... А жаль мнѣ его: такъ и промается, ничего не добьется... Профессуру бросилъ.

— Не выдержалъ, Семенъ Александровичъ.

— Не резонъ, Егоръ Петровичъ, не резонъ! Надо сидѣть

до самой послѣдней возможности. Пускай тебя протуряютъ; но самъ не уходи. Разсчетъ ясный—давать ходъ тѣмъ, кого считаешь вредными.

— Это точно!—согласился Ермиловъ.

— Потому-то,—продолжалъ старикъ, не горячась и смакуя чай,—потому-то все такъ рыхло, безъ контрабаса въ оркестрѣ, что хорошіе люди никакой цѣпкости не имѣютъ, горячатся безъ разума, уклоняются отъ дѣла, а плуты, невѣжды и гасильники подбираютъ все, что плохо лежитъ. Профессуру потерялъ Евменій, и на своемъ народолюбіи ничего не выиграетъ... До сихъ поръ ни онъ, ни другіе, подобные ему, не хотятъ понять, что простой народъ—противъ нихъ; а они-то его обсахариваютъ... Мы не такъ разсуждали и чувствовали. Ошиблись, сунулись рано, спору нѣтъ, но мы надѣялись на себя, мы почитали умъ, истину, ученость, талантливость, породу, и не ставили себя ниже черни, отъ себя самихъ не отрекались. Да и въ поступкахъ имѣли благородство... въ выборѣ средствъ. А нынче—ломомъ хватимъ—и никакихъ разговоровъ, изъ-за угла, или въ западнѣ... Ломъ!—повторилъ брезгливо старикъ.—Мы ломомъ-то руду ломали на каторгѣ, а не человѣческое тѣло, не людей, себѣ подобныхъ, хотя бы и лютыхъ враговъ нашихъ...

Гимназистъ оставилъ недопитымъ свое блюдечко и слушалъ съ полуоткрытымъ ртомъ. Самоваръ издавалъ тонкую ноту... Въ комнатѣ пронеслось короткое и значительное молчаніе.

„Молодцы были!—подумалъ Ермиловъ:—богатыри. Это послѣ двадцатилѣтней-то работы въ цѣпяхъ!“

И какъ бы въ отвѣтъ на его одобреніе, которое старикъ вырвалъ у него, Бахтуринъ, не раздражаясь, продолжалъ не много потише, точно по секрету:

— Выдержки нѣтъ!.. У насъ бы спросили, что мы выдержали. А тутъ, чуть какая запинка или два-три товарища—дрянцо, сейчасъ вонъ! Идемъ на добровольное бездѣйствіе. Каедру имѣтъ—это кабая сила! Тутъ можно помириться и съ надзоромъ, и со всякимъ стѣсненіемъ,—конечно, безъ подлости... На десятки поколѣній дѣйствовать словомъ!.. Мы бы и рады были, да учили-то насъ не тому,—въ шаркуны готовили, и до всего мы собственной головой должны были доходить... Нѣтъ выдержки, нѣтъ! Такъ и слиняють, ни въ сихъ, ни въ оныхъ,—кончилъ старикъ и, подавая черезъ столъ свой стаканъ, сказалъ воспитаннику:

— Полстаканчика, Павлуша, покрѣпче.

До одиннадцатаго часу просидѣлъ Ермиловъ у Бахтурина. Хо-

занимъ проводилъ его самъ до крыльца, вручилъ ему свертокъ оттисковъ съ надписями и нѣсколько разъ пожалъ ему руку.

— Хотѣлъ бы, дорогой, сказать вамъ: до свиданія; да въ мои лѣта этого не полагается...

Темная октябрьская ночь мигала на заѣзжаго „европейца“. Отъ „Звѣздной Дамбы“ до гостиницы оказалось всего на пять минутъ ѣзды.

Полный новыхъ и совсѣмъ не „губернскихъ“ мыслей, вошелъ Ермиловъ къ сѣни, гдѣ швейцаръ, изъ евреевъ, лѣстивый и нечистоплотный, на вопросъ его, кто это такъ шумитъ наверху, въ буфетѣ?—доложилъ:

— Пароходникъ Лапшинъ. Богатый... Загулялъ съ утра, ваше сіятельство!

И все лицо швейцара говорило: „Ужъ какъ вамъ угодно, а его нельзя заставить притихнуть; онъ будетъ бушевать, какъ ему тамъ вздумается, хоть всю ночь“.

VI.

Утро начиналось у Анны Гавриловны Вогулиной довольно поздно. Въ небольшомъ ея домѣ, на Патріаршихъ-Прудахъ, все еще было тихо въ девятомъ часу... Горничная Даша осторожно скользила въ туфляхъ изъ столовой въ антресоль, гдѣ жила старушка-тетка Вогулиной, Марѳа Ивановна. Та уже давно встала, сходилла къ равней обѣднѣ и допивала у себя въ комнатѣ „первый свой чаекъ“.

Барышня проснется къ девяти, выйдетъ пить чай въ десять; къ одиннадцати поѣдетъ на курсы къ Ильинскимъ воротамъ. Самоваръ уже шипитъ на кухнѣ, платье приготовлено, ботинки и ботики вычищены.

Анна Гавриловна проснулась и лежала въ полутемной спальнѣ, за перегородкой, куда свѣтъ еле заходилъ сквозь сторы оконъ.

Она любила полежать, закинувъ обнаженные руки за голову, на „думкѣ“ изъ цвѣтного канауса, щурилась и полудремала.

Надо вставать!..

Она позвонила... Одѣваться и даже обуваться одна Анна Гавриловна не привыкла или, лучше, отвыкла, съ той поры, какъ покойный отецъ взялъ ее изъ пансіона сестеръ Бокъ на Самоѣхѣ. Даша иногда натягиваетъ ей даже чулки и всегда надѣваетъ и застегиваетъ ботинки со множествомъ пуговицъ.

Свѣтъ еще болѣе проникалъ за перегородку изъ полосатаго

репса въ портьеру, на половину поднятую. Одна полоска его заиграла по головѣ и по лицу молодой дѣвушки, по ея бѣлымъ щекамъ съ румянцемъ крѣпкаго сна, по тонкому носу съ закругленнымъ кончикомъ и родинкой около праваго глаза, по ея маковѣ съ золотистыми прядями русыхъ волосъ, по мочкѣ розоваго ушка и по шеѣ, породистой и крѣпкой, гдѣ волоски курчавились подъ затылкомъ.

Глаза свои Анны Гавриловна совсѣмъ не раскрывала. Она часто держала ихъ съ опущенными рѣсницами, потому что они казались ей недостаточно большими и выразительными; рѣсницы были пушистыя и немного заворачивались, что придавало взгляду особое выраженіе, дѣлало глаза съ поволокой.

Она позвонила. Явилась Даша и помогла ей встать. Умывалась она сама на мраморномъ умывальникѣ съ педалью.

Въ этой комнатѣ, гдѣ у нея и спальня, и будуаръ съ письменнымъ столомъ—все новое и нарядное. Полтора года тому назадъ отецъ отдѣлалъ все это заново для нея, самъ ушелъ спать въ мезонинъ, а черезъ три мѣсяца умеръ.

Его кабинетъ былъ рядомъ. Съ тѣхъ поръ онъ стоитъ пустой, въ такомъ видѣ, какъ былъ въ день смерти отца. Она не проходила имъ никогда, дѣлала обходы черезъ корридорчикъ и маленькую столовую. Покойниковъ она боялась и не могла отдѣлаться отъ этого чувства, чисто „московскаго“, какъ она сама называла. Отца она оплакивала горько, къ памяти его привязалась больше, чѣмъ можно было ожидать. При жизни она не особенно ласкалась къ нему ребенкомъ,—дѣвушкой съ семнадцатаго года ладила хотъ и не всегда, внутренне протестовала во многомъ и за многое. Но смерть его пришла внезапно, унесла его въ три-четыре дня и наполнила ея душу суевѣрнымъ страхомъ.

Черезъ недѣлю послѣ его кончины она съ тетужкой Марьей Ивановной „поднимали Владычицу“ — посылали за иконой иверской Божьей Матери, и молебенъ былъ отслуженъ въ кабинетѣ отца. Кабинетъ цѣлый мѣсяцъ хранилъ запахъ ладана. Весь домъ, до темныхъ закоулковъ антресолей, былъ окропленъ. И Анна Гавриловна по-дѣтски наклоняла голову подъ кропило, и не одинъ, а нѣсколько разъ.

Эти московскія повадки она скрывала отъ своихъ „интеллигентныхъ“ знакомыхъ, отъ слушательницъ курсовъ, куда она записалась еще при жизни отца, отъ молодыхъ людей, кандидатовъ, докторовъ, съ какими встрѣчалась у знакомыхъ, на публичныхъ лекціяхъ, въ актовомъ залѣ университета, въ Маломъ театрѣ. Но въ ней сидѣла Москва—она и не желала освободиться отъ

бытового, сословнаго и народнаго закала. Одинъ изъ ея зиковъ, постарше ея лѣтами, дальній родственникъ—теперь ужь въ Сибири — прозвалъ ее „матушка-боярышня“, — этимъ не обижалась. Онъ говорилъ про нее, въ ея же ствiи: „у Аночки въ крови быть домовладѣлицей на Патриар-Прудахъ, жить въ теплыхъ комнатахъ, умереть въ нихъ какіе бы перевороты ни потрясли Европу — она будетъ на своихъ Прудахъ, въ особнякѣ, гдѣ на воротахъ стоитъ: „вспомни Вогулиной“.

Вогулина не скопидомка — нѣтъ. Тетушка Марѳа Ивановна ть даже, что — транжирка: деньги текутъ какъ свозъ рѣсь тѣхъ поръ, какъ она полная госпожа своего добра и нiя; ей минулъ двадцать-одинъ годъ — годъ полного совершенiя. Она не можетъ отказать никакой прiятельницѣ; поь бѣднымъ, къ ней ходятъ старушки-салонницы и просто ки — и она имъ даетъ каждый мѣсяцъ по рублю, по три яти, кормитъ на кухнѣ нищенковъ, особенно въ тѣ дни, служатся панихиды по отцѣ. Доходъ она весь проживаетъ, итала не трогаетъ. И тутъ Москва надѣвила ее инстинк-юченъи передъ капиталомъ... Безъ обезпеченiя нельзя еищницѣ ни въ какомъ положенiи. Домъ-особнякъ доходу ть или почти не даетъ. Маленькій флигелекъ на задахъ ить всего двѣсти рублей — на это не проживешь такъ, какъ ивыкла.

ещъ оставилъ, кромѣ дома, до шестидесяти тысячъ про-ми бумагами.

Богатая ты невѣста, по нонѣшнему времени, — говоритъ Ивановна.

въ самомъ дѣлѣ, капиталъ не малый, и такихъ придан-въ дворянскомъ среднемъ кругу — немного; но что же онъ жить? Всего три тысячи... Раздѣленный на мѣсяцы — доходъ уходитъ весь, безъ остатка... Одни городскіе сборы, мосто-ворникъ, ремонтъ, водовозъ — весь доходъ флигелька идетъ ...

мраморнымъ умывальникомъ Анна Гавриловна оставалась старательно чистила свои бѣлые зубы, довольно мелкіе, во блестящіе и крѣпкіе... Она хотѣла сохранить ихъ такими до старости и покупала всякіе заграничные порошки и эликсиры. Умываясь, она не могла съ нѣкоторыхъ поръ освободиться отъ особаго чувства, которое наполняло ее именно въ минуты заботъ о ея наружности, во время умыванья, чесанья головы, примѣриванья новыхъ туалетовъ.

Она чувствовала себя — не дѣвочкой, не барышней, безъ всякой окраски и фізіономіи, а молодой женщиной, вышедшей изъ періода худобы, мигреней, неопредѣленныхъ вкусовъ и полудѣтскихъ забавъ... Ее всѣ мужчины считаютъ „очень хорошенькой“; дамы—замужнія—не долюблываютъ и отказываютъ даже въ такой оцѣнкѣ. А оцѣнки этой ей мало. Она болѣе чѣмъ „хорошенькая“. Слово „миленькая“ совсѣмъ ужъ къ ней нейдетъ. У нея хорошій ростъ, молочныя, полныя руки, волосы почти до пятъ, лицо—молодой женщины, только-что вышедшей замужъ, бюстъ ласкающихъ античныхъ линій, и она побивается, какъ бы ей не начать толстѣть въ этой тихой, беззаботной и прохладной жизни барышни-сироты, хозяйки дома и полной госпожи всѣхъ своихъ вкусовъ, привычекъ, занятій, удовольствій.

Женщина стучала къ ней во всѣ дверки ея существа, а внутри, тамъ—въ сердцѣ и въ головѣ—не было центра, притягательной точки... И когда она явится?... Эта точка?..

Послѣ умыванья Даша чесала Анну Гавриловну съ четверть часа—больше она не выносила: дѣлалась нервной отъ движеній гребня по ея густымъ волосамъ, полнымъ электричества.

Даша—не старая еще дѣвушка, но вся высохшая отъ постоянныхъ „амуровъ“, въ которыхъ она признавалась барышнѣ, и Анна Гавриловна писала ей, по добротѣ, записки къ ея предметамъ, читала ихъ посланія и входила уже не разъ въ цѣлыя драмы ревности и любовныхъ обидъ. Горничная Даша была преловкая, но одѣвалась неряшливо и чесалась—также.

Къ чаю Анна Гавриловна вышла въ пеньюарѣ, недавно спитомъ, изъ молочнаго цвѣта фланели съ кружевами. Она переходила полегоньку отъ траура къ цвѣтнымъ платьямъ... Въ столовой шипѣлъ самоваръ. Комната была слишкомъ большая для двухъ жилищъ дома-особняка, и въ ней молодой дѣвушкѣ всегда дѣлалось немного жутко отъ памяти ея отца, отъ голыхъ стѣнъ со скучнымъ рисункомъ обоевъ, отъ недостатка уютности.

— Марѳу Ивановну звали? — спросила Анна Гавриловна и лѣниво сѣла къ самовару.

— Онѣ сейчасъ сойдутъ.

Разливанье чая и супа не наполняло дѣвушку довольствомъ. Она не считала себя хозяйкой, равнодушно относилась къ їдѣ и къ заказыванію кушаній. Въ ней барышня и домовладѣлица помѣщались особо отъ домостроительницы и экономки. Дома ей было удобно, но углубляться въ подробности хозяйства и домашнего комфорта она не любила.

Два окна столовой выходили въ палисадникъ, и черезъ рѣшетчатый заборъ видѣнь былъ кусокъ Патріаршихъ-Прудовъ, деревья безъ листьевъ и дорожка аллеи, покрытая снѣжкомъ. Снѣгъ выпалъ въ ночь.

Снѣгу Анна Гавриловна обрадовалась. Сейчасъ все получаетъ свѣтлый и праздничный цвѣтъ, грязная или трескучая улица приятно смолкаетъ и облекается въ блистающій покровъ.

Въ окно Анна Гавриловна поглядѣла на Пруды. Студентъ въ зимнемъ пальто и фуражкѣ съ голубымъ околышемъ торопливо прошелъ съ книгой подъ мышкой.

Какъ бы и ей не опоздать на лекціи. Она уже начинаетъ полегоньку „маневрировать“, а давно ли она отличалась большимъ рвеніемъ, брала много книгъ изъ библіотеки, дѣлала работы, участвовала въ „семинаріяхъ“, возражала и сама читала рефераты, даже заставила побавиваться своего бойкаго языка, своей діалектики.

Но сегодня лекція скучная; она не записываетъ, и не шьетъ, какъ начали дѣлать нѣкоторые, и что ей совсѣмъ не нравится.

Стѣить ли ѣхать для одного часа? На первую она уже не попала...

— Тетушка, здравствуйте!

Онѣ поцѣловались со старушкой высокаго роста, худой, въ сѣромъ капотѣ съ пелеринкой и съ подвязанной щекой.

Мареа Ивановна была молчаливая особа, такая тихая, что ее по цѣлымъ днямъ не слышно, богомольная, очень добрая и пугливая, хотя лицо у нея значительное и немного навислая, густыя, сѣдѣющія брови.

Разливала племянница. Тетка пила въ прибѣску, Анна Гавриловна—въ накладку и всегда по-мужски, въ стаканѣ, съ серебрянымъ подстаканникомъ.

Въ передней зазвонили.

Обѣ женщины переглянулись. Кромѣ почтальона, кому быть въ одиннадцатомъ часу.

Даша пробѣжала по столовой и на бѣгу спросила барышню.

— Если гость—прикажете принять?

— Какіе гости!—отвѣтила Вогулина и кинула взглядъ изъ-подъ своихъ густыхъ рѣсницъ на измятый пеньюаръ и свои полубнаженные руки съ тонкими серебряными браслетами на каждой рукѣ.

VII.

Даша подала Аннѣ Гавриловнѣ карточку и стала въ дверяхъ.
„Юрій Петровичъ Ермиловъ“, — прочла Вогулина.

У Егора Петровича водилось два сорта карточекъ — для мужчинъ и для дамъ: на первыхъ напечатано было „Георгій“, на вторыхъ — болѣе модное, „Юрій“.

— Они дожидаются въ передней, — тихонько доложила горничная.

Карандашемъ Ермиловъ написалъ:

„Простите за этотъ ранній часъ. Хотѣлъ, на пути въ Петербургъ, позжать вамъ руку и завести давно обѣщанный томъ стиховъ моего пріятеля“.

Второй взглядъ на свой туалетъ побудилъ Анну Гавриловну принять гостя... Что-жъ такое, что она въ пенюарѣ, точно молодая дама! Въ одиннадцатомъ часу это совершенно естественно; а заставлять его ждать она тоже не хотѣла.

— Пришлите туда чай, — сказала она теткѣ, оправила рукой прическу и приказала горничной принять гостя.

Она была польщена вниманіемъ и любезностью этого „эстетика“, какъ она звала Ермилова.

Его репутація большого любителя женщинъ была ей извѣстна. Они познакомились прошлой зимой на вечеринкѣ у одного профессора, куда собиралось много молодежи. Онъ ее тогда увлекъ своимъ разговоромъ, и она мечтала о немъ съ недѣлю, даже поджидала къ себѣ. Онъ не пріѣхалъ почему-то, и это ее обидѣло. Потомъ они опять встрѣтились весной. Ермиловъ собирался за границу и много говорилъ ей о стихотвореніяхъ одного своего друга, заохочивалъ ее къ прочтенію ихъ, обѣщалъ привести ей томики и самому переплести ихъ.

Во второй разъ онъ ей менѣе понравился; она нашла его фатоватымъ, сладкимъ, почти на старинный манеръ, ей съ нимъ было не особенно ловко: онъ слишкомъ хорошо говорилъ по-французски и его начитанность отзывалась для нея педантизмомъ. Ермиловъ оспаривалъ ея вкусы, рисовался — какъ она находила — своимъ полнымъ равнодушіемъ къ „честному“ и „передовому“ въ литературѣ, восторгался только формой.

И все-таки она оживилась, когда шла въ гостиную, гдѣ Ермиловъ переминался съ одной ноги на другую и оглядывалъ суховатую и обыкновенную обстановку комнаты: пьянино, обои съ золотыми цвѣтами, два узкихъ зеркала, угловой репсовый диванъ,

нѣсколько растений въ горшкахъ у оконъ, ни одной картины по стѣнамъ, за что онъ былъ благодаренъ, потому что всюду встрѣчалъ олеографіи и приходилъ отъ нихъ въ содроганіе.

Короткій парижскій пиджакъ съ узкими рукавами выставялъ слишкомъ на показъ его полную фигуру. Свѣтлый галстухъ молодилъ его; борода была слегка подправлена внизу краской... Анна Гавриловна, войдя, нашла его „довольно интереснымъ“.

— Вотъ впору воскликнуть: „Чуть свѣтъ ужъ на ногахъ, и я у вашихъ ногъ!“

Ермиловъ произнесъ стихъ громко и съ жестомъ, наклонился къ ней и поцѣловалъ ея руку, прежде чѣмъ она успѣла сказать ему что-нибудь.

— Не ждали? Конечно, нѣтъ?

Ермиловъ не выпускалъ ея руку изъ своей, велъ ее къ дивану и оглядывалъ искривленными карими глазами.

И онъ не ждалъ такого расцвѣта женственности въ той блѣденькой „курсисточкѣ“, которую онъ экзаменовалъ по части либерализма на вечеринкѣ у профессора Симбирцева, своего товарища по гимназіи, какъ и Кустаревъ, одного съ нимъ выпуска.

„Да не вышла ли она замужъ?“—спросилъ онъ себя, но не сдѣлалъ вслухъ этого вопроса.

— Примите,—сказалъ онъ ей съ шуткой въ голосѣ и поднесъ томикъ въ сафьянномъ переплетѣ,—полюбите моего поэта и почитайте переплетчика.

И онъ ткнулъ указательнымъ пальцемъ въ свою грудь.

Она разсмѣялась—два ряда бѣлыхъ зубовъ сверкнули. Съ ея щекъ еще не спалъ румянецъ крѣпваго сна, волоски вились надъ шеей; къ маковѣй зачесанъ былъ высокій бантъ изъ волосъ съ золотымъ отливомъ; двѣ черепаховыхъ гребеночки игриво держались въ воздухѣ.

„*Nom d'un petit bonhomme!*“...—вскричалъ про себя Ермиловъ, опускаясь на кресло.—„Какъ она развилась!“

„Курсисточка“ могла поспорить съ любой изъ иностранокъ его послѣдней поѣздки—и съ француженкой изъ Байонны, и даже съ натурщицей клуба „*des moissonneurs*“—только въ мѣстномъ, московскомъ вкусѣ. Въ ней чуялась порода... что-то немного какъ-будто хищное и смѣлое и еще мало тронутое теперешними „глупостями“, какъ Егоръ Петровичъ называлъ многія новыя идеи и стремленія русскихъ дѣвушекъ...

Къ чему же искать за тридевять земель то, что водится тутъ, на Патріаршихъ-Прудахъ?

Да, но она дѣвица; онъ видѣлъ ея дѣвичье имя на дощечкѣ

воротъ, и нѣтъ въ этомъ домикѣ никакого мужского духа. А дѣвицы онъ не трогаетъ. Развѣ такъ, въ сантиментально-дружескомъ тонѣ... Дѣвушка, конечно, предпочтительнѣе замужней женщины. Онъ идетъ на обманъ мужа только въ крайнемъ случаѣ... Вдовы—рѣдки и часто переверѣлы... Дѣвушка—свободна и свѣжа... Все это такъ; только есть отвѣтственность, вопросы моральные; въ нихъ онъ щекотливъ и гораздо больше, чѣмъ думаютъ его пріатели и пріятельницы.

Жениться на такой пышной и, кажется, умненькой дѣвушкѣ—возможно, если зарваться, но зарываться-то и не слѣдуетъ—ни въ какомъ случаѣ... Свобода—выше всего!..

Егоръ Петровичъ удивился даже тому, какъ быстро столько мыслей и ощущеній побывало въ немъ въ какихъ-нибудь двадцать секундъ.

Длинные глаза изъ подъ пушистыхъ рѣсницъ ласково глядѣли на него.

— Проѣздомъ изъ-за границы попали? — спросила его Воггулина.

И голосъ у нея установился. Грудные ноты вибрируютъ и пріятно отдаются въ просторной комнатѣ.

— И собрался сегодня же въ Петербургъ... Но, кажется, останусь.

Взглядомъ онъ не утерпѣлъ, — сказалъ ей:

„Для васъ готовъ остаться“.

— Останьтесь... Мы поговоримъ еще... о вашемъ поэтѣ... Я его читала... лѣтомъ и, кажется, хорошо.

— Bravo!..

Онъ уже рѣшилъ остаться, тѣмъ болѣе, что на будущей недѣлѣ, всего черезъ три дня,—даютъ дружескій обѣдъ профессору Симбирцеву въ Эрмитажѣ, по какому-то случаю. „Будетъ очень мило“,—подумалъ онъ,—выказать солидарность съ „кружкомъ“.

Объ этомъ обѣдѣ онъ сейчасъ же и сказалъ ей:

— Кажется, и дамы будутъ—по-московски... Вотъ бы и вы...

Она уже слышала объ обѣдѣ Симбирцеву; но дамъ не будетъ, хотятъ это сдѣлать поскромнѣе, человѣкъ на тридцать, чего-то опасаются...

Улыбка немного скосила ея ротъ.

Ермиловъ понялъ эту усмѣшку. Времена—не тѣ: всѣ сжались, потеряли прежній размахъ, воздерживаются устраивать обѣды и говорить спичи съ „подбадривающими“ словами. И она на курсахъ чувствуетъ то же самое, почему ей и бываетъ тамъ скучненько.

— Все еще вѣрите въ вашихъ лекторовъ?—вдругъ спросилъ ее Ермиловъ и прищурился сквозь стѣкла своего ринсе-пез.

— Какъ вы это сказали, Юрій Петровичъ! Точно я маленькая...

Она немного вспыхнула и родинка у праваго глаза обозначилась особенно красиво... На щекахъ лежалъ прелестный тонъ отъ чуть замѣтнаго пушка.

„Какъ я глупъ!—остановилъ себя Ермиловъ:—зачѣмъ я ее дразню, а не ухаживаю просто, на-прямки?“

Она заговорила довольно горячо.

Въ ея произношеніи была какая-то особенность въ нѣкоторыхъ гласныхъ, что придавало манерѣ говорить большую своеобразность. Она переводила губами отчетливо и скоро, и весь склад фразы отзывался Москвой, коренными оборотами русской рѣчи, немного посыпанными тѣми словами и терминами, которые пришли къ ней съ курсовъ и изъ „хорошихъ книжекъ“.

Ермиловъ совсѣмъ закрылъ глаза, слушалъ и смаковалъ.

„Барыня будетъ, московская барыня,—опредѣлил онъ,—и съ ноготкомъ; мужа уберечь подъ лапки—это навѣрно; да и друга, если современемъ заведетъ, будетъ держать въ большомъ подчиненіи“.

Она все еще оправдывалась въ видѣ критическихъ замѣчаній о своихъ преподавателяхъ.

— Да, нашъ милѣйшій Александръ Павловичъ, — говорила она,—точно высыпая на поднось законченные звуки своего голоса, и при этомъ глаза ея искрились,—всѣхъ хочетъ убѣдить... Нѣтъ для него никакихъ слабостей и просто противныхъ сторонъ у тѣхъ, кто прославился... Вездѣ ищетъ искру Божью!

— Ха, ха, ха!—разсмѣялся Ермиловъ и сталъ — въ знакъ одобренія—покачивать головой.

— Будь разбойникъ Картушъ и талантливъ, — продолжала Вогулина, польщенная успѣхомъ,—онъ и его обѣлилъ бы... какъ... кринь сельный.

— Кринь сельный!.. Прекрасно!.. Это изъ евангелія, если не ошибаюсь?

— Кажется, — отвѣтила Вогулина и посмотрѣла въ сторону съ косымъ движеніемъ своихъ не очень красныхъ, но хорошенькихъ губъ.

— Ну да, ну да,—заговорилъ Ермиловъ, придя въ умственное возбужденіе и, придвинувшись къ ней, завертѣлся въ креслѣ. — Милые идеалисты и педагоги, воздѣлывающіе искру Божью! По ихъ толкованію выходитъ, что какой-нибудь сенсуалистъ и даже циникъ семнадцатаго вѣка писалъ для васъ, для юношества обоого

пола, защищать принципы, дорогіе передовымъ людямъ конца девятнадцатаго вѣка... А онъ просто дурачился или былъ даже ретроградъ и обскурантъ. А то такъ и порядочный донъ-Мерзавецъ!..

По блеску глазъ дѣвушки онъ сообразилъ, что она гораздо подготовленнѣе къ бесѣдамъ съ нимъ, чѣмъ годъ назадъ.

„Ты умненькая, — похвалилъ онъ мысленно, — тобой стоитъ заняться... Да еще и „распрехорошенькая“.

Онъ употребилъ терминъ одного своего петербургскаго пріятеля.

Одного лектора она похвалила и призналась, что только его лекціи и привлекаютъ ее „какъ надо“.

— Умница, ядовитый и безпощадный, — выговаривала она не торопясь, и когда искала словъ для выраженія своей мысли, глядѣла въ окно, на улицу, гдѣ деревья побѣлѣли отъ инея. — Какъ онъ освѣтилъ мнѣ весь прошлый вѣкъ... А въ томъ году — московскую Русь... Прелесть!..

— Не выѣзжаетъ ли онъ больше на своемъ остроуміи? — недовѣрчиво спросилъ Ермиловъ.

— Таланливъ, — сказала Анна Гавриловна, совсѣмъ по-московски, безъ буквы „т“, — очень таланливъ и совсѣмъ особенный!

„Не мѣшаетъ ее просвѣтить“, рѣшилъ Ермиловъ, и безъ всякаго перехода спросилъ ее: читала ли она сонеты Жозе Маріа-Эредіа, и вообще знакома ли съ парижскими „декадентами“.

Она призналась — и чрезвычайно мило, что не слыхала даже имени этого Эредіа, а о „декадентахъ“ что-то вскользь прочла въ одной газетной корреспонденціи.

Ермиловъ сталъ восторгаться авторомъ сонетовъ, просилъ ее повѣрить ему на слово, что Эредіа — первый въ Европѣ стихотворецъ по части сонетовъ, и тутъ же продекламировалъ ей наизусть двѣ пьесы...

Слушала она внимательно, улыбалась и сказала потомъ:

— Звонко!.. Красиво!.. Но не захватываетъ что-то, Юрій Петровичъ.

— Сразу не вошли во вкусъ! Надо штудировать... Точно металлъ или золотыя буквы на каррарскомъ мраморѣ... А у насъ понятія не имѣютъ.

— Увы! И я — въ томъ числѣ!

Въ ея взглядѣ была легкая иронія.

— Позвольте вамъ привезти томики. Если я только найду у Готье... Да врядъ-ли! Здѣсь спросъ больше на романы господина Онэ!

Имя „Ohnet“ онъ произнесъ съ умышленнымъ растягиваніемъ перваго слога.

— Я читала!

— Horribile auditu!

— Это чтѣ такое? Я по-латыни не знаю.

— Поговорка, передѣланная мною. Пишутъ и говорятъ: horribile dictu, а я перемѣнилъ на auditu, т.-е. ужасно слышать. Впрочемъ за свое не выдаю... можетъ, это и до меня догадался.

Онъ такъ весело и молодо при этомъ мотнулъ головой, что Анна Гавриловна подумала: „Да онъ премилый“.

Ей было съ нимъ очень ловко, совсѣмъ не такъ, какъ прошлой зимой. Она болѣе понимала его, не считала уже фатомъ и „гнилымъ“ эстетикомъ.

„Поумнѣла я или поглупѣла?“—спросила она себя.

Этотъ „парижанинъ“ и вивёръ не смущалъ ее, а скорѣе привлекалъ. Отъ него шелъ какой-то умственный ароматъ, точно передъ нею разставили модныя, изящныя вещи на прилавкѣ, отчего явилось сейчасъ же чувство новизны и желаніе поскорѣе приобрѣсти обновку, быть „въ курсѣ“—она употребила мысленно выраженіе, которое ей не нравилось, но другого она не прибрала. Ермиловъ вызвалъ въ ней душевную нарядность, заставилъ подтянуться, ей захотѣлось помѣряться съ нимъ если не образованіемъ и новизной, то природнымъ умомъ, обаяніемъ женщины, всѣмъ тѣмъ, чтѣ въ ней сложилось своего, оригинальнаго, московскаго... Онъ рѣшительно интереснѣе не только ея сверстниковъ, но и молодыхъ людей, съ какими она встрѣчается въ кружкахъ.

Кстати, Ермиловъ, перейдя опять къ тому, чтѣ она читаетъ и съ кѣмъ проводитъ вечера, спросилъ ее:

— А изъ молодыхъ университетскихъ магистрантовъ, вообще чающихъ кафедры или просто просвѣщенныхъ москвичей, есть кто-нибудь подаритѣе?

Она подумала и отвѣтила, какъ отвѣчаютъ дѣвушки, когда имъ и хочется, и не хочется назвать имя, и заговорить о томъ, чтѣ начинается немножко интересоваться... больше головой, чѣмъ сердцемъ.

— Мало... очень мало...—выговорила она серьезно, и на лбу показались чуть замѣтныя поперечныя складочки—привычка, отъ которой ни пансіонъ, ни тетюшка Марѳа Ивановна, не отъучили ее.—Одинъ есть... способный... Куликовъ...—осторожно произнесла она и провела по лицу Ермилова взглядомъ, полузакрытымъ рѣсницами.

— Который это?—началь вспоминать Ермиловъ и тоже наморщилъ переносицу.

— Вы видѣли его у Симбирцева.

— Маленькій, курчавый, похожъ на конториста... А я принялъ его за нѣмца.

— Онъ настоящій москвичъ.

— Кажется, „болѣе ловкій, чѣмъ благоговѣйный“, какъ аттестовалъ одного священника архіерей.

— Пожалуй... такъ,—согласилась Вогулина, и ничего больше не добавила.

— Вы его одобряете?—спросилъ Ермиловъ, нагнувшись къ ней, тономъ друга, вызывающаго на откровенность.

— Я люблю съ нимъ разговаривать... Онъ разностороненъ... Много читаетъ и не по своей части.

— А онъ кто?

— Работаетъ по политической экономіи, по государственнымъ наукамъ и еще тамъ по какимъ-то. Но интересуется литературой.

— О сонетахъ великаго Эредіа тоже не слыхалъ?

— Спрошу.

Она хотѣла прибавить: „сегодня же вечеромъ“, но не сказала; скрыла и то, что Куликовъ бываетъ у нея два раза въ недѣлю въ роли не то руководителя ея занятій, не то добровольнаго лектора, произноситъ цѣлыя конференціи, заставляетъ ее читать, по его выбору, дѣлать выписки, докладывать о прочитанномъ.

„Еще подсмѣиваться будетъ!“—подумала она про Ермилова.

— А отъ имени „декадентовъ“ приходитъ въ ужасъ?.. Ахъ, Боже мой!—спохватился вдругъ Ермиловъ, бросивъ взглядъ на пеньюаръ Вогулиной. — Я васъ навѣрное задержалъ. Вы вѣдь еще посѣщаете курсы?

— Должна была ѣхать къ милѣйшему Александру Павловичу, да ужъ теперь поздно. Вамъ за это признательна, Юрій Петровичъ.

Онъ всталъ.

— Очень любезно!—вскричалъ онъ, и нагнулся, чтобы еще разъ поцѣловать ея руку.—Я заверну... и привезу вамъ Эредіа, а можетъ быть и Верлена.

— Кого?—не разслышала она.

— Это поэтъ декадентовъ. Его надо читать медленно, знаете... въ родѣ того, какъ дѣлаютъ грамматическій анализъ, въ гимназій, Тацита или греческаго классика.

— Какое мученье!

— Не скажите. Особый подборъ словъ. Мелодія... Да, вотъ, я вамъ скажу одно четверостишіе...

Онъ облокотился о пьянино, держа шляпу въ рукѣ, и на-распѣвъ проговорилъ четыре коротенькихъ стиха, гдѣ Анна Гавриловна ничего не поняла: многія слова проскользнули по ней какъ звуки — и только.

— Не правда ли, оригинально?

— Да я ничего не понимаю, Юрій Петровичъ.

— Это не важно. Будете понимать! Увѣряю васъ. Цѣлая революція въ стихѣ и формѣ рѣчи...

Онъ заторопился уходить и въ дверяхъ не выдержалъ, еще разъ повторилъ послѣдній стихъ куплета:

Les pétales de remuement.

Хозяйка проводила его въ переднюю, пожуривъ за то, что онъ въ пальто, а на дворѣ лежитъ снѣгъ.

— Авось не схвачу ничего! Я въ каретѣ.

Они условились видѣться черезъ два дня, наканунѣ обѣда Симбирцеву.

Карета отъѣхала отъ крыльца. Въ окно ея Анна Гавриловна увидала голову гостя, въ высокомъ цилиндрѣ, и плотный станъ въ пестромъ пальто.

Она долго слѣдила глазами за экипажемъ.

„Почему онъ не такъ же молодъ, какъ Куликовъ?“ — спросила она, и ей всѣ московскіе показались такими устарѣлыми, своего домашнего издѣлія, рядомъ съ этимъ „европейцемъ“, въ которомъ она почувала цѣнителя ея женскаго обаянія.

„Да, все это такъ, — подумала она, отходя отъ окна. — Но вѣдь у него ужасная репутація. Онъ опасенъ... И отъ него ничего хорошаго ждать нельзя“.

VIII.

Вечеръ подкрался скоро — дни стали короткіе. Анна Гавриловна не успѣла ничего порядкомъ сдѣлать — ни попасть на позднюю лекцію, замѣшкалась въ Пассажѣ Солодовникова, гдѣ надо было купить какой-то пустякъ для тетюшки, — ни подготовиться получше къ вечерней бесѣдѣ съ Куликовымъ; хотѣла оставить это до послѣ-обѣда; но отъ ходьбы пѣшкомъ она такъ разомлѣла, что прилегла, одѣтая, и, проспавъ почти до семи часовъ, разсердилась на себя за это.

А потомъ надо было наскоро поспѣть и приготовить все для визита Виталія Орестовича.

Въ гостиной, на кругломъ столѣ, подъ лампой, она стала раскладывать книжки. Ей было все еще досадно, что она не подготовилась, не только ничего не записала, но даже не прочла и половины той книги, о которой они должны „бесѣдовать“ сегодня съ Куликовымъ.

Это — одна изъ монографій Морлея, въ русскомъ переводѣ. Книжка лежала тутъ и дразнила ее, точно школьницу. И туалетомъ своимъ Анна Гавриловна осталась недовольна. Она надѣла темную шерстяную юбку и шелковый корсажъ.

„Къ чему этотъ полкъ?.. Разрядилась по-купечески!“

Но полкъ она очень любила чувствовать подъ рукой, поводить длинными и бѣлыми кистями рукъ по талии, отъ спины впереди и немного вверхъ, по груди.

И теперь она сдѣлала этотъ жестъ, подойдя къ окну и глядя на сосѣдній фонарь.

Она чувствовала, какъ у нея гнѣби талія и спина. Когда она училась въ пансіонѣ, начальница все сожалѣла, что у нея выгибъ спины слишкомъ великъ. Тамъ это считалось большимъ недостаткомъ. Отъ него старались избавиться, носили особеннаго рода корсеты. И по выходѣ изъ пансіона, спина беспокоила Анну Гавриловну до тѣхъ поръ, пока она не попала въ Большой театръ, посмотрѣть Сару Бернаръ въ „Дамъ съ верблюдами“. У знаменитой актрисы, поразившей Москву своимъ изяществомъ и невиданными позами, спина была также выгнута, какъ и у нея, и артистка не только не скрывала этого, а, напротивъ, пользовалась линіей спины, чтобы выставить въ самомъ красивомъ ракурсѣ весь свой художавый станъ, опираясь на одну ногу и откидывая голову немного назадъ.

Обезьянить — хотя бы и Сару Бернаръ — Анна Гавриловна не хотѣла, но перестала смущаться изгибомъ спины и начала даже заказывать себѣ низкіе и мягкіе корсеты, чтобы контуры бюста сохранялись волнистыми и гибкими.

Мигающій рожекъ фонаря навелъ на нее тревожное настроеніе другого рода: сегодняшній неожиданный визитъ Ермилова, его тонкая любезность, блескъ и темпераментъ человѣка, умѣющаго любить, даже то, что онъ считается большимъ грѣшникомъ въ томъ кружкѣ, гдѣ она встрѣчала его — все это вызвало рядъ недовольныхъ вопросовъ, обращенныхъ къ самой себѣ.

А развѣ она жила? Ей двадцать-одинъ годъ. Многія ея подруги любили, вышли замужъ, имѣютъ дѣтей, нѣкоторые испы-

тали страданія любви, перенесли цѣлыя драмы. Она не знаетъ до сихъ поръ, что такое увлеченіе, хотя бы мимолетное, но сильное, такое, чтобы духъ захватывало. Годъ тому назадъ она, правда, увлекалась крайними идеями, сходилась съ молодежью, бывала на сходкахъ, чуть было даже не скомпрометировала себя письмомъ, въ сущности невиннымъ; но оно очутилось въ рукахъ прокурора послѣ ареста одной ея знакомой.

Она не испугалась этого, но увлеченіе быстро соскакивало съ нея... У нея нѣтъ уже вѣры въ то, что, одно время, казалось ей новымъ откровеніемъ правды и справедливости. Московская боярышня всплыла и начала овладѣвать ею незамѣтно и прочно. Ея красивая голова, точно запутанный клубокъ нитокъ, разбирала противорѣчія, произволъ положеній и афоризмовъ, которые надо было признавать безусловно; работа головы пахла холодкомъ и на личное отношеніе къ тѣмъ, кто ее затягивалъ въ служеніе „дѣлу“. Она разглядѣла почти всѣхъ. Ни мужчины, ни женщины не выдержали ея анализа... Одинъ недостаточно уменъ, другой фанатикъ безъ познаній и даже безъ логики, третья рисуется своими крайними идеями, четвертая отталкиваетъ грубостью, неряшливостью и опять нетерпимостью... Съ ними невозможно и спорить. Они считаютъ всякое возраженіе измѣной, „гнуснымъ“ ретроградствомъ. Какъ разъ прослывешь и шпионкой.

И такъ протанулось четыре года дѣвической жизни, съ выхода изъ пансіона. Смерть отца внесла ноту горечи, и одиночество стало еще замѣтнѣе... Матери своей она не помнила. Тетка — только покладливая компаньонка, — не больше. Одиночество и охватившая ее сухость жизни, — быть вѣчно одной хозяйкой цѣлаго дома и госпожей своихъ поступковъ, — вѣроятно, и толкнули ее въ сторону „дѣла“. Тогда она стала дѣлаться равнодушнѣе и къ лекціямъ; перешла, однако, во второй курсъ; одно время negliжировала занятіями, а когда соскочило съ нея увлеченіе политикой, къ концу второго года, она и къ профессорамъ стала относиться критически; ея сегодняшний разговоръ съ Ериловымъ показалъ ей, какъ она теперь далека отъ прежняго подчиненія авторитету лекторовъ...

Да и вообще нѣтъ чего-то, самаго главнаго, радостнаго и оживляющаго особымъ электричествомъ. Всѣ эти „хорошія книжки“, лекціи, всѣе разговоры съ „направленіемъ“, вечеринки, люди зрѣлыхъ лѣтъ, занимающіе каведры, молодые люди, стремящіеся къ каведрѣ или просто молодые люди, помощники присяжныхъ повѣренныхъ, студенты, техники... Не умѣютъ они даже говорить такъ, чтобы чувствовался вкусъ къ жизни, чтобы что-то такое

заиграло тамъ внутри души, какъ веселый солнечный зайчикъ на стѣнѣ въ весенній день.

Никто не можетъ вызвать страсть или отвѣтить на нее красиво, обаятельно, ни въ комъ не чувствуешь мужчины, сильнаго и кроткаго, съ умной лаской или завлекательно нервнаго, смѣлаго въ порывахъ своихъ.

Вотъ и Виталій Орестовичъ, который началъ интересоваться ею... Развѣ между ними летятъ искры неудержимаго влеченія?... Онъ хлопочетъ о ея развитіи и не замѣчаетъ, что ей отъ этого развиванія дѣлается скучно—особой скукой, въ родѣ мелкаго дождя, —отъ разговоровъ на темы, гдѣ совсѣмъ не то говоришь, что бы въ ту минуту хотѣлось.

Ермиловъ тысячу разъ правъ! Всѣ эти „идеалисты“ ходятъ вокругъ да около настоящей жизни, искусства и литературы. Они не то любятъ, не тѣхъ поэтовъ, не тѣхъ романистовъ, не наслаждаются формой, не видятъ въ томъ, что красиво и ново, почти ничего, кромѣ предлога къ разсужденіямъ на общественные и моральные сюжеты... Всѣ книжки, какія онъ давалъ ей „штудировать“, такого же рода: умныя, полезныя, иногда новыя для нея, но совсѣмъ не такія, чтобы чтеніе ихъ вызывало между нею, дѣвушкой двадцати-одного года, и имъ, молодымъ мужчиной двадцати-пяти—трепетныя минуты сочувствія, сердечныхъ неожиданностей, когда симпатія подбуждается тайно и ждетъ только предлога, чтобы все освѣтить, все сдѣлать прекраснымъ, полнымъ очарованія...

Да и не могла бы она прильнуть къ нему душой, еслибы и хотѣла, къ этому маленькому, аккуратному, отчетливо говорящему и „юркому“,—ей пришло на память это слово Ермилова,—кандидату правъ, Виталію Орестовичу Куликову.

Въ немъ она не видитъ даже искренней убѣжденности... Настоящая вѣра въ принципъ знакома ей была по кружку болѣе радикальной молодежи... Тамъ—фанатики, но ужъ вплотную, безъ всякихъ заднихъ мыслей...

А Куликовъ слишкомъ чистенькій и осторожный, черезъ-чуръ похожъ на нѣмчика, съ своей курчавой черной головой, съ узкимъ черепомъ и манерами конториста отъ Юнкера на Кузнецкомъ. Онъ—либераль и сильно поддѣывается теперь ко всѣмъ, кто даетъ тонъ въ обществѣ, гдѣ онъ дѣлаетъ свою карьеру.

„Онъ ее и сдѣлаетъ“,—подумала Анна Гавриловна, и даже представила себѣ, какъ онъ вѣжливо и основательно, съ улыбочкой и съ красивыми маленькими фразами, будетъ стоять на ка-

оедръ, въ большой физической аудиторіи новаго университета и защищать свою магистерскую диссертацию.

И слово „магистерская“ прошло у нея въ головѣ съ удареніемъ на третьемъ слогѣ, какъ дѣлаетъ Куликовъ, подражая нѣкоторымъ профессорамъ.

Нѣтъ, этотъ маленькій человѣкъ не заполонитъ ее, не дастъ ей ощущеній любви, не покажетъ ей и подобія страсти... или глубокаго — какъ морское дно — счастья двухъ существъ, отыскавшихъ другъ друга въ дремучемъ лѣсу житейскихъ встрѣчъ и случайностей.

Ей уже давно сдается, что ѣздить онъ къ ней не спроста, самъ предложилъ ей эти бесѣды, которыя отнимаютъ у него время. Она намекнула уже ему, что готова платить ему гонораръ, хотя ей нѣтъ большой надобности въ такихъ „репетиціяхъ“... Онъ на-отрѣзъ отказался.

Да, ѣздить не спроста. Значить, — мѣтить въ женихи.

Это слово: „женихъ“, какъ будто не понравилось ей... Она брезгливо повела губами и переложила на столѣ книжки въ другомъ порядкѣ.

Неужели подползла уже и ей пора дѣлать выборъ, какъ и другимъ „барышнямъ“, дворянкамъ и купчихамъ, потому что „такъ надо“, лѣта просить этого... А то начнетъ засасывать боязнь остаться въ дѣвахъ...

Но она свободна, съ хорошимъ состояніемъ, не глупа, любитъ ширь... Нигдѣ, правда, еще не бывала дальше Химокъ или Кунцева... Но развѣ не можетъ она сдать свой домъ въ наемъ, взять тетушку или компаньонку и поѣхать на цѣлый годъ за границу, взглянуть на красоты южнаго неба и водоворотъ Парижа?.. Вотъ такой, какъ Юрій Петровичъ, былъ бы ей чудеснымъ товарищемъ. Мужа изъ него не выйдетъ... Идти на нѣжности съ нимъ она не желаетъ... Но поѣхать съ нимъ по итальянскимъ озерамъ, провести мѣсяцъ въ Парижѣ... да это — восторгъ!..

Анна Гавриловна мечтала такимъ образомъ и не разслышала, какъ Даша окликнула ее вторично:

— Барышня!

— Чтò тебѣ?

— Къ чаю прикажете поставить закуску?

— Конечно.

— Чего же изволите приказать?

— Я не знаю... Ахъ, Даша, какъ будто это въ первый разъ!..

— Ростбифа нѣтъ...

— Ну, чего-нибудь... Все равно...

Ей стало досадно на то, что Даша прервала ея мечты о Комскомъ озерѣ и парижскихъ бульварахъ... И стоитъ ли для Куликова дѣлать такія приготовленія?

— Тетуська еще почиваетъ? — спросила она, и немного какъ будто просвѣтлѣла.

Она не любила быть нервной, даже съ прислугой.

— Встали... Онѣ приказали сказать, что чай будутъ кушать у себя.

— Хорошо... Ступай.

Тетуська употребляла свой обычный маневръ не мѣшать ей быть одной съ Куликовымъ. Онъ ей понравился... Женихъ!.. И, вѣроятно, по ея соображеніямъ пришла послѣдняя пора Аночкѣ „вынуть свой жребій“.

— Въ которомъ часу чай?

— Ахъ, Даша! Какъ вы сегодня пристааете!.. Какъ всегда, въ девяти...

Позвонили. Даша устремилась отворять... И она считала Куликова женихомъ. По ея понятіямъ иначе и не могло быть; барышня принимаетъ молодого барина по два раза въ недѣлю, и засиживаются они до полуночи съ глазу на глазъ и все ведутъ разговоры, разумѣется, любовные; а книжки — только для отвода глазъ, — думалось Дашѣ.

IX.

По главной парадной лѣстницѣ ресторана „Эрмитажъ“ поднимался Ермиловъ — въ началѣ шестого. Онъ пріѣхалъ на обѣдъ, по подпискѣ товарищей и пріятелей, Ивану Никитичу Симбирцеву, по случаю его академическаго повышенія.

Ермиловъ довольно давно не попадалъ въ „Эрмитажъ“ — въ это, какъ онъ выражался, „государственное учрежденіе“. Съ тѣхъ поръ, послѣ пожара, многое было тамъ передѣлано. Слышалъ онъ про новый совсѣмъ видъ залы ресторана, гдѣ играетъ оркестріонъ, про плафонъ, расписанный дорогимъ художникомъ, и разныя другія украшенія приподнятаго лѣпного потолка... Въ бѣлой же залѣ подъ мраморъ, гдѣ даются большіе обѣды, онъ уже бывалъ не разъ въ послѣдніе годы.

Окраска и убранство сѣней и лѣстницы — смѣсь чего-то античнаго съ новѣйшей бронзой парижскаго издѣлія — заставили его усмѣхнуться. „Эрмитажъ“ оставался вѣренъ своему типу: переваривались тутъ всякіе стили, какъ и въ ѣдѣ, изготавливаемой на его громадной кухнѣ, гдѣ двадцать поваровъ и сорокъ поварятъ,

подъ надзоромъ француза-шефа, съ одиннадцати утра до четырехъ ночи отпускаютъ безконечные ряды порцій.

На широкомъ окнѣ лѣстницы, откуда подъемы расходятся направо и налево, Ермиловъ увидалъ фотографію кухоннаго персонала, длинную и узкую, среди картонныхъ объявленій объ омакахъ, блинахъ, устрицахъ и морскихъ рыбахъ. На всѣ эти рекламы лился веселый свѣтъ изъ газовыхъ канделябръ въ рукахъ обнаженныхъ бронзовыхъ женщинъ съ египетскими головными уборами.

Запахъ обдалъ его, — проникавшій сверху, давно, съ студенческихъ лѣтъ знакомый ему, неразлагаемый запахъ хорошаго московскаго трактира. Все это „замолаживаетъ“ его, хотя къ былымъ рубашкамъ половыхъ и ко всей этой „мѣшанинѣ“ Европы съ Азіей онъ имѣлъ мало склонности... Егоръ Петровичъ любилъ, чтобы изъ Европы переносили все „цѣликомъ, не умничая, не передѣлывая“, и серьезно толковалъ о томъ, какъ важно было бы открывать настоящіе бульварные кафѣ, съ гарсонами въ длинныхъ фартукахъ и прокладительными по строго парижскому образцу.

Но воспоминанія, кровная связь съ Москвой — брали свое...

На верхней площадкѣ Ермиловъ искренно ослабилъ лицо свое, увидавъ француза контръ-мэтра, съ которымъ не разъ обсуждалъ меню ужिनговъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ послѣ маскарадовъ.

— Monsieur Carolus! — окликнулъ онъ его и подалъ ему свою породистую, дворянскую руку.

Каролюсъ былъ все тотъ же и ободряюще дѣйствовалъ на всякаго неизмѣнностью своего вида.

Каждый входившій, въ томъ числѣ и Ермиловъ, могъ забывать свои годы, воображать себя, что и онъ все тотъ же, какъ и пять лѣтъ тому назадъ, и болѣе...

Съ Каролюсомъ Ермиловъ поговорилъ, спросилъ его, гдѣ нынче „un diner de corps universitaire“, и узналъ, что обѣдъ въ красной комнатѣ новыхъ кабинетовъ и заказанъ на двадцать-пять человѣкъ; услышалъ онъ отъ француза и нѣкоторыя подробности о капитальныхъ передѣлкахъ; что стоилъ корпусъ новыхъ кабинетовъ съ бѣлой залой, и во что обошелся пожаръ съ теперешней залой ресторана. Потушили они о покойномъ патронѣ, основателѣ заведенія. Низковатая фигура его и хмурая голова блондина встали въ памяти Ермилова, какъ живыя, за конторкой буфета... Съ тѣхъ поръ хозяйничало паевое товарищество.

Каролюсъ спросилъ его, между прочимъ, на какую сумму,

полагаетъ онъ, было въ прошломъ году побито посуды на счетъ ресторана?

Ермиловъ затруднился угадать.

— Pour dix mille roubles de casse, cher monsieur, rien que de la casse!..

И французъ даже прицѣлнулъ языкомъ, провожая гостя къ одной изъ арокъ большого ресторана, гдѣ обѣденное время вступило въ полный разгаръ, а помѣщающійся на хорахъ оркестріонъ билъ въ уши грохотомъ и гудѣньемъ, выдѣлывая нумеръ изъ „Цыганскаго барона“.

Ермиловъ всталъ у буфета и оглядывалъ въ ринсе-пезъ лѣпныя украшенія и расписной плафонъ. Съ середины потолка смотрѣла на него голая женщина, розовая и прикрашенная, въ условномъ декоративномъ вкусѣ.

— Comment trouvez-vous la déesse? — спросилъ его французъ.

— Comme ça! — отвѣтилъ Ермиловъ и присвистнулъ.

— Dix mille roubles, cher monsieur!

— Comme la casse, alors?..

Оба разсмѣялись шуткѣ.

Бѣлыя рубашки сновали между малиновыми диванами, грохотъ оркестріона сливался съ гуломъ голосовъ. Табачный дымъ уже застилалъ пламя свѣтъ на каждомъ столѣ. Зала съ своей сѣровато-зеленой лѣпной отдѣлкой потолка и стѣнъ и хрусталиками газовыхъ люстръ болѣе дразнила, чѣмъ удовлетворяла зрѣніе, и Ермилову хотѣлось сейчасъ бы все это передѣлать по своему.

Онъ доволенъ былъ только тѣмъ, что въ ресторанѣ обѣдали и дамы... Одна высокая шляпка съ шесткомъ изъ пестрыхъ лентъ заставила его обернуться вправо...

— Vous m'excusez? — шепнулъ ему торопливо французъ, котораго позвали въ кабинетъ.

— Faites, faites!.. — отпустилъ его Ермиловъ и медленной, развалистой походкой прошелся вдоль буфета къ тому углу, гдѣ сидѣла шляпка.

Лицомъ онъ не остался доволенъ и разсудилъ, что пора и въ красную комнату... Надо было опять попасть на лѣстницу, подняться и спуститься и повернуть въ корридоръ новыхъ кабинетовъ, гдѣ группа бѣлыхъ рубашекъ ждала гостей...

— Егоръ Петровичъ! Батюшка! Пожалуйста... васъ ждутъ!

Къ нему на-встрѣчу вышелъ въ корридоръ Кустаревъ, въ черномъ новомъ сюртукѣ, но въ рубашкѣ съ шитымъ воротомъ, возбужденный и немного покраснѣвшій.

— Всѣ въ сборѣ?..

— Одного не хватаетъ... Мы уже начали рушить закуску.

Съ Кустаревымъ Ермиловъ не видался съ его визита на хуторъ. Ему совѣстно было, что онъ взбудоражилъ тогда ихъ съ женой, увѣренный въ томъ, что все обойдется скоро и удобно. Лилу онъ долженъ былъ оставить у Невзоровыхъ, о чемъ и написалъ ей матери. Извинился онъ и передъ Кустаревыми въ очень веселенькой запискѣ, гдѣ описалъ съ юморомъ свое собственное „шенпанство“. Евменій Филипповичъ, въ отвѣтномъ письмѣ, не сталъ ему пенять, находилъ даже, что такъ лучше, потому что Гая могла бы очень привязаться къ ребенку — и тогда бѣда. Онъ былъ тронутъ тѣмъ, что Егоръ Петровичъ остался еще на нѣсколько дней отобѣдать въ честь Симбирцева, ихъ общаго товарища по гимназіи.

Сурово-добродушный видъ Кустарева сразу наполнилъ Ермилова молодымъ чувствомъ корпоративной связи... Нужды нѣтъ, что онъ частенько, про себя, подтрунивалъ надъ университетскими москвичами, ихъ слабостью къ застольнымъ спичамъ, длиннымъ и обильнымъ разными „хорошими словами“. Но ему было пріятно въ ихъ средѣ, именно въ этомъ „Эрмитажѣ“, въ той красной комнатѣ, гдѣ онъ столько разъ ѣлъ и пилъ, и самъ произносилъ спичи, и любезничалъ съ дамами кружка.

...Давно ли это было? вспомнилъ онъ. — Давали небольшимъ обществомъ веселый обѣдъ русскому писателю, пріѣхавшему изъ Парижа зимой. Съ какимъ аппетитомъ закусывалъ онъ свѣжей верой и какъ достолюбезно и тонко улыбался, — сидя на почетномъ мѣстѣ, — всѣмъ участвовавшимъ. И дамы говорили... Одна премиленная курсистка составила весьма умный и литературно отдѣланный спичъ и вначалѣ отъ волненія запнулась, но дошла до конца, при шумныхъ рукоплесканіяхъ...

И давно ли это было? И писатель лежитъ на кладбищѣ; и та курсистка безслѣдно исчезла... И самъ Ермиловъ постарѣлъ на цѣлыхъ семь-восемь лѣтъ...

— Пожалуйста, пожалуйста, дружище! — подталкивалъ его Кустаревъ, пропуская впередъ.

Они остановились передъ крайней дверью налѣво. Половой взялся за ручку, чтобы растворить.

— Все свои? — шопотомъ спросилъ Ермиловъ.

— Да... только...

Кустаревъ поморщился.

— Есть какой-нибудь „Милостивый Государь“?

— Именно... Сохинъ... Помните?

— Что-то забылъ.

— Онъ съ Симбирцевымъ въ университетѣ водилъ хлѣб-
соль. Ну, узналъ объ обѣдѣ и увязался...

— А изъ какихъ онъ?

Кустаревъ на ухо Ермилова отрѣзалъ: — Ренегатишка!.. — и прибавилъ еще одно крѣпкое слово.

— Въ массѣ—сойдетъ...

— Онъ и теперь сидитъ какъ будто оплеваннымъ. Никто съ нимъ не говорить.

Они вошли въ красную комнату. Гулъ голосовъ переливался вдоль длиннаго стола съ закуской. Широкий обѣденный столъ занималъ средину, — весь въ свѣтѣ четырехъ массивныхъ канделябровъ.

Точно вчера еще пировалъ тутъ Ермиловъ съ москвичами... И пьянино на томъ же мѣстѣ, и мебель разставлена безъ малѣйшей перемѣны.

— Вотъ и парижанинъ! — провозгласилъ Кустаревъ и толкнулъ Ермилова къ густой вучкѣ, занимавшей ближайшій уголъ у закуски.

— А!.. А!.. Егоръ Петровичъ!.. Съ прїѣздомъ!.. Голубчикъ!..

Начались рукопожатія и даже поцѣлуи. Съ двумя-тремя участниками обѣда Ермиловъ былъ на „ты“ — въ томъ числѣ и съ Симбирцевымъ.

Симбирцевъ первымъ поцѣловался съ Ермиловымъ... Онъ со всѣмъ посѣдѣлъ и смотрѣлъ лѣтъ на семь на восемь старше его, но полное и румяное лицо лоснилось отъ цвѣтущаго здоровья сангвиника, плотнаго, плечистаго, съ брюшкомъ... И небольшая лысина его сіяла, искрились сѣрые глазки; подстриженная четырехугольникомъ борода тоже какъ будто улыбалась.

Онъ не унывалъ и все съ тою же выносливостью тянулъ свою лямку хорошаго работника и отца съ поддюжины дѣтей, — уходилъ съ одинаковой душевной отрадой и въ свою семейную жизнь, и въ занятія „естественника“. Онъ держался положительныхъ идей и не долюблялъ „метафизики“; не отказывался ни отъ какого обѣда или вечеринки, но въ карты не игралъ, зато балагурилъ и рассказывалъ веселыя вещи по цѣлымъ часамъ.

И въ туалетѣ Симбирцевъ былъ своеобразенъ: внѣ службы носилъ имъ самимъ сочиненный короткій „реденготъ“, застегнутый до верху, темнооливковаго цвѣта, а часы помѣщалъ въ наружномъ боковомъ карманѣ...

— Наконецъ-то завернулъ и къ намъ... Великій шатунъ и сластолюбецъ!.. Пройдемся по горькошпанской!

Онъ пригласилъ Ермилова широкимъ жестомъ правой руки —

указывая на рядъ бутылокъ со всевозможными водками и на вазочку съ свѣжей икрой.

— Икра!.. Это — важная статья!.. — отвѣтилъ въ тонъ Ерма-
ловъ, и ему стало еще пріятнѣе среди этихъ большею частью
плотныхъ и рослыхъ фигуръ и возбужденныхъ бородатыхъ лицъ.

— Вонъ онъ! — шепнулъ ему Кустаревъ, у котораго не про-
ходило нервное возбужденіе. — На томъ углу, давится семгой.

Одинъ — на замѣтномъ разстояніи отъ остальныхъ — закусывалъ
сухощавый блондинъ съ просѣдью, съ пробритой верхней губой
и жидкой бородкой рыжеватаго оттѣнка, съ выдающимися подбо-
родкомъ и толстой нижней губой. На щекахъ замѣтны были
красноватые пятна. Глаза глядѣли вкось, и лицо все усмѣхалось
нехорошей усмѣшкой.

— Хорошо!.. — отвѣтилъ Ермаловъ. — Какъ его фамилія?

— Да Сохинъ же!

Евменію Филипповичу невыносимо становилось присутствіе
этого господина, и онъ радъ былъ бы хоть какой-нибудь тревогѣ,
въ родѣ пожара что-ли, только бы не обѣдать съ этимъ Сохинымъ.
Самому Симбирцеву онъ не выговаривалъ за то, что тотъ не
устранилъ Сохина, явившагося прямо къ обѣду, безъ предвари-
тельнаго заявленія и не будучи приглашеннымъ распорядителями.

Распорядителей было двое: Кустаревъ и Куликовъ.

Только-что Ермаловъ перекинулся словами, шопотомъ, на-
счетъ Сохина, какъ къ нему подошелъ маленький брюнетикъ
въ золотыхъ, очень блестящихъ очкахъ, чистенько одѣтый, кур-
чавый, съ бородкой, подстриженной по модѣ очень низко.

— Имѣлъ удовольствіе встрѣчаться... — заговорилъ онъ отчет-
ливо и быстро, тономъ благовоспитаннаго молодого чиновника...

— Monsieur Куликовъ? — освѣдомился Ермаловъ, и черезъ
prince-peз прищурилъ на него свои барскіе глаза.

— Виталій Орестовичъ Куликовъ... второй распорядитель —
чай, помнишь? — окликнулъ Симбирцевъ. — Онъ тебя усадить съ
кѣмъ тебѣ хочется...

„Такъ это ты посягаешь на домовладѣлицу у Патриаршихъ-
Прудовъ? — подумалъ Ермаловъ. — Не дуры у тебя губы“.

Онъ особенно учтиво — какъ отлично умѣлъ съ людьми ему
еще неизвѣстными — подаль руку брюнетнику и сказалъ:

— Весьма радъ!

— Анна Гавриловна просила поблагодарить васъ за книгу.
Она надѣется, что вы заѣдете проститься.

— Непремѣнно.

Ермиловъ добавилъ про себя: „будто бы ужъ тебѣ наше знакомство доставляетъ такое удовольствіе?“

И онъ немножко разсердился на этого юркаго кандидатика за его молодость, за то, что тотъ, быть можетъ, сдѣлается законнымъ обладателемъ прелестнаго носика, пушистыхъ рѣсницъ, роскошныхъ волосъ и родинки на персиковой щекѣ „московской боярышни“.

Книга, за которую Вогулина прислала этого „жениха“ благодарить Ермилова, былъ именно томикъ сонетовъ Жозе-Маріа-Эредіа. Онъ нашелся у Готье и былъ ей доставленъ прямо изъ магазина сегодня утромъ.

— Вы еще не выбрали мѣсто?—сладковато спросилъ Куликовъ. — Между кѣмъ и кѣмъ вамъ угодно сѣсть?

Ермиловъ указалъ на Кустарева и одного адвоката, державшагося пріятельски съ кружкомъ.

— Позвольте мнѣ вашу карточку... Я ее положу на бокаль. „Ты безъ мыльца влѣзешь“,—подумалъ Ермиловъ, и любезность Куликова стала ему довольно противна.

Онъ съ кѣмъ-то заговорилъ въ другой группѣ.

— За столъ, господа, за столъ! — раздалось приглашеніе Кустарева.

Половые уже суетились вокругъ суповыхъ чашекъ съ двумя сортами горячаго.

Комната наполнилась испареніями жирнаго ракового супа.

Всѣ шумно стали разсаживаться, продолжая начатые разговоры.

Сохинъ втерся въ сосѣдство Симбирцева и Кустарева, на почетномъ углу стола.

Х.

Спичи начались со второго блюда—разварной рыбы.

Раздался стукъ ножа о стаканъ. Первымъ всталъ Кустаревъ. Онъ не отличался склонностью къ застольнымъ рѣчамъ, но тутъ случай былъ особенный: Симбирцева онъ любилъ и видѣлъ въ немъ рѣдкій—между русскими — примѣръ чловека, нашедшаго свой устойчивый базисъ, уравновѣшеннаго по натурѣ, выносливаго въ работѣ, способнаго „переждать“ самыя крутыя времена, не смущеннаго тѣмъ, что уже нѣсколько лѣтъ вѣяло другимъ духомъ, философа на свой ладъ, безъ риска и безъ компромиссовъ. Частенько Кустаревъ завидовалъ такому душевному складу Симбир-

цева, завидовать тому, что онъ, „естественникъ“, занимаетъ ка-
едру, не зависящую ни отъ какихъ переменъ вѣтра, имѣетъ
дѣло съ вѣчными законами природы. Но, завидуя, онъ зналъ про
себя, что онъ самъ и „естественникомъ“ не удержался бы и
ушелъ бы со службы.

Кустаревъ говорилъ не цвѣтисто, своимъ хриплымъ задушев-
нымъ баскомъ. Видно было, что онъ задумалъ одинъ только
остовъ спича, а потому мѣстами импровизировалъ, обращался
часто къ Симбирцеву на „ты“ и вставлялъ два-три воспоминавія
студенчества и первыхъ шаговъ на академическомъ поприщѣ.

Ему хотѣлось высказать то, что вотъ они опять вмѣстѣ, и
хотя имъ подчасъ и приходится „жутко“, но надо держаться и брать
примѣръ съ Симбирцева. Если уже черезчуръ трудно сдѣлаться
„кроткимъ какъ голубица“, то надо быть „мудрымъ какъ змій“
и не давать себя на съѣденіе, зря, — припрятать юношескую пыл-
кость для лучшихъ оказій.

Слушая пріятеля, Ермиловъ сидѣлъ съ полузакрытыми глазами.

При первыхъ словахъ Кустарева онъ нагнулъ голову и даже
закрывъ совсѣмъ глаза. Ему дѣлалось почти по-дѣтски стыдно,
когда кто-нибудь изъ близкихъ ему лицъ начиналъ произносить
рѣчь. Онъ боялся и того, что Кустаревъ скажетъ что-нибудь
слишкомъ рѣзкое, рискованное, отъ чего его попросятъ, пожалуй,
переселиться и изъ подмосковнаго хуторка. Тутъ же еще этотъ
Сохинъ, котораго самъ Кустаревъ обозвалъ „ренегатишкой“.

Но спичъ Евменія Филипповича начинался вовсе не такъ. Ерми-
лову стало легче; потомъ онъ совсѣмъ раскрылъ глаза, вздѣлъ свое
pince-nez и началъ, прищуриваясь однимъ глазомъ, слѣдить за
лицами обѣдавшихъ.

„Да вѣдь онъ себѣ самому нотаціи читаетъ, — думалъ Ермиловъ,
и ему тотчасъ вспомнился разговоръ съ его родственникомъ, въ
губернскомъ городѣ, за чаемъ. — Это тѣ же совѣты, только въ
другой формѣ“.

„Въ добрый часъ, — одобрялъ онъ мысленно Евменія Филиппо-
вича: — такъ-то гораздо лучше! Хорохориться — нечего! Надо вы-
ждать, какъ дѣлаетъ Симбирцевъ и всѣ истинно умные люди“...

Глаза Ермилова невольно повернулись въ ту сторону, гдѣ,
поближе къ Симбирцеву, присосѣдился Сохинъ.

Его нижняя губа выпятилась, щеки — нечистой кожи и съ
красными пятнами перекошились въ усмѣшку, глаза были ско-
шены, все выраженіе говорило о томъ, что его внутренно дер-
гало въ ту минуту; ему было и неловко, и злился онъ на себя
за эту неловкость, и хотѣлъ взять развязностью, но никто къ

нему не обращался, и вотъ онъ съ усмѣшкою и увѣренностью человека, вступившаго на твердую почву, относился къ этому *profession de foi* Кустарева, готовый крикнуть ему: „что, пріятель? сбрендилъ?“

Обо всемъ этомъ догадался Ермиловъ, и что-то ему подсказало, что присутствіе Сохина даромъ не пройдетъ.

Евменій Филипповичъ не могъ, однако, выдержать спича въ томъ же духѣ до конца. Онъ закончилъ, приподнявъ и токъ рѣчи, и звукъ голоса, указаніемъ на то: какъ рѣдки теперь люди, оставшіеся вѣрными себѣ, какъ часты перебѣжчики...

Ему ужасно захотѣлось бросить взглядъ на Сохина, — тотъ сидѣлъ противъ него, — но онъ этого не сдѣлалъ.

Ермиловъ завозился на стулѣ, не выдержалъ и, обратившись къ своему сосѣду адвокату, шепнулъ:

— Дѣло портится!

Тотъ кивнулъ ему головой.

Голосъ Кустарева задрожалъ, и нѣсколько фразъ было сказано такъ, что Ермиловъ опять закрылъ глаза.

Сильныя рукоплесканія раздались съ обоихъ концовъ стола, и къ Симбирцеву потянулись съ бокалами, жали руки, шли цѣловаться; благодарили и Кустарева, чокались съ нимъ всѣ. Сохинъ протянулъ свой бокалъ къ Симбирцеву и сказалъ ему голосомъ старой женщины, — онъ былъ почти безъ зубовъ — и съ косою усмѣшкой:

— Ну, братъ, — разразился теперь и ты...

Никто больше съ Сохинымъ не чокался, что Ермиловъ подмѣтилъ.

Когда всѣ опять разсѣлись и принялись за куски филе съ шампиньонами, вышла маленькая пауза, чуть-чуть достаточная, чтобы хорошенько пережевать два-три куска.

Сосѣдъ Ермилова, адвокатъ, говорилъ безъ умолку, расспрашивалъ его о „заграницѣ“, сожалѣлъ, что „каверзные дѣла“ не позволяютъ ему поѣхать „хоть на осень“ въ тотъ самый Біаррицъ, гдѣ „взимуютъ раки по части дамскаго пола“.

Онъ же называлъ ему и нѣсколько именъ участниковъ обѣда, которыхъ Ермиловъ или совсѣмъ не зналъ, или немного позабылъ.

— А это кто? — спросилъ Ермиловъ сосѣда и указалъ ему головой въ уголъ стола.

Рядомъ съ знакомымъ ему фельетонистомъ — съ наружностью степного помѣщика — сидѣлъ весь сгорбившись и уйдя головой въ широкій воротникъ рубашки, страннаго вида человекъ, неизвѣстно какихъ лѣтъ — отъ тридцати и до пятидесяти.

Голова съ приподнятымъ затылкомъ, узкая и длинная, плоскіе, темные, гладко причесанные за уши, довольно жидкіе, съ пробормомъ посрединѣ, волосы, самъ бритый, блѣлолицый, съ тонкимъ длиннымъ носомъ и широкимъ ртомъ—нѣчто напоминающее католическаго патера или американскаго пастора. Глаза онъ подолгу держалъ опущенными и поднималъ ихъ быстро, мигалъ нѣсколько разъ и устремлялъ потомъ въ пространство продолжительный, затуманенный взглядъ своихъ темно-голубыхъ, красивыхъ глазъ.

— Вонъ тотъ?

— Да.

— Это—одинъ фификусъ... землевладѣлецъ, живетъ въ Москвѣ года съ два. Съ университетскими дружень. Говорять, десять лѣтъ какую-то книжку пишетъ о предѣлахъ и возможностяхъ счастья на землѣ

— Вы это серьезно?—спросилъ сухо Ермиловъ, не любившій московскаго, дешеваго зубоскальства.

— Совершенно серьезно. Я самъ не читалъ, да онъ никому и не показываетъ, а робята сказывали.

— И его фамилія?

— Гремущинъ, Павелъ Павловичъ. Если угодно, я васъ познакомлю послѣ обѣда. Это,—адвокатъ сталъ говорить на ухо Ермилову,—одинъ изъ Тяпкинныхъ-Ляпкинныхъ, до всего своимъ умомъ дошелъ, потому-молъ, что проглотилъ книгу „Іоанна Массона“. А впрочемъ человѣкъ по-своему умный и много читалъ, хотя въ простотѣ словечка не скажетъ, а все притчами...

Раздался вновь стукъ ножа о стаканъ. Ему вторилъ другой. Сосѣдъ Ермилова примолкъ, и они оба обернулись въ ту сторону, откуда исходилъ главный стукъ ножомъ.

Поднялся Куликовъ, съ улыбочкой поглядѣлъ сначала на всѣхъ вправо и влѣво, затѣмъ въ шампанское своего бовала и заговорилъ дробью, отчетливо, съ переливами голоса бойкаго магистранта, отчеканивающаго свою пробную лекцію „pro venia legendi“.

Мимо ушей Ермилова проскальзывали слова, давно ему извѣстныя: готовые фразы о „солидарности“, „alma mater“, о томъ, что „много званныхъ и мало избранныхъ“ и еще о чемъ-то.

— Изъ молодыхъ, да ранній!—шепнулъ ему адвокатъ.

И тутъ онъ даже обрадовался прибавкѣ сосѣда—такъ Куликовъ былъ ему несимпатиченъ.

Не скоро кончилъ „развиватель“ прелестной Анны Гавриловны. Ермиловъ продолжалъ болтать съ сосѣдомъ, и на этотъ разъ—во-

преки привычкамъ своей воспитанности—даже обернулся бокомъ къ оратору.

Изъ заключительной тирады долетѣли до него фразы, гдѣ было все: и „община“, и „самодѣтельность общества“, и „надежда лучшихъ людей“, и еще что-то...

— И все это онъ вретъ,—шепнулъ адвокатъ:—просто желаетъ поддѣлаться къ этимъ господамъ и поскорѣе выйти самому въ заправскіе ученые.

— Безъ всякаго сомнѣнія!—почти громко сказалъ Ермиловъ, хлопать не сталъ и не пошелъ чокаться съ Куликовымъ.

Но тотъ сидѣлъ противъ него, и очень ужъ неловко было не протянуть ему своего бокала черезъ столъ и чуть слышно не сказать:—Ваше здоровье!

Пауза послѣдовала значительная. Всѣ занялись артишоками. Это была та минута, въ обѣдахъ съ рѣчками, когда у многихъ чешется языкъ, но разбираетъ робость, или не хочется выскочить прежде другихъ, или ждутъ, чтобы „виновникъ торжества“ сначала отвѣтилъ.

Этой именно минутой воспользовался Сохинъ.

Онъ всталъ безъ стука ножомъ, тихо и какъ-то бокомъ, съ бокаломъ въ рукахъ, и выговорилъ, шамкая немного:

— Прошу позволенія сказать нѣсколько словъ.

Всѣ подняли головы, не доѣвъ блюда, и съ дурно скрываемымъ недоумѣніемъ примолкли.

Говорить Сохинъ умѣлъ. Шамкая и растягивая слова, сдѣлалъ онъ обращеніе къ Симбирцеву, также на „ты“, какъ и Кустаревъ, но въ тонѣ старшаго товарища, который руководилъ имъ когда-то,—почти какъ наставникъ, желающій прочесть легкое правоученіе.

Всѣ это такъ и поняли. Кустаревъ закусилъ губы, сталъ блѣднѣть и переглянулся съ Ермиловымъ.

„Будетъ буря“,—подумалъ тотъ.

А Сохинъ продолжалъ. Онъ припомнилъ вератцѣ смыслъ рѣчи Кустарева и съ легкимъ подсмѣиваніемъ похвалилъ и его, и его „единовѣрцевъ“—такъ онъ выразился—за то, что они „взялись за умъ“ и поняли, какъ смѣшно ставить свое высокомеріе и „политиканство“ выше „историческаго теченія событій“, выше того „уклада“, которому русское общество должно отнынѣ неустанно слѣдовать...

Но онъ этимъ не ограничился, а призвалъ всѣхъ этихъ „взявшихся за умъ“ очистить себя, искренно и всенародно прильнуть къ общему теченію, а не держать камня за пазухой, и быть

„мудрымъ какъ змій“ вовсе не за тѣмъ, чтобы жалить въ благопріятную минуту.

На этихъ словахъ онъ протянулъ свой бокалъ къ Симбирцеву и провозгласилъ тостъ за „истинную науку; посягающую единство, а не раздоръ и каверзу“!

Никто не издалъ ни одного рукоплесканья—и Сохинъ сѣлъ, красный, съ улыбающимся лицомъ, гдѣ было написано: „Я-моль свое сказать—и вы все это съѣли; мнѣ больше ничего и не надо“.

Къ Ермилову наклонился черезъ столъ совсѣмъ лысый чело­вѣкъ, лѣтъ сорока, съ забавнымъ лицомъ юмориста и тихо продекламировалъ:—*Desinit in piscem mulier formosa superne!*— настоящая сирена!

— Именно!—подхватилъ адвокатъ, не забывшій школьную латынь.

Между тѣмъ раздраженіе начало разбирать всѣхъ—Симбирцевъ всталъ, порывисто, съ сіяющимъ лицомъ и началъ благодарить друзей, по привычкѣ весело балагурия и остря.

— *Il sauve la situation!*—прошепталъ Ермиловъ на ухо адвокату.

Взрывы хохота перерывали импровизацію добраго и стойкаго весельчака.

— „Мы хоть лыкомъ шиты,—закончилъ онъ;—а свою линію ведемъ. Въ „небѣсты“ мы, правда, не годимся, но я все-таки сравню насъ съ тѣми дѣвами, которыя свѣтильники свои не загасили“.

За нимъ говорило еще нѣсколько чело­вѣкъ; спичъ Сохина былъ какъ будто забытъ; но впечатлѣніе осталось. Не одинъ Ермиловъ боялся, что Кустаревъ не выдержитъ.

Когда послѣ чая и кофе зашумѣли стульями, многіе подумали: „Ну, слава Богу, прошло безъ исторіи“.

Кустаревъ все время молчалъ; похлебывалъ тѣмъ же изъ своего стакана и по временамъ блѣднѣлъ. Его помощникъ Куликовъ черезъ столъ угощалъ всѣхъ сигарами.

Со стола прибрали. Всѣ уѣли по группамъ.

XI.

Около пьянино разсѣлся по срединѣ Симбирцевъ и около него, кружкомъ, Кустаревъ, тотъ классикъ съ забавнымъ лицомъ, сказавшій Ермилову латинскій стихъ, Куликовъ, фельетонистъ и еще какіе-то двое...Остальные разбрелись по разнымъ угламъ комнаты,

сдѣлавшейся еще болѣе просторной, когда половые убрали заку-
сочный столъ.

Адвокатъ свелъ Ермилова съ Гремущинымъ и оставилъ ихъ
на диванѣ.

— Вы сравнительно недавній членъ кружка?—спросилъ Гре-
мушина Ермиловъ любезнѣйшимъ тономъ перваго знакомства и
глядя на него мягкими глазами.

Пріятели Егора Петровича называли эту манеру: „Ермиловъ
нащупываетъ интереснаго человѣка“.

— Да развѣ это кружокъ?—спросилъ тотъ высокимъ тено-
ромъ, подходившимъ къ его бритому лицу... „Ein кружокъ in der
Stadt Moskau“?!

Онъ разсмѣялся, немного всхлипывая.

Этотъ смѣхъ не понравился Ермилову.

— А какъ же? Есть еще ядро... Но противъ прежнихъ
лѣтъ не тотъ уже подъѣмъ духа.

Бритый человѣкъ искоса взглянулъ на него. Лицо очень
быстро послѣ смѣха приняло серьезное, почти грустное выра-
женіе. Медленнымъ, тагучимъ голосомъ онъ выговорилъ:

— Совершенно бесполезно повторять все тѣ же приемы пре-
краснодушія... временъ Бѣлинскаго... Это только выказывать свою
слабость...

Ермиловъ кивнулъ утвердительно головой.

Онъ далъ чудаку (такъ онъ опредѣлилъ уже Гремущина) вы-
сказаться и слушалъ его съ пріятнымъ и почтительнымъ накло-
номъ своей бѣлокурой, подстриженной головы.

Бритый человѣкъ началъ развивать свою мысль все тѣмъ же
замедленнымъ темпомъ и высокимъ звукомъ голоса. Онъ сдѣлалъ
намекъ на Сохина и его коварный и нахальный спичъ.

— Il paraît d'audace,—сказалъ Ермиловъ и прибавилъ:—онъ
чувствуетъ, что сила—за нимъ.

— Конечно,—протянулъ Гремущинъ и продолжалъ логически
выводить заключенія изъ своихъ предпосылокъ.

Въ немъ Ермиловъ тотчасъ же почувалъ человѣка дѣйствительно
много думавшаго и начитаннаго, и притомъ „на свой салтыкъ“.

„Ты не университетскій,—опредѣлилъ онъ:—а самоучка, и
былъ гдѣ-нибудь въ спеціальному заведеніи, а потомъ доучивался
за границей“.

— Позвольте маленькій вопросъ. Вы долго жили на западѣ?

— Не очень долго; но порядочно... больше всего въ Парижѣ
и во французской Швейцаріи.

Онъ сообщилъ, что даже привыкъ писать по-французски.

И не покидая нити своихъ обобщеній, новый знакомый Ермилова опять вернулся къ спичу „ренегатишекъ“ и сказалъ, немного понижая тонъ:

— Онъ не только сильнѣе ихъ... главное, новѣе. Съ такими отступниками трудно бороться всѣмъ тѣмъ, кто не идетъ дальше идей, раздѣляемыхъ „хорошими“ москвичами.

— Не хотите ли пройтись?—предложилъ Ермиловъ.

Они стали прохаживаться вдоль оконъ за обѣденнымъ столомъ.

У пьянино разговоръ дѣлался оживленнѣе. Ермиловъ прежде всего слышалъ шамкающій голосъ Сохина.

Оба они въ разъ поглядѣли туда, и Гремушинъ тихо сказалъ:

— Какъ всѣ ренегаты, онъ не скоро истощитъ свое нахальство.

Вдоль стола они повернули къ группѣ, окружавшей Симбирцева, и остановились за стульями.

Сохинъ, еще болѣе возбужденный—онъ выпилъ рюмки двѣ ликера за кофе—подсѣлъ плотно къ Симбирцеву, такъ что ихъ боги прикасались, и говорилъ съ взрывами нехорошаго смѣха, сильно жестикулируя обѣими руками.

— ...Да ты, Ванюша, не увертывайся,—слышали они, когда приблизились и встали за стульями:—нехорошо, душа моя! ты вѣдь, какъ гдѣ-то—Кузьма, что-ли, Прутковъ сказалъ:

Воспѣлъ Гарибальди,
Воспѣлъ и Франческо!

— Это какъ?—спросилъ Симбирцевъ и повелъ смѣливо глазами.

Онъ хотѣлъ придать разговору шутливый тонъ, замѣчая, что Кустаревъ стоялъ совсѣмъ блѣдный, съ блестящими зрачками, устремленными вкось на Сохина.

Тотъ не унимался.

— А то какъ же?—возразилъ онъ.—Ха, ха!.. Нечего отзываться неразумнѣемъ. Ты, естествоиспытатель, кичишься, какъ и всѣ вы, натуралисты, тѣмъ, что ничего больше законовъ природы не признаешь и признавать не хочешь...

— Когда я это говорилъ, братецъ?—нѣсколько нетерпѣливо прервалъ Симбирцевъ.

— Долженъ такъ разсуждать, иначе какой же ты испытатель естества? Хе, хе!.. А между прочимъ ты, въ угоду извѣстной и, между нами, выдохшейся тенденціи, повторяешь гуманно-либеральную канитель, ничего общаго съ законами природы и

соціологіи не имѣющую! Какъ же я не въ правѣ повторить, что ты—

Воспѣлъ Гарибальди,
Воспѣлъ и Франческо!

— Заврался, братъ!—вскричалъ Симбирцевъ и хлопнулъ его по колѣну.

— Это не аргументъ, а только выходка „амикошонства“. Ты дарвинистъ?

— Къ чему же тутъ Дарвинъ?

— Нѣтъ, да ты мнѣ скажи: дарвинистъ ты или нѣтъ?.. Большой опасности въ этомъ нѣтъ, да я и не пойду на тебя доносить... Хе, хе!..

— Ну, дарвинистъ, а потомъ что?

— Коли ты дарвинистъ, слѣдственно ты долженъ признавать право сильного, быть сторонникомъ желѣзнаго канцлера и въ развитіи культурныхъ искусствъ видѣть одно: торжество извѣстныхъ законовъ, а не соваться съ либерализмомъ или радикализмомъ и всякими другими „измами“. Такъ или нѣтъ?

— И такъ, и не такъ,—отшутился Симбирцевъ.

Онъ не замѣтилъ, что Кустаревъ прошелся рукой по волосамъ и хотѣлъ вскочить съ мѣста, но его удержалъ сидѣвшій около него классикъ.

— Нѣтъ, именно такъ, Ванюша... Ты и прежде не былъ особенно твердъ въ логическихъ построеніяхъ, когда мы съ тобой процвѣтали у Гофманши въ нумерахъ, и ты похаживалъ въ лабораторію. Именно такъ, душа моя, только ты хочешь быть въ ладу съ твоими благопріятелями, да чтобы и молодежь тебя ублажала. Служишь не истинѣ, а выдохшейся...

Ему не далъ докончить Кустаревъ.

Онъ началъ говорить, заикаясь, что у него являлось всегда въ припадкахъ сильного возбужденія.

— Сохинъ!—сильно и глухо началъ онъ.

Ермиловъ переглянулся съ Гремущинимъ, хотѣлъ сказать пріятелю шопотомъ: „не стой!“—но не сказалъ.

— Вы втерлись сюда, на этотъ обѣдъ, безъ всякаго приглашенія, вамъ здѣсь не мѣсто. Мы терпѣли ваше присутствіе, не желая нарушить праздника, изъ уваженія къ нашему другу Симбирцеву...

— Чего-съ?—смѣшливо спросилъ Сохинъ и вскинулъ на Кустарева своими воспаленными вѣками.

— Вонъ!.. Сейчасъ вонъ!..

Возгласы Кустарева были такъ стремительны и сильны, что у всѣхъ по спинѣ прошла нервная дрожь.

Классикъ и Куликовъ, сидѣвшіе по бокамъ его, испугались, какъ бы онъ не кинулся на Сохина.

Тотъ успѣлъ уже встать и отодвинуть стулъ.

Всѣ обомлѣли. Сохинъ могъ понять только одно, что его защищать и даже удерживать никто не будетъ.

— Вонъ!—повторилъ еще разъ Кустаревъ, подбѣжалъ къ двери и растворилъ ее порывистымъ движеніемъ.

Сохинъ выпрямился, оглянулъ всѣхъ, скосилъ ротъ и скороговоркой сказалъ, уходя, Симбирцеву:

— Спасибо, Ванюша!.. Мы послѣ сочтемся съ тобой... Свои люди...

Минута была такая, что даже старшій половой, принесшій сдачу съ сторублевки, сталъ у двери точно прикованный къ полу, и растерянно оглядывался.

Дверь шумно захлопнулась за Сохинымъ.

Кустаревъ подошелъ къ Симбирцеву, и, все еще заикаясь, выговорилъ:

— Извини, голубчикъ... Но, клянусь, я не могъ!..

— Туда ему и дорога!—сказалъ Симбирцевъ.

Онъ и другіе встали съ своихъ мѣстъ. И вдругъ на всѣхъ, кромѣ Кустарева, спросившаго сельтерской воды, напало какое-то чувство унылой тревоги.

Порядочно испугаться никто еще не успѣлъ, но у многихъ явился въ душѣ возгласъ:— „Эхъ, напрасно! Не тѣ времена!..“

Ермиловъ перемолвился съ Гремущинымъ нѣсколькими словами въ томъ же духѣ. Кустарева онъ не могъ хвалить за эту сцену, но и пенять ему не считалъ себя въ правѣ.

— Вы собираетесь?—спросилъ онъ Гремущина.

— Пора.

Взглядъ Гремущина какъ бы говорилъ ему:—вотъ видите, все это вовсе не выраженіе силы. Сохинъ не останется въ долгу, и всѣ будутъ жалѣть.

— Мнѣ нужно только расчитаться,—сказалъ ему Ермиловъ.

Онъ обратился къ Куликову и спросилъ, сколько съ него слѣдуетъ.

Юркій кандидатъ, вмѣсто простого отвѣта, отвелъ его въ уголокъ и проговорилъ:

— Извините, вы—пріѣзжій гость, очень сожалительно. Негодованіе Евменія Филипповича вполнѣ понятно...

— Вы еще здѣсь побудете?—перебилъ его Ермиловъ, желая узнать, собирается ли тотъ послѣ обѣда къ Вогулиной.

— Я долженъ, какъ второй распорядитель...

„И прекрасно, мой милый!“—подумалъ Ермиловъ, подавая ему руку.

Онъ удалился по-французски, ни съ кѣмъ не простившись, и въ корридорѣ нагналъ Гремущина.

Ихъ платье висѣло на главномъ подъѣздѣ.

— Задерживательныхъ центровъ нѣтъ,—сказалъ тономъ наставника Гремущинъ.—Благородно, но вредно,—да еще вдобавокъ служить доказательствомъ слабости.

Внизу, когда служители въ сибиркахъ отыскивали ихъ каалоши и подавали платье, Ермиловъ сказалъ новому знакомому:

— Мы не въ послѣдній разъ видимся, надѣюсь?

— Здѣшній обыватель... Дома всегда отъ трехъ до пяти...

И онъ далъ свой адресъ.

— Меня же вы, конечно, совсѣмъ не знали и не слыхали даже,—произнесъ Ермиловъ игриво, обмѣниваясь карточками и надѣвая свой парижскій цилиндръ.

— Напротивъ... Наслышанъ...

— Какъ о большомъ грѣшникѣ?..

— Немножко, да.

— И это васъ не смущаетъ?

— Нисколько... Я вывелъ изъ всей своей жизни такой афоризмъ: пріятные люди только тѣ, кто пороченъ, больше или меньше,—и лучше больше, чѣмъ меньше.

Онъ докончилъ фразу своимъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Ха, ха!—вторилъ ему Ермиловъ.—Это прекрасный афоризмъ и комплиментъ.

Вышли они вмѣстѣ на крыльцо противъ Цвѣтнаго бульвара. Ермиловъ взялъ тутъ же извозчика и крикнулъ:

— На Патріаршіе, сорокъ копѣекъ!

Ему видѣлись уже издали щечки, глазки и шейка Анны Гавриловны. Конецъ вечера онъ будетъ ей читать сонеты Эредіа, а тамъ шустрый кандидатъ сиди себѣ съ своимъ патрономъ и улаживай свою карьеру!

„Завтра пора и въ Петербургъ“,—подумалъ онъ и съ дрожжью машинально обернулся. Подъ навѣсомъ подъѣзда все еще стояла нѣсколько согнутая фигура бритаго человѣка въ поярковой шляпѣ.

П. Боворыкинъ.

ГРИБОѢДОВЪ

ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.

Десять лѣтъ тому назадъ вспоминалось пятидесятилѣтіе кончины Грибоѣдова; прошло почти семьдесятъ лѣтъ со времени созданія знаменитой комедіи, составляющей славу этого писателя, и все еще нельзя сказать, чтобы его историческое значеніе было опредѣлено сполна, какъ оно опредѣлено даже для болѣе позднихъ первостепенныхъ дѣятелей нашей литературы, къ числу которыхъ и онъ принадлежитъ. До послѣднихъ лѣтъ все еще велись толки о достоинствахъ и смыслѣ его важнѣйшаго произведенія, единственнаго, составляющаго его великое литературное право; велись толки и о художественныхъ качествахъ „Горя отъ ума“, и о смыслѣ того общественнаго взгляда, какой въ немъ выразился. Мы имѣемъ теперь передъ собой новое изданіе всѣхъ, какія уцѣлѣли и какія были доступны для печати, произведеній Грибоѣдова, и оно даетъ поводъ возвратиться къ вопросу, который еще сохраняетъ живѣйшій интересъ ¹⁾.

¹⁾ Мы имѣемъ въ виду изданіе г. Шляпкина: „Полное собраніе сочиненій А. С. Грибоѣдова подъ редакціей приватъ-доцента имп. Сиб. университета И. А. Шляпкина. Т. I. Прозаическія статьи и переписка. (Съ приложеніемъ двухъ портретовъ А. С. Грибоѣдова и факсимиле его почерка). Т. II. Поэзія (Съ приложеніемъ портрета А. С. Грибоѣдова и нотъ). Сиб., 1889.

Изъ прежней литературы о Грибоѣдовѣ мы въ настоящемъ случаѣ имѣли въ виду еще слѣдующіе труды:

— „Милльонъ терзаній“, въ „Четырехъ очеркахъ“ И. А. Гончарова. Сиб., 1881, стр. 138—183; первоначально было напечатано въ „Вѣстникѣ Европы“ въ началѣ 1870-хъ годовъ.

— Изданіе Грибоѣдова въ „Русской Библіотекѣ“, т. V. Сиб. 1875, съ біогра-

Упомянутая неустановленность взглядовъ на „Горе отъ ума“ довольно понятна. Со времени своего появленія оно возбудило величайшій интересъ, какъ первая, раньше и донинѣ еще безпримѣрная, попытка дать драматическую картину русской общественности въ ея самыхъ характерныхъ чертахъ, и эта картина была исполнена съ такимъ необычайнымъ мастерствомъ, что интересъ пьесы сохраняется почти неприкосновеннымъ до сей минуты, и не только по чисто-историческому воспоминанію, но и по сохраняющейся донинѣ преемственности общественныхъ нравовъ и понятій. Но съ тѣхъ поръ, съ 1820-хъ годовъ и до настоящаго времени, произведеніе Грибоѣдова встрѣчалось съ цѣлымъ рядомъ различныхъ точекъ зрѣнія, какія создавались развитіемъ литературныхъ идей и общественности. Въ свое время пьеса Грибоѣдова была необыкновенной новизной, не только по содержанію, на какое не рисковала тогдашняя литература (и долго не рисковала даже позднѣйшая), но и по формѣ и языку; она явилась какъ разъ въ ту переходную пору, когда въ нашей литературѣ не разрѣшился пока окончательно вопросъ о классицизмѣ и романтизмѣ, и когда, съ одной стороны, были еще крѣпки понятія о непогрѣшимости старой литературной традиціи, а съ другой—неясны были и представленія о той свободѣ, какой добивался для себя романтизмъ. Какъ извѣстно, пьеса долго ходила по рукамъ, прежде чѣмъ могла появиться въ печати сполна—или почти сполна,—потому что настоящія полныя изданія наша литература получила только съ 1860-хъ годовъ. Первые обстоятельные разборы стали возможны только съ появленія печатныхъ изданій въ 1830-хъ годахъ. Между тѣмъ старая литературная обстановка, среди которой явилось впервые „Горе отъ ума“ какъ „манускриптъ“, успѣла отойти въ прошедшее; критика прилагала къ этому произведенію уже новыя требованія; эти требованія возникали изъ иного порядка идей, которыя нѣсколько позднѣе, въ свою очередь, также смѣнились другими представленіями, между прочимъ, у тѣхъ самыхъ людей, которые ихъ прежде высказывали (какъ было, напримѣръ, съ Бѣлинскимъ). Когда понятія стариннаго псевдо-классицизма или стариннаго романтизма были смѣнены Гегелевской эстетикой, а затѣмъ, послѣ Гоголя въ литературѣ все больше распространялись реалистическія воззрѣнія, и уже затѣмъ критика стала все больше обращать вниманіе на

фіей, А. Н. Веселовскаго, лучшей, какая была до сихъ поръ, хотя недостаточно подробной.

— „Горе отъ ума“, изд. А. Суворина. Спб. 1886, съ предисловіемъ: „Горе отъ ума“ и его критика, стр. I—LXXII.

общественное содержаніе художественныхъ произведеній (откуда еще во времена Бѣлинскаго поднималось обвиненіе критики въ „утилитаризмъ“) то понятно, что смѣна всѣхъ этихъ точекъ зрѣнія не могла не отразиться на сужденіяхъ о комедіи Грибоѣдова, какъ она отражалась на множествѣ подобныхъ сужденій о другихъ фактахъ прошлой литературы. Если мы читаемъ даже въ послѣднее время обвиненіе старой критики, напримѣръ, и самого Бѣлинскаго, въ непониманіи „Горя отъ ума“, даже какъ будто въ недоброжелательствѣ къ знаменитой комедіи, то понятно, что *личное* обвиненіе можетъ оказаться значительно несправедливымъ, что извѣстная доля непониманія, примѣры котораго дѣйствительно бывали, должна быть приписана не одному данному лицу, а цѣлой эпохѣ, ея господствующимъ теоріямъ и нерѣдко соединяющимся съ ними предразсудкамъ. То же самое можно было видѣть на оцѣнѣ другихъ великихъ дѣятелей нашей литературы, какъ напримѣръ самого Пушкина, даже на оцѣнѣ цѣлыхъ литературныхъ періодовъ. Наша историко-литературная критика уже приходила къ убѣжденію, что значеніе извѣстныхъ великихъ явленій литературы становится тѣмъ яснѣе, чѣмъ больше расширяется ихъ, такъ сказать, историческая провѣрка опытомъ позднѣйшихъ поколѣній.

Другое обстоятельство, приводившее къ большому разнообразію заключеній о „Горѣ отъ ума“, заключалось во внѣшней судьбѣ и произведенія, и писателя. Какъ мы замѣчали, прошло много времени прежде, чѣмъ комедія стала въ рядъ явныхъ литературныхъ фактовъ. Съ другой стороны, на Грибоѣдовѣ въ особенности оправдались старыя слова о немъ Пушкина: „мѣлничавъ и нелюбопытнъ“, — „замѣчательные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя по себѣ слѣдовъ“. У насъ нѣтъ до сихъ поръ обстоятельной біографіи Грибоѣдова, потребность которой указывалъ Пушкинъ больше пятидесяти лѣтъ тому назадъ. Теперь мы имѣемъ по крайней мѣрѣ опыты, собираемъ матеріалы, спѣшимъ сохранить малѣйшіе остатки его писаній, но чѣмъ было польза тому назадъ, когда ставились первые серьезные вопросы о значеніи великаго произведенія Грибоѣдова? Было нѣсколько друзей, которые близко знали писателя, но ихъ знаніе осталось бесплодно для литературы: никто изъ нихъ не взялъ на себя труда или же не умѣлъ рассказать сполна то, чѣмъ зналъ. Странно сказать, что въ половинѣ девятнадцатаго столѣтія даже знаменитѣйшія имена нашей общественности и литературы бывали предметомъ устныхъ преданій, чуть не мифологій. О Грибоѣдовѣ знали только очень немногие: была слава таланта, остроумія, оригинальнаго харак-

тера, но не было понятія о дѣйствительной исторіи этого сильнаго ума, о которомъ даже сами друзья говорили только общими мѣстами восхваленія. Какъ выросъ этотъ умъ, чѣмъ питалась эта мысль, какими впечатлѣніями окруженъ былъ писатель, что возбуждало его творчество и какая господствующая идея проникла его произведеніе,—на всѣ эти вопросы могло отвѣтить лишь само это произведеніе. Но отвѣтить сколько-нибудь достаточно оно могло только сильному критическому уму, и отвѣтъ все-таки бывалъ недостаточнымъ: полное пониманіе произведенія возможно только при изученіи развитія и внутренняго міра самого писателя. И въ литературѣ не свободной, существовавшей только съ разрѣшенія нерѣдко крайне недовѣрчивой опеки, эта необходимость всесторонняго изученія можетъ быть еще настоятельнѣе. Этого изученія не было; поэтому для насъ или навсегда потеряны, или могутъ быть только крайне неполно, по отрывочнымъ слѣдамъ, восстанавливаемы процессы развитія, исполненные величайшаго интереса въ такихъ оригинальныхъ людяхъ, какъ Грибоѣдовъ, и въ такіе смутные и неясные періоды нашей общественности, какъ послѣдніе годы имп. Александра I и первые годы царствованія Николая I. Наши критики до послѣднихъ годовъ спорятъ даже о такихъ основныхъ и вѣстѣ элементарныхъ вопросахъ, какъ-то, въ чемъ заключалось мировоззрѣніе Грибоѣдова, былъ ли это „европейскій“ либераль, единомышленникъ людей двадцатыхъ годовъ, или это былъ предшественникъ славянофиловъ, „русскій человекъ“ (какъ будто остальные знаменитые русскіе писатели были не русскіе) и т. д. О Грибоѣдовѣ шли тольки уже у современниковъ, о немъ говорили въ литературныхъ кругахъ и въ обществѣ даже раньше, чѣмъ могла дать къ этому поводъ его комедія: наличныя силы тогдашней литературы были такъ невелики, что выдающійся умъ заставлялъ о себѣ говорить, хотя бы еще не успѣлъ создать чего-либо дѣйствительно замѣчательнаго; самый уровень литературы, когда еще только появлялись первыя произведенія Пушкина, былъ такъ невысокъ, что крупнымъ казалось и то, о чемъ основательно забыло даже ближайшее литературное поколѣніе. Были, конечно, и болѣе серьезные умы и серьезные запросы общественной жизни, но имъ почти не было мѣста въ этой литературѣ, гдѣ еще не были выяснены вопросы о самыхъ формахъ, гдѣ шло еще заимствование недостававшихъ элементовъ „словесности“ и едва завоевывалось первое право свободной и жизненной поэзіи.

Въ отзывахъ и воспоминаніяхъ даже замѣчательнѣйшихъ современниковъ, лично знавшихъ Грибоѣдова, мы встрѣчаемъ почти

только общіе отзывы о его качествахъ—его сильномъ умѣ, обширныхъ знаніяхъ и т. д., но ничего опредѣленнаго, напримѣръ, о его общественныхъ политическихъ взглядахъ; не мудрено, что въ послѣдствіи ведутся толки о томъ, къ какой принадлежалъ онъ „партіи“.

Въ значительной мѣрѣ въ этомъ незнаніи біографіи заключается причина того недоразумѣнія, въ какое впадали и впадаютъ еще теперь его историки. „Горе отъ ума“ было необычайнымъ явленіемъ и въ исторіи русской литературы, и въ дѣятельности самого Грибоѣдова. Если, по всеобщему признанію, у насъ до сихъ поръ нѣтъ другой комедіи, которая могла бы стать рядомъ съ пьесой Грибоѣдова, то и среди его собственныхъ произведеній она остается единичнымъ фактомъ, которому раньше ничто не предшествуетъ, и которое послѣ не сопровождается ничѣмъ сколько-нибудь равносильнымъ. Трудно объяснить, какъ могла произойти такая единичная вспышка великаго дарованія, о которомъ не даютъ понятія всѣ остальные произведенія писателя. Остается для объясненія только сопоставить факты.

Въ ту пору, когда у насъ вообще „учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“, Грибоѣдовъ получилъ особливо тщательное образованіе: дома заботились объ этомъ въ видахъ будущей карьеры; его наставниками были повидимому, серьезные и достойные люди, впрочемъ, мало извѣстные; передъ 1812 годомъ онъ пробылъ года два въ московскомъ университетѣ. Необыкновенная даровитость помогла юношѣ овладѣть нѣсколькими языками (французскій, нѣмецкій, англійскій); въ послѣдствіи онъ съ интересомъ и съ удовольствіемъ учится по-гречески ¹⁾. И въ поздніе годы его интересовала древность, русская исторія... По семнадцатилѣтнимъ юношей онъ уже покидаетъ, и навсегда, домашній пріютъ и вступаетъ въ самую настоящую дѣйствительную жизнь съ ея реальнымъ бытомъ, опасностями, тревогами и соблазнами. Это былъ „дѣвнадцатый годъ“. Онъ вступаетъ сначала въ ополченіе, въ гусарскій полкъ, который формировался графомъ Салтыковымъ, но за смертью послѣдняго дѣло разстроилось, и Грибоѣдовъ перешелъ въ другой полкъ, стоявшій въ западномъ краѣ. Здѣсь онъ очутился въ самомъ омутѣ тогдашнихъ военныхъ нравовъ: онъ и послѣ вспоминалъ, что въ Брестъ-Литовскѣ „весело пожилось“, но въ духѣ тогдашнихъ нравовъ

¹⁾ Въ письмѣ Катенину 1817 г.: „Прощай, сейчасъ ѣду со двора: куда ты думаешь? Учиться по-гречески. Я отъ этого языка съ ума схожу, каждый божій день съ 12-го часа до 4-го учусь, и ужъ дѣлаю большіе успѣхи. Но мнѣ онъ вовсе не труденъ“.

веселье было порядочно грубое и подъ-конецъ, кажется, оно ему опротивѣло. Затѣмъ мы видимъ его въ Петербургѣ, гдѣ онъ поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ и велъ опять разсѣянную жизнь, съ ея обычными тогдашними чертами, шумными удовольствіями, театральными похождениями, бреттерствомъ и т. п. Въ то же время онъ вошелъ въ кругъ тогдашней образованной молодежи и въ кругъ литературный. Намъ случилось говорить въ другомъ мѣстѣ о томъ, какъ складывались тогда литературные кружки—старшаго поколѣнія Екатерининскихъ временъ; болѣе новаго поколѣнія, примыкавшаго къ Карамзину и собиравшагося въ „Арзамасъ“; наконецъ, молодого поколѣнія либеральныхъ романтиковъ, которое къ 1820-мъ годамъ, подъ вліяніемъ событій внѣшнихъ и внутреннихъ, все болѣе увлекалось въ политическій либерализмъ. Литературные вопросы и споры того времени, поверхностные на позднѣйшій взглядъ, слишкомъ заняты внѣшнею формой, въ свое время казались, разумѣется, болѣе серьезными. Въ самомъ дѣлѣ, литература едва только начала выбиваться изъ прежней тяжелой условности, которая, послуживъ свою службу въ прошломъ столѣтіи, становилась настоящей помѣхой для болѣе живого движенія, для приближенія литературы къ простой общественной дѣятельности. Новая поэтическая форма, поэма въ явно романтическомъ стилѣ, переводъ новой пьесы изъ иностранной литературы, оригинальный оборотъ въ прозѣ, смѣлый стихъ составляли предметъ оживленныхъ толковъ; вопросы „слога“ занимали даже первостепенные таланты. Съ другой стороны, развивается еще новая черта — любовь къ театру, особенно усилившаяся во второмъ и третьемъ десятилѣтіи, чтобы стать потомъ постояннымъ общественнымъ и литературнымъ интересомъ. Въ тѣ же годы распространяется стремленіе къ практической общественной дѣятельности: подновляется старое масонское движеніе, въ которое къ прежнему мистическому и филантропическому содержанію прибавляется болѣе широкая мысль о воздѣйствіи на нравственное воспитаніе общества. Люди молодыхъ поколѣній записываются въ масонскія ложи, а затѣмъ придумываютъ по нѣмецкому образцу „Союзъ благоденствія“, въ своей первоначальной формѣ очень похожій на планы масонской филантропіи. Во всемъ этомъ было много юношескаго, поверхностнаго, въ политическихъ и филантропическихъ мечтаніяхъ много наивнаго, но во многихъ случаяхъ движеніе увлекало молодыхъ поколѣнія до страстнаго возбужденія. Все это свидѣтельствовало о броженіи умовъ, какого русское общество еще никогда не видало.

Это броженіе тогдашняго общества почти невозможно распредѣлить на какія-нибудь строго опредѣленные теченія. Какъ бываетъ обыкновенно въ подобныя эпохи общественнаго возбужденія, различные элементы смѣшиваются, такъ что то или другое лицо своими отдѣльными чертами, вкусами, дѣйствіями можетъ одновременно принадлежать къ направленіямъ повидимому разнороднымъ: смѣшиваются литературный консерватизмъ и либеральныя стремленія общественныя, и, наоборотъ, поддерживаются въ одно и то же время связи съ людьми весьма несходныхъ общественныхъ категорій въ виду того, что въ нихъ оказывается сочувственной какая-либо отдѣльная черта.

Въ Петербургѣ Грибоѣдовъ сходится съ людьми самыхъ разнообразныхъ характеровъ, и можетъ показаться удивительнымъ, что онъ сблизился сначала не съ тѣмъ кругомъ, гдѣ можно было бы ожидать его встрѣтить всего скорѣе. Его произведеніе было такимъ могущественнымъ нововведеніемъ въ нашей литературѣ, что повидимому его авторъ долженъ былъ стоять въ рядахъ того самаго движенія, гдѣ совершались блестящіе успѣхи Пушкина. Между тѣмъ повидимому онъ не сблизился съ Пушкинымъ, который познакомился съ нимъ еще въ 1817 году; напротивъ, по нѣкоторымъ даннымъ, къ сожалѣнію слишкомъ малочисленнымъ и неяснымъ, извѣстно, что Грибоѣдовъ относился довольно несочувственно къ тѣмъ ворифеямъ литературы, съ которыми Пушкинъ былъ въ болѣе или менѣе дружескихъ и почтительныхъ отношеніяхъ, какъ напримѣръ, Карамзинъ, Жуковский, Гнѣдичъ. Грибоѣдовъ очень рано сблизился съ литературнымъ кругомъ. Еще изъ Брестъ-Литовска онъ посылалъ въ журналы небольшія статьи, которыя сдѣлали его имя извѣстнымъ. Въ Петербургѣ онъ приобрѣлъ много знакомыхъ и друзей въ этой средѣ.

Достаточныхъ свѣдѣній объ этихъ его связяхъ не сохранилось; какъ мы сказали, почти никто изъ его тогдашнихъ друзей не оставилъ о немъ обстоятельныхъ воспоминаній даже послѣ его трагической смерти, поразившей его друзей и все образованное общество. Самъ Пушкинъ, столь жалѣвшій о томъ, что память нашихъ замѣчательнѣйшихъ людей пропадаетъ безъ слѣда, оставилъ о немъ лишь нѣсколько строкъ, вѣроятно справедливыхъ, но слишкомъ короткихъ и также требующихъ комментарія ¹⁾. Изъ

¹⁾ Пушкинъ пишетъ: „Я познакомился съ Грибоѣдовымъ въ 1817 году. Его меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самыя слабости и пороки, неизбежные спутники челоуѣчества, все въ немъ было необыкновенно примечательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и невѣдѣнности... Жизнь Грибоѣдова была за-

его собственныхъ сочиненій, нѣкоторыхъ разсказовъ, случайныхъ указаній переписки извѣстно только, что Грибоѣдовъ какимъ-то мало понятнымъ образомъ если не применулъ сполна, то имѣлъ симпатіи къ тому старовѣрческому литературному кружку, который имѣлъ своимъ представителемъ Шишкова. Соотвѣственно этому онъ, съ другой стороны, не сочувствовалъ Карамзину и его партизанамъ ¹⁾. Гдѣ былъ источникъ этихъ сочувствій къ одной сторонѣ и несочувствій къ другой? Можно было бы думать, что могли здѣсь участвовать антипатіи псевдо-классика къ литературнымъ нововведеніямъ: Грибоѣдовъ, въ самомъ дѣлѣ, воспитался подъ такими вліяніями во время своего ученія, въ своихъ занятіяхъ съ профессоромъ Буле и др.; въ числѣ его ближайшихъ литературныхъ друзей былъ Катенинъ, ревностный хранитель преданій французскаго псевдо-классицизма; самъ Грибоѣдовъ пробовалъ свои силы на этихъ псевдо-классическихъ темахъ; но, съ другой стороны, Грибоѣдовъ такъ рѣшительно отвергалъ обязательность литературныхъ преданій, такъ настаивалъ на полной свободѣ таланта брать себѣ такую форму, какую найдетъ для себя пригодной, что причина несогласія очевидно лежала не здѣсь. Могли здѣсь дѣйствовать, во-первыхъ, простыя обстоятельства времени и личныхъ отношеній, напр. дружескія связи съ кн. Шаховскимъ, съ которымъ онъ раздѣлялъ любовь къ театру, и дружба съ которымъ повліяла на его литературныя отношенія: онъ принималъ къ сердцу интересы пріятельскаго круга, вмѣшивался въ его защиту въ полемическіе раздоры, пробовалъ даже выводить на сцену легкія насмѣшки надъ литературными противниками, и т. п. Во-вторыхъ, — и это было, кажется, главное, — Грибоѣдовъ расходился съ патентованнымъ кружкомъ „Арзамаса“ своими литературными вкусами и общественными запросами.

Къ сожалѣнію, и въ этомъ случаѣ свудные факты не столько

темнена нѣкоторыми облаками: слѣдствіе пылкихъ страстей и могучихъ обстоятельствъ“ и проч.

Все это, какъ видимъ, только неясные намеки; они указываютъ характеръ, но не даютъ понятія о содержаніи мыслей, общественныхъ взглядовъ Грибоѣдова, какъ не даютъ и разсказы другихъ современниковъ. Въ чемъ именно сказывался тогда, въ 1817 году, „озлобленный умъ“, противъ чего онъ направлялся и чего искалъ? Другіе современники, превознося умъ, просвѣщеніе, таланты Грибоѣдова, также мало разъясняютъ внутреннюю жизнь его сознанія и творчества.

¹⁾ Въ „Путевыхъ письмахъ“ разсказывая о томъ, какъ одинъ восточный чело-вѣкъ въ Эривани въ видѣ любезности объявилъ, что „мѣсто мое (Грибоѣдова) у него подъ правымъ глазомъ“, — Грибоѣдовъ подсмѣивается: „Карамзинъ бы заплакалъ, Жуковскій стукнулъ бы чашей въ чашу; я отблагодарилъ янтарнымъ гроздиннымъ сокомъ, нектаромъ Эривани, и пурпурнымъ кахетянскимъ“ (Изд. 1889, I, стр. 41).

объясняютъ, сколько даютъ угадывать. Научное и литературное воспитаніе ГрибоѢдова прошло въ вліяніи того круга, который дѣйствовалъ, напримѣръ, на Пушкина и его сотоварищей; на него какъ будто меньше дѣйствовала та искусственная атмосфера, какая для Пушкина создавалась лицейской жизнью, сближеніемъ съ „Арзамасомъ“ и гдѣ самыя попытки критическаго отношенія къ вещамъ носили отпечатокъ балованнаго каприза и на дѣлѣ были далеки отъ простой реальной жизни. Самъ ГрибоѢдовъ выросъ также въ условіяхъ не вполне здоровыхъ, но это была русская реальная жизнь, какъ ее создали историческія условія. По всей вѣроятности, тѣ идеальныя задатки, какіе онъ получилъ въ своей научной школѣ, въ соединеніи съ врожденными инстинктами благороднаго ума, внушили ему отрицательное отношеніе къ тому духу застарѣлаго барскаго холопства, которое онъ видѣлъ кругомъ себя, а вмѣстѣ съ тѣмъ внушили еще неясную, выражавшуюся отрывочно и неровно, но тѣмъ не менѣе несомнѣнную любовь къ народу и народной исторіи. Дальше мы укажемъ образчики его интересовъ въ этой области, а теперь замѣтимъ только, что по всей вѣроятности присутствіе *этого* элемента въ его мысляхъ дѣлало ему болѣе сочувственнымъ Шипкова, чѣмъ Карамзина, заставляло предпочитать признаки хотя наивнаго, но искренняго влеченія къ народному, тѣмъ изысканнымъ фразамъ, которыя сами собой говорили объ отсутствіи простоты и, можетъ быть, искренности.

Во время перваго пребыванія въ Петербургѣ все это было, однако, еще мало замѣтно. ГрибоѢдовъ не выделялся изъ толпы. Его въ особенности занималъ тогда театръ. Интересъ былъ естественный: при отсутствіи настоящей общественной жизни театръ представлялъ нѣкоторое подобіе ея, и ГрибоѢдовъ тѣмъ больше вдавался въ специальность театрала, что ее раздѣляли пріатели, какъ кн. Шаховской, Катенинъ, Жандръ, тогдашніе театральные авторитеты. Онъ переводитъ и пишетъ пьесы одинъ или въ сотрудничествѣ съ княземъ Шаховскимъ, Хмѣльницкимъ, кн. Вяземскимъ; его занимаетъ постановка пьесъ на сценѣ, которая даже волнуетъ его; онъ сходится съ кружкомъ актеровъ; присоединяются, наконецъ, закулисныя похожденія и т. п.

Произведенія ГрибоѢдова за это время не выходятъ изъ шаблоннаго уровня тогдашней драматургіи: это—переводы и переделки французскихъ пьесъ, дѣйствующія лица называются неслыханными въ русской жизни именами: Аристъ, Эльмира, Сафиръ, или Блестовъ, Звѣздовъ, Алегринъ и т. п.; являются иногда проблески живого дарованія и черты настоящей русской жизни,

но это не уничтожаетъ общаго впечатлѣнія чего-то искусственнаго и мало интереснаго. Въ одной пьесѣ изъ этой поры, „Студентъ“, была попытка (быть можетъ, по примѣру, данному раньше Шаховскимъ) затронуть тогдашнія литературныя отношенія, а именно, задѣть если не самый тогдашній романтизмъ и сентиментальность, которыхъ не были чужды и его собственныя произведенія той поры, то нѣкоторыхъ представителей этого направленія, къ которымъ онъ лично не былъ расположенъ или даже враждебенъ, какъ Жуковский (котораго передъ тѣмъ осмѣивалъ другъ Грибоѣдова, вн. Шаховской, въ пьесѣ „Липецкія воды“), Батюшковъ, Гнѣдичъ, Загоскинъ. Главное дѣйствующее лицо, на которомъ вертится дѣйствіе пьесы, есть студентъ Беневолюскій, глупый стихоплетъ, который говоритъ фразами и стихами названныхъ сейчасъ писателей и надъ которымъ всѣ смѣются какъ надъ шуткомъ. Но и эта пьеса по тогдашнему обычаю наполнена условными фигурами, далека отъ жизни, и остроуміе весьма натянуто. Какъ и въ другихъ случаяхъ, не легко представить себѣ, что авторомъ былъ тотъ же Грибоѣдовъ, который уже вскорѣ явился творцомъ комедіи, производившей поразжающее впечатлѣніе. Подъ стать этимъ пьесамъ, не превышавшимъ самаго обыкновеннаго уровня, Грибоѣдовъ виѣшивается въ тогдашніе мелкіе полемическіе раздоры, принимаетъ горячо къ сердцу маленькіе уколы своему писательскому самолюбію, запальчиво отвѣчаетъ своимъ противникамъ и т. п.

Но среди этой литературной рутинѣ, гдѣ Грибоѣдовъ выдѣлялся только личной живостью ума, скрывались черты будущей могучей оригинальности. Онъ былъ тогда еще очень юнымъ. Въ 1815-мъ году, когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, ему было всего двадцать лѣтъ. Въ наше время, при новѣйшихъ способахъ „серьзнаго“ обученія, молодые люди въ эту пору едва получаютъ аттестатъ зрѣлости цѣною многолѣтняго долбленія Сига и Кюнера и едва получаютъ право начать образованіе университетское; въ то время молодость цѣнилась больше, жизненный опытъ начинался раньше, и молодой человѣкъ еще съ свѣжими силами вступалъ въ жизнь. Мы упоминали о первомъ знакомствѣ Пушкина и Грибоѣдова (въ 1817)—одному было восемнадцать лѣтъ, другому двадцать два! Батюшковъ былъ уже въ арміи на пятнадцатомъ году,—и такъ было не только съ людьми первостепенныхъ дарованій, но и вообще люди раньше становились членами общества, и были едва ли глупѣе своихъ нынѣшнихъ сверстниковъ, бородатыхъ гимназистовъ восьмого класса... Жизнь начиналась раньше, и новыя поколѣнія вносили въ обще-

ственную среду больше молодого увлеченія, идеальныхъ интересовъ и приобрѣтали для себя больше реальнаго знанія. Но, съ другой стороны, молодость, конечно, брала свое: она должна была перебродить, и эта пора броженія еще продолжалась въ жизни Грибодова въ Петербургѣ съ 1815-го года; его первые литературно-драматическіе опыты были въ полномъ смыслѣ слова ученическими упражненіями и вмѣстѣ развлеченіями въ веселомъ дружескомъ кружкѣ. Для біографа и историка литературы интересъ этого времени заключается не въ томъ, какія, мало любопытныя пьесы онъ писалъ, въ какія вступалъ литературныя отношенія, ничѣмъ на немъ не отразившіяся, а въ томъ, чтобы разыскать, чѣмъ, какими начатками связывалось въ эту пору то направленіе, въ какомъ развилось впоследствии его могущественное дарованіе, какъ подготавливалось то содержаніе, съ которымъ только мы и понимаемъ позднѣйшаго Грибодова. Трудно представить, да и на дѣлѣ этого обыкновенно не бываетъ, чтобы могущественный талантъ являлся готовымъ внезапно, какъ Минерва изъ головы Юпитера. Нѣтъ сомнѣнія, что авторъ „Горя отъ ума“ подготавливался уже въ ту пору, когда мы видимъ его пока авторомъ рутинныхъ пьесъ и стихотвореній. Какіе же намеки на это могутъ найтись въ существующемъ біографическомъ матеріалѣ?

Начать съ того, что Грибодовъ, повидимому, еще изъ своей научной школы, изъ лекцій и бесѣдъ Буле, Страхова, Шлёцера-сына, вынесъ серьезную историческую любознательность: русская исторія занимала его не только въ общихъ, но и въ частныхъ вопросахъ; онъ вчитывался въ источники, рѣдко интересовавшіе „литераторовъ“, и сохранившіяся замѣтки указываютъ довольно значительную литературу, которую онъ перечитывалъ ¹⁾. Правда, по тогдашнему вкусу, историческія замѣтки Грибодова, насколько онѣ уцѣлѣли, относятся часто къ мелкимъ подробностямъ исторической географіи, археологіи, мало важнымъ для выясненія основныхъ вопросовъ исторіи, но по другимъ замѣткамъ можно думать, что его интересъ не ограничивался этими подробностями, что передъ нимъ рисовалась живая старина, въ которую онъ владывалъ идеалистическія представленія о народной

¹⁾ Въ его „Desiderata“, писанныхъ, какъ полагаютъ, около 1823 года, названы напр.: Воскресенская лѣтопись, Стриттеръ (Memoriae populorum), Герберштейнъ, „Древняя Росс. Визлѳонка“ Новикова, Бопланъ (французское описаніе Украйны 1661), Географическій словарь Щекатова, „Книга большому чертежу“, Татищевъ, Миллеръ, новѣйшія ученія путешественія Палласа, Фалька, Гильденштедта, Зуева и проч. (Изд. 1889, I, стр. 75—83, 358—359).

славѣ. Въ письмѣ изъ Кіева къ кн. В. Ѳ. Одоевскому, 1825 года, онъ говоритъ: „я въ древнемъ Кіевѣ... здѣсь я пожилъ съ умершими: Владиміры и Изяславы совершенно овладѣли моимъ воображеніемъ, за ними едва вскользь замѣтилъ я настоящее поколѣніе“, и проч. Въ другой разъ вспоминается ему князь Владиміръ во время путешествія по Крыму, гдѣ въ развалинахъ Херсонеса Грибоѣдовъ старается угадать мѣсто, гдѣ стоялъ Владиміръ, гдѣ онъ построилъ церковь, припоминаетъ слова лѣтописи, и т. д. Сохранились отрывочныя замѣтки Грибоѣдова объ исторіи Петра Великаго, вызванныя чтеніемъ извѣстныхъ „Дѣяній“ Голикова; ихъ относятъ къ 1822 году. Въ это время съ разныхъ сторонъ возникаетъ критическое, отрицательное отношеніе къ Петровской реформѣ. Впервые началось оно еще раньше, въ восемнадцатомъ вѣкѣ; но эти старыя нападки на Петра, какъ напримѣръ въ изданныхъ теперь сочиненіяхъ кн. Щербатова, едва ли были извѣстны Грибоѣдову, какъ, вѣроятно, не была извѣстна записка о древней и новой Россіи, Карамзина. Критическое отношеніе къ Петру въ двадцатыхъ годахъ у Грибоѣдова, какъ позднѣе у Пушкина, возникало независимо и исходило изъ другихъ основаній.

У Пушкина, который былъ сначала поклонникомъ Петровской реформы, историческій взглядъ измѣнился параллельно съ развитіемъ его консерватизма. Петръ Великій уничтожилъ значеніе стариннаго боярства и созданіемъ аристократіи чиновнической подорвалъ то благотворное дѣйствіе, какое по мнѣнію Пушкина могла бы имѣть настоящая родовая аристократія, богатая, просвѣщенная и самостоятельная. Отсюда нерасположеніе и даже настоящее раздраженіе противъ Петра, какъ вреднаго „революціонера“. Едва ли такова была точка зрѣнія Грибоѣдова. Въ замѣткахъ его изъ „Дѣяній“ Голикова собираются въ особенности факты суроваго уничтоженія старыхъ обычаевъ, самоуправства, ненужной и несправедливой жестокости ¹⁾. Въ путевыхъ замѣт-

¹⁾ Напр.:— „Калмыкъ, возвратившійся съ господиномъ изъ чужихъ краевъ, былъ пожалованъ въ офицеры, а господинъ его въ матросы Петромъ I. Калмыкъ дошелъ потомъ до контръ-адмиральскаго чина.

— Тайная канцелярія.

— Слуги доносятъ на господъ своихъ, на тѣхъ, напр., которые, запершись въ комнатѣ, пишутъ.

— Безмѣрныя подати.

— Введеніе рабства чрезъ подушную подать, чрезъ запрещеніе переходить крестьянамъ...

— Забравіе въ казенное вѣдомство рыбаго клея, икры, соболей, ревеню, поташу, смользугу и табакъ...

какъ по Кавказу ему, неизвѣстно почему, вспоминается опять Петръ: „чтобы русскихъ къ чтенію приохотить, Петръ велѣлъ перевести Пуффендорфа, который русскихъ не на животъ, а на смерть бранить“¹⁾. Грибоѣдова видимо возмущало именно ненужное нарушеніе народнаго обычая, допущеніе этой брани и осмѣяній русскаго народа: дозволеніе въ русской книгѣ словъ Пуффендорфа и т. п. казалось оскорбленіемъ національнаго достоинства, какъ таковымъ же казался „духъ слѣпнаго рабскаго подражанія“, начинателемъ котораго казался повидимому Петръ. Что это осужденіе Петровской реформы и рабскаго подражанія не было похоже ни на Карамзинское, ни на славянофильское отрицаніе, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Грибоѣдовъ не желалъ ни того приниженнаго состоянія народа, которое лежало на днѣ Карамзинскихъ мечтаній, ни сомнительнаго возвращенія „назадъ домой“, когда наше отечество „было болѣе предано восточнымъ обычаямъ“. Мы сейчасъ увидимъ, какъ высоко цѣнилъ Грибоѣдовъ необходимость просвѣщенія, серьезно воспринятаго, источникъ котораго былъ возможенъ только одинъ—общеніе съ образованіемъ европейскимъ.

Въ данную минуту Грибоѣдовъ возставалъ противъ преклоненія предъ иноземцами; онъ не терпѣлъ „нѣмцевъ“, какъ бывало не терпѣли ихъ такъ-называемые „квасные“ патріоты. Это

— Преображеніе Думы въ Сенатъ. Отмѣна формулы: „Государь указалъ, бояре приговорили“.

— Военный судъ. Несвідущіе судьи.

— Заточеніе жены въ Суздальскій монастырь. Убіеніе сына.

— Изъ письма Петра: „большія бороды нинѣ не въ авантажъ обрѣтаются“.

— Ibidem: „Питербурхъ“...

— Заставляютъ царевича Алексія признаться, что онъ на духовенствѣ опирался въ мятежныхъ своихъ замыслахъ. И это объявляется всенародно...

— Обвиняютъ царевича Алексія въ томъ, что онъ духовному отцу на исповѣди говорилъ“...

Въ концѣ этихъ замѣтокъ (стр. 74—75), отвергая необходимость уничтоженія стрѣлцаго войска, самъ Грибоѣдовъ не совсѣмъ доказательно защищаетъ ихъ, сравнивая ихъ съ персидскимъ регулярнымъ войскомъ, сарбазами, и замѣчаетъ: „ваше отечество въ концѣ XVII-го столѣтія было болѣе предано *восточнымъ* *обычаямъ*“—противъ нихъ-то и дѣйствовалъ Петръ.

¹⁾ Изд. 1889, I, стр. 67. Редакторъ изданія подыскалъ у Пуффендорфа мѣсто, которое нѣтъ въ виду Грибоѣдова:

Говоря о невѣжествѣ русскихъ, Пуффендорфъ замѣчаетъ, что они—„засорны же и невѣродержательны (т.-е. склонны къ обману, недержанію слова) суть, свирѣпы и кровожаждущіе челоѣды, въ вещахъ благополучныхъ (т.-е. въ счастьяхъ, въ удачѣ) безчестно и нестерпимою гордостью возносятся; въ противныхъ же вещахъ (въ несчастіяхъ, неудачѣ) низложеннаго ума и сокрушеннаго... Рабскій народъ рабско смиряется и жестокостію власти воздержаться въ повиновеніи любитъ“.

было точно органическое отвращеніе. Въ путевыхъ замѣткахъ по Кавказу (1819), по поводу встрѣчъ и сношеній съ восточными людьми, которые и теперь встрѣчаются на Кавказѣ въ весьма первобытномъ состояніи, а тогда тѣмъ паче, Грибоѣдовъ пишетъ слѣдующую замѣтку, любопытную опять по взгляду на русскую старину.

„Разгоряченный тѣмъ, что видѣлъ и проглотилъ, я перенесся за двѣсти лѣтъ назадъ въ нашу родину. Хозяинъ ¹⁾ представился мнѣ въ видѣ добродушнаго москвитянина, угощающаго прїѣзжихъ изъ нѣмцевъ, фараши—его домочадцами, самъ я—Олеарій. Крѣпкіе напитки, сырыя овощи и блюда съ сахарными брашнами, все это способствовало къ переселенію моихъ мыслей въ нашу сѣдую старину, и даже увертливый красный челоуѣкъ ²⁾, который хотя и называется англичаниномъ, а право, нельзя ручаться, изъ какихъ онъ; этотъ анонимъ только разсыпался въ нелѣпныхъ разсказахъ о томъ, что дѣлается за-моремъ; я видѣлъ въ немъ Маржерета, выходца при Дмитріѣ, прозванномъ Самозванцемъ, и всякаго другого бродящаго иностранца того времени, который въ нашихъ теремахъ пилъ, ѣлъ, разживался и, возвратясь къ своимъ, ругательствомъ платилъ русскимъ за русское хлѣбосольство. И эриванскій Маржереть... язвительно отзывался на счетъ персіанъ, которые не допускаютъ его умереть съ голоду“.

Онъ замѣчаетъ тутъ же, что „въ какомъ бы видѣ оно ни было, гостепрїимство должно притупить стрѣлы насмѣшливыхъ наблюдателей“,—но если встрѣчается не одно гостепрїимство? и можно ли совсѣмъ устранить впечатлѣніе видѣннаго и испытаннаго? Въ разсказѣ самого Грибоѣдова гостепрїимно встрѣчавшіе его персіане все-таки изображены мало симпатичными дикарями.

Преслѣдуя иноземцевъ въ русской старинѣ, Грибоѣдовъ еще больше не терпитъ ихъ въ современной жизни. Забавенъ разсказъ (въ письмѣ къ Бѣгичеву, 1818 г.) о путешествіи его вмѣстѣ съ сослуживцемъ, Амбургеромъ, котораго Грибоѣдовъ хотѣлъ увѣрить въ непохвальности его нѣмецкаго происхожденія. „Вообще,—пишетъ Грибоѣдовъ съ дороги,—вездѣ на станціяхъ остановка; къ счастью, что мой товарищъ—особа прегорячая, бить на смотрителей, хорошій малый; я уже увѣрилъ его, что *быть нѣм-*

¹⁾ Въ видѣ любезности русскому повѣренному въ дѣлахъ, этотъ хозяинъ, нѣчто въ родѣ полковника въ персидскомъ войскѣ, сказалъ, что „еслибъ такому дорогому гостю задумалось позабавиться и отсѣчь голову всѣмъ его слугамъ и даже брату, онъ бы чрезъ то великое удовольствіе принесть хозяину“...

²⁾ Грибоѣдовъ разумѣетъ англичанина, котораго они здѣсь встрѣтили и который былъ у персіанъ военнымъ инструкторомъ.

цѣмъ очень мзлая роль на семъ свѣтѣ, и онъ уже подписывается Амбургеръ, а не — рз, и вмѣстѣ со мною нѣмцевъ ругаетъ на новаль, а мнѣ это съ руки“. Онъ прибавляетъ вслѣдъ затѣмъ: „Одинъ томъ Петровыхъ акцій ¹⁾ у меня въ бичкѣ, и я зѣло на него и на его колбасниковъ сержусь: коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное въ Дѣянiяхъ, пожалуй напиши, я этимъ воспользуюсь“.

Откуда же эта нелюбовь къ „нѣмцамъ“: о какихъ „нѣмцахъ“ рѣчь, тѣмъ именно они мѣшали и т. п.? Впослѣдствіи Гоголь въ „Мертвыхъ Душахъ“ характеризовалъ однажды жалобы на нѣмцевъ, рассказавъ исторію пьяницы сапожника, который въ выучкѣ у нѣмца работалъ какъ слѣдуетъ, а затѣмъ, открывъ свою мастерскую, началъ пьянствовать, ставить на сапоги гнилой товаръ и—жаловался на нѣмцевъ, когда у него перестали брать негодные сапоги... У Грибоѣдова это было тоже враждебное чувство, которое сказывалось тогда у многихъ патріотически настроенныхъ людей и относилось къ наплыву нѣмцевъ въ военной и гражданской администраціи, имѣвшему дѣйствительно свои неблагоприятныя стороны. Нѣмцы-администраторы были чужды русской жизни, слишкомъ часто относились къ русскому обществу и народу съ высокоумнымъ пренебреженіемъ, выводили своихъ и т. п. Извѣстно, что такимъ ненавистникомъ нѣмцевъ былъ, напр., Ермоловъ, въ которомъ и Грибоѣдовъ удивлялся необычайному, свѣтлому и простому уму; рассказываютъ анекдотъ о томъ, какъ Ермоловъ, когда ему предлагалось какое-то повышеніе, просилъ только произвести его въ нѣмцы, такъ какъ послѣ этого ему уже нечего будетъ хлопотать о своей карьерѣ. Но извѣстно также, что не всѣ же вліятельные посты были въ рукахъ нѣмцевъ, и во второй половинѣ царствованія Александра I самый сильный человекъ, Аракчеевъ, былъ самый русскій. Къ сожалѣнію мысли Грибоѣдова объ этомъ предметѣ извѣстны намъ только въ подобныхъ отрывкахъ и полу-шутовскихъ анекдотахъ; надо думать, что серьезное основаніе этихъ мыслей заключалось въ желаніи большей самостоятельности для русскихъ общественныхъ силъ—какъ надо объяснять и филиппики противъ иноземцевъ въ устахъ Чацкаго. Подтверженіе этому мы найдемъ въ другихъ сторонахъ взглядовъ и стремленій Грибоѣдова.

Его патріотизмъ не былъ однимъ инстинктомъ, какъ вовсе не былъ и тѣмъ обычнымъ чувствомъ, которое слѣдуетъ за общимъ потокомъ массы или повинуется только призыву властей; онъ не

¹⁾ Онъ передѣлываетъ на старинный ладъ „Дѣянiя“ Петра В. Голикова.

подчинялся традиціонному міровоззрѣнію, не успокоивался на данныхъ рамкахъ общественной жизни и литературы, но вмѣстѣ съ тѣмъ его взглядъ на вещи былъ умѣренный и спокойный, и онъ не былъ политическимъ мечтателемъ. Въ уцѣлѣвшихъ отрывкахъ его замысловъ можно прослѣдить глубокое недовольство существующимъ характеромъ общества, которое, однако, распоряжалось судьбами цѣлаго государства и народа. Таковъ сохранившійся планъ исторической драмы или хроники: „1812-ый годъ“, — планъ, который считали возможнымъ относить къ первому времени послѣ событій знаменитой эпохи ¹⁾. Какъ бы то ни было, когда бы Грибоѣдовъ ни составлялъ этотъ планъ, въ немъ чрезвычайно любопытна самая мысль, въ которой отразились его личные опыты и общественные взгляды. И это послѣднее произведеніе сохранилось для насъ опять только въ крайне скудныхъ очертаніяхъ, въ сущности только въ намекахъ, — потому что самый планъ очень кратокъ. Двѣнадцатый годъ оставилъ въ современной литературѣ замѣчательно малый слѣдъ, не отвѣчающій его историческому значенію. Онъ былъ конечно „воспѣтъ“, но воспѣваніе въ громадномъ большинствѣ случаевъ свидѣтельствовало о дурномъ литературномъ вкусѣ и затѣмъ выразило только общій, такъ сказать, элементарный мотивъ — патріотическую радость объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества; при этомъ обыкновенно воспѣваніе загромаждаетъ тѣмъ преувеличенной риторикой и почти не затрогиваетъ ни дѣйствительныхъ фактовъ общественнаго возбужденія, ни оборотной стороны событій. Грибоѣдову тѣма представилась именно съ ея народно-общественной стороны. Съ первой предположенной сцены его хроники передъ зрителемъ или читателемъ драмы отрывалась реальная картина исторической минуты ²⁾; затѣмъ въ фантастическомъ видѣніи являлись на сценѣ „тѣни давно усопшихъ исполиновъ“ отъ Святослава до Петра, присутствіе которыхъ указывало на великое значеніе совершающихся событій; дальше, Наполеонъ въ Кремлѣ, размышляющій „о юномъ, первообразномъ семъ народѣ, объ особенностяхъ его одежды, зданій, вѣры, нравовъ: *самъ себѣ преданный, что бы онъ могъ произвести?*“ Далѣе, изображеніе пребыванія французовъ въ Москвѣ, „всеобщаго ополченія безъ дворянъ“, преслѣдованія французовъ. Въ эпилогѣ двѣ картины, во-первыхъ: „Вильна. Отличія,

¹⁾ Въ изд. 1889, т. II, стр. 214—217, 519—521. Алексѣй Веселовскій предполагалъ, что онъ относится къ 1817 году.

²⁾ „Красная площадь.—Исторія начала войны, взятіе Смоленска, народныя черты, пріѣздъ государя, обозъ раненыхъ, рассказъ о битвѣ Бородинской. М* съ перваго стиха до послѣдняго на сценѣ. Очертаніе его характера“.

искательства, вся поэзія великихъ подвиговъ исчезаетъ. М* въ пренебреженіи у начальниковъ. Отпускается во свояси съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію"; во-вторыхъ: „Село, или развалины Москвы. Прежнія мерзости. М* возвращается подъ палку господина, который хочетъ ему сбрить бороду. Отчаяніе... самоубійство“.

Этотъ М*, появляющійся во все теченіе драмы, есть очевидно ополченецъ изъ крѣпостныхъ; онъ совершаетъ высокіе подвиги мужества, которые въ концѣ концовъ навлекаютъ ему только пренебреженіе начальства, не избавляютъ отъ возвращенія „подъ палку господина“, въ результатъ—отчаяніе и самоубійство. Фактъ—не единичный: послѣ великихъ событій „вся поэзія подвиговъ исчезаетъ“, и начинаются „прежнія мерзости“. Очевидно, въ этомъ печальномъ выводѣ—основная мысль драмы, и ничего подобнаго мы не находимъ въ современной Грибовдову литературѣ.

Есть другая черта въ тѣхъ отрывкахъ и случайныхъ замѣткахъ, въ которыхъ мы должны искать душевныхъ мыслей Грибовдова и комментаріевъ къ „Горю отъ ума“. Это—выраженія сочувствій къ народу и народности, опять непохожія на то, что мы находимъ у его современниковъ и даже у самого Пушкина.

Въ небольшой статьѣ: „Загородная поѣздка“, гдѣ описывается ближайшая, парголовская, окрестность Петербурга, Грибовдовъ встрѣтилъ, кажется, неожиданный эпизодъ русской народной жизни—родъ пѣсеннаго и мимического представленія стариннаго удалства ¹⁾. Среди нероскошнаго пейзажа петербургской природы, послышались звучные плясовые напѣвы.

„Родныя пѣсни! — восклицаетъ Грибовдовъ.—Куда занесены вы съ священныхъ береговъ Днѣпра и Волги?.. То мѣсто было уже наполнено бѣлками крестьяночками въ лентахъ и бусахъ; другой хоръ изъ мальчиковъ; мнѣ болѣе всего понравились у двухъ изъ нихъ смѣлыя черты и вольныя движенія. Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ *поврежденный классъ* полу-европейцевъ, къ которому и я принадлежу. Имъ казалось дико все,

¹⁾ Редакторъ изданія 1889 г., г. Шляпкинъ, рассказываетъ по поводу эпизода, описаннаго Грибовдовымъ: „Это цѣлое мимическое представленіе похода Разина по Волгѣ давалось обыкновенно зимою. Я, уроженецъ мѣстности, близкой къ Парголову, помню, какъ мужики, одѣтые въ красныя рубахи, съ косами за поясомъ, садились на полу по двое, какъ бы въ лодкѣ, и мѣрно ударяя въ ладоши, пѣли пѣсни, а между тѣмъ атаманъ и есаул вели разговоръ о мѣстностяхъ, якобы представлявшихся имъ при плаваніи, и о добычѣ. Теперь это совершенно исчезло“. Изд. 1889. I, стр. 360. Статья Грибовдова, тамъ же, стр. 107—109.

что слышали, что видѣли: ихъ сердцамъ эти звуки невняты, эти наряды для нихъ странны. Какимъ *чернымъ волшебствомъ* сдѣлались мы чужіе между своими! Финны и тунгусы скорѣе пріеются въ наше собратство, становятся выше насъ, дѣлаются намъ образцами (?), а народъ единокровный, нашъ народъ, разрозненъ съ нами, и навѣки! Еслибы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ конечно бы заключилъ изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами.

Пѣсни не умолкали; затянули: *Внизъ по матушкѣ по Волгѣ*; молодые пѣвцы присѣли на дернъ и дружно грянули въ ладоши, подражая мѣрнымъ ударамъ веселъ; двое на ногахъ оставались: атаманъ и есаулъ. Былыя времена! какъ живо воскрешаетъ васъ въ моей памяти эта народная игра: тотъ вѣкъ необузданной вольности, въ который нѣсколько удалцевъ бросались въ легкіе струи, спускались внизъ по протоку Ахтубѣ, по Бузанъ-рѣкѣ, дерзали въ открытое море, брали дань съ прибрежныхъ городовъ и селеній, не щадили ни красоты дѣвичьей, ни сѣдины старческой, а, по словамъ Шардена, въ роскошномъ Фирузъ-Абатѣ, угрожали блестящему двору шаха Аббаса. Потомъ, обогатясь корыстями, несмѣтнымъ числомъ тканей узорчатыхъ, серебра и золота, и жемчуга окатнаго, возвращались домой, гдѣ ожидали ихъ любовь и дружба; ихъ встрѣчали съ шумною радостью и славили въ пѣсняхъ“.

Прекрасна, безъ сомнѣнія, возможность единенія съ народомъ, о которой помышлялъ Грибоѣдовъ, единенія въ обычаяхъ и нравахъ, въ поэтическихъ воспоминаніяхъ и т. п.; въ *былыя времена* это единеніе существовало, но Грибоѣдовъ не обратилъ вниманія, что, напр., въ данномъ случаѣ воспоминаніе его восхищалось вѣкомъ „необузданной вольности“, по просту разбоя, который указывалъ въ эти самыя былыя времена страшный общественный разладъ, шедшій, наконецъ, на ножи; а „любовь и дружба“, ожидающія разбойниковъ дома, напоминали карамзинскую идиллію въ нѣсколько неожиданномъ примѣненіи. До-петровское государство, какъ и позднѣйшее, вовсе не мирилось съ этою необузданною „вольностью“, и старинное боярство, и служилые люди не были тутъ въ единеніи съ народомъ; напротивъ, между ними шла настоящая война...

Понятно, что, передавая эти неожиданныя впечатлѣнія русской народной жизни, Грибоѣдовъ не думалъ вникать въ подробности

и ставить историческій вопросъ; онъ высказывалъ только общее впечатлѣніе разлада, разработать которое въ теоретическій взглядъ предоставлено было уже послѣдующему поколѣнію—славянофильству и народолюбивой этнографіи; но вопросъ:—какъ же съ этимъ быть?—оставался, и онъ остается до сихъ поръ неразрѣшеннымъ. Во всякомъ случаѣ, онъ не разрѣшался ни неопредѣленнымъ негодованиемъ, ни сантиментальными самообольщеніями...

„Грибоѣдовъ любилъ простой народъ,—разсказываетъ одинъ изъ его друзей, — и находилъ особое удовольствіе въ обществѣ образованныхъ молодыхъ людей, не испорченныхъ еще искательствомъ и свѣтскими приличіями. Любилъ онъ и ходить въ церковь. „Любезный другъ, говорилъ онъ: только въ храмахъ божіихъ собираются русскіе люди; думаютъ и молятся по-русски. Въ русской церкви я въ отечествѣ, въ Россіи! Меня приводитъ въ умиленіе мысль, что тѣ же молитвы читаны были при Владимірѣ, Димитріѣ Донскомъ, Мономахѣ, Ярославѣ, въ Кіевѣ, Новѣгородѣ, Москвѣ; что то же пѣніе одушевляло набожныя души. Мы — русскіе только въ церкви, — а я хочу быть русскимъ“... Говорятъ дальше, что Грибоѣдовъ „уважалъ и иностранцевъ, особенно посвятившихъ себя служенію Россіи“; наконецъ, что онъ „любилъ болѣе всего славянскія поколѣнія и считалъ ихъ одною семьей“ ¹⁾.

Изъ приведенныхъ примѣровъ можно только вывести, что мысль Грибоѣдова была направлена все-таки серьезнѣе, чѣмъ у большинства тогдашнихъ писателей, занятыхъ поверхностными вопросами поэтическаго дилеттанства, и между прочимъ направлена была на положеніе общества относительно народной массы. Какъ дальше увидимъ, была одна группа новаго поколѣнія, съ которой мысли Грибоѣдова въ этомъ отношеніи значительно совпадали...

Изъ того же времени осталось въ письмахъ Грибоѣдова нѣсколько любопытныхъ отзывовъ о тогдашней литературѣ и обществѣ. Выше упомянуто, что въ свои молодые годы онъ самъ, особливо по своимъ театральнымъ связямъ, втягивался въ мелкую литературную суету, придавалъ значеніе полемикѣ, вертѣвшейся на пустякахъ, но къ тому времени, когда шла и завершалась работа надъ „Горемъ отъ ума“, мы встрѣчаемся съ серьезнымъ настроеніемъ, съ глубокимъ недовѣріемъ къ данному состоянію литературы, даже враждебнымъ пренебреженіемъ. Его собственная мысль достигала такой высоты, что мелкіе интересы тогдашней литературы должны были показаться нестоящими никакого внима-

¹⁾ Изд. 1889, т. I, стр. XXXIV.

ніа. Въ январѣ 1825 года, въ письмѣ къ Бѣгичеву онъ такъ выражается о литературномъ кругѣ, въ которомъ бывалъ въ Петербургѣ: „Вчера я обѣдалъ со всею *сволочью* здѣшнихъ литераторовъ. Не могу пожаловаться, отовсюду колѣнопреклоненія и оиміамъ, но вмѣстѣ съ этимъ—сытость отъ ихъ дурачествъ, ихъ сплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ. Не отчаивайся, другъ почтенный, я еще не совсѣмъ погрязъ въ этомъ трясиномъ государствѣ“. Въ письмѣ къ князю В. Ѳ. Одоевскому, онъ говоритъ: „...Только я не разумѣю здѣсь полемическихъ памфлетовъ, критикъ и антикритикъ. Виновать, хотя ты за меня подвизаешься, а мнѣ за тебя досадно. Охота же такъ ревностно препираться о нѣсколькихъ стихахъ, о ихъ гладкости, жесткости, плоскости; между тѣмъ, тебѣ отвѣчать будутъ и самого вынудятъ за брань отплатить бранью. Борьба *ребяческая, школьная*. Какое торжество для тѣхъ, которые отъ души желаютъ, чтобы отечество наше оставалось въ вѣчномъ младенчествѣ!!!“ — „У Грибоѣдова,—говоритъ одинъ близкій къ нему современникъ,—навертывались слезы, когда онъ говорилъ о бесплодной почвѣ нашей словесности. Жизнь народа, какъ жизнь человѣческая, есть дѣятельность умственная и физическая; словесность — мысль народа объ изящномъ. Греки, римляне, евреи—не погибли отъ того, что оставили по себѣ словесность, а мы... мы не пишемъ, а только переписываемъ! Какой результатъ нашихъ литературныхъ трудовъ по истеченіи года, столѣтія? Чтѣ мы сдѣлали и чтѣ могли бы сдѣлать!“ Разсуждая о сихъ предметахъ, Грибоѣдовъ становился грустенъ, угрюмъ“ ¹⁾).

Не высоко было мнѣніе Грибоѣдова и о русскомъ обществѣ: это — общество тупое, лишенное идеаловъ, не умѣющее цѣнить людей, которые служатъ его лучшимъ интересамъ, погрязшее въ своемъ ограниченномъ матеріальномъ быту. Въ декабрѣ 1826 г., онъ пишетъ къ своему другу Бѣгичеву: „Буду ли я когда-нибудь независимымъ отъ людей? Зависимость отъ семейства, другая отъ службы, третья отъ цѣли въ жизни, которую себѣ назначилъ, и можетъ стать наперекоръ судьбѣ. Поэзія!! Люблю ее безъ памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И наконецъ, чтѣ слава? По словамъ Пушкина...

Лишь ярая заплата
На ветхомъ рубищѣ пѣвца.

¹⁾ Изд. 1889, I, стр. XXXIII. Подобное невысокое мнѣніе о нашемъ „ученомъ и неученомъ мірѣ“ см. еще въ письмѣ къ Катенину отъ февраля 1820 года. Тамъ же, стр. 172.

„Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира... Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ; но всѣхъ равнодушнѣе наши Сардары: я думаю даже, что они ихъ ненавидятъ. *Vous en se qui en seга*“... „Читай Плутарха, и будь доволенъ тѣмъ, что было въ древности. Нынѣ эти характеры болѣе не повторяются“.

Повторимъ опять сожалѣніе, что взгляды Грибодова извѣстны намъ слишкомъ отрывочно, чтобы можно было возстановить съ нѣкоторой точностью его цѣлое міровоззрѣніе. Его собственныя указанія, сохранившіяся въ письмахъ, совершенно случайны; современники, его близко видѣвшіе, говорятъ о его „здравыхъ сужденіяхъ“, остроуміи, „особенномъ дарѣ убѣждать“, „горячихъ“ рѣчахъ, и т. д.; но кромѣ нѣсколькихъ общихъ и частію безразличныхъ примѣровъ, не говорятъ, куда направлялся этотъ даръ убѣжденія, пылкость рѣчей и необыкновенный умъ. Между тѣмъ, какъ мы уже видѣли изъ нѣсколькихъ образчиковъ въ его письмахъ, взгляды Грибодова дѣйствительно отличались и силою, и оригинальностью... Между прочимъ, въ одномъ изъ его писемъ къ Бѣгичеву изъ Θεοδοσίи, въ сентябрѣ 1825 года, брошено замѣчаніе, исполненное глубокаго смысла и которое рѣдко кому приходило въ голову въ обычныхъ толкахъ о нашей цивилизующей миссіи на Востокъ. Онъ передаетъ свои впечатлѣнія при осмотрѣ Θεοδοσίи, древней Кафы. „Чуждая смѣсь вѣковыхъ стѣнъ прежней Кафы и нашихъ однодневныхъ мазанокъ! Отчего, однако, воскресло имя Θεοδοσίи, едва извѣстное изъ описаній древнихъ географовъ, и поглотило наименованіе Кафы, которая громка во сколькохъ лѣтописяхъ европейскихъ и восточныхъ? На этомъ пепелищѣ господствовали нѣкогда готическіе нравы генуэзцевъ, ихъ смѣнили пастырскіе обычаи мунгаловъ съ примѣсью турецкаго великолѣпія; за ними явились мы, *всеобщіе наследники, и съ нами—духъ разрушенія*; ни одного зданія не уцѣлѣло, ни одного участка древняго города не взрытого, не перекопаннаго. Чтожь? Сами указываемъ будущимъ народамъ, которые постѣ насъ придутъ, когда исчезнетъ русское племя, какъ имъ поступать съ бренными остатками нашего бытія“.

„Духъ разрушенія“, къ сожалѣнію, дѣйствительно слишкомъ часто сопровождалъ наше движеніе и на востокъ, и на западъ. Въ прежнее время онъ былъ внушаемъ національной нетерпимостью, переходившей нерѣдко всякіе предѣлы, и патріархаль-

нымъ состояніемъ умовъ; въ послѣдствіи не было даже и этого мотива, и разрушеніе совершалось по духу канцелярской и фронтальной одноформенности. Неуваженіе къ личности, развивавшееся въ домашнихъ отношеніяхъ, переносилось въ широкіхъ размѣрахъ и на вновь приобретаемые земли и народы; поселялась ненужная вражда, которая препятствовала сліянію, и которой можно было бы въ значительной мѣрѣ избѣжать. Любопытно, что Грибоѣдовъ возвращался къ этому предмету и въ официальной запискѣ 1828 г. по поводу проектированной русской торговой компаніи на Кавказѣ: онъ надѣялся, что только этимъ мирнымъ путемъ „исчезнутъ предрасудки, полагавшіе рѣзкій рубежъ между нами и подвластными намъ народами“. И въ другихъ случаяхъ, въ своихъ письмахъ изъ Персіи онъ указываетъ на необходимость „правосудія“ для того, чтобы внушить покореннымъ народамъ Кавказа довѣріе къ русской власти и способствовать ихъ сближенію съ русскимъ государствомъ и народомъ...

Рядомъ съ подобными отрывками мыслей Грибоѣдова о нашей общественности и литературѣ, въ этихъ письмахъ изрѣдка разбросаны его мысли о собственной дѣятельности. Если его глубоко возмущало въ русскомъ обществѣ неуваженіе къ умственнымъ силамъ, въ сущности оберегающимъ его же человѣческое достоинство, и возмущалъ жалкій составъ нашей литературы, то въ словахъ его о себѣ высказывается обыкновенно недовольство самимъ собой, стремленіе къ чему-то высокому и гораздо болѣе крупному, чѣмъ то, что онъ видѣлъ вокругъ себя и что дѣлалъ самъ въ данную минуту. Въ черновомъ наброскѣ, писанномъ послѣ 1823 года, повидимому, среди работы надъ „Горемъ отъ ума“, Грибоѣдовъ такъ говоритъ о своемъ произведеніи: „Первое начертаніе этой сценической поэмы, какъ оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и *высшаго значенія*, чѣмъ теперь, въ суетномъ нарядѣ, въ который я принужденъ былъ облечь его. Ребяческое удовольствіе слышать стихи мои въ театрѣ, желаніе имъ успѣха заставили меня портить мое созданіе, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишетъ для сцены: Расинъ и Шекспиръ подвергались той же участи,—такъ мнѣ ли роптать?“ ¹⁾ Онъ знаетъ, что истинно-художественная вещь приобретаетъ тѣмъ большую силу, когда не все договариваетъ, когда немногія сильныя черты возбуждаютъ самодѣятельность читателя или зрителя: „въ превосходномъ стихотвореніи,—говоритъ онъ,—многое должно угадывать, не вполне выраженные мысли или чувства тѣмъ болѣе

¹⁾ Изд. 1889, I, стр. 83.

дѣйствуютъ на душу читателя, что въ ней, въ сокровенной глубинѣ ея, скрываются тѣ струны, которыхъ авторъ едва коснулся, нерѣдко однимъ намекомъ, но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно“,—для этого съ одной стороны требуется художественное дарованіе, съ другой—восприимчивость; но можно ли требовать этой восприимчивости отъ толпы, особливо въ случайностяхъ театральной постановки?

Чрезвычайно любопытно это замѣчаніе, что планъ „Горя отъ ума“ былъ „гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія“, чѣмъ получило оно въ его сценической формѣ. Кромѣ этихъ словъ мы ничего не знаемъ о томъ первоначальномъ замыслѣ, но изъ самыхъ словъ Грибодова надо заключить, что, вѣроятно, гораздо шире предполагалось именно общественное значеніе задуманнаго произведенія.

Въ письмѣ къ Бѣгичеву отъ августа 1824 года находимъ рассказъ объ одномъ эпизодѣ продолжительной работы Грибодова надъ своимъ произведеніемъ. Оно давалось ему вообще не легко; много разъ онъ его сильно передѣлывалъ, измѣнялъ, соображалъ, писалъ вновь и т. д.; и постоянно сказывается мысль, что это все-таки не совсѣмъ то, чего бы онъ хотѣлъ и на что считалъ себя способнымъ.

„...Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія. Надѣюсь, жду, указываю, мѣняю дѣло на вздоръ, такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ..., сержусь и восстанавливаю стертое, такъ что, кажется, работѣ конца не будетъ; ...будетъ же, добьюсь до чегонибудь; терпѣніе есть азбука всѣхъ прочихъ наукъ; посмотримъ, что Богъ дастъ. Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли рѣшишься: онъ такъ не совершененъ, такъ не чистъ; представь себѣ, что я слишемъ восемьдесятъ стиховъ, или, лучше сказать, риѣмъ перемѣнилъ; теперь гладко, какъ стекло. Кромѣ того, на дорогѣ пришло мнѣ въ голову придѣлать новую развязку; я ее вставилъ между сценою Чацкаго, когда онъ увидалъ свою негодяйку, со свѣчею надъ лѣстницею, и передъ тѣмъ, какъ ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались, въ самый день моего приѣзда, и въ этомъ видѣ читалъ я ее Крылову, Жандру, Хмѣльницкому, Шаховскому, Гр. и Булг., Колосовой, Каратыгину, дай счастье—8 чтеній, нѣтъ обчелся,—двѣнадцать; третьяго дня обѣдъ былъ у Столыпина, и опять чтеніе, и еще слово далъ на три въ разныхъ закоулкахъ. Грому, шуму, восхищенію, любопытству, конца нѣтъ. Шаховской рѣшительно признаетъ себя побѣжден-

нымъ (на этотъ разъ). Замѣчаніемъ Вильгорскаго я тоже воспользовался. Но, наконецъ, мнѣ такъ надобно все одно и то же, что во многихъ мѣстахъ импровизирую,—да, это нѣсколько разъ случилось, — потому я самъ себя ловилъ, но другіе не домекались. Voilà ce qui s'appelle sacrifier à l'intérêt du moment. Ты, безцѣнный другъ мой, насъкозь знаешь своего Александра; подивись гвоздю, который онъ вбилъ себѣ въ голову, мелочной задачѣ, вовсе несообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ, къ новымъ познаніямъ, къ переменѣ мѣста и занятій, къ людямъ и дѣламъ необыкновеннымъ. И смѣю ли здѣсь думать и говорить объ этомъ? Могу ли прилежать къ чему-нибудь высшему? Какъ притомъ, съ какой стати, сказать людямъ, что грошевыя ихъ одобренія, ничтожная слависка въ ихъ кругу не могутъ меня утѣшить? Ахъ! прилична ли спѣсь тому, кто хлопочетъ изъ дурацкихъ рукоплесканій?" ¹⁾

Дальше, любопытно письмо къ Катенину въ январѣ 1825 г., по взглядамъ Грибоѣдова на планъ и исполненіе его комедіи. Письмо Катенина, на которое отвѣчалъ Грибоѣдовъ, кажется, не сохранилось; изъ отвѣта видны замѣчанія Катенина: онъ касались плана, въ которомъ Катенинъ, съ привычной формальной точки зрѣнія, находилъ крупную погрѣшность, касались портретности лицъ и т. п. Грибоѣдовъ объяснялъ этотъ планъ очень просто, какъ въ наше время объясняетъ его критика: это именно—драматическое развитіе внутренняго противорѣчія главнаго героя съ окружающимъ, противорѣчія, испытаннаго имъ и въ личныхъ отношеніяхъ къ любимой дѣвушкѣ, и въ отношеніяхъ общественныхъ, гдѣ онъ осыпаетъ обличеніями погрязшее въ застарѣлой пустотѣ и рутинѣ общество, а послѣднее въ отмстку предаетъ его анаемѣ и объявляетъ сумасшедшимъ. На обвиненіе въ портретности Грибоѣдовъ отвѣчаетъ:

„Да! и я, коли не имѣю таланта Мольера, то по крайней мѣрѣ чистосердечнѣе его; портреты и только портреты входятъ въ составъ комедіи и трагедіи; въ нихъ, однако, есть черты, свойственныя многимъ другимъ лицамъ, а иныя всему роду человѣческому на столько, на сколько каждый человѣкъ похожъ на себѣ своихъ двуногихъ собратій. *Каррикатуръ ненавижу*; въ моей картинѣ ни одной не найдешь. Вотъ моя поэтика... Одно прибавлю о характерахъ Мольера: Мѣщанинъ въ дворянствѣ,

¹⁾ Изх. 1889, I, стр. 185—186.

Мнимый больной — портреты, и превосходные; Скупецъ — антропость ¹⁾ собственной фабрики и несносенъ“.

Любопытенъ еще отвѣтъ на замѣчаніе Катенина, находившаго въ пьесѣ „дарованія больше, нежели искусства“. „Самая лестная похвала,—говоритъ Грибоѣдовъ,—которую ты могъ мнѣ сдѣлать; не знаю, стою ли ея? Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобъ поддѣлываться подъ дарованіе, а въ комъ больше вытверженнаго, прибрѣтеннаго подтомъ и мученіемъ ²⁾ искусства угождать теоретикамъ, т.-е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять швольнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, — тотъ, если художникъ, разбей свою палитру, и кисть, и рѣзецъ, или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ спорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитрости? *Nugae difficiles*. Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно“ ³⁾.

Понятно, что портретность, о которой говоритъ Грибоѣдовъ, весьма не похожа на ту, какая бываетъ въ ходу, напр., въ новѣйшихъ произведеніяхъ нашей беллетристики, гдѣ въ ней прибѣгаютъ за скудостью фантазіи и творчества. Грибоѣдовъ не искалъ портретовъ для портретовъ и „ненавидѣлъ каррикатуры“; въ его воображеніи носилась цѣлая картина общества—не мудрено, что она наполнялась и живыми лицами, которыя служили ему только какъ типы, какъ характерные образчики цѣлаго ряда другихъ подобныхъ лицъ. Біографы Грибоѣдова и историческіе критики его комедій проводятъ передъ нами цѣлую галерею лицъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ въ свое время, которыя послужили оригиналами для „Горя отъ ума“ ⁴⁾; но изъ всей пьесы видно, что эти лица, въ большинствѣ очерченныя только немногими стихами, даютъ въ сущности не „портреты“, а именно характерныя лица общества, гдѣ они были только единицами изъ многихъ, были „типами“, которыхъ тогда не умѣли назвать.

Тѣ, что говоритъ Грибоѣдовъ о дарованіи и искусствѣ, опять могло бы предотвратить многія недоумѣнія, которыя возникали внослѣдствіи относительно формы его произведенія. Строгій классикъ Катенинъ, очевидно находившій въ пьесѣ мало „искусства“, и позднѣйшіе романтическіе критики, и самъ Бѣлинскій, судили пьесу по тѣмъ привычнымъ требованіямъ, какимъ научились каж-

¹⁾ „Человѣкъ“ по-гречески.

²⁾ Т.-е. мучительными усиліями.

³⁾ Изд. 1889, I, стр. 196—197.

⁴⁾ Изд. 1889, II, стр. 523—526.

дый въ своей школѣ. Грибоѣдовъ былъ правъ, и въ своемъ объясненіи плана и въ отрицаніи школьныхъ требованій и „бабушкиныхъ преданій“. Свою пьесу онъ не разъ называетъ именно не комедіей, а „драматической картиной“, и очевидно требовалъ себѣ, и вообще, свободы формы, лишь бы она отвѣчала поэтическому замыслу; въ замыслѣ была прежде всего картина нравовъ въ исторической противоположности и борьбѣ двухъ поколѣній. Эта форма была бы столько же законна, какъ драматическая поэма или шекспировская хроника; но затѣмъ присутствіе драматическаго развитія могло вполнѣ удовлетворить и требованіямъ собственно „комедіи“, чего не умѣли понять и не хотѣли признать многіе изъ ея прежнихъ критиковъ.

Продолжительная работа надъ „Горемъ отъ ума“ показываетъ, что Грибоѣдовъ одушевленъ былъ высокимъ представленіемъ о задачахъ художественнаго произведенія, врывающагося въ общественную жизнь. Его письма изъ этой поры свидѣлствуютъ, что часто овладѣвало имъ сомнѣніе въ своихъ силахъ, недовольство окружающимъ и самимъ собой, жалобы на тоску и ипохондрію, и рядомъ сознаніе, что онъ могъ бы сдѣлать гораздо больше, чувство своего превосходства—настроенія, весьма обычныя у людей сильнаго ума и дарованія. Въ письмѣ къ Бѣгичеву изъ Симферополя, въ сентябрѣ 1825 года, онъ жалуется, что почти три мѣсяца живетъ въ Тавридѣ, и въ результатѣ нуль — ничего не написано. „Не знаю, не слишкомъ ли я отъ себя требую? умѣю ли писать? Право, (это) для меня все еще загадка. Что у меня съ избыткомъ найдется чтѣ сказать—за это ручаюсь; отчего же я нѣмъ? Нѣмъ какъ гробъ!!“ Его удручаетъ то, что онъ не можетъ найти уединенія, котораго ищетъ. Извѣстность автора Фамусова и Скалозуба на всякой продолжительной остановкѣ привлекаетъ къ нему кучу новыхъ знакомыхъ, пріятелей, осаждающихъ любезностями, и онъ приходитъ къ убѣжденію, что самая лучшая жизнь — на перекладныхъ, гдѣ онъ остается одинъ съ своими мыслями и фантазіей... „Но остановки, отдыхи двухнедѣльные, двухмѣсячные для меня пагубны; задремлю, либо завьюсь чужимъ вихремъ, живу не въ себѣ, а въ тѣхъ людяхъ, которые поминутно со мною, часто же они дураки набитые. Подожду, авось придутъ въ равновѣсіе мои *замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности*. Сдѣлай одолженіе, не показывай никому этого лоскутка моего пачканья, я еще не перечелъ, но убѣжденъ, что тутъ много сумасшествія“ ¹⁾. Въ письмѣ отъ апрѣля 1827, Гри-

¹⁾ Изд. 1889, I, стр. 204.

бѣдовъ пишетъ: „Не ожидай отъ меня стиховъ: горцы, персіяне, турки, дѣла управленія, огромная переписка нынѣшняго моего начальника, поглощаютъ все мое вниманіе. Не надолго, разумѣется: кончится кампанія, и я откланяюсь. Въ обыкновенныя времена никуда не гожусь: и не моя вина; люди мелки, дѣла ихъ глупы, душа черствеетъ, рассудокъ затмѣвается и нравственность гибнетъ безъ пользы ближнему. Я рожденъ для другого поприща“¹⁾.

Таковы немногочисленные прямые данныя о внутренней жизни Грибовдова, какія можно извлечь изъ его собственныхъ показаній и изъ свидѣтельствъ его ближайшихъ друзей. Остаются его сочиненія; изъ нихъ только „Горе отъ ума“ доставляетъ объ этомъ чрезвычайно интересныя указанія. Но вслѣдствіе того, что все это вмѣстѣ оставляетъ многое невыясненнымъ, самое „Горе отъ ума“ стало предметомъ разнорѣчивыхъ толкованій.

Съ перваго появленія пьесы и почти доннынѣ оставались спорными и открытыми нѣсколько весьма важныхъ вопросовъ. Во-первыхъ, вопросъ о художественномъ значеніи этого произведенія, и во-вторыхъ, связанный съ этимъ вопросъ объ его основной идеѣ, объ общественныхъ взглядахъ писателя.

Извѣстно, что Бѣлинскій въ первую пору своей дѣятельности очень рѣзко высказывался противъ „Горя отъ ума“, какъ противъ комедіи; по его мнѣнію, произведеніе Грибовдова не выполняло основныхъ условій этой художественной формы, и „Горе отъ ума“ онъ называлъ не комедіей, а сатирой, которая по его эстетическимъ понятіямъ стояла внѣ области настоящаго искусства. Свою мысль онъ подтверждалъ подробнымъ разборомъ пьесы, въ которой находилъ цѣлый рядъ крупныхъ недостатковъ плана и подробностей, въ характерахъ и положеніяхъ²⁾. Его взгляды на пьесу Грибовдова были потомъ не однажды повторены въ русской критикѣ и въ первый разъ были устранены—и, думаемъ, окончательно—въ извѣстной статьѣ И. А. Гончарова: „Миліонъ терзаній“. Мы скажемъ дальше, откуда происходилъ отрицательный взглядъ Бѣлинскаго, и замѣтимъ здѣсь пока, что его неодобрительные отзывы о художественной сторонѣ „Горя отъ ума“, его замѣчанія о мнимыхъ ошибкахъ плана, ошибкахъ въ опредѣленіи характеровъ, въ изображеніи главнаго лица, были устранены упомянутой статьѣй, гдѣ авторъ, слѣдя ходъ пьесы шагъ за ша-

¹⁾ Тамъ же, стр. 226.

²⁾ Сочиненія Бѣлинскаго, т. III, стр. 337—434 (1840); т. VI, изд. 2, стр. 66—67 (1842); т. VIII и пр.

гомъ, выяснилъ логическую связность ея построения и всѣхъ подробностей дѣйствія, вытекавшихъ изъ самой сущности отношеній героя къ его средѣ. Статья И. А. Гончарова безъ сомнѣнія памятна читателямъ, и мы не будемъ повторять ея содержанія, но въ литературѣ снова возникалъ вопросъ объ отношеніи Бѣлинскаго къ произведенію Грибоѣдова — и рядомъ съ этимъ вопросъ объ общественныхъ взглядахъ самого Грибоѣдова.

Дѣло ставится приблизительно такъ. Пьеса Грибоѣдова представляетъ собой, по своей основной мысли, выраженіе *настоящаго русскаго* чувства въ виду тѣхъ уродливостей, въ какія впадало русское общество подъ вліяніемъ увлеченія иноземнымъ. Комедія Грибоѣдова была взрывомъ негодованія противъ этого забвенія нашихъ національных особенностей и національнаго достоинства, и вмѣстѣ съ тѣмъ была отрицаніемъ пустого или поверхностнаго либерализма. Бѣлинскій былъ „западникъ“; ему должно было не нравиться это господствующее направленіе пьесы, и онъ отнесся къ ней съ тенденціозной нетерпимостью и непониманіемъ. Мнѣнія, высказанныя Бѣлинскимъ по поводу пьесы, доходили до настоящей нелѣпости, и ихъ пора отвергнуть, какъ вообще пора бы отвергнуть въ немъ и многое другое ¹⁾...

Что во взглядахъ Бѣлинскаго бывали ошибки и притомъ самыя капитальныя, ошибки не въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ сужденіяхъ, а въ цѣломъ пониманіи вещей, въ самыхъ основахъ его понятій объ обществѣ, о значеніи даже крупнѣйшихъ литературныхъ явленій, что въ теченіе развитія его идей онъ самъ видѣлъ прошлыя ошибки и не колебался сознавать и отвергать ихъ, это слишкомъ извѣстно изъ его біографіи и изъ самыхъ сочиненій. Историческій интересъ его дѣятельности, то-есть его писаній, заключается, между прочимъ, въ этомъ развитіи его понятій отъ однихъ исходныхъ точекъ и положеній къ другимъ, — развитіи, которое было вмѣстѣ исторіей цѣлой группы лучшихъ людей его поколѣнія, людей 40-хъ годовъ. Съ тѣхъ поръ какъ стало возможно историческое изученіе Бѣлинскаго, т.-е. съ половины 50-хъ годовъ, этотъ фактъ указывался всѣми, кто говорилъ о его біографіи и развитіи его общественныхъ и литературныхъ понятій... Оглядываясь на тѣ или другія мысли, высказанныя имъ полъ-вѣка тому назадъ, не трудно увидѣть и мелкія, и крупныя заблужденія, даже простодушныя ошибки „наивной души“ (какъ называли его уже ближайшіе современники, бывшіе въ извѣстномъ

¹⁾ Изд. 1886, стр. VI: „...Бѣлинскій царить, хотя пора бы анализировать этого критика и указать на тѣ промахи и даже нелѣпости, которыхъ достаточно въ 12 томахъ его произведеній“.

смыслъ его учениками), но указаніе ошибокъ въ двѣнадцати томахъ имѣло бы смыслъ и было бы нужно только тогда, когда была бы дана оцѣнка всего его труда и при этомъ указаны были бы тѣ приобрѣтенія для нашей литературы и то возвышенное нравственное значеніе, какими исполнены труды, наполняющіе эти двѣнадцать томовъ. Въ частности, относительно „Горя отъ ума“, ошибка той точки зрѣнія, какую раздѣлялъ Бѣлинскій, вполне выяснена уже И. А. Гончаровымъ.

Въ новѣйшемъ обзорѣ исторіи „Горя отъ ума“, отрицательное отношеніе Бѣлинскаго къ этому произведенію ставится въ связь съ тѣми мнѣніями, какія были высказаны при первомъ (рукописномъ) появленіи пьесы ¹⁾. Въ 1820-хъ годахъ мнѣнія о пьесѣ рѣзко раздѣлились. Противъ нея возсталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ Михаилъ Дмитріевъ, литературный и иной консерваторъ, который въ то же время былъ и противникомъ Пушкина. Дмитріевъ осуждалъ комедію и съ точки зрѣнія формы, такъ какъ она нарушала обычный шаблонъ псевдо-классической комедіи, и по самому содержанію, *защищая* то общество, которое подвергалось осмѣянію въ комедіи. Противъ Дмитріева выступили „Московский Телеграфъ“ и „Сынъ Отечества“, которые одобряли самостоятельность Грибодова въ постройкѣ пьесы, хвалили языкъ, характеры и идею. Понятно, что сужденія о комедіи вращались особенно на опредѣленіи Чацкаго. По мнѣнію Дмитріева, это было лицо почти невозможное: онъ только злословить, говорить что ни придетъ въ голову, даже грубыя дерзости. „Естественно, что такой человѣкъ наскутитъ во всякомъ обществѣ, и тѣмъ общество образованнѣе, тѣмъ онъ наскутитъ скорѣе. Чацкій есть не что иное, какъ сумасбродъ, который находится въ обществѣ людей *совсѣмъ не дурыхъ, но необразованныхъ*, и который *умничаютъ* передъ ними, потому что считаетъ себя умнѣе; слѣдовательно, все смѣшное на сторонѣ Чацкаго! Онъ хочетъ отличаться то остроуміемъ, то какимъ-то *бранчивымъ патриотизмомъ* передъ людьми, которыхъ презираетъ. Словомъ, Чацкій, который долженъ быть умнѣйшимъ лицомъ пьесы, представленъ менѣе всѣхъ разсудительнымъ! Это Мольеровъ Мизантропъ въ мелочахъ и каррикатурахъ... Мудрено ли, что отъ такого лица (т.-е. Чацкаго) разбѣгутся и примутъ его за сумасшедшаго?“ ²⁾

¹⁾ Первые отрывки изъ „Горя отъ ума“, именно въсколько явленій первого дѣйствія и третье дѣйствіе, съ цензурными сокращеніями, явились въ альманахѣ Бугарина „Русская Талія“, 1825. Первое изданіе цѣлой пьесы, но цензурно сокращенное, явилось уже только въ 1833 году. На сценѣ она явилась впервые въ началѣ 1831 года.

²⁾ Вписана въ изданіи 1886.

Впослѣдствіи, очень похоже на это говорить о Чацкомъ Бѣлинскій. По словамъ его также, это — „просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говорить. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать дураками и скотами — значитъ быть глубокимъ человекомъ?... Это новый Донъ-Кихоть, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе — только не отъ ума, а отъ умничанія. Искусство можетъ избрать своимъ предметомъ и такого человѣка, какъ Чацкій, но тогда изображеніе долженствовало бы быть объективнымъ, а Чацкій — лицомъ комическимъ (?); но мы ясно видимъ, что поэтъ не шутя хотѣлъ изобразить идеальнаго глубокаго человѣка въ противорѣчій съ обществомъ, а вышло Богъ знаетъ что“. Въ самомъ планѣ комедіи Бѣлинскій находилъ недостатки, какъ и въ исполненіи. Было, конечно, странно и наивно, — какъ объясняетъ новѣйшій историкъ „Горя отъ ума“, — что Бѣлинскій не могъ понять любви Чацкаго къ Софьѣ, такъ какъ „любовь есть взаимное, гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ, въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго“, а этого по комедіи не выходило между героемъ, наполненнымъ возвышенными мыслями, и героиней, способной влюбиться въ ничтожнаго Молчалина, слѣдовательно дѣвицей совершенно пустой. Бѣлинскій забылъ, что въ простой обыкновенной дѣйствительности, по пословицѣ, сатана можетъ полюбить пуще яснаго сокола. Но Бѣлинскій недоволенъ въ Чацкомъ и другими чертами: каково бы ни было содержаніе его обличительныхъ рѣчей, Бѣлинскому кажутся онѣ неумѣстными по ходу пьесы и по тѣмъ лицамъ, въ которымъ обращены.

Мы укажемъ дальше, какъ могло произойти, что мнѣніе Бѣлинскаго о Чацкомъ совпадало отчасти съ отзывомъ такого устарѣлаго литературнаго дѣятеля, какимъ былъ Михаилъ Дмитріевъ; но историкъ „Горя отъ ума“ напоминаетъ, что до Бѣлинскаго не вполне благопріятный отзывъ о Чацкомъ сдѣлалъ самъ Пушкинъ, а позднѣе князь Вяземскій¹⁾. Могло быть, что въ отзывѣ Пушкина, сохранившемся въ письмѣ къ А. А. Бестужеву отъ января 1825 года, сказалось недостаточное знакомство съ пьесой Грибоѣдова, прочитанной въ рукописи и потомъ неизвѣстной подъ руками (самъ Пушкинъ упоминаетъ здѣсь, что нѣкоторыя замѣчанія пришли ему въ голову послѣ, когда онъ

¹⁾ Изд. 1886, стр. XI—XIV, XVI, XXVIII.

уже не мог справиться); во всякомъ случаѣ, отъ него не скрылись блестящія стороны комедіи, но любопытно, что, хотя бы при первомъ чтеніи, осталось у него то самое впечатлѣніе о „непростительной“ неумѣстности рѣчей Чацкаго въ обществѣ, собравшемся въ домѣ Фамусова,—впечатлѣніе, которое имѣлъ потомъ и Бѣлинскій. Князю Вяземскому Чацкій просто кажется „бѣшеннымъ“... Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи впечатлѣніе Бѣлинскаго было не единичное, и что оно не было произвольное, онъ въ статьѣ своей приводитъ свои доказательства. Можетъ быть, эти доказательства потеряютъ часть своей силы при ближайшемъ разсмотрѣніи предмета, но можетъ быть также, что другая доля ихъ не лишена основанія.

Взглядъ Бѣлинскаго на „Горе отъ ума“ и его главнаго героя объясняютъ его „предвзятымъ публицистическимъ задоромъ“. Бѣлинскій былъ „выразителемъ *либеральнаго негодования* противъ Чацкаго и намѣренно, съ этой задней мыслью, старался уничтожить это лицо, провозгласить его фразеромъ и мальчишкой. Совсѣмъ не критико-литературныя цѣли руководили Бѣлинскимъ, а цѣли *политической пропаганды* (!) противъ *слишкомъ русскихъ* идей, противъ, если хотите, идей славянофильства и въ пользу безусловнаго перенесенія европеизма на русскую почву“¹⁾. Такъ ли это?

Не говоря опять о томъ, что весьма близкое (хотя бы на дѣлѣ и неточное) впечатлѣніе характера Чацкаго, кромѣ Бѣлинскаго, появилось одинаково у людей весьма несходныхъ понятій, какъ М. Дмитріевъ, Пушкинъ, кн. Вяземскій, которыхъ, вѣроятно, нельзя было бы въ этомъ случаѣ обвинить въ „политической пропагандѣ“,—простые факты біографіи Бѣлинскаго не допускаютъ подобнаго толкованія. Статья, изъ которой берутся цитаты въ обличеніе Бѣлинскаго, есть самая обширная статья, посвященная имъ Грибоѣдову, и единственная, специально ему посвященная, потому что въ другихъ случаяхъ, позднѣе, Бѣлинскій упоминалъ о немъ только мимоходомъ; но эта статья относится къ 1840 году, къ той порѣ, когда Бѣлинскаго очень мудрено или совсѣмъ невозможно было обвинить въ какомъ-нибудь предвзятомъ либерализмѣ. Совсѣмъ напротивъ. Первое время дѣятельности Бѣлинскаго въ Петербургѣ, когда написана статья о Грибоѣдовѣ, было отмѣчено именно тѣмъ философскимъ консерватизмомъ, который еще въ Москвѣ извлеченъ былъ имъ и его друзьями изъ Гегеля, и въ духѣ котораго Бѣлинскій незадолго до разбора „Горя отъ ума“ писалъ извѣстныя статьи о

¹⁾ Изд. 1886 года, стр. XXXV, LVIII.

Менцелъ и Бородинской годовщинѣ, возмущившія настоящихъ тогдашнихъ либераловъ, и о которыхъ самъ онъ послѣ не могъ слышать. Либерализмъ Бѣлинскаго тогда еще не наступилъ. Съ другой стороны, достаточно взглянуть на статью Бѣлинскаго въ ея цѣломъ составѣ, чтобы видѣть, что исходною точкой, съ какой онъ приступалъ къ „Горю отъ ума“, была вовсе не какая-нибудь общественная тенденція, а тенденція чисто отвлеченная, эстетическая. Вся статья занимаетъ 97 страницъ и только послѣднія 22 страницы изъ нея посвящены собственно разбору „Горя отъ ума“. Чѣмъ же наполнено это введение, занимающее три четверти всей статьи? Съ первыхъ же строкъ идетъ рѣчь о теоріи искусства, и все длинное введение наполнено эстетическими объясненіями искусства въ духѣ гегельянской эстетики, объясненіями раздѣленія поэзіи на три ея главные отрасли, и особенно ея драматической формы, трагедіи и комедіи, „дѣйствительности разумной“ и „дѣйствительности призрачной“, и т. д., — однимъ словомъ, Бѣлинскій является здѣсь тѣмъ отвлеченнымъ эстетикомъ, витающимъ въ формулахъ нѣмецкой философіи, для котораго основнымъ и единственнымъ вопросомъ было объясненіе общихъ художественныхъ основаній поэзіи. Достаточно прочесть эту статью сполна, чтобы видѣть, что Бѣлинскій и не помышлялъ ни о какихъ иныхъ соображеніяхъ, кромѣ чисто эстетическихъ, и здѣсь нѣтъ ни „либеральнаго“ негодованія, ни „политической пропаганды“. Самый разборъ „Горя отъ ума“ — исключительно эстетическій. Считаая пьесу не комедіей (художественнымъ произведеніемъ), а сатирой (произведеніемъ не-художественнымъ, по его мнѣнію), Бѣлинскій доказываетъ не-художественность пьесы особенно тѣмъ, что если, напримѣръ, въ „Ревизорѣ“ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя каждымъ своимъ словомъ, но совсѣмъ не съ цѣлью высказываться, а принимая необходимое участіе въ ходѣ пьесы“, то въ „Горѣ отъ ума“, напротивъ, писатель не выдерживаетъ объективности, неизбежно необходимой для искусства, и именно не разъ вставляетъ въ уста выведенныхъ имъ лицъ свои субъективныя мысли и обличенія, — аргументъ не столь ничтожный, какъ можетъ показаться. Но съ другой стороны, внѣ этого недостатка *формы*, Бѣлинскій самаго высокаго мнѣнія о произведеніи Грибоедова, или, мало этого сказать, онъ восторгается имъ, какъ однимъ изъ величайшихъ произведеній русской литературы. Указывая первое впечатлѣніе, произведенное „Горемъ отъ ума“, онъ объясняетъ, почему оно было принято съ враждою и ожесточеніемъ писателями и публикой, воспитанными на застарѣломъ и мертвомъ классицизмѣ. „Комедія

Грибоѣдова, во-первыхъ, была написана не шестиногими ямбами съ пѣтическими вольностями, а вольными стихами, какъ до того писались однѣ басни; во-вторыхъ, она была написана не книжнымъ языкомъ, которымъ никто не говорилъ, котораго не знали ни одинъ народъ въ мірѣ, а русскіе особенно слыхомъ не слышали, видомъ не видали, но живымъ, легкимъ разговорнымъ русскимъ; въ-третьихъ, каждое слово комедіи Грибоѣдова дышало комическою жизнію, поражало быстротою ума, оригинальностію оборотовъ, поэзіею образовъ, такъ что почти каждый стихъ въ ней обратился въ пословицу или поговорку "... Въ концѣ статьи Бѣлинскій выражается такъ: несмотря на свои художественные недостатки, пьеса Грибоѣдова есть „въ высшей степени поэтическое созданіе, рядъ отдѣльныхъ картинъ и самобытныхъ характеровъ, безъ отношенія къ цѣлому, художественно нарисованныхъ кистію широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не отъ слабости, а отъ *кипучаго, благороднаго негодованія*, съ которымъ молодая душа еще не въ силахъ была совладѣть". Или: „Грибоѣдовъ принадлежалъ къ самымъ могучимъ проявленіямъ русскаго духа. Въ „Горѣ отъ ума“ онъ является еще пылкимъ юношею, но общающимъ сильное и глубокое мужество, младенцемъ, но младенцемъ, задушающимъ, еще въ колыбели, огромныхъ змѣй, младенцемъ, изъ котораго долженъ явиться дивный Ираклъ"... Произведеніе Грибоѣдова „есть произведеніе таланта могучаго, драгоценный перлъ русской литературы". Ограничиваемся только выраженіями его изъ этой самой статьи.

Если Бѣлинскій не сочувствовалъ чему-нибудь въ рѣчахъ Грибоѣдовскаго героя по существу, какъ, напримѣръ, тѣмъ стихамъ, гдѣ рекомендуется, между прочимъ, учиться у китайцевъ „мудрому незнанію иноземцевъ“, то здѣсь трудно видѣть какую-нибудь опредѣленную тенденцію, враждебную „русскому“ направленію Грибоѣдова: самое направленіе успѣло высказаться въ „Горѣ отъ ума“ не совсѣмъ ясно, и китайское незнаніе иноземцевъ въ общераспространенныхъ понятіяхъ не считалось особенно „мудрымъ“; китайскій застой, китайская неподвижность уже тогда были ходячимъ терминомъ, и свойство, ими выражаемое, не считалось ведущимъ къ просвѣщенію. Что касается общаго смысла комедіи, то очевидно, что Бѣлинскій противъ него вовсе не спорилъ, если побужденія автора считалъ „кипучимъ, благороднымъ негодованіемъ“; по мнѣнію Бѣлинскаго, комедія Грибоѣдова *заклеймила* остатки XVIII-го вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себя *осиновою кола*, которымъ и было

„Горе отъ ума“. Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведеніе Грибоѣдова“. Какъ видимъ, въ *этомъ* пунктѣ мнѣніе Бѣлинскаго не только не совпадало со взглядами Дмитріева, но было имъ совершенно противоположно.

Въ чемъ же именно заключалось общественно-политическое міровоззрѣніе Грибоѣдова? Выше мы указывали тѣ немногія черты его мнѣній, какія сохранились въ его письмахъ; основнымъ матеріаломъ остается все-таки „Горе отъ ума“, то произведеніе, которое почти десять лѣтъ занимало его мысли, возбуждало творческую работу его фантазіи, было его любимымъ дѣтищемъ и стало его правомъ на историческую славу. Съ перваго появленія комедіи и донынѣ было ясно, что по складу понятій Чацкій есть отраженіе самого Грибоѣдова, и что если мы хотимъ выяснитъ общественныя идеи Грибоѣдова, мы должны обратиться къ изученію Чацкаго. Новѣйшая критика прямо ставила вопросъ: что такое Чацкій—либераль или славянофилъ? ¹⁾

Наиболѣе точнымъ опредѣленіемъ общественныхъ взглядовъ Грибоѣдова-Чацкаго была біографія, составленная Алексѣемъ Веселовскимъ ²⁾. Его положенія оспариваются ³⁾ и притомъ именно какъ положенія „партийныя“, но едва ли справедливо. Начать съ того: какой вопросъ „партіи“ можетъ быть въ оцѣнкѣ столь давняго историческаго факта, какъ „Горе отъ ума“? Слово „партія“ имѣетъ слишкомъ опредѣленный смыслъ политической солидарности и правоспособности, чтобы его можно было серьезно примѣнять къ нашей литературѣ, и совсѣмъ непримѣнимо ко взглядамъ историко-литературнымъ, которые могутъ быть весьма различны даже у членовъ одного и того же литературнаго круга, какъ и бывало... А. Веселовскій указываетъ на близкія связи Грибоѣдова съ тѣмъ молодымъ образованнымъ кругомъ, изъ среды котораго вышли впослѣдствіи такъ-называемые декабристы. Въ письмахъ Грибоѣдова остались слѣды этихъ дружескихъ связей ⁴⁾; какъ извѣстно, особенно нѣжная дружба привязывала его къ одному изъ наиболѣе симпатичныхъ лицъ этого круга, князю А. И. Одоевскому. Что именно въ этомъ кругѣ могли развиваться тѣ общественныя стремленія, какія Грибоѣдовъ высказалъ впослѣдствіи устами своего героя, въ этомъ едва ли можетъ быть со-

¹⁾ Изд. 1886 г., стр. XXXIII—XXXIV.

²⁾ Изд. 1875 („Русская Библіотека“, т. V), стр. XXIX, XXXIX. XL, XLV.

³⁾ Изд. 1886, стр. XXXVI и далѣе.

⁴⁾ Напр., въ изд. 1889, о князѣ А. И. Одоевскомъ, т. I, стр. 176, 206, 208, 258; А. А. Бесугубевъ, т. I, стр. 209; Кухельбекеръ, стр. 176, 177, 181, 205, 210; Рыльскій, стр. 209, и пр.

мнѣніе: другого такого круга, гдѣ бы ставились подобные вопросы, не было, и сношенія Грибоѣдова съ нимъ были такъ извѣстны, что Грибоѣдова сочли даже нужнымъ привести съ фельдъегеремъ съ Кавказа для допросовъ по дѣлу декабристовъ ¹⁾). Понятно, что эти связи не имѣли бы смысла, Грибоѣдовъ не столько дорожилъ бы ими ²⁾, если бы онѣ не соединялись съ нравственной связью, съ единопдушіемъ стремленій, согласіемъ въ общественныхъ понятіяхъ. Въ опроверженіе этой нравственной связи Грибоѣдова съ людьми двадцатыхъ годовъ противопоставляютъ это поколѣніе двадцатыхъ годовъ какъ „либераловъ“, „западниковъ“, и Грибоѣдова, какъ „славянофила“, который „не пощадилъ и либераловъ“, и говорятъ, что если нынѣшніе „либеральные“ критики, какъ Алексѣй Веселовскій (вслѣдъ за Бѣлинскимъ), перетолковываютъ идеи Чацкого и исключаютъ изъ нихъ, какъ „балластъ“, его выходки противъ европейскаго костюма, его „архаизмъ“

¹⁾ Есть различные рассказы объ этомъ арестѣ Грибоѣдова. Одни говорятъ, что Ермаковъ, получивъ приказъ объ отправкѣ Грибоѣдова въ Петербургъ, самъ велѣлъ ему тотчасъ сжечь свои бумаги, пока онъ будетъ дѣлать свои распоряженія; по другимъ извѣстіямъ, бумаги сжечь успѣли пріатели Грибоѣдова и что, „если бы бумаги уцѣлѣли, то Грибоѣдовъ не возвратился бы изъ Петербурга“. Въ Петербургѣ расположенные къ нему люди исправляли его письменныя показанія при слѣдствіи, такъ какъ иначе слишкомъ откровенныя показанія могли бы запутать его самого, и пр. (Изд. 1889, стр. XXVIII—XXXIII).

²⁾ Въ указаниихъ выше цитатахъ читатель найдетъ отзывы Грибоѣдова объ Одоевскомъ, исполненные самой нѣжной привязанности, какъ и самъ Одоевскій „страстно любилъ Грибоѣдова“. Напомнимъ одно изъ лучшихъ стихотвореній Грибоѣдова, посвященное уже много позднѣе этому другу и вызванное какой-то вѣстью объ опасности, ему грозившей:

„Я дружбу вѣкъ... Когда струнамъ касался,
Твой геній надъ головой моей парилъ,
Въ стихахъ моихъ, въ душѣ тебя любилъ
И призывалъ, и о тебѣ терзался!...
О, мой Творецъ!... Едва расцвѣтшій вѣкъ
Ужели ты безжалостно пресѣлъ?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого отъ любви моей сокрыла?“

Къ этому же другу относятся слова въ письмѣ къ г-жѣ Миклашевичъ, писанномъ 3 декабря 1828 года, въ послѣдніе дни жизни Грибоѣдова. Съ „Александромъ“ (Одоевскимъ) случилась, или ему грозила какая-то бѣда...

„Неужели я для того рожденъ,—пишетъ Грибоѣдовъ,—чтобы всегда заслуживать упреки за холодность (и минимумъ притомъ), за невниманіе, за эгоизмъ отъ тѣхъ, за которыхъ бы охотно жизнь отдалъ. Александръ нашъ что долженъ обо мнѣ думать!.. Александръ мнѣ въ эту минуту душу раздираетъ. Сейчасъ пишу къ Паскевичу; коли онъ и теперь ему не поможетъ, провались всѣ его отличія, слава и громъ побѣдъ; все это не стоитъ избавленія отъ гибели одного несчастнаго, и кого же! Боже мой! Пути твои неизслѣдими“ (Изд. 1889, I, стр. 329—330).

и т. п., то это дѣлается „какъ бы для примиренія либераловъ, безусловныхъ (?) поклонниковъ запада, съ личностью Чацкаго“ ¹⁾.

Мы скажемъ сейчасъ, какъ сама эта критика представляетъ характеръ и идеи Чацкаго, и остановимся на приведенныхъ замѣчаніяхъ. Во-первыхъ, что касается до современной жизни и литературы, мы не знаемъ, гдѣ въ нихъ есть „безусловные“ поклонники запада,—ихъ просто не существуетъ; во-вторыхъ, къ тому времени, къ которому относится произведеніе Грибоѣдова, обозначенія „либерализма“ и „славянофильства“ вовсе не применимы въ ихъ нынѣшнемъ смыслѣ. Въ тѣ годы, собственно говоря, впервые общественная мысль была разбужена, и возникавшіе элементы общественнаго мнѣнія были въ состояніи броженія, гдѣ невозможно было бы разграничить разные оттѣнки по тѣмъ направленіямъ, которыя сложились только позднѣе—къ тридцатымъ и сороковымъ годамъ. Что такое были Карамзинъ и Сперанскій; князь Голицынъ съ Аракчеевымъ и Магницкимъ, и Шишковъ; „Арзамасъ“ съ Пушкинымъ и друзья послѣдняго изъ будущихъ декабристовъ и т. д. Карамзинъ былъ собственно западникъ и „республиканецъ“, но вмѣстѣ русскій консерваторъ; мистики были въ извѣстномъ смыслѣ тоже западники, но вмѣстѣ и несомнѣнные обскуранты, въ чемъ съ кн. Голицынскимъ или Магницкимъ могъ соперничать ихъ страшный врагъ, самый русскій, архимандритъ Фотій; „русскій“ гр. Ростопчинъ былъ другъ іезуитовъ, зловредно путавшихся въ русскую жизнь; точно также „западниками“ были и либералы, но они мечтали о благѣ народа, думали, напримѣръ, о необходимости освобожденія крестьянъ, и въ политическихъ фантазіяхъ видѣлся имъ Новгородъ съ его „вольностью“, и т. п. Шишковъ представляется какъ бы начинателемъ славянофильства, но очень извѣстно, что онъ совершенно не въ состояніи былъ какъ-нибудь формулировать своихъ взглядовъ, и въ общественныхъ предметахъ былъ просто приверженцемъ патріархальныхъ порядковъ добраго стараго времени, какъ за нихъ же были, съ одной стороны, Карамзинъ, а съ другой—Аракчеевъ. Если, наконецъ, мы станемъ отыскивать въ этой путаницѣ мнѣній ту группу, къ которой всего ближе можетъ подойти мировоззрѣніе Грибоѣдова-Чацкаго, съ его несомнѣнной любовью къ просвѣщенію, съ его отрицаніемъ застарѣлаго себялюбиваго и рабскаго, хотя и барскаго, невѣжества, съ его стремленіемъ къ какому-либо сознательнымъ интересамъ общественной самодѣятельности,—этой группой можетъ быть только тотъ кружокъ молодыхъ „либе-

¹⁾ Изд. 1886, стр. X, XXXVII—XXXVIII и др.

раловъ“, съ которыми соединяла его теплая дружба. Указываютъ два обстоятельства, которыя повидимому противорѣчатъ такому заключенію: во-первыхъ, ГрибоѢдовъ не имѣлъ общаго съ политическими затѣями будущихъ декабристовъ ¹⁾; да, но онъ „зналъ ихъ всѣхъ“, какъ и Пушкинъ, и если, опять какъ Пушкинъ, не былъ участникомъ формальнаго заговора, то очевидно стоялъ на одной почвѣ съ ними по теоретическо-общественнымъ интересамъ и по враждѣ къ застою, въ который онъ вбивалъ „осиновый колъ“. Едва ли сомнительно, что многіе изъ „декабристовъ“, въ сущности, были далеки отъ убѣжденія въ необходимости крайнихъ дѣйствій и были вовлечены въ нихъ лишь роковыми обстоятельствами... Во-вторыхъ, говорятъ, ГрибоѢдовъ-Чацкій былъ „славянофилъ“, ненавидѣлъ иноземцевъ, мѣшавшихся въ русскую жизнь, возставалъ противъ реформы, нарушившей старые обычаи, желалъ даже „мудраго незнанія иноземцевъ“; ГрибоѢдовъ, какъ выше упомянуто, „любилъ славянскія поколѣнія“ и мечталъ о славянскомъ единствѣ, — но мы упоминали, что подобный „архаизмъ“ бывалъ въ мечтахъ самихъ „либераловъ“, напр. Рылѣева, Пестеля, Никиты Муравьева, которымъ старина, нетронутая реформой, даже Москвой, рисовалась въ завлекательныхъ картинахъ народной „вольности“, и ГрибоѢдовъ-Чацкій только больше распространилъ эту черту; въ то же время очень извѣстно, что любовь къ славянскимъ поколѣніямъ была и у декабристовъ, среди которыхъ было цѣлое специальное общество „Соединенныхъ Славянъ“. Драматическая пьеса, конечно, не мѣсто для изложенія публицистическихъ теорій, но во всякомъ случаѣ въ роли Чацкаго, по самому замыслу поэта, долженъ былъ быть наметъ на его общественныя понятія. Въ отрицательной своей сторонѣ это публицистическое указаніе достаточно ясно (Чацкому помогли здѣсь всѣ: и Фамусовъ, и Скалозубъ, и Молчалинъ, и балынные гости), но едва ли ясна сторона положительная. Бѣлинскій говорилъ о „сбивчивости“ и „неясности“ основной идеи ГрибоѢдова ²⁾, и не совсѣмъ ошибался. Понадобились продолжительные и противоположные комментаріи для того, чтобы выяснить, между прочимъ, это теоретическое основаніе идей Чацкаго, и споры доходятъ до нашего времени. Должно предполагать, что ГрибоѢдовъ желалъ для русскаго общества самобытнаго образованія и обычая; но обличеніе фраковъ и совѣтъ о незнаніи иноземцевъ далеко не разрѣшали вопроса о томъ, какъ добыть эту самостоятель-

¹⁾ Передаютъ его ироническое замѣчаніе: „сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить весь государственный бытъ Россіи“ (Изд. 1889, I, стр. XXXIII).

²⁾ Сочин., т. III, стр. 426.

ность. Извѣстные нравы русскаго общества, противъ которыхъ ратуетъ Чацкій, были унаслѣдованы отъ исторіи и отъ политическихъ учреждений; глупое увлеченіе „иностраннымъ“, т.-е. собственно французскими модами въ высшемъ классѣ, обличалось еще сатириками прошлаго столѣтія и было слѣдствіемъ умственного убожества, недостатка серьезнаго образованія, чему никакъ не могло помочь китайское незнаніе иноземцевъ: оно повело бы только въ увеличенію невѣжества, потому что въ условіяхъ нашей исторіи знаніе приходило къ намъ только отъ иноземцевъ, конечно не „французиковъ изъ Бордо“. Разсуждая спокойно, нельзя поэтому удивляться, что „славянофильская“ или „настоящая русская“ проповѣдь Чацкаго могла оставлять впечатлѣніе неясности или балласта. Припомнимъ, что, по впечатлѣнію самого Гоголя, Чацкій „показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться“, — а Гоголя нѣтъ не заподозрить въ какой-нибудь либеральной тенденціи. Позднѣйшіе славянофилы, вооруженные гораздо большимъ знаніемъ исторіи и положившіе больше труда, чѣмъ могъ Грибоѣдовъ, на теоретическое разъясненіе этого вопроса, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ не одолѣли, однако, этой задачи...

Если намъ говорятъ, что Грибоѣдовъ „не могъ безъ критики относиться къ теоретическимъ идеямъ либерализма и не могъ не сознавать, что русскому человѣку, усвоившему европейское образованіе, надо думать и дѣйствовать самостоятельно, вырабатывая свободу лицъ, сословій и учреждений собственнымъ умомъ, сообразно кореннымъ основамъ русской жизни“¹⁾, то для послѣднихъ заключеній въ рѣчахъ Чацкаго мы не имѣемъ определенныхъ указаній, и въ теоретическихъ идеяхъ либерализма самостоятельность русской мысли и общества именно была *primum desiderium*.

Мы можемъ считать весьма извѣстнымъ превосходный этюдъ о „Горѣ отъ ума“ И. А. Гончарова. Онъ очень хорошо объяснилъ внутреннее строеніе пьесы Грибоѣдова, ея цѣльность, характеры и т. д., отъ него не скрылись и нѣкоторыя угловатости, которыя приводили въ недоумѣніе прежнюю критику. Онъ указываетъ, что въ комедіи Грибоѣдова отошло въ исторію и что остается въ ней до сихъ поръ живымъ, сохраняющимъ донинѣ общественный интересъ²⁾. Мы сказали бы только, что авторъ нѣсколько преувеличиваетъ анахронизмы комедіи для настоящаго времени. Онъ думаетъ, напримѣръ, что „такой Скалозубъ, такой

¹⁾ Изд. 1889, стр. XLVI. Ср. стр. XLVIII и XLIX.

²⁾ „Четыре очерка“, стр. 140—142.

Загорѣцкій невозможенъ даже въ дальнемъ захолюстѣ¹⁾; напротивъ, типъ невѣжественнаго фрунтовика, конечно не въ мундирѣ временъ Александра I, достаточно распространенъ и по настоящую минуту, и мнѣніе о необходимости сожженія книгъ раздѣляется и нынѣ Скалозубами. Въ характеристикѣ у И. А. Гончарова объясняется и то, почему типъ Чацкаго и вся комедія Грибовдова, несмотря на ихъ анахронизмы, продолжаютъ жить въ рукахъ читателей и на сценѣ. Чацкій не представляетъ какой-нибудь законченной программы: основной мотивъ его мысли и чувства — возстаніе противъ отживающей, но еще сильной, лжи и стремленіе къ просвѣщенію и свободѣ.

„Чацкій сломенъ количествомъ старой силы, нанесъ ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

„Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: „одинъ въ полѣ не воинъ“. Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, его передовой воинъ, застрѣльщикъ и всегда жертва.

„Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

„Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибовдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе, но всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой „миліонъ терзаній“, и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень немногимъ, просвѣтленнымъ, Чацкимъ дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились, хотя и безкорыстно, не для себя и не за себя, а для будущаго и за всѣхъ, и успѣли...

„Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго, и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла — будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ — ни группировались люди, имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта: „учиться, на старшихъ глядя“, съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутинъ къ „свободной жизни“ впередъ и впередъ, — съ другой“¹⁾.

Въ числѣ такихъ историческихъ повтореній Чацкаго И. А. Гончаровъ припоминаетъ человѣка, котораго самъ близко зналъ — Бѣлинскаго: „прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и

¹⁾ Тамъ же, стр. 169—170.

въ нихъ звучать тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный „мильною терзаніемъ“, убитый лихорадкой ожиданія и недождавшійся исполненія своихъ грезъ, которыя теперь уже не грезы больше“.

Мы только думаемъ, что грезы еще остаются грезами и теперь, и время Чацкихъ—не только въ широкомъ отвлеченномъ, но и въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видѣть, какъ много матеріала нашелъ бы новѣйшій Чацкій для „раздражительныхъ монологовъ“... Смыслъ произведеній Грибоѣдова для нашего времени заключается вовсе не въ какой-нибудь спеціальной славянофильской или „настоящей русской“ общественной теоріи, а какъ вѣрно замѣтилъ И. А. Гончаровъ, *въ тонѣ*, настроеніи его рѣчей, въ этомъ исканіи исхода изъ окружающаго мрака къ свѣту и свободѣ, въ чемъ бы ни былъ этотъ мракъ и этотъ исходъ для лучшихъ людей данной эпохи...

Въ объясненіяхъ историческаго значенія „Горя отъ ума“ забывается еще одна черта — то угнетенное состояніе русской литературы, въ которомъ для нея остаются недоступными именно самые животрепещущіе вопросы нашей общественности: съ двадцатыхъ годовъ и до девяностыхъ мы не можемъ указать другаго драматическаго произведенія, которое въ живомъ дѣйствіи театра раскрыло бы передъ нами эту борьбу мрака и свѣта. Съ какимъ жаднымъ интересомъ общество видѣло бы современное „Горе отъ ума“; но литература, то-есть само общество, ее создающее, безсильны, и мы рады, когда слышимъ по крайней мѣрѣ намекъ на эту современную борьбу въ великомъ произведеніи, хотя бы уже многое въ немъ стало анахронизмомъ.

А. Пыпинъ.



ПѢСНИ ОБЪ УЕДИНЕНІИ

I.

Уединеніе въ деревнѣ—мнѣ отрада.
Хотѣлъ бы, чтобъ сюда заглохли всѣ пути.
Свободы тишины, безмолвія мнѣ надо;
Отъ современности подальше бы уйти.

Сама, въ нашъ грубый вѣкъ, Европа одичала.
Средь важныхъ мелочей и хитроумныхъ дрягъ
Безмолвствуютъ добра великія начала
И угрожающій желѣза слышенъ лязгъ.

На родинѣ еще мнѣ ближе и знакомѣй
Дѣла и помыслы героевъ нашихъ дней...
Ихъ торжествующихъ здѣсь нѣтъ фizioномій,
И, слава Богу, здѣсь не слышно ихъ рѣчей.

О, современникъ нашъ—какъ жалокъ зачастую!
Онъ свѣжей новизны обидъ не перенесъ,
И обратился вспять на старину гнилую,
Какъ на блевотину свою нечистый песь.

Мнѣ опротивѣли и толки, и сужденья,
И эта суета, и праздный этотъ духъ
Коль не ребяческой потѣхи истребленья,
То впропотливости помѣшанныхъ старухъ.

Переливанье же въ пустое изъ пустого
(Занятые русское)—ужъ мнѣ не въ мочь: я старъ.

Мы безъ бѣды могли-бъ лишиться дара слова;
Для высшихъ думъ теперь не нуженъ этотъ даръ.

Мой опытъ жизни всѣ надежды уничтожилъ;
Не вѣрю ничему въ отечествѣ моемъ...
И вотъ я до чего, живя на свѣтѣ, дожилъ!
Уединеніе — отрада вся лишь въ немъ.

II.

Обитель мирная, пріютъ благословенный,
Обѣтованная мнѣ Господомъ земля!
Мнѣ краше и милѣй, о, вы, во всей вселенной —
Мой сельскій домъ, и садъ, и роща, и поля!

Здѣсь отъ житейскихъ бурь я въ старческіе годы
Себѣ убѣжище нашелъ. Такъ ветхій челнъ,
Въ затишь пристани во время непогоды,
Спокойно зыблется въ сосѣдствѣ шумныхъ волнъ.

За все, что есть въ тебѣ; за все, что слышу, вижу;
За тихій твой просторъ; за красоту твою;
За то, что нѣтъ въ тебѣ того, что ненавижу,
Родимый уголъ мой, тебя я такъ люблю.

Прими же ты меня подъ сѣнь свою радушно;
Покой цѣлительный дай сердцу и уму!
На людяхъ, какъ въ тюрьмѣ, становится мнѣ душно;
Мнѣ хочется пожить на волѣ одному.

Свободы, тишины, безмолвія хочу я.
Съ природой бы родной прожить остатокъ дней
Въ уединеніи! Потомъ, конецъ почуя,
Хотѣлъ бы хоть въ окно успѣть проститься съ ней.

А ты, природа-мать, и свѣтлыхъ дней лучами,
И тьмой, и звѣздами, и красками зари,
И всѣми чудными твоими голосами
Со мной, пока живу, немолчно говори!

Алексѣй Жемчужниковъ.



НАКАНУНЪ ПЕРЕВОРОТА,

ВЪ 60-хъ ГОДАХЪ.

Романъ въ двухъ частяхъ. Соч. Маріонъ Крофорда *).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Два года службы въ зуавахъ произвели большую перемѣну въ живописцѣ, Анастасѣ Гуашѣ. Онъ все еще былъ тщедушный человѣкъ, нервнаго типа, съ худенькими руками и ногами, съ тонкими чертами лица; но отъ постоянного пребыванія на открытомъ воздухѣ, въ хорошую и дурную погоду, кожа его погрѣбѣла, а постоянныя физическія упражненія развили мускулы и укрѣпили тѣло. Черныя кудри были коротко острижены, а изящныя усики чуть-чуть подросли и стали гуще. Онъ превратился въ отличнаго воина, стройнаго и ловкаго, смѣшленнаго и исполнительнаго, а эти качества характеризуютъ добраго солдата, какъ въ военное, такъ и въ мирное время. Мечтательный взглядъ, такъ часто появлявшійся въ его глазахъ въ тѣ дни, какъ онъ писалъ портретъ донны Тулли Майеръ, уступилъ мѣсто выраженію крайняго любопытства относительно всего, что происходитъ на бѣломъ свѣтѣ.

*) Новый романъ служитъ какъ бы продолженіемъ того, который былъ напечатанъ въ „Вѣстн. Европы“, 1888, январь—іюнь. Главные герои въ немъ тѣ же, но дѣйствіе составляетъ новый періодъ общественной и политической жизни въ Римѣ въ послѣдніе годы свѣтской власти папъ наканунѣ полнаго единства современной Италіи.—*Перев.*

Анастасъ былъ художникъ по природѣ, и военная служба никакъ не могла подавить основныхъ стремлений его ума. Онъ не бросилъ живописи, поступивъ въ зуавы, и проводилъ въ мастерской все время, свободное отъ служебныхъ обязанностей. Но вмѣстѣ съ наружностью и характеръ его измѣнился. Онъ самъ недоумѣвалъ иногда, какъ это онъ могъ хоть сколько-нибудь интересоваться неискренней болтовней, которую донна Туллиа, Уго дель-Фериче и прочіе изъ ихъ клики величали громкимъ именемъ заговора. Ему казалось, что идеи его въ то время должны были представлять самую жалкую путаницу. Иногда онъ доставалъ неоконченный портретъ ш-ше Майеръ, ставилъ его на мольбертъ и пытался мысленно перенестись въ то минувшее время. Ему вспоминались комично-героическія разглагольствованія дель-Фериче, не вполне ясныя тирады донны Туллиа и собственное полу-саркастическое сочувствіе либеральному движенію; но молодой мальчикъ, въ старой бархатной курткѣ, толковавшій о гильотинѣ, о необходимости вздернуть на фонарь клерикаловъ и превратить церкви въ народные театры, безъ сомнѣнія не имѣлъ ничего общаго съ какимъ-нибудь энергичнымъ, загорѣлымъ зуавомъ, преслѣдовавшимъ разбойниковъ въ Самнитскихъ горахъ и считавшимъ за честь идти за храбрымъ Шареттомъ и защищать папу, пока руки держать ружье.

Есть рѣзкая грань между молодостью и зрѣлымъ возрастомъ. Иногда мы переходимъ ее рано, иногда поздно, но, только перешагнувъ черезъ нее, узнаемъ, что перешли отъ одной жизни къ другой. Въ теченіе нѣкотораго времени міръ кажется намъ тѣмъ же самымъ, такимъ, какъ мы знали его вчера и будемъ знать завтра. Но вотъ, внезапно, мы оглядываемся назадъ и съ удивленіемъ видимъ, что прошлое, казавшееся намъ столь близкимъ, уже расплывается вдаль, безформенное, смутное и чуждое нашему настоящему я. И мы убѣждаемся, что перешли въ зрѣлый возрастъ, и чувствуемъ что-то въ родѣ сожалѣнія, разставаясь съ дѣтскими грѣзами.

Когда Гуашъ надѣлъ сѣрую куртку, красную перевязь и желтыя штиблеты, онъ возмужалъ, скоро забылъ о доннѣ Туллиа съ ея заблужденіями и черезъ нѣсколько времени уже не думалъ о нихъ. Если же иногда онъ и пытался возобновить въ своей памяти сцены въ мастерской на Via San-Basilio, — онъ казался ему очень далекими. Одно только постоянно возбуждало въ немъ непріятное воспоминаніе, именно то, что онъ не сумѣлъ задержать дель-Фериче, когда тотъ бѣжалъ изъ Гима въ одеждѣ нищенствующаго монаха. Анастасъ никогда не могъ

понять, — какъ это онъ прозѣвалъ бѣглеца. Скоро сдѣлалось извѣстно, что дель-Фериче вышелъ въ тѣ самыя ворота, которыя охранялъ Гуашъ, и молодой зуавъ чувствовалъ сильнѣйшую горечь при мысли о томъ, что упустилъ такую цѣнную и легкую добычу. Онъ часто думалъ объ этомъ и общалъ самому себѣ раздѣляться съ дель-Фериче при первомъ удобномъ случаѣ, но дель-Фериче былъ теперь въ безопасности отъ его гнѣва, а донна Туллія Майеръ не возвращалась въ Римъ съ прошлаго года. Говорили, что она рѣшилась, наконецъ, исполнить давнишнее обязательство и согласилась называться графиней дель-Фериче; но эта новость еще не подтвердилась. Услышавъ объ этомъ, Гуашъ немедленно набросалъ на оборотной сторонѣ недоконченнаго портрета донну Туллію въ вѣнчальномъ костюмѣ, подъ руку съ дель-Фериче, въ одеждѣ капуцина; внизу было написано: „Finis coronat opus“.

Было около шести часовъ пополудни, 23-го сентября. День былъ дождливый, но за часъ до солнечнаго заката небо прояснилось, и въ воздухѣ чувствовалась свѣжесть, очень пріятная послѣ долгихъ осеннихъ жаровъ. Анастасъ Гуашъ по обязанностямъ службы долженъ былъ находиться въ казармахъ Серристори на Borgo Santo-Spirito и поспѣшно шелъ черезъ мостъ Св. Ангела. На улицахъ было мало движенія; экипажи попадались изрѣдка. Двое офицеровъ прохаживались у воротъ замка и обмѣнялись поклонами съ Гуашемъ. На серединѣ моста онъ остановился и посмотрѣлъ на западъ внизъ по теченію рѣки, желтоватыя волны которой отражали яркій блескъ заката. Онъ задумался на мгновение больше о своихъ дѣлахъ въ казармѣ, чѣмъ о томъ, что было передъ нимъ. Потомъ ему вспомнилось, какъ онъ въ первый разъ переходилъ этотъ мостъ въ мундирѣ зуава, и легкая улыбка скользнула по загорѣвшему лицу его. Почти каждый день онъ останавливался на этомъ мѣстѣ, и почти всегда ему приходила въ голову одна и та же мысль, какъ это часто и случается: точно извѣстныя мысли связаны съ извѣстными мѣстами. Онъ думалъ, чѣмъ-то это все кончится, и неужели онъ многіе годы жизни проведетъ капраломъ зуавовъ, и неужели многіе годы будетъ задавать себѣ все одинъ и тотъ же вопросъ. Между тѣмъ какъ домъ на Борго погружались во мракъ, онъ повернулся, слегка пожавъ плечами, и пошелъ дальше. Сходя съ моста на набережную, онъ замѣтилъ между камнями какую-то блестящую вещь, остановился и поднять ее.

То была небольшая золотая булавка, около двухъ дюймовъ длиною, съ головкой въ видѣ буквы К. Гуашъ внимательно

осмотрѣлъ ее и убѣдился, что булава уже не мало послужила на своемъ вѣку, такъ какъ мѣстами была слегка изогнута, какъ будто часто втыкалась въ очень плотную матерію. Какъ бы то ни было, это ничего не говорило о владѣльцѣ булавки, и молодой человекъ опустил ее въ карманъ и продолжалъ свой путь, лѣнливо размышляя, кому бы она могла принадлежать. Ему казалось, что еслибъ онъ имѣлъ какое-нибудь важное порученіе, то принялъ бы за доброе предзнаменованіе находку золотой вещицы, но никакихъ важныхъ дѣлъ у него въ виду не имѣлось. Вообще онъ не ожидалъ никакихъ важныхъ событій въ своей теперешней жизни и, продолжая нить размышленій, улыбнулся при мысли о томъ, что не имѣетъ даже любовной интриги. Для тридцатилѣтняго француза такое положеніе было довольно страннымъ. Въ частности, относительно Гуаша оно было еще болѣе замѣчательнымъ. Женщины любили его, онъ самъ любилъ женщинъ, и постоянно находился въ обществѣ нѣкоторыхъ изъ лучшихъ красавицъ свѣта. Тѣмъ не менѣе, онъ переходилъ отъ одной къ другой, находя одинаковое удовольствіе въ разговорѣ со всѣми. Въ одной его восхищало одно, въ другой—другое, но равновѣсіе удовольствій поддерживалось между брюнеткой и блондинкой, молчаливой красавицей и интеллигентной женщиной. Правда, была одна, которую онъ считалъ и чище сердцемъ, и выше красотой, и величавѣе, чѣмъ остальныхъ, но преданная любовь къ мужу дѣлала ее недоступной, и онъ восхищался ею издали даже въ то время, какъ разговаривалъ съ нею.

Когда онъ миновалъ театръ Аполлона и вступилъ на *Via di Tordinona*, въ домахъ уже засвѣтились огни, и газовые фонари, тогда еще новинка въ Римѣ, одинъ за другимъ замелькали въ отдаленіи. Улица эта узка и даже вечеромъ загромождена торговлей. Пѣшеходы толпились и сталкивались, то-и-дѣло прижимаясь къ стѣнамъ, чтобы пропустить экипажъ, не безъ риска быть смятыми или сбитыми съ ногъ. Передъ глубокими сводчатыми воротами „Орсо“, одной изъ самыхъ старинныхъ гостинницъ въ мірѣ, толпились пустые фургоны для вина, готовые отправиться въ ночную поѣздку черезъ Кампанью; маленькіе колокольчики звенѣли въ темнотѣ, въ то время какъ возчики поправляли упряжь лошадей.

Какъ разъ въ ту минуту, когда Гуашъ достигъ этого мѣста, самого темнаго и тѣснаго на его пути, необычайный шумъ и грохотъ, донесшійся съ *Via del Orso*, заставилъ толпу отшатнуться подъ защиту подъѣзда и воротъ. Очевидно, неслась лошадь. Одинъ изъ возчиковъ, фургонъ котораго выдавался зад-

нимъ концомъ на улицу, всѣми силами старался проѣхать въ ворота, но испуганная лошадь упиралась и патиалась. Черезъ нѣсколько мгновений мчавшійся экипажъ налетѣлъ на фургонъ. Лошадь проложила себѣ дорогу между обломками, но экипажъ разбился и лошадь упала. Первый, кто бросился къ ней изъ толпы, былъ Гуашъ. Онъ не замѣтилъ, что въ это самое время чья-то частная карета, запряженная парой добрыхъ коней, выѣхала изъ Vicolo dei Soldati—третьей улицы, выходящей на Via di Tordinona у „Орсо“. Кучеръ, который не могъ въ темнотѣ заблаговременно замѣтить катастрофу, поспѣшилъ остановить лошадей; но прежде чѣмъ успѣлъ это сдѣлать, Гуашъ былъ сбитъ съ ногъ. Толпа стѣснилась вокругъ мѣста катастрофы, волнение и шумъ увеличивались съ минуты на минуту.

Кучеръ бросилъ возжи лавео и соскочилъ съ козелъ.

— Раздавили зуава!—крикнулъ кто-то изъ толпы.

— Мено male. Слава Богу, что не кого-нибудь изъ насъ!—воскликнулъ другой голосъ.

— Гдѣ онъ! Поднимите его кто-нибудь!—крикнулъ кучеръ, схватившій лошадей подъ уздцы.

Въ это время двое жандармовъ и нѣсколько солдатъ антибскаго легіона пробились къ мѣсту происшествія и оттащили бившую лошадь. Высокій, худощавый, пожилой господинъ, съ суровымъ выраженіемъ лица, вышелъ изъ кареты и подошелъ къ лежавшему на землѣ Гуашу.

— Это только зуавъ, ваша свѣтлость,—сказалъ кучеръ съ видимымъ облегченіемъ.

Высокій господинъ приподнялъ голову Гуаша такъ, чтобы свѣтъ отъ каретнаго фонаря падалъ на его лицо. Гуашъ былъ безъ чувствъ; по лбу и блѣднымъ щекамъ его струилась кровь. Одинъ изъ жандармовъ подошелъ къ господину.

— Мы позаботимся о немъ, синьоръ!—сказалъ онъ, дотронувшись рукой до шляпы.—Но я долженъ просить васъ сообщить мнѣ ваше имя. Мнѣ очень непріятно васъ беспокоить, но ваши лошади...

— Положите его въ мою карету,—перебилъ господинъ.—Я—князь Монтеварки.

— Но, ваша свѣтлость, синьорина...—протестовалъ кучеръ.

Князь не обратилъ вниманія на его слова и помогъ жандарму перенести Анастаса въ карету. Потомъ далъ ему серебряный скудо.

— Пошлите кого-нибудь въ серристорійскія казармы сказать, что одинъ изъ зуавовъ раненъ и находится въ моемъ домѣ,—

сказалъ онъ, послѣ чего сѣлъ въ карету и велѣлъ кучеру ѣхать домой.

— Ради Бога, что случилось, папá?—спросилъ въ темнотѣ молодой голосъ, дрожавшій отъ волненія.

— Мой другъ, ты видишь, случилось несчастье на улицѣ, и этотъ молодой человѣкъ раненъ или убитъ.

— Убить! Мертвый въ каретѣ! — съ ужасомъ воскликнула дѣвушка, отъѣдываясь въ уголъ.

— Ты должна владѣть своими нервами, Фаустина,—возразилъ отецъ сурово.—Если этотъ молодой человѣкъ убитъ—то это воля Божія. Если онъ живъ, мы скоро увидимъ это. Пока я прошу тебя успокоиться,—понимаешь, успокоиться.

Донна Фаустина Монтеварки ничего не отвѣчала на это родительское внушеніе и только отодвинулась какъ можно дальше въ задній уголъ кареты, между тѣмъ какъ отецъ ея поддерживалъ безчувственное тѣло зуава. Черезъ нѣсколько минутъ карета остановилась у подъѣзда, передъ широкой мраморной лѣстницей.

— Снесите его осторожно наверхъ и пошлите за докторомъ,—сказалъ князь слугамъ, выбѣжавшимъ на встрѣчу. Затѣмъ онъ предложилъ дочери руку и сталъ спокойно подыматься по лѣстницѣ, даже не взглянувъ на раненаго солдата.

Доннѣ Фаустинѣ только что исполнилось 18 лѣтъ, и она не болѣе мѣсяца тому назадъ вышла изъ монастыря „Святого-Сердца“. Можно сказать, что она была слишкомъ молода для того, чтобы быть красавицей, такъ какъ принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыя поздно достигаютъ полного расцвѣта красоты. Фигура ея казалась слишкомъ хрупкой, лицо слишкомъ эфирнымъ и тонкимъ. Дѣвственный ореолъ, окружавшій ее, былъ результатомъ не столько ея характера, сколько юной граціи и свѣжести. Въ самомъ дѣлѣ, ничего особенно ангельскаго не было въ ея живыхъ карихъ глазахъ, осѣненныхъ необыкновенно длинными черными рѣсницами; мелкія каштановыя кудри, выбивавшіяся изъ подъ небольшой круглой шляпы, какія тогда носили, падали на маленькія розовыя уши и придавали свѣтскую мягкость строгимъ, правильнымъ чертамъ лица.

Тонкій знатокъ женщинъ замѣтилъ бы, что религіозный отпечатокъ, оставшійся отъ монастырской жизни, скоро исчезнетъ, уступивъ мѣсто блеску свѣтской женщины. Она была невысока ростомъ, хотя уже вполне развита; тогдашній костюмъ не былъ приспособленъ для того, чтобы выказать красоту фигуры и движеній,—но ея грація бросалась въ глаза. У нея была та безсознательная увѣренность движеній, которая происходитъ отъ со-

вершенной пропорціональности всѣхъ членовъ и дѣйствуетъ на мужчинъ сильнѣе, чѣмъ безукоризненный профиль или ослѣпительная бѣлизна кожи.

Вмѣсто того, чтобы взять руку отца, донна Фаустина повернулась и заглянула въ лицо Гуашу, котораго трое слугъ осторожно вынули изъ кареты. Въ бѣдномъ Гуашѣ нельзя было узнать теперь элегантнаго солдата, который полчаса тому назадъ шелъ черезъ мостъ Св. Ангела. Мундиръ его былъ забрызганъ грязью, бѣдное лицо въ крови, члены безсильно повисли. Но пока молодая дѣвушка смотрѣла на него, къ нему вернулось сознание, а вмѣстѣ съ нимъ и чувство острой боли. Онъ внезапно открылъ глаза, какъ это часто бываетъ съ людьми, долго бывшими въ обморокѣ, и простоналъ. Потомъ, замѣтивъ присутствіе дамы, сдѣлалъ усиліе освободиться изъ рукъ несшихъ его и встать на ноги.

— Извините, — началъ-было онъ, но Фаустина остановила его жестомъ.

Между тѣмъ старый Монтеварки пристально всматривался въ лицо молодого человѣка и, наконецъ, узналъ его, такъ какъ они часто встрѣчались въ обществѣ.

— Monsieur Гуашъ! — воскликнулъ онъ съ удивленіемъ, дѣлая въ то же время знакъ лакеямъ нести раненаго.

— Вы его знаете, papà? — прошептала донна Фаустина. — Это дворянинъ? Я угадала?

— Да, да, — отвѣчалъ отецъ. — Но право, Фаустина, неужели ты не можешь прикумать ничего лучшаго, какъ идти за нимъ и смотрѣть ему въ лицо? Чтò, еслибы онъ зналъ тебя! Боже мой! Если ты такъ себя ведешь тотчасъ по выходѣ изъ монастыря...

Монтеварки не договорилъ и только поднялъ глаза къ потолку, какъ бы отклоняя небесную кару за дурное поведеніе дочери.

— Право, papà... — протестовала Фаустина.

— Право, дочь моя, я очень удивленъ, — продолжалъ уже разгнѣванный родитель, въ полголоса, чтобы раненый не могъ слышать.

Они поднялись на верхнюю площадку, и тутъ слуги живо унесли Гуаша, причемъ однако Фаустина успѣла еще разъ украдкой взглянуть ему въ лицо. Глаза его были открыты и смотрѣли на нее съ выраженіемъ интереса и благодарности, врывающимся ей въ душу...

Хозяйство Монтеварки велось на патріархальный ладъ; въ то время это было принято во всѣхъ знатныхъ домахъ Рима, да и теперь, болѣе 20 лѣтъ послѣ описываемаго нами событія, сохранилось въ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Палаццо — обширное че-

тырехугольное зданіе—выходило переднимъ и заднимъ фасадомъ на двѣ улицы, а внутри заключало два двора. Въ нижнемъ этажѣ помѣщались сараи, конюшни, кухни и безчисленныя службы. Надъ нимъ находился такъ-называемый *mezonino* — по-французски *entresol*, — въ которомъ жили неженатые сыновья, домашній капелланъ и два или три воспитателя, обучавшіе дѣтей Монтеварки. Затѣмъ шло „*riano mobile*“ — тутъ находились комнаты князя и княгини, столовая и длинная анфилада гостиныхъ, соединявшихся другъ съ другомъ, такъ что необходимо было пройти ихъ всѣ за исключеніемъ послѣдней. Въ обширной залѣ находился балдахинъ и сѣдалище, украшенное фамиліными гербами, когда-то яркими, но теперь потускнѣвшими. Слѣдующій этажъ былъ занятъ женатыми сыновьями, ихъ женами и дѣтьми; наконецъ, въ самомъ верхнемъ помѣщалась прислуга. Всѣхъ обитателей дома было не менѣе ста человекъ, и всѣ они находились подъ безусловной и деспотической властью главы дома, дона Лотаріо Монтеварки, князя Монтеварки и обладателя сорока или пятидесяти другихъ титуловъ. Его воля и желанія были закономъ для всѣхъ остальныхъ, начиная отъ старшаго сына и наслѣдника, герцога ди-Беллегра, и кончая Пьетромъ-Паоло, младшимъ поваренкомъ. У князя было трое сыновей и четыре дочери. Два сына были женаты, а именно—донъ Асканіо, которому отецъ уступилъ свой второй титулъ, и донъ Онорато, присвоившій себѣ титулъ *principe di Santalupo*, но не имѣвшій на него права даже по смерти отца. Младшій, донъ Карло, молодой человекъ 20 лѣтъ, еще не освободился отъ надзора воспитателя. Изъ дочерей двѣ старшихъ, Біанка и Лаура, были замужемъ и не жили въ Римѣ: одна вышла за неаполитанца, другая за флорентинца. Въ домѣ оставались — третья, донна Флавія, и младшая, донна Фаустина. Хотя Флавія не было еще двадцати-двухъ лѣтъ, но отецъ и мать уже начинали отчаяваться въ ея замужествѣ и нерѣдко намекали на необходимость посвятить себя религіи — иными словами, уйти въ монастырь.

Старая княгиня Монтеварки была англичанка по рожденію и воспитанію, но тридцати-трехъ-лѣтнее пребываніе въ Римѣ почти совершенно изгладило въ ней всякій слѣдъ ея національности. Всепобѣждающее вліяніе, которое скоро превращаетъ въ римлянъ иностранцевъ, породнившихся съ римскими семьями, быстро сдѣлало свое дѣло. Римская знать, родясь съ знатнѣйшими европейскими фамиліями, теряетъ многія черты итальянскаго характера; но ея члены все-таки остаются болѣе римлянами, чѣмъ

чистокровные итальянцы другихъ сословій, живущіе бокъ-о-бокъ съ римскою аристократіей.

Когда лэди Гвендолина Фонтенца, въ 1834 году, вышла замужъ за дона Лотаріо Монтеварки, она, безъ сомнѣнія, думала, что ея дѣти будутъ воспитываться такъ же, какъ и она сама, на англійскій манеръ, и что хозяйство ея супруга будетъ вестись такъ же, какъ въ Англіи. Она весело смѣялась надъ брачнымъ контрактомъ, въ которомъ предусмотрительность доходила до того, что ей назначалось: два мясныхъ блюда за обѣдомъ—въ постные дни они замѣнялись соотвѣтственными кушаньями; ежедневная прогулка — традиціонная *trottata*; два новыхъ платья въ годъ и одна горничная. Послѣ этихъ и тому подобныхъ замѣчаній было написано, что ея приданое—весьма значительное для того времени—передается на сохраненіе тестю, и что она обручается законнымъ бракомъ съ дономъ Лотаріо, который въ то же время получаетъ титулъ герцога ди-Беллегра. Брачное путешествіе состояло въ двухъ-недѣльномъ пребываніи на виллѣ Монтеварки въ Фраскати, послѣ чего молодые поселились подъ отческою кровлей въ Римѣ. Не прошло и мѣсяца, какъ молодая герцогиня убѣдилась въ полнѣйшей невозможности измѣнить что-нибудь въ патриархальномъ управленіи, подъ тяжестью котораго ей пришлось жить. Прежде всего она открыла, что у нея никогда нѣтъ ни одного скуди собственныхъ денегъ въ карманѣ и, что если ей понадобится купить платокъ или пару чулокъ, то приходится просить разрѣшенія и денегъ у главы дома. Далѣе она убѣдилась, что если ей захочется не въ урочный часъ выпить чашку кофе или съѣсть кусокъ хлѣба съ масломъ, то это записывается въ особый счетъ—точно въ гостинницѣ—и въ концѣ года оплачивается изъ ея приданого. Младшій братъ ея мужа, не имѣвшій собственныхъ денегъ, не могъ выпить въ родительскомъ домѣ стаканъ лимонада безъ разрѣшенія отца.

Кромѣ того, семейная жизнь была такого рода, что почти не давала возможности уединиться. Спальня молодыхъ помѣщалась въ верхнемъ этажѣ, и когда донъ Лотаріо потребовалъ для жены особенную комнату,—къ этому отнеслись какъ къ бунту, и только благодаря вмѣшательству герцога Эджингорта, отца герцогини, просьба была, наконецъ, исполнена. Вся семья обѣдала вмѣстѣ, въ огромной залѣ, украшенной коврами и потемнѣвшей отъ вѣковой пыли. За столомъ соблюдался строгій порядокъ, и хотя кушанья не отличались достоинствомъ, но каждая тарелка, каждая кружка были изъ серебра, правда, избитаго, испараннаго, но тяжелаго и массивнаго. Герцогинѣ показалось, что въ рим-

скихъ домахъ вездѣ употребляли серебряную посуду изъ экономіи, такъ какъ серебро не бьется. Но чувствительная англичанка вскорѣ убѣдилась, что если въ извѣстныхъ отношеніяхъ царствовала строжайшая экономія, то въ другихъ допускалась величайшая роскошь. Великолѣпныя лошади стояли въ конюшняхъ, пышныя экипажи въ сараяхъ, у каждой двери толпились слуги въ богатыхъ ливреяхъ. Правда, жалованье прислугѣ не превосходило той суммы, какую зарабатываетъ въ Лондонѣ субъектъ, который чиститъ на улицѣ грязныя сапоги прохожимъ,—зато ливреи были роскошно отдѣланы золотыми галунами.

Ясно было, что отъ супруги дона Лотаріо требовалось только, чтобы она жила спокойно, не вмѣшивалась въ хозяйство и не высказывала своего мнѣнія. Мужъ заявилъ ей, что онъ безсиленъ ввести какія-нибудь измѣненія въ установившійся порядокъ, и что такъ какъ его дѣды и прадѣды жили при этомъ порядкѣ, то и для него онъ достаточно хорошъ. Въ дѣйствительности, онъ больше думалъ о будущемъ и дожидался того времени, когда управленіе домою перейдетъ въ его руки, и его дѣти будутъ подчиняться такой же абсолютной и деспотической власти, какой онъ подчинялся самъ въ свое время.

Съ теченіемъ времени герцогиня впитала въ себя традиціи новаго семейства, такъ что онѣ вошли въ ея натуру, и такъ какъ все здѣсь оставалось неизмѣннымъ изъ года въ годъ, то и она приобрѣла неизмѣнныя привычки и взгляды, гармонировавшіе со всѣмъ окружающимъ. И вотъ, когда старый князь и княгиня были, наконецъ, положены въ семейномъ склепѣ, она уже не думала объ измѣненіяхъ, но оставляла все по старому, воспитывала дѣтей и обращалась съ ними такъ же, какъ воспитывали ея мужа, какъ съ нею обращались старики. Супругъ ея становился все болѣе и болѣе похожимъ на отца—суровый, пунктуальный, строгій исполнитель религіозныхъ обрядовъ, педантъ въ мелочахъ, предубѣжденный противъ всякой перемѣны, слишкомъ удовлетворенный, чтобы желать преобразованій, слишкомъ щепетильно-добросовѣстный, чтобы позволить себѣ малѣйшее отступленіе отъ установленнаго порядка, образецъ древней неизмѣнной аристократіи, хранитель того, что всегда было, и упорный противникъ всего необычнаго.

Таковъ былъ домъ, куда донна Фаустина Монтеварки вернулась послѣ восьми-лѣтняго пребыванія въ монастырѣ Святого-Сердца. Въ теченіе этого времени она научилась говорить по-французски, слегка ознакомила съ музыкой, приобрѣла весьма ограниченныя свѣденія по части исторіи родной страны, заучила много мо-

литвъ и литаній и выучилась приличнымъ манерамъ. Это послѣднее у итальянцевъ называется воспитаніемъ. То, что мы подразумѣваемъ подъ этимъ словомъ, а именно, приобрѣтеніе знаній, называется у нихъ собственно образованіемъ. Воспитанная особа—это особа, посвященная въ искусство вѣжливости. Образованная особа—особа, получившая больше знаній, чѣмъ полагается для того класса, къ которому она принадлежитъ. Донна Фаустина, по римскимъ понятіямъ, была превосходно воспитана, но образованіе ея не превышало образованія дѣвушекъ, съ которыми ей приходилось встрѣчаться въ свѣтѣ.

Что касается до ея характера, то она сама не много знала о немъ, и, вѣроятно, затруднилась бы объяснить, что такое характеръ. Она была молода, а свѣтъ очень старъ. Монахини говорили, что она не должна думать о свѣтѣ, потому что это мѣсто, полное искушеній, соблазновъ, ловушекъ и грѣшниковъ, не говоря уже о дьяволѣ и аггелахъ его. Сестра Флавія, напротивъ, увѣряла ее, что свѣтъ очень приятенъ, въ особенности когда мамѣ задремлетъ въ уголку на балѣ; что всѣ мужчины обманщики, но это не бѣда, если мужчина хорошо танцуетъ, такъ какъ танцуетъ онъ ногами, а не совѣстью; что нѣтъ ничего лучше веселаго котильона, и что котильоновъ въ каждый сезонъ бываетъ нѣсколько разъ; наконецъ, лишь бы не испортить цвѣта лица, а то можно дѣлать все, что угодно, когда мамѣ отвернется.

Такимъ образомъ, донна Фаустина не могла выпутаться изъ противорѣчій, возникшаго вслѣдствіе разнорѣчивыхъ разсказовъ сестры и монахинь. Впрочемъ она не колебалась бы въ выборѣ, еслибы могла выбирать: вѣдь она уже ознакомилась съ монастырской точкой зрѣнія на этотъ предметъ, а теперь было интересно ознакомиться и съ другой. Притомъ ей столько толковали о грѣшникахъ, что она естественно желала поближе посмотреть на нихъ и съ простительнымъ нетерпѣніемъ искала случая познакомиться съ вѣмъ-нибудь изъ этой породы людей. Безъ сомнѣнія, она почувствовала бы къ грѣшнику ненависть, какой ожидали отъ нея монахини, хотя въ ея воображеніи онъ вовсе не являлся отталкивающимъ существомъ. Флавія, вѣроятно, знала многихъ изъ нихъ, и Флавія говорила, что ихъ общество очень приятно. Въ концѣ концовъ, Фаустина желала, чтобы осенніе мѣсяцы прошли поскорѣе и начался балный сезонъ.

Князь Монтеварки, съ своей стороны, надѣялся, что его младшая дочь будетъ образцомъ приличія. Онъ приписывалъ легкомысленному характеру Флавіи трудность найти ей жениха,

и не хотѣлъ испытывать ту же неудачу съ Фаустиной. Она должна была выйти замужъ въ первый же сезонъ, и если останется легкомысленной послѣ брака, то вина упадетъ на голову мужа, тестя, вообще того, кого это наиболѣе будетъ касаться; самъ же князь считалъ свои обязанности исполненными съ того момента, когда онъ благословилъ молодыхъ. Онъ отлично зналъ состояніе и репутацію молодыхъ людей, которые могли явиться женихами, и, стало быть, былъ прекрасно подготовленъ къ своей задачѣ. Сказать правду, донна Фаустина сама надѣялась выйти замужъ до Святой, такъ какъ ей было извѣстно, что молодыя дѣвушки не должны терять времени въ этихъ случаяхъ. Но она мечтала о мужѣ по сердцу, если такой найдется, и вовсе не собиралась безпрекословно подчиниться родительской власти и удовольствоваться первымъ снохимъ женихомъ.

Въ виду всего этого можно было ожидать, что первый сезонъ донны Фаустины, начавшійся неожиданнымъ приключеніемъ близъ Орсо, не обойдется безъ нѣкоторыхъ военныхъ дѣйствій между отцомъ и дочерью, хотя бы окончательное соглашеніе и привело на ступеньки алтаря...

Слуги унесли раненаго зуава въ отдаленную комнату, а Фаустина съ старымъ княземъ вошла въ гостиную. Войдя, Фаустина слегка вздохнула.

— Надѣюсь, что этотъ бѣдный человѣкъ поправится!—воскликнула она.

— Не думай объ этомъ молодомъ человѣкѣ, — отвѣчалъ отецъ. — За нимъ будутъ смотрѣть, докторъ пуститъ ему кровь, и воля Божія совершится. Благовоспитанной дѣвушкѣ неприлично думать объ этихъ вещахъ.

— Да, папá, — покорно сказала Фаустина. Но, несмотря на этотъ покорный тонъ, при свѣтѣ лампъ можно было замѣтить странное выраженіе любопытства и досады на нѣжномъ личикѣ дѣвушки.

II.

— Ты знаешь Гуаша?—спросилъ старикъ князь Сарачинеска такимъ тономъ, который показывалъ, что у него есть какія-то новости. Онъ посмотрѣлъ при этомъ на невѣстку, а потомъ на сына и снова обратился къ завтраку.

— Очень хорошо, — отвѣчалъ Джіованни. — А что съ нимъ такое?

— Сегодня ночью его сбила съ ногъ карета. Карета при-

надлежала Монтеварки, и теперь Гуашъ у него въ домѣ, опасно раненый.

— Бѣдняга!—воскликнулъ Джіованни съ искреннимъ состраданіемъ.—Мнѣ очень жаль! Я очень люблю Гуаша.

При этомъ Джіованни Сарачинеска, со времени своей свадьбы вѣвѣстный въ свѣтѣ подъ титуломъ князя Сантъ-Иларіо, бросилъ на жену взглядъ, такой быстрый, что ни она, ни старый князь не замѣтили его.

Всѣ трое завтракали въ столовой палатцѣ Сарачинеска. Послѣ многихъ разсужденій и толковъ, молодая чета рѣшилась поселиться вмѣстѣ съ отцомъ Джіованни. Разныя причины побудили ихъ къ этому рѣшенію, но, главнымъ образомъ, двѣ: во-первыхъ оба питали нѣжную привязанность къ старику; во-вторыхъ, это вполне согласовалось съ римскими обычаями. Правда, Корона, при жизни своего перваго мужа, герцога д'Астрарденте, привыкла пользоваться безусловной самостоятельностью, и оба Сарачинески боялись, что она не захочетъ переселиться въ домъ свекра. Кромѣ того, дворецъ Астрарденте нельзя же было предоставить разрушенію; но это дѣло было улажено Короной, которая отдала его въ наемъ милліонеру-американцу, желавшему провести зиму въ Римѣ. Плата была большая, а Корона постоянно нуждалась въ деньгахъ для улучшеній, вводимыхъ ею въ имѣніи Астрарденте. Старикъ Сарачинеска желалъ бы, чтобы жилецъ былъ, по крайней мѣрѣ, дипломатомъ, и съ грязью мѣшалъ американца; но Джіованни говорилъ, что жена отлично сдѣлала, отдавъ палатцѣ въ наемъ за возможно большую плату.

— Намъ онъ не понадобится, пока не вырастетъ Орсино, если только вы не женитесь вторично, — сказалъ онъ отцу, смѣясь.

Орсино былъ его сынъ и наслѣдникъ; въ эпоху нашего разсказа ему было шесть мѣсяцевъ и нѣсколько дней. Несмотря на свою крайнюю молодость, Орсино игралъ уже очень важную роль въ домашнемъ быту Сарачинеска. Во-первыхъ, онъ былъ наслѣдникъ, и старикъ-князь часто сживалъ у его колыбели съ такимъ выраженіемъ лица, какового у него не замѣчали съ того времени, какъ Джіованни выросъ. Во-вторыхъ, Орсино былъ прекрасный ребенокъ — смуглый, крѣпкій, какъ львенокъ, имѣвшій уже материнскіе глаза — большіе, черные и блестящіе, но съ глубокимъ и мягкимъ взглядомъ. Въ-третьихъ, Орсино уже обнаруживалъ собственную волю, подтверждаемую необыкновенной силой легкихъ. Не то чтобы онъ плакалъ, когда хотѣлъ чего-нибудь. Его младенческіе глаза еще не проливали слезъ. Но онъ кричалъ, громко и неумолчно, билъ въ стѣнки колыбели малень-

кими кулачками, или колотилъ того, кто подвергивался подъ руку. Корона восхищалась имъ и увѣряла, что онъ вышелъ въ дѣда, отца и мать разомъ. Старый князь думалъ, что если такъ, то изъ ребенка выйдетъ здоровый малый, потому что Корона считалась первой красавицей своего времени, самъ онъ былъ еще крѣпкій старикъ, хотя волосы его были бѣлы какъ снѣгъ, а Джіованни въ глазахъ отца былъ идеальнымъ представителемъ своей расы. Появленіе на свѣтъ маленькаго Орсино послужило новымъ поводомъ къ совмѣстному житью, потому что дѣдъ не могъ жить разнo съ внукомъ, хотя бы ихъ отдѣляло незначительное разстояніе, въ четверть мили.

Поэтому-то они и жили подъ одною кровлею и вмѣстѣ трапезовали утромъ 24-го сентября, когда старый князь сообщилъ о несчастіи съ Гуашемъ.

— Гдѣ вы узнали эту новость?—спросилъ Джіованни.

— Монтеварки сообщили мнѣ ее сегодня утромъ. Онъ очень смущенъ тѣмъ, что интересный молодой человѣкъ находится въ его домѣ, бокъ-о-бокъ съ Флавіей и Фаустиной.—Старый Сарачинеска усмѣхнулся.

— Что же собственно его смущаетъ?—спросила Корона.

— У него старыя понятія,—отвѣчалъ ей свекоръ.

— Конечно, Флавія...

— Да, Флавія, конечно...

— Я бы желалъ знать, въ какомъ родѣ Фаустина,—замѣтилъ Джіованни.—Относительно Флавіи мы всѣ, кажется, сходимся въ мнѣніи. Впрочемъ я думаю, что домъ Монтеварки—не веселое мѣсто для дѣвушки ея возраста.

— Не веселое? Почему ты знаешь?—спросилъ старый князь.—Развѣ она хочетъ веселиться до втораго пришествія? Обѣдалъ ли ты когда-нибудь тамъ, Джіованни?

— Никогда—да и никто, кто не принадлежитъ къ фамиліи Монтеварки.

— Такъ почему же ты знаешь, весело тамъ или нѣтъ?

— Вы слышали, какъ Асканіо Беллегра описывалъ ихъ жизнь?

— А ты, конечно, описывалъ ему свою?

Князь Сарачинеска начиналъ сердиться, что случалось всякій разъ, какъ ему удавалось вызвать сына на какой-нибудь споръ.

— Я думаю, что вы жаловались другъ другу на свое печальное положеніе. Я говорю то, что ты думаешь, Джіованни. Тебѣ бы лучше переселиться въ домъ Короны, если здѣсь вамъ нехорошо.

— Онъ отданъ въ наймы,—отвѣчалъ Джіованни съ невозмутимымъ спокойствіемъ, тогда какъ Корона закусила губы, удерживая смѣхъ.

— Ты можешь уѣхать,—проворчалъ старикъ.

— Но мнѣ и здѣсь хорошо.

— Такъ затѣмъ же ты говоришь такія вещи о домѣ Монтеварки?

— Я не вижу, какая связь между этими двумя предметами?—замѣтилъ Джіованни.

— Ты живешь въ совершенно такихъ же условіяхъ, какъ Асканіо Беллегра. Я думаю, что связь довольно ясна. Если ему скверно жить, то и тебѣ тоже.

— Что за логика у моего дорогого отца! — воскликнулъ Джіованни, раздражаясь, наконецъ, смѣхомъ.

— Стать посмѣшищемъ для своихъ дѣтей! Вотъ до чего я дошелъ!—гнѣвно воскликнулъ отецъ. Но тутъ же лицо его распустилось въ добродушную улыбку, которая очень шла къ его рѣзкимъ чертамъ.

— Но мнѣ, право, очень жаль бѣднаго Гуаша,—сказала Корона, возвращаясь къ первоначальному предмету разговора.—Надѣюсь, что тутъ нѣтъ серьезной опасности?

— Всегда опасно попасть подъ карету, — отвѣчалъ Джіованни.—Я схожу провѣдать его, если только они меня примутъ.

Тутъ появился самъ Орсино, котораго принесла кормилица, пышная женщина изъ деревни Сарачинеска, съ блестящими голубыми глазами и бѣлокурыми, какъ у нѣмки, волосами, составлявшими рѣзкій контрастъ съ смуглымъ личикомъ ребенка. Немедленно начались восторги, и всякій по своему принялся ублажать Орсино. Сжималъ ли онъ свои крошечные кулачки, или раздвигалъ пухлые пальцы, смѣялся ли въ отвѣтъ на заигрыванія дѣда, или щипалъ розовыя щеки кормилицы—все вызывало восхищеніе и веселье въ окружающихъ. Сцена напоминала сонъ Іосифа, когда сны братьевъ приклонились къ его снопу.

Наконецъ, Орсино уgomонился, заснулъ и былъ унесенъ. Тогда компанія разошлась. Старый князь пошелъ къ себѣ отдохнуть и почитать. Корону позвали бесѣдовать съ одною изъ безчисленныхъ модистокъ, услуги которыхъ требовались передъ началомъ сезона, а Джіованни надѣлъ шляпу и ушелъ изъ дома.

Въ то время свѣтскіе молодые люди вели весьма праздную жизнь. Какой-то нѣмецкій дипломатъ сказалъ, что итальянскій джентльменъ занимается только тѣмъ, что курить, плюетъ и критикуетъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ о ихъ манерахъ можно

бы было отозваться лучше, но сущность опредѣленія подходила къ ихъ тогдашней жизни. Не только они ничего не дѣлали—имъ и нечего было дѣлать. Они мирно плавали въ стоячемъ озерѣ, отражавшемъ только ихъ лѣнныя персоны, и не подозрѣвали, что скоро плотина, сдерживающая озеро, прорвется съ страшнымъ трескомъ, и потокъ реальной жизни увлечетъ ихъ съ собою. Для немногихъ, кому не нравилась лѣнность, осталась только литература; но литература, по римскимъ понятіямъ въ 1867 году, и въ римскомъ смыслѣ слова сводилась къ классицизму. Подготовка къ литературной карьерѣ заключалась, какъ думали, въ основательномъ изученіи классиковъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ избѣгать всего классическаго, какъ въ языкѣ, такъ и въ идеяхъ, за исключеніемъ Цицерона, апостола старыхъ римскихъ филистеровъ. До сихъ поръ послѣдствіемъ этого направленія осталась въ итальянской литературѣ привычка къ затасканнымъ трюизмамъ и недостатокъ чувства, прикрываемый напыщеннымъ языкомъ. Что касается литературы новыхъ временъ, она состояла и до сихъ поръ состоитъ изъ Данте, Тассо, Аріоста и Петрарки. Леопарди больше читаютъ теперь, чѣмъ въ тѣ времена, но его болѣзненная меланхолія отбиваетъ у всякаго охоту къ чтенію. Въ тѣ времена многіе изъ римскихъ вельможъ проводили цѣлыя годы въ заучиваніи стиховъ четырехъ упомянутыхъ поэтовъ, какъ молодой браминъ проводить время въ изученіи Ригъ-Веды. Это называлось заниматься литературой.

Сарачинески считались оригиналами и чудаками за то, что занимались своимъ помѣстѣмъ. Улучшать имѣніе, полученное въ наслѣдство, или въ приданое, считалось аферой, а аферы считались унижительными.

Тѣмъ не менѣе, Сарачинески были достаточно независимы, чтобы смѣяться надъ предразсудками другихъ и дѣлать то, что имъ самимъ казалось хорошимъ, не обращая вниманія на мнѣніе свѣта. Но заботы о дѣлахъ не могли наполнить весь день Джіованни. У него оставалось много свободнаго времени, такъ какъ онъ былъ человѣкъ дѣятельный, мало спалъ и рѣдко нуждался въ отдыхѣ. Въ прежнее время онъ періодически уѣзжалъ изъ Рима и дѣлалъ продолжительныя путешествія, которыя заканчивались обыкновенно охотничьей экскурсіей въ какую-нибудь мало населенную область. Такъ было до женитьбы, и его странствованія, конечно, приносили ему только пользу. Онъ видѣлъ многое, чего обыкновенно не случалось видѣть людямъ его положенія, и знакомство съ людьми и свѣтомъ доставляло ему много удовольствія. Но наступило время, когда пришлось бросить все это.

Теперь онъ не только былъ женатъ и обзавелся собственнымъ хозяйствомъ, но и любилъ жену всѣмъ сердцемъ, а при такихъ обстоятельствахъ поѣздки въ Норвегію, Канаду или Трансильванію становились неудобными. Путешествіе съ Коронай и маленькимъ Орсино было не то, что путешествіе съ одной Коронай. Притомъ надо было принимать въ расчетъ возрастающую привязанность дѣда къ ребенку. Словомъ, всѣ четверо—старый князь, Джіованни, Корона и ребенокъ—сдѣлались неразлучными.

Джіованни, однако, не жалѣлъ о прежней свободѣ. Онъ чувствовалъ себя болѣе счастливымъ теперь, чѣмъ когда бы то ни было прежде. Но были дни, когда время тянулось для него нестерпимо долго, а энергическая натура требовала какого-нибудь дѣла, какого-нибудь благороднаго возбужденія. Но именно этого дѣла онъ не могъ найти въ Римѣ 60-хъ годовъ, и по-неволѣ долженъ былъ предаваться тѣмъ же занятіямъ, которыя большинство молодыхъ людей его положенія считали вполне удовлетворительными: часть времени уходила на прогулку тамъ, гдѣ всѣ гуляли, на болтовню въ клубѣ, на визиты, наполнявшіе часы между закатомъ солнца и обѣдомъ. Такая жизнь была для него нова и не совсѣмъ-то по вкусу, но все-таки его друзья находили, что Сарачинеска цивилизовался постѣ женитьбы на Астрарденте и утратилъ много прежней дикости...

Когда Корона ушла къ модисткѣ, Джіованни надѣлъ шляпу и вышелъ на улицу. День былъ теплый и ясный, въ такую погоду пріятно пройти по старымъ римскимъ улицамъ. Было слишкомъ рано для того, чтобы встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ, а для регулярныхъ визитовъ еще не наступилъ сезонъ. Джіованни не зналъ, что ему дѣлать, и только наслаждался солнечнымъ свѣтомъ и мягкимъ воздухомъ. Случайно онъ замѣтилъ на углу улицы двухъ зуавовъ и вспомнилъ о Гуашѣ. Слѣдовало бы провѣдать бѣднягу или, по крайней мѣрѣ, справиться о его здоровьѣ. Джіованни зналъ его уже давно и мало-по-малу полюбилъ, какъ и всѣ, кому часто приходилось сталкиваться съ даровитымъ живописцемъ.

Въ палаццо Монтеварки Джіованни узналъ, что княгиня только-что кончила завтракать. Приличія требовали зайти сначала въ гостиную, и Джіованни отправился туда, сожалея, что пришелъ. Старая княгиня казалась ему скучной особой; Фаустину, которая недавно оставила монастырь, онъ еще не зналъ, а Флавія, нравившаяся многимъ, вовсе не нравилась ему. Онъ порадовался про себя, что былъ женатъ, и, стало быть, его визитъ

не могъ быть объясненъ, какъ первый шагъ къ сватовству за Флавію.

Когда онъ вошелъ, княгиня бросила на него пыливый взглядъ. Это была тучная, цвѣтущая и безвкусно одѣтая женщина. Бѣлокурые волосы, уже наполовину сѣдые, такъ какъ ей было за пятьдесятъ лѣтъ, плохо повиновались гребенкѣ и казались растрепанными даже во времена ея молодости. Впрочемъ полнота и бѣлизна спасли ее, какъ и сотни пожилыхъ англичанокъ, отъ грязнаго вида, который отличаетъ брюнетокъ, когда онѣ не особенно заботятся о своей наружности и туалетѣ. Несмотря на тридцати-трехъ-лѣтнее пребываніе въ Римѣ, она говорила по-итальянски съ иностраннымъ акцентомъ, хотя вообще правильно. Тѣмъ не менѣе это была знатная дама, и никому не пришло бы въ голову усомниться въ этомъ. Толстая, неряшливо одѣтая, съ неизящной фигурой, плохо причесанными волосами и длинными зубами, она все-таки не возбуждала насмѣшекъ. У нея было то, чего не хватаетъ многимъ красавицамъ—природное достоинство въ характерѣ и манерахъ, соединенное съ самообладаніемъ, не всегда встрѣчающимся у знатныхъ особъ. Спокойныя манеры, которыя обыкновенно считаются наслѣдственнымъ достояніемъ знати, на самомъ дѣлѣ не менѣе часто встрѣчаются у какого-нибудь авантюриста; и есть много женщинъ и мужчинъ, которые, казалось бы, по самому положенію своему должны быть чужды застѣнчивости, а между тѣмъ постоянно страдаютъ отъ нея и боятся новыхъ знакомствъ. Княгиня Монтеварки была женщина хорошаго закала, и если дочери не унаслѣдовали ея природной важности, то, по крайней мѣрѣ, получили отъ нея даръ самообладанія. Когда Сантъ-Иларіо вошелъ, молодыя дамы, донна Флавія и донна Фаустина, сидѣли по обѣ стороны матери. Княгиня держала руки свободно, дочери скромно скрестили ихъ на колѣняхъ. Фаустина сидѣла, опустивъ глаза, какъ учили въ монастырѣ. Флавія бойко взглянула на Джіованни, зная по опыту, что мать не замѣтитъ этого, пока будетъ здороваться съ гостемъ. Сантъ-Иларіо пробормоталъ какое-то привѣтствіе, поклонился молодымъ дѣвушкамъ и сѣлъ.

— Чтѣ съ monsieur Гуашемъ?—спросилъ онъ, прямо приступая къ дѣлу. Онъ замѣтилъ удивленный взглядъ княгини, когда вошелъ, и думалъ, что лучше всего разомъ объяснить цѣль своего посѣщенія.

— Ахъ, вы слышали? Бѣдный! Боюсь, что онъ сильно ушибленъ. Вы хотите его видѣть?

— Пожалуйста, — отвѣчалъ Джіованни. — Мы всѣ любимъ Гуаша. Какъ это случилось?

— Фаустина переѣхала черезъ него, — сказала Флавія, устремляя на Джіованни черные глаза и придавъ лицу выраженіе участія къ страдальцу. — Фаустина и папѣ, — прибавила она.

— Флавія! Какъ ты можешь говорить подобныя вещи! — воскликнула княгиня, значительная часть жизни которой уходила на упрёки дочери за неприличныя манеры.

— Конечно, мамѣ, переѣхала собственно карета. Но въ ней сидѣли папѣ и Фаустина. Значить, я права.

Джіованни взглянулъ на Фаустину, но ея свѣжее личико не выражало ничего и не обнаруживало въ ней намѣренія замѣтить что-либо по поводу словъ сестры. Онъ въ первый разъ видѣлъ ее достаточно близко, и что-то въ ея взглядѣ удивило и заинтересовало его. Чтò это такое было, онъ бы не могъ объяснить, а между тѣмъ что-то несомнѣнно было и осталось въ его памяти. Въ повѣріяхъ далекаго сѣвера, въ полу-матеріалистическомъ спиритуализмѣ Полинезіи нашлось бы объясненіе этому взгляду. У насъ объясненіе исчезло, но инстинктивная увѣренность въ существованіи и значенія такихъ явленій сохранилась. Мы говоримъ, подсмѣиваясь надъ собственнымъ суевѣріемъ: „этотъ человѣкъ смотритъ такъ, какъ будто бы у него была какая-нибудь исторія“; или — „у этой женщины такой видъ, какъ будто бы съ нею должно случиться несчастіе“. Выраженіе глазъ, легкая тѣнь на лицѣ говорятъ намъ о многомъ, чего мы не знаемъ, хотя чувствуемъ, что это нѣчто роковое, неизбежное, не подлежащее человѣческому контролю. Джіованни взглянулъ и былъ пораженъ, но Фаустина ничего не сказала.

— Со стороны князя было добрымъ дѣломъ привезти его сюда, — замѣтилъ Сантъ-Иларіо.

— Это совсѣмъ непохоже на папѣ, — воскликнула Флавія, прежде чѣмъ ея мать успѣла что-нибудь отвѣтить. — Но, конечно, какъ вы сказали, это очень хорошо, — прибавила она съ улыбкой.

Флавія имѣла привычку дѣлать рѣзкія замѣчанія, а потомъ прежде чѣмъ собесѣдникъ успѣвалъ перевести духъ, прибавляла что-нибудь въ видѣ поясненія. Поясненія эти, впрочемъ, не всегда исправляли сказанное.

— Не перебивай меня, Флавія! — сурово сказала мать.

— Виновата, а вы развѣ говорили, мамѣ? — спросила дѣвушка невиннымъ тономъ.

Джіованни вовсе не нравились манеры Флавіи, и онъ спокойно ожидалъ, чтò скажетъ княгиня.

— Дѣйствительно,—сказала она: — ничего другого нельзя было сдѣлать, такъ какъ мы переѣхали черезъ этого бѣднаго человѣка.

— Карета,—вставила Флавія. Но княгиня не обратила вниманія на ея замѣчаніе.

— Все, что мы могли сдѣлать, было привезти его сюда. Мой мужъ не хотѣлъ позволить, чтобы его отправили въ госпиталь.

Флавія снова взглянула на Джіованни съ выраженіемъ сочувствія, которое, впрочемъ, вовсе не означало вѣры въ состраданіе отца.

— Конечно, конечно,—сказалъ Джіованни.—А какъ онъ себя чувствуетъ теперь? Есть какая-нибудь опасность?

— Вы сейчасъ увидите его,—отвѣчала княгиня, вставая и звоня въ колокольчикъ; когда слышались шаги слуги, она поспѣшила къ дверямъ.

— Мама всегда суетится,—кратко пояснила Флавія. Джіованни всталъ и сдѣлалъ видъ, что хочетъ помочь княгинѣ.

Поступокъ княгини былъ очень характеренъ для нея. Итальянская дама никогда бы не встала, чтобы позвонить, и не была бы такъ неблагоразумна, чтобы повернуться спиною къ дочерямъ, когда въ комнатѣ есть мужчина. Но она была англичанка. И цѣлая жизнь, проведенная среди итальянцевъ, не могла убить въ ней подвижности, а потому она сама поспѣшила къ дверямъ.

Темные глаза Фаустины слѣдили за матерью, какъ будто и она хотѣла освѣдомиться о Гуашѣ.

— Надѣюсь, что ему лучше,—сказала она спокойно.

— Навѣрное,—подхватила Флавія. — Я увѣрена. Но мама меня ужасно забавляетъ. Она вѣчно впопыхахъ.

Фаустина ничего не отвѣтила и взглянула на Сантъ-Иларіо, какъ будто желая узнать, какого онъ мнѣнія о ея сестрѣ. Онъ встрѣтилъ ея взглядъ, стараясь объяснить себѣ, въ чемъ заключается его особенное выраженіе. Она не покраснѣла и не опустила глазъ передъ его взглядомъ, какъ онъ ожидалъ бы, еслибъ самъ сознавалъ, что вглядывается въ ея лицо.

Нѣсколько минутъ спустя онъ уже находился въ узкой, высокой комнатѣ, освѣщенной однимъ окномъ, амбразура котораго показывала необыкновенную толщину стѣнъ. Сводчатый потолокъ былъ украшенъ фреской, изображавшей Аполлона, натягивающаго лукъ, въ латахъ и одеждахъ желтаго и голубого цвѣта, которыя впрочемъ развѣвались по воздуху, вовсе не закрывая тѣла. Полъ комнаты былъ выложенъ красными плитками, когда-то навоощенными, мебель была массивная и очень старая. Анастасъ Гуашъ лежалъ

въ углу, на кровати страннаго вида, подъ балдахиномъ изъ желтаго дамá, прослужившимъ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ сто или двѣсти и украшеннымъ полинялымъ шитьемъ, изображавшимъ гербъ Монтеварки подъ кардинальскою шапкой. На стулѣ подлѣ кровати лежали вещи, находившіяся при Гуашѣ во время несчастія — часы, кошелекъ, папиросы, носовой платокъ и другія мелочи, между прочимъ золотая булава, которую онъ нашелъ на мостовой. Въ неуютной комнатѣ пахло сыростью и табакомъ; окно было закрыто, несмотря на яркое солнце, заливавшее лучами противоположную сторону улицы.

Гуашъ лежалъ на спинѣ; голова его была повязана и опиралась на бѣлую подушку; — онъ напоминалъ отчасти мраморныя украшенія на старинныхъ памятникахъ, гдѣ смерть изображается лежащей въ вѣчной молитвѣ, если не въ вѣчномъ покоѣ. Онъ нетерпѣливо пошевелился, когда дверь отворилась, но, узнавъ Джіованни, привѣтствовалъ его болѣе звучнымъ и сильнымъ голосомъ, чѣмъ можно бы было ожидать.

— Это вы, князь! — воскликнулъ онъ съ видимымъ удовольствіемъ. — Какой вѣтеръ занесъ васъ сюда?

— Я слышалъ о вашемъ несчастіи и зашелъ узнать, не могу ли что-нибудь сдѣлать для васъ. Какъ вы поживаете?

— Какъ видите, — отвѣчалъ Гуашъ. — Лежу въ гостепріимной гробницѣ, съ повязанной головой, какъ не вполне воскресшій Лазарь. Больше ничего; только мою одежду унесли, такъ что я не могу оставить этого дома. Я чувствую себя, точно я участвовалъ въ революціи и дрался на баррикадахъ, на неправой сторонѣ — больше ничего.

— Какъ я вижу, вы въ хорошемъ расположеніи духа. Но вы не опасно ранены?

— Нѣтъ, пустяки — переломлена, если не ошибаюсь, ключица, разбита голова — не знаю хорошенько, въ какомъ мѣстѣ, мигрень, ѣсть не даютъ и такое ощущеніе, какъ будто кто-то тщетно старается скрутить меня въ веревку.

— Чтò же говорить докторъ?

— Ничего. Это человѣкъ дѣйствія. Онъ пустилъ мнѣ кровь, потому что я не могъ задушить его, и вливалъ мнѣ въ горло микстуры, потому что я не могъ говорить. У него странныя понятія о человѣческомъ тѣлѣ.

— Но вы вѣдь останетесь здѣсь нѣсколько дней, — сказалъ Джіованни, котораго очень забавлялъ взглядъ Гуаша на свое положеніе.

— Нѣсколько дней! Ни даже нѣсколько часовъ, если только смогу выбраться отсюда!

— Въ Римѣ дѣла не дѣлаются такъ быстро. Вы должны имѣть терпѣніе.

— И умирать съ голоду, когда за пищей сходить всего лишь на Корсо? — спросилъ художникъ. — Быть зарѣзаннымъ римскимъ живодеромъ и питаться настоями изъ сѣна, приготовленными княгиней Монтеварки, когда я могъ бы изыскивать средства быть представленнымъ ея дочери? Какъ скажете? Я думаю, что молодая дѣвушка съ божественными глазами — ея дочь, не правда ли?

— Вы, вѣроятно, говорите о доннѣ Фаустинѣ. Да. Это младшая, недавно изъ монастыря. Я ее только-что видѣлъ, въ гостиной. Но какъ вы могли видѣть ее?

— Сегодня ночью, когда меня несли по лѣстницѣ, мнѣ посчастливилось встрѣтить ея взглядъ. Что за глаза! Я никогда не воображалъ себѣ ничего подобнаго! Серьезно, не можете ли вы пособить мнѣ выбраться отсюда?

— Чтобы какъ можно скорѣе начать ухаживать за донной Фаустиной? — спросилъ Джіованни, смѣясь. — Мнѣ кажется, тутъ нечего долго думать, если вы достаточно сильны. Потребуйте ваше платье, одѣньтесь и ступайте въ гостиную поблагодарить княгиню за гостепріимство.

— Легко сказать! Кажется, въ этомъ домѣ ничего не дѣлается безъ письменнаго предписанія стараго князя. Притомъ, здѣсь нѣтъ волоколычика. Я точно подъ арестомъ въ кордегардія. Теперь докторъ собирается еще разъ пустить мнѣ кровь, а княгиня прислать свою настойку. Я и такъ не изъ жирныхъ, а еще день такой діеты, и я стану совсѣмъ прозрачнымъ, такъ что перестану бросать тѣнь. Хорошо я буду на парадѣ безъ тѣни!

— Постараюсь что-нибудь сдѣлать для васъ, — сказалъ Джіованни, вставая. — Лучше всего, я думаю, прислать вамъ военнаго хирурга. Онъ не такъ деликатенъ, какъ другіе врачи, но согласится выпустить васъ отсюда. Жена моя просила выразить вамъ свое сочувствіе и надежду, что вы скоро поправитесь.

— Передайте княгинѣ мою глубочайшую благодарность, — отвѣчалъ Гуашъ уже другимъ тономъ, выразившимъ чувство уваженія къ отсутствующей дамѣ.

Послѣ того Джіованни ушелъ, обѣщая немедленно прислать хирурга. Послѣдній скоро явился, освидѣтельствовалъ Гуаша и безъ труда согласился предписать ему немедленно отправиться домой. Художникъ-солдатъ не хотѣлъ оставить домъ, не поблагодаривъ хозяйку. Мундиръ его былъ вычищенъ, лѣвую руку при-

шлось держать на перевязи, рана на головѣ была прикрыта густыми черными волосами. Вообще, принимая во вниманіе обстоятельства, онъ имѣлъ весьма приличный видъ; княгиня приняла его въ гостиной, Флавія и Фаустина были съ нею, — но всѣ три уже одѣлись въ костюмъ, назначенный для прогулки, такъ что свиданіе по-неволѣ должно было быть коротко.

Гуашъ произнесъ небольшую благодарственную рѣчь, стараясь забыть о декоктѣ, который ему приходилось глотать, изъ опасенія, что это воспоминаніе придастъ неискренній оттѣнокъ его словамъ. Рѣчь сошла благополучно, что онъ приписывалъ впоследствии каримъ глазамъ донны Фаустины, которые теперь не были опущены, какъ во время визита Сантъ-Иларіо, а, напротивъ, казалось, рассматривали новаго посѣтителя съ особеннымъ любопытствомъ.

— Я увѣренъ, что мой мужъ не одобритъ вашего ухода, — сказала княгиня нѣсколько смущеннымъ тономъ. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли не впервые довольно важное рѣшеніе было принято въ ея домѣ безъ позволенія князя.

— Княгиня, — сказалъ Гуашъ, переводя взоръ отъ донны Фаустины на княгиню: — я былъ бы въ отчаяніи, еслибъ злоупотреблялъ вашимъ гостепріимствомъ, хотя, признаюсь, мнѣ было бы очень пріятно продолжать пользоваться имъ, лишь бы не приходилось лежать одному въ отдаленной комнатѣ. Но нашъ полковой хирургъ предписалъ мнѣ отправиться домой, и мнѣ остается только подчиниться этому предписанію. Повѣрьте, княгиня, я глубоко благодаренъ вамъ и князю Монтеварки за ваше сострадательное отношеніе ко мнѣ и никогда не забуду вашей доброты.

При этихъ словахъ Гуашъ поклонился, какъ бы собираясь уходить и ожидая только послѣдняго слова княгини. Но прежде чѣмъ та успѣла что-нибудь сказать, Фаустина обратилась къ Гуашу.

— Не могу выразить, какъ намъ было тяжело — мнѣ и папѣ — чувствовать себя виновниками такого ужаснаго несчастія. Не можемъ ли мы что-нибудь сдѣлать, чтобы загладить свою вину?

Княгиня устала на дочь, совершенно ошеломленная ея смѣлостью. Она бы не удивилась, еслибъ Флавія позволила себѣ такую неосторожность, но что Фаустина могла такъ смѣло обратиться къ молодому человѣку, который еще не говорилъ съ ней — это былъ такой ударъ, отъ котораго княгиня не могла опомниться въ теченіе нѣсколькихъ секундъ. Анастасъ тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло, потому что, отвѣчая, смотрѣлъ только на мать, хотя слова его прямо относились къ красавицѣ съ карими глазами.

— Mademoiselle слишкомъ добра. Она преувеличиваетъ. Но такъ какъ она заговорила объ этомъ, то я скажу, что скоро позабуду о сломанныхъ костяхъ своихъ, если мнѣ позволятъ написать портретъ съ mademoiselle. Я живописецъ, — прибавилъ онъ скромно въ поясненіе своихъ словъ.

— Да, — сказала княгиня, — я знаю. Но... объ этомъ вопросъ надо еще подумать... и если мужъ согласится... а въ настоящее время...

Она умоляла многозначительно, подразумевая вѣжливый отказъ, но Гуашъ договорилъ за нее.

— Въ настоящее время, пока мои кости не сrostутся, я не буду говорить объ этомъ. Когда я поправлюсь, то буду имѣть честь просить князя о согласіи.

Флавія наклонилась къ матери и шепнула ей, но такъ явственно, что Гуашъ услышалъ ея слова, причемъ черные глаза дѣвушки обращены были на живописца съ задорнымъ смѣхомъ.

— О, мамá, если вы скажете папá, что портретъ напишутъ даромъ, то онъ будетъ въ восторгѣ!

Губы Гуаша задрожали, когда онъ старался подавить улыбку, а щеки княгини покраснѣли отъ досады.

— Пока мы не будемъ говорить объ этомъ, — холодно проговорила она, протягивая руку. Поскорѣ поправляйтесь, monsieur Гуашъ.

Художникъ, прощаясь, опять взглянулъ на донну Фаустину. Лицо ея было блѣдно, а глаза гнѣвно сверкали. Она тоже слышала притворный шопотъ сестры и разсердилась даже сильнѣе матери. Гуашъ отправился къ себѣ на квартиру, въ сопровожденіи хирурга, размышляя о неисповѣдимыхъ тайнахъ римскаго дома, въ который ему удалось заглянуть. У него болѣла голова и плечо, но онъ настоялъ, что прогулка принесетъ ему пользу, и отказался отъ извозчикей кареты, которую привезъ съ собой хирургъ! Сломанная ключица — не очень опасная вещь, но очень несносная, и художникъ радъ былъ вернуться домой, комфортабельно устроиться на кушеткѣ и подкрѣпить себя пищею болѣе существенной, чѣмъ настой изъ ромашки и другой дряни, какими его потчивала княгиня Монтеварки.

III.

Пока Джіованни находился во дворцѣ Монтеварки и пока Корона была занята модисткой, князь Сарачинеска дремалъ надъ „Osservatore Romano“ въ своемъ кабинетѣ. Сказать по правдѣ,

газета была менѣе скучна, чѣмъ обыкновенно, потому что слухи о войнѣ наполняли ея столбцы. Гарибальди набралъ войско волонтеровъ и находился по сосѣдству съ Ареццо, вступая въ перестрѣлку съ аванпостами папской арміи, разставленной вдоль границы. Старикъ-князь не зналъ, конечно, что въ тотъ самый день итальянское правительство издало прокламацію противъ великаго агитатора, да возможно, что еслибы и зналъ объ этомъ „инцидентѣ“, то это не измѣнило бы его воззрѣній. Гарибальди былъ „совершившійся фактъ“, и Сарачинеска не вѣрилъ, чтобы прокламаціями можно было задержать его наступленіе, если онѣ не будутъ подкрѣплены болѣе внушительной силой. Еслибы даже князь зналъ, что генераль-гверильясовъ арестованъ въ Синалунѣ и посаженъ въ заточеніе тотчасъ же по выпускѣ прокламаціи, онѣ и тутъ ясно предвидѣлъ бы, что бѣгство арестованнаго не замедлитъ осуществиться, такъ какъ слишкомъ много доказательствъ существовало тому, что между Ратацци и Гарибальди существуетъ соглашеніе такого же рода, какое состоялось въ 1860 г. между Гарибальди и Каву-ромъ передъ походомъ на Неаполь. Итальянское правительство держало людей подъ оружіемъ, чтобы воспользоваться успѣхами гарибальдійскихъ волонтеровъ, а затѣмъ подавить ихъ республиканскія тенденціи, которыя немедленно проявлялись послѣ всякой удачи и исчезали какъ бы по мановенію волшебнаго жезла при каждомъ пораженіи.

Князь зналъ все это и такъ часто размышлялъ обо всемъ этомъ, что все это перестало его интересовать. Теплое сентябрьское утро проникало въ кабинетъ и озарило газету, медленно выпавшую изъ рукъ старика на его колѣни, въ то время какъ голова его все ниже и ниже склонялась на грудь. Старинные эмалированные часы на камнѣ какъ будто громче застучали, какъ всегда бываетъ съ часами, когда люди уснутъ и предоставятъ ихъ на произволъ судьбы; нѣсколько шаловливыхъ мухъ гонялись другъ за другомъ въ солнечномъ лучѣ.

Тишина была нарушена слугой, который хотѣлъ-было уйти, видя, что князь задремалъ, но старикъ пошевелился и приподнялъ голову, прежде чѣмъ слуга успѣлъ выйти. Тогда тотъ подошелъ, извиняясь, и подалъ визитную карточку. Князь поглядѣлъ на карточку, протеръ глаза, еще разъ поглядѣлъ и положилъ ее на столъ передъ собою съ видомъ удивленія. Послѣ того велѣлъ слугѣ просить гостя, и нѣсколько секундъ позднѣе очень высокій чело-вѣкъ вошелъ въ комнату, держа въ рукахъ шляпу, и медленно подошелъ къ князю съ видомъ чело-вѣка, сознающаго свое право на визитъ, но желающаго дать хозяину время придти въ себя.

Князь прекрасно узналъ гостя. Застегнутый на всѣ пуговицы фракъ лучше шелъ къ его внушительной фигурѣ, чѣмъ тотъ костюмъ, въ какомъ его видѣлъ Сарачинеска въ послѣдній разъ, но все же его нельзя было не признать. То было знакомое князю худое, но массивное лицо, съ широкими, слегка выдающимися скулами и выступающей впередъ нижней челюстью; тѣ же пронзительные черные глаза, близко сидѣвшіе другъ отъ друга подъ бровями, сходящимися у переносицы, и тѣ же тонкія и жесткія губы, и тотъ же крупный носъ съ широкими ноздрями, крѣпкомъ внизу. Если бы князь сомнѣвался въ личности своего посѣтителя, то его сомнѣнія были бы разсѣяны громаднымъ ростомъ и широкими плечами, которые трудно было бы позабыть, еслибы кто и хотѣлъ. Хотя и удивленный, Сарачинеска нимало не сомнѣвался въ личности посѣтителя. Единственные черты, которыя ему были новы въ немъ—это манеры и костюмъ: и то, и другое было изящно.

— Надѣюсь, что я не помѣшалъ вамъ, князь?

Слова были сказаны низкимъ, яснымъ голосомъ и съ сильнымъ южнымъ акцентомъ.

— Нисколько. Сознаюсь только въ томъ, что удивленъ, видя васъ въ Римѣ. Чѣмъ могу служить вамъ? Я всегда буду вамъ благодаренъ за то, что вы такъ охотно опровергли ложное обвиненіе противъ моего сына. Пожалуйста, садитесь. Какъ здоровье вашей жены? а дѣти? всѣ здоровы, надѣюсь?

— Моя жена умерла,—отвѣчалъ тотъ, и низкія басовыя ноты въ голосѣ придали торжественность простымъ словамъ.

— Мнѣ очень жаль...—началь-было князь, но гость перебилъ его.

— Дѣти здоровы. Они въ настоящее время въ Аквилѣ. Я пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы поселиться въ Римѣ, и мой первый визитъ натурально къ вамъ, такъ какъ я имѣю честь быть вамъ кузеномъ.

— Натурально,—согласился Сарачинеска, хотя лицо его выразило большое удивленіе.

— Не думайте, что я хочу навязаться вамъ въ качествѣ бѣднаго родственника,—продолжалъ тотъ съ блѣдной улыбкой.—Фортуна была ко мнѣ милостива съ тѣхъ поръ, какъ мы не видѣлись, быть можетъ, чтобы вознаградить за утрату, которую я понесъ въ лицѣ моей бѣдной жены. Я достаточно богатъ, чтобы не нуждаться ни въ чьей помощи.

— Я и не предполагалъ...

— Вы естественно могли предположить, что я пріѣхалъ про-

сить отъ васъ денежной помощи, хотя это и не такъ. Когда мы съ вами разстались, я былъ рестораторомъ въ Аквилѣ... Я не стыжусь своей бывшей профессіи. Я только желаю сообщить вамъ, что я съ ней покончилъ навсегда и намѣренъ занять то положеніе, отъ котораго мой дѣдъ такъ безразсудно отказался. Такъ какъ вы глава фамиліи, то я счелъ своимъ долгомъ извѣстить васъ объ этомъ немедленно.

— Конечно, конечно. Я такъ и думалъ, когда увидѣлъ вашу карточку. Вы въ полномъ правѣ такъ поступить, и я поставлю себя за удовольствіе довести это до общаго свѣденія. Вы — маркизъ ди-Санъ-Джіачинто, и ресторанъ въ Аквилѣ больше не существуетъ.

— Такъ какъ все это должно быть оформлено разъ и навсегда, я привезъ свои бумаги въ Римъ. Онѣ въ вашемъ распоряженіи; вы, конечно, имѣете право ихъ увидѣть, если пожелаете. Я напомню вамъ факты изъ нашей исторіи, въ томъ случаѣ, если вы ихъ позабыли.

— Я отлично знаю нашу исторію. Наши прадѣды были братьями. Вашъ уѣхалъ жить въ Неаполь. Сынъ его выросъ и перешелъ на сторону французовъ, отпавъ отъ своего короля. Земли его были конфискованы; онъ женился и умеръ въ неизвестности, оставивъ по себѣ единственного сына, вашего отца. Вашъ отецъ умеръ въ молодыхъ лѣтахъ, и вы тоже были единственнымъ сыномъ. Вы женились на синьорѣ Феличе...

— Бальди, — сказалъ маркизъ, кивками головы подтверждавшій до сихъ поръ всѣ заявленія князя.

— На синьорѣ Феличе Бальди, отъ которой у васъ двое дѣтей.

— Мальчиковъ.

— Двое мальчиковъ. И синьора маркиза умерла, какъ я, къ сожалѣнію, отъ васъ услышалъ. Вѣрно?

— Безусловно. Но есть одно обстоятельство, касающееся нашихъ прадѣдовъ, котораго вы не упомянули, но о которомъ навѣрное припомните.

— Какое обстоятельство? — спросилъ князь, зорко глядя въ лицо собесѣднику.

— А только то, — спокойно отвѣчалъ Санъ-Джіачинто, — что мой прадѣдъ былъ двумя годами старше вашего. Вы знаете, что онъ не собирався жениться, а потому отказался отъ титула въ пользу младшаго брата, у котораго уже было двое дѣтей. Онъ женился уже старикомъ, и мой дѣдъ былъ его сыномъ. Это объясняетъ, почему вы гораздо старше, чѣмъ я, хотя мы одного нисходящаго поколѣнія.

— Да, — согласился князь. — Это объясняетъ разницу въ лѣтахъ. Хотите курить?

Маркизъ ди-Сантъ-Джіачинто съ любопытствомъ поглядѣлъ на своего кузена, беря протянутую ему сигару. Отвѣтъ былъ кратокъ и какъ бы рѣзокъ, и это тотчасъ же привлекло его вниманіе и возбудило подозрѣніе. Онъ подумалъ: неужели этотъ обмѣнъ титуловъ и перемѣна положеній, изъ того вытекающая, составляютъ непріятный предметъ разговора для князя. Но послѣдній, точно догадавшись о такомъ сомнѣніи въ умѣ собесѣдника, тотчасъ же вернулся къ вопросу съ смѣлостью, его характеризующею.

— То было полюбовное соглашеніе, — сказалъ онъ, зажигая спичку и подавая ее маркизу. — У меня есть всѣ документы, и я съ интересомъ изучаю ихъ. Если это вамъ интересно, то я какъ-нибудь покажу ихъ и вамъ.

— Мнѣ очень интересно будетъ ихъ видѣть, — отвѣчалъ Сантъ-Джіачинто. — Они, должно быть, очень любопытны. Итакъ, какъ я уже вамъ сказалъ, я поселяюсь въ Римѣ. Мнѣ какъ-то странно разыгрывать сеньора... вѣроятно, вамъ это кажется еще страннѣе?

— Вѣрнѣе было бы сказать, что вы разыгрывали ресторатора, — замѣтилъ князь любезно. — Никто бы этого не заподозрилъ, — прибавилъ онъ, глядя на безукоризненный костюмъ собесѣдника.

— У меня очень покладливая натура, — сказалъ спокойно маркизъ. — Кромѣ того, я всегда имѣлъ въ виду занять прежнее мѣсто въ обществѣ. Я получилъ нѣкоторое образованіе... не очень обширное, но достаточное по нынѣшнему времени; а что касается воспитанія, то вѣдь въ наши дни оно равно у всѣхъ: у рестораторовъ и у князей. Человѣкъ снимаетъ шляпу, говоритъ тихо, говоритъ пріятныя для собесѣдника вещи... развѣ этого не довольно?

— Вполнѣ, — отвѣчалъ князь.

Ему хотѣлось улыбнуться при опредѣленіи кузеномъ, что такое хорошія манеры, но онъ видѣлъ, что этотъ человѣкъ вполнѣ способенъ съ достоинствомъ занять свое мѣсто.

— Вполнѣ довольно, — повторилъ онъ; — а что касается образованія, то боюсь, что большинство изъ насъ позабыло свою латынь. Вамъ нечего беспокоиться на этотъ счетъ. Но скажите мнѣ, какъ это случилось, что, будучи воспитаны на югѣ, вы предпочитаете поселиться въ Римѣ, а не въ Неаполѣ? Говорятъ, что вы, неаполитанцы, насъ не любите.

— Я римлянинъ по происхожденію и желаю стать имъ на

дѣлѣ, — отвѣчалъ маркизъ. — Кромѣ того, — прибавилъ онъ особенно серьезнымъ тономъ, — я не люблю новаго порядка вещей... У меня есть одна просьба до васъ, но просьба очень большая.

— Все, что въ моей власти...

— Представьте меня святому отцу, какъ самаго преданнѣйшаго изъ его слугъ. Можете вы это сдѣлать, — какъ вы думаете, — безъ особеннаго для себя стѣсненія?

— Э! да съ величайшимъ удовольствіемъ! *Magari!* — отвѣчалъ князь, — отъ всего сердца. Сказать правду, я боялся, что вы намѣрены придерживаться своихъ итальянскихъ убѣжденій, а это въ Римѣ, въ особенности въ наши бурные дни, было бы для васъ невыгодно. Но если вы присоединяетесь къ намъ сердцемъ и душой, то будете приняты съ распростертыми объятіями. Я съ величайшимъ удовольствіемъ познакомлю васъ съ моимъ сыномъ и его женой. Приходите сегодня къ намъ обѣдать.

— Благодарю васъ, непременно.

Сказавъ еще нѣсколько словъ, маркизъ Санъ-Джіачинто откланялся, и князь не могъ не восхищаться тѣмъ, какъ этотъ чело-вѣкъ, воспитанный среди крестьянъ, или, самое большее, среди мелкихъ фермеровъ въ глухомъ провинціальномъ углу сразу сталъ на совершенно равную съ нимъ ногу и выказывалъ въ своихъ манерахъ какъ разъ столько уваженія, сколько слѣдовало со стороны меньшого члена знатной фамиліи ея главѣ. Когда онъ ушелъ, Сарачинеска позвонилъ.

— Пасквале, — сказалъ онъ старому бѣфетчику, явившемуся на зовъ: — господинъ, который только-что ушелъ — мой кузень, донъ Джіованни Сарачинеска, маркизъ ди Санъ-Джіачинто. Онъ будетъ обѣдать у насъ сегодня вечеромъ. Ты долженъ величать его *eccellenza* и обращаться съ нимъ какъ съ членомъ фамиліи. Поди и спроси у княгини, можетъ ли она принять меня.

Пасквале мысленно вытаращилъ глаза, но поклонился и вышелъ изъ комнаты. Онъ никогда и не слыхивалъ о существованіи этого Сарачинески, и появленіе на сценѣ новаго члена фамиліи, которому должно было быть отъ тридцати до сорока лѣтъ, чрезвычайно какъ удивило его: старый слуга выросъ въ домѣ и воображалъ, что ему извѣстны всѣ тайны фамиліи Сарачинеска.

Онъ врядъ ли былъ болѣе удивленъ, чѣмъ его господинъ, который хотя и узналъ не такъ давно о существованіи Джіованни Сарачинеска и о томъ, что онъ ему кузень, но никакъ не ожидалъ, чтобы онъ пріѣхалъ въ Римъ, а тѣмъ менѣе, чтобы рестораторъ предъявилъ свои права на титулъ и положеніе дворянина. Въ пріемѣ, оказанномъ княземъ родственнику, была стран-

ная смѣсь мужества и предусмотрительности. Онъ зналъ силу собственнаго положенія въ обществѣ, и появленіе въ немъ смиреннаго родственника не можетъ ему повредить. На худой конецъ, люди немножко посмѣются между собой и замѣтятъ, что появленіе маркиза, вѣроятно, непріятно Сарачинескѣ. Съ другой стороны, князь былъ сразу пораженъ самообладаніемъ Сантъ-Джіачинто и предвидѣлъ, что этотъ человѣкъ будетъ играть роль въ римской жизни. Его можно было не любить, но нельзя было презирать, и такъ какъ права его были несомнѣнныя, то умнѣе было признать его сразу членомъ семьи и такимъ образомъ съ нимъ и обращаться. Въ сущности, онъ вѣдь не требовалъ больше того, на что имѣлъ право. Вотъ сущность того, что сообщилъ князь Сарачинеска невѣсткѣ нѣсколькими минутами позднѣе. Она терпѣливо выслушала все, что онъ ей говорилъ, и только задала одинъ или два вопроса, чтобы получше выяснить себѣ то, что случилось. Ей любопытно было поглядѣть на человѣка, имя котораго было когда-то такъ странно перепутано съ именемъ ея мужа, благодаря интригамъ графа дель-Фериче и донны Туллиі Майеръ, и откровенно выразила, что ей любопытно поглядѣть на Сантъ-Джіачинто. Пока она разговаривала съ княземъ, Джіованни неожиданно вернулся съ прогулки.

— Ну, Джіованнино, — закричалъ старикъ-князь, — блудный рестораторъ вернулся въ лоно семейства.

— Какой рестораторъ?

— Твой достойный тѣзка и кузень Джіованни Сарачинеска изъ Аквилы.

— Не желаетъ ли m-me Майеръ доказать, что онъ женился на Коронѣ? — спросилъ Сантъ-Иларіо, смѣясь.

— Нѣтъ, хотя я думаю, что онъ кандидатъ въ женихи. Я никогда въ жизни не былъ такъ удивленъ. Его жена умерла. Онъ богатъ, или, по крайней мѣрѣ, говоритъ, что богатъ. На карточкахъ его стоитъ: Джіованни Сарачинеска, маркизъ ди Сантъ-Джіачинто. Онъ одѣтъ превосходно и объявилъ о своемъ nambroniі быть представленнымъ папѣ и введеннымъ въ римское общество.

Сантъ-Иларіо недовѣрчиво глядѣлъ на отца и затѣмъ вопросительно взглянулъ на жену, какъ бы спрашивая: не шутка ли это. Когда онъ убѣдился, что фактъ вѣренъ, то сталъ очень серьезенъ и медленно погладилъ черную остроконечную бородку — жестъ необычный и всегда обозначающій глубокое раздумье.

— Намъ ничего не остается, какъ принять его въ семью, —

сказалъ онъ, наконецъ.—Но я не вполне довѣряю его добрымъ намереніямъ. Увидимъ. Я буду радъ съ нимъ познакомиться.

— Онъ сегодня у насъ обѣдаетъ.

Разговоръ продолжался, и пріѣздъ Сантъ-Джіачинто они обсуждали со всѣхъ сторонъ. Корона смотрѣла на вопросъ практически и говорила, что, безъ сомнѣнія, лучше хорошо съ нимъ обойтись, и этимъ значительно успокоила своего тестя. Тотъ, по правдѣ сказать, боялся, что ей непріятно будетъ знакомство съ человѣкомъ, отъ котораго естественно было ожидать нѣкоторой грубости манеръ его первоначальнаго воспитанія. Князь зналъ, какъ важно согласіе Короны на знакомство съ новымъ родственникомъ, такъ какъ, въ сущности, она была хозяйка дома. Но Корона раздѣляла въ этомъ отношеніи взглядъ старика-князя и считала, что ничто не могло поколебать высокаго положенія фамиліи ея мужа въ обществѣ.

Изъ всѣхъ трехъ, Сантъ-Иларіо былъ самый молчаливый и задумчивый; онъ боялся нѣкоторыхъ послѣдствій отъ прібытія новаго родственника, которыя не представлялись уму остальныхъ, и рѣшилъ быть на-сторожѣ, хотя и принять Сантъ-Джіачинто со всевозможнымъ радушіемъ. Позднѣе, оставшись на нѣсколько минутъ съ отцомъ, онъ вдругъ спросилъ:

— Вамъ нравится этотъ человѣкъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ князь.

— И мнѣ не нравится, хотя я его еще и не видалъ.

— Увидишь,—отвѣтилъ старикъ...

Наступилъ вечеръ, и въ назначенный часъ доложили о пріѣздѣ Сантъ-Джіачинто. И Корона, и мужъ ея, были удивлены его внушительной наружностью, а также его достоинствомъ и самообладаніемъ. Южный акцентъ былъ замѣтенъ у него не болѣе, чѣмъ у многихъ неаполитанцевъ, а его разговоръ, хотя и не блестящій, не былъ лишенъ интереса. Онъ говорилъ о земледѣльческомъ положеніи новой Италіи, и старикъ Сарачинеска, и сынъ его, оба заинтересовались его рѣчами. Они замѣтили также, что во время обѣда у него не вырвалось ни одного слова, ни одного жеста, которые бы могли выдать его первоначальную профессію, хотя позднѣе, когда слуги удалились, онъ не разъ съ откровенной улыбкой намекалъ на свою опытность, какъ содержателя ресторана. Въ общемъ, онъ казался скромнымъ и сдержаннымъ, хотя вполне сознѣвающимъ свое право быть тамъ, гдѣ находился.

Такое ^{тѣмъ} поведеніе со стороны этого человѣка менѣе удивляло фамилію Сарачинеска, чѣмъ удивило бы любого иностранца. Сантъ-Джіачинто самъ сказалъ, что онъ покладливый человѣкъ, а поклад-

ливость вообще черта итальянскаго характера. Нѣтъ нужды обсуждать причины этой особенности. Она будетъ непонятна для иностранцевъ вообще, которые никогда не понимали итальянцевъ. Говорю не колеблясь, что безъ единого исключенія каждый иностранецъ, поэтъ или прозаикъ, трактовавшій объ этомъ народѣ, болѣе или менѣе грубо ошибался на его счетъ. Это заявленіе дерзко, если принять въ соображеніе, что немногіе изъ гениальныхъ людей нашего столѣтія хотъ разъ въ жизни не излагали на бумагѣ своихъ мнѣній объ итальянской расѣ. Но чтобы вѣрно описать что-нибудь, нуженъ не гений, а близкое знакомство съ предметомъ. Поэтъ обыкновенно видитъ самого себя въ другихъ, а современный писатель объ Италіи склоненъ вѣрить, что можетъ увидѣть другихъ въ самомъ себѣ. Отраженіе итальянца въ сѣтчатой оболочкѣ умственнаго ока иностранца такъ же обманчиво, какъ его лицо, если онъ увидитъ его въ полированной поверхности вогнутаго зеркала. Чтобы понимать итальянцевъ, человѣкъ долженъ родиться и вырасти среди нихъ; но даже и тогда болѣе суровый, хищный инстинктъ, коренящійся въ сѣверной крови, можетъ обмануть наблюдателя и завести его на ошибочный путь. Итальянецъ — чрезвычайно простодушное существо и склоненъ раздѣлять мнѣніе страуса, а именно, что, спрятавъ голову, онъ спряталъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всего себя. Иностранцы рѣзко отзываются объ итальянской лживости, но это доказываетъ только, до какой степени эта лживость прозрачна. Удивительный фактъ, что два итальянца, систематически лгушіе, очень часто вѣрятъ другъ другу на свою погибель, съ дѣтской вѣрой, которую рѣдко можно встрѣтить на сѣверѣ отъ Альпъ. Это по-моему доказываетъ, что они болѣе глупы, чѣмъ безчестны. И дѣйствительно, они обманываютъ самихъ себя почти такъ же часто, какъ и своихъ сосѣдей. Въ странѣ, гдѣ легко вѣрять всякой лжи, лгание не можетъ быть доведено до тонкаго искусства. Я часто удивлялся, какимъ образомъ такимъ людямъ, какъ Цезарь Борджіа, удавалось заманивать своихъ враговъ въ ловушки, которыя современный сѣверянинъ тотчасъ же бы изобличилъ и посмѣялся бы надъ ними съ презрѣніемъ, какъ надъ дѣтской выдумкой.

Въ итальянцахъ существуетъ удивительная способность примѣнять самихъ себя и свою жизнь къ какому угодно обстоятельствамъ, лишь бы только спастись отъ непріятностей. Ихъ темпераментъ особенно пригоденъ для того, такъ какъ они умѣрены во всемъ и не легко приобрѣтаютъ привычки, отъ которыхъ не могли бы легко отдѣлаться. Желаніе избѣжать непріятностей дѣлаетъ ихъ самой деликатной изъ націй, и они удивительно какъ обязательны

съ иностранцами, если это может доставить имъ нѣсколько минутъ пріятной бесѣды. Они также очень удивляются, когда иностранецъ подозрѣваетъ, что они ухаживаютъ за нимъ, чтобы выманить у него денегъ, или же негодуешь на то, что деньги у него выманены обманнымъ образомъ. Нищій на улицѣ вопить, какъ безумный, если вы откажете ему въ милостынѣ, и обругаетъ васъ, если вы дадите ему пять сантимовъ. Слуга въ душѣ величаетъ иностраннаго господина дуракомъ и проливаетъ слезы бѣшенства и досады, если его жалкіе планы насчетъ того, какъ бы обмануть этого самаго господина, обнаруживаются. И совсѣмъ тѣмъ нищій, слуга, лавочникъ и господинъ услужливы иногда и обязательны до филантропіи и всегда готовы быть пріятными.

Маркизь ди Сантъ-Джіачинто отличался отъ своихъ родственниковъ, князей Сарачинески, тѣмъ, что въ жилахъ его текла итальянская кровь безъ всякой примѣси, а не смѣшанная, какъ у многихъ римскихъ вельможъ. Онъ не имѣлъ римскихъ традицій, но зато съ другой стороны былъ надѣленъ всѣми національными чертами, вмѣстѣ съ нѣкоторыми личными качествами, которыя ставили его выше толпы по уму и характеру. Онъ былъ человѣкъ выдающійся; тѣмъ болѣе, что, при многихъ непріятныхъ качествахъ, его соотечественники рѣдко обладаютъ той физической и умственной комбинаціей роста, энергіи и сдержанности, которая всегда внушаетъ нѣкотораго рода почтеніе къ субъекту, надѣленному ею.

Въ то время какъ онъ сидѣлъ въ кругу семьи послѣ обѣда вечеромъ въ первый день знакомства съ семьей, легко представить себѣ, чтó происходило у него въ умѣ и въ умѣ его хозяевъ.

Сантъ-Иларіо, идеи котораго о многихъ предметахъ были ясны, чѣмъ у его отца или жены, говорилъ себѣ, что этотъ человѣкъ ему не по душѣ; онъ подозрѣваетъ и думаетъ, что онъ пріѣхалъ въ Римъ съ какимъ-нибудь тайнымъ намѣреніемъ; будетъ разумно, если непрерывно наблюдать за нимъ и обсуждать каждый его поступокъ; но онъ, безъ сомнѣнія, какъ родственникъ, имѣетъ право на уваженіе и даже заслуживаетъ, чтобы съ нимъ обращались съ извѣстною короткостью; и въ концѣ концовъ, онъ—зло, которое слѣдуетъ перенести добродушно и любезно.

Сантъ-Джіачинто съ своей стороны изъ всѣхъ силъ старался держать себя такъ прилично, какъ подобало въ настоящемъ случаѣ; но чувства его къ родственникамъ были еще не совсѣмъ опредѣленны. Онъ намѣревался занять мѣсто въ ихъ средѣ и старался сдѣлать это какъ можно скорѣе и незамѣтно. Ближайшею его цѣлью было занять подобающее ему положеніе въ обще-

ствѣ, а затѣмъ жениться на знатной и богатой женщинѣ. Объ этомъ вопросѣ онъ намѣревался переговорить съ княземъ въ свое время, послѣ того, какъ успѣетъ стать твердой ногой въ свѣтѣ.

Сантъ-Джіачинто простился съ родственниками въ половинѣ десятаго, сославшись на то, что отозванъ въ другое мѣсто: онъ не желалъ надоедать имъ своей персоной. Когда онъ ушелъ, они нѣкоторое время молча глядѣли другъ на друга.

— У него удивительно хорошія манеры для ресторатора, — сказала, наконецъ, Корона. — Никто бы не догадался объ его прежнемъ образѣ жизни. Но онъ мнѣ не нравится.

— Ни мнѣ, — сказалъ князь.

— Ему что-нибудь нужно, — замѣтилъ Сантъ-Иларіо. — И всей вѣроятности онъ своего добьется, — прибавилъ онъ послѣ краткаго молчанія. У него рѣшительное лицо.

IV.

Анастасъ Гуашъ быстро поправлялся отъ своихъ ушибовъ, но все не такъ быстро, какъ бы ему хотѣлось. Въ воздухѣ пахло грозой, и многіе изъ его товарищей уже отправились на границу, гдѣ начались серьезныя перестрѣлки съ иррегулярнымъ войскомъ волонтеровъ Гарибальди. Быть прикованнымъ къ городу въ такое время казалось нестерпимымъ для храбраго молодого француза, который по природѣ любилъ войну и жаждалъ опасности и перваго свиста пули. Но бездѣятельность для него была неизбежна, и онъ вынужденъ былъ ей покориться, надѣясь изъ всѣхъ силъ, что еще поспѣетъ къ бою.

Положеніе дѣлъ было серьезное. Первая статья знаменитой конвенціи между Франціей и Италіей, ратификованная въ сентябрѣ 1864 г., гласила: „Италія обязывается не атаковать территоріи святаго отца и предупреждать силою всякую атаку извнѣ на эту территорію“.

Полагаясь на выполненіе этой главной статьи, Франція добросовѣстно выполнила условіе, налагаемое второй статьёй, которой постановлялось, что всѣ французскія войска будутъ выведены изъ Церковныхъ владѣній. Обѣщаніе Италіи силой помѣшать вторженію касалось Гарибальди и его волонтеровъ. Согласно этому, 24-го сентября 1867 г. итальянское правительство издало прокламацію противъ банды и ея дѣйствій и арестовало Гарибальди въ Синалунгѣ, по сосѣдству съ Ареццо. То была единственная сила, пущенная въ ходъ, и можно было думать, что итальянское

правительство твердо вѣрило, что волонтеры разойдутся тотчасъ же, какъ останутся безъ вождя. Гарибальди, однако, убѣжалъ полторы недѣли спустя и снова соединился съ своей бандой, которая тѣмъ временемъ была разбита войсками папы въ нѣсколькихъ небольшихъ стычкахъ и одержала одну или двѣ такихъ же незначительныхъ побѣды. Какъ скоро стало извѣстно, что Гарибальди снова на свободѣ, началось одновременно движеніе: многочисленные гарибальдійскіе эмиссары прибыли въ Римъ и попытались произвести возмущеніе въ городѣ, въ то время какъ Гарибальди смѣлымъ натискомъ захватилъ Monte Rotondo, а третья банда напала на Субіако, которое, по странному незнанію горъ, Гарибальди считалъ, повидимому, южнымъ ключомъ къ Кампаньѣ. Вслѣдствіе протеста французскаго посланника при итальянскомъ дворѣ, а можетъ быть также вслѣдствіе приближенія большого корпуса французскихъ войскъ съ моря, итальянское правительство вновь издало прокламацію противъ Гарибальди, который однако удерживался въ крѣпкой позиціи въ Monte Rotondo. Въ концѣ концовъ, 30-го октября, въ день, когда французскія войска снова вступили въ Римъ, итальянцы сдѣлали демонстрацію въ пользу папы, и генераль Менабреа разрѣшилъ итальянскимъ войскамъ вступить въ папскія владѣнія для охраненія порядка. Но они прошли недалеко и никакихъ дѣятельныхъ мѣръ не принимали, потому что Гарибальди былъ разбитъ 3-го и 4-го ноября папскими войсками, его банда разсѣялась, и инциденту положенъ конецъ. Еслибы не вооруженное вмѣшательство Франціи, то результатъ оказался бы тотъ, что и въ 1870 г., когда, при существованіи конвенціи, французамъ помѣшали ихъ собственныя бѣдствія поддержать папу.

Еще не время обсуждать вопросъ о присоединеніи Церковныхъ владѣній къ итальянскому королевству. Достаточно сказать, что движеніе 1867 г. произошло безъ дѣйствительнаго нарушенія буквы конвенціи. Духъ, въ которомъ дѣйствовало итальянское правительство, допускалъ критику; но необходимо, однако, замѣтить, что итальянское правительство было и есть правительство парламентское, и прибавить, что вообще слабыя стороны парламентскаго правительства особенно рельефно выступаютъ въ военное время, а его преимущества всего лучше видны во время мира. Въ итальянскомъ правительствѣ той эпохи, какъ и въ наши дни, численный перевѣсъ былъ на сторонѣ депутатовъ, которые считали Римъ естественной столицей страны и готовы были растоптать всякіе трактаты, лишь бы достигнуть того, что считали законною цѣлью. Во мнѣніяхъ это большинство расхо-

дилось: одни были сторонниками Гарибальди; другіе—Маццини, но всѣ считали себя въ правѣ воспользоваться революціей, если только послѣднему удастся ее произвести, и что долгъ относительно страны обязываетъ ихъ направить безпорядочный потокъ въ такое русло, которое бы привело къ расширенію Италіи, при помощи постоянной итальянской арміи.

Въ настоящее время года и тѣмъ болѣе при существующихъ обстоятельствахъ никакія увеселенія въ Римѣ были немислимы. Знакомые мирно сходились небольшими кружками въ домахъ и бесѣдовали о положеніи страны или гуляли и катались, какъ обыкновенно, на Monte-Pincio. Когда общество не можетъ веселиться, оно склонно бываетъ къ интимности и къ сплетнямъ. Послѣднія общество любитъ почти столько же, сколько и танцы. Поэтому въ тѣ дни, о которыхъ я повѣствую, было много домовъ, гдѣ собиралось двое-трое, а иногда и человѣкъ десять, подъ предлогомъ обсудить средства, которыми святой отецъ можетъ побѣдить враговъ, но въ сущности предаваясь осужденію слабостей ближняго.

Такихъ центровъ было нѣсколько, въ томъ числѣ палаццо Вальдорно, палаццо Сарачинески и палаццо Монтеварки. Въ первомъ изъ трехъ—замѣтимъ мимоходомъ—существовало разногласіе во мнѣніяхъ: старики были строгими консерваторами, между тѣмъ какъ дѣти объявляли такъ громко, какъ только смѣли, что они за Виктора-Эммануила и соединенную Италію. Съ другой стороны, Сарачинески были всѣ за-одно и намѣревались отстаивать существующій порядокъ. Наконецъ, Монтеварки повторяли мнѣнія главы дома и отлично знали, что обязаны слѣдовать какъ овцы въ ту сторону, куда ихъ поведетъ старшій князь. Знакомые, посѣщавшіе эти три дома, само собой разумѣется, говорили только то, что могло понравиться хозяевамъ.

Гуашъ былъ старинный знакомый Сарачинески и бывалъ у него когда вздумается. Послѣ своего несчастнаго приключенія, онъ познакомился тоже и съ Монтеварки, и всегда бывалъ у нихъ желаннымъ гостемъ, такъ какъ приносилъ самыя послѣднія вѣсти о томъ, что происходило на театрѣ войны, а также и во Франціи, благодаря своей дружбѣ съ молодыми секретарями посольства. Неудивительно поэтому, что онъ находилъ много случаевъ встрѣчаться съ донной Фаустиной, тѣмъ болѣе, что Корона ди Сантъ-Иларіо очень полюбила молодую дѣвушку и постоянно приглашала ее къ себѣ въ гости.

Въ первый разъ какъ Гуашъ явился къ княгинѣ Монтеварки, чтобы поблагодарить ее за доброту, съ какой она отнеслась къ

нему во время его болѣзни, онъ нашелъ комнату полной народа. Фаустина сидѣла одна, перелистывая какую-то книгу, и никто, повидимому, не обращалъ на нее вниманія. Послѣ обычныхъ привѣтствій хозяйкѣ дома, Гуашъ сѣлъ около молодой дѣвушки. Она подняла на него каріе глаза, узнала его и слабо улыбнулась.

— Какой удивительный контрастъ вамъ приходится переживать, донна Фаустина!—сказалъ зуавъ.

— Какъ такъ? Признаюсь, что я нахожу все окружающее довольно монотоннымъ.

— Я хочу сказать, что для васъ должна быть весьма ощутительная перемѣна въ жизни послѣ монастыря, и въ нынѣшнее боевое время.

— Да, я бы желала вернуться назадъ въ монастырь.

— Вамъ не нравится свѣтъ? Это не удивительно. Еслибы онъ всегда былъ такимъ, то не представлялъ бы большого соблазна. Въ свѣтъ привлекательны его увеселенія и празднества.

— Я бы желала, чтобы они поскорѣй начались,—отвѣчала Фаустина откровеннѣе, чѣмъ можно было ожидать отъ дѣвушки ея воспитанія.

— Но развѣ добрыя сестры не учили васъ, что всѣ эти веселости отъ дьявола?—спросилъ Гуашъ съ улыбкой.

— Разумѣется. Но Флавія говоритъ, что онѣ очень пріятны.

Гуашъ подумалъ, что Флавія и книги въ руки, но промолчалъ объ этомъ.

— Вы говорите про вашу сестру, донну Флавію?

— Да.

— Вы, вѣроятно, очень любите ее, не правда ли? должно быть, пріятно имѣть сестру почти однихъ лѣтъ.

— Она гораздо старше меня, но я думаю, что мы поладимъ.

— Вы, вѣроятно, совсѣмъ отвыкли отъ семьи, и для васъ они такіе же посторонніе, какъ и весь свѣтъ вообще,—замѣтилъ Гуашъ.—Вы, я вижу, любите чтеніе.

Онъ сказалъ это, чтобы перемѣнить разговоръ, и поглядѣлъ на книжку, которую молодая дѣвушка держала въ рукахъ.

— Это новая книга,—сказала она, раскрывая книгу на заглавномъ листѣ: *Manon Lescaut*. Флавія читала ее... Это сочиненіе аббата Прева. Вы его знаете?

Гуашъ не зналъ, смѣяться ли ему, или принять внушительный видъ.

— Ваша матушка дала вамъ эту книгу?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, но она говоритъ, что такъ какъ ее написалъ

аббатъ, то она навѣрное нравственная. Правда, что на ней не стоитъ *imprimatur*, но такъ какъ она написана патеромъ, то не могла попасть въ *Index*.

— Не знаю,—сказалъ Гуашъ,—Превд былъ, конечно, духовное лицо, но я его не знаю, такъ какъ онъ умеръ слишкомъ сто лѣтъ тому назадъ. Вы видите, что книга не нова.

— О!—воскликнула донна Фаустина.—А я думала, что она новая. Почему вы смѣтаетесь? Развѣ это невѣжество съ моей стороны не знать всего этого?

— Нѣтъ, конечно. Но только простите меня, если я позволю себѣ дать вамъ совѣтъ. Видите ли, я французъ, а потому свѣдущъ въ этихъ дѣлахъ. Вы позволите?

Фаустина широко раскрыла каріе глаза и серьезно наклонила голову.

— На вашемъ мѣстѣ я бы не читалъ этой книги. Вы слишкомъ молоды.

— Вы, кажется, забываете, что мнѣ восемнадцать лѣтъ, monsieur Гуашъ.

— Нѣтъ, нисколько. Но лучше подождать, пока вамъ будетъ двадцать-пять для такихъ книгъ. Повѣрьте мнѣ, — прибавилъ онъ серьезно,—эта книга не для васъ предназначена.

Фаустина поглядѣла на него и отложила книгу съ удивленнымъ видомъ. Гуашъ внутренно забавлялся мыслью, что онъ разыгрываетъ гувернера относительно мало знакомой дѣвицы, въ домѣ ея родителей, слывущихъ самыми чопорными людьми въ своемъ родѣ. Но, опомнившись отъ удивленія, онъ почувствовалъ сильную досаду на донну Флавію.

— Къ чему же тогда книги?—спросила донна Фаустина со вздохомъ.—Хорошія ужасно скучны, а веселыя не слѣдуетъ читать... пока не выйдешь замужъ. Отчего бы это?

Гуашъ не зналъ, что отвѣчать, и былъ бы въ большомъ затрудненіи, еслибы не вошелъ Джіованни Сантъ-Иларіо, которому онъ уступилъ свое мѣсто; но, проходя около стола, ловкимъ движеніемъ перевернулъ книгу такъ, чтобы не было видно ея заглавія. Ему непріятно было подумать, что Джіованни увидитъ *Manon Lescaut* подъ руками у донны Фаустины Монтеварки. Сантъ-Иларіо не замѣтилъ его маневра, да по всей вѣроятности не обратилъ бы вниманія, еслибы и замѣтилъ...

Первые числа октября мѣсяца прошли сравнительно спокойно. Извѣстіе объ арестѣ Гарибальди произвело временное затишье въ Римѣ, хотя настоящая борьба была еще впереди. Люди замѣчали другъ другу, что странныя фигуры попадаютъ на ули-

цахъ, но такъ какъ никто не могъ проникнуть въ городъ безъ паспорта, то общественное мѣненіе не было особенно тревожно.

Гуашъ очень часто видѣлъ Фаустину въ продолженіе того мѣсяца, который послѣдовалъ за несчастнымъ случаемъ съ каретой. Такая удача была бы немислима при другихъ обстоятельствахъ, но, какъ выше уже сказано, сознаніе общей опасности сближало людей, и частныя встрѣчи красиваго зуава съ младшею дочерью Монтеварки проходили незамѣченными среди общаго волненія. Старая княгиня часто видала ихъ обоихъ вмѣстѣ, но частію вслѣдствіе своего англійскаго воспитанія, частію оттого, что не считала Гуаша возможнымъ женихомъ или мужемъ для своей дочери, не придавала никакого значенія ихъ знакомству. Извѣстіе, что Гарибальди снова на свободѣ, произвело немалое волненіе, и каждый день приходили новыя вѣсти о небольшихъ стычкахъ вдоль границы. Гуашъ все еще не совсѣмъ поправился, хотя чувствовалъ себя такимъ же сильнымъ, какъ и всегда, и каждый день просился во фронтъ. Наконецъ, 22-го октября хирургъ объявилъ, что онъ вполне здоровъ, и Анастасъ получилъ приказъ выѣхать изъ города на другое утро на разсвѣтѣ.

Когда онъ всходилъ по мрачной лѣстницѣ палаццо Сарачинески наканунѣ своего отъѣзда, преобладающимъ чувствомъ въ его душѣ была радость, что онъ находится наканунѣ отъѣзда въ дѣйствующую армію, но онъ самъ удивился, когда вдругъ почувствовалъ, что ему больно разстаться съ друзьями.

Донна Фаустина находилась въ комнатѣ, какъ онъ и ожидалъ, но прошло нѣсколько минутъ, прежде нежели Анастасу удалось подойти къ ней. Она стояла около фортепьяно, выдвинутого на средину комнаты и окруженнаго растеніями, — новая мысль Короны, которой надоѣла старомодная манера разставлять всю мебель около стѣнъ. Итакъ, Фаустина стояла около фортепьяно, и Гуашъ направился къ ней, поздоровавшись предварительно съ Короной и съ другими дамами. Вниманіе его на минуту было привлечено гигантской фигурой Санъ-Джіачинто. Кузень князей Сарачинески стоялъ передъ Флавіей Монтеварки, слегка наклонившись къ ней и разговаривая вполголоса. Его великолѣпный ростъ невольно бросался въ глаза, и немудрено, что Гуашъ остановился и поглядѣлъ на него, мысленно отиѣтивъ, что изъ нихъ вышла бы отличная пара.

Стоя тутъ, онъ вдругъ увидѣлъ, что Корона подошла къ нему. Онъ вопросительно взглянулъ на нее и собирался что-то сказать, когда она знакомъ пригласила его послѣдовать за собой.

Они сѣли рядомъ въ уединенномъ уголку на противоположномъ концѣ залы.

— Мнѣ надо съ вами поговорить, monsieur Гуашъ, — сказала она тихо, откидываясь на спинку кресла. — Я не знаю, въ правѣ ли я высказать то, что хочу, хотя бы и по дружбѣ.

— Приказывайте, княгиня.

— Нѣтъ, мнѣ нечего приказывать; я хочу только посовѣтовать. Я наблюдала за вами въ послѣдній мѣсяцъ. Мой совѣтъ начинается съ вопроса. Вы ее любите?

Первымъ движеніемъ Гуаша была досада. Онъ быстро повернулся и заглянулъ въ бархатные глаза Короны. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ выговорить слово, онъ припомнилъ тайное обожаніе и уваженіе, испытываемыя имъ къ этой женщинѣ, на которую онъ всегда смотрѣлъ какъ на богиню, какъ на существо высшее, женщину и въ то же время ангела. Досада его такъ же быстро разсѣялась, какъ и возникла. Но Корона замѣтила это.

— Вы сердитесь? — спросила она.

— Еслибы вы знали, какъ я вамъ поклоняюсь, вы бы знали, что я не сержусь! — отвѣчалъ Гуашъ просто.

На секунду глубокіе глаза княгини сверкнули, и густой румянецъ разлился по ея смуглому лицу. Она гордо откинулась назадъ. Нѣжная улыбка заиграла на губахъ зуава.

— Быть можетъ, наступилъ вашъ чередъ сердиться, — спокойно сказалъ онъ. — Но у васъ нѣтъ въ этому причины. Я бы сказалъ то же самое при вашемъ мужѣ. Я вамъ поклоняюсь. Вы самая красивая женщина въ мірѣ и самая благородная. Всѣ это знаютъ, почему же мнѣ этого не высказать? Я бы желалъ быть маленькимъ ребенкомъ, и чтобы вы были моею матерью. Вы все еще сердитесь?

Корона молчала, но глаза ея смягчились, и она съ добротой взглянула на зуава. Она не поняла его, но знала, что онъ не хотѣлъ ее обидѣть. Гуашъ ждалъ, чтобы она заговорила.

— Я не затѣмъ позвала васъ, — сказала она, наконецъ.

— Я радъ, что высказался. Я завтра уѣзжаю и, можетъ быть, никогда больше не буду съ вами разговаривать. Вы спросили у меня, люблю ли я ее. Я довѣряю вамъ и скажу: да, я ее люблю; я пришелъ проститься съ нею.

— Мнѣ жаль, что вы ее любите. Это серьезно?

— Съ моей стороны, безусловно. Почему вамъ жаль? Развѣ это не естественно?

— Нѣтъ, напротивъ того, вполнѣ естественно. Но наша

жизнь неестественна. То, что я скажу, покажется грубымъ, но вы сами должны это знать. Вы не можете на ней жениться.

— Жилъ когда-то въ Парижѣ маленький мальчикъ; онъ жилъ впроголодь, и ему нечѣмъ было прикрыться, когда дулъ сѣверный вѣтеръ! Но у него было доброе сердце. Его звали Анастасъ Гуашъ.

— Другъ мой,—сказала Корона ласково:—атмосфера въ домѣ Монтеварки холоднѣе всѣхъ сѣверныхъ вѣтровъ. Человѣкъ можетъ все преодолѣть, кромѣ предразсудковъ римскаго князя.

— Вы не запрещаете мнѣ попытаться?

— Развѣ мое запрещеніе что-нибудь значитъ?

— Не могу сказать навѣрное.

Онъ долго молчалъ и глядѣлъ на княгиню.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ, наконецъ:—я не побоюсь.

— Въ такомъ случаѣ скажу только одно. Вы честный человекъ. Постарайтесь не причинять ей бесполезныхъ страданій. Завоюйте ее, если можете, но только честнымъ путемъ. У нея есть сердце, и я къ ней очень привязалась. Если съ ней случится худое, я васъ буду считать виноватымъ. Если вы любите ее, подумайте, каково бы ей было любить васъ и быть женой другого!

Тѣнь печали омрачила лицо Короны при воспоминаніи о страшномъ времени въ ея собственной жизни. Гуашъ зналъ, что она подразумеваетъ, и нѣкоторое время молчалъ.

— Я довѣряю вамъ,—сказала она, наконецъ.—А такъ какъ вы завтра уѣзжаете, то да будетъ надъ вами благословеніе небесъ. Вы на сторонѣ добраго дѣла.

Она протянула ему руку, вставая, и онъ поцѣловалъ ее такъ, какъ бы поцѣловалъ руку матери. Послѣ того Анастасъ Гуашъ пошелъ разыскивать донну Фаустину. Онъ нашелъ ее одну, какъ это вообще бываетъ съ молодыми дѣвушками въ римскихъ гостиныхъ, если только онѣ не собираются парами между собой.

— О чемъ вы разговаривали съ княгиней?—спросила донна Фаустина, когда Гуашъ сѣлъ около нея.

— Развѣ вамъ было отсюда видно?—спросилъ Гуашъ вмѣсто отвѣта.—Я думалъ, что эти растенія закрываютъ отъ васъ комнату.

— Я видѣла, какъ вы поцѣловали у нея руку, когда уходили, и подумала, что вѣрно разговоръ былъ серьезный.

— Менѣе серьезный, чѣмъ будетъ нашъ съ вами,—печально отвѣчалъ Анастасъ.—Я простился съ нею, а теперь...

— Простились? почему?..

Фаустина умолкла и отвернулась, чтобы скрыть блѣдность

лица. Ей стало холодно, и дрожь пробѣжала по ея тоненькой фигурѣ.

Я завтра утромъ ѣду въ полкъ.

Наступило продолжительное молчаніе, во время котораго оба взглядывали другъ на друга, но какъ будто не рѣшались заговорить. Послѣ того какъ Гуашъ вошелъ въ комнату, уже успѣло стемнѣть, но до сихъ поръ зажгли всего лишь одну лампу. Глаза молодого человѣка искали взгляда любимыхъ глазъ, и рука его встрѣтила другую руку, нѣжную, нервную ручку, дрожавшую отъ волненія. Они не обращали вниманія на то, что происходило кругомъ.

И можно было подумать, что ихъ молчаніе заразительно, потому что разговоры замерли въ гостиной, и вдругъ воцарилось безмолвіе, какое иногда наблюдается въ обществѣ людей, съ жаромъ передъ тѣмъ говорившихъ. И вотъ вдругъ изъ глубокихъ оконъ донесся отдаленный шумъ въ перемежку съ выстрѣлами, рѣдкими, правда, но тѣмъ болѣе замѣтными. Внезапно дверь гостиной растворилась настежь, и послышался голосъ слуги, громко кричавшаго съ выраженіемъ ужаса:

— Eccellenza! Eccellenza! революція! Гарибальди у воротъ города! итальянцы идутъ! Мадонна! Мадонна! революція, Eccellenza mia!

Человѣкъ обезумѣлъ отъ страха. Всѣ разомъ заговорили. Нѣкоторые смѣялись, думая, что человѣкъ этотъ помѣшанный. Другіе, слышавшіе шумъ на улицѣ, со страхомъ поглядывали на дверь. Но вотъ раздался звучный, сильный голосъ Сантъ-Иларіо, точно боевая труба.

— Запереть ворота! Запереть всѣ ставни въ домѣ... Незачѣмъ давать имъ случай разбить стекла! Чтѣ ты торчишь здѣсь точно полоумный!.. Велика важность—бунтующая чернь!

Не успѣлъ онъ договорить, а Сантъ-Джіачинто уже спокойно запираетъ ставни, какъ привыкъ это дѣлать въ былые дни въ своемъ трактирѣ въ Аквилѣ.

Въ темномъ уголку, за роялемъ, на Гуаша и Фаустину никто не обращалъ вниманія при общемъ смущеніи. Некогда было раздумывать, потому что при первыхъ же словахъ слуги Анастасъ понялъ, что долженъ немедленно отправиться на свой постъ. Маленькая ручка Фаустины очутилась въ его рукахъ, когда они оба вскочили съ мѣстъ. Не долго думая, онъ обнялъ ее и страстно поцѣловалъ.

— Прощай...

Руки молодой дѣвушки крѣпко обвились вокругъ него, а глаза съ мольбой глядѣли въ его глаза.

— Вы здѣсь въ безопасности, прощайте!

— Куда вы?

— Въ Серристорійскія казармы. Богъ да хранитъ васъ, пока я не вернусь! прощайте!

— Я пойду съ вами,—сказала Фаустина съ страннымъ рѣшительнымъ взглядомъ.

Гуашъ улыбнулся, услышавъ такія безумныя слова. Еще разъ поцѣловалъ ее и исчезъ такъ, что она даже и не замѣтила. Другіе подошли къ ихъ уголку. Съ инстинктивною скромностью Фаустина отняла руки отъ шеи молодого человѣка и отступила назадъ. Въ этотъ моментъ онъ и скрылся.

Фаустина дико оглядывалась въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ, смущенная и огушенная всѣмъ, что происходило, пуще же всего мыслью, что человѣкъ, котораго она любила, пошелъ на вѣрную смерть. Затѣмъ не колеблясь вышла изъ комнаты. Никто не мѣшалъ ей, потому что Сарачинески мужчины пошли присмотрѣть за обороной дворца, а Корона уже находилась у колыбели ребенка. Никто не замѣтилъ стройную дѣвушку, какъ она проскользнула въ дверь и исчезла въ темнотѣ неосвѣщенныхъ сѣней. Въ домѣ царствовала суматоха, беспорядокъ и шумъ; слуги бѣгали взадъ и впередъ, стараясь, несмотря на овладѣвшій ими ужасъ, исполнять приказанія господъ.

Фаустина прокралась какъ тѣнь по обширной лѣстницѣ, проскользнула въ ворота какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ ошеломленный привратникъ собирался ихъ запирать, и въ одинъ мигъ очутилась среди толпы, которая наполняла темныя улицы... Ребенокъ очутился лицомъ къ лицу и одинъ-на-одинъ съ революціей.

V.

Гуашъ направился такъ поспѣшно, какъ только могъ, къ мосту Св. Ангела, но ему мѣшала постоянно толпа мужчинъ, женщинъ и дѣтей, бѣжавшая по улицамъ во всѣхъ направленіяхъ. Слышны были неумолчные вопли женщинъ и возгласы мужчинъ, среди которыхъ чаще другихъ повторялись: „Vivo Pio Nono!“ или „Viva la Repubblica!“ Сумятица была невыразимая. Отрядъ пѣхоты выступилъ изъ крѣпости Св. Ангела на мостъ, гдѣ ему попалась на-встрѣчу густая толпа народа, двигавшагося въ противоположномъ направленіи. Эскадронъ конныхъ жандармъ при-

былъ въ тотъ же моментъ изъ Borgo Nuovo. Офицеръ во главѣ пѣхотныхъ солдатъ громко приказалъ толпѣ разойтись, и послѣдняя, состоявшая главнымъ образомъ изъ мирныхъ, хотя и напуганныхъ, гражданъ пыталась-было двинуться назадъ, но напиравшій съзади народъ толкалъ ихъ впередъ. Гуашъ, находившійся впереди толпы, принять былъ въ ряды пѣхоты, благодаря своему мундиру, и пытался-было пробраться на противоположный берегъ.

Но всѣ усилія оставались тщетными, потому что солдаты были такъ же сдавлены, какъ и народъ. Но вотъ толпа на площади какъ бы подалась, и колонна задвигалась впередъ, увлекая съ собою Гуаша въ противномъ направленіи тому, куда ему слѣдовало. Онъ вскарабкался на перила моста и, какъ кошка, пробѣжалъ по нимъ до конца моста, спрыгнувъ съ перилъ и со всѣхъ ногъ бросился на Borgo Santo Spirito. Обширное пространство было почти пусто, и въ какихъ-нибудь три минуты онъ очутился у воротъ казармъ, расположенныхъ по правую сторону улицы, какъ разъ пройдя Коллегію Кающихся и напротивъ церкви San Spirito in Sassio.

Тѣмъ временемъ донна Фаустина Монтеварки очутилась одна на улицѣ. Въ отчаянныхъ положеніяхъ юные и нервные люди большею частію дѣйствуютъ въ силу преобладающей страсти, овладѣвшей ими. Большею частью страсть эта—страхъ; если же нѣтъ, то невозможно и разсчитать послѣдствій. Когда все существо охвачено любовью и страдаетъ за любимаго человѣка, то слабѣйшая изъ женщинъ можетъ совершать чудеса храбрости. Такъ было теперь и съ Фаустиной...

Она любила Анастаза безмѣрно. Подъ впечатлѣніемъ его прощанія и поразительнаго эффекта, произведеннаго возвѣщеніемъ революціи, обезумѣвъ отъ любви и страха, она поступила очертя голову, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Она бы и сама не могла объяснить, какъ это случилось, потому что дѣйствовала инстинктивно. Она убѣжала изъ комнаты и изъ дворца, не сознавая опасности, точно въ бреду.

Толпа, задержавшая Гуаша, уже порѣдѣла, когда Фаустина очутилась на мостовой. Она родилась и выросла въ Римѣ, и ребенкомъ, прежде чѣмъ ее отдали въ монастырь, часто гуляла въ сосѣдствѣ съ соборомъ Св. Петра. Она знала, гдѣ помѣщаются Серристорійскія казармы, и тотчасъ же направилась къ мосту Св. Ангела. Не многіе обращали на нее вниманія, и никто не мѣшалъ ей идти своей дорогой, хотя довольно странно было видѣть хорошенькую молодую дѣвушку, одѣтую весьма изящно и бѣгущую по темнымъ улицамъ.

Вдругъ она заблудилась. Добѣжавъ до Via de' Coronari, она

слишкомъ рано повернула направо и очутилась въ лабиринтъ небольшихъ переулковъ около церкви San Salvatore in Lauro. Она свернула въ глухой переулокъ натѣво и наскочила на двоихъ мужчинъ, неожиданно вышедшихъ изъ одного изъ многочисленныхъ винныхъ погребковъ, расположенныхъ въ подвальной этажѣ и попадающихся на каждомъ шагу въ этой мѣстности. Они говорили тихо и серьезно, и одинъ посторонился, когда молодая дѣвушка пробѣгала мимо него. Инстинктивно онъ схватилъ ее и вѣрно удержалъ за руки.

— Куда вы бѣжите, моя красавица? — спросилъ онъ, между тѣмъ какъ она вырывалась отъ него.

— О! пустите меня! пустите меня!.. — закричала она съ тоской, стараясь высвободить тонкія руки изъ его сильныхъ лапъ. Другой человекъ стоялъ возлѣ и наблюдалъ за сценой.

— Лучше отпусти ее, Пеппино, — замѣтилъ онъ: — развѣ ты не видишь, что это дѣвушка?

— Дѣвушка? да, — отвѣчалъ тотъ. — Куда вы стремитесь съ такимъ ангельскимъ личиомъ?

— Въ Серристорійскія казармы, — отвѣчала Фаустина, продолжая вырываться.

При этихъ словахъ оба человека громко расхохотались и переглянулись. Они, кажется, нашли отвѣтъ очень забавнымъ.

— Если такъ, то чортъ съ тобой, ступай! Чтò скажешь, Гаэтано?

И оба снова расхохотались.

— Возьмемъ эту цѣпочку и брошь на память, — сказалъ Гаэтано, и сорвалъ эти украшения съ Фаустины, въ то время какъ другой держалъ ее за руки.

— А какая, однако, хорошенькая дѣвушка! — закричалъ онъ, глядя въ блѣдное личико при свѣтѣ маленькаго краснаго фонаря, болтавшагося подъ низенькой дверью виннаго погребка. — Я никогда еще въ жизни не цѣловалъ дамъ.

И съ этими словами взявъ грязной рукой ее за нѣжный подбородокъ и наклонилъ къ ней свою скверную рожу. Но это уже было слишкомъ. Хотя Фаустина до сихъ поръ изо всей силы боролась съ негодами, но у нея оставался запасъ почти сверхъестественной силы, которая была вызвана наружу страхомъ оскорбленія. Съ пронзительнымъ крикомъ она вырывалась изъ рукъ негодаевъ, и въ одно мгновеніе исчезла. На счастье она выбрала вѣрную дорогу и, секунду спустя, очутилась на Via di Tordinona, какъ разъ напротивъ входа въ театръ Аполлона.

Бѣлыя афиши на стѣнѣ и крытый подъѣздъ сказали ей, гдѣ она находится.

Тѣмъ временемъ солдаты, загородившіе путь Гуашу на мосту, равно какъ и густая толпа народа исчезли, и Фаустина пролетѣла какъ вѣтеръ то пространство, которое Гуашу пришлось такъ долго преодолевать. Какъ птица неслась она по широкой площади, разстилавшейся передъ Borgo Nuovo и за нимъ мимо длиннаго одноэтажнаго госпиталя. Молодая дѣвушка обогнула улицу. Передъ ней бѣжалъ зуавъ къ воротамъ казармъ, у которыхъ стоялъ недвижимо часовой подъ фонаремъ, накинувъ на голову сѣрый капюшонъ и держа ружье на плечѣ.

Въ этотъ моментъ раздался страшный взрывъ въ воздухѣ, за которымъ послѣдовалъ шумъ обваливавшихся каменныхъ стѣнъ и затѣмъ протяжный громовой перекатистый ударъ, который длился нѣсколько минутъ, между тѣмъ какъ развалины продолжали громоздиться грудами, наполняя воздухъ густыми клубами пыли. Затѣмъ все стихло.

Маленькая площадь передъ San Spirito in Sassia была завалена массами камня и кирпичей и отвалившейся штукатурки. Молодая дѣвушка лежала недвижимо лицомъ къ землѣ около госпиталя, вытянувъ бѣлыя руки по направленію къ человѣку, который былъ убитъ всего лишь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея обвалившимися камнями и кирпичами. На томъ мѣстѣ, гдѣ стояли казармы, лежали мертвыя тѣла бѣдныхъ зуавовъ, схороненныхъ подъ обломками главнаго зданія, большая часть котораго обвалилась поперекъ улицы, пролежавшей между Penitenzieri и Serri-stori. Все было тихо въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ, между тѣмъ какъ мягкій снѣгъ лился изъ высокихъ оконъ госпиталя и слабо озарялъ часть страшной сцены.

Понемногу показалось нѣсколько человѣкъ, затѣмъ больше, и постепенно собралась темная масса народа и стояла поодаль, опасаясь подойти ближе, чтобы не быть схороненной подъ новымъ обваломъ. Но вотъ дверь госпиталя отворилась, и партія людей въ сѣрыхъ блузахъ, предводительствуемая тремя или четырьмя господами въ черныхъ сюртукахъ, — одинъ впрочемъ былъ безъ сюртука въ одномъ жилетѣ, — вышла на безмолвную улицу и направилась къ мѣсту катастрофы. Они несли фонари и пару носилокъ, на которыхъ переносятъ раненыхъ...

— Синьоръ профессоръ! — вдругъ сказалъ одинъ изъ людей тихимъ голосомъ: — вотъ мертвая женщина.

Врачи прошли впередъ и нагнулись надъ мертвымъ тѣломъ. Одинъ изъ нихъ покачалъ головой, когда яркій свѣтъ фонаря

упалъ на лицо дѣвушки, въ то время, какъ онъ приподнималъ ее съ мостовой.

— Это не простолюдинка, — замѣтилъ другой тихимъ голосомъ.

Люди поднесли носилки и положили на нихъ тѣло дѣвушки.

— *Andiamo!* — сказалъ одинъ изъ докторовъ тихимъ печальнымъ голосомъ.

Носильщики подобрали также и мертвыхъ звуавовъ, и процессія смерти снова вступила въ ворота госпиталя, которыя затѣмъ тяжело захлопнулись за ними, точно двери гробницы.

Толпа опять соменулась и придвинулась къ развалинамъ. Пришло нѣсколько жандармовъ, и затѣмъ партія рабочихъ, которые принялись раскапывать развалины при свѣтѣ смоляныхъ факеловъ, воткнутыхъ въ расщелины, образовавшіяся въ стѣнахъ. Адское дѣло было совершено, но по счастливой случайности послѣдствія его оказались менѣе ужасными, чѣмъ можно было думать. Только одну третью мины взорвало, и только тридцать звуавовъ находились въ это время въ зданіи.

— Ты видѣлъ ея лицо, Гаэтано? — спросилъ грубаго вида человекъ своего товарища. Они стояли на углу улицы поодаль отъ остальной толпы.

— Нѣтъ, но это должно быть она. Я радъ, что хоть этого грѣха нѣтъ на моей душѣ.

— Ты дуракъ, Гаэтано! Что значить одна дѣвушка передъ сотней солдатъ? Кромѣ того, еслибы ты покрѣпче держалъ ее, она бы не подоспѣла какъ разъ въ-время, чтобы быть убитой.

— Такъ-то такъ, да вѣдь она дѣвушка. Другихъ-то мы уекошили для добраго дѣла. *Viva la libertà!*

— Тс! вотъ жандармы! Сюда! — И оба исчезли во мракѣ, откуда появились.

Смута и переполохъ царствовали не въ одномъ только *Borgo Nuovo*. Первый сигналъ былъ данъ съ площади Колонна, гдѣ взорвало бомбы. Атаки произведены были на тюрьмы — зловѣщаго вида неизвѣстными людьми, которыхъ уже нѣсколько дней замѣчали въ различныхъ частяхъ города. Густыя толпы черни ворвались въ Капитолій, вооруженныя гораздо лучшимъ оружіемъ, чѣмъ то, какое обыкновенно бываетъ въ рукахъ черни. У воротъ св. Павла, справедливо сочтенныхъ за самый слабый пунктъ въ городѣ, произведена была ожесточенная атака бандой гарибальдійцевъ, подобранныхъ къ стѣнамъ города въ послѣдніе два дня подъ самыми разнообразными личинами.

Нѣкоторыя казармы въ городѣ тоже подверглись нападенію, и одно время отряды людей ходили по улицамъ, выкрикивая:

„Viva Garibaldi!“, „Viva la libertà!“ Немногіе кричали: „Viva Vittorio!“ и „Viva Italia!“ Но хладнокровный наблюдатель,—а такихъ было много въ ту ночь въ Римѣ,—могъ сразу видѣть, что демонстрація была скорѣе въ пользу анархіи—нежели итальянской монархіи. Въ общемъ населеніе не выказывало симпатій къ возстанію. Достаточно сказать, что эта жидкая революція вспыхнула въ сумеркахъ и была окончательно подавлена къ девяти часамъ того же вечера. Попытки были во многихъ мѣстахъ отчаянныя и смѣлыя; но въ нихъ участвовала лишь незначительная часть населенія. Еслибы существовала истинная симпатія между низшими классами Рима и гарибальдіяцами, разговоръ былъ бы другой.

Правда, что изъ двухъ такихъ замысловъ, направленныхъ къ тому, чтобы истребить все войско и нагнать терроръ на жителей, одинъ не удался отчасти, а другой вполне. Еслибы весь порохъ; который Джузеппе Монти и Гаэтано Тоньети заложили миной подъ Серристорійскія казармы, взорвало, то вмѣсто одной трети разрушена была бы значительная часть Вогго Nuovo; да и теперь гораздо большее число зуавовъ было бы убито, еслибы по счастью они не находились внѣ казармъ. Но невозможно и рассчитать, какія бѣды и какая масса убитыхъ получилась бы въ результатъ, еслибы взорвали крѣпость св. Ангела и прилегающія укрѣпленія.

Громадная мина была заложена въ подвалъ одного изъ бастионовъ, но заговоръ былъ открытъ въ послѣднюю минуту однимъ изъ заговорщиковъ. Слѣдуетъ прибавить, что всѣ эти люди, которыхъ судили и присудили только къ каторжной работѣ, были освобождены тремя годами позже, въ 1870 г., итальянскимъ правительствомъ на томъ основаніи, что они—политическіе преступники.

Римъ немедленно былъ объявленъ въ осажденномъ положеніи, и патрули войскъ стали разъѣзжать по улицамъ, разгоняя всѣхъ по домамъ.

По мѣрѣ того, какъ шумъ затихалъ на улицѣ, возбужденіе въ салонѣ Сарачинески тоже улеглось. Нѣкоторые изъ присутствующихъ объявили о своемъ намѣреніи вернуться немедленно домой, противъ чего однако старикъ князь протестовалъ, находя, что въ городѣ еще недостаточно безопасно.

— Ворота заперты,—говорилъ онъ съ веселымъ смѣхомъ,—и никого изъ васъ пока не выпустятъ. Теперь пора обѣднная, и вы должны со мной отобѣдать. Я не могу, конечно, предложить вамъ банкетъ, но голодными не отпущу. Надѣюсь, никто еще не ушелъ.

Всѣ при этихъ словахъ оглядѣлись, какъ бы осматривая, всѣ ли на-лицо.

— Я видѣла, какъ monsieur Гуашъ ушелъ, — сказала Флавія Монтеварки.

— Бѣдный! — воскликнула княгиня, ея мать. — Надѣюсь, что съ нимъ никакой бѣды не приключится!

Она умолила и тревожно посмотрѣла вокругъ себя.

— Боже! — вдругъ закричала она: — гдѣ Фаустина?

— Она, вѣроятно, ушла съ женой, — сказалъ Сантъ-Иларіо спокойно: — я пойду погляжу.

Княгиня нашла это объясненіе вполне естественнымъ и успокоилась.

Сантъ-Иларіо нашелъ жену въ дѣтской у колыбели ребенка.

— Гдѣ Фаустина Монтеварки? — спросилъ Джіованни.

— Фаустина? — повторила Корона. — Въ гостиной, конечно. Я ее не видѣла.

— Ее тамъ нѣтъ, — отвѣчалъ Сантъ-Иларіо уже тревожнымъ тономъ. — Я думалъ, она пошла сюда за тобой.

— Она должна быть со всѣми въ гостиной; ты просто ее не замѣтилъ.

— Нѣтъ, ее навѣрное нѣтъ въ гостиной. Я въ этомъ увѣренъ. Именно, мать ея спросила, гдѣ она, и всѣ слышали этотъ вопросъ. Я не могу вернуться безъ нея.

Они вмѣстѣ вышли въ корридоръ.

— Это очень серьезно, — сказала Корона. — Нужно обыскать домъ. Пошли людей. Я скажу служанкамъ. Мы сойдемся на верхней площадѣ лѣстницы.

Пять минутъ спустя Джіованни прибѣжалъ къ женѣ.

— Она вышла изъ дому, — сказалъ онъ, запыхавшись. — Привратникъ видѣлъ ее.

— Боже мой! — почему же онъ ее выпустилъ?

— Потому что онъ глухъ! — отвѣчалъ Сантъ-Иларіо, блѣдный отъ тревоги. Она вѣрно потеряла голову и убѣжала домой. Я пойду скажу ея матери.

Когда въ гостиной узнали, что донна Фаустина Монтеварки ушла изъ дворца одна и пѣшкомъ, всѣ пришли въ ужасъ. Княгиня поблѣднѣла какъ смерть, хотя обыкновенно ея лицо было очень красно.

— Я должна немедленно ѣхать домой, — объявила она. — Препажите подать мою карету и отпереть ворота.

Джіованни молча повиновался, и нѣсколько минутъ позже княгиня сходила съ лѣстницы, въ сопровожденіи Флавіи, которая

молчала—вещь совсѣмъ необычная для этой живой молодой особы. Джіованни тоже пошелъ за ними, а также и его кузенъ, Санъ-Джіачинто.

— Если вы позволите, княгиня, то я поѣду съ вами,—сказалъ послѣдній, когда они всѣ дошли до кареты.—Я могу вамъ быть полезенъ.

Какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ они проѣзжали подъ аркой, раздался взрывъ, эхо котораго разнеслось громовыми раскатами по городу. Стекла кареты задребезжали, точно собирались растрескаться, и затѣмъ наступила зловѣщая тишина. Лошади рванулись съ мѣста, и карета тяжело ударилась объ одинъ изъ каменныхъ столбовъ у входа во дворецъ. Четверо лицъ, сидѣвшихъ въ каретѣ, слышали, какъ кучеръ ругался.

— Пошелъ! — закричалъ Санъ-Джіачинто, высовывая голову изъ окна.

— Eccellenza...—началь-было человѣкъ, какъ бы извиняясь.

— Пошелъ!—закричалъ Санъ-Джіачинто такимъ голосомъ, что кучеръ повиновался, несмотря на испугъ. Онъ никогда не слышивалъ такого мощнаго и свирѣпаго голоса.

Они доѣхали до дворца Монтеварки безъ всякихъ затрудненій. Черезъ минуту они убѣдились, что донна Фаустина не приходила, и на лѣстницѣ произошло совѣщаніе. Тѣмъ временемъ князь Монтеварки вышелъ вмѣстѣ съ старшимъ сыномъ, Беллегра, красивымъ человѣкомъ лѣтъ тридцати, съ голубыми глазами и свѣтлой бородой. Онъ былъ спокойнѣе отца, который говорилъ возбужденно и махалъ руками.

— Вы потеряли Фаустину!—кричалъ старикъ отчаянно.—Вы потеряли Фаустину! и въ такое время! Чего же вы стоите тутъ? О! моя дочь, моя дочь! Я такъ часто повторялъ тебѣ, Джеральдина, чтобы ты была осмотрительнѣе. Да что же ты окаменѣла, что-ли? Signori miei, я въ отчаяніи!

И дѣйствительно онъ ломалъ руки, топалъ ногами и издавалъ безсвязныя восклицанія, между тѣмъ какъ слезы катились у него изъ глазъ.

— Мы отправляемся разыскивать вашу дочь,—сказалъ Сантъ-Иларіо.—Пожалуйста успокойтесь. Мы ее навѣрное найдемъ.

— Можетъ быть и мнѣ бы слѣдовало отправиться съ вами, — нѣсколько робко проговорилъ Асканіо Беллегра.

Но отецъ охватилъ его руками и держалъ.

— Неужели ты думаешь, что я захочу лишиться и другого дѣтища? — закричалъ онъ.—Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, figlio mio, я тебя не пущу къ революціонерамъ.

Сантъ-Иларіо глядѣлъ серьезно, хотя въ душѣ презиралъ бѣднаго старика за слабость. Сантъ-Джіачинто стоялъ, прислонясь къ стѣнѣ, и дожидался, мрачно ослабившись. Онъ мѣрилъ взглядомъ Асканіо Беллегру и думалъ, что въ его помощи было бы мало пользы. Княгиня презрительно глядѣла на мужа и сына.

— Мы даромъ тратимъ время, — сказали, наконецъ, Сантъ-Иларіо кузену. — Общаюсь вамъ привезти дочь, — повернулся онъ къ княгинѣ.

Затѣмъ оба ушли, оставивъ князя Монтеварки оплачивать судьбу. Флавія не принимала участія въ разговорѣ, и тотчасъ же, какъ пріѣхала, ушла къ себѣ въ комнату.

Кузены оставили дворецъ вмѣстѣ и нѣкоторое время молчали по улицѣ. Вдругъ Сантъ-Иларіо остановился.

— А вѣдь мы съ вами предприняли очень трудное дѣло, — сказали онъ.

— Очень трудное, — отвѣчалъ Сантъ-Джіачинто.

— Римъ не особенно громадный городъ, но я понятія не имѣю, гдѣ намъ искать ее. Самое лучшее, я думаю, это поднять на ноги полицію.

— А еще лучше пойти къ зуавамъ, — сказалъ Сантъ-Джіачинто.

— Почему же къ зуавамъ? Я васъ не понимаю.

— Вы такъ привыкли быть князьями, что совсѣмъ не наблюдаете другъ за другомъ. Я же все время наблюдаю. Эта молодая особа влюблена въ monsieur Гуаша.

— Не можетъ быть!

— Отчего же! Я видѣлъ, когда припиралъ ставни въ гостиной, какъ этотъ молодой человѣкъ держалъ руку донны Фаустины въ своихъ рукахъ.

Сантъ-Джіачинто не сказалъ всего, что видѣлъ.

— Что вы говорите? это невозможно! — вскричалъ Сантъ-Иларіо.

— Ну вотъ, а я видѣлъ все это своими глазами. Секунду спустя Гуашъ вышелъ изъ комнаты. Фаустина вышла вѣроятно вслѣдъ за нимъ. По моему мнѣнію, она отправилась вслѣдъ за нимъ.

Сантъ-Иларіо былъ очень раздраженъ тѣмъ, что услышалъ, хотя и не вѣрилъ вполне, чтобы это была правда.

Они рѣшили идти въ разныя стороны разыскивать пропавшую дѣвушку. Сантъ-Джіачинто, прислушиваясь къ различнымъ толкамъ на улицѣ, узналъ, что взрывъ произошелъ въ Серристорійскихъ казармахъ, что убито нѣсколько зуавовъ и женщина. Относи-

тельно послѣдней мнѣнія расходились: кто говорилъ, что это модистка, пришедшая навѣстить любовника зуава, кто утверждалъ, что убитая—дама высшего общества. Санъ-Джіачинто, выслушавъ эти толки, которые впрочемъ всѣ сходились въ одномъ, что убитую женщину перенесли въ госпиталь, рѣшилъ удостовѣриться въ личности убитой и смѣло позвонилъ у дверей госпиталя. Одна половинка пріотворилась, и привратникъ подозрительно выглянулъ на улицу:

— Что вамъ нужно?—грубо спросилъ онъ.

— Я хочу видѣть дежурнаго врача,—отвѣчалъ Санъ-Джіачинто.

— Онъ занятъ. Кто вы такой?

— Знакомый той, которая убита.

— Почему же вы не говорите своего имени? Можетъ быть вы гарибальдеецъ. Какъ могу я впустить васъ!

— Я скажу свое имя врачу, если вы его позовете. Скажите ему, что я римскій князь и желаю его видѣть.

Пришелъ врачъ, человекъ среднихъ лѣтъ съ рыжей бородой и острыми сѣрыми глазами.

— Съ кѣмъ имѣю честь говорить?

— Синьоръ профессоръ,—отвѣчалъ Санъ-Джіачинто:—я долженъ вамъ сказать, что дама, которая, какъ я предполагаю, находится въ числѣ вашихъ пациентокъ, принадлежитъ къ знатнѣйшей римской фамиліи, честь которой такимъ образомъ замѣшана въ дѣлѣ, а потому безусловная тайна необходима.

— Привратникъ сказалъ мнѣ, что вы римскій князь, — возразилъ профессоръ:—но вы говорите какъ южанинъ.

— Я воспитывался въ Неаполѣ... Но, какъ я вамъ уже говорилъ, соблюсти тайну очень важно, и увѣряю васъ, что вы заслужите благодарность многихъ, если поможете мнѣ.

— Я не могу ничего обѣщать вамъ, если не узнаю вашего имени.

Санъ-Джіачинто не колебался долѣе, такъ какъ очевидно врачъ былъ въ своемъ правѣ. Онъ вынулъ карточку изъ портфеля и подалъ ее молча врачу. Тотъ взялъ ее и прочиталъ: „донъ Джіованни Сарачинеска, маркизъ Санъ Джіачинто“; лицо его ничего не выразило, хотя въ умѣ мелькнула мысль, что такого лица вовсе не существуетъ. Онъ былъ однимъ изъ выдающихся лицъ своей профессіи и зналъ князя Сарачинеску и Сантъ-Иларіо, но никогда не слыхалъ про Санъ-Джіачинто. Онъ зналъ также, что въ городѣ революція, и что многія подозрительныя лица стараются проникнуть въ общественныя зданія.

— Хорошо, — сказалъ онъ спокойно: — подождите тутъ выйти.

Санъ-Джіачинто удивился, услышавъ, что врачъ заперъ за сѣбѣ дверь на ключъ. Прождавъ цѣлыхъ четверть часа, онъ закурилъ сигару, удивляясь, что врачъ такъ долго не возвращается.

„Чего добраго, — сказалъ онъ себѣ, — этотъ почтенный профессоръ принялъ меня за революціонера!“

Онъ не ошибся. Врачъ послалъ за жандармами, убѣжденъ, что захватилъ плѣнника, который, во всякомъ случаѣ, если и революціонеръ, то обманщикъ, такъ какъ далъ ему визитную карточку съ ложнымъ именемъ.

А. Э.



СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

ИЗЪ ГЕЙНЕ.

Липы цвѣли, соловей расцвѣвалъ,
День голубой надъ землею сіялъ,
Ты цѣловала меня, обнимала,
Къ бурной груди горячо прижимала...

Листья опали, и воронъ кричалъ,
Пасмурный день надъ землею догоралъ,
Слово: „прости“, мы промолвили глухо
И, какъ чужіе, раскланялись сухо...

II.

НА МОТИВЪ ВАЛЬСА.

НЕВОЗВРАТНОЕ ВРЕМЯ.

Вновь настанетъ весна,
Зашумитъ, зацвѣтетъ
Темный садъ, и въ саду
Соловей запоетъ.

Вспыхнетъ звѣзднымъ огнемъ
Неба синяя мгла,
Будетъ майская ночь
И тепла, и свѣта.

И дыханіе розъ
 Все сильнѣй и сильнѣй
 Напоятъ, опьянить
 Влажный сумракъ аллеѣ...
 И мнѣ вспомнится ночь,
 И мнѣ вспомнится садъ,
 Милый лепетъ любви,
 Милый смѣхъ твой и взглядъ...
 Опьяненъ буду я
 Ароматомъ волосъ,
 Пыломъ ласки твоей,
 Сладкой горечью слезъ...

А ты?.. Ты забыла всѣ клятвы твои,
 Забыла блаженные муки любви,
 Смѣшонъ тебѣ стыдъ твой, смѣшонъ твой позоръ,
 Смѣшно, что люблю я тебя до сихъ подъ,
 По-дѣтски безумно и нѣжно люблю,
 И радъ золотую головку твою
 Предъ смертью желанной крестомъ осѣнить
 И смѣхъ твой, дитя, даже смѣхъ твой простить...

Владиміръ Мартовъ.



ИНТИМНАЯ ЛИТЕРАТУРА

— Journal des Goncourt. — Paris, 1888.

I.

Каждая книга имѣетъ свою судьбу! изреченіе—безспорно справедливое, если его понимать въ томъ смыслѣ, что успѣхъ книги очень часто зависитъ отъ минуты ея появленія. Иной разъ книга, богатая содержаніемъ, испещренная глубокими мыслями, написанная съ рѣдкимъ талантомъ, проходитъ почти незамѣченною, въ то время, какъ другая — совершенно ничтожна, болѣе чѣмъ тоща идеями, повторяетъ чужія слова, чужія мысли, давно сдѣлавшіяся банальными, носить на себѣ явную печать бездарности автора, — но благодаря лишь тому, что книга появилась въ подходящій моментъ и отвѣчаетъ извѣстному общественному настроенію, она пользуется столь же громаднымъ, сколько и незаслуженнымъ успѣхомъ. Примѣровъ тому можно привести множество, не только въ иностранной, но даже и въ нашей, далеко не столь богатой, отечественной литературѣ. Названія подобныхъ книгъ такъ и напрашиваются на бумагу, но... *nomina sunt odiosa*.

„Журналъ Гонкуровъ“, съ которымъ мы хотимъ познакомить нашихъ читателей, принадлежитъ къ сожалѣнію, къ книгамъ перваго рода, т.-е. появившимся, очевидно, не въ добрый часъ. Прошло уже почти около двухъ лѣтъ, какъ вышли три тома журнала Гонкуровъ, но мало, кто его прочелъ, мало, кто говорилъ бы о немъ. Даже во французской критикѣ, всегда столь отзывчивой почти на всѣ литературныя явленія, не появилось ни одной обстоятельной статьи, посвященной этой, во многихъ отноше-

няхъ, — въ чемъ, мы надѣмся, убѣдится и читатель, — замѣчательной книгѣ. Одинъ лишь критикъ „Revue des deux Mondes“ посвятилъ журналу Гонкуровъ пространную статью, но и онъ умудрился однако ничего не сказать о содержаніи журнала, а лишь ограничился указаніемъ на нѣкоторую рисовку авторовъ журнала и на непригодность вообще такого рода литературы.

„L'homme n'est pas parfait“, — скажемъ мы, употребляя выраженіе самихъ Гонкуровъ, и нужно примириться съ мыслию, что писатель, какой бы величины онъ ни былъ, когда онъ пишетъ свою исповѣдь, мемуары, дневникъ или журналъ, никогда не пишетъ для себя и вовсе не уподобляется пятнадцати, шестнадцати-лѣтней дѣвушкѣ, повѣряющей свои думы, свои дѣвическія видѣнія и тайны, завѣтной тетрадкѣ, тщательно хранимой подъ ключомъ — и то лишь до поры, до времени. Онъ пишетъ для потомства; онъ имѣетъ въ виду читателя и его судъ надъ нимъ. О другихъ, о своихъ современникахъ, онъ будетъ говорить то, что онъ думаетъ о нихъ, не прикрашивая и не искажая ихъ образа, если только авторъ мемуаровъ не ослѣпленъ дружбою или враждою; себя же онъ естественно будетъ стараться выставить въ свѣтъ, наиболѣе благопріятномъ, хотя въ дѣйствительности свѣтъ этотъ сплошь и рядомъ оказывается вовсе не столь благопріятнымъ, какъ это представлялось автору.

Нѣтъ такихъ мемуаровъ, среди даже наиболѣе замѣчательныхъ, начиная съ исповѣди Жанъ-Жака Руссо, автобіографіи Альфьери, мемуаровъ Шатобріана и кончая журналомъ Гонкуровъ, которые не грѣшили бы противъ строгой истины во всемъ, что касается самихъ авторовъ и ихъ отношеній къ людямъ. Вполнѣ понятная, общечеловѣческая слабость авторовъ мемуаровъ нисколько, однако, не умаляетъ интереса и значенія самихъ мемуаровъ.

Эта интимная, если можно такъ выразиться, литература, дышитъ жизнію въ то время, когда современныя мемуарамъ произведенія сохраняютъ лишь историческій интересъ, за исключеніемъ лишь немногихъ твореній, запечатлѣнныхъ гениемъ и смѣло поддерживающихъ натискъ не одного даже вѣка, но цѣлаго ряда столѣтій.

Стоитъ взять любые мемуары богатаго ими XVIII-го вѣка, чтобы убѣдиться въ томъ, что никакая исторія, какъ бы талантливо она ни была написана, никакой романъ или комедія того времени, не передаютъ намъ такъ живо характерныхъ чертъ эпохи, какъ именно мемуары.

Помимо такихъ характерныхъ чертъ эпохи, во всѣхъ мемуарахъ, исповѣдахъ, журналахъ выступаютъ — если только авторы

ихъ много вращались въ обществѣ—любопытныя фигуры современниковъ, и наконецъ, если при этомъ еще самъ авторъ успѣлъ завоевать себѣ громкое имя, то, отгнѣная даже неизбежную рисовку, мемуары его все же содержать много чертъ, раскрывающихъ намъ душу писателя.

Нѣтъ ничего менѣе справедливаго, какъ утверждать, подобно тому, какъ дѣлають нѣкоторые критики, воюющіе противъ „интимной литературы“, что интересно лишь само произведеніе писателя, а до того, что думалъ писатель, что чувствовалъ, какъ понималъ свою задачу, въ какихъ условіяхъ ему приходилось жить и работать, какъ онъ относился къ окружающему его обществу, намъ нѣтъ никакого дѣла, что для потомства все это безразлично и неинтересно.

Еслибы Данте, Шекспиръ, Микель-Анджело, Бетховенъ, эти четыре каріатиды человѣчества, какъ называетъ ихъ Тэнъ, или Мольеръ, Сервантесъ, Корнель, Шиллеръ, Байронъ и Пушкинъ оставили намъ свои мемуары, то такіе мемуары значительно восполнили бы и ихъ великія творенія, и часто уяснили бы намъ вложенную въ произведеніе мысль, всегда почти стѣсненную условіями даннаго времени и тѣми или другими общественными отношеніями.

Мемуары, исповѣди, журналы относятся къ тому же роду интимной литературы, къ которой принадлежитъ и переписка выдающихся по своему таланту людей, всегда проливающая яркій свѣтъ и на самихъ писателей, и на окружавшую ихъ среду, и на современные имъ нравы, и цѣлую эпоху.

Правда, нерѣдко раздаются голоса, и подчасъ авторитетныхъ писателей, которые говорятъ:—не трогайте частной жизни писателя, не прикасайтесь къ его святой-святыхъ! въ чему рыться въ его душѣ, зачѣмъ приподнимать завѣсу съ того, что онъ не предназначалъ для публики, а тѣмъ желалъ лишь дѣлиться съ близкими ему людьми! Развѣ писатель не имѣетъ такого же права на тайну своихъ частныхъ, интимныхъ писемъ, какъ и всѣ остальные смертныя!

Не каждая строка писателя должна быть непременно вынесена на свѣтъ Божій, но все, что яснѣе обрисовываетъ его личность, современные ему нравы, характерныя черты эпохи, все это должно раньше или позже сдѣлаться достояніемъ общества. Для потомства писатель утрачиваетъ характеръ частнаго лица, и въ этомъ, быть можетъ, кроется его невыгода, но въ этомъ же и его слава. Онъ принадлежитъ всѣмъ, онъ близокъ всѣмъ. Для того, чтобы убѣдиться въ огромномъ значеніи такой интимной литературы, не

нужно заходить далеко. Возьмите въ нашей литературѣ все еще продолжающія появляться письма Пушкина, Гоголя, Тургенева, Герцена, Достоевскаго, и кто не признаетъ, что переписка этихъ писателей болѣе сдѣлала для правильной оцѣнки ихъ самихъ и того времени, когда они жили, чѣмъ цѣлые вороха страницъ, исписанныхъ по поводу ихъ жизни и произведеній.

Бѣда не велика, если въ такихъ письмахъ и мемуарахъ писателя современники ихъ являются передъ публикой не во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, ихъ идеи, воззрѣнія, нравы—неприкрашенными и незавитыми какой-либо фабулой повѣсти или романа, а, такъ сказать, на-распашку, несъуженными благодаря установившимся общественнымъ понятіямъ, импонирующимъ своимъ традиционнымъ характеромъ. Открыто возставать противъ такихъ сентиментальныхъ понятій, бравировать ихъ—не дерзаютъ подчасъ и наиболѣе смѣлые, повидимому чуждые всякаго страха, писатели. Свободная форма писемъ, мемуаровъ даетъ болѣе широкій просторъ мысли и непосредственнымъ впечатлѣніямъ ихъ авторовъ, отчего выигрываетъ только правда, а вмѣстѣ съ нею и болѣе правильная оцѣнка людей и эпохи.

Этотую правдою, не всегда даже выгодною для самихъ авторовъ, дышетъ весь журналъ Гонкуровъ, обнимающій собою 18 лѣтъ, съ 1852 г. по 1870 г., т.-е. какъ разъ весь періодъ существованія второй имперіи отъ начала до конца. Искренность авторовъ, необычайная тонкость ихъ артистическаго чутія, умѣнье яркими красками рисовать колеблющіяся психологическія настроенія, мастерство, обнаруживаемое въ рельефномъ изображеніи лицъ и характеровъ, съ которыми имъ приходилось сталкиваться—вотъ чѣмъ обуславливается значительный интересъ журнала Гонкуровъ.

Журналъ ихъ не представляетъ собою, подобно большинству другихъ мемуаровъ, послѣдовательнаго разсказа; это даже не дневникъ ихъ жизни, а гораздо скорѣе дневникъ ихъ мыслей, вызванныхъ событіями, встрѣчами, прочтенною книгою, пронесшимся слухомъ, случайнымъ визитомъ,—мыслей самыхъ разнообразныхъ и постоянно, часто на одной и той же страницѣ, перебѣгающихъ отъ одного предмета къ другому. Рядомъ съ такими мыслями, въ журналѣ Гонкуровъ разбросаны картинки, характерныя черты нравовъ, выведены люди, переданы живо схваченные разговоры,—словомъ, журналъ ихъ представляетъ собою настоящій калейдоскопъ съ удивительно яркимъ и пестрымъ сочетаніемъ цвѣтовъ. Три объемистые тома журнала Гонкуровъ содержатъ въ себѣ тысячи разнородныхъ набросковъ, какъ будто бы вовсе между собою несвязанныхъ.

Для того, чтобы дать сколько-нибудь полное представление о журналѣ Гонкуровъ, мы постараемся сгруппировать эти отдѣльные наброски, и тогда, быть можетъ, ясно обрисуется и нравственный обликъ писателей, и самый характеръ пережитой ими эпохи, и, наконецъ, любопытные мозаичные портреты многихъ изъ ихъ выдающихся современниковъ.

Говоря о журналѣ Гонкуровъ нельзя не говорить вмѣстѣ и о „Письмахъ Жюль де Гонкура“ во многомъ дополняющихъ и поясняющихъ мемуары обоихъ братьевъ, занявшихъ, благодаря выдающемуся оригинальному таланту автора, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ богатой талантами французской литературѣ XIX в. Этимъ выдающимся талантомъ въ извѣстной степени объясняется и самое значеніе ихъ журнала.

Мы знаемъ очень хорошо, что мѣсто, которое мы отводимъ Гонкурамъ въ пантеонѣ французской литературы, они занимаютъ далеко не безспорно; что отъ времени до времени раздаются голоса, какъ раздавались они по поводу выхода въ свѣтъ ихъ журнала, отрицающіе крупное значеніе братьевъ Гонкуровъ, и съ болѣею или мѣнѣею искренностью ставящіе вопросъ: за что, за какія заслуги ихъ возносить на такую высоту?

Братья Гонкуры раздѣляютъ судьбу всѣхъ писателей, оларенныхъ крупнымъ талантомъ, но не желающихъ идти по проторенному литературному пути, а предпочитающихъ проложить хотя бы и неширокую, но зато свою собственную тропинку. На всемъ, за что только они ни брались, на всемъ, что они только писали, лежитъ печать оригинальности, новизны приемовъ, своеобразнаго артистическаго чутья и особой манеры рисовать нравы, характеры, жизнь, — будутъ ли то нравы, характеры и жизнь далекаго прошлаго, или современнаго, окружающаго ихъ міра. Всѣ ихъ произведенія, къ какому бы роду литературы они ни принадлежали, отличаются глубокимъ, точнымъ, детальнымъ изученіемъ занимающаго ихъ предмета, не сопровождающимся, однако, у нихъ свойственнымъ такому изученію спокойствіемъ, нѣкоторою холодною и безстрастностью; напротивъ, каждое ихъ произведеніе насквозь проникнуто ихъ исключительно нервнымъ, и притомъ нервнымъ до болѣзненности, литературнымъ темпераментомъ. Ни про кого съ такою справедливостью нельзя выразиться, что онъ пишетъ перьями, не чернилами, а кровью, какъ про Гонкуровъ. Потому-то, быть можетъ, подъ ихъ перомъ все живетъ полною, почти лихорадочною жизнью, какъ тогда, когда они изображаютъ людей и нравы XVIII вѣка, какъ равно и тогда, когда они рисуютъ характеры и общество XIX вѣка.

Еслибы братья Гонкуры не обладали такою исключительно нервною организаціей, — невозможно было бы объяснить, какъ могли они, сравнительно въ короткій промежутокъ времени, написать такое значительное число произведеній, и притомъ самыхъ разнородныхъ. Въ теченіе 18 лѣтъ литературной дѣятельности обоихъ братьевъ они выпустили въ свѣтъ двадцать-два тома, то посвящая свой трудъ исторіи или роману, то — театру или исторіи искусства.

Ихъ историческая заслуга стоитъ внѣ всякаго спора. Они являются въ полномъ смыслѣ слова историками нравовъ XVIII в. Кому случилось познакомиться съ ихъ историческими произведениями, кто прочелъ „La femme au XVIII siècle“; „La Duchesse de Chateaugou et ses soeurs“; „Madame de Pompadour“, „La Du Barry“, или „Histoire de la société française pendant la révolution“, и затѣмъ исторію того же французскаго общества во время директоріи, — тотъ охотно признаетъ, что едва ли кто-либо до нихъ съ такимъ мастерствомъ, талантомъ и громадною эрудиціей воспроизводилъ нравы французскаго общества прошлаго столѣтія. Они даютъ не сухую исторію, а полную жизни картину XVIII вѣка.

Пріемъ ихъ въ историческихъ произведеніяхъ — это пріемъ художниковъ-реалистовъ, пишущихъ образами. Они не рассказываютъ, они воспроизводятъ жизнь прошлаго столѣтія, живутъ въ немъ, какъ будто бы они были современниками этой удивительной исторической эпохи. Не даромъ такіе компетентные судьи въ исторической сферѣ, какъ Мишлэ, высоко цѣнили ихъ произведенія и видѣли въ нихъ „удивительныхъ писателей, обладающихъ глубокою ученостью, неразрывно связанною у нихъ съ тонкимъ художественнымъ чутьемъ и проникательностью“.

Встрѣченные сочувственно при самомъ ихъ появленіи на литературной аренѣ избранными умами, людьми, составившими себѣ громкое имя не только во Франціи, но во всемъ образованномъ мірѣ, какъ Викторъ Гюго, Мишлэ, Ж.-Зандъ, — Гонкурамъ долго приходилось бороться съ неизвѣстностью. Произведенія ихъ не расходились; романы не раскупались; масса читающей публики, всегда падкая до беллетристики, ихъ игнорировала. Только послѣ пятнадцати лѣтъ рѣдкой по плодовитости и разнородной литературной дѣятельности, послѣ цѣлаго ряда выдающихся произведеній, они пробили, наконецъ, ледяную массу и вынудили признаніе ихъ таланта и крупнаго значенія въ исторіи французскаго романа.

Современная французская критика въ лицѣ Поля Буржэ, Жюль Леметра, словомъ, въ лицѣ ея талантливыхъ представите-

лей, ратификовала мнѣніе, давно уже высказанное Эмилемъ Золя, что Гонкуры являются продолжателями дѣла Бальзака, что они, вводя новыя приемы, обновили французскій романъ.

Исходя изъ того положенія, что „романъ, это—исторія, которая могла бы быть“, Гонкуры сдерживаютъ свое воображеніе, опасаясь, какъ бы фантазія не прозвучала фальшивой нотой въ изображеніи современной дѣйствительности. Романъ ихъ, это—сама современная жизнь, прочувствованная и воспроизведенная, по выраженію Леметра, „самыми тонкими и нервными писателями“. Быть можетъ, романъ ихъ не захватываетъ всей современной жизни, не исчерпываетъ всего ея пестраго содержанія, но будущіе историки нравовъ XIX-го вѣка найдутъ въ романахъ Гонкуровъ, начиная съ „Charles Demoulin“ проходя черезъ „Renée Maupérin“, „Germinie Lacerteux“ и кончая „Madame Gervaisais“, богатый и неприкрашенный матеріалъ для изображенія одной изъ самыхъ характерныхъ и выдающихся сторонъ современнаго общества—широко распространенной нервности, неустойчивости и слабости воли въ осложнившейся жизненной борьбѣ. Сами болѣзненно-нервные писатели встрѣтили въ современномъ обществѣ вполне подходящий для ихъ темперамента матеріалъ, который они собрали и изучили съ добросовѣстностью серьезныхъ ученыхъ. Первый вѣкъ нашелъ въ Гонкурахъ своихъ историковъ.

Какъ въ своихъ историческихъ произведеніяхъ, такъ и въ романахъ, Гонкуры вездѣ являются живописцами. Они не рассказываютъ, они рисуютъ, и отсюда, намъ кажется, происходитъ своеобразность ихъ стиля. Стилъ для нихъ, это—образность, яркость красокъ. Они точно хотятъ, чтобы читатель видѣлъ то, что онъ читаетъ; имъ мало поразить воображеніе, имъ нужно поразить и глазъ. Красота, гармонія, мелодичность, музыкальность, мало прельщаетъ Гонкуровъ, и они вовсе не думаютъ объ изяществѣ своего стиля. Когда имъ хочется „нарисовать“ мысль,—если только позволительно употребить это выраженіе въ духѣ Гонкуровъ,—они не заботятся о томъ, что мысль ихъ будетъ отзываться парадоксомъ, софизмомъ; имъ прежде всего нужна выпуклость, рельефность, образность. Ихъ нервный по преимуществу темпераментъ повліялъ на ихъ стилъ. Слова, фразы, это—инструментъ, на которомъ они, по выраженію Бурже, играютъ какъ цыгане на своей скрипкѣ—болѣзненно и страстно.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ литература была ихъ исключительно привязанностью; это была ихъ единственная любовница, которой они остались вѣрны,—одинъ изъ братьевъ до самой его смерти, другой, оставшійся въ живыхъ, до глубокой старости.

Въ перепискѣ Жюль Гонкура, опубликованной много лѣтъ спустя послѣ его мучительной кончины, послѣдовавшей въ 1870 году, мы находимъ множество любопытныхъ автобіографическихъ данныхъ, касающихся перваго пробужденія той литературной страсти, которая никогда ихъ не покидала.

Начиная съ 18 лѣтъ, даже раньше, они только и бредятъ литературой. Матеріальное и общественное положеніе ихъ семьи было таково, что они не должны были думать о поспѣшномъ выборѣ той или другой карьеры; они имѣли полную возможность слѣдовать влеченію ума и сердца, толкавшихъ ихъ въ міръ искусства, живописи, поэзіи и всего того, что зовется *les belles lettres*. Въ этой рѣшимости отдаться всецѣло служенію искусству ихъ укрѣпляло еще болѣе то чувство безразличности, которое они таили въ себѣ по отношенію къ политическому состоянію, переживавшемуся въ то время Франціей. Они понимали одну лишь борьбу, и притомъ самую страстную—за искусство, за литературное знамя; во всякой другой—они были болѣе чѣмъ равнодушны. Борьба политическая ихъ не трогала, и если они не относились къ ней съ явной враждебностью, то во всякомъ случаѣ съ полнѣйшимъ индифферентизмомъ. Паденіе іюльской монархіи застало ихъ юношами, только-что вступавшими въ жизнь, и самый характеръ того переходнаго времени, съ его кровавыми эпизодами, съ которыми они встрѣтились на самомъ порогѣ жизни, могъ только еще болѣе содѣйствовать коренившейся въ ихъ артистическихъ натурахъ антипатіи къ беспокойной, шумной, лихорадочной сторонѣ политической борьбы. Въ 18 лѣтъ они уже мрачно смотрятъ на будущее своей родины. „Что касается политикѣ, — читаемъ мы въ одномъ изъ писемъ, помѣченныхъ 1848 годомъ, — то такъ какъ этотъ дьявольскій вопросъ хватается насъ за горло, то я скажу тебѣ только два слова: болѣе чѣмъ когда-нибудь я все вижу въ черномъ цвѣтѣ...“; а въ другомъ письмѣ къ Пасси говорится тономъ зрѣлаго человѣка: „...согласись, что я уже давно говорю тебѣ о невѣроятныхъ успѣхахъ разрушительной буржуазіи! Ледрю-Ролленъ, избранный пять разъ, 220 социалистовъ въ народномъ собраніи, 12 милліоновъ гражданъ, зараженныхъ социальной холерой... борьба, открыто завязавшаяся между бѣлыми и красными внутри страны и между республикой и „казаками“ извнѣ — вотъ каково положеніе. Очевидно, наше дѣло пропащее. Франція сдѣлается страной социалистической, вся Европа — республиканской. Это непріятно, но я убѣжденъ въ вѣрности этого взгляда“... Черезъ мѣсяцъ послѣ этого пророчества наступаютъ іюньскіе дни, въ которыхъ Гонкуры видятъ только первую схватку социальной

войны, войны бѣднаго противъ богатаго, того, который ничего не имѣетъ, противъ того, который чѣмъ-либо обладаетъ, „первую страницу социализма и коммунизма“. Традиціи, жившія въ ихъ семьѣ, притягивали ихъ больше къ тому времени, которое, по ихъ образному выраженію, „гильотинировало 89-ый годъ“. То время, съ его поверхностнымъ блестящимъ слоємъ, съ его изяществомъ салоннаго языка и нравовъ, болѣе плѣняло ихъ артистическія натуры. Но отсюда, однако, не слѣдуетъ дѣлать вывода, что они были безусловными сторонниками стараго порядка и горячими противниками смѣнившей старыи строй общественной организаціи. Ихъ политическое *profession de foi* выразилось въ одномъ восклицаніи, которое мы находимъ въ перепискѣ: „à bas la politique! Vive la littérature!“

Они желали только одного: чтобы политика не служила помѣхой для литературы, чтобы она не заслоняла той богини, которой они поклонялись съ такою страстною ревностью. Гонкуры сдѣлались ея жрецами и отстраняли отъ себя все, что могло отвлечь ихъ отъ благоговѣйнаго служенія передъ ея алтаремъ.

Въ этомъ служеніи они были поразительно тверды. Они оставались глухи къ голосу друзей дѣтства, близкихъ родныхъ, которые убѣждали ихъ избрать какую-нибудь карьеру, говоря то, что и до сихъ поръ говорится очень часто, что литература не дѣло, а милое бездѣлье, что она можетъ служить какъ пріятный *passetemps*, но что человѣкъ серьезный долженъ же избрать себѣ какое-нибудь занятіе. „Мое рѣшеніе принято, и ничто не заставитъ меня измѣнить его,—писалъ на 19-мъ году жизни Жюль Гонкуръ:—ни наставленія, ни совѣты... Употребляя фальшивое, но принятое выраженіе, я говорю, что я ничего не буду дѣлать... Я нахожу, что общественныя должности, которыхъ такъ домогаются, и которыя такъ переполнены, не стоятъ ни одного изъ раболѣпныхъ поклоновъ, обыкновенно дѣлаемыхъ для ихъ достиженія. Таково мое мнѣніе, и такъ какъ дѣло идетъ обо мнѣ, то я имѣю право его крѣпко держаться“.

Въ то время, когда политическое броженіе охватило всю страну и поманило всѣ умы, увлекая въ особенности молодежь, два брата Гонкуры убѣжали въ какую-либо пустынную деревушку, забирались въ какой-нибудь уголокъ на берегу океана, и тамъ, одинокіе, не зная развлеченій, воспитывали свой литературный вкусъ на Шекспирѣ, Раблѣ, увлекались Байрономъ, наслаждаясь его разочарованностью и скептицизмомъ, отлившимися въ „Донъ-Жуанъ“, который, по ихъ словамъ, такъ вѣрно отражаетъ нашъ вѣкъ, „покоящійся на развалинахъ прошлаго и безсильный пока

создать для себя будущее". Рядомъ съ Шекспиромъ, Раблэ и Байрономъ, они поклонялись Виктору Гюго, плѣненные картинностью его языка, блескомъ его звуковыхъ сочетаній. Въ уединеніи, тишинѣ, вдали отъ шума, этого суроваго врага наиболѣе нервнаго изъ двухъ братьевъ, Жюля Гонкура, они проводили цѣлые дни въ работѣ, дѣлая первыя пробы пера, переходя отъ прозы къ стихамъ, и отъ поэзіи къ живописи. Цѣлые дни они проводили надъ выаніемъ своего стиля, они вырабатывали смѣлость фразы, отыскивали рисующія слова, набирались красокъ, старались обогатить, какъ они выражаются, свою палитру. Работая надъ стилемъ, они однако не видѣли въ немъ своей цѣли, а только средство, орудіе, чтобы ярче выразить свои идеи и густыми, блестящими красками рисовать вполнѣдствіи нравы и жизнь. Поклонники стиля, красокъ, они въ такой же мѣрѣ были поклонниками идеи, и никогда не признавали, чтобы какое-либо литературное, поэтическое произведеніе было хорошо, если оно не было пронизанно какой-нибудь идеей. Нѣтъ идеи, нѣтъ и поэзіи, — говорили они, — а есть только риѳмоплетство, быть можетъ, красивый, но безцѣльный и бессмысленный подборъ словъ. Но къ одному роду идей они относились съ равнодушнымъ пренебреженіемъ — къ идеямъ политическимъ, вовсе какъ бы не трогавшимъ ихъ.

Эта антипатія къ политическимъ идеямъ является характерною чертою Гонкуровъ, общемо у нихъ съ нѣкоторыми изъ ихъ выдающихся современниковъ, какъ напримѣръ Флоберомъ, и переданною ими какъ бы по наслѣдству такому талантливому ихъ преемнику, какъ Гюи де-Мопассанъ.

Этою чертою отличаются всѣ ихъ романы, которымъ они сами придавали значеніе историческихъ документовъ, забывая очевидно, что политическія идеи, политическіе нравы являются очень часто ключомъ, безъ котораго трудно объяснить многія явленія и частной, и общественной жизни народа. Та же черта проходитъ и черезъ весь ихъ журналъ, въ которомъ тщетно мы стали бы искать непосредственныхъ слѣдовъ политической жизни эпохи упадка французскаго общества, совпавшей со временемъ второй имперіи, несмотря на то, что первая страница журнала помѣчена фатальнымъ числомъ 2-го декабря 1851 года, а послѣдняя — 22-го іюня 1870 года.

II.

Въ небольшомъ предисловіи, предпосланномъ журналу, Эдмонъ Гонкуръ, пережившій своего младшаго брата Жюля, говорить: „журналъ этотъ представляетъ собою нашу исповѣдь каждаго вечера, исповѣдь двухъ жизней, не раздѣльныхъ въ радости, горѣ, трудѣ, двухъ мыслей близнецовъ, двухъ умовъ, получавшихъ отъ соприкосновенія съ людьми и съ предметами впечатлѣнія настолько сходныя, однородныя, тождественныя, что исповѣдь эта можетъ быть разсматриваема какъ выраженіе одного я“.

Сотрудничество двухъ авторовъ въ одномъ и томъ же литературномъ произведеніи, въ романѣ, и въ особенности комедіи, драмѣ, дѣло довольно обыкновенное, особенно во французской литературѣ, гдѣ мы видѣли Ж.-Санда и Жюля Сандо, Дюмасына и Эмиля-де-Жирандена, Эркмана и Шатріана, не говоримъ о второстепенныхъ писателяхъ, подписывавшихся вмѣстѣ подъ комедіей или романомъ,—но такое сотрудничество не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ феноменальнымъ явленіемъ, которое представляютъ собою братья Гонкуры. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ два брата слились въ одного человѣка, въ одного писателя, въ одного художника, и самый тщательный анализъ всѣхъ ихъ произведеній не даетъ возможности подмѣтить какой-либо самой мелкой черты двойственности, по которой можно было бы угадать работу двухъ людей. Исторія литературы не знаетъ другого примѣра такого сродства душъ, такого полного сліянія ощущеній, впечатлѣній, какъ у братьевъ Гонкуровъ. Связанные съ дѣтскаго возраста совершенно исключительною дружбою, возвышавшеюся надъ всѣмъ остальнымъ любовью другъ къ другу, они никогда не разлучались нравственно, какъ никогда не разлучались физически. Одинъ только разъ, какъ они сами рассказываютъ въ своемъ журналѣ, они рѣшились разстаться всего на двадцать-четыре часа, когда нужно было съѣздить въ Руанъ, чтобы списать въ архивъ какой-то документъ, необходимый для одного изъ ихъ историческихъ трудовъ. Но если временная разлука была возможна, то нравственная, повидимому, была совершенно немыслима. Благодаря какой-то необъяснимой игрѣ природы, одно и то же явленіе вызывало у нихъ неизбѣжно одну и ту же мысль, находившую тождественное выраженіе. Чтѣ думалъ одинъ, тѣ же думалъ и другой; чтѣ испытывалъ старшій братъ, тѣ же самое испытывалъ и младшій. Умъ, сердце, воображеніе двухъ братьевъ были въ дѣйствительности однимъ умомъ, однимъ сердцемъ, однимъ воображеніемъ.

При существованіи подобнаго сродства душъ, естественно было бы предположить, что темпераментъ обоихъ братьевъ совершенно одинаковый. А между тѣмъ изъ переписки, изъ журнала мы волей-неволей убѣждаемся, что темпераменты обоихъ братьевъ Гонкуровъ были совершенно различные. „...Я,—писалъ Эдмонъ де Гонкуръ къ Зола, послѣ смерти своего брата,—меланхоликъ, мечтатель, въ то время какъ онъ весь былъ сотканъ изъ веселости, живости ума, логики, ироніи“. Жюль Гонкуръ,—рукою котораго написанъ весь журналъ, такъ точно, какъ вся переписка написана его же рукою, хотя и журналъ, и письма всегда отражали мысль и чувство, общія обоимъ братьямъ,—нѣсколько разъ возвращается къ этому удивительному психологическому явленію и такъ опредѣляетъ себя и брата: „онъ, это—натура нѣжно-страстная и меланхолическая, въ то время какъ я—меланхолическій матеріалистъ; въ концѣ концовъ,—странное дѣло, между нами самое абсолютное различіе темпераментовъ, вкусовъ, характеровъ и абсолютно тождественныя идеи; тѣ же симпатіи и антипатіи къ людямъ, та же умственная оптика“.

Это духовное сродство выражалось иногда въ необъяснимыхъ явленіяхъ, отмѣченныхъ въ ихъ журналѣ. „Вчера я сидѣлъ на одномъ концѣ большого стола, въ то время какъ Эдмонъ на другомъ его концѣ разговаривалъ съ Терезой. Я не могъ слышать ихъ разговора,—говорить отъ своего имени Жюль Гонкуръ,—но когда Эдмонъ улыбался, я также невольно улыбался и съ тѣмъ же наклономъ головы. Никогда еще два тѣла,—прибавляетъ онъ,—не обладали столь одинаковою душою“.

Нельзя не вѣрить братьямъ Гонкурамъ, когда они говорятъ о различіи своихъ темпераментовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и не замѣтить, что различіе совершенно ступшено въ ихъ произведеніяхъ, въ ихъ журналѣ, гдѣ оно могло бы скорѣй обнаружиться, и опредѣлить, что принадлежитъ одному брату, что—другому, представляется рѣшительно невозможнымъ. Можно было бы, безъ сомнѣнія, попытаться провести параллель между произведеніями, написанными сообща обоими братьями, и тѣми, которыя появились въ свѣтъ послѣ смерти Жюля Гонкура и принадлежать перу одного Эдмона Гонкура; но и такая параллель не разрѣшила бы задачи. Безспорно, кажется, что ни одинъ романъ Эдмона Гонкура, ни „*Les frères Zemgano*“, ни „*La fille Elisa*“, ни „*La Faustin*“, ни „*La Chérie*“ не достигаютъ той силы, какою отличаются лучшіе романы, написанные обоими братьями, какъ „*Madame Gervaisais*“, „*Germinie Lacerteux*“, или „*Renée Maupérin*“, но отсюда никакъ нельзя еще сдѣлать вывода, что

талантъ младшаго брата былъ крупнѣе таланта старшаго, и что у послѣдняго нѣтъ тѣхъ качествъ, какими отличался сгорѣвшій отъ чрезмѣрно напряженнаго нервнаго труда Жюль Гонкуръ. Еслибы смерть похитила прежде старшаго брата, то весьма можетъ быть, что въ произведеніяхъ одного Жюля Гонкура мы встрѣтились бы съ тѣми же недостатками, какіе находимъ въ романахъ одного Эдмона Гонкура. Въ нихъ нѣтъ той пытливости въ анализѣ, той реальности и рельефности образовъ, нѣтъ того нервного стиля, которымъ написаны произведенія, созданныя обоими братьями, но все это можетъ одинаково зависѣть, какъ отъ того, что Жюль Гонкуръ унесъ съ собою въ могилу ему лично принадлежавшія свойства таланта, такъ равно и отъ того, что послѣ его смерти, такъ тяжело отозвавшейся на пережившемъ его Эдмонѣ Гонкурѣ, талантъ послѣдняго поблекъ, какъ бы осиротѣлъ, выбитый изъ своей колеи.

Бросимъ же всякую попытку разграничивать талантъ одного брата отъ таланта другого и будемъ смотрѣть на ихъ журналъ, чего и они сами желали, какъ на ихъ общую душу, какъ на исповѣдь двухъ людей съ единою душою. Такая точка зрѣнія тѣмъ болѣе справедлива, что то различіе темпераментовъ, о которомъ они говорятъ, сглаживается, благодаря одной господствующей у того и у другого чертѣ. Если одинъ обладалъ натурою нѣжно меланхолической, а другой былъ меланхолическимъ матеріалистомъ, то все же въ основѣ обоихъ характеровъ лежало мрачное настроеніе, пессимистическое міросозерцаніе, не модное и не дѣланное, какъ у многихъ, а глубоко искреннее.

Это мрачное настроеніе нигдѣ не сказывается съ такою силою, какъ въ тѣхъ частяхъ ихъ журнала, въ тѣхъ безчисленныхъ страницахъ, въ которыхъ съ такою поразительною яркостью возстаетъ передъ нами нравственный образъ этихъ добровольныхъ мучениковъ литературы.

Къ этимъ страницамъ журнала мы теперь и обратимся.

Тяжелое, меланхолическое настроеніе никогда не покидаетъ Гонкуровъ; оно проходитъ черезъ всѣ три тома ихъ журнала, начиная съ первой и оканчивая послѣдней его страницей. Ведя свой журналъ почти изо дня въ день въ теченіе восемнадцати лѣтъ, сколько разъ вырывается у нихъ—не жалоба, нѣтъ,—а какое-то негодованіе по поводу всегда и всюду преслѣдующей ихъ тоски жизни. „Всѣ эти дни какая-то неопредѣленная меланхолія, утрата бодрости духа, лѣнь, атонія тѣла и ума“. Эта „неопредѣленная меланхолія“ или „неопредѣленная, безпредметная скука“, какъ выражаются они въ другомъ мѣстѣ журнала, пре-

слѣдовала ихъ съ самаго дѣтства. „Когда припоминаешь,—говорятъ они,—все свое существованіе, то убѣждаешься, что всегда было такъ, что ничто не нарушало будничныхъ событій, и что Провидѣніе играло для насъ роль мачихи“. Но они не лелѣютъ своего мрачнаго настроенія, они не носятся съ нимъ, они побуждаютъ его напряженной, безостановочной работой, и только лихорадочный, всепоглощающій трудъ заставляетъ ихъ забывать „плоскость жизни“, на которую они такъ горько жалуются. Ихъ меланхолическое настроеніе, ихъ непримиримость съ монотонною плоскостью всего окружающаго идетъ у нихъ рука объ руку съ гордымъ сознаніемъ своего достоинства, своего вѣчно протестующаго противъ всякой неправды и всякой лжи ума. Счастливы, довольны могутъ быть только плывущіе по теченію, подчиняющіеся господствующему настроенію, принятымъ идеямъ, установившимся понятіямъ, но не люди, мыслящіе самостоятельно и не угодничающіе передъ общимъ властелиномъ—услѣхомъ. „Въ насъ живетъ,—говорятъ они,—слѣпой инстинктъ, толкающій насъ всегда возставать противъ какова бы то ни было деспотизма людей, вещей, мнѣній. Это фатальный даръ, полученный при рожденіи, и отъ него нельзя освободиться. Существуютъ умы, рождающіеся прислужниками, созданные для служенія человѣку, который властвуетъ, идея, которая восторжествовала, словомъ, услѣху—этому страшному властителю совѣсти; но такіе умы самые многочисленные, самые счастливые. Другіе же родятся—и мы принадлежимъ къ ихъ числу—съ чувствомъ, бунтующимъ противъ всего, что торжествуетъ, съ сердцемъ, отзывающимся сочувственно и братски ко всему, что побуждено и раздавлено, благодаря побѣдѣ идей и чувствъ огромнаго большинства, родившіеся для той великодушной, но пагубной для нихъ борьбы, которая заставляетъ ихъ съ 6 или 10 лѣтъ вступать въ неравный бой съ шепольнымъ тираномъ, и которая навсегда бросаетъ ихъ въ оппозицію въ политикѣ, литературѣ, искусствѣ“. Строки эти весьма любопытны для характеристики Гонкуровъ. Въ нихъ можно было бы заподозрить нѣкоторую рисовку, желаніе щегольнуть исключительностью своихъ натуръ, или, вѣрнѣе, своей натуры, но чтеніе ихъ журнала убѣждаетъ какъ нельзя больше въ безусловной искренности писателей. Они ненавидятъ все рутинное, шаблонное, проторенную дорогу; ко всему, что торжествуетъ, властвуетъ,—будь то идея или человѣкъ,—они относятся не только скептически, но почти что враждебно. По натурѣ своей они не могутъ замѣшаться въ толпу; они не любятъ ее, и если любить человѣчество, то,—употребляя выраженіе нашего поэта,—

какою-то „странною любовью“. Разладъ съ установившимся строемъ общественной жизни, съ господствующими понятіями, идеями, вѣрованіями, обходился Гонкурамъ не дешево. Они сознавали свою отчужденность, была ли она воображаемая или дѣйствительная для чувства ихъ—это было безразлично, и отсюда происходила преслѣдовавшая ихъ скука, неопредѣленная тоска, вызывавшая въ нихъ постоянное и мучительное раздраженіе. Черная тоска, въ которую они погружались все глубже и глубже, не безъ нѣкотораго, какъ выражаются они, „горькаго и негодующаго наслажденія“, заставляла ихъ останавливаться на мысли бросить Францію, переселиться за границу, чтобы „возобновить *свободно говорящую* Голландію XVII-го и XVIII-го вѣковъ, издавать тамъ журналъ противъ всего существующаго, сломать печать на устахъ своихъ и выразить свое отвращеніе въ одномъ крикѣ бѣшенства“. Пусть эти слова, написанныя въ моментъ апогея славы второй имперіи, были лишь минутною вспышкою, но они обрисовываютъ настроеніе Гонкуровъ, особенно если принять во вниманіе, что собственно къ политикѣ они относились весьма безразлично. Еслибы они осуществили свою минутную, порывистую мысль или, вѣрнѣе, чувство, и уѣхали въ Голландію, то нѣтъ сомнѣнія, что, не доѣхавъ до мѣста, они вернулись бы въ Парижъ, который они такъ же сильно ненавидѣли, какъ и страстно любили. Гонкуры вовсе не созданы были для активной борьбы. Ихъ болѣзненно нервныя натуры были обречены на страдательную роль. Замкнувшись въ своемъ артистическомъ кабинетѣ, они поднимали знамя бунта, но бунта исключительно литературнаго, такъ какъ до всего остальнаго имъ было мало дѣла. Но и такой бунтъ не обходился для нихъ безъ тяжелыхъ страданій, безъ надламывающихъ организмъ мукъ, живую картину которыхъ и воспроизводятъ Гонкуры въ своемъ журналѣ.

Раскрывая передъ читателемъ свой внутренній міръ, Гонкуры не стыдятся показывать ему свои человѣческія слабости, свое неудовлетворенное авторское самолюбіе, свои раны, полученныя въ литературномъ бою, и искренность авторовъ сообщаетъ особый, и притомъ назидательный, интересъ ихъ психологическимъ наблюденіямъ надъ самими собою. „Въ сущности,—говорятъ они,—наша рана, это—литературное самолюбіе, ненасытное и уязвленное, и горечь литературнаго тщеславія, когда одинъ журналъ оскорбляетъ васъ тѣмъ, что не упоминаетъ о васъ, а тотъ, который говоритъ о другихъ, приводитъ васъ въ отчаяніе“...

Нужно, разумеется, большое мужество, чтобы сознаваться въ томъ, что испытываютъ многіе, принадлежащіе къ литературной

семьѣ, но что они тщательно скрываютъ. Въ литературы жизнь Гонкурамъ представлялась безцвѣтною, скучною, монотонною, и они испытывали ощущение людей, удерживаемыхъ, какъ они выражаются, отъ самоубійства только желаніемъ создать еще нѣсколько произведеній. Но откуда же это болѣзненное недовольство жизнью, при полномъ сознаніи своего таланта, не бесплодно зарытаго въ землю? И сами Гонкуры ставятъ себѣ этотъ вопросъ. „На что же намъ жаловаться?.. почему отчаяваться? А? почему? Да потому, что мы обладаемъ слишкомъ тонкими чувствами, чтобы быть счастливыми, и удивительною способностью отравлять счастье, какъ только что-то похожее на него закрадывается въ насъ“. Все ихъ оскорбляло, все раздражало нервы: и то, что они видѣли, и то, что читали, что слышали. И они убѣгали отъ этого раздраженія, чуждаясь дневного свѣта, людей, и цѣлые мѣсяцы проводили за литературной работой, упиваясь ею точно гашишемъ. „Три мѣсяца прошло и мы за это время никого не видѣли, оставаясь почти безъ писемъ, не встрѣчая почти никого изъ знакомыхъ въ наши прогулки въ 11 часовъ вечера. Частію невольно, частію умышленно, мы создаемъ вокругъ себя одиночество, въ одно и то же время довольные, что никто изъ окружающихъ насъ не коробить, и грустимъ, что мы остаемся только другъ съ другомъ“.

Недовольство жизнью, *taedium vitae*, которое испытывали братья Гонкуры, разумѣется, въ значительной степени обуславливалось ихъ болѣзненно-нервной организаціей, ихъ меланхолическимъ темпераментомъ, но оно еще болѣе усиливалось ихъ литературною задачею, въ смыслѣ всеобщаго и громкаго признанія ихъ таланта. Положивъ всю жизнь свою на литературу, отдавъ ей всѣ свои силы, свое здоровье и талантъ, они мучились неуспѣхомъ своихъ произведеній, такъ долго остававшихся въ тѣни. Слава не шла имъ на-встрѣчу, та слава, которая такъ часто ласкаетъ самолюбіе гораздо менѣе талантливыхъ писателей. Мелкіе люди! — быть можетъ, подумаетъ читатель: — нѣтъ, не мелкіе, но — просто люди. Большинство писателей, конечно, скажутъ, что они находятъ себѣ полное удовлетвореніе въ томъ сознаніи, что они проводятъ въ общество свои идеи; что самая работа, творчество, составляютъ для нихъ источникъ наслажденія; что одна мысль о томъ, что они сѣютъ добрыя сѣмена, вполне ихъ вознаграждаетъ, но многіе ли, говоря такъ, будутъ вполне искренними? Еслибы возможно было раскрыть ихъ душу, то — кто знаетъ? не прочли ли бы мы въ этой душѣ такихъ же выстраданныхъ страницъ, какія въ изобиліи, по этому поводу, разбросаны въ журналѣ Гонкуровъ. Они сожалѣютъ, что не рѣшились описать, день за днемъ, ту тяже-

лую и страшную борьбу съ неизвѣстностью, когда не установились отношенія, нѣтъ еще горячихъ друзей, когда всѣ двери заперты передъ писателемъ, когда вокругъ него устраивается какой-то заговоръ молчанія, — „ту нѣмую, внутреннюю агонію, свидѣтелемъ которой является лишь окровавленное самолюбіе и ноющее сердце... то былъ бы, — читаемъ мы въ журналѣ, — превосходный этюдъ, который никто никогда не напишетъ, потому что достаточно тѣни успѣха, или найденнаго издателя, нѣсколько сотъ франковъ вознагражденія, нѣсколько статей по пяти, шести су за строчку, достаточно, чтобы ваше имя сдѣлалось извѣстнымъ какой-нибудь тысячѣ человѣкъ, вамъ незнакомыхъ, нѣкоторая реклама, чтобы излечить васъ отъ прошлаго и покрыть все забвеніемъ... Проглоченныя слезы, перенесенныя обиды, рисуются вдали, какъ сама ваша молодость, какъ старыя раны, о которыхъ вы вспоминаете, когда онѣ снова открываются“.

Каждый новый томъ, который Гонкуры выпускали въ свѣтъ, къ ихъ несчастью, имѣлъ свойство раскрывать эти старыя, мучительныя раны. Страстно любя литературу, они ненавидѣли вмѣстѣ съ тѣмъ литературную карьеру, путь которой усѣянъ незаслуженными оскорбленіями, глумленіемъ невѣждъ, завистью, столь неразборчивой въ своихъ нападеніяхъ. Общество — выражались они — пожалѣло бы писателей, еслибы оно догадывалось только, какою дорогою цѣною обидъ, клеветы, физическаго и умственнаго утомленія достигается самая маленькая извѣстность. Ихъ нервная организація, впечатлительная, воспріимчивая, дѣлала то, что каждый уколъ ихъ самолюбія причинялъ имъ невыносимую боль и вызывалъ мрачное настроеніе. „Рѣшительно, — заносятъ они въ свой дневникъ, — люди и обстоятельства, издатели и публика, все точно сговорилось, чтобы сдѣлать для насъ литературную карьеру болѣе усѣянною неудачами, пораженіями, горечью, болѣе тяжелою, чѣмъ для всякаго другого, и послѣ десяти лѣтъ упорнаго труда, борьбы, литературныхъ сраженій, множества нападеній и нѣсколькихъ лишь похвалъ печати, мы вынуждены будемъ, — говорятъ они по поводу одного изъ своихъ романовъ, — издавать наше произведеніе на собственный счетъ“... Они возмущались тѣмъ, что въ то время, когда ихъ книга не находила себѣ издателя, за одинъ куплетъ балаганной пьесы „Pied de moulin“ платили 2.800 франковъ, но они забывали, очевидно, что они жили въ эпоху общественной деморализаціи, и что такой государственный порядокъ, какимъ наградила Францію вторая имперія, всегда сопровождается крайне низкимъ нравственнымъ и умственнымъ уровнемъ общества.

И несмотря на всю горечь литературной карьеры, вызывающей у Гонкуровъ подчасъ крики ненависти и проявленія жизни, отданной на служеніе литературѣ, которая вѣчно держитъ человѣка между надеждою и отчаяніемъ, бросая его снизу вверхъ, какъ „волны переворачиваютъ утопленника“,—они работали, не зная отдыха, до полнаго физическаго истощенія, и имѣли полное право сказать про себя, что они были всю свою жизнь мучениками книги, всегда поглощенные работой и мыслью. Гонкуры отказывали себѣ въ обществѣ, въ удовольствіяхъ, избѣгали знакомыхъ, дарили прислугѣ свои фраки, чтобы лишить себя возможности выѣзжать въ свѣтъ. Цѣлые дни они безъ отдыха проводили въ трудѣ, и только когда наступала ночь, они отправлялись бродить по отдаленнымъ бульварамъ, съ цѣлю вдохнуть въ себя свѣжій воздухъ, опасаясь нарушить необходимую для творчества сосредоточенность. Гонкуры вовсе не того мнѣнія, что процессъ творчества представляетъ собою процессъ высокаго наслажденія, и то, что они говорятъ о зарожденіи романа, въ высшей степени любопытно. „Мука, страданіе, пытка литературной жизни: это—роды. Задумать, творить: въ этихъ двухъ словахъ для писателя заключается цѣлый міръ мучительныхъ усилій и томленій. Изъ ничего, изъ какого-то эмбриона, являющагося въ видѣ первой идеи книги, заставить выйти наружу *ruptum saliens*, извлечь изъ своей головы одну за одной всѣ нити фабулы, черты характеровъ, интригу, развязку, словомъ—всю жизнь маленькаго мірка, въ который вы сами вдохнули жизнь, который вы выносили въ вашихъ внутренностяхъ и превратили сами въ романъ! Какая работа! Это все равно, что листъ бѣлой бумаги, развернутый въ вашей головѣ, и на которомъ мысль, еще не оформившаяся, нацарапала какія-то неопредѣленные и неразборчивыя линіи. Какое мрачное утомленіе, какое безконечное отчаяніе, какой стыдъ за самого себя, когда сознаешь себя безсильнымъ въ этомъ желаніи творить! Вы ворочаете и переворачиваете вашъ мозгъ, а онъ отдаетъ пустотой. Хватаетесь за голову, касаетесь рукою до чего-то мертваго, а это мертвое и есть ваше воображеніе... И говоришь себѣ, что ничего не можешь сдѣлать и ничего больше не сдѣлаешь. Ужасаетесь своей собственной пустотѣ. А между тѣмъ идея—тутъ, неуловимая и притягивающая, какъ прекрасная и вѣстѣ злая фея,носящаяся въ облакѣ. Точно ударами хлыста вы снова заставляете вашу мысль напасть на утеранный слѣдъ... отыскивать ощупью, въ темномъ, какъ ночь, вашемъ воображеніи, душу книги, и, ничего не найдя, проводить часы въ этихъ поискахъ, опускаться въ самую глубь самого себя и ничего не

отысзать... Это ужасные дни для чловека мысли и воображенія "...

Трудъ оконченъ, книга готова, но муки, причиняемыя любимымъ дѣтищемъ, далеко не кончились. Начинается періодъ мучительныхъ сомнѣній: не родилось ли дитя уродливымъ, долговѣчно ли оно, или суждено ему быть унесеннымъ во мракъ, откуда оно вышло, при первомъ его соприкосновеніи съ свѣжимъ воздухомъ? Сомнѣніе въ самомъ произведеніи смѣняется сомнѣніемъ въ его успѣхѣ.

Такъ передаютъ свои ощущенія истинные художники, для которыхъ каждое ихъ произведеніе было частью ихъ жизни и, пожалуй, даже не въ переносномъ, а въ прямомъ смыслѣ этого слова. Работая безъ отдыха, напрягая свои страдающіе нервы, они теряли сонъ, аппетитъ, но не покидали своего литературнаго поста. Не обращая вниманія на свои физическія страданія, на потрясенную нервную систему, они просиживали ночные часы, отыскивая часто то „артистическое“ слово, выраженіе, которое рельефно можетъ изобразить ихъ мысль. Они дошли до того, что чувствовали, какъ сами сознаются, всѣ свои нервы обнаженными, такъ что малѣйшее соприкосновеніе къ ихъ нравственному „я“ вызывало неизъяснимую боль.

Эти обнаженные нервы, точно наслаждаясь болѣю, Гонкуры подвергали постояннымъ страданіямъ. Не было почти дня, который не былъ бы отмѣченъ въ ихъ журналѣ какимъ-нибудь внутреннимъ терзаніемъ. Слишкомъ скромный успѣхъ ихъ романовъ, равнявшійся неуспѣху, вызывалъ въ нихъ болѣзненное раздраженіе, хотя они сами сознавали, что романы ихъ не по времени и не по вкусамъ общества второй имперіи, любящаго все фальшивое — фальшивую чувствительность, фальшивую правду, фальшивое состраданіе. Имъ, конечно, не много стоило бы труда, чтобы поддѣлаться подъ вкусъ современнаго имъ общества; но Гонкуры были слишкомъ цѣльныя натуры, чтобы входить въ сдѣлки съ своею литературною совѣстью, вступать въ какіе-либо компромиссы ради достиженія громкаго успѣха. Напротивъ, тѣ моменты отчаянія, которые они переживали, тѣ сомнѣнія, которые они испытывали, вмѣсто того, чтобы — „заставить насъ унизиться до уступокъ, дѣлали еще болѣе неподатливою, болѣе щепетильною нашу литературную совѣсть. И минутами мы задумывались надъ вопросомъ, не должны ли мы писать и думать исключительно для себя, предоставляя другимъ шумъ, издателей, публику“. Но они не были бы писателями, еслибы могли осуществить такую мысль. Шумъ, публика, это — жизнь писателя, это

—воздухъ, безъ котораго онъ не можетъ дышать. Того электрическаго тока, который долженъ существовать между писателемъ и публикой, не существовало между Гонкурами и французскимъ обществомъ времени второй имперіи. Да и какъ онъ могъ существовать, когда братья Гонкуры, какъ они сами говорятъ, ощущали бездну между собою и своими современниками? Ихъ не занимало ничто, что занимало людей ихъ эпохи. Они иначе думали, иначе чувствовали, они жили другими интересами. Они сами сознаются, что они были безучастны ко всѣмъ почти событіямъ, волновавшимъ общество, что они походили на людей, заброшенныхъ въ какой-нибудь далекій, чуждый имъ край, съ туземцами котораго у нихъ не было ничего общаго.

Связанные близкими отношеніями, дружбою съ немногими выдающимися людьми, близко подходящими къ нимъ по складу, какъ Флоберъ, Гаварни, Теофиль Готье, Поль де Сентъ-Викторъ, и поддерживая отношенія съ Тэномъ, Ренаномъ, Сентъ-Бёвомъ и немногими избранными, они чуждались даже литературнаго общества, которое они обзывали самымъ скучнымъ и несноснымъ изъ всѣхъ слоевъ общества. Попадая въ его среду, они покидали его, всегда вынося какую-то неопредѣленную тоску. Они находили въ немъ фельетонъ, парадоксъ, тѣ, что французы называютъ *blague*, но не встрѣчали людей. Гонкуры являлись какъ бы людьми не отъ міра сего. Они, слѣпые любовники литературы, воображали, что все общество должно только дышать и жить литературой, что не литература создана для общества, а общество для литературы, что всѣ самые важные вопросы—нравственные, экономическіе, общественные, политическіе—все это второстепенно, все преходяще, мимолетно и не заслуживаетъ возбуждаемаго такими жизненными вопросами интереса; выше всѣхъ ихъ стоитъ мысль, воплощеніе ея въ словѣ, образѣ, только она одна вѣчна, и потому только она одна и можетъ поглощать человѣка, она одна и стоитъ безкорыстнаго служенія.

Отсюда происходилъ ихъ глубокій индифферентизмъ къ общественнымъ и политическимъ вопросамъ,—индифферентизмъ, который одни, какъ Флоберъ, Готье, Поль де Сентъ-Викторъ, исповѣдовали явно, открыто, а другіе, какъ Тэнъ, Ренанъ и ихъ послѣдователи,—прикрывая его философскими разсужденіями вышшаго порядка. Индифферентизмъ этотъ, унаслѣдованный новѣйшей французскою литературною школою, съ Золя и Гюи де Мопассаномъ во главѣ, составляя ихъ слабую сторону, вмѣстѣ съ тѣмъ не лишаетъ ихъ того вліянія на современниковъ, которое должно принадлежать выдающимся талантамъ.

Не касаясь пока политических убѣждений и общественных взглядовъ Гонкуровъ, насколько они обрисовываются ихъ журналомъ, замѣтимъ только, что та задача романа, которую они ставили себѣ, тѣ требованія, которыя они предъявляли къ современной беллетристикѣ, обязывали ихъ зорко присматриваться ко всѣмъ общественнымъ явленіямъ, не исключая, само собою разумѣется, и сферы политической, столь сильно вліяющей на господствующіе нравы, а точное, документальное и вмѣстѣ художественное воспроизведеніе ихъ и составляетъ, по убѣжденію Гонкуровъ, богатый удѣлъ романа. Являясь преемниками Бальзака и вознося искусство на пьедесталъ, высшійся надъ всѣми другими интересами, Гонкуры предъявляли къ роману самыя строгія требованія. Говоря, что романъ, это—исторія, какая „могла бы быть“, они въ сущности говорили, что романъ, это—исторія современныхъ писателю нравовъ, изученныхъ и наблюденныхъ съ такою же точностью, съ такою же тщательностью, съ которой добросовѣстный естествоиспытатель наблюдаетъ явленія природы. Все произвольное, все фантастическое, должно быть исключено изъ романа; воображеніе, сила творчества писателя должна быть направлена на „артистическое“ воспроизведеніе того, что авторъ видѣлъ, изучилъ, пережилъ, переживалъ. „Романъ, — заносить они въ свой журналъ, — со времени Бальзака, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что наши отцы понимали подъ этимъ словомъ. Современный романъ долженъ быть основанъ на переданныхъ или схваченныхъ съ натуры документахъ, точно также какъ исторія основывается на писанныхъ документахъ. Историки, это — рассказчики прошлаго, романисты — рассказчики настоящаго“. Гонкуры любятъ краткія, сжатые опредѣленія, отчеканенныя мысли, которыми усѣяны весь ихъ журналъ. Въ такой формѣ они и выражаютъ свои взгляды какъ на то, чѣмъ долженъ быть романъ, такъ и на значеніе своихъ собственныхъ произведеній. „Идеаль романъ — художественно передать самое острое впечатлѣніе всего человѣчнаго, каково бы оно ни было“. Гамма романа не должна знать поэтому никакихъ предѣловъ; она захватываетъ самое красивое и самое уродливое, самое высокое и самое низкое, самое чистое и самое грязное человѣческой природы, лишь бы и то, и другое было передано во всей голой правдѣ. Для насъ, для всего русскаго читающаго общества, прошедшаго чрезъ критическую школу Бѣлинскаго, въ томъ, какъ понимали Гонкуры задачу романа, нѣтъ, конечно, ничего новаго; но во французской литературѣ взгляды Гонкуровъ казались и новыми, и подчасъ чересчуръ смѣлыми. Романы ихъ оскорбляли

иногда самых тонких цѣнителей и своей постановкой, и своей манерой, и своимъ языкомъ, отрѣшавшимся отъ всего условнаго и стремившагося походить на кисть художника. По поводу „M-me Gervaisais“, одного изъ лучшихъ романовъ Гонкуровъ, они передаютъ въ своемъ журналѣ весьма любопытную сцену свиданія съ Сень-Бёвомъ. Описавъ манеру говорить знаменитаго критика, манеру, напоминающую ласку кошачьей лапки, внезапно обнаруживающей свои когти и готовой царапнуть, Гонкуры рассказываютъ, какъ Сень-Бёвъ убѣждалъ ихъ болѣе принаравливаться къ вкусамъ читающей публики. „Онъ говорилъ намъ, что во всемъ мы желаемъ слишкомъ многого, что мы доходимъ до крайностей, форсируя наши достоинства; онъ не отрицаетъ, что нѣкоторые мѣста нашихъ произведеній, хорошо прочтенныя и въ извѣстной обстановкѣ, могутъ доставить удовольствіе.—Но вѣдь книги пишутся для того, чтобы онѣ читались и читались всѣми...—прибавилъ Сень-Бёвъ своимъ ворчливымъ голосомъ:—а вы... это ужъ не литература, это музыка, живопись... И оживляясь, прибавилъ:—вотъ вамъ Руссо... и онъ уже пошелъ слишкомъ далеко въ своемъ приѣмѣ... послѣ него явился Бернарденъ де Сень-Пьеръ, которому и этого было мало... Шатобрианъ, Богъ-знаетъ... Гюго...—и тутъ Сень-Бёвъ сдѣлалъ обычную гримасу, когда произносилъ это имя,—наконецъ, Готье и Сень-Викторъ... а вы, вы желаете идти еще дальше... Вамъ нужно движеніе въ колоритѣ, вамъ потребовалась душа вещей... Это невозможно... Я не знаю, что будетъ современемъ, куда, наконецъ, пойдутъ... но въ настоящее время вамъ слѣдуетъ все скорѣй ослаблять, ступеньковать... Какъ хотите; нѣтъ, нѣтъ...—И вдругъ начиналъ сердиться:—Neutralteinte, что это за neutralteinte?.. этого слова нѣтъ въ словарѣ... это выраженіе живописца... развѣ всѣ непременно живописцы... Тоже самое какъ это небо—оттѣнка чайной розы... чайной розы... Что это за чайная роза?—И онъ повторяетъ два, три раза: „чайная роза“, прибавляя:—существуетъ только роза; такія выраженія не имѣютъ смысла“.

И вслѣдъ за этимъ Сень-Бёвъ сталъ убѣждать Гонкуровъ писать для публики, низвести ихъ произведенія до средняго умственнаго уровня, ставя имъ въ укоръ всѣ ихъ усилія, непримиримость ихъ литературной совѣсти, самый трудъ, потраченный на ихъ произведенія, „писанныя кровью“. Братья Гонкуры видѣли въ словахъ Сень-Бёва „гнусные совѣты куртизана, помогающаго всякаго успѣха, всякой популярности“.

Подобные совѣты—не для братьевъ Гонкуровъ. Они, правда, страстно любили славу, но они етали бы презирать себя, еслибы

ради ея достиженія рѣшились на какія-либо уступки, несогласныя съ ихъ воззрѣніями на высокое и святое дѣло литературы. Ихъ литературная совѣсть была неподкупна, и они гордо возражали Сень-Бёву, что для нихъ существуетъ одна лишь публика, не настоящаго времени, а публика будущаго; но Сень-Бёвъ, этотъ невозмутимый скептикъ, снова прервалъ ихъ словами: „Такъ вы еще воображаете, что существуетъ будущее, потомство?“...

Если братья Гонкуры не повторяли за Стендалемъ, что сегодня ихъ книги читаютъ сто человѣкъ, а черезъ сто лѣтъ ихъ будутъ читать всѣ, то все же они вѣрили, что трудъ ихъ не умретъ, и что будущіе историки XIX-го вѣка вспомнятъ объ ихъ книгахъ, черпая изъ нихъ матеріалъ для характеристики нравовъ нашего отходящаго столѣтія. Они гордо пишутъ въ своемъ журналѣ: „одна изъ характерныхъ особенностей нашихъ романовъ состоитъ въ томъ, что романы наши будутъ признаны самими историческими этого времени, что они дадутъ наибольшее число свѣдѣній и неподдѣльныхъ истинъ для нравственной исторіи нашего вѣка“.

Бесѣда Гонкуровъ съ Сень-Бёвомъ любопытна въ томъ отношеніи, что она показываетъ, что эти наиболѣе яркіе представители реализма или натурализма по своему существу были большіе идеалисты. Горизонтъ ихъ разстилался далеко, далеко, и если настоящее казалось имъ мрачно, то будущее рисовалось въ яркомъ свѣтѣ торжествующей правды. Это будущее придавало имъ силу, энергію, воодушевляло ихъ на борьбу за неприкосновенность ихъ литературныхъ идеаловъ, дѣлало ихъ непреклонными во всемъ, что касалось правды, этой души литературныхъ произведеній. Сами они не шли ни на какія уступки, но ихъ литературная восемнадцати-лѣтняя опытность привела ихъ къ горькому для нихъ убѣжденію, что для того, чтобы современная публика отнеслась къ типу, характеру, тому или другому лицу романа съ симпатіей, необходима извѣстная примѣсь фальши. На такую фальшь Гонкуры не были способны; они были твердо убѣждены, что только то произведеніе можетъ быть достойно имени литературнаго произведенія, которое глубоко продумано, изучено и выстрадано писателемъ.

III.

По журналу братьевъ Гонкуровъ легко было бы прослѣдить исторію каждаго изъ ихъ произведеній, каждаго романа, начиная отъ перваго зарожденія мысли, какъ она проходила черезъ всѣ

фазисы своего развитія и оканчивалась тѣмъ моментомъ, когда отлилась въ окончательную форму и выразилась въ живыхъ образахъ. Намъ не трудно было бы убѣдиться, или, вѣрнѣе, убѣдить читателя, что теоретическія положенія Гонкуровъ находили себѣ полное примѣненіе въ ихъ литературной дѣятельности, и журналъ ихъ является лучшимъ свидѣтелемъ, что они не написали строки, которая не отражала бы въ себѣ того, что они видѣли, передумали, прочувствовали или перестрадали, что они никогда не позволяли себѣ, давая волю своей фантазіи, писать о томъ, что не было ими изучено, что не явилось бы плодомъ глубокаго наблюденія. Они, правдивые всегда и во всемъ, болѣе всего дорожили правдой своихъ произведеній, и не только правдой въ главныхъ чертахъ романа, въ образахъ, фигурахъ, нравахъ, воспроизводимыхъ ими, но правдой въ подробностяхъ, мелочахъ, неточность которыхъ могла бы проскользнуть незамѣтно для самаго вдумчиваго читателя.

Мы не станемъ однако слѣдить за исторіей ихъ произведеній, такъ какъ такая задача потребовала бы слишкомъ много мѣста, и приведемъ изъ ихъ журнала лишь нѣкоторые отрывки, касающіеся или возникновенія, или появленія въ свѣтъ того или другого изъ ихъ романовъ.

Появленіе каждаго новаго романа было мучительно для болѣзненнаго самолюбія писателей, встрѣчавшихъ не только холодный пріемъ со стороны публики, но часто и враждебное отношеніе критики, приписывавшей братьямъ Гонкурамъ никогда не существовавшія имъ намѣренія. Такъ именно случилось съ однимъ изъ самыхъ дорогихъ для нихъ произведеній, съ „Charles Desmoulles“, въ которомъ они дали превосходную картину литературныхъ нравовъ эпохи второй имперіи.

Ни одинъ, быть можетъ, изъ ихъ романовъ до такой степени не былъ писанъ нервами и кровью, какъ этотъ романъ, въ которомъ, какъ то признаетъ Эдмонъ де-Гонкуръ, авторы изобразили самихъ себя въ борьбѣ съ окружающимъ ихъ литературнымъ міромъ. Романъ ихъ явился настоящимъ и безпощаднымъ ударомъ бича по развращеннымъ литературнымъ нравамъ перваго десятилѣтія второй имперіи. Равнодушные къ политикѣ, они страстно отнеслись къ созданному ею литературному разврату. Историки нравовъ, какъ они сами себя называютъ, они нарисовали правдивую картину повальной забитости мысли, вызываемой политическимъ гнетомъ. Когда государственный порядокъ, — писали они въ своемъ романѣ, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1860 г., — воспрещаетъ доступъ общественному мнѣнію, мысли, какъ это

случилось во Франціи послѣ 1852 г., во всѣ высокія и чистыя сферы, тогда общественное мнѣніе, мысль, превращаются въ одно любопытство. „Вниманіе, ухо, души, подписчики, общество, нисходятъ до сплетенъ, до злословія, до клеветы, до погони за грязными анекдотами, до перемиыванья грязнаго бѣлья, до рабской войны зависти, до стремленія очернить всякую истинную силу и поколебать честь каждаго въ совѣсти всѣхъ“... Такое время, говорили они, непригодно для глубокой и честной мысли, для серьезнаго журнала, для мощнаго произведенія. Мысль въ опалѣ, общественное мнѣніе, здоровое и свободное, въ загонѣ; предоставляется просторъ для появленія газетъ, журналовъ и книжонокъ, распространяющихъ въ обществѣ гнилостныя міазмы. Власть получаетъ уличный журналъ, „новая порода умовъ, не имѣющихъ предковъ, безъ всякаго баланса, безъ родины въ своемъ прошломъ, свободная отъ всякихъ традицій“; и власть эта—грозная, „передъ которой все дрожитъ: писатель за свое произведеніе, композиторъ за свою оперу, живописецъ за свою картину, скульпторъ за свою статую, издатель за свои объявленія, водевилистъ за свое остроуміе, театръ за свои сборы, актриса за свою молодость, богачъ за свой сонъ, даже публичная женщина за свои доходы“. Тиранія такого рода печати, одной только возможной и не страшящейся за свое существованіе при господствѣ безправнаго порядка, сильная своею беззащитчивостью, не останавливающейся ни передъ чѣмъ, не падающей частной жизни, не признающей чужихъ убѣжденій, вѣрованій, не чуждающейся клеветы, доноса, шантажа,—быстро понижаетъ общественный нравственный уровень. Унижая общество, читателей, такая печать унижаетъ литературу, превращающуюся въ какой-то рынокъ, гдѣ наемщики печати торгуютъ своимъ перомъ и своею совѣстью. Убѣжденія, честность, выброшены за бортъ, и эти „умы новой породы“ гордятся отсутствіемъ убѣжденій, направленія; они громко заявляютъ: „мы—не журналъ, мы—барометръ“.

Мужественно воспроизведенная Гонкурами картина литературныхъ нравовъ, водворившихся во Франціи послѣ утраты политической свободы, подняла противъ нихъ бурю негодованія. Знаменитый въ свое время критикъ, гордившійся тѣмъ, что онъ мѣняетъ, какъ перчатки, свои убѣжденія, Жюль Жаненъ, разразился противъ Гонкуровъ суровой филиппикой, обвиняя ихъ въ униженіи французской литературы. Такого рода нападенія и обвиненія мало трогали Гонкуровъ; ихъ литературная совѣсть была спокойна, и въ сознаніи своей правоты они гордо записывали въ свой журналъ: „въ концѣ концовъ, мы гордимся нашею книгой,

которая будетъ жить, что бы ни дѣлали, наперекоръ гнѣву журналистовъ, и тѣмъ, которые спросили бы насъ: „вы, слѣдовательно, ставите себя очень высоко?“ мы отвѣтили бы съ гордостью аббата Мори: „очень низко, когда мы судимъ только себя, и очень высоко, когда мы сравниваемъ себя съ другими“.

Не всѣ однако держались мнѣнія Жюля Жанена. Лучшіе представители Франціи, свято хранившіе великія традиціи французскаго генія, не зараженные гангреной второй имперіи, привѣтствовали Гонкуровъ и апплодировали ихъ книгѣ. Къ такимъ людямъ принадлежала и Жоржъ-Зандъ. „Милостивые государи! — писала она Гонкурамъ тотчасъ послѣ появленія въ свѣтъ „Charles Demouilly“, — я васъ не знаю. Я дикарка... я не умѣю говорить комплиментовъ. Я даже не очень любезна. Вѣрьте же тому, что я вамъ говорю. Ваша книга удивительно хороша, и у васъ большой, громадный талантъ. Я вамъ это говорю, хотя, конечно, это еще не доказательство, — я не знаю, понимаю ли я что-нибудь въ литературныхъ произведеніяхъ. Многіе мнѣ говорили, что я ничего въ нихъ не смыслю. Я этого не думаю, этому никогда никто не вѣритъ. Но все же я никогда не позволю себѣ признать себя судьей. Я передаю вамъ мое впечатлѣніе, мое убѣжденіе, берите его какъ оно есть. Какой отвратительный міръ вы раскрыли моимъ глазамъ! Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ таковъ? Я его не знаю. Въ мое время онъ не былъ такъ гадокъ. Но онъ такъ прекрасно изображенъ, такъ живо схваченъ, что это не можетъ быть неправдой... Какая нервная и суровая сатира! У васъ сильная рука и краснорѣчивое негодованіе, безъ всякой напыщенности... Я чрезвычайно довольна, хотя очень огорчена... Вы сдѣлали громадные успѣхи со времени вашихъ первыхъ произведеній, но они меня нисколько не удивляютъ. Я предчувствовала эти успѣхи, и мое маленькое самолюбіе публики очень удовлетворено тѣмъ, что я отгадала вашу будущность“...

Это прелестное письмо написано съ изумительной простотой, искренностью и граціей, въ которыхъ такъ и видится рука большого таланта. Не признавая себя судьей, какъ выражается Жоржъ-Зандъ, она въ концѣ письма рѣшается дать Гонкурамъ совѣтъ, обнаруживающій большое критическое чутье: „Вы пойдете, — пишетъ она, — еще впередъ. Вы упростите ваши приемы, и вы внесете нѣкоторый порядокъ въ изобиліе вашихъ богатствъ. Вы — молодая школа, я это знаю. Вамъ хочется все сказать, все нарисовать, не оставить въ тѣни ни одной травки, пересчитать всѣ фестоны, всѣ ободки. Оно поражаетъ, но иногда это излишне. Вы сами увидите, что вы придете къ сознанію необходимости жертвовать кое-чѣмъ, какъ

это дѣлается въ хорошихъ картинахъ. Но не торопитесь, будьте молоды, это хорошій недостатокъ”.

Романъ „Charles Demoilly“ въ высокой степени интересенъ и съ другой стороны, именно, съ точки зрѣнія характеристики самихъ Гонкуровъ. Онъ является какъ бы необходимымъ дополненіемъ къ ихъ журналу, нѣкоторыя части котораго мы встрѣчаемъ отъ слова до слова въ журналѣ самого Charles Demoilly, этого, можно сказать, псевдонима Гонкуровъ.

Описывая характеръ своего героя, Гонкуры говорятъ: „эта нервная чувствительность, эта непрерывная смѣна впечатлѣній, болѣею частью непріятныхъ, и болѣе оскорбляющихъ, нежели ласкающихъ его, самыя задушевные струны, превратили Шарля въ меланхолика. Онъ не былъ меланхоличенъ какъ книга съ громкими фразами; онъ былъ меланхоличенъ какъ умный человѣкъ, понимающій жизнь. Едва можно было замѣтить его мрачное настроеніе. Иронія замѣняла для него смѣхъ и служила ему утѣшеніемъ,—иронія тонкая и настолько маскированная, что часто онъ былъ ирониченъ только для себя самого, и смѣхъ его былъ только слышенъ ему самому. У Шарля была только одна любовь, одному лишь онъ былъ всецѣло преданъ, у него была одна вѣра: литература. Литература была его жизнь, она захватила все его сердце. Онъ отдался ей всецѣло, ей онъ отдалъ всѣ свои страсти, весь огонь своей пламенной натуры, скрытой подъ внѣшней оболочкой холода... Онъ не былъ свободенъ отъ самолюбія и эгоизма писателей, отъ быстрыхъ разочарованій человѣка воображенія, съ его непостоянствомъ вкусовъ и привязанностей, съ его рѣзкостями и быстрыми переменами... Его характеръ, съ его слабостями и страстями, обуславливался его темпераментомъ, его вѣчно страдающимъ организмомъ. Быть можетъ, тутъ именно слѣдуетъ искать тайну его таланта, нервного, тонкаго въ наблюденіяхъ, всегда артистичнаго, но неровнаго, преисполненнаго скачковъ и неспособнаго достигнуть спокойствія линій, здоровой силы истинно прекрасныхъ и великихъ произведеній“. Никто не способенъ былъ бы сдѣлать лучшей характеристики самихъ Гонкуровъ. Еслибы мы не имѣли даже признанія Эдмона Гонкура, что натурщики, съ которыхъ они рисовали своего Charles Demoilly, были они сами, поступая какъ художники, пишущіе свои портреты, заглядывая лишь въ зеркало, то, читая журналъ Гонкуровъ, мы тотчасъ бы узнали въ портретѣ Шарля портретъ самихъ писателей. Нельзя при этомъ не отмѣтить одну поразительную черту. Charles Demoilly гибнетъ отъ страшной нервной болѣзни, сразившей въ цвѣтъ лѣтъ сначала его огромный талантъ, а за-

тѣмъ и самую жизнь. Ровно черезъ десять лѣтъ, надорванный непосильной умственной работой, требовавшей непрерывнаго нервнаго напряженія, отъ той же нервной болѣзни и проявившейся въ той же формѣ, погибъ Жюль де-Гонкуръ, не достигнувъ 40-лѣтняго возраста. Можно подумать, что они одарены были какимъ-то даромъ провидѣнія—до такой степени схоже они воспроизвели въ своемъ романѣ несчастную судьбу одного изъ двухъ авторовъ-близнецовъ.

Всѣ черты ихъ характера, всѣ уколы ихъ литературнаго самолюбія, такъ пагубно дѣйствовавшіе на ихъ „обнаженные“ нервы, всѣ муки ихъ творчества, вся ихъ нервно-лихорадочная работа, пересиливающая недугъ, тяжелыя физическія страданія, все, что съ такою искренностью они передаютъ въ своемъ журналѣ, все это мастерски изображено въ „Charles Demouilly“, этомъ романѣ-автобіографіи.

Если для изображенія этого Charles Demouilly братьямъ Гонкурамъ не было надобности предпринимать этюдовъ, изучать нравы той среды, которую они желали воспроизвести, вникать въ обстановку, улавливать черты, незамѣтныя для глаза, не умѣющаго наблюдать,—если для этого романа они встрѣтили богатый матеріалъ въ собственной жизни, въ своихъ ощущеніяхъ, въ своихъ столкновеніяхъ съ людьми, то не такъ это было съ другими ихъ романами. Въ журналѣ Гонкуровъ мы встрѣчаемъ множество любопытныхъ подробностей, обрисовывающихъ способъ ихъ работы, отношеніе ихъ къ искусству, добросовѣстность, съ которою они трактовали каждую черту, опасаясь даже въ мелочахъ отступить отъ точнаго „научнаго“ метода, характеризующаго, по ихъ мнѣнію, новое направленіе, новую литературную школу. Задумавъ въ романѣ „Soeur Philomène“ изобразить страстную, но скрытую любовь сестры милосердія, Гонкуры, изучая среду, театр дѣйствія,—цѣлые дни, и не только дни, ночи проводятъ въ госпиталѣ, набираясь впечатлѣній, впитывая въ себя самый воздухъ, запахъ, какъ бы проникаясь больничной атмосферой. Они жили этою госпитальною жизнью, изучая человѣческія страданія, какъ они выражаются, „sur le vrai, sur le vif, sur le saignant“, до тѣхъ поръ, пока ихъ нервная система, глубоко потрясенная, не восприняла всего того, что они видѣли своими глазами. „Мрачная тоска охватываетъ насъ, — записываютъ они, возвращаясь изъ госпиталя: — Нервы наши настолько болѣзненно раздражены, что малѣйшій шумъ, случайно упавшая вилка, вызываютъ дрожь во всемъ тѣлѣ и какое-то нетерпѣніе, чуть не бѣшенство“... Госпиталь преслѣдуетъ ихъ и дома, они не могутъ отдѣлаться больше отъ преслѣ-

дующаго ихъ больничнаго воздуха, какъ не могутъ отрѣшиться отъ испытанныхъ ими впечатлѣній. „Когда вы охвачены вашей идеей, когда вы чувствуете, какъ живая драма шевелится въ вашей головѣ, и собранные матеріалы вызываютъ въ васъ дрожь, — какъ мало значитъ тогда маленькій успѣхъ дня, какъ мало вы тогда думаете о немъ, поглощенные одной мыслью: осуществить все то, что проникло въ вашу душу и въ ваши глаза“.

Читая журналъ Гонкуровъ, раскрывающій ихъ душу, обрисовывающій ихъ болѣзненно-нервную организацію, становится совершенно понятною та черта, которая связываетъ всѣ ихъ романы въ одно цѣлое. Нѣтъ ни одного романа Гонкуровъ, начинающаго отъ „Charles Demoulin“ и кончающаго „Madame Gervaisais“, въ которомъ не выступали бы рельефно человѣческія страданія, тяжелые физическіе недуги, тѣсно перевитые съ недугомъ нравственнымъ. И на драматическомъ изображеніи этихъ недуговъ они останавливаются съ особою привязанностью, какъ бы показывая роковую связь между физическою и нравственною природою людей. Они не могутъ оторваться отъ физиологическихъ и патологическихъ явленій, на которыя ихъ постоянно наталкиваетъ ихъ собственная борьба съ тяжелымъ нервнымъ недугомъ, которой посвящено такъ много мрачныхъ страницъ въ ихъ журналѣ. Недаромъ они сами опредѣляютъ свой талантъ какъ какую-то „странную и рѣдкую смѣсь, дѣлающую изъ нихъ въ одно и то же время и физиологовъ, и поэтовъ“. Мы прибавили бы только къ этому опредѣленію: — поэтовъ мрачныхъ, поэтовъ людскаго страданія, смотрящихъ на весь міръ сквозь призму боли и нервнаго недуга. Они впрочемъ и сами это хорошо сознавали, и мы находимъ такое признаніе въ письмѣ Эдмона Гонкура къ Золя: „Не забывайте, что всѣ наши произведенія, — и, быть можетъ, въ этомъ скрывается ихъ оригинальность, такъ дорого оплаченная, — говорятъ онъ послѣ трагической смерти своего брата, — основаны на нервной болѣзни; что эти изображенія болѣзни мы добыли изъ самихъ себя“... На этой нервно-болѣзненной почвѣ пышнымъ цвѣткомъ распустилось пессимистическое міросозерцаніе, оправдываемое и закрѣпленное въ нихъ и той эпохой, которую они переживали, и тѣми общественными нравами, которые они рисовали въ своихъ произведеніяхъ.

Нервные и мрачные поэты нервнаго и мрачнаго вѣка они и могли только создавать произведенія, подавляющія своимъ сумрачнымъ колоритомъ, какъ „Germinie Lacerteux“ или „Madame Gervaisais“, не знающія проблеска свѣта, радости, свѣтлой улыбки. Гонкуры сознавали, чего недостаетъ ихъ таланту, и сами

замѣчаютъ, что ихъ произведенія лишены „веселости, здороваго, сильнаго, звучнаго смѣха, смѣха Мольера и Теньера“, а смѣхъ, прибавляли они, „это—сила, великая сила“.

Столь же жестокиа, сколько и несправедливыя обвиненія посыпались на Гонкуровъ, когда появился въ свѣтъ ихъ замѣчательный романъ: „*Germinie Lacerteux*“. Имъ говорили, что они клеветаютъ на человѣческую природу; что они измышляютъ отвратительныя уродства, оскорбляющія чувство правды, жрецами котораго они себя провозгласили. Въ журналѣ Гонкуровъ мы находимъ всю исторію „*Germinie Lacerteux*“, рассказанную просто, правдиво и запечатлѣнную глубокимъ чувствомъ теплой привязанности къ несчастной женщинѣ, ходившей за ними съ дѣтства, а впослѣдствіи, послужившей моделью, типомъ, съ котораго они рисовали *Germinie Lacerteux*. Эта женщина, пишутъ они, „была частью нашей жизни, принадлежностью нашей квартиры, чѣмъ-то забытымъ отъ нашей молодости, это было нѣчто нѣжное и ворчливое, охранявшее насъ какъ сторожевая собака, которую мы привыкли видѣть около себя, и которая только съ нами должна была исчезнуть. И мы ее никогда не увидимъ! Тѣ, что шевелится въ квартирѣ, это не она, не она войдетъ по утру въ нашу комнату съ утреннимъ привѣтомъ“. И Гонкуры чувствуютъ, какъ что-то оборвалось въ ихъ жизни, что они въ своемъ существованіи примчались къ одному изъ жизненныхъ этаповъ, гдѣ, по выраженію Байрона, „судьба мѣняетъ своихъ лошадей“. Когда женщина эта заболѣла, и доктора потребовали, чтобы ее отправили въ больницу, Гонкуры сами ее провожаютъ, каждый день возвращаются въ госпиталь, пока ихъ не привели однажды къ дверямъ амфитеатра, гдѣ, уже мертвая, лежала ихъ старая слуга. Прислужникъ отворилъ двери амфитеатра, и Гонкурамъ показалось, что въ его лицѣ они увидѣли „раба, принимающаго въ циркѣ тѣла гладіаторовъ: и онъ также принималъ тѣла убитыхъ на аренѣ этого громаднаго цирка—современнаго общества“.

Эту женщину они считали чуть не святою, и вдругъ завѣса спала: ихъ старая служанка погибла какъ жертва разврата, страшной нравственной болѣзни. Болѣе чѣмъ когда-либо Гонкуры имѣли право сказать, что книга эта написана ихъ нервами и кровью. Вся ихъ вина состояла лишь въ томъ, что они признавали и громко провозгласили право романа „на всю современную правду, на все, что глубоко захватываетъ людей, какимъ бы ужасомъ оно ни отзывалось, на все, что потрясаетъ нервы и заставляетъ сочиться сердце кровью“. Но этого-то имъ и не прощало „современное литературное лицемѣріе“.

Каждое нападеніе, сопровождавшее появленіе всякаго ихъ новаго произведенія, только усиливало ихъ рѣшимость „менѣе чѣмъ когда-либо дѣлать уступки и еще болѣе твердо держать въ своихъ рукахъ литературное знамя“, завѣщанное имъ Бальзакомъ. Но, увы! усиливая такую рѣшимость, оно не укрѣпляло ихъ болѣзненно-нервной организаціи. Вѣчная борьба, непрерывное мозговое напряженіе, трудъ выше мѣры, выше ихъ физическихъ силъ, оказывали свое разрушительное вліяніе и побѣдили, наконецъ, всю сотканную изъ однихъ нервовъ натуру Жюль Гонкура, оставляя старшему брату лишь горькое утѣшеніе сказать: „онъ умеръ отъ работы“...

Журналъ и переписка Гонкуровъ, эти правдивые документы ихъ жизни, раскрыли передъ нами только ихъ собственную душу, обрисовали одинъ ихъ темпераментъ, ихъ меланхолическое настроеніе, ихъ чуткую, болѣзненно-нервную натуру, ихъ исключительную любовь къ литературѣ, ихъ отчужденность отъ всей остальной жизни. Всѣ эти свойства Гонкуровъ, на которыя указываетъ ихъ журналъ, не слѣдуетъ забывать, при опредѣленіи, на основаніи тѣхъ же документовъ, ихъ общественныхъ и политическихъ понятій, при встрѣчѣ съ ихъ „идеями и чувствованіями“ и, наконецъ, съ ихъ мастерскими, но нѣсколько односторонними портретами наиболѣе выдающихся изъ ихъ современниковъ, — къ чему мы и обратимся теперь.

Евг. Утинъ.



МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ БІОГРАФІИ

М. Е. САЛТЫКОВА

I.

15-го январа 1826 г. — 12-го февраля 1856 г.

Для составленія біографіи М. Е. Салтыкова еще не настало и едва ли скоро настанетъ время; покамѣстъ можно только собирать для нея матеріалы. Главнымъ основаніемъ настоящей статьи послужили бумаги, оставшіяся послѣ покойнаго и сообщенныя намъ его семействомъ. Нѣкоторые факты мы заимствовали изъ статей, появившихся въ газетахъ послѣ смерти Салтыкова, и изъ краткаго біографическаго очерка, напечатаннаго, съ вѣдома Салтыкова, въ посвященномъ ему (восьмомъ) выпускѣ „Русской Библіотеки“ (1878 г.).

„15-го январа 1826 г., — писалъ Салтыковъ, 14-го январа 1887 г., одному изъ своихъ близкихъ знакомыхъ, — у коллежскаго совѣтника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковыхъ родился сынъ Михаилъ. Принимала бабка-повитушка Ульяна Иванова, колязинская мѣщанка. Крестилъ священникъ села Спасъ-Уголь Иванъ Яковлевъ Новоселовъ, воспитанниками были: угличскій мѣщанинъ Дмитрій Михайловъ Курбатовъ и дѣвица Марья Васильевна Салтыкова. При крещеніи

Курбатовъ пророчествовалъ: „сей младенецъ будетъ разгонникъ женскій“. По этому случаю приглашаетесь вы съ фамиліей завтра въ четвергъ вечеромъ для присутствованія при всенощномъ бдѣніи въ домѣ № 62 на Литейной“. Это письмо интересно, между прочимъ, потому, что сообщаемыя въ немъ данныя совпадаютъ съ рассказомъ о рожденіи и крещеніи Никанора Затрапезнаго ¹⁾. Повитушка, его принимавшая, такъ и именуется Ульяной Ивановой; прозвище крестнаго отца немного измѣнено, онъ названъ Дмитріемъ Никоновымъ Бархатовымъ. Попалъ онъ въ восприемники къ дворянскому сыну, очевидно, потому, что славился своей набожностью и „прозорливостью“. „На вопросъ матушки, — повѣствуетъ Никаноръ Затрапезный, — чтѣ у нея родится, сынъ или дочь, онъ заплѣлъ пѣтухомъ и сказалъ: пѣтушокъ, пѣтушокъ, востѣръ ноготокъ! Кромѣ того, онъ предсказалъ и будущую судьбу мою, что я многихъ супостатовъ покорю и буду *дѣвичьимъ разгонникомъ*. Не разъ я видалъ впослѣдствіи моего крестнаго отца, идущаго, съ посохомъ въ рукахъ, въ толпѣ народа, за крестнымъ ходомъ. Но познакомиться мнѣ съ нимъ не удалось, потому что родители мои уже разошлись съ нимъ и называли его шалыганомъ“. Этимъ не ограничиваются безспорныя точки соприкосновенія между дѣтствомъ Салтыкова и дѣтствомъ Никанора Затрапезнаго. Въ пятой главѣ „Помехонской Старины“ приведены французскіе стихи, заученные Никаноромъ во дню именинъ отца или матери; между бумагами Салтыкова нашлись эти самые стихи, написанные дѣтскимъ почеркомъ и подписанные такъ: „écrit par votre très humble fils Michel Soltykoff le 16 octobre 1832 (когда мальчику не было еще, слѣдовательно, и семи лѣтъ). Въ біографическомъ очеркѣ, о которомъ мы упоминали, сказано, что первымъ учителемъ Салтыкова былъ крѣпостной человѣкъ его родителей, живописецъ Павелъ, а потомъ съ нимъ занимались, между прочимъ, старшая его сестра (Надежда Евграфовна) и священникъ одного изъ сосѣднихъ селъ (Иванъ Васильевичъ); то же самое рассказываетъ о себѣ и Никаноръ Затрапезный. Едва ли, въ виду всего этого, можно сомнѣваться въ томъ, что „Помехонская Старина“ даетъ вѣрную картину умственнаго и нравственнаго развитія Салтыкова, доведенную, къ сожалѣнію, только до окончанія домашняго воспитанія, т.-е. до десятилѣтняго возраста. Значеніе этой картины громаднo; она бросаетъ яркій свѣтъ на всю послѣдующую жизнь Салтыкова. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочесть чу-

¹⁾ Нѣкоторую наличность „автобіографическаго элемента“ въ „Помехонской Старинѣ“ не отрицалъ, какъ извѣстно, и самъ авторъ.

десныя страницы, изображающія первое знакомство ребенка съ евангельскими разсказами. Мы напомнимъ лишь заключительныя ихъ строки: „въ признаніи человѣческаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣжденія, существовалъ только поруганный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, вынесенный мною изъ тѣхъ попытокъ самообученія, которыми я предавался въ теченіе года“. Въ связи съ этимъ получаютъ настоящій свой смыслъ и слѣдующія слова Затрапезнаго-Салтыкова: „крѣпостное право сближало меня съ подневольною массою. Это можетъ показаться страннымъ, но я и теперь еще сознаю, что крѣпостное право играло громадную роль въ моей жизни, и что только переживъ всѣ его фазисы, я могъ придти къ полному, сознательному и страстному отрицанію его“.

Кромѣ сестры и священника, съ Салтыковымъ занимались гувернантка, Авдотья Петровна Василевская (окончившая курсъ, вмѣстѣ съ Надеждой Евграфовной, въ московскомъ екатерининскомъ институтѣ), и студентъ московской духовной академіи, Матвѣй Петровичъ Салминъ, котораго приглашали на лѣтнія вакаціи два года сряду. Первоначальное обученіе мальчика оказалось настолько удовлетворительнымъ, что въ августѣ 1836 г. онъ могъ быть принятъ въ третій классъ шестикласснаго московскаго дворянскаго института. По малолѣтству, однако, онъ оставался въ этомъ классѣ два года. Въ 1838 г. Салтыковъ былъ переведенъ въ царскосельскій лицей, въ силу преимущества, которымъ пользовался московскій дворянскій институтъ опредѣлять, каждые полтора года, двоихъ отличнѣйшихъ учениковъ въ лицей, казеннокоштными воспитанниками. Въ лицей Салтыковъ уже въ младшемъ классѣ почувствовалъ влеченіе къ литературѣ и сталъ писать стихи. За это, и за чтеніе книгъ, онъ терпѣлъ всевозможныя преслѣдованія, какъ со стороны гувернеровъ, такъ и въ особенности со стороны учителя русскаго языка Гроздова. Салтыковъ вынужденъ былъ прятать стихи—особенно тѣ, которые были „неодобрительнаго“ содержанія—въ рукава куртки и даже въ сапоги; но контрабанда была находима и тамъ, и оказывала сильное вліяніе на отмытки „изъ поведенія“. Въ теченіе всего времени пребыванія въ лицей онъ почти не получалъ, при полныхъ 12 баллахъ, свыше девяти. Въ аттестатѣ, данномъ Салтыкову по окончаніи курса, поведеніе его названо *довольно* хорошимъ; а это значитъ, что средній баллъ въ поведеніи, за послѣдніе годы, былъ ниже восьми. И все это началось со стиховъ, къ которымъ впослѣдствіи присоединились „грубости“, т. е. разстегнутая пуговица на курткѣ или мундирѣ, ношеніе треуголки

съ поля, а не по формѣ (что было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), куреніе табаку и инныя школьныя преступленія. Какое воспоминаніе Салтыковъ сохранилъ о своихъ лицейскихъ годахъ, объ этомъ даютъ понятіе слѣдующія слова, написанныя имъ лѣтъ десять спустя послѣ выпуска: „помню я школу, но какъ-то угрюмо и непривѣтливо воскресаетъ она въ моемъ воображеніи... Нѣтъ, я сегодня настроенъ такъ мягко, что все хочу видѣть въ розовомъ свѣтѣ... прочь школу!“ („Скука“, въ „Губернскихъ Очеркахъ“, стр. 171).

Начиная со второго класса, въ лицей дозволялось воспитанникамъ выписывать журналы на свой счетъ. При Салтыковѣ получались, такимъ образомъ, „Отечественныя Записки“, „Библиотека для Чтенія“, Сынъ Отечества“, „Маякъ“, „Revue étrangère“. Журналы читались воспитанниками съ жадностью; въ особенности сильно было вліяніе „Отечественныхъ Записокъ“, благодаря критикѣ Бѣлинскаго, повѣстямъ Панаева, Кудрявцева и др. Вліяніе литературы было тогда вообще очень сильно въ лицей; воспоминаніе о Пушкинѣ какъ будто обязывало, и въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина. Такъ, въ XI курсѣ (1841 г.) товарищи указывали на В. Р. Зотова, помѣщавшаго стихи въ „Маякъ“, редакторъ котораго, Бурачекъ, провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ¹⁾. Въ XII курсѣ на пушкинскую вакансію помѣщали Н. П. Семенова (сенаторъ, бывшій членъ редакціонныхъ комиссій по крестьянскому дѣлу, авторъ сочиненія объ этой эпохѣ, сотрудникъ „Русскаго Вѣстника“), въ XIII—Салтыкова, въ XIV—Виктора Павловича Гаевского (недавно умершаго, автора статей о Дельвингѣ и Пушкинѣ, много лѣтъ бывшаго предсѣдателемъ литературнаго фонда). Первое стихотвореніе Салтыкова: „Лира“ было напечатано въ „Библиотекѣ для Чтенія“ 1841 г. (Т. 45, стр. 105—6), за подписью: С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842 году появилась въ томъ же журналѣ (Т. 50, стр. 10) другая его пьеса: „Двѣ жизни“, помѣченная только первой буквой его фамиліи. Приводимъ объ пьесы вполнѣ, какъ матеріалъ для характеристики молодого, пятнадцати-или шестнадцати-лѣтняго автора:

¹⁾ Одиннадцатому курсу принадлежалъ и другой „продолжатель Пушкина“, имѣвшій гораздо больше правъ на этотъ титулъ—Л. А. Мей (переведенный въ лицей, подобно Салтыкову, изъ московскаго дворянскаго института). Изъ біографіи его, написанной В. Р. Зотовымъ, мы узнаемъ, что онъ писалъ стихи и до вступленія въ лицей, и въ лицей. Какъ и Салтыковъ, онъ былъ постояннымъ нарушителемъ лицейскихъ правилъ и получалъ дурные баллы „изъ поведенія“.

ЛИРА.

На русскомъ Парнассѣ есть лира;
 Струнами ей—солнца лучи,
 Ихъ звукамъ внимаетъ полъ-міра:
 Предъ ними самъ громъ замолчи!
 И въ черную гучу главою
 Небрежно уперлась она;
 Могуцій утесъ—подъ стопою,
 У ногъ его стонетъ волна.
 Два мужа на лирѣ гремѣли,
 Гремѣли могучей рукой;
 Къ нимъ звуки отъ неба слетѣли
 И приняли образъ земной.
 Одинъ былъ старикъ величавый;
 Онъ мощно на лирѣ бряцалъ.
 Вѣнцомъ немерцающей славы
 Поэта міръ хладный вѣнчалъ.
 Другой былъ любимый сынъ Феба;
 Онъ пѣсни допѣть не успѣлъ,
 И въ свѣтлой обители неба
 Ужъ исповѣдь сердца допѣлъ.
 Пѣвецъ тотъ былъ славенъ и молодъ:
 Онъ пѣсней смертныхъ увлекъ,
 И міра безжизненный холодъ
 Въ волшебные звуки облекъ.
 Угасли въ святыхъ селеняхъ
 Умчавшись, съ собой унесли
 И лиру, одно утѣшеніе
 Средь бурь и волненій земли!...

ДВѢ ЖИЗНИ.

Жизнь сладостна и даръ небесъ безцѣнный
 Тому, кто вѣровалъ въ Зиждителя вселенной;
 Кто юности и счастьемъ прошлыхъ дней
 Возможенъ отслужить съ улыбкой ясной тризну;
 Поднять покровъ съ картинъ весны своей
 Кто можетъ смѣлою рукой, безъ укоривны;
 Кто, полный мыслию, умѣлъ блаженно жить,
 Роскошно чувствовать и истинно любить;
 Въ чьемъ духѣ бодрственомъ, не тяжкія страданья
 Остались сладкія еще воспоминанья;
 На жизненномъ пути кто безъ горячихъ слезъ,
 Безъ боли крестъ заботъ житейскихъ несеъ,
 И, вѣнчанный вѣнкомъ изъ розановъ душистыхъ,
 Спокойно отойдетъ въ обитель тѣней чистыхъ.

Но жизнь безрадостна и тяжела тому,
 Кто сердца не нашелъ отвѣтнаго ему;
 Кто, символомъ ничтожества покрытый,
 Людми и всѣмъ, что въ мірѣ, позабытый,
 Страстей земныхъ измученный борьбой,

Какимъ-то странникомъ блуждая одинокимъ,
 Напрасно силится смѣяться надъ судьбой
 И сбросить гора цѣнь въ убѣжищѣ далекомъ:
 Кто страшную себѣ анаемѣ прочтеть
 Въ всеобщемъ, тягостномъ, убійственномъ забвеньѣ,
 И трупомъ проклятымъ, въ отчаяньѣ умереть
 Безъ слезъ напутственныхъ, безъ погребенья,
 Священнаго лишенъ поминовенья...

Ко времени пребыванія въ лицѣѣ относятся и всѣ остальные стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ „Современникѣ“ — выходявшемъ тогда подъ редакцію Плетнева, — уже послѣ выпуска его изъ лица, въ 1844 и 1845 г. Напечатаны они не въ томъ порядкѣ, въ какомъ написаны. Въ 34-мъ томѣ „Современника“, за 1844 г., помѣщены (стр. 231 и 341) два стихотворенія, написанныя, какъ видно изъ помѣтокъ автора, въ февралѣ и мартѣ того же года ¹⁾: „Нашъ вѣкъ“ и „Весна“. Въ 35-мъ томѣ, также 1844 г., помѣщены (стр. 100 и 105) два перевода, изъ Гейне („Рыбачкѣ“) и Байрона, относящіеся: первый — къ 1841, второй — къ 1842 г., т.-е. одновременные съ стихотвореніями, напечатанными въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Въ томѣ 37-мъ, за 1845 г., помѣщены (стр. 119 и 377) два стихотворенія: „Зимняя элегія“ и „Вечеръ“, изъ которыхъ послѣднее помѣчено 1842 годомъ, первое — 1843-мъ; въ томѣ 39-мъ, также за 1845 г. — одно стихотвореніе (стр. 212), написанное въ 1843 г. — „Музыка“ ²⁾. Подъ всѣми этими стихотвореніями подпись: М. Салтыковъ. Приведемъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ.

РЫБАЧКЪ (изъ Гейне).

О, милая дѣвочка! быстро
 Челнокъ свой направь ты ко мнѣ;
 Сядь рядомъ со мною, и тихо
 Бесѣдовать будемъ во тьмѣ.
 И къ сердцу страдальца ты крѣпко
 Головку младую прижми —
 Вѣдь морю себя ты вѣтряешь
 И въ бурю, и въ ясные дни.
 А сердце мое тоже море —
 Бушуетъ оно и кипитъ,

¹⁾ Салтыковъ окончилъ курсъ въ маѣ 1844 г.

²⁾ Въ оглавленіи 39-го тома показано еще одно стихотвореніе Салтыкова: „Изъ Байрона“ — но на страницѣ 318, на которую сдѣлана ссылка, напечатано совсѣмъ другое стихотвореніе, озаглавленное: „21 іюля 1845“ и подписанное Д. Коптевымъ, имя котораго встрѣчается въ тогдашнемъ „Современникѣ“ довольно часто.

И много сокровищъ безцѣнныхъ
На днѣ своемъ ясноу хранитъ ¹⁾).

ИЗЪ БАЙРОНА.

Разбитъ мой талисманъ, исчезло упоенье!
Такъ вѣчно должно намъ здѣсь плакать и страдать;
Мы жизнь свою влечемъ въ нѣмомъ самозабвеньѣ
И улыбаемся, когда бѣ должны рыдать.
И всякій свѣтлый мигъ покажетъ, что страданье,
Одно страданіе насъ въ жизни нашей ждетъ,
И тотъ, кто здѣсь живетъ далеко земныхъ желаній,—
Какъ мученикъ живетъ ²⁾).

ВЕЧЕРЪ.

Заря вечерняя на небѣ догораетъ;
Прохладой дышетъ все; день знойный убогаетъ;
Бессонный соловей одинъ вдали поетъ.
Весенній вечеръ тихъ; клубится и встаетъ
Надъ озеромъ туманъ; межъ листьями играя,
Чуть дышетъ майскій вѣтръ, рядъ бѣлыхъ волнъ качая;
Снитъ тихо озеро. Къ крутымъ его берегамъ
Безмолвно прихожу, и тамъ, склонясь къ водамъ,
Сажуся въ тишинѣ, отъ всѣхъ уединенный.
Наяды рѣзвыя играютъ предо мной —
И любу мнѣ смотрѣть на кругъ ихъ оживленный,
Какъ, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды рѣзвыя нагія выплываютъ,
И долго хохотъ ихъ утесы повторяютъ.

МУЗЫКА.

Я помню вечеръ: ты играла,
Я звукамъ съ ужасомъ внималъ,
Луна кровавая мерцала —
И мраченъ былъ старинный залъ.
Твой мертвый ликъ, твои страданья,
Могильный блескъ твоихъ очей,
И устъ холодное дыханье,
И трепетаніе грудей —
Все мрачный холодъ навѣвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,

¹⁾ Вотъ, для сравненія, подлинникъ: Du, schönes Fischermädchen, treibe den Kahn an's Land; komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Leg'an mein Herz dein Köpfchen, und fürchte dich nicht so sehr; vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer. Mein Herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Erb' und Fluth, und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht.

²⁾ The spell is broke, the charm is flown! thus is it with life's fitful fever: we madly smile when we should groan; delirium is our best deceiver. Each lucid interval of thought recalls the woes of Nature's charter; and he who acts as wise men ought, but lives, as saints have died, a martyr.

А эхо звуки повторяло,
И страшнѣ былъ старинный залъ...
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнитъ душу мнѣ тоской;
Моя любовь живетъ страданьемъ,
И страшнѣ ей покой!

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГІЯ.

Какъ скучно мнѣ! Безъ жизни, безъ движенія
Лежать поля, снѣгъ хлопьями лежить;
Безмолвно все; лишь грустно въ отдаленіи
Пѣснь запоздалая звучитъ.
Мнѣ тяжело: уныло потухаетъ
Холодный день за дальнею горой.
Что душу мнѣ волнуешь и смущаешь?
Мнѣ грустно; боленъ я душой!
Я здѣсь одинъ: тяжелое томленье
Сжимаешь грудь; рады нестройныхъ думъ
Меня тѣснить; молчитъ воображеніе,
Изнемогаетъ слабый умъ!
И мнится мнѣ, что близко, близко время —
И я умру въ разгарѣ юныхъ силъ...
Да! эта мысль мнѣ тягостна, какъ бремя:
Я жизнь такъ нѣкогда любилъ!
Да! тяжело намъ съ жизнью разставаться...
Но близокъ онъ, нашъ грозный смертный часъ;
Сомнѣнья тяжкія намъ на душу ложатся;
Богъ вѣсть, что ждетъ за гробомъ насъ!

НАШЪ ВѢКЪ.

Въ нашъ странный вѣкъ все грустью поражаетъ.
Немудрено: привыкли мы встрѣчать
Работой каждый день; все налагаетъ
Намъ на душу особую печать.
Мы жить спѣшимъ. Безъ цѣли, безъ значенія
Жизнь тянется, проходитъ день за днемъ —
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный рядъ сомнѣнья.
Мы въ тяжкій сонъ живемъ погружены!
Какъ скучно все: младенческія грезы
Какой-то тайной грустію полны,
И шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслѣдъ за жизнью вѣетъ
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвременно коснѣетъ
И чувство въ немъ молчать усыплено.
Что жъ въ жизни есть веселаго? Невольно
Нѣмая скорбь на душу набѣжитъ
И тѣнь сомнѣнья сердце омрачить...
Нѣтъ, право, жить и грустно, да и больно!..

ВЕСНА.

(Изъ моихъ отрывковъ.)

У—ву, въ воспоминаніе прошлаго.

Люблю весну я: все благоухаетъ
 И смотреть такъ привѣтливо свѣтло.
 Она нашъ духъ унылый пробуждаетъ;
 Блистаетъ солнце—на сердцѣ тепло!
 Толнятся мысли быстрой чередою.
 Ни облачка на небѣ—чудный день!
 Скажите же, ужель печали тѣнь
 Васъ омрачить? Чудесной тишиною
 Объять весь міръ; чуть слышно, какъ поетъ
 Надъ быстрой рѣчкой иволга уныло...
 Весною вновь все дышетъ и живетъ
 И чувствуетъ невѣдомыя силы.
 И часто мы съ тобой вдвоемъ встрѣчали
 Весною солнце раннею порой;
 Любили мы смотрѣть, какъ убѣгали
 Ночныя тѣни; скоро за горой
 И солнце появлялось; видъ прелестный!
 Чуть дышетъ тихій вѣтеръ; все молчать;
 Вдали село объято сномъ лежитъ
 И рѣчка вьется; свѣжестью чудесной
 Проникнуть воздухъ чистый; надъ рѣкой
 Станицы птицъ, кружась, летаютъ; поле
 Стадами покрывается; душой
 Все вновь живетъ и проситъ сердце воли.
 А вечера весенніе?...

Таковы стихотворенія Салтыкова. Судя по тому, что гостепріимствомъ „Современника“ онъ пользовался раньше—для позднѣйшихъ, позже—для болѣе раннихъ произведеній, нужно предположить, что послѣ выпуска изъ лица онъ вовсе пересталъ сочинять стихи: въ противномъ случаѣ онъ отдавалъ бы въ печать вновь написанное, а не залежавшееся въ его портфель. „Въ стѣнахъ лица, — говоритъ г. Скабичевскій ¹⁾, — Салтыковъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замать разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по его мнѣнію, сумасшедшіе люди.—Помилюйте, объяснять онъ, развѣ это не сумасшествіе; но цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать, во что бы

¹⁾ „Новости“, 1889 г., № 116.

то ни стало, въ размѣренныя рифмованныя строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ бы вдругъ ходить не иначе, какъ по разостланной веревочкѣ, да непременно еще на каждомъ шагу присѣдая.—Конечно, это была не больше какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія. Въ подтвержденіе того, что Салтыковъ рано и безповоротно пересталъ писать стихи, можно привести еще то мѣсто изъ его первой повѣсти: „Противорѣчія“, гдѣ герой повѣсти, рекомендуемый новому знакомому, какъ поэтъ, замѣчаетъ: „эта рекомендація нѣсколько смутила меня, потому что я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату“. Тотъ же герой пишетъ своему молодому другу: „неужели всю жизнь сочинять стихотворенія, и не пора ли заговорить простою здоровою прозою?“

Извѣстно, что Тургеневъ также не любилъ вспоминать о своихъ стихотвореніяхъ, хотя писалъ въ стихахъ гораздо больше и дольше, чѣмъ Салтыковъ. Разница между ними, съ этой точки зрѣнія, заключается въ томъ, что Салтыковъ почти вовсе не обладалъ даромъ стихотворной рѣчи, тогда какъ Тургеневъ владѣлъ имъ въ довольно высокой степени. Въ Тургеневѣ стремленіе забыть и заставить забыть о своихъ стихотвореніяхъ вызывалось крайнею требовательностью къ самому себѣ. Сознавая, что въ прозѣ онъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ стихахъ, что въ одной лишь первой коренится истинная его оригинальность, онъ не хотѣлъ и думать о попыткахъ, наполнявшихъ первые годы его творчества; онѣ казались ему неудачными уже потому, что не были *вполнѣ* удачны. Въ глазахъ Салтыкова лицейскія стихотворенія очень скоро должны были сдѣлаться не чѣмъ инымъ, какъ пробой пера, ищущаго своей дороги. Какъ только отъ него отлетѣли первыя юношескія иллюзіи, онъ не могъ не понять, что у него вовсе нѣтъ поэтическаго таланта. Въ самомъ дѣлѣ, въ формѣ его стихотвореній не замѣтно никакого движенія впередъ; въ восемнадцать лѣтъ онъ писалъ, съ внѣшней стороны, не лучше, чѣмъ въ пятнадцать. Переводъ гейневской „Рыбачки“ очень хорошъ и только немногимъ уступаетъ переводу той же пьесы, сдѣланному впоследствии А. Н. Плещеевымъ; переводъ изъ Байрона гораздо слабѣе и менѣе близокъ къ подлиннику. Въ „Нашемъ вѣкѣ“ меньше удачныхъ стиховъ, чѣмъ въ „Двухъ жизняхъ“. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше встрѣчается у Салтыкова словъ, введенныхъ въ пьесу исключительно для соблюденія раз-

игра. Авторъ не столько описываетъ свои чувства, сколько *называетъ* ихъ („какъ скучно мнѣ! мнѣ тяжело! мнѣ грустно! боленъ я душой!“ — всѣ эти восклицанія взяты нами изъ одной только „Зимней элегии“). Повторяются и мотивы стихотвореній (напримѣръ, тишина—въ „Вечерѣ“ и въ „Веснѣ“), и даже самыя выраженія („чуть дышетъ вѣтеръ“). Многія пьесы производятъ впечатлѣніе варіацій на давно знакомыя темы; въ „Музыкѣ“ слышится Бенедиктовъ, въ „Вечерѣ“—А. Майковъ, въ „Нашемъ вѣкѣ“—Лермонтовъ. И все-таки стихотворенія Салтыкова интересны, какъ выраженіе душевной жизни молодого лицейца. Если „Лира“ похожа еще на ученическое упражненіе, то въ „Двухъ жизняхъ“ чувствуется уже настроеніе автора—настроеніе отчасти заимствованное, навѣянное извнѣ, но быстро привившееся къ натурѣ Салтыкова. Меланхолическая нота звучитъ въ немъ искренно и сердечно ¹⁾. Жизнь кажется ему, по временамъ, тяжелымъ бременемъ, хотя ему и страшенъ призракъ смерти. Успокоительно дѣйствуетъ на него только пейзажъ—русскій сѣверный пейзажъ, обаянію котораго поддавались Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Некрасовъ. Если, кромѣ природы, все остальное „поражало его грустью“, то это не удивительно; въ эпоху, которую переживало тогда русское общество, печальныхъ картинъ на каждомъ шагѣ представлялось слишкомъ много. Чтобы видѣть и понимать ихъ, не нужно было долго жить на свѣтѣ; достаточно было присмотрѣться поближе къ „попехонскимъ“ порядкамъ—и потомъ сравнить ихъ непроглядную тьму съ ослѣпительнымъ свѣтомъ, очагомъ котораго служила тогдашняя Франція. И о томъ, и о другомъ мы имѣемъ подлинныя свидѣтельства Салтыкова. Какія чувства заронила въ немъ тьма—это мы уже знаемъ; напомнимъ теперь, что онъ говоритъ объ источникѣ свѣта.

„Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ четвертой главѣ „За рубежомъ“,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ,

¹⁾ Вотъ что говоритъ о Салтыковъ-лицейцѣ А. Я. Головачева (см. Воспоминанія ея въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ за 1889 г., № 11, стр. 272—273): „я видѣла его въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ домѣ М. А. Языкова. Онъ и тогда не отличался веселымъ выраженіемъ лица. Его большіе сѣрые глаза сурово смотрѣли на всѣхъ и онъ всегда молчалъ. Онъ всегда садился не въ той комнатѣ, гдѣ сидѣли всѣ гости, а помѣщался въ другой, противъ дверей, и оттуда внимательно слушалъ разговоры“. Улыбка „мрачнаго лицейца“ считалась чудомъ. По словамъ Языкова, Салтыковъ ходилъ къ нему, „чтобы посмотрѣть на литераторовъ“.

сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подроставшее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно применилъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризироваціею положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сень-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи, — впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько специально въ Петербургѣ, — мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорились, имѣли *образъ жизни*. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ“, являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятаю печатью сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранее предположено не разыскивать; во Франціи — все какъ будто только-что начиналось. И

не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться... Въ особенности симпатіи къ Франціи обострились около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „Исторіей десятилѣтія“ Луи Блана. Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюпатель, и Тьеръ, все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ — радовалъ. Процессъ министра Теста, агитация въ пользу избирательной реформы, высокомерныя рѣчи Гизо по этому поводу, февральскіе банкеты—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера“... Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что настроеніе, описанное въ этихъ строкахъ, зародилось въ Салтыковѣ еще во время бытности его въ лицей. Даже въ концѣ сороковыхъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, послѣ грозы 1848 г., послѣ дѣла петрашевцевъ, въ которомъ не случайно оказались замѣшанными многіе изъ бывшихъ лицейстовъ (Петрашевскій, Спѣшневъ, Кашкинъ, Европеусъ), между воспитанниками лицея бродили еще идеи, вдохновлявшія юношу-Салтыкова. Многіе изъ нихъ читали Фурье, Сенъ-Симона, Луи Блана и знакомили своихъ младшихъ товарищей съ содержаніемъ запретныхъ книгъ, которыя въ училищѣ правовѣденія (да, вѣроятно, и въ другихъ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ того же времени) едва-ли были извѣстны даже по имени ¹⁾. Само собою разумѣется, что, ставъ на ноги, освободившись отъ школьнаго конроля, Салтыковъ отдался съ большимъ еще жаромъ изученію французской политической и экономической литературы.

Изъ лицея выходили въ то время—какъ и теперь—съ чиномъ девятого, десятого или двѣнадцатаго класса, смотря по успѣхамъ въ наукахъ и болѣе или менѣе одобрительному „поведенію“. Салтыковъ, какъ мы уже знаемъ, получалъ плохіе баллы „изъ поведенія“ — и вышелъ, поэтому, съ чиномъ десятого класса, семнадцатымъ по списку. Всего выпущено было въ 1844 г. двадцать-два ученика: двѣнадцать — девятымъ классомъ, пять — десятымъ, пять — двѣнадцатымъ ²⁾. Съ чиномъ десятого класса

¹⁾ Пишущій эти строки, поступившій въ училище правовѣденія въ 1849 г. и имѣвшій родственниковъ и знакомыхъ въ лицей, говоритъ объ этомъ на основаніи собственныхъ воспоминаній.

²⁾ Эти цифры, не вполне совпадающія съ свѣдѣніями біографическаго очерка „Русской Библіотеки“, заимствованы нами изъ официальнаго источника—памятной книжки Александровскаго лицея на 1855—1856 г.

вышли изъ лица, какъ извѣстно, и Пушкинъ, и Дельвигъ, и Мей. Между товарищами Салтыкова никто не составилъ себѣ имени въ литературѣ или въ общественной дѣятельности; высокихъ положеній по службѣ достигли кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій (посолъ въ Вѣнѣ) и гр. А. П. Бобринскій (бывшій московскій губернский предводитель дворянства, умершій недавно членомъ государственнаго совѣта). Сохранилъ ли Салтыковъ близкія отношенія къ кому-либо изъ своихъ товарищей — не знаемъ; искать между ними того, кому посвящена „Весна“, нельзя, потому что ни одинъ изъ нихъ не носилъ фамиліи, начинающейся съ буквы У. О службѣ Салтыкова въ Петербургѣ мы знаемъ только то, что онъ 23-го августа 1844 г. былъ зачисленъ въ канцелярію военнаго министра, а два года спустя, 8-го августа 1846 г., получилъ тамъ мѣсто помощника секретаря. По словамъ г. Скабичевского, первые три года по выходѣ изъ лица Салтыковъ, подобно Пушкину, провелъ очень бурно и разсѣянно справлялъ „праздникъ жизни, молодости годы“. „По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя, Салтыковъ, — продолжаетъ г. Скабичевскій, — рассказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые по своей крайней курьезности вполне совпадаютъ съ жанромъ его сатиръ“. Съ достовѣрностью можно сказать, пока, только одно: Салтыкова продолжало тянуть къ литературѣ, больше чѣмъ когда-либо привлекавшей къ себѣ въ то время всѣхъ лучшихъ представителей нашей интеллигенціи. Оставивъ стихи, онъ скоро сталъ пробовать свои силы въ прозѣ. До сихъ поръ предполагалось, что первымъ прозаическимъ опытомъ Салтыкова была повѣсть: „Противорѣчія“, напечатанная въ ноябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1847 г. Оказывается, однако, что онъ уже раньше сталъ помѣщать въ томъ же журналѣ, въ отдѣлѣ Библиографической Хроники, рецензіи на нѣкоторыя вновь выходящія русскія книги ¹⁾. До 1846 г. этимъ отдѣломъ завѣдывалъ Бѣлинскій; потомъ, до лѣта 1847 г., главную роль игралъ въ немъ Валеріанъ Майковъ. Послѣ смерти Майкова веденіе библиографической хроники стало, повидимому, дѣломъ коллективнымъ. Салтыкову приходилось писать, болѣею частью, объ учебникахъ и книгахъ для дѣтскаго чтенія. Изъ рецензій, черновыя которыхъ, собственноручно написанныя Салтыковымъ, находятся передъ нашими глазами, къ этой рубрикѣ относятся пять

¹⁾ Намъ не удалось просмотрѣть всѣ книжки „Отечественныхъ Записокъ“ за 1847 г., но изъ черновыхъ рукописей Салтыкова видно, что одна изъ его рецензій была напечатана въ т. 54 этого журнала, т.-е. въ сентябрѣ или октябрѣ 1847 г.

(о семи книгах); только одна касается брошюры П. Лебедева: „Нѣсколько словъ о военномъ краснорѣчїи“ — но эта рецензія, нужно думать, осталась ненапечатанною, потому что во второй части т. 55-го „Отечественныхъ Записокъ“ (стр. 103) о брошюрѣ Лебедева имѣется совсѣмъ другая замѣтка, гораздо менѣе благопрїятная для автора, чѣмъ составленная Салтыковымъ. Въ томъ же 55-мъ томѣ (стр. 21), но въ другой, первой его части ¹⁾ напечатана замѣтка Салтыкова о „Логикѣ“ Зубовскаго, профессора могилевской семинаріи. „И въ наше время, — такъ начинается рецензія, — существуютъ еще люди съ наивнымъ убѣжденіемъ, что логика можетъ научить человѣка мыслить... Никому не придетъ въ голову назвать смѣшнымъ стремленіе познать самого себя, привести въ ясное сознаніе тѣ законы, по которымъ человѣкъ мыслитъ; но учить мыслить... трудную задачу вы взяли на себя, г. Зубовскій!“ Дальше Салтыковъ возражаетъ противъ преувеличеннаго значенія, придаваемаго, въ заурядной логикѣ, силлогизмамъ; онъ замѣчаетъ, что силлогизмъ — не что иное, какъ „безконечный, безвыходный кругъ, въ которомъ общее предложеніе доказывается частнымъ и потомъ въ свою очередь доказываетъ частное“. „Намъ случилось слышать, — восклицаетъ рецензентъ, — какъ одинъ господинъ весьма серьезно убѣждалъ другого, весьма почтенной наружности, но помирнѣе, что тотъ долженъ ему повиноваться, дѣлая слѣдующій силлогизмъ: я человѣкъ, ты человѣкъ; слѣдовательно, ты рабъ мой. И смиренный господинъ повѣрилъ (такова ошеломляющая сила силлогизма!), и отдалъ тому господину все, что у него было: и жену, и дѣтей, и самого себя, и вдобавокъ остался даже очень доволенъ собою“. Эти слова направлены, очевидно, не противъ „Логики“ Зубовскаго, а противъ модной, по тогдашнему времени, крѣпостнической логики.

Въ разборѣ дѣтскихъ книгъ и учебниковъ, предназначенныхъ для дѣтей — „Географіи въ Эстампахъ“, Ришона и Вангольда, „Курса физической географіи“, Петровскаго, „Руководства къ первоначальному изученію всеобщей исторіи“, Фольвера, „Разсказовъ дѣтямъ изъ древняго міра“, Беккера, „Потемкина“, исторической повѣсти Фурмана, „Альманаха для дѣтей“ ²⁾, — Салтыковъ возстаетъ съ особенною силою противъ прописной морали, противъ неуклюжаго подчеркиванья нравственныхъ сентенцій,

¹⁾ Это — та самая ноябрьская книжка 1847 г., въ которой напечатана первая повѣсть Салтыкова: „Противорѣчія“.

²⁾ Рецензія на повѣсть Фурмана напечатана въ январской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1848 г. (т. 56), рецензія на „Разсказы“ Беккера — въ апрѣльской книжкѣ того же года (т. 57), т.-е. уже послѣ „Запутаннаго дѣла“.

противъ обремененія памяти массой мелочныхъ подробностей и сухихъ фактовъ. Многія изъ его разсужденій не потеряли своей цѣны и въ наше время. „Странная, право, участь дѣтей!“—говоритъ онъ, напримѣръ, въ замѣткѣ о „Руководствѣ къ первоначальному изученію всеобщей исторіи“.—„Чему не учатъ ихъ, какія методы не употребляются при преподаваніи! Одно только забываютъ объяснить дѣтямъ мудрые наставники—именно то, что наиболѣе занимаетъ пытливый умъ ребенка: то, что находится у него безпрестанно подъ руками, тѣ предметы физическаго міра, въ кругу которыхъ онъ вращается. Отъ этого-то именно и происходитъ, что человекъ, сошедшій съ школьной скамьи, насытившійся вдоволь и греками, и римлянами, узнавшій въ конецъ всѣ свойства души, воли и другихъ невѣсомыхъ, которыми кипитъ жизнь бѣднаго школьника, при первомъ столкновеніи съ дѣйствительностью оказывается совершенно несостоятельнымъ, при первомъ несчастіи упадаетъ духомъ, и если ему по какому-нибудь случаю любезные родители не приготовили ни душъ, которыя могли бы прокормить вѣчнаго младенца, ни сердобольныхъ родственникововъ, нашъ философъ умираетъ съ голоду, именно отъ того, что любезные родители никакъ не могли предвидѣть подобный пассажъ. По настоящему, слѣдовало бы подстергать натуру ребенка, уловить его наклонности, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по лѣтамъ ему. Какъ это возможно! а на что же существуютъ возлюбленные родители? Въ ихъ умѣ ужъ заранѣе начертаны всѣ занятія, всѣ судьбы юнаго рожденія ихъ: на то онъ ихъ рожденіе, ихъ *собственное* рожденіе, чтобы они могли по произволу располагать имъ. Юноши, въ которыхъ эта *система постепеннаго ошеломленія* (совершенно уже салтыковское „словечко!“) не совсѣмъ еще утушила энергію пытливаго духа, обыкновенно начинаютъ, по выходѣ изъ школы, образованіе совершенно съизнова, но и тутъ, въ борьбѣ съ безпрестанно возстающими недоразумѣніями, большею частью падаютъ подъ бременемъ своего тяжелаго перевоспитанія. Что касается до остальныхъ,—а этихъ остальныхъ болѣе девяти десятыхъ,—то они, разъ подвергнутые *разслабляющей ваннѣ энциклопедическаго образованія*, уже навсегда пребываютъ въ состояніи совершеннаго нравственнаго одурѣнія“. Много мѣткихъ замѣчаній разсѣяно и въ другихъ рецензіяхъ Салтыкова. „Ошибка дѣтскихъ писателей заключается въ томъ, что они непремѣнно хотятъ бесѣдовать съ дѣтьми не какъ съ людьми, а какъ съ низшими организмами, немного чѣмъ повыше минераловъ“... „Почему вы думаете, что если взрослому покажется дивнымъ, что десятилѣтній

Гриша, не хуже любого сентиментальнаго патріота-офицера, крѣпко жметъ руку матери отъ умиленія при видѣ Москвы, то еще большею дикостью не покажется это ребенку“?.. „Ребенокъ видитъ въ саду цвѣтокъ; онъ хочетъ знать его составныя части, хочетъ добиться до законовъ его питанія. Увы! тутъ стоитъ величавая фигура педагога, гласящая ему, что это все вздоръ, а вотъ поди да возьми въ руки исторію Фолькера; тамъ ты узнаешь, что Кекропсъ“ и т. д. (въ наше время на мѣсто учебника исторіи явился бы, по всей вѣроятности, учебникъ латинскаго или греческаго языка). Въ замѣткѣ о „Географіи въ Эстампахъ“ очень забавно осмѣяна обычная манера нравоучительныхъ разсказовъ. Въ одномъ изъ нихъ выведена на сцену дѣвочка, подавшая милостыню тремъ бѣднякамъ; первый, вслѣдъ затѣмъ, защищаетъ ее противъ разбойниковъ, второй предохраняетъ ея имущество отъ пожара, третій спасаетъ ее отъ укушенія бѣшеной собакой. „Мораль этого разсказа“ — восклицаетъ рецензентъ — „можетъ быть выражена такъ: быть добрымъ никогда не мѣшаетъ, потому что это даетъ человѣку случай спекулировать на услугу въ сто разъ большую со стороны облагодѣтельствованнаго субъекта. Впрочемъ можно, съ равной достовѣрностью, предположить и то, что если благодѣтельная дѣвушка, не давши заранѣе бѣдному мальчику пять су, опять встрѣтится съ бѣшеною собакой, то бѣдный мальчикъ, по смыслу повѣсти, не поспѣшитъ уже къ ней на помощь. Откуда мораль: не подавши заранѣе пять су бѣдному мальчику, нужно избѣгать встрѣчи съ бѣшеными собаками“...

Въ рецензії на книгу Беккера: „Разсказы дѣтямъ изъ древняго міра“, Салтыковъ преклоняется передъ Гомеромъ, „одинъ стихъ котораго часто даетъ намъ болѣе ясное понятіе о древнемъ мірѣ, нежели цѣлые томы ученыхъ изысканій“; но именно потому онъ протестуетъ противъ искаженій, производимыхъ надъ „Иліадою“ и „Одиссеей“ подъ предлогомъ приспособленія ихъ къ дѣтскому или юношескому возрасту. Онъ желалъ бы, чтобы въ руки юношества былъ данъ полный гнѣдичевскій переводъ „Иліады“, снабженный только дѣльнымъ предисловіемъ, въ которомъ было бы объяснено все необходимое для правильнаго пониманія великой поэмы. Чтò касается до дѣтей, то для нихъ Гомеръ, въ настоящемъ своемъ видѣ, недоступенъ, а „приноровленіе его къ дѣтскимъ понятіямъ“ Салтыковъ считаетъ не только бесполезнымъ, но прямо вреднымъ. „Въ основѣ поэмъ Гомера, — говоритъ онъ, — лежитъ чудесное. Поставленное на своемъ мѣстѣ, обставленное извѣстными обстоятельствами, понимаемое какъ выраженіе духа страны и времени, чудесное принимаетъ должныя размѣры и, наконецъ, дѣлается

весьма и весьма объяснимымъ. Но не такъ бываетъ это съ дѣтьми. Умъ ихъ, по природѣ наклонный къ чудесному, на немъ одномъ только и останавливается съ охотою, и все сверхъестественное принимаетъ за наличную монету, такъ что изъ всей поэмы Гомера, можетъ быть, одно оно только и привяжетъ къ себѣ ребенка. Отсюда наклонность къ мечтательности, которую надобно было бы сдерживать въ разумныхъ границахъ, приобретаетъ, напротивъ того, самые гигантскіе размѣры, и ребенокъ, сдѣлавшись въ послѣдствіи мужемъ, является человѣкомъ неспособнымъ заниматься интересами близкими и дѣйствительными и цѣлый вѣкъ блуждаетъ мыслію въ мечтательныхъ мірахъ, созданныхъ его больною фантазіей. И пусть не обвиняютъ насъ въ преувеличеніи: зло, о которомъ мы говоримъ, такъ тонко, такъ незамѣтно, что его не увидишь сразу; оно издалека и медленно подкрадывается и сосетъ все существованіе ребенка, но тѣмъ не менѣе глубоко пагубны и разрушительны будутъ его результаты“.

Мысли, выраженные Салтыковымъ въ его рецензіяхъ, занимали его, очевидно, чрезвычайно сильно; онѣ встрѣчаются и въ первой повѣсти его: „Противорѣчія“, напечатанной, какъ мы уже сказали, въ ноябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ 1847 г. (Т. 55, ч. I, стр. 1—106), подписанной: М. Непановъ и не включенной Салтыковымъ ни въ прежніе выпуски его произведеній, ни въ выходящее теперь собраніе ихъ ¹⁾. „Пожирающая насъ жажда привязанности, — говорятъ герои повѣсти, Нагибинъ, — не имѣетъ предметомъ чего-либо дѣйствительнаго; напротивъ, мы съ какимъ-то презрѣніемъ отворачиваемся отъ той среды, въ которой живемъ, и создаемъ себѣ особый мечтательный міръ, который населяемъ призраками своего воображенія... Все это объясняется воспитаніемъ, болѣе наклоннымъ къ пустой мечтательности, нежели къ трезвому взгляду на жизнь, и кругомъ занятій нашихъ, которыя ограничиваются только спекулятивными науками, такъ что человѣкъ, вмѣсто того, чтобы изучать науку съ начала, изучаетъ ее съ конца, а потомъ и жалуются, что ничего понять не можетъ въ этомъ вавилонскомъ столпотвореніи. Такое воспитаніе совершенно губитъ насъ; истощенный безпрестаннымъ умственнымъ развратомъ, человѣкъ уже теряетъ смѣлость взглянуть въ глаза дѣйствительности, не имѣетъ довольно энергіи, чтобы обнажить сокровенныя пружины и объяснить себѣ кажушіяся противорѣчія ея“. Въ концѣ повѣсти На-

¹⁾ Составъ этого издавія съ точностью опредѣленъ самимъ Салтыковымъ, за нѣсколько недѣль до смерти.

гибинъ опять возвращается къ той же темѣ. Жалуясь на нравственную свою дряхлость, съ горечью оглядываясь на „развалины своего бесполезнаго прошедшаго“, онъ спрашиваетъ себя: отчего все это?—и отвѣчаетъ: „оттого, что мнѣ не дано практическаго пониманія дѣйствительности, оттого, что умъ мой воспитали мечтаніями, не дали ему окрѣпнуть, отрезвиться, и пустили на удачу по столбовой дорогѣ жизни... Что было въ моей прежней жизни? Сомнѣнія! Что въ настоящемъ моемъ? Сомнѣнія! Что въ будущемъ? Сомнѣнія!.. Что въ томъ, что я много наблюдалъ, многому выучился? Все это знаніе больше ничего, какъ слова, слова, слова!.. Да и вся моя жизнь—не болѣе какъ противорѣчія, противорѣчія, противорѣчія!“... Если Салтыковъ вложилъ, такимъ образомъ, въ уста Нагибина нѣкоторыя изъ своихъ задушевныхъ убѣжденій, то отсюда не слѣдуетъ еще, конечно, чтобы онъ изобразилъ въ немъ самого себя. Внутренняя жизнь Салтыкова отразилась въ героѣ „Противорѣчій“ развѣ настолько, насколько внутренняя жизнь Гёте — въ Вертерѣ или Клавиге. И тамъ, и тутъ нѣкоторыя черты берутся изъ душевнаго міра самого автора—но такія черты, съ которыми онъ борется, отъ которыхъ хочетъ отрѣшиться. Онъ доводится, въ разсказѣ или драмѣ, до своего полнаго развитія, до своего логическаго конца—и въ этомъ объективированіи ихъ авторъ находитъ желанную свободу. Нагибинъ—это одинъ изъ первыхъ, въ хронологическомъ порядкѣ, „лишнихъ людей“, „заѣденныхъ рефлексіей“; это—родной братъ героя „Аси“, это—„русскій человѣкъ на rendez-vous“, десятью годами позже, именно по поводу „Аси“, изображенный Чернышевскимъ. Героиня „Противорѣчій“, Таня, также напоминаетъ Асю — насколько блѣдный абрисъ можетъ напоминать художественно-законченную картину. Таня беретъ на себя инициативу, на которую неспособенъ Нагибинъ; она первая говоритъ ему о любви, первая зоветъ его на свиданье; она упрекаетъ его въ трусости, какъ Рудина—Наталя. Нагибинъ безсиленъ идти за нею, безсиленъ и оставить ее, пока гордіевъ узелъ не разсѣкается грубою рукой родителей Тани. Выходъ изъ „противорѣчій“, не находимый Нагибинымъ, но безмолвно указываемый авторомъ—это признаніе правъ жизни и страсти, тѣхъ правъ, за которыя съ такимъ блескомъ, десятью или пятнадцатью годами раньше, ратовала Ж.-Зандъ. На это намекаетъ и эпиграфъ новѣсти, заимствованный изъ Сенеки: „*natura duce utendum est; hanc ratio observat, hanc consulit; idem est ergo beate vivere, et secundum naturam*“ (вождемъ человѣка должна быть природа; ей слѣдуетъ,

съ ней совѣтуется разумъ; жить блаженно—значить жить согласно съ требованіями природы).

Изложеніе сюжета первой повѣсти Салтыкова, равно какъ и критическая ея оцѣнка, не входятъ въ составъ нашей задачи; мы беремъ изъ нея только то, что имѣетъ сколько-нибудь автобіографическій характеръ. Съ этой точки зрѣнія заслуживаютъ вниманія еще слѣдующія слова Нагибина: „будущее общаетъ мнѣ только горестный рядъ преслѣдованій и лишеній, лишеній ничтожныхъ и мелкихъ, если хотите, но тѣмъ не менѣе безпрестанныхъ и безотвязныхъ, съ которыми нельзя бороться—до того они неуволнимы, до того ничтожны. Еще еслибъ меня ждало какое-нибудь сильное несчастье—но нѣтъ, меня ждутъ умѣренность и аккуратность, двѣ большія добродѣтели, коли хотите, но въ которыхъ скорѣе слышится отрицаніе жизни, нежели жизнь“. Страхъ передъ „мелочами жизни“, боязнь попасть подъ иго „умѣренности и аккуратности“—это первая форма глубокаго отвращенія къ нимъ, проникающаго повдѣйшую дѣятельность Салтыкова. Съ отголосками того же страха мы встрѣчаемся еще разъ много лѣтъ спустя, когда Салтыковъ, уѣзжая изъ Вятки, съ ужасомъ говоритъ объ ожидающихъ его „новыхъ хлопотахъ, новыхъ искательствахъ“, когда ему кажется, что „въ сердцѣ его царствуетъ преступная вялость“ („Губернскіе Очерки“—„Дорога“, стр. 350). Примиреніе съ будничной „тиной“, погруженіе въ омутъ мелкихъ житейскихъ дразгъ—вотъ, очевидно, кошмаръ, пугавшій Салтыкова, пока въ немъ не окрѣпла вѣра въ самого себя. И здѣсь нѣтъ ничего удивительнаго: на его глазахъ тысячи людей, обезсиленныхъ тепличнымъ воспитаніемъ и беззащитныхъ противъ вліяній среды, тонули въ этомъ омутѣ, погразали въ этой тинѣ... Въ другомъ мѣстѣ Нагибинъ сокрушается о томъ, что, познавъ настоящую дѣйствительность и нарисовавъ себѣ образъ иной, будущей дѣйствительности—„не только возможной, но непремѣнно имѣющей быть“,—онъ одинаково неспособенъ найти утѣшеніе какъ въ той, такъ и въ другой. „Не сопоставляя я этихъ двухъ несовмѣстныхъ другъ съ другомъ противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь изъ двухъ представленій дѣйствительности, я былъ бы вполне счастливъ: былъ бы или нелѣпымъ утопистомъ, въ родѣ новѣйшихъ социалистовъ, или прижимистымъ консерваторомъ—во всякомъ случаѣ я былъ бы доволенъ собою. Но я именно по середкѣ стою между тѣмъ и другимъ пониманіемъ жизни; я не утопистъ, потому что утопію свою вывожу изъ историческаго развитія дѣйствительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми

—и не консерваторъ quand même, потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движенія впередъ“. И въ этихъ словахъ, быть можетъ, отразилась одна изъ сторонъ тогдашняго настроенія Салтыкова. Въ слѣдующей повѣсти его—„Запутанномъ дѣлѣ“—есть дѣйствующія лица (Алексисъ и Беобахтеръ), несомнѣнно похожія на „нелѣпыхъ утопистовъ“, а общая мысль повѣсти меньше всего отзывается „консерватизмомъ quand même“ или расположеніемъ къ „застою“... Укажемъ, въ заключеніе, на несомнѣнное сходство между супругами Крошинными въ „Противорѣчіяхъ“ и родителями Никанора Затрапезнаго въ „Пошехонской Старинѣ“; особенно много общаго между Марьей Ивановной Крошиной и Анной Павловной Затрапезной. Марья Ивановна—„женщина-кулакъ, типъ, встрѣчающійся весьма часто, и особенно въ провинціяхъ, гдѣ жизнь женщины исключительно сосредоточена въ узенькихъ рамкахъ фамиліныхъ ея отношеній... Вокругъ нея все тихо, все умерло. Надо же какъ-нибудь доказывать, добить это несносно-тянущееся время, потому что праздность душитъ человѣка; вотъ она и погрязаетъ по уши въ своей семейной грязи, и нѣтъ мѣры обвѣшиваньямъ, обмѣриваньямъ, сплетнямъ и тому подобнымъ дразгамъ! И по совѣсти, нельзя сказать, чтобы она на волосъ во всемъ этомъ была виновата. Окружите ее другою серединою, и вся физіономія ея внезапно измѣняется. Тутъ просто фатумъ, и она безсильна противъ него“. Все это можно было бы сказать и объ Аннѣ Павловнѣ Затрапезной.

„Противорѣчія“ посвящены В. А. Милютину (родному брату Николая и Дмитрія Алексѣевичей). Это былъ талантливый молодой писатель, такъ же много общавшій въ области политическихъ и социальныхъ наукъ, какъ сверстникъ его, Валеріанъ Майковъ, въ области критики. Оба они умерли слишкомъ рано; продолжателемъ ихъ обоихъ явился Н. Г. Чернышевскій. Дружба съ В. А. Милютинымъ служить, до извѣстной степени, указаніемъ на то, въ какомъ направленіи работала тогда мысль Салтыкова; еще яснѣе свидѣлствуютъ о немъ воспоминанія Салтыкова, приведенныя нами выше. Если въ „Противорѣчіяхъ“ чувствуется вліяніе первыхъ романовъ Ж.-Занда („Indiana“, „Valentine“, „Jacques“), то слѣдующая затѣмъ повѣсть Салтыкова: „Запутанное дѣло“, напечатанная въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ 1848 г. (т. 57), за подписью М. С., внушена отчасти второю—соціалистическою—полосой дѣятельности Ж.-Занда, отчасти прямо чтеніемъ авторовъ, подъ обаяніемъ которыхъ находилась въ то время французская писательница, от-

части, наконецъ, „Шинель“ Гоголя и „Бѣдными людьми“ Достоевскаго ¹⁾. Господствующая нота „Запутаннаго дѣла“ — сочувствіе въ униженнымъ и оскорбленнымъ; отсюда только одинъ шагъ до несочувствія къ общественному строю, подъ сѣнью котораго благоденствуютъ унижающіе и оскорбляющіе. На бѣду для Салтыкова, первое сколько-нибудь открытое выраженіе его взглядовъ совпало съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на наши правительственныя сферы февральской революціей во Франціи и мартовскимъ движеніемъ въ Германіи. „Я былъ утромъ, на масляной, въ итальянской оперѣ, — рассказываетъ Салтыковъ („За рубежомъ“, стр. 89—90), — какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но навѣрно не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жвачнымъ равнодушіемъ, которое вполнѣ сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Молодежь едва сдерживала безорыстные восторги. Помнится, въ концѣ спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія... Громадность событія на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась страной чудесъ. Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше. И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства. И вотъ, вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соотвѣтствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы“. Въ этомъ комитетѣ, по словамъ біографическаго очерка „Русской Библіотеки“, „было обращено особое вниманіе на повѣсти Салтыкова, хотя онѣ и были пропущены цензурою“. „Въ мартѣ мѣсяцѣ, — чи-

¹⁾ Эта мысль развита нами болѣе подробно въ нашей статьѣ: „Русская общественная жизнь въ сатиры Салтыкова“.

таемъ мы все въ той же главѣ „За рубежомъ“, — я написалъ повѣсть („Запутанное дѣло“), а въ маѣ уже былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія“. Сопоставленіе этихъ отзывовъ, изъ которыхъ одинъ идетъ прямо отъ Салтыкова, а другой имъ просмотрѣнъ и одобренъ, доказываетъ несомнѣнно, что инициатива административной кары противъ молодого писателя принадлежала — по крайней мѣрѣ по убѣжденію самого Салтыкова — „негласному“ (Бутурлинскому) комитету по дѣламъ печати; не сомнѣемъ ясно только одно — послужила ли поводомъ къ ней одна вторая повѣсть Салтыкова, или обѣ. Всего вѣроятнѣе, что въ „сображеніе“ были приняты обѣ, но главные обвинительные пункты были почерпнуты изъ второй. Нѣсколько иначе рассказанъ ходъ дѣла г. Скабичевскимъ, въ статьѣ, на которую мы уже ссылались. „Надо было случиться, — говоритъ г. Скабичевскій, не объясняя, откуда онъ заимствуетъ сообщаемыя имъ свѣденія, — чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное военному министру гр. Чернышеву за цензурныя неисправности въ „Русскомъ Инвалидѣ“. Это обстоятельство вооружило гр. Чернышева противъ литераторовъ, и, какъ нарочно, въ то время, какъ гр. Чернышевъ находился еще подъ впечатлѣніемъ полученнаго имъ замѣчанія, явился къ нему Салтыковъ, какъ подчиненный, проситься въ отпускъ. Дѣло было подъ Рождество, и Салтыковъ намѣревался провести праздники на свободѣ, вѣроятно у родныхъ. Упустивши совершенно изъ виду, что чиновникъ его занимается литературой, гр. Чернышевъ тутъ только вспомнилъ объ этомъ. „Вы, кажется, въ журналахъ пишете?“ — спросилъ онъ Салтыкова. На утвердительный отвѣтъ послѣдняго гр. Чернышевъ потребовалъ, чтобы онъ представилъ ему свои сочиненія. „Тогда мы и посмотримъ, можно ли васъ отпустить“, — прибавилъ онъ къ этому. Салтыковъ представилъ министру свои два разсказа: министръ поручилъ Н. Кукольнику написать ему о нихъ докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ родѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что такой опасный чловѣкъ, какъ Салтыковъ, служить въ его министерствѣ — и тотчасъ же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ, а Салтыкова уволилъ изъ министерства. Бутурлинскій комитетъ препроводилъ докладъ Кукольника въ третье отдѣленіе — и вотъ, въ одинъ прекрасный день, передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ и объявлено было ему повелѣніе тотчасъ же ѣхать въ Вятку. Все это было сдѣлано такъ поспѣшно, что Салтыковъ едва успѣлъ сложить въ чемоданъ свои

пожиты и долженъ былъ сѣсть на тройку въ легкой шубенѣ, едва достаточной для петербургскаго обихода. Лишь по снисходительности жандарма брату Салтыкова было дозволено, приобрести на скорую руку шубу, вполне годную для далекаго путешествія на перекладныхъ, нагнать путешественника уже за шлиссельбургской заставой и избавить его отъ опасности замерзнуть дорогою". Въ этомъ разсказѣ есть одна явная ошибка или описка: дѣло не могло происходить „подъ Рождество“, потому что „Запутанное дѣло“ появилось въ печати только въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Рѣчь идетъ, очевидно, о Пасхѣ, вторая дѣйствительно была близка. Не совсѣмъ правдоподобными кажутся намъ, затѣмъ, два обстоятельства: чтобы Салтыковъ, будучи помощникомъ секретаря въ канцеляріи министра, долженъ былъ лично подавать ему просьбу объ отпускѣ — и чтобы министру было извѣстно сотрудничество Салтыкова въ журналахъ ¹⁾. Изъ формулярнаго списка Салтыкова не видно, чтобы онъ сначала былъ уволенъ изъ канцеляріи военнаго министра, потомъ — опредѣленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія: сказано просто, что онъ *переведенъ* въ вятское губернское правленіе, Высочайшимъ приказомъ 19-го мая 1848 г. За мѣсяцъ передъ тѣмъ, 11-го апрѣля, Салтыковъ получилъ единовременно полугодовой окладъ жалованья; это была, очевидно, награда, предшествовавшая возбужденію о немъ „политическаго“ дѣла. Если высылка Салтыкова изъ Петербурга состоялась — какъ слѣдуетъ заключить и изъ его собственныхъ словъ, и изъ времени перевода его на службу въ вятское губернское правленіе — въ май мѣсяцъ, то не совсѣмъ вѣроятнымъ является, наконецъ, и разсказъ о шубѣ... Участіе гр. Чернышева въ бѣдѣ, постигшей Салтыкова, требуетъ, какъ намъ кажется, болѣе точныхъ доказательствъ; пока ихъ нѣтъ на-лицо, остается въ силѣ прежнее предположеніе, приписывающее главную роль въ этомъ дѣлѣ Бутурлинскому комитету. Само собою разумѣется, что распоряженіе о высылкѣ Салтыкова изъ Петербурга было сдѣлано третьимъ отдѣленіемъ — но оно было, повидимому, только логическимъ выводомъ изъ приговора, поставленнаго негласнымъ комитетомъ.

О служебной дѣятельности Салтыкова въ Вятѣ извѣстно, до сихъ поръ, очень мало. Онъ былъ зачисленъ сначала (3-го іюля

¹⁾ Припомнимъ, что ни „Противорѣчія“, ни „Запутанное дѣло“ не были подписаны полнымъ, настоящимъ именемъ Салтыкова.

1848 г.) въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, т.-е. пониженъ по службѣ, поставленъ въ самые послѣдніе ряды губернской административной іерархіи; но уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же 1848 года служебное положеніе его улучшилось—онъ былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при вятскомъ гражданскомъ губернаторѣ. Губернаторомъ въ Вяткѣ былъ тогда Середъ, бывшій прежде правителемъ канцеляріи у оренбургскаго военнаго губернатора Перовскаго ¹⁾. Какъ человѣкъ честный, онъ не могъ не оцѣнить молодого чиновника, рѣзко выдѣлявшагося изъ среды провинціальной бюрократіи. Салтыковъ два раза исправлялъ при немъ должность правителя губернаторской канцеляріи (съ мая по августъ 1849 и въ іюнѣ 1850 г.); сверхъ того ему было поручено составленіе по городамъ вятской губерніи инвентарей недвижимыхъ имуществъ, статистическихъ описаній и соображеній о мѣрахъ къ лучшему устройству общественныхъ и хозяйственныхъ городскихъ дѣлъ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ назначенъ совѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. Было ли это при Середѣ, или при его преемникѣ Семеновѣ—не можемъ сказать съ точностью. Въ статьѣ г. Михайлова назначеніе Салтыкова приписывается Семенову, но вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ сообщаетъ, что Середъ оставилъ Вятку въ 1851 г. (онъ былъ переведенъ, по просьбѣ оренбургскаго генераль-губернатора Перовскаго, наказнымъ атаманомъ оренбургскаго казачьяго войска), а Салтыковъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, получилъ должность совѣтника въ 1850 г. Какъ бы то ни было, дѣятельность Салтыкова при новомъ губернаторѣ становится еще болѣе разнообразной. Продолжая работы по описанію и изученію городовъ, онъ состоитъ дѣлопроизводителемъ въ трехъ комитетахъ: о рабочемъ и смирительномъ домахъ, о новомъ порядкѣ отдачи въ арендное содержаніе почтовыхъ станцій и о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Петербургѣ. На него возлагается также распоряженіе вятской очередной выставкой сельскихъ произведеній (лѣтъ за пятнадцать передъ тѣмъ дѣятельную роль по устройству выставки въ той же Вяткѣ игралъ Герценъ; таковъ, видно, былъ удѣлъ „опальныхъ“ или „ссылныхъ“ чиновниковъ, какъ наиболѣе энергичныхъ и интеллигентныхъ). Въ 1853 г. Салтыковъ получаетъ командировку въ Нолинскъ, для обревизованія дѣлопроизводства тамошняго земскаго суда. Всѣ эти порученія—какъ и многія другія, не оста-

¹⁾ См. статью г. Михайлова: „Щедринъ, какъ чиновникъ“, въ „Одесскомъ Листкѣ“ (выдержки изъ нея въ № 213 „Новостей“, 5-го августа 1889 г.).

жившія слѣдовъ въ формулярномъ спискѣ Салтыкова—сослужили большую службу русской литературѣ; они увеличили запасъ матеріала, изъ котораго создались „Губернскіе Очерки“. Одной изъ служебныхъ командировокъ Салтыкова мы обязаны, быть можетъ, нѣкоторыми сценами „Въ острогѣ“, другой—разговоромъ: „Что такое коммерція“, третьей—„Святочнымъ рассказомъ“.

Въ бумагахъ Салтыкова уцѣлѣла, къ счастью, копія съ донесенія, представленнаго имъ губернатору, въ ноябрѣ 1852 г., по весьма интересному дѣлу. Будучи совѣтникомъ губернскаго правленія, Салтыковъ былъ посланъ губернаторомъ, вмѣстѣ съ жандармскимъ офицеромъ, въ слободской уѣздъ, для принятія мѣръ къ прекращенію безпорядковъ, возникшихъ между государственными крестьянами двухъ сельскихъ обществъ (путейскаго и нелѣсовскаго) трушниковской волости. Поводъ къ безпорядкамъ былъ слѣдующій: въ сосѣдствѣ съ землей вышеназванныхъ сельскихъ обществъ находилась казенная оброчная статья, носившая наименованіе *камской*. Числилось въ ней 1846 десятинъ, но съ точностью размѣры ея и границы, при первой сдачѣ ея въ арендное содержаніе (въ 1836 г.), опредѣлены не были. Первый содержатель ея вносить за нее въ казну только 120 рублей ассигнаціями въ годъ. Платя столь ничтожную сумму, онъ не имѣлъ надобности стѣснять крестьянъ требованіемъ обременительнаго для нихъ оброка за лѣсные поляны, которыми они пользовались съ давняго времени безоброчно. Источникомъ дохода для этого арендатора служили только наемные луга по рѣкѣ Камѣ, которые онъ сдавалъ по участкамъ мѣщанамъ заштатнаго города Каа и наиболѣе зажиточнымъ крестьянамъ трушниковской волости. Въ 1841 г. оброчная статья переходитъ въ содержаніе самихъ крестьянъ путейскаго и нелѣсовскаго обществъ, платящихъ за нее 320 рублей въ годъ. Въ 1844 г. преемникомъ ихъ становится кайскій мѣщанинъ Дмитрій Гуднинъ, съ платою по 332 рубля. Въ вводномъ листѣ, выданномъ ему въ 1845 г., не было показано ни число десятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, ни положеніе ея. Вслѣдъ за этимъ начинаются споры крестьянъ съ содержателемъ камской статьи. Послѣдній предъявляетъ претензію на полученіе съ крестьянъ арендной платы за пользованіе починками (лѣсными полянами); крестьяне обязываются къ тому подпиской, но не исполняютъ обязательства, потому что считаютъ починки невходящими въ составъ оброчной статьи. Пререканія между обѣими сторонами не прекращаются во все время аренды Дмитрія Гуднина, продолжавшейся до 1847 г. При новомъ арендаторѣ, крестьянинѣ

Трушниковѣ (платившемъ по 339 рублей въ годъ), наступаетъ затишье; арендаторъ никакихъ требованій къ сосѣдямъ-крестьянамъ не предъявляетъ. Въ контрактѣ, заключенномъ съ Трушниковымъ, пространство оброчной статьи опредѣляется по прежнему въ 1846 десятинъ, но въ подробной описи, выданной арендатору, количество земли показано только въ 720 десятинъ съ саженьями. Въ 1849 г. мѣстный лѣсничій доноситъ палатѣ государственныхъ имуществъ, что камская оброчная статья заросла во многихъ мѣстахъ порослью и не имѣетъ межевыхъ признаковъ. Это не мѣшаетъ тому же лѣсничему выдать новому (съ 1850 г.) арендатору камской статьи, мѣщанину Ивану Гуднину (сыну Дмитрія), опись, существенно отличную отъ прежней; десятинъ, входящихъ въ составъ оброчной статьи, показано здѣсь уже 991, и въ такихъ, между прочимъ, мѣстахъ, которыя на самомъ дѣлѣ въ пользованіи предшествовавшаго арендатора вовсе не состояли. Крестьяне, очевидно, сохраняютъ за собою фактическое обладаніе землею, которою безпрепятственно пользовались при Трушниковѣ; противъ этого протестуетъ новый арендаторъ, требуя возвращенія хлѣба и сѣна, свезенныхъ крестьянами съ лѣсныхъ полянъ. Между тѣмъ границы оброчной статьи по прежнему остаются неопредѣленными; землемѣръ, еще зимою 1849-50 г. получившій предписаніе возобновить межевые признаки, отказывается, полтора года спустя, подъ неосновательнымъ предлогомъ, отъ исполненія этого порученія, а другой землемѣръ, прибывъ на мѣсто лѣтомъ 1852 г., ничего не предпринимаетъ, вслѣдствіе нежеланія понятыхъ указать границы оброчной статьи. Крестьяне то даютъ подписку о согласіи своемъ платить Гуднину оброкъ, то берутъ назадъ это согласіе; Гуднинъ отказывается, наконецъ, отъ дальнѣйшаго содержанія камской статьи, палата предписываетъ лѣсничему принять ее въ хозяйственное распоряженіе—но лѣсничій, вмѣсто того, возобновляетъ переписку о взысканіи съ крестьянъ. Въ непокорныя деревни является временное отдѣленіе земскаго суда; крестьяне не только отказываются отъ платежа взыскиваемыхъ денегъ, но вынуждаютъ станового пристава, помощника окружного начальника и самого арендатора дать подписку, оправдывающую ихъ образъ дѣйствій. При такомъ положеніи дѣла пріѣзжаетъ на мѣсто Салтыковъ. Изъ распроса крестьянъ онъ узнаетъ еще новое обстоятельство, объясняющее ихъ „упорство“: въ 1844 г. спорная земля была нарѣзана имъ землемѣромъ по числу душъ, т.-е. предназначена къ включенію въ составъ земельного ихъ надѣла. Правда, эта нарѣзка была только предварительною, требовавшею еще утверж-

денія начальства; но крестьянамъ мало понятны такія юридическія различія, и они настаиваютъ на своемъ, несмотря на всѣ старанія Салтыкова убѣдить ихъ въ необходимости исполненія предъявляемыхъ къ нимъ требованій. Болѣе уступчивыми крестьяне дѣлаются только тогда, когда трехъ изъ нихъ, считавшихся подстрекателями, берутъ подъ стражу и отсылаютъ въ уѣздный городъ. Арендаторъ, съ своей стороны, соглашается разсрочить взысканіе, даже вовсе отказывается отъ своихъ претензій къ бѣднѣйшимъ крестьянамъ. Дѣло, такимъ образомъ, оканчивается миролюбиво, еще до прибытія вытребованной военной команды.

Заурядный чиновникъ тогдашняго—да и не только тогдашняго—времени счелъ бы свою задачу исполненной и спокойно возвратился бы къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Не такъ отнесся къ дѣлу Салтыковъ. Онъ не только раскрылъ всѣ обстоятельства, вызвавшія „неповиновеніе“ крестьянъ, но подумалъ и о томъ, какъ предупредить повтореніе подобныхъ явленій. Вотъ что онъ пишетъ въ концѣ рапорта: „Крестьяне (данной мѣстности) всѣ вообще находятся въ самомъ бѣдномъ положеніи, и хотя и есть между ними довольно зажиточные, но и они кажутся таковыми только сравнительно съ другими, которые не имѣютъ почти никакихъ средствъ къ существованію. Землю на число душъ по 8-й ревизіи крестьяне до сихъ поръ не надѣлены; нынѣшній надѣлъ произведенъ еще по генеральному межеванію и тогда, конечно, былъ достаточенъ, но въ настоящее время въ нѣкоторыхъ селеніяхъ едва-едва приходится на душу отъ двухъ до трехъ десятинъ удобной земли. Это, вѣроятно, и понудило крестьянъ дѣлать въ свободныхъ казенныхъ земляхъ расчистки, которыя, впослѣдствіи, были введены въ составъ камской оброчной статьи. Земля, находящаяся во владѣніи крестьянъ, самаго посредственнаго качества; хлѣба родятся едва-едва самъ-третій, а болѣею частью самъ-другъ и самъ-другъ съ половиной. Сѣнокосовъ хорошихъ нѣтъ вовсе, ибо всѣ крестьянскіе сѣнокосы лежатъ по болотистымъ мѣстамъ, а лучшіе луга, понимаемые весеннимъ разливомъ р. Камы, введены въ составъ оброчной статьи и изъ пользованія крестьянъ изъяты. Само собою разумѣется, что при недостаткѣ луговъ скотоводство крестьянъ находится въ самомъ жалкомъ положеніи, а отъ этого необходимо должно страдать и самое хлѣбопашество. Промыслы, которыми занимаются крестьяне для заработка денегъ, необходимыхъ на уплату податей, заключаются въ выработкуъ и поставку угля для сосѣднихъ желѣзнодорожныхъ заводовъ, въ поставку дровъ для соловарен-

ныхъ заводовъ пермской губерніи и въ занятіи бурлачествомъ по рѣкѣ Камѣ. Выгоды, приобретаемыя этими промыслами, такъ незначительны, что вырабатываемыхъ денегъ едва достаточно на уплату государственныхъ податей за семейства, состоящіе нерѣдко изъ трехъ и четырехъ душъ при одномъ работникѣ, на прокормленіе самихъ работниковъ во время отсутствія изъ дома и на покупку самыхъ необходимыхъ домашнихъ потребностей, какъ-то соли и пр. Соображая все объясненное выше, я съ своей стороны нахожу, что причины, побудившія крестьянъ къ возмущенію, заключаются въ слѣдующемъ: 1) въ самомъ положеніи крестьянъ, которое, дѣйствительно, представляется столь бѣдственнымъ, что съ перваго взгляда обращаетъ на себя особенное вниманіе, и 2) въ томъ недоразумѣніи, которое возникло между крестьянами отъ неотграниченія и неприведенія въ извѣстность камской статьи. Крестьяне, видя, что при одномъ содержателѣ статьи сей въ составъ ея входитъ болѣе, при другомъ—менѣе пространства, легко могли заподозрить въ этомъ дѣлѣ произволъ какъ со стороны содержателя, такъ и со стороны лица, вводившаго его во владѣніе статьею ¹⁾. Хотя въ настоящее время безпорядки прекращены и бунтовщики приведены въ надлежащее повиновеніе, я не могу, однакоже, не сказать, что, по моему мнѣнію, единственный способъ водворить между крестьянами прочный порядокъ и тишину заключается въ скорѣйшемъ надѣленіи ихъ землею по числу душъ восьмой ревизіи, причемъ, такъ какъ почти всѣ свободныя казенныя земли этого края таковы, что нарѣзка ихъ крестьянамъ нисколько не послужитъ къ улучшенію ихъ быта, а напротивъ того потребуетъ отъ нихъ же значительнаго труда и издержекъ, которые могутъ вознаградиться развѣ черезъ весьма долгое время, то я полагаю бы въ число земель, предполагаемыхъ къ надѣлу крестьянамъ по восьмой ревизіи, включить и камскую статью, въ полномъ ея составѣ. Тѣмъ болѣе, по мнѣнію моему, предположеніе это заслуживаетъ уваженія, что статья сія составила изъ лѣсныхъ полянъ, на расчистку которыхъ этими же крестьянами употреблено не одинъ десятокъ лѣтъ²⁾.

Исторія камской оброчной статьи представляетъ прекрасный

¹⁾ Въ первоначальномъ наброскѣ бумаги за этими двумя пунктами слѣдовали еще два, впоследствии зачеркнутые Салтыковымъ. Въ одномъ изъ нихъ указывалось на бездѣйствіе палаты государственныхъ имуществъ, ограничивавшейся „отпиской“ и ни разу не потрудившейся серьезно выискнуть въ положеніе крестьянъ, а въ другомъ—на заключеніе палатой съ Гудининымъ такого контракта, который свидѣлствовалъ о совершенномъ ея незнакомствѣ съ предметомъ сделки.

образчикъ экономическихъ отношеній и служебныхъ нравовъ, съ которыми на каждомъ шагѣ приходилось встрѣчаться Салтыкову. Съ одной стороны—бѣдность, граничащая съ нищетой, тяжелый трудъ изъ-за насущнаго хлѣба, незнаніе и непониманіе закона; съ другой стороны—бездушное бумагомараніе, игнорированіе самыхъ вопіющихъ народныхъ нуждъ, безконечная канцелярская волокита. Въ продолженіе шестнадцати лѣтъ учрежденія, завѣдующія государственными имуществами, не могутъ установить съ точностью ни пространства, ни границъ земельного участка, нѣсколько разъ переходящаго изъ однихъ рукъ въ другія. Содержателю оброчной статьи сдается вѣчто неопредѣленное, безпрестанно измѣняющееся въ объемѣ. Крестьянъ точно дразнятъ, то отнимая, то возвращая необходимую имъ землю, многолѣтнимъ ихъ трудомъ отвоеванную изъ-подъ лѣса. Виноватыми являются, очевидно, не одни только лѣнныя или недобросовѣстные исполнители; значительная доля отвѣтственности падаетъ на систему, при которой двѣнадцати-рублевая прибавка къ арендной платѣ признается достаточнымъ основаніемъ къ отобранію земли отъ крестьянскихъ обществъ, не могущихъ существовать безъ нея, и къ передачѣ ея частному лицу, дѣлающему изъ нея предметъ аферы. Эта система пережила эпоху реформъ и поколебалась лишь недавно, когда крестьянскимъ обществамъ предоставлено было преимущественное право на арендованіе свободныхъ казенныхъ земель. Настаивая на передачѣ камской оброчной статьи сосѣднимъ крестьянскимъ обществамъ, Салтыковъ предугадалъ тотъ путь, на который наше законодательство вступило, и то не вполне, только по прошествіи трехъ десятилѣтій. Бумага, написанная Салтыковымъ въ 1852 г., составляетъ какъ бы приступъ къ позднѣйшей борьбѣ противъ крестьянскаго малоземелья. Онъ не побоялся предложить отдачу крестьянамъ именно той земли, изъ-за которой возникли безпорядки. Ему могли сказать, что удовлетвореніе „бунтовщиковъ“ было бы равносильно поощренію „бунта“—а при его положеніи въ губерніи такое толкованіе его словъ было бы далеко не безопасно. Не останавливаясь передъ личными соображеніями, онъ выразилъ свое мнѣніе съ искренностью и силой, необычными въ до-реформенномъ административномъ мірѣ. Само собою разумѣется, что онъ не скрылъ при этомъ многочисленныхъ упущеній, допущенныхъ въ дѣлѣ о камской оброчной статьѣ вѣдомствомъ государственныхъ имуществъ. Чѣмъ было тогда это вѣдомство въ провинціи—живымъ памятникомъ тому служатъ „Губернскіе Очерки“ (припомнимъ „Озорника“ или „чиновниковъ хозяйственнаго управленія“ въ „Не-

пріятномъ посѣщеніи“), а также „Тяжелый годъ“ въ „Благонамѣренныхъ рѣчахъ“ (герой послѣдняго разсказа, Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ—второй экземпляръ или продолженіе „Озорника“,—стоитъ во главѣ губернскаго управленія государственными имуществами).

По словамъ г. Михайлова, на статью котораго мы уже ссылались, между вятскими сослуживцами Салтыкова было нѣсколько хорошихъ людей, съ которыми можно было „по человѣчески переговорить“. Одного изъ нихъ, А. П. Тиховидова, Салтыковъ рекомендовалъ Муравьеву (сыну извѣстнаго министра и генералъ-губернатора), когда послѣдній, уже послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки, былъ назначенъ вятскимъ губернаторомъ¹⁾. Тиховидовъ, окончивъ курсъ въ казанскомъ университетѣ, былъ учителемъ въ вятской гимназіи и преподавалъ, между прочимъ, реторику и пѣніе. Замѣтивъ въ Тиховидовѣ выдающіяся способности, Салтыковъ посовѣтовалъ ему оставить преподаваніе „искусства, какъ изъ песку веревки вить“, и вступить въ гражданскую службу. Тиховидовъ послѣдовалъ этому совѣту и сдѣлался уѣзднымъ судьей, а потомъ совѣтникомъ уголовной палаты. Во всякомъ случаѣ, Тиховидовъ принадлежалъ къ числу исключеній, и исключеній рѣдкихъ. Вятскій чиновный міръ пятидесятихъ годовъ состоялъ, болѣею частью, изъ оригиналовъ портретной галереи, наполняющей „Губернскіе Очерки“. Съ постояннымъ ихъ сосѣдствомъ Салтыковъ примириться никакъ не могъ. Яркую картину настроя, овладѣвшаго имъ черезъ нѣсколько лѣтъ вятской жизни, мы находимъ въ „Скукѣ“ („Губернскіе Очерки“, стр. 168). „Когда я ѣхалъ въ Крутогорскъ (т.-е. въ Вятку), то мнѣ казалось, что я долженъ на дѣлѣ принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданинъ обязанъ положить на алтарь отечества. Думалось мнѣ, что въ самой случайности, бросившей меня въ этотъ край, скрывается своего рода предопредѣленіе... Юношескія мечты, тщетныя мечты!.. Чтѣ я сдѣлалъ, какіе подвиги совершилъ?.. О, провинція! ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!.. Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мысленія такъ обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда вкругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль?.. Да, жалко, по истинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Неза-

¹⁾ Если вѣрить г. Михайлову, указаніямъ Салтыкова слѣдуетъ приписать болѣшую часть опредѣленій и увольненій, послѣдовавшихъ въ вятской губерніи при губернаторѣ Муравьевѣ.

мѣтно, мало-по-малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкарадется матушка-лѣнь, и такъ крѣпко сожметъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда“. Эта участь не постигла Салтыкова—но его страшилъ его призракъ, его мучила мысль о возможности успокоенія и усыпленія. Съ такими будильниками, какъ дѣло о камской оброчной статьѣ, до-реформенный чиновникъ встрѣчался, безъ сомнѣнія, крайне рѣдко; не даромъ же между бумагами Салтыкова нашлась только одна, относящаяся къ его вятской службѣ...

Точекъ опоры, для того чтобы устоять противъ засасывающего дѣйствія провинціальной „тины“, Салтыковъ искалъ, повидимому, въ своихъ воспоминаніяхъ о прошедшемъ и въ литературно-научныхъ занятіяхъ. О характерѣ первыхъ свидѣлствуетъ несомнѣнно тотъ же очеркъ („Скука“), на который мы только-что ссылались. „Были у меня инныя времена, окружали меня иные люди, все иное! Были глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру!.. Гдѣ-то вы, друзья и товарищи моей молодости?.. Помню я долгіе зимніе вечера и наши дружескія, скромныя бесѣды, заходившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ это время, какая глубокая вѣра въ будущее, какое единодушіе надеждъ и мысли оживляло всѣхъ насъ! Помню я и тебя, многолюбивый и незабвенный другъ и учитель нашъ! Гдѣ ты теперь? Какая желѣзная рука сковала твои уста, изъ которыхъ лились на насъ слова любви и упованія?“ Недостатокъ живой бесѣды съ единомышленниками-друзьями Салтыковъ старался пополнить чтеніемъ. Въ его бумагахъ сохранились замѣтки, озаглавленные: „Объ идеѣ права“; сохранился также приступъ къ біографіи Беккаріи; и то, и другое написано на бланкахъ „совѣтника вятскаго губернскаго правленія“. Въ бланкѣ, на которомъ начата біографія Беккаріи, вложенъ листъ бумаги съ нѣсколькими выписками изъ этого писателя; къ одной изъ нихъ присоединено возраженіе Салтыкова. „Люди,—говоритъ Беккаріа,—согласились, молчаливымъ контрактомъ, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальнымъ спокойно и чтобы воздерживать постоянныя усилія отдѣльныхъ лицъ къ возстановленію полной свободы“. Нельзя себѣ представить,—замѣчаетъ по этому поводу Салтыковъ,—„чтобы человѣкъ могъ добровольно отказаться отъ части свободы, да и нѣтъ въ томъ никакой необходимости“. Замѣтки „объ идеѣ права“ также, повидимому, внушены чтеніемъ Беккаріи; но, судя по нѣкоторымъ выраженіямъ, онѣ принадлежать, всецѣло или болѣею частью,

самому Салтыкову. Мы приведемъ изъ нихъ все болѣе существенное. Начинаются онѣ указаніемъ на важность сравнительнаго изученія уголовныхъ законовъ, въ которыхъ „отражается, со всѣми ея безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внѣшняя жизнь народовъ. Если нравы народа мягки, если въ сознаніи народномъ живетъ идея правды, то законодатель является не исключительнымъ запретителемъ или равнодушнымъ карателемъ извѣстной категоріи дѣйствій, называемыхъ преступленіями. Спускаясь въ глубочайшіе тайники природы человѣческой, онѣ приходятъ если не въ полному признанію ея слабостей и заблужденій, то, по крайней мѣрѣ, къ тому полному любви и снисхожденія взгляду, при которомъ извѣстное дѣйствіе является не столько преступленіемъ, сколько результатомъ ненормальнаго, болѣзненнаго состоянія челоѣка. Напротивъ того, если дикость и необузданность составляютъ главную черту народнаго характера, уголовный кодексъ его является полнымъ жесткости и исключительности, принимаетъ формы отрицательныя, не хочетъ имѣть дѣла ни съ побудительными причинами дѣйствій, ни съ ихъ послѣдствіями. Рѣдко случается такъ, что уголовный кодексъ является не продуктомъ народной жизни, а чѣмъ-то случайнымъ, внѣшнимъ, примѣненнымъ къ народу безъ всякой живой съ нимъ связи. Такіе факты никогда не проходятъ даромъ; рано или поздно народъ разобьетъ это Прокустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его. Какъ бы ни былъ младенчески неразвитъ народъ (а гдѣ же онѣ развитъ?), онѣ все-таки никогда не хочетъ ульчаться въ тѣсныя рамки искусственно задуманной административной формы“. За этимъ общимъ вступленіемъ—не лишеннымъ, думается намъ, внутренней связи съ служебнымъ опытомъ Салтыкова ¹⁾,—идутъ отдѣльныя замѣчанія, изъ которыхъ, повидимому, должно было, въ послѣдствіи времени, сложиться нѣчто цѣлое. „Что такое преступленіе? Не есть ли это дѣйствіе воли челоѣка, направленное къ увеличенію суммы личнаго благосостоянія, дѣйствіе вполне законное, если оно направлено такъ, что не приноситъ ущерба другимъ, и преступное, если оно влечетъ этотъ ущербъ“... „Причины, имѣющія вліяніе на мѣру наказанія—образованность, чувствительность, предрасудки касты и т. п.—такъ неуловимы, что не могутъ быть принимаемы въ расчетъ. Притомъ въ

¹⁾ Чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ и совѣтникъ губернскаго правленія часто являлись, въ до-реформенное время, чѣмъ-то въ родѣ судебныхъ слѣдователей по особенно важнымъ дѣламъ. Что Салтыковъ не избѣгъ этой участи—доказательствъ тому въ „Губернскихъ Очеркахъ“ немало. Отсюда неизбежно происходило знакомство съ уложеніемъ о наказаніяхъ.

самой грубой кастѣ могутъ быть исключенія; почему же это исключеніе повесеть на себѣ инфамію, сопряженную съ идеей всей касты? Поэтому самое лучшее тутъ: обслѣдовать всю жизнь преступника". Чтобы понять мысль Салтыкова объ „инфаміи, сопряженной съ идеей касты", нужно припомнить, что для лицъ непривилегированныхъ сословій наказаніе плетью и наложеніе клеймъ служило *прибавкой* къ главному наказанію (ссылкѣ въ каторгу или на поселеніе), которому они подвергались наравнѣ съ лицами привилегированными... „Есть преступленія прямо противъ естественнаго права, противъ личности; есть преступленія противъ гражданскаго (искусственнаго) права, но которое такъ срослось съ нами, что принадлежитъ къ первой категоріи (преступленія противъ собственности, противъ чести и т. д.); наконецъ, есть преступленія, принадлежащія исключительно духу времени (политическія). Первые для всѣхъ запрещены, вторыя—только для тѣхъ которые достаточно развиты... *Развить это* ¹⁾. Первые не требуютъ подробнаго указанія въ законѣ, вторыя и особенно третьи должны быть указаны до мельчайшей подробности". Несмотря на всю отрывочность всѣхъ этихъ вышеприведенныхъ нами замѣчаній, они показываютъ съ достаточною ясностью, въ какомъ направленіи работала мысль Салтыкова... На другомъ листѣ, относящемся, судя по почерку и бумагѣ, приблизительно къ тому же времени, начато, повидимому, разсужденіе о томъ, имѣетъ ли всякій членъ общества право требовать отъ него насущнаго хлѣба. На этотъ вопросъ дается отрицательный отвѣтъ, но въ такихъ выраженіяхъ, которые едва ли заключаютъ въ себѣ настоящую мысль автора. „Пусть всякій въ этомъ мірѣ отвѣчаетъ за себя и для себя! Тѣмъ хуже для тѣхъ; которые считаются лишними на землѣ! Слишкомъ много было бы хлопотъ, еслибы нужно было давать хлѣба всѣмъ вопіющимъ о голодѣ!.. Такъ какъ населеніе безпрестанно стремится превзойти средства къ существованію, то милосердіе есть безуміе, есть поощреніе къ нищенству". Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что Салтыковъ хотѣлъ выставить въ самомъ яркомъ свѣтѣ крайности мальтузіанства—и затѣмъ перейти къ его опроверженію... Между бумагами Салтыкова оказалось еще нѣсколько страницъ выписокъ, въ русскомъ переводѣ, изъ Токвиля („De la démocratie en Amérique), Вивьена („Etudes administratives") и Шерьеля

¹⁾ Этой оговоркой объясняется кажущаяся парадоксальность нѣкоторыхъ изъ числа вышеприведенныхъ замѣтокъ. Мы имѣемъ здѣсь дѣло, очевидно, только съ бѣглыми набросками мыслей, занимавшихъ и волновавшихъ Салтыкова.

(„Histoire del' administration monarchique en France“), также, кажется, сдѣланныхъ въ Вяткѣ или вскорѣ послѣ выѣзда оттуда. И здѣсь можно найти нѣкоторыя указанія не только на то, что занимало Салтыкова, но и на то, что ему нравилось. Вотъ, напримеръ, что онъ выписываетъ изъ Токвиля и Вивьена: „Центральная власть, какъ бы ни была просвѣщенна, не можетъ объять всѣ подробности жизни великаго народа; когда она хочетъ своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается въ безплодныхъ усиліяхъ“... „Предупредительный элементъ ослабляетъ правительство. Оно дѣлается отвѣтственнымъ за все, дѣлается причиною всѣхъ золъ и порождаетъ къ себѣ ненависть. Съ другой стороны, граждане теряютъ всякую самостоятельность“...

Къ вятскому періоду жизни Салтыкова относится, наконецъ, составленіе для сестеръ Е. А. и А. А. Болтинныхъ, изъ которыхъ одной суждено было сдѣлаться его женою ¹⁾, „Краткой исторіи Россіи“. Написанная, какъ сказано въ заглавіи, по разнымъ источникамъ и доведенная до Петра Великаго, она заключаетъ въ себѣ сорокъ довольно мелко исписанныхъ листовъ, и стоила Салтыкову, очевидно, не малаго труда. Характеристичнаго въ ней немного, сходнаго съ будущей „Исторіей одного города“ — ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ назначеніемъ рукописи — служить какъ бы учебникомъ для молодыхъ дѣвушекъ, почти дѣвочекъ. Въ самомъ способѣ изложенія ничто не напоминаетъ позднѣйшую манеру автора. Приведемъ нѣсколько выписокъ, только для того, чтобы показать, какъ мало Салтыковского въ этомъ юношескомъ произведеніи Салтыкова. „Личность сына Василия Темнаго — одна изъ самыхъ замѣчательныхъ въ русской исторіи. Іоаннъ Третій является довершителемъ намѣреній и политики своихъ предковъ, и довершителемъ не только счастливымъ, но и въ высшей степени благоразумнымъ“... „До Федора Іоанновича крестьяне обыкновенно переходили отъ одного помѣщика къ другому. Обыкновеніемъ этимъ болѣе всего пользовались богатые помѣщики, имѣвшіе обширныя земли. Они имѣли всѣ средства принимать крестьянъ на болѣе выгодныхъ условіяхъ, нежели помѣщики бѣдные, и потому земли послѣднихъ почти всегда оставались необработанными. Для пресѣченія этого зла постановлено

¹⁾ Отецъ Е. А. и А. А. Болтинныхъ былъ вятскимъ вице-губернаторомъ; въ его домѣ Салтыковъ скоро сталъ своимъ человекомъ... „Краткая исторія Россіи“ написана Салтыковымъ въ тверской его деревнѣ, куда онъ получилъ позволеніе съѣздить въ 1868 или 1864 г. Онъ прислалъ ее оттуда листами, чтобы напомнить о себѣ своимъ добрымъ знакомымъ.

было, чтобы крестьяне отнынѣ навсегда оставались на тѣхъ земляхъ, на которыхъ застало ихъ царское повелѣніе“ (больше о закрѣпощеніи крестьянъ не сказано ни слова)... „Уложение царя Алексѣя Михайловича — сводъ законоположеній по различнымъ частямъ государственнаго управленія, разсмотрѣнный и одобренный выборными чинами изъ всѣхъ сословій. Главнѣйшею мыслью его было равенство суда для всѣхъ лицъ и званій; смягчены были также многія наказанія“ (этимъ исчерпывается оцѣнка уложения)... „Язвою русскаго государства были старообрѣ. Секта эта возникла по случаю исправленія церковныхъ книгъ. Нѣкоторые изъ исправителей издали имѣвшіеся у нихъ въ рукахъ списки не только безъ исправленій, но даже съ ложными толкованіями. Патриархъ Никонъ жестоко преслѣдовалъ такихъ ересіарховъ и высылалъ ихъ изъ Москвы. Возникла ересь, распространившаяся съ необычайной быстротой. Дерзость старообрѣвовъ дошла до того, что они не усомнились окружить Успенскій соборъ во время патриаршаго служенія и настойчиво требовали публичнаго пренія“. Заслуживаетъ вниманія, самъ по себѣ, только взглядъ Салтыкова на Іоанна Грознаго, почти всецѣло совпадающій съ мнѣніемъ Кавелина ¹⁾. „Ничто не укрывалось отъ взора Іоанна, — говоритъ Салтыковъ, характеризуя лучшую эпоху его царствованія (1547—60); — вездѣ, во всѣхъ принятыхъ мѣрахъ видно непосредственное участіе его, всѣ онѣ отмѣчены его гениемъ“. Грозному царю ставится въ заслугу борьба съ боярствомъ, въ особенности на почвѣ мѣстнаго управленія; упоминается объ учрежденіи судебныхъ старостъ и цѣловальниковъ, призванныхъ къ тому, „чтобы лишить областныхъ правителей возможности грабить народъ“. Съ этой же точки зрѣнія одобряется значеніе, данное дьякамъ, а также введеніе въ думу „начала личныхъ заслугъ“, установленіемъ „званія думныхъ дворянъ“. Переменна, происшедшая въ Іоаннѣ, объясняется „тѣми неудачами, тѣмъ постояннымъ противодѣйствіемъ, которое Іоаннъ встрѣчалъ со стороны всѣхъ окружавшихъ его для приведенія въ исполненіе своихъ реформъ“. Упрекъ въ корыстолюбіи, въ „непониманіи государственныхъ интересовъ“ распространяется и на тѣхъ „незнатныхъ людей“, которыми Іоаннъ думалъ замѣнить бояръ. Россія — таково заключеніе автора — „была еще недовольно развита“ для реформъ,

¹⁾ Мнѣніе Кавелина объ Іоаннѣ Грозномъ было выражено въ статьѣ: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи“. Эта статья, впоследствии вошедшая въ составъ „сочиненій“ Кавелина (изд. 1859 г., т. I; см. въ особенности стр. 355—363), была напечатана въ „Современникѣ“ 1847 г. и, слѣдовательно, была извѣстна Салтыкову, который несомнѣнно руководствовался ею.

задуманныхъ Іоанномъ. Даже учрежденіе опричнины оправдывается тѣмъ, что оно, „повидимому, имѣло цѣлью осуществленіе давней мысли Іоанна: создать служебное дворянство и замѣнить имъ родовое вельможество“. Неудачу опричнины Салтыковъ приписываетъ опять-таки „недостаточной развитости“ Россіи; „люди, которыхъ Іоаннъ удостоивалъ своею довѣренностью, отнюдь не оправдывали ея, а, напротивъ того, употребляли ее во зло, возмущая душу царя разными навѣтами и клеветами“. О злодѣйствахъ Іоанна Салтыковъ не говоритъ почти вовсе, щадя, можетъ быть, чувствительность своихъ ученицъ — а можетъ быть и репутацію своего любимца. Чѣмъ вызывалось снисходительное отношеніе Салтыкова къ Іоанну Грозному — это, въ виду приведенныхъ нами выпискъ, не требуетъ дальнѣйшихъ объясненій. Салтыкову, какъ и Кавелину, было симпатично общее направленіе внутреннихъ реформъ грознаго царя.

Насталъ, наконецъ, моментъ освобожденія Салтыкова изъ семилѣтняго вятскаго плѣна. Снятіемъ съ него полицейскаго надзора онъ былъ обязанъ, по словамъ г. Михайлова, новому вятскому губернатору, Ланскому. Вскорѣ послѣ того, 12-го февраля 1856 г., онъ былъ уволенъ отъ должности совѣтника вятскаго губернскаго правленія, съ причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Выѣхалъ онъ изъ Вятки еще раньше, въ ноябрѣ, „по первому снѣгу („Губернскіе Очерки“, „Дорога“, стр. 347). „Я оставляю Крутогорскъ окончательно, — пишетъ Салтыковъ въ той же „Дорогѣ“; — предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечталъ, къ которой устремлялся всѣми силами души своей... И между тѣмъ внутри меня совершается странное явленіе! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце... Я огорченъ, я подавленъ и уничтоженъ... Мнѣ кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, чтó я любилъ, чѣмъ былъ счастливъ, что я неожиданно очутился одинъ, отторгнутый отъ всего живого... Ужели я въ Крутогорскѣ оставилъ часть самого себя? Да! не могъ же я жить даромъ столько лѣтъ, не могъ не оставить послѣ себя никакого слѣда! И бессознательная былинка не живетъ даромъ, и та своей жизнью хоть незамѣтно, но непремѣнно воздѣйствуетъ на окружающую природу... ужели же я ниже, ничтожнѣе этой былинки? Или, быть можетъ, я сожалѣю о напрасно прожитыхъ лучшихъ годахъ моей жизни? Быть можетъ, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь переменъ жизни, которая предстоитъ мнѣ? И въ самомъ дѣлѣ, чтó ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, новыя

хлопоты, новыя исцеленія? А я такъ усталъ ужъ, такъ разбитъ жизнью, какъ разбита почтовая лошадь ежечасною ѣздою по каменистой дорогѣ! И не то чтобъ я, въ самомъ дѣлѣ, много жилъ, много извѣдалъ, много выстрадалъ... Нѣтъ, я чувствую, что въ этомъ отношеніи я еще свѣжъ и непороченъ, какъ дѣвственница, и между тѣмъ сознаю, что душа моя дѣйствительно огрубѣла, а въ сердцѣ царствуетъ преступная вѣлость. Ужели же я погибну, не живши?—спрашиваю я себя, и вдругъ чувствую нестерпимый приливъ крови въ жилахъ. Мнѣ хочется бѣжать-бѣжать, кричать-кричать... Но вмѣстѣ съ тѣмъ я, какъ выздоравливающій больной, ощущаю, что мнѣ сильный моціонъ еще не по силамъ, что одно желаніе моціона порождаетъ уже ослабленіе и усталость во всѣхъ моихъ членахъ“...

„Выздоровленіе“ Салтыкова совершилось, какъ извѣстно, весьма быстро—или, лучше сказать, самая болѣзнь его была только кажущаяся. Представимъ себѣ богатыря, много лѣтъ просидѣвшаго съ связанными руками, въ небольшой тюремной кельѣ. Внезапно освобожденный, онъ не сразу чувствуетъ въ себѣ присутствіе дремавшей силы; пройдетъ нѣсколько времени, прежде чѣмъ онъ расправитъ могучія руки и опять двинется впередъ исполинскими шагами... У Салтыкова переходный періодъ былъ тѣмъ болѣе неизбеженъ, что судьба бросила его въ Вятку молодымъ, едва испробовавшимъ свое дарованіе и наклоннымъ, какъ мы уже видѣли, къ сомнѣнію въ самомъ себѣ. Въ центрѣ Россіи, куда онъ возвращался, многое, вдобавокъ, перемѣнилось; наступала другая эпоха, пока заявившая себя, по позднѣйшему выраженію Салтыкова, только „замѣной мундирныхъ фраковъ мундирными полукафтанами“, но обѣщавшая нѣчто иное, гораздо больше... Салтыкову снилась въ дорогѣ погребальная процессія „прошлыхъ временъ“; но въ голосъ того, кто объяснялъ ему ея значеніе, слышалась „болѣзненная иронія“. Надежды на будущее смѣшивались съ опасеніями, основанными на близкомъ знакомствѣ съ прошедшимъ—прошедшимъ, олицетвореніемъ котораго служилъ для Салтыкова чиновный Крутогорскъ. За чиновнымъ, официальнымъ Крутогорскомъ разстилался, однако, цѣлый крутогорскій край, „далекій и никѣмъ нетронутый, просторный и простодушный“ (см. введеніе къ „Губернскимъ Очеркамъ“). Этотъ край былъ милъ Салтыкову, о немъ онъ жалѣлъ, даже вырываясь на волю. Здѣсь Салтыковъ въ первый разъ почувствовалъ свою близость къ той „пошехонской странѣ“, которая оставалась ему „родственной и достолюбезной“ до самой смерти.

„Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса; но въ особенности милъ населяющій ея людѣ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Бѣдная эта страна—ее надо любить“¹⁾. Эти слова написаны почти тридцать лѣтъ спустя послѣ возвращенія Салтыкова изъ ссылки; но основная ихъ нота звучитъ уже въ „Губернскихъ Очеркахъ“; она запала въ душу Салтыкова еще въ его „Крутогорскѣ“.

К. Арсеньевъ.



¹⁾ „Помехонскіе рассказы“, т. VII, стр. 454.

ПОЭТЪ „ПОШЛОСТИ“

(ОТРЫВОКЪ).

I *).

Прошлымъ лѣтомъ (1880 г.) мыслящая Россія заплатила свой долгъ одному изъ великихъ ея воспитателей—Пушкину. И тогда же возникла мысль (неосуществленная до сихъ поръ) почтить и другого подвижника—Гоголя. Памятникъ ему предположено поставить въ той же Москвѣ, уже украшенной памятникомъ *Пушкину*.

Что напишутъ на этомъ памятникѣ? Онъ не подсказалъ самъ такой надписи, какъ это сдѣлалъ Пушкинъ. Онъ не владѣлъ и тѣмъ сильнымъ, выразительнымъ стихомъ, который увѣковѣчиваетъ мысль въ краткой, но идеально красивой формулѣ. Гоголь оставилъ намъ поэму,—поэму безсмертную, но эта поэма написана прозой. Трудно найти въ сочиненіяхъ Гоголя строку, фразу, которыя бы сами по себѣ, безъ всякаго труда съ нашей стороны, могли бы полно и цѣлостно выразить все его великое дѣло. Но о томъ слѣдуетъ подумать; слѣдуетъ еще и еще разъ вникнуть въ эти безсмертныя творенія, поставившія Гоголя въ рядъ съ величайшими писателями нашими, сдѣлавшими его однимъ изъ главнѣйшихъ выразителей народнаго русскаго гения.

*) Въ бумагахъ покойнаго А. Д. Градовскаго, между прочимъ, нашлась статья о Гоголѣ, начатая, какъ видно изъ первыхъ словъ ея, въ началѣ 80-хъ годовъ, но оставшаяся, къ сожалѣнію, незаконченной. Это не мѣшаетъ внутренней цѣльности ея; основная мысль автора — большого поклонника Гоголя, въ чтеніи его находившаго лучшій отдыхъ послѣ занятій—успѣла выразиться уже и въ этомъ отрывкѣ съ достаточною ясностью и опредѣленностью.—*Ред.*

Что же такое былъ Гоголь? Чѣмъ онъ остается для всѣхъ насъ нынѣ? Чѣмъ будетъ онъ для отдаленнѣйшихъ нашихъ потомковъ, ибо подобно Пушкину, онъ въ правѣ былъ сказать про себя:

И славенъ буду я, пока въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ пить...

Рѣшать эти вопросы призваны, конечно, люди, посвятившіе себя литературѣ. Но думаемъ, что и голосу профана найдется мѣсто въ сонмѣ голосовъ авторитетныхъ. И профаны имѣютъ право сказать свое мнѣніе, если они обязаны Гоголю частью нравственнаго воспитанія своего. А кто же не обязанъ имъ Гоголю? Кто не переживалъ всѣхъ страницъ его произведеній, отъ первой до послѣдней? Итакъ, пусть позволено будетъ мнѣ, въ эту минуту, когда Россія готовится воздать почестъ великому нашему художнику, предстать здѣсь въ качествѣ свидѣтеля того, чѣмъ былъ и чѣмъ останется Гоголь для читающей Россіи. Мой голосъ будетъ голосомъ изъ толпы—тѣмъ лучше. Если мнѣ въ самомъ дѣлѣ удастся выразить то, что думаютъ о Гоголѣ именно въ толпѣ, въ массѣ, то это засвидѣтельствуетъ только о силѣ и глубинѣ его вліянія.

Мыслящая Россія поставила памятникъ Пушкину, какъ своему *народному* поэту. Другого названія нельзя дать и Гоголю. Издавна уже вся читающая Россія признала *своимъ*, своимъ кровнымъ роднымъ этого насмѣшливаго малоросса, начавшаго свое художественное поприще малороссійскими идилліями. Почему же Гоголь сдѣлался русскимъ писателемъ и былъ признанъ за такового?

Это явленіе не столь понятно, какимъ оно можетъ показаться на первый взглядъ. Чѣмъ подарилъ Гоголь спеціально Россію? Вывелъ ли онъ на свѣтъ Божій типы, въ которыхъ воплощается вся красота, вся мощь русскаго духа? Нѣтъ, въ его твореніяхъ не проходятъ предъ нами свѣтлые образы пушкинскихъ героевъ. Пушкину удалось оставить намъ образъ Татьяны; Гоголю не удалась его Улинька. Не проходятъ предъ нами и типы дѣятельнаго зла—Борисы Годуновы, Сальери, Мазепы. Гоголевскіе герои, по собственному его выраженію, грѣшатъ не столько прямо, сколько косвенно, не отъ избытка злыхъ чувствъ, но отъ отсутствія какого бы то ни было пониманія. Посмотрите далѣе, какими грандіозными чертами Пушкинъ рисуетъ даже обыденные пороки, въ родѣ Скупости. Въ „Скупомъ рыцарѣ“ онъ ведетъ васъ въ подвалъ, гдѣ скряга произноситъ свой знаменитый монологъ во славу золота и даваемого имъ могущества:

Чтѣ неподвластно мнѣ?... Какъ нѣкій демонъ,
 Отселѣ міромъ править я могу;
 Лишь захочу—воздвигнутся чертоги,
 Въ великолѣпные мои сады
 Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою;
 И музы дань свою мнѣ принесутъ,
 И вольный геній мнѣ поработится,
 И добродѣтель, и безсонный трудъ
 Смирненно будутъ ждать моей награды.
 Я свисну—и ко мнѣ послушно, робко
 Вползетъ окровавленное злодѣйство
 И руку будетъ мнѣ лизать, и въ очи
 Смотрѣть въ нихъ знакъ моей читая воли.
 Мнѣ все послушно—я же ничему;
 Я выше всѣхъ желаній, я спокоенъ;
 Я знаю мощь мою: съ меня довольно
 Сего сознанья...

Вотъ чтѣ думалъ скупой рыцарь, готовясь любоваться золотомъ.
 Но чтѣ же думалъ *Плюшкинъ*, отдавая Прошкѣ приказаніе по-
 ставить самоваръ и велѣтъ Маврѣ принести сухарь изъ кулича,
 который привезла Александра Степановна?

Есть у Пушкина типы „скупающихъ“; есть они у Гоголя;
 уголокъ, гдѣ скучалъ Евгений Онѣгинъ, былъ уголокъ прелестный;
 но не менѣе прелестно мѣсто уединенія Тентетникова. Но срав-
 ните Евгенія Онѣгина съ Тентетниковымъ!

Итакъ, чтѣ же случилось на Руси въ ту минуту, когда Гоголь
 глянулъ на нашу дѣйствительность и воспроизвелъ ее въ своихъ
 „поэмахъ“ и комедіяхъ? Непосредственно предъ нимъ, одинъ
 чародѣй-Пушкинъ выводилъ предъ Россіей грандіозные типы
 добра, любви, порока, чистоты и безобразія. Онъ былъ непо-
 средственнымъ выразителемъ нравственной мощи небольшого слоя
 людей, въ которыхъ преданія лучшихъ временъ Екатерины II
 гармонически сочетались съ лучшими вѣяніями и чаяніями новыхъ
 временъ. Это крѣпкое поколѣніе, видѣвшее глазами своими вели-
 чайшія драмы новыхъ временъ, присутствовавшее при борьбѣ
 гигантовъ нашего вѣка,—это поколѣніе воспитало Пушкина, и для
 него онъ пѣлъ. Ему нужны были образы величавые—все равно,
 что бы ни крылось подъ этими образами: добро или порокъ. „Скупой
 рыцарь“ скроенъ по росту этихъ людей, точно также, какъ Петръ
 въ Полтавѣ или Пименъ въ Чудовомъ монастырѣ.

И этими образами могъ гордиться человѣкъ; судя по нимъ
 о себѣ и о своей странѣ, онъ могъ думать, что и онъ, и его
 страна представляютъ нѣчто грандіозное; онъ могъ любоваться въ
 нихъ величавыми свойствами человѣческой природы, мощью чело-

вѣческаго духа, а чрезъ нихъ и собственнымъ своимъ величіемъ. И вдругъ, въ это время, иной чародѣй вызвалъ къ жизни тѣхъ мелкихъ, пошлыхъ дрянныхъ людей, за которыми на вѣкъ останется имя *юголевскихъ героев*. Чудная страна, населенная въ воображеніи читателей тридцатыхъ годовъ разными свѣтлыми образами, вдругъ наполнилась Маниловыми, Чичиковыми, Плюшкиными, Хлестаковыми, Сквозниками-Дмухановскими, Собакевичами, Коробочками, Земляниками, Кочкаревыми и т. д., и т. д. Россія ахнула отъ изумленія! Дерзость по истинѣ была велика. Самъ творецъ вывелъ на свѣтъ Божій свои типы съ душевнымъ волненіемъ.

Припомнимъ, что онъ говоритъ о „судьбѣ писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ и повседневныхъ характеровъ, которыми кипитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога—и, крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшего выставить ихъ ярко и выпукло на всенародныя очи!“

И это было сдѣлано; сдѣлано притомъ съ такою силою, какой никогда не видѣла Россія; едва ли даже найдется ей равная во всемъ литературномъ мірѣ. Художникъ „дерзнулъ“—и дерзновение его было награждено. Русское общество отвело ему мѣсто подлѣ Пушкина; Пушкинъ и Гоголь какъ бы слились въ одномъ понятіи; въ нихъ одинаково были признаны величайшіе представители русскаго творчества.

Это явленіе требуетъ объясненія, ибо оно не объяснено какъ слѣдуетъ и по сей день.

Дѣло Гоголя объяснялось различно; различно объяснялись и причины выпавшей ему на долю славы. Говорили, что Гоголь есть родоначальникъ такъ-называемаго *отрицательнаго* направленія въ нашей литературѣ. Это объясненіе было одновременно источникомъ похвалъ и поводомъ къ оужденію. Одни радовались, что Гоголь „разобличилъ“, наконецъ, Россію, показалъ въ истинномъ свѣтѣ ея язвы и раскрылъ все внутреннее ничтожество русскаго человѣка. Другіе возставали на него за то, что онъ, умѣвши найти въ своей родной Малороссіи источники свѣтлой поэзіи, въ Россіи нашелъ только дрянное и мерзкое. Неправы тѣ, неправы и другіе. Гоголь вовсе не былъ родоначальникомъ и представителемъ *отрицательнаго*—и тѣмъ паче обличительнаго направленія. Доказывается это тѣмъ, что ни въ одномъ изъ его произведеній не видно желанія сдѣлать изъ своихъ твореній *средство* для ка-

нихъ-нибудь внѣшнихъ и особенно правтическихъ цѣлей. Герои „Мертвыхъ Душъ“ выведены вовсе не для того, чтобы показать всю мерзость крѣпостного права; „Ревизоръ“ написанъ вовсе не для обличенія „кривосудія“ въ старыхъ судебныхъ и административныхъ мѣстахъ нашихъ. Будь у него эта цѣль, пиши онъ только для „злости“ своего дня, его творенія отжили бы свой вѣкъ съ отрицною крѣпостного права и съ обновленіемъ нашего мѣстнаго управленія. Но этого-то и не случилось. Творенія „Гоголя“ пережили старое зло. И пусть Россія идетъ впередъ сколько ей угодно, „гоголевскіе типы“ не умрутъ и будутъ служить ей непрерывную службу.

Еще несостоятельныѣ мнѣніе, будто „Гоголь“ имѣлъ какую-то „личность“ противъ Россіи (это Гоголь-то!!) и хотѣлъ ей насолить своими типами. Отвѣтить на это предположеніе очень легко другимъ предположеніемъ. Предположимъ, что творческая дѣятельность Гоголя исчерпывалась бы его повѣстями и романами изъ малороссійскаго быта. Дали ли бы они ему право стать въ ряду величайшихъ писателей? Распространяться объ этомъ нечего. Каждый знаетъ, что „Вечера на Хуторѣ“—и все прочее до „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“—было только преддверіемъ истиннаго „Гоголя“. Въ „Миргородѣ“ уже слышалась чисто-гоголевская нота, также въ повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Припомнимъ, какъ сильно зазвучала эта нота въ концѣ повѣсти.

Поговоривъ съ двумя соперниками, посѣдѣвшими, захирѣвшими и измученными въ тяжбѣ изъ-за „гусака“, авторъ уѣзжаетъ.

„Топція лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ на жида, сидѣвшаго на козлахъ и покрывшагося рогожкой. Сырость меня проняла насъвозъ. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, мѣстами зелѣнющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо... Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“

Прощай, свѣтлая майская ночь, дивная ночь подъ Рождество; прощайте, Оксана и Вакула, прощай, Бульба! Авторъ потащился мимо печальной заставы, по однообразному полю, подъ слезливымъ безъ просвѣта небомъ. И на этомъ полѣ, подъ этимъ небомъ онъ свершитъ свой великій подвигъ. На этомъ полѣ его признаетъ своимъ вся Россія, и вся вострепнется отъ мало до велика. И вострепнется она потому, что художникъ тронетъ своею сильною

рукою одну изъ главнѣйшихъ, вѣковѣчныхъ струнъ русскаго сердца.

Для того, чтобы понять Гоголя, — понять, почему онъ такъ воздѣйствовалъ на нашу страну, необходимо допросить душу русскаго человѣка, спуститься въ ея тайники. Попробуемъ сдѣлать это.

Ни одному народу въ мірѣ, можетъ быть, не присуще до такой степени сознаніе собственныхъ своихъ несовершенствъ, какъ народу русскому.

Онъ менѣе всего способенъ любоваться самимъ собою. Самые подвиги свои русскій человѣкъ совершаетъ въ сознаніи своего несовершенства, и оттого совершаетъ ихъ скромно, безъ рисовки. Часто онъ умираетъ, свершивъ что-либо по истинѣ великое и не подозревая своего величія. Отъ этого и въ исторіи нашей нѣтъ той внѣшней красоты, того шума и треска событій, той театральной обстановки, которою отличается, напримѣръ, исторія западно-европейская. Народу некогда, да и неохота любоваться самимъ собою, поэтому и отдѣльнымъ людямъ нѣтъ такой легкой возможности становиться во внушительныя позы и взлѣзать на монументы. Нѣтъ этой возможности потому, что она дается народомъ, который въ своихъ великихъ людяхъ любитъ самимъ собою.

Русскій человѣкъ любитъ подвиги, даже ищетъ ихъ иногда, но вовсе не съ цѣлью удовлетворенія своему славолюбію, а ради очищенія себя отъ разныхъ сознаваемыхъ имъ несовершенствъ. Поэтому и подвигъ является для него нѣкоторою формою *страданія*. Отсюда понятно, что одною изъ коренныхъ чертъ русскаго характера является именно *самообличеніе*, т.-е. раскрытіе предъ собственными духовными очами всѣхъ своихъ слабостей, всей своей дрянности и человѣческой мерзости. Менѣе всѣхъ другихъ, русскій человѣкъ способенъ обоготворять человѣческое я, возносить его надъ всѣмъ сущимъ и поклоняться ему какъ правдѣ. Напротивъ, болѣе всѣхъ другихъ онъ ненавидитъ самопревознесеніе, чванство внѣшнимъ, мишуру, прикрывающую часто одну внутреннюю пустоту.

Вотъ какой внутренней потребности русскаго человѣка удовлетворила поэзія Гоголя. Вотъ особенная стихія нашего духа, нашедшая себѣ выраженіе въ поэзіи Гоголя. И нельзя не сказать, что она выразилась здѣсь въ такой всеобщности и съ такою силою, какъ нигдѣ.

Въ другихъ странахъ мы видимъ сатиру, видимъ грозное обличеніе недуговъ общественныхъ и частныхъ. Но эти обличенія бьютъ по опредѣленнымъ явленіямъ общества, или по опредѣленнымъ слабостямъ человѣческимъ, выразившимся въ рядѣ такихъ-то

фактовъ. Диккенсъ, напримѣръ, въ своемъ „Оливеръ Твистъ“ разгромилъ безобразіе такъ-называемой общественной благотворительности въ Англіи; въ „Николаѣ Никльби“ вывелъ на сцену порядки частныхъ школъ, задѣвъ естатъ и своекорыстіе деньгодѣлателей. Въ „Холодномъ Домѣ“ обрисована нравственность высшихъ классовъ. Теккерей выставилъ на позоръ лицемеріе, какъ одну изъ національных добродѣтелей англичанъ. Но никто не нашелъ для человѣческихъ слабостей такой всеобъемлющей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такой страшной формулы, какъ Гоголь. Никто не далъ такого опредѣлительнаго названія всей суммы человѣческихъ гадостей. И названіе это — *пошлость*.

Есть ли это названіе характеристика только *русскихъ* свойствъ? Не знаю. Но Гоголь и не изображалъ намъ людей, отвлеченныхъ отъ пространства и времени. Онъ писалъ для Россіи, имѣя въ виду только ее. А въ ней онъ указалъ самое страшное зло, — зло, котораго хуже не бываетъ. Урія Гипъ въ „Давидѣ Копперфильдѣ“, м-ръ Сквирдъ въ „Николаѣ Никльби“ — злодѣи, порочные люди, но не пошляки. Впечатлѣніе, произведенное картиною „Мертвыхъ Душъ“, вѣрно угадано самимъ Гоголемъ. „Герои мои, — писалъ онъ своему пріятелю, — вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы со всѣми. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои — одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю, и что, по прочтеніи всей книги, кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на свѣтъ Божій. Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки“.

И дѣйствительно, перепугаться было отъ чего. Грандіозный порокъ хотя бы для картины годится, а злодѣйство — тѣмъ паче. Грандіозное зло, въ силу противоположенія, вызываетъ въ умѣ представленіе о добрѣ. Герцогъ Альба, можетъ быть, противопоставленъ „молчаливому принцу“; Торквемада — Лютеру; Страффордъ — Гэмдену. Все это историческія фигуры, далеко не лишены поэзіи... Но кому противопоставить Манилова? Кромѣ того, отъ явнаго и дѣятельнаго зла возможенъ переходъ къ добру — столь же дѣятельному. И чтò можетъ быть грандіознѣе картины раскаявшагося злодѣя, совершающаго подвиги добра? Но гоголевскіе герои лишены этого утѣшенія. Покаются въ обыденномъ смыслѣ они не могутъ, ибо каются имъ не въ чемъ. Имъ еще должно прежде всего стать *людьми*, въ ту или иную сторону,

начать жить, а жизни-то въ нихъ и нѣтъ, ибо *пошлость есть именно отсутствіе жизни*— „ни Богу свѣча, ни чорту кочерга“...

Ниже мы подробно остановимся на этомъ предметѣ, а теперь прослѣдимъ еще за работой Гоголя.

Вывелъ ли онъ своихъ героевъ въ качествѣ опредѣленнаго *класса* русскаго общества? Сказалъ ли онъ: Чичиковъ здѣсь или тамъ? Нѣтъ,—онъ выставилъ пошлость именно какъ элементъ все-россійскій, элементъ, присущій каждому русскому человѣку. Губернаторъ, „вышивающій по тюлю“, почтмейстеръ и полиціймейстеръ, всѣ они одинаково заражены одною общею болѣзнью. Самъ авторъ не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ ея все-объемлемости.

АЛЕКСАНДРЪ ГРАДОВСКІЙ.



ОТЧЕТЪ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ПО РОСПИСИ

НА 1888 ГОДЪ.

Представленіе по окончаніи смѣтнаго періода на разсмотрѣніе государственнаго совѣта отчета по исполненію государственной росписи составляетъ одну изъ важнѣйшихъ обязанностей, налагаемыхъ закономъ на государственный контроль. Отчеты составляются въ бухгалтеріи государственнаго контроля по табелямъ контрольных палатъ, которыя почерпаютъ данныя изъ ревизуемой ими отчетности. До 1866 года существовалъ иной порядокъ: отчеты по исполненію смѣтъ составлялись отдѣльными вѣдомствами, разсматривались государственнымъ контролемъ и повѣрялись имъ лишь въ общихъ итогахъ—и затѣмъ служили основаніемъ для общаго отчета по исполненію росписи или, вѣрнѣе, по исполненію смѣтъ. Установленный, въ связи съ преобразованиемъ государственнаго контроля, порядокъ составленія отчетовъ примѣняется въ теченіе 23 лѣтъ, и въ этотъ срокъ какъ форма отчетовъ, такъ и содержаніе ихъ необходимо подвергались значительнымъ измѣненіямъ: форма ихъ становилась совершеннѣе, содержаніе полнѣе и разнообразнѣе. Особенно много было сдѣлано въ этомъ отношеніи въ послѣднія пять-шесть лѣтъ,—такъ что отчеты послѣднихъ трехъ лѣтъ 1886—1888 года, особенно съ отдѣленіемъ бухгалтеріи государственнаго контроля въ особую часть, по точности, полнотѣ и разнообразію свѣденій, оставляютъ желать уже весьма малаго. Независимо отъ цифровыхъ данныхъ по исполненію собственно росписи и финансовыхъ смѣтъ даннаго года, съ многочисленными примѣчаніями, разъясняющими значеніе цифры той или

другой рубрики, отчеты государственного контроля заключаютъ подробныя свѣденія какъ по общимъ финансовымъ оборотамъ казны, такъ и въ отдѣльности по нѣкоторымъ главнѣйшимъ отраслямъ государственнаго хозяйства. Такъ, въ отчетахъ послѣднихъ лѣтъ съ полною подробностію приведено исполненіе по государственнымъ росписямъ другихъ, т.-е. четырехъ предшествовавшихъ лѣтъ, съ точнымъ указаніемъ суммы невыполненныхъ по нимъ расходовъ. Еще съ большею отчетливостію приводитъ отчетъ кассовое движеніе государственныхъ суммъ въ отчетномъ году и, какъ результатъ, въ особомъ отдѣлѣ—свободную наличность государственнаго казначейства въ началѣ и въ концѣ отчетнаго года. Обстоятельныя и точныя данныя этихъ отдѣловъ служатъ какъ бы отвѣтомъ на сбивчивыя представленія о ресурсахъ, хранящихся въ кассахъ министерства финансовъ. Извѣстно, что недостаточная полнота этихъ отдѣловъ въ отчетахъ прежняго времени не разъ давала поводъ нѣкоторымъ органамъ печати къ химерическимъ предположеніямъ, что указанными ресурсами радикально могутъ быть очень просто устранены дефициты нашихъ бюджетовъ. Не лишены значенія, въ приложеніи къ отчету, вѣдомости о поступленіи, по мѣстностямъ, окладныхъ сборовъ и главнѣйшихъ неокладныхъ доходовъ. Впрочемъ, вѣдомости неокладныхъ доходовъ не имѣютъ статистико-экономическаго значенія, такъ какъ цифры ихъ представляютъ не тотъ или другой доходъ, доставляемый извѣстной губерніей, а лишь поступления въ кассы этой губерніи. А это не одно и то же; по многимъ сборамъ: питейному, таможенному и др., платежи очень часто вносятся за однѣ губерніи въ казначейства другихъ. Тѣмъ не менѣе, сравненіе вѣдомостей изъ года въ годъ, при нѣкоторомъ навыкѣ, несомнѣнно даетъ указанія на движеніе неокладныхъ доходовъ и по мѣстностямъ. Цифры же окладныхъ сборовъ, въ связи съ приводимымъ тутъ же движеніемъ недоимокъ, служатъ вѣрнымъ отраженіемъ экономическаго положенія той или другой мѣстности. Подробныя данныя о положеніи расчетовъ правительства съ частными обществами желѣзныхъ дорогъ имѣютъ особенное значеніе по крупнымъ суммамъ, приплачиваемымъ ежегодно казню.

Существенную часть отчета государственного контроля составляетъ объяснительная къ нему записка, имѣющая совершенно самостоятельное значеніе въ виду обильныхъ приводимыхъ въ ней цифровыхъ данныхъ за прежнее время, свѣденій статистическихъ и, наконецъ, свѣденій о состоявшихся законоположеніяхъ, повліявшихъ на поступленіе того или другого дохода, или на размѣръ расхода. На полноту объяснительной записки обращено въ послѣднее время особенное вниманіе; лѣтъ 7—8 назадъ она помѣщалась на какихъ-нибудь 70 страницахъ; въ послѣдніе же годы она занимаетъ отъ 110 до 115

страницъ гораздо большаго формата. Такое увеличеніе объема дало возможность запискѣ весьма обстоятельно отнестись ко всѣмъ главнѣйшимъ отдѣламъ отчета, какъ въ ихъ общихъ выводахъ, такъ и въ подробностяхъ.

Въ декабрьской книгѣ „Вѣстника Европы“ мы представили одни данныя отчета собственно по исполненію государственной росписи на 1888 годъ; теперь остановимся на нѣкоторыхъ другихъ отдѣлахъ отчета.

Вѣдомость о произведенныхъ въ теченіе 1888 г. *расходахъ по заключеннымъ росписямъ прежнихъ лѣтъ* заключаетъ свѣденія за пять періодовъ: пр 1884 годъ и за годы 1884, 1885, 1886 и 1887. Извѣстно, что, по смѣтнымъ правиламъ, роспись окончательно заключается лишь на пятый годъ, такъ что въ 1888 году подлежала окончательному заключенію роспись 1884 года. Но и изъ этого правила есть исключеніе: это—кредиты по государственному долгу, отпускаемые, какъ это мы объясняли въ декабрьской книгѣ, безсрочно. Вслѣдствіе того и могли оставаться въ кредитѣ невыполненные расходы за время до 1884 года. Ихъ, очевидно, по системѣ государственнаго долга, числилось около 19 м. р. и осталось къ концу 1888 года около 18 мил. р., т.-е. уплачено всего менѣе милліона рублей; это служить очень вѣроятнымъ указаніемъ, что если не всѣ 18 м. р., то значительная ихъ часть вовсе не нужна, и подтверждаетъ мысль о необходимости и для кредитовъ по уплатѣ государственнаго долга назначить срокъ окончательнаго заключенія. Всѣхъ невыполненныхъ расходовъ прежнихъ лѣтъ оставалось къ 1888 году *обыкновенныхъ* 141 м. р. и *чрезвычайныхъ* 31 м. р.¹⁾, всего 172 м. р.; изъ нихъ кредиты на 7¹/₂ м. р., за 1884 г., окончательно закрыты; на 85¹/₂ м. р. израсходованы, и осталось невыполненныхъ расходовъ къ 1889 году около 66 м. р. обыкновенныхъ и 13¹/₂ м. р. чрезвычайныхъ. Въ отчетѣ подробно по вѣдомствамъ указаны цифры произведенныхъ въ 1888 году расходовъ за прежнее время, но не указаны по вѣдомствамъ цифры невыполненныхъ расходовъ. Объ этомъ позволительно пожалѣть, такъ какъ изъ такихъ цифръ можно было бы, вѣроятно, убѣдиться въ необходимости кореннаго измѣненія въ порядкахъ уплатъ по системѣ кредита. Отмѣтимъ еще одну особенность: въ суммѣ произведенныхъ въ 1888 году расходовъ за прежнее время было около 30 м. р. металлическихъ; часть ихъ (около 13 м. р.), за время до 1887 года, внесена расходомъ по курсу 1 р. 50 к. за метал. рубль, а остальные (17 м. р.)—за 1887 г.—по курсу 1 р. 67 к. Итакъ, расходы, произведенные въ одномъ и томъ же году, числятся по раз-

¹⁾ Всѣ эти цифры мы нѣсколько округляемъ въ милліонахъ.

нымъ курсамъ, смотря потому, къ росписи какого года относятся. Въ расходахъ 1889 г. за прежнее время будетъ уже три разныхъ курса, а въ 1890 году—четыре: 1 р. 50 к., 1 р. 67 к., 1 р. 80 к. и 1 р. 70 коп. кред. за металл. рубль. Въ декабрьской статьѣ мы говорили о необходимости болѣе рациональнаго приѣма при перечисленіи металлическихъ доходовъ и расходовъ на кредитные рубли. Приведенный примѣръ служитъ объясненіемъ къ нашему указанію.

Остатокъ суммъ государственнаго казначейства съ 1-го января 1889 г., въ кассахъ имперіи, за границею и въ пути, составлялъ 217.370.633 р. кред. и 67.540.068 р. мет., всего, съ переложеніемъ металл. рубл. по 1 р. 80 к. кредитныхъ—338.942.756 рублей, т.-е. болѣе противъ остатка къ 1888 году на 16.493.129 р.

Изъ этой суммы *свободная наличность* государственнаго казначейства, т.-е. суммъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго назначенія по росписямъ, равнялась 163.068.838 р., болѣе противъ предшествовавшаго года на 17.159.262 р. Впрочемъ, такъ какъ курсъ для золотой валюты принять не въ 1 р. 80 к., а въ 1 р. 70 коп. кред., то съ перенесеніемъ этого остатка въ 1889 годъ онъ выразится въ цифрѣ 157.582.206 рублей.

По домамъ государственнаго казначейства, въ теченіе 1888 года, произошли слѣдующія измѣненія: долговыхъ обязательствъ казны—

	состояло къ 1888 году:	осталось къ 1889 г.:
	рубл.	рубл.
1) на общегосударственныя потребности .	3.715.923.915	3.700.414.810
2) по облигаціямъ желѣзныхъ дорогъ. . .	1.465.016.139	1.461.661.515
3) по выкупной операціи бывшихъ помѣ- щичьихъ крестьянъ	473.489.750	469.041.150
Всего	5.654.379.804	5.631.117.475

Такимъ образомъ, долги уменьшились на 23.262.329 р. При этомъ, какъ объясняется въ запискѣ къ отчету, если взять только долги, обременяющіе государство платежомъ процентовъ, то таковыхъ въ теченіе 1888 года вновь образовалось на 3.742.155 р., а погашено на 41.804.483 р., слѣдовательно сумма ихъ уменьшилась на 38.062.328 р.

Въ числѣ долговъ на общегосударственныя потребности числится около 568¹/₂ м. р. по кредитнымъ билетамъ. Изъ отчета видно, что къ 1889 г. оставалось въ обращеніи кредитныхъ билетовъ 780.032.238 р. (столько же, сколько ихъ было и къ 1888 году); за исключеніемъ же изъ этой суммы металлическаго фонда (золотомъ 210.346.812 р. и серебромъ 1.125.683 р.), остается непокрываемыхъ фондомъ билетовъ 568.559.743 рубля.

Сумма недоимокъ и долговъ казнѣ въ 1888 году, какъ и въ каждомъ изъ предшествовавшихъ лѣтъ, значительно возросла, благодаря одному

и тому же фактору—частнымъ желѣзнымъ дорогамъ. Недоимокъ и долговъ числилось:

	къ 1888 году:	къ 1889 году:
а) по счетамъ казенныхъ палатъ и распорядительныхъ управленій	182.788.226	180.691.240
б) за обществами желѣзныхъ дорогъ. . .	1.159.426.183	1.226.231.581
	<u>1.342.214.409</u>	<u>1.406.922.821</u>

Такимъ образомъ, въ общемъ, недоимки и долги казнѣ возросли въ 1888 году на 64.708.412 р.; но весь этотъ ростъ съ избыткомъ покрывается увеличившимся на 66.805.398 р. долгомъ обществъ желѣзныхъ дорогъ; по другимъ же долгамъ и недоимкамъ оказалось сокращеніе на 2 милл. р. слишкомъ. Особенно выгодно, какъ признаетъ улучшившагося экономическаго положенія населенія, должно быть признано уменьшеніе недоимокъ по выкупнымъ платежамъ съ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Къ 1888 году недоимокъ этихъ числилось 17¹/₂ м. р., а къ 1889 г. ихъ осталось 14¹/₂ м. р.,—причемъ сложено со счетовъ по разнымъ случаямъ менѣе 500.000 р.; остальные же 2¹/₂ милл. руб. уплачены. По выкупнымъ платежамъ съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ недоимки нѣсколько увеличились—съ 12.135.146 руб. до 12.578.144 р., т.-е. на 443.000 р.; но зато по отмѣненнымъ сборамъ, подушному и оброчному, и замѣненнымъ съ 1887 года этими платежами, поступило прежнихъ недоимокъ около 5.700.000 рублей. Этой суммою съ большимъ избыткомъ покрывается увеличеніе недоимокъ на миллионъ рублей по податямъ.

О расчетахъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ съ казною скажемъ въ концѣ. Теперь остановимся еще на *спеціальныхъ сборахъ и капиталахъ*, состоящихъ въ распоряженіи правительственныхъ учреждений. Къ 1888 г. числилось въ наличности и въ долгу спеціальныхъ капиталовъ 277.838.245 р.; въ теченіе 1888 года поступило 51.039.372 р., израсходовано 46.726.875 р.,—осталось къ 1889 году 282.150.743 р. Въ теченіе десяти послѣднихъ лѣтъ общая сумма спеціальныхъ средствъ, составлявшая къ 1889 году 201 милл. р., возросла на 81 милл. р., причемъ поступления противъ 1879 года (35 м. р.) увеличились на 16 м. р., а расходы (24 м. р.)—почти на 23 м. р.

Въ 1888 году изъ спеціальныхъ средствъ произведены слѣдующіе наиболѣе крупныя расходы, имѣющіе общегосударственное значеніе: а) на устройство и содержаніе зданій, дорогъ и монументовъ, церковныя потребности и пр.—до 12 м. р.; б) эмеритальныя и другія пенсіи—до 10¹/₂ м. р.; в) пособія по случаю пожаровъ, неурожая, падежа скота—около 6 м. р.; г) содержаніе учебныхъ заведеній, стипендіи и пособія на воспитаніе—до 5 м. р., и др.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ расходъ по эмеритурамъ, со-

ставляющій подспорье крупному расходу казны на пенсіи, цифра котораго въ 1888 году дошла до 27¹/₂ м. р. Наибольшій расходъ, свыше 6 м. р., производится по эмеритальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣдомства, капиталъ которой къ 1889 году достигъ 94 м. р. слишкомъ, а годичное поступленіе 1888 г. превысило 8 м. рублей. Столь блестящимъ положеніемъ своимъ эта касса обязана, какъ извѣстно, тому, что при ея основаніи казна безвозмездно передала ей капиталъ болѣе 8 м. р. Въ блестящемъ положеніи также, судя по цифрамъ отчета, находится эмеритальный капиталъ вѣдомства министерства юстиціи, простирающійся до 9 м. р., при доходѣ въ 1888 году почти въ миллионъ рублей, при расходѣ въ 100 тысячъ рублей. Къ сожалѣнію, далеко не всѣ существующія у насъ эмеритальныя кассы ведутъ дѣла свои такъ же удачно. Хотя въ отчетѣ по эмеритурѣ царства польскаго и значится нѣкоторый, весьма незначительный, перевѣсъ поступленій въ 1888 г. надъ расходами, но, какъ извѣстно, эмеритура эта давно уже оказалась несостоятельной, такъ что казнѣ приходится ежегодно на выдачу пенсій по этой эмеритурѣ приплачивать весьма крупныя суммы—до 600—700 тыс. руб. Ненадежное положеніе эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ было усмотрѣно министерствомъ государственныхъ имуществъ еще 5—6 лѣтъ тому назадъ, вслѣдствіе чего въ уставѣ кассы были произведены коренныя измѣненія, значительно сократившія льготы эмеритантовъ. Но, судя по цифрамъ отчета за 1888 годъ, эта мѣра оказывается палліативомъ: при капиталѣ въ 1.600.000 р., поступленіе кассы въ 1888 году составляло лишь 145.000 р., а расходъ превышалъ 153.000 р., т.-е. былъ больше дохода на 8 т. р. слишкомъ. Между тѣмъ перевѣсъ расхода надъ доходомъ даже на нѣсколько тысячъ рублей ставитъ кассу на путь къ банкротству.

Мы остановились на эмеритальныхъ кассахъ въ виду слуховъ въ печати о предположеніяхъ разныхъ вѣдомствъ объ учрежденіи такихъ кассъ. При скудости пенсій на основаніи пенсіоннаго устава, стремленіе къ лучшему обезпеченію отставныхъ служащихъ и ихъ семей по ихъ смерти совершенно законно. Но неосмотрительное учрежденіе эмеритуръ можетъ оказаться для казны обременительнѣе, нежели коренное измѣненіе пенсіоннаго устава. Разсчитать эмеритуру такъ, чтобы, съ одной стороны, взносы не ложились слишкомъ тяжело на участниковъ ¹⁾, а съ другой, чтобы и касса была обезпечена,—чрезвычайно трудно, такъ какъ приходится при этомъ принимать въ соображеніе множество случайностей, которыхъ иногда и пред-

¹⁾ Комиссія, на которую лѣтъ 8—10 тому назадъ былъ возведенъ пересмотръ пенсіоннаго устава, предполагала принять за основаніе эмеритуру и назначала взносы въ 12% съ содержанія, что, очевидно, было бы совершенно не по силамъ участникамъ.

видѣть нельзя. При этомъ въ расчетъ нужно принимать весьма долгій срокъ (лѣтъ 70, по крайней мѣрѣ), въ теченіе котораго эмеритальные расходы съ каждымъ годомъ увеличиваются—и увеличиваются въ первой половинѣ этого срока, такъ сказать, въ геометрической пропорціи, тогда какъ доходы могутъ расти только въ арифметической. Въ доказательство возьмемъ нѣсколько цифръ изъ имѣющихся у насъ подъ рукою отчетовъ за послѣднее десятилѣтіе по, лучше другихъ поставленной, эмеритурѣ военного вѣдомства:

	1879 г.	1881 г.	1885 г.	1886 г.	1888 г.
Доходъ	6.702.380	6.971.014	7.946.872	7.616.122	8.188.396
Расходъ	2.158.661	3.226.741	4.858.314	5.805.880	6.123.086

Итакъ, доходъ въ теченіе десятилѣтія увеличился на 1.400.000 р., а расходъ—на 4 м. р., при чемъ разность между доходомъ и расходомъ уменьшилась слишкомъ вдвое: съ 4½ м. р. до 2 мил. рублей.

Въ виду сказаннаго можно думать, что даже и эта касса не сказала своего послѣдняго слова.

Данныя о *расчетахъ правительства съ частными желѣзнодорожными обществами* за 1888 годъ сопровождаются въ объяснительной къ отчету запискѣ нѣкоторыми общими указаніями на отношенія казны къ этимъ обществамъ.

За переходомъ съ 1-го января 1888 года въ вѣденіе казны рязско-моршанской желѣзной дороги, въ эксплуатаціи частныхъ акціонерныхъ обществъ, состоявшихъ въ обязательныхъ къ правительству отношеніяхъ, находилось въ 1888 году рельсовыхъ путей 20.246 верстъ, сооруженіе коихъ потребовало реализаціи акціонерныхъ и облигаціонныхъ капиталовъ на 1.348.982.989 руб. метал. и 179.874.739 р. кред. Доходность почти всѣхъ этихъ строительныхъ капиталовъ гарантирована правительствомъ въ суммѣ около 105 мил. руб. кред. въ годъ (считая золотой рубль въ 1 руб. 70 коп. кр.). Сверхъ того, на расширеніе сѣти желѣзныхъ дорогъ и усиленіе ихъ перевозочной способности было выдано правительствомъ ссудъ около 272 мил. рублей.

Обязательства частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ, вытекающія изъ такого участія правительства въ сооруженіи дорогъ, состоятъ въ возмѣщеніи произведенныхъ казною приплатъ по гарантіи чистаго дохода съ капиталовъ акціонерныхъ и облигаціонныхъ, ревизованныхъ самими обществами, и въ уплатѣ процентовъ и погашенія по облигаціямъ, выпущеннымъ правительствомъ, и по ссудамъ. Обязательства эти дорогами не выполнялись ни въ одномъ году, такъ что

съ каждымъ годомъ увеличивался долгъ ихъ казнѣ, дошедшій въ 1-му января 1888 года до 879.987.596 р. по гарантіи акцій и облигацій, и 246.477.623 р. по ссудамъ,—всего до 1.126.465.219 р. кр., при переложеніи зол. р. по среднему курсу 1888 года—1 р. 70 к. кр., — и 1.159.426.182 р. кр., если принимать золотой рубль въ 1 р. 80 к., какъ это установлено для росписи 1888 года.

1888-й годъ былъ для желѣзныхъ дорогъ вообще очень удаченъ. По сѣти частныхъ желѣзныхъ дорогъ, находящихся въ обязательныхъ къ правительству отношеніяхъ, было выручено валового дохода до 247¹/₂ м. р., при чистомъ доходѣ въ 110 мил. р., что превысило валовой доходъ 1887 г. на 26 м. р., а чистый—почти на 12 м. р. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что и 1887-й годъ самъ по себѣ долженъ быть признанъ весьма благопріятнымъ. Вслѣдствіе этого въ возмѣщеніе издержекъ казны за счетъ желѣзныхъ дорогъ и въ уплату ей процентовъ и погашенія по долгамъ поступило въ 1888 г. нѣсколько болѣе противъ того, что ожидалось по росписи, но все-таки гораздо менѣе того, что слѣдовало казнѣ. А именно: сумма, причитавшаяся казнѣ въ возмѣщеніе произведенныхъ ею за желѣзныя дороги и въ уплату процентовъ и погашенія по долгамъ ей, составляла въ 1888 г. 98.081.695 р.; поступило же въ уплату отъ желѣзныхъ дорогъ всего только 31.276.297 р., такъ что долгъ частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ казнѣ въ 1888 г. увеличился на 66.805.398 р. и достигъ 1.226.231.581 рубля.

Правда, изъ отчета государственнаго контроля видно, что въ 1888 году, вслѣдствіе того, что счета не были (и не могли быть) закончены въ 1-му января 1889 г., поступило нѣсколько менѣе суммы, какая причиталась по разсчету дохода дорогъ, но эта разница не превышаетъ 4—5 мил. р. Если присоединить къ этому невыгодное перечисленіе металлическаго долга въ кредитный по преувеличенному противъ дѣйствительнаго курсу метал. рубля (по 1 р. 80 кр., тогда какъ средній курсъ былъ 1 р. 70 к.), то все-таки сумма, на которую увеличился долгъ желѣзныхъ дорогъ въ 1888 году, недалеко отъ 60 мил. руб.

Въ три предшествовавшіе года долгъ желѣзныхъ дорогъ казнѣ увеличивался въ слѣдующемъ приблизительно размѣрѣ: въ 1885 году на 58¹/₂ м. р., въ 1886 г. на 38 м. р., въ 1887 г. на 70 м. р., т.-е. за три года въ средней цифрѣ 55¹/₂ м. р. въ годъ, т.-е. на 4¹/₂ м. р. менѣе, нежели увеличился въ 1888 году, если считать это увеличеніе только въ 60 м. р. А между тѣмъ 1888 годъ—повторяемъ—былъ очень благопріятенъ для желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе улучшившагося экономическаго положенія страны, усиленнаго отпуска за границу нашего хлѣба, и, главное, при металлическихъ платежахъ, улучшенія курса. Изъ этого видно, что несостоятельность желѣзно-

дорожныхъ обществъ въ обязательствахъ къ казнѣ зависятъ не столько отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, сколько отъ причинъ внутреннихъ: во-первыхъ, оттого, что чуть не отъ полутора миллиарда, *реализованнаго* (говоря финансовымъ жаргономъ) на постройку дорогъ, дѣйствительно пошло на постройку, пожалуй, не больше половины, вслѣдствіе чего тамъ, гдѣ казна гарантировала 5%, ей приходится платить со стоимости дороги 10%; а во-вторыхъ, отъ искуснаго составленія желѣзнодорожныхъ уставовъ, прекрасно гарантирующихъ выгоды акціонеровъ и владѣльцевъ облигацій (за исключеніемъ казны), но нисколько не обезпечившихъ права государственнаго казначейства.

Какъ извѣстно, два или три года существуетъ уже изъ представителей разныхъ вѣдомствъ особая коммиссія, на которую возложено свести счета желѣзнодорожныхъ обществъ съ казною. Рано или поздно, коммиссія окончитъ этотъ трудъ и подведетъ итоги. Можно надѣяться, что затѣмъ она изыщетъ способъ взыскать съ желѣзныхъ дорогъ чтó можно и поставить крестъ надъ безнадежною частью желѣзнодорожнаго долга, сокращая этимъ трудъ учрежденій, обреченныхъ переворачивать на всѣ стороны химерическіе миллиарды.

О.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 января 1890 г.

Главные итоги истекшаго года:

Четыре года тому назадъ, также переходя отъ стараго къ новому году, мы говорили о различныхъ теченіяхъ нашей государственной жизни, отчасти параллельныхъ, отчасти перекрещивающихся и встрѣчающихся между собою. Одно изъ нихъ, самое раннее по времени, было направлено къ облегченію массы, къ поднятію ея матеріальнаго благосостоянія. Два другія, возникшія позже, имѣли болѣе отношенія къ реформамъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Почти въ то же самое время возникло особое теченіе, имѣвшее въ виду одни иноплеменные и иноземные элементы государства. Для послѣднихъ трехъ теченій 1889-ый годъ принесъ съ собою цѣлый рядъ крупныхъ актовъ; въ активъ же перваго теченія слѣдуетъ занести законъ 13-го іюля, о крестьянскихъ переселеніяхъ.

Въ самые послѣдніе мѣсяцы истекшаго года, какъ это бываетъ и всегда въ концѣ каждаго года, обращали на себя вниманіе земскія собранія, имѣющія цѣлью подготовить бюджетъ для наступающаго года. Рядомъ съ ними, по обыкновенію, открывались и мѣстныя дворянскія собранія, которымъ, въ виду вступающихъ въ дѣйствіе административныхъ реформъ, предстояло обсудить и разрѣшить не мало новыхъ вопросовъ.

Мы приводили недавно, со словъ „Новаго Времени“, перечень новыхъ ходатайствъ, возбужденныхъ послѣднимъ харьковскимъ дворянскимъ собраніемъ: сооруженіе пензенско-лововской желѣзной дороги, пониженіе тарифныхъ ставокъ на сельско-хозяйственные продукты, неотчуждаемость дворянскихъ земель въ собственность другихъ сословій, введеніе заповѣдныхъ недѣлимыхъ имѣній, уменьшеніе пошлинъ съ наслѣдственныхъ имѣній, облегченіе приобрѣтенія

дворянами земель, посредствомъ льготъ, подобныхъ тѣмъ, которыми пользуются крестьяне, удешевленіе земельного кредита, передача дворянскихъ имѣній, предварительно публичной продажи, въ опекуное управленіе на опредѣленный срокъ. Всѣ эти ходатайства, за исключеніемъ развѣ перваго, вызваны были матеріальными, т.-е. имущественными интересами дворянскаго землевладѣнія. Гораздо болѣе подробныя свѣденія о сессіи харьковскаго дворянства сообщаетъ одинъ изъ петербургскихъ ежемѣсячныхъ журналовъ ¹⁾. На разсмотрѣніе харьковскаго дворянскаго собранія было представлено два доклада: авторомъ одного былъ г. Гордѣнко, авторомъ другого—губернскій предводитель дворянства, гр. Капнистъ. Первый полагалъ, что дворянство не должно стремиться къ исключительнымъ правамъ и привилегіямъ, не должно полагаться на внѣшнія мѣры, охраняющія его имѣнія; ему слѣдуетъ искать въ самомъ себѣ средствъ для борьбы съ разными препятствіями, тормозящими его развитіе. Передъ правительствомъ, по мнѣнію г. Гордѣнко, нужно ходатайствовать лишь о томъ, чтобы промышленность была освобождена отъ гнета, подъ которымъ держитъ ее курско-харьково-азовская желѣзная дорога. Этой послѣдней цѣли можно было бы достигнуть возложеніемъ на мѣстныхъ выборныхъ людей контроля надъ желѣзнодорожными агентами, пониженіемъ тарифовъ на продукты сельскаго хозяйства, согласованіемъ тарифныхъ ставокъ съ нуждами населенія и упрощеніемъ тарифныхъ правилъ до всеобщей удобопонятности. Гр. Капнистъ также проектировалъ ходатайство о пониженіи хлѣбныхъ тарифовъ, но только по направленію къ Таганрогу, Севастополю и Николаеву — слѣдовательно, въ пользу заграничнаго экспорта, которымъ едва ли бы могли воспользоваться мѣстные крестьяне. Затѣмъ гр. Капнистъ предлагалъ „выразить пожеланія дворянъ относительно мѣръ, которыя могли бы возвратить дворянству ту силу, власть, почетъ и уваженіе, какими оно пользовалось до освобожденія крестьянъ“. Эти мѣры слѣдующія: учрежденіе заповѣдныхъ имѣній выше извѣстнаго размѣра, который можетъ доставить безбѣдное существованіе семьямъ дворянъ; освобожденіе дворянъ отъ пошлины при переходѣ имѣній по наслѣдству и при куплѣ-продажѣ между дворянами; охраненіе дворянскихъ имѣній отъ перехода ихъ въ руки другихъ сословій такими же самыми законами, какіе существуютъ для охраненія крестьянской земельной собственности; запрещеніе продавать имѣніе дворянина за долги, съ установленіемъ передачи его въ распоряженіе опекунскаго совѣта. Цѣль всѣхъ этихъ мѣръ—поднять дворянство на ту высоту, на которой оно стояло до освобожденія крестьянъ. На это, можетъ быть, возразить,

¹⁾ „Сѣверный Вѣстникъ“ № 12, отд. II, стр. 106—107.

что и въ ту эпоху дворянству едва ли принадлежала какая-нибудь реальная сила, какая-нибудь дѣйствительная власть,—если не считать власти надъ крѣпостными людьми, о возстановленіи которой, конечно, никто теперь и не думаетъ. Имущественная обезпеченность, конечно, можетъ служить, до извѣстной степени, источникомъ вліянія, но отнюдь не источникомъ власти.

Харьковскому дворянскому собранію предстоялъ выборъ между тѣми двумя противоположными путями, ясно намѣченными въ проектахъ гг. Гордѣенко и Капниста. Докладъ г. Гордѣенко встрѣтилъ сильную оппозицію большинства; обсужденіе возбужденныхъ имъ вопросовъ постановлено было отложить на два года. Съ другой стороны, собраніе высказалось въ пользу всѣхъ мѣръ, предложенныхъ гр. Капнистомъ.

Реформы минувшаго царствованія несомнѣнно оказали одну существенную услугу всему нашему дворянству: онѣ положили начало сближенію его съ крестьянской массой, создали почву для добрыхъ чувствъ, которыхъ не воспитало и не могло воспитать крѣпостное право. Крестьяне мало-по-малу перестали видѣть въ дворянинѣ только своего *барина*, интересы котораго, по меньшей мѣрѣ, чужды интересамъ деревни; работая вмѣстѣ съ нимъ въ земствѣ или судѣ присяжныхъ, обращаясь къ нему какъ къ мировому судѣ, они уже привыкли думать, что „господа“ могутъ быть справедливы къ „мужику“, могутъ радѣть и о его пользѣ. Много способствовало смягченію стариннаго недовѣрія уже то одно, что „господинъ“, даже облеченный властью, не могъ подвергать крестьянъ той карѣ, съ которой всего тѣснѣе связана память о крѣпостной эпохѣ—тѣлесному наказанію. Если оно и назначалось иногда волостнымъ судомъ подъ чѣмъ-нибудь вліяніемъ, то вліялъ, по мнѣнію крестьянъ, не „баринъ“, не бывший помѣщикъ, а полицейскій чиновникъ, человѣкъ почти всегда пришлый для крестьянъ и не имѣющій ничего общаго съ мѣстнымъ дворянствомъ. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ появилась недавно по этому вопросу статья г. Морокина, озаглавленная: „Сельская жизнь и реформа“ (если мы не очень ошибаемся, это тотъ самый г. Морокинъ, который, принадлежа къ торгующимъ крестьянамъ, былъ однимъ изъ „свѣдущихъ людей“, призванныхъ гр. Игнатьевымъ къ обсужденію питейнаго вопроса, а затѣмъ состоялъ сотрудникомъ Аксаковской „Руси“). За благонамѣренность этой статьи ручается и мѣсто ея напечатанія, и имя автора, и самый характеръ его разсужденій: либераловъ онъ обзываетъ „охотниками до всякихъ свободъ, хотя бы и завѣдомо (!) вредныхъ“; времени осуществленія административной реформы онъ ждетъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ, недоумѣвалъ

только, найдется ли достаточно „дѣятелей“ для обильной жатвы. „Земскому начальнику,—говорить г. Морокинъ,—чтобы быть дѣйствительнымъ начальникомъ, необходимо знать, и знать не поверхностно, всѣхъ жителей участка“. Съ этою цѣлью „должны быть составлены (кѣмъ?) списки крестьянскихъ семей, съ отмѣтками нравственныхъ и матеріальныхъ качествъ, по которымъ участковый начальникъ могъ бы судить о степени годности крестьянина для обсуждения деревенскихъ дѣлъ на сходахъ (только можно ли основать знаніе не на личныхъ наблюденіяхъ, а на какихъ-то спискахъ?). Я намекаю на то, что для крестьянъ слѣдуетъ создать *крестьянскій цензъ*, состоящій не въ денежномъ и имущественномъ капиталѣ, а въ томъ, чтобы поле было засѣяно, чтобы крестьянинъ имѣлъ известное количество скота; а также необходимъ и нравственный цензъ. Попавшійся въ воровствѣ и во многихъ буйствахъ, пьянствахъ и т. п. точно такъ же не имѣлъ бы права голоса на сходахъ. Это было бы подобіе тому, что происходитъ въ арміи относительно штрафованныхъ солдатъ. Штрафованнаго крестьянина—разумѣется, уже самаго отъявленнаго негодая,—слѣдовало бы предоставить участковому начальнику наказывать розгами за его мерзкіе поступки... Всякій крестьянинъ будетъ бояться какъ огня попасть въ разрядъ штрафованныхъ. Человѣкъ, лишенный права голоса въ своей деревнѣ, будетъ на смѣху и въ презрѣніи у всѣхъ. *Крестьянъ, не попавшихъ въ разрядъ штрафованныхъ, едва ли слѣдовало бы наказывать розгами; для такихъ порядочныхъ людей чувствителенъ будетъ даже и арестъ, особенно еслибы аресты были съ какими-нибудь общественными работами, напр., починкой дорогъ, и пр. Изгнаніе добропорядочныхъ крестьянъ отъ тѣлеснаго наказанія сразу подняло бы ихъ значеніе, а недоморачителей штрафованныхъ такое раздѣленіе сразу уронило бы въ глазахъ всего деревенскаго міра. Каждый старался бы избѣгать попасть въ такое, весьма, по ихъ выраженію, *канфузное* положеніе“.* Обращаемъ особенное вниманіе на подчеркнутыя нами строки. Авторъ вовсе не претендуетъ на гуманность; онъ даже остритъ надъ нею, замѣчая, что „въ нынѣшнее гуманное, или, пожалуй, вѣрнѣе, туманное время, о тюремныхъ жителяхъ заботятся болѣе нежели о честныхъ людяхъ“. Онъ вовсе не противникъ тѣлесныхъ наказаній; наоборотъ, онъ рекомендуетъ ихъ весьма усердно, какъ лучшее средство предупрежденія „мерзкихъ поступковъ“, и предлагаетъ вручить „мечи правосудія“ прямо самому земскому начальнику, безъ посредства волостного суда. Все это даетъ ему безспорное право на званіе „достовернаго свидѣтеля“. И вотъ этотъ достоверный и даже достовернѣйшій свидѣтель признаетъ большинство крестьянъ—людьми *порядочными*, которыхъ слѣдовало бы освободить отъ тѣлеснаго нака-

занія. Мы говоримъ: *большинство*, потому что въ разрядъ „штрафованныхъ“ попадутъ, по мнѣнію г. Морокина, сравнительно немногіе, самыя отъявленные негодяи. Отъ признанія *большинства* крестьянъ неподлежащихъ тѣлесному наказанію только одинъ шагъ до полного его уничтоженія. Если общій нравственный уровень сословія довольно высокъ, если въ немъ широко развито чувство чести, то какъ опредѣлить степень впечатлительности каждаго отдѣльнаго лица, какъ установить, къ кому именно примѣнимо, къ кому непримѣнимо позорное наказаніе? Существованіе списка „штрафованныхъ“, освобождая отъ розогъ „добропорядочныхъ“ крестьянъ и этимъ путемъ уменьшая сумму несправедливости, страшно увеличило бы ее въ другомъ отношеніи. „Штрафованные“ крестьяне сдѣлались бы какими-то паріями, какими-то отверженцами въ своей деревнѣ, безправными, безсловесными, заранѣе заподозрѣнными во всякихъ „мерзкихъ поступкахъ“. И пускай намъ не возражаютъ, что попасть въ эту категорію можно было бы только по собственной винѣ. Ошибки были бы здѣсь столь же неизбѣжны, какъ и намѣренное пристрастіе. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, обуславливалась бы принадлежность къ разряду штрафованныхъ? Осужденіемъ, однажды или нѣсколько разъ, за болѣе важные изъ числа проступковъ, подсудныхъ волостному суду? Но кому же не извѣстно, какъ постановляются, особенно по дѣламъ уголовнымъ, приговоры волостного суда? Переимѣны къ лучшему, при новыхъ условіяхъ, можно ожидать еще не такъ скоро и далеко не съ полною увѣренностью. Внѣшняго порядка будетъ больше, но больше ли будетъ самостоятельность суда? Не будетъ ли онъ иногда исполнителемъ чьихъ-нибудь приказаній? Всѣ ли „болѣе важные“ проступки, подсудные волостному суду, свидѣлствуютъ, притомъ, объ испорченности виновнаго — такой испорченности, которая могла бы служить основаніемъ къ зачисленію въ разрядъ „штрафованныхъ“? Вѣдь между этими проступками мы встрѣчаемъ, вмѣстѣ съ воровствомъ и мошенничествомъ, нарушеніе общественной тишины, кулачный бой, нанесеніе личной обиды, нарушеніе условій найма и, наконецъ, пьянство и мотовство, для лицъ другихъ сословій вовсе даже не запрещенное подъ страхомъ наказанія. Не только одинъ разъ — нѣсколько разъ сряду можно совершить тотъ или другой изъ этихъ проступковъ, и все-таки быть весьма далекимъ отъ нравственнаго паденія, которымъ мотивируется у автора внесеніе въ списокъ штрафованныхъ. Еще болѣе опаснымъ было бы, конечно, составленіе этого списка по непосредственному усмотрѣнію земскаго начальника или волостного начальства... Мысль о „штрафованныхъ“ крестьянахъ“ внушена г. Морокину, очевидно, существованіемъ разряда штрафованныхъ солдатъ; но объ аналогіи, которую

оправдывалось бы заимствование, не можетъ быть и рѣчи. Условія военной службы не имѣютъ ничего общаго съ условіями крестьянскаго быта; распространить на деревню нѣчто въ родѣ дисциплины, созданной для полка, значило бы возвратиться ко времени военныхъ поселеній. Штрафованный солдатъ можетъ переносить свое положеніе сравнительно легко, потому что видитъ передъ собою близкій и вѣрный его конецъ; пройдетъ срокъ службы, и онъ возвратится на родину такимъ же равноправнымъ съ своими односельцами, какимъ былъ до взятія въ солдаты. Для штрафованнаго крестьянина не будетъ существовать такой перспективы. Еслибы и былъ назначенъ срокъ, послѣ котораго, при безукоризненномъ поведеніи, можно было бы просить объ исключеніи изъ разряда штрафованныхъ, то вѣдь до истеченія этого срока всегда былъ бы возможенъ новый конфликтъ съ сельскими властями и затѣмъ новый періодъ безправія. Церемониться съ штрафованнымъ никто не станетъ... Допустимъ, наконецъ, что штрафованному возвращены всѣ права „порядочнаго“ крестьянина; освободится ли онъ этимъ самымъ отъ послѣдствій „канфузнаго“ положенія, въ которомъ много лѣтъ находился? Какъ на него будутъ смотрѣть односельцы, какъ будутъ относиться къ нему сельскія и иныя власти? Не будутъ ли ему безпрестанно напоминать о прошедшемъ, грозить повтореніемъ той же невзгоды?.. Сказаннаго нами достаточно, чтобы выставить на видъ всю жестокость проекта г. Морокина; но зато тѣмъ больше слѣдуетъ вѣрить автору проекта, когда онъ признаетъ тѣлесное наказаніе несоотвѣтствующимъ нравственному развитію крестьянской массы. Уже если такъ смотреть на розги человѣкъ не совсѣмъ чуждый арапчеевскаго духа, то есть же, въ самомъ дѣлѣ, основанія, ведущія къ этому взгляду; не сочиненъ же онъ „сентиментальною гуманностью либераловъ“. Никто не заинтересованъ такъ сильно въ торжествѣ этого взгляда, какъ именно наше дворянство, которое, безъ сомнѣнія, ничего не имѣло бы противъ предоставленія русскимъ крестьянамъ хотя бы той условной свободы отъ тѣлеснаго наказанія, которая недавно дана закономъ 9-го іюля крестьянамъ-эстамъ и латышамъ ¹⁾.

Изъ вопросовъ особенной важности, поднятыхъ въ истекшемъ году, одинъ вопросъ, а именно—вопросъ о реформѣ земскаго обложенія перешелъ, если не ошибаемся, въ новый годъ еще не разо-

¹⁾ Хотя за водостнымъ судомъ въ остзейскихъ губерніяхъ и оставлено право присуждать крестьянъ къ тѣлесному наказанію, но каждый изъ осужденныхъ можетъ требовать замѣны этого наказанія другимъ, не заключающимъ въ себѣ ничего позорнаго.

трѣннымъ въ окончательной формѣ. Мы получили по поводу соображеній, высказанныхъ нами въ апрѣльскомъ „Обозрѣніи“ (стр. 804 и слѣд.) по упомянутому предмету, письмо отъ лица, повидимому, близко знакомаго съ земскимъ дѣломъ. Авторъ не вполне раздѣляетъ наши мысли, а потому тѣмъ болѣе считаемъ долгомъ помѣстить это письмо ниже.



ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА РЕФОРМЫ ЗЕМСКАГО ОБЛОЖЕНИЯ

Письмо въ редакцію.



М. Г. Въ апрѣльскомъ Обозрѣніи издаваемого вами журнала помѣщено было сообщеніе о предполагаемомъ преобразованіи узаконеній о земскомъ обложеніи, причемъ были, между прочимъ, переданы и нѣкоторыя подробности выработаннаго съ этою цѣлью при министерствѣ финансовъ проекта. Болѣе подробныхъ извѣстій по этому вопросу съ тѣхъ поръ мнѣ нигдѣ не приходилось читать. Между тѣмъ, сказанная реформа, находившаяся въ то время въ самомъ началѣ своей разработки законодательнымъ путемъ, вѣроятно, съ тѣхъ поръ уже достаточно подвинулась къ разрѣшенію. Не знаю, будетъ ли по возбужденному вопросу спрошено мнѣніе земскихъ собраній, какъ это иногда дѣлалось. Если нѣтъ, — то въ такомъ случаѣ легко можетъ случиться, что мы, жители различныхъ губерній и уѣздовъ, гдѣ дѣйствуютъ земскія учрежденія, и участники въ дѣятельности этихъ учреждений, узнаемъ настоящимъ образомъ о приготавливаемой намъ перемѣнѣ только тогда, когда она уже станетъ закономъ, и когда, слѣдовательно, высказывать о ней свое мнѣніе и дѣлать какія-либо заявленія о своихъ нуждахъ — будетъ уже поздно. Между тѣмъ реформа настолько серьезна, настолько сильно можетъ измѣнить весь строй нашей земской жизни, что оставаться къ ней равнодушнымъ рѣшительно невозможно. Всѣ эти соображенія заставляютъ меня, — въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, тоже въ качествѣ гласнаго, принимавшаго участіе въ занятіяхъ земскихъ собраній, — обратиться къ вамъ съ просьбою, не найдете ли вы возможнымъ дать мѣсто на страницахъ вашего журнала настоящимъ моимъ замѣчаніямъ, тѣмъ болѣе, что замѣтки, посвященныя этой реформѣ въ апрѣльскомъ Обозрѣ-

ніи „Вѣстника Европы“, кажутся мнѣ далеко не выясняющими существа дѣла.

Повидимому, предполагаемая серьезная реформа имѣетъ цѣлью не только преобразовать правила земскаго обложенія, но и существенно измѣнить весь тверенный складъ земскаго хозяйства. Первая и главная задача ея, конечно,—опредѣлить закономъ наивысшій размѣръ обложенія на земскія потребности; но наряду съ тѣмъ предполагается также организовать способъ оказыванія помощи болѣе бѣднымъ и болѣе обремененнымъ земскими расходами мѣстностямъ изъ средствъ другихъ, болѣе богатыхъ мѣстностей. Этимъ, съ одной стороны, имѣется, повидимому, въ виду дать возможность болѣе обремененнымъ расходами губерніямъ и уѣздамъ не прекращать производства неотложныхъ расходовъ на земскія надобности, даже въ томъ случаѣ, еслибы на удовлетвореніе ихъ потребностей не хватало средствъ собственнаго обложенія въ размѣрѣ, допускаемомъ установленною нормою; съ другой—достигнуть нѣкотораго уравнинія въ земскихъ расходахъ различныхъ губерній и уѣздовъ, такъ чтобы, въ общемъ, земскіе платежи различныхъ мѣстностей соразмѣрились со средствами, а расходы—съ размѣромъ неотложныхъ потребностей населенія каждой мѣстности, которыя могутъ средствамъ и не отвѣчать.

Достигнуть такой многообъемлющей цѣли предполагается дѣятельнымъ участіемъ правительственной власти въ лицѣ чиновниковъ различныхъ вѣдомствъ и учреждений, частью уже существующихъ, частью учреждаемыхъ вновь, на которыхъ и предполагается возложить производство всѣхъ необходимыхъ оцѣнокъ, равно какъ и окончательное рѣшеніе вопроса о степени настоятельности для населенія каждой мѣстности удовлетворенія различныхъ потребностей, т.-е., какъ оцѣнку средствъ, такъ и оцѣнку потребностей. Право самому оцѣнивать предметы своего обложенія, согласно проекту, у земства отнимается. Эту обязанность за него исполнять податныя присутствія и другія учреждения, составленныя, по обычаю смѣшанныхъ комиссій, изъ представителей разныхъ вѣдомствъ. Право самостоятельно рѣшать, какія изъ своихъ потребностей оно признаетъ подлежащими удовлетворенію неотложно изъ суммъ земскаго сбора, какія нѣтъ,—терпитъ ограниченіе не только вслѣдствіе стѣсненія смѣты установленнымъ размѣромъ предѣльнаго обложенія, но и вслѣдствіе постановки вопроса о помощи, какую каждый уѣздъ можетъ себѣ ожидать изъ средствъ губерніи или государства или же самъ обязанъ будетъ оказывать другимъ мѣстностямъ, расходы которыхъ будутъ признаны еще болѣе неотложными. Рѣшать это будетъ: при оказаніи уѣзду пособія изъ средствъ губерніи—губернское по земскимъ дѣламъ присутствіе,—новое

учрежденіе, устраиваемое по типу смѣшанныхъ комиссій; а изъ общихъ по имперіи средствъ—министерство. Учрежденія, заиѣняющія земскія собранія, въ разрѣшеніи всѣхъ этихъ вопросовъ будутъ поставлены подъ контроль обычнаго порядка подчиненности, такъ что, напр., по каждому отдѣльному случаю можно будетъ при извѣстныхъ условіяхъ довести вопросъ черезъ цѣлую цѣпь другъ подъ другомъ поставленныхъ учреждений до разрѣшенія высшимъ начальствомъ, подлежащимъ министромъ или министерствами. Нѣсколько отдѣльныхъ мѣръ, предлагаемыхъ, кромѣ того, проектомъ, имѣютъ въ виду устраненіе частныхъ недостатковъ въ дѣйствующемъ нинѣ порядкѣ земскаго обложенія. Проекту предшествовало, повидимому, обстоятельное ознакомленіе его составителей съ земскими смѣтами и раскладами различныхъ губерній и уѣздовъ.

Отдавая должное высокимъ цѣлямъ проекта и въ особенности идеѣ организаціи взаимной помощи различныхъ губерній и уѣздовъ другъ другу въ земскомъ дѣлѣ, наше апрѣльское Обзорѣніе отнеслось въ общемъ весьма сочувственно къ предлагаемой реформѣ, въ которой многое ему показалось какъ нельзя болѣе цѣлесообразнымъ.

Если представлять себѣ населеніе какъ совокупность, съ одной стороны, плательщиковъ земскаго сбора, а съ другой—лицъ, нужды которыхъ удовлетворяются расходами изъ этихъ сборовъ, и только, какъ, повидимому, смотреть на дѣло составители проекта, то приведенный выше порядокъ дѣйствительно можетъ представляться способнымъ привести къ достиженію намѣченныхъ цѣлей. Отъ органовъ правительственной власти, вводимыхъ на мѣсто дѣятельности учреждений земскаго самоуправленія, требуется подсчитать стоимость облагаемаго имущества, подвести итогъ неотложнымъ расходамъ и, затѣмъ, остается распределить по тому, что окажется, получаемый сборъ, сообразно оказавшимся потребностямъ: дѣло простаго ариметическаго расчета, съ которымъ, разумѣется, чиновники различныхъ учреждений, на которыхъ эта задача будетъ возложена, справиться могутъ. Но такъ какъ, на самомъ дѣлѣ, роль населенія въ дѣлѣ земскаго самоуправленія вовсе не исчерпывается обязанностью платить, съ одной стороны, и возможностью пользоваться тѣми или другими удобствами за такую плату, съ другой,—оно, кромѣ взноса денегъ, должно еще само позаботиться о способѣ ихъ израсходованія, по своему разумѣнію опредѣляя, на что и какъ должны быть употреблены эти деньги; словомъ, такъ какъ оно самоуправляется и такъ какъ отъ того, какъ оно самоуправляется, отъ рода и степени участія, принимаемаго имъ въ завѣдываніи своимъ земскимъ хозяйствомъ, зависитъ весь успѣхъ этого хозяйства, то ясное дѣло, что всякія предположенія, сдѣланныя безъ вниманія къ этой

сторонѣ вопроса, рискуютъ остаться безплодными, какъ бы послѣдовательно и стройно они сами по себѣ задуманы ни были. Упустить изъ виду такое обстоятельство—то же, что строить домъ, не разглядевъ, есть ли достаточно твердый грунтъ для фундамента.

Постараюсь выяснитъ мою мысль. Основнымъ положеніемъ проекта является требованіе ограничить право земскаго самообложенія опредѣленною нормою. Я много читалъ и много слышалъ объ этомъ требованіи, которое предъявлялось не разъ, но, признаюсь, никогда не могъ хорошо понять, чѣмъ собственно оно вызывается. Говорятъ о возможности злоупотребленій со стороны земства. Конечно, злоупотребленія возможны, поскольку земство, какъ и всякое учрежденіе и всякій частный человѣкъ, можетъ иногда дѣйствовать вопреки своимъ собственнымъ интересамъ. Но, мнѣ кажется, когда рѣчь идетъ о преобразованіи цѣлаго учрежденія, болѣе 25 лѣтъ уже дѣйствующаго, и не безуспѣшно дѣйствующаго, на пользу общества, то надо основывать предъявленія требованій не на догадкахъ о возможности того или другого злоупотребленія съ его стороны, а на данныхъ, представляемыхъ дѣйствительностью. Нужны не опасенія злоупотребленій, а указанія на то, гдѣ они усмотрѣны. Но разъ вопросъ былъ бы поставленъ на эту почву, — все, чтó извѣстно о дѣятельности земскихъ учреждений, говорило бы противъ существованія такихъ злоупотребленій въ дѣйствительности,—по крайней мѣрѣ, злоупотребленій общаго характера, съ которыми можно было бы бороться законодательнымъ путемъ. Въ самомъ проектѣ настоящей реформы собрано не мало данныхъ, доказывающихъ это.

Изъ собранныхъ свѣдѣній о размѣрахъ обложенія на земскія потребности видно, что обложеніе это въ общемъ очень умеренно. Въ огромномъ большинствѣ мѣстностей, въ 201 уѣздѣ черноземныхъ губерній платежи эти не превышаютъ 10% дохода; въ 111 уѣздахъ, по большей части не-черноземныхъ промышленныхъ — колеблются между 10 и 20%, и только въ 47 уѣздахъ собственно сѣверныхъ губерній даже превосходятъ 20% ¹⁾. Доходъ при этомъ расчетѣ принимался въ 5% нормальной оцѣнки земель для залога въ дворянскомъ банкѣ, а гдѣ этого способа нельзя было примѣнить—въ 5% земской оцѣнки, либо оцѣнки для взиманія крѣпостныхъ пошлинъ. Не касаясь вопроса о вѣрности цифръ, на основаніи которыхъ сдѣланы, какъ эти, такъ и другіе расчеты проекта ²⁾, такое обложеніе нельзя не при-

¹⁾ Привожу цифры по № 142 „Русскихъ Вѣдомостей“.

²⁾ Вѣрность эта представляется мнѣ весьма сомнительной, по крайней мѣрѣ, во всемъ, гдѣ нельзя было пользоваться готовыми цифрами земскихъ раскладокъ, такъ какъ я не могу себѣ представить, какимъ образомъ могла бы работавшая при министерствѣ финансовъ коммиссія добить вѣрныя и притомъ однородныя свѣдѣнія изъ

знать весьма умѣреннымъ, если принять во вниманіе, какого рода оцѣнки положены въ основаніе опредѣленія дохода; при сопоставленіи же съ тѣми задачами, разрѣшеніе которыхъ возложено на земство, его слѣдуетъ признать прямо ничтожнымъ. Высокимъ можетъ показаться лишь обложеніе сѣверныхъ, отчасти, пожалуй, и нѣкоторыхъ промышленныхъ не-черноземныхъ губерній. Но тутъ еще вопросъ: не есть ли такая относительная высота обложенія только кажущаяся, происходящая больше отъ способа опредѣленія тяготы, чѣмъ отъ дѣйствительнаго обремененія плательщиковъ? Слѣдуетъ помнить, что всякій налогъ уплачивается не имуществомъ, а человекомъ, налогъ съ земли не землею, а хозяйствомъ, тогда какъ при производствѣ оцѣнки земли, въ особенности такой, какова, напр., нормальная оцѣнка для залога имѣній въ дворянскомъ банкѣ, естественно оцѣнивается голая земля, безъ всякаго соотношенія ея къ хозяйству.

Разница между хозяйствомъ нашего малоплодороднаго сѣвера и черноземнаго юга заключается, между прочимъ, въ томъ, что на югѣ, равно какъ и въ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ, гораздо большая часть цѣнности имущества, обуславливающего сельскохозяйственный доходъ, заключается въ землѣ, чѣмъ на сѣверѣ. Такимъ образомъ, если взять два хозяйства, приносящія одинаковый доходъ, одно на сѣверѣ, другое въ черноземныхъ губерніяхъ, платежеспособность ихъ будетъ равная, а между тѣмъ по цѣнности земли черноземное хозяйство будетъ оцѣниваться гораздо выше. Хозяинъ сѣверной губерніи наверстаётъ недостающее у него въ качествѣ земли количествомъ содержаимаго скота, дающаго возможность навозить землю, просторомъ и легкостью выпасовъ, дешевизной лѣса, какъ строительнаго матеріала и топлива, и т. п. вещами, въ оцѣнку его земли не входящими. Въ земскомъ собраніи, имѣющемъ дѣло исключительно съ землею, при равной тяготѣ платежей, сѣверное хозяйство будетъ казаться сильнѣе обложеннымъ, чѣмъ южное. То же до известной степени примѣнимо и къ оцѣнкѣ хозяйствъ нечерноземныхъ промышленныхъ губерній. Я думаю, что кажущееся обремененіе платежами земель сѣверныхъ и промышленныхъ губерній сравнительно съ черноземными хотя отчасти слѣдуетъ отнести на счетъ способа опредѣленія тяготы обложенія. Если бы вмѣсто земскихъ платежей были взяты цифры платежей казенныхъ и другихъ различныхъ наименованій, въ томъ числѣ оброчныхъ и выкупныхъ

земскихъ смѣтъ. Канцелярскимъ путемъ этого едва ли можно бы было достигнуть, какъ въ министерствѣ, такъ и въ губерніяхъ, при томъ разнообразіи способовъ составлять земскія смѣты, которое господствуетъ въ нашихъ уѣздахъ. Тутъ, буквально, что ни городъ, то норовъ, что ни уѣздъ, то свой пріемъ. Отъ земскихъ же учреждений, сколько извѣстно, специальныхъ для цѣли сравненія свѣдѣній не требовалось.

платежей, а также платежей общественных, то оказалось бы, что, напр., крестьянское население этих губерний платит не 20 и 30% съ дохода земли, а развѣ 200 и 300%. И вѣдь платятъ. Хозяйство черноземныхъ губерний такого обложенія по принятому способу вычисленія никогда бы не выдержало.

Употребленіе собранныхъ денегъ, какъ совершенно вѣрно замѣчено въ апрѣльскомъ Обзорѣни „Вѣстника Европы“, нѣтъ никакого основанія считать расточительнымъ. Въ большинствѣ губерній практикою выработалась опредѣленная норма безотлагательныхъ расходовъ (стало быть, безъ всякаго понужденія со стороны правительства) на населеніе, которую можно признать выражающею потребности населенія, по его собственному сознанию. Расходы, обнимаемые этою скромною нормою, принадлежать всѣ въ числу тѣхъ, которыхъ, конечно, никто не признаетъ излишними. Кромѣ необходимыхъ расходовъ по содержанію различныхъ учреждений, дѣлаемыхъ, быть можетъ, самымъ земскимъ собраніемъ часто нѣхотя, это, главнымъ образомъ, расходы на содержаніе дорогъ, народное здравіе, народное образованіе—предметы, на которые, казалось бы, чѣмъ больше расходовать, тѣмъ лучше. Но и въ тѣхъ особенныхъ, хотя впрочемъ нерѣдкихъ случаяхъ, когда земство какой-либо мѣстности рѣзко выдается по расходу на какой-либо предметъ изъ среды другихъ, когда, напримѣръ, изъ двухъ смежныхъ и находящихся, повидимому, въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ уѣздовъ, одинъ расходуетъ—хотя бы на народное образованіе—гораздо больше другого, развѣ есть какое-либо основаніе предполагать расточительность со стороны земства, тратящаго много, или бережливостъ—со стороны расходующаго меньше другихъ? И крупный расходъ можетъ быть послѣдствіемъ бережливости, а мелкій расточительности: все зависитъ отъ степени производительности произведенной затраты, которая сама вполнѣ зависитъ отъ особенностей каждой мѣстности и лучшимъ обезпеченіемъ которой въ земскомъ хозяйствѣ служить участіе въ дѣлѣ заинтересованнаго въ его успѣхѣ населенія.

Пристрастной оцѣнки имуществъ какаго-либо класса плательщиковъ для земскаго обложенія съ цѣлью сложить на этотъ классъ бѣольшую, противъ другихъ, часть земельного сбора, тоже не замѣтно, какъ это опять-таки совершенно ясно выведено въ апрѣльскомъ Обзорѣни „Вѣстника Европы“. Всѣ случаи оцѣнки владѣльческихъ земель выше крестьянскихъ, или наоборотъ и т. п., которые выясняются собранными министерствомъ финансовъ данными, находятъ каждый разъ совершенно удовлетворительное объясненіе въ существѣ самого дѣла.

Если же обложеніе умѣренное, расходование денегъ бережливое,

оцѣнка имущества безпристрастная, то въ чемъ же—спрашивается—могутъ быть тѣ органическіе недостатки дѣятельности земскихъ учреждений, которые требовали бы ограниченія закономъ права земскаго самообложенія? Очевидно, такихъ недостатковъ на практикѣ нѣтъ,—ихъ надо придумывать.

Но, можетъ быть, многочисленны случаи частныхъ злоупотребленій, не настолько крупныхъ, чтобы отразиться на цифрахъ статистики земскаго обложенія, и запечатлѣнныхъ скорѣе чертами общей неурядицы, чѣмъ умышленно пристрастнаго тяготѣнія въ какую-либо одну сторону, но все же настолько частыхъ и серьезныхъ, чтобы заставить серьезно задуматься надъ способами борьбы съ ними?

Отрицать существованіе даже многочисленныхъ частныхъ злоупотребленій нельзя уже потому, что вѣдь какъ же знать всѣ случаи частныхъ злоупотребленій? Только удобно ли бороться съ проявленіями такихъ злоупотребленій всякій разъ измѣненіемъ законодательнымъ путемъ самого порядка дѣятельности того учреждения, гдѣ эти злоупотребленія происходятъ. Случаи частныхъ злоупотребленій со стороны земства правомъ самообложенія могутъ происходить либо вслѣдствіе ошибки,—скажемъ: увлеченія земскаго собранія, принимающаго какой-либо ненужный расходъ или утверждающаго несправедливую раскладку,—быть можетъ, иногда, подъ вліяніемъ руководителей; напѣренно злоупотребляющихъ въ своихъ частныхъ видахъ его довѣріемъ; либо по сознательной винѣ самого собранія, когда, вслѣдствіе какой-либо причины, оно перестаетъ заботиться о выгодахъ населенія, потому, напр., что у господъ гласныхъ, входящихъ въ составъ этого собранія, завелись свои особые интересы, отличные отъ интересовъ населенія. Очевидно, что только злоупотребленія второго рода составляютъ дѣйствительныя злоупотребленія правомъ самообложенія со стороны земства. Ошибки собранія, даже увлеченія—вещь неизбежная, свойственная всякому человѣческому учрежденію, и не ошибается развѣ тотъ, кто вообще ничего не дѣлаетъ. Въ нихъ даже есть своего рода польза, такъ какъ ими учрежденія, и цѣлыя общества, какъ и отдѣльныя лица—учатся. Не даромъ же послѣ каждаго крупнаго расхода, изъ которыхъ многіе, разумѣется, бываютъ плодомъ ошибочнаго расчета, въ каждомъ земскомъ обществѣ наступаетъ обыкновенно періодъ особой скупости, особой сдержанности въ расходахъ: въ это время уѣздъ или губернія повѣряютъ свои силы. И потому, сколько бы такихъ ошибокъ ни дѣлалось, и какъ бы велики онѣ ни были—бѣды въ нихъ еще нѣтъ, земство должно въ самомъ себѣ найти средства справиться съ ихъ послѣдствіями, и по истинѣ плохи бы были тотъ уѣздъ или губернія, которые вѣсто того, чтобы самому искать этихъ средствъ, обращались бы, послѣ каж-

дой серьезной ошибки, къ правительству съ просьбою спасти ихъ отъ возможности повторенія подобной же ошибки ограниченіемъ ихъ права себя обкладывать на свои нужды. Не поддержки, а сильнѣйшаго порицанія заслуживало бы такое земство со стороны правительства.

Къ сожалѣнію, нельзя отрицать проявленія отъ времени до времени и злоупотребленій второго рода, т.-е. сознательныхъ дѣйствій самого собранія въ противность интересамъ избирателей. Случаи подтасовки выборовъ въ интересахъ искателей должностей, введенія въ составъ собранія значительнаго числа зависимыхъ лицъ, на которыхъ можно произвести, при случаѣ, давленіе въ разрѣшеніе того или другого вопроса (напр., волостныхъ старшинъ со стороны ихъ ближайшихъ начальниковъ въ учрежденіяхъ по крестьянскимъ дѣламъ) и т. п.—явленія, къ сожалѣнію, вовсе не единичныя, извѣстія о которыхъ не разъ проникали и въ печать. А съ такимъ образомъ подобраннымъ собраніемъ чего не сдѣлаешь! Но мнѣ кажется, что въ предотвращеніе подобныхъ случаевъ слѣдовало бы и борьбу на править противъ тѣхъ условій, благодаря которымъ такіа искаженія собранія, со всѣми проистекающими отсюда злоупотребленіями, становятся возможными, противъ той зависимости, въ какую, напри- мѣръ, поставлены гласные крестьяне, въ особенности должностныя лица крестьянскаго самоуправленія, и отъ полиціи, и отъ предводителя дворянства, и отъ разнаго иного начальства. Такой образъ дѣйствій былъ бы тѣмъ болѣе цѣлесообразенъ, что вѣдь ограниченіемъ права земскаго самообложенія въ сущности подобныхъ злоупотребленій устранить нельзя, потому что, какъ бы мала ни была цифра этого обложенія, все-таки же денегъ останется достаточно для желающихъ злоупотреблять ими.

Такимъ образомъ, и частныя злоупотребленія, которыхъ можно бы было избѣжать ограниченіемъ права самообложенія, указать не легко.

Оставаясь на почвѣ практики, мнѣ даже трудно себѣ представить, кому изъ плательщиковъ земскаго налога могло бы быть полезнымъ ограниченіе земскаго самообложенія нормой,—развѣ тѣмъ собственникамъ, которые, въ силу какихъ-либо причинъ, получаютъ съ своихъ имѣній гораздо меньше дохода, противъ обычнаго. Не въ силу высоты земскаго обложенія или неправильной оцѣнки имущества, а въ силу исключительнаго положенія собственнаго ихъ хозяйства, такимъ собственникамъ земскіе платежи должны казаться особенно тяжелыми. Таковы, напр., тѣ крупные землевладѣльцы-помѣщики, которые въ имѣніяхъ не живутъ, а, проживая въ столицахъ, — гдѣ многіе изъ нихъ занимаютъ высокія должности на государственной службѣ, либо за границей,—вынуждены довѣрять свои имѣнія управ-

ляющимъ. Такія лица получаютъ иногда съ своихъ обширныхъ имѣній поразительно мало дохода, и, сами дѣла не зная близко, естественно на все жалуются. То имъ власти недостаетъ, безъ которой съ мужикомъ сладу нѣтъ; то мировой судья мужику мирволить; то, пожалуй, и земство обираетъ. И дѣйствительно, такимъ владѣльцамъ, при получаемыхъ ими доходахъ, и небольшое обложеніе можетъ показаться значительнымъ. Я знаю, напримѣръ, имѣніе въ 9.000 десятинъ въ одной изъ плодороднѣйшихъ внутреннихъ губерній нашего черноземья, приносящее владѣльцу лишь четыре тысячи дохода! Для такого имѣнія обложеніе и въ 20 коп. должно казаться большимъ: оно уносило бы почти половину дохода.

Такимъ землевладѣльцамъ ограниченіе земскаго обложенія дѣйствительно можетъ быть—а тѣмъ болѣе казаться—выгоднымъ, въ особенности если имѣть въ виду, что, съ изытіемъ оцѣнки земли изъ рукъ земства, она будетъ передана въ такія учрежденія, на которыя, при извѣстномъ положеніи на службѣ, можно будетъ надѣяться (правильно, или нѣтъ, это другой вопросъ) оказать извѣстное давленіе.

Другимъ разрядомъ плательщиковъ, которымъ настоящее положеніе должно казаться особенно чувствительнымъ, являются владѣльцы имѣній, обремененныхъ большими долгами въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Съ происшедшимъ въ послѣднее время въ значительной части Россіи паденіемъ цѣнъ на хлѣбъ, платежи процентовъ по займамъ въ эти учрежденія стали уносить такую значительную часть дохода, что удѣлить изъ остающагося даже немногое на земскія нужды представляется затруднительнымъ для людей, привычный образъ жизни которыхъ и безъ того стѣсненъ. Плательщики этого класса, гораздо болѣе многочисленные, чѣмъ предыдущаго, отлично знаютъ, что и обложеніе земское само по себѣ вовсе не велико, и имѣнія ихъ оцѣнены земствомъ справедливо,—но, зная это, они также видятъ, что покуда обязанности, возложенныя на земскія учрежденія, останутся тѣ же, что и теперь, при неограниченномъ правѣ самообложенія, налоги земскіе никакимъ образомъ чувствительно сокращены быть не могутъ. А вида это, нѣкоторые изъ нихъ естественно становятся сторонниками всякихъ ограниченій. Что такія потребности, какъ народное продовольствіе, народное здравіе, народное образованіе и т. п.—и правительствомъ безъ удовлетворенія оставлены быть не могутъ, а потому всегда потребуютъ расходовъ,—это имъ не такъ видно. Но ясное дѣло, что этотъ разрядъ плательщиковъ никакого дѣйствительнаго облегченія отъ введенія предполагаемой мѣры получить не можетъ.

Кромѣ упомянутыхъ плательщиковъ, никакихъ другихъ лицъ, которыя могли бы хотя надѣяться на выгоды отъ ограниченія земскаго обложенія, я не знаю.

Интересы плательщиковъ обоихъ вышеприведенныхъ разрядовъ, съ государственной точки зрѣнія, могли бы быть совершенно оставлены безъ вниманія, такъ какъ они терпятъ не отъ государства или какихъ-либо учрежденій, а отъ совершенно другихъ причинъ. Но если оказывать защиту и имъ отъ непосильнаго для нихъ обложенія земскимъ сборомъ, то почему бы не оказывать ее такимъ способомъ, который не стѣснялъ бы ни самостоятельности земскихъ учрежденій, ни возможности дальнѣйшаго развитія ихъ полезнаго служенія населенію? Почему бы, напримѣръ, вмѣсто того, чтобы опредѣлять предѣльный размѣръ земскаго обложенія въ 10% съ дохода, съ лишеніемъ при этомъ земства права самому одѣлывать предметы земскаго обложенія, — почему бы не предоставить плательщикамъ земельного налога права, вмѣсто уплаты его, предоставлять самое имущество въ распоряженіе земства за вознагражденіе съ его стороны, въ девять разъ превосходящее сумму налога? Думаю, что плательщики были бы этимъ способомъ нисколько не меньше обезпечены отъ излишняго обложенія, тѣмъ нормою, а между тѣмъ самостоятельность земства была бы, вмѣстѣ съ тѣмъ не связана. Думаю, что можно бы найти не мало и другихъ способовъ достигнуть такой же цѣли къ общей выгодѣ и плательщиковъ, и земства.

Если трудно уяснить себѣ практическую надобность ограничивать земское самообложеніе какою-либо предѣльною нормою, то еще труднѣе понять стремленіе непремѣнно уравнивать обложеніе различныхъ мѣстностей на земскія нужды. Кому и для чего можетъ понадобиться такое равенство?

Еслибы имѣлось въ виду уравнивать вообще податную тяготу населенія, приведя платежи каждой мѣстности въ соотвѣтствіе съ ея средствами, то надо бы уравнивать не земскіе платежи, а платежи всѣхъ налоговъ вообще, казенныхъ, земскихъ и общественныхъ различныхъ наименованій, какіе только лежатъ на населеніи въ качествѣ повинностей, такъ какъ податная тягота обусловливается совокупностью ихъ всѣхъ, и въ средѣ ихъ собственно земскіе платежи составляютъ лишь небольшую долю общаго обложенія. Уравниваніе однихъ земскихъ платежей, даже еслибы оно было произведено самымъ удачнымъ образомъ, имѣло бы значеніе лишь для той небольшой группы плательщиковъ, которая, кромѣ земскаго сбора и государственнаго земскаго налога, никакихъ другихъ платежей не несетъ, т.-е. той части населенія, которая вообще меньше прочихъ обременена платежами; для большинства же населенія, на которомъ лежитъ главная тягота податей и повинностей — почти никакого. Для него уравнивать одинъ земскій сборъ значило бы то же, что уравнивать копѣйки, оставляя разницу въ рубляхъ нетронутую. Но это еще не все. Такой

результатъ получился бы лишь въ случаѣ исполнѣ удачнаго уравниванія тяготы земскаго налога между плательщиками,—а, вѣдь возможно и неудачное. Уравниваніе какой-нибудь повинности лицами, ее отбывающими, имѣетъ въ виду приведеніе платежей по этой повинности въ соотвѣтствіе съ средствами плательщиковъ; сводя же земскіе платежи къ одному общему проценту оцѣночнаго дохода съ предметовъ земскаго обложенія, мы ставимъ эти платежи въ зависимость не отъ средствъ плательщиковъ вообще, не отъ дохода, а лишь отъ доходности извѣстнаго имущества, которая можетъ съ доходомъ плательщиковъ вообще и не совпадать. Выше, при сравненіи положенія ховяйства сѣверныхъ губерній и черноземныхъ, я старался выяснитъ, какимъ невѣрнымъ показателемъ дѣйствительной обременительности земскаго обложенія можетъ иногда быть это отношеніе цифры налога къ оцѣночной доходности облагаемаго имущества. При такомъ положеніи можетъ случиться, что уравниваніемъ платежей земскаго сбора между плательщиками нѣкоторыхъ мѣстностей не только не достигалось бы болѣе равномѣрнаго распредѣленія податной тяготы между ними, а, напротивъ, бѣднѣйшіе плательщики принуждались бы еще платить за болѣе состоятельныхъ. Говорю это впрочемъ безъ всякаго примѣненія къ какой-либо опредѣленной мѣстности. Наконецъ, уравнивать можно и слѣдуетъ отбываемыя повинности, но можно ли еще земскіе платежи вообще считать повинностью? Я думаю, что по крайней мѣрѣ значительную часть земскихъ расходовъ, а стало быть и платежей на ихъ покрытіе—подъ понятіе о повинности никакъ подвести нельзя. Развѣ можно назвать повинностью содержаніе какой-нибудь случной конюшни, даже иного учебнаго заведенія, открываемаго земствомъ, какого-нибудь земскаго банка, и тому подобные расходы, дѣлаемые земствомъ добровольно, по собственному почину, на удовлетвореніе тѣхъ или другихъ своихъ нуждъ? Очевидно, считается повинностью и подлежатъ уравниванію могутъ лишь обязательные расходы на государственныя надобности ¹⁾. Тѣ, что дѣлается по собственной волѣ

¹⁾ Говоря объ обязательныхъ для населенія расходахъ, составляющихъ повинности, и противопоставляя имъ расходы, устанавливаемые земствомъ по собственному почину, я отнюдь не разумѣю officialнаго дѣленія потребностей, удовлетворяемыхъ изъ земскаго сбора, на обязательныя и необязательныя, по которому, напримѣръ, всѣ расходы на содержаніе дорожныхъ сооруженій именуется обязательными, а расходы по народному образованію—необязательными для земства. Ничего не могло бы быть ошибочнѣе выводовъ, построенныхъ на такомъ дѣленіи. Такъ, съ одной стороны, въ обязательныхъ для земства расходахъ, большинство такихъ, въ которыхъ подобно расходамъ на дорожныя сооруженія, для земства обязательно лишь вообще производствъ расхода на опредѣленную потребность, цифра же самой затраты вполне зависитъ отъ усмотрѣнія самого земства; а съ другой—и въ числѣ необязательныхъ много такихъ, удовлетвореніе которыхъ составляетъ государственную потребность, и фактически, разъ расходъ заведенъ, становится для земства уже необходимымъ.

населенія и служить его мѣстнымъ удобствомъ, причемъ земскія учрежденія являются лишь органомъ проявленія дѣятельности этого населенія къ удовлетворенію его общественныхъ потребностей, никакому уравненію подлежать не можетъ и должно разнообразиться, какъ разнообразныя условія жизни различныхъ мѣстностей. Инымъ не правится, что въ дѣлѣ земскаго самоуправленія зачастую земствомъ двухъ смежныхъ мѣстностей, находящихся повидимому въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ, расходуются совершенно разныя суммы на одну и ту же потребность, хотя потребность эта общаго характера, въ родѣ народнаго образованія или народнаго здравія, и средства обоихъ мѣстностей одинаковы. Въ этомъ хотятъ видѣть что-то ненормальное, и, глядя по воззрѣнію критика, то винятъ земство, расходующее много, въ расточительности, то—расходующее мало въ невниманіи къ нуждамъ населенія. Въ обоихъ случаяхъ высказывается требованіе уравнивать расходы. Я уже говорилъ, что мѣриломъ расточительности или бережливости земства должна служить не цифра затраты, а ея производительность; и еслибы критики, дѣлающіе такіа заключенія, потрудились получше всмотрѣться въ дѣло, то они легко бы поняли, что то, чтó имъ представляется ненормальнымъ и въ чемъ они готовы видѣть злоупотребленія, нерѣдко является послѣдствіемъ серьезнаго отношенія земства къ своимъ обязанностямъ. Будучи по существу своему учреждениями хозяйственными, земскія учрежденія въ дѣятельности своей естественно исходятъ не изъ общихъ соображеній законодателя, а изъ расчетовъ хозяина, взвѣшивающаго всякую мелочь, которая легко ускользаетъ отъ вниманія посторонняго наблюдателя. Напримѣръ, чтó ненормальнаго, если въ одномъ уѣздѣ, гдѣ въ данную минуту есть люди, способные, положимъ, сдѣлать затрату на содержаніе народныхъ училищъ производительною, земское собраніе охотно разрѣшаетъ большіе расходы на народное образованіе; тогда какъ въ другомъ, гдѣ такихъ людей нѣтъ, собраніе не разрѣшаетъ и затраты? Лица, участвовавшія въ дѣятельности земскихъ собраній, знаютъ, насколько сильно вліяніе подобнаго рода соображеній на рѣшеніе собранія. Все это настолько естественно и настолько понятно, что мнѣ, съ своей стороны, удивительно, какъ можно затрудняться этимъ; и какъ вообще можно, давая съ одной стороны самоуправленіе и предоставляя населенію самому заботиться о своихъ нуждахъ, съ другой—желать и требовать, чтобы оно расходовалось на удовлетвореніе этихъ нуждъ непременно одинаково. Тутъ, очевидно, смѣшеніе понятій. Понятіе о повинности заслоняетъ собою другую сторону земской дѣятельности, не менѣе обширную и, быть можетъ, не менѣе важную,—ту сторону, что земскія учрежденія являются органами самодѣятельности населенія на

удовлетвореніе своихъ нуждъ; что вѣдь земскія учрежденія остаются у насъ покуда едва ли не единственнымъ способомъ законнаго сотрудничества на общія нужды, такъ что имъ по-неволѣ приходится брать на себя многое такое, что въ другой странѣ и въ другомъ обществѣ дѣлалось бы помимо ихъ.

Я думаю, что составители проекта о преобразованіи узаконеній о земскомъ обложеніи никогда и не остановились бы на мысли уравнивать земскіе платежи различныхъ губерній и уѣздовъ, еслибы не потребовалось отыскивать средства къ исправленію послѣдствій принятой уже въ основаніи мѣры объ ограниченіи этого обложенія нормою. На столько ясна несообразность такого предположенія съ характеромъ земскаго сбора. Иное дѣло, еслибы рѣчь шла о принятіи на счетъ государства удовлетворенія тѣхъ земскихъ потребностей, которыя по существу своему имѣютъ государственное значеніе, и удовлетвореніе которыхъ лишь потому лежитъ въ настоящее время на средствахъ отдѣльныхъ губерній, что губернія составляютъ самую крупную единицу земскаго самоуправленія, и въ цѣпи земскихъ учреждений нѣтъ даже органа, на который можно бы было возложить исполненіе такой государственной обязанности. Противъ такой мѣры, какъ и установленія съ этой цѣлью особаго сбора на нужды общерусскаго земства, нельзя бы было сказать ни слова. И достаточно бросить бѣглый взглядъ на характеръ земскихъ расходовъ, чтобы убѣдиться, какая значительная часть ихъ идетъ на такія потребности, въ удовлетвореніи которыхъ государство заинтересовано едва ли не болѣе самого населенія каждой губерніи. Народное продовольствіе, народное здравіе, народное образованіе — все потребности, по существу своему чисто государственныя. Цѣлесообразная организація удовлетворенія этихъ и тому подобныхъ потребностей совокупными силами земства цѣлой Россіи, какъ легко себѣ представить, не только могла бы принести значительную пользу тѣмъ отраслямъ земскаго хозяйства, на которыя общегосударственныя силы были бы направлены, но повліяла бы благотворно на дѣятельность земскихъ учреждений по губерніямъ, придавъ имъ новую силу и выдвинувъ такія задачи, о разрѣшеніи которыхъ въ настоящее время силами отдѣльныхъ губерній земству и подумать нельзя. Но если вопросъ ставить такъ, то надо бы заботиться не объ огражденіи населенія отъ излишняго роста земскихъ расходовъ предѣльною нормою. Ограждать населеніе отъ самого себя государству едва ли есть надобность. И говорить пришлось бы не о помощи однихъ губерній другимъ на бѣдность. Житель рязанской губерніи несъ бы тогда налогъ на содержаніе училища въ вологодской не потому, что вологодская губернія бѣднѣе рязанской, а потому, что въ интере-

сахъ самого рязанскаго плательщика, какъ гражданина русскаго государства, лежитъ то, чтобы вологжанинъ учился наравнѣ съ нимъ. Тѣмъ слѣдовало бы хорошенько подумать, заключается въ томъ учрежденіи, на которое было бы возможно съ пользою для дѣла возложить завѣдываніе государственнымъ земскимъ хозяйствомъ, и въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какія надо бы поставить это учрежденіе къ земствамъ отдѣльныхъ губерній и уѣздовъ, такъ, чтобы оно не подавляло ихъ самостоятельности, помогало бы и живило, а не угнетало проявленія самодѣятельности населенія на общую пользу. Еслибы такой вопросъ былъ поднятъ, и еслибы для разрѣшенія его требовалось указаній опыта, то, я думаю, не мало на этотъ счетъ указаній можно бы найти въ своемъ собственномъ двадцатипятилѣтнемъ опытѣ земскаго самоуправленія, изъ котораго ясно бы стало, что слѣдуетъ и чего не слѣдуетъ дѣлать, чтобы дѣло шло хорошо. Не удивительно, что составители проекта преобразованія земскаго обложенія, отыскивая средства къ облегченію неудобствъ, вытекающихъ для земскаго хозяйства изъ ограниченія права самообложенія, были приведены къ этому вопросу, гораздо важнѣйшему, по моему мнѣнію, самой нормировки. Обзоръ характера земскихъ расходовъ должно было прямо наводить на него. Если чему удивляться, такъ развѣ тому, что мысль о привлеченіи къ земскому дѣлу совокупныхъ силъ всего государства, столь вѣрная по существу и столь богатая послѣдствіями, разъ возникнувъ, не получила въ проектѣ того развитія, котораго естественно было ожидать отъ нея, и могла замереть на ничтожной роли поправокъ, сдѣланныхъ въ земскомъ хозяйствѣ нормировкой обложенія, то-есть на такой почвѣ, гдѣ плодотворной она никакъ сдѣлаться не можетъ. Таковы главныя цѣли проекта. Онѣ вызваны не столько практическими требованіями жизни, сколько соображеніями общаго характера о возможности со стороны земства тѣхъ или другихъ злоупотребленій и неопредѣленными стремленіями къ идеалу уравниенія тяготы обложенія въ связи съ привлеченіемъ къ земскому дѣлу совокупныхъ силъ всего государства.

Въ средствахъ къ достиженію такихъ цѣлей составители проекта дѣйствуютъ радикально. Они не останавливаются ни передъ опасеніемъ нарушить самостоятельность земскихъ учреждений, ни передъ потребностью принимать въ расчетъ желанія самоуправляющагося населенія. Самодѣятельность населенія они, повидимому, вовсе не считаютъ необходимымъ условіемъ успѣшнаго хода земскаго хозяйства. Напротивъ, при разсмотрѣніи проектированныхъ мѣръ касательно земскаго обложенія представляется, какъ будто все дѣло заключается въ глазахъ преобразователей лишь въ томъ, чтобы расходъ

былъ произведенъ,—но кѣмъ и какъ: самимъ ли хозяиномъ по собственному почину, или рукою попечительнаго чиновника за него и за его счетъ—для дѣла безразлично. Оттого они, не колеблясь, измѣняютъ установившіяся жизнью отношенія, даже не справляясь хорошенько съ условіями дѣятельности тѣхъ учреждений, преобразовать которыя они призваны, и ставятъ на мѣсто свое новое безъ соображенія съ характеромъ учреждений, для которыхъ это новое создается. Въ результатѣ такого отношенія къ дѣлу, какъ и слѣдовало ожидать, получается рядъ предположеній, не только безъ нужды стѣснительныхъ для дѣятельности земства, но и грозящихъ, какъ я уже замѣтилъ, при крайней регламентаціи и обдуманности въ мелочахъ, въ значительной степени ослабить и то хорошее, чѣмъ до сихъ поръ, по общему признанію, отличалась эта дѣятельность.

Къ разсмотрѣнію этихъ предположеній мы теперь и обратимся. Устанавливая норму земскаго обложенія, имѣется въ виду, прежде всего, лишить земство права самому оцѣнивать предметы земскаго обложенія. Обязанность эта переносится на оцѣночныя комиссіи, состоящія—для недвижимыхъ имуществъ—подъ предсѣдательствомъ предводителя дворянства, изъ податнаго инспектора, непремѣннаго члена уѣзднаго присутствія по крестьянскимъ дѣламъ уполномоченныхъ отъ казны и удѣла, если въ уѣздѣ есть казенныя и удѣльныя имущества, и выборныхъ отъ города и земства. Для оцѣнки другихъ предметовъ земскаго обложенія составъ комиссіи нѣсколько разнообразится, но общій ея характеръ остается тотъ же. Комиссія ставитъ свои постановленія не окончательно, но переноситъ ихъ вмѣстѣ съ замѣчаніями земства и частныхъ лицъ въ губернскую оцѣночную комиссію, рѣшенія которой въ свою очередь разсматриваются губернскимъ земскимъ собраніемъ. Мнѣнія губернскаго собранія рѣшаютъ вопросъ въ случаѣ согласія съ ними губернатора; въ противномъ случаѣ вопросъ переносится на окончательное разрѣшеніе министра или министерства, чѣмъ и замыкается цѣпь оцѣночныхъ учреждений.

Понятно, что оцѣнка предметовъ земскаго обложенія, произведенная средствами казны на одинаковыхъ для всѣхъ губерній основаніяхъ нужна, равъ имѣется въ виду ограничить земское обложеніе предѣльною нормою, выраженною въ процентномъ отношеніи къ оцѣночному доходу имуществъ, точно также, какъ нужна она и для раскладки вновь устанавливаемого общаго по имперіи земскаго сбора. Но для этихъ цѣлей было бы вполне достаточно огульной оцѣнки имуществъ отдѣльныхъ губерній въ самыхъ общихъ чертахъ, которая и служила бы какъ для опредѣленія цифры предѣльнаго обложенія каждой губерніи на мѣстныя надобности, такъ и для разверстки между губерніями государственнаго земскаго сбора. Внутренняя же

раскладка этого послѣдняго налога по уѣздамъ и плательщикамъ, равно какъ и распредѣленіе между уѣздами максимальной величины мѣстныхъ сборовъ, могли бы быть предоставлены самому земству тѣмъ же порядкомъ, какой теперь примѣняется, напримѣръ, къ раскладкѣ государственнаго поземельнаго налога. Но для чего можетъ понадобиться брать изъ рукъ земства всѣ подробности оцѣнки и требовать примѣненія государственной оцѣнки и къ раскладкѣ земскаго сбора по отдѣльнымъ плательщикамъ, заставляя такимъ образомъ государство работать за земство, вмѣсто того, чтобы пользоваться услугами съ его стороны—этого я понять не могу. Не говоря уже о томъ, что лишеніе населенія такого драгоценнаго права, какъ право самому оцѣнивать предметы своего обложенія, въ зависимости отъ ошибокъ и произвола мѣстной администраціи, не можетъ не отразиться самымъ чувствительнымъ образомъ на его интересахъ,—казалось бы, указанный выше способъ долженъ быть предпочтенъ, какъ гораздо болѣе простой, болѣе легкій и болѣе практичный. Дѣло оцѣнки имущества каждаго отдѣльнаго плательщика налога—такое дробное, мелочное въ своихъ подробностяхъ дѣло, что чѣмъ меньшій кругъ дѣйствій охватываетъ заведующее имъ учрежденіе, чѣмъ ближе оно стоитъ къ населенію и его имуществу, тѣмъ удобнѣе ему справиться съ дѣломъ. А какое же изъ всѣхъ нашихъ учреждений ближе стоитъ къ населенію и способнѣе судить объ условіяхъ каждаго отдѣльнаго хозяйства земства каждаго уѣзда? Не даромъ въ земской практикѣ нашихъ губерній, насколько мнѣ извѣстно, ни одна губернія не беретъ на себя раскладки губернскаго земскаго сбора по плательщикамъ, на что имѣетъ полное право, но всѣ безъ исключенія предоставляютъ это сѣздамъ, хотя во многихъ губерніяхъ выработаны довольно подробныя оцѣнки предметовъ губернскаго обложенія, служащія для раскладки губернскаго сбора между уѣздами. Уже губернское земство считаетъ для себя раскладку по плательщикамъ дѣломъ черезчуръ дробнымъ.

Правда, чтобы дѣйствовать такъ, нужно вѣрить населенію, нужно вѣрить, что оно само свои выгоды соблюсти съумѣетъ, а у составителей проекта, повидимому, этой вѣры и недостаетъ. Это можетъ быть очень тягостно для нихъ, точно также какъ и обидно для населенія, быть можетъ, вовсе не раздѣляющаго такого взгляда. Но какъ бы то ни было, только, считая, очевидно, населеніе за несовершеннолѣтняго, не умѣющаго отличить, что ему выгодно, и что нѣтъ, и становясь въ положеніе опекуна къ нему, хотятъ руководить дѣломъ оцѣнки съ первыхъ ея шаговъ и до конца. Отнявъ у земства право самому цѣнить имущества своего обложенія и предоставивъ ему только представлять свои замѣчанія въ качествѣ заинтере-

сованной въ дѣлѣ стороны, не довѣряютъ дѣла оцѣнки даже и комиссіи, на которую пришлось возложить его производство. И ея рѣшенія только предположительныя. Естественно явилась послѣ того надобность ставить одни учрежденія на другія, все съ большимъ и большимъ административнымъ вѣсомъ, усмотрѣніемъ которыхъ вопросъ могъ бы быть порѣшенъ, пока, наконецъ, дѣло не дойдетъ до самого министра.

Что получаемая такимъ образомъ оцѣнка будетъ въ общемъ по качеству уступать теперешней, произведенной самимъ земствомъ, въ этомъ, я думаю, подумавъ, согласились бы со мною сами составители проекта. Начнемъ съ ея начала. Недвижимыя имущества оцѣниваются комиссіями, состоящими изъ теперешнихъ податныхъ присутствій, съ приглашеніемъ лишь въ нихъ представителей отъ земства и города. Но гдѣ же „работники“ въ этихъ комиссіяхъ: вѣдь оцѣнка имущества не такое дѣло, которое можно рѣшить кабинетнымъ путемъ въ два, три засѣданія? И земству приходится нанимать для этой цѣли особыхъ цѣновщиковъ, которые вѣдаютъ по уѣзду, свѣряя дѣйствительное состояніе его съ планами и документами, производя, гдѣ окажется нужнымъ, повѣрочныя измѣренія и т. под. работы. Быть можетъ, податной инспекторъ приметъ на себя весь этотъ подготовительный трудъ вдобавокъ къ остальнымъ своимъ многообразнымъ занятіямъ? Или, быть можетъ, работники останутся попрежнему наемными, а деньги на оплату ихъ труда возьмутъ съ того же земства, столь тщательно оберегаемаго отъ излишнихъ расходовъ, когда эти расходы предпринимаются имъ по собственному почину? А денегъ, равно какъ и труда, для оцѣночной комиссіи потребуется, конечно, больше, чѣмъ для земства, такъ какъ ея дѣло тяжелѣе. При производствѣ оцѣнки земствомъ, — по крайней мѣрѣ разъ предварительная по оцѣнкѣ работа сдѣлана, — повѣрка ея и разрѣшеніе возникающихъ пререканій не представляютъ уже болѣе особыхъ затрудненій и производятся нерѣдко прямо въ собраніи, гдѣ всегда участвуютъ лица, непосредственно знакомыя если не съ самимъ оцѣниваемымъ имуществомъ, то съ имуществами, находящимися въ совершенно однородныхъ условіяхъ. Напротивъ, при оцѣнкѣ, производимой предполагаемою комиссіею, тутъ-то и начнутся настоящіе затрудненія, такъ какъ комиссіи не на чѣмъ будетъ основаться въ разрѣшеніи поднимаемыхъ споровъ. Собственного мнѣнія членовъ комиссіи, даже еслибы они случайно были знакомы съ оцѣниваемымъ имуществомъ, было бы вѣдь еще недостаточно для того, чтобы на немъ можно было основывать рѣшеніе комиссіи; потребуются непремѣнно формальныя доказательства на каждое постановленіе, — такія, какія можно бы было представить и по начальству въ оправданіе ея опредѣленій; а доказа-

тельствва эти надо добыть. Правда, съ перенесеніемъ всего дѣла въ губернію, туда перейдетъ и большая часть работы, производимой нынѣ уѣзднымъ земскимъ сообраніемъ, и будетъ тамъ производиться, конечно, ужъ чисто канцелярскимъ порядкомъ. Уѣздная коммиссія теперь только будетъ отписываться.

Мы не будемъ слѣдить шагъ за шагомъ за дальнѣйшимъ ходомъ оцѣночной работы по всѣмъ ея многочисленнымъ ступенямъ. Разъ дѣло получило обычное теченіе въ канцелярскомъ порядкѣ, разъ лица, рѣшающія его, непосредственныхъ свѣдѣній объ оцѣниваемомъ имуществѣ не имѣютъ, но должны руководствоваться тѣми данными, какія имѣются въ бумагахъ,—мы знаемъ, какого рода оцѣнку можно будетъ получить. То будетъ оцѣнка въ установленномъ порядкѣ, оцѣнка, произведенная тѣми учрежденіями и въ томъ порядкѣ, какой требуется закономъ,—но оцѣнки хорошей, по существу, и спрашивать нельзя. Никакой чиновникъ такой оцѣнки дать не можетъ уже по тому, что самъ не знаетъ, какова произведенная имъ оцѣнка по существу: хороша или дурна; все зависитъ отъ того, какими свѣдѣніями его снабдили. Равнымъ образомъ, я не придаю значенія и возможности обжаловать постановленія объ оцѣнкѣ изъ учрежденія въ учрежденіе до министерства включительно, обезпечивающей соблюденіе со стороны оцѣночныхъ учреждений предписываемыхъ закономъ формальностей. Пользоваться этимъ правомъ обжалованія и, пожалуй, даже злоупотреблять имъ изъ частныхъ лицъ будетъ сподручно развѣ тѣмъ немногимъ богатымъ или вліятельнымъ собственникамъ, которые окажутся въ состояніи при случаѣ дѣйствительно довести дѣло до министерства. Для массы плательщиковъ это право вовсе не находка: гдѣ же имъ ходить по канцеляріямъ и министерствамъ. Для нихъ существующая теперь возможность принести жалобу на оцѣнку въ уѣздное земское собраніе, само собой разумѣется, ничѣмъ замѣнена быть не можетъ. Вопросъ, обращающій на себя особенное вниманіе въ предполагаемомъ порядкѣ оцѣнки имущества для земскаго обложенія, заключается въ положеніи, издаваемомъ согласно проекту, для губернскаго земскаго собранія, на разрѣшеніе котораго дѣло передается по разсмотрѣніи его въ губернской оцѣночной коммиссіи, и постановленія котораго будутъ подлежать пересмотру въ министерствѣ лишь въ случаѣ несогласія съ ними губернатора. Чтѣ будетъ дѣлать губернское собраніе въ этомъ дѣлѣ?

Разъ предполагаемая оцѣнка должна лечь въ основаніе раскладки и губернскаго земскаго сбора, распределяемаго нынѣ губернскимъ собраніемъ по уѣздамъ, то, естественно, для губернскаго земскаго собранія должно быть очень важно, чтобы эта оцѣнка, а слѣдовательно, и производимая по ней раскладка, вѣрно представляла дѣйствитель-

ную доходность облагаемаго имущества каждаго уѣзда. Съ этой точки зрѣнія, обязанность губернскаго земскаго собранія въ дѣлѣ оцѣнки сводилась бы къ выравниванію на основаніи какихъ-либо соображеній общаго характера несоразмѣрностей въ оцѣнкахъ отдѣльных уѣздовъ, происходящихъ, напр., отъ примѣненія оцѣночными комиссіями различныхъ уѣздовъ не тѣхъ же самыхъ мѣрокъ въ оцѣнкѣ однихъ и тѣхъ же явленій. Такая роль вполне свойственна губернскому земскому собранію и ему по силамъ, хотя бы для выполненія ея губернскому земству потребовалось производить отъ времени до времени собственныя повѣрочныя оцѣнки. Но каково должно быть положеніе губернскаго земскаго собранія при разрѣшеніи другихъ вопросовъ, вытекающихъ изъ оцѣнки, напр., жалобъ со стороны уѣздныхъ земскихъ собраній и даже частныхъ лицъ по отдѣльнымъ случаямъ оцѣнки? Губернское земское собраніе—не уѣздное; огромное большинство его гласныхъ не обязано знать и не знаетъ мѣстныхъ условій каждаго уѣзда, а тѣмъ болѣе обстоятельствъ отдѣльныхъ случаевъ оцѣнки; оно находится къ нимъ въ такомъ же положеніи, какъ и всякій чиновникъ. На какихъ же данныхъ будутъ они разрѣшать эти жалобы и разбирать пререканія? Съ другой стороны, губернское земское собраніе—и не начальникъ уѣздному, чтобы обсуждать его дѣйствія или принимать рѣшенія за него. Ставить его въ положеніе начальника вмѣсто положенія самостоятельнаго хозяина, какое ему отведено по закону, значило бы совершенно измѣнить его дѣятельность и заставить его, вмѣсто прямыхъ обязанностей, заниматься дѣломъ, къ которому оно совершенно не призвано, въ ущербъ, конечно, для дѣла.

Еслибы составители проекта, вмѣсто того, чтобы придумывать способы къ регулированію каждаго шага земскихъ учреждений и заботиться о защитѣ интересовъ, которыхъ на самомъ дѣлѣ нѣтъ не нарушаетъ, имѣли возможность шире воспользоваться указаціями земской практики, то они навѣрное увидали бы, что главное наше зло въ дѣлѣ оцѣнокъ, какъ впрочемъ и во многомъ другомъ,—не злоупотребленія оцѣнокой, единичные случаи которыхъ, если и бываютъ, то рѣдко, а наша косность, проявляющаяся какъ въ частныхъ лицахъ, такъ и въ цѣлыхъ обществахъ, въ силу которой и самыя злоупотребленія наши, когда они бываютъ, по большей части остаются такими, а не исправляются. Мнѣ извѣстенъ случай намѣренно-неправильной оцѣнки для земскаго обложенія: въ нѣкоторомъ уѣздѣ нѣкоторой губерніи имѣніе одного помѣщика и двухъ другихъ съ нимъ было, вслѣдствіе вражды даже не съ кѣмъ-либо изъ членовъ, а съ секретаремъ мѣстной управы, лѣтъ 17 тому назадъ оцѣнено несоразмѣрно высоко съ прочими. Семнадцать лѣтъ

или около того съ тѣхъ поръ прошло, враждебнаго этому помѣщику секретаря давно нѣтъ въ управѣ, нѣсколько разъ переимѣнился и самый составъ управы, а названныя имѣнія остаются все-таки неправильно оцѣненными. Мой знаемый помѣщикъ все время сильно ругался, бранилъ и секретаря, и земскіе порядки, но такъ и умеръ не собравшись подать въ земское собраніе заявленіе о несправедливой оцѣнкѣ его имѣнія, по которому—можно почти навѣрное сказать—ошибка была бы исправлена. Чтѣ вы подѣлаете съ такими людьми?! Такимъ же образомъ можно указать не мало примѣровъ и общественной косности, хотя бы въ средѣ тѣхъ уѣздовъ, которые до сихъ поръ не могутъ собраться съ силами оцѣнить свои земли и держатся въ отношеніи ихъ оцѣнки времени Положенія о крестьянахъ¹⁾. Еслибы наши преобразователи нашли какую-нибудь подгонялку для нашихъ уѣздовъ, хотя бы, напримѣръ, опредѣливъ,—въ случаѣ названные уѣзды не оцѣнять предметовъ своего обложенія къ опредѣленному сроку—производить оцѣнку за счетъ земства средствами казны, то этимъ, я полагаю, они могли бы оказать серьезную услугу земству.

Съ другой стороны, самая возможность такихъ проявленій косности, какъ со стороны частныхъ лицъ, такъ и со стороны земства, въ дѣлѣ оцѣнки имущества для земскаго обложенія не свидѣтельствуетъ ли, что это обложеніе далеко еще не достигло тѣхъ размѣровъ, когда оно могло бы быть названо по справедливости обременительнымъ для населенія?

Предположеніе: приходитъ на помощь мѣстностямъ, неотложные расходы которыхъ превысить предѣльную норму земскаго обложенія, средствами другихъ мѣстностей, находящихся въ лучшемъ положеніи, приводить составителей проекта къ предложенію отнять у земства другое, еще болѣе существенное право, чѣмъ право самому оцѣнивать предметы земскаго обложенія—право рѣшать, какія изъ его земскихъ потребностей неотложны, и какія нѣтъ, по крайней мѣрѣ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда цифра исчисленныхъ по уѣздной смѣтѣ расходовъ выйдетъ за предѣлы нормы. Предполагаемый способъ организаціи этой помощи заключается, повидимому, въ слѣдующемъ. Несмотря на установленіе предѣльнаго размѣра земскаго обложенія, уѣздамъ будетъ предоставлено переходить въ своихъ смѣтахъ и за черту такой нормы. Такія смѣты пойдутъ на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собранія, которое, въ случаѣ признанія неотложности

¹⁾ Надо оговориться. Мнѣ извѣстны уѣзды, гдѣ оцѣнка до сихъ поръ не введена лишь благодаря тому, что оцѣночныя работы были начаты земствомъ въ слишкомъ обширномъ объемѣ. Такіе уѣзды держатся старой оцѣнки ужъ, конечно, не по косности, а развѣ по нѣкоторой непрактичности своей въ новомъ дѣлѣ.

предположенныхъ расходовъ, обязано будетъ принять недостающую часть издержекъ на губернской счетъ. Въ противномъ случаѣ, вопросъ переносится на разрѣшеніе губернскаго по земскимъ дѣламъ присутствія (учрежденія смѣшаннаго состава, изъ представителей разныхъ вѣдомствъ), изъ котораго можетъ быть еще перенесенъ (однимъ ли только губернаторомъ, или также по желанію земства?) на окончательное разрѣшеніе министерства и, если этими учрежденіями неотложность расходовъ будетъ признана, то производство ихъ на губернской счетъ становится для губернскаго земства опять-таки обязательнымъ. Въ свою очередь, губернія, въ которыхъ всѣ или почти всѣ уѣзды достигнутъ предѣльнаго обложенія, получаютъ право на пособіе для покрытія своихъ неотложныхъ расходовъ изъ средствъ общаго по имперіи земскаго сбора, разрѣшеніе котораго будетъ зависѣть уже прямо отъ министерства.

Если почему-либо не признается возможнымъ организовать общерусское земское хозяйство съ самостоятельнымъ учрежденіемъ во главѣ, которое бы органически вошло въ цѣпь земскихъ учрежденій по губерніямъ, то, естественно, остается лечить палліативно и оказывать губерніямъ помощь тамъ, гдѣ это окажется возможнымъ, какъ вѣдь, между прочимъ, дѣлается и теперь. Естественно также, что и завѣдывать такою помощью больше некому, кромѣ министерства внутреннихъ дѣлъ. Поэтому, если въ предположеніяхъ проекта о помощи изъ общаго по имперіи земскаго сбора есть что-нибудь не совсемъ понятное, то развѣ только то, зачѣмъ было связывать министерство въ оказаніи такой помощи непремѣннымъ условіемъ помогать лишь тѣмъ губерніямъ, гдѣ всѣ или большинство уѣздовъ будутъ обложены на земскія нужды въ полномъ размѣрѣ нормальнаго обложенія. Иногда могло бы быть полезнымъ оказать земству помощь и при отсутствіи такого условія. Но зачѣмъ потребовалось уничтожать существующія отношенія между губернскимъ земствомъ и уѣздами при оказаніи уѣздамъ помощи изъ губернскихъ средствъ и, вводя между ними въ качествѣ рѣшителя разногласій по вопросу о неотложности уѣздныхъ расходовъ особое бюрократическаго характера учрежденіе, тѣмъ самымъ искусственно возбуждать антагонизмъ интересовъ, — это все вопросы, столь же трудно объяснимые съ земской точки зрѣнія, какъ и необходимость лишать земство права самому оцѣнивать предметы своего обложенія. Признается ли, что губернское земство въ настоящее время недостаточно помогаетъ уѣзднымъ, недостаточно участвуетъ въ нуждахъ населенія общими силами губерніи, чтобы дать поводъ принуждать его къ тому понудительными мѣрами? въ этомъ смыслѣ были ли жалобы, и произведено ли разслѣдованіе по такимъ жалобамъ? Ничего подобнаго мы не слышали. Напро-

тивъ, достаточно просмотрѣть смѣты губернскихъ земскихъ потребностей, чтобы убѣдиться, какъ велико участіе совокупныхъ силъ губерній въ удовлетвореніи земскихъ нуждъ. Своекорыстное уклоненіе губернскаго земства отъ участія въ расходахъ, нужныхъ для населенія уѣздовъ, входящихъ въ составъ губерніи, было бы явленіемъ настолько необычнымъ, что даже ни одинъ изъ многочисленныхъ враговъ земскихъ учрежденій послѣдняго времени, какъ мнѣ думается, не рѣшился возводить на земство подобное обвиненіе, и разрѣшеніе вопросовъ о томъ, что принимать на губернской и что на уѣздный счетъ, никогда не сходило съ почвы практики. Только въ настоящее время губернское собраніе, разрѣшая производство какого-либо расхода изъ губернскаго сбора, имѣетъ возможность и обставить дѣло такъ, чтобы расходъ дѣйствительно былъ произведенъ уѣздомъ, какъ слѣдуетъ. Всматриваясь въ тѣ отношенія, какія установились на практикѣ въ различныхъ губерніяхъ между губернскимъ земствомъ и уѣздными въ удовлетвореніи общими силами ихъ общеземскихъ нуждъ, въ отбываніи дорожной повинности, въ заботахъ о народномъ здоровіи и проч., вы увидите, сколько труда, сколько мысли порой потрачено на то, чтобы поставить каждое учрежденіе въ настоящее положеніе къ завѣдываемому имъ дѣлу, такъ чтобы оно, не теряя значенія самостоятельнаго распорядителя ввѣреннымъ ему дѣломъ, являлось въ то же время всегда лицомъ, непосредственно заинтересованнымъ въ его успѣхѣ, прямо отвѣтственнымъ передъ тѣми, чьи средства затрачиваются. Въ томъ, какъ разверстались между собою губернія и уѣздъ въ завѣдываніи земскимъ хозяйствомъ, главнымъ образомъ сказывается организаторскій смыслъ земства каждой мѣстности, и я не думаю, чтобы, всмотрѣвшись въ дѣло хорошенько, намъ пришлось въ этомъ случаѣ краснѣть за наше земство. Возможность такого вліянія на расходы, производимые изъ средствъ губерніи, пропадетъ для губернскаго земства, какъ скоро оказаніе пособія уѣзду можно будетъ сдѣлать обязательнымъ для губерніи, и когда, слѣдовательно, принятіе или непринятіе на губернской счетъ какого-либо расхода нельзя будетъ уже этому собранію поставить въ зависимость отъ соблюденія извѣстныхъ условий. Составители проекта преобразованія земскаго обложенія предпочитаютъ разрѣшать такіе вопросы при посредствѣ администраціи (въ данномъ случаѣ—губернскаго по городскимъ дѣламъ присутствія), въ зависимости не отъ того, кому удобнѣе принять на себя извѣстный расходъ: губернскому земству или уѣздному, а отъ такого чисто внѣшняго признака, какъ обстоятельство, достигло ли уѣздное обложеніе предѣльной нормы, или нѣтъ,—и, вѣрные принятой на себя роли попечителя населенія, также заботливо стараются, съ своей точки зрѣнія,

оградить интересы уѣзда отъ возможнаго притѣсненія со стороны губернскаго земства, какъ опредѣляя предѣльный размѣръ земскаго обложенія, старались оградить отдѣльныхъ плательщиковъ отъ притѣсненій со стороны уѣзда. Что со введеніемъ предлагаемаго ими порядка рушится цѣлый строй отношеній, выросшій на началѣ непосредственной заинтересованности каждаго земскаго учрежденія въ-рѣннымъ ему дѣломъ,—ими даже не замѣчается.

Посмотримъ же, какое положеніе создается предположеннымъ порядкомъ для дѣятельности земскихъ учреждений, и прежде всего въ какомъ положеніи очутится губернское земское собраніе, когда оно должно будетъ, въ силу потребовавшейся отъ него помощи какому-нибудь уѣзду, рѣшать вопросъ о степени неотложности для этого уѣзда расходовъ его уѣздной смѣты. Такъ какъ согласіе или несогласіе губернскаго собранія оказать уѣзду помощь поставлено въ зависимость единственно отъ признанія имъ предположеннаго расхода неотложнымъ или нѣтъ, то, очевидно, губернскому собранію въ разрѣшеніи такого вопроса не достаточно будетъ обсудить одинъ только новый расходъ, на который помощь требуется, но придется перебрать всѣ расходы уѣзда, чтобы судить, нѣтъ ли между ними такихъ, которые бы могли быть отложены. Не говоря уже о томъ, въ какой мѣрѣ такимъ пересмотромъ нарушается самостоятельность уѣзднаго земства, спрашивается: на основаніи какихъ данныхъ будетъ губернское собраніе судить о степени настоятельности различныхъ расходовъ для уѣзда? Когда уѣздное собраніе разрѣшаетъ этотъ вопросъ для себя, выбирая, какіе изъ представляющихся расходовъ ему занести въ свою смѣту, оно имѣетъ возможность соображаться съ совокупностью мѣстныхъ условій, опредѣляющихъ производительность той или другой затраты, условій, благодаря которымъ, какъ уже было замѣчено, иной расходъ, удовлетворяющій, повидимому, менѣе настоятельной потребности, будетъ полезнѣе и долженъ быть предпочтенъ расходу на предметъ первой необходимости: расходъ на содержаніе случной конюшни иному расходу по смѣтѣ народнаго здравія и т. п. У губернскаго собранія такихъ свѣденій объ обстоятельствахъ каждаго уѣзда нѣтъ и быть не можетъ. Оно по-неволѣ должно будетъ руководствоваться въ своихъ рѣшеніяхъ какими-нибудь шаблонными приемами оцѣнки расходовъ, въ родѣ, напр., степени настоятельности потребностей, удовлетворенію которыхъ расходы служатъ, или чѣмъ-нибудь въ этомъ же родѣ, нерѣдко къ явному ущербу для дѣла. А если таковъ долженъ быть образъ дѣйствій губернскаго земскаго собранія, то что же сказать объ остальныхъ учрежденіяхъ, на разрѣшеніе которыхъ можетъ перейти вопросъ о степени неотложности различныхъ расходовъ уѣздной смѣты, еще далѣе стоящихъ отъ на-

селенія и еще менѣе знакомыхъ съ его мѣстными условіями и нуждами?

Водвореніе формы на мѣсто существа дѣла, рутины на мѣсто дѣятельнаго почина населенія, очевидно, можетъ быть неизбѣжнымъ послѣдствіемъ проектируемаго порядка.

Еслибы такая серьезная реформа, какъ настоящая, имѣющая измѣнить не правила объ обложеніи только, а весь строй нашего земскаго хозяйства, предпринималась единственно подъ вліяніемъ требованій, поставленныхъ самою жизнью, и преобразованію предшествовало живое ознакомленіе съ тѣмъ порядкомъ, который имѣется въ виду измѣнить,—хотя бы, напр., посредствомъ такихъ же сенаторскихъ ревизій, которыми столько разъ раскрывались непорядки прежней, до-земской администраціи,—то позволительно думать, что ничего подобнаго настоящему проекту реформы земскаго обложенія не могло бы возникнуть. Ознакомленіе съ ходомъ земскаго дѣла на мѣстѣ не могло бы не убѣдить наглядно, что весь успѣхъ земскаго хозяйства фактически зависитъ отъ участія, принимаемаго населеніемъ въ завѣдываніи своими общественными дѣлами, и зависитъ настолько, что гдѣ болѣе проявляется эта самодѣятельность, тамъ заранѣе можно предсказать и болѣшій успѣхъ, и наоборотъ. Самодѣятельность же прямо зависитъ отъ степени заинтересованности населенія въ дѣлѣ. Это все такъ просто и такъ извѣстно, что, казалось бы, и повторять его не стоило, а все-таки приходится повторять.

Итакъ, повторяемъ, что ежели земскія учрежденія въ теченіе двадцатипяти-лѣтняго своего существованія что-нибудь сдѣлали, то единственно благодаря самодѣятельности заинтересованнаго въ дѣлѣ населенія. Если земскія школы всегда такія, въ которыхъ дѣйствительно учатъ, и между ними вовсе нѣтъ такихъ, которыя бы числились только для счета или для утѣхи слуха, какъ нерѣдко бывало въ прежнее время, то это происходитъ единственно вслѣдствіе того, что населеніе только на такія школы охотно даетъ деньги, отъ которыхъ видитъ пользу, и его никакими отчетами не проведешь. Если земскія больницы, „какъ небо отъ земли“¹⁾, отличаются отъ больницъ бывшихъ приказовъ общественнаго призрѣнія, то опять-таки и это происходитъ по той же причинѣ. Населеніе не будетъ тратить на то, въ чемъ не видитъ пользы, а знаетъ оно свою больницу даже и безъ помощи ревизій хорошо—уже отъ тѣхъ, кто въ ней лежалъ. Вы можете такимъ образомъ перебрать подъ рядъ всѣ отрасли земскаго хозяйства, и вездѣ найдете ту же зависимость болѣе или менѣе удов-

¹⁾ Если не ошибаюсь, употребляю выраженіе двухъ министровъ, посѣтившихъ рязанскую губернскую земскую больницу.

дѣлительнаго ихъ состоянія отъ степени самодѣтельности земства. Тѣ отрасли земскаго хозяйства, въ которыхъ самодѣтельность эта почему-либо слабѣе проявляется, — напр. вслѣдствіе отсутствія непосредственной заинтересованности земства въ дѣлѣ собственнымъ карманомъ, или вслѣдствіе стѣсненія дѣятельности земства излишней регламентаціей, — обыкновенно даже въ лучшихъ губерніяхъ хуже поставлены, чѣмъ прочія. Такимъ является прежде всего дѣло обезпеченія народнаго продовольствія, а затѣмъ также страховое дѣло, борьба съ падежами скота и нѣкоторыя другія, изъ которыхъ въ продовольственномъ и страховомъ дѣлѣ земство является не хозяиномъ дѣла, а лишь надсмотрщикомъ и распорядителемъ чужими капиталами; въ продовольственномъ же, кромѣ того, точно также какъ и въ мѣрахъ борьбы съ падежами, стѣснено еще мелочною регламентаціей. Не мудрено, что дѣло обезпеченія народнаго продовольствія обыкновенно идетъ хуже всѣхъ. Я спрашивалъ лицъ, участвовавшихъ въ земскихъ собраніяхъ, такъ же ли разрѣшались собраніями расходы изъ губернскаго продовольственнаго и страхового капиталовъ, какъ изъ губернскаго земскаго сбора или иначе, легче? Съ своей же стороны, могу сослаться на слѣдующій фактъ: когда рязанскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, было постановлено не иначе выдавать ссуды изъ губернскаго продовольственнаго капитала, какъ подъ ручательство въ своевременной уплатѣ взятыхъ денегъ земства отъ каждаго уѣзда, — требованія на ссуды изъ этого капитала, предъявленныя-было уѣздами, были сразу сокращены почти въ десять разъ. Только примѣненіе этого правила дало возможность рязанскому земству сохранить свой губернскій продовольственный капиталъ въ цѣлости, и въ сложности за все время его дѣйствія, конечно, оказать помощь несравненно большому числу лицъ и въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ бы то было, еслибъ, раздавъ капиталъ безъ такого условія, оно сразу усадило бы его весь въ недоимки ¹⁾).

Постановка продовольственнаго дѣла представляетъ классическій примѣръ малой успѣшности земской дѣятельности не потому только, что въ этомъ случаѣ земство является матеріально незаинтересованнымъ въ дѣлѣ, но и въ силу чрезмѣрной регламентаціи, являющейся

¹⁾ Считаю нужнымъ особенно упирать на это обстоятельство, такъ какъ мнѣ приходилось не разъ читать, между прочимъ, и въ газетахъ нападки на другія губерніи, примѣняющія у себя ту же мѣру, будто бы лишаящую крестьянъ возможности пользоваться помощью изъ продовольственнаго капитала. Еслибы авторы такихъ жалобъ потрудились сосчитать, какому числу лицъ оказано пособіе земствомъ той губерніи, гдѣ эта мѣра примѣнялась, и сравнить полученныя цифры съ цифрами пособій другихъ губерній, то они увидали бы, какой способъ дѣйствій лишаетъ крестьянъ помощи!

какъ бы взаимнѣ такого недостатка заинтересованности, и на дѣлѣ связывающей каждое дѣйствіе завѣдующаго дѣломъ учрежденія. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть подробнѣ правилъ, опредѣляющихъ способы храненія, отвѣтственности за продовольственные запасы и капиталы, и выдачи ссудъ изъ нихъ? Продовольственные средства, повидимому, такъ строго оберегаются ими, столько учреждений и должностныхъ лицъ привлекаются къ надзору за ними, расходованіе ихъ обставлено такими формальностями, что по крайней мѣрѣ цѣлость ихъ, казалось бы, должна быть обезпечена. Между тѣмъ что же выходитъ? Переписки, правда, выходитъ не мало; не мало и лишней суеты по соблюденію формальностей. Во многихъ уѣздахъ принято даже, при раздачѣ ссудъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала, прямо разсылать образцовые приговоры по обществамъ и волостямъ, чтобы писари умѣли вписать въ приговоры все, что требуется, а гонка членовъ управы для повѣрки приговоровъ и для раздачи денегъ—явленіе повсемѣстное. И все-таки почти повсемѣстно продовольственныхъ запасовъ нѣтъ, капиталы въ недоимкахъ, а когда случается выдавать ссуды, то самыя тѣ лица, которыя хлопочутъ и суетятся надъ этимъ дѣломъ, въ результатѣ сами сомнѣваются, приносятъ ли они хоть какую пользу населенію производимыми выдачами. Уже одного этого примѣра, казалось бы, должно быть достаточно для умирненія хоть какого регламентаціоннаго стремленія.

Ближайшимъ послѣдствіемъ введенія предлагаемыхъ въ проектѣ преобразованія узаконеній о земскомъ обложеніи мѣрѣ, мнѣ кажется, должно быть слѣдующее.

Такъ какъ большинство стѣснительныхъ для самостоятельности земскихъ учреждений правилъ вступаетъ, согласно проекту, въ дѣйствіе лишь по достиженіи обложенія какой-либо мѣстности предѣльной нормы, то для опредѣленія послѣдствій, какихъ слѣдуетъ ожидать отъ сказанныхъ мѣрѣ, весьма важно, какой высоты будетъ назначена предѣльная норма. Если норма будетъ опредѣлена высокая, такъ что большинство уѣздовъ не скоро до нея дойдетъ, то и предвидимыя послѣдствія не скоро наступятъ. Населеніе будетъ, правда, терпѣть нѣкоторыя, болѣе или менѣе серьезныя, стѣсненія, главнымъ образомъ отъ перехода оцѣнки предметовъ земскаго обложенія изъ рукъ земства къ бюрократическимъ учрежденіямъ,—но и только. Но если норма, какъ можно ожидать, будетъ назначена низкая, такъ что сразу стѣснить дальнѣйшій ростъ земскихъ расходовъ, то и наступленія всѣхъ послѣдствій отъ введенія проектированнаго порядка слѣдуетъ ожидать—тотчасъ же. А послѣдствій ожидать можно слѣдующихъ.

Многіе уѣзды, обложеніе которыхъ уже и такъ приближается къ

допускаемой законом нормѣ, найдутъ для себя выгоднымъ сразу довести свои смѣты до предѣльнаго размѣра. Такимъ образомъ, они по крайней мѣрѣ сами воспользуются всѣмъ, что съ нихъ можно будетъ взять, и раньше станутъ въ положеніе уѣздовъ, не оказывающихъ помощь другимъ, а сами ее получающихъ. Если такихъ уѣздовъ будетъ много, то повторится нѣчто подобное тому, что случилось послѣ ограниченія предѣльнымъ размѣромъ, согласно закону 27-го ноября 1867 г., обложенія торговли и промысловъ, когда всѣ патенты и свидѣтельства чуть ли не по всей Россіи были обложены земствомъ въ высшемъ, допускаемомъ закономъ, размѣрѣ. Тогда приводили въ объясненіе такой мѣры тотъ доводъ, что надо же взять съ представителей торговли и промысловъ хоть то, что можно, на случай какихъ-либо чрезвычайныхъ расходовъ, возможныхъ въ будущемъ, на покрытіе которыхъ придется повысить обложеніе прочихъ имуществъ, тогда какъ съ патентовъ и свидѣтельствъ надо будетъ довольствоваться прежнимъ сборомъ. Не менѣе вѣскіе доводы найдутся, конечно, и въ оправданіе подобной мѣры теперь. Уѣздъ, въ которомъ такое повышеніе случится, уменьшенія земскихъ сборовъ уже никогда не увидитъ, но платежи его закаменѣютъ на размѣрѣ нормы. Дальнѣйшій ростъ земскихъ расходовъ будетъ возможенъ лишь путемъ выпрашиванья помощи у губерніи, а помощь выпрашивать будутъ. При этомъ дѣло это такого сорта, что разъ такая помощь будетъ оказана какому-нибудь уѣзду, то самый фактъ ея оказанія, особенно если помощь была оказана даже вопреки волѣ губернскаго земскаго собранія, долженъ побуждать и другіе уѣзды губерніи хлопотать того же для себя. Съ теченіемъ времени примѣру уѣздовъ послѣдуетъ и губернія, занавѣ такое же положеніе въ отношеніи государства, какое прежде уѣзды занимали въ отношеніи губернскаго земства.

Само собою разумѣется, такіа перемѣны въ способахъ покрытія земскихъ расходовъ не могутъ остаться безъ вліянія на характеръ дѣятельности земскихъ учреждений и земскихъ собраній во главѣ ихъ. Цѣлый разрядъ лицъ, до того времени дѣятельно посѣщавшихъ засѣданія собраній, всѣ тѣ лица, которыя занимались земскими дѣлами, главнымъ образомъ, съ цѣлью не дать собранію зарваться въ легкомысленные расходы и такимъ образомъ уберечь свою собственность отъ чрезмѣрнаго обложенія, потеряютъ значительную долю интереса въ дѣлѣ, и, при случаѣ (напр. когда образуется враждебное, непріятное большинство или пойдутъ непріятности), перестанутъ совершенно посѣщать собраніе. Но останутся и, за ихъ уходомъ, получать преобладаніе искатели должностей и ихъ сторонники. Надо ли говорить, что будетъ уходить такимъ образомъ самая дѣльная,

самая полезная часть собранія, тѣ люди, благодаря которымъ, главнымъ образомъ, земскіе расходы становятся производительными, всякое предложеніе тщательно взвѣшивается даже прежде внесенія его въ собраніе, смѣты обдумываются, отчеты и произведенные расходы повѣряются. Останется же гораздо болѣе легковѣсная часть. Уходъ этихъ лицъ будетъ тяжелой потерей для земства.

Съ другой стороны, и самый ходъ земскаго хозяйства долженъ измѣниться съ переменною въ способахъ доставать необходимыя деньги. Какъ скоро обложеніе уѣзда достигнетъ предѣльной нормы, и всякое расширеніе расходовъ, теперь охотно разрѣшаемое уѣзднымъ собраніемъ, станетъ въ зависимость отъ губернскаго земскаго собранія и еще болѣе отъ присутствія по земскимъ дѣламъ, потребуются и другіе приемы выхлопывать деньги.

Отъ земскихъ дѣателей потребуется не убѣждать свое собраніе въ необходимости и производительности предполагаемой затраты, а умѣнье свѣздить къ губернатору, губернскому предводителю дворянства, и проч., и проч.,—умѣнье ихъ убѣдить, поклонны, визиты, разговоры по секрету, словомъ, всѣ тѣ средства, какія употребляются для склоненія на свою сторону лицъ, непосредственно въ дѣлѣ не заинтересованныхъ. Для такихъ приемовъ потребуются и дѣатели другіе. Еще причина устранилась отъ дѣла лицамъ, теперь усердно слѣдящимъ за земскимъ хозяйствомъ.

А отношеніе собранія къ расходамъ изъ выпрошенныхъ такимъ образомъ денегъ развѣ можетъ быть то же, съ какимъ оно относится къ тѣмъ расходамъ, каждая копѣйка которыхъ оплачивается уѣзднымъ земствомъ изъ собственного кармана? Если теперь земскія собранія относятся гораздо легче къ расходамъ изъ вѣреннныхъ земству продовольственнаго и страхового капитала, въ цѣлости и употребленіи которыхъ они хотя косвенно заинтересованы,—тѣмъ къ расходамъ изъ собственного земскаго сбора, то какія же данныя къ тому, чтобы ожидать отъ нихъ болѣе строгаго отношенія къ суммамъ, такъ сказать, прямо даренымъ. Я опасаюсь, что найдутся даже такіе уѣзды, гдѣ прямо будутъ говорить господамъ гласнымъ, интересующимся употребленіемъ полученнаго пособия: „о чемъ вы беспокоитесь? не вами выхлопотаны деньги, не вы будете и платить ихъ; распорядятся ими тѣ, кто ихъ добылъ“. И вѣдь многіе такимъ отвѣтомъ удовлетворяются.

Я спрашиваю: много ли пользы получить земство и государство отъ такой перемены? А между тѣмъ такое положеніе будетъ естественнымъ послѣдствіемъ пренебреженія основнымъ началомъ земскаго самоуправления—самостоятельностью въ завѣдываніи земскимъ хозяйствомъ заинтересованнаго въ дѣлѣ населенія.

Послѣ всего сказаннаго считаю излишнимъ касаться предположеній проекта, относящихся до частныхъ вопросовъ земскаго обложенія. Мѣры, предлагаемыя по поводу ихъ, могутъ быть и очень хороши, нѣкоторыя изъ нихъ, повидимому, и слѣдуетъ признать таковыми, — но все же общаго вывода о реформѣ онѣ, очевидно, измѣнить не могутъ.

Кн. Н. С. Волконскій.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го января 1890.

Политическіе итоги прошлаго года. — Нѣкоторые характерные факты. — Положеніе дѣлъ во Франціи. — Особенности новѣйшаго буланжизма. — Внутренніе и внѣшніе вопросы въ Германіи. — Африканскія экспедиціи. — Австрійскія и балканскія дѣла.

Вступая въ послѣднее десятилѣтіе XIX-го вѣка, мы невольно вспоминаемъ, чѣмъ была Европа въ концѣ прошлаго вѣка, сколько надеждъ связывалось тогда съ умственнымъ и политическимъ движеніемъ той эпохи, и какъ мало въ сущности мы приблизились къ разрѣшенію тѣхъ задачъ, которыя волновали умы сошедшихъ со сцены поколѣній! Военныя силы государствъ доведены теперь до такого развитія и могущества, о какомъ не мечтали наши предки; состояніе вооруженнаго мира, могущее въ каждый данный моментъ разразиться войною, сдѣлалось изъ временнаго постояннымъ, хроническимъ. Недавнія волненія рабочихъ въ Германіи и Англіи, охватившія сотни тысячъ трудящагося народа, свидѣтельствуютъ объ остромъ характерѣ социальнаго зла и о безсиліи обычныхъ законодательныхъ мѣръ въ борьбѣ съ этимъ недугомъ, подтачивающимъ жизнь культурныхъ націй. Националистическіе споры въ Австро-Венгріи, буланжизмъ во Франціи, недовольство населенія и экономическій кризисъ въ Италіи, продолжающіяся замѣшательства въ Ирландіи, періодическія волненія въ разныхъ частяхъ Турціи, — все это показываетъ, что внутренніе разлады существуютъ повсюду, въ болѣе или менѣе мѣрѣ. Нѣкоторые писатели, приписывающіе себѣ даръ предвидѣнія будущаго, предвѣщаютъ къ концу настоящаго столѣтія цѣлыя катастрофы, подобныя тѣмъ, какими закончился восемнадцатый вѣкъ. Очень можетъ быть, что накопившіеся элементы раздраженія и вражды

разрѣшятся какими-нибудь печальными событіями; но для того, чтобы эти событія имѣли характеръ серьезныхъ попытокъ—достигнуть окончательнаго разрѣшенія назрѣвшихъ вопросовъ, необходима была бы живая, всеобщая вѣра въ будущее, вѣра въ возможную осуществимость тѣхъ или другихъ политическихъ идеаловъ,—а этой-то вѣры и недостаетъ современнымъ обществамъ. Многого, конечно, достигли уже народы въ западной Европѣ; они могутъ спокойно ждать дальнѣйшихъ переменъ и улучшеній, оставаясь на почвѣ законныхъ способовъ воздѣйствія на законодательство и политику. Но если произойдутъ какія-нибудь катастрофы, то скорѣе въ области международныхъ отношеній, чѣмъ въ сферѣ внутреннихъ условій политическаго быта. Правда, въ области внѣшней европейской политики замѣчаются признаки поворота къ лучшему; никто не желаетъ столеновѣній и войнъ, ибо никто не вѣритъ въ возможность достиженія прочныхъ результатовъ подобными средствами.

Политическіе итоги прошлаго года не очень значительны, и въ общемъ они должны быть признаны скорѣе благопріятными для мирнаго развитія народовъ. Международное положеніе отчасти улучшилось. Безпокойство въ Германіи по поводу воинственной буланжистской агитаціи во Франціи улеглось само собою, подъ вліяніемъ успѣха парижской всемірной выставки и неудачи буланжистовъ на выборахъ 22 (11) сентября. Официальный разладъ между Германією и Россією прекратился или по крайней мѣрѣ смягчился, чему содѣйствовало вѣроятно свиданіе двухъ императоровъ въ Берлинѣ, въ началѣ октября (и. ст.). Въ балканскихъ дѣлахъ настало затишье, съ устраненіемъ одного изъ источниковъ затрудненій и кризиса въ Сербіи, т.-е. съ отреченіемъ короля Милана, бывшаго исключительнымъ приверженцемъ Австріи и ея интересовъ на Востокѣ. Болгарія сохраняла выгодный для нея *status quo*, и въ Европѣ мало-по-малу привыкаютъ къ совершившемуся факту воссоединенія съ Восточною Румелією и водворенія правительства, пользующагося видимою поддержкою мѣстнаго народнаго представительства. Никакихъ серьезныхъ политическихъ вопросовъ не возникало въ Европѣ въ истекшемъ году, — если не считать швейцарско-германскаго конфликта, улаженнаго миролюбиво, и новаго освободительнаго движенія среди злосчастныхъ кандіотовъ, не имѣвшего и на этотъ разъ успѣха. Что касается событій въ другихъ частяхъ свѣта, то европейское общественное мнѣніе наиболѣе заинтересовалось неожиданнымъ паденіемъ монархіи въ Бразиліи и удивительными приключеніями знаменитаго Стэнли въ центральной Африкѣ.

Въ политической жизни отдѣльныхъ государствъ обращаютъ на себя вниманіе нѣкоторые факты, кажущіеся на первый взглядъ слу-

чайными или неважными, но составляющіе въ дѣйствительности характерные симптомы совершенно новаго, весьма любопытнаго явленія. То, что всегда было высшею цѣлью человѣческаго честолюбія, начинаетъ терять свою прелесть въ глазахъ заинтересованныхъ лицъ и нерѣдко оказывается бременемъ, съ которымъ легко и охотно расстаются. Наслѣдникъ австрійскаго императора, эрцгерцогъ Рудольфъ, готовъ былъ промѣнять свои блестящія царственные перспективы на простое, скромное личное счастье; его не увлекала роль правителя, связанная съ тяжелою отвѣтственностью и исключаящая возможность свободного пользованія жизнью; онъ рѣшился на самоубійство подъ вліяніемъ такихъ обстоятельствъ, мимо которыхъ проходили безъ всякихъ стѣсненій властвующія лица былаго времени. Вслѣдъ за трагическою кончиною Рудольфа (18-го января, н. ст.) мы видимъ фактъ добровольнаго отреченія короля Милана, который также, хотя и по другимъ мотивамъ, не могъ подчиниться обязательствамъ, налагаемымъ его высокимъ саномъ, и предпочелъ удалиться въ частную жизнь, по крайней мѣрѣ официально. Послѣдній и наиболее интересный примѣръ такого стремленія къ обыкновенной гражданской свободѣ представляетъ формальный выходъ эрцгерцога Іоанна Сальватора изъ среды членовъ австрійской императорской фамиліи, съ отказомъ отъ всѣхъ правъ и привилегій, принадлежащихъ ему по рожденію. Эрцгерцогъ Іоаннъ осуществилъ мечту, которую не удалось исполнить кронпринцу Рудольфу; онъ смѣло сложилъ съ себя свои высокія и почетныя званія, отрекся отъ возможныхъ правъ на престолъ, вышелъ даже изъ состава австрійской аристократіи и принялъ скромное имя Іоанна Орта, чтобы пріобрѣсть полную свободу дѣйствій и начать новую жизнь въ толпѣ обыкновенныхъ трудящихся гражданъ. Необычайная легкость, съ какою совершился переворотъ въ Бразиліи, объясняется отчасти тою же характерною чертою: императоръ Донъ-Педро II д'Алькантара и его наслѣдники не пытались вовсе защищать права своей династіи и покинули свою бывшую имперію безъ особенныхъ сожалѣній; они готовы были служить странѣ въ качествѣ частныхъ лицъ, еслибы народъ откровенно высказался за республику,—какъ это заявилъ въ публичной рѣчи, незадолго до революціи, принцъ Гастонъ Орлеанскій, мужъ наслѣдной принцессы Изабеллы. Этотъ принцъ, которому приписывали разныя честолюбивыя замыслы, заявлялъ торжественно, что монархія будетъ существовать въ Бразиліи только до тѣхъ поръ, пока ее желаетъ населеніе; династія тотчасъ уступить свое мѣсто другому режиму, если такова будетъ народная воля. Трудно уже теперь представить себѣ, чтобы какой-нибудь принцъ соблазнился примѣромъ эрцгерцога Максимилиана, пытавшагося утвердить свою власть въ

Мексикѣ противъ воли мексиканцевъ и сдѣлавшагося жертвою своего честолюбія. Эфемерные троны, не поддерживаемые общественнымъ сочувствіемъ, не находятъ серьезныхъ искателей и кандидатовъ; мы видѣли это еще недавно въ Болгаріи, послѣ ухода принца Баттенберга: обращенія болгарскихъ посланцевъ къ представителямъ разныхъ династій долго не имѣли успѣха, и только молодой принцъ Кобургскій рискнулъ занять вакантный княжескій престолъ. Эти отказы и колебанія объяснялись не одною лишь формальною незаконностью положенія дѣлъ въ Болгаріи, ибо это незаконное положеніе пользовалось достаточно могущественною охраною со стороны Англіи и Австро-Венгріи; причина колебаній и отказовъ заключалась именно въ томъ, что постъ правителя пересталъ считаться чѣмъ-то безусловно заманчивымъ, и что на него смотрятъ уже серьезно, не какъ на источникъ наслажденій и удовольствій, а какъ на трудное, отвѣтственное бремя, которое дѣлается особенно тяжкимъ при сомнительныхъ и запутанныхъ политическихъ условіяхъ.

Неудачный опытъ буланжизма во Франціи служитъ нагляднымъ подтвержденіемъ той же мысли. Генераль Буланже имѣетъ всѣ основанія сожалѣть о томъ, что повѣрилъ въ неодолимую силу своей популярности и вздумалъ домогаться власти при помощи оппозиціонныхъ политическихъ элементовъ; онъ лишился своего прежняго положенія въ арміи, испортилъ себѣ блестящую военную карьеру и долженъ былъ удалиться за границу, гдѣ можетъ теперь размышлять на досугъ о бесплодности и суетѣ легко пріобрѣтенной славы. Увлекавшіеся имъ французы начинаютъ забывать о немъ, и это забвеніе начинаетъ проникать даже въ ряды его личныхъ друзей и приверженцевъ. А между тѣмъ онъ могъ бы играть большую политическую роль, еслибы не обнаружилъ личныхъ честолюбивыхъ цѣлей, оттолкнувшихъ отъ него большинство республиканцевъ въ странѣ. Неудача Буланже послужитъ урокомъ для другихъ претендентовъ и искателей власти, склонныхъ дѣйствовать незаконно, посредствомъ уличной и избирательной агитаціи; послѣ этого краснорѣчиваго урока едва ли найдутся во Франціи новые охотники подражать устройтелямъ государственнаго переворота 1851 года.

Вообще нужно сказать, что истекшій годъ былъ наиболѣе выгоденъ для Франціи, во всѣхъ отношеніяхъ. Въ началѣ года буланжистское движеніе было въ полномъ разгарѣ и достигло своего апогея на выборахъ 27 января (н. ст.) въ Парижѣ, когда генераль Буланже, бывшій уже депутатомъ отъ Сѣвернаго департамента, былъ вновь избранъ въ столицѣ громаднымъ числомъ голосовъ. Въ февралѣ пало безхарактерное министерство Флокё, и мѣсто его занялъ нынѣшній кабинетъ Тирара-Констана. Энергическія мѣры новыхъ министровъ

разстроили планы руководителей такъ-называемой „національной партіи“. Понятка предварительнаго плебисцита въ пользу Буланже при выборахъ въ департаментскіе совѣты (въ іюлѣ) окончилась полнѣйшимъ фіаско; „генераль“ былъ выбранъ только въ одиннадцати кантонахъ, изъ назначенныхъ имъ 80, гдѣ выставлена была его кандидатура. Въ августѣ (отъ 8-го до 13-го) состоялся судъ надъ Буланже и его ближайшими союзниками, Рошфоромъ и Диллономъ; они признаны виновными въ посягательствѣ на безопасность государства. Общіе выборы 22 сентября окончательно разочаровали горячихъ поклонниковъ буланжизма, рассчитывавшихъ на сочувствіе и увлеченіе народныхъ массъ; въ новой палатѣ оказалось значительное республиканское большинство, предъ которымъ совершенно бессильна небольшая буланжистская группа. Хотя Буланже былъ выбранъ въ монтартрскомъ округѣ Парижа, но избраніе его не было признано дѣйствительнымъ, въ силу приговора суда, лишившаго его гражданскихъ правъ. Нѣкоторые видные политическіе дѣятели, какъ Жюль Ферри и Гоблѣ, не попали въ палату, составленную на половину изъ новыхъ лицъ; не былъ выбранъ и популярный когда-то Рошфоръ. Благопріятному для республики исходу выборовъ содѣйствовала, безъ сомнѣнія, всемірная выставка (отъ 6-го мая до 6-го ноября), въ которой отразилось во всемъ блескѣ поразительное богатство и разнообразіе французскаго творчества въ главнѣйшихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности. Выставка сдѣлала Парижъ на время культурнымъ центромъ Европы; туда стекались массы иностранцевъ, и этотъ приливъ людей и капиталовъ не прошелъ безслѣдно для экономическихъ интересовъ Франціи. Внѣшній политическій кредитъ страны сильно поднялся, даже въ глазахъ ея враговъ и соперниковъ; нѣмецкія газеты, привыкшія относиться пренебрежительно къ французамъ, увлеклись общими восторгамъ по поводу выставки и невольно отдавали справедливость колоссальнымъ успѣхамъ французской предпріимчивости. Въмѣстѣ съ тѣмъ устройство выставки было самымъ лучшимъ и убѣдительнымъ доказательствомъ миролюбія французской націи и ея правительства. Италія, затѣявшая таможенную войну съ Франціей, потерпѣла громадныя убытки и въ концѣ-концовъ, несмотря на самоуверенныя заявленія министра-президента Криспи, должна была признать себя побѣжденною. Французы имѣли удовлетвореніе видѣть, что Италія по собственному почину отмінула боевыя пошлины на французскіе продукты и обнаружила желаніе сблизиться съ Франціей; самъ Криспи вынужденъ былъ заявить объ этомъ въ итальянской палатѣ депутатовъ. Такъ кончилась безцѣльная кампанія, начатая правительствомъ Италіи подъ покровомъ тройственнаго союза: иллюзія гордаго могущества и самостоятельнаго экономическаго процвѣтанія

уступила мѣсто трезвому сознанию дѣйствительныхъ интересовъ, требующихъ сближенія и солидарности между двумя родственными сосѣдними націями. Мысль о томъ, что Италіи грозитъ нападеніе со стороны Франціи, встрѣчала мало довѣрія среди итальянцевъ уже тогда, когда она впервые была пущена въ ходъ министромъ-президентомъ Криспи для оправданія его германофильской политики и его рѣшительнаго присоединенія къ средне-европейской „лигѣ мира“. Теперь эта мысль косвенно опровергнута самимъ Криспи, что составляетъ несомнѣнный успѣхъ для Франціи.

Министерство Тирара, отличающееся не столько талантами, сколько дѣловитостью и практическою энергіею, пользуется благо-разумно плодами этихъ разнообразныхъ удачъ и старательно избѣгаетъ щекотливыхъ или раздражающихъ вопросовъ, могущихъ подать поводъ къ кабинетному кризису. Правительственная декларация, которою открылись засѣданія палаты (19-го ноября, н. ст.), имѣла чисто-дѣловой характеръ и, повидимому, соответствовала преобладающему общественному настроенію. Въ новомъ составѣ депутатовъ замѣчается стремленіе къ новой группировкѣ партій, независимо отъ прежнихъ парламентскихъ группъ; старый партійный духъ, причинившій столько зла республиканскому большинству и самой республикѣ, сдѣлался крайне непопулярнымъ; исканіе единства и согласія на почвѣ реальныхъ интересовъ является главною заботою республиканцевъ въ парламентѣ и въ печати. Палата отнеслась строго къ буланжистамъ, при повѣркѣ депутатскихъ полномочій. Особенно бурнымъ было засѣданіе 9-го декабря, когда дѣло шло о выборахъ въ Монмартръ. Докладчикъ повѣрочной комиссіи доказывалъ, что голоса, поданные за Буланже, не могутъ быть приняты въ расчетъ, и что выбраннымъ долженъ считаться противникъ его Жоффренъ, какъ это было признано при самомъ провозглашеніи результата выборовъ. Депутатъ Лагерръ произнесъ по этому поводу громовую рѣчь въ защиту принципа всенароднаго голосованія отъ мнимыхъ посягательствъ господствующей республиканской партіи; онъ горячо восхвалялъ также своего „генерала“, чѣмъ вызвалъ шумные протесты большинства. Воинственный депутатъ Лэзанъ утверждалъ, что избирателямъ остается прибѣгнуть къ оружію, въ виду отрицанія ихъ избирательныхъ правъ; Дерулэдъ грозилъ всякими ужасами, если палата откажется утвердить избраніе Буланже. Когда одинъ изъ депутатовъ выразился, что желѣпо было бы допустить повтореніе агитаціи уличныхъ „патріотовъ въ сорокъ су“, то Дерулэдъ возмущился и рѣзко требовалъ объясненій; но президентъ Фловэ успокоилъ его замѣчаніемъ, что было бы странно, еслибы кто-нибудь въ палатѣ узналъ себя въ словахъ оратора. Депутатъ Клязерѣ, бывший

коммунаръ, предложилъ кассировать монмартрскіе выборы; это было бы вполне логично, такъ какъ большинство избирателей означеннаго округа не будетъ имѣть своего представителя въ палатѣ, въ случаѣ утвержденія избранника меньшинства, Жоффрена. Но отвлеченная логика находится часто въ разладѣ съ весьма важными практическими соображеніями; новые выборы, связанные съ новою шумною пропагандою въ пользу Буланже, возобновили бы прежнія волненія и могли бы оказаться опасными для общественнаго спокойствія, еслибы большинство осталось вѣрнымъ „генералу“. Вторичное избраніе его было бы крайне неудобною демонстраціею, положительнымъ протестомъ противъ приговора верховнаго суда; опять уничтожить выборы было бы затруднительно, и буланжизмъ снова выплылъ бы наружу, создавая періодическіе кризисы и замѣшательства. Палата предпочла сразу покончить съ этимъ дѣломъ и утвердила избраніе Жоффрена. Въ то же время она безжалостно кассировала нѣсколько буланжистскихъ избраній—въ томъ числѣ Накé,—въ виду тѣхъ неприличныхъ и незаконныхъ приѣмовъ, къ которымъ прибѣгали кандидаты и ихъ агенты. Накé, бывшій сенаторъ и профессоръ химіи, человѣкъ несомнѣнно умный и талантливый, счелъ нужнымъ повторить банальныя фразы о заслугахъ и достоинствахъ генерала Буланже, о несправедливости процесса, бывшего лишь „пародіею правосудія“, и о пользѣ олицетворенія извѣстной идеи въ популярной личности, въ виду сохранившихся въ народѣ монархическихъ традицій. Вызывающія заявленія Накé раздражили палату и повліяли, вѣроятно, на ея рѣшеніе по вопросу объ его избраніи. Культъ буланжизма, которымъ заражены такіе люди, какъ Накé, составляетъ странную психологическую загадку; горячность, съ какою они превозносятъ своего героя и преклоняются предъ нимъ въ неприязненно настроенной аудиторіи, свидѣтельствуетъ какъ будто объ искреннемъ чувствѣ, а здравый смыслъ не допускаетъ предположенія, что серьезные люди дѣйствительно неспособны обсуждать государственныя дѣла безъ непремѣнной связи съ излюбленнымъ генеральскимъ портретомъ. Увлеченіе было еще понятно, когда общая популярность Буланже дѣйствовала заразительно даже на скептическіе умы и заставляла многихъ ожидать полнаго торжества его на выборахъ; но со времени бѣгства его въ Англію звѣзда его померкла,—судебныя разоблаченія и парламентскіе выборы довершили остальное. Слѣпая, лихорадочная преданность генералу Буланже стала спеціальнымъ дѣломъ какой-то болѣзненной секты; ни цѣли, ни смысла не видно уже въ этомъ преклоненіи, такъ какъ послѣднее можетъ только отталкивать большинство республиканцевъ отъ политическихъ идей, интересующихъ Накé, Дерулада и ихъ едино-

мысленниковъ. Ненормальность этого буланжистскаго культа подтверждается еще тѣмъ, что увлеченные имъ дѣятели становятся какими-то иступленными фанатиками, совсѣмъ не похожими на тѣхъ, какими были раньше. Депутатъ Лэзанъ, напримѣръ, былъ когда-то спокойнымъ и разумнымъ человѣкомъ, принималъ усердное участіе въ парламентскихъ комиссіяхъ, особенно по вопросамъ военнымъ, а теперь онъ не можетъ говорить иначе, какъ съ пѣною у рта, и ни о чемъ другомъ, какъ только о Буланжѣ; нѣсколько разъ онъ взывалъ къ бунту по этому поводу и подвергался аресту по приказанію военнаго министра, какъ офицеръ резерва. Накѣ былъ извѣстенъ какъ дѣльный и энергическій инициаторъ закона о разводѣ, какъ авторъ многихъ серьезныхъ статей о парламентской реформѣ; а теперь онъ не видитъ и не знаетъ другихъ вопросовъ, кромѣ вопроса о Буланжѣ. Нечего и говорить о Деруладѣ, который и прежде былъ крайне увлекающимся и страстнымъ фантазеромъ, а теперь сдѣлался почти совершенно непонятнымъ для слушателей; по свидѣтельству парламентскихъ репортеровъ, его первая рѣчь въ палатѣ состояла изъ бурныхъ выкриковъ, и до публики долетали только постоянно повторяемыя слова: „генераль Буланжѣ“. Въ этой рѣзкой перемѣнѣ характеровъ подъ вліяніемъ буланжизма нельзя не видѣть признаковъ несомнѣнной психической болѣзни; но теперь болѣзнь обнимаетъ только ограниченный кругъ лицъ и не имѣетъ уже значенія опасной эпидеміи, что во всякомъ случаѣ утѣшительно для Франціи.

Въ политическихъ дѣлахъ Германіи не замѣчается того оживленія, котораго можно было ожидать въ началѣ царствованія молодого и предпримчиваго императора. Живая энергія Вильгельма II выражается только въ его личныхъ передвиженіяхъ и путешествіяхъ, а не въ какихъ-либо государственныхъ планахъ и предпріятіяхъ. Почти тѣ же старыя министры продолжаютъ управлять страной; ничего новаго не внесено въ установившуюся правительственную систему; программа законодательства и политики остается прежняя, безъ всякихъ измѣненій. Нѣкоторые дѣятели выдвинулись впередъ по естественному ходу службы; бывший помощникъ графа Мольтке по главному штабу естественно занялъ мѣсто начальника, когда послѣдній вышелъ въ отставку, по преклонности лѣтъ; товарищъ министра при Путцаммерѣ, безцвѣтный Герфуртъ, сдѣлался министромъ при покойномъ Фридрихѣ III и остается понынѣ въ своей должности. Преобладаніе военнаго элемента даетъ себя чувствовать нѣсколько сильнѣе и рѣзче, чѣмъ прежде; но общій порядокъ управленія мало страдаетъ отъ болѣе частыхъ парадовъ, маневровъ и офицерскихъ

празднествъ. Главныя нити внѣшней политики остаются въ тѣхъ же опытныхъ рукахъ; внутренніе вопросы повинуются разѣ данному направленію и разрѣшаются такъ или иначе, при дѣятельномъ участіи парламента.

Законъ о страхованіи рабочихъ на время старости и негодности къ труду, подготовлявшійся уже давно, принятъ былъ имперскимъ сеймомъ 24-го мая прошлаго года. Программа социальной реформы въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ ее князь Бисмаркъ, отчасти уже исчерпана, и однако рабочій классъ въ Германіи не только не обнаруживаетъ своего удовлетворенія, но напротивъ волнуется больше и чаще, чѣмъ когда бы то ни было. Повальные стачки рабочихъ, преимущественно въ каменноугольныхъ копяхъ Вестфаліи, происходили въ апрѣлѣ и маѣ; движеніе прекратилось только послѣ надлежащихъ уступокъ со стороны хозяевъ. Въ концѣ года, въ декабрѣ, организовалась стачка рабочихъ въ казенныхъ копяхъ, въ окрестностяхъ Саарбрюкена; къ общему удивленію, рабочіе жаловались на недостаточность платы, даваемой имъ казною, и выражали неудовольствіе противъ вѣдомствъ, оставлявшихъ требованія и просьбы ихъ безъ вниманія. Не получая никакого отвѣта на свои заявленія, рабочіе обратились, наконецъ, къ императору и приостановили работы; тогда только началась официальная переписка, имѣвшая цѣлью доказать неосновательность требованій рабочихъ. Рабочіе добиваются, во-первыхъ, увеличенія задѣльной платы соотвѣтственно минимуму средствъ для сносной жизни и, во-вторыхъ, сокращенія числа рабочихъ часовъ до восьми. Эти требованія высказываются настойчиво въ различныхъ мѣстностяхъ Германіи и, при своей несомнѣнной скромности, будутъ вѣроятно удовлетворены. Правильная организація повторяющихся рабочихъ движеній, строго-легальный характеръ ихъ, отсутствіе насилій и безпорядковъ, за немногими изъятіями, — все это придаетъ дѣйствіямъ нѣмецкаго рабочаго класса сосредоточенную, внушительную силу. Если социаль-демократы и имѣютъ вліяніе на рабочихъ, то они вліяютъ на нихъ скорѣе въ духѣ сдержанности и терпѣнія, чѣмъ въ направленіи воинственномъ, революціонномъ. Сама социаль-демократическая партія перестала быть революціонною съ тѣхъ поръ какъ получила возможность стремиться къ достиженію своихъ цѣлей законными средствами. Рабочіе отлично понимаютъ, что имъ нѣтъ никакого расчета вызывать противъ себя вмѣшательство арміи; они знаютъ, что чѣмъ спокойнѣе и тверже будетъ организовано движеніе, тѣмъ вѣрнѣе приведетъ оно къ желанному результату. Нынѣшнее общее состояніе нѣмецкаго рабочаго класса показываетъ, что социальный вопросъ едва только затронутъ законодательными реформами, которымъ многіе придавали

такое важное и рѣшающее значеніе. Эти реформы, безъ сомнѣнія, весьма полезны, такъ какъ онѣ все-таки облегчаютъ въ нѣкоторой мѣрѣ и въ извѣстныхъ случаяхъ матеріальное положеніе рабочихъ; но общая необезпеченность рабочаго люда въ отношеніяхъ къ капиталистамъ остается въ полной силѣ. Новые законы способствовали развитію духа солидарности и единства въ массахъ рабочаго населенія; въ этомъ, быть можетъ, заключается главнѣйшая заслуга, такъ-называемаго, соціального законодательства въ Германіи.

Среди германскихъ политическихъ партій наиболѣе вліятельную и независимую роль играетъ партія центра, руководимая Виндгорстомъ. Правительственные консерваторы и національ-либералы находятся между собою въ союзѣ для поддержанія политики и проектовъ князя Бисмарка; обѣ партіи лишены самостоятельной энергіи въ крупныхъ вопросахъ и пользуются правомъ инициативы только относительно мелочей. Прогрессисты дѣйствуютъ независимо, но не могутъ оказывать замѣтное вліяніе на общій ходъ дѣлъ, вслѣдствіе своей немногочисленности; одна лишь центральная группа Виндгорста достаточно сильна, чтобы проводить на практикѣ свою политическую программу при помощи осторожныхъ и тонко рассчитанныхъ компромиссовъ. Недавно этой партіи удалось уничтожить послѣдніе остатки законовъ, относящихся къ эпохѣ „культурной борьбы“ противъ католической церкви, и косвенно побѣда Виндгорста является торжествомъ принципа религіозной свободы и вѣротерпимости вообще. Имперскій сеймъ, въ засѣданіи 12-го декабря (н. ст.), принялъ три предложенія, внесенныя представителями центра; между прочимъ, статья берлинской конференціи 1885 года о полной свободѣ вѣроисповѣданія въ предѣлахъ территоріи Конго распространена на всѣ колоніальныя земли, находящіяся подъ германскимъ протекторатомъ, такъ что католическія миссіи получаютъ повсюду свободный доступъ и право пропаганды, наравнѣ съ протестантскими миссіями. Имперскій сеймъ отмѣнилъ также законъ объ изгнаніи священниковъ, приступающихъ къ исполненію своей должности безъ утвержденія гражданской власти; наконецъ, студенты теологіи каждаго вѣроисповѣданія освобождаются отъ военной службы на опредѣленный срокъ. Ни одинъ изъ министровъ не присутствовалъ при этомъ окончательномъ исчезновеніи послѣднихъ легальныхъ слѣдовъ „культуркампфа“; правительство не желало наложить руки на свое собственное неудавшееся дѣтище,—оно предоставило сдѣлать это другимъ, безъ участія министровъ, хотя съ ихъ вѣдома и одобренія.

Въ вопросахъ внѣшней политики германское правительство остается на почвѣ status quo, заботясь лишь объ укрѣпленіи и распространеніи своихъ международныхъ связей. Предполагаемое сближеніе съ Англією,

повидимому, не состоялось или, по крайней мѣрѣ, не имѣло того характера, который приписывался ему многими нѣмецкими газетами. Глухое соперничество между англичанами и нѣмцами обнаруживается не только въ поспѣшныхъ захватахъ африканскихъ земель; но и въ предпріятіяхъ иного рода, имѣющихъ всѣ признаки безкорыстныхъ подвиговъ человѣколюбія и научной любознательности. Въ Англіи снаряжена была богатая экспедиція для оказанія помощи Эмину-пашѣ, оставленному въ экваторіальной провинціи Египта генераломъ Гордономъ и отрѣзанному отъ міра полчищами махдистовъ. О спасеніи Эмина-пашы писалось и говорилось несравненно больше, чѣмъ о мѣрахъ къ уничтоженію невольничества въ центральной Африкѣ; судьба Эмина возведена была на степень вопроса первостепенной важности, и интересовавшіеся этимъ дѣломъ государственные люди и публицисты не могли, конечно, руководствоваться въ данномъ случаѣ одними мотивами человѣколюбія. Когда англійская экспедиція, подъ начальствомъ Стэнли, находилась уже въ Африкѣ, нѣмецкіе патріоты и колоніальныя общества стали агитировать въ пользу устройства нѣмецкой экспедиціи съ тою же цѣлью. Еслибы дѣло шло только о личной участи Эмина-пашы, то это усердіе въ устройствѣ освободительныхъ предпріятій было бы совершенно непонятно; казалось бы, что нужно было бы обождать результата первой экспедиціи, прежде чѣмъ предпринимать вторую, тѣмъ болѣе, что во главѣ первой стоялъ такой испытанный и свѣдущій предводитель, какъ Стэнли. Нѣмцы рѣшили послать свою нѣмецкую экспедицію, подъ руководствомъ д-ра Петерса; мотивомъ для такого рѣшенія служило отчасти отсутствіе всякихъ извѣстій о Стэнли, который одно время считался уже погибшимъ. Петерсъ думалъ добраться до Эмина со стороны Занзибара, тогда какъ Стэнли избралъ болѣе дальній путь, по рѣкѣ Конго. Нѣмецкій корабль былъ задержанъ англійскою эскадрою, въ виду оказавшихся на немъ запасовъ оружія; тогда происходила блокада побережья для противодѣйствія торгу невольниками. Дальнѣйшій ходъ экспедиціи былъ уже болѣе благопріятенъ, и Петерсъ твердо вѣрилъ въ успѣхъ своего предпріятія. Но случилась неожиданная катастрофа: экспедиція погибла въ борьбѣ съ туземцами, самъ Петерсъ убитъ, а помощникъ его, офицеръ Тидеманъ, тяжело раненъ, по свидѣтельству бѣжавшихъ спутниковъ-арабовъ. Несчастная развязка произошла, быть можетъ, вслѣдствіе ошибочнаго представленія нѣмцевъ о необходимости суровыхъ мѣръ для поддержанія авторитета среди дикихъ племенъ; такое представленіе господствуетъ, повидимому, между всѣми высшими агентами нѣмецкой восточно-африканской кампаніи, какъ можно судить по крупнымъ дѣйствіямъ ихъ до послѣдняго времени. Еще недавно нѣмецкій пра-

вительственный комиссаръ, Висманъ, разстрѣлялъ пойманнаго имъ туземнаго вождя Вушири, съ которымъ нѣмцамъ приходилось вести настоящую войну. Такія жестокости, совершаемыя хладнокровно и безъ надобности, не могутъ содѣйствовать утвержденію нѣмецкаго владычества въ отдаленныхъ колоніяхъ. И Стэнли славится своею суровостью; но онъ прибѣгаетъ къ ней только въ крайней необходимости и всегда старается пріобрѣсть дружбу мѣстныхъ населеній. Оттого Стэнли могъ продѣлать самое удивительное и богатое приключеніями путешествіе черезъ весь материкъ Африки, и послѣ трехлѣтнихъ почти скитаній благополучно вернуться съ добычей, т.-е. съ Эминомъ-пашой. Оказывается, что Эминъ долго не рѣшался быть спасеннымъ; онъ не хотѣлъ покинуть свой постъ и только послѣ вторичнаго прибытія Стэнли согласился на свое освобожденіе, такъ какъ египетскій отрядъ, состоявшій подъ его начальствомъ, возмущился и заставилъ его спастись бѣгствомъ. Въ началѣ декабря экспедиція прибыла въ нѣмецкія владѣнія и торжественно встрѣчена была въ Багамою. Но Эмину не суждено было испытать радость свободы; онъ упалъ съ балкона при обстоятельствахъ еще невыяснившихся, — и едва остался живъ. Въ поздравительныхъ телеграммахъ германскаго императора на имя Эмина-паши и Стэнли специально выражается удовольствіе по поводу того, что оба вернулись именно черезъ нѣмецкія колоніальныя земли; въ обращеніи къ Эмину обращается на себя вниманіе фраза объ „истинно-нѣмецкой вѣрности“, съ какою онъ сохранялъ свой постъ, — хотя Эминъ (д-ръ Шнитцеръ) по рожденію — австрійскій еврей, а теперь египетскій паша. Французскія газеты, какъ напр., „Temps“, находятъ, что „вѣрность“ не можетъ считаться специально нѣмецкимъ качествомъ, — и въ этомъ онъ пожалуй правъ.

Экспедиція Стэнли отправилась на лодкахъ по теченію Конго, весною 1887 года, въ числѣ около 400 человекъ. Достигнувъ притока Арувими, впадающаго въ Конго во внутренней Африкѣ, Стэнли оставилъ часть своего отряда (около ста человекъ) подъ начальствомъ майора Бартелота, а самъ двинулся дальше къ востоку, черезъ испанскій дѣйственный лѣсъ, куда почти совсѣмъ не проникаетъ солнце, — по направленію къ озеру Альбертъ-Ньянца. Лѣсъ этотъ, въ сѣверо-восточной части новаго „независимаго государства Конго“, занимаетъ пространство, равное соединеннымъ территоріямъ Франціи и Испаніи съ Португаліею. Потерявъ многихъ людей отъ болѣзней, голода и нападеній туземцевъ, устроивъ по дорогѣ два форта и оставивъ въ нихъ небольшіе отряды, Стэнли выбрался изъ лѣса черезъ пять съ половиною мѣсяцевъ послѣ того какъ вступилъ въ него; экспедиція провела въ полутьмѣ цѣлыхъ 160 дней, направлялась по теченію

лѣснаго протока Арувими. Изъ своего лагеря, близъ Альбертъ-Ньянцы, Стэнли послалъ гонцовъ къ Эмину-пашѣ съ извѣстіями о своемъ прибытіи; въ концѣ апрѣля 1888 года онъ имѣлъ первое свиданіе съ Эминомъ и узналъ отъ него, что тотъ вовсе не хочетъ разстаться съ „своимъ народомъ“ и съ своею провинціею окруженною владѣніями Махди. Эминъ согласенъ былъ уйти только въ томъ случаѣ, если подчиненные ему египтяне уйдутъ вмѣстѣ съ нимъ; оставалось только убѣдить послѣднихъ послѣдовать приглашенію Стэнли, на основаніи привезенныхъ имъ писемъ египетскаго вице-короля и англійскаго представителя въ Каирѣ. Передавъ Эмину назначенные для него запасы и оставивъ при немъ, по его просьбѣ, своего спутника, Джефсона, Стэнли отправился обратно для разысканія своего аррьергарда; это вторичное путешествіе черезъ лѣсъ сопровождалось разными несчастіями и невзгодами. Стэнли нашелъ только жалкіе остатки своего аррьергарда; начальникъ и многіе изъ людей были перебиты; другіе погибли отъ ядовитыхъ болотныхъ испареній, заблудившись среди безконечнаго лѣса. Послѣ неимоверныхъ усилій, Стэнли собралъ свой отрядъ и направился опять къ покинутому имъ лагерю у Альбертъ-Ньянцы; онъ старался миновать лѣсную чащу и шелъ немного сѣвернѣе, гдѣ долженъ былъ вновь выдержать множество тяжелыхъ испытаній, которыя едва не подорвали даже его желѣзную, неистощимую энергію. По дорогѣ пришлось вести борьбу съ злыми и хитрыми племенемъ карликовъ; нѣкоторые изъ этихъ карликовъ, пойманные въ плѣнъ, давали ложныя свѣденія и указанія, чтобы завлечь экспедицію въ такія мѣста, гдѣ ей предстояла бы вѣрная гибель. Въ концѣ декабря 1888 года Стэнли добрался, наконецъ, до своего прежняго лагеря и тамъ получилъ извѣстія о возмущеніи египетскаго отряда Эмина, объ арестованіи паши и Джефсона, о бѣгствѣ и обратномъ призывѣ ихъ возставшими, въ виду нападеній махдистовъ. Оказалось, что египетскіе офицеры и солдаты не повѣрили прочитаннымъ имъ письмамъ, сообщавшимъ о паденіи Хартума и о возможности уйти съ экспедиціею Стэнли; они приняли это за обманъ и грозили убить Эмина и Джефсона. Послѣдній прибылъ къ Стэнли въ началѣ февраля 1889 года и все еще не могъ сообщить окончательнаго рѣшенія Эмина-паши, съ которымъ онъ провелъ около девяти мѣсяцевъ. Стэнли не скрывалъ своего раздраженія по поводу этихъ непонятныхъ для него колебаній и сомнѣній; онъ смотрѣлъ на Эмина какъ на безхарактернаго и апатическаго „нѣмецкаго ученаго“, ради котораго едва ли стоило приносить столько жертвъ. Наконецъ, въ концѣ февраля Эминъ-паша явился съ небольшимъ числомъ египтянъ и арабовъ; онъ отдалъ себя въ руки энергическаго американца, и всѣ желавшіе покинуть бывшую египетскую провинцію

присоединились къ экспедиціи. Въ апрѣлѣ прошлаго года весь караванъ могъ пуститься въ дорогу къ юго-западу, мимо озеръ, по направленію къ Занзибару. На этомъ пути сдѣланы интересныя географическія открытія; изслѣдована область къ югу отъ Альбертъ-Ньянцы, вдоль судоходной рѣки, соединяющей это озеро съ другимъ, которое Стэнли назвалъ Эдуардъ-Ньянцой. Тамъ оказалась настоящая Швейцарія: долина покрыта роскошною растительностью; съ одной стороны тянется цѣпь снѣжныхъ горъ, а съ другой—луга, которые издали можно принять за продолженіе озера. Главная вершина горной цѣпи, Рувензори, впервые предстала глазамъ европейцевъ; высота ея опредѣлена приблизительно въ 5.500 метровъ. Обогнувъ затѣмъ южный берегъ Викторіи-Ньянцы, Стэнли убѣдился, что это озеро простирается къ юго-востоку гораздо дальше, чѣмъ думали прежде; около десяти тысячъ километровъ нужно прибавить къ пространству озера по прежнимъ картамъ. Экспедиція выдержала еще нѣсколько войнъ съ туземными племенами; египтяне и арабы Эмина, отвыкшіе отъ всякой дисциплины, получили въ самомъ началѣ суровый урокъ отъ Стэнли: нѣкоторые изъ нихъ, заподозрѣнные въ попыткѣ захватить оружіе, были связаны и наказаны плетью; остальные по-неволѣ подчинились строгому военному порядку, установленному Стэнли. Самъ Эминъ-паша боялся Стэнли и всецѣло подчинялся его авторитету.

Необычайная энергія, безстрашіе и находчивость знаменитаго путешественника, его способность подчинять себѣ людей и обстоятельства, его организаторскіе и военные таланты, никогда не обнаруживались съ такимъ блескомъ, какъ въ этомъ долгомъ путешествіи по внутренней Африкѣ для освобожденія Эмина-паши. Не ради личности доктора Шнитцера дѣлались всѣ эти громадныя усилія; англичане, снарядившіе экспедицію и затратившіе на нее большія средства, имѣли отчасти политическую цѣль: они желали провѣрить свѣденія о владычествѣ махдистовъ въ Суданѣ, помочь египтянамъ сохранить за собою экваторіальную провинцію, если это будетъ возможно, или, по крайней мѣрѣ, спасти отрядъ Эмина отъ разгрома, который былъ бы ударомъ для Египта и косвенно для Англіи. Какой же интересъ имѣли нѣмцы хлопотать о дѣлахъ Судана и объ оставленномъ тамъ египетскомъ пашѣ? Приверженцы нѣмецкой колониальной политики видѣли въ экспедиціи Стэнли чисто-англійское предпріятіе; они понимали, что новая рекогносцировка африканскихъ земель послужитъ къ расширенію политическихъ связей и вліянія англичанъ, укажетъ имъ наиболѣе важныя пункты, достойныя оккупации, и намѣтитъ путь для дѣятельности англійской „восточно-африканской кампаніи“. Руководители этого богатаго официального обще-

ства уже предлагаютъ Стэнли роль начальника англійскихъ колоніальныхъ владѣній, къ сѣверу отъ Занзибара; они хотятъ воспользоваться его знаніями, авторитетомъ и африканскими связями для успѣшнаго распространенія владычества Англіи въ восточной и центральной Африкѣ. Новыя нѣмецкія владѣнія граничатъ съ англійскими, и взаимное соперничество обѣихъ націй въ этой части свѣта даетъ себя чувствовать во всѣхъ дѣйствіяхъ мѣстныхъ колоніальныхъ агентовъ. Нѣмецкая контръ-экспедиція для оказанія помощи Эмину-пашѣ (до котораго нѣмцамъ, въ сущности, не было никакого дѣла) должна была предупредить англичанъ въ разслѣдованіи областей, могущихъ имѣть значеніе для европейцевъ. Нѣмцы надѣялись, что по пути къ Эмину-пашѣ можно будетъ сдѣлать кое-что для упроченія расширенія германской власти посредствомъ обычныхъ союзныхъ договоровъ съ вождями туземныхъ племенъ (называемыми ошибочно князьями или королями); этой цѣли вовсе не скрывали устроители злополучной экспедиціи Петерса. Политическая подкладка проектовъ, для которыхъ судьба Эмина служила удобнымъ предлогомъ, невольно выразилась въ поздравительныхъ телеграмахъ Вильгельма II, которыя, какъ мы видѣли выше, особенно напоминали о томъ, что англійская экспедиція возвратилась именно черезъ нѣмецкую колоніальную территорію.

Непосредственную связь съ африканскими дѣлами имѣетъ международная конференція, открывшая свои засѣданія въ Брюсселѣ (18 ноября н. ст.), для принятія мѣръ къ уничтоженію процвѣтающей еще понынѣ торговли невольниками въ Африкѣ. Созванію этой конференціи много способствовалъ извѣстный кардиналъ Лавижері, архіепископъ Алжира и Туниса, давно уже занимающійся энергическою пропагандою въ пользу дѣйствительнаго прекращенія невольничества въ африканскихъ земляхъ. Такъ какъ рабы и рабыни нужны преимущественно въ мусульманскомъ мірѣ, для снабженія гаремовъ евнухами и наложницами, то представители Турціи на конференціи находились отчасти въ неловкомъ положеніи; между прочимъ, по газетнымъ свѣденіямъ (быть можетъ, сомнительнымъ), они представили особую записку, въ которой объяснили неудобство иностраннаго вѣнчательства въ торговлю черкешенками, необходимыми для гаремовъ. Занятія и рѣшенія конференціи, насколько можно судить до сихъ поръ, едва ли будутъ имѣть большое практическое значеніе; вопросы, затронутые этимъ человѣколюбивымъ предпріятіемъ, слишкомъ тѣсно переплетены съ политическими интересами различныхъ государствъ. Духъ взаимнаго недовѣрія и соперничества изъ-за колоніальныхъ дѣлъ не позволяетъ рассчитывать на серьезный положительный результатъ дипломатическихъ совѣщаній въ Брюсселѣ.

Въ Австро-Венгріи внутренняя борьба партій и народностей продолжалась съ особенною силою въ истекшемъ году; въ Пештѣ дѣло дошло до шумныхъ уличныхъ волненій и безпорядковъ (въ январѣ и февралѣ), направленныхъ противъ министра-президента Тиссы, а въ Цислейтаніи становится все болѣе критическимъ положеніе графа Таафе, противъ котораго вліятельная нѣмецкая оппозиція предприняла рѣшительную атаку. Торжество младочеховъ на выборахъ въ чешскій сеймъ разгорячило политическія страсти; требованія о коронованіи императора королею Чехіи, одностороннія рѣшенія большинства въ ущербъ интересамъ нѣмцевъ, формальный выходъ нѣмецкихъ депутатовъ изъ состава сейма, рѣзкія жалобы всей австро-нѣмецкой печати на пренебреженіе правами нѣмецкой національности, все это значительно поколебало кредитъ австрійскаго министра-президента и его правительственной системы. Говорили уже о выходѣ графа Таафе въ отставку; но политика осторожнаго лавированія между разными національными теченіями до того предписывается обстоятельствами, что сама оппозиція не могла предложить ничего другого и домогалась лишь большаго вниманія къ нѣмецкому элементу. Вернуться къ временамъ безраздѣльнаго господства нѣмцевъ надъ славянствомъ нѣтъ уже возможности въ Австріи; это сознаютъ и нѣмцы, — они домогаются лишь болѣе выгоднаго разграниченія національныхъ сферъ въ вопросахъ мѣстнаго законодательства и управленія, въ устройствѣ школъ, въ признаніи правъ того или другого языка. Одинъ изъ видныхъ руководителей нѣмецкой партіи, депутатъ Пленеръ, произнесъ большую рѣчь противъ министерства, въ австрійскомъ парламентѣ, въ засѣданіи 12-го декабря (н. ст.); онъ подвергъ безпощадной критикѣ политику графа Таафе и требовалъ у него объясненій о дальнѣйшихъ намѣреніяхъ правительства относительно Чехіи. Нѣмецкій ораторъ желалъ знать, какъ относится министерство къ требованіямъ младочеховъ и къ „историческому государственному праву“ чешскаго королевства. Пленеръ подробно и рѣзко высказалъ все то, что давно уже волнуетъ австрійскихъ нѣмцевъ; рѣчь его произвела сильное впечатлѣніе и вызвала восторженные похвалы въ австро-нѣмецкой журналистикѣ. Графъ Таафе отложилъ свой отвѣтъ на нѣсколько дней; онъ, какъ и слѣдовало ожидать, старался по возможности успокоить оппозицію и заявилъ категорически, что правительство не думаетъ измѣнять конституціонные законы по отношенію къ Богеміи. Нѣмцы отчасти успокоились, но зато недовольны чехи и особенно младочехи. Удовлетворить одновременно нѣмцевъ и славянъ въ Австріи — задача настолько мудреная, что рѣшеніе ея было бы не по силамъ даже болѣе талантливымъ министрамъ, чѣмъ графъ Таафе. Что касается общаго положенія дѣлъ въ

Цислейтаніи, то оно должно быть признано вполне благоприятнымъ; между прочимъ, проектъ бюджета, представленный министромъ финансовъ Дунаевскимъ, обѣщаетъ и на 1890 годъ избытокъ доходовъ надъ расходами: въ бюджетѣ за прошлый годъ тоже не было дефицита.

Парламентскіе споры въ Венгріи не имѣютъ такого принципиальнаго характера, какъ въ Австріи; противъ Тиссы дѣйствуютъ люди, враждебно расположенные къ нему лично, а не къ политикѣ и воззрѣніямъ министерства. Тисса сталъ крайне непопуляренъ въ послѣдніе годы; его упрекаютъ за чрезмѣрныя заботы о благосклонности двора въ ущербъ національнымъ чувствамъ и интересамъ мадьяръ. Въ сущности, Тисса всегда исполнялъ требованія оппозиціи; такъ, онъ уступилъ ей при обсужденіи военного закона, въ вопросѣ о языкѣ, обязательномъ при производствѣ офицерскихъ экзаменовъ; онъ сдѣлалъ также уступку патріотической щепетильности мадьяръ, предложивъ императору подписать декретъ о переименованіи имперской арміи изъ „императорско-королевской“ въ „императорскую и королевскую“, для болѣе точнаго обозначенія самостоятельности Венгріи. Слишкомъ долгое управленіе Тиссы какъ будто наскучило общественному мнѣнію, которое жаждетъ, наконецъ, переменъ; выросло новое поколѣніе, съ новыми требованіями и ожиданіями; на политическое поприще выступили молодыя силы, которыхъ не удовлетворяетъ уже парламентскія тактика стараго министра-президента. Во главѣ оппозиціи стоятъ аристократы—графъ Апоньи, гр. Габріель, Карольи и др.; вѣроятнымъ преемникомъ Тиссы считается Апоньи. Но перемѣна кабинета не оказала бы существеннаго вліянія на правительственную политику и на общій ходъ дѣлъ въ Венгріи; одни мадьярскіе патріоты смѣнились бы другими; остальные народности, напр. хорваты, едва ли выиграли бы отъ перехода власти въ болѣе молодыя и энергическія руки.

Политика Австріи на Востокѣ потерпѣла нѣкоторый ущербъ, вслѣдствіе установленія новаго правительства въ Сербіи; регентство старается прежде всего сохранить самостоятельность страны, какъ въ политическомъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи, и потому одностороннее господство австрійскаго вліянія, существовавшее при королѣ Миланѣ, должно было прекратиться само собою. Народная скупщина, собравшаяся въ Бѣлградѣ въ началѣ октября, состояла въ большинствѣ изъ такъ-называемыхъ радикаловъ, т. е. народниковъ въ тѣсномъ смыслѣ, рѣшительныхъ противниковъ австрофильства и всякой вообще иностранной дипломатической опеки. Въ интересахъ финансовой и экономической независимости, сербское правительство поступило довольно круто съ французскою желѣзно-до-

рожною компанією; оно взяло дорогу въ свои руки и затѣмъ удовлетворило денежныя претензіи заинтересованныхъ капиталовъ; теперь оно отняло соляную монополію у англо-австрійскаго банка, имѣвшаго контрактъ еще на восемь лѣтъ, и, несмотря на шумъ, поднятый по этому поводу австрійскою печатью, дѣло окончится вѣроятно уплатою банку нѣсколькихъ милліоновъ, согласно первоначальному предложенію регентства. Мирное внутреннее развитіе Сербіи не задерживается уже ни безцѣльною и разорительною игрою въ „высшую политику“, ни постоянными дипломатическими интригами, увлекавшими короля Милана; страна мало-по-малу освобождается отъ наложенныхъ на нее финансовыхъ путъ, и источники государственныхъ доходовъ не отдаются уже на откупъ австрійскимъ коммерческимъ учрежденіямъ.

Но рискованная система, отъ которой, послѣ горькаго опыта, отрекается Сербія, начинаетъ какъ будто примѣняться въ Болгаріи; молодое княжество вступило на опасный путь иностранныхъ займовъ, причемъ соблазнителемъ является тотъ же вѣнскій лэндербанкъ, услуги котораго обошлись такъ дорого Сербіи. Болгарскіе правители совершили заемъ на 30 милліоновъ гульденовъ, за 6% въ годъ, съ погашеніемъ посредствомъ тиражей въ извѣстные сроки; обезпеченіемъ служатъ болгарскія желѣзныя дороги. Для чего понадобились болгарскому правительству эти иностранные милліоны, при несомнѣнной зажиточности населенія и при общемъ благопріятномъ экономическомъ состояніи страны,—намъ въ точности неизвѣстно. Но первый шагъ къ нѣкоторой потерѣ финансовой независимости, можетъ быть, уже сдѣланъ; если такъ, то нужно желать, чтобы онъ былъ и послѣднимъ.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ ВО ФРАНЦИИ.

Письмо изъ Парижа.

Францію можно назвать страню школьных „конкурсовъ“; образованный французъ даже проводить значительную часть своей жизни въ конкурсахъ. Въ лицеѣ (гимназiи), въ которомъ молодой человѣкъ остается очень долго — девять, десять, иногда даже тринадцать лѣтъ, ученики каждую недѣлю, иногда и чаще, пишутъ своего рода конкурсныя сочиненiя, и учителя не только выставляютъ на сочиненiяхъ отмѣтки (по 20-ти-балльной системѣ!), но еще должны, — и это самое главное — расположить сочиненiя по порядку ихъ достоинствъ и прочесть этотъ порядокъ въ классѣ — „дать мѣсто сочиненiямъ“ („donner les places des compositions). Ученики не столько хлопочутъ объ отмѣткѣ, сколько о „мѣстѣ“ — настоящее мѣстничество *sui generis*. Учебный годъ заканчивается во Франціи главнымъ конкурсомъ, „concours général“ между учениками всѣхъ лицеевъ вообще, но преимущественно между учениками парижскихъ лицеевъ (сюда относится и версальскій); этотъ конкурсъ косвеннымъ образомъ превратился въ конкурсъ между учителями. Изъ каждаго лицея и изъ каждаго класса, начиная съ пятого, учителя наряжаютъ по каждому предмету шесть своихъ лучшихъ учениковъ (къ которымъ присоединяются два „замѣстителя“ — на случай болѣзни одного изъ „конкурентовъ“), — шесть борцовъ, въ большой амфитеатръ Сорбонны (университетскій актовъ залъ) гдѣ они въ опредѣленные для каждаго предмета дни пишутъ сочиненiя, переводы, рѣшаютъ задачи и т. д. Все это дѣлается подъ наблюденiемъ самихъ учителей лицеевъ, — только задачи и темы даются профессорами Сорбонны или окружными инспекторами. Сочиненiя главнаго конкурса просматриваются особыми комиссіями изъ профессоровъ и главныхъ или окружныхъ инспекторовъ, и при этомъ все обставлено такъ, чтобы никто не зналъ, кому то или другое сочиненiе принадлежить ¹⁾. Раздача наградъ по „главному конкурсу“ происходитъ въ Парижѣ съ необыкновенною торжественностью — подъ предсѣдательствомъ министра народнаго

¹⁾ Конкуррентъ сочиненiя фамиліи не подписываетъ; онъ только выставляетъ на немъ номеръ. Ему дается спеціальный конвертъ, въ который онъ самъ запечатываетъ свою фамилію и выставленный номеръ. Конверты распечатываются послѣ того какъ сочиненiя просмотрѣны и распределены по порядку ихъ достоинствъ.

просвѣщенія и въ присутствіи предсѣдателей сената и палаты депутатовъ, членовъ парламента, министровъ, высшихъ военныхъ, судебныхъ и административныхъ властей, профессоровъ и учителей, и затѣмъ всѣхъ участвовавшихъ въ конкурсѣ съ ихъ родителями. Быть только однимъ изъ конкурентовъ, однимъ изъ борцовъ, считается уже честью для молодого человѣка, а „быть увѣнчаннымъ“ лаврами на этомъ конкурсѣ (*être couronné* — какъ говорятъ французы), получить награду — большая честь; получить же одну изъ трехъ почетныхъ наградъ (*prix d'honneur*) за французское сочиненіе, за сочиненіе по философіи (сочин. на философскую тему) или высшей математики ¹⁾—это уже такая великая честь, что она за молодымъ человѣкомъ остается на всю жизнь. Въ Парижѣ, напр., знаютъ, что знаменитый химикъ Бертелло—бывшій „*prix d'honneur*“ по философіи; что Reinach, редакторъ газеты „*République Française*“, бывшій *prix d'honneur* по французскому сочиненію, и т. д. Этотъ главный конкурсъ сталъ теперь почти конкурсомъ между учителями. Для учителя большая честь, когда его ученики отличаются на этомъ конкурсѣ. Очень часто говорятъ даже, что такой-то (учитель) получилъ столько-то наградъ на „*Concours général*“.

Церемоніей раздачи наградъ по главному конкурсу официально заканчивается учебный и академическій годъ.

Молодой французъ, окончивъ курсъ лицея и сдѣлавшись бакалавромъ литературы или наукъ, или даже съ двойною степенью—и литературы, и наукъ,—еще не всегда покидаетъ заведеніе. Образованіе его, правда, считается вполне законченнымъ, и онъ можетъ смѣло вступить въ жизнь. Но многіе изъ бакалавровъ, особенно тѣ, которые проявляютъ способности къ положительнымъ наукамъ, или къ литературѣ, устремляются въ „государственныя школы“. Главнѣйшія изъ нихъ: „*Ecole Polytechnique*“, „*Ecole Normale Supérieure*“ и „*Ecole de S-t Cyr*“ (военная). Въ эти школы можно поступить только послѣ очень строгаго конкурса изъ предметовъ, которые или совсѣмъ не входятъ въ программы бакалаврскихъ экзаменовъ, или по объему выходятъ изъ предѣловъ этой программы. Для приготовленія къ этимъ конкурсамъ во французскихъ лицеяхъ существуютъ спеціальныя классы, въ которые молодые люди поступаютъ уже бакалаврами. Только самые лучшіе ученики успѣваютъ выдержать конкурсъ послѣ одного года подготовки, — обыкновенно къ нему готовятся два, а иногда три и даже четыре года ²⁾.

¹⁾ Въ трехъ различныхъ классахъ: *Rhétorique* (нашъ восьмой), *Philosophie* и *Mathématiques Spéciales* (такихъ классовъ въ нашихъ гимназіяхъ нѣтъ).

²⁾ Въ научныхъ классахъ французскихъ лицеевъ (въ такъ-называемыхъ „*classe de mathématiques élémentaires*“ и „*classe de mathématiques spéciales*“ — классахъ,

Почти на всѣхъ конкурсахъ существуютъ испытанія двухъ родовъ: „épreuves d'admissibilité“ — испытанія на допущеніе къ конкурсу, почти всегда письменныя, имѣющія „исключающій“ характеръ („elles sont éliminatoires“), т.-е. не выдержавшій ихъ къ дальнѣйшимъ испытаніямъ не допускается, и только тѣ, которые удовлетворительно прошли „épreuves d'admissibilité“ могутъ приступить къ окончательнымъ испытаніямъ, или „épreuves d'admission“.

„Ecole Polytechnique“ и „Ecole Normale Supérieure“ — самыя почетныя школы во Франціи. Званія „ancien élève de l'Ecole Polytechnique“ или „ancien élève de l'Ecole Normale (бывшій воспитанникъ политехн. или норм. школы) пользуются въ обществѣ большимъ уваженіемъ, въ силу именно тѣхъ трудностей, которыя приходится преодолевать, чтобы попасть въ эти школы, а почетъ, которымъ послѣднія окружены, и положеніе, которое онѣ доставляютъ своимъ бывшимъ воспитанникамъ, дѣлаютъ двѣ названныя школы центрами тяготѣнія всей интеллигентной молодежи.

Изъ двухъ названныхъ школъ, Ecole Polytechnique пользуется въ обществѣ наибольшимъ почетомъ. По своему устройству она не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкими „Polytechnicum“. Ecole Polytechnique специалистовъ не приготовляетъ; она сама только высшая приготовительная школа, своего рода физико-математическій факультетъ, откуда воспитанники переводятся въ разныя прикладныя государственныя

готовящихъ къ конкурсамъ) существуетъ такой порядокъ: учениковъ ежедневно вызываютъ и спрашиваютъ — экзаменуютъ — не только ихъ собственные учителя, но, главнымъ образомъ, посторонніе экзаменаторы — учителя изъ другихъ лицеевъ. И вотъ какъ это дѣлается: учитель (математики или физики и химіи) въ началѣ каждой недѣли задаетъ своимъ ученикамъ извѣстную программу — того, что они должны приготовить, и эти программы вывѣшиваются въ особой комнатѣ, гдѣ хранятся журналы экзаменаторовъ. Ученики каждого класса распределены въ серіи — по шести въ каждой, и ежедневно каждому экзаменатору (по математикѣ или физикѣ) дается одна серія учениковъ. Въ назначенные для экзаменовъ дни, экзаменаторы явятся (вечеромъ отъ 4-хъ до 6-ти) берутъ свои журналы, и въ нихъ они находятъ ту серію учениковъ, которую они должны проэкзаменовать по опредѣленной учителемъ программѣ. Каждому экзаменатору назначенъ классъ, куда онъ попарно приглашаетъ учениковъ и экзаменуетъ ихъ одинъ за другимъ, каждого въ теченіе 20 минутъ (иногда полчаса), и выставляетъ отмѣтку (по 20-ти-балльной системѣ). Серіи у каждого экзаменатора чередуются одна за другой, такъ что каждую недѣлю онъ экзаменуетъ другую серію. Этими экзаменами достигается нѣсколько цѣлей: каждый ученикъ основательно переспрашивается каждую недѣлю изъ главныхъ предметовъ; у учителей на это времени не хватаетъ при тѣхъ большихъ курсахъ, которые имъ приходится прочитывать; ученики приучаются къ чужимъ лицамъ; они каждую недѣлю видятъ новаго экзаменатора; одного и того же они видятъ иногда два раза въ году; учителя, зная, что ихъ учениковъ спрашиваютъ чужіе люди, старательнѣе относятся къ своему предмету, такъ что эти экзамены являются въ нѣкоторомъ родѣ контролемъ за учителями.

школы: горную, путей сообщенія, военно-инженерную и артиллерійскую. Школа считается военной; ею командуетъ артиллерійскій и инженерный генералъ; воспитанники носятъ военную форму и подлежатъ военной дисциплинѣ. Поступленіе въ школу ограждено, если можно такъ выразиться, тремя барьерами: послѣ письменныхъ отвѣтовъ, весьма нелегкихъ, даже очень, очень трудныхъ, публикуется списокъ „des sous-admissibles“, т.-е. тѣхъ, которые допускаются къ первой серіи испытаній, „aux épreuves d'admissibilité“; списокъ составляется только на основаніи сочиненій по физикѣ и химіи, но и этого довольно, чтобы изъ 1.300 кандидатовъ исключить около 400. Затѣмъ начинаются устные испытанія, сначала d'admissibilité („на допущеніе“) исключительно по математикѣ, причемъ спрашивается только теорія, а потомъ окончательные—„d'admission“, по математикѣ, физикѣ, химіи и иностранному языку, причемъ уже главнымъ образомъ обращается вниманіе на способности кандидата;—по математикѣ задаются труднѣйшія задачи, которыя кандидатъ долженъ рѣшать тутъ же на доскѣ, а экзаменаторъ при этомъ всячески старается его сбить. Неудивительно, если послѣ такихъ мытарствъ, несмотря на способности молодыхъ людей, останется всего только 300 годныхъ для приѣма, и изъ нихъ берутъ 260—265, начиная съ перваго по порядку оказанныхъ успѣховъ.

Молодой человѣкъ, который уже попалъ на скамью знаменитой школы, еще отъ конкурсовъ не освободился. Тутъ снова начинается соревнованіе за „мѣсто“: каждый воспитанникъ имѣетъ нумеръ, — мѣсто, соотвѣтствующее его успѣхамъ въ школѣ. Это соревнованіе становится особенно сильнымъ на выпускныхъ экзаменахъ послѣ двухъ лѣтъ пребыванія въ школѣ: первые двадцать или двадцать-пять — смотря по надобности государства — выпускаются въ гражданскія прикладныя школы, а остальные — въ военныя. Гражданскія инженерныя школы считаются болѣе почетными. Первые три воспитанника выпуска идутъ въ горную школу; слѣдующіе 12 или 14—въ школу путей сообщенія (Ecole des Ponts et Chaussées); слѣдующіе пять, шесть, иногда восемь, направляются въ табачныя мануфактуры, въ школу морскихъ инженеровъ и гидрографовъ и въ школу телеграфовъ. Съ перваго взгляда тутъ очевидная нелогичность: изъ военной школы лучшихъ воспитанниковъ выпускаютъ въ гражданскую службу. На эту нелогичность давно уже многіе указываютъ и требуютъ преобразованія школы въ совершенно военную, чтобы въ ней никакіе гражданскіе чины не набирались. Но традиція во Франціи почти непоколебима во всемъ, что касается политехниковъ, и нелогичность остается и еще долго не исчезнетъ. А пока въ школѣ идетъ настоящая умственная война; каждый старается завоевать себѣ одно

изъ двадцати первыхъ мѣсть и выйти въ гражданскую службу. Поступленіе въ „Ecole Normale“ сопряжено съ неменьшими трудностями, чѣмъ приѣмъ въ Ecole Polytechnique; правда, механизмъ конкурса здѣсь нѣсколько менѣе сложенъ—тутъ нѣтъ двойного ряда устныхъ испытаній—„d'admissibilité“ и „d'admission“—но отъ этого конкурсъ не легче. „Ecole Normale Supérieure“ имѣетъ главнымъ образомъ цѣлью приготовить учителей для классическаго отдѣленія лицеевъ. Состоитъ она поэтому изъ двухъ отдѣленій: физико-математическаго, на которое ежегодно принимается отъ 15 до 20 учениковъ (Section des Sciences), и историко-филологическаго, куда принимается ежегодно отъ 20 до 25 воспитанниковъ. На каждую вакансію бываетъ обыкновенно до 8 кандидатовъ (Section des lettres). Воспитанники остаются въ школѣ—они тамъ обязаны жить—три года, изъ которыхъ первые два употребляются на подготовку къ университетской (по-нашему) степени „Licencier“—кандидата; третій годъ посвящается почти исключительно письменнымъ упражненіямъ и чтенію пробныхъ уроковъ, т.-е. подготовкѣ къ конкурсу на званіе „Agrégé“¹⁾—штатнаго учителя.

Нормальная школа есть только высшая подготовительная школа: она не можетъ раздавать университетскія степени, и кромѣ вступительнаго конкурса ея воспитанники въ ней никакимъ официальнымъ экзаменамъ не подвергаются. Въ ней имѣются профессора, которые называются „Maitres de conférences de l'Ecole N. Sup.“ которые читаютъ воспитанникамъ школы тѣ же курсы, какіе читаются въ Сорбоннѣ²⁾ факультетскими профессорами. Еще очень недавно—даже и теперь въ рѣдкихъ уже случаяхъ—одно и то же лицо могло быть и профессоромъ въ Сорбоннѣ, и Maitre de Conférences въ нормальной школѣ.

Право раздачи университетскихъ степеней принадлежитъ во Франціи исключительно факультетамъ. Поэтому воспитанники нормальной школы должны держать свои окончательные экзамены на степени „Licencier“, на соответственномъ факультетѣ, наравнѣ съ другими студентами этого факультета. Воспитанники физико-математическаго отдѣленія даже обязаны присутствовать въ Сорбоннѣ на лекціяхъ тѣхъ профессоровъ, которыхъ курсы входятъ въ программу испытанія на степень „Licencier“.

Обыкновенные студенты Сорбонны—молодые люди, не выдержавшіе конкурса въ нормальную или политехническую школы, или прямо

¹⁾ Иногда называется „Agrégé de l'université“; или „Agrégé des lycées“—званіе учителя.

²⁾ Сорбонна заключаетъ въ себѣ два факультета: Faculté des Sciences (физико-матем. факульт.) и Faculté des Lettres (историко-филологич. фак.).

поступившіе на одинъ изъ факультетовъ, съ цѣлью посвятить себя въпослѣдствіи педагогической дѣятельности; но во всякомъ случаѣ предполагается, что всѣ слушатели прошли курсъ тѣхъ специальныхъ классовъ лицеевъ, въ которыхъ молодые люди готовятся въ *Ecole Normale* и *Ecole Polytechnique*, и профессора Сорбонны въ своихъ лекціяхъ имѣютъ въ виду слушателей съ такой подготовкой: въ Сорбоннѣ нѣтъ каедръ ни по аналитической геометріи, ни по начертательной—эти предметы проходятся въ лицейхъ; также не читается извѣстная, даже очень значительная часть физики. Такимъ же образомъ профессора историко-филологическаго факультета имѣютъ въ виду молодыхъ людей, въ гораздо лучшей мѣрѣ усвоившихъ древніе языки, классическія литературы—древнія, и французскую исторію и географію, нежели обыкновенные бакалавры.

Каждый изъ двухъ факультетовъ Сорбонны дѣлится на нѣсколько отдѣленій, и каждое отдѣленіе ведетъ къ соотвѣтствующей „*licence*“. Такимъ образомъ, физико-математическій факультетъ ведетъ къ тремъ различнымъ „*licence*“: по чистой математикѣ, по физическимъ наукамъ (куда входятъ физика, химія и минералогія) и естественнымъ наукамъ. А „*licence des lettres*“, которую даетъ историко-филологическій факультетъ, можетъ быть пяти различныхъ родовъ: по философіи, по исторіи и географіи, по литературѣ, по грамматикѣ и по новѣйшимъ языкамъ.

Студентамъ предоставляется полнѣйшая свобода: тутъ нѣтъ ни инспекторовъ, ни субъ-инспекторовъ для наблюденія за правильнымъ посѣщеніемъ студентами лекцій; наблюдаютъ нѣсколько за степендіатами сами профессора, но это наблюденіе ничего строгаго въ себѣ не заключаетъ; нѣтъ даже обязательнаго срока, въ теченіе котораго студентъ долженъ посѣщать факультетъ. Правда, по уставу студентъ обязанъ числиться на факультетѣ до экзамена по меньшей мѣрѣ годъ, въ теченіе котораго онъ послѣ каждого триместра долженъ взять одну „*inscription*“, т.-е. внести извѣстную плату (12 фр. 50 сантимовъ) и получить квитанцію. Но на дѣлѣ можно всѣ четыре „*inscriptions*“ получить сразу въ тотъ день, когда записываются на экзаменъ,—пишущій это знаетъ по личному опыту. Зато, вмѣсто наблюдателей и наблюденій, есть нѣчто гораздо лучшее, а именно экзамены, которые такъ обставлены, что студентъ, не посѣщавшій лекцій, а особенно практическихъ занятій, ихъ выдержать не можетъ.

Экзамены производятся въ іюль и въ октябрѣ, и каждый разъ афишей объявляется о срокѣ, до котораго можно записываться на экзаменъ. Предметы тутъ не распредѣляются ни на два мѣсяца, ни на мѣсяцъ, даже ни на недѣлю, а каждый, являющійся на экзаменъ, считается подготовленнымъ настолько хорошо, что можетъ изложить

удовлетворительно любой вопросъ, входящій въ программу экзамена. Испытанія длятся обыкновенно три, четыре, рѣдко пять дней. Начинаются они письменными отвѣтами настолько трудными, что только студентъ, передѣлавшій много письменныхъ отвѣтовъ въ году, въ состояніи ихъ составить удовлетворительно.

На физико-математическомъ факультетѣ, напр., задаютъ на письменныхъ испытаніяхъ очень сложныя задачи по анализу рациональной механики и астрономіи, или очень сложный теоретическій вопросъ по физикѣ съ задачей, и такой же вопросъ по химіи. На историко-филологическомъ факультетѣ задаются болѣе трудныя темы по исторіи, географіи, по философіи, древнимъ языкамъ и т. д. На каждый письменный отвѣтъ дается обыкновенно четыре часа. Выдержавшіе письменные экзамены допускаются къ устнымъ. На физико-математическомъ факультетѣ устнымъ испытаніямъ предшествуютъ еще практическія—по физикѣ, химіи и минералогіи, или по зоологіи, ботаникѣ и геологіи. Исключающій характеръ письменныхъ отвѣтовъ дѣлаетъ то, что къ слѣдующимъ испытаніямъ допускается обыкновенно отъ 30 до 40 процентовъ всѣхъ записавшихся на экзамены кандидатовъ. Зато устные испытанія, которыя длятся не больше одного дня, выдерживаются обыкновенно всѣми, которые были къ нимъ допущены: случаи неудачи на этихъ экзаменахъ крайне рѣдки.

М.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го января, 1890.

—Полное собраніе сочиненій *А. С. Грибоѣдова* подъ редакціей приватъ-доцента Импер. С.-Петербургскаго университета *И. А. Шляпкина*. Томъ I. Прозанческія статьи и переписка (Съ приложеніемъ двухъ портретовъ *А. С. Грибоѣдова* и факсимиле его почерка). Томъ II. Поезія (Съ приложеніемъ портрета *А. С. Грибоѣдова* и нотъ). Изданіе *И. П. Варгунина*. Спб. 1889.

Новѣйшее изданіе *Грибоѣдова* есть, безъ сомнѣнія, лучшее и наиболѣе полное его изданіе. Оно старается дать правильный и полный текстъ и сообщаетъ весьма подробный и обстоятельный комментарий къ сочиненіямъ *Грибоѣдова*. Относительно текста произведеній *Грибоѣдова* и его переписки г. *Шляпкинъ* старался вообще возстановлять первоначальную его форму, освобождая его отъ произвольныхъ измѣненій издателей, даже въ орфографіи; въ случаяхъ измѣненій, какія дѣлались самимъ *Грибоѣдовымъ*, приводятся варианты. Съ цѣлями комментарія г. *Шляпкинъ* присоединяетъ къ каждой пьесѣ сочиненій или писемъ *Грибоѣдова* примѣчанія съ указаніемъ изданія, гдѣ впервые появилась данная статья, гдѣ и какъ была послѣ перепечатана, съ объясненіемъ всѣхъ тѣхъ подробностей, какія упоминаются въ статьѣ или письмѣ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приведены иногда цѣликомъ чужія статьи, стихотворенія и т. п., о которыхъ говорится у *Грибоѣдова*; излагается полемика, въ которой онъ участвовалъ или былъ заинтересованъ; указываются книги, составлявшія чтеніе *Грибоѣдова*, и т. п. Въ концѣ перваго тома помѣщенъ въ приложеніи весьма подробный и, сколько можемъ судить, весьма точный библиографическій указатель сочиненій *Грибоѣдова* и литературы о немъ, въ хронологическомъ порядкѣ, съ появленія его первой печатной статьи и донынѣ (1814—1889), указатель, составленный цѣлымъ

кружкомъ бібліографовъ; въ этому указателю прибавленъ для облегченія справокъ алфавитъ. Наконецъ, къ каждому тому присоединенъ именной и предметный указатель, гдѣ къ именамъ лицъ присоединены болѣе или менѣе подробныя біографическія свѣденія о нихъ. Такова обстановка изданія: очевидно, что изученіе всѣхъ подробностей въ сочиненіяхъ Грибоѣдова весьма облегчается этимъ обиліемъ справочныхъ свѣденій. Онѣ стоили, конечно, не малаго труда и составляютъ большую заслугу изданія г. Шляпкина.

Мы не согласились бы только съ нѣкоторыми приемами издателя. „Называя настоящее изданіе полнымъ собраніемъ *сочиненій* А. С. Грибоѣдова,—говоритъ г. Шляпкинъ,—я лишь слѣдую общему обычаю издателей нашего времени: врядъ ли вообще можно сдѣлать полное собраніе сочиненій какого бы то ни было автора, даже современнаго (1). Сколько *произведеній* гибнутъ или *по желанію самого автора*, или въ силу всевозможныхъ случайностей! Такъ и наше изданіе далеко не является полнымъ, хотя оно почти втрое полнѣе прежнихъ изданій“, и т. д. Г. Шляпкинъ указываетъ при этомъ на „утраченныя или неразысканныя произведенія“ Грибоѣдова — въ числѣ ихъ онъ называетъ различныя „бумаги“ и дѣла, писанныя Грибоѣдовымъ или имѣющія къ нему отношеніе, и которыя или пропали, или сгорѣли, или остались издателю недоступны въ настоящее время. Г. Шляпкинъ очевидно преувеличиваетъ обязанности издателя и не очень правильно понимаетъ, съ чѣмъ ему нужно имѣть дѣло. „Произведеніями“ писателя называются собственно художественныя (или научныя) труды, которыми онъ дѣйствовалъ въ литературѣ; то, что къ нимъ не относится въ этой области, вовсе не принадлежитъ къ числу его „произведеній“, а составляетъ только матеріалъ для его біографіи, какъ, напримѣръ, частныя письма, дѣловыя бумаги, даже юношескія произведенія, хотя бы, напримѣръ, и художественныя, которыя самъ писатель считалъ нѣкогда столь незрѣлыми, что при жизни не находилъ ихъ годными для печати. Пересматривая распредѣленіе сочиненій Грибоѣдова въ изданіи г. Шляпкина, мы дѣйствительно находимъ, что въ отдѣлѣ „прозы“ помѣщены не только статьи, напечатанныя нѣкогда самимъ Грибоѣдовымъ, но и такіе отрывки, какъ напримѣръ „Замѣчанія, касающіяся исторіи Петра I“, или „Desiderata“, или статейка по поводу „Горя отъ ума“, или „Замѣчанія на русскую грамматику Греча“, или „Записка о переселеніи армянъ изъ Персіи въ наши области“, которыя вовсе не предназначались Грибоѣдовымъ для печати и не могутъ быть правильно отнесены въ число его „произведеній“, потому что это были или отрывочныя, черновыя замѣтки, дѣланныя только для себя, или случайно

набросанныя мысли, или, наконецъ, дѣловыя записки. Если понимать произведенія писателя такимъ образомъ, то для иныхъ писателей, которымъ случалось проходить служебное поприще, нужно было бы помѣщать въ число ихъ сочиненій и всѣ канцелярскія бумаги, ими написанныя (или также только подписанныя?).

Въ изданіи г. Шляпкина мы не находимъ еще одной принадлежности, обыкновенно сопровождающей подобныя полныя собранія сочиненій, именно біографіи. Издатель выражается объ этомъ такъ: „я старательно собиралъ всевозможныя мелочи, относящіяся до произведеній Грибоѣдова и его личности; отсюда возникла та хронологическая канва, въ которой, по прекрасному образцу подобной же канвы для біографіи А. С. Пушкина, составленной Я. К. Гротомъ, я желалъ *sine ira et studio* расположить весь ходъ жизни и творчества великаго русскаго поэта... Подобная канва и должна служить ключомъ для безпристрастнаго научнаго изученія и оцѣнки Грибоѣдова, о которомъ большинство руководится временной и односторонней критикой той или другой партіи“ (?). Г. Шляпкинъ очень заблуждается, считая упомянутую канву „прекраснымъ образцомъ“. Авторъ канвы для біографіи Пушкина имѣлъ свое право прибѣгнуть къ такой формѣ потому, что біографія Пушкина все-таки много разъ обрабатывалась, основныя факты слишкомъ извѣстны; предпринимать ее вновь было бы слишкомъ обширнымъ трудомъ, на который, вѣроятно, не было досуга, и авторъ ограничился указаніемъ извѣстнаго ему матеріала на пользу будущихъ біографовъ; но вообще „канва“ — только предварительная черновая работа, какую долженъ исполнить каждый, кто берется за какой-либо историческій трудъ. Неужели же эта черновая работа и должна считаться окончательной и наилучшей формой біографіи? Очевидно, нѣтъ. Г. Шляпкинъ собралъ только голыя цитаты, но въ томъ-то и дѣло, что одинъ и тотъ же фактъ біографіи можетъ быть истолкованъ чрезвычайно различно, смотря по тому, насколько историкъ будетъ правильно или неправильно понимать и сопоставлять его съ другими фактами. Извѣстно, что общественный характеръ Грибоѣдовской комедіи толкуется теперь весьма различно, соотвѣтственно тому, какъ понимаются общественныя взгляды и отношенія самого писателя; поможетъ ли одна „канва“ рѣшить этотъ спорный вопросъ? Цитаты, собранныя г. Шляпкинымъ, не даютъ на это отвѣта, который можетъ дать только біографія, т.-е. настоящее историческое изслѣдованіе; только оно можетъ привести къ правильному пониманію фактовъ и устранить „одностороннюю критику партій“.

Изданіе отличается вообще большою внѣшнею исправностью. Изъ

ошибокъ укажемъ неправильное чтеніе въ томѣ I, стр. 66: „биче“, вм. баче, названіе мальчиковъ, употребляемыхъ на востокѣ для разныхъ услугъ.

— *Сочиненія А. Скабичевскаго*. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики. Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора. Спб. 1890.

Г. Скабичевскій возмимѣлъ счастливую мысль собрать свои главнѣйшія работы, разбросанныя въ журналѣхъ и газетахъ за двадцать послѣднихъ лѣтъ (1868—1888); это въ особенности его статьи, печатавшіяся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ временъ Некрасова и Салтыкова; къ нимъ прибавленъ рядъ его новыхъ статей, помѣщавшихся въ другихъ изданіяхъ. Это цѣлый обширный сборникъ литературной критики.

У насъ въ послѣднее время не однажды жаловались на недостатокъ критики; жалобы эти едва ли были основательны и шли въ особенности по старому воспоминанію о Вѣлинскомъ, Добролюбовѣ, даже Писаревѣ, или по привычкѣ ждать, „что книга послѣдняя скажетъ“; но дѣло въ томъ, что нѣкогда „критика“ дѣйствительно составляла живой нервъ литературы, просто потому, что это была единственная форма, въ которой по поводу того или другого, болѣе или менѣе „художественнаго“, произведенія могли высказываться взгляды на общіе нравственные и общественные вопросы, и отъ критической статьи ждали не только эстетическихъ разсужденій, но въ особенности живого слова о вопросахъ нравственного и общественного характера; во времена Вѣлинскаго большое мѣсто въ критикѣ занималъ и вопросъ чисто эстетическій, потому что понятія этого рода не были еще въ самой литературѣ достаточно установлены, но уже тогда общественный, публицистическій характеръ критики сталъ получать явное преобладаніе. Если въ послѣдствіи критика дѣйствительно какъ будто меньше играетъ роль въ литературѣ, то это было совершенно естественно: дѣло въ томъ, что значительная доля ея прежнихъ темъ отпадала въ публицистику, которая прямо ставила различные вопросы общественной и народной жизни, просвѣщенія и т. д. Что было дѣлать при этомъ чисто эстетической критикѣ? Литература вовсе не представляла такого обилія замѣчательныхъ явленій, для которыхъ нужно было бы поднимать эстетическій арсеналъ, а та сторона ихъ, которая касалась спорныхъ вопросовъ общественной жизни,—и она

была довольно обильна,—разъяснялась довольно просто и, намъ кажется, была разъясняема достаточно.

Однимъ изъ самыхъ ревностныхъ дѣятелей на этомъ поприщѣ, особливо съ конца шестидесятыхъ годовъ, былъ г. Скабичевскій (первое начало своего писательства г. Скабичевскій считаетъ съ 1859 года). Въ настоящей книгѣ собраны главныя работы его, посвященныя или недавней исторіи нашей литературы, или ея современнымъ явленіямъ. Къ прежнимъ періодамъ нашей литературы принадлежитъ, во-первыхъ, обширный трактатъ: „Сорокъ лѣтъ русской критики (1820—1860)“, помѣщенный прежде подъ другимъ заглавіемъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, отпечатанный тогда же отдѣльно, но не вышедшій въ свѣтъ; далѣе статья: „Три человека сороковыхъ годовъ“ (Гоголь, Грановскій и Герценъ), раньше изданная, или находившаяся въ упомянутомъ сейчасъ отдѣльномъ изданіи, которое было напечатано, но въ свѣтъ не вышло; далѣе—„Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ“; статьи о Писаревѣ, Левитовѣ, Некрасовѣ; наконецъ, недавняя біографія Пушкина. Другую долю настоящаго сборника составляютъ статьи по поводу современныхъ литературныхъ фактовъ, крупныхъ и второстепенныхъ; въ этихъ статьяхъ проходятъ передъ нами Тургеневъ, Островскій, Левъ Толстой, Гончаровъ, Писемскій; далѣе Хвощинская (Крестовскій псевдонимъ), Рѣшетниковъ, Глѣбъ Успенскій, Алексѣй Потѣхинъ, А. Михайловъ, гр. Саліасъ и много другихъ новѣйшихъ писателей.

Въ предисловіи г. Скабичевскій замѣчаетъ, что въ настоящую книгу вошла едва ли четверть того, что было имъ написано въ теченіе его тридцатилѣтняго писательства; тому, кто существуетъ исключительно литературнымъ трудомъ,—говоритъ онъ,—приходится писать многое не по собственной инициативѣ, а по случайнымъ обстоятельствамъ и требованіямъ журнала; въ настоящемъ сборникѣ г. Скабичевскій помѣстилъ только тѣ работы, мысль которыхъ принадлежитъ ему самому и которыя выражаютъ его собственные литературные и общественные взгляды. „Авторъ будетъ вполне доволенъ,—продолжаетъ онъ,—если книга его убѣдитъ читателей, что въ продолженіе всей его литературной дѣятельности онъ служилъ благому дѣлу и оставался неизмѣненъ въ своихъ кровныхъ убѣжденіяхъ“. Понятно, что въ теченіе столькихъ лѣтъ его взгляды не могли остаться совершенно неизмѣнными, но въ основныхъ своихъ понятіяхъ онъ въ 1888 году остался тѣмъ же самымъ, какимъ былъ въ 1868. „Всегда онъ ставилъ выше всего народное благо и проповѣдовалъ народные принципы труда и братства; всегда онъ ратовалъ

противъ всякаго возвышенія брата надъ братомъ, хотя бы во имя интеллектуально-нравственного превосходства; въ эстетическихъ своихъ теоріяхъ, проповѣдую свободу и естественность творческихъ процессовъ, онъ всегда былъ равно далекъ какъ отъ теоретиковъ чистаго искусства, ограничивающихъ его однимъ услажденіемъ художественными красотами празднаго, изнѣженнаго сибаритства, такъ равно и отъ теоретиковъ полезнаго искусства, обрекающихъ его на подневольное орудіе въ рукахъ какихъ бы то ни было политическихъ партій“. Нѣкоторыя изъ этихъ выраженій, можетъ быть, слишкомъ громки, но во всякомъ случаѣ дѣятельность г. Скабичевскаго всегда была исполнена самыми искренними сочувствіями къ лучшимъ интересамъ общественной и народной жизни, которымъ онъ никогда не намѣнилъ въ теченіе своего долгаго поприща. Отсюда истекали тѣ нѣсколько суровыя сужденія, какія можно у него встрѣтить, но, съ другой стороны, въ этихъ сужденіяхъ нѣтъ личной непріязни или мелкой нетерпимости кружка. Какъ критикъ, онъ мало даетъ примѣровъ снисходительной мягкости; напротивъ, критическая практика развила въ немъ нѣкоторую наклонность къ скептицизму, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ относится весьма враждебно къ „кислому разочарованію“. Составивъ себѣ опредѣленные общественные взгляды, онъ примѣняетъ ихъ къ литературному содержанію и ставитъ вопросы вообще весьма просто и реально. Вообще книга г. Скабичевскаго можетъ служить очень полезнымъ руководствомъ для тѣхъ читателей, которые хотѣли бы освоиться съ недавней исторіей и характеромъ нашей новѣйшей литературы; какъ, съ другой стороны, она не лишена важныхъ указаній для историковъ и критиковъ литературы, да и для самихъ „художниковъ“.

По своей внѣшности „Сочиненія Скабичевскаго“ составляютъ два большихъ тома плотной печати въ два столбца, стоящихъ очень дешево (3 рубля); дешевизна изданія рассчитана, конечно, на большое распространеніе книги, и нельзя не пожелать, чтобы ожиданіе издателя осуществилось. Книга доставляетъ полезное и интересное чтеніе, каковаго у насъ въ этой области, можетъ быть, слишкомъ мало; но намъ случилось уже слышать сожалѣніе, что компактность и дешевизна изданія достигаются хотя четкимъ, но слишкомъ мелкимъ шрифтомъ.

— *Калила и Димна* (сборникъ басенъ, извѣстныхъ подъ именемъ басенъ Бидаа). Переводъ съ арабскаго М. О. Атта, преподавателя арабскаго языка, и М. В. Рябинина, студента III курса специальныхъ классовъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ. М. 1889.

„Калила и Димна“ есть знаменитый восточный сборникъ басенъ и рассказовъ, чрезвычайно распространенный въ средніе вѣка и въ Азіи, и въ Европѣ въ многоразличныхъ редакціяхъ и переводахъ, до того, что полагалось, что послѣ Библии это была, вѣроятно, самая распространенная книга. Первоначальной родиной этихъ рассказовъ была Индія и почвой—буддизмъ; отсюда они перешли вмѣстѣ съ буддизмомъ въ Тибетъ, Китай, наконецъ въ Монголію, отчасти въ видѣ письменныхъ сборниковъ, но еще больше въ устныхъ пересказахъ, такъ что когда послѣдніе передавались письму, отсюда произошло большое разнообразіе редакцій. Въ самой Индіи эти древнѣйшіе рассказы не сохранились и извѣстны уже въ болѣе позднихъ памятникахъ, измѣнившихъ характеръ первоначальнаго источника, когда буддизмъ смѣнился браманизмомъ; черезъ Персію эти индійскія сказанія перешли къ арабамъ, и т. д. Полагаютъ, что монголо-татарское нашествіе сильно содѣйствовало распространенію этихъ сказаній въ восточной и западной Европѣ, какъ съ другой стороны содѣйствовало тому появленіе ихъ на арабскомъ языкѣ въ эпоху господства арабовъ отъ Багдада до Испаніи. Мало-по-малу знаменитая книга распространилась подъ разными именами, на разныхъ языкахъ и въ различныхъ редакціяхъ отъ Индіи на громадные пространства Азіи и по всей Европѣ. Главнымъ образомъ, распространеніе „Калилы и Димны“ произведено было арабской редакціей этого произведенія, вслѣдствіе обширнаго вліянія тогдашней арабской литературы. Такъ отъ арабской редакціи произошли на востокѣ ново-сирійская, персидская, еврейская, на западѣ—греческая, древне-испанская; отъ персидской произошли турецкая, грузинская; отъ еврейской—средневѣковая латинская и изъ нея—нѣмецкая, чешская, другая испанская и т. д., и т. д. Къ арабской редакціи примыкаетъ та греческая редакція этого памятника, откуда онъ, подъ названіемъ „Стефанита и Ихнилата“, перешелъ въ старую славянскую письменность, сохранившись въ рукописяхъ южно-славянскихъ и русскихъ.

Нечего и говорить, что переводъ этого знаменитаго произведенія является очень интереснымъ приобрѣтеніемъ для нашей литературы. Кромѣ того, что онъ доставляетъ объясненіе для стараго русскаго „Стефанита и Ихнилата“, онъ усвоиваетъ намъ одно изъ знаменитѣйшихъ произведеній старой восточной литературы, интересное и

само по себѣ. Переводчики отнеслись къ своему дѣлу очень внимательно. Переводу текста предшествуетъ обширное введеніе, гдѣ г. Рабининъ подробно излагаетъ сложную литературную исторію „Калилы и Димны“ отъ ея первыхъ началъ въ Индіи до распространенія ея въ средневѣковой западной Европѣ и до новѣйшихъ ученыхъ изысканій объ ея происхожденіи. Переводчики сочли нужнымъ дать русскій переводъ арабскаго оригинала между прочимъ и потому, что, во-первыхъ, три перевода „Калилы и Димны“ съ арабскаго, существующіе въ западной литературѣ, стали библиографическими рѣдкостями, и во-вторыхъ, два изъ нихъ, извѣстные нашимъ переводчикамъ, не вполне удовлетворительны—одинъ потому, что слишкомъ вольно передаетъ подлинный текстъ, другой—потому, что не имѣетъ четырехъ начальныхъ главъ этого сборника, такъ что русское изданіе будетъ полнѣе. При этомъ переводчики воспользовались новѣйшими изслѣдованіями о текстѣ „Калилы и Димны“ и сопроводили переводъ многочисленными примѣчаніями. Въ концѣ книги присоединена синоптическая карта постепеннаго распространенія „Калилы и Димны“ изъ ея индійскаго источника по литературамъ Азіи и Европы; это своего рода генеалогическое дерево, по которому можно составить себѣ наглядное понятіе о литературной исторіи этого памятника.

Относительно введенія можно было бы выразить желаніе, чтобы оно кромѣ чисто библиографической исторіи памятника, на которую оно обращаетъ, быть можетъ, слишкомъ много вниманія, дало больше подробностей, во-первыхъ, о тѣхъ измѣненіяхъ тона и внутренняго характера, какія происходили при переходѣ памятника отъ однихъ народовъ и цивилизацій къ другимъ. Введеніе говоритъ, напримѣръ (стр. VII), что первоначальный индійскій текстъ былъ впоследствии утилизированъ браминами для своихъ цѣлей и памятникъ подвергся искаженію: для обыкновеннаго читателя (на какихъ также разсчитываетъ наше изданіе) не лишни были бы въ этомъ случаѣ болѣе подробныя объясненія; или когда „Калила и Димна“ превращается въ XIII столѣтіи въ *Directorium humanae vitae* и тому подобное, памятникъ опять получаетъ новую окраску, которую любопытно было бы прослѣдить и отмѣтить. Далѣе, затронувши тему о переходѣ въ Европу восточныхъ сказаній въ средніе вѣка (стр. IV), надо было бы также дать русскому читателю нѣсколько больше подробностей объ этомъ предметѣ или, по крайней мѣрѣ, указать читателю, гдѣ онъ могъ бы найти эти свѣденія въ литературѣ. Исчисляя различные переводы „Калилы и Димны“, при указаніи стараго русскаго перевода „Васень Бидпая“ Бориса Волкова (1762) кстати было бы упомянуть еще „Басни и сказки индійскія“ (1803 и 1816). Переводъ

текста въ литературномъ отношеніи весьма удовлетворителенъ, но во введеніи можно было бы избѣжать неумѣреннаго употребленія ненужныхъ иностранныхъ словъ, напримѣръ: датировать, коллаціонировать, преобладать, фигурировать, шокировать и т. п.; вмѣсто того, чтобы сказать, что произведеніе написано двумя *лицами*, авторъ пишетъ: *личностями*.—А. П.

-
- Н. И. Гродековъ. *Киргизы и каракиргизы* Сыръ-Дарьинской области. Томъ первый. Юридическій бытъ. Ташкентъ, 1889.
 - *Киргизы Букеевской орды*. Антрополого-этнографическій очеркъ. Алексѣя Харузина. Выпускъ первый. М. 1889. 4^о (Извѣстія Имп. Общества любителей Естествознанія, Антропологін и Этнографін, т. LXIII; Труды Антрополог. Отдѣла, т. X).

Киргизамъ посчастливилось въ прошломъ году на изслѣдователей ихъ племени и быта. Передъ нами двѣ большія книги, составляющія каждая только часть болѣе обширнаго цѣлаго. Книга г. Гродекова говоритъ о киргизахъ средне-азіатскихъ; сочиненіе г. Харузина — о киргизахъ, проживающихъ въ предѣлахъ европейской Россіи, главнымъ образомъ въ астраханской губерніи. Первая изъ этихъ книгъ вызвана административною необходимостью, другая — любознательностью ученаго общества.

Г. Гродековъ уже давно извѣстенъ серьезными трудами о средней Азіи, гдѣ проходитъ его служебная дѣятельность („Черезъ Афганистанъ“; „Хивинскій походъ“; „Война въ Туркменіи“—4 тома); настоящій трактатъ вызванъ необходимостью собрать свѣденія по обычному праву киргизовъ въ Сыръ-Дарьинской области, которою управляетъ г. Гродековъ. Предметъ не былъ совершенно новъ ни въ нашей научной литературѣ, ни въ административныхъ свѣденіяхъ. Въ предисловіи перечислено то, что сдѣлано было научнымъ и административнымъ образомъ для изученія киргизскаго юридическаго быта; любопытно между прочимъ, что еще въ двадцатыхъ годахъ по распоряженію правительства специальная коммиссія, подъ надзоромъ сибирскаго генералъ-губернатора, составила сборникъ обычнаго права сибирскихъ инородцевъ, въ томъ числѣ и киргизовъ. Сборникъ составлялся самими инородцами на ихъ языкахъ и по переводѣ на русскій языкъ хранился во Второмъ отдѣленіи собственной Его Величества канцеляріи; при Сперанскомъ возникла мысль о составленіи свода вѣхъ мѣстныхъ законовъ, въ томъ числѣ юридическихъ обычаевъ

сибирскихъ инородцевъ, для чего и могъ послужить упомянутый сборникъ,—но эта мысль не была приведена въ исполненіе, и сборникъ явился въ свѣтъ только въ 1876 году, когда былъ напечатанъ г. Самохвасовымъ въ книгѣ: „Сборникъ обычнаго права сибирскихъ инородцевъ“. Г. Гродековъ замѣчаетъ однако, что въ этомъ сборникѣ, хотя и составленномъ мѣстными свѣдущими людьми, въ киргизскомъ отдѣлѣ многое очевидно сочинено киргизскими старшинами. Въ литературѣ, начиная съ очень извѣстной книги Левшина о киргизскихъ степяхъ, въ 1830 годахъ, обычное право киргизовъ не разъ было излагаемо съ большимъ или меньшимъ знаніемъ дѣла, особливо лицами, имѣвшими возможность изучить его по своей службѣ и наблюденіямъ на мѣстахъ. Г. Гродековъ отдаетъ справедливость этимъ трудамъ, но тѣмъ не менѣе находитъ ихъ весьма неполными и потому неудовлетворяющими мѣстнымъ требованіямъ, особенно теперь, когда, по словамъ его, — „подъ вліяніемъ такихъ могущественныхъ факторовъ, каковы: мусульманство, энергія проповѣди котораго среди кочевниковъ ишанами изъ Бухары, Самарканда, Коканда и Ташкента усилилась со времени умиротворенія нами Средней Азіи; русское владычество съ новыми порядками и цивилизаціею, переходъ кочевниковъ къ земледѣлію; появленіе новыхъ видовъ промышленности и пр., произошло значительное измѣненіе въ обычномъ правѣ. То, что было у киргизовъ при ханахъ, при султанахъ, управлявшихъ ордами и группами родовъ, при сильныхъ, независимыхъ родовичахъ, при кокандскихъ бекахъ и хакимахъ и пр., отчасти давно забыто, отчасти измѣнено. Въ жизнь народа, широкою волною влились новыя взгляды и понятія; жизнь начала предъявлять новыя требованія, къ которымъ и пришлось приспособить постановленія обычнаго права“.

Вступивъ въ управленіе Сыръ-Дарьинскою областю, г. Гродековъ вознамѣрился собрать по возможности полно и правильно мѣстные юридическіе обычаи и, по программѣ г. Наливкина, извѣстнаго знатока Средней Азіи, поручилъ собраніе свѣденій на мѣстахъ г. Вышнегорскому, изучившему на мѣстѣ языки киргизскій, сартовскій и персидскій. Г. Вышнегорскій собралъ обширный и достовѣрный матеріалъ, который впослѣдствіи былъ еще пополненъ справками на мѣстахъ и подлинными рѣшеніями киргизскихъ судовъ на разные случаи. Кромѣ матеріала, относящагося именно къ обычному праву, по словамъ предисловія, собирались также „историческія сказанія по копіямъ древнихъ рукописей, сохранившихся въ рукахъ грамотныхъ киргизовъ, героическія поэмы, повѣрья, басни, загадки, заклинанія и пр.“. Въ цѣломъ изданіе ихъ составитъ еще тома два. Обширный матеріалъ обычнаго права, въ вышедшемъ теперь первомъ томѣ, пред-

ставить, конечно, важное пособіе для мѣстной администраціи и вмѣстѣ важный матеріалъ для науки.

Вторая книга составляетъ результатъ трудовъ г. Харузина, сдѣлавшаго, по порученію московскаго Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, двукратную лѣтнюю поѣздку въ Букеевскую степь для зоологическихъ и антропологическихъ цѣлей въ 1887 и 1888 годахъ. Г. Харузинъ собиралъ этнографическія свѣденія, дѣлалъ антропологическія изслѣдованія (осмотрѣно было антропометрически до 150 субъектовъ разныхъ возрастовъ), раскапывалъ курганы и снялъ до 300 фотографій видовъ и типовъ. Книга его состоитъ отчасти изъ его личныхъ изысканій, отчасти изъ пересмотра прежней литературы предмета по тѣмъ вопросамъ, какіе у него возникали. Введеніе посвящено обзору экспедицій въ киргизскія степи съ конца прошлаго вѣка; указанію литературы предмета (въ концѣ книги она перечислена въ подробномъ библиографическомъ указателѣ) и очерку исторіи Букеевской орды. Далѣе, первый отдѣлъ сочиненія рассматриваетъ распаденіе стариннаго быта киргизовъ, наблюдаемое въ Букеевской ордѣ, сравнительно съ бытомъ ихъ единоплеменниковъ въ Средней Азіи—тѣхъ самыхъ, которымъ посвящается книга г. Гродекова. Это распаденіе г. Харузинъ отмѣчаетъ въ родовомъ, сословномъ и семейномъ устройствѣ, въ религиозныхъ представленіяхъ, въ образѣ жизни, судѣ, обычаяхъ разнаго рода, наконецъ въ начаткахъ осѣдлости. Второй отдѣлъ заключаетъ собственно антропологическія изслѣдованія, сначала общія замѣчанія о движеніи народонаселенія, о физическихъ свойствахъ и характерѣ киргизовъ, ихъ экономическомъ положеніи, школьномъ образованіи и т. д.; а затѣмъ изложеніе антропометрическихъ изслѣдованій самого г. Харузина, сравнительно съ немногими прежними изслѣдованіями этого рода. Это послѣднее составляетъ вполне самостоятельную часть труда автора, тогда какъ въ другихъ отдѣлахъ онъ основывается главнымъ образомъ на пересмотрѣ и сличеніи данныхъ, собранныхъ прежними путешественниками. Въ книгѣ г. Харузина помѣщено кромѣ того большее количество рисунковъ, представляющихъ виды и особенно типы мѣстнаго населенія, какъ нѣсколько типическихъ портретовъ приложено и къ книгѣ г. Гродекова.

Если въ общей части своего сочиненія г. Харузинъ и не могъ быть вполне самостоятельнымъ изслѣдователемъ, для чего потребовались бы и болѣе продолжительное пребываніе въ степи, и знаніе киргизскаго языка, то во всякомъ случаѣ его трудъ будетъ важнымъ вкладомъ въ литературу предмета, какъ обобщеніе прежнихъ изслѣдованій съ опредѣленныхъ точекъ зрѣнія. Быть можетъ, обширности

работы, произведенной въ короткое время, надо приписать нѣкоторую неясность изложенія, съ которою иногда встрѣтится читатель; бѣльшаго вниманія требовала бы и корректура (намъ нѣсколько при-
скорбно было видѣть, что довольно извѣстный русскій человѣкъ Па-
велъ Ивановичъ Небольсинъ является въ книгѣ какъ будто въ ка-
чествѣ иностранца подъ именемъ Небольсона, стр. 6, 15, 19, 55, 265
и т. д.). Недостатки изложенія можно замѣтить и въ книгѣ г. Гро-
декова, особливо въ первыхъ вводныхъ главахъ. — А. В.

Въ теченіе декабря мѣсяца въ редакцію поступили слѣдующія
новыя книги и брошюры:

Абрамовъ, Я. В. Новѣйшіе успѣхи знанія. Популярныя очерки. Спб., 90.
Стр. 306. Ц. 2 р.

Бибииковъ, В. Маруса. Спб., 89. Стр. 242. Ц. 1 р.

Беръ, М. Струэнзе, траг. въ 5 дѣйств., въ стих. и прозѣ. Перев. съ нѣм.
А. Н. Плещеева. Спб., 89. Стр. 211. Ц. 1 р.

Герштинъ, А. Д. Рациональный методъ графическаго нотописанія. Кіевъ,
89. Стр. 48. Ц. 1 р. 50 к.

——— Общедоступная стенографія. Новая система, съ тетрадью для упраж-
ненія въ искусствѣ стенографіи. Кіевъ, 89. Стр. 47. Ц. 1 р.

Де-Витте, Е. Книга для чтенія въ школѣ и дома. Вып. 1-й. Начальная
лѣтопись и Житія пр. Антонія и Θεодосія Печерскихъ съ поученіями. Спб., 89.
Стр. 147. Ц. 30 к.

——— Вып. 2-й. Народное творчество: сказки (10), былины (35) и Слово
о полку Игоревѣ, въ ориг. и въ нов. переводѣ. Ковно, 89. Стр. 189. Ц. 60 к.

Захаринъ (Якунинъ), И. Н. Люди темные. Очерки и картинки изъ народ-
наго быта. Спб. 90. Стр. 346. Ц. 1 р.

——— Грѣзы и пѣсни. Стихотворенія. Изд. 2-ое. Спб. 90. Стр. 99. Ц.
50 коп.

Этнецъ, М. Памятная книжка варшав. института глухонѣмыхъ и слѣпыхъ,
за 1886/87 и 1887/88 гг. Варш. 89. Стр. 310. Ц. 1 р. 25 к.

Каренинъ, В. Сказка про маленькую рыбку и про великаго человѣка. Съ
рис. Елиз. Бѣль. Спб., 90. Стр. 47.

Компановъ, Н. Біографія Александра Ивановича Кошелева. Т. I, въ двухъ
книгахъ. М. 89. Стр. 581 и 442. Ц. 6 р.

Костомаровъ, Н. Очеркъ торговли московскаго государства въ XVI и
XVII ст. Изд. 2-ое. Спб., 89. Стр. 359. Ц. 2 р. 50 к.

Лейкинъ, Н. А. Голубчикъ. Разказы съ рисунками А. И. Лебедева. Спб.,
89. Стр. 174.

Лихачева, Е. I. Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1086-1796 г.). Спб., 90. Стр. 296. Ц. 2 р.

Потовичъ, Н. А. Гдѣ дорога въ Индію? М. 89. Стр. 84.

Пушкинъ, А. С. Капитанская дочка, историч. романъ. Роскошное изданіе съ 188 рис. М. Е. Малышева, Спб., 89. Стр. 188. Ц. 60 к.

Рева, И. Кіевскій областный сѣвадъ. Кіевъ, 89. Стр. 27.

Россель, Дж. Скоттъ. Теорія волнъ. Волна перемѣщенія въ океанахъ воды, воздуха и земли. Перев. Н. Шестунова. Спб., 90. Стр. 166. Ц. 1 р.

Скабичевскій, А. Сочиненія. Критическіе очерки, публицистическіе очерки, литературныя характеристики, въ 2-хъ томахъ. Съ портретомъ автора. Спб., 90. Стр. 798 и 880. Ц. 3 р.

Сливицкій, А. М. Лиса Патрикѣевна. Спб. 89. Стр. 31. Ц. 50 к.

Студенскій, Н. И. проф. Докторскія диссертациі за послѣднія 30 лѣтъ. Казань, 89. Стр. 24.

Ступинъ, А. Современный календарь 1890 г. Стр. 68. Ц. 15 к.

Харузинъ, А. Древнія могилы Гурзуфа и Гугуша, на южномъ берегу Крыма. М. 90. Стр. 102.

Цертелевъ, кн. Д. Н. Эстетика Шопенгауера. Изд. 2-е. Спб. Стр. 48. Ц. 50 коп.

Энгельгардтъ, Ник. Сказки. Спб., 90. Стр. 202. Ц. 75 к.

—— Стихотворенія. Спб. 90. Стр. 173. Ц. 75 к.

Эртель, А. Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги. М., 90. Стр. 539. Ц. 3 р.

De Vogue, le V-te. Remarques sur l'Exposition du centenaire. Par. 89. Стр. 291.

Michelsohn, M. Russische Gedichte von A. Kolzow. Petersb. 90. Стр. 267. Ц. 1 р. 50 к.

Von-Wislin. Der Landjunker. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Aus d. Russischen übertrag. v. Fr. Fiedler, Leipzig. Стр. 83.

— Дешевая Библіотека: Бурсакъ, Нарѣзнаго; Коріоланъ, траг. Шекспира, въ перев. Дружинина; Записки княг. Н. Б. Долгорукой; Исторія государства російскаго, Карамзина, т. 7—8.

— Лѣсная волшебница. Повѣсть для юношества. Перев. съ англ. Спб., 90. Стр. 199. Ц. 75 к.

— Перлы и алмазны всемірнаго юмора. Изданіе журнала „Стрекоза“. Спб., 89. Стр. 238.

— Помощь самообразованію. Сборникъ публичныхъ лекцій, популярно-научныхъ статей и литературныхъ произведеній русскихъ и иностранныхъ. Вып. 1. Саратовъ, 89. Стр. 357. Ц. 2 р. 20 к.

— Послѣ Пушкина. Сборникъ стихотвореній русскихъ поэтовъ. Составл. и изд. ред. журнала „Русская Мысль“. М., 89. Стр. 524. Ц. 2*р.

— Русскій календарь на 1890 г. А. Суворина. Спб. 90. Стр. 560.

— Систематическій сводъ постановленій Александрійскаго уѣзди. земскаго собранія (херсон. губ.) 1865-89 гг. Составл. Г. Горяновымъ, п. р. земск. статистика Н. Борисова. Александрія, 89. Стр. 418.

— Статистическій Ежегодникъ С.-Петербургъ. 1888. Изданіе городской управы. Спб., 89. Стр. 313.

— Труды дѣтскихъ врачей въ С.-Петербургѣ. Спб., 89. Стр. 121.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel de Coulanges.
L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne. Paris. 1889.

Замѣчательное изслѣдованіе Фюстель де-Куланжа объ аллодіальныхъ и сельскихъ владѣніяхъ въ древней Франціи появилось уже послѣ смерти автора; оно составляетъ второй томъ предпринятой имъ исторіи древне-французскихъ политическихъ учрежденій, задуманной по обширному плану и въ большихъ размѣрахъ.

Настоящая книга, посвященная изученію поземельнаго быта въ началѣ среднихъ вѣковъ, затрогиваетъ весьма интересные вопросы, имѣющіе общій теоретическій интересъ. Фюстель-де-Куланжъ подвергаетъ точной, документальной провѣркѣ существующіе взгляды на исторію поземельной собственности и приходитъ къ самымъ неожиданнымъ заключеніямъ; онъ доказываетъ, что ученые писатели, считающіеся специалистами по исторіи землевладѣнія (какъ напр. Мауреръ), составляли свои выводы безъ малѣйшаго фактическаго основанія, съ явнымъ отступленіемъ отъ источниковъ, на которые они ссылаются. Въ книгѣ Маурера, переведенной и на русскій языкъ („Введеніе“ въ исторію германской марки), приведены многіе латинскіе тексты въ подтвержденіе того, что у франковъ, какъ и вообще у германскихъ племенъ, господствовало общинное землевладѣніе. „Мы—говоритъ Фюстель-де-Куланжъ—взяли по порядку *все* тексты,

приводимые авторомъ, и достаточно было простой проверки, чтобы убѣдиться въ ихъ невѣрности. Мауреръ съ непонятнымъ легкомысліемъ принималъ акты на передачу полной частной собственности за доказательства общинныхъ правъ, или тамъ, гдѣ законы говорятъ о совмѣстномъ владѣніи двухъ сонаслѣдниковъ, онъ находилъ общинное владѣніе". Авторъ рѣшительно отрицаетъ существованіе какихъ бы то ни было слѣдовъ земельной общины въ эпоху Меровинговъ. „Я читалъ,—говоритъ онъ,—*все* документы, относящіеся къ этой эпохѣ, читалъ не одинъ разъ, а нѣсколько разъ; не въ выдержкахъ, а сплошь, отъ начала до конца,—и могу заявить, что нѣтъ тамъ ни единой строчки, упоминающей объ общемъ пользованіи землею или о сельской общинѣ". Ученые, по словамъ автора, повторяютъ одинъ другого и ссылаются на документы, которыхъ никто изъ нихъ не видалъ. „Такъ, Шредеръ высказалъ, что существуютъ тексты, доказывающіе общинный характеръ марки въ седьмомъ столѣтіи, но не цитировалъ при этомъ ни одного. Потомъ г. Ковалевскій повторилъ слова Шредера; Дарестъ взял ихъ у Ковалевскаго, а Глассонъ списалъ у Дареста. Читатель едва-ли повѣритъ, что четыре изслѣдователя, списывая другъ у друга, заявляютъ столь твердо о существованіи многихъ текстовъ и не могутъ однако показать ни одного". Въ видѣ нагляднаго примѣра, Фюстель-де-Куланжъ дѣлаетъ подробный разборъ цитатъ, приведенныхъ Глассономъ въ третьемъ томѣ его сочиненія объ учрежденіяхъ Франціи и относящихся къ вопросу о средневѣковомъ общинномъ землевладѣніи. Оказывается, что изъ всѣхъ цитированныхъ текстовъ, въ числѣ 45, ни одинъ не заключаетъ въ себѣ даже намека на общину; 13 цитатъ совершенно не касаются предмета, о которомъ идетъ рѣчь, а остальные 32 цитаты говорятъ прямо противоположное тому, что хочетъ доказать Глассонъ. Нѣкоторые толкованія Фюстель-де-Куланжа могутъ еще, вѣроятно, вызвать справедливыя возраженія; онъ склоненъ понимать слова слишкомъ буквально и въ сомнительныхъ случаяхъ отдаетъ предпочтеніе тому смыслу, который соответствуетъ его собственной теоріи. Правда, авторъ неуклонно придерживается подлинныхъ историческихъ и законодательныхъ памятниковъ и не высказываетъ никакого мнѣнія, которое не имѣло бы опоры въ источникахъ; но изъ отсутствія или недостаточности текстовъ нельзя еще заключить объ отсутствіи извѣстныхъ явленій въ дѣйствительной жизни. Фюстель-де-Куланжъ не ограничивается тѣмъ важнымъ выводомъ, что нѣтъ никакихъ документальныхъ доказательствъ въ пользу существованія общиннаго землевладѣнія у галловъ и франковъ; онъ идетъ далѣе и считаетъ себя въ правѣ утверждать, что община въ самомъ дѣлѣ не существовала. „Еслибы франки

держались общиннаго пользованія землею, въ видѣ ли совмѣстной обработки земель или ежегоднаго передѣла участковъ, — замѣчаетъ авторъ, — то мы нашли бы въ ихъ законахъ правила о такой общинѣ или о такомъ передѣлѣ земель. Община и ежегодный передѣлъ — факты не столь простые и не такъ легко примѣняемые, чтобы обойтись безъ многочисленныхъ и точныхъ постановленій. Притомъ, какъ порядокъ частной собственности порождаетъ судебныя процессы, такъ и общинныя порядки имѣютъ свои столкновенія; поэтому мы должны были бы найти въ салическомъ законѣ группу правилъ, касающихся предупрежденія и разрѣшенія этихъ споровъ. Ничего подобнаго не содержится въ этомъ уставѣ; мы не находимъ тамъ ни одного слова, которое намекало бы на подобныя земельныя порядки и споры. Нельзя не напомнить по этому поводу, что даже при теперешнемъ состояніи законодательства, многія важныя явленія народнаго быта совсѣмъ не формулированы въ законѣ и обходятся безъ всякой внѣшней регламентаціи; въ частности, о земельной общинѣ не могло быть документовъ уже потому, что въ дѣлахъ крестьянскаго землевладѣнія господствуетъ обычай, а не письменный законъ, и что спорные вопросы разрѣшаются каждою общиною безъ обращенія къ правительственной или судебной власти и безъ формальныхъ процессовъ. Въ нашихъ дѣйствующихъ законахъ также нѣтъ никакихъ правилъ объ общинномъ пользованіи землею или о передѣлѣ крестьянскихъ участковъ; и однако общинное землевладѣніе составляетъ у насъ не только безспорно существующій, но и господствующій фактъ народной жизни. Можно ли поэтому придавать значеніе отрицательнаго доказательства тому умолчанію салическаго закона, о которомъ говоритъ Фистель-де-Куланжъ?

Независимо отъ интересныхъ главъ, касающихся сельскаго землевладѣнія, книга содержитъ въ себѣ много свѣденій и новыхъ замѣчаній о хозяйственномъ бытѣ галло-римской эпохи, объ устройствѣ землевладѣльческихъ „виллъ“ и помѣстій, о значеніи аллодіальныхъ имуществъ, о границахъ и названіяхъ имѣній, о рабахъ и вольноотпущенникахъ, о колонатахъ и т. п. Масса любопытныхъ данныхъ, отчасти впервые собранныхъ Фистель-де-Куланжемъ, сообщаетъ его труду большую научную цѣнность, а живое и точное изложеніе дѣлаетъ книгу доступною и поучительною для каждаго, интересующагося историческими судьбами поземельной собственности.

II.

Remarques sur l'exposition du centenaire, par le v-te E. M. Vogué. Paris. 1889.

Замѣтки и впечатлѣнія остроумнаго академическаго-дипломата, печатавшіяся въ „Revue des deux Mondes“ и собранныя теперь въ одно цѣлое, оживляютъ предъ нами разнообразныя картины парижской всемирной выставки, о которыхъ почти всѣ мы имѣемъ нѣкоторое понятіе, хотя бы и не въ качествѣ очевидцевъ. Книжка де-Вогюэ будетъ особенно интересна для тѣхъ, кто видѣлъ описываемыя имъ картины; она напомнитъ имъ многое, замѣченное лишь вскользь, укажетъ на такія стороны выставки, которыя не обратили на себя вниманія, и дастъ новое освѣщеніе фактамъ, служившимъ предметами простаго любопытства.

Авторъ не претендуетъ на спеціальное изученіе различныхъ отдѣловъ блестящаго международнаго базара, устроеннаго на Марсовомъ полѣ; онъ хотѣлъ передать впечатлѣнія, которыя вызывались или должны были вызываться въ каждомъ образованномъ наблюдателѣ-французѣ при осмотрѣ выставки. Замѣчанія о видѣнномъ и слышанномъ переплетаются съ размышленіями общественно-политическими, съ тонкими характеристиками французской современности, съ разными „злобами дня“, принимаемыми всегда съ широкой соціальной точки зрѣнія.

Скептический умъ автора не позволяетъ ему забывать объ отрицательныхъ сторонахъ промышленно-научнаго прогресса, торжествовавшаго свою побѣду на выставкѣ; онъ съ удивленіемъ и гордостью останавливается передъ могучими матеріальными произведеніями челоувѣческаго генія, но не увлекается и не удовлетворяется ими. Онъ видитъ признаки возрождающагося идеализма даже въ этихъ успѣхахъ техники; онъ находитъ и въ искусствѣ, и въ политикѣ, и въ общественной жизни, симптомы какой-то неопредѣленной духовной жажды, несмотря на кажущееся господство трезваго реализма. Вогюэ отвергаетъ стремленіе къ консерватизму; по его мнѣнію, „консервативная республика“ не имѣетъ смысла,—она можетъ и должна быть только реформаторскою, хотя и совершенно не въ томъ устарѣломъ и бесплодномъ направленіи, котораго придерживаются французскіе радикалы. Авторъ думаетъ, что религіозныя чувства народа не могутъ быть передѣланы или ослаблены никакими системами обязательнаго обученія и образованія; эти чувства требуютъ открытаго признанія со стороны государства, которое должно видѣть въ служи-

теляхъ религіи своихъ естественныхъ союзниковъ, традиціонныхъ друзей и утѣшителей населенія. Какъ осуществить этотъ союзъ при республикѣ, какъ примирить свободу совѣсти съ принципами католической церкви и съ господствомъ ея духовенства надъ совѣстью людей,—этого не указываетъ Вогюэ; но онъ вѣритъ, что возстановленіе религіознаго авторитета усилитъ Францію и разрѣшитъ важнѣйшіе изъ волнующихъ ее вопросовъ.

Между прочимъ, въ книгѣ отражаются извѣстныя симпатіи автора къ Россіи и ко всему русскому; онъ рассказываетъ, напримеръ, любопытную исторію одного изъ нашихъ кустарей, механика-самоучки, Костикова-Алмазова, добравшагося до Парижа изъ Омска съ какими-то самодѣльными машинами, въ надеждѣ продать ихъ на выставкѣ. Вогюэ обращалъ вниманіе читателей на этого изобрѣтателя, достойнаго сочувствія и поддержки; послѣдовалъ ли кто-нибудь указанію автора и принялъ ли кто участіе въ нашемъ предпріимчивомъ и, быть можетъ, даровитомъ крестьянинѣ, — неизвѣстно.

III.

Der Boulanger-Schwindel und die Patrioten-Liga. Ein offenes Wort zur Widerlegung französischer Legenden und Illusionen von Constantin Freiherr von Bosse. Wiesbaden, 1889.

Въ книгѣ фонъ-Боссе разбираются нѣкоторыя замѣчанія и разсужденія генерала Буланже въ сочиненіи „L'invasion allemande“, въ связи съ политическими фактами прошлаго и настоящаго. Опровергая взгляды Буланже на войну 1870 года и на прусскую армію, нѣмецкій авторъ имѣлъ въ виду доказать французамъ, что ихъ сознательно вводятъ въ заблужденіе фальшивыми легендами, и что они не должны принимать на вѣру хвастливыя объясненія и предсказанія честолюбивыхъ патріотовъ. „Мы хотѣли,—говоритъ фонъ-Боссе,—ради интересовъ гуманности выразить желаніе, чтобы наши сосѣди признали, наконецъ, необходимость считаться съ силою фактовъ и перестали прилагать различныя мѣрки къ себѣ и другимъ, вслѣдствіе предубѣжденій или подъ вліяніемъ заманчивыхъ воззваній ложныхъ пророковъ“. Конечно, это хорошее желаніе фонъ-Боссе едва ли дойдетъ до свѣденія французовъ, которые вообще не читаютъ нѣмецкихъ брошюръ; но еслибы кто-нибудь изъ французовъ и прочиталъ настоящую книжку, онъ едва ли убѣдился бы ея доводами. Авторъ начинаетъ какъ будто съ возраженій генералу Буланже и съ доказательства его политическаго и военнаго ничтожества; но

затѣмъ онъ незамѣтно переходитъ къ полемикѣ противъ французовъ вообще, противъ ихъ общественныхъ и политическихъ порядковъ, противъ ихъ нравовъ и увлеченій, противопоставляя имъ могущество и крѣпость Германіи,—и этимъ онъ портитъ все дѣло. Авторъ часто дѣлаетъ оговорки, указывающія на то, что онъ относится съ уваженіемъ къ заслугамъ и качествамъ французской націи; но онъ постоянно забываетъ объ этомъ и критикуетъ французовъ вообще, когда слѣдовало бы говорить только о буланжистахъ или хвастливыхъ патриотахъ. Впрочемъ, въ ту же ошибку впадаютъ и французскіе публицисты, разсуждая о пруссакахъ и нѣмцахъ; такія же несправедливыя обобщенія дѣлаются въ иностранной печати относительно Россіи, какъ и въ нашей печати—относительно иностранныхъ державъ. Содержаніе брошюры фонъ-Боссе кажется, отчасти, уже устарѣлымъ, послѣ видимаго паденія буланжизма во Франціи.—Л. С.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го января 1890.

С. П. Боткинъ, Э. Э. Эйхвальдъ и А. П. Доброславинъ †.—Сессія губернскихъ земскихъ собраній.—Ходатайство орловскаго дворянства.—Газетный походъ противъ присяжной адвокатуры.—„Юридическій Вѣстникъ“, и драмы изъ отечественной исторіи передъ судомъ печати.

Русскому обществу приходится, съ нѣкоторыхъ поръ, оплакивать одну потерю за другою; одинъ за другимъ сходятъ со сцены выдающіеся представители—русской науки, русской мысли, русскаго искусства. Это печальное движеніе началось еще въ концѣ 1888 г., кончиною Стоюнина, Герда, Юрьева, гр. Лорисъ-Меликова. Послѣ короткой остановки, оно возобновилось смертью Салтыкова, за которыми послѣдовали Орестъ Миллеръ, Хвощинская-Заіончковская, Градовскій и др.; къ концу года мы испытали тяжелую утрату въ лицѣ Сергѣя Петровича Боткина, которому незадолго предшествовалъ Алексѣй Петровичъ Доброславинъ; нѣсколько раньше ихъ скончался Э. Э. Эйхвальдъ; не называемъ другихъ именъ, менѣе громкихъ. Ни въ одной сферѣ смерть не ограничивалась одною жертвою; въ мірѣ педагогическомъ, въ мірѣ литературномъ, въ мірѣ университетскомъ, въ мірѣ медицинскомъ—вездѣ она вырывала заразъ по двѣ или по три, еще больше затрудняя и безъ того уже не легкое пополненіе каждаго отдѣльнаго пробѣла. Кто займетъ, въ самомъ дѣлѣ, мѣсто Боткина, или Эйхвальда, кто станетъ, послѣ нихъ, во главѣ русской медицины? Даровитыхъ, уважаемыхъ дѣятелей въ ея рядахъ не мало, но нѣтъ ни одного, который единодушно, безъ колебаній и сомнѣній, могъ бы быть признанъ законнымъ наслѣдникомъ обоихъ умершихъ или одного изъ нихъ. Боткинъ и Эйхвальдъ были вождями школъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ сами стояли внѣ и выше школъ,—цѣнные противники, всѣми одинаково выдвигаемые на первый планъ. У нихъ была еще одна общая черта: они оба были не только геніальными діагностами и терапевтами, но и замѣчательными профессорами, не только кабинетными учеными, но и организаторами, общественными дѣятелями. Боткину, много лѣтъ сряду бывшему гласнымъ петербургской городской думы и членомъ городской больничной комиссіи, Петербургъ обязанъ, между прочимъ, образцовой барачной больницей; Эйхвальду—клиническимъ институтомъ имени великой княгини Елены Павловны. Значеніе обоихъ учреждений—особенно послѣдняго, въ который стекаются, для

слушанія лекцій, десятки врачей со всѣхъ концовъ Россіи,—далеко не исчерпывается однимъ Петербургомъ, какъ и вообще не къ нему одному приурочивается слава Боткина и Эйхвальда. Эйхвальдъ связалъ свое имя съ памятнымъ моментомъ русской исторіи; онъ былъ однимъ изъ врачей, призванныхъ гр. Лорисъ-Меликовымъ къ участию въ борьбѣ съ ветлянской чумой. Пишущему эти строки случилось, какъ пациенту, видѣть его вскорѣ послѣ возвращенія его изъ Ветлянки; онъ былъ такъ погруженъ въ результаты своей поѣздки, что прервалъ, при первомъ удобномъ случаѣ, медицинскую консультацию, досталъ планъ Ветлянки и сталъ излагать переходъ эпидеміи изъ одного дома въ другой, связывая съ этимъ комментаріи, интересные даже для профана. Въ его увлекательномъ словѣ чувствовался человѣкъ, ничего не умѣющій дѣлать на половину, всюду вносящій съ собою одушевленіе искателя истины и блага.

Еще въ большей степени слѣдуетъ сказать то же о Боткинѣ — и именно потому, не смотря на всю разницу характеровъ и взглядовъ, оба профессора, и Боткинъ, и Эйхвальдъ, были горячо любимы академическою молодежью. Свою *profession de foi* самъ Боткинъ выразилъ въ рѣчи, теперь забытой многими, но имѣющей, какъ и самъ ораторъ, право на вѣчную и великую память. Она была произнесена на празднествѣ, устроенномъ, въ апрѣлѣ 1882 г., по поводу двадцатипятилѣтняго юбилея Боткина ¹⁾. Благодаря за сочувствіе, выраженное ему со всѣхъ сторонъ, юбиляръ не рѣшался принять его, какъ „лично ему принадлежащее“. „Если мнѣ, въ теченіе моей двадцатипяти-лѣтней дѣятельности — такъ мотивировалъ онъ свою скромность,—и удалось оставить какой-нибудь слѣдъ, то причина этому лежитъ не столько въ моихъ личныхъ качествахъ, сколько въ томъ времени и тѣхъ условіяхъ, среди которыхъ приходилось мнѣ дѣйствовать. Вспомните то время, которое переживала Россія по окончаніи неудачной кампаніи 1853—55 г.! Вспомните, какія глубокія язвы раскрылись войной! Когда затѣмъ вступилъ на престолъ реформаторъ нашего времени, когда цѣлымъ рядомъ реформъ, цѣлымъ рядомъ усилій, возбуждившихъ въ жизни весь народъ, началось его царствованіе,—тогда все ожило, завядшія учрежденія воскресали, сооружались новыя. Такъ точно ожила и медицинская академія, на которой также отразилась новая жизнь... Работать при такихъ условіяхъ, при условіяхъ общаго оживленія, было нетрудно, и заслуга моя вовсе не такъ велика, какъ она вамъ кажется... Я думаю, что вы собрались здѣсь не столько чествовать личность, сколько чествовать идею, идею труда на пользу нашей

¹⁾ См. Общественную Хронику въ № 6 „Вѣстника Европы“ за 1882 г.

родины, на пользу нашей учащейся молодежи". Продолженіемъ этой рѣчи можно считать слова, сказанныя Боткинымъ на другой день послѣ юбилея, въ городской думѣ. Благодаря ее за привѣтствіе, онъ замѣтилъ, что „глубоко чтить основы городского управленія и видѣть въ нихъ задатки будущаго блага не только нашего города, но и всей Россіи“. Необходимо припомнить, что моментъ чествованія юбилея Боткина вовсе не былъ уже таковъ, чтобы приподнятое настроеніе интеллигенціи благопріятствовало переходу отъ личнаго къ общему. Весною 1882 г. не оставалось и слѣдовъ отъ того увлеченія, которымъ были ознаменованы незадолго предъ тѣмъ дни Пушкинскаго празднества 1880 г. Отрицательное отношеніе къ преобразовательной работѣ шестидесятихъ годовъ только еще начиналось, но успѣло уже обрисоваться съ достаточною ясностью. Слова Боткина не были, поэтому, отголоскомъ прежняго движенія; они выражали собою его глубокую, зрѣлую мысль, не зависѣвшую отъ случайныхъ и временныхъ обстоятельствъ. И въ самомъ дѣлѣ, если великій писатель, великій художникъ, можетъ созрѣть среди самой неблагопріятной вѣтшней обстановки; если великій врачъ можетъ появиться при всякихъ условіяхъ государственной жизни, то въ иномъ положеніи находится общественный дѣятель; для него необходимъ извѣстный просторъ, извѣстное количество воздуха и свѣта. Не даромъ же Пироговъ, до второй половины пятидесятихъ годовъ извѣстный другимъ—а можетъ быть и самому себѣ—только какъ хирургъ, обнаружилъ, послѣ крымской войны, свойства глубокаго мыслителя и даровитаго педагога. Къ этому же времени относится и расцвѣтъ Боткина. Въ общемъ возрожденіи Россіи будущій преобразователь русской медицины почерпнулъ, конечно, не спеціальныя знанія и не искусство пользоваться ими, но безкорыстную преданность труду, готовность и умѣнье работать для другихъ и вмѣстѣ съ другими, въ стремленіи къ одной общей цѣли,—и все это въ высшей степени характеризовало симпатичнѣйшую личность Сергѣя Петровича.

Юбилейное празднество Боткина въ 1882 г. было отмѣчено еще другими отличительными чертами, о которыхъ не излишне напомнить нашему быстро забывающему обществу. Теперь некрологи Боткина появились во всѣхъ городахъ; но чествованіе его юбилея было почитено молчаніемъ того органа печати, который безмолвствовалъ послѣ смерти Тургенева, Костомарова, Кавелина. На юбилейномъ обѣдѣ Боткина, собравшемъ вокругъ него около четырехсотъ его почитателей, съ особеннымъ восторгомъ были встрѣчены привѣтственные телеграммы гр. М. Т. Лорисъ-Меликова и гр. Д. А. Милютина. Восторженно также былъ принятъ тостъ И. М. Сѣченова за присутствовавшего на обѣдѣ „знаменитаго діагноста общественныхъ бо-

лѣзней“, М. Е. Салтыкова. Присоединяясь къ этому тосту, Боткинъ назвалъ Салтыкова „любезнымъ коллегой“. Въ шутливой формѣ была имъ высказана здѣсь весьма серьезная мысль. Между медициной и литературой дѣйствительно существуетъ сходство, распространяющееся не только на верхушки, но и на строевые ряды обѣихъ профессій. *Знаменитыхъ* діагностовъ и тамъ, и здѣсь—мало, очень мало,—и съ этой точки зрѣнія, литература понесла въ лицѣ Салтыкова потерю, быть можетъ, не менѣе тяжелую, чѣмъ медицина—въ лицѣ Боткина; но діагнозомъ (и прогнозомъ) занимаются, по мѣрѣ силъ и дарованій, какъ обыкновенные врачи, такъ и обыкновенные работники печатнаго слова. При добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу и тамъ, и тутъ возможно, наряду съ ошибками, и вѣрное опредѣленіе того, что есть, вѣрное предугадываніе того, что можетъ или должно случиться... Какъ бы то ни было, „коллегами“, въ глазахъ Боткина, были не только свѣтила въ родѣ Салтыкова, но и скромные литературные дѣятели. Боткинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ врачей, которые всегда готовы оказать безвозмездную помощь больному литератору. Представителей этого симпатичнаго типа у насъ между врачами не мало; между ними есть и профессора, пользующіеся широкою извѣстностью, и молодые, начинающіе практики. Не считая себя въ правѣ разглашать имена тѣхъ, которые еще дѣйствуютъ на этомъ поприщѣ—имена, особенно хорошо извѣстныя литературному фонду,—позволяемъ себѣ назвать, вмѣстѣ съ Боткинымъ, ближайшаго его товарища и друга, Н. А. Бѣлоголоваго, давно уже оставившаго врачебную практику. Имъ обоимъ выпало на долю облегчать страданія такихъ людей, какъ Некрасовъ, Тургеневъ, Салтыковъ и множество тружениковъ литературы... У Боткина сочувствіе къ литературѣ могло воспитаться еще въ дѣтствѣ, подъ вліяніемъ старшаго его брата, Василя Петровича, автора „Писемъ объ Испаніи“, друга Бѣлинскаго, близкаго ко всѣмъ лучшимъ писателямъ сороковыхъ годовъ; но Василій Петровичъ, въ послѣдніе годы своей жизни, отвернулся отъ того, чему до конца оставался вѣренъ Сергѣй Петровичъ.

Къ общественнымъ дѣятелямъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова принадлежалъ и покойный А. П. Доброславинъ. Менѣе видный, чѣмъ Боткинъ и Эйхвальдъ, онъ шелъ по одному пути съ ними и оставилъ по себѣ такую же добрую память. Уже самая его специальность, гигиена, ставила его въ непосредственное соприкосновеніе съ потребностями массы, заставляла его бороться противъ зодъ, отъ которыхъ страдаетъ народъ. Его живая, дѣятельная натура не позволяла ему ограничивать эту борьбу одними профессорскими лекціями: онъ велъ ее и въ печати, общей и специальной, и въ публичныхъ

чтеніяхъ, и въ области городского самоуправленія, и въ обществѣ охраненія народнаго здоровья. Ему постоянно приходилось разрушать предрассудки, ратовать противъ общепринятыхъ взглядовъ, возмущать рутинное спокойствіе мысли. Такой характеръ имѣютъ, напримеръ, лекціи о гигиенѣ одежды, прочитанныя А. П. Доброславинъ въ началѣ 1888 года, или статья его: „Питаніе и продовольствіе“, напечатанная, въ томъ же году, въ апрѣльской книжкѣ нашего журнала. Въ концѣ этой статьи съ особенною ясностью выступаетъ на видъ практическое значеніе трудовъ, которымъ Доброславинъ посвящаетъ большую часть своего времени. „Конечно,—говоритъ авторъ,—государство не можетъ заставить бѣдныхъ людей ѣсть необходимое для нихъ количество пищи, если ее не на что имъ купить. Но какъ скоро пища дешевѣетъ, инстинкты организма такъ сильны, что самые бережливые тотчасъ же начинаютъ ѣсть въ размѣрахъ даже болѣе, чѣмъ какіе вызываются потребностями организма. Для повышенія уровня питанія нужно лишь удешевленіе пищи. Когда будетъ доказано и всѣми сознано, что скудно питающееся населеніе слишкомъ слабо для успѣшнаго, производительнаго труда, и, не доставляя государству никакихъ матеріальныхъ выгодъ, обременяетъ его своею крайнею болѣзненностью и смертностью,—тогда сдѣлаются неизбежными и заботы о специальной разработкѣ государственными средствами вопросовъ объ удешевленіи пищевыхъ веществъ и способовъ ихъ обработки“. Такъ понимаемая и проповѣдуемая, гигиена занимаетъ мѣсто уже между социальными науками и вступаетъ въ сферу социальной политики.

Какъ быстро и легко у насъ дѣлаются, въ извѣстномъ литературномъ лагерѣ, обобщенія, въ особенности когда рѣчь идетъ объ учрежденіяхъ почему-либо имъ нежелательныхъ или непріятныхъ! Стоитъ только какому-нибудь губернскому земскому собранію открыть сессію въ неполномъ составѣ гласныхъ и приступить къ занятіямъ безъ большой бодрости и энергіи—и на страницахъ этого лагеря сейчасъ готовъ выводъ о самопроизвольномъ „вымираніи“ земскихъ учреждений. Къ такому выводу приходитъ, напримеръ, корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей“, сообщая, что екатеринославское губернское земское собраніе открылось, 5-го декабря, въ составѣ 19 гласныхъ (изъ 52), не имѣя ни одного представителя отъ нѣкоторыхъ уѣздовъ. Причины такой малочисленности собранія могли быть весьма различны, и между ними могутъ быть такія, которыя вовсе не зависятъ отъ воли гласныхъ, вовсе не свидѣтельствуютъ о валомъ отношеніи ихъ къ своимъ обязанностямъ“ (напр. дурное состояніе дорогъ и переправъ, усилен-

ная болѣзненность между гласными, весьма вѣроятная при нынѣшнемъ повсемѣстномъ распространеніи инфлюэнцы). Корреспонденту, проникнутому духомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, до всего этого нѣтъ никакого дѣла; для него важенъ и достаточенъ голый фактъ, могущій бросить тѣнь на жизнеспособность земскихъ учреждений. Онъ не знаетъ или не хочетъ знать, что абсентеизмъ большинства гласныхъ, еслибы онъ даже тамъ или здѣсь вошелъ въ обычай, самъ по себѣ, безъ изслѣдованія вызывающихъ его условій, а также степени распространенности его и степени постоянства, ровно ничего не доказываетъ противъ земства. Сколько разъ, еще лѣтъ десять, пятнадцать тому назадъ, слабое посѣщеніе губернскихъ земскихъ собраній было приводимо какъ аргументъ противъ зрѣлости русскаго общества — и сколько разъ было указываемо, въ отвѣтъ, на усердіе и исправность уѣздныхъ гласныхъ! И дѣйствительно, еслибы среди избирателей и избираемыхъ существовало охлажденіе къ земскому дѣлу, оно отразилось бы одинаково на собраніяхъ губернскихъ и уѣздныхъ; между тѣмъ послѣднія собирались и собираются, сплошь и рядомъ, въ полномъ или почти полномъ составѣ. Это прямо указываетъ на существованіе особыхъ причинъ, затрудняющихъ явку въ губернское собраніе: отдаленность разстояній, неудовлетворительность путей сообщенія, значительность расходовъ, сопряженныхъ съ пребываніемъ въ губернскомъ городѣ, и т. п. Если прибавить къ этому разныя случайныя обстоятельства, то вопросъ о числѣ наличныхъ губернскихъ гласныхъ получаетъ совсѣмъ иное значеніе, чѣмъ навязываемое ему екатеринославскимъ корреспондентомъ московской газеты. Безспорно, екатеринославское губернское земское собраніе — не единственное, открывшееся, въ нынѣшнемъ году, при небольшомъ числѣ гласныхъ; мы узнаемъ, напримѣръ, изъ „Новаго Времени“ что въ вятскомъ губернскомъ собраніи присутствовало, въ день открытія (7-го декабря), только *дѣвятнадцать* гласныхъ (изъ 35). Изъ этихъ отдѣльныхъ фактовъ нельзя, однако, вывести даже и того, что губерніскія собранія *вездѣ* отличаются малолѣдствомъ; еще меньше они могутъ служить основаніемъ къ какимъ-либо общимъ приговорамъ надъ *дѣятельностью* земства. Московское губернское собраніе, напри- мѣръ, работаетъ въ нынѣшнемъ году съ обычной энергіей, прокладываетъ новые пути, достигаетъ важныхъ результатовъ. По предложенію губернской управы, рѣшено учредить губерніскій совѣтъ и экономическое бюро, возложивъ на нихъ подготовительныя и исполнительныя обязанности по вопросамъ объ экономическихъ нуждахъ сельскаго населенія. Губерніскій совѣтъ будетъ состоять изъ предсѣдателя и членовъ губернской управы, пяти гласныхъ, по выбору собранія, и лица, заведующаго экономическимъ бюро. Въ составъ

экономическаго бюро будутъ входить, кромѣ лица, имъ завѣдующаго, еще земскій агрономъ и управляющіе кустарнымъ музеемъ. Къ предметамъ вѣдомства экономическаго бюро отнесены, между прочимъ, общественныя запашки, сельско-хозяйственный кредитъ, улучшение породъ скота, поднятіе и улучшение садоводства, огородничества, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства, поддержка кустарей, усовершенствованіе кустарныхъ промысловъ. Въ продолженіе 1890 года постановлено открыть, въ видѣ опыта, три передвижныхъ мастерскія, для нагляднаго ознакомленія кустарей съ лучшими приѣмами производства. Есть ли во всемъ этомъ что-либо похожее на „вымираніе“ земскихъ учреждений? Не знаменательно ли, наоборотъ, стремленіе земства ставить новыя задачи и расширять кругъ своихъ дѣйствій?

Между постановленіями дворянскихъ собраній, состоявшимися въ послѣднее время, особеннаго вниманія заслуживаетъ рѣшеніе орловскаго дворянства ходатайствовать объ облегченіи гимназическаго курса. Инициатива этого рѣшенія принадлежитъ елецкому уѣздному предводителю дворянства, С. С. Бехтѣву, не безызвѣстному члену меньшинства Кахановской комиссіи. „За все время съ 1872 г.,— замѣтилъ онъ въ своей рѣчи,— съ тѣхъ поръ какъ введена существующая система преподаванія, всецѣло позаимствованная у Германіи, она дала намъ людей слабогрудыхъ, чахоточныхъ, нервныхъ, съ искривленными позвоночниками и далеко не блестящимъ, а скорѣе слабымъ умомъ... Дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ; но мы плачемъ, семнадцать лѣтъ плачемъ, и стоимъ намъ обратиться къ нашему правдолюбивому Монарху—онъ не откажетъ въ нашей всеподданнѣйшей просьбѣ“. Положимъ, что ходатайство орловскаго дворянства нѣсколько запоздале; совсѣмъ другое значеніе оно имѣло бы нѣсколько лѣтъ, даже годъ или два тому назадъ, когда пересмотръ гимназическихъ программъ не былъ еще рѣшенъ въ принципѣ—но все же оно далеко не излишне и теперь, какъ дополнительное, достовѣрное свидѣтельство о необходимости коренныхъ перемѣнъ въ уставѣ 1872 г. Небольшія детальныя починки, очевидно, не приведутъ къ цѣли, указываемой орловскимъ дворянствомъ ¹⁾.

Когда нѣтъ ни повода, ни предлога говорить о начинающемся или продолжающемся „вымираніи“ непріятнаго учрежденія, извѣстнаго рода печать поднимаетъ вопросъ о необходимости его „ограничить“. Такому ограниченію должна подвергнуться, по мнѣнію „Русскаго

¹⁾ Въбудить ходатайство объ облегченіи гимназическаго курса рѣшили также тверское и курское губернскія собранія.

Вѣстника", наша присяжная адвокатура. „Желательно,—читаемъ мы въ декабрьскомъ внутреннемъ обзорѣниі этого журнала,—чтобы правительство возвратилось къ первоначальной мысли объ учрежденіи особыхъ смѣшанныхъ присутствій ¹⁾ для надзора за принатіемъ присяжными повѣренными новыхъ членовъ въ свою среду. Такой возвратъ будетъ въ порядкѣ вещей, если судебное вѣдомство окончательно отрѣшится отъ взгляда на присяжную адвокатуру, какъ на вольный промыселъ, и признаетъ званіе присяжнаго повѣреннаго должностію, для занятія которой недостаточно простаго желанія и приобрѣтенныхъ правъ, но необходимо еще и согласіе государственной власти. Было бы, кажется, вполне основательно приравнять въ этомъ отношеніи присяжныхъ повѣренныхъ къ младшимъ нотариусамъ. Нѣтъ надобности уничтожать корпоративное устройство присяжной адвокатуры, но нѣтъ также и необходимости надѣлать ее излишнею для ея спеціальнаго дѣла автономіей". Приведено ли хоть одно доказательство въ пользу такого вывода, приведенъ ли хоть одинъ случай злоупотребленія, со стороны совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, предоставленною ему самостоятельностью? Указано ли, по крайней мѣрѣ, на то, что эта самостоятельность далеко не безусловна, что надъ совѣтами существуетъ контроль судебныхъ палатъ и сената? Нѣтъ;—самостоятельность несимпатична этому журналу сама по себѣ, помимо способа пользованія ею. Организация младшихъ нотариусовъ ближе подходитъ къ извѣстнымъ идеаламъ, чѣмъ организация присяжныхъ повѣренныхъ; егда—тѣ и другіе должны быть приведены къ одному знаменателю (конечно—не путемъ расширенія правъ, а путемъ ихъ урѣзывать). Съ дѣйствительнымъ положеніемъ нашей присяжной адвокатуры и съ ея исторіей новый ея противникъ знакомъ, очевидно, весьма мало. „Мнимое избраніе новаго лица всѣмъ сословіемъ присяжныхъ повѣренныхъ,—говоритъ „Русскій Вѣстникъ",—сводится, въ сущности, къ постановленію большинства трехъ изъ пяти, въ рѣдкихъ случаяхъ—восьми изъ пятнадцати членовъ совѣта, не несущихъ никакой матеріальной отвѣтственности за послѣдствія легкомысленнаго или слишкомъ снисходительнаго приѣма. И въ совѣтѣ повѣренныхъ, какъ во всякомъ выборномъ учрежденіи, на первомъ планѣ стоитъ избирательная интрига, которая, за отсутствіемъ требованія единогласія, получаетъ

¹⁾ При составленіи основныхъ положеній 1862 г. предполагалось сначала возложить приѣмъ въ присяжные повѣренные и надзоръ за дѣйствіями ихъ на особія присутствія, составленныя, подъ предсѣдательствомъ начальника губерніи, изъ предсѣдателей палатъ, прокурора, совѣстнаго судьи, губернскаго предводителя дворянства и городского головы; но это предположеніе было оставлено при дальнѣйшемъ ходѣ дѣла.

широкій просторъ и зиждется на лицепріятіи кружковомъ, племенномъ, вѣроисповѣдномъ и т. д. Огромному большинству присяжныхъ повѣренныхъ округа совѣтъ неизвѣстенъ ни положительныя, ни отрицательныя качества ихъ будущихъ товарищей. Одно отсутствіе худой молвы еще не даетъ права на вступленіе полноправнымъ членомъ въ сословіе. Вліяніе повѣренныхъ такъ велико, что невозможно довольствоваться одними надеждами на порядочность и добросовѣстность; нужна положительная увѣренность, что каждый новый членъ присяжной адвокатуры оправдаетъ довѣріе къ его званію частныхъ лицъ, общественныхъ учреждений и правительства". Здѣсь, что ни фраза, то недоумѣніе или ошибка. Принятіе въ присяжные повѣренные никогда не предполагалось предоставить цѣлому сословію. Отъ многочисленнаго собранія нельзя ожидать детальной провѣрки условій, отъ которыхъ зависитъ допущеніе извѣстнаго лица въ составъ корпораціи. Это можетъ быть сдѣлано съ успѣхомъ только небольшою группою лицъ, облеченныхъ довѣріемъ товарищей. Постановленіе совѣта является, такимъ образомъ, не „мнимымъ избраніемъ“, идущимъ отъ цѣлаго сословія, а заключеніемъ коллегіи, представляющей собою всю корпорацію, но дѣйствующей совершенно самостоятельно, nach bestem Wissen und Gewissen. Совѣта, составленнаго изъ пяти лицъ, никогда не было ни въ одномъ судебномъ округѣ. Минимальной цифрой членовъ петербургскаго совѣта было семь, и притомъ только въ первый годъ его существованія... Изъ чего заключается, далѣе, „Русскій Вѣстникъ“, что принятіе въ сословіе производится обыкновенно большинствомъ голосовъ, въ обрѣзъ достаточнымъ для утвердительнаго отвѣта? Напротивъ того, въ огромномъ большинствѣ случаевъ оно происходитъ единогласно, потому что серьезныя сомнѣнія въ возможности принятія возникаютъ сравнительно рѣдко. Не слѣдуетъ забывать, что между желающими вступить въ присяжные повѣренные все болѣшую и болѣшую роль играютъ помощники, вся дѣятельность которыхъ прошла передъ глазами совѣта, и качества которыхъ, какъ положительныя, такъ и отрицательныя, очень хорошо извѣстны совѣту—или очень легко могутъ быть приведены имъ въ извѣстность. Если формальное право на вступленіе въ сословіе приобрѣтено не занятіями въ качествѣ помощника, а государственною службой, то собраніе свѣденій о просителѣ также не представляетъ никакихъ затрудненій. Въ оцѣнкѣ этихъ свѣденій совѣты присяжныхъ повѣренныхъ съ самаго начала приняли за правило соблюдать величайшую строгость. Совершенно напрасно полагаетъ „Русскій Вѣстникъ“, что для принятія въ присяжные повѣренные достаточно „отсутствія худой молвы“. Чтобы убѣдиться въ противномъ, стоитъ только раскрыть книгу г. Макалинскаго

(„С.-Петербургская присяжная адвокатура“), безъ справки съ которой, замѣтимъ мимоходомъ, едва ли возможно теперь какое бы то ни было добросовѣстное сужденіе о дѣятельности нашей присяжной адвокатуры. „Совѣтъ,—читаемъ мы въ этой книгѣ (стр. 141),—постановляетъ опредѣленіе о принятіи просителя въ присяжные повѣренныя не прежде, какъ *по положительному удостовѣренію въ его добросовѣстности*; при отсутствіи такого удостовѣренія, совѣтъ оставляетъ просьбу безъ разрѣшенія, хотя бы въ виду совѣта и не имѣлось данныхъ, прямо неблагопріятныхъ для просителя, и хотя бы онъ и настаивалъ на немедленномъ разрѣшеніи его ходатайства. Иногда, такимъ образомъ, просьба о принятіи въ присяжные повѣренныя лежитъ безъ движенія нѣсколько мѣсяцевъ; но совѣтъ считаетъ неудобства, сопряженныя съ такою медленностью, во всякомъ случаѣ гораздо менѣе серьезными, чѣмъ неудобства, соединенныя съ слишкомъ послѣднимъ и недостаточно осторожнымъ принятіемъ въ присяжные повѣренныя. Устраненіе изъ числа присяжныхъ повѣренныхъ лица, однажды получившаго это званіе и оказавшагося недостойнымъ носить его, сопряжено съ большими затрудненіями; на совѣтъ лежитъ, поэтому, нравственная обязанность преграждать съ самаго начала доступъ въ присяжные повѣренныя всѣмъ тѣмъ, отъ кого нельзя ожидать честнаго исполненія обязанностей этого званія“.

Прибавимъ, что между подачей просьбы о принятіи въ присяжные повѣренныя и постановленіемъ совѣта должно пройти не менѣе двухъ мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ имя просителя остается выставленнымъ на аншлагѣ въ комнатѣ совѣта. Всякій членъ корпораціи, которому что-нибудь извѣстно о просителѣ, получаетъ, такимъ образомъ, возможность сообщить совѣту имѣющіяся у него свѣденія. Конечно, и при такихъ предосторожностяхъ возможны, даже неизбежны ошибки; но развѣ онѣ невозможны при правительственномъ назначеніи или утвержденіи, развѣ при этой системѣ всегда существуетъ „положительная увѣренность“, что назначаемый или утверждаемый „оправдаетъ довѣріе въ его званію частныхъ лицъ, общественныхъ учреждений и правительства“? Какъ же объяснить, въ такомъ случаѣ, злоупотребленія, со стороны назначаемыхъ должностныхъ лицъ, предоставленною имъ властью? Безспорно, члены совѣта не несутъ *матеріальной* отвѣтственности „за послѣдствія легкомысленнаго или слишкомъ снисходительнаго приѣма“; но развѣ ее несли бы члены „смѣшаннаго присутствія“, рекомендуемаго „Русскимъ Вѣстникомъ“, развѣ ее несутъ вообще начальники за неудачный выборъ подчиненныхъ? Стоитъ ли въ совѣтахъ присяжныхъ повѣренныхъ на первомъ планѣ избирательная интрига — объ этомъ мы говорить не будемъ, пока этотъ журналъ не подтвердитъ своего обвиненія хоть

чѣмъ-нибудь похожимъ на доказательство. Теперь онъ обвиняетъ а priori, основываясь только на томъ, что совѣтъ—„избирательное учрежденіе“. Это—одно изъ тѣхъ избитыхъ общихъ мѣстъ, опроверженіе которыхъ представляется совершенно ненужнымъ. Всякій, сколько-нибудь знакомый съ дѣятельностью совѣтовъ присяжныхъ повѣренныхъ, знаетъ очень хорошо, что на первомъ планѣ всегда стояли для нихъ правильно понятыя интересы сословія, неразрывно связанныя съ интересами истиннаго правосудія.

Предметомъ вождельнѣй той же самой печати является ограниченіе во всѣхъ видахъ: ограниченіе самоуправляющихся учреждений, ограниченіе самодѣтельности ученыхъ обществъ, ограниченіе свободы слова. Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ предпринять былъ недавно цѣльный походъ противъ московскаго юридическаго общества; теперь къ нему присоединяется походъ противъ органа этого общества, „Юридическаго Вѣстника“, одного изъ самыхъ полезныхъ и серьезныхъ періодическихъ изданій. Ведется этотъ походъ слѣдующимъ образомъ: берется декабрьская книжка „Вѣстника“ и изъ нея выдѣляются три статьи, съ цѣлью доказать, что „ученый журналъ“ печатаетъ „тенденціозную беллетристику“ или „фельетончики“, затрогивающіе „жгучую современность“ и проникнутые дешевымъ либерализмомъ. „Тенденціозная беллетристика“—это статья г. Мантейфеля: „Дѣтское горе“, начинающаяся разсказомъ о томъ, какъ г. Мантейфелю (мировому судѣ) удалось склонить хозяина-ремесленника къ лучшему обращенію съ мальчикомъ, находившимся у него въ ученѣ. Приведа этотъ разсказъ, „Московскія Вѣдомости“ восклицаютъ: „при чемъ тутъ *наука права*? Рѣшительно ни при чемъ, а просто г. Мантейфелю хотѣлось довести до свѣденія публики, что онъ, г. Мантейфель, не просто мировой судья, а гуманистъ и альтруистъ, какъ выражаются въ журналахъ, и какъ любятъ теперь выражаться штабные писарьки, надкіе до мудреныхъ словъ... Ну хорошо, г. Мантейфелю, конечно, лестно—но редакція *ученою* журнала? Къ чему это она? Ради связи науки... съ чѣмъ же? Или единственно по случаю совершенно уже беззаботнаго отношенія къ наукѣ?“ На всѣ эти вопросы очень легко найти отвѣтъ въ самой статьѣ г. Мантейфеля. Всѣ различные случаи безпомощности и беззащитности дѣтей, приведенные въ этой статьѣ, указываютъ либо на пробѣлы и недостатки нашего законодательства, либо на заключающіяся въ немъ, но слишкомъ рѣдко пускаемыя въ ходъ, средства борьбы съ злоупотребленіями, жертвами которыхъ являются малолѣтніе. Разсказъ, осмѣянный московскою газетою, свидѣтельствуетъ о томъ, что миро-

вой судья и при теперешнемъ положеніи нашего матеріальнаго права можетъ оказать покровительство малолѣтнему рабочему. Другіе рассказы доказываютъ устарѣлость ремесленнаго устава и соответствующихъ ему статей уложенія о наказаніяхъ, необходимость расширить кругъ дѣйствій фабричной инспекціи, недостаточную опредѣленность обязанностей старшаго въ семьѣ по отношенію къ младшимъ, и т. п. Значеніе фактовъ, сообщаемыхъ г. Мантейфелемъ, нисколько, конечно, не уменьшается отъ того, что они изложены въ живой повѣствовательной формѣ. Еслибы къ юридической литературѣ примѣнимо было французское процессуальное правило: *la forme emporte le fond*,—то изъ числа „ученыхъ“ сочиненій нужно было бы исключить, напри- мѣръ, извѣстную брошюру Іеринга: „*Der Kampf um's Recht*“... Вторая статья, инерминированная реакціонной газетой, принадле- житъ г. Минцлову и озаглавлена: „Судебные уставы 20-го ноября 1864 г. и уголовный процессъ“. Если вѣрить „Московскимъ Вѣдомо- стямъ“, въ ней нѣтъ никакого „разсужденія о вопросѣ права“, а есгь только „набившія оскомину либеральныя реченія“. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, вся вторая половина статьи г. Минцлова посвя- щена подробному разбору значенія и смысла двухъ статей пас- портнаго устава, т.-е. именно и несомнѣнно „вопросу права“. Какъ внимательно просмотрѣлъ — или какъ добросовѣстно передалъ — фельетонистъ московской газеты статью г. Минцлова, объ этомъ еще лучше можно судить по слѣдующему обстоятельству. По словамъ фельетониста, г. Минцловъ „объясняетъ, къ общему изумленію, что уставы 20-го ноября 1864 г. являются для Россіи тѣмъ-то въ родѣ *Nabeas corpus*“, а у г. Минцлова мы читаемъ вотъ что: „въ моти- вахъ къ судебнымъ уставамъ 20 ноября 1864 г. содержится ссылка на *Nabeas corpus Act*; но *врядъ ли составители этихъ уставовъ могли серьезно думать о введеніи его въ нашей родинѣ*“. Итакъ, г. Минц- лову приписывается нѣчто прямо противоположное дѣйствительно имъ сказанному. Какъ назвать подобныя „критическіе“ приемы? И это—не единственный случай прямого извращенія словъ автора. Г. Минцловъ заимствуетъ изъ Спенсера цифру законодательныхъ актовъ, обнародованныхъ въ Англіи съ 1235 по 1873 г., а рецен- зентъ утверждаетъ, что г. Минцловъ ссылается на Спенсера по вопросу о цифрѣ дѣлъ, рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ англійскими судами за такой-то періодъ времени!.. О третьей статьѣ, г. Пржеваль- скаго: „Судебные уставы 20-го ноября 1864 г. и гражданскій про- цессъ“, московская газета говоритъ только мимоходомъ, утверждая, что она переполнена „базарнымъ краснорѣчіемъ“ и все хочетъ „на что-то намекнуть, кого-то колынуть“, а о гражданскомъ процессѣ не содержитъ „ровно ничего“. Раскрывая статью г. Пржевальскаго,

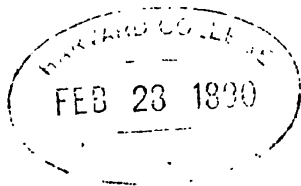
видимъ, что въ ней указаны слабѣйшія стороны дѣйствующаго устава гражданскаго судопроизводства и сдѣлано предложеніе составить, къ предстоящему двадцатипятилѣтію введенія въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ, подробный перечень улучшеній, которые слѣдовало бы внести въ область гражданскаго процесса. Есть, правда, у г. Пржевальскаго и „аллегоріи“,—но онѣ объясняются тѣмъ, что его статья составила изъ рѣчи, произнесенной въ торжественномъ заведеніи московскаго юридическаго общества. Признать „аллегорію“ чѣмъ-то безусловно несомнѣннымъ съ наукой права и безусловно неумѣстнымъ въ ученомъ журналѣ—мы не видимъ рѣшительно никакой причины. Ничего не имѣли бы противъ „аллегоріи“, конечно, и „Московскія Вѣдомости“, еслибы только въ нее былъ вложенъ другой смыслъ, прямо противоположный... Вспомнимъ отношеніе этого рода прессы къ сочиненіямъ г. Яроша, меньше всего подходящимъ подъ требованія „чистой науки“.

До какой степени одна прикосновенность къ такой прессѣ уменьшаетъ способность просто и трезво смотрѣть на вещи, объ этомъ даютъ понятіе театральныя хроники „Московскихъ Вѣдомостей“. Авторъ этихъ хроникъ, г. С. Васильевъ, безспорно обладаетъ и талантомъ, и умомъ, и знаніемъ дѣла; тѣмъ болѣе странно читать у него разсужденія въ родѣ слѣдующихъ: „каждая драма изъ отечественной исторіи *должна быть* патріотическою. Дѣйствительный патріотизмъ неразлученъ съ любовью къ отечеству и народною гордостью. Отсюда совершенно ясна задача *всякой* драмы изъ отечественной исторіи. Въ каждой такой драмѣ *должны* находить удовлетвореніе любовь къ отечеству и *народная гордость*, такъ же мало похожая на горделивость отдѣльнаго человѣка, какъ непримѣнимы къ отдѣльному хозяйству законы и выводы народнаго хозяйства. Народная гордость есть національное самосознаніе. Это не хвастовство, даже не горделивость. Это простая, спокойная, сознательная увѣренность въ идеѣ своей націи, въ пути, которымъ слѣдуетъ поддерживать и осуществлять эту идею“. Невѣрность этого опредѣленія очевидна уже потому, что оно непримѣнимо къ народамъ, въ средѣ которыхъ существуетъ разногласіе какъ въ пониманіи „національной идеи“, такъ и относительно выбора средствъ къ ея осуществленію (а гдѣ же такое разногласіе не существуетъ?). Намъ занимаетъ, впрочемъ, не столько общая мысль г. Васильева, сколько выводы, которые онъ изъ нея дѣлаетъ. Онъ осуждаетъ драму „Ледяной домъ“, потому что она не возбуждаетъ въ зрителяхъ „глубочайшей симпатіи“ къ Волинскому, не заставляетъ ихъ чувствовать себя „наслѣдниками его духовнаго сокровища“ (1). Въ другомъ фельетонѣ онъ не можетъ „скрыть своего глубокаго удивленія“, какимъ образомъ разрѣшена къ представленію

драма: „Ксенія и Лжедмитрій“. Почему? Потому что она представляет собою „фантазію на русскую исторію“, потому что „нельзя замутнять факты національной исторіи открытою проповѣдью фантастическихъ варіацій на эти факты“. Итакъ, заботливость г. Васильева о „народной гордости“ простирается даже на XVII-й вѣкъ, на эпоху самозванцевъ; прежде, какъ-то, онъ простиралъ ее и на XVI-й вѣкъ, на эпоху Ивана Грознаго ¹⁾—и нѣтъ причинъ не довести ее до самыхъ отдаленныхъ временъ нашей исторіи. Остракизму должны подвергнуться, такимъ образомъ, и „Смерть Іоанна Грознаго“, гр. А. К. Толстого, и „Василиса Мелентьева“ или „Тупишино“ Островскаго,—потому что ни въ одной изъ этихъ пьесъ не можетъ „найти удовлетворенія народная гордость“. Англичанамъ слѣдуетъ выкинуть изъ своего репертуара „Генриха VIII“, французамъ—„*Maçon de Logne*“ и „*Le roi s'amuse*“; въ Австріи слѣдуетъ запретить представленіе „Валленштейна“... По наклонной плоскости, на которую вступилъ г. Васильевъ, весьма легко перейти отъ театра къ литературѣ и составить, съ новой (не совсѣмъ, впрочемъ, новой) точки зрѣнія, новый—*Index librorum prohibitorum*...

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

¹⁾ См. Общественную Хронику въ № 2 „Вѣстника Европы“, за 1887 годъ.



СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Пускай трудна борьба съ врагами—
Не избѣгай житейскихъ битвъ,
И въ храмѣ, полномъ торгашами,
Не возноси своихъ молитвъ!

Не усташась борьбы неравной,
Святою правдой вдохновлѣнъ,
Борися съ ложью полноправной,
Гоня гостей незваныхъ вонъ...

И лишь тогда, средь омиіама,
Предъ алтаремъ склони чело,
Когда изъ блещущаго храма
Исчезнетъ поправное зло!

II.

Какъ призракъ сна, умчалась скорбь былая...
Въ душѣ — покой...
И сердце стынетъ, тихо замирая,
Въ груди больной...

Я голосу отчаянья не внемлю;
Остыла кровь, —
И очи я съ небесъ спустилъ на землю,
Забывъ любовь...

Но эта тишь ужаснѣе могилы,
Страшнѣй тюрьмы:
Я бросилъ бой, и гаснутъ жизни силы
Въ объятыхъ тьмы...

За мигъ одинъ прошедшаго страданья,
За каплю слезъ,
Готовъ отдать я годы прозябанья
Безъ свѣтлыхъ грезъ...

Погибъ мой чолнъ, я жъ выбрался на сушу;
Свѣтлѣетъ даль...
А слезъ былыхъ, отраву лившихъ въ душу,
Мнѣ жаль, мнѣ жаль!

Павелъ Козловъ.

Ноябрь, 1889.



ИПОЛИТЪ ТЭНЪ

и

ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКѢ.

Окончаніе.

ХІІ *).

Въ философіи—Тэнъ является идеалистомъ, котораго не удовлетворяетъ ни критицизмъ Канта, ни индуктивная система Стюарта Милля, такъ какъ оба эти мыслителя нарушаютъ единство міра, отвергая возможность для человѣка познавать абсолютныя истины, общіе законы, одинаково обязательныя для познающаго духа и для міра познаваемыхъ явленій. Кантъ признавалъ существованіе аксіомъ и общихъ законовъ, но онъ видѣлъ въ нихъ формы познающаго духа, а не законы явленій, и утверждалъ, какъ выражается Тэнъ, что мы не имѣемъ права приписывать явленіямъ то, что только присуще нашимъ идеямъ,—не имѣемъ права возводить потребность познающаго субъекта въ законъ для познаваемого объекта.

„Исходя изъ противоположной точки зрѣнія,—говоритъ Тэнъ,—т.-е. не изъ анализа познающаго разума, а изъ наблюдений надъ міромъ явленій—Стюартъ Милль пришелъ къ подобному результату, какъ и Кантъ“. Для него даже математическія аксіомы или законы, какъ и всѣ истины, добытыя путемъ опыта, не что

*) См. выше: янв., 5 стр.

иное, какъ итогъ впечатлѣній, оставляемыхъ явленіями на нашемъ умѣ. За подобными истинами, конечно, не можетъ быть признанъ абсолютный характеръ. Такимъ образомъ, напр., съ точки зрѣнія Милля положеніе, что два перпендикуляра, опущенные на одну прямую составляютъ двѣ параллельныя линіи—имѣетъ лишь относительную и условную истину. „Умъ, устроенный по другому образцу, чѣмъ нашъ, можетъ быть, легко бы замѣтилъ между двумя перпендикулярами неравное разстояніе. Можетъ быть, за предѣлами туманныхъ пятенъ Гершеля ни одинъ изъ нашихъ законовъ не окажется вѣрнымъ, и можетъ быть тамъ и вовсе нѣтъ вѣрныхъ законовъ“. Мы поэтому безповоротно исключены изъ области безконечнаго; наши способности и положенія не достигаютъ до нея; мы вращаемся въ узкомъ кругѣ; нашъ разумъ не идетъ далѣе опыта; мы не въ состояніи установить никакой универсальной и необходимой связи между фактами; можетъ быть, между фактами вовсе и нѣтъ никакой универсальной и необходимой связи.

Подвергая критикѣ ученіе Канта и Милля о познаніи, Тэнъ приходитъ къ выводу, что умъ чловѣка не только въ состояніи добывать относительныя истины и ограниченныя въ своемъ объемѣ познанія, но „способенъ также къ познаніямъ абсолютнымъ и безграничнымъ“.

Признавъ, такимъ образомъ, за чловѣческимъ разумомъ способность познавать безусловные законы, одинаково обязательные для міра явленій и для познающаго духа, Тэнъ старается доказать ихъ единство. Онъ соглашается, что между предѣлами міра физическаго и міра нравственныхъ явленій простирается бездонная пропасть; что эти два міра представляютъ какъ бы два материка, раздѣленные глубокимъ моремъ; но развѣ на глубинѣ этого темнаго моря,—спрашиваетъ Тэнъ,—нѣтъ какого-нибудь подводнаго слоя, который могъ бы служить для ума соединительнымъ мостомъ?

Современная наука, по признанію Тэна, это отрицаетъ. Тэнъ беретъ одного изъ лучшихъ ея представителей, Тиндаля, и передаетъ его взглядъ. По словамъ Тиндаля, всѣ великіе мыслители, изучавшіе этотъ вопросъ, готовы допустить гипотезу, что всякому акту нашего сознанія соответствуетъ опредѣленное молекулярное состояніе мозга; что поэтому, зная состояніе мозга, можно было бы отсюда вывести, что ему соответствуетъ такая-то мысль или такое-то чувство—и наоборотъ. Но какъ это доказать и объяснить?

*) Taine, De l'Intelligence. II, p. 381.

—мы не въ состояніи даже вообразить себѣ переходъ отъ физическаго состоянія мозга къ соответствующимъ фактамъ чувства или мысли. У насъ нѣтъ умственнаго органа,—нѣтъ, повидимому, даже зачатка органа, который позволилъ бы намъ перейти логически (*par le raisonnement*) отъ одного явленія къ другому. Они одновременно совершаются, но мы не знаемъ—почему. Еслибы нашъ разумъ и наши чувства были даже достаточно усовершенствованы и достаточно изощрены, чтобы позволить намъ видѣть и ощущать молекулы мозга; еслибы мы могли слѣдить за всѣми ихъ движеніями, ихъ группировкой, за всѣми ихъ „электрическими разряженіями“, допустивъ, что таковыя существуютъ; еслибы мы вполнѣ точно знали молекулярное состояніе, соответствующее такому-то состоянію мысли или чувства,—мы все-таки были бы такъ же далеки, какъ и теперь, отъ разрѣшенія проблемы: какая существуетъ связь между физическимъ состояніемъ нашимъ и фактами нашего сознанія? Пропастъ между этими двумя разрядами явленій всегда будетъ непреступаема для разума.

Тэнъ не удовлетворяется такимъ положеніемъ дѣла. Итакъ,—говоритъ онъ,—опытъ показываетъ, что мысль зависитъ отъ молекулярнаго движенія мозга; съ другой стороны, эта зависимость намъ непонятна. Физиологи слишкомъ охотно забываютъ вторую истину и говорятъ, что духовныя явленія представляютъ собою функцію нервныхъ центровъ, подобно тому, какъ мускульное сокращеніе есть функція мышцъ и какъ отдѣленіе желчи есть функція печени. Съ своей стороны, философы охотно забываютъ первую истину и говорятъ: нравственныя явленія не имѣютъ ничего общаго съ молекулярными движеніями нервныхъ центровъ и принадлежать къ разряду явленій различнаго свойства. Затѣмъ въ дѣло вступаютъ осмотрительные наблюдатели и даютъ такое заключеніе: достовѣрно, что духовныя (*mentaux*) явленія и молекулярныя движенія нервныхъ центровъ неразрывно связаны между собою; достовѣрно и то, что мышленіе не въ состояніи объяснить одно изъ другого. Мы поэтому останавливаемся передъ этимъ затрудненіемъ; мы даже не хотимъ дѣлать попытки, чтобы его превозмочь; примиримся съ нашимъ невѣденіемъ. Тэнъ, однако, не желаетъ отказаться отъ попытки разрѣшить проблему, и онъ надѣется „въ томъ низменномъ и глубокомъ полумрачѣ, гдѣ возникаетъ ощущеніе, найти звено, связующее физическій міръ съ міромъ нравственнымъ“.

Анализируя наше представленіе (*idée*) о молекулярномъ движеніи въ нервныхъ центрахъ и представленіе объ ощущеніи (*sensation*), Тэнъ признается, что эти два представленія не мо-

гутъ быть сведены одно на другое; но это,—говоритъ онъ,—можетъ быть, происходитъ только отъ *способа*, которымъ доходить до насъ сознание этихъ фактовъ, а не отъ ихъ свойства. Въ физикѣ долго считали различными явленія теплоты, электричества и свѣта, потому только, что органы, съ помощью которыхъ мы познаемъ эти явленія, различны. Вообще, какъ скоро одинъ и тотъ же фактъ доходить до насъ двумя различными путями, мы готовы признать въ немъ два различныхъ факта. Отсюда слѣдуетъ, что мы должны остерегаться отъ стремленія дѣлать различіе, особенно же абсолютное, между явленіями, которыми мы познаемъ различными путями.

Въ разсматриваемомъ случаѣ представленіе объ ощущеніи и представленіе молекулярнаго движенія нервныхъ центровъ приходятъ къ намъ не только разными, но противоположными путями—одно изнутри, другое извнѣ. Поэтому здѣсь представляются двѣ гипотезы: или оба представленія относятся къ двумъ разнороднымъ фактамъ; или же они относятся къ одному и тому же факту, являющемуся намъ въ двухъ различныхъ видахъ. Тѣмъ доказываетъ, что первая гипотеза ненаучна, а вторая — вѣроятна, и затѣмъ подтверждаетъ ее слѣдующимъ разсужденіемъ. Духовное явленіе мы познаемъ прямымъ путемъ, непосредственно нашимъ сознаниемъ; сознавать въ себѣ ощущеніе—значить имѣть прямо передъ собой его образъ, который есть не что иное, какъ возобновившееся въ насъ ощущеніе. Наоборотъ, мы только *косвеннымъ* путемъ познаемъ молекулярное движеніе нервныхъ центровъ. Мы не знаемъ самаго этого движенія, а знаемъ только группу ощущеній, которыя оно въ насъ вызываетъ, т.-е. ощущенія цвѣта, формы и пр., которыя мы получаемъ посредствомъ микроскопа. Но это только *знаки* того, что въ дѣйствительности происходитъ, т.-е. *духовнаго явленія*. Наши чувства ощущаютъ только его *явленіе* на себѣ, такъ какъ оно дѣйствуетъ на нихъ лишь извнѣ, и не можетъ имѣть иначе представляться, какъ внѣшнимъ и физическимъ. Итакъ, духовное явленіе, будучи единымъ, неизбѣжно должно намъ казаться двойнымъ: съ одной стороны, мы сознаемъ его, какъ фактъ духовной нашей жизни; съ другой стороны, мы имѣемъ передъ собою его знакъ—въ видѣ физическаго явленія, ощущаемаго нашими чувствами. Это два явленія, которыя не могутъ слиться въ одно, но и не могутъ разобщиться, и разобщеніе ихъ такъ же необходимо, какъ ихъ связь.

„Но при этомъ все преимущество на сторонѣ духовнаго явленія: оно одно *существуетъ*; физическій фактъ—не что иное, какъ *способъ* его дѣйствія на наши чувства. Для этихъ чувствъ

и для воображенія, наши ощущенія и представленія, однимъ словомъ, все наше мышленіе—не что иное, какъ вибраціи мозговыхъ клѣточекъ; но оно таково только для чувствъ и воображенія; само по себѣ мышленіе нѣчто совершенно другое, и если оно принимаетъ фізіологическій обликъ, такъ это потому, что мы его смыслъ *переводимъ* на чужой языкъ, гдѣ оно по-неволѣ принимаетъ чуждый ему характеръ“.

Таланту Тэна свойственно облекать общую мысль въ живописный образъ, выяснять ее съ помощью нагляднаго сравненія, и нерѣдко его мысль получаетъ свою полную законченность именно благодаря сопровождающей ее критикѣ. Особенно въ данномъ случаѣ мысль Тэна нуждается въ своемъ образномъ дополненіи.

Основаніемъ для него послужило понятіе *перевода*, съ помощью котораго Тэнъ опредѣлилъ отношеніе міра физическаго къ духовному. „Пусть,—говорить онъ,—читатель вообразить себѣ книгу, въ которой подлинный текстъ снабженъ подстрочнымъ переводомъ: такая книга—природа; ея подлинный текстъ—міръ духовныхъ явленій; подстрочный переводъ—міръ физическій, а порядокъ главъ въ книгѣ соотвѣтствуетъ іерархическому порядку существъ. Въ началѣ книги переводъ напечатанъ очень четкими литерами. Но по мѣрѣ того, какъ мы перелистываемъ текстъ, литеры становятся менѣ четкими, и все чаще попадаютъ новые знаки, которые съ трудомъ можно свести на прежніе. Въ концѣ книги, особенно въ послѣдней ея главѣ, печать перевода становится совершенно неразборчива; между тѣмъ по многимъ признакамъ можно заключить, что это все тотъ же языкъ и переводъ все той же книги. Наоборотъ, подлинный текстъ очень четокъ въ послѣдней главѣ; въ предпослѣдней чернила блѣднѣютъ; еще ближе къ началу можно лишь догадываться, что здѣсь что-то напечатано, но прочесть ничего нельзя; въ самомъ началѣ книги исчезаютъ всякіе слѣды чернилъ.“

Такова книга, которую стараются понять мыслители. Они останавливаются въ недоумѣніи передъ „пачкотней“ (barbouillage) въ концѣ одного текста и передъ громадными пробѣлами другого, и каждый изъ нихъ даетъ свое рѣшеніе не на основаніи удостовѣренныхъ фактовъ, а согласно съ настроеніемъ своего ума и потребностями сердца. Представители точныхъ наукъ, физики, фізіологи, начавшіе книгу съ начала, утверждаютъ, что она написана на *одномъ* языкѣ, на языкѣ подстрочнаго перевода; моралисты-психологи, „люди религіозные, начавшіе книгу съ конца, но принужденные признаться, что самая значительная часть книги написана на другомъ языкѣ, видятъ передъ собой необъяснимую тайну въ

этомъ сочетаніи двухъ языковъ, и обыкновенно говорятъ, что въ книгѣ два текста, поставленные рядомъ. Однимъ словомъ, материалисты отрицаютъ самый текстъ, а спиритуалисты находятъ непостижимою связь текста и перевода. Мы дѣйствовали не такъ, — говоритъ Тэнъ, — и нашъ обстоятельный анализъ привелъ насъ къ другому рѣшенію. Мы сначала долго изучали подлинный языкъ и показали, что страницы послѣдней главы, несмотря на встрѣчающіеся въ нихъ знаки различнаго рода, напечатаны одними и тѣми же литерами. Воспользовавшись этимъ объясненіемъ, мы дешифровали до извѣстной степени нѣсколько полустертыхъ строкъ въ предпослѣдней главѣ; затѣмъ, на основаніи блѣдныхъ слѣдовъ на предшествующихъ страницахъ, мы заподозрили, что текстъ восходитъ гораздо ближе къ началу и даже къ страницамъ, на которыхъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ ¹⁾. Тогда мы установили, что подстрочный текстъ есть переводъ, а другой текстъ — подлинникъ, и изъ ихъ взаимной зависимости мы заключили, что первый есть переводъ второго. Опираясь на это указаніе, мы допустили, что текстъ, хотя невидимый для глазъ, продолжается и на первыхъ страницахъ, и что на послѣднихъ, подстрочный текстъ хотя и не разборчивъ, представляетъ собой его *переводъ*. Такимъ образомъ доказано, что книга — одного содержанія, и оба языка дополняютъ и объясняютъ другъ друга. Мы знаемъ теперь, который изъ нихъ представляетъ собою первоначальное свидѣтельство и заслуживаетъ полного довѣрія, и въ какой мѣрѣ и съ какою увѣренностью можно пользоваться вторымъ. Благодаря ихъ взаимной зависимости и постоянному присутствію того или другого, каждый изъ текстовъ можетъ служить дополненіемъ другого. Когда одинъ на нашихъ глазахъ стертъ или неразборчивъ, мы въ правѣ сдѣлать заключеніе отъ того, который мы разбираемъ, къ тому, который мы не въ состояніи прочесть ²⁾.

Таковъ результатъ, къ которому привело Тэна изученіе отношеній физическаго міра къ духовному. Первые страницы книги природы послужили для него лишь ключомъ къ прочтенію послѣднихъ и важнѣйшихъ; начавши съ фیزیологическихъ наблюденій и опытовъ, онъ доводитъ насъ до *порога* метафизики и здѣсь дѣлаетъ заключеніе о *возможности* метафизики ³⁾. Этотъ окончательный выводъ бросаетъ яркій свѣтъ назадъ — на весь прой-

¹⁾ Тэнъ разумѣетъ, конечно, область безсознательныхъ ощущеній въ человѣкѣ и, такъ сказать, безсознательнаго духа въ царствѣ животныхъ и неорганической природѣ.

²⁾ De l'Int. I, 394.

³⁾ De l'Intell. II, послѣдн. параграфъ.

денный изслѣдователемъ путь, и освѣщаетъ цѣль, которую онъ имѣлъ въ виду. Исходной точкой для изслѣдованія послужилъ крайній натурализмъ: методы и приемы естественныхъ наукъ захватываютъ всю область духовнаго міра, нравственныя и историческія явленія сводятся на физическіе процессы и подчиняются законамъ физическаго бытія; исторія человѣчества обращается въ механизмъ и подвергается вычисленію и измѣренію силъ. Все это дѣлается ради того, чтобы установить идею *единства* міра и подчиненія его общимъ единымъ законамъ. Но какъ скоро эта цѣль достигнута, картина совершенно мѣняется. Явленія духовнаго міра признаются *существенными*; физическія явленія объявляются *зародышами* (rudiments) явленій духовныхъ; первыя становятся второстепенными, производными, получаютъ значеніе *перевода* съ подлиннаго текста. Натурализмъ привелъ къ порогу метафизики.

Таковъ вѣнецъ, которымъ завершается зданіе и опредѣляется его стиль. Это стиль смѣшанный, происхожденіе котораго не трудно объяснить. Онъ сложился подъ вліяніемъ великой потребности нашего времени—*единства* знанія, и онъ произошелъ изъ сліянія двухъ философскихъ методовъ, имѣвшихъ въ виду удовлетворить этой потребности: позитивизма, примѣненіе котораго къ области историческихъ явленій было облегчено открытіемъ Дарвина, и діалектической системой Гегеля, для котораго міръ есть откровеніе абсолютнаго духа. Не даромъ Тэнъ называетъ свой методъ орудіемъ, которое было сковано Аристотелемъ и Гегелемъ. Относительно пригодности этого орудія или метода онъ не сомнѣвается; съ свойственною ему скромностію въ личныхъ вопросахъ онъ считаетъ только нужнымъ просить снисхожденія для лица, взявшагося за орудіе ¹⁾. Мы склонны къ обратной постановкѣ вопроса. Можно спорить о научномъ достоинствѣ метода и его результатовъ,—талантъ и значеніе его изобрѣтателя остаются вѣкъ сомнѣнія.

Построенное имъ научно-философское зданіе Тэнъ завершилъ впрочемъ еще и другимъ вѣнцомъ. Во всей своей дѣятельности Тэнъ является ученымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ художникомъ; согласно съ этимъ и философія исторіи Тэна приводитъ съ одной стороны къ метафизикѣ, съ другой—къ искусству.

¹⁾ Послѣднія слова введенія къ „Essais de Critique“. Перв. изд.

XIII.

Для полнаго ознакомленія съ дѣятельностью Тэна въ области исторіи нужно обратить вниманіе еще и на другой путь, какимъ онъ хотѣлъ возвести ее на степень науки. Гораздо прежде, чѣмъ Тэнъ думалъ достигнуть этой цѣли посредствомъ обращенія исторіи въ прикладную психологію, онъ пытался сдѣлать, это въ области самой исторіи, на почвѣ *исторіографіи*. Попытка эта была предпринята Тэномъ въ его изслѣдованіи о Титѣ-Ливіѣ, и критика знаменитаго римскаго историка послужила такимъ образомъ исходною точкою для „философіи исторіи“ Тэна. Противопоставляя взгляду древнихъ историковъ—и особенно Ливія—на ихъ задачу требованія и приемы новыхъ ученыхъ и историковъ, Тэнъ старался выяснитъ понятіе *научной* исторіи и методъ, необходимый для того, чтобъ придать исторіи свойство строгой науки.

Всякая наука, а слѣдовательно и исторія, заключаетъ въ себѣ, по опредѣленію Тэна, „частные факты, которые она устанавливаетъ, и факты общіе“, или законы, которые она связываетъ между собою. Поэтому первая задача историка должна состоять въ томъ, чтобы „сбирать и очистить посредствомъ критики частные факты или истины“ ¹⁾, *les vérités de détail*, а вторая—въ томъ, чтобы потомъ, съ помощью философскаго размышленія, составлять и группировать общія истины (*les vérités d'ensemble*). Для своего изслѣдованія о Ливіѣ Тэнъ пользовался трудами Нибура и Лакмана, и потому для выясненія первой изъ указанныхъ имъ задачъ онъ становится на почву нѣмецкой исторической критики. Тэнъ чрезвычайно требователенъ относительно *полноты* собираемаго историкомъ матеріала. Изображая передъ своими читателями идеальнаго научнаго историка, Тэнъ говоритъ: „Не думайте, чтобы онъ сталъ довольствоваться перечисленіемъ фактовъ, которые одни, повидимому, интересуютъ людей, переменами въ правительствѣ, интригами партій, войнами и паденіемъ государства. Онъ станетъ разспрашивать васъ о распредѣленіи богатствъ, о занятіяхъ гражданъ, о ихъ семейной жизни, о религіи, искусствахъ, философіи. Въ его глазахъ всѣ части человѣческихъ учрежденій и всѣ идеи связаны одна съ другой; ни одна не понятна, пока они всѣ не сдѣлались извѣстными. Онъ представляетъ собою зданіе, которое рухнетъ, если ему не будетъ доставать одной какой-либо части. Поэтому историкъ, по

¹⁾ Essai sur Tite-Live, p. 29.

инстинкту и по страсти, будетъ переходить отъ одного факта къ другому, безпрестанно накопляя ихъ—тревожный и неудовлетворенный, пока онъ не собралъ всего“.

Но, „подбирая все достовѣрное, историкъ беретъ только одно достовѣрное“ ¹⁾. Поэтому „возводимое имъ зданіе требуетъ безконечныхъ помостковъ“. „Любовь къ истинѣ вызываетъ любовь къ доказательствамъ, и вотъ историкъ ищетъ ихъ не съ спокойнымъ усердіемъ безпристрастнаго судьи, а съ прозорливостью и настойчивостью страстнаго изслѣдователя“. Поэтому онъ прибѣгаетъ къ самымъ отдаленнымъ и трудно доступнымъ источникамъ. Съ юношескимъ жаромъ описываетъ Тэнъ наслажденіе, которое испытываетъ историкъ, когда ему удастся работать надъ первоначальными, непочатыми источниками. Тэнъ, можно сказать, изображаетъ при этомъ самого себя, какъ онъ 25 лѣтъ спустя собиралъ въ національномъ архивѣ для своей исторіи якобинцевъ безчисленные дробные факты въ небываломъ изобиліи. „Онъ идетъ въ архивъ откапывать законъ, рѣчи, трактаты, пробираясь сквозъ непонятное письмо забытаго почерка, сквозъ неуклюжія фразы и неизвѣстныя слова, ибо, благодаря этому, онъ приходитъ въ соприкосновеніе съ самыми фактами, цѣльными и нетронутыми, безъ посредства постороннихъ свидѣтелей; онъ прислушивается къ настоящему голосу древности безъ истолкователя, измѣняющаго ея тонъ; въ его рукахъ само прошлое, не искаженное ничьими руками“. Отъ историка при этомъ ничто не ускользаетъ: ни одно свидѣтельство, ни одна формула, никакая монета, никакой обрядъ или преданіе. „Самый неблагодарный текстъ открываетъ намъ иногда черты извѣстнаго характера или обломки извѣстнаго учрежденія. Только разсмотрѣвъ все, можно схватить настоящую истину и вполне доказать ее“. Собранныя такимъ образомъ по подлиннымъ источникамъ доказательства, однако, не обезпечиваютъ историка относительно полной истины. Онъ еще долженъ провѣрить или, какъ выражается Тэнъ, *доказать* свои доказательства—*proover ses preuves*. Тутъ вступаетъ въ дѣло историческая критика. Страницы, на которыхъ Тэнъ изображаетъ съ обычною точностью и образностью приемы исторической критики, показываютъ, что онъ вполне усвоилъ себѣ и оцѣнилъ научное значеніе критическаго метода, который ведетъ свое начало отъ Нибура. „Безъ точной оцѣнки добытой достовѣрности, — говоритъ между прочимъ Тэнъ, — нѣтъ науки. Историкъ долженъ, подобно астроному, заранѣе огово-

¹⁾ „Le critique recueille tout le vrai, rien que le vrai“, p. 80.

рить предусмотрѣнные имъ ошибки своихъ несовершенныхъ рядовъ и указать, насколько правдоподобность его выводовъ приближается къ очевидности. Когда проникаешь въ глубину времени или пространства ¹⁾, главный трудъ въ томъ, чтобы опредѣлить, до какой степени увѣренности можетъ и должна идти вѣра. Наука подобна монетѣ, которая тогда лишь имѣетъ цѣну, когда носитъ на себѣ цифру своей цѣнности“. Недаромъ изучалъ Тэнъ сочиненіе Бофора о „недостовѣренности первыхъ пяти вѣковъ римской исторіи“ и оцѣнилъ заслуги, которыя оказалъ исторической наукѣ скептицизмъ XVIII-го вѣка. „Страсть къ истинѣ, — говоритъ Тэнъ, — вотъ гдѣ источникъ сомнѣнія, и тотъ, у кого нѣтъ потребности удостовѣриться, довольствуется слишкомъ немногимъ“. Но Тэнъ возвысился надъ точкою зрѣнія той эпохи, когда сомнѣніе само по себѣ стало страстью и превзошло страсть къ самой истинѣ. Скептицизмъ Бофора замѣнился критикою Нибура, который свелъ сомнѣніе въ исторіи на степень *средства* для отысканія истины. И Тэнъ, подобно Нибуру, стремится въ исторіи къ полной, положительной истинѣ, nach positiver Einsicht, какъ выражался Нибуръ. Но изъ своего знакомства съ скептицизмомъ и исторической критикой Тэнъ усвоилъ себѣ правильную мѣрку относительно того, чего возможно достигнуть въ области исторіи. Мы знаемъ, что ему во всемъ служили точкою отправленія естественныя науки, и онъ поэтому во всякой области знанія — въ области эстетической, какъ и въ нравственной — стремился къ точному знанію; мы видимъ, что онъ, съ помощью психологіи, рассчитывалъ самую исторію обратить въ точную науку. Тѣмъ болѣе любопытно ²⁾, что въ изслѣдованіи о Титѣ-Ливіѣ онъ относительно исторіографіи отступилъ отъ своего идеала точнаго знанія, отъ своего принципа, въ силу котораго онъ признавалъ научною истиною только то, что добыто путемъ точнаго знанія. Здѣсь онъ относительно исторіи кратко и мѣтко выразилъ свое убѣжденіе въ одномъ изъ прекрасныхъ афоризмовъ, которыми изобилуетъ его изслѣдованіе о Титѣ-Ливіѣ: „En histoire le probable est le vrai (въ исторіи вѣроятное представляетъ собою истинное)“.

Нельзя впрочемъ сказать, чтобы Тэнъ достаточно оцѣнилъ значеніе и извѣсилъ послѣдствія указаннаго имъ принципа, а именно, что въ исторіи часто приходится довольствоваться *вѣроятнымъ* вмѣсто несомнѣнно-истиннаго. Это свойство исторіи,

¹⁾ T.-L., p. 81.

²⁾ T.-L., p. 89.

въ смыслѣ знанія прошедшаго, рѣзко отличаетъ ее отъ другого рода знаній, особенно отъ знаній въ области естественно-научной. Если такая невозможность достигнута во всѣхъ вопросахъ достовѣрнаго знанія и ставитъ ее въ менѣе выгодное положеніе сравнительно съ другими науками относительно безспорности ея результатовъ, то она же придаетъ ей жизненность, всегда вновь возобновляющій ея интересъ и вѣчную юность. Давно, повидимому, рѣшенные вопросы подвергаются новому разсмотрѣнію, и любознательность или чувство справедливости побуждаютъ все новыхъ и новыхъ изслѣдователей посвящать свои силы выясненію прошедшаго. И если имъ удастся исправить хоть одну черту на великой картинѣ прошлаго, приблизить на одну линію вѣроятное къ истинному, они удовлетворены результатомъ, ибо нигдѣ, можетъ быть, не оправдывается такъ вполнѣ, какъ въ области исторіи, справедливость афоризма: „стремиться—слаще, чѣмъ достигать“¹⁾.

Тэнь только *вскользь* коснулся этого вопроса въ своемъ изслѣдованіи о Титѣ-Ливіѣ, вѣроятно потому, что былъ слишкомъ поглощенъ своимъ стремленіемъ водворить въ области историческихъ наукъ и духовнаго творчества точное знаніе, добываемое естественно-научными методами. И въ исторіи, какъ мы видѣли, онъ надѣялся достигнуть этого результата путемъ *психической механики*. Поэтому Тэнь нигдѣ не установилъ необходимаго различія между исторіей въ смыслѣ знанія прошедшаго, т.-е. однажды и въ извѣстномъ мѣстѣ совершившихся историческихъ событій и процессовъ,—и исторіей въ смыслѣ знанія общихъ причинъ и законовъ, управляющихъ дѣйствіями челоука и историческими событіями или процессами.

Но зато если исторія въ смыслѣ знанія прошедшаго и не можетъ имѣть притязаній на очевидность и безошибочность своихъ результатовъ, то она однако требуетъ отъ изслѣдователей въ ея области не меньшей любви къ истинѣ, чѣмъ другія науки. Въ примѣненіи къ историческимъ вопросамъ эта любовь къ истинѣ называется *объективностью*. Историческая объективность, на самомъ дѣлѣ, не что иное какъ предпочтеніе чисто-научнаго фактического интереса всѣмъ другимъ.

Тэнь выводилъ объективность не изъ любви къ истинѣ, а изъ новаго научнаго метода (*la méthode moderne*), заимствованнаго у естественныхъ наукъ. Оттого у Тэна объективность въ области

¹⁾ *Erbringen ist süßer, als besitzen*—слова, записанныя молодымъ Швергеромъ въ дневникъ, когда онъ получилъ на университетскомъ актѣ награду за первый трудъ свой.

искусства имѣеть результатомъ отрицаніе эстетики, а въ области исторической совпадаетъ съ нравственнымъ равнодушіемъ. Читатель припомнитъ, какъ Тэнъ формулировалъ научность въ исторіи искусства. По его объясненію, она должна была заключаться въ томъ, чтобы смотрѣть на произведеніе искусства какъ на простые факты, которые слѣдуетъ объяснить вызвавшими ихъ причинами; что ей чуждо, какъ осужденіе, такъ и прощеніе; что она одинаково симпатизируетъ всѣмъ формамъ искусства и подобна ботаникѣ, которая изучаетъ съ одинаковымъ интересомъ и лавръ, и березу. Мы видимъ однако, что Тэнъ затѣмъ, въ своей философіи искусства, отказался отъ этой точки зрѣнія, по крайней мѣрѣ счелъ нужнымъ добавить къ своей исторической части эстетическую, въ которой, отступая отъ приемовъ ботаники, классифицировалъ произведенія искусства по художественному достоинству и по нравственному значенію сюжета ¹⁾.

Въ подобное противорѣчіе съ самимъ собою впалъ Тэнъ, если мы сопоставимъ его собственную дѣятельность въ области исторіи съ его научной теоріей и съ его опредѣленіемъ объективности въ исторіи. „Возьмите историка,—говоритъ онъ,—который относится къ исторіи какъ она того заслуживаетъ, т.-е. какъ къ наукѣ. Онъ не думаетъ ни хвалить, ни хулить; онъ не имѣетъ въ виду ни обращать своихъ слушателей на путь добродѣтели, ни поучать ихъ въ политикѣ. Не его дѣло возбуждать любовь или ненависть, исправлять сердца или просвѣщать умы; хороши ли, дурны ли факты, ему нѣтъ до того дѣла; онъ не призванъ спасать души людей; у него нѣтъ иного долга, иного желанія, какъ уничтожить разстояніе времени, поставить читателя лицомъ къ лицу съ самими явленіями, сдѣлать его согражданиномъ описываемыхъ имъ лицъ и современникомъ событій, о которыхъ онъ повѣствуетъ. Пусть вслѣдъ за нимъ приходятъ моралисты и разсуждаютъ о выставленной предъ ними картинѣ; его задача окончена; онъ уступаетъ имъ мѣсто и удаляется. Оттого что онъ любитъ только абсолютно-истинное, его раздражаютъ полу-истины, которыя то же, что полу-ложь; его раздражаютъ авторы, которые хотя и не извращаютъ ни одной данной въ хронологіи или генеалогіи, но превратно изображаютъ чувства и нравы,—которые сохраняютъ очертанія событій и измѣняютъ ихъ окраску; которые точно списываютъ факты и искажаютъ ихъ духъ“ ²⁾.

Еще рельефнѣе изображаетъ Тэнъ великое научное значеніе

¹⁾ Philos. de l'art I. p. 14.

²⁾ T.-Live, p. 30.

объективности въ своей характеристикѣ Фукидида, котораго онъ признаетъ идеаломъ правдиваго историка. „Особенный даръ Фукидида, — говоритъ Тэнъ, — это — безусловная любовь къ чистой истинѣ. Среди этого народа рассказчиковъ и поэтовъ, какимъ были греки, онъ создалъ критику и науку. Изъ всѣхъ провиненныхъ имъ фактовъ онъ выбираетъ тѣ событія, которыя составляютъ сущность исторіи; онъ представляетъ ихъ какъ они есть, въ ихъ наготѣ, не объясняя ихъ, какъ Цезарь, не ораторствуя въ пользу или противъ нихъ, какъ Ливій, не окрашивая ихъ, какъ Тацитъ. Они появляются предъ читателемъ одни, такъ какъ будто бы за ними и не было вовсе историка. Нѣтъ ничего ужаснѣе хладнокровія этого историка, которое у него такъ естественно; онъ проходитъ мимо убійствъ, возстаній, моровой язвы, какъ человѣкъ, который отрѣшился отъ всего человѣческаго, и, устремивъ свой взоръ на истину, не можетъ снизойти до гнѣва или до состраданія. Смерть и жизнь, прекрасные или дурные поступки, все это безразлично для науки; добро и зло, преступленіе и добродѣтели — въ его глазахъ лишь событіе и причина. Фукидидъ не увлеченъ даже движеніемъ событій; рассказъ его не увлекаетъ; онъ недоступенъ ни для какой страсти. Мы, привыкшіе смущаться и испускать крики при каждомъ событіи, не постигаемъ, какимъ образомъ этотъ человѣкъ, бывшій свидѣтелемъ кровопролитія пелопоннесской войны, самъ сражавшійся и ораторствовавшій на афинской площади, — какъ могъ онъ сохранить эту величавую невозмутимость духа! Когда греческій геній возьмется за какое-нибудь дѣло, онъ доводитъ его до послѣдняго предѣла совершенства съ удручающей смѣлостью мысли. Фукидидъ, постигнувъ сущность истины, презираетъ все остальное“ ¹⁾.

Трудно съ большею убѣжденностью и послѣдовательностью развивать идеалъ объективности въ исторіи и краснорѣчивѣе восхвалять его. Но почему же Тэнъ не всегда держался этого идеала? и развѣ онъ по недостатку любви къ истинѣ въ своемъ изображеніи яковинскаго террора не „отрѣшался отъ всего человѣческаго и не воздерживался ни отъ гнѣва, ни отъ состраданія? Любопытно сопоставить съ этой классической аналогіей объективности другое мѣсто изъ Тэна, которое представляетъ намъ этого историка въ другомъ свѣтѣ. Въ своей статьѣ о „Буддизмѣ“, опредѣливъ тѣ „историческія силы“, которыя направляли историческія судьбы Индіи и создали ея политическій строй, ея вѣрованія, браманизмъ съ его философскими школами, буддизмъ со всѣми

¹⁾ T - Live, p. 35.

его нравственными и культурными послѣдствіями, „обрекшими сотни миллионовъ людей на гнѣть, на гениальность, на безнравственность, на галлюцинацію и на отчаяніе“, Тэнъ восклицаетъ ¹⁾: „съ этой точки зрѣнія можно, какъ съ вершины горы, обозрѣть всю плачевную и величавую картину сраженія, представляемаго жизнью. Глядя на нее, мы не ликуемъ, подобно Сципіону, при видѣ рѣзни, уничтожавшей въ дикой суматохѣ обѣ арміи Массиниссы и карфагенянъ. Мы не римляне, мы чувствуемъ себя людьми; насъ беретъ жалость (*la pitié nous prend*), мы обращаемся мысленно къ нашей собственной участи. Если есть что-нибудь великое и способное заставить насъ размышлять о судьбахъ, которыми подверженъ человѣческій родъ, такъ это тѣ истинныя и несочиненныя трагедіи, театромъ которыхъ служатъ половина материка, которыя продолжаются тридцать вѣковъ, дѣйствующими лицами которыхъ являются роковыя силы, и которыя, сквозь слезы и горе девяности человѣческихъ поколѣній, ведутъ все къ новымъ столкновеніямъ и катастрофамъ безъ отдыха и развязки“.

Эта *жалость* весьма далека отъ того равнодушнаго спокойствія, которое восхвалялъ Тэнъ въ Фукидидѣ. Сопоставленныя мѣста показываютъ, съ какою чуткостью Тэнъ могъ входить въ противоположныя идеи, и съ какимъ талантомъ—развивать различныя точки зрѣнія.

Но которая же изъ нихъ предпочтительнѣе въ исторіи? Дѣло въ томъ, что объективность или любовь къ истинѣ, которой мы требуемъ отъ историка—не та, которая руководитъ естествоиспытателемъ. Ботаникъ или фізіологъ могутъ быть равнодушны къ изслѣдуемому ими предмету; они интересуются только закономъ, подтвержденія или проявленія котораго они ищутъ въ объектѣ. Историкъ—мы говоримъ здѣсь объ исторіографѣ, а не объ исторіологѣ, какъ можно было бы назвать исторію, изучающую общіе законы, проявляющіеся въ человѣческихъ дѣйствіяхъ и событіяхъ—историкъ имѣетъ дѣло съ мыслившими и чувствовавшими субъектами, которые руководились извѣстными побужденіями и слѣдовали за извѣстными идеалами. Историкъ поэтому не можетъ отрѣшиться отъ всего человѣческаго и не долженъ забыть о своихъ принципахъ и идеалахъ. Конечно, онъ не долженъ распредѣлять свою жалость неравномѣрно, чувствовать состраданіе къ карфагенянамъ, забывая о нумидянахъ; онъ не обязанъ быть и моралистомъ, и избирать исторію почвою для пропаганды своихъ политическихъ и другихъ идеаловъ. Но, не имѣя идеаловъ, онъ не пойметъ идеалы

¹⁾ *Nouv. Ess.*, p. 267.

другихъ, главную дѣйствующую силу въ исторіи, и безъ участія къ человѣку онъ не пойметъ людей, главныхъ дѣателей въ области его науки. Такимъ образомъ, участіе и симпатія въ исторіи не противорѣчатъ любви къ истинѣ, а, расширяя кругозоръ историка, они могутъ сами служить для него источникомъ истины. Правъ Тэнъ, когда говоритъ, что не дѣло историка „хвалить или хулить“; въ самомъ дѣлѣ, его обязанность прежде всего въ томъ, чтобы *понять* случившееся. Но именно поэтому нельзя примѣнить къ исторіи слова Тэна, что наука чуждо какъ „осужденіе, такъ и прощеніе“. Объективность историка должна быть основана не на одной любви къ отвлеченной истинѣ, но и на любви къ справедливости. Вѣчно справедливымъ останется слово поэта, что исторія есть „всемирный судъ“, но этотъ судъ исторіи, если осуждаетъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ и милуетъ, потому что понимаетъ и примиряетъ.

XIV.

Собирать и провѣрять историческій матеріалъ, впрочемъ, какъ мы видѣли, по опредѣленію Тэна, составляетъ только первую задачу исторической науки. Знаніе отдѣльныхъ фактовъ еще не есть наука. Чтобы сдѣлаться историкомъ, — говоритъ поэтъ Тэнъ, — изслѣдователь (*le critique*) долженъ стать философомъ. Съ этимъ требованіемъ мы вступаемъ на почву философіи исторіи, какъ ее понимаетъ Тэнъ. Необходимость философскаго изложенія исторіи Тэнъ и на этотъ разъ мотивируетъ соображеніями, взятыми изъ области естественныхъ наукъ. Въ исторіи, говоритъ онъ, какъ и во всякой наукѣ, количество частныхъ фактовъ, доступныхъ знанію, ограничено. Человѣкъ занимаетъ въ пространствѣ и времени лишь одну точку и видитъ вокругъ себя небольшой освѣщенный кругъ; за предѣлами его мерцаетъ полусвѣтъ; еще далѣе темнота все болѣе и болѣе сгущается и, наконецъ, наступаетъ со всѣхъ сторонъ безпредѣльный мракъ. Лишь познаніе общихъ явленій выводитъ человѣка изъ тѣсной сферы ему лично извѣстныхъ явленій и, какъ выражается Тэнъ, „возвышаетъ нашъ духъ“. Тотъ уголокъ мірозданія, въ который заточенъ человѣкъ, представляетъ ему достаточный матеріалъ для такого рода познанія: одного паденія яблока было достаточно для Ньютона, чтобы разгадать тотъ законъ тяготѣнія, который опредѣляетъ вращеніе свѣтилъ даже внѣ предѣла нашихъ оптическихъ инструментовъ и нашихъ гипотезъ. Вотъ почему и „историкъ долженъ быть въ

то же время философъ и собирать факты лишь для того только, чтобы открывать законы“.

Этотъ переходъ отъ изученія фактовъ къ изученію законовъ, это превращеніе историка-ислѣдователя въ мыслителя—изображены Тэномъ съ свойственною ему образностью и увлеченіемъ. Историкомъ, говоритъ онъ, который прежде только жаждалъ полноты и точности фактовъ, какъ скоро онъ постигнулъ идеи закона, *овладѣваетъ новая страсть*. Онъ становится равнодушнѣе къ этой массѣ разбросанныхъ фактовъ, за которыми онъ такъ усердно гонялся. Мало того: этотъ трудъ представляется ему удовольствіемъ празднаго любопытства, которое теперь вызываетъ въ немъ непріятное ощущеніе. Чтò ему теперь дорого, такъ это—уловить невидимую цѣпь, связующую факты; за нею онъ во всѣ стороны простираетъ руку для того, чтобы убѣдиться, какъ необходимость вездѣ управляетъ судьбою людей. „Выходя изъ міра физическихъ тѣлъ, до того хорошо организованнаго, что онъ представляется намъ дѣйствующимъ разумомъ, историкъ постигаетъ, что подобный разумный строй есть и въ человѣческихъ дѣлахъ; что какая-то скрытая власть ведетъ всѣ эти неожиданные факты; что міръ походитъ на поле битвы, гдѣ среди безурядицы и суматохи все повинуется волѣ единаго вождя и направляется къ цѣли, заранѣе имъ намѣченной“... „Отыскать этотъ сокрытый планъ,—восклицаетъ Тэнъ,—для человѣка—блаженство и потребность“. Тэнъ мотивируетъ это слѣдующими соображеніями: прежде всего „правильный строй самъ по себѣ прекрасенъ“; затѣмъ фактъ, причина котораго неизвѣстна, остается для насъ смутнымъ, виситъ на воздухѣ и можетъ быть уничтоженъ малѣйшимъ затрудненіемъ, которое бы оказалось при его установленіи. Разискать для факта его причину, это—то же, что привести новое свидѣтельство, новое доказательство въ пользу его существованія. Наконецъ, явленіе, оторванное отъ своего закона, *неполно*: вѣдь оно связано съ многими другими явленіями въ прошедшемъ или будущемъ; оторвать его отъ тѣхъ явленій, „за которыми оно слѣдовало, или отъ тѣхъ, которыя составляютъ его послѣдствія, значитъ отнять частицу его самого“. „Это все равно,—прибавляетъ Тэнъ,—какъ если бы описать органы растенія, не сказавъ, какимъ образомъ они поддерживаютъ и питаютъ другъ друга“. Сравненіе это можетъ показаться натяжкой: въ исторіи явленія представляютъ только *послѣдовательную* связь; въ органическомъ мірѣ—это связь взаимная. Но въ дѣйствительности сравненіе Тэна не такъ далеко отъ истины. Конечно, въ исторіи позднѣйшіе факты не могутъ вліять на предшествующіе; но очень часто смыслъ

извѣстныхъ фактовъ раскрывается намъ только благодаря слѣдовавшимъ за ними, и въ этомъ отношеніи вполне можно сказать, что они находятся въ *взаимной* связи другъ съ другомъ.

Допустивъ аналогію между историческими фактами и органами растенія, Тэнъ уже и въ самой исторіи видитъ организмъ. „Исторія,— говоритъ онъ,— живое тѣло, которое мы искалѣчимъ, если нарушимъ правильное соотношеніе его частей“. Отсюда слѣдуетъ выводъ, что простое изложеніе фактовъ, одинъ за другимъ, какъ они слѣдовали во времени, не указываетъ намъ правильнаго соотношенія между ними. Хронологическая правда не есть еще настоящая правда. Только разумъ, истолкователь законовъ, постигаетъ естественный порядокъ фактовъ, а этотъ порядокъ вытекаетъ изъ закона причинности; такимъ образомъ, разумъ раскрываетъ общій планъ исторіи и философіи исторіи, подтверждаетъ и завершаетъ дѣло, начатое эрудиціей и критикою.

Итакъ, уразумѣніе фактовъ заключается въ указаніи ихъ причины или закона, изъ котораго они вытекаютъ. Но самые эти законы, по объясненію Тэна, двухъ разрядовъ. Каждая группа однородныхъ фактовъ имѣетъ свою причину; указавъ причину ихъ, историкъ какъ бы собираетъ и вмѣщаетъ цѣлый рядъ фактовъ въ одну идею. Такъ какъ это опредѣленіе философіи исторіи Тэнъ даетъ по поводу критики Ливія, то и всѣ пояснительные примѣры историческихъ законовъ заимствованы имъ изъ римской исторіи. Исторія Рима можетъ получить, по его словамъ, философскій характеръ, если историкъ уважаетъ причину, почему римляне побѣдили самнитанъ, галловъ, карфагенянъ и др.? Почему плебеи достигли равенства политическихъ правъ, вслѣдствіе какой необходимости установилась имперія? Но разумъ требователенъ; онъ не удовлетворяется выясненіемъ причинъ и хочетъ знать самую причину причинъ, т.-е. свести историческіе законы къ законамъ болѣе общимъ; поэтому историкъ Рима долженъ указать главный законъ, управляющій фактами римской исторіи; онъ долженъ объяснить, почему вообще ни одинъ народъ не былъ въ состояніи противостоять римлянамъ? Откуда у римлянъ этотъ чинный культъ отвлеченныхъ божествъ, этотъ юридическій характеръ семьи, эта чрезвычайная любовь къ отечеству, это уваженіе къ буквѣ и къ формулѣ, эта немощь въ искусствѣ и въ отвлеченной философіи? Почему погибла древняя доблесть и истощился воинскій духъ? Почему исчезли вѣрованія, таланты, прежніе нравы и, наконецъ, самый народъ римскій? Тэнъ ищетъ отвѣта на всѣ эти вопросы въ народномъ духѣ римлянъ; въ немъ онъ видитъ основную причину всѣхъ частныхъ причинъ, объясняющихъ от-

дѣльные факты, основной законъ, управляющій всей исторіей римскаго народа и создающій ее. „Всѣ стороны римскаго характера и римской жизни,—говоритъ Тэнъ,—находятся въ взаимной связи, и передъ историкомъ, который сближаетъ ихъ, классифицируетъ, истолковываетъ, возникаетъ—среди множества отдѣльныхъ законовъ—одна преобладающая идея, которая выражаетъ собою въ сокращеніи духъ народа и заключаетъ въ себѣ напередъ его исторію, такъ точно, какъ одно математическое опредѣленіе содержитъ въ себѣ всѣ математическія истины, которыя будутъ выведены изъ него. Тогда-то историкъ, достигнувшій своей цѣли, ощущаетъ полное наслажденіе наукой. Эта безчисленная масса фактовъ, темныхъ и разрозненныхъ, разсѣянныхъ на разстояніи двѣнадцати вѣковъ, отъ Африки до Британіи, отъ Лузитаніи до страны пареянъ, образуетъ теперь одно цѣлое, въ которомъ частныя законы, распредѣляющіе факты по группамъ, сами группируются подъ одинъ всеобщій законъ, съ высоты котораго можно разсмотрѣть ихъ стройный порядокъ и прослѣдить ихъ движеніе“.

Въ этой увлекательной программѣ много увлеченія. Тэнъ слишкомъ поддается своему желанію перенести на историческія науки точныя приемы естественныхъ и математическихъ наукъ, и потому нерѣдко злоупотребляетъ аналогіей между этими областями. Мы можемъ безошибочно выводить изъ математической формулы извѣстныя данныя, потому что эти данныя уже а priori заключаются въ ней и мы познаемъ ихъ дедуктивнымъ путемъ. Въ исторіи же мы принуждены идти противоположнымъ путемъ. Народный духъ мы можемъ познать только а posteriori, на основаніи историческихъ фактовъ, въ которыхъ онъ проявился, и наше опредѣленіе народнаго духа всегда будетъ, такимъ образомъ, только болѣе или менѣе полнымъ и удачнымъ обобщеніемъ извѣстныхъ намъ частныхъ данныхъ.

Уже по одному этому мы въ состояніи только съ приближеніемъ достовѣрностью изъ построенной нами психологической формулы для народнаго духа выводить обратно отдѣльные факты исторіи націи. Но, кромѣ того, эта возможность выводить факты изъ основной формулы постоянно перерѣзывается различными *сторонними* и не всегда поддающимися нашему опредѣленію вліяніями, которыя дѣйствовали наряду или вопреки народному духу. Если даже въ прикладной математикѣ, въ механикѣ, апіорный элементъ долженъ уступить значительное мѣсто вліянію дѣйствительности и непредвидѣннымъ случайностямъ, то въ исторической жизни народовъ дѣйствіе основной формулы подлежитъ еще болѣе обширнымъ ограниченіямъ. Это несомнѣнно обнаруживается

даже въ римской исторіи, которая однако представляет болѣе стройности въ своемъ теченіи и большее единство направленія, чѣмъ, можетъ быть, исторія какого-нибудь другого народа. Возьмемъ, напр., вліяніе или творчество отдѣльных лицъ. И Брутъ, и Цезарь въ одинаковой степени—проявленія народнаго римскаго духа, а между тѣмъ какое сильное вліяніе испыталъ бы на себѣ этотъ духъ, если бы Цезарь благополучно пережилъ иды марта, или если бы Брутъ остался побѣдителемъ при Филиппахъ! Наконецъ, изъ вышеприведенныхъ словъ Тэна видно, что онъ слишкомъ широко понимаетъ силу своей основной формулы. Допустимъ, что мы объяснили изъ господствующихъ чертъ народнаго характера римскія завоеванія; почему же, однако, въ этомъ случаѣ эти завоеванія приостановились, и римскіе легіоны не были въ состояніи перейти укрѣпленный *рубежъ*, который они провели между Рейномъ и Дунаемъ? Если бы это случилось, или если бы римскимъ императорамъ удалось совершить на Востокъ дѣло Александра Македонскаго, то историческая картина римскаго владычества представляла бы другое зрѣлище и помѣщалась бы въ другихъ рамкахъ. Несмотря, однако, на всѣ эти оговорки, слѣдуетъ сказать, что самое увлеченіе Тэна вытекало изъ совершенно вѣрнаго научнаго инстинкта, изъ желанія привести къ единству, систематически обнять и научно объяснить необозримый рядъ фактовъ, хронологически связанныхъ, но разрозненныхъ по смыслу и содержанію, представляемыхъ римской исторіею.

Но не повлечетъ ли за собою такая философская обработка историческаго матеріала новыхъ затрудненій, не будетъ ли систематическая группировка однородныхъ фактовъ нарушеніемъ естественной связи и хронологической *последовательности* ихъ? Нужно ли исторіи, спрашиваетъ Тэнъ, вовсе отказаться отъ повѣствованія и „вмѣсто этого составлять каталоги фактовъ съ приложеніемъ къ нимъ въ концѣ геометрическихъ формулъ“? Эта фраза очень характерна, ибо не представляютъ ли нѣкоторыя главы исторіи революціи Тэна, въ самомъ дѣлѣ, „каталога фактовъ съ приложеніемъ къ нимъ въ концѣ“ формулы, выражающей ихъ причину? Въ виду этого разрѣшеніе Тэномъ указаннаго сейчасъ затрудненія заслуживаетъ особеннаго вниманія. Его замѣчанія по этому поводу знакомятъ насъ съ его взглядомъ на архитектуру историческихъ сочиненій. Тэнъ находитъ совершенно ненужнымъ жертвовать повѣствовательнымъ характеромъ исторіи для того, чтобы придать ей философское достоинство. Историческое сочиненіе, — говоритъ онъ, — можетъ быть живымъ разсказомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ философскимъ объясненіемъ событій. Средство

для этого Тэнъ видитъ въ искусной исторической композиціи: *l'art de philosopher*,—говоритъ онъ,—*n'est que l'art de composer*. По его объясненію, это искусство основано на трехъ приемахъ: во-первыхъ, нужно группировать вмѣстѣ тѣ факты, которые представляютъ собою слѣдствіе одной общей причины или направляются въ одной общей цѣли; другой приемъ, дающій читателю понять законъ исторіи, заключается въ цѣлесообразномъ выборѣ фактовъ. Нѣтъ надобности перечислять всѣ факты: Тэнъ энергически высказывается противъ накопленія фактовъ безъ разбора. „Сказать все,—говоритъ онъ,—значитъ сказать слишкомъ много. Не слѣдуетъ ни отягощать умъ, ни загромождать науку. Одни только лѣтописцы вѣчно повторяются въ исчисленіи голодныхъ годовъ, сраженій, празднествъ. Историкъ же быстро устремляется къ общей идеѣ, проходя сквозь массу фактовъ, доказывающихъ эту идею, и останавливается по пути лишь для того, чтобъ объяснить свою идею съ помощью характерныхъ подробностей и указать далеко впереди на горизонтъ свою цѣль. У историка вы чувствуете, что подвигаетесь впередъ; изложеніе потому интересно, что между фактами произведенъ выборъ; оно оживлено, потому что факты расположены въ стройномъ порядкѣ“!

Третье средство, предлагаемое Тэнномъ для того, чтобы придать изложенію фактовъ философскій интересъ, заключается въ образномъ выраженіи философской мысли. „Развѣ нужно такъ много словъ,—спрашиваетъ Тэнъ,—для того чтобы выразить какой-нибудь законъ или указать причину? Иногда какой-нибудь портретъ въ шесть строкъ, если онъ вѣренъ и живъ, дастъ больше, чѣмъ цѣлый томъ разсужденій. Воображеніе тѣмъ драгоцѣнно, что одинъ удачный эпитетъ рисуетъ намъ цѣлую страну или цѣлый народъ“.

Всѣ эти замѣчанія о философской задачѣ историка Тэнъ подводитъ къ слѣдующему итогу: группировать факты съ помощью законовъ, дополняющихъ и подтверждающихъ факты, и связывать частные законы общими всемірными законами, то располагая изложеніе въ осмысленномъ порядкѣ, то производя выборъ между подробностями, то озаря теорію лучами воображенія. Это послѣднее замѣчаніе заслуживаетъ особеннаго вниманія. Философское размышленіе, которое придаетъ фактамъ смыслъ и исторіи даетъ значеніе науки, требуетъ помощи со стороны воображенія. Вопросъ переносится на художественную почву: исторія стала наукою; теперь она должна сдѣлаться также и искусствомъ.

XV.

Такое требованіе Тэнъ прежде всего основываетъ на сравненіи древней исторіографіи съ современной. Древніе не сознавали научнаго значенія исторіи, они не видѣли въ ней „стройной системы законовъ“. Только въ наше время понята истинная цѣль исторіи и найдено правильное для нея опредѣленіе. Новые историки чрезвычайно усовершенствовали свой предметъ въ научномъ направленіи, и въ этомъ отношеніи, можно сказать, *обновили* его. Но это обогащеніе исторіи въ научномъ отношеніи послужило къ ущербу художественной стороны исторіографіи. „Мы имѣемъ, — говоритъ Тэнъ, — о наукѣ болѣе точное понятіе, чѣмъ древніе; мы желаемъ прежде всего для нея болѣе прочнаго основанія; наученные методомъ естественныхъ наукъ, мы лучше провѣряемъ факты; критика, которая у нѣкоторыхъ древнихъ историковъ встрѣчалась только случайно, сдѣлалась теперь сводомъ правилъ, всѣми признаваемыхъ, достояніемъ всякаго историка. Мы требуемъ также отъ науки болѣе полноты. Исторія обнимаетъ теперь многіе разряды фактовъ, которыми прежде пренебрегали: ремесла, промышленность и торговля, которыя были въ пренебреженіи у древнихъ, какъ рабскій трудъ, а нынѣ возстановлены въ чести, такъ какъ стали занятіями свободныхъ людей; затѣмъ домашніе нравы, которые оставались безъ вниманія въ виду важности политическихъ событій, нынѣ же стали предметомъ изученія, такъ какъ семья интересуется человѣка не менѣе, чѣмъ государство; наконецъ, — религію, науку, литературу и искусство, которыя въ древности представлялись дѣломъ нѣсколькихъ человѣкъ, а теперь признаются созданіями цѣлаго народа. Вообще расширенная исторія включила въ свои предѣлы *всею* человѣка, во всѣхъ проявленіяхъ его человѣческой природы“.

По мѣрѣ достиженія этого результата, явилась потребность придать исторіи философскій характеръ; и въ этомъ тоже отношеніи естественнымъ наукамъ принадлежитъ важная роль; когда, благодаря ихъ успѣхамъ, сдѣлано было открытіе, что измѣненія въ физическихъ тѣлахъ совершаются по опредѣленнымъ законамъ, явилась мысль, что точно также и измѣненія въ духовномъ мірѣ управляются опредѣленными законами. Прибавившіяся двѣ тысячи лѣтъ къ памяти о прошломъ расширили кругозоръ людей и дали имъ возможность усмотрѣть закономерный порядокъ событій, а изученіе исторической жизни въ столькихъ ея областяхъ, дополнявшихъ политическую исторію, помогли понять взаимную

зависимость фактовъ различныхъ разрядовъ. Если прежде прошедшее представлялось вереницей событій, то теперь въ немъ стали усматривать *классы* фактовъ; эти классы или группы приводились въ систему; эту систему стали выражать въ отвлеченныхъ формулахъ, и установилось мнѣніе, что всеобщая исторія должна объяснить и связать однимъ общимъ закономъ всѣ дѣянія и всѣ мысли человѣческаго рода.

Тэнъ теоретически вполне одобряетъ такое представленіе объ исторіи, но возстаетъ противъ исключительно научнаго интереса въ исторіографіи и настаиваетъ на томъ, что въ ней „вѣнцомъ науки должно быть искусство“. Въ этомъ отношеніи древніе историки имѣютъ великое преимущество передъ новыми. Они смотрѣли на исторіографію какъ на искусство, и потому всегда должны будутъ служить образцами для новыхъ историковъ.

Необходимость придать въ исторіи научному содержанію художественную форму Тэнъ подтверждаетъ слѣдующими мотивами. Только искусство вноситъ *жизнь* въ исторію. Если бы кто-либо, говоритъ Тэнъ, анатомировалъ живой организмъ, онъ нашелъ бы въ немъ только частицы матерій разной формы, связанныя между собою опредѣленными законами. Но развѣ перечисленіе этихъ частицъ и этихъ законовъ дало бы намъ вѣрное представленіе о самомъ организмѣ? И исторія есть драма, полная жизни, и если изображеніе этой драмы у историка будетъ лишено жизни, то оно не будетъ неполно и невѣрно. Если фактамъ, описаннымъ у историка, будетъ недоставать той страсти, которая ихъ вызвала, и той окраски, которая придаетъ имъ оригинальное освѣщеніе, они будутъ искажены. Поэтому историкъ необходимо превратить свои отвлеченныя разсужденія въ чувства и образы. Пусть исторія, говоритъ Тэнъ, подобно природѣ, дѣйствуетъ на сердце и на вѣншее чувство въ то же время, какъ и на мысль. Пусть прошедшее, возстановленное разумомъ, воскреснетъ, полное жизни, передъ воображеніемъ. Безъ него мы имѣли бы передъ собою лишь мертвый матеріалъ и безжизненные законы.

Исторія, какъ драма, состоитъ прежде всего изъ событій — законы проявляются въ ней лишь въ формѣ событій. Поэтому исторія по существу своему есть *повѣствованіе* и должна сохранить повѣствовательную форму. Разсказъ историка становится вялымъ, какъ скоро послѣдовательность событій прерывается сравненіемъ текстовъ и критикою свидѣтельствъ. Поэтому не слѣдуетъ перебивать изложеніе фактовъ предположеніями и размышленіями, которыя служили историкъ для установленія ихъ. Это значило бы оставить на зданіи лѣса, служившіе при постройкѣ.

Ученость грозитъ лишить историческое повѣствованіе необходимаго *единства*, скрыть отъ глазъ то единое и непрерывное теченіе, которое представляетъ собою исторія. Отвести каждому разряду фактовъ особое мѣсто, разсматривать въ одной главѣ факты религіозной жизни, въ другой—политику, въ третьей—искусство, литературу или торговлю—это то же, что размѣстить различные органы тѣла по отдѣльнымъ помѣщеніямъ анатомическаго кабинета. Философская мысль должна быть слита съ повѣствованіемъ и не должна быть отдѣляема отъ него, такъ какъ составляетъ его душу. Но это *единство* можетъ быть достигнуто только путемъ искусства. Въ историкѣ поэтому, говоритъ Тэнъ, долженъ заключаться „ученый, собирающій факты, критикъ, ихъ провѣряющій, мыслитель, ихъ объясняющій; но всѣ эти лица должны скрываться за поэтомъ, который повѣствуетъ. Они подсказываютъ ему его слова, но сами не должны говорить. Исторія не должна сохранять на себѣ слѣдовъ ни разбирательства критики, ни компилятивной работы учености, ни отвлеченности философіи. Отвлеченность, компиляція и разбирательство должны сливаться въ одномъ произведеніи искусства, подъ наитіемъ воображенія, подобно тому, какъ античный скульпторъ расплавлялъ въ одной формѣ серебро, свинецъ, мѣдь и драгоценные сосуды, чтобы вылить изъ массы статую божества“ ¹⁾.

Но если исторія есть драма, то она состоитъ изъ дѣйствующихъ лицъ, и нельзя усвоить себѣ смыслъ драмы безъ вѣрнаго изображенія этихъ лицъ, будь то отдѣльныя личности или цѣлые народы, а такое изображеніе можетъ быть лишь дѣломъ искусства.

Древніе историки хорошо это понимали, но при изображеніи лицъ они преимущественно обращали вниманіе на общія черты и наклонности людей, и въ этомъ отношеніи могутъ и теперь служить образцами. У Ливія, на примѣръ, говоритъ Тэнъ, мы научаемся, что за римляниномъ, за грекомъ или за варваромъ всегда скрывается человекъ; что общія истины — вѣчныя истины; что великіе перевороты имѣютъ источникомъ общія всѣмъ страсти, и что они были вызваны въ Римѣ, какъ и у насъ, нищетой и угнетеніемъ; голодъ, страданіе, различіе вѣры и племени, потребность пользоваться жизнью и дѣйствовать—вездѣ являются побудительными пружинами въ исторіи, какъ тяготѣніе и теплота вездѣ служатъ двигательными силами въ природѣ. Историки новаго времени въ отличіе отъ древнихъ обращаютъ болѣе вниманія на

¹⁾ T.-Live, p. 357.

частныя и мелкія черты. Ихъ историческій матеріалъ богаче и точнѣе; они стоятъ ближе къ дѣйствительности; оттого неопредѣленные очертанія лицъ и народовъ превратились у нихъ въ болѣе реальныя и наглядныя образы. Но, съ другой стороны, эта погоня за мелкими подробностями и частными чертами грозитъ придать исторіи анекдотическій характеръ. Поэтому, чтобы обнять полную истину, говоритъ Тэнъ, нужно слѣдовать, какъ Ливію, представителю древней исторіографіи, такъ и новымъ историкамъ; а именно—нужно выводить на историческую сцену народы или личности, „изображая общія наклонности подъ личными побужденіями“.

Такимъ путемъ, по мнѣнію Тэна, исторія, которая получила въ послѣднее время слишкомъ односторонній научный характеръ, снова приблизится къ искусству. Ибо свойство краснорѣчія заключается именно въ воспроизведеніи человѣческихъ страстей въ художественной формѣ, а съ другой стороны, страсти, будучи причиною событій, и составляютъ сущность исторіи. Поэтому историкъ, если онъ хочетъ быть художникомъ, долженъ обращать главное свое вниманіе на изображеніе страстей; вопросы изъ области финансовъ, говоритъ Тэнъ, тактики, политики и администраціи, подробности, касающіяся религіи, философіи, искусства и науки,—все это, конечно, слѣдуетъ вводить въ картину человѣческой жизни, но лишь для того, чтобы оно служило изображенію человѣческихъ страстей, ибо истинный предметъ исторіи—*душа* человѣка. Поставивъ себѣ такую цѣль, историкъ по необходимости будетъ стремиться къ художественной формѣ, такъ какъ, говоритъ Тэнъ, всякое изображеніе страстей безъ художественной формы холодно и потому уже невѣрно.

Возложивъ на историка обязанность художественно изображать страсти, Тэнъ даетъ дѣлу историка совершенно новое направленіе, которое нелегко примирить съ прежнимъ, высказаннымъ имъ, взглядомъ. Недавно еще Тэнъ требовалъ отъ историка во имя научности полного безстрастія и ставилъ въ образецъ Фукидиду; теперь, во имя художественности, онъ требуетъ изображенія страстей,—но возможно ли такое изображеніе безъ участія со стороны самого историка въ описываемыхъ страхахъ? Тэнъ не только признаетъ, что страсти, угадываемыя историкомъ, сообщаются ему самому, но видитъ въ этомъ даже благопріятное для исторіи условіе. „Страсти,—говоритъ Тэнъ,—порождаются воображеніемъ; чѣмъ оно живѣе, тѣмъ эти страсти стремительнѣе; чѣмъ яснѣе кто видитъ горестное или недостойное зрѣлище, тѣмъ болѣе онъ склоненъ испытывать негодованіе или жалость“. Страсти,

усвоенныя историкомъ, говоритъ далѣе Тэнъ, даютъ ему силу и его повѣствованію жизненную мощь. „Въ страсти такой избытокъ жизни, что она разливаетъ его и на неодушевленные предметы: благодаря ей, абстракція становится живою личностью“.

Отъ Тэна при этомъ не ускользаетъ соображеніе, что страстность представляетъ для историка и великую опасность: „свойство страсти—*преувеличивать* образы, такъ какъ она сама возникаетъ изъ образа“, созданнаго и часто преувеличиваемаго воображеніемъ. Замѣчаніе Тэна о преувеличеніи историческихъ образовъ должно обратить на себя наше вниманіе въ виду его собственной дѣятельности на поприщѣ исторіографіи. Стремленіе къ преувеличенію, по его мнѣнію, коренится въ самой природѣ человѣка; преувеличеніе, говоритъ Тэнъ, въ оправданіе Нибура, это законъ и несчастье человѣческаго ума: нужно перейти цѣль, чтобы достигнуть ея“. Преувеличеніе въ изображеніи страстей у Ливія и въ возбужденіи ихъ у читателей Тэнъ сравниваетъ съ приемомъ древнихъ художниковъ, которые въ изображеніи тѣла слишкомъ рѣзко обозначали движеніе мускуловъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Тэнъ объясняетъ и оправдываетъ преувеличеніе *избыткомъ силы, знанія и труда*.

Итакъ, мы видимъ, что Тэнъ, высказывавшійся такъ безусловно во имя научности за полное безпристрастіе историка, съ одинаковымъ жаромъ превозноситъ страстность въ исторіографіи во имя художественности и даже оправдываетъ преувеличеніе, если оно происходитъ отъ избытка силы, знанія и труда.

Это противорѣчіе у Тэна не объяснено и не сглажено, но оно можетъ быть до извѣстной степени оправдано, потому что коренится въ самой дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ, рядомъ съ *объективной* исторіографіей, основанной на безпристрастіи, или вѣрнѣе, на одинаковомъ пониманіи страстей и на стремленіи относиться къ нимъ одинаково справедливо, существуетъ другой родъ исторіографіи, называемый *субъективной*. Субъективную окраску получаетъ изложеніе не только въ томъ случаѣ, если историкъ пользуется фактами прошлаго, чтобы проводить въ нихъ какой-нибудь политическій идеалъ или нравственный принципъ, но и тогда, когда историкъ принимаетъ личное участіе въ страстяхъ прошлаго. При всей опасности въ научномъ отношеніи, которую представляетъ послѣдній способъ писать исторію, нельзя не признать, что и онъ можетъ оказать пользу наукѣ, содѣйствуя раскрытію истины. Сущность субъективизма, помимо, конечно, намѣреннаго искаженія или сокрытія истины, заключается въ неравномѣрности освѣщенія; но такое освѣщеніе, направляя всѣ лучи

свѣта на одну сторону предмета, можетъ обнаружить или нагляднѣе выставить на видъ явленія, недостаточно замѣченныя или оцѣненныя другими. Такимъ образомъ, страсть и въ исторіографіи, также какъ и въ самой жизни, можетъ иногда быть источникомъ большой прозорливости и проницательности.

Для Тэна, какъ историка, указанный сейчасть взглядъ его на преувеличеніе историческихъ образовъ особенно характеренъ потому, что собственныя сочиненія его переполнены преувеличенными образами. Объясняя, напр., отношенія къ Ливію двухъ его критиковъ, остроумнаго скептика Бофора и творца научной критики Нибура, Тэнъ рисуетъ слѣдующую картину: „въ то время, какъ Ливій, подобно римскому триумфатору, шествуетъ впередъ среди миеовъ и римскихъ побѣдъ,—за нимъ слѣдуютъ два пристава, недоверчивые и придирчивые, считаютъ убытокъ, провѣряютъ его донесенія и требуютъ отъ него доказательствъ“. Характеризуя римскую исторію Нибура „съ нагроможденными въ ней конъектурами критикой преданій, исправленіемъ и интерполяціей текстовъ, комментаріями, провѣркой и восстановленіемъ мельчайшихъ фактовъ“ и пр.,—говоритъ Тэнъ,—„словно находишься на самомъ днѣ рудниковъ Гарца при свѣтѣ закоптѣлой лампы, возлѣ рудокоча, съ трудомъ ковыряющаго крѣпкую скалу. Но если привыкнешь къ тусклому смраду подземной мастерской, то скоро начинаешь любоваться тѣмъ, какія громадныя массы ворочаетъ эта могучая рука, и въ какую невидимую глубь она проникла“. Приведенныя сравненія носятъ на себѣ печать сильнаго риторическаго преувеличенія, отъ котораго вообще не свободны раннія произведенія Тэна и въ особенности „Изслѣдованіе о Титѣ-Ливіѣ. Самъ Тэнъ замѣчаетъ въ немъ о метафорѣ, „что она есть лучшее орудіе для ораторскаго преувеличенія“, потому что, сливая два представленія въ одно, она „поднимаетъ болѣе слабое до размѣровъ болѣе сильнаго“.

Описанною ролью *воображенія*—угадывать страсти въ прошедшемъ—не ограничивается, по мнѣнію Тэна, содѣйствіе, которое оно можетъ оказать исторіографіи, облекая научное содержаніе ея въ художественную форму. „Воображеніе даетъ жизнь всему, до чего коснется“, и потому съ его помощью „отвлеченныя понятія и разсужденія“, которыми орудоваль историкъ, выясняя себѣ научную сторону своего предмета, превращаются подъ его перомъ „въ чувства и образы“ (*émotions et images*).

Пояснимъ мысль Тэна двумя примѣрами, взятыми изъ его изслѣдованія о Ливіѣ. Историкъ Рима, желая объяснить побѣду римлянъ надъ кареагенянами, можетъ достигнуть этой цѣли по-

средствомъ отвлеченнаго разсужденія о политической организаціи, о тактическомъ строѣ или о другихъ условіяхъ, при которыхъ эти могущественные соперники вступали другъ съ другомъ въ борьбу на жизнь и на смерть. Но историкъ можетъ поступить и иначе—и ограничиться изображеніемъ, напр., стойкости и благородства духа, который римляне обнаружили послѣ пораженія при Каннахъ. „Простого изложенія фактовъ здѣсь достаточно, чтобы показать различіе въ силахъ противниковъ и въ исходѣ борьбы,—и чувство уваженія къ римлянамъ, которое при этомъ овладѣваетъ читателемъ, стѣбитъ всякаго разсужденія. Все равно,—въ какой формѣ общая идея проникнетъ въ душу читателя,—въ видѣ ли живого чувства, или отвлеченной формулы. Нужно только, чтобы разсѣянные факты сгруппировались около своей причины, чтобы умъ ощущалъ или видѣлъ ихъ взаимную связь, однимъ словомъ, чтобы онъ *понималъ*. Понимать событія—значитъ охватить совокупность ихъ, постигнувъ ихъ общій законъ. Если въ концѣ книги читатель будетъ изумляться доблестямъ Рима, его дисциплинѣ, его возрастающей осмотрительности, онъ познаетъ причины его успѣха, будетъ ли она опредѣленно высказана историкомъ—или нѣтъ“.

Въ приведенномъ случаѣ историкъ-художникъ съ успѣхомъ замѣнилъ разсужденіе чувствомъ, которое онъ сумѣлъ вызвать въ читателѣ; но есть случаи, „гдѣ нужно разсуждать лишь посредствомъ живой картины“. Такъ поступилъ Ливій, когда ему нужно было объяснить безсиліе въ борьбѣ съ римлянами царя Антиоха, столь неискуснаго, непредусмотрительнаго, столь полнаго вѣры въ блестящее снаряженіе своего войска и въ хвастливыя выходки своихъ царедворцевъ“. Съ этою цѣлью Ливій набросалъ картину лагеря Антиоха, гдѣ въ безпорядкѣ толпились пестрыя ополченія восточныхъ народовъ, изобразилъ дворъ царя, который въ ожиданіи прихода римлянъ, какъ бы на полномъ досугѣ, отпраздновалъ свою свадьбу съ молодою гречанкой,—и историку послѣ этого ничего не оставалось выяснять читателю.

Хотя такимъ образомъ воображеніе у историка проявляется въ двухъ различныхъ приѣмахъ, оно—то вызываетъ въ читателѣ извѣстное чувство, то изображаетъ картину; однако эти два приѣма близки другъ къ другу, и чувство иногда можетъ быть легче всего вызвано картиной, ибо „одни только осязательные факты возбуждаютъ чувство, и для того, чтобы доводъ оказалъ свое дѣйствіе, необходимо, чтобы слушателю казалось, будто онъ видитъ самые факты, чтобы, осаждаемый и подавленный цѣлой массой захватывающихъ образовъ, онъ былъ увлеченъ, добровольно и по-не-

волѣ, своими чувствами“. Этимъ приѣмомъ нерѣдко пользовались античные историки, и особенно у Ливія, на каждомъ шагѣ, разсужденія становятся картиною“.

Но вообще древніе историки подъ вліяніемъ ораторскаго таланта и риторическаго направленія въ литературѣ, слишкомъ склонны были приносить въ жертву живописи чувству; они прибѣгали къ живописи въ словѣ не ради самой картины, а лишь для того, чтобы этою картиною растрогать читателя. На этомъ пути легко впасть въ преувеличеніе и реторику. „Краснорѣчіе, — восклицаетъ Тэнъ, — не то же самое, что воображеніе, и когда слѣдуетъ быть живописцемъ, — опасно быть ораторомъ“. Въ виду этого Тэнъ ставитъ вопросъ о точномъ опредѣленіи и разграниченіи ораторства и живописи. Первое различіе между ораторомъ и живописцемъ Тэнъ усматриваетъ въ томъ, что ораторъ изображаетъ преимущественно свойства лицъ, живописецъ же изображаетъ самыя лица. Съ этимъ связано еще другое, болѣе существенное различіе. Ораторъ, ставя себѣ цѣлью поразить читателя изображенными имъ свойствами историческихъ лицъ и вызвать въ немъ сильное ощущеніе, бѣетъ на эффе́ктъ, и потому склоненъ къ преувеличенію, т.-е. къ искаженію истины. Живописецъ же въ исторіи думаетъ только о картинѣ, матеріалъ для которой онъ найдетъ въ исторіи; онъ поэтому не удаляется отъ истины и остается на объективной почвѣ.

Не думая ни судить, ни навязывать своего сужденія, живописецъ не имѣетъ иного желанія, какъ ясно разглядѣть всѣ чувства, всѣ рѣшенія, всѣ поступки и всѣ положенія дѣйствующихъ лицъ; онъ не имѣетъ иной цѣли, какъ запечатлѣть ихъ въ умѣ зрителя такими, какіе они есть. Ораторъ же, исключительно занятый тѣмъ, чтобы растрогать или убѣдить насъ, трактуетъ факты какъ средство ораторскаго искусства, рассказываетъ лишь для того, чтобы растрогать, выбираетъ, группируетъ, излагаетъ не съ тѣмъ, чтобы вызвать въ насъ живой образъ или опредѣленную идею, но крѣпкое убѣжденіе или сильную страсть.

Различіе между ораторствомъ и живописью въ исторіи сводится у Тэна далѣе къ тому, что воображеніе, которое является творческой силою въ обоихъ случаяхъ, представляетъ различныя оттѣнки или свойства. Сравнивая *ораторское воображеніе* съ *воображеніемъ поэтическимъ*, Тэнъ указываетъ, что первое имѣетъ своимъ предметомъ не краски, звуки или тѣлесныя формы, но внутренній міръ человѣческой души; оно не причудливо, не порывисто, „не окрылено“, подобно воображенію поэта; оно неспособно изобразить предметъ однимъ живописнымъ словомъ (эпи-

тетомъ); оно не обнимаетъ дѣлаго характера въ одномъ сжатомъ выраженіи, какъ въ ракурсѣ; оно не озаряетъ, какъ молнія, внезапными проблесками. Оно развиваетъ правильно, въ строгой послѣдовательности и въ чрезвычайномъ обиліи, множество мыслей и чувствъ; вмѣсто того, чтобы поставить событія передъ нашими глазами посредствомъ живыхъ образовъ, оно дѣлаетъ ихъ осязательными для нашей души посредствомъ ощущеній.

Итакъ, при художественномъ воспроизведеніи историческаго матеріала только живопись въ словѣ вполне соотвѣтствуетъ потребности научнаго и объективнаго изложенія фактовъ. Но для того, чтобы историческая живопись вполне удовлетворяла этой потребности, по мнѣнію Тэна, главное условіе заключается въ томъ, чтобы она усвоила себѣ „наиболѣе характерныя и осязательныя подробности, безъ которыхъ историческія лица ни достаточно близки къ правдѣ, ни достаточно наглядны“, т.-е. *реальны*. Однѣ только подробности этого рода помогаютъ воображенію вѣрно воспроизвести мѣсто, гдѣ происходило историческое событіе или дѣйствіе, и самую фізіономію дѣйствовавшихъ лицъ. Эти частныя подробности требуютъ и соотвѣствующихъ имъ точныхъ и правдивыхъ выраженій. „Благородныя выраженія и краснорѣчивые періоды“ неумѣстны тамъ, гдѣ нужно воспроизвести картину суроваго быта — изобразить, напр., древнихъ римлянъ, „этихъ мужиковъ, которые грабятъ другихъ мужиковъ“. Общія выраженія недостаточно мѣткі и потому не удовлетворяютъ потребности полной исторической правды. О римлянахъ, напр., мало сказать, что они были „бѣдны и умѣренны“; такія выраженія, — говоритъ Тэнъ, — могутъ быть полезны въ историческомъ разсужденіи, но непригодны для исторической живописи. Здѣсь нужно говорить не разсудку, а воображенію читателя. „Воображеніе же его можно пробудить“ въ данномъ случаѣ лишь совершенно грубыми обыденными фактами деревенскаго быта; для этого „надо обойти съ читателемъ и осмотрѣть гумно, хлѣвъ, всѣ орудія и принадлежности хозяйства“ римскаго землевладѣльца; для этого надо выставить на видъ всѣ мелочи его домашняго быта во всей ихъ реалистической прозѣ (*les détails crus de leur vie domestique*). Мы видимъ изъ этого, какое значеніе Тэнъ придаетъ реалистическимъ подробностямъ въ исторіи. Безъ нихъ невозможна историческая живопись, не можетъ быть жизни и правды въ изображеніи прошлаго. Воспроизведеніе этихъ реалистическихъ подробностей есть главная услуга, которую можетъ оказать воображеніе историку, и одно изъ главныхъ условій художественности въ исторіографіи. Роль воображенія въ исторіи, однако,

еще не исчерпана тѣмъ, что, благодаря ему, историкъ становится ораторомъ или живописцемъ. Отдаваясь воображенію, историкъ, кромѣ того, приближается къ поэту. „Величайшій талантъ поэта, — какъ сказано у Тэна, — заключается въ томъ, чтобы хорошо изображать характеры“, или, какъ онъ говоритъ въ книгѣ о Лафонтэнѣ: „вы даете поэту идеи, онъ создаетъ изъ нея лицо“ — а именно, созданіе характеровъ и лицъ есть величайшая задача историка. Въ этомъ, слѣдовательно, задачи поэта и историка совпадаютъ, и вотъ почему историкъ можетъ быть великимъ поэтомъ, какимъ Тэнъ и называетъ Тацита. Такимъ образомъ, разсматривая взглядъ Тэна на художество въ исторіи, намъ приходится теперь коснуться вопроса, какъ онъ себѣ представляетъ отношеніе между научнымъ и поэтическимъ элементами въ исторіи, или отношенія поэта и ученаго въ историкѣ? Опредѣляя творчество поэта въ своей книгѣ о Лафонтэнѣ, Тэнъ говоритъ, что этотъ даръ поэзіи состоитъ изъ двухъ свойствъ. Первое изъ нихъ — это способность внутренне подражать и воспроизводить въ себѣ всякое чувство, всякій жестъ, всякую форму, всякую частную и осязательную черту лица, всякую мелочь въ его жизни и его дѣйствіяхъ. Тэнъ сравниваетъ эту способность поэта съ свойствомъ актера невольно подражать лицамъ, которыхъ онъ встрѣчаетъ; голосъ актера повышается или понижается вмѣстѣ съ ихъ рѣчью, его тѣло принимаетъ ихъ позу, его лицо ихъ выраженіе, ихъ душа, такъ сказать, переходитъ къ нему и преобразуетъ его. Тѣ, что съ актеромъ происходитъ на глазахъ у зрителя, тѣ поэтъ творитъ въ самомъ себѣ: онъ чувствуетъ тѣ, что видитъ, и все, что видитъ. Благодаря этой общей отзывчивости, поэтъ можетъ воспроизвести осязательныя и мелкія подробности событій и существъ — согласно съ свойствомъ нашего ума, который, какъ говоритъ Тэнъ, постигаетъ другія существа и событія лишь съ помощью мелкихъ и осязательныхъ подробностей.

Мы видимъ, что Тэнъ какъ въ живописи, такъ и въ поэзіи придаетъ особенное значеніе тѣмъ мелкимъ реалистическимъ подробностямъ — *les détails crus de la vie*, какъ онъ ихъ называлъ по отношенію къ римской исторіи, — безъ которыхъ онъ не можетъ себѣ представить жизненное и правдивое изображеніе предмета. Поэтъ однако, съ точки зрѣнія Тэна, обладаетъ не только указанной способностью воспроизводить въ себѣ явленіе во всѣхъ его мелкихъ чертахъ — „онъ не одно только зеркало“. Всякій разъ, — говоритъ Тэнъ, — когда поэтъ воспроизводитъ какую-нибудь черту, онъ чувствуетъ все, съ чѣмъ она связана и что отъ нея зависить, чѣмъ она обусловлена и что за нею слѣдуетъ,

что ей противоположно и что ей сродно. Благодаря этому, всегда зоркому, чутью, поэтъ творитъ *цѣльные* образы, или, точнѣе сказать, въ немъ возникаютъ *цѣльные* образы. Они слагаются въ немъ, какъ въ самой природѣ, безъ предустановленныхъ формулъ, при помощи отрывочно-схваченныхъ чертъ, но по общему плану и какъ бы въ силу врожденнаго инстинкта. Именно этимъ своимъ полнымъ соотвѣтствіемъ творчеству природы поэзія такъ драгоценна. Древніе, — восклицаетъ Тэнъ, — были правы, называя ее божественною и находя въ ея причудливой мощи образъ безсмертныхъ силъ, дѣйствующихъ въ вселенной ¹⁾.

XVI.

При такомъ взглядѣ на поэзію не легко, повидимому, примирить и соединить въ одной задачѣ творчество поэта или художника и работу ученаго. Хотя мелкіе факты и реалистическія подробности входятъ, по объясненію Тэна, также и въ творчество поэта или художника, но они служатъ имъ только строительнымъ матеріаломъ, который пригоденъ къ дѣлу лишь въ известномъ количествѣ; они имѣютъ значеніе только въ виду созданія цѣлаго и исчезаютъ въ немъ. Для ученаго же эти факты и подробности могутъ имѣть сами по себѣ цѣну; ученый можетъ настолько дорожить ими въ интересахъ истины и знанія, что они не будутъ укладываться въ рамки художественной формы, и ученый, можетъ быть, не найдетъ возможнымъ принести ихъ въ жертву гармоничности общаго впечатлѣнія. Такимъ образомъ, интересы, задачи и способъ дѣятельности поэта и ученаго могутъ далеко расходиться, и не такъ легко будетъ объединить научный и художественный элементы въ одномъ и томъ же произведеніи. Дѣйствительно, въ томъ же самомъ сочиненіи, откуда мы почерпнули приведенное выше опредѣленіе поэзіи, Тэнъ противопоставляетъ поэту ученаго и прославляетъ поэзію на счетъ науки. Тэнъ беретъ двухъ представителей той и другой области, которые встрѣтились между собою на одной и той же задачѣ — на изображеніи міра животныхъ. Одинъ изъ нихъ поэтъ и баснописецъ Лафонтэнъ, другой — почтенный и знаменитый естествоиспытатель Бюффонъ. Сопоставляя ихъ между собою и сравнивая ихъ приемы, Тэнъ заканчиваетъ свое изслѣдованіе характеристиккою, которая получаетъ общее значеніе и можетъ быть признана типическимъ портретомъ ученаго и поэта.

¹⁾ Lafontaine, p. 226.

И вотъ передъ вами ученый, — говоритъ Тэнъ, — обращаясь къ читателю, „великій писатель, который вступаетъ въ состязаніе съ поэтомъ, и котораго поэтъ, не думая о томъ, оставляетъ далеко за собою“. Бюффонъ знакомъ съ своимъ предметомъ самымъ научнымъ образомъ; онъ занимался даже анатоміей животныхъ, — правда, онъ занялся ею нѣсколько поздно, но во всякомъ случаѣ онъ знаетъ въ десять разъ больше фактовъ и частныхъ о животныхъ, чѣмъ Лафонтэнъ. „Онъ снабженъ, такъ сказать, длинными документами; онъ знаетъ положеніе и дѣйствіе каждаго мускула; на его письменномъ столѣ развернуты раскрашенные рисунки, вокругъ него размѣщены скелеты животныхъ, при немъ находится Добантонъ, который доставляетъ ему всѣ нужные анатомическіе препараты. Окруживъ себя этими пособиями, Бюффонъ приказываетъ себя одѣть, надѣваетъ парикъ, заворачиваетъ маншеты и величественно усаживается въ кабинетъ, чинно убранномъ на подобіе салона (*aussi noble qu'un salon*). Настроивъ себя такимъ способомъ, чтобы попасть въ тонъ „прекраснаго слога, онъ начинаетъ писать какъ свѣтскій человѣкъ съ правильностью и искусствомъ академика; онъ выводитъ предъ читателемъ своихъ животныхъ, не опускаясь до нихъ; онъ важенъ и во всемъ сохраняетъ достойный тонъ; онъ украшаетъ науку; онъ желаетъ, чтобы она вошла въ салоны; онъ вводитъ ее туда, укутывая ее въ ораторскія украшенія. Онъ объясняетъ, развиваетъ, доказываетъ; онъ сочиняетъ защитительныя и обвинительныя рѣчи, оправдываетъ осла, громитъ волка. Это его *парадные* страницы, на которыхъ отдыхаетъ читатель отъ его точныхъ описаній. Бюффонъ читаетъ эти мѣста „вслухъ“, распространяетъ ихъ, разнообразитъ, отдѣлываетъ, достигаетъ силы, ясности, изящества, всего — кромѣ жизни. Его животныя, такъ прекрасно разставленныя, прибранныя, остаются чучелами“.

Что же такое *жизнь*, и какимъ образомъ поэту удастся ее передать? благодаря какой особенной способности производить онъ въ насъ иллюзію? Какимъ образомъ можетъ онъ, однимъ или двумя краткими словами, воскресить для насъ душу и тѣло и ихъ дѣйствія? Ему нѣтъ надобности быть ученымъ; по крайней мѣрѣ, его знаніе другого свойства, чѣмъ наука. Ему противно всякое медленное нагроможденіе положительныхъ свѣденій; онъ не классификаторъ; онъ не обязанъ быть натуралистомъ или историкомъ, какъ того желалъ Гёте; ему не нужно быть „докторомъ общественныхъ наукъ“, какъ того желалъ Балзакъ; какъ скоро вы принимаетесь за описаніе, за анализъ, вы выходите изъ его области. „Ему не къ лицу ораторскіе приемы. Нѣтъ, путемъ неизвѣстнымъ Бюффону, онъ достигаетъ эффектовъ, которые были

недоступны Бюффону. Онъ обладаетъ *чутьемъ цѣлаго*; оно можетъ проявляться въ немъ медленно или быстро,—это все равно, —вотъ именно это чутье и дѣлаетъ художника. Въ немъ, помимо его воли, накапливается груда наблюдений и слагается въ одно общее впечатлѣніе, подобно тому какъ воды, сливающіяся со всѣхъ сторонъ, собираются въ одинъ резервуаръ, откуда онѣ потекутъ въ другомъ направленіи и иными руслами. Поэтъ видѣлъ, напри- мѣръ, приемы, взглядъ, шерсть, жилище, фигуру лисицы или хорька, и ощущеніе, произведенное въ немъ стеченіемъ всѣхъ этихъ осязательныхъ подробностей, вызываетъ въ немъ образы определенной личности (*d'un personnage moral*) со всѣми частностями ея способностей и наклонностей. Поэтъ не списываетъ, но переводитъ. Онъ не копируетъ того, что видѣлъ, но создаетъ на основаніи того, что видѣлъ. Онъ приводитъ къ единству (*il concentre*) и дѣлаетъ отсюда выводъ. Онъ переставляетъ (*transpose*), и это слово самое точное для изображенія его дѣятельности, ибо онъ переноситъ въ одинъ міръ то, что видѣлъ въ другомъ— въ міръ нравственный—то, что онъ видѣлъ въ мірѣ физическомъ. Зоологъ и ораторъ стараются своими вычисленіями и группировкой дать намъ въ концѣ извѣстное ощущеніе; поэтъ сразу овладѣваетъ этимъ ощущеніемъ, чтобы раскрыть намъ всѣ его послѣдствія. Они поднимаются на вершину съ трудомъ, ступень за ступенью,—поэтъ самъ собою возносится на высоту. Они познаютъ, а онъ знаетъ,—они доказываютъ, а онъ видитъ“.

Въ этой прекрасной и краснорѣчивой параллели между наукою и поэзіей проводится рѣзкое различіе между художественнымъ творчествомъ и научною работою. Съ одной стороны, обиліе фактическаго матеріала и сознательный, методическій трудъ—съ другой, чутье и творчество, которое заключаетъ въ себѣ и знаніе, и искусство. Мы подробно коснулись этого воззрѣнія Тэна, чтобы дать читателю возможность сличить этотъ взглядъ съ другимъ, въ разсмотрѣнію котораго мы теперь переходимъ. Съ выше изложенной точки зрѣнія можно было бы ожидать, что она вполне примѣнима и къ исторіографіи; и здѣсь ученая разработка фактическаго матеріала и группировка его по законамъ или причинамъ не совпадаетъ съ художественною переработкою этого матеріала. А между тѣмъ мы встрѣчаемъ иной, можно сказать, противоположный взглядъ на отношеніе художественнаго и научнаго элемента въ исторіи—въ томъ сочиненіи Тэна, которое непосредственно слѣдовало за его книгой о Лафонтэнѣ. Въ изслѣдованіи о Ливіѣ Тэнъ ставитъ себѣ задачею примирить науку съ искусствомъ въ исторіи, соединить ихъ въ одной общей цѣли, до-

казать ихъ тѣсную связь и непосредственную *преемственность*. Съ этою цѣлью Тэнъ старается доказать, что историкъ, придавая своей научной работѣ художественную форму, облачаетъ ее не въ чуждый ей и виѣшній покровъ. Напротивъ, эта художественная форма является естественнымъ выраженіемъ и довершеніемъ научнаго содержанія. Между этимъ содержаніемъ и художественной формой Тэнъ усматриваетъ такую же органическую связь, какая существуетъ между листьями растенія и растительной силой, ихъ производящей. Тэнъ доводитъ свою мысль объ органической связи между наукой и искусствомъ до признанія полного тождества между ними, хотя, какъ видно изъ выше приведенныхъ словъ, Тэнъ жаловался на разобщенность научной и художественной стороны въ трудахъ новыхъ историковъ; онъ выставляетъ художественную форму не только какъ требованіе отъ историка, а какъ присущее ему свойство. „Въ историкѣ, — говоритъ Тэнъ, — художникъ не отдѣляется отъ ученаго. Оба свойства его взаимно помогаютъ другъ другу, или, лучше сказать, составляютъ лишь одно, которое то подготавливаетъ матеріалъ и обсуждаетъ его, то повѣствуетъ и завершаетъ, и дважды приложенное къ одному и тому же предмету — раскрываетъ сначала истину, затѣмъ жизнь. Художественное совершенство, по словамъ Тэна, не только достигается лишь научнымъ совершенствомъ, но законченная наука сама собою производитъ высшее художество или, какъ Тэнъ выражается въ другомъ мѣстѣ еще парадоксальнѣе, — „историкъ обрѣтаетъ красоту, потому что ищетъ истину“.

Этотъ взглядъ на отношенія между художественной и научной стороной въ исторіи чрезвычайно характеренъ для Тэна, и мы поэтому должны познакомиться съ нимъ ближе.

Посмотримъ же, какъ Тэнъ выясняетъ и проводитъ въ подробностяхъ свою мысль о тождествѣ искусства и науки. Въ трехъ отношеніяхъ указываетъ онъ въ исторіи полную аналогію между приемами ученаго и художника: въ изображеніи характеровъ, въ повѣствованіи и въ языкѣ или слогѣ.

Ученый изучаетъ характеры лицъ и народовъ, потому что характеръ есть истинная причина частныхъ и общественныхъ дѣйствій. Для этой цѣли ученый старается подмѣтить въ данномъ лицѣ или народѣ характерныя черты, и такъ какъ научная работа заключается въ классификаціи фактовъ и установленіи между ними связи, то онъ группируетъ подмѣченные имъ черты въ стройную систему и для этого подводитъ ихъ подъ одну *исходящую наклонность*, отъ которой они находятся въ зависимости. Но главный талантъ поэта или художника заключается именно въ рельефномъ изображеніи характеровъ, потому что,

если этого нѣтъ, дѣйствующія лица—простыя маски, а не живые люди. Съ этою цѣлью художникъ, также какъ и ученый, схватываетъ отличительныя черты, потому что онѣ однѣ рисуютъ лицо и занимаютъ читателя; затѣмъ онѣ ихъ приводятъ во взаимное согласіе и подчиняетъ одной господствующей наклонности, „ибо гармонія есть красота и доставляетъ наслажденіе“. Такимъ образомъ, ученый и художникъ въ исторіи идутъ однимъ и тѣмъ же путемъ и приходятъ къ одной общей цѣли, въ которой истина сливается съ красотой. Точно такъ же ученый собираетъ, какъ матеріалъ для своего повѣствованія, самыя малѣйшія частности, самыя незначительныя подробности о нравахъ, чувствахъ, рѣчахъ и пр.; затѣмъ, какъ мыслитель, ученый дѣлаетъ выборъ изъ этой массы матеріаловъ, группируетъ факты сообразно съ ихъ значеніемъ, выводитъ изъ нихъ законы, подводитъ частныя законы подъ болѣе общіе. То же дѣлаетъ и художникъ: „онъ собираетъ тѣ же событія, потому что изъ нихъ слагается его повѣствованіе; онъ запасается тѣми же подробностями, потому что однѣ частности живо рисуютъ воображенію мѣстности, дѣйствія и физіономіи, и потому что разсказъ историка долженъ быть осязателенъ для чувства; художникъ группируетъ факты въ томъ же порядкѣ, какъ ученый, и тѣ же самыя опускаетъ или выставляетъ на видъ. Не значить ли это, что искусство получаетъ подробности отъ науки, а расположеніе и выборъ фактовъ отъ философіи,—что повѣствованіе становится живымъ, благодаря компіляціи фактовъ, и цѣльнымъ, благодаря теоріи, и что изъ ученыхъ разсужденій вырастаетъ эпопея?“ Какъ не узнать въ этомъ разсужденіи будущаго историка яacobинцевъ, и не есть ли это краснорѣчивая *oratio pro domo*? Что касается до слога,—прибавляетъ Тэнь,—то онъ не далекъ отъ совершенства, когда наука обладаетъ полнотою. Тэнь объясняетъ это тѣмъ, что когда историкъ усвоилъ себѣ совокупность описываемыхъ имъ явленій и понялъ ихъ порядокъ, ихъ смыслъ и ихъ необходимость, когда онъ „видитъ передъ собою неудержимый потокъ устремившихся къ своей цѣли фактовъ,—тогда это движеніе по-неволѣ съ собой увлекаетъ и его; онъ тронутъ всѣми этими горестями и радостями, онъ принужденъ любить и ненавидѣть, и бороться всею душою съ своими дѣйствующими лицами“. „А въ чемъ же заключается, — спрашиваетъ Тэнь,—художественный слогъ, какъ не въ участіи, которое авторъ принимаетъ въ повѣствованіи,—въ волненіи, которое оно въ немъ вызываетъ, въ страшныхъ порывахъ, въ разнообразныхъ отбѣнахъ чувства, въ трепетѣ души, которые обнаруживаются въ выборѣ словъ и оборотовъ, въ звукахъ и симметріи его періодовъ?“

Едва ли кто-нибудь станетъ возражать противъ выраженной здѣсь мысли, что полное и продуманное знаніе въ исторіи даетъ одушевленіе, а одушевленіе можетъ быть источникомъ или условіемъ художественнаго слога. Но Тэнъ идетъ дальше: онъ утверждаетъ, что полное знаніе непремѣнно порождаетъ изъ себя художественную форму. „Если, — говоритъ онъ, — историкъ ясно представляетъ себѣ факты, если онъ обдумалъ всѣ отдѣльныя части своей идеи, если онъ въ точности постигъ ея силу, ея свойства и ея примѣненіе—онъ найдетъ слова, и надлежащее выраженіе выйдетъ на встрѣчу точному понятію, потому что искусство писать—не что иное, какъ искусство мыслить, и для того, чтобы умѣть хорошо сказать, достаточно — глубокаго размышленія“. Итакъ, — заключаетъ Тэнъ, — „изображеніе лицъ, повѣствованіе, слогъ и отдѣльныя выраженія, т.-е. всѣ стороны искусства — произведеніе науки. Чѣмъ она полнѣе, тѣмъ совершеннѣе ея художественная форма; наука завершается и вѣнчается искусствомъ, какъ растеніе его цвѣтомъ“. Можетъ быть, это самыя парадоксальныя страницы изъ всѣхъ написанныхъ Тэномъ; какъ мы видѣли, онѣ находятся въ полномъ противорѣчій съ его взглядомъ, высказаннымъ въ сочиненіи о Лафонтэнѣ, на творчество поэта и его отношеніе къ работѣ ученаго. Такая непоследовательность объясняется не только тѣмъ, что Тэнъ въ двухъ своихъ *тезисахъ* задавался двумя противоположными задачами: въ первой—объяснить и прославить поэзію, какъ вершину художественнаго творчества; во второй — поднять науку на степень искусства, и потому доказать ихъ связь и тождество. Эта послѣдняя теорія явилась у Тэна не случайно, такъ какъ она находится въ самой тѣсной связи какъ съ характеромъ его таланта и съ его научными и художественными приѣмами, такъ и съ общимъ его воззрѣніемъ на міръ и на цѣль и методъ науки.

Во-первыхъ, теорія Тэна, а именно, что искусство есть произведеніе науки,—объясняется и, можно прибавить, опровергается собственною дѣятельностью Тэна, какъ ученаго и писателя. Тэнъ — ученый и художникъ въ одномъ лицѣ; художественная форма является у него постояннымъ дополненіемъ его научной работы, и потому его теорія, что наука ведетъ къ искусству, — выражаетъ собою свойство и потребность его натуры. Эта теорія, высказанная имъ въ одномъ изъ его первыхъ сочиненій—въ изслѣдованіи о Ливіѣ—представляетъ собою программу, которой онъ самъ слѣдовалъ, въ особенности же въ послѣднемъ изъ его сочиненій—въ „Исторіи якобинцевъ“. Нигдѣ стремленіе Тэна къ полному знанію не проявилось такъ безгранично, какъ въ этомъ трудѣ; нигдѣ правило, вмѣненное Тэномъ въ обязанность историка—собрать все

достоверное (le critique recueille tout le vrai), не нашло себя такого безусловнаго примѣненія. Въ „Исторіи якобинцевъ“ можно наглядно прослѣдить и вторую часть программы, изложенной Тэномъ въ книгѣ о Ливіѣ. Тэнъ требуетъ здѣсь, чтобы собранные факты были переработаны философскою мыслію, т.-е. связаны общими причинами и сгруппированы для выраженія общаго закона или общей мысли. Такъ Тэнъ и поступаетъ въ „Якобинцахъ“. Фактическій матеріалъ въ этомъ сочиненіи расположенъ въ необыкновенно стройной архитектурѣ. Каждый параграфъ представляетъ рядъ однородныхъ фактовъ, подъ вліяніемъ которыхъ у читателя составляется извѣстное убѣжденіе; каждый родъ такихъ фактовъ заканчивается формулою, ясно и мѣтко выражающей смыслъ этихъ фактовъ и точно опредѣляющей убѣжденіе читателя. Эта заключительная формула служитъ, съ своей стороны, переходнымъ звеномъ къ слѣдующему ряду фактовъ, и нѣсколько такихъ параграфовъ стройно группируются въ одну главу, заключительная формула которой также мѣтко выражаетъ ея содержаніе и составляетъ ступень къ общей мысли всего сочиненія. Но соответствуетъ ли этой полнотѣ науки совершенство художественной формы?

Всякій читатель „Исторіи якобинцевъ“ вѣроятно вынесетъ противоположное убѣжденіе и придетъ къ выводу, что въ этомъ случаѣ обиліе собранныхъ фактовъ помѣшало художественной отдѣлкѣ сочиненія. Художественный талантъ Тэна, конечно, и здѣсь проявляется,—но, согласно съ его теоріей о какомъ-то механическомъ переходѣ науки въ искусство, въ „Исторіи якобинцевъ“ научный и художественный элементы находятся лишь въ механическомъ сочетаніи.

Какого же рода этотъ художественный талантъ, проблески котораго проявляются всегда среди самой сухой научной работы Тэна? И въ этомъ вопросѣ его собственная теорія даетъ намъ указанія. Талантъ Тэна яро окрашенъ расовымъ характеромъ: ему, какъ и его расѣ, свойственно прежде всего *ораторское краснорѣчіе*; ораторскіе приемы, которые онъ такъ мѣтко изображаетъ и критикуетъ, встрѣчаются у него самого на каждомъ шагѣ, особенно въ его болѣе раннихъ сочиненіяхъ. По поводу, напр., спокойствія и величавой сжатости рѣчи въ „Духѣ законовъ“, Тэнъ говоритъ, что Монтескьё тѣмъ же языкомъ, какимъ давалъ законы народамъ, устанавливалъ законы и для самихъ событій.

Но Тэнъ обладалъ не однимъ ораторскимъ воображеніемъ; онъ былъ надѣленъ въ не меньшей степени воображеніемъ живописца. Перо оратора у него часто уступаетъ мѣсто кисти живописца, и послѣдней онъ обязанъ самыми блестящими и оригинальными

нальными страницами. Этой стороной своего таланта Тэнъ примыкаетъ къ современной ему школѣ *натуралистовъ* и *колористовъ* въ французской литературѣ. Подобно имъ его талантъ питается частными, реалистическими подробностями обыденной жизни и любитъ картины съ яркими красками изъ быта животныхъ и физиологической жизни человѣка. Въ этомъ случаѣ на самомъ дѣлѣ существуетъ полная аналогія между научной теоріей Тэна и художественной формой его произведеній — наука какъ будто *производитъ* искусство. Основное стремленіе Тэна объяснять духовныя явленія физическими условіями даетъ направленіе его воображенію, снабжаетъ его живопись сюжетами и красками, отражается на его слогѣ и внушаетъ ему мѣткіе эпитеты и эффектные выраженія.

Тэнъ однако не только реалистическій живописецъ и колористъ въ слогѣ. Ему не чуждо и поэтическое воображеніе, и въ особенности его изображенія природы часто пронизаны глубокой поэзіей. Укажемъ, какъ на образчики, на описаніе солнечнаго захода надъ Парижемъ—въ научно-сухомъ изслѣдованіи „De l'Intelligence“ и описаніе лѣса по склону Вогезовъ въ статьѣ объ Ифигеніи, написанной какъ бы подъ наитіемъ поэтическаго генія, произведенію котораго она посвящена.

Изложенная выше теорія Тэна о совпаденіи научнаго и художественнаго совершенства, впрочемъ, служить не только къ объясненію свойства его таланта и формы его произведеній, но имѣетъ кромѣ того еще болѣе общее значеніе. Ею завершается вся его научная система. Она служитъ выраженіемъ основному его стремленію къ единству, знанію и научному объединенію всѣхъ явленій, которыя представляетъ міръ господствомъ общихъ законовъ, а отождествленіемъ всѣхъ явленій съ механическими процессами Тэнъ хотѣлъ объединить міръ духовный съ міромъ физическимъ; такимъ же механическимъ процессомъ онъ думалъ связать науку съ искусствомъ. Какъ духовныя явленія представлялись ему естественнымъ плодомъ процессовъ физическихъ, такъ онъ представлялъ художественную форму непосредственнымъ завершеніемъ и цѣлкомъ науки. Механическая теорія дала подъ талантливымъ перомъ Тэна результаты цѣнные для исторической науки и почти всегда блестящіе по своей художественной формѣ, но она была все-таки безсильна свести на механическій процессъ—дѣйствіе личности въ исторіи и художественное творчество.

НА УЩЕРБѢ

РОМАНЪ.

ХП *).

Павелъ Павловичъ Гремущинъ стоялъ подъ навѣсомъ подъѣзда, старательно надѣвая перчатки и думалъ: вернуться ему—или нѣтъ—въ шинельную рестора́на и тамъ причесать себѣ волосы, на что онъ при Ермиловѣ не рѣшился.

Кто сталъ бы, во время обѣда, присматриваться къ тому, какъ онъ одѣтъ, нашелъ бы, что на немъ все было новое, почти съ иголки, чистое и хорошо спитое. Отложной воротникъ рубашки блестялъ, галстухъ былъ темный, но съ изящнымъ рисункомъ атласа и съ дорогой булавкой. Въ шинельной Гремущинъ могъ, кромѣ прически, заняться и вообще своею виѣшностью. Ему ужасно не нравилась краснота его щекъ, хотя издали онъ каждому казался скорѣе блѣднымъ, чѣмъ съ краснотой на лицѣ. У него всегда имѣлась въ жилетномъ карманѣ пудра въ табакеркѣ изъ слоновой кости, съ маленькой пуховкой. Когда ему казалось, что у него выступаютъ на щекахъ пятна, онъ всегда улучалъ минуту, чтобы попудрить себѣ щеки.

Красныя пятна Сохина, за обѣдомъ, не разъ наводили его на неприя́тное сближеніе съ собственной наружностью.

„Вотъ и у меня пожалуй также“,—думалъ онъ и незамѣтно для другихъ проводилъ ладонью по щекѣ.

Но въ немъ пересилило стыдливое чувство передъ чужими, въ шинельной. Онъ сошелъ съ подъѣзда и повернулъ пѣшкомъ по Неглинной, пересѣлъ улицу и тихимъ шагомъ двигался по бульвару.

*) См. выше: янв., 119 стр.

„Она навѣрно дома,—думалъ онъ, спуская голову ниже, чѣмъ ее обыкновенно держать на улицѣ.—Теперь часъ удобный, не больше восьми. И, кажется, сегодня ея день. Какъ жаль, что неготовъ томикъ Бодлера! Я скажу, что за этимъ, нарочно, и зашелъ: извиниться, сообщить, что къ субботѣ переплетчикъ общалъ“...

У Павла Павловича была общая съ Ермиловымъ охота къ дорогимъ художественнымъ переплетамъ. И вообще онъ—большой собиратель.

Не можетъ онъ набраться духа—заѣзжать или заходить къ ней безъ этихъ совершенно дѣтскихъ колебаній, безъ какой-то новой застѣнчивости, которой у него нѣтъ въ характерѣ.

Онъ обидчивъ и подозрителенъ—да, но не застѣнчивъ. Съ людьми нельзя не быть осторожнымъ и нельзя прощать имъ всѣ не деликатности и грубости, какими полны теперь отношенія людей, считающихъ себя культурными.

Павелъ Павловичъ, про себя, находитъ всю „культуру“, не въ одной Россіи, но и вездѣ, за границей, чрезвычайно первобытной и любитъ приводить мнѣніе японцевъ, посланныхъ въ Европу и нашедшихъ, что европейцы—совершенные варвары, потому что выставляютъ на показъ говяжьи туши въ мясныхъ лавкахъ, сморкаются въ куски холста, которые сейчасъ же послѣ того прячутъ въ карманы, и съ такой гадостью ходятъ потомъ цѣлые дни.

Застѣнчивость и просто робость, близкая къ трусости, разбирала его и теперь. Но эта тревога всегда даетъ ему неизвѣданныя ощущенія; онъ забываетъ, что ему сорокъ лѣтъ; онъ не согласенъ былъ бы освободиться, сразу и навсегда, отъ подобныхъ чувствъ.

„Можно бы взять извозчика. Идти довольно далеко: пройти по всему Кузнецкому и черезъ Фуркасовъ переулокъ на Мясницкую; да и оттуда еще порядочный кончикъ“...

Не любитъ онъ также и подниматься къ ней въ высокій второй этажъ новаго капитальнаго дома, гдѣ однако лифта не заведено.

Онъ знаетъ, что робость его будетъ все расти, съ каждой ступенькой, и дойдетъ до спазмъ—съ замираніемъ сердца на второй площадкѣ, передъ высокой дверью, покрытой темною краской подъ лакомъ, съ матовой бронзовой доской, гдѣ онъ непременно про себя прочтетъ—вверху дощечки: „Mademoiselle D. Sagus“, а внизу: „Доротея Васильевна Карусъ“.

Пока человекъ отворить дверь, онъ изноетъ.

Все это онъ впередъ видѣлъ, и это-то влекло его въ Кузнецкому и далѣе, по Фуркасову переулку.

Давно ли они знакомы? Какихъ-нибудь три недѣли... Онъ ее еще не знаетъ. Эта дѣвушка—богатая, свободная, живущая какъ молодая дама—полна для него таинственности и притягательной силы.

Она чувственна... Стоитъ только бросить хоть бѣглый взглядъ на ея лицо, глаза, губы, станъ. Въ ея жилахъ течетъ смѣшанная кровь, дающая часто самые рѣдкіе экземпляры породистой расы. По отцу она иностранка. Имя—нѣмецкое; но, кажется, отецъ былъ что-то въ родѣ венгерца... Ему говорили объ этомъ... Мать—русская, съ юга, откуда-то изъ Бессарабіи или Одессы, барскаго рода, кажется, даже княжна съ восточной или румынской фамиліей.

И голосъ—этотъ низкій, хищный голосъ...

„Хищный“,—повторялъ онъ уже много разъ, ходя у себя по кабинету—и не въ силахъ былъ оторваться отъ чисто физическаго ощущенія звука у него въ головѣ, какъ то бываетъ въ болѣзненныхъ состояніяхъ внутренняго уха, или когда примешь большую дозу хинина.

Къ музыкѣ Гремущинъ былъ всегда равнодушенъ, давно считалъ ее „низменнымъ“ искусствомъ, нимало не радовался тому, что стали въ русскихъ столицахъ и повсюду предаваться „запоемъ“ дилеттантству, учиться въ консерваторіяхъ, бѣгать по концертамъ, точно выполняя какой-то высшій патріотическій долгъ.

По его толкованіямъ выходило всегда, что музыка развивается въ обществѣ въ ущербъ умственному труду, литературѣ, всѣмъ другимъ видамъ искусства. Слушать музыку—разсуждалъ онъ про себя и доказывалъ въ спорахъ—это значить ни о чемъ опредѣленно и логически не думать, а отдаваться волненію чувственности или мечтаній, безформенныхъ, растлѣвающихъ, вредныхъ.

И вотъ голосъ женщины заговорилъ ему о чемъ-то неслыханномъ для него, захватилъ его, привелъ въ состояніе близкое къ гипнозу. Когда онъ, вернувшись отъ нея, въ первый вечеръ, хотѣлъ найти настоящее опредѣленіе этого дѣйствія—онъ началъ искать французскихъ, болѣе рельефныхъ выраженій, и у него вышла, даже вслухъ, фраза:

— Elle a des troublances suggestives.

Онъ не увѣренъ—можно ли сказать по-французски „trouble-lance“; но эта фраза говорила именно то, что голосъ и наружность Доры—такъ ее зовутъ сокращенно—внесли въ его существо.

Въ первый разъ онъ не сказалъ ничего женѣ о своемъ знакомствѣ съ Дорой Васильевной Карусъ—не то чтобы скрылъ умышленно, съ задней мыслью; а точно его что-то особенное

удержало... Про посѣщенія свои днемъ и вечеромъ—тоже ничего не сказалъ.

Около двадцати лѣтъ женатъ онъ и никогда еще не зналъ, даже и до женитьбы, такой юношеской тревоги, какая наполнила его, все явственнѣе, по мѣрѣ того, какъ онъ подходилъ въ капитальному дому съ каріатидами, выстроенному какимъ-то табачнымъ торговцемъ.

Переулокъ остался позади. Онъ на Маросейкѣ... Еще минутъ пять—и на углу встанетъ домъ, и вечеромъ не теряющій своей розоватой окраски.

Павель Павловичъ ускорилъ шагъ, заправилъ за правое ухо прядь длинныхъ волосъ и вошелъ въ сѣни, гдѣ швейцаръ носить не чуйку по московской модѣ, а коричневую шинель, и уже знаетъ его. Каждый разъ, уходя изъ квартиры номеръ пятый, онъ опускалъ ему въ руку два двугривенныхъ.

И эта слишкомъ большая дань заставляла его чуть не краснѣть.

— Дома Доротея Васильевна?—спросилъ онъ бойко, своимъ высокимъ теноркомъ.

Швейцаръ могъ принять его за очень смѣлаго и увѣреннаго въ себя барина. А у него положительно замерло въ груди отъ ожиданія: дома или нѣтъ. Вѣдь онъ пошелъ на авось... Кажется, она ему говорила, въ послѣдній разъ, про какой-то день въ недѣлю, когда бываетъ дома; но онъ дѣлается въ ея присутствіи до-нельзя разсѣяннымъ... Онъ могъ дома возстановлять въ памяти только общій колоритъ впечатлѣній и отрывочныя фразы; но ничего отчетливо не помнилъ изъ того, что она ему говорила.

— Пожалуйте... У нихъ сегодня пріемъ.

— По средамъ, значитъ?

— По средамъ, всегда.

Такъ это его обрадовало, что онъ порывисто протянулъ руку въ швейцару и шопотомъ сказалъ ему:

— Пожалуйста, голубчикъ, снимите съ меня... Я здѣсь оставлю пальто.

Сѣни отапливались, и онъ это вообще дѣлалъ. Противъ вѣшалки висѣло длинное зеркало. Оно соблазнило Гремушина. Поспѣшно вынулъ онъ изъ кармана жилета складную гребеночку и табакерочку съ пудрой и пуховкой; передъ зеркаломъ расчесалъ волосы около прямого пробора; а потомъ ловкимъ движеніемъ пуховки прошелъ по щекамъ, которыя на легкомъ морозѣ скорѣе поблѣднѣли, чѣмъ покраснѣли.

По лѣстницѣ сталъ онъ подниматься очень медленно, слегка наклонивъ голову въ бокъ, и короткимъ шагомъ. На площадкѣ

во второмъ этажѣ, ярко освѣщенной, онъ перевелъ духъ. Лобъ его сдѣлался немного влаженъ. Онъ вынулъ батистовый платокъ, надушенный духами Sandringham, провелъ имъ по лбу, вздохнулъ и приложился къ пуговкѣ звонка.

И тутъ только вспомнилъ, что не спросилъ у швейцара, есть ли уже гости, или никого еще нѣтъ?

Ему сейчасъ отперъ лакей съ такимъ же бритымъ лицомъ, какъ у него, и отворилъ ему, какъ отворяютъ въ пріемные дни.

ХІІІ.

Гремушинъ прошелъ первымъ салономъ, гдѣ освѣщеніе скрывалось въ двухъ углахъ, за трельяжемъ. — Около картинъ, работы московскихъ художниковъ, зажжены были лампы съ рефлекторами. Вѣѣво стоялъ бебкеровскій рояль. Отдѣлка комнаты, полной мебели и objets d'art, говорила достаточно о художественныхъ вкусахъ хозяйки. Можно было почувствовать себя совсѣмъ не на купеческой улицѣ въ Москвѣ, а въ Парижѣ. Французскій оттѣнокъ вкуса лежалъ на всемъ, до бездѣлицъ.

— Барышня у себя, въ кабинетѣ, — сказалъ официантъ и показалъ гостю рукой на дверь, завѣшенную японской портьерой.

Въ кабинетѣ Доротеи Васильевны свѣту было меньше, чѣмъ въ гостиной. Она его отдѣлала темнымъ атласомъ съ чернымъ деревомъ. Такого же черного дерева столъ помѣщался въ нишѣ, съ балдахиномъ. Надъ нимъ висѣлъ портретъ въ овальной рамкѣ, работы парижскаго живописца, очень дорогой, гдѣ Дора Васильевна сидѣла причесанная по-испански, съ пудрой на волосахъ, отъ чего казалась почти блондинкой...

— А!.. Monsieur Гремушинъ! — встрѣтила она его возгласомъ, какъ встрѣчаютъ уже добрыхъ знакомыхъ. — Вы меня находите въ одиночествѣ. Я очень рада... Нынче я совсѣмъ глупа и большого разговора не вынесу... Садитесь...

Она говорила низко, немного картаво, съ какимъ-то нерусскимъ — не то что акцентомъ, а ритмомъ рѣчи. И ритмъ, и картавость — дѣйствовали на Гремушина, привлекали и тревожили его.

„Une troublance suggestive“, — мысленно повторилъ онъ, когда изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ глядѣлъ на нее и отвѣшивалъ ей низкій и довольно церемонный поклонъ.

Онъ держался чопорно и продолжалъ испытывать стѣсненіе. Въ его манерахъ было что-то немножко старинное: такъ держали

себя, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, русскіе господа, воспитанные швейцарцами или аббатами изъ эмигрантовъ.

Доротея Васильевна пригласила его сѣсть на пуфъ, около себя.—Сама она сидѣла на короткомъ диванчикѣ подъ пальмой—большой пальмой, шедшей до верхняго карниза.

Никто бы не призналъ въ ней уроженку этой самой Москвы, явившейся на свѣтъ въ приходѣ „Харитонія въ Огородникахъ“. Всего ближе была она по типу къ испанкѣ, гдѣ-нибудь въ Мадридѣ или Бургосѣ, только покрупнѣе ростомъ и пышнѣе бюстомъ, при тонкихъ, скорѣе мелкихъ чертахъ лица, чрезвычайно еще молодого на видъ.

Ей пошелъ двадцать-четвертый годъ.

Волосы черные, блестящіе и густые, но плоскіе—въ этомъ сказывалась венгерская ея порода—покрывали половину лба и завернуты были на маковѣтѣ высокой пирамидой съ косо поставленнымъ позолоченнымъ гребнемъ, что придавало ей, еще болѣе, нѣчто испанское, также какъ и привычка выпускать узкія и подстриженные пряди подъ висками, въ родѣ короткихъ бакенбардъ. Глаза съ золотистыми крапинками глядѣли на Гремущина немного затуманеннымъ взглядомъ, отъ мигрени, и ихъ выраженіе дѣлалось отъ этого еще привлекательнѣе.

Онъ остановился быстро, изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ, на этомъ мраморномъ бюстѣ, совсѣмъ точно скованномъ въ темномъ корсажѣ съ кружевными прошивками на рукахъ, бѣлыхъ и твердыхъ, немного полныхъ.

— Вотъ сюда,—еще разъ пригласила она его сѣсть.

Шляпу онъ неловкимъ движеніемъ поставилъ на коверъ и сталъ снимать перчатки: пріемъ застѣнчивыхъ и щекотливыхъ людей, желающихъ выиграть время.

— Вы не совсѣмъ здоровы?—тихо и почтительно освѣдомился онъ, съ низкимъ наклоненіемъ головы.

— Ничего!.. Пройдетъ... У меня есть вѣрное средство.

— Какое? Позвольте узнать.

— Гуарана... Я приняла сейчасъ полпачки. Не подѣйствуетъ, приму остальное—и непременно пройдетъ.

И эта маленькая фраза о гуаранѣ вышла у нея очень пріятнымъ звукомъ.

Онъ уже находился въ началѣ „гипноза“. Еще пять, десять минутъ, и голова перестанетъ разсуждать, и весь онъ отдастся ощущеніямъ—новымъ, пугающимъ и сладкимъ, гдѣ своя воля съ каждымъ мгновеніемъ все уходитъ и уходитъ.

— Гуарана...—повторилъ онъ, чувствуя дѣтское удовольствіе

отъ повторенія звука, выпедшаго изъ ея сочныхъ, малиновыхъ губъ, окаймленныхъ сверху чуть замѣтнымъ темнымъ пушкомъ. — Вы страдаете мигренями... При такомъ блистательномъ...

Онъ не нашелъ существительнаго. „Здоровье“ показалось ему пошло; а „видъ“ — недостаточно отвѣчало на его мысль.

— Вотъ и подите! — нѣсколько живѣе откликнулась она. — Это обманчиво... Я не даромъ дитя Москвы.

— Будто?

Онъ не зналъ почти ничего про ея прошедшее.

— Московская... самая настоящая...

Она тихо рассмѣялась и показала свои зубы.

— Это почти невѣроятно!

— Да, вотъ здѣсь, по сосѣдству, на Чистыхъ-Прудахъ... Но послѣ... гдѣ только не проходило мое дѣтство!

— Въ Парижѣ? — подсказалъ Гремушинъ.

Ему почему-то хотѣлось, чтобы она была воспитана тамъ.

— И въ Парижѣ.. Но не очень долго... Туда я стала ѣздить уже позднѣе, взрослой дѣвушкой. Мамаша была слабаго здоровья, — она закрыла на секунду глаза, — жили мы и въ Каирѣ, и въ Сицилии, и въ Тиролѣ, въ Римѣ, долго на Корнишѣ...

— Въ Ниццѣ? — подсказалъ опять Гремушинъ.

— Въ Санъ-Ремо, въ Каннѣ, въ Іерѣ... Съ тѣхъ поръ я не люблю этого юга... Тамъ слишкомъ все пахнетъ чахоткой.

— И полюбили нашу зиму... Москву?

— Да, вы угадали: и то, и другое. Люблю зиму... Чувствую слабость къ старушкѣ Москвѣ.

— Къ родной татарщинѣ и Византіи?

— Ха, ха!.. Вы это сказали такимъ тономъ... Вы развѣ большой любитель Европы?

— Люблю все, что культурно, изящно и разумно.

Выговоривъ эту фразу, онъ тотчасъ же ужасно покраснѣлъ и пристыдилъ себя: фраза показалась ему педантствомъ, непростительнымъ безвкусіемъ; а еще двѣ недѣли назадъ онъ былъ бы доволенъ такимъ краткимъ и значительнымъ изреченіемъ.

— Европа — протянула Доротея Васильевна и улыбнулась на особый ладъ, — не то пренебрежительно, не то съ отгѣнкомъ жалобнаго чувства. — Это звучитъ хорошо; но и въ ней все то же... я не умѣю сказать по-русски.

— Скажите по-французски.

— *La grande misère de l'homme.*

Голосъ ея прозвучалъ протяжно и глухо.

Гремушинъ ни одной секунды не подумалъ, что она рисуется,

хочетъ напустить на себя нѣчто красивое и модное. Онъ уже зналъ, что она любитъ писателей и поэтовъ съ отгѣнкомъ пессимизма... Бодлеромъ восхищалась она сознательно и приводила ему два-три стихотворенія, которыя и онъ считалъ самыми крупными и глубокими по силѣ горечи и безнадежному взгляду на все человѣческое и земное.

Это напомнило ему то, что онъ ей хотѣлъ сказать о переплетѣ книжки.

— Вашъ переплетъ—увы!—будетъ готовъ только къ субботѣ.

— Ничего!.. У меня есть другой экземпляръ „*Les fleurs du mal*“—мой, не покидающій меня... весь рванный, безъ всякаго переплета.

Какъ она сдѣлалась „пессимисткой“ въ своихъ литературныхъ вкусахъ, онъ не зналъ и не рѣшился спросить ее. Вопросы—ея *abrupto* считалъ онъ слишкомъ непочтительными.

Но она сама отвѣтила на его тайный вопросъ.

— Эта книжка... меня просвѣтила. Я вѣдь до двадцати лѣтъ не имѣла даже понятія о томъ: кто таковой былъ этотъ Бодлеръ. И Эдгара Поэ не читала...

— Хотя знаете по-англійски.

— Но плохо... И Флорберъ былъ для меня—просто звукъ... Совершенно случайно... прохожу въ Парижѣ, мимо *Galerie d'Orléans*... вы помните, въ *Palais-Royal*?

— Гдѣ издатель Plon?

— Да; только я остановилась подъ колоннадой... Тамъ торгуетъ... un petit libraire, у котораго можно имѣть все. Подхожу и беру книжку, уже старую... первое изданіе...

— Оно у меня есть...—выговорилъ чуть слышно Гремущинъ.

— Съ виньеткой?

— Такъ точно.

— Заплатила я что-то очень дешево... два франка... Читать стала на ночь, въ постели... Дурная привычка, я и теперь ее не бросила... Читала до разсвѣта и больше не могла уже заснуть.

— И стали пессимисткой?

— Я не знаю, какъ меня слѣдуетъ называть... Дѣло вѣдь не въ томъ.

Она примолкла и, обернувшись немного въ сторону, прищурила глаза...

Гремущинъ уже ни о чемъ не хотѣлъ ее спрашивать и ждалъ, чтобы она продолжала говорить.—Ея голосомъ онъ наслаждался... Тѣ, что она говорила, не было особенно умно или ново, или

своеобразно; но какъ она все это сказала, — отзывалось настоящей Европой, чѣмъ-то совсѣмъ не московскимъ.

Не одну расу чувствовалъ онъ въ ней — и долгую школу жизни, и дѣйствительныя испытанія. Такъ говорить могла только женщина, уже утратившая не мало иллюзій.

— Чай готовъ! — доложилъ лакей въ дверяхъ.

— Госпожа Терри тамъ? — спросила хозяйка.

— Тамъ-съ.

— Хорошо.

Она поднялась и сказала гостю:

— Кажется, никого не будетъ. Я очень рада.

XIV.

Въ столовую Павелъ Павловичъ вступалъ въ первый разъ.

Тамъ, за серебрянымъ самоваромъ, сидѣла англичанка, мистрисъ Терри, сопровождающая всюду Доротею Васильевну за границу — не старая еще особа, брюнетка и съ мелкими, совсѣмъ не британскими чертами лица, улыбающаяся всегда однимъ и тѣмъ же образомъ.

Гремушинъ отвѣсилъ и ей низкій поклонъ, и присѣлъ къ столу въ нерѣшительной позѣ.

Только-что Доротея Васильевна помѣстилась противъ него, по другую сторону стола, въ дверку, задрапированную настоящимъ старымъ гобленомъ, проникли еще двѣ женскія фигуры.

Ихъ Гремушинъ уже видѣлъ разъ, когда былъ съ визитомъ у Карусъ. Она ихъ представила, какъ своихъ дальнихъ родственницъ по матери. Обѣ — уже немолодые, очень похожія между собою, худыя и чрезвычайно старательно одѣтыя въ черныя шоловныя платья — смотрѣли выжидательно, и усмѣшка ихъ большихъ ртовъ съ замѣнутыми губами была сродни тому, какъ привыкла улыбаться англичанка.

„Бѣдныя родственницы“, — подумалъ онъ и въ первый свой визитъ.

Онѣ и тогда все молчали и усмѣхались только тому, что скажетъ Доротея Васильевна. Гремушинъ замѣтилъ, что она обращаетъ на нихъ мало вниманія и какъ будто немножко тяготится ими. То же впечатлѣніе получалось и теперь.

Каждая изъ двѣхъ протянула ему ладонь холодной руки съ красноватыми пальцами. Онъ ихъ пожалъ съ поклономъ и проговорилъ вполголоса:

— Имѣлъ удовольствіе...

Обѣ переглянулись, и въ ихъ безцвѣтныхъ лукавыхъ глазахъ мелькнуло:

„Вотъ тоже какой явился старомодный гусь... Ужъ не воображаетъ ли онъ овладѣть Дорочкой?“

Дѣвицы Первашины въ томъ лишь и находили интересъ по цѣлымъ днямъ, что разбирали всѣхъ мужчинъ, какъ только тѣ знакомились съ ихъ кузиной и начинали посѣщать ее.—До не-пріятнаго молчаливыя при гостяхъ, онѣ начинали безконечно болтать, когда она оставалась дома одна. И не было отъ нихъ пощады никому. Кажется, сами онѣ не прошли ни чрезъ какія любовныя испытанія; а между тѣмъ все свое дѣвичье жало впускали за глаза въ мужчинъ, исключительно на тему мужского женолюбія, коварства, нравственной дрянности, претензіи—увлечь, обмануть, взять капиталъ въ приданое или осрамить дѣвушку и ретироваться.

Доротея Васильевна слушала ихъ разсѣянно, съ книжкой въ рукахъ, или за своимъ письменнымъ бюро—удивлялась обыкновенно тому, гдѣ онѣ собираютъ всѣ эти подробности о мужчинахъ, изъ какихъ источниковъ ихъ черпаютъ. Дѣвицамъ Первашинымъ было извѣстно рѣшительно все о каждомъ мужчинѣ-холостякѣ или женатомъ, кто только попадалъ въ Доротею Васильевну или о комъ начинали говорить въ Москвѣ. Онѣ никуда почти не ѣздили и съ утра забирались къ кузинѣ, но были самыми усердными посѣтительницами концертовъ въ дворянскомъ собраніи и тамъ набирались матеріала для пересудъ о мужчинахъ; тамъ же имъ и показывали ихъ.

Подозрительность и обидчивость Павла Павловича сейчасъ под-сказали ему, съ какимъ чувствомъ начали его обглядывать старѣющія дѣвицы. Онъ сталъ еще больше ѣжиться и совсѣмъ не поднималъ глазъ ни на нихъ, ни на Доротею Васильевну.

Разговоръ шелъ туго. Англичанка еле лепетала по-французски, а Гремущинъ по-англійски не могъ говорить, хотя и былъ любитель англійскаго чтенія, всего больше англійскихъ психологовъ. Сестры молчали; хозяйкѣ пріемъ гуараны не далъ полного облегченія, и глаза ея блуждали, отуманенные, точно она въ легкомъ опьяненіи.

Такъ прошло около получаса. Гремущинъ началъ испытывать тяжкое безпокойство отъ того, что ему ничего не являлось на умъ, никакого подходящаго разговора, способнаго оживить Доротею Васильевну. Дѣвицамъ онъ рѣшительно не находилъ что сказать. Больше десяти лѣтъ не бывалъ онъ въ женскомъ обществѣ, какъ

гость; а гости его жены до него не касались; нѣкоторыхъ онъ даже и по имени не зналъ...

Вошли двое мужчинъ: одинъ въ военной формѣ съ аксель-бантами, съ черной бородой; другой—еще мальчикъ, лѣтъ восемнадцати, съ наружностью ученика консерваторіи изъ нѣмцевъ или евреевъ.

Доротея Васильевна здоровалась съ ними по-пріятельски, вѣжливо жала имъ руки и каждому говорила:

— Никуда я сегодня не гожусь.

Офицеръ сѣлъ между сестрами и сталъ что-то рассказывать, какую-то исторію, случившуюся въ одномъ изъ клубовъ, должно быть смѣшную, потому что дѣвицы прыскали; но Гремущинъ не слушалъ, и его глодавъ вопросъ: зачѣмъ онъ пришелъ сюда, именно теперь, вечеромъ, и самъ себя лишилъ интимнаго разговора съ нею? Ея присутствіе продолжало его волновать, но уже тягостно, какъ волнуетъ насъ близость женщины, овладѣвающей нами, когда мы желаемъ, чтобы все остальное, постылое и несносное, провалилось.

Молодой человекъ, съ наружностью консерваторскаго ученика, присѣлъ къ ней сбоку и что-то ей началъ говорить, чуть не на ухо, съ акцентомъ; сидѣлъ согнувшись, положивъ ногу на ногу, очень высоко, и вообще держалъ себя—точно онъ ея товарищъ по школѣ.

И это заставило страдать Гремущина. Въ такомъ запанибратствѣ было что-то для него оскорбительное.

Изъ дальнѣйшаго разговора онъ узналъ, что безцеремонный мальчикъ дѣйствительно учится въ консерваторіи, хорошій пѣвистъ и постоянно аккомпанируетъ Доротеѣ Васильевнѣ и у нея, и когда она поетъ у постороннихъ. Звали его Шульцъ или Шмидтъ. Она его представила; но Гремущинъ не пожелалъ даже и слышать его фамилію.

Мигрени хозяйки немного стало легче. Перешли въ гостиную. Офицеръ уѣзжалъ, на другой день, куда-то далеко, чуть не въ Екатеринбургъ, и сталъ просить ее, въ видѣ прощальнаго подарка, что-нибудь спѣть.

— Вамъ не нужно трудиться—аккомпанировать себѣ.

Онъ даже опустился шутливо на колѣни, упрашивая ее и сложивъ руки на груди.

Обѣ сестры прыснули.

— Извольте,—сказала Доротея Васильевна и лѣниво пошла къ роялю.—Карлуша... пожалуйста!

Она протянула юношѣ ноты и стала позади табурета.

Пьянистъ надѣлъ *rinse-pez*, наморщилъ носъ и сохранилъ пренебрежительную гримасу все время, пока аккомпанировалъ.

Одна изъ сестеръ Первашиныхъ переворачивала ноты.

Въ темный уголъ, тамъ, куда свѣтъ, смягченный абажуромъ лампы, совсѣмъ не проникалъ, забился Павелъ Павловичъ, скорчился въ низковатомъ креслѣ, подперъ рукой подбородокъ, зажмурилъ глаза и весь ушелъ въ слухъ.

Доротея Васильевна пѣла изъ „Карменъ“, по-французски, ту пѣсню, гдѣ сеvilская цыганка опутываетъ своими чарами красиваго карабинера.

Въ оперу Гремупинъ иногда попадалъ... Ему случилось, возвращаясь изъ за границы, слышать въ „Карменъ“ Лукку, еще соблазнительную, со сцены, не утратившую ни голоса, ни обаятельной игры.

Вся сцена представилась ему ярко-ярко, почти какъ въ галлюцинаціяхъ. Было это въ вѣнскомъ „Оперномъ Театрѣ“. Декорація съ башней сеvilскаго собора, на заднемъ планѣ, свѣтло-желтые мундиры карабинеровъ, толпа сигарочницъ и Карменъ въ платѣ, съ гребенкой, вдѣтой такъ же вросъ, какъ на Доротеѣ Васильевнѣ, съ завязанными руками...

Она похаживаетъ вокругъ карабинера и разжигаетъ его чувства. И въ нѣсколько минутъ солдатъ былъ охваченъ страстью и поработченъ, сдѣлался преступнымъ сообщникомъ цыганки, бѣжалъ съ нею и превратился изъ честнаго служиваго въ контрабандиста, презирающаго самого себя.

Такъ рассказано и въ повѣсти Проспера Меримэ—одного изъ самыхъ любимыхъ его писателей. Такъ могло быть и въ настоящей жизни.

Развѣ это не *такъ* всегда и бываетъ? Величайшіе сердецвѣды, Шекспиръ въ числѣ ихъ, дѣлали страсть мгновенной и роковой, не знающей пощады.

Голосъ Доротеи Васильевны вливалъ въ него звуковую струю, вибрируя и наполняя его сладкимъ и жуткимъ чувствомъ. Незамѣтная снаружи дрожь овладѣла имъ. Но ему не было страшно отъ образовъ, вызванныхъ пѣснью Карменъ. Онъ отдавался опять чему-то въ родѣ гипнотизма. Ни думъ, ни воспоминаній, ни вопросовъ, ни страха передъ женщиной, не было въ немъ.

Когда голосъ смолкъ, его точно ударило. Онъ весь вздрогнулъ, поднялъ голову, полураскрылъ глаза, но ничего не могъ крикнуть, ни встать, подойти къ роялю, сказать какой-нибудь комплиментъ... Оцѣпенѣлость продолжалась... Она еще запоетъ... Ему это нужно было... Это навѣрно будетъ.

И она еще запѣла... Онъ не зналъ, что это такое, не слышалъ словъ, не могъ бы даже сказать, на какомъ языкѣ произносить она слова. Да и не нужно ему ничего этого... Зачѣмъ слова?.. Только бы она пѣла...

Объ немъ забыли. Уѣзжающій офицеръ былъ ненасытенъ. Еще нѣсколько вещей было пропѣто... Гремущинъ замеръ въ своемъ темномъ углу. Его „я“ отсутствовало. Онъ отдавался женщинѣ и ея великой чарѣ—голосу.

XV.

Темнота просторнаго кабинета совсѣмъ обволокла Павла Павловича.

Онъ лежитъ у себя на спинѣ и смотритъ широкооткрытыми глазами въ мракъ, ничего въ немъ не различая; но ему кажется, что онъ видитъ очертанія предметовъ, шкапъ съ книгами, занимающій всю стѣну противъ дивана, бюсты надъ шкапомъ, граφυры въ рамкахъ, правѣе, надъ письменнымъ столомъ.

Лежитъ онъ, безъ сна, не зажигая свѣчи цѣлый часъ, и знаетъ впередъ, что сна не будетъ до разсвѣта.

Не въ первую ночь страдаетъ онъ безсонницей. Но съ нѣкотораго времени она является черезъ день. Вернулся онъ отъ Карусъ въ первомъ часу, ушелъ отъ нея—незамѣченнымъ, не прощаясь, пока мальчижь-пьянистъ громко стучалъ по клавишамъ.

Дома всѣ спали: жена и дѣти, „красныя дѣти“, которыми еще на дняхъ онъ такъ занимался, съ заботой чадолюбиваго отца и мудреца, желающаго обезпечить имъ въ жизни наибольшую сумму наслажденій и удачъ... Не даромъ одинъ пріятель прозвалъ его „эвдемонистомъ“. Онъ убѣжденъ, глубоко убѣжденъ, что человѣчество устроить себѣ образцовое существованіе на землѣ. Объ этомъ пишетъ онъ книгу, больше десяти лѣтъ, и передѣлываетъ ее каждое полугодіе... Но до золотого вѣка—еще далеко,—когда всѣ націи, всѣ государства одинаково пройдутъ черезъ возрождающій общественный режимъ, руководимые мудрыми преобразователями. А пока—каждый отецъ обязанъ воспитать дѣтей такъ, чтобы обезпечить имъ максимумъ пріятныхъ ощущеній и допустить одинъ минимумъ страданій.

Для нихъ онъ хлопоталъ о матеріальномъ обезпеченіи и до сихъ поръ, по денежнымъ операціямъ, ѣздилъ часто въ деревню, въ губернскіе города, на ярмарки, расширялъ торговлю, занимался совсѣмъ не „дворянскими“ дѣлами... Дѣти должны имѣть

базисъ... обезпеченный кусокъ хлѣба... Рента сама по себѣ презрѣнна и вредна—и ея не будетъ въ преобразованомъ чело-вѣческомъ обществѣ; теперь же она одна даетъ независимость... Но ея мало... Слѣдуетъ вести дѣтей такъ, чтобы они развились безъ малѣйшаго намека на какое-нибудь исканіе идеала,—чтобы они не знали преувеличенныхъ идей—жертвы, альтруизма, и думали бы только о себѣ. Это—эгоизмъ, но эгоизмъ, ведущій къ счастью. Пускай ребенокъ дѣлается великодушнѣе, если онъ находитъ въ этомъ наслажденіе—но не иначе,—а вовсе не въ силу отвѣченнаго долга.

Съ женой своей, Марей Власьевной, здоровой и властной женщиной, у него были сильныя столкновенія изъ-за его „системы“. Она до многоаго его не допускала, и онъ долженъ былъ уступать. Но все-таки дня не проходило прежде, чтобы онъ не думалъ о дѣтяхъ, о ихъ воспитаніи, не участвовалъ въ ихъ играхъ и разговорахъ.

И вотъ онъ къ нимъ вдругъ равнодушнѣе. Сегодня, вернувшись домой, онъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, не спросивъ у горничной, отворившей ему наружную дверь, какъ всегда:

— А что дѣти?

Ему хотѣлось, напротивъ, поскорѣе забратъ къ себѣ въ кабинетъ, лечь и мечтать... О женѣ онъ тоже забылъ, до такой степени, что только теперь, пролежавъ больше часа въ темнотѣ, подумалъ объ этомъ и испугался.

Развѣ онъ къ ней охладѣлъ? Такъ? Сразу?

Возможно ли это?

Гремушинъ тревожно завожился подъ одѣяломъ, вышитымъ рукой Мары Власьевны, подъ которымъ ему такъ хорошо.

Они уже три года имѣютъ каждый свою спальню. Дѣвочка какъ-то сильно болѣла, мать положила ее къ себѣ, Павелъ Павловичъ ушелъ въ кабинетъ, да такъ и остался тамъ совсѣмъ. Онъ и вообще стоялъ за образцовую гигиену и требовалъ, чтобы каждому было отпускаемо непремѣнно по столько-то кубическихъ футовъ воздуха.

Въ дверь, справа, постучали. Гремушинъ нервно, почти брезгливо поднялъ туловище и окликнулъ:

— Кто тамъ?

На ночь онъ всегда запираетъ на задвижку обѣ двери кабинета.

— Это я, Павликъ.

Жена говорила вполголоса, но не шопотомъ.

— Что вамъ?

Онъ часто бывалъ съ женой на „вы“, особенно въ разговорахъ по домашнимъ дѣламъ.

— Павликъ! Здоровъ ли ты? Кажется, ты еще не совсѣмъ заснулъ?

И прежде онъ не любилъ, чтобы о немъ слишкомъ много заботились, но все-таки внутренно былъ очень чувствителенъ къ каждой ласкѣ.

Тутъ его непріятно кольнуло самое имя „Павликъ“, которымъ Марea Власьеvна называла его только въ минуты интимности.

Какой онъ „Павликъ“? И что это за смѣшное прозвище! точно онъ ходитъ въ курткѣ съ отложнымъ воротничкомъ.

Онъ ничего не отвѣтилъ.

— Павликъ, что съ тобой?

Голосъ жены дѣлался тревожнымъ.

— Ничего... Идите сами спать...

И онъ представилъ себѣ, что она стоитъ со свѣчей у двери, крупная, почти толстая, съ сѣдѣющими волосами.

Онъ не могъ удержать наплыва безглицыхъ образовъ и чувствовалъ въ темнотѣ, какъ ему неловко отъ нихъ.

Его жена, преданная, любящая, не больше какъ недѣлю назадъ казалась ему еще таковой молодой, свѣжей, прочной во всѣхъ проявленіяхъ своей сильной, правда, не тонкой натуры.

— Тебѣ ничего не надо?—допрашивала Марea Власьеvна.

— Ничего,—почти съ сердцемъ отвѣтилъ онъ.

— Да ты скажи, Павликъ, я сейчасъ одѣнусь... Можетъ, спазмы?... Я разбужу Аннушку... Компрессы...

— Ничего не надо... Я засыпаю... Прощайте...

Она тихо удалилась. Слышно было ёрзанье ея туфель-шлепальцевъ по полу.

Онъ вздохнулъ, опустилъ голову на подушки и тутъ только закрылъ глаза съ желаніемъ заснуть непремѣнно.

Но сонъ не приходилъ. Его ударило въ краску отъ возрастающаго волненія.

Вѣдь онъ когда-то шелъ въ вѣнцу съ этой женщиной—дѣвственникомъ? Невѣроятно это—и онъ, бывало, скрывалъ свое цѣломудріе отъ товарищей; но такъ это было. Марea Власьеvна на одинъ годъ старше его. Тогда она влекла его къ себѣ могучимъ здоровьемъ, всѣмъ складомъ своего роскошнаго тѣла. Это чувство онъ считалъ рѣшительнымъ, пускался тогда рука въ руку съ ней въ жизнь и вѣрилъ, что никакой перемѣны не будетъ, кромѣ той, что приносятъ съ собою годы. Онъ любилъ сочинять на это афоризмы, въ разговорахъ съ молодыми людьми, доказывать, что

надо жениться рано и не знать въ жизни ничего, кромѣ „естественнаго подбора“, держаться его до старости... Онъ доказывалъ вздорность и болѣзненность всякихъ порываній къ какимъ-то особеннымъ чувствамъ, указывалъ на крестьянъ, для которыхъ женитьба—роковая норма; въ своемъ трактатѣ о счастьи ставилъ одноженцевъ, „однолюбовъ“, какъ высшій образецъ человѣческихъ существъ.

„Неужели,—повторялъ онъ, беззвучно поводя губами,—неужели то, что заползло въ меня теперь и вѣѣнилось точно когтями—страсть, запоздалая, но такая, какія романисты-художники стали описывать еще въ прошломъ вѣкѣ, а нынѣшніе возвели въ исключительный элементъ живого интереса?“

Онъ боялся отвѣтить „да“—и гналъ вопросы... Вотъ голосъ поетъ изъ „Карменъ“, и онъ можетъ прослѣдить за извивами мелодіи,—онъ, не имѣющій почти никакого музыкальнаго слуха.

Уже не жаръ его томить, а дрожь проникаетъ въ него. Лобъ его холоденъ и влаженъ.

Можетъ быть, это—пароксизмъ, или такъ, блажь, какой-то видъ „иннерваціи“... Онъ слишкомъ подолгу читаетъ у себя въ кабинетѣ, бессонницы разыгрались, а принимать бромистый калий, давно прописанный ему, онъ неглижируетъ.

Все это такъ; но онъ не можетъ лгать самому себѣ: и къ дѣтямъ, и къ женѣ, онъ охладѣлъ. Хорошо, если это временное, чисто нервное, а если нѣтъ?

Тогда это страсть?

Онъ не обрадовался, а полонъ былъ испуга. Почему? Вѣдь за любовь отдають все. Люди—особенно люди конца этого вѣка—отдають все, ищутъ ее, мучатся потугами чувства, изнемогають оттого, что имъ нечѣмъ любить, что они утратили органъ любви.

Но тѣ люди—жалкіе недоучки конца жалкой эпохи, пораженные вырожденіемъ. А онъ—мудрецъ; въ его книгѣ говорится, что только въ будущемъ преобразованномъ обществѣ станетъ возможна свободная любовь, не знающая никакихъ стѣсненій и эгоизма личнаго обладанія. Чтобы достичь этого, необходима цѣлая „серія“ поколѣній строго цѣломудренныхъ, одноженцевъ, однолюбовъ, такихъ, какимъ былъ онъ—Гремушинъ—до послѣднихъ дней.

Ему стало такъ страшно, что онъ въ изнеможеніи обернулся лицомъ къ стѣнѣ. На ней повѣшенъ былъ коверъ, повыше мягкихъ подушекъ дивана.

Павель Павловичъ лежалъ опять съ открытыми глазами, все

еще полный смятенія, точно передъ потерей всего, за что держалась его жизнь.

Вдругъ онъ началъ различать какой-то рисунокъ въ довольно большомъ пятнѣ съ расплывающимися красками. Стоять три фигуры: старикъ, одѣтый рыбакомъ, въ красномъ колпакѣ, молодой парень, тоже въ колпакѣ, и дѣвушка въ цвѣтной юбкѣ, съ длинной косой. Отецъ беретъ ее за подбородокъ и подмигиваетъ парню... Это—сватовство. Такую картину, вышитую шерстью, онъ видѣлъ въ дѣтствѣ, на экранѣ.

Онъ поднялся, протеръ глаза. Картина не исчезала.

„Галлюцинація!“—подумалъ онъ и задуть свѣчу.—Видѣніе больше не являлось.

„Я боленъ“,—выговорилъ онъ, и ему стало легче. Это болѣзнь, а не постыдная, запоздалая страсть...

XVI.

Маленькая женщина ходила по опустѣлому домику и прибирала. У нея сложилась привычка все самой переставить, обтереть, сдуть пыль. Да и тоскливо дѣлалось безъ этого, особенно послѣ потери дѣтей... Деревенскій день великъ, если его не наполнить всякой возней. Безъ разныхъ „sieben Sachen“—называла она по-нѣмцки—засосетъ сейчасъ на сердцѣ, начнешь думать о дѣтяхъ, о надвигающейся болѣзненности, беспокоиться и страдать за мужа.

Вотъ и теперь, перетирая подсвѣчники, она думаетъ о своемъ „Менѣ“—Евменіѣ Филипповичѣ Кустаревѣ. Онъ уѣхалъ въ городъ. Съ самаго обѣда въ честь Симбирцева онъ разстроенъ; не потому, что не доволенъ своимъ поведеніемъ, но ему показалось еще тогда, послѣ обѣда, что всѣ „сѣжились“, даже и Симбирцевъ. И по хутору у него непріятности. Не поладилъ онъ съ писаремъ ближайшей волости. Евменій Филипповичъ вступился за двоихъ своихъ рабочихъ. Тѣхъ писарь прижимаетъ и видимо хочетъ взятку. Онъ ѣздилъ въ правленіе, усовѣщивалъ старшину; тотъ тоже ударился въ амбицію, настроенный писаремъ. Онъ и тутъ погорячился. Мужиковъ вызвали въ волость, и одного наказали за неповиновеніе властямъ... И сдается ей, что на мужа ея эти деревенскія всемогущія власти донесли по начальству... Сегодня ей особенно тяжело. Она всю ночь не спала. И сердце у нея не въ порядкѣ.—Она скрываетъ это

отъ мужа, не ѣдетъ въ Москву, къ доктору-специалисту. А легкія давно никуда не годятся и желудокъ также...

„Комочекъ нервовъ“, повторяетъ она прозвище, данное ей Ермиловымъ. Только нервами она и держится. Анемія ея все растетъ, пища нейдетъ въ прокъ, худоба дѣлается такая, что ей самой подчасъ страшно...

Да и нервы до-нельзя развинтились... Ночью ее душить, въ головѣ боль—сверлить въ темя, стрѣляетъ въ виски, слабость мертвенная. Она за себя не труситъ. Совсѣмъ не боится смерти. На свою живучесть она не надѣется... Но какъ же разстаться, и такой молодой, съ мужемъ, на кого его покинуть? Въ любовь его она вѣритъ больше, чѣмъ во что-либо. Одиночество будетъ глотать его. И теперь онъ не знаетъ часто, куда ему дѣться, хоть и маскируетъ это передъ ней—передъ первой. Ему нужно общественное дѣло; а его нѣтъ и не будетъ, съ его характеромъ. Хуторъ не можетъ его наполнить, какъ онъ ни повторять, что лучше ничего нѣтъ деревни и близости къ народу. Видитъ она и народъ... Ея мужъ—неисправимый идеалистъ; кромѣ огорчений и неблагодарности отъ этого же народа, пока ничего нѣтъ. Она сама, подъ влияніемъ мужа, настраивала себя на опростѣлый ладъ. Но обманывать себя она не можетъ, только молчить, чтобы не раздражать своего мужа. Его проводятъ на каждомъ шагѣ. Да это еще куда ни шло! Не понимаютъ его доброты, любви къ рабочему люду, смотреть на него, какъ смотрѣли бы на перваго попавшагося хозяина изъ цѣловальниковъ или прасоловъ.

И его самого это полегоньку начинаетъ глотать, только онъ упоренъ въ своихъ вѣрованіяхъ и повторяетъ всегда:

— Нельзя все сводить къ личнымъ интересамъ и отношеніямъ. Мнѣ можетъ плохо приходиться отъ народа, но это ничего не доказываетъ.

Она, бывало, замолчить... Все-таки хуторъ—хоть и не даетъ почти доходу—не опостылѣлъ еще ей мужу. И за это спасибо. Въ Москвѣ, въ кружкѣ пріятелей и товарищей ему тоже не по себѣ. И это онъ скрываетъ, но она чуткими нервами своего маленькаго тѣла догадалась—и давно...

Будь она позлѣе или побезцеремоннѣе, она сказала бы ему:

„Евменій Филипповичъ, батюшка, всѣ-то ваши сверстники опускаются, потеряли бодрость и бьются только о томъ, какъ бы имъ уцѣлѣть, ни на какую энергическую борьбу—особенно сообщая, всѣмъ кружкомъ, они уже не способны. Пора это понять и не изводить зря собственныхъ силъ... Надо брать отъ жизни, что она можетъ дать. Лучше уѣхать куда-нибудь, въ

провинцію, взять тамъ каеэдру, дѣлать свое дѣло потихоньку, безъ отступничества, но и безъ задора... А на кружокъ пора, давно пора, махнуть рукой!..“

Она лично чувствовала полное разочарованіе...

Когда-то она вѣрила въ друзей и единомышленниковъ Евменія Филипповича, ставила ихъ тамъ—наверху всего, что она знала въ жизни. Ей не легко было обрѣсти эту вѣру. Она не такъ воспиталась. Держали ее, какъ барышню, при гувернанткахъ, готовили къ хорошей, дворянской партіи... Со многими она должна была разорвать, когда выходила за профессора... Будь она дочь богатыхъ людей, ее по доброй волѣ ни за что бы не выдали. Евменій и тогда смотрѣлъ „краснымъ“. Его ославили въ губернскомъ городѣ чуть не какъ тайнаго насадителя крамолы; а она была дочь губернскаго крупнаго чиновника и барыни съ самыми закоренѣлыми помѣщичьими и свѣтскими пристрастіями и поведеніями.

Ей стало, послѣ потери дѣтей, еще суше на сердцѣ, когда она потеряла вѣру въ то, что существуетъ, идетъ впередъ и стойко держится—то избранное меньшинство, изъ котораго состоятъ ближайшій кружокъ друзей и сверстниковъ Евменія Филипповича Кустарева.

Больше переставлять и вытирать нечего.

Маргарита Сергѣевна позвала горничную.

— Матрена готовить?—спросила она.

— Готовить-сь.

— Полегче ей?

— Маленько отпустило.

— Вы бы ей помогли, Аннушка!

— Я—съ удовольствіемъ.

— Евменій Филипповичъ долженъ скоро пріѣхать... Онъ будетъ навѣрное голоденъ... Придется пораньше накрыть и подавать.

— Слушаю-сь.

Аннушка—кроткая дѣвушка, взятая изъ деревенскихъ. Матрена очень толковая кухарка, только часто мучится головными болями. Евменій Филипповичъ сталъ гораздо требовательнѣе, жаждется частенько на катарръ, не бережется. Любитъ съѣсть чего-нибудь послаще, особенно изъ закусокъ. Останавливать его она не рѣшается. Онъ не терпитъ гувернантскихъ замѣчаній.

Маргарита Сергѣевна носила по утрамъ блузочку съ кушакомъ и повязывала голову фуляромъ.

Надо было поприодѣться къ обѣду. Она сама не можетъ быть

нерахой, только въ послѣднее время она все равнодушнѣе къ туалету; замѣчаетъ почти со стыдомъ, что дѣлается менѣе опрятною, не соблюдаетъ такую же строгую чистоту, какъ прежде, въ бѣльѣ, воротничкахъ, нарукавникахъ, во всемъ...

Думать меньше о себѣ стала она, когда пошли дѣти... Уходу за ними отдалась она съ неудержимою страстью: кормила того и другого, и на этомъ истощилась, какъ ее ни упрасивалъ мужъ; а когда докторъ рѣшительно запретилъ—было уже поздно. Кормила, обмывала, взвѣшивала, дрожала надъ каждымъ изъ нихъ, забывала даже о своемъ Менѣ, о его интересахъ, о его душевномъ настроеніи.

Смерть не пощадила дѣтей. Съ тѣхъ поръ она и стала еще меньше заниматься собой; больше года ничего себѣ не заказывала, не покупала, донашивала старыя платья и ходила въ штопанныхъ чулкахъ. Да и доходы-то у нихъ не Богъ знаетъ какіе...

Половина того, что Евменій Филипповичъ зарабатываетъ перомъ, идетъ на хуторъ, на ремонтъ, на помощь мужикамъ. Она не жалѣетъ,—только бы онъ былъ доволенъ...

Маленькая женщина перешла въ спальню, свѣтлую, просторную комнату, съ двумя большими кроватями и одной дѣтской, красивой кроваткой, заграничной работы, изъ проволоки.

Ее давно было-убрали. Но когда Ермиловъ взбаламутилъ ихъ, она приказала достать изъ чулана,—готовила для той дѣвочки.

И вышелъ „пики“.

Она посердилась на Ермилова, назвала его „пустельгой“, всплакнула, но Менѣ ничего больше на эту тему не говорила, точно будто и рѣчи не было ни о какой дѣвочкѣ.

Дѣтская кроватка осталась въ спальнѣ. Маргарита Сергѣевна что-то медлила приказать убрать ее. Тайно она начала мечтать: не будетъ ли у нихъ еще ребенка.

Докторъ говорилъ ей прямо, что она не должна имѣть дѣтей, что они убьютъ ее, даже если она и не будетъ сама кормить.

— Крови у васъ нѣтъ достаточно,—повторялъ онъ ей,—мяса нѣтъ, а нервами нельзя зародыша питать.

Видъ кровати вызвалъ на ея рѣсницахъ двѣ маленькія слезинки. Она наскоро перемѣнила туалетъ, чтобы лишнее время не оставаться въ спальнѣ.

Въ началѣ третьяго пріѣхалъ Кустаревъ.

Взглядъ на мужа, брошенный Маргаритой Сергѣевной не прямо, а вбокъ, показалъ ей, что Меня вернулся не въ особенно веселомъ настроеніи, но не хочетъ этого показывать.

— Проголодался?—спросила она и подставила ему лобъ по обыкновенію.

— Да, Гаря! сильно проголодался, и продрогъ въ тому же. Анаемская нынче погода. Мразь какая-то сверху и продуваетъ со всѣхъ концовъ.

Онъ ушелъ скорыми шагами въ кабинетъ, съ пачкой журналовъ и иностранныхъ газетъ.

За столъ сѣли они черезъ четверть часа, другъ противъ друга. Евменій Филипповичъ надѣлъ шведскую куртку и валенки. Передъ щами онъ выпилъ большую рюмку настойки домашнего приготовления и закусилъ лимбургскимъ сыромъ.

— Здоровая водка!—выговорилъ онъ.—Инда слеза прошибла.

Что Меня станеть на хуторѣ привыкать къ крѣпкимъ напиткамъ, Маргарита Сергѣевна не боялась: у него не такой складъ; въ малодушіи какого бы ни было рода упрекнуть его никто не можетъ; она меньше всѣхъ другихъ; пускай его выпьетъ и послѣ обѣда рюмку наливки. Она умѣетъ ихъ настаивать на славу.

„Онъ себя сдерживаетъ,—думала маленькая женщина, проглатывая ложки горячихъ щей „съ заправкой“, приправленныхъ по вкусу Кустарева.—Я вижу, есть что-то. Щеки у него краснѣе обыкновеннаго, и глаза не такъ смотрятъ“.

— Заѣзжалъ къ кому-нибудь? — между прочимъ осведомилась она.

— Заѣзжалъ,—кратко отвѣтилъ онъ и принялся послѣ щей за ветчину съ горошкомъ, также его любимое блюдо.

И тотчасъ же положилъ ножъ и, поднявъ голову, выговорилъ съ приподнятыми бровями:

— Эхъ, Гаря, какъ всё у насъ старѣютъ и киснутъ! Просто никуда не хочется заѣзжать...

— А что же?—чуть слышно выговорила Маргарита Сергѣевна.

— Былъ у Денисовича... Какіе его годы? На четыре года старше меня... И на что онъ похожъ?.. Совсѣмъ старикъ, обрюзгъ, опустился въ домашнюю тину. Точно чинушъ какой, на пенсію.

Кустаревъ рассказывалъ про одного изъ членовъ ихъ кружка.

— Я давно его не видала...

— На такихъ надо рукой махнуть!.. Да и молодые-то не лучше... Шустрые ловкачи, и только...

Что-то онъ опять не досказалъ, и жена знала уже, что это-то и разстроило его всего больше: оттого у него и щеки красны, и глаза иначе смотреть.

Послѣ ветчины съ горошкомъ подали молочную кашу съ сахаромъ.

Евменій Филипповичъ опять не доѣлъ, положилъ ложку на скатерть и вскричалъ глухо, своимъ хриповатымъ басомъ:

— Этотъ Куликовъ! Вотъ тоже доблестный представитель нашихъ преемниковъ!

Она промолчала.

— Вообрази, Гаря, онъ мнѣ въ сладкой формѣ прочелъ сегодня наставленіе.

— Какъ же это?—почти съ изумленіемъ выговорила она.

— Да такъ!—Очень просто. Приходить ко мнѣ. Я думалъ, статью какую принесъ. Я еще чайкомъ его угостилъ. И начинается, точно на духу. „Вы, говоритъ, Евменій Филипповичъ, стоите совершенно въ сторонѣ, на службѣ не находитесь“...

— Какое же отношеніе? — замѣтила Маргарита Сергѣевна.

— Вотъ увидишь какое, Гаря... „Вы, дескать, можете все себѣ позволить, но надо и объ вашихъ товарищахъ, и объ насъ молодыхъ подумать“.

— По какому же поводу?

— Да все объ этой исторіи... съ Сохинымъ. Съѣжились анаемики... И сами-то не смѣютъ говорить, такъ вотъ этого ловкача подослали!.. Эхъ!

Онъ замолеъ и больше уже ничего не сказалъ.

За кофеемъ онъ болѣе веселымъ голосомъ окликнулъ:

— Гаря! Ты знаешь! Къ намъ на ночь—гость! угадай кто?

— Не могу угадывать, Меня.

— Капцовъ. Изъ Питера приѣхалъ дня на три. Будетъ ночевать. Ёды намъ къ чаю сооруди.

— Очень рада!

И она дѣйствительно очень обрадовалась. Капцовъ—ближайшій пріятель мужа, не менѣе близкій, чѣмъ Симбирцевъ. Привезетъ разныхъ вѣстей и разговоровъ о Петербургѣ.

Она вскочила, подошла къ мужу и поцѣловала его въ голову.

XVII.

За чайнымъ столомъ, опять уставленнымъ закусками, какъ и въ вечеръ приѣзда Ермилова, сидѣли они втроемъ.

Порфирій Николаевичъ Капцовъ смотрѣлъ помоложе Кустарева; русые его волосы курчавились на лбу и вискахъ, еще густые и почти безъ сѣдины. Онъ носилъ золотые очки, изъ-за которыхъ свѣтились сѣрые, ласковые, добрыйшіе глаза.

Густая борода дѣлала его похожимъ на „батькушу“ — городскаго священника, законоучителя, баловника дѣтей и мягкаго духовнаго отца на исповѣдяхъ. Рослый и худощавый, онъ немного горбился и въ движеніяхъ сохранялъ молодую нервность.

И говорилъ онъ чистѣйшимъ московскимъ нарѣчіемъ, съ яркими гласными, съ растягиваніемъ буквъ и употреблялъ самыя смѣлыя смягченія согласныхъ, какія только можно услышать отъ коренныхъ москвичей.

На немъ просторно сидѣлъ вицмундиръ съ темнымъ бархатнымъ воротникомъ и на шеѣ владимірскій крестъ. Онъ былъ съ официальнымъ визитомъ и не успѣлъ у себя переодѣться, запоздавъ, по своей вѣчной привычкѣ, на поѣздъ.

Вицмундиръ впрочемъ не придавалъ ему чиновничьяго вида; крестъ свободно болтался у него подъ галстукомъ и то-и-дѣло сползалъ на сторону.

Но Петербургъ все-таки наложилъ на него свою руку. Въ тонѣ, въ движеніяхъ, въ особой возбужденности чувствовался чужбѣ изъ настоящей столицы, гдѣ, какъ въ котлѣ, кипятъ люди, дѣла, карьеры, мѣропріятія...

Порфирій Николаевичъ, размѣшивая сахаръ въ стаканѣ, любовно оглаживалъ хозяевъ.

Съ Кустаревыми онъ не видѣлся больше двухъ лѣтъ, успѣлъ уже сдѣлаться „штатскимъ генераломъ“, какъ самъ подтрунивалъ надъ собою, получить новое, высшее назначеніе по казенной службѣ и два новыхъ частныхъ мѣста.

Когда-то они вмѣстѣ готовились на магистра. Онъ выдержалъ экзаменъ и защитилъ диссертацию, даже раньше Кустарева; но вмѣсто профессуры очутился на службѣ, въ Петербургѣ, гдѣ оцѣнили сразу его познанія и дали ему быстрый ходъ. Такъ прошло почти двадцать лѣтъ его жизни. Тамъ онъ женился, обзавелся семьей и связанъ былъ всякими другими житейскими узами съ этимъ „гнилымъ“ Петербургомъ, который онъ такъ охотно обзывалъ „гнилымъ“, всякій разъ, какъ попадалъ въ свою милую, сердечную Москву и отводилъ душу съ товарищами.

Изъ нихъ Кустаревъ былъ для него самый дорогой.

Порфирій Николаевичъ пилъ чай съ блюдечка, въ прикуску, и сохранилъ эту московскую привычку со студенческихъ лѣтъ, когда они съ Кустаревымъ жили въ Бронной, у сапожника Епифашина, въ подвальной комнатѣ, и платили шесть рублей, съ самоваромъ, въ мѣсяцъ.

Давно чай не казался ему такимъ вкуснымъ, какъ въ этотъ

вечеръ, на хуторѣ Кустарева, между Евменіемъ Филипповичемъ и его маленькой женой.

— Хорошо у васъ, голубчики, — говорилъ онъ, поглядывая поочередно то на мужа, то на жену: — благодать! не то, что у насъ въ Чухляндіи.

Бранить крѣпко что-либо онъ не могъ, даже Петербургъ, гдѣ ему до сихъ поръ было не по себѣ... Надъ нимъ еще товарищи-студенты потѣшались за его непомянутую мягкость, гуманность и деликатность.

Про него рассказывали множество анекдотовъ на эту тему. Онъ никогда не могъ не только прикрикнуть на кого-нибудь, но даже сдѣлать малѣйшій выговоръ.

Онъ плохого извозчика не иначе упрасивалъ, какъ ласкательными словами: „милѣйшій“, „голубчикъ“. Ни одному половому не сказалъ онъ „ты“, и въ домѣ никогда не употреблялъ повелительнаго наклоненія, ни съ дѣтьми, ни съ прислугой.

Въ публичныхъ мѣстахъ самымъ пріятелямъ его бывало почти нестерпимо отъ его деликатности. Ни за что онъ не позволялъ кого-нибудь попросить подвинуться, или дать дорогу, или на чемъ-нибудь настоять.

— Ахъ, нѣтъ, голубчикъ, какъ это можно, какъ это безпокоить „ихъ“.

Это „ихъ“ употреблялъ онъ, говоря рѣшительно о каждомъ третьемъ лицѣ.

А съ виду, на первый взглядъ, Порфирій Николаевичъ казался очень внушительнымъ человекомъ, при его высокомъ ростѣ, благообразномъ лицѣ и живости движеній. Никто сразу не могъ предполагать, что онъ такая „божья коровка“.

И Петербургъ почти совсѣмъ не измѣнилъ его, только голосъ сталъ немного утомленнѣе и старше звукомъ.

— Многихъ видѣли, Порфирій Николаевичъ? — спросила Маргарита Сергѣевна.

Она его очень любила, больше всѣхъ пріятелей и товарищей мужа.

— Кое съ кѣмъ видѣлся... только у всѣхъ побывать не успѣю.

— Былъ у Денисвича? — спросилъ въ свою очередь Кустаревъ.

— Какже!

— Вотъ постарѣлъ! вотъ опустился!

— Я не скажу, голубчикъ... Такой же душевный.

— Ты развѣ можешь кого-нибудь опредѣлить хоть сколько-нибудь строго?..

Кустаревъ почти злобно разсмѣялся.

— Право же, голубчикъ, я не нашелъ такой въ немъ перемѣны... Конечно, лѣта, ну въ лицѣ... сѣдина замѣтна. Семейство большое опять...

— Не то, не то, Капцовъ!—вскрикнулъ Кустаревъ и началъ блѣднѣть.—Вотъ побывай у другихъ. Нѣтъ, братъ, прежняго товарищества!.. Да и всѣ-то мы кукишъ въ карманѣ кажемъ.

— Что ты, Евменій!

— Да то же! Даже яны и кукиша-то не кажутъ, а просто трепещутъ за собственную шкуру.

„Опять пошло!“—со страхомъ воскликнула про себя маленькая женщина и начала перетирать блюдечки.

— Не всѣ такъ,—кратко возразилъ Капцовъ.

— Ну, да ты лгать не умѣешь... Скажи-ка ты мнѣ прямо: нешто тебѣ уже не рассказали про исторію послѣ обѣда Симбирцева? Ты у него былъ?

— Былъ, голубчикъ.

— И онъ тебѣ навѣрно жалился: какъ, дескать, Кустаревъ, точно съ цѣпи сорвался, обругалъ и выгналъ Сохина и всѣхъ насъ влопалъ въ такую неприятность, что мы теперь сидимъ по своимъ норамъ и ждемъ, что намъ за это будетъ! Вѣдь такъ?

— Ну, что ты?.. Совсѣмъ не въ такомъ тонѣ.

— Однако было сказано?

— Дѣйствительно. Симбирцевъ... немножко жалѣлъ, что такъ вышло, изъ-за него.

— Изъ-за него!.. Это онъ схитрилъ!.. И онъ съѣжился, и онъ считаетъ вотъ такого простеца, какъ я, неудобнымъ, опаснымъ человѣкомъ.

Капцовъ пододвинулся къ Кустареву, положилъ руку на спинку его стула, нагнулся къ нему и тономъ любящей няни сказалъ:

— Нельзя такъ, Евменій, время не то. Ни себѣ, ни людямъ!.. Подумай и то, что всѣ они народъ трудовой и—на службѣ... тоже почти всѣ, голубчикъ, все равно, что я—грѣшный!.. Полегче бы!..

Маргарита Сергѣевна ничего не сказала, только кивнула головой.

— Ну, я каюсь, глупо было такъ хорохориться съ дрянью, въ родѣ Сохина!.. Меня взорвало его нахальство, а нахальство это есть признакъ времени.

— Да, да, признакъ времени, Евменій, милый мой, признакъ времени. Тѣмъ осторожнѣе нужно вести себя... не измѣняя своимъ взглядамъ и убѣжденіямъ.

— И нашимъ, и вашимъ!..

— Нѣтъ, голубчикъ, я про себя не буду говорить... я—чиновникъ... Промѣнялъ свое первородство на чечевичную похлебку... Но вы—дѣятели науки... поборники... общественной правды... вы должны... быть мудры какъ зми... и кротки какъ агнцы.

— Это и на обѣдѣ Симбирцеву на всякіе фасоны перебирали! Но въ томъ-то и гадость, братъ Порфирій, что ни у кого вѣры нѣтъ въ себя и въ свое дѣло. Какъ соберутся—сейчасъ жалкія слова говорить и кукишъ показывать, а внутри, въ душѣ каждаго стоитъ: „пѣсенка наша спѣта“.

— Не ихъ вина!

— Нѣтъ, еще не спѣта! — Кустаревъ ударилъ кулакомъ по столу: — не спѣта она, еслибъ въ насъ самихъ побольше было мужества... да и это слишкомъ громкое слово—просто стойкости, какая есть у всякаго мужика, у любого изъ моихъ хуторскихъ рабочихъ!

— Вотъ потому-то, голубчикъ, и не надо бы пороха тратить на...

— На чтѣ? На глупыя выходки, въ родѣ моей?

— Я не говорю этого, милый!

— Коли я уже повинился! Но все-таки сдѣлай это другой... ты?

— Я?

Капцовъ разсмѣялся. Все его лицо говорило:

„Развѣ я способенъ?.. Побойся же Бога, чтѣ ты говоришь!“

— Ну, не ты, такъ другой кто-нибудь... тотъ же Симбирцевъ: не сталъ бы я смѣяться, за глаза и въ глаза выговоры дѣлать и трусить.

— Подневольный народъ всѣ они! — сказалъ со вздохомъ Капцовъ.

— А молодые-то подростки, интеллигентные — полюбуйся ими! Эти карьеру свою отменно сдѣлаютъ.

— Да, да... другого закала, другого,—повторилъ Капцовъ и опустилъ рѣсницы.

Его пронизалъ возгласъ Кустарева. Онъ подумалъ о собственномъ сынѣ студентѣ, на послѣднемъ курсѣ. Самъ онъ неспособенъ былъ жаловаться или обличать этого молодого человѣка, но въ лицѣ его онъ чувствовалъ, до какой степени инныя дѣти не похожи на поколѣніе отцовъ.

— И вотъ, — разсуди ты, Порфирій,—нѣсколько спокойнѣе продолжалъ Кустаревъ.—Гаря моя внутренно, до сихъ поръ, сокрушается о томъ, что я не имѣю каеэдръ, что я по доброй волѣ остаюсь не у дѣлъ.

— Когда же, Меня?..

Маргарита Сергѣевна не договорила.

— Да нечего! Не оправдывайся! Не лги!

Капцовъ завозился на стулѣ. Его охватило внезапное смущеніе: сохранить роль судьи между мужемъ и женою въ такомъ капитальномъ вопросѣ.

— Конечно,—началъ онъ, заикаясь:—Маргарита Сергѣевна по своему права. Въ тебѣ большія силы. И талантъ лектора, и способность въ научнымъ изысканіямъ. Все это не находитъ полного примѣненія.

— Не пойду!.. тысячу разъ говорю: не пойду! — Еслибы даже пригласили. А меня приглашать не станутъ, будьте покойны съ Гарей! На меня и здѣсь, на хуторѣ, ближайшее мое начальство подозрительно смотреть. И я еще не знаю—кто одолѣетъ: я или волостной писарь! Пожалуй—писарь!

Онъ началъ полуслушливо рассказывать Капцову про свои столкновенія съ волостными властями.

Разговоръ перешелъ въ другіе тоны. Капцовъ ужасно-было испугался, какъ бы не вышло спора съ отѣнкомъ горечи. Онъ не преминулъ поговорить и въ тонъ Кустареву насчетъ пріятности житья въ деревнѣ, на полной свободѣ, да еще въ общеніи съ народомъ, который Евменій такъ искренно любитъ. Онъ сравнилъ эту тихую и правильную жизнь со своей петербургской, и долженъ былъ сознаться, что онъ крѣпостной работникъ своей семьи.

Кустаревъ не зналъ лично его жены. Капцовъ женился давно, на петербургской барышнѣ, и теперь у него двое взрослых дѣтей, большая квартира въ десять комнатъ, пріемы по вечерамъ, абонированная ложа у жены—въ русской оперѣ.

Онъ все это рассказывалъ въ такомъ тонѣ, точно былъ обязанъ весь свой вѣкъ, до послѣдняго издыханія, работать на „своихъ дамъ“.

— Многонѣко, многонѣко нужно на все это, — выговорилъ онъ и разсмѣялся.—Ты, Евменій, меня презирать будешь. Я поневолѣ долженъ заниматься совмѣстительствомъ.

— Какимъ же манеромъ?

— Должность даетъ всего пять тысячъ. Въ двухъ мѣстахъ состою въ частныхъ юрисконсультахъ и даже въ одномъ правленіи директоромъ. И разные проекты составляю.

— Сколько же долженъ ты предоставить твоимъ дамамъ и сынку?

Кустаревъ нахмурилъ брови и спросилъ это строго.

— Да... тысячъ до двѣнадцати въ годъ. И того не хватаетъ,

голубчикъ! Петербургъ требуетъ расходовъ. Это не матушка Москва!

Онъ смолкъ, засмѣялся, потомъ всталъ и началъ прохаживаться около чайнаго стола и перевелъ разговоръ опять на хуторъ и на то, какъ бы онъ самъ зажилъ въ такой именно обстановкѣ.

„Ты видишь,—говорили глаза Маргариты Сергѣевны, взглянувшей на мужа,—развѣ можно сравнить его положеніе съ твоимъ? А ты—если захочешь—опять будешь въ твоей настоящей сферѣ“. То же думалъ и Кустаревъ. Ему стало досадно и обидно за Порфирія. Ну, да онъ счастливъ, по своему, подъ какимъ бы ярмомъ ни находился. Не жена и дѣти, такъ товарищи или родственники, а ужъ кто-нибудь да заставилъ бы его работать на себя.

Кустаревъ тоже всталъ, обнялъ Капцова за плечо и выговорилъ нѣжно и медленно:

— Душа ты елейная! Къ тебѣ и радъ бы придратъся, да ты всякаго обезоружилъ.

Всѣ трое разсмѣялись, и имъ сдѣлалось отраднѣе.

XVIII.

Послѣ Рождества, черезъ два съ половиною мѣсяца, Ермиловъ опять попалъ въ Москву, на цѣлую недѣлю и остановился, какъ всегда, въ Лоскутной гостинницѣ.

Ему приходилось, съ этой зимы, гораздо чаще бывать въ Москвѣ, по управленію дѣлами и подмосковнымъ имѣніемъ одного чудаковатаго князя, жившаго долгіе годы за границей. Егоръ Петровичъ даже отъ пріятелей скрывалъ родъ занятій, дававшихъ ему порядочный доходъ. Своего состоянія ему досталось послѣ смерти матери небольшой домикъ въ Москвѣ, который онъ давно продалъ и деньги обратилъ въ процентныя бумаги.

Онъ управлялъ частными имѣніями и домами въ Петербургѣ, а теперь въ Москвѣ. Жалованье его доходило до семи и больше тысячъ рублей, при даровой квартирѣ. Въ денежныя спекуляціи, на биржѣ, онъ боялся пускаться и никому не проговаривался о томъ, чѣмъ онъ зарабатывалъ свой доходъ. Его патроны были два-три богатыхъ и титулованныхъ барина. Съ ними онъ сносился больше на письмахъ, а лично только съ однимъ, въ Петербургѣ, но и съ тѣмъ поставилъ себя, съ перваго же дня, на равную ногу.

Онъ и себѣ не любилъ признаваться въ томъ, что состоитъ

на службѣ у частныхъ людей, и что его можетъ кто-нибудь, узнавъ про его занятія, назвать „управителемъ“.

Въ Москву, на тотъ разъ, онъ пріѣхалъ въ отличномъ настроеніи, хотѣлъ встрѣтить въ ней новый годъ, и если будетъ весело житься, то протянуть пожалуй и до „татьянина дня“.

Его подмывало продолженіе пріятельскаго знакомства съ Анной Гавриловной Вогулиной.

Онъ уѣхалъ изъ Москвы въ октябрѣ, поддавшись сильнѣе, чѣмъ самъ ожидалъ, ея „фѣминизму“ какъ онъ любилъ выражаться. Правда, въ сонетахъ Жозе-Маріи Эредіа она не нашла тѣхъ великолѣпій, какими восторгался онъ; читая ей вслухъ, но кое-что оцѣнила умно и даже ново для него самого. Прощался онъ съ нею очень долго, поцѣловалъ руку и подержалъ эту бѣлую, художественно-изваянную руку, — въ передней, продолжая говорить, попросилъ у нея позволенія писать ей, такъ какъ ихъ литературная бесѣда далеко не кончилась.

Она сказала, что будетъ очень рада, и сказала это не тономъ банальной фразы, а съ особеннымъ блескомъ въ длинныхъ, узкихъ глазахъ съ пушистыми рѣсницами.

Изъ Петербурга онъ писалъ ей два раза большія письма, по восьми страницъ, гдѣ были разные смѣлые взгляды, парадоксы, остроты, даже эспромнты въ стихахъ; напущено было всякихъ тонкихъ, чувственныхъ и эстетическихъ опредѣленій ея женственности, ея *фѣминизма*.

Онъ нѣсколько разъ употреблялъ въ обоихъ письмахъ этотъ любимый терминъ.

Анна Гавриловна отвѣчала короткими письмами, почти записками; писать она не была мастерица; знала, что у нея бѣдный, тускловатый слогъ, отзывающійся рефератами, какіе она готовяла къ „семинаріямъ“, на курсахъ. Это его немного огорчило. Онъ увидалъ, что она „безнадежна“ по этой части, но скоро утѣшился тѣмъ, что поѣдетъ въ Москву и будетъ наслаждаться ею, слушать ея милый голосъ, ея своеобразный языкъ и любоваться до-сыта ея красотой, „*sa joliesse*“ — переводилъ онъ по-французски, про себя...

Въ Москвѣ стояли морозные, сухіе дни съ отличной санной ѣздой, а Петербургъ оставилъ онъ съ оттепелью, морскимъ, пронзительнымъ вѣтромъ и сырымъ туманомъ. И его гостинница показалась ему, когда онъ пріѣхалъ, такой веселой и оживленной, — точно онъ попалъ къ себѣ, въ родной домъ. Даже лица артельщиковъ въ сибиркахъ, тѣхъ, что отворяютъ двери и вынимаютъ вещи изъ каретъ, — располагали его къ балагурству и

давали „холостое“ настроеніе; имъ онъ всего больше дорожилъ.

Обыкновенно онъ бралъ номеръ наверху, подешевле, — экономія не оставляла его въ иныхъ вещахъ, — а на этотъ разъ остановился въ бель-этажѣ, въ обширномъ номерѣ, съ перегородкой и триповой мебелью, — въ три съ половиной.

Часу во второмъ Егоръ Петровичъ спускался внизъ и проходилъ мимо зеркальнаго окна конторы.

Попавшійся ему конторщикъ подалъ ему письмо.

— Только сейчасъ принесли, — доложилъ онъ: — городское-съ.

Онъ узналъ руку Анны Гавриловны. Это былъ отвѣтъ на его извѣщеніе о прїѣздѣ. Она приглашала на чашку кофею „по-московски“, какъ разъ сегодня.

„Жду васъ, — прочелъ онъ, — и собираюсь обширно побесѣдовать“.

Это слово „обширно“ было взято изъ жаргона комедій Островскаго. Онъ предпочелъ бы какое-нибудь другое; но затѣмъ вѣдь онъ и тутъ, чтобы дать этой роскошной дѣвицѣ высшую отдѣлку, отъучить ее ото всего, что отзывалось Патріаршими-Прудами и разговоромъ еурсистокъ.

Главному швейцару, въ картузѣ съ галуномъ, онъ пріятно кивнулъ головой, спускаясь съ послѣдняго поворота чугунной, выкрашенной въ бѣлое, лѣстницы.

Онъ ни къ чему не придирался въ отдѣлкѣ отеля, ни къ искусственнымъ растеніямъ у зеркала, ни къ цвѣту ковровъ, ни къ поддѣлкамъ младшихъ швейцаровъ.

Внизу, въ сѣняхъ, онъ посмотрѣлъ на ассортименты бѣлыхъ палокъ изъ кизила, выставленныхъ на продажу, выбралъ одну и пошелъ съ ней, сказавши швейцару, чтобы онъ записалъ, сколько она стоитъ. Цѣну, полтора рубля, онъ не нашелъ дорогѣй и противъ своего обыкновенія не поторговался.

Онъ надѣлъ, для прогулки, бекешъ съ бобромъ. Этотъ нѣжный мѣхъ молодилъ его; хоть онъ и соблюдалъ моду, но мерлушековыхъ стоячихъ воротниковъ петербургскихъ фешенеблей не долюбливалъ.

Выйдя изъ гостинницы, Егоръ Петровичъ взялъ вверхъ, по Тверской, шелъ медленно, не такъ, какъ привыкъ ходить по Невскому, смотрѣлъ по сторонамъ, остановился у новой часовни и задержалъ взглядъ на картинѣ Охотнаго ряда; замѣтилъ, что церковь „Прасковей-Пятницы“ перемѣнила цвѣтъ, изъ красной превратилась въ изсѣра-зеленоватую.

По Тверской онъ фланировалъ, читалъ вывѣски и пріятно былъ удивленъ видомъ новой кофейной. Это немного отвѣчало

его всегдашней идеѣ о необходимости заведенія въ нашихъ столицахъ кафѣ на строго парижскій образецъ.

Пить кофе онъ не будетъ: Анна Гавриловна пригласила его къ двумъ, а онъ пока зайдетъ посмотреть, какъ устроилъ московскій пекаръ это первое кафѣ.

Онъ перешелъ улицу и завернулъ въ кофейную. Но тамъ его ждало нѣкоторое разочарованіе—смѣсь чего-то французскаго съ своимъ, московскимъ,—лѣпной потолокъ и стѣны, зеркала и прислуга, смахивающая на половыхъ, швейцаръ въ поддѣвѣхъ, стаканы чая и кофе съ обязательными сухарями и пирожками:—все это напоминало заднія комнаты петербургскихъ пекаренъ Невскаго.

Изъ кофейной онъ прошелъ въ отдѣленіе булочной, гдѣ запахъ жареныхъ пирожковъ и лепешекъ еще сильнѣе говорилъ о національномъ букетѣ всего заведенія.

Но Егоръ Петровичъ такъ былъ настроенъ, что благодушно сказалъ про себя:

„Сразу нельзя; нѣчто однако вырабатывается“.

Онъ остался доволенъ и тѣмъ, что у большихъ зеркальных оконъ кофейной уже дежурили по двѣ „нѣмки“ съ Кузнецкаго. Безъ уличныхъ кокотокъ онъ не признавалъ столичныхъ городовъ.

Солнце румянило снѣгъ, играло на иней липъ вокругъ памятника Пушкина. Ермилову захотѣлось пройти пѣшкомъ бульварами. Памятникъ поэта, уже потемнѣвшій, но освѣщенный во всѣхъ своихъ рельефахъ, высился на длинноватомъ пьедесталѣ посреди массивныхъ жирандолей и придавалъ всей площади совсѣмъ не тотъ видъ, какъ прежде, въ студенческіе годы Ермилова.

Онъ имъ не очень восхищался и вообще находилъ произведенія русскихъ художниковъ бѣдными по вымыслу и экспрессіи. И все-таки онъ почувствовалъ, на этотъ разъ, какое-то молодое щекотаніе въ груди. Не даромъ считалъ онъ себя пушкинистомъ.

Но чѣмъ ближе онъ подходилъ къ Патріаршимъ-Прудамъ, тѣмъ отчетливѣе выступали въ его воображеніи лицо и фигура Анны Гавриловны.

Увертываться ему нечего передъ самимъ собою. Она его заинтриговала достаточно. Больше того. Она расшевелила, даже издала, самые тонкіе фибры его женолобія. Ею стоитъ заняться — и даже очень.

Цѣнилъ онъ и то, что въ этой дѣвушкѣ, уже доразвившейся до молодой женщины, такъ много своего, русскаго, московскаго. Въ любви онъ былъ поклонникомъ русскаго фѣминизма, хотя и снималъ сливки съ женщинъ всякихъ расъ и національностей.

Онъ убѣдился долгимъ опытомъ, до какой степени русскія женщины — отъ горничной до великосвѣтской барыни — щедры въ проявленіяхъ своей природы, въ ласкѣ, въ томъ, какъ онѣ отдаются... Это не то, что парижанки. Даже и въ южныхъ европейскихъ женщинахъ находилъ онъ больше сухой нервности, чѣмъ нѣги, чѣмъ искренняго чувственнаго порыва. Вогулина обдавала его игривымъ холодкомъ, но онъ въ него не вѣрилъ... Этотъ холодокъ, когда дѣло дойдетъ до минуты „самозабвенія“ (онъ любилъ это слово старинныхъ русскихъ повѣстей), безслѣдно исчезнетъ и уступить мѣсто самому безавѣтному прожиганію своего темперамента.

Его не удерживало въ этихъ думахъ то, что Анна Гавриловна дѣвушка, а онъ не собирается дѣлаться соискателемъ ея руки.

На женитьбу онъ не пойдетъ, объ этомъ и думать нечего. Но онъ пойдетъ до тѣхъ предѣловъ, какіе только возможны.

Или онъ глупо, по-мальчишески, ошибается, или Вогулина — одна изъ такихъ натуръ, гдѣ подъ бытовой оболочкой прочныхъ правилъ и предразсудковъ сидитъ тайно смѣлая женщина, со всякими видами любопытства.

Послѣ визита къ ней, сегодня же, онъ отправится къ другой дѣвушкѣ, также красивой, но въ другомъ вкусѣ, также самостоятельной, по своему положенію сироты и богатой невѣсты.

Въ Петербургѣ одна очень музыкальная дама просила его навѣстить ея пріятельницу, m-lle Карусъ, и съумѣла достаточно заинтересовать его личностью этой дѣвушки. Она ему сообщила даже, что въ ней онъ найдетъ большую поклонницу его любимыхъ авторовъ, французскихъ „декадентовъ“, и показала ему ея карточку.

Карточкой онъ остался доволенъ. Съ нея смотрѣло на него нѣчто не то испанское, не то венгерское, отзывающееся той Европой, которую онъ любилъ по женской части.

— *Non d'un petit bonhomme!* — возбужденно воскликнулъ онъ, охваченный чувствомъ, какое бываетъ у игроковъ, которымъ начинаетъ везти.

Ему даже захотѣлось потерять руки, да онъ замѣтилъ, что на немъ перчатки.

Онъ переходилъ площадку, ведущую къ Никитскому бульвару. Москву онъ начиналъ немного забывать, и не тотчасъ сообразилъ, какой будетъ самый краткій путь къ дому съ мезониномъ Анны Гавриловны.

Подходилъ онъ къ нему минутъ черезъ двадцать еще болѣе

замедленной походкой, чувствуя усталость въ ногахъ: онѣ у него съ нѣкоторыхъ поръ уже не служили ему по прежнему.

Онѣ шель однако безъ фатоватой увѣренности въ томъ, что его примутъ, какъ приняли бы молодого побѣдителя, одного изъ тѣхъ мужчинъ, которымъ нечего за себя бояться ни передъ какой красавицей.

На разговорѣ онѣ хотъ кого побѣтъ, возьметъ первый призъ за блескъ, любезность, новизну, грацію своего ума—онѣ это признавалъ; но есть другая сила, сокрушающая все въ любви—легкой или серьезной,—молодость, свѣжесть, натисекъ натуры, полной жизненныхъ соковъ.

Вотъ что начинало подтачивать увѣренность въ себѣ.

Когда Егоръ Петровичъ подходилъ по бульвару къ дому Вогулиной, въ окнѣ гостиной онѣ увидѣлъ женскую голову. Она мелькнула и скрылась.

„Она ждетъ!“—мгновенно подумалъ онѣ и поправилъ на носу ринсе-пез.

Фуляровымъ платкомъ обтеръ онѣ бороду, охваченную морозомъ, бодро взбѣжалъ на довольно высокое крылечко и позвонилъ.

Горничная Даша отворила ему тотчасъ же. И это былъ признакъ того, что его не только ждали, но и увидали изъ окна. Въ Москвѣ прислуга никогда не сидитъ въ передней, особенно женская.

— Здравствуйте, баринъ!—поздоровалась съ нимъ Даша, завеселѣвшая отъ прїѣзда этого „валяжнаго“ барина, въ которомъ она видѣла уже несомнѣннаго жениха.

Куликовъ ей не нравился, и она звала его про себя „училишкой“.

— Анна Гавриловна у себя?—обратился съ вопросомъ Ермаиловъ.

— Пожалуйте, пожалуйста!.. Кофей ждетъ васъ пить!

Тепло охватило его вмѣстѣ съ запахомъ жирнаго кофе. Онѣ немного запыхался отъ ходьбы, но сдержалъ свою легкую одышку, старательно оправилъ туалетъ передъ зеркаломъ и вошелъ, широко разставляя руки, съ готовымъ привѣтствіемъ, прищуривъ сквозь стекла свои большіе близорукіе глаза.

XIX.

Кофе пили они въ гостиной, у круглаго стола, накрытаго репсовою скатертью.

Ермиловъ сидѣлъ противъ нея, придвинувшись близко, размѣшивалъ сахаръ въ плоской чашкѣ и изъ подъ рінсе-пез оглядывалъ ее.

Она опять была въ пеньюарѣ, не въ бѣломъ, а въ плюшевомъ, голубовато-сѣромъ, съ шолковой рубашкой изъ тафты цвѣта чайной розы.

„Une vraie toilette de mariée“, — опредѣлилъ онъ мысленно и по-французски.

Но пеньюаръ такъ спитъ, что можетъ сойти и за платье; ея гибкая талія стянута внизу широкой лентой съ длиннымъ мысомъ и бантомъ изъ такихъ же нѣжныхъ лентъ, какъ и цвѣтъ тафты на рубашкѣ.

Туалетъ шелъ къ Аннѣ Гавриловнѣ необычайно, и онъ не могъ не начать съ него разговора.

Она стала, за зимнихъ два мѣсяца, еще краше. Особенно соблазнительна была у нея часть лица около ея родимокъ. Ихъ онъ замѣтилъ уже не одну, а цѣлыхъ три. Грудь ея слегка колыхалась отъ радостнаго волненія и глаза улыбались ему несомнѣнно.

„Да она просто объяденье!“ — не могъ онъ не воскликнуть про себя, и прошелся ладонью по стриженной бородеѣ и по головѣ съ замѣтной лысиной — жестомъ, который у него обозначалъ большое душевное довольство.

Она спрашивала его тономъ молодой женщины, которая сама желаетъ, и какъ можно скорѣе, перейти къ игриво-дружеской бесѣдѣ. Не понять этого нельзя было.

— О себѣ я не стану говорить, — началъ онъ, не отрывая отъ нея глазъ. — Я „у васъ, въ Москвѣ“!.. Вотъ видите, какъ я только переступаю порогъ этой комнаты, сейчасъ же у меня полются цитаты изъ роли Чацкаго!.. А это мнѣ немножко не къ лицу... и не по лѣтамъ...

Онъ вздохнулъ и дурачливо опустилъ рѣсницы.

Она засмѣялась. Этотъ смѣхъ защекоталъ его почти физически и „замолодилъ“ такъ, что ему его слова показались самому чистымъ фарисействомъ.

„Почему же нѣтъ? — подумалъ онъ тотчасъ послѣ того. — Вѣдь я же дѣйствую на нее чѣмъ-нибудь... Если не физической мо-

лодостью, такъ душевной! Во мнѣ она чувствуетъ мужчину, способнаго оцѣнить ее, какъ никто изъ здѣшнихъ ея ухаживателей, всѣхъ этихъ медоточивыхъ или снотворныхъ развивателей или ловкачей, въ родѣ господина Куликова“.

И это была правда.

Она положительно скучала безъ него, ждала его писемъ, говорила о немъ и съ своимъ „претендентомъ“ Куликовымъ, такъ часто и много, что тотъ сталъ обижаться и пошелъ на злоязычье, изъ-за чего у нихъ вышла даже разъ сцена.

Онъ пріятно волновалъ и веселилъ ее больше, чѣмъ кто-либо... О его лѣтахъ она и не думала, да и привыкла давно, „въ качествѣ полной хозяйки и госпожи своихъ поступковъ“, считать себя самою дѣвушкой лѣтъ двадцати-пяти, шести... Ему она не давала больше сорока и прямо сказала Куликову, увѣрявшему, что Ермиловъ—товарищъ Симбирцева и Кустарева:

— Вы выдумываете!

Чуть не прибавила: „изъ худо скрываемой зависти“.

Ермиловъ, послѣ маленькихъ, но чрезвычайно лестныхъ замѣчаній о туалетѣ, прическѣ, фигурѣ—все это были самыя тонкія любезности—съ болѣе серьезнымъ лицомъ сталъ спрашивать ее о прочитанномъ.

Опять рѣчь зашла о декадентахъ, о Жозе-Маріа Эредіа и о новомъ томикѣ курьезныхъ стихотвореній, выпущенномъ въ Парижѣ. Ермиловъ выслалъ ей эту книжку изъ Петербурга.

— Я ничего ровно не понимаю,—выговорила Анна Гавриловна съ милой усмѣшкой своего характернаго рта.

— Это вамъ такъ только кажется!.. Прелесть заключается именно въ нѣкоторой трудности распознаванія...

— Такъ это лучше ребусы рѣшать!

„Мила, очень мила!“—восхищался мысленно Ермиловъ.—„И зачѣмъ это я все ее просвѣщаю и пристаю съ книгами! Развѣ это не все равно, пойметъ она ихъ или нѣтъ?.. Главное совсѣмъ не въ этомъ“...

Его ласкающіе, женолюбивые глаза безъ словъ досказывали, въ чемъ тутъ главное.

И она начинала это понимать. Любовная игривость Ермилова не заставляла ее цѣломудренно уходить въ себя. Онъ ей нравился; но въ головѣ ея не переставалъ всплывать все одинъ и тотъ же вопросъ:

„Неужели онъ это такъ, зря, изъ привычки къ вѣчному ухаживанью за всякой недурной женщиной?“

Анна Гавриловна не допускала мысли, что этотъ сорокалѣт-

ній холостякъ съ „ужасной“ репутаціей мечтаетъ о сближеніи съ нею какъ съ замужней дамой, вдовой или даже особой изъ болѣе легкихъ сферъ: актрисой, танцовщицей, женщиной сомнительнаго прошлаго.

Она была слишкомъ „госпожа“ для этого.

Отчего же ей и не сблизиться съ нимъ по-американски, чтобы видѣть, выйдетъ ли изъ этого что-нибудь серьезное?.. Онъ прекрасно воспитанъ. Дерзкаго и нахальнаго въ немъ нѣтъ ни тѣни. Вѣдь и любить, и сближаться, и нравиться, и производить любовный выборъ мужчины надо умѣючи. И тутъ необходима школа. Такой человѣкъ, какъ Ермиловъ, могъ бы быть самымъ лучшимъ учителемъ.

„А обожжешься?“ — спрашивала она себя, продолжая шутиливый разговоръ.

Чувственники, какъ онъ, опасны. Они могутъ развратить незамѣтно, воспользоваться однимъ мигомъ томленія, хандры или игривыхъ мыслей.

„Не надо идти дальше извѣстнаго тона“.

Но ей все больше и больше хотѣлось сближаться съ нимъ, завлекать его, пробовать на такомъ „знатокѣ“ свои дѣвичьи чары.

Ермиловъ это испытывалъ и объяснялъ по своему. Кто же нынче можетъ ручаться за прошедшее дѣвушки, даже изъ самаго порядочнаго общества, да еще такой, которая осталась круглою сиротою, живетъ какъ молоденькая дама, дѣлаетъ что хочетъ, принимаетъ молодыхъ мужчинъ, скучаетъ, конечно, одиночествомъ, ищетъ интересныхъ знакомствъ?

Развѣ у нея не могло уже быть романа; не „въ сухую“, а настоящаго романа? Ее могли обмануть, или дѣло не дошло до брака, потому только, что „онъ былъ женатъ“.

„Нынче женатые въ спросѣ“, — думалъ онъ, любуясь ею, и говорилъ въ это время о какой-то критической статьѣ. „Болѣе въ спросѣ, чѣмъ нашъ братъ-холостякъ. И вотъ она увлеклась, ею обладалъ женатый, бросилъ или она его бросила, не выдержала всякихъ психическихъ осложнений... И это былъ первый любовный урокъ“.

„L'appétit vient en mangeant!“ — продолжалъ онъ думать въ промежутки ихъ разговора, который шелъ теперь о ея одиночествѣ и о прѣснотѣ московскихъ вечеровъ.

„Она не хочетъ оставаться безъ романа. Она только-что развилась и почуяла въ себѣ женщину. Такой цѣнитель, какъ я, ей очень на-руку“.

Незамѣтно тонъ Егора Петровича дѣлался интимнѣе. Онъ

уже два раза поцѣловаль прелестную руку съ голубыми жилками и даже придержаль ее въ своихъ рукахъ. И ее не отдернули.

Ему не страшно этой „приданныцы и московской боярышни, à la recherche d'un mari chic“. Онъ совсѣмъ и не думаетъ объ опасности сближенія съ порядочными дѣвицами, даже и такими, которыя живутъ на полной свободѣ.

Совершенно такіе звуки и взгляды пускаетъ онъ съ самыми опытными женщинами, съ кѣмъ у него очень быстро шло на ладъ и недавно, съ годъ назадъ, и въ первыя времена его успѣховъ, — только невольно примѣшивалась болѣе мягкая игривость, проникнутая увѣренностью въ себѣ.

„Но съ такой дѣвицей надо дѣйствовать безъ лишнихъ оттяжекъ. Иначе это превратится въ безвкусное развиваніе, — продолжалъ думать Ермиловъ въ перебивку съ фразами, которыя онъ произносилъ вслухъ. — Нужно только пробовать, на что она идетъ, чего боится и чего нѣтъ“.

— Какіе славные дни стоятъ! — вдругъ сказалъ онъ, не бояся банальнаго перехода къ погодѣ. — Хочется прокататься за городъ... Вы любите?..

— Люблю! — отвѣтила она. — Но очень рѣдко пользуюсь этимъ удовольствіемъ. Даже и не помню, ѣздила ли въ прошлую зиму.

— Со мной... не хотите ли?.. какъ-нибудь... днемъ? — прибавилъ онъ и долгимъ взглядомъ остановился на ея головѣ.

Она нисколько не смутилась, только поглядѣла немного въ сторону и прикусила нижнюю губу.

— Это идея! — звонко выговорила Анна Гавриловна и слегка кивнула головой. — На тройкѣ?

— Какъ вамъ угодно.

— Ужъ если ѣхать, такъ на тройкѣ!..

И подумавъ немножко, она сказала:

— Но, разумѣется, не въ Стрѣльну!

— Вы не любите цыганъ? — спросилъ онъ и мысленно добавилъ: — „угощать ими у меня нѣтъ большой охоты“.

— Я ихъ слышала всего раза два-три въ мою жизнь. Они мнѣ не нравятся. Дикіе звуки...

— И жестокое перевираніе текста... Но я и не позволилъ бы себѣ предложить вамъ поѣздки въ Стрѣльну или въ Яръ, какъ здѣсь говорятъ...

— Въ Яръ? — повторила она.

— Вѣдь истые москвичи-вивѣры говорятъ: „мы собираемся въ Яръ, а не къ Яру“.

— А вы пуристъ?

— Впрочемъ они, быть можетъ, и правы. Ярзъ—фирма, слово, въ родѣ: Ливадія, Аркадія, Стрѣльна...

— Мы туда не поѣдемъ,—вымолвила Анна Гавриловна и усмѣхнулась настолько игриво, что Ермиловъ тотчасъ же подумалъ:

„Ты—настоящая москвичка: приличіе будетъ соблюдено, а того, что можетъ повести за собой такая прогулка—ты не боишься.“

— Знаете что... я вамъ предложу Петровское-Разумовское... Парезъ въ снѣжномъ уборѣ долженъ быть очень красивъ.

— Это удачная идея!.. Когда же?

— Когда прикажете и въ какое угодно время?

— Хотите послѣ-завтра?

— A la „disposicion de usted“,—выговорилъ онъ съ шутивымъ наклоненіемъ головы.

— Это на какомъ языкѣ?

— Одна изъ немногихъ испанскихъ фразъ, извѣстныхъ мнѣ.

Онъ хотѣлъ-было прибавить:

„Мы могли бы тамъ позавтракать“, но не сказалъ этого.

„Отъ чаю она, пожалуй, и не откажется,—соображалъ онъ. —И холодъ ее проберетъ немного, да и какая же настоящая москвичка откажется отъ чаю?“

Ему кто-то говорилъ, что тамъ, около Виселокъ, открытъ ресторанъ. Стало-быть, есть и кабинеты.

И она могла это знать. Во всякомъ случаѣ, поѣздка на тройкѣ, вдвоемъ, сблизить ихъ. А вдругъ она предложитъ кого-нибудь?.. Тетуську?.. Кажется, у нея живетъ какая-то старушка?

— Тройка... очень хорошо,—начала она вслухъ нѣсколько инымъ тономъ.—Но это днемъ, немного странно...

„Ретируется!“ подумалъ Ермиловъ.

— Громоздко?—подсказалъ онъ слово.

— Именно!

— Поѣдьте въ городскихъ саняхъ... Налегкѣ!..

— Это гораздо удобнѣе...

— Вотъ что мы сдѣлаемъ,—заговорилъ онъ, понижая голосъ.—Мы сядемъ у Тверского бульвара.

— На площади, передъ Страстнымъ монастыремъ?—подсказала она, и глаза его радостно и хищно заблистали.

— Именно!

Она не поднимала на него глазъ, но щеки ея разгорѣлись и по губамъ прошла усмѣшка, за которую онъ не могъ не поблагодарить, нагнулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.

„Да вѣдь это свиданіе,—проговорилъ онъ мысленно:—въ пол-

ной формѣ и даже съ увозомъ, на лихачѣ... *La demoiselle n'y a pas de main morte!*"

И эта французская фраза слегка охладила его. Ему все это показалось слишкомъ быстрымъ.

Но это было на одну секунду. Перспектива слишкомъ заманчива. Онъ отъ пріятнаго волненія даже всталъ и прошелся по гостиной своей широкой, раскидистой походкой.

— Послѣ-завтра,—спросилъ онъ по-французски, когда подошелъ къ ней и низко нагнувъ голову,—во второмъ часу, у памятника Пушкина?

— Да,—выговорила она и смѣло поглядѣла на него.

„*Nom d'un petit bonhomme!*—воскликнулъ онъ, по своей неизмѣнной привычкѣ, и, присѣвъ къ ней, заговорилъ опять о творцѣ божественныхъ сонетовъ, Жозе-Маріа Эредіа.

XX.

Съ утра Анна Гавриловна прилаживала шляпку, заказанную въ тотъ день, когда у нея былъ Ермиловъ, и они согласились ѣхать въ Петровское-Разумское.

Она выбрала темно-красный плюшъ—онъ шелъ къ ней чрезвычайно—и остановилась на фасонѣ „*chapeau-sarote*“ въ родѣ дѣтской шляпки въ сборкахъ, съ бантомъ, на атласѣ нѣжнаго оттѣнка.

Наканунѣ она волновалась, пока изъ магазина не принесли шляпки. Весь вечеръ она обдумывала туалетъ, такой, чтобы не былъ слишкомъ наряденъ, не смялся подъ шубкой, сидѣвшей очень плотно, по талии. Она остановила свой выборъ на корсажѣ, въ которомъ ея талия имѣла самый красивый выгибъ, при темно-клетчатой юбкѣ.

Ермиловъ „обновлялъ“ ее. Такъ она сама выражалась. Ей съ нимъ такъ ново и завлекательно, какъ ни съ кѣмъ изъ московскихъ никогда не бывало, даже изъ самыхъ интересныхъ и молодыхъ.

Она не смотрѣла на него какъ на жениха, не хотѣла этого, и въ то же время чувствовала, что они могутъ сблизиться болѣе, чѣмъ добрые знакомые.

За себя она не боялась. У нея совсѣмъ не такой темпераментъ, чтобы не отвѣчать за себя, еслибъ такой опытный „женюль“ и сталъ увлекать ее всякими способами.

Ей хотѣлось игры, а не московскаго развиванья, съ трусли-

выми намеками и разговорами о благородныхъ чувствахъ, но настоящей любовной игры съ такимъ мужчиной, какъ этотъ Ермиловъ. Съ его прїѣзда, и даже раньше, когда переписка завязалась между ними, она стала понимать цѣну и прелесть своей полной свободы. Ермиловъ помогалъ ей выяснять себѣ свою собственную натуру, свои настоящіе вкусы и наклонности.

„Можетъ быть я совсѣмъ не московская „боярышня“,—думала она.—Кто знаетъ!.. Пожалуй, я съ очень порочными инстинктами; а можетъ, способна познать настоящую страсть, завертѣться?“...

И ужъ, конечно, не съ здѣшними мужчинами испытаетъ она все это. Куликовъ не противенъ ей; но очень ужъ она его видитъ насквозь. Онъ ищетъ руки, это ясно, и не знаетъ, какія ему пустить въ ходъ средства, чтобы затягивать ее въ „интеллигентное сближеніе“—его любимая фраза. Видитъ она и его ревность. Ермиловъ очень опасенъ для него. Ему остается одно орудіе—возмущаться ухаживаніемъ сорокалѣтняго Донъ-Жуана за порядочной дѣвушкой, безъ „честныхъ“ намѣреній.

Куликовъ точно пронюхалъ, что она согласилась съ Ермиловымъ встрѣтиться на бульварѣ,—это свиданіе ужасно тѣшило ее,—и все спрашивалъ ее, какъ она располагаетъ провести весь этотъ день?..

Она ему отвѣтила:

— Я не знаю! Я не желаю жить такъ размѣренно.

Вѣроятно, по выражанію ея глазъ, онъ почуялъ, что-нибудь опасное для себя и все-таки напросился вечеромъ посидѣть, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ просмотритъ ея рефератъ.

Эти „рефераты“ и умныя бесѣды о московскихъ любимыхъ авторахъ прїѣлись ей почти до оскомины.

— Можетъ быть, вы меня и застанете,—ужъ совсѣмъ не любезно, отвѣтила она ему.

Но онъ придетъ. Онъ цѣпкій. Про него Даша говоритъ: „Не прблей-капельки“. Придетъ и не застанетъ ее дома.

Анна Гавриловна не знала еще, какъ у нея пройдетъ весь этотъ день и вечеръ, вернется ли она обѣдать домой, или ихъ пикникъ затянется.

Немного ей было какъ будто и страшно, и это чувство только прїятнѣе подмывало ее.

— А какъ вы будете встрѣчать новый годъ?—приставалъ Куликовъ.

— Вѣроятно дома.

Его глаза просились къ ней; но она его не пригласила.

Ермилову она сказала, когда онъ уходилъ отъ нея, что ей очень бы хотѣлось встрѣтить новый годъ съ нимъ. Онъ можетъ отъ нея поѣхать и въ другія мѣста. И онъ былъ въ восхищеніи.

Объ этомъ она, конечно, не заикнулась Куликову.

Позавтракала она поспѣшно и даже безъ аппетита. Отъ тетки она также скрыла свою поѣзду съ Ермиловымъ, — да она вѣдь и не обязана ей обо всемъ докладывать. Съ утра Анна Гавриловна была причесана точно на вечеръ, и только-что встала изъ-за стола — было уже около двѣнадцати часовъ — какъ ей подали городскую депешу. Она прочла ее еще въ столовой.

Ермиловъ телеграфировалъ въ шутивно-огорченномъ тонѣ, какъ его преслѣдуетъ судьба: съ утра ужасная невралгія; быть можетъ, придется пролежать болѣе сутокъ. Новый годъ хочетъ непременно встрѣтить вмѣстѣ.

Первое чувство ея было — пожалѣть; но сейчасъ же оно перешло въ недовѣріе.

... „Отказался, пошелъ на попятный, боится зрѣлой и предпримчивой невѣсты“...

Она покраснѣла и ушла въ себѣ въ спальню, кликнула Дашу и стала передѣваться.

— Не поѣдете? — спросила ее Даша и посмотрѣла на нее съ улыбкой: „Я, молъ, догадываюсь, куда и съ кѣмъ вы собрались“.

— Не поѣду! — отвѣтила Анна Гавриловна; ей даже захотѣлось дать на эту „дерзкую“ Дашу окрикъ.

— И шляпка-то зря заказана! — продолжала горничная.

— Почему же „зря“? Чтò вы за вздоръ болтаете, Даша!..

Горничная примолкла. Она знала, что барышню, когда ей чѣмъ не потрафишь, не трудно довести и до окрика.

— Подайте мнѣ пенъюаръ — голубой!

Анна Гавриловна одѣлась такъ же быстро и вышла опять въ гостиную. Она никуда не поѣдетъ и не пойдетъ сегодня. Съ какой стати будетъ она обновлять свою красную шляпку? Эта шляпка сдѣлалась ей противна.

Маленькія розовыя пятна выступили у нея на щекахъ и около ушей. Она ходила по гостиной короткими и порывистыми шагами и шелкала чуть слышно пальцами. Глаза ея, съ недоброй усмѣшкой на губахъ, останавливались то на одномъ предметѣ, то на другомъ.

Послѣднее впечатлѣніе отъ депеши Ермилова перешло уже въ твердую увѣренность.

Конечно, онъ попытлся назадъ. Эта невралгія — чистая вы-

думка, благовидный предлогъ, да и весь тонъ телеграммы фальшивый.

Ея сближеніе съ Ермиловымъ получило, въ ея глазахъ, совсѣмъ иную окраску. И досадно, и обидно стало ей за самое себя, какъ никогда не бывало.

Урокъ полученъ хорошій. И отъ кого? Отъ извѣстнаго „развратника“, отъ человѣка, который и каждой замужней женщинѣ сейчасъ повредить въ ея репутаціи.

Въ ухаживаніи его она не могла не распознать самаго неуважительнаго отношенія къ себѣ. Развѣ такъ ухаживаютъ за такой дѣвушкой, какъ она? Если даже и не имѣть на нее честныхъ намѣреній, не искать сближенія съ цѣлью женитьбы, то и тогда развѣ такъ говорятъ съ нею послѣ двухъ-трехъ визитовъ, развѣ приглашаютъ ее кататься на лихачѣ-извозчикѣ, за городъ, чуть не сразу въ кабинетъ ресторана? И она вспомнила, что въ Петровскомъ-Разумовскомъ открытъ ресторанъ съ прошлаго лѣта. Навѣрно Ермиловъ зналъ про него, и въ его программу входило предложить тамъ чашку чаю.

Анна Гавриловна приложила ладони къ щекамъ: онѣ у нея пылали.

Ей сдѣлалось стыдно... Она готова была расплакаться.

Но подъ всѣмъ этимъ было другое чувство. Въ этомъ она не хотѣла сознаться; но это-то чувство и повело за собою обиду и горечь. Женщину задѣли въ ней. Она не за то разсердилась на Ермилова, что онъ повелъ свое ухаживаніе слишкомъ прозрачно и точно съ какою-нибудь легкой актрисой или танцовщицей... Но онъ попытался назадъ—вотъ чего нельзя было простить.

Значить, онъ не настолько увлеченъ, чтобы забывать опасность сближенія съ дѣвушкой для закоренѣлаго холостяка, охотящагося за женщинами. Стало быть, впечатлѣніе на него не пошло дальше пустого любезничанья, отъ скуки, проѣздомъ...

Вотъ чтó сверлило ей сердце и вызывало въ головѣ цѣлую вереницу упрековъ себѣ.

Оставить это такъ, безъ всякой отплаты? Онъ рассчитываетъ встрѣтить съ нею новый годъ! Вѣроятно думаетъ, что она пригласитъ его одного, явится съ конфетами или букетомъ и будетъ продолжать свою игру женолюба и остроумца, но не опасную въ присутствіи тетушки или въ *tête-à-tête* послѣ ужина вотъ въ этой гостиной?

Щеки уже не такъ сильно пылали у Анны Гавриловны; но она продолжала ходить. Мысль ея перепила къ Куликову, къ его возможному вечернему визиту сегодня.

Она позвонила. Даша прибѣжала стремительно.

— Пошлите мнѣ за посыльнымъ,—приказала Анна Гавриловна и перешла къ себѣ въ будуаръ,—сейчасъ же присѣла къ письменному столу и стала писать записку.

Она извѣщала Куликова, что вечеръ у нея свободенъ, благодарила его за просмотръ ея реферата, говорила ему еще про „умную книжку“, о которой хочетъ побесѣдовать съ нимъ.

Эту книжку рекомендовалъ ей Ермиловъ. Куликовъ ее не знаетъ, да и она прочла только половину; но у нея есть еще довольно времени до обѣда и послѣ обѣда. Не съ Ермиловымъ будетъ она толковать объ ней, а съ Куликовымъ, и онъ навѣрно станетъ восхищаться тѣмъ, какъ она слѣдитъ за всѣмъ. Объ Ермиловѣ они поговорятъ на этотъ разъ какъ надо. Она уже не станетъ запрещать Куликову по ниточкамъ разбирать старѣющаго селадона и „гнилого“ эстетика.

Она послала записку и приказала Дашѣ принести ей другой пеньюаръ, домашній, въ которомъ можно лежать, и легла на кушетку съ книжкой, поднесенной ей Ермиловымъ. Это былъ первый томъ „Etudes de philosophie contemporaine“, Поля Бурже.

Чтеніе начало успокаивать ее, затягивало въ цѣлый рядъ новыхъ мыслей... Но два мужскихъ лица то-и-дѣло выплывали изъ печатныхъ страницъ, и она клала книжку на колѣни, закрывала глаза и начинала сравнивать и проводить параллели.

Что-жъ изъ того, что Куликовъ для нея слишкомъ понятенъ? А Ермиловъ развѣ загадоченъ? Нисколько! Стоитъ ей удачно выйти замужъ, чтобъ нѣсколько Ермиловыхъ явилось поклонниками. Ермиловъ въ сущности—старый, престарый типъ беззащитнаго эпикурейца-чувственника, который начинаетъ нравственно падать, если совсѣмъ уже не палъ.

Оболочка у него блестяща, забавна, дразнить, щекочетъ, дѣйствуетъ на порочные инстинкты и всего больше на тщеславіе женщинъ; но изъ него не выйдетъ даже самаго ординарнаго любовника.

Она не выговорила про себя грубое слово: „любовникъ“; но мысль ея была ясна. Ермиловъ старъ, онъ слишкомъ потертъ жизнью; у него и въ самомъ дѣлѣ могутъ быть старческія невралгіи, черезъ пять лѣтъ онъ—руина... Только неразборчивыя и легкія женщины могутъ сближаться съ нимъ. И если онъ совершенно немислимъ въ роли мужа, то и въ герояхъ ея романа ему не бывать.

Этотъ выводъ дался Аннѣ Гавриловнѣ безъ труда. Но она не покончила тѣмъ съ самою личностью Ермилова; въ нее запало

желаніе дать ему почувствовать, какъ она на него теперь по-смотрѣла.

Параллель продолжалась. Она, въ слѣдующую паузу, протянула руку, достала съ письменнаго стола кабинетный портретъ въ плюшевой рамѣ—портретъ Куликова, и долго его разсматривала, приближала и отдаляла отъ глазъ, изучила всѣ ретушевки, нашла, что и съ ними онъ все-таки похожъ, и фотографъ ему не польстилъ.

Лицо—умное; улыбка, правда, сладковата, но въ ней—въ углахъ губъ—сидитъ большая энергія, и эта сладковатость только кажущаяся.

„Значить—маска?“ — спросила Анна Гавриловна и тотчасъ успокоила себя.

Какая же маска! Она давно проникла за эту маску. Куликовъ не притворяется либераломъ и прогрессистомъ; но онъ держится этихъ идей умѣючи, съ тактомъ, и онъ ему не помѣшаютъ выйти въ люди. Онъ не оригиналенъ въ языкѣ и оцѣнѣ книгъ, но работящъ, боекъ во всемъ, что даетъ ходъ молодому ученому, гораздо умнѣе и проницательнѣе видитъ, кто какое занимаетъ положеніе и съ кѣмъ надо дружить—до поры до времени.

Прежде она возмущалась, когда онъ представлялся ей въ такомъ именно свѣтѣ; а сегодня ей эти свойства кажутся допустимыми въ человѣкѣ, о которомъ думаешь какъ о мужѣ.

Она такъ уже думала о немъ, лежа на кушеткѣ, съ его портретомъ въ рукѣ.

Куликовъ добивается сближенія съ нею какъ порядочный человѣкъ, не скрываетъ своего чувства. Можетъ быть, онъ ее гораздо сильнѣе любитъ, чѣмъ она думаетъ. Но, положимъ, что такая натура не способна на страсть. Такъ вѣдь и Ермиловъ на нее не способенъ. Но тутъ—молодость и свѣжесть, а тамъ...

Она брезгливо повела плечами.

„И будетъ попечителемъ—навѣрно“, выговорила Анна Гавриловна про себя, закрыла глаза на болѣе долгое время и стала представлять себя въ роли попечительши. Такой „пустрый“ малый, какъ Куликовъ, дойдетъ и до попечителя...

Отъ кого же зависить привлечь его къ себѣ, сказать ему: „цыпъ-цыпъ“, какъ не отъ нея?

А Ермилова все-таки надо своимъ порядкомъ проучить.

На этомъ она задремала.

XXI.

Швейцарь подавалъ шубы двумъ гостямъ только-что сошедшимъ съ площадки перваго этажа, гдѣ жила Доротея Васильевна Карусь.

Это были Ермиловъ и Гремушинъ.

— Намъ судьба выходить вмѣстѣ, — говорилъ Ермиловъ, осторожно спускаясь съ послѣдней ступеньки. У него еще не совсѣмъ прошла боль въ лѣвой ногѣ.

— Дольше оставаться что же!.. Только расколаживать впечатлѣніе...

Гремушинъ тихо улыбался и полужакрывъ глаза, когда выговаривалъ эти слова.

Онъ намекалъ на пѣніе хозяйки.

Ермиловъ попалъ къ ней во второй разъ. Онъ сдѣлалъ ей визитъ на другой день послѣ кофею у Вогулиной, напелъ ее менѣе интересной, чѣмъ какою ему описывали ее въ Петербургѣ, не въ его вкусъ, лишенной оригинальности въ лицѣ, манерахъ и разговорѣ. Ея литературность въ новомъ вкусѣ онъ не успѣлъ повондировать, да ему и не вѣрилось, что она дѣйствительно пережила „бодлѣризмъ“ и „флоберизмъ“.

Что онъ въ ней тотчасъ же распозналъ, чутьемъ знатова современной женщины, это — „каботинку“ — „la sabotine“, скрытую и всепоглощающую жажду артистическихъ ощущеній извѣстности, рукоплесканій зрительной или концертной залы, — что не исключаетъ у такихъ женщинъ склонности къ мужелюбію, увлеченій и даже унижительныхъ страстей къ какому-нибудь красавцу-мужчинѣ, тоже изъ „каботиновъ“: изъ пѣвцовъ, виртуозовъ, актеровъ.

Ермиловъ въ первый же разговоръ съ нею какъ-то сразу задѣлъ эту струну, и она задрожала сейчасъ же сильнѣе всего прочаго. Пессимизмъ, извлеченный изъ „Fleurs du mal“ Бодлѣра, былъ только орнаментъ, дополненіе къ отдѣлкѣ ея кабинета и гостиной, гдѣ онъ оцѣнилъ нѣсколько истинно рѣдкихъ произведеній искусства и парижскихъ bibelots.

Въ этотъ визитъ получилъ онъ и приглашеніе на ея jour fixe, и не очень этому обрадовался, а пошелъ потому только, что не хотѣлъ проводить вечера въ театрѣ; но къ Вогулиной не рискнулъ явиться безъ зова.

Егоръ Петровичъ допускалъ то, что Анна Гавриловна не повѣрить его внезапной болѣзни.

Невралгія дѣйствительно разразилась съ утра, и онъ медлилъ посылать депешу до одиннадцатаго часа, промучившись въ постели съ восьми часовъ утра.

Но онъ былъ радъ этому честному предлогу, этой физической невозможности — „forse majeure“, — какъ онъ выражался, про себя, по-французски. Еще наканунѣ его начинало брать раздумье. Такая поѣздка вдвоемъ на извозчикѣ-лихачѣ, съ рестораномъ въ перспективѣ — онъ непремѣнно бы предложилъ заѣхать обогрѣться — была „чревата“ послѣдствіями. Одно изъ двухъ: или онъ зарвался бы съ ней, какъ „порядочный человѣкъ“ — и дѣло могло кончиться жениховствомъ, или онъ позволилъ бы себѣ что-нибудь лишнее и получилъ бы непріятный отпоръ.

Невралгія пришла очень встати; только отъ поѣздки онъ воздержится, да и она сама не пожелаетъ, она — такая... Онъ рассчитывалъ загладить все въ ночь на новый годъ, явиться съ букетомъ рублей въ двадцать-пять и снять сливки съ этого новогоднего вечера. Вѣроятно никого и не будетъ, кромѣ тетюшки. Это почти все равно, что съ глазу на глазъ; а между тѣмъ не опасно. Вогулина ему очень нравится; но она дѣвушка, и онъ долженъ остаться вѣренъ своей программѣ.

Встрѣтить новый годъ пригласила его и Карусь. Онъ было отказался, но она стала его упрашивать, говоря:

— Приѣзжайте позднѣе, хоть послѣ двѣнадцати. Вы насъ еще застанете за столомъ.

Отъ этого онъ не могъ отказаться.

Приглашеніе было сдѣлано сегодня, при Гремупинѣ, котораго онъ нашелъ у Карусь — не безъ удивленія — и цѣлый вечеръ незамѣтно наблюдалъ его.

Такой „чудакъ“ могъ бывать и у дѣвицы съ талантомъ, наружностью и обстановкой Доротей Васильевны Карусь; но Ермиловъ, во время пѣнія хозяйки, рѣшилъ безповоротно, что Гремупинъ „врѣзался“ серьезно.

Обыкновенно онъ относился къ роковымъ увлеченіямъ женщинъ въ другихъ съ шуточкой и даже насмѣшкой — особенно если это были люди не самой первой молодости. Онъ вообще не преклонялся нисколько передъ страстью, бурными порывами, безумствомъ любви, и ставилъ выше всего любовь-galanterie, во вкусѣ восемнадцатаго вѣка. Къ такимъ увлеченіямъ онъ былъ крайне снисходителенъ и охотно дѣлался наперсникомъ и мужчинѣ, и женщинѣ. Но надъ Гремупинымъ онъ почему-то не сталъ смѣяться. Глядя на бритое, поблѣднѣвшее, странно молодежавшее лицо чудака, ушедшаго въ кресло и впившагося глазами въ пѣ-

вицу, — онъ сталъ жалѣть его и интересовался этою несомнѣнною страстью, запоздалой и такъ неподходявшею въ наружности, тону, ко всему складу его новаго знакомаго.

Они вышли на улицу вмѣстѣ.

— Не хотите ли пройтись Чистыми-Прудами? Ночь славная! — предложилъ ему Ермиловъ.

— Съ удовольствіемъ, — выговорилъ своимъ обычнымъ учтивымъ тономъ Гремущинъ.

Онъ шелъ опустя голову, и Ермиловъ чувствовалъ, что у него въ ухахъ еще переливы голоса Доротей Васильевны.

— Послушайте, — тихо спросилъ онъ его, когда они были уже на бульварѣ. — Вѣдь признайтесь — у васъ въ ухахъ все еще голосъ mademoiselle Карусъ?

Гремущинъ быстро поднялъ голову въ высокой мерлушковой шапкѣ и выговорилъ безстрастнымъ звукомъ:

— Вы угадали.

— Она васъ гипнотизируетъ...

Слово это было такъ вѣрно употреблено, что Гремущинъ остановился на ходу и спросилъ наивно:

— А вы какъ это могли угадать?

— По „интуиціи“.

Ермиловъ довольно громко разсмѣялся.

Его смѣхъ раздался въ сухомъ, морозномъ воздухѣ. Деревья стояли полныя инея; керосиновые фонари горѣли тускло на самомъ бульварѣ. Онъ былъ совершенно пустъ; даже и саней не проѣзжало въ эту минуту.

— Развѣ это смѣшно? — не то обидчиво, не то грустно выговорилъ Гремущинъ и опять остановился.

Остановился и Ермиловъ.

— Извините... Я совсѣмъ не хотѣлъ шутить. Позвольте мнѣ спросить васъ: вы дѣйствительно испытываете нѣчто, похожее на гипнозъ, когда слышите голосъ...

Онъ затруднился сказать: „любимой женщины“, и послѣ маленюкой задержки выговорилъ:

— ...Женщины... которая на васъ вообще дѣйствуетъ.

— ...У которой, — продолжалъ его фразу Гремущинъ, — есть то, что французы называютъ „suggestion“?

— Именно!

— Да, я испытываю это.

— И состояніе это наполовину физическое? — спросилъ Ермиловъ тономъ, какой являлся у него всегда при разговорахъ съ научнымъ оттѣнкомъ.

— Какъ и все въ такъ-называемой душевной жизни нашей.

Выспрашивать у него что-нибудь о его чувствахъ Ермиловъ не сталъ. Онъ отличался большою деликатностью въ такихъ вещахъ и позволялъ себѣ смѣяться надъ „grtgrandes passions“ только за глаза или про себя.

Не сталъ онъ разбирать и Карусь,—ни женщину, ни пѣвицу. Въ пѣніи онъ не считалъ себя знатокомъ и на музыку смотрѣлъ почти такъ же, какъ и Гремущинъ. И пѣвица не привлекала его въ Карусь. Голосъ онъ нашелъ большимъ и „звонкимъ“; но экспрессию—слишкомъ манерной и съ оттѣнкомъ—какъ онъ отмѣтилъ мысленно — „заграничной цыганыщины“, которую онъ уже находилъ въ Петербургѣ, у свѣтскихъ дѣвицъ, мечтающихъ объ оперной сценѣ,—чувственное пѣніе безъ наивности, и темпераментъ безъ высшаго изящества. Лицо Доротеи Васильевны не нравилось ему и въ вечернемъ освѣщеніи. Онъ не любилъ лицъ съ усиками на верхней губѣ и пухомъ на подбородкѣ, слишкомъ ясно выраженныхъ чертъ, грозящихъ перейти скоро во что-то театрално-оперное, въ „каботинское“.

Все это онъ задержалъ въ себѣ и сказалъ только:

— Новѣйшій типъ—эта Доротея Васильевна.

— Типъ? — почти обиженнымъ звукомъ переспросилъ Гремущинъ.

— Да... въ ней очень ярко выраженъ протестъ новой женщины, желающей пользоваться рѣшительно всѣмъ, на что разрѣшили мы, мужчины.

— И онѣ имѣютъ на это полное право.

— Я и не спорю!

Гремущинъ замолкъ, затрусилъ мелкими шагами, нахлобучилъ шапку и, дойдя до Мясницкихъ-Воротъ, сказалъ торопливо:

— Прошу извинить меня. Мнѣ еще далекоенько.

И закричалъ извозчика.

— Мы встрѣчаемъ вмѣстѣ новый годъ!—крикнулъ ему вслѣдъ Ермиловъ, и пошелъ пѣшкомъ внизъ по Мясницкой, повторивъ нѣсколько разъ:

„Поздненько, поздненько, поздненько, братъ, врѣзлся“...

Но тотчасъ же подумалъ:

„А если онъ счастливъ,—то чего же ему больше? Опасности жениться нѣтъ—онъ женатъ“.

XXII.

Подарокъ въ пятьдесятъ рублей былъ посланъ, къ вечеру, Ермиловымъ. На Патріаршихъ-Прудахъ должны были получить его не позднѣе одиннадцати часовъ. Подарокъ состоялъ изъ корзины съ цвѣтами. Корзину Ермиловъ самъ выбиралъ въ Столешниковомъ переулкѣ и поторговался при этомъ; цвѣты купилъ на Петровкѣ — и тоже поторговался. Ему стало немного жаль такихъ денегъ; но надо же было загладить впечатлѣніе де-пеша.

Онъ разсудилъ надѣть фракъ, хотъ и зналъ, что ночь подъ новый годъ кончить на вечеринкѣ пріятелей изъ кружка, гдѣ все будетъ запросто. Но черный сюртукъ слишкомъ выставялъ его полноту, дѣлалъ его въ станѣ солиднымъ мужчиной — сильно за сорокъ. Отъ бѣлаго галстука онъ однако воздержался.

Егоръ Петровичъ не переставалъ разсчитывать на игривый разговоръ съ Вогулиной, съ глазу на глазъ, до или послѣ встрѣчи новаго года. Она не будетъ дѣлать ему ненужныхъ колкостей, поведетъ себя сначала какъ женщина, требующая дальнѣйшаго ухаживанія, но уже смягченная красивымъ и вѣроятно неожиданнымъ подаркомъ. У нея, даже и послѣ лишняго бокала вина, онъ ничего не боится. Это — не завтракъ въ загородномъ ресторанѣ. Господина Куликова она устранить.

Въ такихъ мысляхъ ѣхалъ Ермиловъ на Патріаршіе-Пруды и былъ заранѣе доволенъ программой своего вечера. Отпразднуетъ онъ новый годъ, да и вонъ изъ Москвы. Довольно. А то получишь ощущеніе прѣсноты, чего онъ больше всего боялся.

Домикъ Анны Гавриловны былъ освѣщенъ ярче обыкновеннаго. Въ окно гостиной, гдѣ забыли опустить стору, Ермиловъ заглянулъ еще изъ саней, боясь, что увидить какую-нибудь мужскую или женскую фигуру, но ничего не замѣтилъ.

Его впустилъ въ переднюю официантъ во фракѣ. Это ему не понравилось. Наемный фрачный лакей отзывался званымъ вечеромъ, чѣмъ-то ненужнымъ, какой-то мелкой претензіей. Вогулина могла бы и не дѣлать этого.

Анну Гавриловну нашелъ онъ въ небольшомъ залѣ, около стола, накрытаго всего на четыре прибора. По срединѣ красовался его подарокъ — корзина изъ цвѣтовъ. На нее падалъ свѣтъ двухъ канделябровъ. Вся сервировка блестяла, — точно ножи, вилки, тарелки, были положены совсѣмъ новые, въ первый разъ.

„Приданое свое выставяетъ“, подумалъ невольно Ермиловъ

и въ маленькое зеркальце поправилъ рукой усы и кончикъ своей конусовидной бородки.

На порогъ гостиной встрѣтила его хозяйка. Она была вся въ бѣломъ—не въ пеньюарѣ, а въ платьѣ, съ вырѣзомъ на груди, съ кружевными рукавами, съ букетомъ бѣлой сирени на корсажѣ и вѣткой тѣхъ же цвѣтовъ въ волосахъ.

Туалетъ шелъ къ ней удивительно. Но Ермиловъ не воздержался отъ мысленнаго замѣчанія, что такъ одѣться—какъ-то парадно у себя дома, на вечеринкѣ, за столомъ въ четыре прибора. Въ Европѣ это было бы вполне кстати. Въ Москвѣ обличало или претензію, или какое-то намѣреніе. Онъ однако подавилъ въ себѣ такую придирку. Красота Вогулиной, изящество туалета, бѣлые цвѣты быстро подкупили его.

Она встрѣтила его съ радостнымъ, почти сіяющимъ лицомъ и протянула обѣ руки.

„Умна“, проскользнуло въ его головѣ.

И онъ, безъ всякой уже тревоги, поцѣловалъ сначала одну, потомъ другую руку. Онѣ были обнажены почти до локтя. Сгибъ ихъ нашелъ онъ прелестнымъ, и въ одномъ изъ нихъ сидѣла родинка. Анна Гавриловна была этимъ очень богата.

И ея обычные духи прошли въ его нервамъ ласкающей струей.

— Какъ здоровье? Поправились?—заговорила Вогулина, не сразу выпуская его руки изъ своихъ.—Лежали въ постели?

— Все—фальшивая тревога,—со смѣхомъ отвѣтилъ Ермиловъ.

— Это, кажется, тоже изъ „Горе отъ ума“?

— Простите! У васъ на меня нападаетъ страсть цитировать Грибоѣдова.

Они перешли въ гостиную, освѣщенную, кромѣ лампы на кругломъ столѣ, двумя „кенкетами“.

Эти „кенкеты“ опять заставили Ермилова сдѣлать критическое замѣчаніе.

— Боже мой!—началъ онъ, остановивъ ее по срединѣ комнаты,—я просто въ себя не приду!—онъ зажмурилъ глаза:—эта млечная бѣлизна шолка, цвѣтовъ, рукъ, лица...

— Егоръ Петровичъ!—игриво прервала она его:—пощадите! Сядемте пока на диванъ.

Онъ предвкушалъ тотъ разговоръ, послѣ ужина, который будетъ вѣроятно тутъ же, на диванѣ: но для кого приготовленъ четвертый приборъ за столомъ?.. Онъ чуть-было не спросилъ объ этомъ.

Она улыбалась ему,—свѣжая, съ изумительнымъ тономъ кожи,

яркія губы полураскрыты, удлинённые глаза смотрѣли немного вбокъ, сирень съ ея груди и съ волосъ доносила до него чуть разлитое благоуханіе.

„Отчего же и не рискнуть?—мелькнуло у него на душѣ.— Вѣдь лучше я не найду пристани?..“

Въ ней—онъ это чувствовалъ—женщина не прѣется ему долго-долго, быть можетъ, до самой старости. Рѣдко испытывалъ онъ такой „разливъ“ любовнаго настроенія (Ермиловъ любилъ психологическіе термины), какъ теперь, вблизи этого созданія, полного вызывающей и торжествующей прелести.

Она тихо усмѣхнулась и прошла по немъ взглядомъ. Эту игру онъ наивно считалъ за возрастающее влеченіе къ нему... А ее подмывало, въ ту минуту, чувство особой сладости, какую только обиженная женщина находитъ въ чисто женской мести.

— Какъ это хорошо,—началъ Ермиловъ, отдаваясь своему настроенію,—что вы пригласили меня встрѣчать съ вами новый годъ, совсѣмъ по домашнему!

Ему уже казалось, что туалетъ, цвѣты, яркое освѣщеніе, блистающіе новизной фарфоръ и серебро—все это только для него.

— Да, мой другъ,—отвѣтила ему Анна Гавриловна и немного опустила голову.—Вы вѣдь—другъ?—спросила она, подняла голову медленно, и поглядѣла на него взглядомъ, гдѣ онъ ничего не прочелъ.

— Вы сомнѣваетесь?

Егоръ Петровичъ прикоснулся къ бѣлымъ и тонкимъ пальцамъ ея руки.

— Нѣтъ! Я и хотѣла раздѣлить съ вами этотъ моментъ моей жизни...

Она не договорила и взглянула сквозь рѣсницы на дверь въ залу.

„Пора бы ему быть здѣсь“, быстро подумала она.

Вошла тетка Анны Гавриловны. Она тоже принарядилась, была въ крепоновомъ бѣломъ платкѣ и въ свѣтло-фіолетовомъ платьѣ.

„Что ты, милая матрона,—подумалъ Ермиловъ,—разодѣлась, точно къ святому причастью?“...

— Вы, кажется, знакомы съ тетей?—спросила въ полголоса Вогулина.

Ермиловъ рѣшительно забылъ: представляли его раньше этой „матронѣ“, или нѣтъ.

Онъ всталъ и отвѣтилъ поклономъ одной головой, но почти-тельно; сдѣлалъ потомъ движеніе правой ногой.

— Я уже имѣла удовольствіе,—отвѣтила съ улыбкой, не особенно радостной, тетка и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Гавриловны, о чемъ-то ее спросила. Та быстро ей отвѣтила наклоненіемъ головы и глазами извинилась передъ Ермиловымъ за это хозяйственное *a parte*.

Появленіе тетки немного расхолодило его, но онъ присѣлъ еще ближе къ Аннѣ Гавриловнѣ, и опять его лѣвая рука инстинктивно стала искать прикосновенія къ ея бѣлымъ, прохладнымъ пальцамъ съ овальными ногтями.

— Да,—заговорилъ онъ тихо, съ легкими вздохами, улыбаясь полужамуренными глазами,—пріятный это былъ бы предразсудокъ—встрѣча новаго года, еслибъ она каждый разъ не приближала насъ къ той ямѣ, гдѣ ни стать, ни сѣсть!

— Кажется, это опять Грибоѣдовъ?—спросила Анна Гавриловна.

— Нѣтъ!.. Это ужасно!.. Наложите на меня какой угодно штрафъ.

— Вы развѣ боитесь смерти?

Вопросъ былъ сдѣланъ пытливымъ тономъ.

— Боюсь разныхъ гадостей, которыя идутъ передъ нею.

— Старость?

Слово: „старость“, могло бы задѣть Егора Петровича почти болѣзненно, но онъ въ немъ не услышалъ никакого ѣдкаго намека. Тонъ вопроса былъ скорѣе недоумѣвающей.

— Боишься чего-то... конца жизни! Быть можетъ, глупо... цѣнишь извѣстныя вещи гораздо выше, чѣмъ онѣ того стоятъ...

— Напримѣръ?—чуть слышно выговорила Анна Гавриловна.

— Напримѣръ, свободу.

Слово соскочило у него съ губъ такое ясное и съ такимъ яснымъ смысломъ.

И оно могло потянуть за собою и другія слова въ такомъ же родѣ.

Она молчала, и незамѣтная усмѣшка немного скосила ея ротъ. Она какъ будто о чемъ-то пожалѣла. Это было нѣчто въ родѣ начала признанія. Для самого Ермилова оно не казалось признаніемъ. Онъ отдавался какой-то сладкой игрѣ, уходилъ въ новое чувство опасности около плѣнительной женщины, уступалъ ей свою волю, не хотѣлъ дѣлать надъ собою никакихъ сознательныхъ усилій.

Имъ овладѣвала „абулія“... Ученый терминъ случайно мелькнулъ въ его головѣ. Наклонись она къ нему, вздрогни ея пальцы, когда онъ опять къ нимъ незамѣтно прикоснулся,—кто знаетъ,

онъ кончилъ бы полнымъ признаніемъ. Съ дѣвушкой какъ Анна Гавриловна—онъ это теперь почувствовалъ—признаніе не могло быть ничѣмъ инымъ, какъ предложеніемъ брака.

Ею овладѣло безпокойство. Она искусно прикрывала его; но голова заработала быстро и почти мучительно.

Неужели она все погубила изъ-за своего женскаго тщеславія? Вѣдь онъ не въ шутку увлеченъ. Заслышались совсѣмъ новые звуки. Тѣмъ цѣннѣе такое возвращеніе къ ней, послѣ того, какъ онъ испугался за свою свободу?.. Да испугался ли полно? Можетъ, онъ не хотѣлъ придавать ихъ прогулѣй пошлаго характера и этимъ выказалъ только тонкую почтительность?..

Краска душевнаго разлада начала выступать на ея щекахъ.

А женская злобность говорила въ другомъ уголѣ ея души. Ей было сладко, какъ никогда не бывало, отъ несомѣнной побѣды надъ запоздалымъ, но опаснымъ соблазнителемъ, сладко и жутко. Она медленно отдавалась этому второму чувству, смаковала его, говорила себѣ, что ей ничего не стоитъ сейчасъ же тутъ, въ гостиной, довести его до объясненія на колѣняхъ, съ пылкими и смѣшными проявленіями чувственной страсти.

Все это взяло для нихъ обоихъ не больше двухъ минутъ.

Въ передней позвонили два раза, громко и увѣренно.

— О-о!—вырвалось у Ермилова, и онъ тоже покраснѣлъ отъ досады. Настроеніе было прервано въ самую минуту кризиса. —Какой смѣлый звонок!

Она выпрямилась и сказала—голосъ ея вздрогнулъ—съ неопредѣленной усмѣшкой:

— Это четвертый участникъ радостной ночи.

Въ этихъ словахъ зазвучала двойственность. Она и жалѣла, и торжествовала. Въ ней, какъ у невѣсты подъ вѣнцомъ, дрогнуло то ощущеніе, когда надо стать на кусокъ атласа, а священникъ возьметъ сильной рукой и мягко повлечетъ къ алтарю.

„Такъ звонить только женихъ или счастливый любовникъ“,—противъ своей воли подумалъ Ермиловъ и поднялъ голову въ сторону двери, вскинулъ рѣс-пе-з привычнымъ пренебрежительнымъ жестомъ и отодвинулся въ уголъ дивана.

Въ дверяхъ показалась темная курчавая голова Куликова. Онъ былъ тоже во фракѣ,—франтовать на манеръ контористовъ-нѣмцевъ,—улыбался и щурилъ свои смѣшливые глазки.

Онъ подбѣжалъ къ хозяйкѣ и поцѣловалъ ея руку, юрко повернулся въ сторону гостя и протянулъ ему руку.

— Душевно радъ!—выговорилъ онъ тономъ юбиляра на обѣдѣ.

„Чему ты радъ?“—обозлился Ермиловъ, и на него налетѣло

его самое презирающее, задорное, барское настроеніе. — „Чему ты радъ, ловкачъ, приватдоцентишка?!“ — началъ онъ про себя браниться.

— Кажется, можно и сѣсть, господа, — пригласила тотчасъ Вогулина и приподнялась. — Сколько минутъ осталось, Виталій Орестовичъ?

Куликовъ вынулъ свои часы съ двойной доской, на тяжелой двойной же цѣпочкѣ, аккуратно надавилъ ея пуговку, поглядѣлъ такъ же основательно и объявилъ:

— Ровно одиннадцать минутъ.

Всѣ эти приемы, и глухіе часы, и цѣпочка — Ермиловъ не носилъ цѣпочки при фракѣ и давно обзавелся открытымъ ремонтуаромъ — возбуждали почти гадливость въ Егоръ Петровичъ; но онъ все-таки былъ очень далекъ отъ боязни какой-нибудь положительной „гадости“.

Показалась изъ дверей голова тетки, напомнившая, что пора садиться за столъ.

Куликовъ предупредилъ Ермилова и повелъ Анну Гавриловну подъ руку. Она замѣтно оперлась на его руку, и у Ермилова нервно защекотало въ горлѣ. Онъ выпрямился и заложилъ руки въ карманы панталонъ. Его все сильнѣе разбирала уже очень худо скрываемая досада.

Анна Гавриловна пригласила его сѣсть противъ себя, Куликова посадила справа; тетка сѣла минутами двумя позднѣе. Шампанское разлили сейчасъ, въ низкія вазочки, какъ любилъ его пить Ермиловъ. Первое блюдо тепи всѣ ѣли съ большимъ аппетитомъ. Глаза Вогулиной блестѣли изъ-подъ рѣсницъ. Куликовъ улыбался.

— Сейчасъ!.. — почти торжественно вымолвила тетка, слѣдившая за стрѣлкой стѣнныхъ часовъ.

— Егоръ Петровичъ, — начала ей въ тонъ Вогулина и протянула стаканъ, — поздравляю васъ. Поздравьте и вы насъ съ Виталіемъ Орестовичемъ и пожелайте намъ свѣтлаго супружества!

„И я былъ на вершокъ отъ признанія!“ — вскрикнулъ мысленно Ермиловъ, и такъ нервно взялся за ножку стакана, что она хрустнула.

— Браво! — крикнули молодые. — Къ счастью!

XXIII.

У Карусь еще сидѣли за ужиномъ, когда Ермиловъ вошелъ въ столовую. Все убранство комнаты, запахъ духовъ и пудры, кушаньевъ и табаку, туалетъ хозяйки, выраженіе ея лица, лица и фигуры гостей обдали его тѣмъ-то раздражающимъ. Ему захотѣлось сейчасъ же уйти, не раскланявшись ни съ кѣмъ, еслибъ это было возможно.

Но хозяйка увидала его. Она была въ свѣтло-голубомъ платьѣ изъ восточной ткани, съ откидными рукавами, изъ которыхъ выступали совсѣмъ почти обнаженные руки. Ихъ роскошная форма, нѣжно-матовый отливъ—и тѣ не замолодили его.

Егоръ Петровичъ все еще былъ пришибленъ тѣмъ, что вышло у Анны Гавриловны. Когда она провозгласила себя невѣстой Куликова, онъ съ великимъ усиліемъ подавилъ свою досаду. Ему стало нестерпимо жаль женщины, ушедшей отъ него и по его винѣ.

„Mariage par dépit“, — тотчасъ подумалъ онъ, но его не могло утѣшить тщеславное соображеніе, что она рассчитывала на него и съ досады поторопилась взять мужа. Стало быть, онъ былъ для нея предметомъ мечтаній... въ сорокъ-пять лѣтъ. Ощущеніе потери, глупаго сюрприза, коварства опытной дѣвицы, которая за десять минутъ до прихода жениха разыгрывала съ нимъ любовную пантомиму, — наполняло до краевъ его душу... И онъ еле-еле сочинилъ что-то въ родѣ привѣтственнаго спича въ шутиливомъ тонѣ. Но уже до сладкаго блюда онъ извинился, что долженъ ѣхать еще на два вечера, хотя ему слѣдовало овладѣть собой вполнѣ, начать острить, сдѣлаться краснорѣчивымъ, новымъ, обаятельнымъ, единственнымъ въ своемъ родѣ, и блистательно показать ей, что она въ немъ потеряла, раздавить этого черненькаго университетскаго коммѣ всѣмъ грузомъ своего превосходства.

Но онъ не былъ въ силахъ выполнить такую программу.

Ему надо было выйти поскорѣе на воздухъ, очутиться въ другомъ обществѣ, гдѣ шумно и весело, гдѣ можно заставить свои нервы возбудиться на иной ладъ, забыть себя. Онъ и надѣялся найти все это у Карусь; а теперь готовъ былъ бѣжать назадъ.

— Ахъ, monsieur Ermiloff! — окликнула его съ своего мѣста хозяйка, блеснула глазами и протянула ему свою соблазнительную руку со стаканомъ совершенно такой же формы, какъ и у Вогулиной. За столомъ сидѣли дѣвицы Первушины, нѣмчикъ

изъ консерваторіи, — онъ вспомнилъ, что его зовутъ Карлуша, — офицеръ съ аксельбантами, еще какихъ-то двѣ обрюзглыхъ дамы и Гремущинъ, во фракъ и даже въ бѣломъ галстухъ. Его голова съ пасторскимъ типомъ и бритое лицо не то актера, не то католическаго патера, давали такую именно окраску этому ужину, какой Ермиловъ не хотѣлъ въ ту минуту. Онъ опять видѣлъ передъ собою напряженность женщины, требующей, тщеславной, съ бѣшеннымъ инстинктомъ неизвѣданныхъ удовольствій, съ этой всеобщей безысходной гистеріей, къ которой всѣ мужчины, и онъ первый — идетъ на рабское служеніе, даже и тогда, когда самъ желаетъ только порхать и снимать медъ, не жертвуя ничѣмъ.

Въ этой Карусъ „каботинство“ съ чувственной подкладкой пахнуло на него еще сильнѣе, чѣмъ въ тѣ разы. И весь ея штатъ символически изображалъ собою смѣсь тщеславнаго славолюбія и позывовъ нервного сенсуализма. Вотъ и рабъ запоздалой страсти — въ лицѣ чудака Гремущина; вотъ наперсницы будущей оперной звѣзды; вотъ товарищъ „каботинъ“; вотъ начальникъ оперной кляки — офицеръ-меломанъ. Недостаетъ только того, кто будетъ для нея божкомъ, тираномъ, если не циническимъ эксплуататоромъ. Но онъ непременно явится.

Кто-то изъ гостей всталъ и пригласилъ его сѣсть на свое мѣсто.

— Поскорѣе, monsieur Ермиловъ, поскорѣе спичъ! — вскрикнула Доротея Васильевна, и сама налила ему шампанскаго. — Мы всѣ уже говорили, и Гремущинъ насъ уморилъ со смѣху своимъ brindizi. C'était quelque chose de macabre et de tout à fait réussi.

Гремущинъ перевелъ губами, видимо польщенный.

— De macabre? — переспросилъ Ермиловъ.

И онъ способенъ былъ разразиться въ кладбищенскомъ родѣ, язвить и разсыпать блески озлобленнаго юмора и сдѣлать своею мишенью дѣвицъ извѣстнаго сорта.

— Ради Бога! Безъ спичей! — сталъ онъ просить и сложилъ ладони руцъ жестомъ мольбы. — Это ужасно!..

— Почему? — раздалось нѣсколько голосовъ.

— Это напоминаетъ плохія русскія пьесы съ „направленіемъ“, гдѣ бенефициантъ, съ бокаломъ въ руцѣ, говорить хорошія, жалостныя слова... Избавьте! Избавьте!..

Онъ поглядѣлъ сквозь стекла своего pince-nez на голое лицо Гремущина, и его стало разбирать злорадное чувство.

„Старый путь! — выбранился онъ про себя. — Точно нажилъ

себѣ подагру или грыжу какую—роковую страсть къ вкусной воботинѣ!“

Ни чуть не жаль ему было этого „Кифу Мокіевича“, предавагося любовному запою.

И самъ онъ, Ермиловъ, могъ бы очутиться въ такомъ же чинѣ, еслибъ поддался блажи, еслибъ самолюбивая дѣвчонка не догадалась взять себѣ мужа, ему въ отместку. Онъ долженъ послать ей подарокъ, корзину въ сто рублей или вѣеръ въ двѣсти—за такое предостереженіе.

Ему стало легче. Онъ выпилъ со вкусомъ весь стаканъ до дна и даже щелкнулъ языкомъ.

— Вмѣсто спича,—сказалъ онъ, впадая въ свой обычный шутиливо-скептическій тонъ,—позволю себѣ одинъ афоризмъ.

— *Décochez-le!* — кинула возбужденно хозяйка, любившая жаргонныя французскія слова.

— Мужчины глупы настолько, насколько это нужно женщинамъ.

Офицеръ разсмѣялся первый; залился и музыкантиѣ. Дѣвицы Первушины тоже приснули.

— *Non carisco*,—выговорила съ гримасой Доротея Васильевна.

— Мысль глубокая,—сказалъ безстрастно Гремушинъ.

— Вы находите?—спросилъ его Ермиловъ.—Но я не кончилъ моего афоризма... Женщины умны всегда, даже и въ глупостяхъ.

— Bravo!—крикнула Карусъ и захлопала въ ладоши.

Всѣ стали чокаться. Ермиловъ имѣлъ успѣхъ. Но въ себѣ самомъ онъ подмѣтилъ небывалое настроеніе. Онъ способенъ былъ вести себя какъ всегда, острить, любезничать „распускать павлиній хвостъ“, по выраженію одного пріятеля, еще нѣсколько часовъ сряду, но внутренно его щемило, и онъ не могъ выбросить изъ души этого щемащаго чувства.

Неужели источникъ его гораздо серьезнѣе, чѣмъ онъ самъ сначала могъ допустить?!

До сихъ поръ въ него никогда не забиралась двойственность. Какія ни бывали съ нимъ любовныя неудачи, онъ стряхивалъ ихъ съ себя незамѣтно и съ большимъ запасомъ философій.

А тутъ—не то. Сейчасъ поздравилъ онъ себя съ благополучнымъ исходомъ опаснаго ухаживанія за московскою „боярышней“, способенъ былъ—такъ ему казалось—поднести ей сотенный подарокъ за наставленіе уму-разуму; и черезъ нѣсколько минутъ начало опять засасывать. И снова ему сдѣлалось тяжело и тошно сидѣть за этимъ столомъ, Богъ знаетъ зачѣмъ, смотрѣть на голыя руки хозяйки, на бритое лицо Гремушина, на фаль-

пшвыя мигающія лица родственницъ, на глупый клѣкъ волосъ офицера съ аксельбантами и на ухмыляющійся, нахальный носъ консерваторскаго Карлуши.

Въ первый разъ всталъ передъ нимъ вопросъ: и такъ это будетъ до крайней старости? Совершенно такъ же будетъ онъ переѣзжать изъ дома въ домъ, гоняясь за новыми приманками, разыгрывая все ту же длинную оперетку, не замѣчая, какъ собственное тѣло дрябнетъ, нервы притупляются или приобретаютъ болѣзненную раздражительность. И „глупость“ — та, про которую онъ сейчасъ говорилъ въ своемъ спичѣ-афоризмѣ, — вступаетъ въ полныя права, великая глупость селадонства, родъ неизлечимаго запоя!

А потомъ чтѣ?

„Потомъ пріапизмъ“, — подсказалъ самъ себѣ Ермиловъ. Отъ научныхъ терминовъ онъ не могъ уйти нигуда.

Слово повѣяло на него холодомъ и міазмами анатомической препаровочной. Онъ — клиническій субъектъ, попавшій на черную доску амфитеатра послѣ долгаго лежанья въ клиникѣ. Прогрессивный параличъ съ яркими симптомами пріапизма перейдетъ въ слабоуміе, а потомъ въ полное идіотство со всѣми грязными послѣдствіями.

„Je serai gâteux!“ — съ внезапною дрожью подумалъ онъ по-французски, а рука его отвѣтила на прикосновеніе ставана хозяйки, говорившей ему, съ избалованностью женщины, привыкшей къ тому, чтобы ее занимали:

— Скажите что-нибудь веселое, monsieur Ермиловъ!.. Vous êtes un homme d'esprit.

— Развѣ это — повинность? — успѣлъ спросить онъ съ улыбкой, которая искривила его ротъ, безъ участія его воли.

— Конечно! — отвѣтили ему.

Отъ хозяйки шелъ сильный запахъ духовъ. Онъ въ другое время вызвалъ бы въ немъ, хоть на нѣсколько мгновеній, нѣчто способное замолодить. Она, въ самомъ дѣлѣ, была въ ту минуту „d'une suggestion capiteuse“, какъ онъ самъ выразился бы въ другомъ настроеніи, — но ему стало еще тошнѣе, и онъ томительно началъ искать предлога сбѣжать изъ квартиры дѣвицы Карусъ.

XXIV.

Танцы подъ фортепьяно, табачный дымъ, гулъ разговоровъ, стукъ прибираемой посуды—охватили Ермилова... Въ просторной залѣ, освѣщенной на всякіе лады, и свѣчами, и лампами, было такъ жарко, что его рінсе-пез запотѣло съ мороза, и онъ ничего не могъ разобрать, входя.

Встрѣча въ складчину новаго года была въ какомъ-то училищѣ. Танцевали въ самомъ большомъ классѣ; по остальнымъ комнатамъ разбрелись и сидѣли группами. На столѣ, гдѣ ужинали, отодвинутомъ къ стѣнѣ, оставались еще бутылки, стаканы, кое-какой десертъ. Нигдѣ не играли въ карты.

Было человѣкъ до сорока всякихъ возрастовъ: очень молодыхъ дѣвушекъ, пожилыхъ мужчинъ, нестарыхъ женъ, студентовъ, профессоровъ, учительницъ. Цѣлая кадриль танцевала въ костюмахъ, безъ масокъ. Мелькали пастушки, цыганки, горцы, „двѣ ночи“ въ черныхъ вуаляхъ со звѣздами и комическій нѣмецъ въ маскѣ съ огромнымъ ртомъ и ушами, въ гороховой поматой шляпѣ.

— Это по-каковски, дружище? Хорошъ! Хорошъ!

Ермилова окрикнулъ Кустаревъ въ неизмѣнномъ черномъ сюртукѣ на-распашку и въ рубашкѣ съ косымъ воротомъ, безъ галстука. Глаза у него блестѣли. Онъ немного выпилъ.

— Раньше не могъ,—оправдывался Ермиловъ.

— Знаемъ мы васъ! Аристократничаете, дружище! Всѣ по дамочкамъ, гдѣ хорошо пахнетъ. Не захотѣли и новаго года съ нами встрѣтить. Видите, у насъ какое веселье!..

— Я очень сожалею!

— Заднимъ числомъ!

Кустаревъ увлекалъ его въ уголъ, гдѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ, съ Симбирцевымъ по срединѣ. Тотъ только-что рассказывалъ анекдотъ и вызвалъ громкій смѣхъ. Лица у всѣхъ были красныя и возбужденныя. У нѣкоторыхъ блестѣли даже на рѣсницахъ капельки слезъ отъ смѣха.

И тамъ Ермилова встрѣтили упреками. Ему не хотѣлось попадать имъ въ тонъ, хотя онъ и ѣхалъ сюда, чтобы забыть личное настроеніе. Симбирцевъ и остальные напомнили ему обѣдъ въ „Эрмитажѣ“ и вѣчное кружковое подбадриваніе съ пароксизмами испуга и малодушія.

И веселье ихъ ему не нравилось. Онъ находилъ, на этотъ разъ, все въ этомъ новогоднемъ сборищѣ неизящнымъ, безтолково-шумнымъ, „мѣщанскимъ“. Куда-то совсѣмъ ушла его слабость

къ Москвѣ, къ товарищамъ и пріятелямъ, къ ихъ женамъ, къ дѣвицамъ ихъ кружка, во всей „интеллигентной“ Москвѣ.

Самое слово „интеллигентный“ казалось ему такимъ неудачнымъ, почти уродливымъ.

Онъ долженъ былъ прослушать нѣсколько анекдотовъ Симбирцева и участвовать въ общемъ смѣхѣ. Но ему совсѣмъ не хотѣлось смѣяться. Потомъ пошли слухи и толки, давно ему знакомые; начался все тотъ же разговоръ, съ отгнѣвами обиженного фрондерства, въ духѣ юбилейныхъ спичей. Онъ радъ былъ хоть и тому, что ужинъ кончили, и онъ ушелъ отъ застольныхъ рѣчей.

— Ну, батенька,—обратился къ нему Симбирцевъ,—какіе пріятные сюрпризы готовить намъ ваша мерзопакостная, чухонская столица?

Всѣ ждали отъ него краснбайства, петербургскихъ сплетенъ изъ высшихъ сферъ, остротъ и анекдотовъ. Онъ просто испугался этого и рѣшительно не узнавалъ себя.

Подбѣжалъ молодой человѣкъ, длинный и стройный, одѣтый въ черкеску. Ермиловъ, кажется, гдѣ-то видалъ его и считалъ магистрантомъ.

— Дамы просятъ васъ танцевать,—пригласилъ онъ его.

Ермиловъ обрадовался.

— Господа,—обратился онъ къ собесѣдникамъ Симбирцева,—я еще не видѣлъ никого изъ дамъ. Петербургскій комеражъ—за мною.

Брюнетъ въ черкескѣ повелъ его къ пьянино. Играла дама въ востомѣ времени Директоріи и въ шляпѣ.

Молодой человѣкъ подвелъ его прямо къ ней. Она въ эту минуту наигрывала ригурнель.

— Егоръ Петровичъ Ермиловъ,—представилъ его магистрантъ въ черкескѣ.

Дама быстро обернулась и привстала. Она была большого роста съ таліей, ловко перехваченной высоко, въ свѣтло-гороховомъ рединготѣ. Изъ-подъ щита огромной шляпы глядѣли на него два большихъ глаза подъ русской густой чолкой,—наружность обрусѣлой иностранки,—что-то вызывающее въ выраженіи рта и вообще эффектное.

— Хотите танцевать?—сказала она ему, подавая руку, въ узкомъ рукавѣ, съ хорошенькою кистью и гладкимъ кольцомъ. Или, быть можетъ, угодно, мнѣ на смѣну, сыграть вальсъ?

Голосъ звучалъ со внутреннею дрожью, низко и такъ же вызывающе, какъ глядѣло и лицо.

— Да я умѣю только „чирика“,—сказалъ Ермиловъ, придерживавъ хорошенькую руку въ своей рукѣ.

— Ну, такъ надо танцовать.

— Обязательно!—крикнулъ брюнетъ въ черкесѣ.

— Извольте!—почти съ радостью согласился Ермиловъ.

Дама—онъ такъ и не узналъ, какъ ее зовутъ—опустилась на стулъ и красиво заиграла вальсъ. Его подвели къ маленькой женщинѣ съ бѣлокурыми распущенными волосами, и онъ завертѣлъ ее по своей привычкѣ чрезвычайно быстро, такъ что послѣ одного тура самъ запыхался.

„Стара стала, слаба стала“,—выговорилъ онъ, опускаясь на стулъ, около пьянино.

Дама съ изящными руками продолжала играть вальсъ. Ермиловъ подошелъ къ ней и сталъ глядѣть, улыбаясь, на ея пальцы, на изгибъ кистей у перехватовъ, на ихъ волнистыя, красивыя движенія. Она это замѣтила.

— Любуюсь вашимъ touché,—тихо сказалъ Ермиловъ и ниже наклонился къ клавиатурѣ фортепьяно.

Она поблагодарила его глазами.

„Неужели хоть немножко не замолаживаетъ?“—съ унылой боязнью спросилъ онъ себя, и долженъ былъ сдѣлать надъ собою усиліе, чтобы настроить себя на игривый тонъ.

— Дружище,—раздался надъ нимъ голосъ Кустарева,—вы къ намъ когда же?

— Къ вамъ я не попаду.

Ермиловъ всталъ и взялъ Кустарева за руку. Онъ собирался на другой день вечеромъ въ Петербургъ, и поѣздка на хуторъ просто пугала его.

— Это какъ?

Кустаревъ увелъ его въ уголъ, и они сѣли на жесткую классную скамейку.

— Не могу. Дѣла!—отговаривался Ермиловъ и чувствовалъ, что ему совсѣмъ не хочется къ пріятелю.

— А Гара?—Такъ и не увидите ее?

— Да развѣ ея нѣтъ здѣсь?

Лицо Кустарева, все еще возбужденное отъ ужина, сразу потемнѣло.

— Какое!.. Она сильно расхворалась. Я не хотѣлъ и сюда ѣхать; да она прогнала.

— Что же это такое?—спросилъ Ермиловъ искреннѣе.

— Лукавый вѣдаетъ. Боюсь, что неладно у нея въ легкияхъ и въ сердцѣ.

— Да вѣдь она была здорова и весела?..

— Нервами только держалась; а мышцъ нѣтъ, силёнокъ нѣтъ.

Кустаревъ смолкъ, встряхнулъ прядью волосъ, спустившейся на лобъ, и выговорилъ:

— Выпьемъ, что-ли?

— Мнѣ не хочется.

— Мало ли чтò! Скверно на душѣ. И дома неладно, да и здѣсь—Кустаревъ обвелъ глазами шумную вечеринку—и здѣсь не то, не то!.. Точно всѣ мы притворяемся, что живемъ вплотную; а жизни нѣтъ, вѣры въ свое дѣло нѣтъ, смѣлости нѣтъ!..

Ермиловъ кивнулъ молча головой—и ему захотѣлось вонъ.

П. Боворыкинъ.



Н. В. ГОГОЛЬ

и

А. С. ДАНИЛЕВСКИЙ.

*Окончаніе *).*

VIII.

Въ маѣ 1838 года надъ Данилевскимъ грознымъ, громовымъ ударомъ разразилось совершенно неожиданное несчастье: онъ потерялъ горячо любившую его мать, Татьяну Ивановну, а съ ея смертью для него кончились счастливые дни наслажденія безпечной юности. Суровыя прозаическія заботы стали громко заявлять о себѣ и потребовали самаго полного вниманія. Теперь уже нельзя было жить со дня на день, предаваясь на свободѣ восторженному поклоненію чудесамъ цивилизаціи. Въ жизни его произошелъ крутой переломъ. Еще въ началѣ апрѣля Гоголь звалъ его къ себѣ насладиться снова Италіей, и это казалось тогда обоемъ такъ возможнымъ: „Садись скорѣе въ дилижансъ и правь путь къ Средиземному морю“. Онъ досадовалъ, получивъ вслѣдъ затѣмъ извѣстіе, что, вмѣсто Италіи, Данилевскій двинулся въ Швейцарію и мерзнеть въ гостинницѣ какого-то „Жанена“. Привыкнувъ называть этимъ именемъ П. В. Анненкова и не разобравъ сначала, въ чемъ дѣло, Гоголь не могъ никакъ понять, какимъ образомъ пріятель его поселился въ Женевѣ у Анненкова: „Я

*) См. выше: янв., 71 стр.

никакъ сначала не могъ взять въ толкъ, — отвѣчаетъ Гоголь — про какого же Анненкова ты пишешь, и думалъ уже, не свихнулъ ли ты, Боже сохрани, съ разума, говоря, что и я у него стоялъ“. Гоголь выходилъ изъ себя и журилъ пріятеля за его причудливый поступокъ. „И что тебѣ пришла за блажь ѣхать въ Швейцарію! Я ожидалъ тебя день за день, вѣрилъ въ непреклонность твоего обѣщанія и думалъ, что вотъ дверь откроется, и ты войдешь ко мнѣ въ комнату, и вдругъ — письмо изъ Женевы!!..“ „Или ты меня нарочно водишь за носъ... Прошлый годъ давалъ слово пріѣхать ко мнѣ въ Швейцарію — дернулъ въ Парижъ; теперь, общавшись навѣрно пріѣхать въ Италію, дернулъ въ Швейцарію! У тебя ужъ, видно, такой бѣсъ сидитъ внутри, который ворочаетъ тобою наперекоръ. Тебѣ нужно было, непременно нужно, испытать художническо-монастырскую жизнь въ Италиі, покушать мрамора и гипса, котораго здѣсь вдоволь, упитаться звѣздами ночи, которыя блещутъ здѣсь необыкновеннымъ блескомъ, наглядѣться на монаховъ и аббатовъ, которыми, какъ макомъ, усыяны улицы“ (V, 310).

Но вотъ пришло грустное извѣстіе о смерти Татьяны Ивановны. Гоголь принялъ горе своего друга, какъ свое собственное; къ тому же онъ и самъ помнилъ и любилъ покойную.

Приводимъ здѣсь вполнѣ никогда еще не напечатанное письмо его къ Данилевскому, отъ 16-го мая 1838 г., по поводу этого событія:

16-го мая 1838. Гоголь — Данилевскому.

„Не знаю, застанетъ ли это письмо тебя въ Парижѣ. Не знаю даже, застало ли тебя то письмо, которое писалъ я къ тебѣ третьяго-дня ¹⁾. Причина же, почему я пишу къ тебѣ вслѣдъ за первымъ второе, есть представившаяся оказія. Письмо тебѣ это вручить мой добрый пріятель м-г Ravé ²⁾, который вѣрно тебѣ понравится. Онъ знаетъ даже и по-русски (ибо воспитывался вмѣстѣ съ сыномъ княгини Зинаиды Волконской) ³⁾, но гово-

¹⁾ Гоголь разумеетъ здѣсь письмо, напечатанное у г. Кулиша на 321—325 страницахъ пятого тома.

²⁾ М-г Ravé около того же времени упоминается въ письмѣ къ Марьѣ Петровнѣ Балабиной (см. изд. Кул. V, 343).

³⁾ Княгиня Зинаида Волконская часто видѣлась съ Гоголемъ въ Римѣ, который захаживалъ къ ней въ ея виллану загородную за церковью (chiesa) San Giovanni di Laterano. Здѣсь любилъ Гоголь любоваться площадями, обвивающими развалины старинныхъ зданій. Одно изъ писемъ Данилевскому, предшествующее данному, Гоголь писалъ, сидя въ гротѣ на виллѣ Волконской (см. V, 322; о ней же V, 326). Гоголь очень уважалъ княгиню Волконскую; Пушкинъ посвящалъ ей же стихи при посланкѣ поэмы „Цыганы“ (см. Соч. Пушк., изд. лит. фонда, т. II, стр. 18 и примѣчаніе).

рить на нашемъ языкѣ затрудняется, и потому, чтобы лучше расшевелить его и заставить говорить, говори по-французски или на нашемъ второмъ родномъ языкѣ, т.-е. по-итальянски. Вторая причина, почему я пишу къ тебѣ — но ты, можетъ быть, уже ее знаешь!..

„Я былъ пораженъ, когда услышалъ. Нужно знать, что не успѣлъ я бросить въ окошко письмо, которое долженствовало летѣть къ тебѣ въ Парижъ, какъ изъ другого окошка, въ *poste restante*, подали мнѣ другое изъ дому.

„Печальная новость была заключена въ первыхъ строкахъ. Итакъ, добрая мать твоя не существуетъ! Эта потеря была для меня слишкомъ родственна. Ты для меня роднѣе родного брата; это ты знаешь самъ. Въ твоей матери я потерялъ близкое къ тебѣ, стало быть и близкое ко мнѣ, и я вспомнилъ при этомъ Семереньки, Толстое, и наши поѣздки, и тѣ счастливыя только три версты разстоянія между нашими бывалыми жилищами, и мнѣ стало грустно!.. Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ мѣсяцемъ разрываются болѣе и болѣе узы, связывающія меня съ нашимъ холоднымъ отечествомъ!..

„Но тебѣ теперь нужно, между прочимъ, подумать обо всѣхъ дѣлахъ... Маменька моя не пишетъ никакихъ подробностей. Она только-что услышала объ этомъ и въ ту же минуту бросилась меня извѣстить. Видно, что и она была этимъ сильно потревожена, потому что письмо ея писано наскоро... Татьяна Ивановна умерла въ Семеренькахъ, и вотъ почему нѣтъ никакихъ подробностей объ этомъ у насъ.

„Итакъ, тебѣ нужно поскорѣе освѣдомиться о ея распоряженіяхъ и обо всемъ, сколько для себя, столько и для другихъ, потому что ты — старшій братъ. Но ты самъ поймешь все. Напиши мнѣ все, что и какимъ образомъ ты теперь предпримешь, словомъ, твои намѣренія.

„Прощай, будь здоровъ, и да уладится все къ лучшему для тебя!..

„Кстати: вещи, о которыхъ я просилъ тебя, ты теперь можешь прислать чрезъ Равэ; онъ мнѣ ихъ привезетъ въ самый Римъ. Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парикъ. Хочу сбрить волоса — на этотъ разъ не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможетъ ли это испареніямъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вдохновенію испаряться сильнѣе ¹⁾).

¹⁾ Это мѣсто заслуживаетъ особеннаго вниманія; оно ясно показываетъ, что еще до болѣзни въ Римѣ въ 1839 г., оставившей навсегда сильныя слѣды въ Гоголѣ,

„Есть парики новаго изобрѣтенія, которые приходятся на всякую голову, сдѣланные не съ желѣзными пружинами, а съ гуми-ластиками“.

4-го іюня, 1838. *Данилевскій—Гоголю.*

„Хочу написать къ тебѣ нѣсколько словъ, мой милый Гоголь, и едва могу собраться съ духомъ, взяться за перо.“

„На третій, кажется, день послѣ полученія письма твоего пришло ко мнѣ письмо... первое письмо съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ нимъ—отъ брата Вани, съ извѣстіемъ о смерти маменьки моей! о смерти маменьки моей!“

„О, милый другъ! Ты не можешь знать, сколько отчаянія, сколько безнадежной грусти въ этомъ словѣ! Сердце, одно сердце въ мірѣ, любившее меня со всѣми моими недостатками, такъ чисто, такъ глубоко,—не существуетъ больше! Не стану и не могу описывать тоски, отчаянія, въ которое повергла меня эта невозвратимая потеря... Я плачу... Въ тотъ самый день, когда получилъ братнино письмо (я получилъ его вечеромъ), утромъ я писалъ къ тебѣ, не зная моего несчастія, когда оно было уже въ Парижѣ, когда оно стояло уже у меня за спиною. Я писалъ къ тебѣ безпечный, хотя порою мучился какимъ-то безотчетнымъ безпокойствомъ. Посылаю тебѣ ключекъ изъ этого письма, которое хотѣлъ-было отослать на другой день, но уничтожилъ.“

„Братъ мой пишетъ нѣсколько словъ только. Кончина маменьки послѣдовала 26-го марта.“

„Онъ ѣдетъ въ Малороссію съ Пашенкомъ. Я на дняхъ тоже ѣду въ Петербургъ или, лучше, въ Гамбургъ, ибо денегъ у меня такъ мало остается, что едва ли станетъ до Гамбурга. Тамъ буду дожидаться, покамѣстъ получу деньги. Я писалъ объ этомъ Николаю Прокоповичу. Надѣюсь, что онъ не откажетъ. Ты можешь представить себѣ, каково будетъ мое пребываніе въ Гамбургѣ.“

„Милый Николай! Ты знаешь, что съ потерей маменьки потеряны для меня средства на беззаботную жизнь. Я долженъ трудиться и трудами добывать нужное. Напиши, ради Бога, нѣсколько или хоть одно письмо къ кому-нибудь изъ твоихъ пріятелей, могущихъ сдѣлать для меня что-нибудь, т.-е. доставить мнѣ какое-нибудь мѣсто. Сдѣлай это какъ хочешь: я полагаюсь на тебя.“

болѣзненный процессъ готовился многими годами. Ср. въ письмѣ Прокоповичу, отъ 19-го сентября 1837 г.: „Въ продолженіе всего дня чувствую, что на мозгъ мой какъ будто бы надвинулся какой-то копакъ, который препятствуетъ мнѣ думать и туманитъ мои мысли“ („Русское Слово“, Письма Гоголя Прокоповичу, 1859, I, стр. 105).

„Теперь, приѣхавши въ Петербургъ, я останусь тамъ только нѣсколько дней; уѣду въ Малороссію обнять хоть могилу существа, любившаго меня и любимаго мною столько! Впрочемъ, если ты напишешь ко мнѣ сейчасъ по полученіи этого письма, письмо твое можетъ найти меня еще въ Петербургѣ ¹⁾. Если найду возможность увидѣть твоихъ сестеръ, пойду къ нимъ: ты, помнится, просилъ меня объ этомъ ²⁾. Изъ Петербурга буду писать къ тебѣ.

„Прощай, мой милый другъ! не забывай меня! Я люблю тебя всею душою и больше, нежели когда-либо, чувствую необходимость твоей дружбы“.

Изъ этого письма видно, какъ несчастіе застигло Данилевскаго совершенно неприготовленнымъ и тѣмъ чувствительнѣе отразилось на его настроеніи. Онъ былъ близокъ къ отчаянію. Для немедленнаго возвращенія на родину приходилось сдѣлать заемъ (предполагалось прибѣгнуть къ Н. Я. Прокоповичу, который самъ далеко не пользовался достаткомъ); необходимо было позаботиться и о будущемъ устройствѣ. Гоголь, принимая горячее участіе въ положеніи пріятеля, совѣтовалъ ему прежде всего „дѣйствовать, идти рѣшительною походкою по дорогѣ жизни“.

Прежній дружески-шутливый характеръ переписки исчезаетъ теперь навсегда. Въ Гоголѣ также готовилась роковая перемѣна; поэтическая часть жизни незамѣтно промчалась и ускользнула отъ обоихъ, когда они всего менѣе могли ожидать этого, и неумолимая житейская проза вступила въ свои права.

Въ среднемъ возрастѣ замѣчается иногда критическая пора, когда неожиданно обрушившееся несчастіе сразу превращаетъ человѣка, полного жизни и молодыхъ увлеченій, въ отжившаго, быстро старѣющаго физически и нравственно. Такой роковой порой былъ для Гоголя—человѣка болѣзненнаго и слабаго по природѣ—30-лѣтній возрастъ, когда онъ перенесъ въ Римѣ тяжкую болѣзнь (malaria), отъ которой никогда уже не могъ совершенно излечиться.

Печальный кризисъ не вполне совпадаетъ для Гоголя и Да-

¹⁾ О смерти Татьяны Ивановны Чернышъ Гоголь писалъ матери: „Мнѣ было тоже прискорбно объ этомъ слышать. Мнѣ еще болѣе было жаль, что мой добрый, добрый Данилевскій не со мною въ это время, чтобы я могъ сколько-нибудь облегчить участіемъ его потерю и утѣшить его въ ней. Я, однакожъ, написалъ къ нему объ этомъ въ Парижъ, гдѣ онъ теперь находится, и гдѣ, можетъ быть, уже получилъ это печальное извѣстіе безъ меня“ (V, 525).

²⁾ Сестры Гоголя (Елизавета Васильевна и Анна Васильевна) въ то время кончали курсъ въ Патріотическомъ институтѣ въ Петербургѣ.

нилевскаго: Гоголь вступилъ въ него немного позднѣе, но зато уже никогда не могъ послѣ оправиться и воспрянуть. Данилевскій же перенесъ тяжелое потрясеніе, и, здоровый физически и не надломленный нравственно, не палъ подъ его бременемъ. Гоголь чувствовалъ, напротивъ, что лучшая пора жизни миновала; онъ писалъ своему другу: „Мы приближаемся съ тобою (высшія силы, какая это тоска!) къ тѣмъ лѣтамъ, когда уходятъ на дно глубже наши живыя впечатлѣнія, и когда наши ослабѣвающія силы—увы!—часто не въ силахъ вызвать ихъ наружу такъ же легко, какъ онѣ прежде всплывали сами, почти безъ зазыву. Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, насъ облекающая, не окрѣпла и не обратилась, наконецъ, въ такую толщу, сквозь которую имъ въ самомъ дѣлѣ никакъ нельзя будетъ пробиться. Употребимъ же, по крайней мѣрѣ, все, чтобы спасти ихъ хотя бѣдный остатокъ“.

Начиная съ тридцатилѣтняго возраста, Гоголь такъ же мало походилъ на прежняго энтузіаста, поклонника величественной и прекрасной южной природы и всего изящнаго, какъ наша унылая сѣверная осень съ ея обложеннымъ тучами небомъ не похожа на радостные солнечные дни юга. Мы встрѣчаемъ еще у него былое увлеченіе Римомъ, но это послѣдніе угасающіе лучи когда-то яркаго пламени, хотя онъ еще продолжалъ нѣкоторое время восхищаться имъ, восклицая: „Римъ, нашъ чудесный Римъ, рай, въ которомъ, я думаю, и ты живешь мысленно, въ лучшія минуты твоихъ мыслей, этотъ Римъ увлекъ и околдовалъ меня“.

По просьбѣ Данилевскаго, Гоголь написалъ о своемъ другѣ цѣлый рядъ писемъ къ своимъ пріятелямъ въ Россію, прося cadaго изъ нихъ сдѣлать для него все возможное, такъ какъ бы Данилевскій былъ его родной братъ. Самому Данилевскому онъ пишетъ: „тебѣ довольно сказать имъ, что ты братъ мнѣ“.

Ободряя и поддерживая Данилевскаго, Гоголь, насколько могъ, старался оказать ему и болѣе существенную помощь ¹⁾).

¹⁾ На это указываютъ слѣдующія слова письма, отъ 5 февраля 1839 г.: „Я радъ, очень радъ, что тебѣ присланная мною небольшая помощь пришла въ пору. Я точно въ разсужденіи этого всегда бывалъ счастливъ. Ко мнѣ Богъ бывалъ всегда особенно милостивъ и давалъ мнѣ чувствовать большія наслажденія. Сколько припомню, все посылаемое мною было какъ-то тебѣ кстати“.

Гоголю пришлось въ это время выручить Данилевскаго изъ бѣды, въ которую тотъ попалъ, благодаря мошенническому похищенію какими-то евреями присланныхъ ему изъ дому денегъ. Хуже всего было то, что трудно было напасть на слѣды виновника похищенія. Узнавъ объ этомъ приключеніи, Гоголь немедленно написалъ письмо Погодину, въ которомъ убѣдительно просилъ его, какъ одного изъ ближайшихъ друзей, прислать ему вексель въ двѣ тысячи рублей къ русскому банкиру

Случайная задержка, происшедшая отъ потери денегъ, остановила на нѣкоторое время Данилевскаго за границей. По этому поводу Гоголь дѣлалъ по обыкновенію мистическія предположенія о томъ, что, можетъ быть, „судьба готовить еще свиданіе“, и что ему „удастся облегчить сколько-нибудь душевное состояніе“ друга. Перспектива безсрочной разлуки съ Данилевскимъ, послѣ столь продолжительной привычки къ его сообществу, сильно удручала его; самыя ничтожныя, обыденныя впечатлѣнія на каждомъ шагу напоминали ему объ отсутствующемъ. Рассказывая объ обѣдахъ въ Римѣ у Lerre, Falcone и другихъ рестораторовъ, Гоголь съ грустью прибавлялъ: „Но, увы, не съ кѣмъ дѣлать подобныя обѣды! Я играю потомъ въ бильярдъ здѣсь, но какъ-то не клеится, и я бросаю. Ни съ кѣмъ не хочется, какъ только съ тобой! Чувствую, что ты бы наполнилъ дни мои, которые теперь кажутся пусты. Но зачѣмъ отчаиваться? Вѣдь мы столько разъ почти прощались навсегда, а между тѣмъ встрѣчались-таки и благодарили Бога. Богъ дастъ, еще встрѣтимся и еще проживемъ вмѣстѣ“ (V, 354).

Вскорѣ послѣ этого Данилевскій въ тяжкую минуту, не помня себя самъ, ни о чемъ не думая, кромѣ своего желанія поскорѣ увидѣться съ Гоголемъ, написалъ ему: „пріѣзжай въ Парижъ“. Потомъ онъ самъ сознался, что хотѣлъ зачеркнуть эти три слова, и во всякомъ случаѣ не надѣялся, чтобы они могли къ чему-нибудь повести, и написалъ ихъ почти машинально. Но исполнить желаніе его было нельзя, потому что онъ писалъ въ такомъ растерянномъ состояніи, что невозможно было имѣть увѣренности, что самъ же онъ не уѣдетъ тотчасъ изъ Парижа. Гоголь отвѣчалъ ему: „Ты знаешь, ты можешь себѣ вообразить, съ какимъ чувствомъ читалъ я письмо твое. И какъ мнѣ досадно было, какъ плакалъ я, что оно пришло ко мнѣ поздно, что я полу-

Валентини. Между тѣмъ онъ отправилъ Данилевскому сохранявшійся у него билетъ въ 100 франковъ, говоря: „Я не трогалъ его никогда, какъ будто зналъ его пріятное для меня назначеніе“, и, получивъ изъ Рима 200 франковъ, тотчасъ переслалъ ему. Особенно достойна вниманія въ этомъ отношеніи истинная деликатность Гоголя: выпросивъ деньги у Погодина, онъ объяснялъ дѣло въ письмѣ къ Данилевскому случайностью: „Я, пріѣхавъ въ Римъ, напелъ здѣсь для меня 2000 фр. отъ добраго моего Погодина, который, не знаю какъ, пронюхалъ, что я въ нуждѣ, и прислалъ мнѣ ихъ. Онъ мнѣ былъ очень кстати,—тѣмъ болѣе, что дали возможность уплатить долгъ Валентини, который лежалъ у меня на душѣ, и переслать эту бездѣлицу къ тебѣ“ (V, 352).

Княжна В. Н. Репнина также помнитъ, какъ выручалъ иногда Гоголь своего друга изъ финансовыхъ затрудненій во время ихъ жизни за границей:

чилъ его еще не въ Римѣ ¹⁾. Я не знаю, что мнѣ дѣлать! Читаю въ концѣ твоего письма: „Пріѣзжай въ Парижъ“. Я бы пріѣхалъ, я бы гдѣ-нибудь досталъ денегъ и непременно бы пріѣхалъ, потому что обнять тебя послѣ такой долгой разлуки—это такая радость! Но какъ это сдѣлать? Если ты уже выѣхалъ? если я тебя уже не застаю? Письмо твое повергло меня въ жесточайшее недоумѣніе. Сижу надъ нимъ и ни на что не могу рѣшиться“ (V, 333).

Но если не состоялось свиданіе ихъ въ Парижѣ, то мысль о немъ не оставляла Гоголя и лѣтомъ слѣдующаго года, когда онъ звалъ Данилевскаго въ Маріенбадъ, куда намѣревался самъ пріѣхать на воды.

27 августа. Парижъ (1838). *Данилевскій—Гоголю.*

„Меня разбудили, чтобы подать письмо твое. Мнѣ стоило труда распечатать его порядочно: такъ дрожала рука отъ долгаго и безпрестаннаго ожиданія.

„Я почти готовъ думать, что это продолженіе сна. Ты въ Парижѣ! возможно ли?! Нѣтъ, это слишкомъ много! Я въ цѣлую жизнь не въ состояніи буду расплатиться съ тобой. Чувствую радость,—физически чувствую, безъ всякихъ метафоръ,—текущую по всѣмъ жиламъ. А я бы писалъ къ тебѣ сегодня, писалъ бы непременно, хотя бы не получилъ письма твоего, и даже адресовалъ его въ Неаполь. Я съ тѣмъ легъ вчера спать.

„Ты сомнѣваешься, застанешь ли меня въ Парижѣ, а я сомнѣваюсь, уѣду ли я когда-нибудь изъ Парижа.

„Ты, можетъ быть, получилъ мое второе письмо. Изъ Петербурга ни слова ни отъ кого, а писалъ ко всѣмъ—разъ восемь, можетъ быть. Чтобы показать всю великость моей потери, судьба вооружилась противъ меня несказанно съ той роковой минуты, когда я узналъ объ ней.

„Думаю, что письмо мое застанетъ тебя въ Неаполѣ; даже хочу совѣтовать, чтобы ты и не подумалъ ѣхать въ Парижъ. Но это притворство выше силъ моихъ. При одной мысли видѣть тебя жизнь моя обновляется! Признаюсь, написавъ къ тебѣ это: „пріѣзжай въ Парижъ“, я хотѣлъ-было зачеркнуть его, но оставилъ, не знаю почему,—можетъ быть, не находя въ немъ смыслу.

„Еслибы въ самомъ дѣлѣ случилось, чтобы ты пріѣхалъ, какъ я приму тебя? Чувствую, буду смѣшонъ и жалокъ.

¹⁾ Гоголь получилъ отъ Данилевскаго письмо уже въ Неаполѣ, когда слѣдовательно онъ еще отдаленъ отъ него на нѣсколько сотъ верстъ,—значительное разстояніе при тогдашнихъ сообщеніяхъ.

„Ты проводишь меня, можетъ быть, до Лондона, а изъ Лондона теперь есть пароходъ прямо въ Петербургъ, а въ Лондонъ ѣдутъ за 28 франковъ. Ты, помнится, хотѣлъ ѣхать въ Лондонъ еще прошедшій годъ ¹⁾. Услышишь „Don Giovanni“, „Отелло“, „Гугенотовъ“; увидишь Фанни Эльслеръ: ты, вѣрно, не видалъ ничего граціознѣе въ мірѣ! Увидишь баядерокъ, на дняхъ пріѣхавшихъ изъ Индіи!

„Какъ! ты воображаешь себѣ, что мы болѣе уже не увидимся! Нѣтъ, это невозможно. Италия съ нѣкотораго времени сдѣлалась моей обѣтованной землей! Жизнь для меня потеряла бы послѣднюю прелесть, еслибы я не имѣлъ надежды сказать тебѣ: „здравствуй въ Италиі!“

„Прощай! Если ты не перемѣнилъ эту Богомъ или, можетъ быть, покойницей матерью моею вдохновенную въ тебя идею ѣхать въ Парижъ, не забывай меня.

„На помощь изъ Петербурга я надѣюсь тѣмъ менѣе еще, что, по причинѣ открытыхъ заговоровъ въ Польшѣ, письма мои были перехвачены и не дошли по адресу.

„Ты сдѣлаешь сегодняшній день памятнымъ въ моей жизни. Цѣлую тебя. *Данилевскій*“.

1839-й годъ былъ въ началѣ счастливымъ для Гоголя: въ продолженіе первой половины его въ Римъ пріѣзжали Погодины, Шевыревы и одно время жилъ тамъ Жуковский. Въ это время онъ познакомилъ лично Данилевскаго (впрочемъ уже заочно и не въ Римѣ, а въ Парижѣ) съ Шевыревымъ и Погодинымъ, какъ видно изъ слѣдующихъ писемъ ²⁾.

¹⁾ Замѣчательно, что Гоголю при его обширныхъ путешествіяхъ, и притомъ не только по Европѣ, но и Азіи и даже въ Африкѣ (онъ былъ въ Александріи) никогда не случалось быть въ Лондонѣ, хотя онъ нѣсколько разъ порывался ѣхать туда. Также онъ не разъ собирался ѣхать на Кавказъ и въ Крымъ, но никогда тамъ не былъ. Въ Лондонѣ его звалъ въ письмѣ отъ 7 августа 1844 г. (ненеизданнымъ) графъ М. Ю. Віельгорскій слѣдующими словами: „васъ также приглашаю въ Брайтонъ; вы тамъ будете съ нами, и если захотите Лондонъ посмотреть (и стоитъ на него хоть взглянуть), то можете у меня остановиться, что вамъ ничего стоитъ не будетъ“.

²⁾ Возстановимъ здѣсь встать пропуски въ письмѣ отъ 12 февраля 1839 года.

Послѣ словъ: „Клотишь за поклонъ тоже благодаренъ“, слѣдуетъ: „Кстати, я думаю...., тѣмъ болѣе, что оно очень близко,—кажется только черезъ кухню: Квитка, какъ кажется, не можетъ тебѣ мѣшать. Я слышалъ, что у него есть“.

Въ концѣ письма, послѣ словъ: „У какого жреца ты завтракаешь и такую ли, ту же ли живую охоту чувствуешь ты и аппетитъ, т.-е. вмѣстѣ чистить аппетитные серебряные кофейники съ большими длинными клевами. Ужъ нѣтъ ли какихъ новыхъ открытій? Проклятые храмы, между прочимъ, доканали мой желудокъ.“

Приводимъ здѣсь по порядку ненапечатанную часть этой переписки, относящуюся къ 1839 году:

Мартъ 7 (1839). *Гоголь*—*Данилевскому*.

„Вчера получилъ твое письмо отъ 22-го февраля. Взоры мои были поражены ужаснымъ множествомъ новооткрывшихся кафе, которыхъ имена увидѣли они начертанными твоей рукою. За нѣсколько мѣсяцевъ былъ бы сильно раздраженъ и мой желудокъ, но теперь аппетита нѣтъ, да и чортъ съ нимъ!

„Твоя Estelle, которая присутствовала у тебя во время антракта между писаніемъ письма, года два-три назадъ, вѣроятно, вызвала бы изъ памяти и воображенія, еще полнаго утраченной юности, множество нескромныхъ воспоминаній... Но теперь Богъ съ ней! Да здравствуетъ, впрочемъ, она и надѣляетъ тебя мгновеніями младости и благъ, которыя ты еще, счастливецъ, чувствуешь!

„Въ письмѣ твоемъ мнѣ пріятно было увидѣть выглянувшее имя Ноэля; оно мнѣ напомнило вечерніе чаи, madame Courtain, Семеновскаго (такъ написано у Гоголя; должно быть: Симановскаго), который пропалъ совершенно ¹⁾, какъ въ воду, и совершенное незнаніе храмовъ ²⁾ и вообще невѣжество въ религіи.

„Я получилъ наконецъ изъ дому два письма. Грустно мнѣ было читать ихъ! Они были совершенная вывѣска несчастнаго положенія домашнихъ. Наконецъ маменька, кажется, дохозяйничалась наконецъ ³⁾ до того, что теперь рѣшительно, кажется, не

„Братецъ, какое теперь небо въ Римѣ! какъ чудно глядитъ на меня въ эту самую минуту, какъ пишу къ тебѣ!

„Затѣмъ ты теперь не въ Римѣ! Пора бы тебѣ жизнь чувственную перемѣнить на духовную, (наплевать) на желудокъ и на храмъ, mangiar poco e respirar una dolcissima aria e così vivere. Пора, пора (выгнать) вонъ чорта, который сидитъ въ брюхѣ и (напускаетъ) на злыя похоти“.

Въ самомъ концѣ пропущена подпись: „весь твой *Гоголь*“, и приписка:

„Ты меня спрашиваешь, гдѣ я живу. Неужели ты не знаешь, что моя квартира вѣчно та же: Via Felice, 126, terzo piano“.

Отмѣтимъ кстати ошибку у г. Кулиша: вмѣсто *Базинъ* въ этомъ письмѣ слѣдуетъ читать: *Базилъ* (т.-е. *Базили*). Кромѣ того въ немъ упоминаются: Васка—Василій Яковлевичъ Прокоповичъ, и Аванасій, слуга Данилевскаго, — по словамъ его „весьма забавный субъектъ“. (Слова, поставленныя въ скобкахъ выше, прочтаны по догадкѣ; они на прорванномъ мѣстѣ письма, но часть ихъ видна ясно.)

¹⁾ Разставшись съ Симановскимъ въ началѣ 1838 г., Гоголь и Данилевскій потеряли его изъ виду. Гоголю очень хотѣлось его отыскать. См. V, 300: „О Симановскомъ я рѣшительно не имѣю никакихъ вѣстей. Куда онъ дѣлся и куда пропалъ, это Богъ одинъ знаетъ“; и V, 310: „Напиши адресъ Симановіано, если узнаешь. Я къ нему писалъ изъ Ливорна въ Парижъ. Не знаю, получалъ ли онъ его, или нѣтъ“.

²⁾ Намекъ на временное пользованіе домашними обѣдами у Ноэля.

³⁾ Слово это повторено въ подлинномъ письмѣ.

знаешь, что дѣлать. Дѣла наши по деревнѣ, кажется, такъ разстроились, какъ только возможно, и я никакихъ не имѣю средствъ помочь. Какъ нарочно къ этому времени приближается срокъ или выпускъ моимъ сестрамъ!..

„Грустно, мой милый, ужасно грустно!.. Я былъ до этого времени почти спокоенъ; меня мучило мое здоровье; но я предалъ его въ волю Бога, приучилъ себя къ прежде невыносимой мысли, и уже ничего не было для меня страшнаго ни въ жизни, ни въ смерти. А теперь иногда такое томительное безпокойство заглядываетъ въ мою душу, такая боязнь за будущее, къ несчастью, очень близкое!.. О, ты много счастливѣе меня: ты можешь терпѣть одинъ; всѣ члены вашего семейства пристроены; тебѣ остается — только одинъ ты... Грустно! Мысль моя теряется. Я ничего не нахожусь сдѣлать, ни подумать ¹⁾...

„А кстати: въ первомъ письмѣ маменьки, между прочимъ, извѣстіе, касающееся по тебѣ. Она была у Василія Ивановича на свадьбѣ его дочери, а твоей сестры, которая теперь таетъ (?) за Казань. Василій Ивановичъ за столомъ вспомнилъ о томъ, что теперь онъ долженъ одинъ благословить свою дочь, что Татьяны Ивановны уже нѣтъ на свѣтѣ... и заплакалъ! Гости были тоже тронуты. Въ другомъ письмѣ маменька говоритъ, что видѣлась не такъ давно съ Василіемъ Ивановичемъ, и что онъ спрашивалъ у нея, не пишу ли я тебѣ и не знаю ли я, гдѣ ты, что онъ совершенно не имѣетъ о тебѣ никакихъ слуховъ и не получаетъ отъ тебя никакихъ писемъ, и что онъ проситъ меня узнать, гдѣ ты. Маменька упомянула также мимоходомъ о твоихъ братьяхъ, что они оба ²⁾ живутъ въ Семеренькахъ; очень плохи здоровьемъ, часто болѣютъ и не были ужъ очень давно у нея по причинѣ болѣзни. Я просилъ тебя въ одномъ письмѣ о присылкѣ мнѣ красокъ ³⁾, и теперь вспомнилъ, что ты къ краскамъ можешь еще присовокупить одну очень пріятную для меня вещь, твою палеу, которую ты мнѣ подарилъ ⁴⁾ и которую я не знаю, по-

¹⁾ По сѣдѣніямъ, собраннымъ мною, Гоголь это время былъ страшно разстроенъ и озабоченъ дурнымъ ходомъ домашнихъ дѣлъ.

²⁾ Одинъ изъ братьевъ Александра Семеновича Данилевскаго, Иванъ Семеновичъ, уже упоминался выше; о немъ также см. V т., стр. 196, 232, 336 и 443. Другой братъ, Елисей Семеновичъ, былъ также въ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, потомъ былъ помѣщикомъ и скончался въ шестидесятыхъ годахъ. Иванъ Семеновичъ здравствуетъ донынѣ и проживаетъ въ Малороссіи. О двоюродной сестрѣ Александра Семеновича, Маріѣ Алексѣевнѣ, см. V, 171.

³⁾ См. изд. Кул. V, 360 и 363.

⁴⁾ О томъ же см. V, 305: „Я вхожу къ себѣ и вижу на столѣ лежитъ знакомая мнѣ палка“. Последнія слова снова показываютъ, что письмо, напечатанное у Ку-

чему не взять съ собою. Я былъ такъ обеспокоенъ передъ моимъ выѣздомъ изъ Парижа! Я не понимаю, что бы я былъ безъ этой счастливой отсрочки моего отъѣзда, которая доставила мнѣ радость поцѣловаться съ тобою и вновь сказать: здравствуй.

„Будь здоровъ. Да! ты меня спрашиваешь, какой я дамъ отвѣтъ насчетъ предложенія Васьки Прокоповича. Я отвѣчалъ ему, что не могу имъ воспользоваться, потому что подобное предложеніе было сдѣлано мнѣ раньше Погодинымъ; а такъ какъ я ему долженъ двѣ тысячи слишкомъ, то я представилъ ему въ совершенное распоряженіе всѣ полученные отъ этого доходы.

„Чуть было не позабылъ одно для тебя очень важное открытіе: удивительное производятъ дѣйствіе на желудокъ хорошія сушенныя фиги; нужно ихъ ѣсть на ночь и поутру на свѣжій желудокъ. Мнѣ посоветовалъ одинъ итальянецъ, за что его нужно золотить.

„Въ первый день, когда я ихъ съѣлъ, чувствовалъ не много нехорошо какъ будто въ желудкѣ, но потомъ чудо! потомъ легко, можно сказать, подмасливаетъ дорогу. Только нужно, чтобы фиги были самыя свѣжія и не засушенные слишкомъ“¹⁾).

Римъ. Апрѣля 14-го 1839. Гоголь—Данилевскому.

„Письмо тебѣ это вручить Погодинъ, для котораго ты будешь долженъ отвести прежде всего квартиру у нашей мадамъ No-chard. Одной комнаты будетъ весьма достаточно для нихъ обоихъ, а полуторная кровать, которая едва удовлетворяетъ шириною тебя одного, замѣнить имъ двойную. И мужъ, и жена неприхотливаго свойства и не любятъ даромъ издерживаться; стало быть, они могутъ платить какъ будто бы за одного человѣка. А другую

лиша на 340 стр. V тома, ошибочно отнесено по предположенію къ 1838 вмѣсто 1839, какъ о томъ было сказано выше.

¹⁾ Дополнимъ здѣсь пропуски въ слѣдующемъ по порядку писемъ изъ Рима, отъ 5-го іюня (V, 377); послѣ словъ объ Іосифѣ Вильгорскомъ: „Это былъ бы мужъ, которій бы украсилъ одинъ будущее царствованіе Александра Николаевича“—пропущено: „Всѣ прочіе его окружающіе хотъ бы крупину таланта имѣли!“ Далѣе, послѣ словъ: „ты опять сидишь безъ вѣстей о домѣ“, пропущено: „Я думаю, мнѣ кажется, лучше всего тебѣ, покаместъ, обратиться къ сестрѣ“. (Слова эти впрочемъ зачеркнуты.) „Она такъ добра, такъ полна къ тебѣ братскою любовью, что я не могу подумать, чтобы она тебя могла оставить въ ту минуту, когда тебѣ такъ нужна помощь. При томъ же она въ состояніи понять настоящее твое положеніе. Напиши, представь ей хорошенько и живо твое положеніе. Я не думаю, чтобы она отказала тебѣ, это невозможно! Ты лѣнишь, тебѣ трудно двинуться на что-нибудь, а мнѣ кажется, сначала бы написать въ Лубны къ Ивану Семеновичу: человѣкъ, дрожки котораго называются по имени и отчеству, а не по фамиліи, безъ всякаго сомнѣнія пребываетъ въ возможности дать взаймы. Словомъ, тебѣ средства есть“.

комнату, если она случится, приготовь для Шевырева, который тоже намѣренъ пробыть мѣсяцъ въ Парижѣ. Ну, теперь, пока-мѣстъ, ты долженъ благодарить меня за пріятное общество, которое я тебѣ доставилъ, и которымъ ты, безъ сомнѣнія, будешь доволенъ. Будь имъ расторопнымъ чичероне, води ихъ по театрамъ, кафѣ... виновать! по храмамъ... ресторанамъ, концертамъ. Обмундируй дешево и хорошо.

„Поведи Погодина къ пассажнымъ портнымъ, гдѣ выбери прежде всего для него скюртку, ибо онъ все еще ходитъ въ томъ, въ которомъ ходилъ въ Москвѣ. О покрое не очень заботься: другъ мой не имѣетъ нужды въ фасонѣ и не ставитъ его въ грошъ вмѣстѣ съ портными и со всѣми причудами моды, и потому ты долженъ наблюдать три вещи: чтобы было просторно, прилично его фигурѣ и насколько возможно дешево.

„Они тебѣ передадутъ вѣрную и, къ несчастію, пошлую исторію моей жизни. Право, странно: кажется, ты живешь, а только забываешься или стараешься забыть: забыть страданія, забыть прошедшее, забыть свои лѣта и юность, забыть воспоминанія, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть гдѣ на свѣтѣ мѣсто, гдѣ страданія, горя, траты и собственное безсиліе могутъ позабыться, то это въ одномъ только Римѣ. Здѣсь только тревоги не властны и не касаются души. Чтѣ бы было со мною въ другомъ мѣстѣ! Здѣсь только самая разлука съ близкими и съ друзьями, которая такъ тяжела, менѣе тяжка.

„Къ числу пріятныхъ забвеній въ Римѣ прибавилась опера ровно съ того дня, какъ у тебя въ Парижѣ она прекратилась. Первый персонажъ ея знаменитый Донизелли, котораго, какъ кажется, ты знаешь только по наслышѣ, который былъ въ труппѣ итальянцевъ въ Парижѣ и котораго, впрочемъ, мы читали только біографію. Игра и голосъ чудные! Онъ до сихъ поръ достойный соперникъ Рубини. Примадонна тоже очень недурна; напоминаетъ фигурой и тѣлесною крѣпостью Гризи. Несмотря на то, что порядочно поустарѣла (ей за тридцать), но черты лица прелесть! Я думаю, была чудная красавица!

„Но самое главное, съ чего бы слѣдовало начать письмо: я получилъ письмецо отъ Василія Прокоповича въ отвѣтъ на мое, ему писанное. Я, признаюсь, имѣю плохую надежду на то, чтобы онъ выслалъ требуемую тобою сумму. Онъ мнѣ пишетъ, что получилъ письмо твое, въ которомъ опять требуешь отъ него денегъ, и что онъ совершенно не знаетъ, чтѣ дѣлать, что больше половины капитала онъ занялъ брату на покупку дома, а остальное ему самому нужно. Я ему тотъ же часъ отписалъ и усовѣ-

щивалъ, сколько могъ, что это его долгъ, что, имѣя истинно-благородныя чувства и помня узы товарищества, онъ долженъ это сдѣлать, и что ты продашь все свое имѣніе и ему запла-тишь по прїѣздѣ своемъ въ Петербургъ. Но не знаю, способенъ ли онъ послушать этихъ словъ. Еслибы какимъ-нибудь образомъ ты могъ написать заемное письмо сколько возможно по формѣ и какъ возможно обезпечительно, можетъ быть, это имѣло бы больше надъ нимъ дѣйствія. Въ этомъ и другомъ случаѣ я бы совѣто-валъ тебѣ попытаться написать еще разъ домой хоть по край-ней мѣрѣ для того, чтобы разгадать и изяснить себѣ лучше эту покамѣстъ непостижимую загадку, точно ли все это произошло отъ неполученія писемъ, или это была маска? Для лучшаго и болѣе очевиднаго удостовѣренія я прошу тебя отправить письмо твое ко мнѣ; а я его отправлю къ маменькѣ съ тѣмъ, чтобы маменька собственноручно вручила его, кому слѣдуетъ, и тогда мы можемъ узнать настоящее дѣло.

„Новости, объявляемыя въ письмѣ Василя Прокоповича, отли-чались какою-то нестройностью,—что Плюшаръ обанкротился и энциклопедическій словарь лопнулъ, что Базили, воротившись съ Кавказа, рассчиталъ Аѳанасія¹⁾ и уѣхалъ въ Смирну консуломъ, что Мокрицкій²⁾ уже *пишетъ* св. Себастьяна такъ же хорошо, какъ и штанишки (все это слова Васьки)³⁾; что Кукольникъ издаетъ альманахъ „Новогодникъ“ и хотѣлъ издавать журналъ „Иностраніе“ подъ покровительствомъ Жукова (табачнаго фабри-канта), что братъ его, т.-е. Николай, показываетъ своимъ дѣтямъ китайскія тѣни, и что онъ самъ, т.-е. Васька, коситъ на скрипкѣ, и что дни, такимъ образомъ, текутъ незамѣтно...

„Письмо это я прекратилъ-было писать, потому что еще рано отправлять его. Погодинъ только завтра долженъ прїѣхать изъ Неаполя въ Чивита-Веккію, куда я прибылъ для встрѣчи его прямо изъ театра, изъ „Отелло“.

„Чудно какъ шло! Донизелли удивителенъ! Рубини былъ выше его, когда хотѣлъ быть, особливо въ знаменитой первой аріи, но весьма часто былъ онъ ниже, какъ говорится, себя, а иногда

¹⁾ Слугу Данилевскаго. Это мѣсто опять подтверждаетъ, что въ письмѣ отъ 12-го февр. 1839 г. въ началѣ слѣдуетъ читать: о Базили (т.-е. Базили), а не Базили.

²⁾ Мокрицкій, Аполлонъ Николаевичъ, художникъ, товарищъ Гоголя по лицей, впоследствии академикъ императорской академіи художествъ и преподаватель въ училищѣ живописи и ваянія московскаго художественнаго общества (См. „Русское Слово“, 1859, 96, примѣч. Н. Гербеля и „Лицей кн. Безбородко“, отдѣлъ II, стр. СXXXIII).

³⁾ Василій Яковлевичъ Прокоповичъ.

даже вовсе не хотѣлъ войти въ себя... Донизелли съ начала до конца ровень, отъ перваго до послѣдняго. Страшная сила голоса и игра удивительная!..

„Мы такъ усовершенствовались нашу переписку и аккуратность ея, чему много помогла установившаяся наша почта знакомыхъ напихъ, ѣдущихъ то изъ Рима въ Парижъ, то изъ Парижа въ Римъ, что недѣли три антракта уже кажутся очень долгимъ временемъ, такъ что, мнѣ кажется, я уже очень давно не получалъ отъ тебя писемъ. Можетъ быть это происходитъ еще отъ того, что послѣднее письмо мое очень важно и отвѣтъ на оное, какъ рѣшеніе твое насчетъ поѣздки въ Маріенбадъ ¹⁾, еще важнѣе и дразнить мое нетерпѣніе. Право, по моему, тебѣ очень не лишне была бы эта поѣздка!.. Но, впрочемъ, надѣюсь на Погодина: онъ на тебя наляжетъ и уговоритъ, а между тѣмъ я слышу безостановочно даже сюда въ Италію пробирающіеся слухи о чудесахъ, производимыхъ посредствомъ леченія холодною водою въ Гrefенбергѣ ²⁾, очень недалеко отъ Маріенбада, которая, между прочимъ, особенно оказываетъ чудо въ болѣзняхъ твоего рода. Я самъ послѣ маріенбадскихъ водъ намѣренъ отправиться туда.

„Посылай скорѣе отвѣтъ на это письмо. Кланяйся всѣмъ нашимъ знакомымъ: Квитеѣ, Межаковымъ, Мантейфелю ³⁾ и прочимъ. Боткинъ ⁴⁾ твой—добрый малый, а Исаевъ ⁵⁾ глупъ страшно.

„Я слышалъ, между прочимъ, что у васъ въ Парижѣ завелись шпионы. Это, признаюсь, должно было ожидать, принявши въ соображеніе большое количество русскихъ, влекущихся въ Парижъ мимо запрещенія. Эти двусмысленныя экспедиціи разныхъ Строевыхъ ⁶⁾ за какими-то мистическими славянскими рукописями, которыхъ никогда не бывало... Будь остороженъ! Я увѣренъ, что имена почти всѣхъ русскихъ вписаны въ черной книгѣ на-

¹⁾ См. письмо отъ 25-го марта 1839 (изд. Кул., V, 364).

²⁾ Такимъ образомъ еще въ 1839 г. Гоголь восторгался леченіемъ Присница въ Гrefенбергѣ, которое причинило ему такъ много вреда въ 1845. Гоголь въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ возлагалъ свои надежды на помощь отъ холодныхъ ваннъ, которыми въ разное время пользовались и его друзья: въ 1843 Аркадій Осиповичъ Россетъ, въ 1845 (до него) Александръ Петровичъ Толстой (см. VI, стр. 14 и проч., гдѣ литера F означаетъ Россета, и 212).

³⁾ О нихъ см. V, 364 и проч.

⁴⁾ Здѣсь разумѣется Н. П. Боткинъ, который вскорѣ оправдалъ отзывъ Гоголя въ гораздо большей степени, чѣмъ, можетъ быть, могъ ожидать Гоголь: по словамъ В. А. Панова, „этотъ истинно-добрый человѣкъ ухаживалъ, какъ нянька“, за Гоголемъ, во время болѣзни въ Вѣнѣ. (См. изд. Кул., V, 424 примѣч.)

⁵⁾ А. С. Данилевскій самъ не припомнилъ этого Исаева.

⁶⁾ О немъ см. примѣч. ниже. Онъ упоминается въ письмахъ Гоголя два раза: въ V томѣ, стр. 434, гдѣ онъ обозначенъ инициаломъ С., и 390, гдѣ стоятъ литера NN.

шей тайной полиціи. Я совѣтую тебѣ перенести резиденцію изъ Мореля въ другому ресторану. Теперь же у тебя общество будетъ. Вы можете обѣдать вмѣстѣ, т.-е. съ Погодинымъ и Шевыревымъ, у какого-нибудь новаго ресторана.

„Прощай до слѣдующаго письма. Цѣлую тебя. Твой Г.“

Римъ. Мая 18-го (1839). Гоголь—Данилевскому.

„Вчера я получилъ твое письмо отъ 4-го мая. Дѣлай какъ хочешь, и распоряжайся насчетъ водъ. Во всякомъ случаѣ я прошу отъ тебя одного: вылечись и будь здоровъ. Чтѣ касается до меня, я ѣду, можетъ быть, для того, чтобы очистить совѣсть и не упрекать себя потомъ, что не попробовалъ еще одного средства. Признаюсь, я не столько надѣюсь на самый Мариенбадъ, сколько на Грефенбергъ, на его холодное леченіе, о которомъ ежеминутно слышу чудеса, которое (лечить) удивительно золотушныя, венерическія, ломотныя и ревматизмы,—словомъ, всѣ болѣзни, кромѣ грудныхъ, а потому я думаю, что оно должно также успѣшно лечить желудочныя и геморроидальныя болѣзни, въ которыхъ, какъ тебѣ извѣстно, холодная вода не можетъ не быть употреблена съ пользою.

„Желалъ бы очень сильно я, чтобы ты получилъ скорѣе подкрѣпленіе денежное. Съ какою бы радостью подѣлился съ тобою я этимъ презрѣннымъ металломъ, еслибы судьба меня надѣлила имъ.

„Писалъ ли ты послѣ моего письма къ Василью, и такъ, какъ я тебѣ говорилъ? Это человѣкъ, котораго нужно гвоздить порядочно, а безъ того будетъ мало успѣха“.

IX.

Содержаніе слѣдующихъ писемъ Гоголя къ Данилевскому (начиная со второй половины 1839 года, послѣ болѣзни Гоголя) становится крайне однообразнымъ и почти не представляетъ интереса; они наполнены ободреніями и увѣщаніями, а иногда и упреками за недостатокъ энергіи, нерѣшительность, слабость характера. Самый тонъ писемъ существенно измѣняется и доходитъ иногда до такой нетерпимости и раздражительности, что Данилевскому случалось не разъ оскорбляться имъ. Всего чаще Гоголь журилъ его за хандру и малодушіе. Вотъ образецъ такихъ правоученій:

„Какъ ни пріятно было мнѣ получить твое письмо, но я чи-

таль его болѣзненно. Въ его лѣниво влекущихся строкахъ присутствуютъ хандра и скука. Ты все еще не схватилъ въ руки кормила своей жизни, все еще носится она безцѣльно и праздно, ибо о другомъ грезить дремлющій кормчій: не глядитъ онъ внимательными и ясными глазами на плывущіе мимо и вокругъ его берега, острова и земли, и все еще стремится усталый, бессмысленный взоръ на то, что мерещится въ туманной дали, хотя давно уже потерялъ вѣру въ обманчивую даль. Оглянись вокругъ себя и протри глаза: все лучшее, что ни есть, все вокругъ тебя, какъ оно находится вездѣ вокругъ человѣка, и какъ одинъ мудрый узнать это, и часто слишкомъ поздно!"

Гоголь неожиданно какъ будто отодвинулъ своего пріятеля на неизмѣримое разстояніе отъ себя и заговорилъ съ нимъ суровымъ тономъ обличителя. Но это не было напущенное и самодовольное морализированіе, ни тѣмъ болѣе разсчитанное и преслѣдующее извѣстныя чисто-практическія цѣли, въ чемъ нѣкоторые подозрѣвали Гоголя, потому что не было никакого смысла принимать подобный тонъ съ Данилевскимъ, котораго Гоголь любилъ какъ товарища и друга, и у котораго заискивать ему было совершенно нечего. Какъ увидимъ, наоборотъ, Данилевскій часто прибѣгалъ къ ходатайству о немъ Гоголя. Слѣдовательно, не можетъ быть никакого сомнѣнія, что выдержанность религіозно-мистическаго тона во *всѣхъ* письмахъ Гоголя, не исключая и писемъ къ Данилевскому, совершенно должна снять съ него тяжелое обвиненіе въ ханжествѣ и притворствѣ. Изъ писемъ къ Данилевскому видимъ, напротивъ, что Гоголь до того освоился съ новымъ міросозерцаніемъ и съ связаннымъ съ нимъ тономъ строгаго моралиста, что онъ впадалъ въ него противъ воли и готовъ былъ послѣ тотчасъ просить извиненія. Какъ самъ онъ жаждалъ въ это время упрековъ и наставленій, такъ и другимъ расточалъ ихъ совершенно искренно и съ самымъ добрымъ намѣреніемъ. Но странно и грустно видѣть замѣтное ослабленіе въ его интимныхъ письмахъ той горячей искры понятной намъ любви здороваго человѣка, которая должна была прежде нести Данилевскому отраду и успокоеніе въ житейскихъ заботахъ и скорбяхъ, и замѣну этой любви какой-то иною, которую Гоголь отъ души считалъ, можетъ быть, вышею, но которая приводитъ въ недоумѣніе людей, чуждыхъ его настроенію.

Всего поразительнѣе въ письмахъ Гоголя къ Данилевскому съ 1839 года какая-то холодная сдержанность, составляющая рѣзкій контрастъ съ прежнимъ безавѣтно-дружественнымъ тономъ, хотя послѣдній и не исчезаетъ вовсе окончательно *никогда*,

не исключая самыхъ послѣднихъ писемъ. Еще за годъ онъ писалъ Прокоповичу: „Недавно получилъ письмо отъ Данилевскаго изъ Парижа. Онъ все также бредитъ Парижемъ и мыслить о Гризи, но, кажется, ему бѣдному немного тамъ прискучилось. Я уже давно не видался съ нимъ и хотѣлъ бы поглядѣть на него“. („Русское Слово“, 1859, I, 109). Или: „Теперь ты радъ, Данилевскій съ тобою! Ты вкусилъ минуту свиданія послѣ такой длинной разлуки. Какъ бы я желалъ теперь быть съ вами! Но я уже почти отказался отъ этой сладкой мысли!“ Совершенно иное видимъ теперь: стремясь къ каковой-то недосыгаемой моральной высотѣ, Гоголь какъ будто заглушалъ въ себѣ самыя естественныя и привлекательныя стороны природы. И вотъ уже въ новомъ, значительно измѣнившемся состояніи пришлось наблюдать его большинству лицъ, оставившихъ о немъ несочувственныя воспоминанія, тогда какъ въ лучшую пору его, жившаго долго за границей, знали немногіе. Да и для самихъ друзей Гоголя нѣкоторыя лучшія стороны умерли въ немъ навсегда. „Сильно поражали меня эти письма,—передавалъ А. С. Данилевскій,—но только гораздо позднѣе стало для меня болѣе или менѣе ясно значеніе этой перемѣны; сначала они просто приводили въ недоумѣніе“.

Здѣсь повторилась обычная въ подобныхъ случаяхъ исторія: отдѣльные слабые предвѣстники предстоящей коренной перемѣны въ характерѣ человѣка, какъ и въ болѣзняхъ, не замѣчаются вовсе или пропускаются безъ вниманія, и только когда она станетъ обозначаться болѣе или менѣе явно, тогда начинаютъ приходить на память разные случаи, какъ она обнаруживалась и раньше. Съ другой стороны, разъ замѣтивъ перемѣну, начинаютъ придавать ей невозможные размѣры и склонны непремѣнно видѣть ее всюду, и уже не хотятъ слышать, что распространяющіеся слухи чудовищно нелѣпы. Впослѣдствіи, напримѣръ, А. С. Данилевскому не разъ приходилось слышать даже, что Гоголь не въ своемъ умѣ и проч. Напрасно онъ, знавшій Гоголя близко до послѣднихъ дней его жизни, разувѣрялъ своихъ собесѣдниковъ; большею частью ничто не дѣйствовало ¹⁾.

¹⁾ Совершенно нелѣпо было бы также представлять себѣ Гоголя въ послѣдніе годы исключительно мрачнымъ, суровымъ аскетомъ. А. С. Данилевскій, а также В. Н. Репнина, рассказывали намъ, что даже въ послѣдній годъ жизни онъ иногда очень оживился, бывалъ веселъ, шутилъ. Въ Одессѣ у Репнинныхъ (за годъ до смерти; изъ Одессы онъ уѣхалъ въ мартѣ 1851 года) онъ съ увлеченіемъ пѣлъ и слушалъ малороссійскія пѣсни. Смерть Гоголя была совершенно неожиданностью и для своихъ, и для Данилевскаго и кн. Репниной. О такъ-называемомъ „умственномъ разстройствѣ“ не можетъ быть и рѣчи.

Какъ бы то ни было, однимъ изъ первыхъ признаковъ печальной перемены въ Гоголѣ въ письмахъ къ Данилевскому нельзя не считать исчезновение его братской снисходительности. Гоголь становится строгъ во всемъ: осуждаетъ образъ жизни Данилевскаго, его характеръ и даже слогъ писемъ; тогда какъ прежде, напротивъ, подкушенный чувствомъ дружбы, считалъ его болѣе способнымъ живо и занимательно разсказать что-нибудь, нежели самого себя. Года за три онъ писалъ о Данилевскомъ Протоповичу: „Я не пишу тебѣ о всѣхъ городахъ и земляхъ, которые я проѣхалъ, потому что о половинѣ ихъ писалъ къ тебѣ Данилевскій, *котораго перо и взглядъ живые мои*“ („Русское Слово“, 1859, I, 88).

Сущность совѣтовъ и наставленій Гоголя Данилевскому заключалась въ томъ, что послѣдній долженъ былъ оставить прежнюю разсыпанную жизнь, что, впрочемъ, не составляло уже вопроса по практической неосуществимости ея, и весь отдался упорному труду, не пренебрегая скромной, невидной долей уѣзднаго помѣщика. Совѣты основательные, но къ нимъ присоединялись невольно оскорбительные и незаслуженные упреки, казавшіеся Гоголю очень легкими и невинными, но въ сущности чувствительные, изъ-за чего, какъ вскорѣ увидимъ, между ними чуть не произошло однажды довольно серьезное столкновение ¹⁾.

Что перерождение давно готовилось въ Гоголѣ, доказываютъ, кромѣ приведенныхъ прежде мѣстъ, слова его въ письмѣ Прокоповичу въ самомъ началѣ 1837 г.: „Мои голосомъ, *который теперь долженъ имѣть надъ тобой двойную силу и власть*, я заклинаю тебя страхнуть лѣнь“. Много разъ обращали вниманіе на подобное же обращеніе въ письмѣ къ А. С. Данилевскому, отъ 7-го августа 1841 г. (Кул., V, 446), но то же самое было почти на пять лѣтъ раньше.

¹⁾ Отмѣтимъ здѣсь пропуски въ письмѣ отъ 29-го дек. 1839 года. Послѣ слова: „семейственныхъ“ (дѣлъ), пропущено: „которыя вѣдутъ Богъ знаетъ какъ“. Далѣе, послѣ словъ: „у кого-нибудь изъ моихъ знакомыхъ“, слѣдуетъ дополнить: „но лишь бы онъ не зналъ и не видѣлъ своего дома, гдѣ онъ пропадутъ совершенно. Ты понимаешь все. Ты знаешь, что маменька глядитъ и не видитъ, что она дѣлаетъ то, чего никакъ не воображаетъ дѣлать, и, думая объ ихъ счастьѣ, сдѣлаетъ ихъ несчастными и потомъ всю вину сложитъ на Бога, говоря, что Богу было угодно попустить. — Впрочемъ, какъ Богъ дастъ! По крайней мѣрѣ, здѣсь глаза моихъ знакомыхъ и любящихъ меня будутъ на нихъ устремлены. Это ужъ много. Притомъ, во всякомъ случаѣ, и въ отношеніи воспитанія онъ могутъ здѣсь, т.-е. въ Москвѣ (дѣйствительно, Гоголь послѣ помѣстилъ свою сестру Елизавету Васильевну у Прасковьи Ивановны Раевской), болѣе приобрести, нежели потерять. Изъ писемъ, въ которыхъ очень замѣтно, что отъ меня многое еще скрывается, я вижу, что дѣла маменьки должны быть до послѣдней степени плохи. Пожалуйста, сдѣлай мнѣ большое одолженіе: побывай у моей маменьки tête-à-tête и допроси ее хорошенько и обстоятельно сколько она можетъ разсказать, положеніе дѣлъ. Скажи, что тебѣ она необходимо должна все сказать откровенно, что это единственное средство приготовить меня, и

Гоголь—Данилевскому (въ маѣ 1842 года).

„Изъ письма твоего (я получилъ его сегодня, 9-го мая, въ день моихъ именинъ, и мнѣ казалось, какъ будто я увидѣлъ тебя самого) изъ письма твоего вижу, что ты не получилъ двухъ моихъ писемъ: одного, отправленнаго того же дня по полученіи твоего, и другого мѣсяцемъ послѣ. Я адресовалъ ихъ обоимъ въ Бѣлгородъ на имя сестры, такъ, какъ ты самъ назначилъ, сказавши, что останешься въ немъ долго.

„Но нечего жалѣть на то, что мы не увидались съ тобой и въ сей разъ! Такъ, видно, нужно! По крайней мѣрѣ я радъ и спокоенъ, получивши твое письмо; въ немъ слышится ясное спокойствіе души. Слава Богу! труднѣйшее въ мірѣ приобрѣтено, прочее все будетъ въ твоей власти. И потому дождемся полного свиданія, которое торжественно готовить намъ будущее.

„Отвѣта не жду на это письмо въ Москвѣ, потому что черезъ полторы недѣли отъ сего числа ѣду. Это будетъ мое послѣднее и, можетъ быть, самое продолжительное удаленіе изъ отечества: возвратъ мой возможенъ только чрезъ Іерусалимъ. Вотъ все, что могу сказать тебѣ.

„Посылаю тебѣ отрывокъ подъ названіемъ „Римъ“, который я

дать мнѣ возможность заблаговременно подумать, какъ и что поправить,—словомъ, все, что почтешь въ этомъ случаѣ нужнымъ для вывѣданія, но такъ какъ, между прочимъ, отъ нея немного можно будетъ добаться настоящей ясности, то, пожалуйста, разспроси сосѣдей и что говорятъ въ околоткѣ, и какъ въ самомъ дѣлѣ правятся у насъ дѣла, и до какой степени обманываютъ мужики, привазики и сами сосѣди. Тебѣ ничего не будетъ стоить заѣхать въ полверстѣ отъ насъ къ помѣщицѣ Цюревской; она самая ближняя сосѣдка и, безъ сомнѣнія, многое можетъ разсказать. Не знаю и не могу постичь, какими средствами помочь нашимъ обстоятельствамъ хозяйственнымъ, которымъ грозитъ совершенное разореніе; тѣмъ болѣе оно изумительно, что имѣніе наше во всякомъ случаѣ можно назвать хорошимъ. Мужики богаты, земли довольны“ и проч.

Послѣ словъ: „нигдѣ такъ не облегчены крестьяне, какъ у насъ“, пропущено: „Нужно же именно такъ распорядиться, чтобы при этомъ разстроить въ такой степени. Не нужно позабыть, что еще не такъ давно въ рукахъ у маменьки были деньги, что при перезакладѣ имѣнія, года три тому назадъ, она выиграла почти десять тысячъ, которыя бы, кажется, могли въ рукахъ даже неуча помочь и неурожая, и быть полезными на запасъ и на всякій будущій случай. Ничуть не бывало; эти деньги канули какъ въ воду“.—Послѣ словъ: „духъ мой страдаетъ“, слѣдуетъ: „ради Бога, коли тебѣ будетъ можно, дай сколько-нибудь маменькѣ на дорогу, рублей около пятисотъ, коли можешь; очень, очень буду тебѣ благодаренъ. У меня денегъ ни гроша; все, что добылъ, употребилъ на обмундировку сестеръ“.—Въ концѣ письма пропущено: „Не намъ съ тобою поправлять, а развѣ постарайся жениться,—это другое дѣло—то есть жениться—я разумѣю—не на женѣ, но и на деревнѣ имѣстѣ. Во всякомъ случаѣ, пожалуйста, не оставь меня отвѣтомъ и увѣдоми какъ можно поскорѣе. Твой Гоголь. Адресъ тебѣ извѣстенъ: Погодину.

нарочно тиснулъ въ числѣ 10 экз. отдѣльно. Какъ онъ тебѣ покажется и въ чемъ его грѣхи, обо всемъ этомъ напиши. Ты знаешь самъ, что я всегда уважалъ твои замѣчанія и что они мнѣ нужны.

„Письма адресуй въ Римъ на имя банкира барона Валентини (Piazza Apostoli nel suo proprio palazzo). Если не получишь отвѣта, не смущайся и пиши вслѣдъ затѣмъ другое. Все пиши, что ни дѣлается съ тобою, потому что все это для меня интересно. Я напишу потомъ вдругъ. Если же тебѣ захочется получить отвѣтъ еще до сентября мѣсяца (европейскаго), то адресуй въ Гастейнъ, что въ Тиролѣ, откуда въ сентябрѣ я выѣду въ Римъ.

„Черезъ недѣлю послѣ сего письма ты получишь отпечатанныя „Мертвыя Души“, преддверіе немного блѣдное той великой поэмы ¹⁾, которая строится во мнѣ и разрѣшится, наконецъ, загадку моего существованія. Но довольно.

„Крѣпись и стой твердо: прекраснаго много впереди! Если же что въ жизни смутитъ тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли, вспомни обо мнѣ, и при одномъ уже такомъ напоминаньѣ отдѣлится сила въ твою душу! Иначе не сильна дружба и вѣра, обитающая въ твоей душѣ!

„Прощай, обнимаю тебя. Будь здоровъ. Вмѣстѣ съ письмомъ симъ несется къ тебѣ благословенье и сила. Твой Гоголь“.

Но, слѣдую хронологическому порядку, рассмотримъ еще нѣсколько писемъ Гоголя и Данилевскаго, содержаніе которыхъ относится къ заботамъ Гоголя объ устройствѣ послѣдняго. Въ продолженіе промежутка отъ конца 1839 года до конца 1842 переписка между ними въ значительной степени пріостановилась, вслѣдствіе того, что во время пріѣздовъ Гоголя въ Россію они не разъ видѣлись, напр. въ маѣ 1842 г., когда, по просьбѣ Гоголя, Данилевскій провожалъ Марью Ивановну въ Москву.

Первое письмо послѣ этого продолжительнаго перерыва было написано Гоголемъ въ Гастейнѣ 22-го (10-го) августа 1842 г., въ которомъ Гоголь именемъ дружбы просилъ Данилевскаго не скрывать впечатлѣній послѣ прочтенія „Рима“ и „Мертвыхъ Душъ“. (См. V, 485) ²⁾. Въ письмѣ отъ октября 23-го (11-го) 1842 г.

¹⁾ Ср. въ письмѣ къ П. А. Плетневу: „это больше ничего, какъ только крыльцо къ тому дворцу, который во мнѣ строится“ (V, 465).

²⁾ Въ этомъ письмѣ въ изданіи г. Кулина омуцены только концы: „Адресуй въ Римъ, poste restante, или, лучше, вручи маменькѣ, чтобы она отправила въ своемъ письмѣ: это вѣрнѣе“. Въ началѣ письма упомянуто о письмахъ, отправленныхъ въ Бѣлгородъ и Миргородъ; эти письма не всѣ сохранились (обыкновенно письма адресовались въ Миргородъ, а въ Бѣлгородъ только когда Данилевскій гостилъ у дяди,

Гоголь писалъ ему дѣловое письмо, въ которомъ обсуждалъ его положеніе:

„Твое уединеніе и тоска отъ него меня очень опечалили. Натурально—самое лучшее, что можно сдѣлать, бѣжать отъ нихъ обоихъ.

„Но куда бѣжать? Ты хочешь въ Петербургъ, хочешь сдѣлаться чиновникомъ: не есть ли это только одна временная отвага, рожденная скукой и безплодіемъ нынѣшней твоей жизни?“

Гоголь держится того убѣжденія, что Петербургъ манитъ прошедшими воспоминаніями, но что Данилевскій уже не найдетъ въ немъ ничего, что его прежде привязывало („прежній кругъ давно разсѣялся“) и, по обычаю большинства людей, настойчиво рекомендуетъ то, что нравилось ему самому—жизнь въ Москвѣ. „Тамъ болѣе теплоты и въ климатѣ, и въ людяхъ. Тамъ живутъ болѣею частью такіе друзья мои, которые примутъ тебя радушно и съ открытыми объятіями; тамъ меньше расчетовъ и денежныхъ вычисленій. Посредствомъ Шевырева можно будетъ какъ-нибудь доставить тебѣ мѣсто при генералъ-губернаторѣ Голицынѣ. Подумай обо всемъ этомъ и увѣдоми меня скорѣе, чтобы я могъ тебя въ-время снабдить надлежащими письмами, къ кому слѣдуетъ.

„Если-жъ ты рѣшился служить въ Петербургѣ и думаешь, что въ силахъ начать серьезную службу, то совѣтъ мой обратиться къ Норову; онъ же былъ прежде твоимъ начальникомъ. Теперь онъ оберъ-прокуроръ въ сенатѣ. Изъ всѣхъ службъ, по моему мнѣнію, нѣтъ службы, которая могла бы быть болѣе полезна и болѣе интересна сама по себѣ, какъ служба въ сенатѣ. Теперь же, какъ нарочно, всѣ оберъ-прокуроры хорошіе люди. Къ Норову я напишу письмо, въ которомъ изъясню, какъ и почему слѣдуетъ оказать тебѣ всякую помощь. Я съ нимъ видѣлся теперь въ Гастейнѣ. Итакъ, подумай обо всемъ этомъ и увѣдоми меня“.

На оба эти письма Данилевскій отвѣчалъ слѣдующимъ ¹⁾.

который тамъ командовалъ полкомъ. Къ этому письму имѣютъ отношенія слѣдующія слова Гоголя въ письмѣ къ матери: „Передайте это маленькое письмецо А. С. Данилевскому и проч. (V, 495).

¹⁾ Въ расположеніи писемъ, относящихся къ началу сороковыхъ годовъ, у Кулиша встрѣчаются ошибки вслѣдствіе указаннаго выше обстоятельства—почти совершеннаго отсутствія писемъ 1841 года. Такъ письмо, напечатанное Кулишемъ на 443 стр. V тома, какъ ясно изъ его содержанія, было написано Данилевскимъ еще за границей; притомъ въ немъ, какъ и въ письмѣ отъ 29-го дек. 1839 г., упоминается о дрожжахъ Ивана Семеновича, о которыхъ Данилевскій писалъ ему тогда, что онъ извѣстенъ по его имени во всемъ уѣздѣ. Въ концѣ письма отъ 7-го авг. 1841 г. отиѣтитъ пропускъ въ концѣ: „Недѣли двѣ, а можетъ быть и меньше остаюсь въ Римѣ. Заѣду по Рейну въ Дюссельдорфъ къ Жуковскому. Въ Москвѣ надѣюсь

„Недѣли двѣ тому назадъ я получилъ письмо твое. Оно, какъ почти всѣ письма твои, освѣжило и отвело мнѣ душу. Какъ я благодаренъ тебѣ за твое участіе, и сколько оно мнѣ, еслибы ты зналъ, драгоцѣнно и нужно!

„Я совершенно согласенъ съ тобой во всемъ, что говоришь ты насчетъ Петербурга. Все взвѣсилъ и обдумалъ со всею досужностью, свойственной моей деревенской жизни! Ради Бога, найди средства избавить меня отъ Петербурга! Посели меня въ Москвѣ, и я ни за что не буду такъ благодаренъ тебѣ. Но дѣло въ томъ, гдѣ и какъ служить въ Москвѣ? При Голицынѣ, говоришь ты: прекрасно! и мнѣ совершенно по душѣ; но ты забываешь, мой добрый Николай, что служить при Голицынѣ значить служить безъ жалованья, чего я теперь никакъ не въ силахъ. Три-четыре года такой службы въ Москвѣ сведутъ меня глазъ на глазъ съ нищетой. Да, это истина, и такая, которая не требуетъ никакого поясненія. Въ Петербургѣ, мнѣ кажется, легче найти службу съ жалованьемъ, да и жить въ Петербургѣ дешевле. Гдѣ найти въ Москвѣ такихъ благодѣтельныхъ кухмистровъ, которые въ Сѣверной Пальмирѣ за одинъ рубль, а иногда и того меньше, снабжаютъ всю нашу бѣдную чиновную братью подлѣйшимъ обѣдомъ?

„Видишь ли: мысль моя была вступить въ департаментъ внѣшней торговли: тамъ хорошее жалованье и начальникъ знакомый твой кн. Вяземскій. Другая мысль, которая, признаюсь, ласкала меня гораздо болѣе—это служить по министерству иностранныхъ дѣлъ. Тамъ бы только, кажется, я попалъ на свою дорогу и ничто другое не отвлекало бы меня. Въ два-три года я могъ бы уразумѣть итальянскій и испанскій языки и, можетъ быть, современемъ получилъ бы гдѣ-нибудь мѣсто при миссіи—единственная цѣль моихъ желаній и честолюбія. Но у тебя тамъ нѣтъ никого, кто бы взялся хлопотать за меня и помочь мнѣ, и какъ ты одинъ составляешь мои надежды, то и я прихожу въ отчаяніе осушествить когда-нибудь мою любимую идею.

„Въ сенатѣ служить нѣтъ никакого у меня желанія и цѣли. Хорошо было начать тамъ службу, какъ только вышли изъ Нѣжина, а теперь чѣмъ и какъ я буду служить въ сенатѣ безъ охоты и безъ жалованья, ибо жалованье въ сенатѣ равняется, какъ ты знаешь, такому же въ нашихъ уѣздныхъ судахъ: столоначальники получаютъ не болѣе 800 руб. ассигнаціями.

„При такихъ обстоятельствахъ устрой меня какъ хочешь; со-

быть къ нимъ. Во всякомъ случаѣ въ отвѣтъ на письмо это напиши хоть два слова, въ знакъ, что оно тобой получено“.

гласи ихъ, если это возможно, не забывая совсѣмъ моихъ желаній и выгодъ матеріальныхъ. Москва мнѣ очень улыбается; въ ней, кажется, я былъ бы счастливѣе, нежели въ Петербургѣ, если ужъ нѣтъ надеждъ попасть при каковой-нибудь иностранной миссіи.

„А вотъ еще: не имѣешь ли ты какихъ-нибудь проводниковъ, чтобы доставить мнѣ то мѣсто, которое занималъ Строевъ при Демидовѣ ¹⁾. Это было бы едва ли не лучше всего. Впрочемъ, отдаюсь совершенно на произволъ твоей дружбы; пускай она, сообразивъ все, укажетъ тебѣ дорогу, по которой полетусь въ послѣдній разъ съ крайне облегченной ношей когда-то грузныхъ надеждъ моихъ.

„Зачѣмъ не пишешь ничего о себѣ: какъ живешь? здоровъ ли? гдѣ нагружаешься макаронами, фриттрами и пастами? Гдѣ пьешь свою аврору? Чтѣ задумалъ? чѣмъ занятъ? При всей моей радости получить письмо твое, мнѣ было грустно читать его: куда дѣвались эти безцѣнные подробности, которыя, играя со мной и закруживъ меня невольнѣ, переносили къ тебѣ, въ твой третій этажъ, на счастливую *Via Felice*. Или я сдѣлался чужимъ для тебя? или думаешь, что это не дастъ мнѣ прежнихъ удовольствій?

„Недавно получилъ письмо отъ Прокоповича. Онъ, спасибо ему, хотъ изрѣдка пишетъ ко мнѣ и не лишаетъ меня, какъ ты, извѣстій о себѣ, городѣ и о нашихъ общихъ знакомыхъ. Съ маменькой твоей я не видался давно за проклятою болѣзнью, которая около году меня не оставляетъ; да у насъ теперь и погода такова, что хотъ бы желалъ, нѣтъ возможности сдѣлать ни шагу изъ дому. Зима намъ измѣнила. Дороги никакой—ни въ саняхъ, ни на колесахъ. Можешь себѣ представить: январь мѣсяцъ, а хотъ борщъ вари съ молодой крапивой. Ты спрашиваешь меня, чтѣ здѣсь говорятъ о твоей поэмѣ. Я не вижу почти никого и никуда не выѣзжаю. Тѣ немногіе, съ которыми имѣю сношеніе, не нахвалятся ею. Патріоты нашего уѣзда, читая къ тебѣ непримиримую вражду ²⁾, теперь благодарны уже за то, что ты пощадилъ Миргородъ. Я слышалъ между прочими мнѣніе одного,

¹⁾ Строевъ былъ секретаремъ при Анатоліи Николаевичѣ Демидовѣ; жилъ въ отелѣ. Демидовъ почти совсѣмъ не входилъ ни во что, а всѣмъ завѣдывалъ Строевъ. О Демидовѣ см. Кул., V, 370 и 439, онъ обозначенъ подъ литерой GG.

²⁾ Иногда Марья Ивановна Гоголь вступала въ споры съ такими порицателями Гоголя и горячо превозносила его, чѣмъ онъ всегда оставался крайне недоволенъ и требовалъ, чтобы она говорила о немъ только какъ о смѣшнѣ. —См. V, 350; тамъ есть пропускъ: „Родители же, которые хвастаются сочиненіями своихъ синоевъ, чрезвычайно наивны и смѣшны въ своей наивности. Я зналъ нѣкоторыхъ, которые мнѣ были очень смѣшны“.

который может служить оракуломъ этого класса господъ, ославшаго такими похвалами твои „Мертвыя Души“, что я сначала усомнился-было въ его искренности; но жестокая хула и негодованіе на твой „Миргородъ“ помирили меня съ нею. „Какъ!“ — говорилъ онъ: „миргородскій уѣздъ произвелъ до тридцати генераловъ, адмираловъ, министровъ, путешественниковъ вокругъ свѣта (чортъ знаетъ, гдѣ онъ ихъ взялъ!), проповѣдниковъ (не шутка!), водевилиста, который началъ писать водевили, когда ихъ не писали и въ Парижѣ“. Это относилось къ Нарѣжному, какъ послѣ объяснилъ онъ, и проч., и проч.; всѣхъ припомнить не могу! Да ты лучше поймешь, когда я скажу, что твой ласкатель и противникъ не кто таковскій, какъ Василій Яковлевичъ Ламиковскій. Всего болѣе тѣшило меня, что мошенникъ Малинка (эпитетъ, безъ котораго никто не можетъ произнести его имени), но котораго *чортъ не взялъ*, какъ говорилъ мой зять Иванъ Осиповичъ, хохоталъ до упаду, читая „Мертвыя Души“ (вѣроятно, отъ меня косвенными путями къ нему дошедшія), въ кругу всей сорочинской bourgeoisie и поповщины: „Ревизоръ“ ему очень извѣстенъ и нерѣдко, говорятъ, перечитывается въ томъ же кругу и надрываетъ бока смѣшливымъ молодымъ попамъ и попадьямъ.

„Что сказать тебѣ еще? Я вѣчно приберусь писать, когда надобно спѣшить какъ можно, чтобы не опоздать на почту. Прокоповичъ обѣщалъ мнѣ прислать твои сочиненія, печатаемые подъ его надзоромъ, и до сихъ поръ не имѣю ихъ. Съ Пашенкомъ не видался очень давно; у него попрежнему вѣчный флюсъ, что, впрочемъ, не мѣшаетъ ему ухаживать за Старицкой, племянницей Арендта, на которой онъ, говорятъ, уже и засватанъ. Барановъ женился, но убилъ бобра! Трахимовскій на дняхъ поѣхалъ въ Житомиръ, куда назначенъ директоромъ училищъ. Все прочее обстоитъ благополучно“.

Отвѣтомъ на это было письмо изъ Рима, отъ 26-го (14-го) февраля 1843, а не 1841, какъ предполагалъ П. А. Кулишъ. Доказательствомъ могутъ служить упоминанія тѣхъ же лицъ и по тому же поводу, какъ въ письмѣ Данилевскаго. Такъ, отвѣчая ему, Гоголь говорилъ: „Совѣтуя тебѣ въ Москву, я натурально имѣлъ въ виду твое состояніе и *служить при Голицынахъ*, предполагая устроить такъ, чтобы ты могъ получать жалованье“ (Кул. V, 430). Ниже, на просьбу пристроить Данилевскаго на мѣсто Строева, Гоголь отвѣчалъ: „Ты пишешь, не имѣю ли какихъ путей пристроить къ Демидову. Рѣшительно никакихъ“, и пр. Наконецъ, упоминается въ концѣ письма даже Малинка, прозваніе

котораго по недоразумѣнію напечатано у Кулиша, какъ имя нарицательное, и попы. Въ концѣ письма за подписью: „Прощай. Твой Гоголь“—слѣдуетъ приписка:

„На всякій случай вотъ тебѣ адреса: Шевыревъ—близъ Тверской въ Дегтярномъ переулкѣ въ собственномъ домѣ; Погодинъ—на Дѣвичьемъ полѣ; прочихъ дасть адресъ Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ“.

Адресы эти сообщались, очевидно, для того, чтобы друзья Гоголя могли оказать Данилевскому покровительство.

Въ этомъ же письмѣ есть обидѣвшія Данилевскаго строки: „Ты спрашиваешь, зачѣмъ я не говорю и не пишу къ тебѣ о моей жизни, о всѣхъ мелочахъ, объ обѣдахъ, и проч., и проч. Но жизнь моя давно уже происходитъ вся внутри меня, а внутреннюю жизнь (ты самъ можешь чувствовать) не легко передавать. Тутъ нужны томы. Да притомъ результатъ ея явится потомъ весь въ печатномъ видѣ ¹⁾. *Увы! развѣ ты не слышишь, что мы уже давно разошлись, что я уже весь ушелъ въ себя, тогда какъ ты остался еще внѣ*“.

Жестокія слова, обидные, несправедливые упреки, посыпавшіеся со стороны Гоголя на Данилевскаго, глубоко оскорбили послѣдняго. Ничѣмъ не приготовленный къ такой крупной перемѣнѣ, которая успѣла замѣтно обозначиться въ его пріятелѣ въ короткій срокъ ихъ разлуки, онъ недоумѣвалъ, чему приписать и какъ объяснить внезапную холодность, заступившую мѣсто прежняго дружескаго участія. Въ то же время, какъ видно изъ предыдущихъ писемъ, онъ не выносилъ поученій, и хотя отвѣчалъ на нихъ пока сдержанно, но уже съ явно просвѣчивающей мѣстами ироніей недовольства. Смутно стали припоминаться ему прежнія мимолетныя впечатлѣнія досады, возбуждаемой проявленіемъ новыхъ сторонъ въ характерѣ Гоголя, которыми онъ не придавалъ прежде никакого значенія, но которыя теперь заставили его сгоряча придти къ заключенію, что между нимъ и другомъ его юности неожиданно выросла какая-то китайская стѣна, которая отдѣлила ихъ навсегда. Ему показалось, что онъ теряетъ вторично все дорогое въ жизни, какъ онъ испыталъ это по смерти матери. Вспыльчивый, чувствительный къ обидѣ, онъ не выдержалъ и написалъ рѣзкій отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что видитъ самъ, какъ далеко они разошлись, и что между ними все кончено. Можетъ быть, страннымъ покажется, что почти трид-

¹⁾ Судя по этимъ словамъ, можно заключать, что ужъ тогда у Гоголя появилась мысль надать „Переписку съ друзьями“. Кстати замѣтимъ, что, по словамъ А. С. Данилевскаго, въ эту переписку не вошло ни одно изъ писемъ къ нему Гоголя.

цатилѣтная дружеская связь готова была порваться изъ-за нѣсколькихъ невзвѣшенныхъ выраженій, которыя показались Данилевскому обидными въ письмѣ Гоголя. Но, во-первыхъ, это была только вспышка (Данилевскій былъ горячъ, но добръ и незлопаметенъ), и изъ-за нея дружба порвана быть не могла; во-вторыхъ, сущность дѣла заключалась въ томъ, что, будучи занятъ отвлеченной моралью, Гоголь не рассчиталъ, какое дѣйствіе могутъ произвести упреки на его отчасти щепетильнаго друга. Проникшись самъ оригинальной жаждой упрековъ, Гоголь не задумался кинуть обидное обвиненіе Данилевскому въ исключительномъ погруженіи во внѣшнюю жизнь, при чемъ послѣдняя, по невычетъ къ новой терминологіи Гоголя ¹⁾, была принята Данилевскимъ за нѣчто худшее и зазорное. Но Гоголь (какъ показываетъ отвѣтъ, напечатанный въ „Древней и Новой Россіи“, 1875, I, 59—63), былъ глубоко убѣжденъ въ своей правотѣ и не мѣняетъ тона, хотя считаетъ истиннымъ несчастіемъ размолвку съ другомъ. „Что значить это почти отчаянное выраженіе: *мы никогда уже не сойдемся?* Не дай Богъ! Напротивъ, я увѣренъ, что мы встрѣтимся вновь, и встрѣча эта будетъ радостнѣе всякихъ встрѣчъ юности“. Какъ большею частью бываетъ въ подобныхъ столкновенияхъ, обѣ стороны были не совсѣмъ правы.

Х.

Въ концѣ 1843 года А. С. Данилевскій получилъ мѣсто инспектора второго благороднаго пансіона при кievской первой гимназіи (тамъ было три пансіона, называвшіеся конвиктами) и оставался въ этой должности до іюля 1848 года. О своей новой дѣятельности онъ извѣстилъ Гоголя въ письмѣ отъ 8-го марта 1844 г., отвѣтомъ на которое было письмо Гоголя, напечатанное на 64—66 стр. VI тома изд. Кулиша. Прежде Гоголь отклонялъ его отъ педагогической дѣятельности, говоря: „только, пожалуйста, не вздумай еще испытать себя на педагогическомъ поприщѣ: это, право, не идетъ тебѣ къ лицу“ (V, 328); теперь, когда вопросъ былъ уже рѣшенъ, онъ высказывалъ Данилевскому свои взгляды на общественную дѣятельность вообще и въ частности на педагогическую (см. VI, 65). Во второй половинѣ

¹⁾ Гоголь теперь часто сталъ разграничивать внѣшнюю и внутреннюю стороны человека; напр., онъ писалъ, что Данилевскій, имѣя только крупницу, ничтожную крупницу ума и сколько-нибудь занявшись, можетъ много произвести для себя внѣшняго и еще болѣе для себя внутренняго.

1844 г. Александръ Семеновичъ женился на Ульянѣ Григорьевнѣ Похвисневой, о чемъ Гоголь получилъ почти одновременно письмо отъ него и отъ матери ¹⁾. Въ своемъ поздравительномъ привѣтствіи Гоголь, желая другу счастья въ новой жизни, убѣдительно просилъ дать обстоятельныя свѣденія о его женѣ и ихъ домашнемъ бытѣ. Письмо было написано 1-го дек. 1844 г., но отвѣта на него пришлось ждать очень долго ²⁾.

¹⁾ Въ этомъ письмѣ отмѣчаемъ пропускъ—послѣ словъ: „О Прокоповичѣ я самъ не имѣю никакихъ извѣстій“, слѣдуетъ:

„Я сдѣлалъ глупость, поручивъ ему изданіе, но я торопился ѣхать; на ту пору въ Петербургѣ не случилось никого; притомъ я думалъ его этимъ расшевелить и подстрекнуть на какое-нибудь литературное дѣло. Вышло все вверхъ ногами: изданіе напечатано плохо; вмѣсто заemn. 30 тысячъ я до сихъ поръ не получилъ и одной тысячи, а между тѣмъ изданіе, какъ вижу изъ газетъ и журналовъ, продается не совсѣмъ дурно. Я бѣдствовалъ почти два года, перебивался кое-какъ новыми займами, и не получалъ никакого отвѣта ни на одно изъ моихъ писемъ; одно писалъ даже укорительное, обвиняя его въ безчувственности къ положенію другого, но и на него не было отвѣта; просилъ у другихъ развѣдать объ этомъ дѣлѣ, развѣдывалъ самъ всячески, желая хоть стороною добиться, и никто даже изъ обѣщавшихъ написать ко мнѣ не написалъ. Наконецъ, я махнулъ рукою и бросилъ это дѣло“.

²⁾ Приводимъ здѣсь письмо къ Гоголю А. С. Данилевскаго изъ Кіева отъ 22-го іюня, повидимому, 1844 г., хотя годъ написанъ крайне неразборчиво.

„Я много виноватъ передъ тобой, промедливъ такъ долго отвѣтомъ на твое милое и доброе письмо, но на этотъ разъ я такъ былъ занятъ, что не чувствую ни малѣйшаго укора на душѣ въ этой маленькой неисправности.“

„Недавно былъ, но весьма на короткое время, въ миргородскомъ уѣздѣ, въ благословенныхъ мѣстахъ, орошаемыхъ Пселомъ. Не успѣлъ даже побывать въ Толстомъ, ни у твоей маменьки. Если будетъ возможность, въ чемъ немножко сомнѣвался, въ іюлѣ загляну опять въ нашъ родной уголокъ. Не знаю, но теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, я люблю наше захолустье. Я возвратился почти къ тѣмъ временамъ, когда самое сладостное чувство рождали одни слова: „поѣдемъ домой!“ Совѣстно сознаться, но, право, боюсь цѣлую жизнь остаться дитѣй.“

„Благодарю тебя за цѣлый коробъ морали, которую я нашелъ въ письмѣ твоемъ; она мнѣ пригодится.“

„Сегодня у насъ былъ публичный актъ. Воспитанники мои одинъ за другимъ уѣзжаютъ по домамъ. Завтра мнѣ придется глядѣть едва ли не на пустыя стѣны пансіона, а между тѣмъ ѣхать самому, покажѣсть, нельзя: много починокъ и передѣлокъ—говорять, мое присутствіе необходимо; можетъ быть, и такъ, да мнѣ что-то этому не вѣрится. Подожду еще нѣсколько дней, а тамъ употреблю всѣ усилія, чтобы дать отпускъ хоть на двѣ недѣли.“

„Что увижу, какъ найду твоихъ, не премину уведомить тебя. Да скоро ли я дождусь свиданія съ тобой? Неужели чувство любви къ родинѣ у тебя вышло? Какъ не совѣстно въ продолженіе столькихъ лѣтъ не заглянуть въ нашъ Миргородъ! Чѣмъ, бѣдный, виноватъ онъ, что ты совсѣмъ забылъ его!..“

„Недѣли двѣ тому назадъ я имѣлъ два визита нашихъ вѣжницевъ: въ одно утро здоровый и толстый Забѣлло ввалился ко мнѣ въ комнату и день спустя послѣ—кто бы ты думалъ?—Гриша Иваненко. Съ послѣднимъ я не видался восемнадцать“

Такимъ образомъ, переписка пріостановилась. „Стыдно тебѣ позабывать меня и ни строчки не написать въ продолженіе какого-нибудь цѣлаго года“, упрекалъ Данилевскаго Гоголь (VI, 287; письмо отъ 8-го ноября 1846 г., изъ Флоренціи). Между тѣмъ Гоголь обратился къ Данилевскимъ съ новымъ порученіемъ, которое они также не исполнили.

Собирая матеріалы для „Мертвыхъ Душъ“, Гоголь обращался ко всѣмъ друзьямъ и знакомымъ съ убѣдительною просьбой оказать ему содѣйствіе въ собираніи матеріала сообщеніемъ своихъ замѣтокъ и наблюденій надъ обществомъ. Но друзья и знакомые какъ будто сговорились не внимать его усердной мольбѣ, очевидно, не обладая даромъ схватывать характерныя черты, какъ это легко удавалось всегда Гоголю. Ульяна Григорьевна Данилевская рассказывала мнѣ, какъ долго она спорила при свиданіи съ Гоголемъ, чистосердечно объясняя свое уклоненіе отъ предложенной ей задачи не нежеланіемъ, а неумѣніемъ, неискусствомъ. Гоголь сначала ни за что не хотѣлъ и слушать и не принималъ никакихъ резоновъ; казалось, онъ не допускалъ и мысли, чтобы для кого бы то ни было просьба его могла быть затруднительна; онъ упорно стоялъ на своемъ, что вся помѣха заключается если не въ нежеланіи, то въ излишней скромности, преувеличенномъ недоувѣріи къ своимъ силамъ: стоитъ только приняться, и дѣло будетъ исполнено. Гораздо позднѣе, получая отовсюду однѣ и тѣ же ссылки на неисполнимость его желанія, Гоголь, повидимому, уже понялъ и согласился, что записываніе впечатлѣній и особенно составленіе живыхъ характеристикъ—дѣло легкое для него—было для огромнаго большинства смертныхъ непосильнымъ бременемъ, требуя особой наблюдательности и недюжиннаго таланта.

Приводимъ слѣдующее по порядку письмо Гоголя къ Данилевскому и его женѣ.

лѣтъ; я все-таки узналъ его. Сегодня ожидаю Трахимовскаго изъ Житомира; съ нимъ-то вѣстѣ нѣко маленькую надежду отправиться на Сорочинцы.

„Благоволи меня извѣстить, гдѣ ты, каково твое здоровье, что дѣлаешь и что занимаешься? Весьма серьезно спрашиваю у тебя: скоро ли ты въ Россію?

„Отъ Прокоповича вотъ уже цѣлый годъ не имѣю вѣсти. Въ нашихъ мѣстахъ все по-старому: свадьбы да похороны, тѣмъ и ограничиваются всѣ новости.

„Прощай же, до свиданія. Цѣлую тебя, да ради Бога напиши о себѣ подробнѣе: мнѣ грустно читать въ твоихъ письмахъ только обо мнѣ. Весь твой А. Данилевскій“.

Это письмо считаемъ интереснымъ въ томъ отношеніи, что оно показываетъ, какъ скоро установились вновь дружескія отношенія у Гоголя съ Данилевскимъ, и какъ скоро изгладилось впечатлѣніе размовки, которая могла казаться довольно серьезною.

Флоренція. Мая 18-го (1847).

„Хотя слѣдовало бы мнѣ по примѣру благоразумныхъ людей прежде дожидаться отъ васъ отвѣта, добрые друзья мои (на мое письмо, отъ 18-го марта ¹⁾), а потомъ уже писать къ вамъ, но такъ какъ желаніе знать о васъ велико, такъ какъ въ то же время страхъ за исправное полученіе вышеозначеннаго письма прокрадывается тоже въ мои помышленія, то рѣшаюсь лучше бросить лишній разъ съ дороги записочку вамъ съ повтореніемъ въ другой разъ моего адреса.

„До іюля послѣднихъ чиселъ я во Франкфуртѣ (то-есть, въ окрестностяхъ его), а потомъ весь августъ новаго стilia и болѣшую половину сентября въ Остенде, оттуда—въ Италію, а потому адресуйте во Франкфуртъ-на-Майнѣ, на имя посольства; съ октября же мѣсяца по-прежнему въ Неаполь, и какъ будетъ дальше, увѣдомлю васъ потомъ.

„Не забывайте же меня, милые и добрые друзья мои. Увѣдомляйте о себѣ какъ можно чаще и побольше. Всякая строчка о васъ будетъ мнѣ драгоцѣнна. Обнимаю васъ. Весь вашъ Гоголь“ ²⁾.

Остенде. Августа 15-го (1847). Гоголь—Данилевскому.

„Письмо твое, хотя оно было и коротенькое, принесло мнѣ большое удовольствіе. Удовольствіе мнѣ принесло оно двумя сказанными вскользь словами, именно, что ты чувствуешь почти юношескую живость при одной мысли ѣхать на каникулы домой, какъ было во время дѣно, и боишься, чтобы не остаться всю жизнь дѣтятией. Но это и есть самое лучшее состояніе души, какого только можно желать! Изъ-за этого мы всѣ бьемся! Но

¹⁾ См. изд. Кул. VI, 358. По всѣмъ даннымъ, письмо относится къ 1847 году.

²⁾ Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 20-го ноября изъ Неаполя (Кул. VI, 427) есть пропускъ въ концѣ: „Твое намѣреніе перебраться въ Одессу, вѣроятно, не безъ основанія, иначе ты не сталъ бы такъ хлопотать о томъ. Но это дѣло такое, о которомъ, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ потолковать лично. Писать же теперь въ Петербургъ (къ кому? о чемъ?)—это будетъ трата времени и ничего больше. Мнѣ кажется, прежде слѣдовало бы тебѣ списаться съ кѣмъ-нибудь въ Одессѣ, выгладѣть себѣ мѣсто, узнать, хорошо ли оно и не занято ли уже кѣмъ-нибудь,—и потомъ уже хлопотать. Покажѣсь совѣтую тебѣ написать самому въ Петербургъ къ Плетневу, если только мѣсто по ученой части. Онъ лучше другихъ можетъ помочь здѣсь, тѣмъ болѣе, что онъ и тебя самого знаетъ, да и по дружбѣ ко мнѣ о тебѣ особенно похлопочетъ, а я, пожалуй, прибавлю и отъ себя слово.

„Милую Ульяну Григорьевну благодарю много за приписочку и вѣсти. Затѣмъ обнимаю мысленно васъ обоихъ и Богъ да хранитъ васъ. Вашъ Н. Г. Адресуй въ Неаполь, *poste restante*“.

Это письмо было, очевидно, отвѣтомъ на письмо Данилевскаго, отъ 4-го октября. 1847 года изъ Кіева.

только не всё равно достигаемъ: одному удается оно, какъ знакъ небесной милости и, повидимому, безъ большихъ съ его стороны исканій; другому дается только за тяжкіе и долгіе труды и непрерывныя боренья съ препятствіями. То и другое премудро, и не намъ рѣшить, кто имѣетъ болѣе права на достиженіе такого состоянія. Дѣло въ томъ, что за такое состояніе должно благодарить человѣку, какъ за лучшее, что есть въ жизни.

„О себѣ скажу повамѣсть, что я на морскомъ купаньѣ въ Остенде, куда меня послали доктора по поводу сильныхъ нервическихъ припадковъ, которые сдѣлались невыносимы, изволновали и измучили меня всего. Послѣ нѣсколькихъ взятыхъ ваннъ еще не могу сказать ничего положительнаго, — кажется, какъ будто нѣсколько лучше. Успѣхъ обыкновенно чувствуется только по окончаніи.

„На вопросъ твой, когда именно въ Россію, ничего не могу сказать утвердительнаго. Это знаетъ одинъ только Богъ. Если будетъ ему угодно дать мнѣ здоровье и силы для того, чтобы совершить и кончить трудъ мой, я приѣду скоро, какъ возможно, потому что мнѣ Россія и все русское стало милѣе, чѣмъ когда-либо прежде; но съ пустыми руками я не могу ѣхать: мнѣ будетъ и родина не въ родину, и радостное свиданіе со всѣми близкими не въ радостное свиданіе“.

Данилевскій—Гоголю. 4-го октября 1847 года. Кіевъ.

„Послѣднее письмо твое получилъ я передъ отъѣздомъ моимъ въ Малороссію ¹⁾). Винюсь, что не отвѣчалъ тебѣ немедленно въ надеждѣ, что по возвращеніи буду имѣть возможность сообщить тебѣ бездну новостей касательно нашего мирнаго уголка. Не тутъ-то было!

„Я располагалъ, уѣзжая изъ Кіева, быть вездѣ и повидаться со всѣми, а кончилось тѣмъ, что просидѣлъ въ нашей деревушкѣ гадячскаго уѣзда во время моего отпуска, исключая двухъ дней, пожертвованныхъ Семеренькамъ и Сорочинцамъ. До Толстого не доѣхалъ; стало, и у твоихъ не былъ. Дурная осенняя погода заставила меня, изъ опасенія простуды, которымъ подвержено мое семейство, и разныхъ другихъ обстоятельствъ, направить поскорѣе лыжи въ Кіевъ.

„Изъ всего этого осталось только то, что я не знаю теперь,

¹⁾ Письмо это, очевидно, пропало; оно было написано изъ Франкфурта или изъ Остенде во второй половинѣ 1847 г., судя по словамъ Гоголя: „поѣду въ Италію“, гдѣ онъ былъ до іюня 1847 г. и куда возвратился въ ноябрѣ.

какъ адресовать къ тебѣ письмо мое. Пошлю его на удачу во Франкфуртъ: вѣроятно Жуковский знаетъ твой адресъ.

„Письмо твое меня истинно повеселило: я вижу, что хандра, твоя неотвязчивая спутница въ послѣднее время, употребляетъ всѣ усилія разстаться съ тобой, несмотря на то, что ты придержишь ее за полу.

„Какъ тебѣ не стыдно такъ кратко и такъ неопредѣленно говорить о себѣ, когда ты знаешь, сколько твоя персона близка моему сердцу, сколько интересна. „Поѣду въ Италию, оттуда на Востокъ, а тамъ обниму тебя и денъка два-три побесѣдую съ тобой“ ¹⁾. Какъ! мы только на два дня увидимся съ тобой, и вслѣдствіе какихъ новыхъ плановъ? Хоть бы ты сказалъ слово, мой таинственный другъ! А я съ такимъ нетерпѣніемъ, съ такою радостью ожидалъ твоего окончательнаго возврата въ Россію, что, признаюсь, эти два-три дня меня совершенно ошеломили.

„Что до меня, я все тамъ же, все такъ же инспекторствую. Не знаю, долго ли это еще продлится, но знаю то, что желалъ бы очень переимѣнить родъ службы, а потому прошу тебя, когда будешь въ Одессѣ ²⁾, повидайся съ Александромъ Орлаемъ ³⁾ и поговори съ нимъ на мой счетъ: можетъ быть, онъ найдетъ возможность и средства доставить мнѣ какое-нибудь мѣсто въ Одессѣ. Теперь это единственное мое желаніе. Бога ради, не поперечь ему. При свиданіи ты самъ убѣдишься, что это не капризъ; можетъ быть, пожалѣешь, что не исполнилъ моей просьбы. Ты можешь даже, если твоя добрая воля, начать дѣло о переимѣненіи моемъ теперь, не откладывая его въ долгій ящикъ и написавъ въ твоимъ друзьямъ въ Петербургъ, чтобы сколько-нибудь приготовить ихъ заранѣе и уладить напередъ мой путь въ Одессу.

„Ты непременно хочешь знать имя моей жены: именуется она Ульяной Григорьевной ⁴⁾ и намѣрена присоединить къ моему письму нѣсколько словъ, относящихся до нашего житья-бытья.

„До свиданія, мой милый и добрый другъ. Обнимаю тебя отъ всей души. Пиши и, ради Бога, не забывай насъ. А. Данилевскій“.

¹⁾ Сходныя выраженія есть въ концѣ письма отъ 18-го марта 1847 г., но тамъ не сказано, что Гоголь предполагалъ пробыть въ Кіевѣ два дня.

²⁾ Гоголь долженъ былъ черезъ Одессу возвратиться изъ Іерусалима въ Россію.

³⁾ Александръ Орлай сынъ Ивана Семеновича Орлаи, бывшаго при Гоголѣ директоромъ гимназій высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ.

⁴⁾ Въ письмѣ изъ Неаполя отъ 18-го марта 1847 года Гоголь уже называлъ по имени жену Данилевскаго, но, прочитавъ, вѣроятно, его сообщеніемъ въ уменьшительной формѣ, принялъ послѣднее за сокращеніе имени Юлія (Кул., VI, 359).

Приписка Уляны Григорьевны Данилевской:

„Александръ всегда возлагаетъ на меня сообщить вамъ, добрый Николай Васильевичъ, подробности нашего житья-бытья, какъ онъ говорить; но жизнь наша такъ однообразна, что, право, нечего и говорить о ней. Все, что сказала я вамъ въ моемъ первомъ письмѣ, повторяется всякій день съ кое-какими переменами, о которыхъ не стоитъ упоминать.

„Бывши въ Сордчинцахъ (Александръ отправилъ меня туда двумя мѣсяцами прежде себя), я видѣлась съ родными вашими. Je suis toujours heureuse, quand je puis passer, ne passe que quelques heures, avec votre excellente mère; elle est toujours si bonne pour moi, elle aime tant mon Alexandre! Онѣ, вѣроятно, пишутъ къ вамъ и извѣщаютъ подробно о себѣ. Всѣхъ ихъ я видѣла совершенно веселыхъ и здоровыхъ.

„Марья Ивановна ждетъ-не-дождется вашего приѣзда въ Россію. Не обманите же ея и наши ожиданія, доставьте мнѣ случай скорѣе познакомиться съ вами лично.

„Въ Сордчинцахъ я видѣла также вашего давнишняго и постоянного обожателя Ивана Григорьевича Пашенка; онъ приѣзжалъ въ Сордчинцы купаться въ Пселѣ для поправленія здоровья. Пселъ опять входитъ въ моду, и Сордчинцы сдѣлались notre Baden-Baden, notre Ostende et cetera. Туда съѣзжаются на сезонъ помѣщики окрестныхъ уѣздовъ пользоваться цѣлительными водами Псла. Въ числѣ прочихъ страждущихъ была тамъ ваша же знакомая m-lle Minotri, которая воспитывалась вмѣстѣ съ вашими сестрами,—очень милая дѣвушка!

„Вотъ все, что нашла сказать вамъ хотя нѣсколько интереснаго. Теперь мы опять въ нашемъ скучномъ Кіевѣ, боимся холеры, не употребляемъ никакихъ фруктовъ, пьемъ мяту, и такъ далѣе.

„Александръ имѣетъ намѣреніе переменить службу. Какъ бы я была рада, еслибы это удалось ему!

„Пишите къ намъ; мы всѣ васъ такъ искренно любимъ. Да хранить васъ Господь во все время странствованія вашего. Помолитесь и за насъ у Гроба Господня. У. Данилевская ¹⁾.

11-го мая 1848. Кіевъ. Данилевскій—Гоголю.

„Вчера такъ неожиданно получилъ письмо твое изъ Одессы ²⁾. Въ первую минуту оно такъ сильно обрадовало меня, что я не

¹⁾ Г. П. Данилевскій, въ „Воспоминаніяхъ о Гоголѣ“ („Историч. Вѣстн.“, 1876, 12), утверждаетъ, что Улянка во 2-й части „Мертвыхъ Душъ“ есть именно Уляна Григорьевна Данилевская. Не знаемъ, справедливо ли это.

²⁾ Это письмо не сохранилось.

замѣтилъ, что въ немъ скрывается большое для меня горе. Мнѣ невозможно пріѣхать въ тебѣ въ Васильевку: до 15-го іюня я прикованъ къ Києву, а послѣ отправляюсь съ семействомъ въ Одессу, гдѣ останусь, вѣроятно, до сентября. Жена моя, по совѣту медиковъ, должна пользоваться этимъ лѣтомъ морскими купаньями. Неужели мы и не увидимся съ тобой! А вѣдь вина-то твоя. Я полагалъ, что на пути твоёмъ изъ Одессы ты не объѣдешь Києва. Вышло не такъ. Отъ тебя, однакожъ, зависить поправить свою ошибку. Пріѣзжай на нѣсколько дней въ Кіевъ. Здѣсь у тебя много друзей! Послѣ столькихъ безчисленныхъ и безконечныхъ вояжей, чтѣ стоитъ тебѣ перешагнуть въ Кіевъ? Жена моя не можетъ простить твоему равнодушію къ намъ, не можетъ утѣшиться, что, можетъ быть, никогда не увидитъ тебя.

„И ты въ Васильевкѣ! Воображаю, сколько тамъ радости и слезъ! Зачѣмъ я не могу пріѣхать изъ Толстого на бѣговыхъ дрожкахъ, чтобы обнять тебя! И Толстое опустѣло! Побывай, пожалуйста, у моего отчима. Онъ теперь одинъ, и старъ, и дряхль.

„Какъ жалъ, что ты не видѣлся съ братомъ моимъ Ваней въ Одессѣ, а можетъ и видѣлся, да по своей новой методѣ ничего не пишешь объ этомъ.

„Поцѣлуй за меня ручки твоей почтеннѣйшей маменьки и скажи мой дружескій поклонъ всему твоему милому семейству.

„Какъ бы я желалъ знать твой пріѣздъ въ Васильевку! Напиши мнѣ въ нѣсколькихъ словахъ, какъ это случилось, когда, въ какое время дня, чтобы я могъ сколько-нибудь представить себѣ эту интересную картину“.

Мая 4. Одесса (1848). *Гоголь—Данилевскому.*

„Пишу къ тебѣ, улуца свободную минуту, изъ Одессы. Пріѣхалъ я сюда благополучно вмѣстѣ съ Базили, котораго попалъ ¹⁾ на дорогѣ въ Россію. Полагаю завтра пуститься въ Полтаву, а оттуда въ деревню Васильевку, гдѣ располагаю пробыть съ мѣсяцъ, а можетъ быть, и болѣе. Увѣдоми меня двумя словами, будешь ли ты въ Полтаву и когда.

„Меня очень поразила вѣсть о смерти Пащенко. Кромѣ того, что это была добрѣйшая душа, онъ мнѣ могъ сообщить свѣденія, которыя мнѣ теперь особенно пужны относительно многого, чтѣ дѣлается въ нашихъ околотахъ ²⁾. Онъ былъ умень и имѣлъ

¹⁾ Малороссіанизмъ.

²⁾ Слѣдуетъ припомнить, что Гоголь въ это время изъ всѣхъ возможныхъ источниковъ собиралъ свѣденія для 2-го тома „Мертвыхъ Душъ“.

способность замѣчать. И ты, и я лишились въ немъ товарища закадычнаго. Я до сихъ поръ не могу привыкнутьъ къ мысли, что его уже нѣтъ.

„Здѣсь я встрѣтилъ многихъ знакомыхъ и нашихъ соучениковъ. Орланъ оба, Александръ и Андрей, прекрасные люди и будутъ отъ души хлопотать о тебѣ. Но обо всемъ этомъ мы переговоримъ лично.

„Прощай, обнимаю тебя крѣпко вмѣстѣ съ супругой и малюткой. Если Максимовичъ въ Киевѣ, то обними его. *Твой Н. Г.*“

Въ слѣдующемъ письмѣ Гоголя къ Данилевскому (отъ 16 мая 1848 года, изъ Васильевки) у Кулиша отмѣтимъ слѣдующій пропускъ въ концѣ:

„Василія Ивановича ¹⁾ я, однако же, видѣлъ, и у него плотнаго ремонтера среднихъ лѣтъ, Николая Васильевича, котораго прежде видѣлъ дѣлающимъ микроскопическія дрожечки вмѣстѣ съ братьями. Василій Васильевичъ нашелъ меня въ Одессѣ; изумилъ, разумѣется, своимъ ростомъ.

„Жаль очень, что не случилось тебѣ провести это лѣто здѣсь. Дай Богъ, чтобы поѣздка въ Одессу и купанье было спасительно для Ульяны Григорьевны. Еслибъ я умѣлъ хорошо молиться, я бы помолился объ этомъ такъ же, какъ она молилась о благополучномъ моемъ приѣздѣ.

„Черезъ нѣсколько времени думаю пуститься въ Киевъ—поглядѣть на васъ. Я слышалъ, что вы помѣщаетесь нѣсколько тѣсненько, какъ всегда бываетъ на казенныхъ квартирахъ. Если это правда, то устрой мнѣ помѣщеніе у кого-нибудь изъ знакомыхъ, хотя, признаюсь, и не знаю, кто изъ моихъ знакомыхъ теперь въ Киевѣ. Затѣмъ обнимаю васъ обоихъ. До свиданія. Весь вашъ Н. Гоголь“.

Гоголь сдержалъ свое слово и притомъ не позже, какъ черезъ двѣ недѣли. Въ началѣ іюня или, можетъ быть, даже въ концѣ мая, онъ пробылъ короткое время въ Киевѣ у Данилевскихъ; но на бѣду наступили такіе сильные жары, что онъ былъ не въ духѣ, жаловался, что не можетъ ничѣмъ заниматься и поспѣшилъ уѣхать обратно въ Васильевку ²⁾. Въ этомъ-то приѣздѣ его къ Данилевскому и случился рассказанный выше неловкій эпизодъ внезапнаго и слишкомъ скорого исчезновенія Гоголя съ вечера, на который собрались многіе профессора и другіе представители

¹⁾ Рѣчь идетъ о В. И. Чернышѣ и его семействѣ.

²⁾ Всего неудачнѣе было то, что, по случаю экзаменовъ въ пансіонѣ, А. С. Данилевскаго по цѣлымъ днямъ не было дома, и Гоголь страшно скучалъ.

киевской интеллигенціи съ исключительной цѣлью видѣть автора „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“.

15-го іюня, по порученію мужа, Ульяна Григорьевна Данилевская писала Гоголю:

„Посылаю вамъ листокъ изъ письма моего дяди, который больше относится къ вамъ, нежели ко мнѣ, и на который я не могу отвѣчать, не спросивши у васъ, что мнѣ сказать ему.

„У насъ въ Кіевѣ такъ часто говорятъ о васъ, что мнѣ все кажется, что вы еще здѣсь, а вы такъ и забыли насъ: до сихъ поръ не извѣстили о своемъ приѣздѣ, недобрый Николай Васильевичъ!

„Холера въ Кіевѣ до сихъ поръ не прекратилась, но уменьшается по милости Божіей. Доктора утѣшаютъ насъ, что послѣ вчерашняго проливного дождя она должна совсѣмъ уничтожиться. Дай Богъ! Эта страшная гостыя такъ было-принялась за кіевлянъ, что и самыхъ храбрыхъ перепугала. Александръ и я заплатили дань чему-то въ родѣ холерины. Я и до сихъ поръ не совсѣмъ здорова; не больше недѣли, какъ прекратила употребленіе минеральной воды. Время отъѣзда нашего въ Одессу до сихъ поръ неизвѣстно: докторъ ничего не говоритъ положительнаго: одинъ день то, другой день другое, такъ что не знаешь, что и дѣлать. Мнѣ кажется, что онъ такъ занятъ своей женитьбой, что перемѣшалъ всѣ болѣзни своихъ пациентовъ, и говоритъ не по собственному убѣжденію, а такъ, что на умъ взбредетъ.

„Вы поспѣшили приѣхать въ Кіевъ, добрый Николай Васильевичъ! Еслибъ вы были теперь у насъ, то не страдали бы отъ жаровъ: всякую почти ночь идетъ дождь и днемъ прохладно, такъ что легко можно заниматься дѣломъ.

„На дняхъ въ Кіевѣ была интересная свадьба: неvěста сорока-пяти лѣтъ, женихъ—двадцати-пяти. Свадьба эта такъ заняла всѣ умы, что на время прекратила толки о холерѣ.

„Прощайте! Дай Богъ, чтобы это письмо застало васъ и всѣхъ вашихъ совершенно здоровыми.

„Александръ опять не могъ писать вамъ: такъ занятъ экзаменами. Онъ обнимаетъ васъ. Передайте нашъ поклонъ вашей матери и сестрамъ.

„Ольга ¹⁾ часто васъ вспоминаетъ. Недавно кто-то ее спросилъ: „гдѣ Гого?“ — „Нѣту Гого, а палька тутъ“ — и пошла показывать вашу палку.

¹⁾ Ольга Александровна Банихъ, урожденная Данилевская, въ настоящее время живетъ въ Варшавѣ, гдѣ мужъ ея, О. К. Банихъ, служитъ товарищемъ председателя судебной палаты.

„Не надоѣла ли я вамъ своей болтовней?... Впрочемъ, я бы такъ скоро не писала къ вамъ, еслибы не письмо дяди ¹⁾“.

9 іюня 1848. Село Дубровно. Данилевскій—Гоголю.

„Все это время я было-думалъ обнять тебя въ Васильевкѣ, но не такъ случилось.“

„Пріѣхавъ въ Лубны въ воскресенье, мы располагали пуститься въ Сорочинцы; но, узнавъ, что тамъ холера во всемъ разгарѣ, направили лыжи въ Дубровное.“

„Пишу къ тебѣ изъ этого пустыннаго уголка, который въ на-смѣшку, кажется мнѣ, носить названіе, обѣщающее тѣнь и прохладу; на дѣлѣ же это степная деревенька, не лишенная однакожъ, особливо по мнѣнію моей жены, своего рода прелести. Чистый воздухъ, поле съ золотыми колосьями—для горожанъ это рай!“

„Но дѣло не въ томъ. Какимъ бы образомъ намъ съ тобой увидѣться? Я не могу оставить пока моего добровольнаго заточенія... Жена, которая съ пріѣздомъ вздумала еще прихворнуть, красавица-дочь—все это существа, съ которыми разставаться не легко, а особливо въ такое смутное время; а путешествовать съ ними, т.-е. перевозить ихъ—охъ, весьма затруднительно! Остается одно—ты угадываешь—остается тебѣ пріѣхать къ намъ. Ты—неутомимый путешественникъ и холостой, а я—домосѣдъ и семьянинъ. Сдѣлай еще маленькую жертву и поспѣши навѣстить насъ. Я послѣ отплачу тебѣ и съ семьей пріѣду къ тебѣ въ Васильевку. Дай только Богъ, чтобы эта гнусная холера сколько-нибудь угомонилась.“

„Вотъ твой маршрутъ, если доброе твое сердце послушаетъ твоего призыва: ты выѣзжаешь на ночь въ Сорочинцы и кормишь съ Березовой-Луки на Коновалы, да по Ромадану на Ветюловку (имѣнія Устиновича), на Ортополошь и въ Дубровное. Отъ Березовой-Луки всего 25 верстъ. Въ одинъ день изъ Сорочинцевъ въ Дубровное! Какъ ты думаешь? Ожидать ли тебя? У

¹⁾ Дядя, упоминаемый въ этомъ письмѣ, несомнѣнно, Александръ Михайловичъ Марковичъ, воспитавшій своихъ сиротъ-племянницъ (Ульяну Григорьевну, Марью Григорьевну и Варвару Григорьевну). Гоголь съ нимъ познакомился и сошелся еще въ это свиданіе въ Кіевѣ лѣтомъ 1848 года; повиднѣе онъ вступилъ съ нимъ въ переписку и очень любилъ и цѣнилъ его дружбу. А. М. Марковичъ самъ принималъ участіе въ литературѣ и былъ во многихъ отношеніяхъ личностью замѣчательною и отличался высокою нравственностью. Въ семействѣ Данилевскихъ сохранилась благоговѣйная память о немъ, и большой старинный портретъ его сберегается, какъ одно изъ драгоценныхъ воспоминаній о покойномъ. См. о немъ въ статьѣ Уманца: „Неизданныя письма Н. В. Гоголя“ („Древняя и Новая Россія“, 1879, 1, 53—66).

меня есть предчувствіе, что и на сей разъ ты не откажешь моему дружескому призыву.

„Хоть у насъ здѣсь и пустынно, и сосѣдей мало, но въ пяти верстахъ есть твой знакомый, князь Репнинъ ¹⁾, который теперь проживаетъ въ нашемъ сосѣдствѣ въ помѣстьѣ своемъ Андреевѣ. Да притомъ же и Ромны отъ меня недалеко (всего 35 верстъ): можетъ быть, захочешь навѣстить Рѣдкина.

„Я раздѣлался, наконецъ, съ Кіевомъ. Казалось, нечего было жалѣть, печего терять, но, оставивъ его навсегда, откуда-то взялись и сожалѣнія, и грусть, и мысль, буду ли, Богъ вѣсть, въ другомъ мѣстѣ столько счастливъ, какъ былъ счастливъ въ Кіевѣ“.

Недѣлю спустя, вѣроятно освободившись отъ экзаменовъ, А. С. Данилевскій уже самъ отвѣчалъ на какое-то недошедшее до насъ письмо Гоголя:

22 іюня 1848. Кіевъ. *Данилевскій—Гоголю.*

„Вчера только я получилъ твое письмо. Оно шло болѣе недѣли. Мнѣ было пріятно, наконецъ, узнать, что ты прибылъ въ Васильевку благополучно.

„Съ отъѣздомъ твоимъ въ Кіевъ открылась холера и навела ужасъ на самыхъ безстрашныхъ. Нѣкоторые изъ круга нашихъ знакомыхъ или извѣстныхъ намъ мгновенно пали ея жертвой. Извѣстія изъ полтавской губерніи далеко не утѣшительны: и тамъ эта нестерпимая холера почти во всѣхъ уѣздахъ. Каково у васъ? Намѣреніе наше ѣхать теперь въ Одессу не состоялось ²⁾. Эпидемія вездѣ: и по дорогѣ, и въ Одессѣ. Мы отправляемся въ ваши мѣста. Отъѣздъ предположенъ 27-го или, что всего позже, 29-го нынѣшняго мѣсяца. Итакъ, нѣтъ худа безъ добра: дастъ Богъ — увидимся!

„Благодарю тебя отъ души, что, писавши къ Орлаю, ты не позабылъ меня. Когда эти печальныя обстоятельства измѣнятся, мы все-таки думаемъ ѣхать въ Одессу. Отставка моя напечатана давно; о ней изъ министерства пришло письмо на этихъ дняхъ. До сихъ поръ не сдавалъ я своей должности; это довольно непріятная исторія“.

Нѣсколько разъ въ продолженіе лѣта 1848 года видѣлся Гоголь съ Данилевскимъ, но по причинѣ продолжавшей свирѣпствовать холеры и другихъ обстоятельствъ имъ не всегда удавалось

¹⁾ Николай Васильевичъ Репнинъ, отецъ княгини Варвары Николаевны, хорошій знакомый Гоголя.

²⁾ По совѣту Гоголя, Данилевскій собирался съѣздить въ Одессу, чтобы самому похлопотать о мѣстѣ.

видѣть другъ друга, когда они предполагали, что видно изъ ниже-слѣдующаго письма Данилевскаго:

22 іюля 1843 г. Дубровно ¹⁾.

„Бога ради, гдѣ ты и что съ тобою дѣлается? Пріѣхавши въ нашу деревню, я писалъ къ тебѣ по почтѣ и просилъ пріѣхать ко мнѣ, поелику жена моя была въ это время нездорова, и я уже не могъ ни взять ее съ собой, чтобы навѣстить тебя, ни оставить дома. Вотъ уже недѣли двѣ прошло съ тѣхъ поръ, какъ странствуетъ мое письмо,—и ни тебя, ни отвѣта! Шлю нарочнаго освѣдомиться, въ Малороссіи ли ты, или уѣхалъ въ Москву, не простаясь съ нами. Напиши, какъ намъ свидѣться. Жена моя начала понемногу поправляться, а потому мы можемъ пуститься въ путь въ Васильевку, если только у васъ все благополучно.

„Въ Сорочинцахъ и Семеренькахъ холера страшно свирѣпствовала, но теперь прекращается и, можетъ быть, въ эту минуту и вовсе прекратилась.

„Каково у васъ? всѣ ли здоровы? Если ты захочешь прежде навѣстить меня, то податель сего проводитъ тебя до самаго крыльца нашей избушки. Было бы это хорошо!.. А отсюда вмѣстѣ поѣдемъ въ ваши мѣста. Дѣлай какъ хочешь, только бы намъ поскорѣе увидѣться“.

Въ эту пору, т.-е. въ концѣ іюля, Гоголь собирался уже ѣхать въ Москву и на короткое время въ Петербургъ. Въ концѣ августа онъ погостилъ немного у своего знакомаго и пріятеля А. М. Марковича въ имѣніи послѣдняго Сварковѣ.

А. С. Данилевскій рассказывалъ по этому поводу слѣдующее:

„Въ 1848 г. мы пріѣзжали лѣтомъ лечиться въ Пслѣ. Въ двадцатыхъ числахъ августа пріѣхалъ къ намъ и Гоголь. Потомъ въ нашемъ экипажѣ поѣхали мы въ черниговскую губернію въ село Сварковъ, имѣніе дяди. Мы пріѣхали прямо ко дню его именинъ (30 августа). Было много гостей, и Гоголь былъ страшно не въ духѣ. Ему очень полюбился дядя Ульяны Григорьевны ²⁾. Онъ провелъ у него нѣсколько дней и, наконецъ, простился съ нимъ. Ему нужно было ѣхать отъ Глухова въ Москву, и онъ взялъ у дяди Ульяны Григорьевны тарантасъ, а у меня моего человѣка, повара Прокофія, который ему очень нравился. Гоголь взялъ Прокофія съ тѣмъ, чтобы возвернуть тарантасъ и бричку. Этотъ Прокофій потомъ явился, когда потеряли ужъ надежду.

¹⁾ Одно изъ помѣстій Данилевскаго.

²⁾ А. М. Марковичъ.

Гоголь бывалъ потомъ у Марковича въ Москвѣ. Онъ занималъ цѣлый домъ въ Леонтьевскомъ переулкѣ, въ домѣ Гагарина, au fond de la cour⁴.

Съ дороги Гоголь написалъ нѣсколько писемъ Данилевскому, которыя, какъ небывшія въ печати, приводимъ здѣсь вполнѣ:

Гоголь—Данилевскому. Орелъ. Воскресенье (5 сентября).

„Добрался я до Орла благополучно. Но здѣсь, въ величайшему моему изумленію, дилижанса не нашелъ. Они уничтожены такъ же, какъ въ Харьковѣ. Какъ жалѣю теперь, что не взялъ изъ дому человѣка! Уже хотѣлъ отправляться одинъ на такъ-называемыхъ вольныхъ и на перекладныхъ, но раздумалъ, вспомянувъ хворость свою и недостаточную храбрость, и рѣшился нахальнымъ образомъ взять у тебя человѣка, а у добрѣйшаго Александра Михайловича бричку до Москвы. Въ Москвѣ же нанимаю надежнаго извозчика, который отвезетъ къ вамъ и Прокофія, и бричку въ исправности. Разница будетъ въ лишней недѣлѣ.

„Прощай! Обними за меня Ульяну Григорьевну и передай душевный мой поклонъ ея милымъ сестрицамъ. Александру Михайловичу засвидѣтельствуй мою признательность и любовь. Не забывай и пиши.

„Еще разъ выставляю тебѣ адресъ: Его Высокородію Степану Петровичу Шевыреву, близъ Тверской въ Дегтярномъ переулкѣ въ собственномъ домѣ. *Твой Н. Гоголь.*

„Это письмо тебѣ вручить извозчикъ мой Захаръ Москаренко, которому ты вручи за меня одинъ цѣлковый, за который я тебѣ пришлю изъ Москвы фунтъ конфетъ“.

Распоряженіе Гоголя потомъ поставило его въ затруднительное положеніе: онъ долго не могъ успокоиться, пока все дѣло не разъяснилось.

Черезъ недѣлю Гоголь написалъ Данилевскому изъ Москвы небольшую записку:

Сентября 12. Воскресенье. Гоголь—Данилевскому.

„Посылаю тебѣ булавку, четыре куска казанскаго мыла и конфетъ, съ желаньемъ, чтобы все пришлось по вкусу.

„Въ Москвѣ, кромѣ немногихъ знакомыхъ, нѣтъ почти никого; все еще сидитъ по дачамъ и деревнямъ. Россета ¹⁾ также нѣтъ; онъ, какъ сказываютъ, находится гдѣ-то въ путешествіяхъ по харьковской губерніи. Теперь я ѣду въ Петербургъ. Первыхъ

¹⁾ Клементія Осиповича.

чиселъ октября полагаю возвратиться въ Москву. Адресъ остается попрежнему.

„Увѣдоми, въ исправности ли все пришло вмѣстѣ съ Прокофіемъ, равно какъ и то, доставлена ли извозчикомъ (прежнимъ) бричка.

„Ульянѣ Григорьевнѣ душевный и братскій поклонъ. Александръ Михайловичу также.

„Извозчику, который везетъ Прокофія, все заплачено и ничего еще не слѣдуетъ, даже на водку“.

Гоголь—Данилевскому. Москва. Октября 29.

„По приѣздѣ изъ Петербурга я нашелъ твое письмо. Не отвѣчалъ на него вдругъ потому, что хотѣлъ собрать для тебя какія-нибудь удовлетворительныя свѣденія насчетъ службы въ Москвѣ. Но до сихъ поръ ничего утѣшительнаго не могъ сказать. Изъ того, что передъ моими глазами, вижу я только то, что тѣ благодатныя мѣста членовъ, которыя приходятъ на умъ тебѣ, подхвачены повсюду; притомъ жалованье бездѣльное, даже нѣтъ и такихъ, чтобы доходили до трехъ тысячъ ассигнаціями. Всѣ прочія мѣста, какія ни поглядишь, сопряжены съ отвѣтственностью и тревогами, способными вывести изъ терпѣнія даже постоянного человѣка, не только тебя.

„Жизнь въ Москвѣ стала теперь гораздо дороже. Съ какими-нибудь тремя тысячами едва холостой человѣкъ теперь въ силахъ прожить; женатому безъ восьми тысячъ трудно обойтись, — я разумѣю—такому женатому, который бы велъ самую умѣренную жизнь и наблюдалъ бы во всемъ строжайшую экономію. Почти всѣ мои пріатели сидятъ на безденежѣ, въ разстроенныхъ обстоятельствахъ, и не придумаютъ, какъ ихъ поправить. При деньгахъ одни только кулаки, пройдохи и всякаго рода халуги. Отъ этого и общество, и жизнь въ Москвѣ стали какъ-то замѣтно скучнѣе.

„Я теперь серьезно задумался о томъ, служить ли тебѣ, добиваться ли мѣста въ нынѣшнее время, когда все такъ невѣрно, когда завтра же не знаешь, что будетъ. Въ деревнѣ можно, по крайней мѣрѣ, хоть не умереть съ голоду. Скучно, можетъ быть, пусто; но вѣдь это крестъ, который должно несть, а крестъ никогда не бываетъ легокъ. Ты очутился противъ желанья, можетъ быть, противъ воли помѣщикъ. Нужно принять это какъ данную Провидѣніемъ обязанность, глядѣть на нее какъ на обязанность, размѣтить день свой, отдать часъ или два всякое утро на хозяйство.

„Покуда не примиримся мы съ мыслью, что жизнь есть 10-

речь, а не наслаждение, и не почувствуемъ значенія словъ: „*Мое благо и бремя Мое легко есть*“, — скука будетъ тебя преслѣдовать еще болѣе, чѣмъ въ деревнѣ, потому что многое теперь стало тамъ грустно, какъ никогда доселѣ не бывало. Подумай обо всемъ этомъ хорошенько, не позабывъ принять въ соображеніе свои наклонности, свой характеръ и т. д., а я покуда буду собирать еще свѣденія, хотя и не предвижу ничего утѣшительнаго. Ты же сдѣлалъ дурно, что не заставилъ Алексѣя Васильевича Капниста написать о тебѣ подробно Ивану Васильевичу ¹⁾; онъ все-таки болѣе другихъ можетъ быть тебѣ полезенъ. Прощай, обнимаю тебя крѣпко. Передай душевный дружескій поклонъ Ульянѣ Григорьевнѣ. Поцѣлуй крошку-дочь и кланяйся отъ меня всѣмъ. Адресъ остается по прежнему. Твой Г.“

21-го декабря 1843. Данилевскій—Гоголю.

„Послѣднее письмо твое, признаюсь, меня нѣсколько огорчило, не потому, что до сихъ поръ ты не успѣлъ ничего сдѣлать касательно помѣщенія моего въ Москвѣ, — нѣтъ; неудачи я не могу тебѣ ставить въ вину. Но досадно мнѣ, что ты перемѣнилъ точку и теперь съ другой стороны смотришь на мое положеніе. Вдругъ показалось тебѣ, что въ Дубровномъ, а не въ Москвѣ, я долженъ нести крестъ свой, потому что я помѣщикъ, какъ будто это случилось вчерашняго дня, какъ будто при свиданіи твоёмъ со мною Дубровно и я были другъ другу чужды. Повѣрь мнѣ, что все остается въ томъ же положеніи, съ тою только разницею, что съ каждымъ днемъ я убѣждаюсь все болѣе и болѣе въ необходимости, покамѣстъ еще есть желаніе и воля, разстаться съ деревней, гдѣ я не устрою, а скорѣе разстрою дѣла мои; да и не одно это заставляетъ меня думать о службѣ; есть причины и поважнѣе... Ну, да что объ нихъ! на этотъ разъ умолчу.“

„Откуда ты вообразилъ себѣ, что мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, восемь тысячъ, чтобы содержать себя въ Москвѣ; я полагаю, шести тысячъ будетъ достаточно. Если мѣсто будетъ съ жалованьемъ въ тысячу руб. серебромъ, то, прибавивъ 2.500 руб. ассигнаціями, которыя я могу имѣть съ Дубровнаго, я надѣюсь свести концы съ концами. Притомъ же, служа, я все-таки буду имѣть что-нибудь впереди — надежда чего-нибудь да стоитъ! — тогда какъ въ деревнѣ перспектива самая неутѣшительная, чтобы не сказать — печальная. Ну, да что объ этомъ говорить. Ты бу-

¹⁾ И. В. Капнистъ былъ московскимъ губернаторомъ.

дешь увѣрять меня въ противномъ и подчасъ приводить въ доказательства и дѣльные резоны и тексты, и я все останусь при своемъ. Вслѣдствіе этого дѣлай какъ хочешь. Чтѣ же новаго въ Москвѣ? На дняхъ тетенька жены моей, которая провела нѣсколько времени въ Москвѣ, обрадовала насъ неожиданнымъ своимъ прїѣздомъ. Мнѣ прїятно было узнать, что она видѣла тебя и что ты навѣщаешь Александра Михайловича, что ты здоровъ и веселъ, что московскіе морозы тебѣ по-сердцу и проч. „

Послѣ этого на нѣкоторое время переписка становится менѣе оживленною: отъ 1849 года почти совсѣмъ не сохранилось писемъ Гоголя къ Данилевскому, но, кажется, къ этому году слѣдуетъ отнести помѣщаемое ниже, не помѣченное никакой датой письмо, въ которомъ Гоголь говорить о своемъ пошатнувшемся здоровьи: онъ имѣлъ обыкновеніе говорить своимъ роднымъ и близкимъ знакомымъ, что не можетъ выносить суровой русской зимы, и дѣйствительно, въ первую же зиму почувствовалъ себя нехорошо.

Вотъ это письмо:

„Много, много васъ благодарю, милые, добрые кумъ и кума ¹⁾, за ваши строчки. Душевно бы радъ былъ обнять васъ обоихъ лично, но не знаю, какъ это сдѣлать, позволять ли всякія обстоятельства прїѣхать въ Малороссію: съ одной стороны, здоровье (которое опять стало плохо) требуетъ переезда хоть въ Крымъ, съ другой—есть много причинъ, не дающихъ сдѣлать этотъ путь.

„Душевно сожалѣю, другъ и кумъ Александръ Семеновичъ, что и твое также здоровье, говорятъ, не въ большомъ порядкѣ. Но, видно, ужъ такъ слѣдуетъ, нужно терпѣть да молиться. „Денежъ нѣтъ передъ деннами“, говоритъ пословица: такъ, можетъ быть, и здоровье. По крайней мѣрѣ, отъ всей души прошу его тебѣ и себѣ, чтобы на старости лѣтъ распить когда-нибудь бутылку стараго вина, и вспомнить все пройденное время, и благодарно, признательно поблагодарить Бога за жизнь“.

Затѣмъ одно письмо Гоголя (а можетъ быть и нѣсколько) утрачено, на чтѣ указываетъ содержаніе слѣдующаго письма Данилевскаго отъ 16-го феврала, изъ Анненскаго:

„Письмо твое чрезъ посредство Александра Михайловича я получилъ давно, но не отвѣчалъ потому, что ровно не зналъ ничего сказать тебѣ въ отвѣтъ на твои проповѣди. Я вижу, тебя не урезонишь, ты все поешь одну пѣснь. Кто просилъ тебя

¹⁾ Гоголь крестилъ у Данилевскихъ сына, названнаго въ честь его Николаемъ.

искать для меня мѣсто, на которомъ бы можно было сидѣть сложа руки и ничего не дѣлать! Ну, да Богъ съ тобой! Мнѣ кажется, что мы переливаемъ изъ пустого въ порожнее, изъ этого ничего не выйдетъ. Ты—плохой ходатай, я—плохой искатель. *Lasciamo la politica, ove ella sto, e parliamo d'altro.*

„Хочу подѣлиться съ тобой моей радостью: на прошедшей недѣлѣ, послѣ тяжелой беременности, приводившей меня по временамъ до отчаянія, жена моя родила богатыря въ $\frac{3}{4}$ аршина, котораго предполагаемъ назвать Григоріемъ въ честь его дѣда. Здоровье и матери, и ребенка удовлетворительно.

„Къ Россету я писалъ, но не получалъ отвѣта. Вѣроятно, письмо мое не нашло его въ Харьковѣ. На Рѣдина и Кувольника мало имѣю надежды, и потому не затрудняю ихъ; если достанется быть въ Петербургѣ, то, ухвативши ихъ за бока, можетъ быть, и можно выжать изъ нихъ какую-нибудь пользу; переписка же ни къ чему не поведетъ.

„Ты такъ аккуратенъ, что, писавши ко мнѣ, и не означилъ своего адреса. Буду адресовать на имя Шевырева; это, кажется, всего вѣрнѣе. Чтобы не поставить и тебя въ затрудненіе насчетъ моего жительства, сейчасъ скажу тебѣ, что я проживаю въ деревнѣ сестеръ жены въ сумскомъ уѣздѣ, харьковской губерніи, и останусь здѣсь до мая, а потому адресуй ко мнѣ свои письма или свое письмо на мое имя въ *Сумы*, харьковской губерніи. Въ маѣ же и послѣ мая всегда пиши ко мнѣ въ Ромны, полтавской губерніи. Ясно? ну, то-то же! бери примѣръ съ меня!

„У насъ тутъ много слуховъ на твой счетъ: говорятъ, что ты уже напечаталъ вторую часть „Мертвыхъ Душъ“, чему я не вѣрю, пока не буду имѣть экземпляра въ собственныхъ рукахъ.

„О Миргородѣ и его любезныхъ обитателяхъ рѣдко получаю извѣстія; все въ тѣхъ мѣстахъ обстоитъ, кажется, благополучно, только винокуренный акцизъ многихъ помѣщиковъ заставилъ почесать въ затылкѣ.

„Поклонись отъ меня Боткину и Гинтовту ¹⁾, да напиши, ради Бога, что-нибудь о своей персонѣ. Все мораль да мораль—это хоть какому святому надоесть! Чтѣ предполагаешь дѣлать лѣтомъ? не заглянешь ли въ Малороссію?

„До свиданія, мой добрый другъ! не гнѣвайся на меня за мое молчаніе, не измѣняй своему великодушію“.

¹⁾ Гинтовъ, Александръ Людвиговичъ, былъ дежурный штабный офицеръ при Тимофеевѣ; учился вмѣстѣ съ Гоголемъ въ Нѣжинѣ (см. „Лицей кн. Безбородко“, отд. 2, стр. СXXXII), изъ черниговской губ. (отецъ его командовалъ полкомъ въ Глуховѣ).

Къ 1850 г., по нашему предположенію, относятся еще слѣдующія три письма Гоголя, написанныя въ лѣтніе мѣсяцы (отъ половины мая до половины іюля), когда Гоголь жилъ въ Малороссіи; по крайней мѣрѣ, въ слѣдующемъ году, когда онъ жилъ съ Данилевскимъ вмѣстѣ въ Васильевкѣ, они не могли быть написаны, и тѣмъ менѣе можно допустить, чтобы они написаны были ранѣе.

14-го мая (1850). Гоголь—Данилевскому ¹⁾:

„Милые друзья мои, я не писалъ къ вамъ потому, что мнѣ хотѣлось сказать вамъ что-нибудь доброе и утѣшительное, но покуда его не было. Я не писалъ къ вамъ еще потому, что много скорбѣлъ и страдалъ, какъ душевно, такъ и тѣлесно, и до сихъ поръ не выбрался изъ этого состоянія. Принимаюсь за перо съ тѣмъ только, чтобы сказать вамъ, что теперь не въ силахъ писать. Но если будетъ мнѣ лучше, напишу къ вамъ на будущей недѣлѣ“.

Письмо безъ числа (лѣтомъ 1850 г.). Гоголь—Данилевскому.

„Сейчасъ пріѣхалъ въ Дубровное. Сажу я у окна и люблюсь видомъ на деревню сосѣда, напрасно желая хоть симъ вознаграждать (себя) за неудачный пріѣздъ въ пустой домъ; а подѣзжая, такъ живо воображалась встрѣча, и вотъ на мѣсто распахнувшихся дверей и объятій—глиняная стѣна и закрытыя окна, заборы и затворы на всемъ.“

„Пожалуйста, пришли за мной экипажъ и лошадей въ Березовую-Луку или попроси у Трахимовскаго: я совершенно на безъэкипажѣ. До тебя доѣхалъ, взявши бричку и лошадей у дяди твоего Александра Михайловича. Устрой такъ, чтобы, если можно, отправить лошадей вслѣдъ за подателемъ, такъ чтобы я могъ изъ Березовой-Луки выѣхать утромъ же.“

„Твой, весь сгорающій нетерпѣніемъ тебя видѣть, Н. Гоголь“.

По сопоставленіи съ данными, сообщенными г. Кулишемъ („Записки о жизни Гоголя“, II, 231), можно приблизительно отнести это письмо къ концу іюня 1850 г. Слѣдующія строки въ книгѣ Кулиша, повидимому, могутъ дать ключъ къ болѣе или менѣе вѣрному опредѣленію времени его написанія: „25-го іюня, они (Гоголь съ Максимовичемъ, съ которымъ онъ совершилъ вмѣстѣ поѣздку въ Малороссію съ самой Москвы) расста-

¹⁾ Содержаніе этого письма (намекъ на ходатайство о Данилевскомъ) и особенно адресъ, доказывающій, что письмо отправлено было изъ Москвы, заставляетъ отнести его къ 1850, а не 1851 (въ 1851 году Гоголь, какъ видно изъ переписки, не могъ быть лѣтомъ въ Москвѣ).

лись въ Глуховѣ, откуда Гоголь уѣхалъ въ Васильевку, *изъ ко-
ляскѣ А. М. Марковича*". Кромѣ того слѣдуетъ припомнить пер-
выя строки письма Н. В. Гоголя къ А. М. Марковичу, напе-
чатанному Уманцемъ въ „Древней и Новой Россіи“ (1879,
1, 65 годъ № 5): „Очень благодарю за бричку, коней и доб-
роту души. Александра Семеновича не засталъ въ Дубровной:
онъ съ супругой въ Сорочинцахъ“, и проч., и письмо Н. В. Го-
голя къ сестрѣ Елизаветѣ Васильевнѣ (соч. Гог., изд. Кул.,
VI, 509): „Я пріѣхалъ въ Сорочинцы благополучно, но въ чу-
жомъ экипажѣ“.

Гоголь—Данилевскому. 1-го іюля (1850).

„Извини меня, мой добрый Александръ, передъ собой и передъ
Ульяной Григорьевной, что не пишу. Думается о васъ часто, а
писать не пишется. Лѣнь ли это, или сознаніе ничтожности пи-
санія, или чтѣ другое—право, не знаю. Можетъ быть, это просто
притупленіе способностей и силъ. Но отъ этого да избавить
васъ Богъ—и тебя, и меня, и всѣхъ добрыхъ людей.

„Странное дѣло: я теперь меньше тружусь, чѣмъ когда-либо
прежде, меньше занимаюсь, а между тѣмъ все мнѣ мѣшаетъ.
Время летитъ такъ, что не успѣваешь оглянуться—и все еще
почти ничего не сдѣлано. Меньше, чѣмъ когда-либо прежде,
я развлеченъ; болѣе, чѣмъ когда-либо, веду жизнь уединенную, и
при всемъ томъ никогда еще такъ мало не дѣлалъ, какъ теперь.
И отъ этого находятъ досадныя расположенія духа. Я не въ
силахъ бываю писать, отвѣчать на письма, не въ силахъ испол-
нять всѣхъ тѣхъ обязанностей, которыхъ исполненіе приносило
прежде удовольствіе душѣ моей. Вотъ тебѣ въ короткихъ сло-
вахъ вся моя душевная исторія.

„По твоему дѣлу до сихъ поръ не сдѣлалъ ровно ничего,
хотя, признаюсь тебѣ искренно, мнѣ часто желалось перетащить
васъ обоихъ въ Москву и даже устроить вмѣстѣ хозяйство и жи-
тельство.

„Клементія Россети до сихъ поръ здѣсь не было; онъ все
еще въ Петербургѣ. Я самъ собираюсь въ дорогу; располагаю
посѣтить губерніи въ окрестностяхъ Москвы, повидаться съ нѣ-
которыми знакомыми и поглядѣть на Русь, сколько можно. Уви-
дѣть на большой дорогѣ. Гдѣ проведу зиму—не знаю.

„А ты не оставляй меня извѣщеніемъ о себѣ. Я очень же-
лаю знать, какъ у тебя идетъ лѣто. Прошу убѣдительно Ульяну
Григорьевну написать объ этомъ также. Какъ здоровье обоихъ
васъ и какъ ведетъ себя единородная дочь, которую мысленно,
совокупно съ вами, цѣлую и обнимаю. Твой весь Н. Г.“

Эти письма, повидимому, позволяют, на основаніи собственнаго откровеннаго сознанія Гоголя, установить объясненіе незначительнаго успѣха его литературной дѣятельности въ послѣдніе годы жизни, когда, подѣ влияніемъ болѣзни, вдохновеніе его ослабѣвало. Въ „Воспоминаніяхъ Н. В. Берга“ („Русская Старина“, 1882, I, стр. 24) помѣщенъ отвѣтъ его на предложенный ему вопросъ, почему онъ ничего не пишетъ: „Да! какъ странно устроенъ человѣкъ: дай ему все, чего онъ хочетъ, для полнаго удобства жизни и занятій, тутъ-то онъ и станетъ ничего не дѣлать; тутъ-то и не пойдетъ работа!“ Очевидно, болѣзненный процессъ, начинавшійся еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ, достигалъ теперь значительныхъ размѣровъ.

Понятно, почему друзья Гоголя деликатно предупреждали самую возможность вопроса о „Мертвыхъ Душахъ“ или вообще творчества Гоголя со стороны постороннихъ,—вопроса, который начиналъ мучить Гоголя съ начала сороковыхъ годовъ. Не лишнее припомнить по этому поводу письмо Гоголя отъ 28-го мая 1843 г. (изъ Мюнхена: см. „Русское Слово“, 1859, I, 129) въ Прокоповичу, изъ котораго видно, какъ раздражалъ уже тогда его этотъ вопросъ, и письма о „Мертвыхъ Душахъ“ въ „Перепискѣ съ друзьями его“, и признаніе Александрѣ Осиповнѣ Смирновой: „одинъ упрекъ только себѣ видѣнъ былъ во всемъ, какъ человѣкъ, посланный за дѣломъ и возвратившійся съ пустыми руками, которому стыдно даже и заговорить, стыдно и лицо показать“ (въ случаѣ пріѣзда въ Россію до окончанія 2-го тома „Мертвыхъ Душъ“, VI, 176).

Въ слѣдующемъ, 1851 году, Данилевскіе долго гостили у Гоголей въ Васильевкѣ. Вотъ какъ рассказывалъ объ этомъ А. С. Данилевскій:

„Въ 1851 году мы пріѣхали гостить изъ Сорочинцевъ въ Васильевку. На другой день хотѣли уѣзжать, но Гоголь ни за что не хотѣлъ насъ отпустить. Въ это время Ульяна была на послѣднемъ мѣсяцѣ беременности. Мы уступили настоятельной просьбѣ Гоголя. Черезъ нѣсколько дней (10-го мая) съ Ульяной Григорьевной сдѣлалось дурно. Ни 10-го, ни на слѣдующій день нечего было и думать объ отъѣздѣ. Въ ночь на 12-е она родила, и мы оставались въ Васильевкѣ на шесть недѣль. До шести недѣль Гоголь насъ не выпускалъ, и мы жили у него во флигелѣ. Въ это время мы постоянно были вмѣстѣ. Потому я уже, въ свою очередь, удерживалъ его, когда онъ собирался уѣхать въ Москву“.

Данилевскій—Гоголю. 5-го іюля 1851 г. Дубровное.

„Ровно двѣ недѣли, какъ мы простились съ Васильевкой и ея милыми обитателями. Въ Сорочинцахъ пробыли всего два дня.

„Я однажды имѣлъ случай видѣться съ Малинкой, который, въ чести его, имѣлъ довольно такту, чтобы не спросить о послѣдствіяхъ порученій своихъ насчетъ предложенія быть участникомъ въ изданіи 2-й части „Мертвыхъ Душъ“.

„Если я не писалъ въ тебѣ прежде, то это потому, что не было оказіи въ городъ для отправленія письма, а посылать нарочнаго въ теперешнее время полевыхъ работъ не приходится. Да и что интереснаго могу сказать тебѣ? Ровно ничего.

„Мы, наконецъ, добрались до своихъ пенатовъ благополучно. Теперь понемножку всѣ хвораемъ: у дѣтей насморкъ и кашель, у жены болитъ горло, а меня посѣтили... одинъ усѣлся на ногѣ, а другой...

„Крестникъ твой началъ оживать: чаще кричить; а вчера матушка съ восторгомъ прибѣжала объявить мнѣ, что онъ улыбнулся. А сколько ужъ слезъ!..

„Мы пріѣхали сюда, словно въ другой міръ: изъ царства засухи въ царство дождей и грозъ. Всякій день приносятъ свой ливень и свою грозу, а часто и градъ. Табакъ, наша лучшая надежда на грядущій доходъ, запропастило градомъ, равно и гречиху. Превосходное жито совершенно вылегло отъ дождей, граду и вѣтру. Травы, не смотря на непомѣрно влажное лѣто, нехороши. Сѣна мало, да и убирать не улучишь времени.

„На будущей недѣлѣ начинается наша послѣдняя Ильинская ярмарка. Жаль, больно жаль, что насъ лишаютъ единственнаго пункта для сбыта нашихъ несчастныхъ сельскихъ продуктовъ. Съ досадой въ сердцѣ и негодованіемъ въ душѣ поѣду проститься съ нашей родной ярмаркой. Не хочешь ли и ты со мной?

„Я позабылъ сказать тебѣ, что, передъ отъѣздомъ нашимъ отъ васъ, явился туда молодой, влюбленный Владиміръ Ивановичъ Быковъ ¹⁾. Ты, вѣрно, давно уже знаешь о его посѣщеніи. Елизавета Васильевна въ восторгѣ отъ своего будущаго мужа, и этотъ предполагаемый союзъ сулитъ, повидимому, много счастья. Дай Богъ, чтобы общія наши надежды и желанія осуществились вполне“.

9-го декабря 1851 г. Сварковъ. Данилевскій—Гоголю.

„Писулька твоя нашла меня въ Сварковѣ, гдѣ мы соединились всѣ, и гдѣ, вѣроятно, проведемъ всю зиму.

¹⁾ Будущій мужъ Елизаветы Васильевны Гоголь.

„Печальное обстоятельство предшествовало этому соединенію. Въ сентябрѣ лишились мы доброй, незабвенной сестры Варвары Григорьевны, а два мѣсяца спустя новою потерей Господь постигъ насъ: Михаилъ Алексѣевичъ Литвиновъ, двоюродный братъ жены, котораго любили мы всѣ какъ родного, отдалъ свою кроткую и незлобную душу Богу. Я былъ при кончинѣ его, я видѣлъ его послѣднія минуты.

„Какъ ни говори о томъ, что—

...Страшно зрѣть,
Какъ силится преодолѣть
Смерть человека...

много, однакожъ, отраднѣе, еще болѣе поучительнаго въ этомъ разставаніи съ жизнью. Въ первый разъ я былъ свидѣтелемъ этихъ торжественныхъ минутъ. Глубокое, неизъяснимое впечатлѣніе оставили онѣ на меня!

„Съ утра—это было послѣднее его утро!—онъ началъ забывать: потерялъ языкъ, не узнавалъ никого; хрипѣнье, этотъ предвѣстникъ смерти, сопровождало каждое его дыханіе. Съ минуты на минуту всѣ мы, собравшіеся вокругъ него, ожидали послѣдняго вздоха—и вдругъ, около полудня, больной привсталъ; голова его просвѣтлѣла, онъ просилъ позвать священника и захотѣлъ приобщиться Святыхъ Тайнъ. Такъ какъ онъ приобщался уже дня за три передъ этимъ, то священника не было на этотъ разъ въ домѣ. Надобно было видѣть, съ какимъ нетерпѣніемъ, съ какою боязнью ожидалъ онъ его прихода! И священникъ явился. Лицо умирающаго просвѣтлѣло. Торжественно и важно выслушалъ онъ всѣ молитвы; приобщился. Какимъ величіемъ въ это время озарено было лицо его! И вотъ настала минута послѣдняго *прости*. Каждого изъ насъ онъ подзывалъ къ себѣ рукою; цѣловалъ, улыбался, кланялся, словно уѣзжая въ дальнюю дорогу... О, ты не можешь себѣ представить, сколько было величественнаго, умилительнаго, страшнаго, раздирающаго сердце въ этомъ послѣднемъ прощаніи! Въ седьмомъ часу вечера нашъ добрый, кроткій, искренно любимый братъ лежалъ уже на столѣ!

„Ты нѣсколько зналъ его: онъ былъ прошлую зиму въ Одессѣ и жилъ вмѣстѣ съ братомъ моимъ. Немного жилъ и много страдалъ онъ на этомъ свѣтѣ! Да утѣшить, упокоить его Господь въ другомъ, въ лучшемъ!..

„Пишу къ тебѣ и не знаю, получилъ ли ты письмо мое. Право, ты сдѣлался нестерпимымъ въ своихъ письмахъ, ничего не говоришь ни о себѣ, и даже не указываешь мѣста, куда адресовать.

„Вся наша сварковская семья, въ томъ числѣ и Александръ Михайловичъ, всѣ мы интересуемся знать, что съ тобой. Пиши, не лѣнись; да не такъ, какъ ты выдумалъ теперь писать ко мнѣ, точно какъ будто боишься обмолвиться, сказать что-нибудь лишнее, а потому ничего не говоришь (и я думаю, окончишь тѣмъ, что будешь присылать лоскутки бѣлой бумаги съ своимъ именемъ), а пиши такъ, какъ ты дѣлывалъ это прежде.

„Когда же 2-я часть „Мертвыхъ Душъ“? А. Данилевскій“.

Отвѣтомъ послужило послѣднее письмо Гоголя къ Данилевскому (отъ 16-го декабря 1851 г.), помѣщенное у Булиша на 547 стр. VI тома.

Возстановляемъ пропускъ въ концѣ письма; послѣ подписи: „Твой весь Н. Гоголь“ слѣдуетъ еще приписка:

„Ульянѣ Григорьевнѣ, Александру Михайловичу и всему дому — душевный поклонъ. А ты пиши и описывай весь свой день. Тебѣ вѣдь не на что сложить вину: чтобы хоть заочно побыть нѣсколько минутъ съ тобою вмѣстѣ!“

Такъ выраженіемъ прочной, задушевной привязанности со стороны Гоголя закончилась переписка его съ Данилевскимъ.

Мы уже говорили, что смерть Гоголя была для Данилевскаго такой же страшною неожиданностью, какъ и для большинства другихъ его друзей. Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить донесшемуся до него слуху, но вскорѣ убѣдился въ справедливости его изъ письма Прокоповича, которымъ былъ, разумѣется, пораженъ ¹⁾.

На вопросъ мой: съ какого времени А. С. Данилевскій сталъ ясно замѣчать задатки будущаго мрачнаго настроенія Гоголя, овладѣвшаго имъ въ послѣдніе годы, онъ указалъ на осень 1849 г. „Въ 1848 г.,—говорилъ А. С. Данилевскій,—я еще рѣшительно ничего не замѣчалъ, никакой перемѣны; въ 1851 году перемѣна стала сказываться очевидно; такъ особенно можно было видѣть Гоголя, проводящимъ по нѣскольку часовъ сряду за какими-то книгами въ кожаномъ переплетѣ съ застежками, которыя онъ тщательно пряталъ“. Изъ чувства деликатности А. С. Данилевскій никогда не разспрашивалъ ни объ этихъ книгахъ, ни о сочиненіяхъ Гоголя. О послѣднихъ Гоголь иногда самъ говорилъ, но не выносилъ, чтобы кто-нибудь начиналъ съ нимъ рѣчь объ этомъ предметѣ.

А. С. Данилевскій называлъ мнѣ нѣсколько лицъ, послужившихъ, по его предположенію, прототипами нѣкоторыхъ произве-

¹⁾ Какъ память Гоголя, въ семействѣ дочери А. С. Данилевскаго (г-жи Банниъ) хранятся многія книги Гоголя на французскомъ и итальянскомъ языкахъ, преимущественно историческаго содержанія.

дений Гоголя: Акакій Акакіевичъ—Юдинъ, о которомъ онъ часто рассказывалъ Гоголю. Юдинъ заходилъ къ нимъ. Это было несчастнѣйшее созданіе. Маниловъ—Юрьевъ, Василій Ивановичъ, былъ женатъ на двоюродной сестрѣ А. С. Данилевскаго. Чичиковъ—общій знакомый въ началѣ 30-хъ годовъ. П. П. Пѣтухъ—Федоръ Акимовичъ Данилевскій. Онъ былъ полковникъ. Въ 1812 году ему оторвало обѣ ноги. Императоръ Александръ Павловичъ заказалъ ему деревянные ноги, которыя были сдѣланы такъ искусно, что онъ могъ ходить совершенно свободно, безъ костылей. Государь, узнавъ объ его тяжеломъ положеніи, принялъ подъ свое покровительство; прибавилъ ему столовыхъ. Онъ считался на службѣ, получалъ чины.

Многіе не мало упрекали Гоголя въ эгоизмъ, черствости характера, неспособности любить и внушать къ себѣ любовь. Тутъ есть очевидное недоразумѣніе, которое устраняется уже извѣстными данными о теплой привязанности его къ сотоварищамъ—нѣжинцамъ. Нельзя не обратить вниманіе на то, что всѣ нареканія на личный характеръ Гоголя исключительно исходятъ отъ людей, знавшихъ его весьма поверхностно, тогда какъ друзья вспоминали и вспоминаютъ о немъ не иначе, какъ съ самымъ теплымъ, искреннимъ чувствомъ, рѣшительно протестуя противъ почти установившагося взгляда на его характеръ. Это обстоятельство само по себѣ представляетъ фактъ, заслуживающій болѣе внимательнаго къ нему отношенія, нежели то, которое нерѣдко встрѣчалось въ нашей печати. Необходимо прежде всего установить различіе между тѣми источниками, изъ которыхъ мы получаемъ свѣденія о характерѣ Гоголя—и тогда ясно обнаружится бросающееся въ глаза различіе между источниками двухъ разрядовъ: между воспоминаніями людей, дѣйствительно знавшихъ Гоголя, и тѣхъ, которые были ему чужды, и которымъ онъ, съ своей стороны, былъ также чуждъ. Последнимъ дѣйствительно Гоголь представлялся всегда и безусловно въ несимпатичномъ свѣтѣ. Причина заключалась, очевидно, въ томъ, во-первыхъ, что люди, мало знавшіе Гоголя и притомъ лишь въ послѣдніе годы его жизни, имѣли случай соприкасаться исключительно съ тяжелыми сторонами его характера—высокомѣріемъ, заносчивостью, раздражительностью, болѣзненной капризностью, наконецъ, съ непрощаемымъ обыкновенно отчужденіемъ отъ общества,—и, конечно, всѣ эти стороны легко могли производить на многихъ отталкивающее впечатлѣніе. Во-вторыхъ, здѣсь не мало виновата была и врожденная скрытность Гоголя и какая-то холодная необщительность въ обращеніи съ мало знакомыми ему людьми,—черта,

въ единогласномъ признаніи которой сходятся всѣ, кто знали его.

Мы уважемъ въ частности на интересныя воспоминанія о Гоголѣ Н. В. Берга („Русская Старина“, 1882, 1, 118—128), какъ на такія, изъ которыхъ очевидно, что авторъ зналъ Гоголя исключительно съ внѣшней стороны. Воспоминанія такого рода должны быть весьма интересны и цѣнны, но только какъ свидѣтельство о томъ, какимъ *обыкновенно казался* Гоголь людямъ, знавшимъ его не особенно близко. Такъ, мы читаемъ у него такія строки о Гоголѣ: „Даже близкіе знакомые хозяина, у кого жилъ Гоголь, должны были знать, какъ вести себя, если неравно съ нимъ встрѣтятся и заговорять. Имъ сообщалось, между прочимъ, что Гоголь терпѣть не можетъ говорить о литературѣ, въ особенности о своихъ произведеніяхъ, а потому никоимъ образомъ нельзя обременять его вопросами: „что онъ теперь пишетъ?“ и проч.“ Но вѣдь надо вспомнить, что все это г. Бергъ передаетъ о томъ времени, когда такъ туго работало вдохновеніе Гоголя, и когда второй томъ „Мертвыхъ Душъ“ подвигался до крайности медленно: въ это время подобные вопросы жестоко растравляли его душевныя раны, и друзья Гоголя поступали очень умно и деликатно, заботливо ихъ отъ него отстраняя. Кромѣ того, Гоголь всегда сильно раздражался празднымъ любопытствомъ людей толпы, желавшихъ видѣть его, познакомиться и поговорить съ нимъ, для того, чтобы имѣть потомъ случай рассказывать о своей бесѣдѣ съ замѣчательнымъ человѣкомъ. Въ одномъ письмѣ къ С. Т. Аксакову (еще до такъ-называемаго перелома) Гоголь съ отвращеніемъ жаловался на опротивѣвшіе ему въ Маріенбадѣ вопросы: „чѣмъ вы подарите насъ новенькимъ?“ и „какой стаканъ пьете?“ Вопросы эти такъ донекали его, что, по его словамъ, онъ отъ нихъ „улепетывалъ по проселочнымъ дорожкамъ“. Какъ Пушкина выводило изъ себя то, что на него стекаются смотрѣть, какъ на собаку Мунито, такъ еще несравненно сильнѣе должно было стѣснять наивно допрашивающее любопытство поклонниковъ застѣнчиваго отъ природы и избѣгавшаго незнакомаго общества Гоголя. Его болѣзненная, исполненная причудъ натура тѣмъ легче могла казаться непривлекательною холодному, праздно-любопытствующему взгляду посторонняго наблюдателя. Едва ли нужно говорить, что для насъ важно выяснить внутренній міръ Гоголя, а рассказы о внѣшнихъ проявленіяхъ его характера могутъ имѣть только значеніе болѣе или менѣе интереснаго матеріала. Если Гоголь былъ натура сложная, въ чемъ никто, кажется, не сомнѣвается, то не можетъ быть и рѣчи

о томъ, какъ далеки отъ истинной характеристики летучія замѣчанія о немъ современниковъ, столкнувшихся съ нимъ разъ-другой въ обществѣ. Вотъ, напр., какъ г. Бергъ изображаетъ Гоголя во время чтенія Щепкинымъ одного изъ его сочиненій. „Просидѣвъ *совершеннымъ истуканомъ*, въ углу, рядомъ съ читавшимъ, часъ или полтора, со взглядомъ, устремленнымъ въ неопредѣленное пространство,—онъ всталъ и скрылся“. Слова эти краснорѣчиво говорятъ намъ, что въ обществѣ незнакомыхъ людей Гоголь терялъ иногда очень много, не оправдывая тѣхъ ожиданій, съ которыми приступали его экспериментировать, но кто же рѣшится предположить серьезно, что Гоголь не казался, но и былъ дѣйствительно „истуканомъ“¹⁾.

Итакъ, для людей мало знавшихъ Гоголя была видна только его внѣшность, оболочка. Судить о его характерѣ по ихъ разсказамъ такъ же невозможно, какъ странно было бы искать разъясненія существенныхъ сторонъ личности Лермонтова въ анекдотахъ о томъ, какъ онъ гнулъ шомполъ. Вотъ почему, намъ кажется, прежде окончательнаго приговора о характерѣ Гоголя, необходимо познакомиться съ его отношеніями къ друзьямъ, которыми, безъ сомнѣнія, Гоголь былъ лучше извѣстенъ. Невозможно допустить, конечно, чтобы такіе друзья его, какъ Аксаковы, Плетневъ, Жуковский, Смирнова, ограничивались въ своихъ отношеніяхъ къ Гоголю только будто бы бессмысленно раболѣпнымъ куреніемъ еиміама, который Гоголь принималъ съ какой-то нелѣпой и противной важностью. Нельзя забывать, что друзья Гоголя были люди избранные, которыхъ никто, конечно, не рѣшится смѣшивать съ толпой, а нѣкоторые изъ нихъ были, несомнѣнно, людьми замѣчательными. Думать, что всѣ они только „пересаливали“, восхваляя и прославляя Гоголя паче мѣры и безъ разсужденія,

¹⁾ А. С. Данилевскій также разсказывалъ мнѣ одинъ случай, какъ къ нему въ деревню нарочно пріѣхали однажды довольно высоко поставленные въ губернскомъ городѣ лица, единственно съ той цѣлю, чтобы видѣть Гоголя, и въ какое мучительно-неловкое положеніе онъ поставилъ себя, опрометчиво сказавъ, что Гоголь дома, тогда какъ тотъ ни за что не хотѣлъ показываться любопытствующимъ гостямъ, а когда, наконецъ, вышелъ къ нимъ послѣ его настоятельныхъ просьбъ, то почти не былъ въ состояніи принудить себя говорить съ ними. Въ другой разъ, когда Данилевскій былъ инспекторомъ пансіона въ Кіевѣ и къ нему также пріѣхалъ Гоголь, неожиданно собралось большое общество, желавшее съ нимъ познакомиться, но на Гоголя опять напала такая хандра, что онъ просидѣлъ въ этомъ обществѣ не болѣе получаса. Такихъ примѣровъ было много. А. В. Гоголь припоминаетъ также одинъ случай, когда братъ ея, приглашенный однажды на обѣдъ, увидавъ на дворѣ дома множество экипажей, понабѣдился на то, что отсутствіе его не будетъ замѣчено, и уѣхалъ домой. Потомъ оказалось, что весь неожиданный сѣздъ многочисленныхъ гостей произошелъ именно ради его, причемъ были нарочно приготовлены его любимыя блюда.

какъ полагали нѣкоторые, представляется намъ, по меньшей мѣрѣ, рискованнымъ ¹⁾).

Изученіе отношеній Гоголя къ Данилевскому особенно интересно и поучительно именно потому, что оно не можетъ не убѣдить каждаго безпристрастнаго человѣка, что въ сущности Гоголь имѣлъ доброе сердце и былъ способенъ любить горячо. Еслибы привести изъ писемъ сплошь цѣлый рядъ мѣстъ, въ которыхъ высказалась его сильная привязанность къ Данилевскому, то ихъ отношенія, быть можетъ, вызвали бы съ чьей-нибудь стороны упреки въ нѣкоторой сентиментальности. Въ этихъ интимныхъ письмахъ Гоголь любилъ выражать свои чувства съ свойственнымъ ему лиризмомъ. „Пусть мы встрѣтимъ нашу юность, наши живыя, молодые лѣта, наши прежнія чувства, нашу прежнюю жизнь, — пусть же все это мы встрѣтимъ въ нашихъ письмахъ! Пусть хотя тамъ мы предадимся лирическому сердечному изліянію, котораго бѣднаго гонять, которому заклятые враги — пошлость глупѣйшаго проведенія времени“ и проч. (Соч. Гог., изд. Кул., V, 358). И дѣйствительно, иногда у него вырываются восклицанія, полныя лиризма, показывающія, какъ сильно любилъ онъ Данилевскаго (а г. Бергъ сказалъ: „дѣйствительнаго друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь“, забывая не только о Данилевскомъ, но и о Прокоповичѣ и другихъ). Не говоря о безкорыстныхъ попеченіяхъ Гоголя о Данилевскомъ за границей и о его истинно дружеской преданности къ послѣднему, о которой Данилевскій не могъ вспоминать безъ глубокаго и отраднаго чувства, отмѣтимъ лишь нѣкоторыя болѣе яркія проявленія любви къ Данилевскому въ письмахъ Гоголя. Когда Гоголю предстояла продолжительная разлука съ Данилевскимъ, онъ получилъ отъ послѣдняго неожиданно письмо, въ которомъ ему вновь блеснула надежда увидѣть своего друга, и онъ тотчасъ написалъ ему: „Я уже было-простился съ тобою, уже, холодно сжавши сердце, *приготовилъ на одиночество остатокъ своей жизни*. Теперь опять виденъ мнѣ лучъ надежды тебя увидѣть“ (V, 335). Въ другой разъ онъ говорилъ: „Боже мой! еслибы я былъ богатъ, я бы желалъ, чтобы остальные дни мои я провелъ съ тобою вмѣстѣ“ (V, 353). Въ

¹⁾ Нельзя также согласиться и съ мнѣніемъ Э. Уманца въ его, впрочемъ, дѣльномъ и безпристрастномъ предисловіи къ „Неизданнымъ письмамъ Гоголя“ („Древняя и Новая Россія“, 1875, I, 58), что „скука и пустота общественной жизни“ (русской, 40-хъ годовъ) „дѣйствовали на впечатлительную натуру Гоголя отупляющимъ образомъ“. Уманецъ забываетъ, что Гоголь, живя за границей, мало вращался въ тогдашнемъ нашемъ обществѣ, и если вращался, то въ кругу Жуковского, Смирновыхъ и Вильегорскихъ.

тяжелую годину для Данилевскаго, когда онъ потерялъ нѣжно любившую его мать, Гоголь обнаружилъ самое задушевное участіе къ его горю. Утѣшая его, онъ говорилъ между прочимъ: „Письмо твое пахнетъ уныніемъ, даже чтобы не сказать отчаяніемъ и припадками рѣшительной безнадежности. Мнѣ кажется только, что послѣднимъ двумъ слишкомъ рано предаваться. Неужели тебѣ ужъ рѣшительно ничего не остается на свѣтѣ, которое бы тебя привязывало? погоди, по крайней мѣрѣ, покажись я умру, тогда ужъ можешь предаться имъ“ (V, 377). Въ другомъ письмѣ, увѣряя друга, что для него полезенъ „страшный переломъ, который почли нужнымъ высшія силы“, и что „можетъ быть, исполненные сильной горести слезы были для оживленія души“, — „во всякомъ случаѣ“ — прибавляетъ Гоголь, — „твой старый, вѣрный, неразлучный съ тобою другъ временъ первой молодости, другъ, съ которымъ, можетъ быть, ты не увидишься больше, закликаетъ тебя такъ думать и такъ поступать согласно съ этой мыслью. Эти слова мои должны быть для тебя священны и имѣть силу завѣщанія. По крайней мѣрѣ знай, что, если мнѣ придется разстаться съ этимъ міромъ, *иди такъ много привелось вкусить прекрасныхъ, божественныхъ минутъ*, и болѣе половины съ тобою вмѣстѣ, то это будутъ послѣднія мои слова къ тебѣ“ (V, 327). По поводу приведенныхъ словъ можно предвидѣть упрекъ въ аффектаціи, хотя едва ли рѣшится сдѣлать его тотъ, кто возьметъ на себя трудъ припомнить прочувствованныя лирическія мѣста въ произведеніяхъ Гоголя и даже въ „Перепискѣ съ друзьями“. Выставляя на общественный судъ дошедшія до насъ строки нашихъ писателей, мы не должны подвергать ихъ профанаціи сужденія на свой аршинъ или циническому и ни на чемъ не основанному заподозриванію въ искренности чувствъ, вылившихся въ интимныхъ письмахъ. Мы можемъ и должны обсуждать ихъ безпристрастно, но съ ними необходимо обращаться съ извѣстной осторожностью и деликатностью, которыхъ требуетъ уваженіе не только къ личности ихъ, какъ выдающихся писателей, но и просто какъ людей.

Въ заключеніе ко всему сказанному выше считаемъ нелишнимъ прибавить нѣсколько свѣденій, касающихся послѣдующей жизни Данилевскаго.

Въ 1856 году онъ получилъ мѣсто директора училищъ полтавской губерніи, въ которой оставался до 24 іюня 1861 года. Съ 1871 года былъ кандидатомъ на мирового посредника и вышелъ въ отставку въ 1874 году. Съ тѣхъ поръ онъ поселился

почти безвыѣздно въ селѣ Анненскомъ, гдѣ и скончался 3-го апрѣля 1888 года ¹⁾.

За нѣсколько лѣтъ до кончины Александръ Семеновичъ ослѣплъ. Съ молодости онъ часто страдалъ бессонницей, и чѣмъ становился старше, тѣмъ чаще посѣщала его досадная гостья. Мучась ею, онъ бралъ для разогнанія тоски какую-нибудь изъ любимыхъ книгъ, и, лежа въ постели, предавался чтенію по нѣсколькимъ часамъ, а иногда просиживалъ напролетъ цѣлыя ночи за чтеніемъ. Наконецъ, онъ привыкъ засыпать не иначе, какъ послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго чтенія. Обладая съ дѣтства превосходнымъ зрѣніемъ, онъ былъ далекъ отъ мысли предполагать грозившую ему опасность и замѣтилъ ее только тогда, когда неожиданно почувствовалъ невыносимое нервное расстройство. Этотъ недугъ, какъ оказалось послѣ, былъ близкимъ предвѣстникомъ совершенной потери зрѣнія.

Грустно доживалъ Данилевскій послѣдніе годы. Хотя несчастье его сильно смягчалось попечительными заботами о немъ всей любящей семьи, но самая необходимость пользоваться постоянно чужою помощью, особенно для чтенія, была въ высшей степени тягостна. Какъ мы упоминали, интересъ къ литературѣ не оставлялъ его и во время болѣзни, буквально до послѣднихъ часовъ жизни. Еще въ день смерти онъ попросилъ одного изъ сыновей прочесть отрывки изъ „Евгенія Онегина“, но уже не былъ въ состояніи слушать чтеніе. Наконецъ, послѣ продолжительной и весьма тяжелой болѣзни, онъ тихо скончался, сидя въ креслѣ. Замѣчательно, что эстетическія наклонности покойнаго сказались и въ предсмертныхъ его распоряженіяхъ; такъ, онъ завѣщалъ похоронить себя въ саду, близъ деревенской церкви, желая какъ бы и послѣ смерти быть ближе къ природѣ, по красотамъ которой онъ такъ сильно тосковалъ, лишившись зрѣнія. Такимъ образомъ, Данилевскій, можно сказать, умеръ идеалистомъ, однимъ изъ послѣднихъ представителей вымирающаго поколѣнія, завѣщавшаго намъ, подобно ему, не погашать въ себѣ, посреди заботъ холодной практической жизни, искру любви къ поэзіи и ко всему изящному.

Не можемъ не указать еще на одну замѣчательную и весьма симпатичную черту въ личности Данилевскаго: никогда, до самой смерти, не относился онъ съ недоброжелательствомъ къ новымъ поколѣніямъ и къ новымъ движеніямъ въ литературѣ.

¹⁾ Большинство фактическихъ свѣдѣній о самомъ Данилевскомъ удалось мнѣ узнать отъ семьи покойнаго, такъ какъ самъ онъ, по преувеличенной скромности, неохотно сообщалъ лично о себѣ.

Вотъ небольшой отрывокъ изъ его автобіографическаго очерка, помѣщеннаго имъ въ одномъ изъ писемъ:

„Ни зависть, ни стяжаніе не входятъ въ элементы моего характера. Страсть въ наживѣ никогда не овладѣвала мною. Я скромнѣе и скорѣе робокъ по моей натурѣ. Въ молодости, какъ всѣ мы, я любилъ удовольствія, но никогда не предавался имъ, очертя голову. Никогда не дѣлалъ долговъ: боялся ихъ пуще всего на свѣтѣ. И теперь какой-нибудь незначительный долгъ въ аптеку уже заставляетъ меня беспокоиться. Я не могу себѣ представить, какъ иные (въ подлинникѣ стоитъ фамилія одного лица), имѣя столько долговъ на шеѣ, могутъ спать спокойно.

„Я безпеченъ и довѣрчивъ, но полагаю, что умѣю различать и цѣнить людей. Несмотря на то, что моя оцѣнка грѣшитъ скорѣе снисхожденіемъ (можетъ быть, потому, что и самъ нуждаюсь въ снисхожденіи), нежели строгостью, не помню, чтобы когда-нибудь сильно обманулся въ ней. Съ удовольствіемъ могу сказать, что, не обладая никакими особенно выдающимися талантами, нерѣдко возбуждающими зависть, при среднемъ уровнѣ характера, я никогда не имѣлъ враговъ въ серьезномъ смыслѣ этого слова и недостатка въ людяхъ, искренно расположенныхъ ко мнѣ. Бывши школьникомъ, я былъ любимъ моими товарищами и всю жизнь пользовался дружбою нѣкоторыхъ изъ нихъ. Я не лицемеръ, и своихъ симпатій, также какъ и антипатій, скрывать не умѣю. Лесть и мелкое угодничество, играющее такую полезную роль въ практической жизни, были чужды моей натурѣ и никогда не уживались съ ней. Я не лишенъ въ извѣстной дозѣ ни самолюбія, ни эгоизма. Я вспыльчивъ и щекотливъ. Я живо чувствую оскорбленія и долго не забываю ихъ, особенно когда они касаются той святыни, именуемой честью, которую я глубоко храню въ моей душѣ и ревниво оберегаю. Въ этомъ и только въ этомъ я злопамятенъ...“

В. Шенрокъ.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛАНТРОПІЯ

ВЪ

А Н Г Л І И

I.—„Народный Дворецъ“.

Каждому извѣстно, какъ рѣдко сбываются наши сны; еще рѣже того превращаются въ дѣйствительность грѣзы или воздушные замки, которые такъ любить строить юность о лучшемъ будущемъ. Такъ же рѣдко сбываются и фантазіи на подобныя темы, которыя пишутъ поэты и беллетристы. Тѣмъ не менѣе бываютъ счастливыя исключенія, когда мысль, высказанная въ видѣ пожеланія, получаетъ удовлетвореніе—выполняется; когда вымыселъ художника, диктуемый его поэтическимъ воображеніемъ и любовью къ человѣчеству, переходитъ въ дѣйствительность и становится реальнымъ фактомъ. Къ такимъ-то рѣдкимъ случаямъ принадлежитъ одна фантазія современнаго англійскаго романиста Вальтера Безанта.

Осенью 1882 года вышелъ въ Англіи его романъ подъ названіемъ „All sorts and Conditions of Men“ („Люди всякаго рода и состоянія“). Главнымъ образомъ его содержаніе вращается около двухъ молодыхъ симпатичныхъ героевъ: Анжелы (миссъ Мессенджеръ) и Гарри. Первая изъ нихъ представляетъ собою молодую эксцентричную дѣвицу, которая, получивъ послѣ смерти своего отца колоссальное состояніе, нажитое имъ пивовареніемъ въ восточномъ Лондонѣ, рѣшается, подъ влияніемъ чувства высокой филантропіи, употребить свои миллионныя средства на пользу

и благо того же народа, съ котораго онъ ихъ нажилъ; желая ближе узнать этотъ народъ и избрать для наилучшаго достиженія послѣдней цѣли—и лучшія средства, миллионерша превращается въ простую швею-портниху и поселяется въ маленькой квартиркѣ въ этой восточной части Лондона, населенной бѣдными рабочимиъ людями. Судьба Гарри нѣсколько иная: выросшій и воспитанный въ зажиточномъ дворянскомъ семействѣ и получившій хорошее образованіе, Гарри, 23 лѣтъ отъ роду, узнаетъ въ своему ужасу, что онъ не болѣе, какъ приемышъ плебейскаго происхожденія, сынъ сержанта изъ того же восточнаго Лондона. Тогда, сбросивъ съ себя свое общественное положеніе, какъ ему болѣе непринадлежащее, Гарри пользуется тѣмъ, что выучился когда-то для забавы столярному мастерству, изъ джентльмена превращается въ простого столяра и поселяется въ той же самой бѣдной части города, гдѣ и Анжела. Естественно, они случайно сходятся, знакомятся и любятъ другъ друга; но для насъ не въ этомъ дѣло. Однажды, гуляя по улицамъ и разговаривая объ окрестностяхъ, Гарри коснулся въ своей бесѣдѣ миссъ Мессенджеръ, какъ богатой наслѣдницы, владѣвшей по близости множествомъ домовъ, нисколько не подозрѣвая ея тождества съ скромной швеей Анжелой Кеннеди. И вотъ молодые люди начинаютъ мечтать на ту тему, что бы они сдѣлали для блага бѣднаго народа на мѣстѣ этой богатки.

Гарри прежде всего высказывается за необходимость устроить для населенія на Уайтчепелѣ театръ и концертный залъ. „Ежели молодая наслѣдница дѣйствительно захотѣла бы сдѣлать что-нибудь доброе,—добавляетъ онъ,—то должна прежде всего здѣсь устроить увеселительный дворецъ для народа!“ Анжела сочувственно поддакиваетъ ему и рядомъ другихъ вопросовъ старается выпытать болѣе подробно его мнѣніе по этому предмету. Гарри продолжаетъ далѣе фантазировать, указывая на потребность для восточнаго Лондона, еще болѣе существенную,—на недостатокъ школъ для юнаго поколѣнія этой части города. „Нужно, по крайней мѣрѣ,—воскликаетъ онъ,—открыть здѣсь полдюжины школъ для мальчиковъ и дѣвочекъ!“ — „Да, это очень хорошая мысль“,—соглашается Анжела. — „Затѣмъ, при народномъ дворцѣ должны быть библіотека, читальня, клубы“. — „Разумѣется,—поддерживаетъ его фантазію Анжела:—слѣдуетъ завести также музыкальный залъ для концертовъ“. — „Мало того: музыкальную школу!“—воскликаетъ онъ. — „Не забудьте также школу для танцевъ“,—скромно замѣчаетъ она, и т. д., и т. д. Воображеніе молодыхъ людей постепенно все болѣе и болѣе разыгрывается, вмѣстѣ съ ходомъ раз-

витія плана. Воздушные замки строятся и растутъ; къ увеселительнымъ цѣлямъ прибавляются образовательныя заботы о поднятїи бѣднаго народа на болѣе высокій уровень умственнаго развитія и наилучшаго воспитанія и подготовки къ труду.

Анжела продолжаетъ упорно носиться съ этой фантазіей и любить, при послѣдующихъ свиданіяхъ съ Гарри, возвращаться къ этому плану, приглашая его къ дальнѣйшей разработкѣ. Молодая фантазія населяетъ свой волшебный замокъ всевозможными для народа развлеченіями, увеселеніями и средствами для обученія лицъ обоого пола, всякаго возраста и всѣхъ состояній. Здѣсь будутъ всевозможныя игры, забавы и виды спорта, начиная съ бѣгання на конькахъ, катанья на велосипедахъ и національных танцевъ, кончая стрѣльбой въ цѣль, игрой на сценѣ, декламированіемъ и т. д. безъ конца. Почти всѣ виды искусства и науки здѣсь будутъ представлены—особенно имѣющіе прикладное значеніе для промышленности, начиная съ рисованія и живописи по фарфору, точенія по дереву, по кости, костюмерному и кулинарному искусствамъ и т. д., и кончая умѣньемъ вести дѣловую корреспонденцію—и въ томъ числѣ даже умѣньемъ писать любовныя записочки, что, въ глазахъ влюбленной парочки, представлялось дѣломъ не малой важности!..

Романъ кончается, разумѣется, практическимъ осуществленіемъ этихъ фантазій. Бѣдная швея Анжела отдаетъ лишь приказаніе своему alter ego милліонершѣ Анжелѣ, и вотъ возникаетъ волшебный дворецъ для народа, созданный ея воображеніемъ совместно съ ея возлюбленнымъ и населенный всѣми развлеченіями и учебными принадлежностями, которыя только были придуманы ихъ пылкой фантазіей; она ведетъ туда своего удивленнаго жениха, показываетъ ему дворецъ со всѣми его чудесами, цѣликомъ воплотившими ихъ планы, и въ заключеніе общаетъ этому счастливцу отпраздновать свою свадьбу въ тотъ день, когда дворецъ окончится постройкой и широко и гостепріимно раскроетъ свои ворота для всей лондонской бѣдноты.

Прошло со времени появленія этого произведенія Вальтера Безанта менѣе двухъ лѣтъ, а плодотворное зерно его фантазій начало превращаться въ плодъ, и вымыселъ—въ дѣйствительность... Еще не всѣ даже успѣли прочесть трогательную исторію Анжелы и Гарри, какъ въ 1884 г. въ англійскихъ, а затѣмъ въ иностранныхъ газетахъ появилось извѣстіе о новомъ обширномъ филантропическомъ проектѣ въ восточномъ Лондонѣ; вмѣсто фантастической молодой милліонерши ея планами проникся одинъ солидныхъ лѣтъ филантропъ—сэръ Эдмундъ Гей Кэрри, который

и постарался осуществить на практикѣ идею Безанта о народномъ дворцѣ (People's Palace). Для этой цѣли понадобилось, конечно, большое количество денегъ; по первоначальному уже разсчету на постройку и первое обзаведеніе новаго учрежденія необходимо было не менѣе семидесяти-пяти тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Въ богатой Англіи, гдѣ романъ Вальтера Безанта только-что передъ этимъ возбудилъ всеобщее вниманіе въ лондонской бѣдности и ея нуждамъ своей фантазіей, нашлось тотчасъ же значительное число сочувствующихъ жертвователей изъ всѣхъ классовъ общества на доброе дѣло. Открылась подписка для осуществленія этой филантропической затѣи, и со всѣхъ сторонъ посыпались крупныя пожертвованія. Управление такъ-называемаго благотворительнаго фонда Бомонта (Beaumont Trust), подписало на „Народный Дворецъ“ (People's Palace) 12½ тысячъ фунтовъ. Королева Викторія оказала немедленно свое высокое покровительство и подписала 200 фунтовъ. Богатый цехъ суконщиковъ пожертвовалъ прямо сорокъ тысячъ фунтовъ; управление общественной благотворительности (Charity Commissioners) въ виду благихъ цѣлей учрежденія, удовлетворяющихъ задачамъ самаго управленія (помощь всякаго рода бѣднымъ), обязалось давать ежегодно на содержаніе Дворца двѣ съ половиною тысячи фунтовъ. Затѣмъ отъ отдѣльныхъ лицъ поступили не менѣе богатые дары уже съ какою-либо спеціальною цѣлью; напр., извѣстный лордъ Розберри взялся устроить на свой счетъ при Дворцѣ обширную купальню и школу плаванія. Сэръ Эдуардъ Гиннессъ (Guinness) вызвался открыть на собственный счетъ зимній садъ при Дворцѣ, стоимостью въ девять тысячъ фунтовъ. Дайеръ Эдвардъ подарилъ Дворцу огромный дорого стоющій органъ для концертнаго зала; были и другіе жертвователи, менѣе крупные. Какъ бы то ни было, лѣтомъ 1886 года уже три четверти проектированныхъ суммъ было собрано, что уже составило приблизительно около одного милліона русскихъ бумажныхъ рублей. Уже можно было начать постройку, и вотъ 28-го іюня 1886 года на улицѣ Майль-Эндъ-Родъ (Mile End Road), составляющей продолженіе знаменитой Уайтчепель (Whitechapel), въ самомъ центрѣ восточнаго Лондона, принцъ и принцесса Уэльскіе торжественно совершали закладку „Народнаго Дворца“ (People's Palace). Менѣе чѣмъ черезъ годъ, а именно 14-го мая 1887 года, королева Викторія лично пожелала присутствовать при открытіи Дворца, причемъ любезно подала свою руку во время процессіи скромному поѣту, фантазія котораго всего пять лѣтъ передъ тѣмъ родила

самую мысль и дала первый толчокъ этому совершавшемуся великому событію въ народной жизни лондонскаго рабочаго класса...

„Народный Дворецъ“ (People's Palace) лежитъ на разстояніи полчаса ѣзды отъ Англійскаго Банка и слѣдовательно отъ средоточія всей торговой дѣятельности Сити Лондона, этого богатѣйшаго въ мірѣ города. Мѣстоположеніе Дворца какъ нельзя лучше соответствуетъ его назначенію: онъ находится на большой улицѣ, нѣкогда даже большой дорогѣ, связывающей Сити съ загородными окрестностями. Нынѣ онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ бѣднѣйшими кварталами Лондона, каковы: Гакней (Hackney), Шордичъ (Shoreditch), Бетналь-Гринъ (Bethnal-Green) Попларъ (Poplar) и Степней (Stepney), не говоря объ Уайтчепелѣ; въ то же время мимо его воротъ проходятъ конно-железные омнибусы, а недалеко лежитъ и станція подземной железной дороги. Такимъ образомъ, положеніе для массы рабочаго люда восточной части города—центральное, а сообщеніе отовсюду удобно и дешево. Главное зданіе Дворца расположено на дворѣ, нѣсколько шаговъ отступивъ отъ улицы и отдѣлено отъ нея рѣшеткой: оно носитъ названіе „Королевиной залы“ (Queen's Hall) и представляетъ собой огромный, красивый залъ, сто-тридцати футовъ длины, семидесяти-пяти ширины и шестидесяти высоты, вмѣщающій въ себѣ двѣ тысячи пятьсотъ человѣкъ, предназначенный для концертовъ, праздничныхъ увеселеній и отчасти картинныхъ выставокъ. Съ обѣихъ сторонъ идутъ галереи, поддерживаемыя каріатидами, а простѣнки между огромными окнами украшены двадцатью-двумя статуями „добрыхъ королевъ“, начиная съ Эсхиры Персидской и кончая Луизой Прусской; на одномъ концѣ залы помѣщается большая статуя королевы Викторіи, а на противоположномъ—величественный органъ. По бокамъ расположены меньшія комнаты, служащія для разныхъ собраній и цѣлей административныхъ. Въ непосредственной связи съ „Королевиной Залой“ лежитъ обширный, съ верхнимъ свѣтомъ, читальный и библиотечный залъ, напоминающій, конечно, въ уменьшенномъ размѣрѣ, извѣстный читальный залъ (Reading Room) Британскаго музея. Непосредственно рядомъ возвышается прекрасное зданіе „техническаго училища“ Дворца, съ его мастерскими, лабораторіями и классами. Затѣмъ эти главныя постройки окружены со всѣхъ сторонъ отдѣльными зданіями, частью постоянными, частью временными и занимающими обширное пространство земли. Все еще видимо находится въ періодѣ зиждительства и, кромѣ первыхъ строеній, смотритъ чѣмъ-то недоконченнымъ или подлежащимъ передѣлкѣ. Тѣмъ не менѣе, быстрота всего этого

огромнаго сооружеія, на мѣстѣ бывшаго здѣсь лишь три года назадъ пустыря, съ жалкимъ рабочимъ домомъ, наконецъ, само „идейное“ происхожденіе его изъ головы поэта,—все это представляетъ явленіе въ высшей степени необычайное и странное, даже для Англіи, при всѣмъ извѣстной оригинальности и энергіи ея жителей!..

Посмотримъ же поближе, какимъ образомъ и въ какихъ формахъ осуществилась счастливая мысль англійскаго поэта. Народный Дворецъ является филантропическимъ учрежденіемъ совершенно новаго типа, ибо единовременно преслѣдуетъ три цѣли помощи народу, которыя обыкновенно бываютъ раздѣлены, а отчасти, до послѣдняго времени, не всѣ и получали должное признаніе. Цѣли эти, во-первыхъ, доставленіе народу разнообразныхъ здоровыхъ и дешевыхъ развлеченій, которыя не только отвлекали бы его отъ кабаковъ и вообще порочнаго времяпрепровожденія, но и будили бы въ молодежи пытливость, давали матеріалъ для бесѣдъ и размышленія, развивали бы въ народѣ малознѣстное ему чувство изящнаго, вырабатывали бы вкусъ къ прекрасному и создавали вообще у народа новыя потребности къ развлеченію, до сихъ поръ неизвѣстныя, и которыя у невѣжественной толпы ограничиваются вездѣ больше ѣдой да питьемъ! Короче, Народный Дворецъ стремится доставить рабочимъ классамъ тѣ развлеченія, которыя были доступны до сихъ поръ, почти исключительно, однимъ богатымъ, и мало того,—онъ желаетъ пріучить народъ къ этимъ менѣе грубымъ и болѣе облагораживающимъ увеселеніямъ.

Вторая цѣль Дворца состоитъ въ содѣйствіи народному образованію, разумѣя его здѣсь во всѣхъ видахъ, а не одну грамотность, и на первомъ планѣ стоитъ разнообразное техническое образованіе, способное не только дать юношѣ техническую ловкость руки, вѣрность глаза и подготовить его къ той или иной промышленной профессіи, но и доставить уже взрослому работнику, въ часы его вечерняго досуга, возможность пополнить свои свѣденія въ той или иной отрасли знанія или даже искусства. Наконецъ, третья цѣль Дворца для народа заключается, такъ сказать, въ соединеніи первыхъ двухъ—въ развитіи у массы бѣднаго люда чувства общительности, чувства мало ему знакомаго и мало доступнаго, одинаково какъ по бѣдности, такъ и невѣжеству, а между тѣмъ крайне важнаго для правильнаго общенія и даже успѣшнаго умственнаго развитія.

Сообразно этимъ тремъ цѣлямъ дѣятельность учрежденія выражается въ столькихъ же направленіяхъ. Здѣсь преслѣдуются

три задачи: 1) увеселительная; 2) образовательная и 3) социальная. Но чтобы должнымъ образомъ оцѣнить значеніе каждой изъ нихъ, необходимо, хотя въ нѣсколькихъ словахъ остановиться, охарактеризовать предварительно населеніе восточнаго Лондона, т.-е. ту арену, гдѣ происходитъ дѣйствіе. Изъ милліона населенія этой части громаднаго города около одной трети, или болѣе тридцати процентовъ, принадлежатъ къ бѣднякамъ, жизнь которыхъ проходитъ въ непрестанной борьбѣ съ нуждой и отсутствіемъ всякаго комфорта. Согласно новѣйшимъ статистическимъ изслѣдованіямъ по этому предмету, около ста тысячъ изъ нихъ находятся даже въ состояніи постоянной нужды: дурно одѣтые, дурно питаемые, кое-какъ перебиваясь изо дня въ день, эти послѣдніе, конечно, постоянного заработка и, слѣдовательно, платы не имѣютъ; иногда они сильно голодаютъ, иногда получаютъ временное средство къ заработку или пособіе, и обыкновенно съ полнѣйшей безпечностью истрачиваютъ тотчасъ же чтò получаютъ, за чтò едва ли впрочемъ возможно строго осуждать людей въ ихъ положеніи. „Непредусмотрительность бѣдныхъ,—справедливо говоритъ извѣстная мистриссъ Вудсъ,—имѣетъ свое широкое основаніе и оправданіе“... „Жизнь была бы нестерпима, еслибы бѣдняки всегда—по ея картинному выраженію—должны были совершать ту бездну лишенія, на краю которой они постоянно находятся“. Вообще значительная часть населенія восточнаго Лондона (болѣе трехъ сотъ тысячъ) пользуется самою низкою степенью матеріальнаго довольства, представляя собой обратную сторону той роскоши и богатства, которая такъ поражаетъ глазъ иностранца, въ недалекомъ разстояніи на центральныхъ улицахъ Сити или въ Вест-эндѣ ¹⁾.

Особенно является неутѣшительнымъ положеніе молодежи среди этого бѣднаго населенія: къ недостатку средствъ пропитанія для него присоединяется также и недостатокъ средствъ образованія; несмотря на принудительность въ этомъ отношеніи, установленную закономъ, многіе изъ нихъ учатся тамъ кое-какъ и кое-чему, т.-е. не идутъ дальше простой грамотности и не получаютъ никакой профессиональной подготовки, вслѣдствіе чего увеличиваютъ и безъ того слишкомъ обширную массу неискусныхъ рукъ“ (unskilled hands), годную только для такъ-называемой черной работы, вездѣ низко оплачиваемой. Положеніе въ этомъ отношеніи городского, напр., мальчика, по словамъ Вальтера Безанта,

¹⁾ См. новый превосходный трудъ по этому предмету: *Labour and Life of the People*. Vol. I. East London. Edited by Charles Booth. Second edition. 1889.

гораздо хуже деревенскаго: въ томъ возрастѣ, когда обыкновенный городской мальчикъ, — говоритъ онъ, — вступаетъ въ жизнь съ умомъ, отчасти уже развитымъ школой, а больше жизнью и неискусными, ничему необученными руками, то его пытли- вому уму прежде всего для разрѣшенія является тотъ страш- ный вопросъ, что онъ помощью этихъ рукъ ничего не умѣетъ сдѣлать и слѣдовательно ничего не умѣетъ заработать... Деревенскій парень между тѣмъ каждый день своей жизни узнаетъ что-нибудь новое; онъ научается постепенно, ежедневной прак- тикой, какъ употреблять въ дѣло свои руки и свою физическую силу. Въ восемнадцать лѣтъ нерѣдко онъ уже очень искус- ный земледѣлецъ; онъ уже знаетъ и можетъ сдѣлать много весьма полезныхъ и необходимыхъ вещей; городской же парень, если не учился ремеслу, не знаетъ ровно ничего; онъ никогда не будетъ имѣть шансовъ хорошо устроить свою жизнь; онъ за- ранѣе какъ бы осужденъ на нищету и никогда не будетъ имѣть ни малѣйшей независимости. То-же самое, *vice versa*, относится и къ женскому полу: городская дѣвочка, обратно съ своей деревен- ской сестрой, если опять-таки не обучалась какому-нибудь ре- меслу, то въ возрастѣ положимъ тѣхъ же восемнадцати лѣтъ и въ лондонскомъ рабочемъ классѣ большею частью не знаетъ ровно ничего въ видахъ заработка; при той несчастной и бѣд- ной обстановкѣ, при которой она выросла, ее мать не успѣла, да и не могла научить, — напр., хотя сколько-нибудь владѣть иглой или сѣумѣть приготовить самое простое кушанье; позднѣе работа на фабрикѣ или заведеніи, гдѣ все дѣло сводится боль- шею частью на какія-нибудь однообразныя, не требующія искус- ства движенія, не дастъ ей въ этомъ отношеніи ровно ничего, кромѣ голаго и ничтожнаго заработка, лишая ее въ то же время особенно важной для нея въ юномъ возрастѣ семейной обста- новки, разлучая часто съ матерью ¹⁾.

Помимо недостатка обученія въ смыслѣ профессиональной подготовки, лондонская молодежь рабочаго класса терпитъ также не мало отъ недостатка полезныхъ и здоровыхъ развлеченій. Все ихъ дѣтство и юность имѣетъ цыганскій характеръ, проходитъ на улицѣ съ ея физической и моральной грязью; они рано при- учаются видѣть лишь дурную сторону жизни и рано усваиваютъ себѣ всѣ недостатки и пороки взрослыхъ. Сближеніе между двумя полами происходитъ преждевременно и браки заключаются въ самомъ юномъ возрастѣ: очень нерѣдко можно встрѣтить въ ра-

¹⁾ См. *Walter Besant's The People's Palace* въ „*Contemporary Review*“. 1887. Febr.

бочемъ классѣ восемнадцатилѣтнія женатыя парочки, тогда какъ въ среднемъ, въ болѣе зажиточныхъ классахъ англійскаго народа, браки заключаются несравненно позже (для мужчинъ средний брачный возрастъ 28,2, для женщинъ 25,9 лѣтъ)¹⁾. Такимъ образомъ въ двадцатипятилѣтнему возрасту подобные супруги, можетъ быть, имѣютъ уже полдюжины ребятъ, рожденныхъ въ бѣдности и лишеніяхъ, для подобной же жизни крайней нищеты, холода и голода, неимѣнія труда и неумѣнья трудиться...

Съ цѣлью именно устраненія всѣхъ этихъ описанныхъ золъ и неправильныхъ явленій устроенъ Народный Дворецъ: онъ предназначенъ, главнымъ образомъ, для молодежи обоого пола рабочаго класса и имѣетъ своей ближайшей задачей удалить ее съ улицы отъ всѣхъ соблазновъ и искушеній (кончающихся подобными неразумными браками), сдѣлавъ это путемъ устройства развлеченій, доступныхъ массѣ бѣдной молодежи. Народный Дворецъ стремится въ то же время наполнить головы молодежи знаніемъ, а руки сдѣлать искусными и сильными во всѣхъ тѣхъ отрасляхъ промышленнаго труда, которому они себя захотятъ посвятить, дабы не оставаться всю жизнь въ положеніи черно-рабочаго. То же имѣется въ виду и для женской половины молодежи, съ добавленіемъ еще сюда нѣкотораго обученія женщинъ обыкновенному руководѣлю и кулинарному искусству, въ размѣрахъ, необходимыхъ для ихъ положенія, какъ будущихъ женъ и матерей.

Народный Дворецъ есть зданіе публичное, слѣдовательно доступное для осмотра каждому со всѣми его учрежденіями, увеселеніями за ту или другую небольшую входную плату (обыкновенно два пенса, а иногда даже одинъ, т.-е. отъ пяти до десяти копѣекъ). Но для того, чтобы постоянно пользоваться разнообразными учрежденіями Дворца и при томъ всякаго рода и возможно дешево, необходимо сдѣлаться его членомъ, которыхъ теперь и насчитывается около пяти тысячъ человекъ (четыре тысячи дѣйстви молодыхъ людей было въ концѣ 1888 года), а по заявленію управленія ихъ было бы гораздо больше, еслибы для того позволяло мѣсто. Члены эти обоого пола пользуются привилегіей свободнаго, т.-е. бесплатнаго входа во Дворецъ на всѣ его выставки, игры, гимнастическій залъ и нѣкоторые концерты (по четвергамъ бесплатно); многія же другія учрежденія имъ доступны по пониженной, сравнительно съ посторонними посѣ-

¹⁾ The Elements of vital statistics, by *Arthur Newsholme*. London, 1889, стр. 47.

тителями, платѣ. Кромѣ того, лишь члены института (какъ они называются) могутъ быть избираемы въ члены различныхъ клубовъ и обществъ, связанныхъ съ Дворцомъ; дѣйствительными членами имѣютъ право сдѣлаться лица отъ шестнадцати до двадцати-шести-лѣтняго возраста; лица старше этихъ лѣтъ въ члены не принимаются, а моложе (отъ тринадцати до шестнадцати лѣтъ) поступаютъ въ такъ-называемое младшее отдѣленіе или секцію (Junior section) Института съ особыми правами. Первые, т.-е. взрослые, платятъ за членство три шиллинга за четверть года, или десять съ половиною шиллинговъ въ годъ—мужчины, и полтора шиллинга за четверть года, или пять шиллинговъ за годъ—лица женскаго пола, съ однообразной платой за регистрацію или запись по одному шиллингу въ каждомъ случаѣ. Мальчики въ младшемъ отдѣленіи платятъ четыре пенса регистраціи и четыре пенса помѣсячно членской платы; за это, кромѣ тѣхъ же выгодъ, какъ взрослые, они получаютъ право бесплатно посѣщать спеціальныя для нихъ классы рисованія, стенографіи и нѣкоторыхъ другихъ предметовъ, и кромѣ того спеціально для нихъ устраивается разъ въ недѣлю какое-нибудь чтеніе или другое развлеченіе. Въ виду массы ребятъ, желающихъ сдѣлаться членами этого отдѣленія, число ихъ пришлось ограничить ком-плектомъ въ двѣсти пятьдесятъ человѣкъ.

Такимъ образомъ, первый принципъ, который лежитъ въ основаніи всей дѣятельности Народнаго Дворца, выражается въ томъ, что народу доставляется возможность пользоваться этимъ учрежденіемъ отнюдь не задаромъ, но за плату, хотя умѣренную и общедоступную. Англичане думаютъ, что доставлять народу что-либо—будь то развлеченіе, или обученіе, или образованіе—совершенно бесплатно, значило бы принижать до нѣкоторой степени тѣхъ лицъ, которыя пользуются этими общественными одолженіями, и, кромѣ того, даровое пользованіе учрежденіями не безъ вреда дѣлу привлекло бы многихъ лицъ, которыя не будутъ ими серьезно дорожить и въ нихъ нуждаться. Поэтому, какъ правило, въ Англіи всѣ подобныя учрежденія, кромѣ немногихъ государственныхъ, отнюдь не даровыя, и съ помощью небольшой платы стремятся развить въ публикѣ чувство независимости и сознанія о необходимости жертвовать чѣмъ-нибудь по-сильно для поддержанія общаго дѣла, которое этой публикѣ дорого ¹⁾.

¹⁾ См. напр. протестъ противъ бесплатнаго обученія извѣстнѣйшаго англійскаго педагога проф. Лори: Occasional Addresses on Educational subjects, by SS. Laurie Cambridge 1888. Извѣстная книжная фирма въ Лондонѣ Griffith, Farran and Co

Отчетъ за первый годъ дѣятельности Народнаго Дворца (1887-88), представленный сэромъ Эдмундомъ Кэрри въ управленіе благотворительнаго фонда Бомонта (полученный нами на мѣстѣ), сообщаетъ полную картину этого новорожденного великана, призваннаго на свѣтъ забавлять и поучать лондонскій бѣдный людъ; на первомъ планѣ въ отчетѣ стоятъ секція увеселеній, и первое мѣсто между ними занимаетъ музыка. Каждую недѣлю въ Королевиной залѣ два раза (по четвергамъ и субботамъ) въ теченіе года давались концерты, охотно посѣщаемые бѣдной публикой. Количество посѣтителей среднимъ числомъ доходило до двухъ съ половиною тысячъ, т.-е. зала была переполнена; сверхъ того, по воскресеньямъ, два раза въ день, дается органнй концертъ духовной музыки, причемъ часы концертовъ оба раза приноровлены такъ, чтобы отнюдь концерты не совпадали со временемъ церковной службы и начинались въ то же время не много раньше открытія кабаковъ, — конечно, съ цѣлью отвлеченія отъ нихъ.

Другое, затѣмъ, развлеченіе, практикуемое Народнымъ Дворцомъ, заключается почти въ непрерывно другъ за другомъ слѣдующихъ выставкахъ всевозможнаго рода и базарахъ самаго разнообразнаго характера. Такъ, въ теченіе года перебивали слѣдующія выставки: первая изъ нихъ — выставка птицеводства и голубей — происходила въ октябрѣ 1887 года, затѣмъ специальная выставка: цвѣточная, — растенія изъ семейства златоцвѣтныхъ (*Chrysanthemums*). Въ декабрѣ принцъ Уэльскій открылъ во Дворцѣ выставку лондонскихъ ремесленныхъ учениковъ, преимущественно по столярному дѣлу, гравированію и художествамъ, по металлическимъ издѣліямъ; многіе ученики при этомъ въ костюмахъ XVI-го в. работали при публикѣ свои издѣлія. Затѣмъ слѣдовали выставки: въ мартѣ — собакъ, въ апрѣлѣ — кошекъ и кроликовъ, въ маѣ, почти одновременно, — двѣ выставки: такъ-называемая выставка рабочихъ (*Workmens Exhibition*) и выставка цвѣтовъ; далѣе послѣдовали двѣ въ разное время, раздѣленное равными мѣсяцами: выставка картинъ и выставка ословъ и лошадей; наконецъ, послѣдняя, за отчетный годъ, была выставка пѣвчихъ птицъ ¹⁾.

недавно сдѣлала школьному управленію любопытное предложеніе: ради аккуратнаго посѣщенія классовъ обложить всѣхъ учениковъ добавочнымъ сборомъ въ 1 пенни, взимаемымъ съ понедѣльника. Если ученикъ посѣщалъ школу аккуратно, то пенни ему возвращается въ пятницу, или зачитывается для будущей недѣли; въ противномъ случаѣ остается въ пользу школы.

¹⁾ Въ августѣ 1889 г., когда мы лично посѣщали Народный Дворецъ, тамъ

Кромѣ всѣхъ перечисленныхъ выставокъ, осенью былъ устроенъ специально осенній праздникъ, продолжавшійся цѣлыхъ шесть недѣль, одновременно съ выставкой цвѣтовъ и новѣйшихъ картинъ, и заключавшійся въ разнообразныхъ увеселеніяхъ членовъ и посѣтителей. Такъ, образованный во Дворцѣ изъ членовъ хоръ и оркестръ дали цѣлый рядъ концертовъ, а гимнастическое общество, изъ молодежи — небольшой гимнастическій турниръ, сопровождаемый призами, причемъ въ представленіи особо участвовало и женское отдѣленіе гимнастическаго общества. Всѣ зданія были убраны по праздничному, разукрашены флагами и китайскими фонарями. Въ теченіе этихъ шести недѣль число посѣтителей превзошло *триста тысячъ* человекъ, причемъ для лицъ, особенно бѣдныхъ, вмѣсто двухъ пенсовъ (десять копѣекъ) допущенъ былъ входъ по одному пенни, и масса посѣтителей, и взрослыхъ, и малолѣтнихъ, наполнявшая выставку, судя по ихъ крайне скудному наряду, принадлежала къ такимъ слоямъ пролетаріата, который никогда и нигдѣ не показывается и не допускается на выставкахъ и другихъ торжествахъ.

Къ увеселительному отдѣленію Дворца принадлежать также — хотя и не совсѣмъ, можетъ быть, правильно — читальня и обширная купальня, устроенная на средства графа Розберри. Мы уже говорили о роскошномъ зданіи читальни; ее съ начала же основанія предполагали открыть бесплатной для всѣхъ желающихъ; но это въ состояніи будутъ привести въ исполненіе лишь позднѣе, такъ какъ она лежитъ въ глубинѣ двора и нельзя предупредить ея посѣтителей отъ допущенія также въ остальные отдѣленія Дворца. Библиотека образуетъ собой высокое восьмиугольное зданіе, въ семьдесятъ-шесть футовъ въ діаметрѣ, съ мѣстомъ для двухъ-сотъ-пятидесяти тысячъ томовъ; пока до сихъ поръ имѣется около двадцати тысячъ — большею частью пожертвованныхъ книгъ, съ числомъ ежедневныхъ читателей отъ девяти-сотъ до тысячи человекъ. Управление сдѣлало опытъ противный англійскому ригоризму — открыло читальню по воскресеньямъ, и въ результатъ получилось двойное число посѣтителей, сравнительно съ буднями; во время же осеннихъ праздниковъ число ихъ было до того велико (превосходило шесть тысячъ), что управление Дворца не могло справиться, не прибѣгая къ помощи

одновременно происходили двѣ выставки: картинъ, перенесенныхъ туда изъ Burlington House (Лондонская академія художествъ) и выставка обезьянъ (болѣе шестисотъ штукъ) разныхъ породъ, переведенныхъ сюда изъ Alexandra Palace — для великаго удовольствія всего юнаго поколѣнія Восточнаго Лондона.

добровольныхъ и, конечно, бесплатныхъ услугъ самой публики. Какъ и вездѣ на свѣтѣ, лондонская читающая публика, изъ бѣднѣйшихъ слоевъ народа, больше всего спрашиваетъ беллетристику, и любимѣйшіе ея писатели—Энсуортъ, Диккенсъ, Брайдонъ, Ридъ, Мариеттъ и Жюль Вернь. Помимо того, спрашивается значительное количество сочиненій по путешествіямъ, исторіи, прикладнымъ наукамъ, технологіи и проч.

Наконецъ, для дѣтей, по временамъ, устраиваются спеціальныя праздники, состоящіе въ соотвѣтствующихъ ихъ возрасту развлеченіяхъ и выставкахъ (фокусники, театръ маріонетокъ, ученыхъ собакъ и проч.), что привлекаетъ, разумѣется, многія тысячи малютокъ бѣднѣйшаго населенія, не имѣвшихъ прежде почти для себя никакой забавы въ этой части города.

Въ заключеніе слѣдуетъ добавить, что къ увеселительной секціи управленія принадлежитъ также завѣдываніе постояннымъ буфетомъ, который имѣется при Дворцѣ и торгуетъ разными напитками, за исключеніемъ хмельныхъ, и съѣдобнымъ, соотвѣствующимъ вкусу и карману рабочаго.

Второе отдѣленіе, или секція, Народнаго Дворца, какъ мы сказали, завѣдуетъ народнымъ образованіемъ и выполняетъ эту задачу двоякимъ образомъ: доставляя профессиональное образованіе малолѣтнимъ въ своихъ техническихъ *дневныхъ* школахъ и давая, въ то же время, возможность взрослымъ рабочимъ пополнять или совершенствовать ихъ познанія во всевозможныхъ отрасляхъ науки и искусства, въ свободное отъ ихъ обязательныхъ занятій время, т.-е. въ будни, по *вечерамъ*, и по субботамъ, когда въ англійскихъ мастерскихъ, въ большинствѣ случаевъ, работы заканчиваются въ обѣду, или послѣ обѣда—отъ часу дня и позднѣе.

Цѣль техническихъ школъ Дворца заключается во всестороннемъ развитіи всѣхъ способностей мальчика путемъ систематическаго курса техническаго и ручнаго обученія; школы не намѣреваются научить его всецѣло ремеслу, но просто доставить для каждаго мальчика нужное образованіе, какъ для головы, такъ и для руки. Культивируя способность наблюденія и здравость сужденія, школа имѣетъ въ виду такъ обучать мальчика, чтобы онъ былъ наилучшимъ образомъ приспособленъ ко всякому ручному труду, которому онъ себя посвятить. „Наше намѣреніе,—говорилъ руководитель Народнаго Дворца одному нѣмецкому путешественнику,—состоитъ въ томъ, чтобы доставить наилучшимъ образомъ ребятамъ большую часть необходимаго техническаго образованія, послѣ того какъ они оставили начальную школу и раньше нежели поступили въ обученіе въ мастерскую. Мы твердо

убѣждены, что мальчикъ, который пробылъ два года въ хорошей технической школѣ, окончивая ее, будетъ имѣть одинаковую ловкость въ обращеніи съ орудіями своего ремесла, все равно какъ бы онъ пробылъ все время въ современной мастерской, да въдобавокъ еще къ тому онъ будетъ владѣть хорошимъ научнымъ образованіемъ для своего ремесла и сродныхъ съ нимъ занятій. Только когда мальчикъ работаетъ въ школьной мастерской, можно сказать, что онъ дѣйствительно чему-нибудь научается, тогда какъ на фабрикѣ, а часто и у ремесленника, онъ совершенно предоставленъ себѣ, и объ немъ никто не заботится... Другая, наконецъ, выгода этихъ техническихъ школъ состоитъ въ томъ, что мальчики еще въ ней испробуютъ свои силы и свою пригодность для того или другого ремесла“ ¹⁾...

Сообразно этимъ задачамъ приноровлена къ указаннымъ потребностямъ и вся программа преподаванія дневныхъ классовъ для малолѣтнихъ: такъ, курсъ перваго года—общаго характера, и нѣкоторая спеціализація наступаетъ лишь во второй годъ обученія, для чего имѣются при училищѣ извѣстныя мастерскія и лабораторіи. Условія поступленія въ техническія школы Дворца слѣдующія: мальчикъ долженъ быть старше 12 лѣтъ отъ роду. кончить курсъ, по крайней мѣрѣ, въ пятомъ классѣ (Fifth Standard) народнаго начальнаго училища, или выдержать соотвѣтственный экзаменъ. Родители мальчика—если онъ не сирота—получаютъ не болѣе двухъ-сотъ фунтовъ въ годъ доходу, т.-е. дѣти болѣе зажиточныхъ людей — не допускаются и, наконецъ, менѣе чѣмъ на годъ ученики не принимаются. Плата за обученіе полагается шиллингъ въ недѣлю, или 10 шиллинговъ за школьный терминъ, которыхъ четыре въ году, и слѣдовательно около двадцати русскихъ рублей за круглый годъ; такова была назначена плата за первый годъ открытія школы; въ будущемъ же ее хотятъ понизить вдвое. При этомъ изъ ста-шестидесяти-шести мальчиковъ, поступившихъ въ школу, семьдесятъ-пять принято стипендіатами, а къ концу года все число учащихся мальчиковъ перешло за четыреста человекъ.

Уже въ настоящее время школа имѣетъ четыре отдѣленія, а постепенно предполагается открытіе и новыхъ; нынѣ имѣются: 1) плотничье и столярное отдѣленіе; 2) механиковъ и машинистовъ; 3) слесарей и металлическихъ рабочихъ; 4) рисовальщиковъ. Съ настоящей зимы (третьяго академическаго года школы)

¹⁾ Der Volks Palast in Ost London, von dr. Wilhelm Bode, въ журналѣ проф. Бемерта: „Der Arbeiter Freund“. Zeitschrift des Central-Vereins für das Wohl der arbeitenden Klasse. 1888, стр. 175.

должно послѣдовать еще открытіе химическаго отдѣленія училища. Число недѣльных часовъ для всѣхъ классовъ 30, и кромѣ того отъ одного до двухъ часовъ въ день домашнихъ занятій; по субботамъ уроковъ нѣтъ. Во всѣхъ трехъ классахъ училища, кромѣ математики, физики и частью химіи, преподаваемой всѣмъ обязательно, ученики проводятъ не менѣ четырехъ часовъ въ мастерскихъ и обучаются не менѣ двухъ часовъ одному изъ иностранныхъ языковъ, рисованію и—всѣ обязательно—гимнастикѣ и плаванію.

Вечерніе классы предназначены, какъ было сказано, преимущественно для взрослыхъ, хотя посѣщаются также и тѣми мальчиками, которые заняты днемъ въ лавкахъ, или конторахъ, или мастерскихъ, и желаютъ воспользоваться вечеромъ для пополненія своихъ познаній. Кромѣ всѣхъ тѣхъ же предметовъ, которые преподаются въ техническихъ школахъ днемъ, здѣсь имѣется масса другихъ предметовъ, преподаваемыхъ по выбору желающихъ. Классы открыты одинаково лицамъ обоего пола и всѣхъ возрастовъ, и всѣ учащіеся въ вечернихъ классахъ, какъ и мальчики въ дневныхъ, пользуются привилегіей взноса половинной платы за записки въ члены Дворца. Всѣ преподаваемые въ вечернихъ классахъ предметы можно раздѣлить на шесть разрядовъ: 1) *практическіе промышленные* классы, куда входитъ обученіе разнообразнѣйшимъ ремесламъ, начиная съ ремесла каменщиковъ и портняжнаго дѣла и кончая лабораторной практикой, электрическимъ освѣщеніемъ, книгопечатаніемъ. Плата за эти уроки разнообразилась отъ 4 до 6 шиллинговъ въ учебную сессію (за 3 учебныхъ мѣсяца); 2) *вечерніе научные* классы, въ которыхъ преподаются: математика, физика, механика, черченіе и постройка машинъ. Плата разнообразится отъ 4 до 15 шиллинговъ въ сессію, вмѣстѣ съ практическими упражненіями въ лабораторіяхъ и кабинетахъ; 3) *отдѣленіе искусства и рисовальные* классы, куда принадлежатъ всѣ виды рисованія и живописи, кончая гѣпкой, рѣзьбой и гравированіемъ; плата отъ 5 до 7¹/₂ шиллинговъ за четверть года; 4) *вечерній классъ музыкальный и вокальный*, разные виды пѣнія, въ томъ числѣ хоровое, и игра на разныхъ инструментахъ; плата отъ 2 до 9 шиллинговъ за 4 мѣсяца; 5) при вечернихъ классахъ имѣется еще *отдѣленіе* такъ-называемаго *общаго обученія* (Generalclasses), куда входятъ самыя разнообразныя предметы знанія, нужныя одинаково для обоихъ половъ,—начиная съ бухгалтеріи и новѣйшихъ иностранныхъ языковъ и кончая приготовленіемъ ко всевозможнымъ государственнымъ экзаменамъ (для чиновника акцизнаго, таможеннаго, телеграфиста,

почтмейстера и т. д.), къ экзаменамъ университетскимъ и даже такимъ занятіямъ, какъ топографическіе съемки и нивелированіе земель, шекспировскимъ классамъ и врачебному уходу за больными!.. Наконецъ, при Дворцѣ имѣются вечерніе классы специально для женскаго пола, въ которыхъ преподаются практически шитье платьевъ, бѣлья, домашняго хозяйства и кухонное искусство подъ руководствомъ извѣстной въ этомъ случаѣ спеціалистки г-жи Шарманъ. Эти послѣдніе классы усердно посѣщаются молодыми дѣвушками и замужними женщинами. Уроки домашняго хозяйства имѣють своею цѣлью развить въ нихъ сознаніе о необходимости и привычку содержать и вести въ должномъ порядкѣ и чистотѣ свое собственное хозяйство. Уроки же по приготовленію кушанья знакомятъ съ значеніемъ и дѣйствіемъ различныхъ питательныхъ веществъ на тѣло и важностью правильной кухни, которая должна равно избѣгать какъ значительной траты средствъ, такъ и неудобоваримости приготовленнаго кушанья. Ученицы рассказываютъ, что онѣ по возможности выслушанное въ школѣ на урокахъ пробуютъ у себя дома въ кухнѣ, и если что не удастся, то обращаются къ учительницѣ, которая поправляетъ ихъ ошибки и даетъ требуемое объясненіе. Многіе кухонные рецепты составляются въ классѣ и тутъ же пробуются на кухнѣ, гдѣ все ведется и готовится руками ученицъ ¹⁾.

Въ смыслѣ успѣха вечерніе классы, очевидно, удовлетворяя назрѣвшей потребности, приобрѣли большую популярность среди молодежи рабочаго и отчасти торговаго классовъ. Въ первый же годъ число учащихся въ этихъ классахъ дошло до трехъ тысячъ семисотъ шестнадцати человѣкъ обоюго пола по всевозможнымъ предметамъ и, не останавливаясь, увеличивается до настоящаго времени. Всѣ усилія управленія, въ виду такой удачи, направлены въ настоящее время на то, чтобы еще болѣе удешевить и популяризировать образованіе для бѣднаго населенія. Съ этою цѣлью упомянутыя выше платы для техническихъ дневныхъ классовъ уже понижены вдвое, а существующую теперь разнообразную плату для вечернихъ классовъ предполагается сдѣлать однообразной и также значительно уменьшить.

Обзоръ дѣятельности Дворца по народному образованію былъ бы неполонъ, еслибы мы еще разъ не обратили вниманія на содѣйствіе его къ преподаванію, въ интересахъ народнаго здравія, гимнастики. Дворецъ имѣетъ даже обширное особое помѣщеніе и за умѣренное вознагражденіе (1¹/₂ шиллинга за 1¹/₄ года—муж-

¹⁾ „Der Arbeiterfreund“ (вышеуказанная статья Вильгельма Боде), стр. 183.

чины, 1 шиллингъ—дамы и дѣти—бесплатно) всѣ желающіе, подъ руководствомъ преподавателей, соотвѣтствующаго пола, не только обучаютъ общей гимнастикѣ, но пользуются также, по желанію, и уроками по различнымъ видамъ атлетическаго спорта (фехтованію, боксированію и проч.) и военной гимнастики. Въ теченіе года въ гимнастическій классъ записано полторы тысячи мужчинъ и четыреста молодыхъ женщинъ. Не только теперь вся техническая школа обучается обязательно гимнастикѣ, но для будущаго сдѣлано распоряженіе объ обученіи во Дворцѣ гимнастическимъ упражненіямъ дѣтей изъ сосѣднихъ начальныхъ школъ, одновременно съ своими собственными классами.

Третья задача Народнаго Дворца—какъ мы сказали — *соціальная*, общежительная, и заключается въ содѣйствіи въ общенію между членами—путемъ устройства клубовъ, всевозможныхъ собраний, вечеринокъ, невинныхъ игръ и т. под. Всякій членъ Института, или Дворца, коихъ теперь насчитывается около пяти тысячъ, тѣмъ самымъ получаетъ право сдѣлаться путемъ избранія также и членомъ одного или нѣсколькихъ изъ многихъ клубовъ или обществъ, состоящихъ при Дворцѣ. Такихъ клубовъ насчитывается теперь 21: клубъ шахматный, клубъ діалектическій (для дебатовъ или упражненія въ краснорѣчіи), драматическій, литературный, бильярдный, клубъ боксированія, клубъ велосипедистовъ, клубъ лоунъ-теннисъ (игра мячемъ на воздухѣ), клубъ игроковъ въ крикетъ, клубъ игроковъ въ мячъ, клубъ рисовальщиковъ, клубъ стенографовъ, клубъ пловцовъ, общество хорового пѣнія, общество военной музыки, другой клубъ оркестровой музыки, соціальный клубъ для молодыхъ дѣвицъ, фотографическое общество и друг. Всѣ эти многочисленные клубы, преслѣдующіе столь разнообразныя цѣли, помѣщаются въ стѣнахъ Дворца и ведутся на сборныя деньги, сохраняя впрочемъ свои средства въ общей кассѣ. Клубъ для дѣвушекъ состоитъ изъ семи комнатъ въ нижнемъ этажѣ, имѣетъ свой особый входъ и совершенно отдѣленъ отъ остальныхъ помѣщеній; здѣсь есть комната музыкальная, комната для шитья, читальный залъ, и пр., гдѣ по выбору молодыя дѣвушки могутъ проводить свои вечера съ пользой и удовольствіемъ, занимаясь бесѣдой, музыкой или шитьемъ подъ руководствомъ почтенной матроны. Мужскіе клубы помѣщаются въ верхнихъ этажахъ съ особымъ входомъ и большимъ количествомъ комнатъ.

Сверхъ всѣхъ этихъ, такъ сказать, постоянныхъ собраний, устраиваются еще по временамъ общія собранія, или *généralion*, для всѣхъ членовъ института; такъ, въ январѣ прошлаго года были двѣ такъ-называемыхъ чайныхъ вечеринки (*two teas*) по случаю

пріема пяти сотъ новыхъ членовъ въ общество; затѣмъ въ теченіе года были устроены четыре собранія съ музыкой и танцами членовъ и ихъ друзей для тѣхъ же цѣлей сближенія и общаго увеселенія въ Королевиной залѣ, и, согласно отчету сэра Эдмунда Кёрри, оба эти народные бала прошли въ замѣчательномъ порядкѣ и приличіи; такихъ же два танцевальныхъ вечера было повторено, по желанію членовъ, въ гимнастическомъ залѣ во время осеннихъ праздниковъ, при чемъ число посѣтителей каждый разъ превосходило тысячу человекъ, и тѣмъ не менѣе поведеніе народа было образцовое и не вызывало никакихъ недоразумѣній съ полиціей.

Вся младшая, юная часть членовъ учрежденія наслаждалась въ теченіе года разнообразными играми, для нихъ приспособленными въ изобиліи, не только въ залахъ Дворца, но и въ отдаленіи отъ него. Такъ, городское управленіе Сити-Лондона (Corporation of the City of London) предоставило, ради пользы юнаго поколѣнія своихъ гражданъ, въ распоряженіе Народнаго Дворца превосходное поле въ нѣсколько акровъ, недалеко за городомъ, гдѣ Дворецъ расчистилъ и устроилъ мѣсто для игры въ крикетъ и мячъ (Football). Правленіе главной восточной желѣзной дороги (Great Eastern Railway), около которой это поле лежитъ, немедленно съ любезностью согласилось выдавать членамъ Народнаго Дворца билеты на проѣздъ по значительно пониженному тарифу.

Но о пользѣ дѣятельности Народнаго Дворца въ социальномъ отношеніи лучше всего можно судить по конечнымъ результатамъ, т.-е. количеству посѣтителей, которыхъ онъ успѣваетъ привлекать въ свои стѣны: число ихъ въ теченіе перваго отчетнаго года составило громадную цифру въ *полтора милліона человекъ* его посѣтившихъ, кромѣ постоянныхъ членовъ и учившихся. Огромное большинство этихъ посѣтителей принадлежало къ бѣднѣйшему населенію англійской метрополіи, и тѣмъ не менѣе, — замѣчаетъ офиціальный отчетъ, — во все это время при такомъ наплывѣ бѣднаго народа *не было ни одного скандала или даже малѣйшаго нарушенія порядка.*

Такова разнообразная дѣятельность великаго филантропическаго учрежденія на пользу общую, и замѣтимъ, что благотворное вліяніе Народнаго Дворца на населеніе восточнаго Лондона чуть не ежедневно растетъ и увеличивается вмѣстѣ съ распространеніемъ его извѣстности и популярности. Пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ, и, можетъ быть, сбудется и второе предсказаніе Вальтера Безанта: около воротъ Дворца будутъ толпиться не сотни, а многія тысячи мальчиковъ, съ тѣмъ, какъ выражается поэтъ кар-

тинно, чтобы Дворецъ „заперъ передъ ними ворота земного ада невѣжества, горькой зависимости и нищеты и открылъ двери въ земной рай знаній, искусства, довольства и человѣческаго достоинства“ ¹⁾.

Само собою разумѣется, какъ ни плодотворна дѣятельность Народнаго Дворца въ его борьбѣ съ человѣческимъ невѣжествомъ и бѣдностью, тѣмъ не менѣе она все-таки недостаточна для быстрого достиженія своихъ цѣлей — и чтобы удовлетворить въ данномъ отношеніи всю энергію англійскаго общества. Потребуются два, три такихъ дворца, для громаднаго города, дабы въ теченіе цѣлаго поколѣнія сгладить наиболѣе вопіющія проявленія его ненормальнаго соціальнаго положенія. Но рядомъ съ учрежденіями для помянутой борьбы *нужны люди, необходимы дѣтели*, которые находятся и создаются много труднѣе, тѣмъ самые дворцы; между тѣмъ потребность именно въ такихъ людяхъ сознается въ великомъ дѣлѣ человѣколюбія въ Англии, какъ и повсюду. Вотъ какъ описываетъ, на примѣръ, тотъ же самый восточный Лондонъ — замѣчательный современный филантропъ, священникъ Барнеттъ. „Уайтчепель (центральная и бѣднѣйшая часть восточнаго Лондона) имѣетъ много своихъ настоятельныхъ и спѣшныхъ нуждъ. Въ немъ встрѣчается много невѣжественныхъ мужчинъ и женщинъ, которые, работая цѣлый день, безъ праздниковъ и отдыха, почти забыли грамоту; они нуждаются въ образованныхъ друзьяхъ, которые бы научили ихъ, какъ лучше устроиться, чтобы поднять свой заработокъ, которые познакомили бы ихъ съ невинными и разумными развлеченіями и возбудили бы интересъ къ общечеловѣческимъ потребностямъ. У насъ много тамъ даже интеллигентныхъ рабочихъ и приказчиковъ, но которые желали бы знать болѣе о томъ свѣтѣ, среди котораго они живутъ: они нуждаются въ учителяхъ, которые въ воскресенье или по вечерамъ, въ классѣ или аудиторіи, доставляли бы имъ это необходимое знаніе легко и удобно, съ простотой и человѣческой симпатіей... У насъ много дѣтей, которыя кишатъ на улицахъ, досаждая другимъ, нанося лишь вредъ себѣ; они также нуждаются, чтобы кто-нибудь о нихъ позаботился, свезъ бы ихъ въ деревню подышать въ первый разъ въ жизни свѣжимъ воздухомъ, научилъ бы ихъ разумнымъ играмъ и забавамъ на открытомъ воздухѣ и руководилъ бы ими все ихъ дѣтство и юность. У насъ много бѣдняковъ, часто лежащихъ на одрѣ болѣзни, всѣми забытыхъ; они нуждаются

¹⁾ *Walter Besant: The People's Palace*, въ „Contemporary Review“ за 1887 г. Febr., стр. 232.

также въ людяхъ, которые вспомнили бы и разыскали ихъ, терпѣливо выслушали ихъ и, послѣ изслѣдованія, не только оказали бы имъ помощь и накормили, но и научили, какъ сдѣлаться свободными отъ нужды и независимыми. У насъ, наконецъ, много себялюбивыхъ, грубыхъ, отчаянныхъ; они также нуждаются косвенно въ людяхъ; имъ нужно познаніе Бога, что измѣнило бы всю ихъ жизнь. Но это опять-таки возможно не черезъ раздачу благочестивыхъ книжекъ, а черезъ такихъ людей, которые пожелаютъ узнать о нихъ истину путемъ терпѣливаго изученія и ознакомленія съ ними, съ чувствомъ состраданія и симпатіи¹⁾.

Итакъ, во всѣхъ поприщахъ филантропіи *люди*, пригодные для дѣла, не менѣе, а можетъ быть *еще болѣе нужны, чѣмъ самыя учрежденія и тѣ матеріальныя средства*, которыя требуются для ихъ содержанія. Жатва филантропіи обильна, но жнецовъ мало. Спрашивается: гдѣ же ихъ взять и что для этого нужно дѣлать? На этотъ нелегкій вопросъ получается опять фактический отвѣтъ въ другомъ англійскомъ учрежденіи подобнаго рода, также недавно возникшемъ, и въ томъ же восточномъ Лондонѣ, полчаса ходьбы отъ описаннаго „Народнаго Дворца“. Оба учрежденія преслѣдуютъ почти тѣ же самыя цѣли, но имѣютъ и большое внутреннее различіе.

II.—УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПОСЕЛЕНІЕ ВЪ ВОСТОЧНОМЪ ЛОНДОНѢ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ того же Уайтчепеля, недалеко отъ того мѣста, которое прославилось недавно звѣрскими убійствами женщинъ, до сихъ поръ неоткрытыми, проходитъ довольно грязная улица Commercial-Road, или-Street, на которой стоитъ церковь св. Іуды. Рядомъ съ нею небольшая дверь, со скромной надписью на доскѣ: „Toynbee-Hall“, черезъ узкій проходъ приводитъ на небольшой дворъ, на которомъ возвышается передъ глазами удивленнаго посѣтителя обширное и величественное готическое зданіе, скорѣе напоминающее по своему стилю университетскія зданія коллегій Оксфорда и Кембриджа, нежели обыкновенный типъ бѣдныхъ построекъ этой части Лондона.

Отъ церковнаго сторожа, который введетъ васъ въ это зданіе черезъ тотъ входъ, или даже любезно предложитъ пройти прямо чрезъ церковь, имѣющую внутреннее сообщеніе съ зданіемъ, вы услышите въ отвѣтъ на свой вопросъ то же самое, что прочли

¹⁾ „Whitechapel“, by Samuel A. Barnett. „The New Review“, October, 1889.

на дверяхъ: что это Toynbee-Hall, т.-е. „зданіе или учрежденіе Тойнби“, и что оно иначе называется „университетскимъ поселеніемъ въ восточномъ Лондонѣ“ (Universities' Settlement in East London). Этотъ отвѣтъ васъ, конечно, мало удовлетворитъ: кто же такой этотъ Тойнби, и что это за учрежденіе, столь солидное по своей наружности и въ такой бѣдной, злосчастной части города? Можетъ быть, этотъ Тойнби былъ богатый филантропъ, въ родѣ знаменитаго Пибоди, пожертвовавшаго миллионы на разныя благотворительныя постройки? Нѣтъ,—вамъ отвѣтять: Арнольдъ Тойнби былъ бѣдный человѣкъ, конечно, въ англійскомъ смыслѣ этого слова, жившій скромнымъ жалованіемъ тьютора, или воспитателя балліольской коллегіи при оксфордскомъ университетѣ. Можетъ быть, онъ былъ великій ученый или громкій общественный дѣятель? Въ отвѣтъ опять получится тоже: нѣтъ—и нѣтъ. По своему общественному положенію тьютора—нѣчто въ родѣ нашего приватъ-доцента въ университетѣ—наконецъ, по самому своему возрасту (онъ умеръ тридцати съ небольшимъ лѣтъ отъ роду), Арнольдъ Тойнби не могъ быть ни громкимъ, ни виднымъ дѣтелемъ и написалъ всего лишь одинъ небольшой томъ журнальныхъ статей и публичныхъ лекцій средняго достоинства, и тотъ—изданъ уже послѣ его смерти. Итакъ, Тойнби не былъ ни богатъ, ни знатенъ, ни особенно ученъ, занималъ очень скромное положеніе на общественной лѣствицѣ, и тѣмъ не менѣе его именемъ окрещено одно изъ самыхъ замѣчательныхъ филантропическихъ учрежденій нашего времени, какимъ только можетъ гордиться нашъ девятнадцатый вѣкъ. Кто же такой былъ, наконецъ, этотъ Тойнби и почему приобрѣло такую популярность его имя, сдѣлавшееся за послѣдніе годы общезвѣстнымъ чуть не каждому образованному европейцу, какъ по этому учрежденію, такъ и по многимъ серьезнымъ и интереснымъ экономическимъ изслѣдованіямъ, издаваемымъ на счетъ „фонда Тойнби“ (Toynbee Trust), очевидно, связаннаго съ памятью о томъ же самомъ скромномъ дѣятелѣ.

Для того, чтобы должнымъ образомъ оцѣнить это филантропическое учрежденіе, требуется обстоятельное ознакомленіе съ личностю самого Тойнби.

Арнольдъ Тойнби былъ сынъ Джозефа Тойнби, извѣстнаго лондонскаго врача, и родился въ 1852 г. Отецъ его умеръ, когда мальчику было всего лишь четырнадцать лѣтъ отъ роду, а потому некому было, повидимому, заботиться о надлежащемъ, правильномъ его образованіи. Подобно многимъ мальчикамъ, онъ обнаруживалъ въ дѣтствѣ склонность ко всему военному, почему мать и отдала его въ военное училище, въ которомъ впрочемъ

онъ оставался лишь два года, и долженъ былъ его покинуть, вѣроятно, по слабому состоянію своего здоровья. Затѣмъ Тойнби больше не поступалъ ни въ какую общественную школу, а обучался лишь дома, причемъ довольно рано, 18-ти лѣтъ, получалъ почти полную свободу заниматься какъ и чѣмъ онъ хочетъ. Въ это время у него развился большой вкусъ къ занятію исторіей, почему, наскоро приготовившись въ теченіе двухъ лѣтъ, онъ поступилъ въ оксфордскій университетъ (Balliol College) и попытался даже держать экзаменъ на стипендію, по англійскому университетскому обычаю, избравъ предметомъ для конкурснаго экзамена именно новѣйшую исторію. Экзаменъ былъ неудаченъ: Тойнби, что называется, провалился; но, тѣмъ не менѣе, по словамъ его біографа, оксфордскаго профессора Джауэта (Jowett), нѣкоторыя части его отвѣта до такой степени поразили экзаменаторовъ своей оригинальностью, что они старались его ободрить, приглашая продолжать занятія наукой.

Сильная болѣзнь, какъ результатъ крайне нервной организаци, прервала на время его университетскія занятія; поэтому, когда онъ вернулся впослѣдствіи въ Оксфордъ, то уже долженъ былъ отказаться отъ всякихъ дальнѣйшихъ попытокъ на стипендіи и отличіи, посвящая занятіямъ не болѣе часа или двухъ въ день. Тѣмъ не менѣе, по словамъ его учителя Джауэта, рѣдко кто изъ студентовъ въ Оксфордѣ провелъ четыре года съ болѣею пользою для себя и другихъ, чѣмъ этотъ весьма болѣзненный юноша.

По окончаніи курса ему тотчасъ предложено было остаться при университетѣ тьюторомъ при студентахъ-стипендіатахъ индійскаго правительства. Тойнби считалъ себя счастливымъ не только потому, что успѣлъ занять извѣстное общественное положеніе, но и по той причинѣ, что оно давало ему возможность остаться въ той же самой университетской коллегіи, продолжать занятія наукой и приносить посильную пользу 30 или 40 членамъ своихъ студентовъ и товарищей. Его здоровье въ этомъ времени какъ будто нѣсколько улучшилось, и Тойнби съ жаромъ обратился къ изученію политической экономіи и статистики, чтобы быть болѣе полезнымъ своимъ питомцамъ. Въ 1879 и 1880 гг., когда это происходило, какъ извѣстно, наука политической экономіи уже переживала тотъ кризисъ, который въ ней продолжается и въ настоящее время. Вѣра въ стройное зданіе науки, воздвигнутое усиліями Смита и Рикардо съ ихъ послѣдователями, была поколеблена и не замѣнена новой. Старые боги были низвергнуты, но алтари ихъ оставались пусты—никѣмъ не за-

мѣщены. Съ страстнымъ полемическимъ пыломъ молодой ученый бросился въ критику холоднаго абстрактнаго ученія политической экономіи Давида Рикардо, стараясь доказать, что крайнею отвлеченностью своихъ положеній, построенныхъ чисто дедуктивнымъ способомъ, безъ обращенія должнаго вниманія на требованія и условія дѣйствительной жизни, безъ изученія историческихъ особенностей разнаго времени и у различныхъ расъ, наука эта принесла болѣе вреда, нежели пользы. Многіе ея принципы, созданные при англійскихъ условіяхъ жизни, цѣликомъ прилагались по тому же шаблону къ чуждымъ и далекимъ формамъ общежитія Индіи, нанося ей тѣмъ крупный, неизгладимый ущербъ. Онъ предостерегалъ своихъ учениковъ, будущихъ администраторовъ и правителей этой послѣдней страны, отъ подобныхъ пагубныхъ ошибокъ въ дальнѣйшемъ будущемъ. „Абстрактная политическая экономія, — говорилъ онъ, — особенно много грѣшила своими поспѣшными обобщеніями и заключеніями въ сферѣ экономической политики и своимъ небреженіемъ ко многимъ существеннымъ сторонамъ соціального вопроса. Старая политическая экономія учила о производствѣ и распредѣленіи народнаго богатства при дѣйствіи сильной конкуренціи, какъ бы вездѣ возможной. Между тѣмъ извѣстно, что не только въ восточныхъ странахъ, подобныхъ Индіи, но и во многихъ частяхъ самой Англіи, такой конкуренціи въ извѣстныхъ отрасляхъ народнаго хозяйства можетъ не существовать. Міръ вообще поконится на разныхъ ступеняхъ прогресса въ различныхъ отрасляхъ труда, въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ. Между тѣмъ политическая экономія, въ своихъ положеніяхъ, всѣ эти степени прогресса какъ бы считала всегда однѣми и тѣми же. Она учила о принципѣ „наибольшаго богатства“, который совпадаетъ далеко не одинаково съ интересами всѣхъ классовъ народа и обуславливаетъ одностороннее и колоссальное развитіе существующей мануфактурной промышленности. Она проповѣдовала о производствѣ и накопленіи наибольшаго богатства, не обращая вниманія на его распредѣленіе. Она учила важности свободы труда и святости договора, забывая о тѣхъ условіяхъ, которыя уничтожаютъ фактически возможность свободнаго выбора, предоставляя нерѣдко рабочему лишь одну свободу — голодать“.

Въ виду такого скептическаго отношенія къ методамъ и результатамъ старой политической экономіи, Арнольдъ Тойнби ставилъ на видъ своимъ ученикамъ прежде всего необходимость изучать какъ исторію народа, дабы въ ней подмѣтить законы, управляющіе экономическими явленіями, такъ и дѣйствительную жизнь

и положеніе бѣдной его массы въ настоящее время, дабы знать народъ не по однимъ лишь газетнымъ слухамъ и быть готовымъ помогать ему во всѣхъ настоятельныхъ нуждахъ съ полнымъ знаніемъ дѣла. „Новая политическая экономія,—говорилъ онъ,—должна быть ближе къ фактамъ; она должна учить обязанностямъ такъ же, какъ и законамъ явленій; она не должна довольствоваться знакомствомъ съ доктринами ренты или денежнаго обращенія; но она обязана примирять гуманность съ знаніемъ, разумъ людей съ ихъ чувствами... Старая школа экономистовъ показывала опасность правительственнаго вмѣшательства; новая—показать—какъ и когда правительства должны вмѣшиваться“¹⁾.

Еще въ бытность Тойнби студентомъ произошло одно событіе, которое оказало огромное вліяніе на весь строй послѣдующей умственной и душевной жизни впечатлительнаго юноши, а также и на его будущія воззрѣнія: каеэдру исторіи искусства въ оксфордскомъ университетѣ занялъ знаменитый Джонъ Рёскинъ, и Арнольдъ Тойнби сразу сдѣлался однимъ изъ любимѣйшихъ его учениковъ. Джонъ Рёскинъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ дѣятелямъ современной Европы, хотя его громкая извѣстность болѣе ограничивается предѣлами своей страны; внѣ же Англіи, особенно у насъ въ Россіи, онъ почти неизвѣстенъ. При полномъ уваженіи, котораго заслуживаетъ эта свѣтлая и гуманная личность,—справедливость однако заставляетъ сознаться, что знакомство съ его произведеніями, въ особенности новѣйшими, невольно наводитъ cadaго читателя на мысль о томъ общезвѣстномъ оближеніи геніальности съ безуміемъ, которое дѣлаетъ итальянскій ученый Ломброзо. Необыкновенное трудолюбіе соперничаетъ у Рёскина съ не менѣе удивительной разносторонностью его ума и познаній: въ теченіе его продолжительной жизни (ему нынѣ болѣе 70 лѣтъ) онъ написалъ нѣсколько десятковъ названий сочиненій по самымъ различнымъ наукамъ и общественнымъ вопросамъ, и нѣкоторыя изъ сочиненій содержатся въ пяти, шести толстыхъ томахъ. Главная его спеціальность—исторія и критика искусствъ; но онъ написалъ много произведеній по естественнымъ наукамъ, по архитектурѣ, поэзіи, воспитанію, и, наконецъ, съ шестидесятихъ годовъ занимается преимущественно социальными науками и политической экономіей, по которымъ уже и выпустилъ въ свѣтъ нѣсколько книгъ, возбудившихъ къ себѣ самыя противорѣчивыя отношенія публики, но во всякомъ случаѣ имѣв-

¹⁾ Lectures on the Industrial Revolution in England by the late *Arnold Toynbee*. A Short Memoir, by B. Jowett, Rivinctons. 1884, XIV.

шихъ крупный успѣхъ. Въ своихъ произведеніяхъ Джонъ Рёскинъ является то блестящимъ оригинальнымъ мыслителемъ, который умѣетъ подойти къ разрѣшенію вопроса крайне своеобразными путями и умѣетъ освѣтить его совершенно новымъ свѣтомъ, то онъ поражаетъ читателя своимъ вычурнымъ, фигурнымъ языкомъ, сопоставленіями, аллегоріями, метафорами, по временамъ напоминающими Карляйля; то, наконецъ, приводитъ въ удивленіе неожиданными и почти необъяснимыми парадоксами, кои не въ состояніи разрѣшить и усвоить человѣкъ съ обыкновеннымъ здравымъ смысломъ.

Далѣе, Джонъ Рёскинъ, получившій въ наслѣдство огромное состояніе (болѣе ста-пятидесяти-семи тысячъ фунтовъ стерлинговъ) однихъ денегъ, т.-е. болѣе полутора милліона русскихъ рублей, роздалъ его все, преимущественно для добрыхъ цѣлей, оставивъ себѣ лишь 12 тысячъ, и въ то же самое время общій успѣхъ его сочиненій и дѣятельности былъ такъ великъ, что Рёскинъ — обратно, вѣроятно, со всѣми писателями въ мірѣ (исключая, впрочемъ, поэта Броунинга) — дождался чести живо видѣть себѣ монументъ самаго почетнаго свойства и характера: основано уже нѣсколько лѣтъ „Рёскинское общество“ специально для изученія, толкованія и пропаганды его воззрѣній! При обществѣ существуетъ специальный журналъ и выпускаются отдѣльныя изданія ¹⁾).

Въ области общественныхъ наукъ и специально политической экономіи, воззрѣнія Рёскина отличаются самостоятельностью, и независимостью: они не подчиняются какому-либо принятому, ходячему шаблону. Такъ, въ политикѣ онъ себя называлъ иногда консерваторомъ, тогда какъ его, по справедливости, многіе причисляли скорѣе къ радикаламъ, между прочимъ, за его нелюбовь ко всякимъ полумѣрамъ или компромиссамъ въ законодательствѣ Англіи, которыми, какъ извѣстно, оно характеризуется. Точно также въ политической экономіи Рёскинъ не принадлежитъ ни къ одной изъ существующихъ школъ; онъ расходится съ каждой изъ нихъ въ чемъ-нибудь, хотя и сближается въ тѣхъ или иныхъ отношеніяхъ: сужденія его въ этой области вообще отличаются большою рѣзкостью и крайностью, — онъ рѣшительно критикуетъ всѣ основы современнаго экономическаго строя, стараясь, подобно своему учителю Карляйлю, все подвергнуть этической оцѣнкѣ; онъ, напримѣръ, ненавидитъ „конкуренцію“, эту основу теперешняго народнаго хозяйства, и противопоставляетъ ей „ко-

¹⁾ The Ruskin Reading Guild Journal. Изъ многочисленной литературы о Рёскинѣ см., напр. Life and teaching of John Ruskin, by J. Marshall Mather, также The Round Table Series III. John Ruskin Economist. Edinburgh, 1884.

операцію“, которую и желаетъ сдѣлать великимъ закономъ, предназначеннымъ управлять всѣмъ производствомъ и распредѣленіемъ богатствъ. Но и самое понятіе коопераціи Рёскинъ опредѣляетъ весьма своеобразно, разумѣя подъ ней вовсе не извѣстную экономическую комбинацію отдѣльныхъ предпринимателей или промышленно-торговыхъ фирмъ, но товарищества, распространенныя на цѣлыя націи. Въ то время, какъ общепринятая политическая экономія изслѣдуетъ законы и изучаетъ способы удовлетворенія человѣческихъ потребностей или желаній, не входя въ разсмотрѣніе природы или сущности ихъ, — Рёскинъ, обратно съ этимъ, стремится раздѣлить понятіе „нужды“ отъ понятія „желанія“, предлагая наукѣ имѣть дѣло лишь съ первымъ, т.-е. принимать въ основу сужденія только дѣйствительныя потребности челоуѣка, а не фиктивныя. Другими словами, экономисты въ основѣ челоуѣческой дѣятельности кладутъ, по его мнѣнію, одинъ такъ-называемый „экономическій мотивъ“, т.-е. себялюбіе, *egoism*; онъ же старается поставить рядомъ съ нимъ „законъ любви“, какъ онъ выражается: т.-е. широкая симпатія къ челоуѣку должна, по его мнѣнію, одинаково служить для руководства индивидуальной дѣятельности челоуѣка и точно также исходнымъ пунктомъ всякой коллективной политики. Эта альтруистическая струя глубокой симпатіи къ челоуѣку, окрашенная религіознымъ мистицизмомъ, проникаетъ всѣ произведенія Рёскина и побуждаетъ его искать и признавать въ каждомъ челоуѣкѣ прежде всего „брата“, интересы котораго должны быть всѣмъ одинаково дороги, не въ теоріи только, но и на практикѣ; чистые принципы христіанскаго ученія онъ старается повсюду слить, „обратно существующему“, съ обязанностями каждодневной жизни.

Понятно, какое громадное вліяніе долженъ былъ получить такой искренній филантропъ на умы и сердца своихъ слушателей, ставъ профессоромъ въ Оксфордѣ. Безъ всякаго даже его личнаго старанія, Рёскинъ сдѣлался идиоломъ молодежи, центромъ, около котораго вращалось все лучшее въ умственномъ и нравственномъ отношеніи въ университетскомъ городѣ; его моральныя воззрѣнія производили сильнѣйшее впечатлѣніе на убѣжденія и даже на весь житейскій *habitus* его учениковъ. Наплывъ на его лекціи былъ такъ великъ, что скоро не нашлось ни одной достаточно помѣстительной аудиторіи, и пришлось перенести ихъ въ городской театръ, гдѣ онъ одно время и читались, и это, надо замѣтить, несмотря на отсутствіе у Рёскина всякаго внѣшняго ораторскаго таланта. Еще болѣе лекцій, въ смыслѣ сближенія и вліянія на молодежь, глубокіе слѣды оставляли его част-

ныя бесѣды съ ними: любимой темой, между прочимъ, разговоровъ Рёскина съ его въ большинствѣ аристократическими слушателями было развитіе въ нихъ уваженія къ физическому труду на пользу своихъ ближнихъ бѣдняковъ. Поэтому, вмѣсто столь распространеннаго между англійскими студентами, разныхъ видовъ, спорта и игръ, профессоръ отправлялся со своими учениками чинить хижину какой-нибудь бѣдной старухи или, осыпавъ градомъ насмѣшекъ всѣхъ проходящихъ, поправлять дорогу въ деревню Хинксы (Hinksey), близъ Оксфорда. Тойнби сдѣлался скоро самымъ горячимъ его адептомъ, и, какъ сознается его биографъ и товарищъ Монтэгу, Рёскинъ оказалъ самое глубокое впечатлѣніе на весь складъ его убѣждений, хотя онъ съ нимъ и не соглашался, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ частностяхъ ¹⁾. Ему, можетъ быть, онъ обязанъ отчасти своимъ непріязненнымъ отношеніемъ къ старой ортодоксальной школѣ экономистовъ, но всего сильнѣе, нѣтъ сомнѣнія, Рёскинъ развилъ у него чувство симпатіи къ бѣдной массѣ народа, стремленіе ближе узнать и лично познакомиться съ ней, оказать возможную помощь къ умственному и моральному поднятію ея и улучшенію ея матеріальнаго быта. Въ этомъ-то отношеніи, какъ справедливо, хотя и проиризуя, замѣчаетъ Монтэгу, на людей, подобныхъ Тойнби, общеніе съ профессоромъ Рёскинымъ оказало крайне сильное воздѣйствіе, которое навѣрное просуществовало гораздо долѣе, нежели плохо починенная ими сообща дорога близъ Оксфорда.

Въ результатъ всѣхъ этихъ вліяній и обстановки своей университетской жизни изъ Тойнби выработался горячій поборникъ интересовъ рабочихъ классовъ, и, готовясь къ профессурѣ, онъ преимущественно посвящалъ себя изученію всѣхъ сторонъ народной жизни, — напримѣръ, законодательства о бѣдныхъ, фабричное законодательство, законъ о заработной платѣ, и проч., т.-е. такихъ вопросовъ, которые именно болѣе близко связаны съ благосостояніемъ всей массы народа. Но мало того: онъ порывался всегда лично познакомиться съ этимъ самымъ народомъ, и особенно съ его бѣднѣйшими представителями. Онъ пришелъ къ убѣжденію, что одна денежная помощь, не сопровождаемая знаніемъ и симпатіей, отнюдь не достаточна для того, чтобы улучшить положеніе бѣдныхъ. Эти чувства, по его мнѣнію, могутъ

¹⁾ Во время этихъ оригинальныхъ экспедицій оксфордскихъ студентовъ подъ начальствомъ Рёскина для починки дорогъ, послѣдній настолько уже высоко ставилъ Тойнби предъ другими его товарищами, что при производствѣ этихъ работъ возложилъ на него обязанность *десятника* (foreman)!.. См. Arnold Toynbee, by F. C. Montague. Johns Hopkin's University Studies, Seventh Series, I. Baltimore. 1889, стр. 14.

явиться и вырасти лишь чрезъ продолжительное и тѣсное общеніе съ народомъ, приобретаемое совмѣстною съ нимъ жизнью. Еще студентомъ, во времена своихъ ваканцій, онъ переселялся нерѣдко изъ Оксфорда въ Уайтчепель, въ Лондонъ, въ какія-нибудь скромныя меблированныя комнаты, населенныя рабочимъ людомъ, и предлагалъ свои услуги или мѣстному благотворительному обществу, или м-ру Барнетту, викарію церкви св. Іуды, извѣстному филантропу, и впослѣдствіи одному изъ главныхъ основателей Toynbee Hall. Получивъ, такимъ образомъ, нѣкоторую officialную санецію и помощь своимъ филантропическимъ стремленіямъ, Тойнби по цѣлымъ мѣсяцамъ, часто при самой неблагоприятной для житья обстановкѣ, проживалъ на Уайтчепелѣ, среди своихъ бѣдняковъ, и только вѣчно слабое состояніе его здоровья и другія обязанности заставляли его покидать этотъ крестъ, на себя возложенный, и возвращаться въ Оксфордъ, къ своимъ товарищамъ и занятіямъ. Онъ весь отдавался въ Уайтчепелѣ выполненію своего нравственнаго долга: дѣятельно посѣщалъ бѣдныхъ, знакомился съ ихъ біографіями, узнавалъ исторію жизни каждого, помогалъ совѣтомъ, хлопотами, деньгами и, главное, старался разсѣять столь сильное въ Англіи предубѣжденіе бѣдныхъ противъ богатыхъ; какъ выразился о немъ одинъ писатель, онъ старался „засыпать социальную пропасть путемъ своей безконечной душевной симпатіи къ людямъ и словами горячаго, искренняго убѣжденія“. Для этого, между прочимъ, онъ охотно посѣщалъ клубы рабочихъ, заводилъ разнообразныя между ними знакомства; много и подолгу спорилъ съ ними по разнымъ вопросамъ экономическаго и религіознаго характера. Въ то же время онъ болѣе и болѣе убѣждался на опытѣ, что въ современной филантропіи и вообще въ отношеніяхъ образованныхъ классовъ къ народу мысль и знаніе, по своему значенію, играютъ нынѣ даже болѣе важную роль, нежели одно чувство. Иначе говоря, лишь общеніе и личное знакомство образованныхъ людей съ бѣдняками—съ одной стороны, и поднятіе степени образованности этихъ послѣднихъ—съ другой, могутъ служить гарантіей полезныхъ результатовъ филантропической дѣятельности и серьезнаго прогресса въ положеніи народа.

Неутомимо преслѣдуя единовременно нѣсколько задачъ, начиная съ помощи бѣднымъ и кончая своими учеными трудами и занятіями тьютора съ учениками, Тойнби распатывалъ свое здоровье и утрачивалъ силы, а между тѣмъ, казалось, все было налицо для того, чтобы обезпечить ему продолжительную, счастливую жизнь; въ 1879 г. онъ женился вполне счастливо, по силь-

ной привязанности, въ которой только былъ способенъ, и, казалось, даже самое его здоровье на нѣкоторое время, какъ будто, нѣсколько укрѣпилось. Съ другой стороны, по общимъ свидѣтельствамъ всѣхъ, которые его помнятъ, никто въ Оксфордѣ не пользовался никогда такой общеою любовью и симпатіями всѣхъ его окружавшихъ, и никто такъ не заслуживалъ эту всеобщую любовь, какъ Арнольдъ Тойнби. По однообразнымъ отзывамъ двухъ его біографовъ—бывшаго наставника и начальника Джауэтта, а также и его товарища Монтэгу,—Тойнби былъ необыкновенно привлекательною личностью, который нравился всякому, съ кѣмъ лишь вступалъ въ отношенія ¹⁾. Онъ былъ, по выраженію Монтэгу, „человѣкомъ всему симпатизирующимъ и достойнымъ симпатіи въ полномъ смыслѣ этого слова. Онъ сочувствовалъ искренно страданіямъ людей, ихъ интересамъ и задачамъ, и скорбѣлъ объ ихъ ошибкахъ и проступкахъ. При сближеніи съ людьми, его не останавливали никакія постороннія соображенія: ни бѣдность, ни неудачи, ни заблужденія, повидимому, не уменьшали цѣны человѣка въ глазахъ Тойнби. При томъ онъ отнюдь не ограничивался однимъ состраданіемъ, а старался немедленно, безъ дальнихъ словъ, быть полезенъ, чѣмъ только могъ; онъ изучалъ дѣла своихъ друзей,—а таковыми были почти всѣ, съ кѣмъ онъ входилъ въ сношенія,—какъ будто это были его собственныя дѣла; онъ давалъ теплое и сердечное ободреніе лицамъ колеблющимся, мягко и деликатно порицалъ заблуждающихся, и въ то же самое время онъ никогда не ожидалъ ничьей благодарности. Изъ малаго запаса жизни и силъ, которыя держались въ его слабомъ тѣлѣ, онъ щедро осыпалъ одолженіями всѣхъ окружающихъ. Съ этимъ евангельскимъ милосердіемъ онъ соединялъ самую широкую симпатію другого рода; всѣ товарищи-студенты были его братья; онъ удивлялся талантамъ всякаго рода каждого изъ нихъ, и наслаждался всякимъ успѣхомъ, который улучшалъ жизнь отдѣльнаго лица или всего народа. „Вообще, еслибы Арнольдъ Тойнби жилъ въ тринадцатомъ вѣкѣ, то, конечно, поступилъ бы въ какой-нибудь строгій монастырскій орденъ, еслибы только раньше не сожгли его, какъ еретика. Въ девятнадцатомъ же столѣтіи онъ жилъ для того, чтобы показать, какъ много добра можетъ сдѣлать для всѣхъ окружающихъ своими единичными усиліями человѣкъ, котораго общество признаетъ бѣднымъ“ ²⁾.

¹⁾ Новый романъ: „Robert Elsmere“, пользующійся нынѣ такою огромною популярностью въ Англіи и Америкѣ, нѣтъ сомнѣнія, прототиномъ своего симпатичнаго героя имѣетъ личность Арнольда Тойнби.

²⁾ Arnold Toynbee, by *Montague*. Baltimore. 1889, стр. 13 и 31. Не слѣдуетъ

„Тайна вліянія Тойнби на всѣхъ окружающихъ,—поясняетъ другой біографъ, профессоръ Джауэттъ,—заключалась прежде всего въ его необыкновенной искренности. Никто не могъ никогда замѣтить въ немъ малѣйшихъ слѣдовъ тщеславія или самолюбія. Онъ былъ также всегда совершенно равнодушенъ къ получкѣ денегъ, если только въ состояніи былъ удовлетворить своимъ скромнымъ потребностямъ, и одинаково равнодушенъ къ мнѣніямъ о себѣ постороннихъ. Можно утвердительно сказать, что едва ли во всю жизнь онъ сдѣлалъ что-нибудь достойное серьезнаго порицанія, и былъ неспособенъ оказывать малѣйшее къ кому-либо нерасположеніе; поэтому сомнительно даже, чтобы Тойнби имѣлъ въ теченіе жизни хоть одного врага. Къ этому присоединялась необыкновенная очаровательность его бесѣды: онъ имѣлъ рѣдкій даръ говорить съ лицами всѣхъ классовъ общества“¹⁾. За нѣсколько лѣтъ до смерти, онъ открылъ въ себѣ еще новый талантъ: крайне ясно, плавно и свободно вести продолжительныя рѣчи предъ большой публикой.

Къ сожалѣнію, этотъ даръ краснорѣчія, по словамъ его біографовъ, косвенно и ускорилъ его смерть. Дѣло въ томъ, что страстное желаніе бесѣдовать и поучать народъ заставило его, со времени этого открытія, съ 1880 года, прочесть цѣлый рядъ публичныхъ лекцій для народа по разнымъ вопросамъ дня. Между тѣмъ нервное напряженіе, которымъ сопровождался этотъ новый трудъ, замѣтно ослабляло его силы и разрушало безъ того надломленный организмъ. Въ январѣ 1883 года онъ вздумалъ прочесть передъ обширной и весьма смѣшанной аудиторіей лондонскихъ рабочихъ двѣ лекціи о трудахъ извѣстнаго Генри Джорджа, къ нѣкоторымъ положеніямъ котораго онъ относился критически.

Небольшая часть аудиторіи принадлежала къ крайней партіи, которой не нравились нѣкоторыя замѣчанія оратора; поднялся шумъ, и лекціи по временамъ прерывались. Не нужно объяснять, какъ это должно было глубоко поражать и дѣйствовать на сердце впечатлительнаго энтузіаста. 13-го января того же года, почти умирающій, уже съ большимъ трудомъ прочелъ Тойнби вторую лекцію, на которой произошелъ безпорядокъ. Послѣ лекціи онъ слегъ. Страшное нервное возбужденіе произвело у него продолжительную, на нѣсколько недѣль, бессонницу; это состояніе разрѣшилось воспаленіемъ мозга и въ семь недѣль свело его въ мо-

забывать, при этихъ словахъ, какъ презрительно въ англійскомъ обществѣ относятся къ бѣднымъ.

¹⁾ Lectures on the industrial revolution in England, by the late *Arnold Toynbee*. 1884.

гилу; ему было менѣе 31-года отъ роду. Послѣднія мысли умирающаго вращались около той идеи, которой онъ посвятилъ свою короткую жизнь,—около тѣхъ бѣдствій, несчастій и бѣдности, которыя удручаютъ міръ ¹⁾).

Лекція 13-го января 1883 года была не только послѣднимъ публичнымъ словомъ Тойнби, но и его предсмертнымъ завѣщаніемъ, заповѣдью для его многочисленныхъ товарищей и учениковъ, такъ сильно его любившихъ. Задыхаясь, прерывающимся голосомъ, вотъ что обѣщалъ Арнольдъ Тойнби окружающимъ его въ послѣднемъ собраніи: „Мы, представители средняго класса въ Англіи,—говорилъ онъ,—мы до сихъ поръ пренебрегали вами; вмѣсто справедливости мы предлагали вамъ податки благотворенія, а вмѣсто симпатіи мы давали вамъ часто одни лишь жестокіе и неосуществимые совѣты; но я думаю, что мы теперь начинаемъ измѣняться къ лучшему. Еслибъ только вы захотѣли повѣрить намъ и на насъ положиться, я думаю, что многіе изъ насъ готовы посвятить жизнь свою на служеніе вамъ. Вы должны, говорю я смѣло, оказать снисхожденіе и простить намъ наши несправедливости; мы пагубно грѣшили противъ васъ,—правда, не всегда сознательно, но все-таки грѣшили, и въ этомъ намъ приходится сознаться; но если вы насъ простите,—нѣтъ, даже независимо отъ того, простите вы или нѣтъ,—мы обѣщаемъ служить вамъ, мы посвятимъ всю нашу жизнь на вашу пользу,—большаго, конечно, мы сдѣлать не можемъ. Мы, люди науки — мы желаемъ помочь вамъ, и лишь не знаемъ, какъ это лучше исполнить. Мы готовы пожертвовать для васъ, для народа, благомъ болѣе цѣннымъ, чѣмъ сама слава и общественное положеніе. Мы готовы отказаться отъ образа жизни, къ которому мы привыкли; мы готовы бросить наши книги и жизнь среди любимыхъ нами людей. И мы сдѣлаемъ это; только и мы, въ свою очередь, просимъ васъ объ одномъ. Помните, что мы работаемъ въ надеждѣ, что когда вы добьетесь, наконецъ, при нашей помощи лучшей жизни и лучшаго матеріальнаго положенія, то вы *дѣйствительно* будете вести лучшую жизнь. Скажу яснѣе: когда вы достигнете матеріальнаго прогресса, помните, что онъ не составляетъ самъ по себѣ конечной цѣли человѣческой жизни. Помните, что человѣкъ, подобно деревьямъ и растеніямъ, держится корнями земли, но, подобно имъ, долженъ всегда расти

¹⁾ Умирая, онъ все бредилъ о несчастіяхъ, господствующихъ въ мірѣ, и о средствахъ ихъ устранить, просилъ постоянно пустить въ комату больше свѣта и перенести его на солнце. „Свѣтъ все очищаетъ“,—ленеталъ умирающій, напоминая слова Гёте:—„солнце сжигаетъ зло, уничтожаетъ всякія несчастія... Дайте свѣту!..“

вверхъ и обращаться къ небесамъ. Если только вы будете при-держиваться любви къ вашимъ собратьямъ и стремиться къ великимъ идеаламъ, тогда мы найдемъ нравственное удовлетвореніе и счастье въ награду за наши усилія и жертвы для помощи вамъ,—иначе же наше искупленіе будетъ напрасно!“¹⁾).

Безвременная кончина Тойнби произвела сильное горестное впечатлѣніе на всѣхъ его многочисленныхъ друзей, а таковыми были всѣ лица, сколько-нибудь его знавшія. Немедленно открылась подписка на памятникъ Тойнби и собрана крупная сумма денегъ; колебались лишь, какое наилучшее назначеніе, достойное памяти покойника, сдѣлать изъ этихъ денегъ²⁾. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ его кончины, извѣстный намъ мистеръ Барнеттъ, викарій церкви св. Іуды въ Уайтчепелѣ, давно знавшій покойнаго Тойнби, въ тѣсномъ кругу своихъ бывшихъ товарищей въ оксфордскомъ университетѣ прочелъ по этому предмету особый отчетъ. Слѣдуетъ замѣтить, между прочимъ, что Барнеттъ является самъ однимъ изъ весьма крупныхъ общественныхъ дѣятелей въ Англіи, въ сферѣ благотворительности. Человѣкъ очень богатый, и не только образованный, но даже ученый, какъ многіе изъ духовенства этой страны, онъ принялъ на себя скромную обязанность священника въ бѣднѣйшей части города, побуждаемый исключительно мыслью наилучшаго выполненія своего пастырскаго христіанскаго долга въ отношеніи ближнихъ. Удаленный отъ круга своихъ оксфордскихъ друзей и обычного ему образа жизни, онъ, по личному выбору, уже 17-ть лѣтъ проживаетъ въ самомъ грязномъ и несчастномъ кварталѣ Лондона, дѣятельно занимаясь, со своей достойной, высокообразованной женой, дѣломъ милосердія, затрачивая на это значительныя суммы изъ собственныхъ средствъ³⁾.

¹⁾ „Progress and Poverty“. A Criticism of M. Henry George, being Two Lectures, delivered in St. Andrew Hall. Herman Str. London, by the late *Arnold Toynbee*, London, 1884.

²⁾ Изъ многочисленной, большою частію летучей литературы, появившейся о Тойнби, послѣ его смерти, упомянемъ, кромѣ мною разъ цитованныхъ уже книгъ Монтегю и Джаузтта (мемуаръ послѣдняго въ посмертномъ изданіи сочиненій самого Тойнби): I. Hopkin's University Studies, 5 Series. 1887. Herbert Adams. Notes on the Literature of Charities, стр. 19. Далѣе, „Good Men and true“, by *Alex. H. Japp* (Біографіи 10 филантроповъ, въ томъ числѣ и Тойнби).

³⁾ Американскій писатель Боукеръ (Bowker), въ своей замѣткѣ о Toynbee Hall, помѣщенной въ майской книжкѣ журн. „Century“ за 1887 годъ, опредѣляетъ время этого отчета почему-то весной 1884 г., что едва ли, по многимъ соображеніямъ, вѣрно, и противорѣчитъ прямому свидѣтельству нѣмецкаго ученаго Вильгельма Бодэ въ его статьѣ по тому предмету, помѣщенной въ журналѣ „Arbeiter Freund“, 1889 года —Zweitesviertel Jahrsheft, стр. 172.

Въ своемъ отчетѣ ¹⁾ м-ръ Барнеттъ развивалъ далѣе, высказанную Тойнби въ его послѣдней лекціи, мысль объ обязанности образованныхъ людей служить бѣднымъ, знакомиться съ ними и помогать имъ. Для ближайшаго осуществленія этой цѣли Барнеттъ совѣтовалъ основать въ восточномъ Лондонѣ поселеніе университетскихъ воспитанниковъ, сначала хотя бы въ наемномъ домѣ, а затѣмъ, если дѣло пойдетъ хорошо, то завести собственный университетскій домъ. Затѣмъ, онъ подробно развивалъ какъ планъ устройства этого новѣйшаго ученаго монастыря, посвященнаго дѣлу благотворенія на новыхъ широкихъ началахъ, такъ и самую организацію служенія бѣднымъ. По его проекту въ общежитіи поселяются питомцы университета, уже кончившіе въ немъ курсъ, съ означенною цѣлью приносить сильную пользу дѣлу милосердія и сближенія съ народомъ. Кто не можетъ постоянно жить тамъ, тотъ приглашается для временнаго пребыванія или является лишь днемъ для выполненія принятыхъ обязанностей, живетъ же гдѣ-нибудь въ другой части города, считаясь сочленомъ общежитія (associate). Во главѣ учрежденія состоитъ предсѣдатель или директоръ, избранный изъ лицъ съ высшимъ академическимъ образованіемъ, завѣдомо одушевленныхъ любовью къ человѣчеству и доказавшихъ это на дѣлѣ. Онъ не только руководитъ дѣятельностью общины, ободряя и направляя силы каждаго сочлена на то или иное, полезное въ духѣ учрежденія, дѣло, но и завѣдуетъ также общимъ хозяйствомъ. По правилу, каждый изъ членовъ обязательно долженъ оплачивать, какъ свое помѣщеніе, такъ и содержаніе. Въ члены принимаются лица со всякимъ университетскимъ образованіемъ: учителя, адвокаты, врачи, богословы, и каждому приписывается соотвѣтственное его специальности и вкусу занятіе. Они имѣютъ одну связь, которая ихъ собираетъ и держитъ вмѣстѣ: это ихъ общее стремленіе, какъ выразился онъ, *„не умереть безъ дѣла и безплодно“*, а содѣйствовать посильно поднятію и улучшенію быта народа. Труды каждаго въ общежитіи должны направляться, смотря по его силамъ, способностямъ и желанію: кто занимается обученіемъ, кто — заботой о бѣдныхъ и другими дѣлами благотворенія, кто посѣщаетъ больныхъ, кто старается одухотворить и влить новую жизнь въ дѣла церковныя и иныя общепользныя учрежденія; другіе дѣлаются

¹⁾ Первоначально напечатанъ въ „Nineteenth Century“ за 1884 г. и затѣмъ перепечатанъ въ сборникѣ статей г-на и г-жи Барнеттъ. См. Essays on Social Reform. Practicable Socialism. London. 1888. Названіе статьи: „University Settlement“.

членами въ различныхъ ассоціаціяхъ, сберегательныхъ кассахъ и клубахъ для рабочихъ, дабы путемъ своего высшаго знанія, опыта и добраго желанія содѣйствовать ихъ улучшенію, а гдѣ нужно, основанію и распространенію такихъ полезныхъ учреждений; наконецъ, это академическое поселеніе людей образованныхъ, одушевленныхъ одной и той же идеей общаго блага для народа, среди бѣдноты можетъ принести ей разнообразную пользу во многихъ отношеніяхъ, которыя даже трудно предвидѣть и пересчитать. А такъ какъ истинная бѣдность преимущественно поκειται на различіи и отдаленіи классовъ народа другъ отъ друга, то, помимо всего прочаго, уже самое существованіе такого поселенія въ бѣднѣйшей части города будетъ служить болѣе солиднымъ цѣлебнымъ средствомъ для дѣла, нежели существующая нынѣ дешевая филантропія подачекъ.

Предложеніе Барнетта немедленно разрѣшило недоумѣніе относительно памятника Арнольду Тойнби. Всѣ его друзья согласились, что такое „Университетское поселеніе—въ Восточномъ Лондонѣ“ будетъ наиболѣе подходящимъ и приличнымъ монументомъ въ честь покойнаго. Поэтому собранными для данной цѣли деньгами распорядились слѣдующимъ образомъ: часть ихъ, по желанію большинства друзей, должна составить вѣчный капиталъ или фондъ, называемый „фондомъ Тойнби“ (The Toynbee Trust), для изслѣдованій по различнымъ вопросамъ прикладной политической экономіи: была разсчитана сумма, достаточная для того, чтобы каждый годъ одинъ молодой экономистъ проводилъ зиму въ какомъ-нибудь изъ промышленныхъ центровъ страны, читалъ лекціи рабочимъ, и въ то же время собиралъ матеріалъ для изслѣдованія, которое печатается упомянутымъ обществомъ друзей Тойнби ¹⁾. Другая же часть собранныхъ денегъ, вмѣстѣ съ новой подпиской, поступила на устройство проектированнаго „Toynbee Hall“ или „Университетскаго поселенія въ Восточномъ Лондонѣ“. М-ръ Барнеттъ сдѣлалъ немедленно весьма крупное пожертвованіе, а именно: подарилъ кусокъ земли, стоимостью въ одну тысячу семьсотъ фунтовъ стерлинговъ, лежащій непосредственно около церкви св. Іуды, гдѣ и выстроено это учрежденіе. Для постройки употреблены частью раньше собранныя на памятникъ деньги, какъ мы говорили, частью понадобились новыя суммы, покрытыя подпиской (м-съ Барнеттъ пожертвовала, на примѣръ, весьма значительную сумму); наконецъ, часть денегъ на расходы была добыта займомъ подъ залогъ земли.

¹⁾ До сихъ поръ фондомъ напечатано четыре экономическихъ изслѣдованія, весьма солидныхъ, по разнымъ сторонамъ прикладной экономіи.

Такимъ образомъ, весьма скоро было воздвигнуто величественное готическое зданіе „Университетскаго поселенія“ посреди грязныхъ и бѣдныхъ построекъ этой части обширнаго Лондона. Таковъ памятникъ въ честь скромнаго тьютора балліольской коллегіи оксфордскаго университета,—памятникъ, который не уступитъ многимъ монументамъ въ честь болѣе громкихъ дѣателей и героевъ, выставленныхъ на площадяхъ города и въ Вестминстерскомъ аббатствѣ ¹⁾).

Ассоціація „Университетскаго поселенія“, или, точнѣе, поселеніе отъ университетовъ, т.-е. Оксфорда и Кембриджа (Universities' Settlement Association), какъ официально себя назвало общество, которымъ основанъ „Тоунбее Hall“, опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ задачи своего существованія и условія принятія въ члены. Параграфъ III такъ объясняетъ цѣль общества: „содѣйствовать образованію и средствамъ развлечения и удовольствій для народа въ бѣднѣйшихъ частяхъ Лондона и другихъ большихъ городовъ; изслѣдовать положеніе бѣдныхъ и споспѣшествовать всѣмъ проектамъ, имѣющимъ цѣлью поднять ихъ благосостояніе“. Членами ассоціаціи принимаются всѣ лица, которыя вносятъ годично не менѣе десяти шиллинговъ въ общую кассу. Члены или поселяются „на свой счетъ“ въ зданіи „Тоунбее Hall“ въ общежитіи, или же, если они не могутъ удѣлить всего своего времени, то лишь участвуютъ своимъ трудомъ въ свободное время, а живутъ внѣ учрежденія, считаясь товарищами (associate). Одинъ изъ участниковъ ассоціаціи, въ своемъ мемуарѣ о дѣятельности „Тоунбее Hall“, такимъ образомъ, болѣе обстоятельно, нежели голая официальная формула устава, опредѣляетъ задачи этого замѣчательнаго общежитія: „въ послѣдніе годы въ нашихъ университетахъ пробудился все болѣе и болѣе увеличивающійся интересъ къ положенію бѣдныхъ и созрѣло убѣжденіе, что задачи будущаго въ этомъ отношеніи могутъ быть разрѣшены лишь путемъ практическаго опыта, чрезъ болѣе тѣсное сближеніе и симпатію съ самими бѣдными. Одна изъ главныхъ трудностей жизни для бѣдныхъ въ городахъ, гдѣ рабочіе сосредоточены большими массами, заключается въ томъ, что они имѣютъ слишкомъ мало друзей и помощниковъ, которые пожелали бы

¹⁾ Тоунбее Hall посѣщенъ нами въ августѣ настоящаго года, во время известной стачки рабочихъ на докахъ, почему мы не нашли въ учрежденіи никого изъ его жильцовъ, кромѣ любезной и словоохотливой экономки, которая насъ водила по зданію и показывала все. Всѣ жильцы или резиденты въ это время, по ея словамъ, были заняты съ ранняго утра до поздней ночи внѣ дома. О пожертвованіяхъ м-ра Барнетта съ его супругой мы сообщаемъ съ ея словъ.

изслѣдовать и облегчить ихъ затрудненія; что они имѣютъ чрезвычайно мало точекъ соприкосновенія съ идеалами нашего вѣка въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, и вообще бѣдный людъ не имѣетъ своими сосѣдями людей воспитанныхъ и образованныхъ, а лишь такихъ же невѣжественныхъ бѣдняковъ, какъ онъ самъ (какъ извѣстно, въ Лондонѣ богатые классы живутъ въ совершенно отдѣльныхъ отъ бѣдныхъ частяхъ города). Между тѣмъ каждый годъ университеты выпускаютъ кучу молодежи, которая поселяется въ Лондонѣ и, будучи свободна отъ многихъ узъ и препонъ ихъ позднѣйшей жизни, можетъ вполне удобно для себя устроиться между бѣдняками и, отдавши имъ часть своей жизни, постараться наполнить эту социальную пропасть. Такимъ образомъ, цѣль „Университетскаго поселенія“ состоитъ въ томъ, чтобы связать университетъ съ Восточнымъ Лондономъ и направить человѣческую симпатію, энергію и общественное мнѣніе Оксфорда и Кембриджа на помощь наличнымъ условіямъ городской жизни для массы бѣднаго народа. Не мало было попытокъ и раньше со стороны образованныхъ лицъ сблизиться съ народомъ, узнать его и оказывать посильную помощь; но ихъ одиночныя усилія, вслѣдствіе самой разрозненности, приносили въ большинствѣ неудовлетворительные результаты. Другое дѣло теперь, при существованіи ассоціаціи: при общей жизни, связанные во-едино своею преданностью благополучію бѣдныхъ классовъ, эти товарищи-соработники, отдавая на благое дѣло все свое время или хотя бы часть досуга, нѣтъ сомнѣнія, много выиграютъ для достиженія тѣхъ же цѣлей, благодаря уже простому соединенію силъ и взаимной поддержкѣ другъ друга, и, наконецъ, получать практическое руководство, котораго недостаетъ изолированнымъ и неопытнымъ филантропамъ.

Дѣятельность университетской молодежи, преимущественно наполняющей это общежитіе, связывается со всѣми разнообразными сторонами народной жизни. На первомъ планѣ стоитъ помощь народному образованію, которая можетъ достигаться устройствомъ лекцій, уроковъ, чтеній и даже цѣлыхъ курсовъ. Наконецъ, одно частое общеніе бѣднаго класса со своими образованными и даже учеными сосѣдами не можетъ остаться безъ прямыхъ благопріятныхъ послѣдствій для ихъ умственнаго кругозора. Отчасти съ тою же цѣлью образованія, сколько и съ видами экономическими, резиденты или члены Toynbee Hall могутъ устраивать тамъ различныя промышленныя и художественныя выставки и—что особенно важно для бѣдной массы—являться на нихъ для указаній, объясненій и научныхъ демонстрацій разнаго рода.

Они могутъ устраивать кооперативныя общества, сберегательныя кассы, содѣйствовать устройству клубовъ, такъ-называемыхъ дѣтскихъ колоній за городомъ, различныхъ здоровыхъ и раціональныхъ увеселеній; но еще важнѣе: образованные и добросердечные люди, поселившіеся среди бѣдняковъ, самымъ своимъ присутвіемъ могутъ оказать благотѣльное вліяніе на всѣ мѣстные органы самоуправленія и администрацію; они могутъ также сдѣлаться членами мѣстныхъ попечительствъ о бѣдныхъ, членами благотворительныхъ обществъ, санитарными чиновниками, и во всѣхъ этихъ обязанностяхъ, прямо или косвенно, содѣйствовать той же благородной цѣли—улучшенію быта и положенія бѣдныхъ ¹⁾).

Общежитіе Toynbee Hall быстро наполнилось жильцами: свыше пятидесяти человѣкъ перебывало въ его гостепріимныхъ стѣнахъ за первые же четыре года (съ 1884 по 1889) резидентами, и ихъ пребываніе продолжалось отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ включительно. Въ августъ настоящаго года, при нашемъ личномъ, напримѣръ, посѣщеніи этого учрежденія, тамъ насчитывалось 22 постоянныхъ жилья изъ разныхъ университетовъ, между которыми было нѣсколько человѣкъ, поступившихъ туда съ самаго основанія и, слѣдовательно, отдающихъ свое время и свой трудъ бѣднякамъ уже болѣе пяти лѣтъ сряду. Каждый живетъ на свой собственный счетъ, уплачивая за помѣщеніе (двѣ небольшія комнаты) одинъ фунтъ стерлинговъ и за содержаніе съ прислугой—около двадцати-пяти шиллинговъ въ недѣлю, т.-е. въ среднемъ, жизнь въ Toynbee Hall обходится *около шести шиллинговъ или трехъ рублей въ день на человека*. Товарищъ (associate) или экстернъ, въ домѣ не живущій, которыхъ состоитъ постоянно около сотни, платитъ лишь одинъ небольшой членскій взносъ. Тѣмъ не менѣе, при учрежденіи имѣется нѣсколько комнатъ для гостей, гдѣ могутъ всегда заночевать и провести нѣсколько дней друзья, знакомые или посѣтители, желающіе присмотрѣться къ дѣлу общины. При этомъ тамъ находятся также обширныя столовыя комнаты и гостиныя, помимо разнообразныхъ классныхъ и аудиторій, и въ нихъ, въ случаѣ надобности, члены общежитія могутъ одинаково принимать за трапезой или бесѣдой цѣлыя сотни навѣщающихъ ихъ бѣдняковъ всякаго рода. Предсѣдателемъ совѣта или завѣдующимъ въ учрежденіи состоитъ, съ самаго основанія, почтенный

¹⁾ См. The Work of Toynbee Hall, by Philipp Lyttelton Gell, въ книгѣ Монтго: Arnold Toynbee. 1889, стр. 57 и далѣе.

от. Барнеттъ, столько потрудившійся и пожертвовавшій для его осуществленія своихъ денегъ; помощникомъ его — также пасторъ — Гардинеръ.

Мы видѣли, какъ опредѣляетъ уставъ учрежденія его цѣль; въ значительной степени она напоминаетъ тѣ цѣли, для которыхъ существуетъ и Народный Дворецъ, позднѣе основанный; но есть и серьезное различіе отъ него: во-первыхъ, къ цѣлямъ образовательной, увеселительной и социальной, въ которыхъ выражается вся дѣятельность Дворца, здѣсь, въ Тоунбее Hall, присоединяется также обширная благотворительность разныхъ видовъ, которая совсѣмъ не входитъ въ прямую задачу сравнимаго учрежденія; затѣмъ, главный центръ тяжести, такъ сказать, въ Тоунбее Hall заключается въ поселеніи университетскихъ воспитанниковъ, одушевленныхъ чувствомъ любви къ народу и желаніемъ ему помогать. Слѣдовательно, Тоунбее Hall не только доставляетъ народу школьное образованіе разнаго рода, но и является высокою практическою школою филантропіи для образованныхъ и богатыхъ классовъ общества; онъ учитъ ихъ великому дѣлу служенія народу, даетъ лицамъ этого класса факты, добытые путемъ личнаго наблюденія, по социальному вопросу, которые могутъ принести плоды въ послѣдствіи, когда вся эта университетская молодежь, собранная въ стѣнахъ Тоунбее Hall, однимъ лишь мотивомъ — гуманностью — пробьетъ себѣ жизненную дорогу, сдѣлается, можетъ быть, законодателями, судьями и администраторами Англіи; разнообразное духовное воздѣйствіе этой стороны учрежденія, разумѣется, нѣтъ возможности выразить въ статистическихъ таблицахъ, или просто даже расчесть, или написать на бумагѣ. Какъ справедливо замѣчаетъ пятый ежегодный отчетъ учрежденія, „эта внутренняя сторона труда „Университетскаго поселенія“, будучи крайне важной, но въ то же время дѣятельностью личной, молчаливой, не поддается внѣшней отчетности и не можетъ вылиться въ печатныя формы. Достаточно, впрочемъ, и того разнообразнаго матеріала, чтобы судить объ огромной пользѣ этого общежитія, который заключается въ послѣднемъ отчетѣ учрежденія. Къ ознакомленію съ его богатымъ содержаніемъ мы прямо и перейдемъ ¹⁾).

„Что такое скорѣе напоминаетъ собою Тоунбее Hall? — спрашиваетъ Rev. Barnett въ своемъ годичномъ отчетѣ: — учебный College или клубъ?“ — Въ отвѣтъ на это онъ поясняетъ, что Тоунбее

¹⁾ *Toynbee Hall Whitechapel. Fifth Annual Report of the Universities' Settlement in East London. 1889.*

Hall пока, въ настоящее время, напоминаетъ и то, и другое, хотя нельзя предсказать, разумѣется, во что онъ можетъ выработаться въ будущемъ. Въ виду того, что въ немъ идетъ обученіе въ разнообразныхъ классахъ и аудиторіяхъ, и что, мало того, какъ мы узнаемъ дальше, при College'ѣ живетъ большое число настоящихъ студентовъ, Toynbee Hall можетъ быть, пожалуй, названъ обширнымъ учебнымъ заведеніемъ; съ другой стороны, онъ похожъ на клубъ, потому что въ немъ живутъ и собираются люди извѣстнаго университетскаго образованія, которые принимаютъ тамъ своихъ друзей, устраиваютъ разные собранія и даже забавляются иногда, со своими многочисленными не рѣдко посѣтителемъ изъ бѣдныхъ, музыкой и разными играми, какъ въ настоящихъ клубахъ. Въ то же время Toynbee Hall ширится распространить свою дѣятельность внѣ стѣнъ, чего не дѣлаютъ ни колледжи, ни клубы: онъ стремится вліять на устройство и веденіе городскихъ школъ, на мѣстное управленіе, на развлеченія для народа, санитарныя мѣропріятія и даже самую религію Восточнаго Лондона, заботясь, чрезъ своихъ членовъ изъ духовенства, поднять религіозный и моральный духъ бѣднаго населенія. Благодаря всему этому, Toynbee Hall, или группа зданій близъ Уайт-чапеля съ ихъ аудиторіями, классами, обѣденными комнатами, гостинными и проч., является не только простымъ центромъ, гдѣ производится воспитательный и образовательный трудъ, въ которомъ читаются лекціи, происходятъ концерты, собранія, конференціи, но въ то же время Toynbee Hall *служитъ исходнымъ пунктомъ для труда многимъ лицамъ, которыя совсѣмъ даже въ дѣйствительности не заняты работой въ его стѣнахъ.*

Это значеніе труда сочленовъ учрежденія внѣ его стѣнъ замѣтно растетъ и усиливается съ каждымъ отчетнымъ годомъ: такъ, зимой 1888 года пятнадцать человѣкъ изъ жильцовъ или просто товарищей Toynbee Hall были облечены ради своихъ цѣлей слѣдующими обязанностями: 6 человѣкъ были директорами или завѣдующими начальными школами; 6 были членами комитетовъ для устройства вечернихъ классовъ для рабочихъ; 3 были членами въ Восточномъ Лондонѣ судовъ одного стараго рабочаго цеха или гильдіи (Ancient Order of Foresters); 4 были членами комитета благотворительнаго общества; 2 были такъ-называемыми раздавателями милостыни при „обществѣ вспомошествованія отъ несчастій“; лѣтомъ 5 человѣкъ изъ членовъ были дѣятелями по устройству такъ-называемыхъ дѣтскихъ лѣтнихъ колоній (Children's Country Holiday Fund); одинъ былъ избранъ попечителемъ о бѣдныхъ; 9 были членами различныхъ рабочихъ клубовъ въ

Восточномъ Лондонѣ того или иного рода, и два члена специально отдавали свое время и свой трудъ устройству различныхъ кооперативныхъ предпріятій и товариществъ; всѣмъ членамъ нашлось, такимъ образомъ, дѣло или внѣ, или внутри учрежденія.

Въ дѣлѣ благотворительности Тоупбее Hall поставилъ себя въ самую тѣсную, неразрывную связь съ мѣстнымъ комитетомъ призрѣнія бѣдныхъ, который воспользовался трудами его членовъ и получилъ неожиданно такихъ образованныхъ и дѣятельныхъ помощниковъ, каковыхъ до „Университетскаго поселенія“ не могъ, конечно, имѣть. Не только многіе члены Тоупбее Hall изъ жильцовъ и товарищей состояли членами комитета призрѣнія бѣдныхъ, но даже почетнымъ секретаремъ этого комитета сдѣлался одинъ изъ нихъ. Комитетъ въ своемъ последнемъ отчетѣ говоритъ объ этой помощи со стороны университетскаго учрежденія слѣдующее: „комитетъ всегда терпѣли, специально въ Восточномъ Лондонѣ, отъ недостатка лицъ, имѣющихъ досугъ и въ то же время способныхъ и желающихъ изслѣдовать и заботиться о бѣдныхъ въ томъ или иномъ случаѣ. Едва было основано поселеніе, какъ эта потребность получила полное и щедрое удовлетвореніе. По образцу его въ сосѣдней мѣстности была примѣнена такая же „система добровольцевъ“ по дѣлу обнаруженія и вспоможенія бѣднымъ, и съ значительнымъ успѣхомъ“. Обязанности членовъ поселенія, сдѣлавшихся членами комитета призрѣнія бѣдныхъ, выражались въ слѣдующемъ:

1) Принятіе бѣдныхъ, которые просятъ о помощи; допрашиваніе и заботливое анализированіе обстоятельствъ каждаго просителя и донесеніе комитету.

2) Посѣщеніе бѣдныхъ съ видами дальнѣйшаго знакомства съ ихъ положеніемъ и возможностью помощи.

3) Раздача пособій, когда это требуется, и дальнѣйшая дружественная помощь бѣднымъ въ формѣ, соотвѣтствующей характеру каждаго отдѣльнаго случая.

Вообще,—говоритъ отчетъ,—благодаря учрежденію „университетскаго поселенія“, вся организація помощи бѣднымъ много улучшилась и усовершенствовалась.

Самое помѣщеніе Тоупбее Hall сдѣлалось мѣстомъ собранія для многихъ благотворителей данной части города, и благодаря этому обстоятельству возникли многія новыя мѣстныя учрежденія съ цѣлью пособія бѣднымъ, которыхъ прежде не было. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ цѣлью помощь въ пастоящихъ нуждахъ бѣдняковъ, другія—путемъ поощренія сбереженій или инымъ образомъ предупрежденія будущихъ несчастій. Наконецъ,

третьи (и это самыя многочисленныя) имѣютъ своимъ предметомъ то или иное обученіе и воспитаніе дѣтей и юныхъ поколѣній. Въ связи съ этимъ въ помѣщеніяхъ же „Университетскаго поселенія“ происходили другія, не менѣе важныя для бѣдныхъ, движенія, на-примѣръ организація новыхъ обществъ воздержанія отъ хмельныхъ напитковъ, обществъ распространенія практическихъ свѣдѣній по гигиенѣ. Въ обширныхъ же залахъ Toynbee Hall собираются многія, разнаго характера, благотворительныя общества этой части города, и члены знакомятся и сближаются другъ съ другомъ; а иногда читаются какіе-либо доклады по вопросамъ о благотворительности, и происходятъ соотвѣтственные пренія. Вообще вся благотворительная дѣятельность, какъ видно изъ отчета, съ учрежденіемъ Toynbee Hall, въ Восточномъ Лондонѣ настолько оживилась, что туда начали даже переселяться рабочіе изъ Вестэнда, и изъ нихъ же мѣстному комитету удалось на вербовать дѣятельныхъ и свѣдущихъ агентовъ по дѣлу пособія бѣднымъ, чего прежде, безъ помощи такихъ образованныхъ сотрудниковъ и посредниковъ, мѣстное управленіе не въ состояніи было сдѣлать.

Не касаясь непосредственной, прямой дѣятельности „Университетскаго поселенія“ на пользу народнаго образованія въ его стѣнахъ, его сочлены оказываютъ, какъ видно изъ отчета, разнообразныя благотѣльные вліянія въ этомъ отношеніи: на первомъ планѣ тутъ слѣдуетъ поставить то движеніе въ пользу разныхъ измѣненій въ организаціи народнаго образованія, которое возникло и родилось именно въ Toynbee Hall. „Съ тѣхъ поръ,—разсказываетъ одинъ изъ его членовъ,—какъ м-ру Макдональду, одному изъ жильцовъ поселенія, удалось пройти и занять мѣсто въ лондонскомъ школьномъ управленіи (London School Board), у насъ образовалась немедленно „Лига реформъ образованія“ (Education Reform League), предметъ которой заключается въ томъ, чтобы при содѣйствіи рабочихъ классовъ постараться влить больше жизни въ сухой остовъ теперешней системы начальнаго образованія. Программа лиги перечисляетъ слѣдующіе пункты, на которые будутъ направлены ея главныя усилія ¹⁾:

1) Возможность полученія университетскаго образованія для учителей начальныхъ школъ.

2) Возможность для всѣхъ дѣтей къ дальнѣйшему усовершенствованію и развитію, сообразно ихъ способностямъ, въ видѣ продолженія ихъ образованія техническаго, интеллектуальнаго и физическаго.

¹⁾ *Toynbee Hall Whitechapel. The Work and Hopes of the Universities' Settlement in East London. Oxford, 1887, 17.*

3) Усовершенствованіе въ системѣ инспекціи за школами.

4) Всеобщее пользованіе школьными зданіями и мѣстами для игръ на открытомъ воздухѣ, ради народнаго блага.

Лига этой реформы развивается, продолжая вербовать себѣ новыхъ членовъ, распространяя свои планы въ обществѣ и постепенно завоевывая сочувствіе своимъ цѣлямъ.

Учрежденію „Университетскаго поселенія“ удалось также помѣстить нѣсколькихъ своихъ членовъ въ директора или завѣдующіе городскими школами, черезъ что все болѣе и болѣе расширяется и становится тѣснѣе связь учрежденія со всѣмъ учебнымъ міромъ, учителями и учениками народныхъ училищъ. Первымъ, какъ мы увидимъ, Toynbee Hall даетъ возможность получить, при желаніи, высшее образованіе, и вообще болѣе способнымъ мальчикамъ—продолжать его далеко за предѣлы начальной школы. Для тѣхъ и другихъ, наконецъ, „Университетское поселеніе“ сдѣлалось желаннымъ мѣстомъ дружбы, симпатіи и удовольствія, гдѣ и взрослые, и малые, имѣютъ свои клубы, игры, концерты, гимнастику, экскурсіи за городъ и всевозможныхъ видовъ иныя развлеченія. Одинаково въ интересахъ содѣйствія образованію, членамъ общества удалось открыть нѣсколько вечернихъ классовъ при трехъ сосѣднихъ городскихъ школахъ, съ преподаваніемъ гимнастики, рисованія, лѣпки изъ глины, выдѣлки корзинъ и иллюстраціями посредствомъ волшебнаго фонаря по исторіи и географіи. Такіе классы усердно посѣщаются народомъ, и они дали толчокъ къ образованію подобныхъ предпріятій съ различной программой въ другихъ частяхъ города.

Забывая о распространеніи знаній въ народѣ, „Университетское поселеніе“ не забываетъ и еще болѣе существенную сторону жизни, а именно—народное здоровье. Члены общества изъ врачей обратили бдительное вниманіе на дѣятельность санитарнаго комитета въ Уайтчепелъ и значительно подтянули и увеличили его энергію, что выразилось не только устраненіемъ различнѣйшихъ санитарныхъ нарушеній, но и въ болѣе бдительномъ надзорѣ за домовладѣльцами въ этомъ отношеніи и въ особенности за ночлежными домами. Точно также, въ интересахъ народнаго здравія, Toynbee Hall принимаетъ очень дѣятельное участіе въ устройствѣ дѣтскихъ лѣтнихъ фермъ или колоній. Въ такомъ громадномъ городѣ, какъ Лондонъ, масса дѣтей родится и вырастаетъ, никогда не видя деревни, не имѣя представленія ни о поляхъ, ни о зелени, ни о свѣжемъ воздухѣ. И вотъ, подъ предсѣдательствомъ самого Барнетта, директора учрежденія, основано для этой цѣли специальное общество, которое собираетъ для того необходимыя

средства, организуетъ это дѣло устройствомъ помѣщенія въ деревняхъ, соглашеніемъ съ родителями, желѣзными дорогами и проч., и отправляетъ цѣлыя партіи дѣтей, подъ надзоромъ кого-нибудь изъ своихъ довѣренныхъ лицъ, въ неизвѣстную для нихъ деревенскую благодать—на воздухъ и солнце, которые въ туманномъ, закопченномъ Лондонѣ для многихъ изъ дѣтей знакомы едва не по наслышкѣ. Лѣтомъ 1888 года обществу при Toynbee Hall удалось совершить такихъ временныхъ переселеній для 1.600 бѣдныхъ дѣтей (въ этомъ году всего разными обществами въ Лондонѣ отправлено за городъ до шестнадцати тысячъ дѣтей обоого пола). Блѣдныя и хилыя при своемъ отъѣздѣ, дѣти возвращались съ замѣтнымъ запасомъ здоровья, загорѣлыя и румяныя, на радость своимъ роднымъ, вербуя „Университетскому поселенію“ вѣрныхъ друзей и горячихъ поборниковъ въ рабочемъ классѣ, какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ.

Еще Арнольдъ Тойнби когда-то обращалъ огромное вниманіе на важность развитія духа кооперации или ассоціаціи между рабочими, и прочелъ по этому поводу рефератъ „о воспитаніи кооператоровъ“ на съѣздѣ этого рода обществъ въ маѣ 1882 г. въ Оксфордѣ. Учрежденіе его имени натурально поддерживаетъ эту мысль и старается способствовать устройству между рабочими всякаго рода союзовъ и коопераций, какъ помогая уже существующимъ обществамъ, такъ и стараясь устраивать новыя, и пропагандировать кооперативныя идеи въ обществѣ. Оба главныхъ вида ассоціацій, потребительныхъ и производительныхъ, имѣютъ для рабочихъ серьезное значеніе. Первые даютъ возможность избѣжать эксплуатаціи лавочника, вторыя же—получить въ свои руки всю сумму прибыли предпріятія. Прежде всего Toynbee Hall старался приютить у себя кооператоровъ, чему способствовало, между прочимъ, одно случайное обстоятельство: сгорѣлъ домъ, принадлежавшій одному крупному лондонскому потребительному обществу, и Toynbee Hall предложилъ немедленно даровое помѣщеніе для собраній въ стѣнахъ учрежденія; то же сдѣлалъ онъ относительно другого исключительно женскаго кооперативнаго общества. Этимъ путемъ сразу установилась связь между дѣятелями-кооператорами и жильцами „Университетскаго поселенія“, и Toynbee Hall сдѣлался центромъ кооперативнаго движенія для всей восточной части Лондона. Вслѣдъ затѣмъ тамъ организовался таеъ-называемый „кооперативный образовательный союзъ“ (Cooperative Educational Union), съ цѣлью поощренія и развитія идей о важности и полезности устройства различныхъ ассоціацій; чтобы подать личный примѣръ рабочимъ, члены и товарищи Toynbee

Hall немедленно записались въ ближайшую *потребительную* кооперацию (Tower Hamlets Distributive Society) и, тѣсно связавъ ее со своимъ учрежденіемъ, на вербовали ей новыхъ членовъ, болѣе семисотъ человѣкъ, въ теченіе двухъ лѣтъ, и открыли два отдѣленія. Такое же участіе принимало учрежденіе и въ болѣе трудной задачѣ устройства *производительныхъ коопераций*, и былъ сдѣланъ рядъ попытокъ въ этомъ смыслѣ для образованія различныхъ предпріятій на новыхъ артельныхъ началахъ. Всего же больше въ дѣлѣ коопераций участіе Toynbee Hall выразилось въ устройствѣ разнообразныхъ лекцій и бесѣдъ съ народомъ для распространенія въ немъ идей о важности и полезности всякаго вида артельнаго или товарищескаго принципа, какъ въ производствѣ, такъ въ потребленіи продуктовъ и закупки сырья.

Въ борьбѣ своей съ бѣдностью путемъ поощренія коопераций Toynbee Hall стремился и къ изслѣдованію самихъ причинъ этой бѣдности, дабы болѣе сознательно относиться и къ самому устраненію ея поводовъ. Въ этихъ видахъ ассоціація „Университетскаго поселенія“ предпринимала не разъ или самостоятельныя изслѣдованія той или иной стороны экономическаго положенія различныхъ классовъ рабочихъ, или помогала трудомъ своихъ членовъ постороннимъ изслѣдованіямъ, достойнымъ такой помощи. Такъ, по случаю стачки въ 1888 году рабочихъ на крупной спичечной фабрикѣ гг. Bryant and May, было произведено тщательное изслѣдованіе этого несогласія, и благодаря вмѣшательству Toynbee Hall и этому изслѣдованію, выяснившему положеніе дѣла, произошло миролюбивое соглашеніе. Солидный статистическій трудъ о положеніи бѣдныхъ Восточнаго Лондона, подъ редакціей м-ра Charles Booth (намъ уже извѣстнаго), произведенъ съ помощью членовъ учрежденія, и нѣкоторые отдѣлы его прямо написаны въ Toynbee Hall.

Еще болѣе серьезное воспитательное, равно какъ и экономическое значеніе имѣетъ другая сторона дѣятельности членовъ „Университетскаго поселенія“, а именно, поощреніе развитія между рабочими общезнательности путемъ клубовъ и собраній, гдѣ они не только находили бы отдыхъ послѣ своихъ тяжелыхъ занятій, но и здоровыя развлеченія и образованную компанію изъ числа членовъ Toynbee Hall. Съ этою цѣлью была принята политика такого рода: жильцы и товарищи учрежденія старались проникать членами въ разные существующіе уже рабочіе клубы, и путемъ вліянія и совѣта, гдѣ нужно, матеріальнаго содѣйствія, улучшать ихъ понятія и весь обиходъ, изгоняя, на примѣръ, пьянство и азартныя игры и поставляя взамѣнъ болѣе невинныя и

полезныя развлеченія, въ родѣ музыки, физическихъ упражненій, чтеній и т. п. Это имъ удалось сдѣлать за прошлый годъ въ шести клубахъ. Другой способъ вліянія на общительную сторону жизни рабочихъ заключается въ томъ, что учрежденіе прямо беретъ въ свои руки существующій клубъ, дѣлая ему значительную матеріальную помощь, устриваетъ его вблизи Toynbee Hall, какъ это было съ двумя клубами, и производитъ тѣ измѣненія въ его устройствѣ, которыя находятъ желательными въ интересахъ рабочихъ. Наконецъ, Toynbee Hall прямо устроило нѣсколько новыхъ клубовъ для рабочихъ, гдѣ главными дѣателями являются его члены. Таково извѣстное собраніе подъ именемъ Лольсуортскаго клуба (The Lolesworth Club), основанное въ 1887 году, представляющее собой, по выраженію отчета, „небольшой клубъ съ большою жизненностью“; онъ ведется на началахъ, самопомощи и принципахъ строгаго воздержанія, т.-е. безъ продажи хмельныхъ напитковъ. Всѣ развлеченія для членовъ заключаются въ постоянной смѣнѣ концертовъ, лекцій, преній, семейнаго характера вечеринокъ съ танцами, съ угощеніемъ чаемъ, и лѣтомъ—загородными экскурсіями и прогулками. Въ добавленіе, для дѣтей въ клубъ по воскресеньямъ утромъ происходитъ специальная церковная служба съ соотвѣтственною проповѣдью, а послѣ обѣда—даровые воскресные классы. Вообще этотъ клубъ имѣетъ вполнѣ цвѣтущій видъ и обязанъ своимъ существованіемъ всецѣло „Университетскому поселенію“. Другой клубъ устроенъ тѣмъ же поселеніемъ и носитъ названіе Сиднейскаго соціального атлетическаго клуба (The Sydney Social and Athletic Club); главная задача его состоитъ въ гимнастическихъ упражненіяхъ, которыми съ такимъ удовольствіемъ занимается вся англійская молодежь.

Помимо этихъ общежительныхъ или соціальныхъ клубовъ, основаніе Toynbee Hall породило и плодитъ множество иныхъ клубовъ и обществъ, преслѣдующихъ ту или иную специальную цѣль. Большинство изъ нихъ собирается въ томъ же помѣщеніи; иные же имѣютъ другія мѣста для совѣщаній или для своей дѣятельности, но поддерживаются и руководятся членами учрежденія, доставляя исходъ научнымъ силамъ университетской молодежи и рабочихъ, съ ними близкихъ, или просто служа для нихъ предметомъ разумныхъ развлеченій. Назовемъ лишь нѣкоторые изъ нихъ: Toynbee-Шекспировскій клубъ; Toynbee-философское общество; Литературное Елизаветинское общество (для изслѣдованія

*) Labour and Life of the People. Vol I. London (East), 1887.

шестнадцатаго столѣтія); клубъ Адама Смита или экономическое общество; Тоупбее-общество естественной исторіи; Тоупбее-клубъ путешественниковъ (совершающій поѣздки и не только по Англіи, но и за границу); отдѣленіе Рёскинскаго общества. Каждое изъ этихъ клубовъ или обществъ имѣетъ въ виду не только ученія засѣданія съ чтеніемъ докладовъ изслѣдованій, но также устройство чтеній и лекцій по соотвѣтствующимъ предметамъ, посѣщеніе музеевъ, галерей, ботанизированіе за городомъ, визиты въ зоологическій садъ, съ объясненіями и демонстраціями, и т. п. Вездѣ на первомъ планѣ стоитъ здѣсь привлеченіе участія болѣе образованныхъ рабочихъ, преимущественно изъ многочисленныхъ посѣтителей и слушателей всевозможныхъ курсовъ, лекцій и уроковъ, читаемыхъ въ стѣнахъ учрежденія. Одною изъ симпатичныхъ, между прочимъ, задачъ Тоупбее Hall, при устройствѣ всѣхъ этихъ клубовъ и обществъ, является его забота о дѣтяхъ бѣдныхъ классовъ, для которыхъ и основано также нѣсколько клубовъ и обществъ. Во-первыхъ, въ 1885 году принцъ Эдуардъ Уэльскій открылъ Уиттингтонскій клубъ мальчиковъ (Whittington Boys' Club), получающихъ не только обученіе, но частью и содержаніе; они образуютъ, по англійскому обычаю, батальонъ кадетовъ-волонтеровъ, обучаются военной выправкѣ и муштровкѣ и участвуютъ иногда даже на смотрахъ, вмѣстѣ съ другими военными училищами. Вмѣстѣ съ нимъ существуетъ и Уиттингтонскій клубъ гребцовъ и специальный клубъ мальчиковъ для гимнастическихъ упражненій и обученію бокса.

Гораздо важнѣе, можетъ быть, заботы „Университетскаго поселенія“ о Pupil-Teachers („ученики-учителя“), какъ называются въ англійскихъ школахъ лучшіе ученики, а равно и ученицы, помогающіе своимъ наставникамъ въ обученіи товарищей и въ послѣдствіи дѣлающіеся обыкновенно помощниками учителя въ классныхъ занятіяхъ (Assistant-Teachers). Положеніе этихъ дѣтей, будущихъ учителей, въ лондонскихъ школахъ было крайне неудовлетворительно въ смыслѣ общенія съ другими лицами. Pupil-Teachers всегда стоятъ одиноко: они отстали и не участвуютъ въ забавахъ и развлеченіяхъ другихъ учениковъ, а по своему возрасту и положенію не могутъ войти въ компанію и учителей. Тоупбее Hall взялся сплотить и сблизить эту массу наилучшихъ учениковъ и будущихъ педагоговъ изъ разныхъ школъ вмѣстѣ, столько же съ цѣлью общенія и удовольствій, сколько съ цѣлью наилучшаго ихъ образованія. Для этого въ Тоупбее Hall, во-первыхъ, составилъ такъ-называемый кружокъ для учителей-учениковъ (Pupil-Teachers Centre), и они, если такъ выразиться,

получивъ право гражданства, могутъ сближаться другъ съ другомъ и проводить вмѣстѣ время въ разныхъ невинныхъ развлеченияхъ: они имѣютъ, напримѣръ, свой особый клубъ гребной гонки, общество для диспутовъ, для игры Lawn-Tennis и, наконецъ, что всего важнѣе, они могутъ посѣщать разные уроки и лекціи, даваемые въ Toynbee Hall по вечерамъ, и тѣмъ совершенствовать и пополнять свои познанія. Эти-то Pupil-Teachers составляютъ главный образовательный матеріалъ для Toynbee Hall: выбирая изъ этихъ мальчиковъ наиболѣе способныхъ, его руководители даютъ имъ возможность дальнѣйшаго образованія, или технического, или даже университетскаго.

Но „Университетское поселеніе“ сдѣлалось центромъ не для однихъ только будущихъ учителей, а также и для людей самаго разнообразнаго званія, образованія и общественнаго положенія, сходящихся и сближающихся исключительно во имя человѣческой симпатіи; оно сдѣлалось, можно сказать, центромъ всей соціальной жизни Восточнаго Лондона. Въ его стѣнахъ, по словамъ отчета комитета, завѣдующаго учрежденіемъ, сходятся нынѣ слѣдующія лица: „учителя, кооператоры, члены рабочихъ клубовъ и просто рабочіе, студенты, политики, люди науки, уличные мальчишки, швеи, полицейскіе, желѣзно-дорожные носильщики и, наконецъ, филантропы. Всѣ эти категоріи лицъ, можетъ быть, въ первый разъ сталкиваются другъ съ другомъ и всматриваются; завязывается дружба, доставляются взаимныя удовольствія; наконецъ, усиливаются, если не рождаются только, узы симпатіи между лицами такихъ классовъ, которые всегда были раздѣлены другъ отъ друга. Они сближаются и знакомятся съ той огромной выгодой, которая для нихъ взаимно истекаетъ отъ этихъ собраній и дружескихъ бесѣдъ съ лицами, прежде отъ нихъ далекими!“ ¹⁾

Каждый годъ многія тысячи лицъ посѣщаютъ всевозможныя собранія, вечеринки, конференціи, даваемые въ стѣнахъ Toynbee Hall своимъ бѣднымъ сосѣдямъ. Угощеніе, которое происходитъ изрѣдка на подобныхъ собраніяхъ, крайне просто и незатѣливо. Гости сначала стѣснялись своихъ хозяевъ; но все окружающее въ Toynbee Hall имѣетъ такъ много новаго, невиданнаго и въ то же время привлекательнаго для бѣдняка, обращеніе съ ними этихъ университетскихъ людей такъ мягко, добро, человѣчно, что бѣдные скоро забываютъ разницу своего общественнаго положенія и начинаютъ съ интересомъ бесѣдовать со своими хозяевами, разсматривать фотографіи на столахъ, картины, въ изобиліи помѣ-

¹⁾ Universities' Settlement in East London. 1889, 24.

щенные на стѣнахъ; съ видимымъ—не то удивленіемъ, не то удовольствіемъ—прислушиваются къ незнакомымъ имъ звукамъ Шумана, Бетховена и Моцарта, которыми ихъ угощаютъ музыкальные члены общества; нерѣдко на подобныхъ собраніяхъ происходятъ чтенія поэтовъ, сцены изъ Шекспира, устраивается импровизированное пѣніе, и счастливая на нѣсколько часовъ и довольная бѣднота разноситъ по всему „Восточному Лондону“ рассказы о всемъ видѣнномъ и слышанномъ, и послѣ испытанной ими людской симпатіи—сердце ихъ становится мягче, а житейская тяжесть легче...

Но самой главной и важнѣйшей задачей является все-таки народное образованіе. Ему-то и посвящены заботы большинства товарищей этого новѣйшаго университетскаго монастыря, построеннаго во славу науки и гуманности. Самая важная часть этой стороны дѣятельности Toynbee Hall заключается въ устройствѣ у себя такъ-называемаго общества распространенія университетскаго образованія (University Extension Society). Вотъ уже болѣе 14-ти лѣтъ въ Англіи происходитъ въ высшей степени оригинальное и крайне плодотворное образовательное движеніе, которое заключается въ распространеніи благъ высшаго образованія внѣ стѣнъ университетовъ—всѣмъ желающимъ лицамъ обоюго пола и всякаго званія, заявившимъ лишь о своемъ намѣреніи заниматься наукою и имѣющимъ нѣкоторую, необходимую для того, подготовку и маленькія средства. Дѣлается это слѣдующимъ образомъ: при всѣхъ почти главнѣйшихъ университетахъ страны организуется изъ профессоровъ и лицъ вообще близкихъ университету центральный комитетъ для этой цѣли, съ которымъ входятъ въ сношенія мѣстные общества, составленные изъ лицъ, желающихъ учиться въ томъ пунктѣ страны, гдѣ напались для этого охотники. Каждый можетъ штудировать или отдѣльный предметъ, или цѣлую серію однородныхъ предметовъ; занятія его, кромѣ слушанія лекцій по отдѣльнымъ предметамъ, домашнія,—чтеніе соответствующихъ сочиненій при помощи подробной программы или краткаго конспекта науки (такъ-наз. syllabus), составленнаго опытнымъ спеціалистомъ, причемъ каждый такой студентъ имѣетъ право извѣстное число разъ въ году сноситься съ профессоромъ избранной имъ науки, чтобы получить должное наставленіе и исправленіе своихъ работъ. Въ извѣстное время года при университетѣ происходятъ экзамены, куда являются и всѣ такіе добровольные студенты, и если только удовлетворяютъ извѣстнымъ, предусмотрѣннымъ закономъ, условіямъ, то сдаютъ экзамены и получаютъ аттестатъ.

Естественно, это движеніе въ пользу большей популяризаціи университетскаго знанія, такъ сказать, демократизированія науки, скорѣе всего нашло своихъ сторонниковъ и работниковъ въ Университетскомъ же поселеніи, съ которымъ прямо или косвенно связаны два лучшихъ университета Англіи. Съ самаго основанія въ Toynbee Hall открыты университетскіе классы этого рода, и число студентовъ быстро увеличивается и растетъ, достигая въ настоящее время свыше шестисотъ человѣкъ, преимущественно изъ рабочаго класса и всего болѣе изъ лучшихъ Pupil-Teachers и учителей начальныхъ школъ. Съ помощью новыхъ пожертвованій и подписокъ „Университетское поселеніе“ постаралось пріобрѣсти зданіе, лежащее рядомъ съ Toynbee Hall, Уэдгэмпъ Гоузъ (Wadham House), и завело тамъ студенческое общежитіе, гдѣ около ста человѣкъ, готовящихся подъ ближайшимъ руководствомъ резидентовъ Toynbee Hall къ университетскимъ экзаменамъ, проживаютъ за умѣренную плату (существуютъ и стипендіаты) и занимаются наукой. Остальные студенты—приходящіе. Для пользованія тѣхъ и другихъ существуютъ лабораторіи и прекрасная бібліотека, залъ которой, впрочемъ, свободно открытъ для всей посторонней публики. Дѣло это особенно близко и дорого членамъ Toynbee Hall, давая возможность лучшимъ силамъ изъ народа не глотнуть, а, напротивъ, выдвигаться и, получивъ высшее образованіе, явиться въ будущемъ важнѣйшими и надежнѣйшими помощниками ихъ въ служеніи тому же самому обществу.

Въ этомъ оригинальномъ, реформированномъ университетѣ для народа можно насчитать четыре факультета, называемые группами,—каждая подъ особой литерой,—три научныхъ и одинъ для искусствъ, мало соотвѣтствующіе, можетъ быть, принятой въ университетахъ группировкѣ, но предметы несомнѣнно читаются въ размѣрахъ высшихъ наукъ и часто университетскими же профессорами. Группа *A* заключаетъ, напримѣръ, преподаваніе слѣдующихъ предметовъ на этотъ *зимній семестръ* (1889-90 гг.): библии, психологіи, политической экономіи, англійской и всеобщей литературы и исторіи (въ отдѣльныхъ монографіяхъ), и, сверхъ того, извѣстный оксфордскій профессоръ Гардинеръ читаетъ исторію семнадцатаго вѣка, а Уикстидъ (P. H. Wheelsted)—курсъ лекцій по социальнымъ вопросамъ. Группа *B*, чисто лингвистическая, заключаетъ въ себѣ три новыхъ языка (французскій, нѣмецкій и итальянскій), два древнихъ, и все это сопровождается чтеніемъ и изученіемъ классиковъ, какъ новыхъ, такъ и старыхъ, соотвѣтствующихъ литературъ. Группа *C*—естественныхъ наукъ, куда входятъ *въ настоящий зимній семестръ*: физика, физическая

географія, ботаника, біологія, фізіологія и химія; между прочимъ, извѣстный ученый, профессоръ лондонскаго университета, Вивіанъ Льюисъ въ настоящую зиму читаетъ для этихъ студентовъ курсъ въ десять лекцій „о принципахъ химіи“, а докторъ Пай (W. Pae)—курсъ изъ десяти же лекцій по общественной гигиенѣ. Наконецъ, группа D посвящена почти исключительно искусству: въ ней желающіе обучаются пѣнію, музыкѣ, рисованію, стенографіи и шведской гимнастикѣ.

Сверхъ университетскихъ лекцій и занятій со студентами, при Toynbee Hall существуетъ множество различныхъ классныхъ чтеній (Reading Parties), по англійскому обычаю, для лицъ обоего пола и разныхъ возрастовъ по всевозможнымъ отраслямъ человѣческаго знанія. Прошлый годъ такихъ чтеній разнаго рода насчитывалось *до пятидесяти*. Въ добавленіе къ нимъ, зимой въ Toynbee Hall каждую субботу и воскресенье происходитъ регулярно чтеніе различныхъ популярныхъ лекцій, иногда лицами весьма извѣстными въ наукѣ и общественными дѣятелями. При этомъ, обратно съ прочими лекціями, эти двѣ категоріи большею частью бесплатны. Нынѣшнею осенью, на примѣръ, читался цѣлый курсъ бесплатныхъ лекцій по воскресеньямъ „о великихъ учителяхъ человѣчества“. По субботамъ же профессоръ Нетлшипъ, оксфордскаго университета, читалъ „о нравственномъ значеніи литературы“; профессоръ Сиджуикъ—о Теннисонѣ; профессоръ Александръ Гиль—„о нашемъ мыслительномъ аппаратѣ“; знаменитый капиталистъ лордъ Томасъ Брассей 14-го декабря прошедшаго года долженъ былъ начать чтеніе подъ названіемъ „уроки послѣдней парижской выставки“; другіе дни недѣли точно также изобильно наполнены публичными лекціями разнаго характера, платныхъ и бесплатныхъ, въ формѣ курсовъ или отдѣльныхъ чтеній. На примѣръ, по понедѣльникамъ вечеромъ нынѣшнюю зиму читается курсъ изъ тринадцати лекцій, специально для рабочихъ, м-ромъ Грэмъ Уолласъ: „исторія англійскихъ рабочихъ классовъ съ 1766 года по 1866“; курсъ лекцій съ волшебнымъ фонаремъ и другими иллюстраціями по физической географіи профессора Бутлера; курсъ изъ 10 лекцій профессора Прайса „о практическихъ приложеніяхъ электричества“; лекціи профессора Бернарда Макдональда (12 въ зиму) „о краснорѣчій“; лекціи, въ двѣ недѣли разъ, „объ итальянскомъ искусствѣ“—м-съ Фарнелъ, въ связи съ будущей поѣздкой клуба путешественниковъ „Университетскаго поселенія“—въ Италію, на святой недѣлѣ 1890 г.; далѣе, два курса для начинающихъ по физикѣ и географіи съ демонстраціями, и т. д., и т. д. Въ заключеніе упомянемъ, что

при Тоунбее Hall, кромѣ того, существуютъ двѣ школы: во-первыхъ, ремесленная съ преподаваніемъ тамъ столярнаго, декоративнаго дѣла, точенія и разныхъ металлическихъ работъ, и затѣмъ элементарная школа для мальчиковъ. Добавьте къ этому массу всевозможныхъ научныхъ клубовъ и обществъ, нами выше перечисленныхъ, съ ихъ засѣданіями, преніями, конференціями, рефератами и докладами, и тогда, все-таки, съ трудомъ можно составить себѣ понятіе о размѣрахъ того умственнаго оживленія, которое господствуетъ въ Тоунбее Hall!!! По словамъ Бутса, всѣ эти лекціи, курсы и проч. имѣютъ въ сложности свыше тысячи посѣтителей въ теченіе недѣли.

Но лучше всего привести для наглядности мѣсячный календарь Тоунбее Hall, т.-е. распредѣленіе въ немъ *вечернюю* времени за одинъ мѣсяцъ, помимо всѣхъ дневныхъ классныхъ занятій и чтеній. Возьмемъ сентябрь мѣсяцъ 1889 года, до 15-го числа вакаціонный и, слѣдовательно, гораздо менѣе оживленный, чѣмъ позднѣйшее зимнее время, и опять-таки, повторяю, не считая школьныхъ занятій ¹⁾:

Сентябрь:

- 3-го, 8 ч. — м. — Собраніе одного изъ дружественныхъ обществъ взаимнаго вспомошествованія рабочихъ.
- 5-го, 8 „ 15 „ — Концертъ.
- 10-го, 8 „ — „ — Вечеръ кооператоровъ-печатниковъ, данный въ честь „Лондонской производительной ассоціаціи“.
- „ 8 „ — „ — Лекція доктора Макдональда для учителей.
- 12-го, 8 „ 15 „ — Концертъ.
- „ 8 „ — „ — Засѣданіе Тоунбее-шекспировскаго общества.
- 14-го — „ — „ — Полугодовое засѣданіе рабочихъ клубовъ.
- 15-го — „ — „ — Объявляется начало зимняго семестра.
- 17-го, 8 „ — „ — Первая изъ курса двѣнадцати лекцій „о краснорѣчіи“, профессора Бернарда Макдональда.
- „ 8 „ 15 „ — Концертъ.
- 19-го, 8 „ — „ — Предварительное собраніе соединенныхъ классовъ профессора Вильсона по строительному искусству.
- 24-го — „ — „ — Концертъ.
- 28-го, 8 „ — „ — Первое собраніе общества распространенія университетскаго образованія. Рѣчь доктора Абботъ.

¹⁾ The Toynbee Record, September 1889. Vol. 1.

- 30-го, 8 „ — „ — Первая лекція изъ курса „о принципахъ химіи“, профессора Льюиса.
 „ 7 „ 45 „ — Первая лекція изъ курса „практическія приложенія эдектричества“ профессора Прайса.

Такова разнообразная и разносторонняя дѣятельность, центромъ которой является „Университетское поселеніе“ въ Восточномъ Лондонѣ, и которая ведется въ духѣ и по завѣту Арнольда Тойнби. Согласно воззрѣніямъ этого послѣдняго и вполне гармонируя съ національнымъ характеромъ англичанъ, разрѣшеніе столь труднаго соціального вопроса должно заключаться вовсе не въ какихъ-либо переворотахъ, сопровождаемыхъ насиліемъ, а въ мирномъ поступательномъ реформаторскомъ движеніи сверху внизъ: измѣняется законодательство страны, альтруистически усовершенствуются идеи высшихъ образованныхъ классовъ, а вслѣдъ затѣмъ совершается и дружественное, братское поднятіе массъ народа до пользованія всѣми истинными сокровищами нашего времени. Обратно съ тѣми утопистами, которые предполагаютъ устранить существующія соціальныя невзгоды путемъ ломки учреждений, оставивъ людей такими, какими они до сихъ поръ были, англійскіе друзья народа думаютъ совершенно иначе. Они убѣждены, что всякая ломка составляетъ прежде всего зло, какими бы добрыми цѣлями и соображеніями она ни вызывалась, и что истинный ходъ великой реформы этого рода долженъ состоять отнюдь не въ приниженіи высшихъ классовъ до умственного и нравственного уровня низшихъ, какъ о томъ фантазируютъ нерѣдко филантропы иныхъ обществъ, а совершенно наоборотъ. По ихъ мнѣнію, мирный, нормальный, а потому единственно желательный путь къ разрѣшенію всякаго соціального вопроса долженъ прежде всего выразиться въ стремленіи образованныхъ классовъ поднять до своей высоты бѣдную массу двумя путями: увеличеніемъ ея образованія и культуры, и затѣмъ личнымъ примѣромъ искренней безкорыстной человѣческой симпатіи, доказываемой на дѣлѣ, улучшеніемъ и поднятіемъ уровня ея нравственности.

Какъ всякое серьезное моральное движеніе времени, Тоупбее Hall является благодѣтелемъ отнюдь не для однихъ рабочихъ „Восточнаго Лондона“, для которыхъ онъ прежде всего предназначенъ, но и для самихъ тружениковъ обществъ, и для тѣхъ университетовъ, изъ которыхъ они вышли. „Настоящіе жильцы Тоупбее Hall, — говоритъ оxfordскій профессоръ Джэль, усердный сочленъ того же учрежденія, — мы надѣемся, — являются піо-

нерами постоянного движенія, имѣющаго совершенно измѣнить между достаточными классами чувства ихъ гражданскихъ обязанностей. На собраніяхъ, которыя происходятъ въ тѣхъ или другихъ университетскихъ колледжахъ, для поддержки этого, предпріятія, интересъ поучающихся постоянно привлекается къ социальнымъ вопросамъ, той или иной борьбой съ которыми заняты ихъ представители въ Уайтчепелѣ. И вотъ сѣется сѣмя въ сердцахъ юныхъ поколѣній, которое принесетъ свой плодъ съ годами, когда они сдѣлаются администраторами, землевладѣльцами, журналистами, законодателями, составятъ наконецъ „общественное мнѣніе“ ихъ времени. Позднѣе, когда они покидаютъ университетъ, Toynbee Hall предлагаетъ имъ случай личнаго прямого опыта въ рѣшеніи социальныхъ задачъ и средство для выраженія своихъ социальныхъ симпатій. Вотъ тѣ прямые выгоды, которыя движеніе приноситъ университету. Но для другой стороны,—добавляетъ профессоръ Джэлъ,—выгоды еще значительнѣе и выражаются въ разнообразномъ добрѣ, которое наши товарищи-сограждане пожинаютъ въ своемъ образованіи и просвѣщеніи, въ социальныхъ стимулахъ, въ реформахъ мѣстной жизни и устраненіи мѣстныхъ золъ и невзгодъ. Принципъ личнаго служенія обществу, личнаго знакомства, и личной симпатіи, останется памятнымъ на всю жизнь каждой изъ участвующихъ сторонъ. Каждая изъ нихъ пріучается оцѣнивать другую лучше, нежели прежде, и многочисленныя связи сердечной и глубокой дружбы, основанной на общихъ вкусахъ, общихъ ассоціаціяхъ и общемъ трудѣ для блага ближнихъ, неразрывно связываетъ теперь вмѣстѣ лицъ изъ такихъ классовъ, которые иначе оставались бы чужды, а можетъ быть сдѣлались бы врагами“ ¹⁾).

Но примѣръ Toynbee Hall не остается въ то же время и безъ подражаній, и дѣло продолжаетъ расти; такъ, по словамъ Бутса, по его образцу уже возникло въ Лондонѣ другое учрежденіе аналогичнаго характера въ средней части города, подъ именемъ „Oxford House“. Но мало того: этотъ новый крестовый походъ противъ человѣческихъ бѣдствій и невѣжества находитъ откликъ сочувствія и за предѣлами Великобританіи. Въ Нью-Йоркѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ сообщаетъ Charles Stover, по тому же примѣру образовалось филантропическое общество ²⁾ (The Neighborhood Guild) изъ лицъ обоого пола и

¹⁾ The Work of Toynbee Hall, by Pl. Gell, въ книгѣ Монтэгю: „Arnold Toynbee“. Baltimore, 1889.

²⁾ См. „The Neighborhood Guild in New York“, приложение къ книгѣ Монтэгю: „Arnold Toynbee. Baltimore, 1889 г.

разнаго общественнаго положенія, основанное м-ромъ Coit'омъ, бывшимъ сочленомъ Toynbee Hall. Правилomъ дѣятельности этого учрежденія является слѣдующій эпиграфъ, стоящій во главѣ его устава: „порядокъ — нашъ базисъ, улучшеніе — наша цѣль, и дружба — нашъ принципъ“; оно стремится теперь преобразоваться и еще болѣе приблизиться по уставу и устройству къ своему англійскому прототипу. Наконецъ, нѣмецкій ученый Вильгельмъ Бодэ, упоминая объ описанныхъ нами лондонскихъ учрежденіяхъ на пользу меньшей братіи, съ видимымъ сокрушеніемъ собогѣнуетъ объ отсутствіи чего-либо подобнаго для рабочихъ массъ Германіи, несмотря на ея могущество и соціальныя законы Бисмарка, неспособной, однако, создать или даже вызвать такое высокое альтруистическое движеніе на пользу народа въ своихъ университетскихъ кругахъ.¹⁾ Между тѣмъ, просматривая списки членовъ „Ассоціацій университетскаго поселенія“ въ различныхъ коллегіяхъ Оксфорда и Кембриджа, мы встрѣчаемъ, рядомъ съ многочисленными именами неизвѣстной молодежи, всѣ свѣтила науки, которыми гордятся оба университета и вся страна, начиная съ знаменитаго филолога Макса Мюллера, юриста Дайси, натуралиста Леббока, историка Гардинера, и кончая экономистами — Сиджуикомъ, Прайсомъ и многими иными учеными свѣтилами Великобританіи, не меньшей величины. Всѣ лучшія научныя силы, слѣдовательно, сочувствуютъ и поддерживаютъ, какъ матеріально, такъ и нравственнымъ своимъ авторитетомъ, это новое филантропическое движеніе. Понятенъ отсюда успѣхъ, которымъ сопровождается дѣятельность Toynbee Hall, и то оживленіе, которымъ онъ отличается²⁾.

Достойно замѣчанія при этомъ, что члены университетскаго общежитія отнюдь не стараются поддѣлаться къ рабочимъ во внѣшнемъ образѣ своей жизни, т.-е. ни въ костюмѣ, ни въ манерахъ, ни въ суровости обстановки. Съ этой стороны Toynbee Hall является просто университетскимъ клубомъ, устроеннымъ посреди бѣднаго населенія „Восточнаго Лондона“. „Университетскіе люди“, какъ привыкъ народъ здѣсь называть ихъ, имѣютъ комфортабельныя, хорошо убранныя комнаты, съ частными библіотеками и вообще тѣми удобствами студенческой жизни, къ которымъ они привыкли въ колледжахъ Оксфорда и Кембриджа. Рядиться въ бѣд-

¹⁾ Toynbee Hall, eine Hochschule für Arbeiter. „Der Arbeiterfreund“, XXVII Jahrgang. Zweiter Vierteljahresheft. Berlin. 1889.

²⁾ Въ указанной уже статьѣ Вильгельмъ Бодэ заявляетъ: „никто не выполняетъ свою благородную миссію болѣе своеобразно и въ то же время основательно, какъ Toynbee Hall“...

ность, подражать бѣдности и дѣланному аскетизму, ее сопровождающему, значило бы, по ихъ мнѣнію, прибѣгать къ пустой аффектаціи. Идеи членовъ Toynbee Hall заключаются въ томъ, чтобъ перенести университетскую культуру въ самое сердце „Восточнаго Лондона“ социальными, цивилизующими и реформирующими путями. „Рабочіе люди отнюдь не худшаго мнѣнія,—справедливо замѣчаетъ американскій профессоръ Адамсъ,—объ этихъ мужественныхъ, хорошо сложенныхъ молодыхъ людяхъ потому лишь, что они живутъ, какъ джентльмены. Напротивъ, населеніе Восточнаго Лондона гордится своими новыми сосѣдями, и навѣрное пошлетъ ихъ въ парламентъ, какъ представителей своей рабочей партіи, когда получить всеобщее избирательное право (plebescite)...“ Toynbee Hall, говоритъ онъ далѣе, имѣетъ всѣ выгоды современнаго англійскаго клуба, и всѣ добродѣтели бенедиктинскаго монастыря; онъ составляетъ центръ обученія и цивилизаціи въ дикой мѣстности (Восточный Лондонъ); онъ является блестящимъ образцомъ благоустроенной социальной жизни“ ¹⁾.

Ив. Янжулъ



¹⁾ См. Johns Hopkins' University Studies. Fifth series, VIII. Notes on the Literature of Charities, by *Herbert B. Adams*. Baltimore, 1889, стр. 21.

ПѢСНИ ЛЮБВИ

1.

Тотъ же садъ шумить зеленый,
Тотъ же полдень голубой,
Тѣ же боги, тѣ же грѣзы
Надъ душой царять больной..
Въ синей мглѣ въ аллеѣ дикой
На знакомую скамью
Я ложусь и въ сладкой нѣгѣ
Засыпаю, сплю...

Снятся мнѣ иные годы:
Я влюбленъ, любимъ
И тоской, тоской по счастью,
Какъ тогда, томимъ.
Въ поцѣлункахъ, въ ласкахъ жгучихъ
Не забыть мнѣ ихъ,
Вѣчныхъ грѣзъ о вѣчномъ счастьѣ,
Грѣзъ моихъ больныхъ.

Пусть любовью сердце полно,
Но еще больнѣй,
Безнадежнѣй жажда счастья,
И тоска сильнѣй..
Просыпаюсь... Садъ все тотъ же,
Полдень голубой..
Тѣ же боги, тѣ же грѣзы
Надъ душой царять больной...

2.

Въ эту ночь не до сна,
 Въ эту дивную ночь,
 Молодая весна
 Сонъ опять гонить прочь...
 Первый ландышъ цвѣтеть,
 Зарыдалъ соловей,
 Нѣжный попотъ идетъ
 У душистыхъ вѣтвей...
 И для сердца любовь
 Тѣ же пѣсни поетъ,
 Сердце вѣрить имъ вновь
 И, безумное, ждетъ,
 Что мелькнетъ лунный свѣтъ
 Межъ зеленыхъ вѣтвей
 И головки твоей
 Золотой силуэтъ.
 Заблеститъ влажный взглядъ
 Нѣгой первой любви
 И твой смѣхъ заглушатъ
 Поцѣлуи мои...

3.

Боюсь я отдаться веснѣ обаянью,
 За сердце больное боюсь;
 Упившись ея ароматнымъ дыханьемъ,
 Безумьемъ ея я упьюсь...
 И сердце забудетъ, что прожито было,
 Забудетъ всѣ муки свои,
 Охватитъ его всемогущая сила,
 Безумная жажда любви...
 Полюбить, повѣрить... И юности властью,
 Забытою властью, опять
 Я, съ прежнимъ безумьемъ и прежнею страстью
 Любя, буду снова страдать...

4.

Я давно никого не любилъ
 И какъ любить—давно позабылъ...
 Для чего-жъ вы напомнили мнѣ
 Про то счастье, что снится во снѣ?
 На яву мнѣ его не видать,
 Какъ и васъ не увидишь опять...

5.

Мы случайно съ тобою сошлись
 И случайно опять разойдемся,
 Надъ безумнымъ порывомъ любви
 Мы, конечно, потомъ посмѣемся...

Да и намъ ли съ тобою любить!
 Для любви въ сердцѣ мѣста такъ мало,
 Ты, какъ я, слишкомъ много страдала,—
 Слишкомъ много придется забыть...

Полумертвому сердцу, мой другъ,
 Вѣрно, мертвое ближе живого—
 Снова мучиться можетъ оно,
 Но не можетъ быть счастливо снова...

6.

Когда любишь, какъ просты и ясны
 Жизни смыслъ и ея красота,
 И какъ міръ этотъ дорогъ прекрасный,
 Какъ свята намъ о счастья мечта!..
 Какъ понятны тогда и тревоги,
 И людскія надежды тогда,
 И какъ бодро идешь по дорогѣ,
 По дорогѣ борьбы и труда!..

Пусть любовь тебя даже обманетъ,
 Пусть разлюбить тебя,—кто любилъ,
 Но не даромъ тотъ жизнь загубилъ,
 Кто съ любовью на міръ Божій взглянетъ...

7.

Я плакать не могъ, разставаясь съ тобой,
 Мнѣ такъ невозможнымъ казалось,
 Что ты, моя свѣтлая радость, со мной
 И вправду навѣки разсталась...

Какъ могъ я повѣрить, когда безъ тебя
 Мнѣ божьяго солнца не надо,
 Не надо другихъ и не надо себя
 Безъ милой улыбки и взгляда!"

Какъ могъ я повѣрить, что стану я жить,
 Разставшись съ моею душою,
 Какъ будто могу я кого-то любить,
 Навѣки разставшись съ тобою!?

И вотъ мнѣ не надо ни божьяго дня,
 Людей и себя мнѣ не надо,
 Ни счастья, ни жизни—ихъ нѣтъ для меня
 Безъ милой улыбки и взгляда...

И слезъ нѣтъ... Напрасно я жду и зову
 Блаженные слезы разлуки,
 Шепча: „для кого и зачѣмъ я живу?..
 Ломая въ отчаяньѣ руки...

Вл. М.



НА ЛОНѢ ПРИРОДЫ

РАЗСКАЗЪ.

По нижнему теченію одной изъ большихъ южныхъ русскихъ рѣкъ шелъ пароходъ. Пассажировъ на немъ было вообще мало, а во второмъ и первомъ классахъ—почти никого. Вечерѣло, и готовился эффектный, хотя и грубоватый степной закатъ. Воздухъ все больше желтѣлъ и краснѣлъ; плоскіе песчаные берега рѣки какъ будто раскалялись; зеленныя заросли мелкой лозы, перепутываясь съ собственными тѣнями, получали коричневый оттѣнокъ; коричневая тѣнь парохода падала не на воду, а въ воду, тяжело, будто до самаго дна; тѣни отъ всего, находившагося на палубѣ, слегка трепетали своими контурами,—точно солнце напоследокъ разгоралось все сильнѣе и жарче.

На крышѣ рубки перваго класса, тамъ, гдѣ находится рулевое колесо, развалилась на скамейкахъ, сидѣли два пассажира, единственные пассажиры перваго класса. Правда, тамъ ѣхала еще одна дама, пожилая и чопорная, но у нея съ однимъ изъ пассажировъ произошло роковое недоразумѣніе, послѣ котораго она со вчерашняго дня не выходила изъ своей каюты, несмотря на то, что задыхалась отъ жары и негодованія. Недоразумѣніе же произошло такъ. Мы расскажемъ о немъ, а встати приглядимся и къ самимъ героямъ, и кое-что о нихъ поразузнаемъ.

Пассажирка и оба пассажира, прежде чѣмъ поссориться, ѣхали вмѣстѣ цѣлыя сутки. Утромъ въ первый день путешествія дама, слыша черезъ стѣну нестарые мужскіе голоса, тщательно приодѣлась, даже слегка затянулась и, въ ожиданіи пріятнаго дня, съ лицомъ, носившимъ слѣды предстоящаго удовольствія и легкой

пудры, появилась на палубѣ. На палубѣ она встрѣтила двухъ мужчинъ, которые ее и удовлетворили, и не удовлетворили.

На первый взглядъ мужчины были удовлетворительны. Оба были высоки и одѣты въ суровыя шолковыя пиджачныя пары. У одного была фуражка изъ такой же матеріи, у другого—тропическій „племя“—холщевый. У обоихъ трепались по вѣтру галстухи, обличавшіе въ нихъ людей со вкусомъ: галстухи были не какихъ-нибудь яркихъ и глупенькихъ цвѣтовъ, а—модныхъ, солидныхъ, „гнилыхъ“,—у одного гнилого синяго, у другого гнилого зеленого цвѣта. Чулки были такихъ же колеровъ. У одного черезъ плечо висѣлъ туристскій бинокль—доказательство, что пассажиры не принадлежать къ туземцамъ, а ѣдутъ издалека, можетъ быть, изъ Харькова, можетъ быть, даже изъ Петербурга, наконецъ, —все на свѣтъ бываетъ,—можетъ быть, эти господа-иностранцы. Въ пользу иностраннаго происхожденія господъ говорило то обстоятельство, что у одного изъ нихъ какъ-то по-иностранному сползали брюки, а на другомъ—были надѣты пытая гарусомъ ночныя туфли. Въ связи съ брюками и туфлями, и лица, и фигуры—получали въ глазахъ пассажирки отбѣнокъ иностранный. Одинъ господинъ былъ очень худъ, и платье висѣло на немъ складками продольными. Другой былъ достаточно полонъ, такъ что складки были горизонтальны. У худого—лицо было блѣдное, почти безволосое и издавало молоджавое. Только вблизи умный, проницательный и нервно-горячій взглядъ небольшихъ черныхъ глазъ, да морщинки около нихъ, да еще нѣсколько увядшая кожа на вискахъ и серебряная роса сѣдины въ жесткихъ, коротко стриженныхъ волосахъ—выдавали возрастъ худого господина, —лѣтъ тридцать-пять, сорокъ. Второй предполагаемый иностранецъ, изъ-себя полный, обладатель сползавшихъ брюкъ (туфли были у худого),—былъ некрасивъ, но лицо его сильно напоминало фотографическія изображенія великихъ мужей, преимущественно нѣмецкихъ, притомъ или профессоровъ крайнихъ убѣждений, или даже прямо-таки социалистскихъ демагоговъ. Видно, что человекъ на своемъ вѣку много выпилъ и обрюзгъ; видно, что онъ много видѣлъ—и выпуклые глаза смотрятъ достаточно равнодушно; въ то же время выпитое пиво и пережитая горечь тронули печень,—и въ равнодушій глазъ мелькаетъ искорка сарказма, а губы складываются недовольно; но и одною тронutoю печенью не исчерпывается выраженіе такихъ лицъ: сознаніе силы дѣлаетъ лицо добродушнымъ, какъ морда у сильной собаки; близорукость усиливаетъ это добродушіе еще больше, а рѣдкія и короткія, точно клейма, морщины надъ переносицей и отъ носа къ угламъ рта—говорятъ объ упорствѣ и силѣ воли. Этотъ предполагаемый

иностранецъ, котораго наблюдала принарядившаяся пассажирка, былъ очень похожъ на вышеописанное, почти фотографическое изображеніе знаменитаго нѣмецкаго человѣка крайнихъ убѣжденій; только лицо его дышало скорѣе лѣнью, чѣмъ энергіей, глаза смотрѣли чаще добродушно, чѣмъ саркастически, а ротъ былъ уже совсѣмъ не нѣмецкій—довольно пухлый и свѣжій. Но обрюзглость—была, и характерныя морщины—тоже. Полный господинъ носилъ довольно длинныя, зачесанныя назадъ поэтически волосы, что очень не шло къ его лицу, и рыжеватые, клочковатые усы и бороду. По годамъ онъ былъ ровесникъ своего товарища. Это онъ-то и былъ въ тропическомъ „шлемѣ“, а его худощавый товарищъ—въ полковой фуражкѣ.

Пассажирка, которую для разнообразія въ слогѣ назовемъ дамой,—глядя вдаль, съ улыбкой, которая говорила, что вотъ она теперь любитъ природу,—долго ждала, не заговорятъ ли съ нею ея спутники. Но спутники молчали и только время отъ времени мѣняли положенія своихъ длинныхъ ногъ и длинныхъ рукъ; да полный что-то напѣвалъ безъ словъ, но довольно азартно и съ претензіей на выраженіе. Наконецъ, дама рѣшилась дѣйствовать.

— Извините, пожалуйста,—обратилась она, подошедши къ своимъ спутникамъ и обращаясь къ полному:—что это такое?—Эти слова были произнесены такъ, какъ будто это „что-то такое“ была вещь чрезвычайно хитрая и лукавая:—что это такое видѣется вонъ тамъ?

Полный спутникъ стремительно вскочилъ на ноги, не то отъ вѣжливости, не то отъ испуга.

— Тамъ-съ?—переспросилъ онъ довольно пріятнымъ, носившимъ однако слѣды хрипоты, теноромъ.—Это, сударыня, вѣтряная мельница.

— Да?—какъ бы пріятно удивилась дама.—Благодарю васъ,—успокоиваясь, прибавила она потомъ.

И дама отошла, узнавъ, что полный—русскій. Во время ея краткой бесѣды съ полнымъ, худощавый выражалъ полнѣйшее безучастіе, такъ что дама предположила, что тотъ по-русски не понимаетъ. Чтобы провѣрить это, дама, спустя нѣсколько минутъ, вновь подошла къ спутникамъ.

— Pardon,—обратилась она уже къ худощавому, приготовляясь заговорить снова о чемъ-то хитромъ и лукавомъ:—какъ называется нашъ пароходъ?

Худой вскочилъ такъ же, какъ и полный. Его голосъ, горловой басъ, былъ тоже нѣсколько хриплый.

— Александръ Невскій.

— Alexandre Nevsky! — почему-то съ французскимъ выговоромъ повторила дама. — Merci.

Во время этого діалога полный въ свой чередъ оставался совершенно безучастенъ, до того безучастенъ, что довольно неприлично подтянулъ на себѣ брюки.

Дама отошла. Оба спутника оказались русскими, но даму чрезвычайно интересовало узнать, изъ Харькова ли они, или изъ Петербурга, а также и то, всѣ ли уже дамы носятъ въ Харьковѣ или Петербургѣ тѣ цвѣта, что у нихъ на галстукахъ. Дама подошла къ нимъ сзади.

— Чтобы не тревожить себя... — начала она необыкновенно оживленно и радостно, но вдругъ умоляла: очевидно, ея спутники были люди очень нервные, потому что, лишь только послышались за ихъ спиной оживленіе и радость, они вздрогнули, причемъ худой сронилъ туфлю, и обернулись въ дамѣ съ дикимъ видомъ. Но та была спокойна. — Pardon, я васъ испугала, — мелькомъ сказала она и продолжала: — Чтобы не тревожить себя раннимъ вставаніемъ, и чтобы поспѣть на пароходъ, я забралась на него съ моей дѣвушкой съ вечера... Это очень удобно... Вы далеко ѣдете?

— А? — спросилъ худой, съ растеряннымъ видомъ.

Дама нѣсколько изумилась.

— Pardon, кажется, я васъ очень испугала, — повторила она и развернула зонтикъ.

Полный лучше владѣлъ собою. Онъ отвѣтилъ, что они ѣдутъ далеко, — и назвалъ городъ.

— Ахъ, Боже! — любезно изумилась дама этому пріятному открытію. Я въ прошломъ году...

— Да, именно... — не совсѣмъ въ-время перебилъ ее полный.

— Я въ прошломъ году...

— Въ прошломъ году?! — полу-воскликнулъ худой — и тоже некстати.

— Да, въ прошломъ году... — начала въ третій разъ дама, но полный снова и такъ странно подтянулъ брюки, а худой такъ неблаговоспитанно почесался, что дама была принуждена закрыться зонтикомъ и начать въ четвертый разъ: — Въ прошломъ году я была тамъ. Прелестный городокъ. N'est-ce pas?.. Pardon, я принесу себѣ стулъ. Здѣсь сидѣть прохладнѣе.

Оба спутника вскочили и молча исчезли. Черезъ секунду оба появились, каждый со стуломъ, и, все молча, поставили ихъ около дамы.

— Merci, messieurs. Не правда ли, это — прелестный городъ?

— Ни разу, сударыня, въ немъ не былъ, — вдругъ неестественно оживляясь, — воскликнулъ полный.

— Vraiment? Вы издалика?

— Мы петербуржцы.

— А! — сказала дама одобрительно и какъ бы позволяя спутникамъ быть петербуржцами. — Что же вамъ послѣ Петербурга дѣлать въ такомъ маленькомъ городкѣ?

— Мы собственно не туда, а въ это... какъ это? — отвѣчалъ полный оживленно, но какъ-то растерянно. — То-есть, даже не мы... Или да, мы ѣдемъ въ уѣздъ. Я ѣду получать наслѣдство.

— Ахъ, Боже мой! — воскликнула дама и даже зонтикъ сложила.

— Нѣтъ, ничего! — успокоилъ ее худой; наслѣдство было послѣ дальняго дяди, котораго онъ и не зналъ даже.

— Да, вообразите, онъ не зналъ! — подтвердилъ полный.

— А! — успокоилась дама: — въ такомъ случаѣ, когда не знаешь человѣка, — смерть его не поражаетъ... Что новаго въ Петербургѣ?

— Ничего, — равнодушно и въ одинъ голосъ отвѣтили спутники.

— Какъ, ничего? Вы... pardon, служите?

— Нѣтъ-съ, — снова равнодушно и снова въ одинъ голосъ сказали спутники, послѣ чего полный прибавилъ: — Я литературный критикъ, а онъ картины пишетъ, — художникъ.

Дама насторожилась, бросила исполненный и любопытства, и опасенія взглядъ на своихъ спутниковъ и слегка пресѣкающимся отъ волненія голосомъ спросила:

— Простите мое любопытство, — намъ, провинціаламъ, такъ рѣдко приходится видѣть литераторовъ и художниковъ, — съ кѣмъ я имѣю удовольствіе встрѣтиться?

Спутники переглянулись, нахмурились и отрекомендовались: худой и черный — художникомъ Помятовымъ, а полный — рыжій — литераторомъ Мартовымъ.

Дама нѣсколько мгновеній молчала, задумчиво глядя въ даль и тонео улыбаясь.

— Вы очень злы, monsieur Мартовъ! — наконецъ произнесла она и быстро обернулась къ полному съ такимъ видомъ, что вотъ она — ага! — любезно поймала его.

Но полный, казалось, и не замѣтилъ, что его хотятъ любезно поймать, и озабоченно спросилъ:

— Чего-съ?

— Вы слишкомъ, слишкомъ злы, monsieur Мартовъ! — мѣняя неудавшійся лукавый тонъ на серьезный, — повторила дама. — Мы

читаемъ васъ въ провинціи, каждый вашъ фельетонъ, и находимъ, что у васъ... — дама сдѣлала ужимочку: — сердце недоброе.

Дама волновалась; ея руки безпокойно шевелились; о недобротѣ сердца она говорила не безъ усилія. Мартовъ какъ будто нѣсколько смутился.

— Это такъ только кажется, сударыня, — проговорилъ онъ, перебѣгая странными, потускнѣвшими глазами съ собесѣдницы на даль и съ дали на собесѣдницу. Вдругъ онъ всталъ со скамьи, приподнялъ шляпу, вѣжливо ослабилъ и отошелъ. За нимъ такъ же всталъ, такъ же приподнялъ шляпу и ухмыльнулся и художникъ. И оба торопливо и съ испуганными лицами не совсѣмъ твердой походкой спустились внизъ. По дорогѣ они обмѣнивались фразами, произносимыми шопотомъ. — „Вотъ, холера привязалась!“ — сказалъ Мартовъ. — „Не уйти намъ! трое сутокъ разговаривать будетъ; я, батенька, ихъ знаю!“ — шепталъ Помятовъ. — „И зачѣмъ мы свое incognito раскрыли?“ — восклицалъ первый. — „Съ похмеля“, — отвѣтилъ второй: — „съ похмеля всегда торопливость какая-то нескладная нападаетъ“. — Наши герои, надо сознаться, дѣйствительно были съ похмеля. Наканунѣ, предъ тѣмъ какъ пересѣсть въ большомъ городѣ съ желѣзной дороги на паромъ, они сильно кутнули и выпили. Что оба они не были пьяницами въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, доказывается уже ихъ сильнымъ похмелемъ, которое заставило ихъ и разговаривать со своей спутницей, и держать себя съ ней довольно нескладно. Но и ненавистниками вина они не были. И потому, когда въ большомъ городѣ случайно и неслучайно они столкнулись съ пяткомъ, другимъ, хорошихъ знакомыхъ и хорошихъ „человѣчковъ“, а также знакомыхъ этихъ знакомыхъ и „человѣчковъ“: съ актеромъ, профессоромъ, художникомъ, корреспондентомъ, романистомъ, помощникомъ полиціймейстера, инженеромъ путей сообщенія, какимъ-то іеромонахомъ, адвокатомъ, — когда наши путники столкнулись съ этой братіей, такою же представительницею бродячей интеллигенціи, какъ и сами они, эти послѣдніе и тѣ первые — не преминули кутнуть. Наша бродячая интеллигенція никогда не преминетъ кутнуть. Кутнули шибко, какъ и всегда оно на Руси бываетъ.

— Ну-съ, почтеннѣйшій Михаилъ Михайловичъ, — заговорилъ въ общей какотѣ Мартовъ, рѣшительно надѣвая на носъ рипсе-пез и хватая карточку кушаній, — какъ вамъ угодно, а я опохмелюсь, ибо иначе — тяжело.

— Мнѣ, Павелъ Ивановичъ, весьма угодно, — вѣжливо отвѣ-

тилъ Помятовъ, и вдругъ изъ вѣжливаго джентльмена превращаясь въ морской рупоръ, рявенуль своимъ басомъ:—человѣкъ!

Стѣить ли описывать, какъ опохмелялись путники? Большинство нашихъ критиковъ и рецензентовъ, еслибы я описывать сталъ, осудили бы меня за „протоколизмъ“, длинноты и, главное, за дурной тонъ; но они отлично знаютъ, какъ это люди опохмеляются, а потому я описывать не стану и пропущу въ своемъ разсказѣ полчаса. Черезъ полчаса путники оживленно и складно, съ хорошими интонаціями и размашистыми жестами—таково дѣйствіе опохмеленія—совсѣмъ нормально бесѣдовали о нѣкоторыхъ частныхъ вопросахъ эстетики и искусства. Худой продолжалъ говорить басомъ, но басъ этотъ звучалъ уже не хрипотой, а убѣдительною глубиной; жесты его стали энергичны, хотя, двигаясь, онъ и напоминалъ собою зигзаги сгибаемаго и распрямляемаго складного аршина. Теноръ полного—тоже прочистился и сталъ не только пріятенъ, но вкрадчивъ, а иной разъ просто кротокъ и любящъ. Жесты полного не напоминали складного аршина; они напоминали скорѣе что-то балетное или что-то придворное, или гостиное,—вообще были округленные. Чѣмъ больше полный пилъ, тѣмъ становился онъ кротче и изящнѣе. Глаза худого, когда онъ говорилъ, загорались и горѣли въ глубинѣ своихъ впадинъ. Близорукіе глаза полного имѣли мало огня и мало выраженія; они имѣли только одно замѣтное свойство: то слегка скапиваться, то раскапиваться. Зато у полного лицо играло, какъ у актера, а голосъ—какъ у пѣвца, тогда какъ худой не владѣлъ ни лицомъ, ни голосомъ: только глаза у него горѣли.

— Вѣрно, вѣрно, голубчикъ Михаилъ Михайловичъ!—воскликнулъ премилымъ теноромъ Мартовъ въ отвѣтъ на то, что говорилъ его спутникъ.

— Я, когда собираюсь писать,—глухимъ басомъ, подымая брови на лобъ (вся личная мимика у художника ограничивалась только этимъ номеромъ), говорилъ Помятовъ, — когда я собираюсь писать человѣка, я непременно долженъ себя выяснитъ, кто его отецъ былъ, да кто мать, да откуда онъ родомъ, да велика ли семья, въ которой онъ росъ... Я долженъ его очистить какъ яичко, всю эту скорлупу съ него снять, рассмотреть все его нутро, а потомъ уже писать его со всею скорлупою и въ одеждахъ. Нутро не наружу, но оно должно...

— Сквозить!—воскликнулъ Мартовъ, дѣлая жестъ или трибуна, или метателя копья.

— Свѣтитесь, хотѣлъ я сказать! — воскликнулъ Помятовъ, отправляя брови на лобъ.

— Именно такъ надо творить!—рѣшилъ Мартовъ.—И я это въ своихъ фельетонахъ трубилъ, трубилъ... Вы думаете, авторъ, который, быть можетъ, теперь насъ съ вами описываетъ, прочувствовалъ насъ, какъ вы требуете? И не воображалъ! Поймалъ на дорогѣ и началъ, съ чего пришлось... Пусть только напечатается—ужь влетитъ ему отъ меня!.. Ну-съ, еще по рюмочкѣ!

II.

Неожиданный оборотъ, какой принялъ разговоръ героевъ этого разсказа, заставляетъ автора снять съ себя обвиненіе въ легкомысленномъ отношеніи къ своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Это отступленіе, въ виду небольшихъ размѣровъ разсказа, по настоящему, излишне, но надо же удовлетворить строгаго рецензента, который иначе общается худое. Мнѣ довольно подробно извѣстны біографіи обоихъ героевъ, но въ большія подробности я не пущусь по недостатку мѣста.

Начну съ живописца. Родомъ Помятовъ изъ уральскихъ казаковъ и по прадѣду, кажется, башкиръ:—„помят“ значитъ побашкирски что-то такое ничего общаго съ русскимъ „мятемъ“ не имѣющее. Его отецъ былъ казачьимъ офицеромъ. Мать была чистокровная русская, священническая дочь. Достатокъ въ семьѣ былъ,—достатокъ, разумѣется, прапорщицко-дьячковскій. Дѣтей было много, но все дочери. Нашъ художникъ былъ единственнымъ сыномъ, а въ числѣ дѣтей самымъ младшимъ. Семья была простая,—отрыгнуться не считалось неприличнымъ,—но добрая и удачливая. Отцомъ были всегда довольны на службѣ; онъ многого не желалъ, былъ доволенъ службой, но, приходя домой, находилъ, что дома все-таки лучше, и благодумствовалъ въ теплѣ, въ сытости и среди семьи,—благодумствовалъ, посмѣивался, слегка подсмѣивался и покрививалъ только для порядка. Мать послѣ многихъ дѣтей и многихъ лѣтъ утомительнаго женскаго хозяйничанья стала будто нервничать: то предчувствія ее начинали мучить, то вдругъ сына Мишеньку ни съ того, ни съ сего становилось нестерпимо жалко, то чего-то хотѣлось; но подсмѣивающійся, сытый, сильный мужъ скажетъ, что это пустяки, что это къ дождю,—она взглянетъ на него вопросительно и повѣритъ. Дочки росли благополучно, и хоть ихъ и учили чтенію и письму, но ни тому, ни другому онѣ хорошенько не выучились, обнаруживая больше склонности къ такимъ дѣламъ, какъ откармливанье свиньи къ рождеству, перелицовка стараго платья, да умѣли еще въ лавкахъ торговаться и

не просыпать обѣдни. Дѣвушки были не въ мать и не въ отца, а въ того и другую пополамъ: ограниченныя больше въ мать, спокойныя—въ отца, добродушно подчиняющіяся въ мать, и здоровыя, а нѣкоторыя и съ юморомъ—въ отца. И Мишенька вышелъ въ обоихъ родителей, но въ немъ качества обоихъ были въ сильно увеличенномъ масштабѣ и съ неизвѣстно откуда взявшимся огонькомъ. Его очень баловали и испортили бы, еслибы не эта необыкновенная искорка, не отмѣтинка высшаго существа, присутствіе которой какъ-то особенно одушевляло и направляло къ чему-то неординарному эту натуру, родившуюся чортъ знаетъ гдѣ, въ какой глуши и отъ какихъ глухихъ родителей. Миша скользилъ по всему обыкновенному и прилипалъ къ исключительному, хотя по правиламъ бываетъ и должно быть наоборотъ. Миша рѣшительно не зналъ, какъ сѣстры, сколько нужно въ день свинѣ давать ѣсть, чтобы она растолстѣла, но одианъ во всемъ городѣ замѣтилъ, что свинья, когда она сидитъ на заднихъ ногахъ, ни дать ни взять похожа на мѣстнаго городничаго. Мишу ни капельки не занимала отцовская военная служба, и онъ, не выдавъ моря, метталъ о томъ, чтобы быть корабельнымъ юнгой и ѣхать вокругъ свѣта. Отецъ прочилъ Мишу, въ крайнемъ случаѣ, если не въ казаки, то въ канцелярскіе чиновники губернаторской канцеляріи, а затѣмъ въ сибирскіе исправники, по возможности въ горныхъ округахъ, гдѣ они, говорятъ, имѣютъ въ годъ десятки тысячъ,—но Миша сдѣлался художникомъ. Его имя было извѣстно, но далеко не въ такой мѣрѣ, какъ онъ того заслуживалъ. Это зависѣло отъ того, что и тутъ онъ оставался исключеніемъ, а не правиломъ. Какъ прежде онъ одинъ въ семьѣ не зналъ, какъ откармливаютъ свиней; такъ теперь—одинъ въ семьѣ художниковъ онъ не зналъ, какъ угодить критикѣ и публикѣ! Въ душѣ Помятовъ жаждалъ, и сильно жаждалъ—не даромъ глаза у него горѣли иной разъ угольками!—полнаго признанія и патетической славы, но не озлоблялся. Онъ вѣрилъ въ свою правоту, и чѣмъ меньше былъ успѣхъ его картинъ, тѣмъ съ большимъ жаромъ онъ принимался за работу. Отсутствие успѣха какъ будто разжигало его. Что-то говорило ему, что придетъ время, когда его признаютъ, и къ тому времени ему хотѣлось создать какъ можно больше, цѣлую главу въ исторіи искусства, цѣлую страну въ мірѣ художества. Замыслы горѣли въ его маленькой головѣ. Работа изнуряла его тѣло, а это изнуренное тѣло стало бунтовать. Помятовъ, женатый и семейный человѣкъ, сталъ болѣзненно увлекаться женщинами,—ухаживать, влюбляться, говорить о любви, проповѣдовать любовь, создавать культъ любви.

Въ послѣдніе два года у него было нѣсколько любовныхъ исторій, но всѣ онѣ кончились неудачею: Помятовъ былъ еще недостаточно знаменитъ. Когда усталость художника стала уже сильно замѣтной, его докторъ и знакомые стали заботиться, чтобы онъ отдыхалъ и развлекался. Съ тою же цѣлью и Мартовъ оторвалъ его отъ работы и вытащилъ изъ Петербурга въ свою большую поѣздку на югъ.

Мартовъ былъ другого рода человѣкъ. Художникъ родился въ невылазной глуши и глухомъ мѣщанствѣ; Мартовъ былъ сынъ очень богатаго помѣщика просвѣщенной подстоличной губерніи. Въ Помятова священный огонь заронила какая-то чудесная случайность. Мартовъ выросъ среди искусствъ и наукъ, въ Петербургѣ и за границей. И тамъ, и тутъ, въ домѣ его отца не переводились артисты и литераторы; и тамъ, и тутъ, къ его услугамъ были театры, картинныя галереи, статуи и великолѣпныя зданія. Помятовъ проникъ въ художественный міръ, какъ сдаточные попадаютъ въ офицеры, какъ прежде крѣпостные пробирались въ купцы,—медленно и съ усиліями. Мартовъ попалъ сразу въ самое небо искусства. Помятовъ, медленно проникая въ область прекраснаго, приучался къ восторгамъ предъ красотою, а потомъ къ восторгамъ творчества—постепенно. Мартовъ увидѣлъ прекрасное сразу въ доступной современному человѣку полнотѣ, сразу позналъ восторги въ самой напряженной степени, и также напряженно было у него желаніе творить. Помятовъ постепенно крѣпѣлъ, и къ тому времени, какъ мы съ нимъ познакомились, развился въ сильнаго художника; Мартовъ, ровесникъ перваго, все только собирался создать нѣчто большое и значительное, но вотъ уже десять лѣтъ писалъ извѣстные больше своею язвительностью, чѣмъ вѣрностью сужденій (хотя *чутіе* было у него несомнѣнное), критическіе фельетоны и общественные памфлеты. Начиналъ Мартовъ, конечно, не съ этого. Еще будучи въ кавалерійскомъ училищѣ, онъ издалъ на свой счетъ книжечку самыхъ патетическихъ стихотвореній въ бенедиктовскомъ родѣ. Бросивъ, въ самый заносчивый разгаръ шестидесятихъ годовъ, училище и отправившись въ Гейдельбергъ, разузнавать, какъ бы это химическимъ путемъ создать одушевленную тварь,—онъ писалъ и печаталъ однако стихотворные сборники, имѣя въ виду ни больше, ни меньше, какъ Некрасова. Вернувшись въ Россію, въ Петровскую академію, изучать сельское хозяйство, онъ задумалъ огромный общественный романъ, но не дописалъ его, потому что старикъ Мартовъ разорился, внезапно и совершенно, и сыну пришлось содержать не только себя, но и отца. Первое время помогли родственники, а затѣмъ Мартовъ

довольно скоро и довольно ловко сумѣлъ спуститься изъ верхнихъ сферъ вдохновенія къ простой литературной работѣ и, колебавшись туда и сюда, между юмористическими стишеами на случай, грозными статьями по вопросамъ иностранной политики, уголовнымъ романомъ и хроникой дамскихъ модъ,—остановился на своей теперешней работѣ, которая дала ему хлѣбъ и извѣстность. Больше всего было извѣстно, что онъ золь и *ругатель*. Мартовъ совершенно искренно не могъ понять справедливости этого мнѣнія публики.—„Ну, скажите, Христа ради,—обращался онъ къ собесѣднику во время дружескаго разговора,—скажите, развѣ я золь? Ну, золь ли я теперь? Злюсь ли я на прислугу здѣсь въ трактирѣ? Ругаю ли я когда-нибудь извозчиковъ? Сдѣлалъ ли я какую-нибудь злую гадость товарищамъ по газетѣ? Господа! ну сдѣлалъ ли я что-либо скверное кому-нибудь изъ васъ? Наконецъ, видѣ-то, рожа-то развѣ у меня злая?!” —И Мартовъ сбрасывалъ рпсе-пез и показывалъ свои близорукіе, добродушные глаза.—„Я просто справедливъ и прямъ. Я никогда не вумлю, и что у меня на душѣ—говорю во всю силу. А имъ это не нравится, имъ это спекуляціи разстраиваетъ. Повѣрьте, не сердцемъ злятся, а карманомъ, п-паскуды!!“

Эти увѣренія въ собственной кротости кончались тѣмъ, что Мартовъ тутъ же начиналъ явить невѣрившихъ въ эту кротость. Онъ и не подозрѣвалъ, что, каковъ бы тамъ самъ онъ ни былъ, ему былъ данъ талантъ злиться и явить,—какъ у полу-башеира Помятова, въ его полудикой странѣ, среди такихъ же полуди-карей, невѣдомо какъ, явилось стремленіе къ прекрасному.

III.

Итакъ, наши герои бесѣдовали о нѣкоторыхъ частностяхъ искусства и творчества.

— Безъ пива я не могу опохмелиться!—вдругъ воскликнулъ Мартовъ.—Вотъ мы съ вами по четыре рюмки водчонки хватили, а все не то. Все подъ ложечкой камень. Пиво спасаетъ, особенно черное: и пиво оно, и на квасъ похоже.—И Мартовъ съ вопрошающимъ видомъ взялся за колокольчикъ. Помятовъ, подумавъ, кивнулъ головой въ утвердительномъ смыслѣ, и пиво было заказано.

За пивомъ разговоръ поднялся и сталъ касаться уже не частныхъ, а основъ искусства. Мартову эти темы, несмотря на то, что онъ писалъ на нихъ десять лѣтъ сряду, не надоедали,

— и это былъ хорошій знакъ. Чтѣ такое искусство, и чтѣ такое прекрасное, и все ли въ искусствѣ прекрасно, и всякое ли прекрасное въ искусствѣ одинаково полезно, могущественно и популярно, — вотъ о чемъ, уже сильно повысивъ голоса, бесѣдовали спутники. Рѣшили, что все возведенное въ перлъ созданія, отъ четырехстишія Фета до многотомія Льва Толстого, прекрасно въ степени совершенно равной. Кромѣ того, съ такою же очевидностью доказали, что Фетъ принадлежитъ лишь знатокамъ, а Толстой — всему міру. Въ заключеніе былъ сдѣланъ выводъ: творя, нужно помнить только о требованіяхъ прекраснаго, а не читателей, ибо популярность произведенія — элементъ въ искусствѣ случайный. Казалось бы, на этомъ выводѣ можно было успокоиться. Но наши герои были люди живые. Произнося слова: „прекрасное“, „популярность“, „отказаться отъ суеты, служить искусству“, — они не только понимали, а и чувствовали эти слова, иной разъ — охъ, какъ глубоко чувствовали! Поэтому, придя къ окончательному выводу, они были взволнованы. У Помятова горѣли его угольки-глаза и раздувались ноздри тонкаго носа; Мартовъ поблѣднѣлъ и съ гримасами мелко-на-мелко ломалъ спичку. Сердца у обоихъ сильно бились, воображеніе работало, мысль летѣла. Имъ обоимъ нужно было или успокоительныхъ какихъ-нибудь капель, или еще возбудить себя.

— Эхъ, выпить развѣ за искусство!? — сказалъ Мартовъ.

Помятовъ снова утвердительно кивнулъ головой.

Съ новой бутылкой чернаго пива разговоръ начался о здоровьѣ.

— Вотъ ужъ лѣтъ десять говорю я себѣ, что пить вредно, — задумчиво сказалъ Мартовъ.

— Я больше, — сказалъ Помятовъ: — мнѣ уже двѣнадцать лѣтъ одинъ психіатръ запретилъ.

— Мнѣ не психіатръ, мнѣ... другой спеціалистъ. Я пробовалъ самъ записывать: среднимъ числомъ, здорово, — понимаете, здорово пьянъ я бываю въ двѣ недѣли разъ. А вы?

— Рѣже. Въ мѣсяцъ разъ, да и то стараюсь, чтобы не очень.

— И вѣдь пьешь-то, — продолжалъ Мартовъ, — рѣдко по своей инициативѣ, а все по случаю, за компанію. А впрочемъ, еслибы не компанія, и самъ бы, вѣроятно, напивался: привыкъ вѣдь. Я разъ на дачѣ прожилъ въ полной трезвости и за работой три мѣсяца, такъ, ей Богу, понялъ Аркадія Счастливцева, которому отъ правильнаго образа жизни всегда хотѣлось удавиться.

— Я своему психіатру прямо сказалъ, — прервалъ Мартова Помятовъ: — если, говорю, вы дадите мнѣ что-нибудь, чтѣ бы мнѣ нервы притупляло, когда они у меня отъ работы какъ иголки

заострятся и такъ и вонзаются въ душу, такъ и ползутъ въ нее; — тогда я и не подумаю пить. Полтора года, говорить, *minimum*, лечиться нужно...

Началась бесѣда о медицинѣ, о вліяніи на здоровье воли — настроенія духа; припомнили исторію болѣзни и выздоровленія Кэти изъ „Анны Карениной“ — и не безъ легкомыслія выпили за гибель ни къ чему ненужныхъ докторовъ.

Посидѣвъ минуточку въ задумчивости, Помятовъ подперъ голову рукой и, глядя вдаль, спросилъ:

— А что, Павелъ Ивановичъ, есть ли душа?

Мартовъ усмѣхнулся съ отбѣнкомъ горечи.

— Кто же это можетъ знать! — отвѣтилъ онъ.

— Можетъ! — и Помятовъ своими движеніями складного аршина ударилъ кулакомъ по столу. — Можетъ! Мнѣ это иной разъ *нужно* знать, чортъ побери! Еще какъ нужно! Иной разъ вотъ противно становится работать, жить, ѣсть, пить, говорить. Чтò я безъ души-то? Автоматъ, котораго сдѣлали, котораго сломаютъ! Не хочу я быть автоматомъ, я хочу быть своимъ собственнымъ, я хочу, чтобы я былъ — я, чтобы это тѣло принадлежало мнѣ, чтобы оно служило мнѣ, чтобы я захотѣлъ и бросилъ его, какъ калошу... А то калоша-то это и есть я! тьфу!!

Помятовъ опять стукнулъ съ движеніемъ складного аршина по столу. Лицо Мартова оживилось: Помятовъ требовалъ себѣ души съ большою художественностью.

— Человѣкъ, еще бутылочку, этого же самаго! — воскликнулъ Мартовъ и, перегнувшись черезъ столъ къ собесѣднику, спросилъ его: — зачѣмъ люди живутъ на свѣтѣ?

Послѣ этого вопроса разговоръ сталъ еще одною степенью возвышеннѣе. Заговорили о Богѣ, о Шопенгауерѣ, о смерти; упомянули о безконечности вселенной и вѣчности матеріи. Мартовъ высказывалъ себя больше критикомъ, аналитикомъ, а Помятовъ оставался художникомъ. Мартовъ остановился на психическихъ причинахъ пессимизма Шопенгауера; Помятовъ силился представить себѣ безконечность и вѣчность.

— А чтò, если и вѣчность, и безконечность — вещи совершенно простыя? — спрашивалъ онъ. — Чтò, если для постиженія безконечности мнѣ достаточно, оставаясь по сущности моею точъ въ точъ такимъ же, каковъ я теперь, быть длиною въ миллионъ миллиардовъ солнечныхъ радіусовъ? — Мартовъ сморщился, уничтоженный такимъ дьявольски огромнымъ ростомъ. — Сдѣлайся я такимъ, и безконечность у меня въ горсти. А?! А мы думаемъ, что для пониманія безконечности надо быть особеннымъ существомъ.

Мартовъ задумался надъ неистовыми рѣчами художника и вдругъ сообразилъ.

— Знаете ли, понять почти ничего нельзя, а вообразить можно все!—воскликнулъ онъ.—Вотъ великая привилегія вашего брата—художниковъ.

Задумался и Помятовъ, долго думалъ, наконецъ понялъ и безмолвно чокнулся съ собесѣдникомъ.

— За искусство!—сказалъ онъ.

— За художниковъ!—отвѣтилъ другой.

— За любовь!—припомнилъ первый.

— И за ея носительницъ, женщинъ!—развилъ второй.

— Ура!—воскликнули оба сразу и почти въ унисонъ прибавили:—Человѣкъ, и еще бутылочку того же!

Настроеніе собесѣдниковъ достигло теперь ступени наиболѣе совершенной: оно было жизнерадостное. Вмѣсто души, Шопенгауера, вѣчности и безконечности заговорили о женщинахъ и любви. Мартовъ былъ холостъ, Помятовъ женатъ, но оба одинаково тепло отзывались и о женщинахъ, и о любви.

— Каюсь, каюсь!—говорилъ Мартовъ, поджимая подъ себя ногу, чтобы лучше можно было перегнуться черезъ столъ въ собесѣднику.—Каюсь, я бабникъ и женолюбивъ, аки самъ царь Соломонъ.

— Нехорошо!—не безъ суровости сказалъ на это Помятовъ.

— Почему нехорошо?—воскликнулъ Мартовъ:—Соломонъ не могъ любить чего-либо, чего не одобритъ художникъ. Я люблю въ женщинѣ ея женственность. Я люблю, что она легче меня, мягче меня, тоньше костями. Я люблю ея женскія манеры, хватки и ужимки, такія для меня чужія и вмѣстѣ съ тѣмъ такія ловкія и изящныя. И ходитъ она не такъ, какъ я, и чешетъ волосы не тѣми движеніями, и дышетъ не такъ, и плачетъ не такъ,—и все это мило и изящно. Я въ женскомъ обществѣ говорю только по необходимости, а то посадилъ бы ихъ всѣхъ въ клѣтку, какъ колибри, или попугаевъ, да и любовался бы цѣлыми часами. И вотъ такая-то прелесть, такая милочка еще въ добавокъ и говорить можетъ, и умъ у нея есть, и сердце, и любить она, и ненавидить... У, милосенькая моя!

Мартовъ чуть не прослезился и чокнулся съ Помятовымъ. Помятовъ слушалъ внимательно. Сначала его глаза улыбались при нѣжныхъ рѣчахъ собесѣдника, а потомъ загорѣлись.

— А вотъ штука—поцѣлуй!—воскликнулъ онъ, дѣлаясь не только серьезнымъ, но какъ будто и встревоженнымъ.—Поцѣлуй, это—пожаръ, который, если и утушить, такъ онъ вырастетъ въ

нѣчто ужасающее и адски блаженное. Поцѣлуй, это—слитіе въ одно двухъ существъ. Поцѣлуй...

Но тутъ мы не можемъ слѣдовать за ораторомъ. Скажемъ только, что онъ говорилъ съ настоящею страстью, которая все облагораживаетъ, и разгорался больше какъ художникъ, чѣмъ какъ... служитель поцѣлуя. Мартовъ съ любопытствомъ и слушалъ, и наблюдалъ художника, хотя, конечно, не съ однимъ лишь любопытствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не терялъ самообладанія и не упускалъ скомандовать „еще бутылочку того же“, когда предыдущая бутылочка оказывалась пустою.

IV.

За рѣчью и діалогомъ о поцѣлѣ, которые, въ нѣсколько измѣненной редакціи, могли бы составить недурную главу книжки во французскомъ стилѣ: „О любви“, или „О женщинахъ“,—за этимъ начались рѣчи и діалоги, которые не то что повторить, но и упоминать о нихъ авторъ не рѣшается, какъ по природной скромности, такъ еще и потому, что Мартовъ не преминулъ бы въ своемъ отзывѣ о вышеупомянутыхъ предметахъ продернуть его за пристрастіе къ „клубничкѣ“ и сальнымъ анекдотамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ не можетъ не остановиться на нѣсколько рискованномъ эпизодѣ роковаго недоразумѣнія между спутницей его героевъ и этими послѣдними, до котораго мы, наконецъ, въ нашемъ повѣствованіи дошли.

Анекдоты длились довольно долго и кончились вопросомъ Мартова, обращеннымъ къ прислуживающему имъ лакею:

— А что, братецъ, у васъ на пароходѣ какой-нибудь подходящій бабечъ есть?

Лакей былъ хохолъ и потому принялъ въ дѣлѣ участіе не столько за рублевую бумажку, опущенную ему въ руку Мартовымъ, сколько по влеченію добраго сердца.

— А вотъ я пойду, да и посмотрю хорошенечко,—задушевейшимъ „полтавскимъ“ теноромъ отвѣтилъ онъ, глядя на Мартова глазами, сіяющими дружбою, и чуть не потрепалъ его по плечу.

Черезъ четверть часа лакей показался вновь.

— Подите-ка вотъ сюда за двери на минуточку,—сказалъ онъ все тѣмъ же пресимпатичнымъ теноромъ:—я вамъ одну исторію имѣю рассказать.

Мартовъ пошелъ послушать исторію, и вышла дѣйствительно

исторія... Не успѣлъ Помятовъ окончить оставшуюся недопитой бутылку пива, какъ услышалъ въ сосѣдней каютѣ крикъ, стукъ распахнутой двери и восклицанія спутницы моихъ героевъ: „какъ это грубо! какъ это мерзко! я предсѣдательша палаты!“ Въ ту же секунду дверь распахнулась, и влетѣлъ, именно влетѣлъ, — беззвучно, какъ дуновеніе зефира, на цыпочкахъ, поднявъ руки, плечи, щеки и брови вверхъ, — Мартовъ.

Помятовъ вопросительно взглянулъ на него.

Мартовъ весь поднялся еще больше вверхъ и, зажмурившись, сталъ трясти головой.

— Не туда попалъ! — шопотомъ, подобнымъ дыханію того же зефира, проговорилъ онъ: — кричитъ: „я предсѣдательша палаты!“ Первый разъ слышу, что есть въ палатахъ предсѣдательши, и при какихъ каторжныхъ обстоятельствахъ слышу!

За дверью шумъ возрасталъ. „Предсѣдательша“ требовала воды, требовала капитана, требовала, чтобы немедленно отправили телеграмму ея мужу, требовала уголовного суда, хотѣла отправить по телеграфу жалобы въ столицу: градоначальнику и редактору Мартова. Ея требованія были неисполнимы, но около нея бѣгало по крайней мѣрѣ человѣкъ пять. Мартовъ зажмурился еще плотнѣе и затрясъ головой еще сильнѣе. Въ это время дверь распахнулась, и вошелъ лакей.

— Ай, господинъ, господинъ, развѣ же можно такъ на нашихъ пароходахъ дѣлать! — чуть не плача отъ негодованія противъ Мартова и отъ сочувствія къ предсѣдательшѣ заговорилъ онъ. — Такая отличная, благороднѣйшая барыня, а вы что выдумали! Вотъ, пожалуйста зато теперь къ господину капитану... Они сейчасъ за дверью съ барыней стоятъ и все слышать, — прибавилъ онъ, примѣчая, что кулаки Мартова начинаютъ довольно подозрительно сжиматься.

Но Мартовъ ограничился только тѣмъ, что сильно отстранилъ лакея отъ двери, оправилъ волосы, галстухъ, сдѣлалъ официальное лицо и самъ вышелъ къ капитану.

Ему пришлось бы нехорошо, еслибы въ числѣ его вчерашнихъ собутыльниковъ, пріятелей, хорошихъ знакомыхъ и хорошихъ „человѣчковыхъ“, а также знакомыхъ этихъ знакомыхъ не очутился и членъ правленія пароходнаго общества. Имя этого члена волшебнымъ усмирило всю бурю, а предсѣдательшу кое-какъ успокоили обѣщаніемъ египетскихъ казней дерзкому.

Я началъ свой рассказъ съ описанія вечера на рѣкѣ въ степной полосѣ южной Россіи. Вечеромъ я началъ — совершенно

случайно, а потому могу и не возвращаться къ нему. Мартовъ строго осудить меня за такое „начало для начала“. — „Отчего, — скажетъ онъ, — авторъ не началъ съ описанія петербургской тумбы на углу Вознесенскаго и Екатерингофскаго, или съ покроя моего сапога? Зачѣмъ, — напишетъ онъ, — ему понадобился вечеръ, потому мое недоразумѣніе со спутницей, къ которой я попалъ, по ошибкѣ войдя въ лѣвую дверь вмѣсто правой? Развѣ это прибавляетъ что-нибудь существенное — не къ гонорару автора, а къ разсказу? Меня удивляетъ, — будетъ онъ писать, — отчего авторъ не описалъ содержимаго моего чемодана, особенно отдѣленія для снятаго бѣлья.“ Все это Мартовъ непремѣнно будетъ писать, прибавить и еще много ядовитаго, смѣшного и ругательнаго, но я все-таки не вернусь къ описанію вечера на степной рѣкѣ, полагая, что вступленіе въ разсказъ сдѣлано, и читатели получили необходимое понятіе о герояхъ. Теперь же перехожу къ описанію того мѣста и тѣхъ людей, куда Мартовъ съ Помятовымъ ѣдутъ.

V.

Мѣсто, куда ѣхали Мартовъ и Помятовъ, было степное имѣніе умершаго дальняго родственника Мартова. Родственники почти не знали другъ друга, и Мартову имѣніе досталось, кажется, только потому, что старикъ умеръ безъ завѣщанія. Иначе оно перешло бы, вѣроятно, тоже къ дальней родственницѣ покойнаго, которую онъ любилъ, и мужъ которой уже нѣсколько лѣтъ въ ряду арендовалъ его имѣніе. Когда Мартова, законнаго наследника, нашли власти, онъ списался съ ново-обрѣтенными родственниками, которые въ открытыхъ и привѣтливыхъ выраженіяхъ звали его пріѣхать и получить наследство. Родственники подписались фамиліей не то хохлацкой, не то польской, не то сербской, словомъ — новороссійской: Береговичами, причемъ м-ме Береговичъ приписывала, что она, мужъ и Мартовъ, судя по фельетонамъ послѣдняго, сходятся характерами и навѣрное понравятся другъ другу, а м-г Береговичъ присовокуплялъ нѣсколько привѣтливыхъ строкъ („по секрету отъ жены“, какъ онъ писалъ) о терновкѣ и хохлацкихъ дивчинахъ. Арендной платы однако не прислали, глухо упомянувъ, что о дѣлахъ потолкуютъ лично и прикончатъ ихъ частнымъ образомъ, честно и ясно, въ пять минутъ. Мартовъ, которому не совсѣмъ понравилась фамиллярность новыхъ родственниковъ, отвѣчалъ строго официальнымъ письмомъ, на что получилъ отвѣтъ тоже строго официальный.

Однако въ душѣ Мартовъ былъ заинтересованъ терновкой (въ Петербургѣ она не распространена), дивчинами и новоявленной родственницей, которая, судя по кокетливому тону ея перваго письма, должна была быть молода и недурна собой. Имѣніе, доставшееся Мартову, за вычетомъ банковаго долга, стоило тысячъ тридцать.

Мѣста, гдѣ находилось имѣніе, были плодородныя, черноземныя, но скучныя. Степь стлалась ровная, какъ скатерть. Деревень не было видно: всѣ онѣ попрытались по глубокимъ „балкамъ“, у ручьевъ, еле струившихъ свою скупую водичку. Въ таковой же балкѣ стояла и усадьба, доставшаяся Мартову. Небольшой низкій и длинный одноэтажный домикъ, крытый камышомъ, пара приземистыхъ избъ изъ земляного кирпича, ледникъ въ видѣ земляного холма, да нѣсколько навѣсовъ и амбарчиковъ составляли всю нехитрую усадьбу. Передъ домомъ былъ хорошій, большой и чистый прудъ, только отъ береговъ заросшій шелестѣвшими тростниками. По берегу частымъ рядомъ росли старыя, сильно попорченныя вѣтрами ветлы. Вокругъ дома была сдѣлана брошенная попытка развести рощицу, и на ея мѣстѣ росло больше бурьяна, чѣмъ деревьевъ. Дальше отъ дома, за этой рощей были плохо полотые огороды, съ кукурузой, арбузами, дынями, „помидорами“, „баклажанами“ и прочими овощами юга, между которыми интереснѣе всѣхъ были какіе-то „кабакѣ“ и—что не одно и тоже—какіе-то „кабачкѣ“.

Все это, за исключеніемъ пруда, было некрасиво. Около пруда и усадьбы все было запущено. А подняться изъ балки навѣрхъ, „на степь“—тамъ одна только пшеница да сорныя, жесткія, перепутанныя степными вѣтрами травы по широкимъ межамъ, отдѣляющимъ десятидесятинныя „кѣтки“, да ястреба и воршуны въ безоблачномъ жаркомъ небѣ. Утѣшала только одна могуче плодородная земля, ея сонная, недвижимая, безмолвная мощь, кормящая и утучняющая безчисленное количество звѣрей и людей, обогащающая цѣлое колоссальное царство, нѣсколько царствъ. Отсюда, изъ этихъ скучныхъ, душныхъ и пустынныхъ степей истекаетъ эта громадная, многообразная жизнь. Это былъ *животъ* Россіи и Европы или, говоря приличнѣе,—житница ихъ.

Павелъ Ивановичъ Мартовъ, въ качествѣ отзывчиваго фельетониста, думалъ то же самое, когда вмѣстѣ съ Помятовымъ выѣхалъ изъ уѣзднаго городка, гдѣ они высадились съ парохода раннимъ утромъ, въ только-что описанную усадьбу. Ыхали они въ старой, небольшой, но удобной коляскѣ. Везла ихъ пара хорошо кормленныхъ лошадей средней руки. На козлахъ сидѣлъ новороссіецъ,

напоминавшій сразу и цыгана, и грека, и бѣглаго, молодой, чер-
ный и красивый, съ хохлацкимъ акцентомъ, но употреблявшій
выраженія въ родѣ: „для меня это безразлично“ и „въ высшей
степени“. Ъхали спорой рысцой, окруженные непроницаемой
тучей черноземной пыли, и не опохмелялись, во-первыхъ, потому,
что похмелье было очень слабое, и, во-вторыхъ, по той причинѣ,
что пить третій день подрядъ было бы гнусно. Головы побали-
вали, но нашимъ героямъ это было не въ диковину, и они, не
смущаясь, предавались каждый своимъ впечатлѣніямъ и размыш-
леніямъ. Помятовъ зорко, не хуже ястребовъ и коршуновъ, кру-
жившихъ надъ ними, вглядывался въ новую для него природу.
Мартовъ думалъ о полученномъ въ наслѣдство имѣніи.

Вотъ уже четыре мѣсяца прошло, какъ Мартовъ, сидя однажды
поутру за фельетономъ въ своей грязноватой и беспорядочной
„меблированной“ комнатѣ, впустилъ въ себѣ въ двери полицей-
скаго и получилъ отъ него извѣщеніе о наслѣдствѣ,—а до сихъ
поръ онъ еще не подумалъ серьезно объ этомъ происшествіи.
Сначала ему казалось, что это ошибка, и что умершій ему не
родня; потомъ онъ ждалъ, что явятся болѣе близкіе родствен-
ники, которымъ, можетъ быть, получить наслѣдство есть резонъ
большій, чѣмъ ему—ни съ того, ни съ сего; затѣмъ почему-то
ему вообразилось, что наслѣдство очень ничтожное, всего этакъ
въ двѣ, три тысячи. Кромѣ того, Мартовъ былъ занятъ разгорѣв-
шейся полемикой съ интереснымъ противникомъ, перекричать
котораго было не пустяки; издавалъ онъ также книжку своихъ
памфлетовъ, и въ довершеніе всего сезонъ выдался какой-то
шальной и угорѣлый: то юбилей хорошихъ людей, то Помятовъ
написалъ такую картину, за которую ему еще впервые отвалили
безъ разговоровъ пятнадцать тысячъ; то пріятель защитилъ док-
торскую диссертацию; то другой пріятель женился; то, наконецъ,
просто масляница. Весь этотъ столичный угаръ такъ въ угарѣ
и держалъ Мартова, заставляя его не пещись объ утрѣ, къ чему
онъ и отъ природы былъ способенъ. Только подъ конецъ разо-
бралъ онъ, сколько же ему достается въ наслѣдство (по этому
случаю былъ сдѣланъ для пріятелей пиръ на весь Малый Яро-
славецъ), и только теперь, сидя въ этой коляскѣ, Мартовъ серьезно
задумался о томъ, что же изъ этого происшествія слѣдуетъ.

Мартовъ не былъ до того горожаниномъ, чтобы мечтать о
жизни въ деревнѣ и о хозяйничаньѣ тамъ; онъ понюхалъ хо-
зяйства, когда былъ въ Петровской академіи, и кромѣ того по-
мнилъ миллионъ терзаній, который доставляли его отцу, хозяину
неумѣлому, его деревни. Вопросъ, который задавалъ себѣ Мар-

товъ, состоялъ въ томъ, отдать ли имѣніе въ аренду, или продать его. Въ аренду отдать было бы лучше потому, что тогда можно бы было приѣзжать сюда отдыхать. Продать было предпочтительнѣе въ томъ отношеніи, что тогда не было бы и съ арендаторами, которые тоже мошенники не послѣдніе, никакихъ заботъ и хлопотъ. Но, продавъ землю и получивъ деньги, удержать ли Мартовъ эти деньги? Зная себя, Мартовъ имѣлъ право въ томъ сомнѣваться; не только онъ прожилъ бы деньги, но и работать бы бросилъ, куда не изыкали бы капиталы, разлѣнился бы, — а привыкать къ труду и къ заботѣ о кускѣ хлѣба, какъ онъ зналъ по опыту, не очень-то легко. Однако какъ же поступить: отдать въ аренду или продать? Повидимому, вопросъ былъ не очень запутанный, но Мартовъ думалъ, передумывалъ, утомился, впалъ въ нервическое безпокойство и, наконецъ, сообщилъ Помятову слѣдующее:

— Михаилъ Михайловичъ, — сказалъ онъ: — знаете ли, я какъ-то вдругъ вдумался въ это наслѣдство, и нахожу, что лучше бы его не было.

Михаилъ Михайловичъ, въ качествѣ художника, знающаго полныхъ людей, не удивился этому причудливому недовольству судьбой, а только освѣдомился о его причинѣ.

— Во-первыхъ, забота, а во-вторыхъ, совѣстно будетъ отказывать, когда будутъ взаимны просить, — отвѣтилъ Мартовъ и въ волненіи положилъ ноги на козлы и сталъ кусать ногти.

— Послушайте-ка, вы, кучеръ! — обратился онъ для разсѣянія къ новороссійцу, правившему лошадьми: — кто теперь въ усадьбѣ живетъ?

Новороссіецъ обернулся. Во рту у него была папироска, и не какая-нибудь, а настоящая, купленная. Новороссіецъ, не выпуская папиросы изъ зубовъ, раскрылъ однѣ лишь губы и очень охотно заговорилъ:

— Трудно сказать, кто дома. Береговичъ то уѣдетъ, то пріѣдетъ; то уѣдетъ, то пріѣдетъ. Но Береговичева почти постоянно дома сидитъ. Извините, вы родственники имъ?

— Нѣтъ.

— Тогда, откровенно говоря, Береговичиха красивая дама!

— Красивая? — оживляясь, спросилъ Мартовъ.

— Красивая! — тоже оживляясь, подтвердилъ новороссіецъ, вынувъ изо рта папиросу и держа ее совсѣмъ по-господски между двумя пальцами. — Высокая такая, полная, глазки черные.

— А веселая? — уже снимая ноги съ козелъ, спросилъ Мартовъ.

— Не скажу вамъ объ этомъ. Въ комнаты я, признаюсь,

не захожу, а когда на дворѣ видишь, такъ она серьезная больше, брови густые; идетъ — немного покачивается. Совсѣмъ на мой вкусъ дама.

— Каналья! — прошепталъ Помятову Мартовъ, которому манеры новороссійца начинали казаться странными. Но тема разговора заинтересовала его, и онъ продолжалъ:

— А самъ Береговичъ каковъ?

— У! Береговичъ деньгу имѣеть! Онъ тутъ въ уѣздѣ первый адвокатъ.

— Нѣтъ, я про лицо спрашиваю. Красивый?

Новороссіецъ нѣсколько затруднился, но сейчасъ же затрудненіе преодолѣлъ:

— Ничего себѣ, мужчина чистый, — сказалъ онъ.

— Высокій?

Новороссіецъ опять затруднился и опять презрѣлъ затрудненіе:

— Здорово высокій.

— Тоже, какъ и жена, брюнетъ, черный?

— А черный! — Впослѣдствіи оказалось, что Береговичъ свѣтлый блондинъ, средняго роста и некрасивъ.

— Третьяго дня или вчера пріѣхала еще барышня, ихъ родственница. Но не видалъ еще ея. А вы, господинъ, изъ Одессы?

— Нѣтъ, изъ Петербурга.

— И вашъ товарищъ тоже?

— Да.

— Я спрашиваю по той причинѣ, что отчего это, какъ господинъ изъ Петербурга, такъ его сейчасъ можно отличить.

— Чѣмъ же отличить?

— Совершенно какъ будто изъ больницы вышелъ; лицо этакъ... — новороссіецъ обернулся, взглянулъ въ пассажировъ, которые вдругъ стали стараться смотрѣть на него по возможности бодрѣе, и нашель слово: — лицо какъ смятая бумага.

— Сначала я думалъ, что онъ нахаль; а онъ глупый нахаль! — по-французски сказалъ Мартовъ.

— „Вуй“, — отвѣтилъ Помятовъ — небольшой французъ.

— Если какой господинъ изъ Одессы, — продолжалъ новороссіецъ, — такъ онъ всегда черный, подъ грека или подъ молдавана. Московскіе купцы — полные, лѣтомъ лицо все ажъ мокрое, бороды рыжія. Зналъ я еще господина изъ Кіева, такъ у того два горба были, спереди и сзади. А изъ Петербурга все вотъ такіе, какъ вы, господа...

Пассажиры не поддерживали разговора съ развязнымъ новороссійцемъ и велѣли ему ѣхать пошибче.

— Есть еще въ гостяхъ паничишка, гимназистъ, — продолжалъ разговарившійся кучеръ. — Ничего себѣ паничишка, играетъ на огромной скрипкѣ, держитъ между ногъ. Но я полагаю, что это глупость, такіа мудренныя скрипки. Во-первыхъ, голосъ отъ нихъ идетъ очень низкій, глухой, страшный; а потомъ матеріалу больше выходитъ, и цѣна стало быть дороже. Это одна глупость! — рѣшилъ новороссіецъ и обернулся къ пассажирамъ съ потухшей папиросой въ рукѣ. — Сдѣлайте одолженіе, раскурите мнѣ папиросу, а то мнѣ тутъ неловко, да и спички у меня совершенная дрянь.

И Мартовъ, и Помятовъ, никогда не важничали и не требовали ни отъ кого угодливости и униженія. Но новороссіецъ на возлахъ по манерамъ, голосу, самоувѣренности и фizioноміи былъ до такой степени „хамъ“, что Помятовъ, при порученіи раскурить папиросу, растерялся, забѣгавъ по сторонамъ глазами, а Мартовъ внезапно побагровѣлъ. Онъ выхватилъ у кучера папиросу, швырнулъ ее въ сторону и такимъ небезопаснымъ голосомъ изрыгнулъ такое ругательство, что новороссіецъ прекратилъ всякіе разговоры, сталъ необыкновенно ласковъ, но глазами хотѣлъ бы Мартова съѣсть.

VI.

Часовъ около двѣнадцати дня наши путники увидѣли, наконецъ, внизу, въ балѣѣ, около пруда, усадьбу, куда ѣхали.

— Да вѣдь это прелесть! — воскликнули они въ одинъ голосъ. Прелесть была въ большомъ прудѣ, который лежалъ подъ ихъ взоромъ, какъ блюдо, въ мягкой рамѣ камышей и ветелъ. Небо и бѣлыя выпуклыя облака, утонувшія въ небѣ, раздѣленные его синевой, облитыя и проникнутыя блескомъ и тепломъ солнца, и само полуденное солнце, горѣвшее бѣлымъ, каленымъ, будто разбрасывавшимъ искры свѣтомъ, отражались въ прудѣ, — и это отраженіе было бездонное и необъятное, шедшее далеко подъ берега, которые точно нависли надъ свѣтлою пропастью. Надъ серединой этой отраженной бездны держалась неуклюжая лодка, а въ лодкѣ полулежала женщина, барыня или барышня, подъ зонтикомъ, и читала книгу. Мартовъ и Помятовъ, восхитившись прудомъ, молча переглянулись по поводу женщины въ лодкѣ.

Экипажъ медленно спустился съ крутой горы и выѣхалъ на широкую плотину, тоже обсаженную ветлами. Бѣлое солнце отбрасывало на дорогу свѣту сквозныхъ древесныхъ тѣней. Подъ плотиной на прудѣ дремало стадо утокъ. Откосы плотины заросли

огромными кустами бузины и такимъ же огромнымъ колючимъ бурьяномъ. Въ кустахъ и въ бурьянѣ, точно насыпанные туда, сидѣли воробьи и цѣлой тучей, испугавъ лошадей, вдругъ картечью вылетѣли оттуда при проѣздѣ экипажа. Все было ярко, велико, обильно и густо.

— Эка силища какая во всемъ черноземная!—воскликнулъ Помятовъ, такъ и впиваясь своимъ взглядомъ живописца во все окружающее.

— Вотъ и еще дѣтища этой силищи!—воскликнулъ и Мартовъ, ускоренно насаживая на носъ ринсе-пез.

Въ прудѣ купались двѣ женщины и при проѣздѣ экипажа спрятались въ воду, и качались, и шевелились въ водѣ, выставляя плечи, шею, часть груди и руки до локтей. Дѣйствительно это была „силища“. Одна, брюнетка, съ желтоватымъ тѣломъ, смѣло и лукаво глядѣла на экипажъ. Другая, блондинка, обернулась бѣлой съ розоватыми тѣнями спиной и что-то говорила своей товаркѣ. И спины, и плеча, и руки были красивы и могучи. Ринсе-пез на носу Мартова едва удерживалось. Помятовъ выпрямился.

— Удивительно!—говорилъ одинъ.

— Великолѣпно!—повторялъ другой.

И, смѣю увѣрить читателя, на сей разъ это было восхищеніе художниковъ предъ совершеннымъ воплощеніемъ черноземной силы и мощи.

— Слушайте-ка, кучеръ!—обратился къ новороссійцу, на возлахъ, Мартовъ:—что онѣ здѣшнія, изъ усадьбы?

До сихъ поръ притворно ласковый, въ нужную минуту новороссіецъ подгадиль.

— Э... кто? Про чтѣ вы?—спросилъ онъ, какъ бы не понимая.

— Какъ кто? конечно, вотъ эти, что купаются.

— Утки?

— Женщины!!

— Женщины... Не знаю я, кто онѣ. Вотъ пріѣдете въ домъ, такъ тамъ или у пана, или у пани спросите.

— А тамъ въ лодкѣ кто?—спросилъ Помятовъ, находя что-то интересное, какіе-то тоны и тѣни въ лодкѣ и платьѣ женщины, въ каленомъ свѣтѣ солнца, на блиставшей, какъ сталь, водѣ.

Новороссіецъ и тутъ отомстилъ за себя. Онъ какъ бы не слышалъ вопроса и все свое вниманіе обратилъ на то, чтобы быстрѣе подѣхать къ крыльцу. Путники увидѣли заросшій бурьяномъ, между которымъ шли тропинки, дворъ, — и на нихъ съ

лаемъ бросилось штукъ десять разнокалиберныхъ дворнягъ; увидѣли тонкаго и высокаго юношу съ блѣднымъ налитымъ лицомъ и въ полотняной гимназической блузѣ, который куда-то прошелъ мимо самаго ихъ экипажа, но съ независимымъ видомъ, не только не поклонился, но и не посмотрѣлъ на нихъ; увидѣли черезъ окно въ черномъ полумракѣ комнаты фигуру мужчины, торопливо надѣвавшего бѣлый пиджакъ, — и остановились у крыльца о нѣсколькихъ ступеняхъ и съ крышей на двухъ деревянныхъ колонкахъ, покрашенныхъ бѣлой, частью облупившейся, частью вздувшейся пузырями краской. Съ крыльца была, конечно, маленькая передняя; въ передней, конечно, пахло ворванью, ваксой и гуттаперчей отъ висѣвшаго дождевого плаща. Слѣдующая дверь открылась, и оттуда быстро вышелъ, очевидно, тотъ мужчина, котораго они видѣли черезъ окно одѣвающимъ пиджакъ. Мужчина былъ лѣтъ за тридцать, средняго роста, плотенъ, съ мускулами какъ у гимнаста, со свѣжимъ, не особенно красивымъ лицомъ и умными, проницательными и слишкомъ свѣтлыми сѣрыми глазами. Въ это мгновеніе сѣрые глазки старались и успѣвали смотрѣть привѣтливо.

— Здравствуйте, господа! — весело, энергично и съ сильнымъ малороссійскимъ выговоромъ заговорилъ мужчина, протягивая обѣ руки впередъ и взявъ за руки сразу обоихъ пріѣхавшихъ. — Кто же изъ васъ господинъ Мартовъ? Вы? — весело спросилъ онъ и угадалъ.

— Я... Господинъ Береговичъ? — спросилъ Мартовъ.

— И вы угадали! — еще веселѣе воскликнулъ Береговичъ.

— Вашъ спутникъ, значить, господинъ Поматовъ. Великолѣпное дѣло! Ну-съ, дорогіе гости, болтать нечего, а приступимъ прямо къ необходимому: пожалуйста мыться и раскладываться.

Береговичъ говорилъ съ энергичнымъ натискомъ, дружески и такъ весело, какъ будто онъ говорилъ что-нибудь въ десять разъ болѣе интересное и веселое, чѣмъ то было на самомъ дѣлѣ. Между тѣмъ его глазки нѣтъ-нѣтъ да и взглянуть на пріѣхавшихъ пытливо и сторожео. Но гостей трудно было разглядѣть за покрывшимъ ихъ фізіономіи чернотомъ: всѣ морщинки и складки лицъ были точно нарисованы черниломъ, волосы и кожа были темно-сѣры, а зубы и бѣлки глазъ сверкали, какъ у негровъ. На привѣтливый и энергичный тонъ Береговича пріѣхавшіе отвѣчали такъ же привѣтливо: руки жали крѣпко и откинувши станъ назадъ; на веселость они отвѣчали веселостью же, на проницательные мимолетные взгляды — тоже проницательными и тоже мимолетными взглядами. На фамиллярное предложеніе

не болтать, а идти переодѣваться, они отвѣтили въ томъ же тонѣ:

— Ведите-ка, почтенный родственникъ, гдѣ вы насъ тамъ водворите!—воскликнулъ Мартовъ.

— Ай-да!—бойко прибавилъ Помятовъ.—Allons, enfants...

— Allons, enfants de la patrie!—подхватилъ, напѣвая, Береговичъ, но мимолетный взглядъ, брошенный на пріѣхавшихъ, былъ еще пытливѣе и осторожнѣе.

За передней слѣдовала, конечно, зала,—большая и низкая комната, съ поломъ, когда-то крашеннымъ подъ паркетъ, теперь сильно стертымъ, скудно уставленная тяжелою, старою мебелью краснаго дерева, къ которой удивительно не шли новое зеркало въ золоченой рамѣ и дешевыя олеографіи—премѣи. У одного изъ окошекъ, небольшихъ и почти квадратныхъ, сидѣла довольно крупная и довольно полная молодая женщина и читала. Спутники поклонились ей, и Береговичъ къ ней ихъ подвелъ.

— Представляю тебѣ господина Мартова и господина Помятова, о которомъ онъ намъ писалъ,—серьезно сказалъ Береговичъ и такъ же серьезно и значительно прибавилъ:—моя жена, господа.

Госпожа Береговичъ была настоящая малороссіянка, съ круглымъ кошачьимъ лицомъ и носикомъ, съ пепельными волосами, большая коса которыхъ короной лежала вокругъ головы,—съ прямыми плечами и лебяжьей шеей. Небольшіе сѣрые темные глаза смотрѣли добродушно, но не совсѣмъ по добродушію умно. Она была моложавая, но опытный глазъ пріѣхавшихъ тутъ же замѣтилъ начинавшіяся—даже еще не морщины, а чуть замѣтную вялость кожи кое-гдѣ на лицѣ. Говорила она тоже съ малороссійскимъ акцентомъ и задушевыми малороссійскими интонаціями. Одѣта она была въ какой-то мордовскій или малороссійскій нарядъ, свѣже вымытый. Книжку она читала совсѣмъ въ началѣ. Пріѣхавшіе сообразили, что и костюмъ, и книжка, и сидѣнье въ залѣ было сдѣлано ради нихъ.

— Мы васъ заждались,—заговорила она, протягивая гостямъ руку, но не вставая со стула, что, вѣроятно, по уѣздамъ считается согласнымъ съ дамскимъ достоинствомъ.—Мужъ такъ часто за васъ вспоминалъ.

Мартовъ не зналъ, что вспоминать „за кого“ значить поновороссійски вспоминать о комъ-нибудь, и потому только вѣжливо и пріятно хихикнулъ, совершенно по-негритански оскаливъ зубы.

— Да и я вспоминала,—прибавила хозяйка малороссійскимъ

тономъ, который сказалъ Мартову, судившему по-петербургски, что эти воспоминанія составляли для нея сладкія муки. Мартовъ снова хихикнулъ, снова сверкнулъ изъ своего чернаго лица бѣлыми зубами и вскинулъ на говорившую бѣлыми глазами. Ея лицо совершенно не выражало того, что выражали малороссійскій тонъ и голосъ. Очевидно, тонъ былъ просто пріятливый малороссійскій тонъ.

— Хе-хе!—вѣжливо отсмѣивался Мартовъ, не разобравъ еще, какъ ему держать себя съ хозяйкой.—Хе-хе!

— Хе-хе!—вторилъ ему и Помятовъ.

— Я очень радъ, что, наконецъ, мы познакомились лично,—продолжалъ Мартовъ,—хотя мы являемся предъ вами въ маскахъ.

— Мы не мы, а какіе-то негры, ложно именующіе себя литераторомъ Мартовымъ и художникомъ Помятовымъ!—весело воскликнулъ Помятовъ.

Хозяйка засмѣялась,—и смѣхъ составлялъ ея неожиданную прелесть: негромкій, низкій, грудной, задушевный. Смѣясь, она какъ-то подбирала подбородокъ и имѣла такой видъ, будто ей подбородокъ щечкутъ, и отъ этого она и смѣется.

— Нѣтъ, вы не самозванные негры, вы кавказскаго племени!—сказала она и опять засмѣялась.—Очевидно, она любила смѣяться, любила *дѣлать* смѣхъ, но и дѣланный онъ былъ такъ милъ, что Мартовъ и Помятовъ усердно вторили ему. Хозяйка еще засмѣялась, гости еще подхватили смѣхъ, и когда, наконецъ, они ушли, то ихъ удовольствіе выразилось противъ ихъ воли въ довольно большой неловкости. Лишь только вышли за дверь, Мартовъ, въ разсѣянности обращаясь къ Береговичу, развязно воскликнулъ:

— Прелесть, какъ смѣется!—и чуть не прибавилъ: „эта бабенка“.

Береговичъ довольно дико воззрился на Мартова, даже немножко дрогнулъ, покраснѣлъ, но все-таки засмѣялся, довольно неестественно, но бойко.

Мартовъ тоже покраснѣлъ и тоже сталъ искать приближаща въ неестественной бойкости. И тѣ четверть часа, которые Береговичъ, устраивая гостей, долженъ былъ провести съ ними, оба они, хозяинъ и Мартовъ, почти изнемогли и почти возненавидѣли другъ друга, поддерживая этотъ удалой и бойкій тонъ. Удалой и бойкій тонъ точно прилипъ къ нимъ. Береговичъ, наконецъ, ушелъ, а Мартовъ и Помятовъ все-таки, какъ вспомнить восклицаніе перваго, такъ и начнутъ изображать собою удалыхъ добрыхъ малыхъ, на которыхъ нельзя сердиться.

— Да-съ, дружище,—умываясь и лихо пофыркивая, говорилъ удалецъ-писатель,—да-съ, попали мы въ мѣста злачныя по части бабской націи. Смотрите, охулки на руку не положите.

— Не положимъ-съ,—отвѣчалъ удалецъ-художникъ, притоптывая ногой.—Разумѣйте и покоряйтесь, языцы!

— Языцы-то какъ языцы-съ,—а тѣ плечища, блондинистыя и брунетистыя, которыя онамнися въ водѣ полоскались, стоютъ просвѣщеннаго вниманія представителей петербургской интеллигенціи.

Слово „онамнися“ вдругъ настроило нашихъ героевъ, кромѣ удали, еще на великорусскій ладъ.

— Ужъ точно-съ, судырь,—въ великорусскомъ же тонѣ отвѣчалъ Помятовъ на предложеніе обратить вниманіе на плечища:—ужъ точно-съ, судырь ты мой, что плеча ахтительныя. И вѣдь то сообразить, что она, хохлушка, можно сказать,—сорту мало стоющаго, а корпусъ—все отдай... мало!

— Эхъ-ма!—отвѣтили на это Мартовъ, чувствуя, что великорусскій тонъ выходитъ еще глупѣе удалого.

VII.

Когда пріѣзжіе отмылись и пріодѣлись, ихъ позвали обѣдать. Обѣденный столъ былъ поставленъ въ залѣ. Отъ жары спустили шторы, и въ комнатѣ было полутемно. Пріѣзжими представили высокаго и тонкаго юношу съ налитымъ лицомъ, котораго они встрѣтили, въѣзжая во дворъ усадьбы, и который оказался племянникомъ хозяина. Пріѣзжіе, все еще зараженные проклятымъ лихимъ тономъ, лихо пожали ему руку и лихо не обратили на него никакого вниманія. Юноша покраснѣлъ до слезъ, но улыбался съ независимымъ презрѣніемъ.

— А, это терновка!—громко говорилъ Мартовъ.—Это та терновка, о которой вы писали?—лукаво обратился онъ къ хозяйкѣ.

— Да, о которой я писала,—такъ же лукаво отвѣтила та.

— Ахъ, нѣтъ, это не вы писали, это вашъ супругъ писалъ! Вы о чемъ-то другомъ писали... Во всякомъ случаѣ позвольте выпить за хозяйку.

— Да вѣдь здѣсь хозяйинъ—вы!

Мартовъ поперхнулся водкой, раскашлялся и голосомъ чело-вѣка, висащаго въ петлѣ, говорилъ что-то удалое, чего нельзя было и разобрать.

Когда сѣли обѣдать, хозяйка оглянулась и спросила:

— А гдѣ же Маня?

— Въ своей комнатѣ,—отвѣтилъ гимназистъ, съ улыбкой, уже не только независимой, но и иронической.

— Отчего же она не идетъ?

Гимназистъ усмѣхнулся прямо сардонически и сказалъ:

— Не знаю.

Въ это время дверь отворилась, не слышно было шаговъ за нею, такъ что тотъ, кто отворилъ, очевидно, нѣкоторое время стоялъ за дверями, и вошла тоненькая дѣвушка, лѣтъ шестнадцати, блѣдная, съ лицомъ, на первый взглядъ производившимъ впечатлѣніе некрасиваго. Дѣвушка была тоже не то въ черемисскомъ, не то въ румынскомъ костюмѣ, который былъ тоже свѣже вымытъ. Къ столу дѣвушка подошла какъ-то бокомъ, пригнувъ голову и глядя исподлобья небольшими темными глазами, подъ густыми темнорусыми бровями. Ея почти черные волосы были убраны въ одну косу; худенькія руки были обнажены до локтя; на узенькой, неразвившейся груди было множество яркихъ бусъ, плохо шедшихъ къ ея лицу съ темной кожей. Дѣвушка подошла стремительно, бокомъ и угловато взялась за стулъ. Ей представили гостей. „Очень пріятно“, прошептала она, порывисто протягивая руку одному; „очень пріятно“, такъ же шопотомъ и такъ же сильно встряхивая руку,—сказала она другому, сѣла и торопливо стала ѣсть супъ. Дѣвушка была двояродная сестра хозяйки.

И за обѣдомъ удалъ и бойкость не хотѣли отвязаться отъ нашихъ героевъ. Говорили они преувеличенно громко и съ излишнимъ оживленіемъ, ѣли второпяхъ огромное количество, пили колоссальными глотками, частію чтобы поддержать свое оживленіе, частію тоже отъ торопливости. Мартовъ рассказывалъ разные эпизоды изъ своихъ заграничныхъ странствованій, причемъ эпизоды были удивительно интересные и литературные: бесѣды съ парламентскими вожаками, случайная встрѣча съ Гарibaldi, странное знакомство съ французской герцогиней, проигравшейся въ баденской рулеткѣ, могущественное впечатлѣніе, произведенное на него въ Швейцаріи пикомъ Финстерааргорна, хотя и отличное отъ столь же сильнаго, но въ другомъ родѣ, впечатлѣнія отъ Пикъ-дю-Миди и т. д., и т. д. Помятовъ тоже не уронилъ себя и тоже лихо, „по-разскащички“ рассказывалъ нѣсколько случаевъ изъ жизни башкиръ и учениковъ петербургской академіи художествъ.

Послѣ связныхъ разговоровъ начались отрывочные, которые ведутся для того, чтобы не молчать.

— Говорятъ, Одесса пріятный городокъ. Вы тамъ часто бываете?—спрашивалъ Мартовъ хозяйку.

— Очень хорошенькій городъ!—отвѣчала она:—я тамъ прожила почти всю прошлую зиму.

— Что же, весело тамъ проходить сезонъ?

— Я лечилась.

Мартовъ сдѣлалъ собогѣзнуюющее лицо. Хозяйка сочла его выраженіе за вопросительное и обязательно прибавила:

— Отъ разныхъ тамъ женскихъ болѣзней.

Мартовъ слышалъ, что въ провинціи еще и до сихъ поръ смотреть на все, по модѣ шестидесятыхъ годовъ, просто и прямо, но все-таки при словахъ хозяйки какъ-то хлопнулъ челюстью и бросилъ взглядъ на независимаго юношу и нервную шестнадцатилѣтнюю дѣвушку.

— Вотъ и Маня со мной тамъ жила,—сказала хозяйка:—тоже лечилась.

— Также хворали?—вѣжливо освѣдомился Мартовъ, но съ опасеніемъ.

— Да,—отвѣтила та, то вскидывая на него суровые темные глаза, то опуская ихъ, въ тревогѣ сжимая большой кусокъ хлѣба въ катышекъ и даже краснѣя своимъ блѣднымъ личикомъ.—Отъ малокровія и нервовъ,—прибавила она.

Мартовъ развелъ руками и выразилъ удивленіе, какъ это въ такихъ здоровенныхъ условіяхъ, какъ степь, гдѣ все точно вряхтитъ подъ тяжестью здоровья, можно болѣть нервами и малокровіемъ.

Тутъ вступилъ въ разговоръ презрительный и налитой юноша.

— Я думаю,—заговорилъ онъ,—болѣзненность интеллигенціи происходитъ не отъ климата и почвы...—И онъ остановился и улыбнулся. Улыбка была страдальческая: ему вдругъ стало противно говорить.

„Чистѣйшій нейрастеникъ!“—не безъ жалости и безпокойства подумалъ Мартовъ и спросилъ поласковѣе и поучастливѣе:—Въ чемъ же причина по вашему?

То противное, что овладѣло юношей, отпустило его на время.

— Мнѣ кажется, что нравственные причины, пожалуй, еще и поважнѣе физическихъ,—черезъ силу заговорилъ онъ:—если, напримѣръ, какая-нибудь забота не даетъ мнѣ спать, не даетъ ѣсть, когда мнѣ отъ заботы противно дѣлать моціонъ, я поневолѣ сдѣлаюсь хворымъ...

— „Матушки, и тутъ, пожалуй, какое-то признаніе готовится!“ — подумалъ Мартовъ, и въ предупрежденіе перебилъ юношу. — Неужели же, — сказалъ онъ, — вся интеллигенція поголовно только и испытываетъ, что заботы, да непріятности, да бѣды?

— Вся, — сказалъ юноша, и вдругъ покраснѣлъ отъ внезапнаго волненія.

— Отчего же?

Юноша мгновеніе колебался, колебался, очевидно, мучительно, наконецъ, рѣшилъ и произнесъ почти торжественно:

— Оттого, что наша Малороссія угнетена...

Воцарилось глубокое молчаніе. Юноша, вспоминая его вполсѣдствіи, спрашивалъ самъ себя, какъ смогъ онъ его пережить.

VIII.

Когда обѣдъ кончился и гости были въ своей комнатѣ, къ нимъ постучался хозяинъ. Его подозрительность и беспокойство, съ которыми онъ встрѣтилъ гостей, повидимому, совершенно прошли, и онъ снова былъ полонъ энергіи, веселости и дружеской любвіи.

— Дайте мнѣ ваши паспорта, ради Бога! — воскликнулъ онъ сразу съ порога тономъ огорченія, которое вызываетъ смѣхъ, или тономъ смѣха, который въ сущности-то, пожалуй, можетъ причинить огорченіе.

— Хоть сію минуту, — отвѣтили гости, собиравшіеся заснуть.

— Дайте ваши паспорта, а то я не вѣрю, что вы — вы! — все тѣмъ же горько-смѣшливымъ тономъ продолжалъ хозяинъ, и вслѣдъ затѣмъ заговорилъ серьезно вполголоса, дружески подсѣвъ къ Помятову на постель. — Ужасъ, какія строгости въ послѣднее время пошли! — говорилъ онъ: — урядникъ такъ и рѣшетъ, такъ и рѣшетъ, такъ и кружитъ въ воздухѣ, какъ ястребъ. Чуть новый человѣкъ на хуторѣ завелся, урядникъ камнемъ падаетъ изъ воздуха: — паспортъ! Каждый разъ ему то рубль, то полтинникъ въ зубы. Такъ что я ужъ предупреждаю его появленіе: самъ паспорта отсылаю становому.

Хозяинъ небрежно взялъ паспорта гостей, вынулъ папиросу, вяло махая бумагами, которыя держалъ въ рукѣ; неторопливо всталъ, неторопливо вышелъ, но за дверьми тотчасъ же заботливо развернулъ паспорта и удостоверился, что Мартовъ и

Помятовъ дѣйствительно Мартовъ и Помятовъ, причемъ второй оказался академикомъ, а первый—отставнымъ поручикомъ.

Хозяинъ своимъ посѣщеніемъ перебилъ гостямъ еонъ, и они, вставъ съ постелей, принялись за терновку, которая была поставлена у нихъ на столъ въ аппетитномъ графинѣ, рядомъ со стаканчиками и тарелкой чистаго льду. Терновка быстро расположила гостей къ разговорчивости, и начались ихъ обычные діалоги, причемъ Мартовъ все поправлялъ *ripse-nez* и усиленно игралъ лицомъ, а Помятовъ горѣлъ глазами и дѣлалъ знакомые читателю размашистые жесты складного аршина. На этотъ разъ темой діалоговъ были мѣсто, гдѣ они находились, и хозяева. Удаля и бойкость, наконецъ-таки, оставили гостей, и бесѣда шла въ серьёзъ.

— Знаете, мнѣ нравится хозяйка, Юлія Петровна,—говорилъ Мартовъ.—Какія у нея губы! Прелесть! Найдите-ка другія такія... Вотъ закрою глаза и вижу: губы, и поцѣловать хочется. Можно ею заняться, а?

— Кажется, можно.

— Мужъ, кажется, того... „Юля, Юлечка, Юленочекъ“, а въ глазахъ какъ будто можно прочесть, что „и пріймась же ты мнѣ, матушка“. Не замѣтили вы, какъ она на него смотритъ?

— Какъ-то *кругло*, и больше ничего. Не поймешь.

— Именно, голубчикъ, *кругло*. Это хохлацкій взглядъ такой есть, когда хочешь, чтобы его не разобрали. Смотритъ, и видите вы, что онъ смотритъ—*кругло*. Вотъ хозяинъ—не такъ: этотъ смотритъ—*остро*.

— А и выжита должно быть этотъ Тарасъ Александровичъ. Паспорты-то, а?

— Да, паспорта!.. Голубчикъ, а вѣдь чудная это сценка была: „дайте мнѣ ваши паспорта, ради Бога!“

— „А то я не вѣрю, что вы—вы!“

— Прелесть, прелесть!—повторяли оба, и затѣмъ еще разъ съ наслажденіемъ настоящихъ художниковъ повторили слова Тараса Александровича о паспортахъ, сначала стараясь произнести ихъ похоже, а потомъ усиливая ихъ характерность и стараясь возвести въ перлъ созданія. Эти творческія усилія сопровождались довольно шумнымъ смѣхомъ.

— Кто-то, а почтенный Тарасъ, навѣрно, предпочелъ бы, чтобы васъ не разыскали съ этимъ наслѣдствомъ,—сказалъ Помятовъ.

— Почтенная Юлія, я думаю, тоже,—подхватилъ Мартовъ:—

за этими круглыми взглядами кроется у хохловъ иной разъ чортъ знаетъ что.

Помятовъ вдругъ тревожно забѣгалъ глазами.

— Чортъ знаетъ что? говорите вы. А что, если они насъ отравятъ!—воскликнулъ онъ шопотомъ.

Мартовъ внезапно поблѣднѣлъ и задумался. Помятовъ, не переставая, бѣгалъ глазами, тоже сталъ блѣднѣть и, кромѣ того, отодвигать отъ себя стаканъ съ терновкой. Увидѣвъ послѣднее, сталъ отодвигать свой стаканъ и Мартовъ. Тогда Помятовъ тревожно воззрился на графинъ. Немедленно то же сдѣлалъ и Мартовъ. Начинаясь то, что зовется паникой. Но какъ разъ въ то время, когда напуганные своимъ художническимъ воображеніемъ герои наши готовы были ощутить въ животахъ колики и спазмы, къ Мартову сталъ возвращаться и цвѣтъ лица, и спокойствіе.

— Пустяки!—увѣренно сказалъ онъ:—а помните сообщеніе каналы, на козлахъ, что Береговичъ хорошую деньгу имѣеть?!

Нѣсколько мгновений оба помолчали, отдыхая отъ душевной тревоги. Потомъ выпили по стаканчику, снова оживились, снова одинъ сталъ дѣлать мимику лица, другой—размашистые жесты, и снова занялись возведеніемъ въ перлъ созданія мѣста, гдѣ они находились, и людей, которые ихъ теперь окружали.

— Сознаться вамъ, голубчикъ,—говорилъ Мартовъ,—такъ эта Юленька тронула меня за-сердце своимъ смѣхомъ. И зубки какіе: ровные, какъ одинъ, блестящіе, свѣтъ просто искрами отражается! Прелесть! Я бы похитилъ ее сейчасъ вотъ сюда, въ эту комнату, и все бы упрашивалъ смѣяться.

Помятовъ слушалъ серьезно, и когда сталъ отвѣчать, голосъ его слегка пресѣкался отъ волненія.

— А я, душа моя, влюбленъ!—сказалъ онъ.

— Уже!—воскликнулъ Мартовъ. — Въ Юлечку, вмѣстѣ со мной?

— Нѣтъ, одинъ, въ Маню.

— По обыкновенію—со всѣмъ пыломъ?

Помятовъ вздохнулъ и совершенно серьезно отвѣтилъ:

— По обыкновенію.

— Да вѣдь она кашейка!—воскликнулъ Мартовъ, наполовину искренно, наполовину чтобы помѣшать пріятелю предаться новой любви.—Вотъ чудакъ! И это послѣ тѣхъ бюстовъ, которые мы видѣли, подтѣзжая, въ прудъ!

— А вы замѣтили, какъ она смотритъ!—сказалъ Помятовъ, и изобразилъ изъ себя Маню: нахмурился, насупился и исподлобья взглянулъ на собесѣдника.—Замѣтили, какіе у нея теплые глаза,

какія теплыя брови, какія горячія руки, когда она здоровалась съ нами?—Помятовъ вдругъ вскочилъ со стула, выпрямился и замахалъ руками.—Всегда говорилъ, что вы не любите женщинъ, что вы не понимаете ихъ, что вы—циники, сладострастники! Да! „Смѣется“! Что смѣется! чѣмъ это хорошо? „Будто щекочуть“! Это свинство, вотъ что. Душу женскую надо цѣнить, а не тѣло. Тѣло—грязь, тѣло—необходимость, привычка. Нужна душа и любовь!

— И теплыя губы, и горячія руки!—иронически перебилъ Мартовъ.

— И губы, и руки-съ! Да-съ! — подтвердилъ Помятовъ. — Это признаки-съ. Это сокровище, эта дѣвушка, эта Манечка! Согрѣйте ее любовью, согрѣйте объятіемъ—да это восторгъ, это рай будетъ! На намекъ она отвѣтитъ бурей страсти, стихіей любви. А какъ она проснется—вся, умомъ, сердцемъ!—какъ ей откроется міръ и жизнь! Какъ жадно и прекрасно она взглянетъ имъ прямо въ глаза, прильнетъ прямо къ ихъ устамъ! Это настоящая женщина, чортъ возьми! Это не пуховая подушка, ваша Юленька! Да-съ!

Помятовъ былъ въ паѳосѣ и говорилъ такъ громко, что Мартовъ то-и-дѣло умолялъ его быть потише. Помятовъ вполне съ этимъ соглашался, начиналъ каждую фразу едва слышнымъ шопотомъ, но кончалъ снова крикомъ.

— Влюбленъ, да, я влюбленъ!—сказалъ онъ и, поднявъ стаканъ, добавилъ:—За настоящую женщину—Маню!

— За настоящего артиста!—отвѣтилъ Мартовъ, напаяливая ринсе-пез, съ тѣмъ, чтобы всласть полюбоваться Помятовымъ въ паѳосѣ.—И за мужественное перенесеніе неудачи! — добавилъ онъ, чтобы подразнить художника:—юноша-то, у котораго болитъ животъ отъ политическихъ судебъ Малороссіи, повидимому, уже пользуется успѣхомъ. Да и отлично. Я бы на вашемъ мѣстѣ уступилъ, потому что два сапога пара: одинаковое малокровіе, одинаковое нервное разстройство, та же нервная чувствительность и чувственность.

— Подите вы съ вашимъ фізіологическимъ пониманіемъ чело-вѣка!—запальчиво возразилъ Помятовъ.

— Да когда чело-вѣкъ на самомъ-то дѣлѣ не болѣе какъ фізіологическая машина. Вотъ вы тутъ разохались: „Маня! сокровище! буря страсти! стихія любви! откроется міръ и жизнь!“ Знаемъ мы, что на самомъ дѣлѣ съ дѣвкой совершится.

— Чтѣ?!

— А вотъ что...—И Мартовъ сказалъ.

Помятовъ на нѣсколько мгновеній утихъ. Но это было затишье передъ бурей. Онъ не то что ходилъ по комнатѣ, а какъ-то медленно и зловѣще топтался по ней. Наконецъ, онъ остановился и горящими глазами сталъ смотрѣть на Мартова. Мартовъ поспѣшно придать своему ринсе-пез самое удобное положеніе и съ жадностью приготовился слушать и смотрѣть. Помятовъ сдѣлалъ жестъ вѣтряной мельницы и началъ зловѣщимъ глухимъ басомъ:

— Вотъ уже пять лѣтъ мы съ вами знакомы, и пять лѣтъ я вамъ твержу одно и то же: какъ человѣкъ смотреть на міръ, такъ и міръ смотреть на человѣка.—Помятовъ остановился, его ноздри затрепетали, и онъ вдругъ загремѣлъ на весь домъ:

— Какъ смѣете вы такъ понимать эту дѣвушку?!

Мартовъ слегка привскочилъ на стулѣ.

— Тише!—прошепталъ онъ.

— Какое право, циникъ вы и чувственное созданіе, имѣете вы такъ гнусно объяснять эту,—Помятовъ хотѣлъ сказать дѣвушку, но, спутавшись, подумалъ, что осторожнѣе будетъ на всю усадьбу прокричать:—объяснять эту Маню.

Мартовъ снова привскочилъ на стулѣ и прошепталъ уже страдальчески:

— Тише же!

Помятовъ понялъ свой промахъ, въ смущеніи отхлебнулъ терновки и, оправившись, продолжалъ:

— Почему вы знаете, что совершается въ этой молодой дѣвичьей душѣ, старый вы, изжившійся, извѣрившійся циникъ!? Пусть, пусть первая причина возбужденія нервовъ, воображенія и ума будетъ та... паскудная причина, которую вы вездѣ только и видите. Но чувство и умъ развѣ не самостоятельны? Развѣ воображеніе не властно рисовать тѣ или другія картины? Развѣ одно воображеніе не можетъ быть занято мечтами объ устрицахъ, а другое — пламенѣть жаждой великихъ подвиговъ? одно, ваше, на примѣръ, рисовать картины распутства, а другое... — „на примѣръ, ваше“, — вставилъ Мартовъ, — да, на примѣръ, мое, — мужественно подхватилъ Помятовъ: — да, мое воображеніе открываетъ мнѣ цѣлый міръ молодой поэзіи, цѣлую поэму высокихъ настроеній, вызываемыхъ любовью...

— А чѣмъ эта высокая поэма кончится?! — перебилъ Мартовъ, тоже начиная мало-по-малу раззадориваться и споромъ, и желаніемъ удержать Помятова отъ любовной исторіи. — Все тѣмъ же кончится...

— Да чортъ возьми...

— Потише, ради Христа!

— Нѣтъ-съ, не потише! Пусть кончится тѣмъ, чѣмъ вы говорите; но такой циникъ, какъ вы, будетъ чувствовать одно гнусное и тяжелое для него самого, нравственно угнетающее пресыщеніе, а... — „вы“, перебилъ Мартовъ, — а я, — храбро принявъ вызовъ Помятовъ: — я скажу себѣ, что испыталъ величайшее, доступное на землѣ счастье, скажу, что прочелъ великое заключеніе патетической поэмы.

Разгорѣлся, наконецъ, и Мартовъ. До сихъ поръ только Помятовъ ненавидѣлъ Мартова; внезапно и Мартовъ возненавидѣлъ Помятова. Ненависть обоихъ другъ къ другу была ненасытная, но совершенно особаго рода, полемическая, которую знаютъ шахматные игроки, противныя стороны на судѣ, спорщики и журналисты. Итакъ, проникся, наконецъ, полемическою ненавистью и полемической яростью и Мартовъ и, наступая на противника, какъ будто онъ хотѣлъ схватить его за виски и оторвать ему голову, не закричалъ, а зашипѣлъ:

— А плодъ этой патетической поэмы куда? А ребенка куда? Въ воспитательный домъ? а? Или утопить, а? Или пустить по свѣту батардомъ? Это не будетъ „гнусное, тяжелое, нравственно угнетающее“ окончаніе поэмы, а? И не правъ я, когда говорю, что связи должны быть или легкія, или отъ нихъ во что бы то ни стало надо воздерживаться?!

Помятовъ молчалъ. „А куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣвать ребенка, если родится? въ воспитательный домъ?“ — мелькнуло у него въ умѣ.

— Чтѣ останется отъ вашей поэмы?! — крикнулъ Мартовъ, уже предчувствуя побѣду.

Но Помятовъ оправился.

— Нѣтъ нужды! Поэма *была*! — закричалъ онъ не хуже противника и тоже съ жадной побѣды и надеждой на нее.

— Была — и развѣялась прахомъ! — не уступалъ Мартовъ, изъ рукъ вырывая побѣду у противника. — Вы проповѣдуете гашишъ, опьянѣніе.

— А мы теперь не опьянены? Мы не пьемъ?

— Вы проповѣдуете опьяняющій блудъ!

— А вы — хуже: блудъ трезвый!

И оба смолкли, потому что оба запутались. Одинъ какъ будто согласился, что его *поэма*, собственно говоря, блудъ; другого посѣтило сомнѣніе, не одно ли въ сущности и то же: блудъ трезвый и блудъ опьяняющій? Кромѣ того, обоихъ лишило самоувѣренности и то обстоятельство, что ихъ жизнь протекала и течетъ

не безъ порядочнаго воздѣйствія опьянѣнія виннаго... Спорщики разошлись, легли на постели и усиленно принялись собираться съ мыслями. Обоимъ было ясно, что побѣда не далась ни тому, ни другому.

— Мы говорили о любви, — медленно и спокойно началъ спустя нѣсколько минутъ Мартовъ: — я признавалъ любовь чувственную, вы — платоническую.

— Нѣтъ, — кротко, но рѣзко перебилъ Помятовъ.

— Какъ — нѣтъ?! — вскочилъ съ постели Мартовъ.

— Я говорилъ не о платонической, а объ эстетической любви.

— А я развѣ не признаю эстетики? Собака я, что-ли?

Вскочилъ съ постели и Помятовъ.

— Собака?! — воскликнулъ онъ. — Въ этомъ отношеніи вы — собака. Вы говорите: и у васъ эстетика? Да, но собачья.

Мартовъ ринулся къ Помятову, снова объятый духомъ полемики.

— А у васъ эстетика обезьяны! — попрежнему закричалъ онъ. — Я васъ понимаю: вы не только тѣло женщины заставляете участвовать въ вашей гнусной любви, но и душу. Вы готовы обманывать себя, обманывать ее, лишь бы презрѣнно наслаждаться трепетомъ ея души, вызваннымъ низкими причинами. Вы гипнотизируете ее, даете ей отвратительное лекарство, вы говорите: „пей, это вино“; она слушается, пьетъ, улыбается, а вы, гнусный человѣкъ, эстетически наслаждаетесь ея фальшивымъ удовольствіемъ. Вы душу развращаете, душу.

Мартовъ отступилъ, и впередъ ринулся Помятовъ.

— Понимаете ли вы, что говорите, несчастное вы созданіе? Вы отрицаете возвышенное въ жизни, вы все сводите на мерзость, на ничто. Вы — нигилистъ. Вы отрицаете дворецъ дождей на томъ основаніи, что онъ изъ кирпичей: „это просто-на-просто груда кирпичей“, говорите вы, и забываете о великой архитектурной мысли, вложенной въ эти кирпичи. Это у васъ называется анализомъ, и вы гордитесь: сильный, молъ, анализъ! Плевать я хочу на такой анализъ! Понимаете: плевать! Вотъ такъ: кха, тфу-у! Вотъ какъ!.. Я хочу жить, а не прозябать. Я хочу, чтобы моя душа гимны пѣла, а не на счетахъ считала. Иллюзіи?! — пусть иллюзіи. Вы не можете предаваться высокимъ иллюзіямъ, — значитъ, у васъ душонка мелкая. Только это и значитъ. А иллюзіямъ вы все-таки предаетесь, только мелкимъ, дряннымъ, вашей душонкѣ по плечу!..

Полемика привела къ тому, къ чему она всегда приводитъ: противники ничего хорошенько не разобрали и обидѣлись другъ

на друга. Чѣмъ именно они обидѣлись—трудно сказать. Правда, они именovali другъ друга „собакой“ и „обезьяной“, но это дѣлалось въ переносномъ смыслѣ. Они укоряли другъ друга въ гнусной распущенности и развратѣ, но опять-таки стояли при этомъ не на ругательной, а на философской точкѣ зрѣнія. Они кричали, наступали другъ на друга, таращили глаза и дѣлали движенія, говорившія объ отрываніи противнику головы, о низверженіи его съ неизмѣримой высоты въ бездонную пропасть, о поверженіи его на земь и попираніи его ногой,—но оба знали, что все это простая мимика. Кажется, внезапное наступленіе обиды во время полемики чаще всего зависитъ отъ внезапнаго озаренія спорящихъ сознаниемъ, что они не понимаютъ дѣла, о которомъ горячо и ядовито спорять. Это сознаніе озарило и нашихъ героевъ, и они, внезапно охладѣвъ къ предмету бесѣды и другъ къ другу, снова разошлись по кроватямъ, снова легли на нихъ и снова умоляли. Мартовъ курилъ и заснулъ покутивъ, а некурившій Помятовъ сразу же легъ на бокъ, одну руку заложилъ подъ подушку, другою прихватилъ свои поджатые длинныя ноги—и заснулъ.

Проснулись часовъ около восьми вечера. Головы слегка болѣли, во рту было сухо и горько, спать не хотѣлось, бодрствовать было трудно. Въ окно видѣлся песчаный обрывъ противоположнаго берега пруда, мѣдно-красный отъ свѣта заходившаго солнца; въ прудѣ отражалась и эта мѣдь, и густая синева неба. Мартовъ взглянулъ въ окно, и его поразила безчувственная и мертвая сила этой глыбы земли, этой полной чаши воды, неизмѣримой пустоты неба и раскаленнаго свѣта.

Лицо Мартова на мгновеніе страдальчески и сердито исказилось; онъ пробормоталъ:

— Э, чортъ возьми! надо жить, какъ живется, повеселѣй да попрятнѣй.

Помятовъ молча, вопросительно, съ ожиданіемъ смотрѣлъ на мѣдный берегъ, синее небо и прудъ, отражавшій берегъ и небо.

IX.

Смущеніе нашихъ героевъ длилось не долго. За ужиномъ, послѣ закуски и водки,—а закуска была удивительная—Мартовъ даже стоналъ отъ блаженства: баклажаны по-гречески! — герои снова оживились. За столомъ были двѣ молодыя женщины, а молодымъ женщинамъ всегда лестно понравиться. Противъ ге-

роевъ сидѣлъ хозяинъ, котораго оба гостя довольно рѣшительно не влюбили, и пріятно было показать ему какъ-нибудь свое превосходство. И полуйскренно, полунамѣренно, оба возобновили свой недавній споръ о любви. Они не кричали такъ, какъ въ своей комнатѣ, говорили изящнѣе, нѣсколько умѣряли полемическій пылъ, но все-таки споръ шелъ достаточно бурно и горячо, чтобы произвести впечатлѣніе на слушателей и увлечь ихъ. Примѣтивъ, что въ домѣ придерживаются понятій о приличіяхъ весьма свободныхъ, и называютъ вещи ихъ настоящими именами, спорщики не старались особенно смятчать выраженія и обходить щекотливыя подробности темы; имъ доставляло не отличающееся чистотой удовольствіе—говорить такъ въ присутствіи молодой замужней женщины и въ особенности молодой дѣвушки. Откровенность выраженій какъ будто заставляла предвкушать такую же откровенность дѣйствій и поступковъ. Мартовъ уже коснулся какъ бы нечаянно ногою ноги хозяйки, но прикосновеніе осталось безъ всякаго отвѣта, положительнаго или отрицательнаго. Мартовъ и самъ почувствовалъ, что этотъ пріемъ ухаживанья ужъ слишкомъ пошлый, и до конца ужина воздерживался отъ подобныхъ вещей.

Споръ гостей шелъ у нихъ отлично, умно, гладко, жарко, складно, вѣжливо и временами ядовито. Оба сознательно кокетничали этимъ споромъ, не говорили другъ другу рѣзкостей, не припирали одинъ другого къ стѣнѣ, и споръ выходилъ загляднѣе, а сами они выходили талантливыми петербургскими умницами. Ихъ знаетъ вся Россія, они учатъ всю Россію, и вотъ рѣдкій и счастливый случай далъ возможность глухимъ уѣзднымъ степнякамъ увидѣть ихъ, слышать ихъ умныя рѣчи изъ ихъ собственныхъ устъ, пить и ѣсть съ ними за однимъ столомъ. Хозяева чувствовали это, но чувствовали не всѣ одинаково.

Больше всѣхъ была увлечена гостями Маня. Она видѣла въ нихъ свое будущее. Она была увѣрена, что впереди она будетъ въ Петербургѣ, что и ее будетъ знать и слушать вся Россія, что и она, захавъ куда-нибудь въ уѣздъ, найдетъ тамъ, въ глуши, у первыхъ попавшихся людей, свое имя, что и ее будутъ слушать, такъ же жадно ловя не только мысли, но интонаціи, жесты, мимику лица. Маня была увлечена рѣчами гостей и мечтами, переходившими въ увѣренность, о томъ, какъ и она будетъ говорить какъ они. Дѣвушка даже разгорѣлась темнымъ румянцемъ; ея губы тоже сдѣлались пунсовыми, темные глаза сверкали, а руки мяли и теребили все имъ попадавшееся: хлѣбъ, бусы на груди, салфетку, передникъ. Но наружность гостей пока

все еще ей не нравилась, что даже огорчило ее. Знаменитости должны бы быть красавцами, а у Мартова были закуренные въ щелкахъ зубы и лицо какъ у любого заходяго мужика-кацапа. Помятовъ имѣлъ зеленоватое и слегка блестящее лицо. Особенно непріятно было ей, что некрасивъ Помятовъ, потому что она чувствовала нѣкоторое сходство между имъ и собой. Время отъ времени Маня жалѣла, почему бы гостямъ, въ добавокъ къ ихъ знаменитости, не быть похожими на Байрона, свою карточку котораго она даже слегка раскрасила: лицо сдѣлала розовымъ, глаза синими, а волосы золотистыми. Но женщины всегда съумѣютъ обмануть и себя такъ же, какъ обманываютъ другихъ; Маня замѣнила жданное ею влеченіе къ красотѣ гостей сожалѣніемъ, возбужденнымъ тѣмъ, что они некрасивы, и эта жалость была то же влеченіе.

Хозяйка не была такою наивною, какъ ея молоденькая кузина. Она была восемь лѣтъ замужемъ, ея мужъ не былъ красавецъ, но былъ здоровъ, бодръ и силенъ, — и она не увлекалась такъ сильно золотистыми волосиками и синими глазками. Гостей она находила мужчинами какъ мужчины. Одобрительнѣе она относилась къ Мартову, у котораго была широкая, выпуклая грудь и здоровенные мускулы на рукахъ, обрисовывавшіеся подъ лѣтнимъ пиджакомъ. Ея мужъ тоже былъ мускулистъ и силенъ, и она, непонятно почему, спросила себя, кто бы кого одолѣлъ: мужъ или гость, и почему-то рѣшила, что одолѣлъ бы гость, къ которому ее стало влечь какою-то непонятной, совсѣмъ ей ненужной, даже немного досадной симпатіей. Когда его нога коснулась ея ноги, она съ недоумѣніемъ спросила себя, отчего она не разсердилась? Когда гость повелъ себя такъ, что ей стало ясно, что онъ коснулся ея ненамѣренно, она опять съ недоумѣніемъ почувствовала, что ей было бы пріятно, еслибы это было сдѣлано нарочно. Но ни на лицѣ ея, ни въ „кругломъ“ взглядѣ, ничего этого нельзя было прочесть.

Мужчины отнеслись къ гостямъ повидимому не такъ доброжелательно. Гимназистъ, котораго звали Сережей, упорно молчалъ, презрительно смотрѣлъ себѣ на грудь и лишь изрѣдка дѣлалъ гримасы, какъ бы очень не одобряющія гостей и ихъ рѣчи. Не былъ ими увлеченъ и хозяинъ. Онъ въ душѣ былъ смущенъ, потому что чувствовалъ себя сбитымъ съ обычной въ домѣ позиціи. Еще вчера онъ былъ здѣсь самый умный, самый бойкій и самый значительный человѣкъ, а сегодня его вдругъ отгѣснили на задній планъ. Онъ старался показать, что ничего подобнаго

быть не можетъ, и въ великой досадѣ видѣлъ, что проваливается. Время отъ времени онъ вмѣшивался въ споръ гостей между собою, но гости, нѣсколько даже преувеличивая неумѣлость его замѣчаній, каждый разъ и не безъ намѣренія, или оставляли ихъ безъ отвѣта, или отвѣчали небрежно и снисходительно. Хозяинъ начиналъ горячиться, разгорячался, не рассчитавъ силъ, но съ необыкновеннымъ азартомъ, и тѣмъ съ большимъ позоромъ попадался въ ловушки, устраиваемыя ему раззадореннымъ Мартовымъ. Мартовъ преувеличенно хохоталъ и съ преувеличеннымъ ласковымъ сожалѣніемъ взглядывалъ на него. Хозяинъ видѣлъ, что остальные смотрѣли на него недоброжелательно. Жена иногда потуплялась. — Береговичъ быстро поднялся отъ стола.

— Да что мы тутъ сидимъ въ духотѣ! — весело воскликнулъ онъ. — Поѣли и пойдемъ на воздухъ. Вмѣсто того, чтобы спорить, чортъ знаетъ о чемъ, посмотримъ лучше на звѣзды ясныя да на небо прекрасное!

И онъ пріятельски обхватилъ талію Мартова.

— Такъ что-ли, гости дорогіе?! — прибавилъ онъ.

— Такъ, хозяинъ милый, такъ! — отвѣтилъ Мартовъ и тоже обнялъ хозяина.

Обнявъ другъ друга, оба сошли съ крыльца, выходившаго въ садъ, и остановились. Ночь была дивная. Мартовъ чувствовалъ подъ своею ладонью плотный, мускулистый бокъ хозяина и думалъ: „За что я его обидѣлъ? Вѣдь вонъ какая ночь чудная! вѣдь вонъ какимъ энергичнымъ крѣпшшемъ создалъ его Господь!“ Хозяинъ тоже смотрѣлъ на небо и тоже думалъ: „Ужъ что-то глаза у этой канальи очень смышленные. Бросить надежду, что онъ подѣлится съ женой наслѣдствомъ, оставить заигрывать, или еще подождать?“

— Сядемъ здѣсь на лавку да помечтаемъ! — задумчиво сказалъ Береговичъ, подводя гостя къ садовой скамьѣ.

— Сядемъ, — вздохнувъ, сказалъ Мартовъ, утопая взглядомъ и воображеніемъ въ небѣ и звѣздахъ.

Изъ дома вышли и остальные. Помятовъ велъ подъ руку Маню. Впереди шла хозяйка.

— Пожалуйте, вотъ мѣстечко, — сказалъ Мартовъ, обращаясь къ послѣдней и отодвигаясь отъ Береговича, чтобы посадить ее между мужемъ и собой. Но она сѣла съ другой стороны Мартова, подальше отъ мужа.

Усѣлись и примолели. Наконецъ, Мартовъ, глядя на небо, проговорилъ:

— „Несбыточное грезится опять,—несбыточное въ нашемъ бѣдномъ мірѣ,—и грудь вздыхаетъ радостнѣй и шире,—и вновь кого-то хочется обнять“...

— Стихи?—спросилъ это-то вполголоса.

— Стихи, — такъ же отвѣтилъ Мартовъ, помолчалъ, вздохнулъ и, сказавъ: —или вотъ,—заговорилъ снова:— „Люди спать“...

— Да, спать, наработались, — перебилъ Береговичъ.

— Нѣтъ, это опять стихи будутъ, — кратко сказалъ Мартовъ. Настроение было такое хорошее, что никто ни рассердился на хозяина, ни усмѣхнулся. — Итакъ... „Люди спать; мой другъ, пойдемъ въ тѣнистый садъ. Люди спать; однѣ лишь звѣзды къ намъ глядятъ, да и тѣ не видятъ насъ среди вѣтвей, и не слышать—слышать только соловей. Да и тотъ не слышитъ—пѣснь его громеа. Развѣ слышитъ только сердце да рука: слышать сердце, сколько радостей земли, сколько счастья сюда мы принесли; да рука, услыша, сердцу говорить, что чужая въ ней пылаетъ и дрожитъ, что и ей отъ этой дрожи горячо, что къ плечу невольно клонится плечо“...

Мартовъ посреди рѣчи незамѣтно покрылъ ладонью руку хозяйки, которою та слегка опиралась о скамью; рука была полная, прохладная, не выдернулась, но и не шевельнулась подъ горячей рукой Мартова. Кончилъ свое чтеніе Мартовъ голосомъ, дрожавшимъ отъ вдохновенія.

— „Что къ плечу невольно клонится плечо“, — повторилъ онъ окончивъ и ждать, ощущая теплоту близкаго плеча сосѣдки. Но плечо не „приклонилось“.

— Пожалуйста, еще что-нибудь!—взволнованнымъ голосомъ проговорила Маня.

— Еще? Извольте... „Какое счастье! и ночь, и мы одни! Рѣка какъ зеркало и вся блеститъ звѣздами; а тамъ-то“... — Мартовъ поднялъ голову и руку къ небу:— „голову закинь-ка да взгляни: какая глубина и чистота надъ нами! О, называй меня безумнымъ! назови тѣмъ хочешь! Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю—и въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви, что не могу молчать, не стану, не умѣю! Я боленъ, я влюбленъ, но, мучась и любя, — о, слушай! о, пойми! — я страсти не скрываю, и я хочу сказать, что я люблю тебя—тебя, одну тебя—люблю я и желаю“...

Мартовъ прочелъ безъ порывовъ, тихо, медленно, скорбно; но все-таки рука его сосѣдки полегоньку высвободилась изъ-подъ его руки. Мартовъ не жалѣлъ объ этомъ. Имъ уже окончательно

овладѣла чистая поэзія ночи и звучавшій восторгомъ шопоть Мани: „еще, пожалуйста, еще!“... Мартовъ продолжалъ:

— „Давно-ль подъ волшебные звуки носились по залѣ мы съ ней, теплы были нѣжныя руки, теплы были звѣзды очей... Вчера пѣли пѣснь погребенья, безъ крыши гробница была; закрывши глаза, безъ движенія, она подъ парчою спала... Я спалъ. Надъ постелью моею стояла луна мертвецомъ — подъ чудные звуки мы съ нею носились по залѣ вдвоемъ“...

— Ну, что это!..—съ тоскою протянула Мана.

— Это мое любимое,—сказалъ Мартовъ.

Помолчали.

— Развѣ у васъ, что-нибудь такое было?—потихоньку спросила Юлія Петровна.

— Нѣтъ.

— Такъ отчего же вы любите это?

— Самъ не знаю,—уныло проговорилъ Мартовъ.

Наступило молчаніе, которое длилось довольно долго. Напряженные нервы начинали уставать.

— А что, хорошіе стихи?—спросилъ Мартовъ.

— Чудные, удивительные!—откликнулась Мана.

— А знаете, чьи? Держу пари, что вы сейчасъ ахнете.

— Чьи же?

— Фета.

— Это „шопоть, робкое дыханье!“—воскликнулъ Сережа.

— Вотъ вамъ и „шопоть!“—сказалъ Мартовъ и всталъ прощаться.

Когда наши герои вернулись къ себѣ въ комнату, Мартовъ въ непонятномъ уныніи обратился къ Помятову:

— Чортъ знаетъ чтò! уже пожалъ Юленькѣ руку! А вы какъ? Тоже этимъ свинствомъ занялись?

Помятовъ былъ серьезенъ.

— Не рѣшился,—отвѣтилъ онъ и вздохнулъ:—я, голубчикъ, не шута увлеченъ. Знаете, я думаю, ее еще и не цѣловалъ никто ни разу.

— Такъ что же въ этомъ страшнаго? — съ раздраженіемъ спросилъ Мартовъ.

— Не страшно, а совѣстно... Развѣ гимназистъ этотъ договязый.

— На гимназиста не надѣйтесь. Я къ нему теперь лучше приглядѣлся. Онъ съ дѣвками только „читаетъ, спорить, разсуждаетъ“... А искренняя дѣвочка, азартная... Впрочемъ и Юленька

тоже не такая ужъ лукавая, и оттого-то я и унылъ, что уже началъ себя свиньей съ ними держать. Впрочемъ, кто ихъ разберетъ, это бабье. Все равно, что вашъ братъ, артистъ: то онъ скотина, то онъ неземное созданіе; то онъ горитъ и пламенѣетъ, создавая картину,—а, смотришь, на другой день охаживаетъ покупателя не хуже конскаго барышника. Самъ чортъ не разберетъ. И все чортъ не разберетъ, а жизнь чортъ не разберетъ...

Мартовъ окончилъ тѣмъ, что раскричался и выбранился. Онъ чувствовалъ себя разстроеннымъ.

В. Дѣдловъ.



ИНТИМНАЯ ЛИТЕРАТУРА

— Journal des Goncourt. — Paris, 1888.

IV *).

Всегда, вездѣ и во всемъ Гонкуры были оригинальны. Ихъ жизнь, характеръ, ихъ идеи и чувства никакъ не укладываются въ шаблонныя рамки. Они рѣзко выдѣляются изъ толпы; они ни на-кого не похожи; смѣшать ихъ съ другими нѣтъ никакой возмоз-ности. Гонкуры не плывутъ по теченію; они не подчиняются хо-дочимъ мнѣніямъ; они не признаютъ надъ собою власти устано-вившихся понятій. Рутинна, общія мѣста, чужія мысли—вотъ ихъ заклятые враги. До всего они додумываются сами; а разъ доду-мавшись, они смѣло высказываютъ свои идеи, нисколько не за-ботясь о томъ, какъ другіе отнесутся къ ихъ мыслямъ. Пока-жется ли ихъ мысль либеральною или консервативною, передовою или отсталою, революціонной или реакціонной, запечатлѣна она духомъ демократизма или аристократизма,—до всего этого имъ нѣтъ никакого дѣла. Они стремятся лишь къ тому, чтобы прав-диво и вмѣстѣ живописно выразить то, что они думаютъ и чув-ствуютъ, и передать свои непосредственныя впечатлѣнія, вызван-ныя наблюденіемъ и столкновеніями съ людьми и жизнью. Чуж-даясь рутинны, всего условнаго, общепринятаго, Гонкуры не ори-гинальничаютъ,—они просто оригинальны. Они нимало не похожи на тѣхъ людей, которые стараются быть оригинальными, выси-живая и вымучивая изъ себя мысли, могущія поразить поддѣль-

*) См. выше: янв. 282 стр.

ною новизною, въ расчетѣ блеснуть предъ современниками. То, что у другихъ является результатомъ мучительной умственной гимнастики, у Гонкуровъ выходитъ просто, естественно. Они не могутъ ни думать, ни чувствовать, ни говорить иначе. Таковъ ихъ складъ; такова ужъ натура; но въ этой неподдѣльной, ключемъ бьющей оригинальности заключается ихъ притягательная сила, ихъ прелесть.

Далеко не со всѣми идеями Гонкуровъ можно соглашаться; мысли ихъ кажутся часто невѣрными, поражаютъ иной разъ своею парадоксальностью; разсужденія ихъ обнаруживаютъ сплошь и рядомъ недостаточную глубину, но они подкупаютъ читателя своею искренностью, непосредственностью, кроющеюся въ нихъ самостоятельностью ума, не мирающеюся ни съ какою—хотя бы всѣми признанною—истиною, если только эта истина представляется для нихъ фальшивою. А сколько такихъ истинъ бродитъ по міру, и какъ мало людей, рѣшающихся смѣло бросить имъ перчатку! Гонкуры не признаютъ авторитета ни среди людей, ни среди мыслей, и вотъ почему во всей своей жизни они являются непреклонно гордыми и независимыми по отношенію къ первымъ, какъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ—вполнѣ самостоятельными въ отношеніи къ послѣднимъ.

Независимость характера, самостоятельность и свобода мысли, чуждая всего предвзятаго, придаютъ высокой интересъ политическимъ и общественнымъ взглядамъ Гонкуровъ, выступающимъ въ ихъ журналѣ несравненно болѣе ярко, чѣмъ въ романахъ или въ ихъ другихъ произведеніяхъ, посвященныхъ исторіи нравовъ XVIII-го в., или исторіи искусства. Тутъ они чувствуютъ себя вполнѣ свободными; они не стѣснены теченіемъ романа, необходимою цѣльностью и стройностью картины; они высказываютъ прямо и опредѣленно все то, на что въ ихъ другихъ произведеніяхъ существуютъ только намеки. Ихъ политическія, общественныя, религіозныя, нравственныя воззрѣнія разсѣяны въ трехъ томахъ ихъ журнала; такая разбросанность нисколько однако не мѣшаетъ составить себѣ довольно ясное представленіе, какъ они относились къ политическимъ, общественнымъ и нравственнымъ вопросамъ современныхъ имъ эпохи и общества.

Мы ранѣе уже замѣтили, что братья Гонкуры сдѣлали изъ литературы исключительную цѣль своей жизни; что литература была ихъ культомъ, ихъ божествомъ, не допускавшимъ ихъ до служенія другимъ богамъ, и что отчасти въ силу этой поглотившей ихъ страсти, отчасти въ силу своего прирожденного темперамента, своихъ вкусовъ, своихъ стремленій, они относились

весьма равнодушно къ политическимъ событіямъ своей родины; политическіе вопросы ихъ не трогали, ничего не говоря ихъ уму и чувству.

Они готовы были бы вовсе не знать политики, не думать объ ней; но политика противъ ихъ воли вторгалась въ ихъ жизнь, какъ бы доказывая имъ, что для людей воинствующей мысли, выступающихъ на общественную арену, хотя бы и чуждую политическимъ интересамъ, политическія условія жизни никогда не могутъ быть безразличны; что литературные интересы всегда находятся въ тѣсной зависимости отъ господствующаго въ странѣ политическаго строя. Эту зависимость Гонкуры должны были чувствовать сильнѣе, чѣмъ другіе, относящіеся къ политическимъ вопросамъ съ одинаковымъ равнодушіемъ. Индифферентизмъ Гонкуровъ былъ совершенно особаго свойства. У нихъ не было того безразличнаго отношенія, которое позволяетъ людямъ прилагаться ко всякаго рода порядкамъ, лишь бы этотъ порядокъ доставлялъ имъ возможность извлекать личныя выгоды. Равнодушное отношеніе къ политикѣ никогда не дѣлало ихъ рабами существующаго порядка. По темпераменту своему относясь враждебно ко всему, что торжествуетъ, Гонкуры никогда не отказываются высказывать свое собственное мнѣніе о современномъ имъ правительствѣ, казнить его словомъ, если только его дѣйствія вызвали въ нихъ негодованіе. Не будучи слугами никакой партіи, они отрицаютъ всякій политическій катехизмъ, они не хотятъ закабалить себя и не признаютъ никакого политическаго знамени. Они, стоя вѣдъ всякихъ партій, охраняютъ больше всего свою нравственную свободу, свое челоѣческое достоинство, дорожа превыше всего своимъ правомъ открыто высказывать свою мысль. Стѣсненіе этого права въ ихъ глазахъ было величайшимъ преступленіемъ противъ челоѣчества. Естественно, что они не могли сдѣлаться друзьями второй имперіи, выработавшей цѣлую систему обузданія совѣсти и ненавидѣвшей, какъ они замѣчаютъ въ своемъ журналѣ, писателей гораздо болѣе даже, чѣмъ республиканцевъ и соціалистовъ.

Какъ ни сторонились Гонкуры отъ политики, но она—то и дѣлала, что стучалась къ нимъ въ двери, точно напoптывая имъ, что истинный писатель, какъ бы онъ ни былъ преданъ исключительно литературнымъ интересамъ, никогда не можетъ и не долженъ относиться безразлично къ политическимъ судьбамъ своей родины. На самыхъ первыхъ шагахъ своей литературной дѣятельности, когда они впервые, какъ они выражаются, „испытали блаженство подписать свое имя подъ оконченнымъ произведеніемъ“, они встрѣтили въ политическомъ грохотѣ первую для себя помѣху.

День выхода въ свѣтъ ихъ перваго романа былъ злополучнымъ для Франціи днемъ государственнаго переворота 2-го декабря 1851 г. „Но что значитъ государственный переворотъ, какое значеніе имѣетъ перемѣна правительства, — пишутъ они въ журналѣ, — для людей, выпускающихъ въ этотъ самый день свой первый романъ“. Тонъ, въ которомъ они рассказываютъ, какъ они узнали о совершившемся государственномъ переворотѣ, тотчасъ же обличаетъ ихъ полное равнодушіе къ политическимъ событіямъ, — равнодушіе, которое они вовсе не скрываютъ.

„Рано утромъ, — передаютъ они, — когда, еще предавшись лѣни, мы мечтали объ изданіяхъ. н.э. манеръ изданій Дюма-отца, — хлопая дверьми, шумно вошелъ нашъ родственникъ Бламанъ, служившій прежде въ конвоѣ, и сдѣлавшійся консерваторомъ *poivre et sel*, свирѣпый и задыхающійся.

— Ну, все кончено! — прошипѣлъ онъ.

— Что кончено?

— Какъ что? государственный переворотъ!

— Чортъ возьми! а нашъ романъ, который сегодня долженъ поступить въ продажу!

— Вашъ романъ... романъ... Франціи теперь не до романовъ, мои милые! — и съ свойственнымъ ему жестомъ, обтянувъ свой скюртукъ, онъ простился съ нами и отправился разносить торжественную новость изъ одного квартала въ другой, изъ *Notre Dame de Lorette* въ Сенъ-Жерменское предмѣстье, поднимая своихъ непробудившихся еще знакомыхъ.

„Тотчасъ вскочивъ съ постели, мы быстро выбѣжали на улицу, нашу старую улицу *St.-Georges*, гдѣ войска уже успѣли занять домъ, въ которомъ помѣщалась редакція журнала „*National*“. И на улицѣ наши глаза обратились къ афишамъ, и среди всей этой бумаги, свѣже наклеенной, извѣщающей о появленіи новой труппы, о репертуарѣ, о представленіяхъ, главныхъ дѣйствующихъ лицахъ и о новомъ адресѣ режиссера, переѣхавшаго изъ Елисейскаго дворца въ Тюльери, мы эгоистически искали, должно сознаться, нашу афишу, которая должна была извѣстить Парижъ о выходѣ въ свѣтъ романа: „*Еп 18...*“, и объявить Франціи и цѣлому свѣту появленіе на сцену двухъ новыхъ писателей: Эдмона и Жюля Гонкуровъ“... Но поиски ихъ были тщетны; они могли просмотрѣть свои глаза, и все же не нашли бы интересовавшей ихъ афиши. Ихъ типографщикъ, опасаясь, что одну изъ главъ ихъ романа могли истолковать какъ намекъ на только-что совершившійся государственный переворотъ, и устрася названія романа, напоминавшаго 18-ое Брюмера, этотъ первый государствен-

ный переворотъ, совершенный первымъ Наполеономъ, свегъ всю пачку объявленій, и такимъ образомъ Парижъ въ этотъ день остался въ невѣдѣніи о народженіи двухъ новыхъ писателей.

Если молодые Гонкуры, изъ которыхъ младшему въ то время еще не исполнилось двадцати-двухъ лѣтъ, отнеслись безучастно къ кровавому водворенію новаго порядка, то они на собственномъ опытѣ должны были весьма скоро убѣдиться въ неудобствѣ этого порядка для тѣхъ литературныхъ интересовъ, которымъ они такъ исключительно были преданы. Вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, такимъ же молодымъ, какъ они сами, едва покинувшимъ школьную скамью, они рѣшились издавать строго-литературный журналъ, чуждый всѣмъ политическимъ интересамъ. Задумано—сдѣлано. Въ началѣ 1852 года, едва успѣвъ смолкнуть грохотъ орудій, появился первый нумеръ ихъ журнала: „l'Éclair“. Вся программа этого еженедѣльнаго журнала заключалась въ двухъ словахъ: смерть классицизму—въ искусствѣ. Моментъ для изданія новаго журнала былъ выбранъ не совсѣмъ удачно; но молодые люди, сгараемые жаждой литературной дѣятельности и еще больше жаждой обратить въ свою вѣру современное имъ общество, не задумывались надъ такими пустяками. Они „просиживали въ редакціи два, три часа въ недѣлю, ожидая каждый разъ, что слышатся на пустынной улицѣ шаги подписчиковъ, публики, сотрудниковъ. Никто не приходилъ. Никто не присылалъ даже статей—фактъ невѣроятный! и нѣчто еще болѣе невѣроятное—не появлялось ни одного поэта“. Но молодость не унываетъ, не отчаивается, и Гонкуры вмѣстѣ съ своимъ родственникомъ, вмѣсто того, чтобы прекратить журналъ, не имѣвшій другихъ читателей, кромѣ самихъ редакторовъ, рѣшились усилить свой голосъ и къ еженедѣльному журналу присоединить еще ежедневный, съ громкимъ названіемъ: „Paris“. Гонкуры съ гордостью замѣчаютъ въ своемъ дневникѣ, что это былъ первый литературный ежедневный журналъ съ самаго сотворенія міра. Къ участию въ этомъ журналѣ были привлечены люди, составившіе себѣ уже видное имя въ литературѣ, какъ Альфонсъ Каррѣ, Мэри, Теодоръ де Банвилль, Гозланъ, Ксавье де Монтепень и нѣкоторые другіе, подъ главнымъ предводительствомъ Теофіля Готье. Сами Гонкуры были неутомимы. Быть можетъ, этотъ журналъ молодыхъ силъ Франціи со временемъ успѣлъ бы и окрѣпнуть, и возмущать, но на него обрушился ударъ съ той стороны, откуда его менѣе всего ожидали. Въ журналѣ Гонкуровъ мы встрѣчаемъ подробное описаніе того траги-комическаго эпизода, который послужилъ началомъ крушенія журнала. Не существо-

валъ онъ еще и мѣсяца, какъ однажды входитъ въ редакцію главный редакторъ, родственникъ Гонкуровъ, молодой Вильдейль, и трагическимъ голосомъ объявляетъ, что правительство возбудило преслѣдованіе противъ журнала, что двѣ статьи вызвали противъ себя гнѣвъ министерства полиціи, вѣдавшаго при имперіи литературныя дѣла. Одна—статья Альфонса Карра, другая—въ которой помѣщены были стихи.

„— Кто помѣстилъ стихи?—спросилъ Вильдейль.

— Мы,—отвѣчали Гонкуры.

— Въ такомъ случаѣ преслѣдованіе возбуждено противъ васъ вмѣстѣ съ Карромъ“.

Статья, послужившая поводомъ для преслѣдованія Гонкуровъ, носила названіе: „Путешествіе изъ № 43 улицы St.-Georges въ № 1 улицы Лафиттъ“. Въ № 43 улицы St.-Georges жили Гонкуры, а въ № 1 улицы Лафиттъ помѣщалась редакція ихъ журнала. Въ полуфантастическомъ разсказѣ Гонкуровъ не было даже намека на политику; они описывали свои впечатлѣнія улицы, магазины *bric-à-brac*, древностей, картинъ, и передавали исторію одной картинки, поссорившія двѣ знаменитости театра „Французской Комедіи“, Рашель и m-me Натали. Въ разсказѣ они помѣстили, описывая картину, пять стиховъ, заимствованныхъ ими изъ „*Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVI siècle*“, Сень-Бѣва, сочиненія, удостоеннаго французской академіей преміи. И за помѣщеніе этихъ-то стиховъ на нихъ обрушилось преслѣдованіе. „Это кажется невѣроятнымъ,—говорятъ Гонкуры, —а между тѣмъ это было такъ“. Но чтѣ могло быть невѣроятнаго, когда при Наполеонѣ III возбуждались уголовныя преслѣдованія за линію точекъ, такъ какъ усматривались и въ точкахъ опасныя намеки. Весь разсказъ Гонкуровъ исторіи ихъ преслѣдованія весьма любопытенъ. Онъ составляетъ истинный историческій документъ. Статьи Альфонса Карра и Гонкуровъ въ дѣйствительности служили только предлогомъ для преслѣдованія. Причина же крылась въ иномъ. Вторая имперія, вооружившись цѣлымъ арсеналомъ орудій для задушенія всякой оппозиціи, питала ненависть даже къ самымъ безобиднымъ органамъ печати, если только эти органы не пресмыкались предъ нею и не расточали диамантовъ предпринимаемымъ ею мѣрамъ для „оздоровленія“ общественнаго организма. Покровительствуя преданнымъ ей газетамъ, поощряя изданія, потакавшія дурнымъ страстямъ общества, бонапартизмъ искалъ лишь случая, чтобы сначала пріостановить, а затѣмъ и совсѣмъ уничтожить всѣ сколько-нибудь оппозицион-

ные органы печати, не соглашавшіеся угождать ему. Второй имперіи было мало того, что печать не смѣла подвергать критикѣ ея дѣйствія; она усматривала преступленіе даже въ томъ, что къ этимъ дѣйствіямъ не относятся съ выраженіемъ сочувствія. Самое молчаніе дѣлалось подозрительно. Независимость редактора „Paris“ заставляла косо смотрѣть на него. Ему ставилось въ укоръ, что онъ не ходатайствуетъ о приглашеніи въ Тюльери!

Гонкуры подробно рассказываютъ всѣ подробности судебного преслѣдованія, живо обрисовывающія нравы современной имъ эпохи. Гонкуры слыли, — говорятъ они сами, — за пламенныхъ орлеанистовъ; хотя судьи сознавали, что они не совершили никакого проступка, но обвиненіе ихъ было предрѣшено. Ихъ пугали тюрьмой, и для того, чтобы избавиться отъ нея, предлагали одно надежное средство — обратиться съ просьбою о помилованіи къ Наполеону III. Послѣдовать такому совѣту было не въ характерѣ Гонкуровъ. Они предстали предъ судебнымъ слѣдователемъ, принявшимъ ихъ чрезвычайно вѣжливо; но какъ только они показали ему преступные пять стиховъ въ книгѣ Сентъ-Бѣва, вѣжливость его сразу исчезла. Судебный слѣдователь былъ смущенъ — точно Гонкуры были виноваты теперь въ томъ, что не они сами сочинили эти стихи. „Намъ, — говорятъ они, — нуженъ былъ адвокатъ. Родственникъ нашей семьи, Жюль Делабордъ, самъ адвокатъ при кассационномъ судѣ, особенно настаивалъ, чтобы мы не поручали нашей защиты какому-нибудь блестящему адвокату: такимъ образомъ можно было только покоробить и раздражить судей“. Судъ, передъ которымъ они должны были предстать, извѣстенъ былъ своею угодливостью новому правительству: ему поручались всѣ дѣла печати и политическіе проступки. По существовавшему въ то время обычаю, подсудимые должны были сдѣлать визиты своимъ судьямъ. „Это маленькое „morituri te salutant“, до котораго эти господа, — замѣчаютъ Гонкуры, — чрезвычайно лакомы. Мы прежде всего отправились къ президенту L... Онъ былъ сухъ, какъ самое его имя, холоденъ какъ старая стѣна, желтый, блѣдный, безкровный, — фигура инквизитора въ квартирѣ, отзывающейся затхлостью монастыря... Послѣдній визитъ мы сдѣлали товарищу прокурора, который долженъ былъ поддерживать обвиненіе. Этотъ обладалъ манерами настоящаго джентльмена. Онъ намъ заявилъ, что наша статья не заключаетъ въ себѣ никакого проступка, но онъ долженъ преслѣдовать насъ по настоянію министерства полиціи; онъ говоритъ это намъ какъ свѣтскій человѣкъ свѣтскимъ людямъ, и онъ рассчитываетъ, что мы не воспользуемся его словами для нашей защиты. И этотъ человѣкъ, —

прибавляют Гонкуры, — обладавший состояніемъ, станетъ добиваться высшей мѣры наказанія за проступокъ, въ которомъ мы, по его же сознанию, не были виновны. Онъ говорилъ намъ это въ глаза съ наивною, съ цинизмомъ. Сопровождавший Гонкуровъ дядя ихъ не могъ удержаться отъ восклицанія: „что за негодаи—весь этотъ народъ!“ Наконецъ, наступила развязка—самый судъ надъ ними. „Товарищъ прокурора, передаютъ они, охваченный какимъ-то бѣшенствомъ краснорѣчія, изображалъ насъ людьми безъ совѣсти и чести, какими-то фиглярами безъ семьи, безъ матери, безъ сестры, безъ всякаго уваженія къ женщинѣ и—въ довершеніе всего обвиненія—какъ апостоловъ физической любви“... Тогда поднялся адвокатъ Гонкуровъ, который остерегся послѣдовать примѣру адвоката Альфонса Карра, требовавшего отчета: какъ осмѣливались возбуждать подобныя преслѣдованія противъ нихъ?—нѣтъ, онъ „вздыхалъ, оплакивая наше преступленіе, рисовалъ насъ скромными молодыми людьми, нѣсколько слабыми умомъ, чуть-чуть придурковатыми, и какъ на главное, смягчающее нашу вину обстоятельство—указывалъ на старую няньку, живущую у насъ болѣе двадцати лѣтъ“. Кстати этотъ адвокатъ пользовался расположеніемъ суда, и его слова смягчали сердца судей. Въ судебномъ приговорѣ высказывалось: „что касается статьи, подписанной Эдмономъ и Жюлемъ Гонкуромъ въ номерѣ журнала „Paris“, отъ 11-го декабря 1852 г., то, принимая во вниманіе, что вызвавшія преслѣдованіе мѣста статьи представляютъ уму читателей образы явно непристойные, и потому заслуживающіе порицанія, но что изъ общаго смысла статьи ясно слѣдуетъ, что авторы не имѣли въ виду оскорбить общественную нравственность...“ и т. д., судъ оправдываетъ братьевъ Гонкуровъ, но въ мотивахъ своихъ высказываетъ имъ порицаніе, желая тѣмъ угодить новому правительству, начинавшему посматривать съ опасеніемъ на журнальную дѣятельность Гонкуровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если не официальнымъ путемъ, то офиціознымъ, имъ былъ преподанъ совѣтъ покинуть журнальную дѣятельность, вообще не пользовавшуюся расположеніемъ Тюльери. Исполнить этотъ совѣтъ было не особенно трудно для Гонкуровъ, вовсе не созданныхъ для воинствующей политической литературы, которой они и не касались; но подобныя предостереженія говорили имъ, что установившійся тогда во Франціи порядокъ не только относится враждебно къ политическимъ писателямъ, но и вообще ко всѣмъ независимымъ писателямъ и ко всякой независимой литературѣ.

Несмотря на то, что Гонкуры покинули журнальную дѣятельность и распростились съ читателями журнала „Paris“, вскорѣ

послѣ ихъ выхода изъ редакціи окончательно запрещеннаго, — они продолжали однако считаться подозрительными людьми, и еще нѣсколько лѣтъ спустя, — какъ замѣчаетъ Эдмонъ Гонкуръ въ изданной имъ перепискѣ брата, — ихъ предупреждали, что за ними наблюдаютъ, и на нихъ смотрятъ какъ на „опасныхъ людей“, а потому имъ слѣдуетъ вести себя осторожно. Гонкуры сознавали всю фантастичность подобныхъ подозрѣній, но она ихъ раздражала, и они, имѣвшіе такъ мало точекъ соприкосновенія съ политикой, соблазнялись мыслью уѣхать въ Бельгію, основать тамъ журналъ, „Памарить“, въ которомъ, — говорятъ они, — „мы покажемъ тѣмъ, кто въ эту минуту управляетъ Франціей, что мы обладаемъ нѣкоторыми качествами памаритистовъ“.

Вся вина Гонкуровъ состояла лишь въ томъ, что они не принадлежали ни къ какой партіи, никогда не поддавались подъ чужія убѣжденія, всегда высказывая лишь то, что они думали и чувствовали, не справляясь съ тѣмъ, подъ какую рубрику того или другого направленія подходятъ высказываемыя ими идеи. Эта непринадлежность ихъ ни къ какой партіи дѣлала ихъ подозрительными какъ въ глазахъ имперіи, такъ и въ глазахъ всѣхъ тѣхъ, кто ее ненавидѣлъ. „Иронія судьбы и хаоса настоящаго времени, гдѣ все бессмысленно! — говорятъ они въ журналѣ. — Мы, которые имѣемъ право, болѣе чѣмъ другіе, жаловаться на порядки имперіи... мы, которые ненавидимъ ее всею ненавистью истинныхъ литераторовъ за ея вражду и злобное отношеніе къ литературѣ, мы, сторонящіеся отъ нечистаго общества разлагающейся имперіи, и питающіе лишь дружбу къ одной принцессѣ Матильдѣ, и притомъ дружбу, неразрывную съ борьбою и споромъ по поводу каждой идеи, каждаго вопроса, — мы именно и страдаемъ отъ клеветы, выражаемой однимъ словомъ: куртизаны! — которымъ хотятъ унижить насъ въ глазахъ общества“.

Такъ говорили Гонкуры послѣ памятнаго въ театральныхъ лѣтописяхъ паденія ихъ комедіи: „Henriette Maréchal“, сдѣланнаго жертвой подстроенной кабалы, мстившей Гонкурамъ за мнимую ихъ приверженность имперіи.

Пьеса Гонкуровъ, поставленная на сценѣ „Comédie Française“ въ 1865 году, превратилась въ политическое событіе, волновавшее Парижъ въ теченіе двухъ недѣль, несмотря на то, что во всей комедіи не было даже ни одного политическаго намека. Она послужила лишь поводомъ для начинавшей оживать оппозиціи заявить свой протестъ противъ „людей имперіи“, въ лагерь которыхъ, такъ неожиданно для нихъ, были записаны и Гонкуры. Это quiproquo, имѣвшее для Гонкуровъ весьма печальныя послѣд-

ствія, объясняется однако чрезвычайно просто. Гонкуры, ненавидя имперію и не имѣя ничего общаго съ бонапартистами, были своими людьми въ салонѣ принцессы Матильды, любившей собирать у себя литературное общество, и вовсе не требовавшей отъ своихъ друзей, чтобы они непременно раздѣляли ея политическія симпатіи. Въ салонѣ принцессы Матильды появлялись всѣ наиболѣе выдающіеся писатели того времени. Въ этомъ-то салонѣ прочитана была пьеса Гонкуровъ, и потому въ печать проникло извѣстіе, что принцесса Матильда покровительствуетъ Гонкурамъ, и будто благодаря только ея настояніямъ—что было вполне несправедливо—пьеса ихъ была принята и миновала подводныхъ камней цензуры. Этого было тогда совершенно достаточно, чтобы возбудить негодованіе и поднять на ноги всю молодежь Латинскаго квартала. Къ молодежи присоединились и другіе элементы, одинаково ненавидѣвшіе установившійся во Франціи безправный порядокъ. Съ двухъ часовъ дня толпы народа осаждали театръ. Настроеніе толпы было самое боевое. Одни Гонкуры этого не замѣчали, увѣренные,—какъ они сами передаютъ то въ своемъ журналѣ, описывая этотъ памятный для нихъ день, въ успѣхъ, въ торжествѣ. Возбужденіе ихъ было такъ велико, что они не замѣтили, какъ поднялся занавѣсъ, не слышали трехъ обычныхъ ударовъ передъ начатіемъ пьесы. „Вдругъ,—записываютъ они,—удивленные, мы слышимъ одинъ свистокъ, два свистка, три свистка, бурю криковъ, которой вторитъ ураганъ аплодисментовъ... и все свиститъ, и все аплодируетъ. Занавѣсъ опускается, мы выскакиваемъ безъ пальто на улицу, но въ ухахъ мы чувствуемъ жаръ. Начинается второй актъ. Свистки возобновляются съ новымъ бѣшенствомъ, перемѣшанные съ какими-то животными криками“. Во второмъ актѣ едва можно было разслышать нѣсколько словъ, въ третьемъ—ни одного; артисты, казалось, представляли пантомиму. Болѣе двадцати минутъ одному изъ любимцевъ публики, актеру Го, не дали произнести имена авторовъ. Со времени „Эрнани“, когда Викторъ Гюго бросилъ свой смѣлый вызовъ классицизму въ искусствѣ, никогда Парижъ не былъ свидѣтелемъ такихъ бурныхъ представленій, какъ представленіе „Henriette Maréchal“. Пьеса однако не была снята съ репертуара, но каждое новое ея представленіе служило поводомъ къ новымъ бурямъ. Только на пятый разъ въ залѣ водворилось спокойствіе, пьеса была дослушана до конца, безъ рѣзкихъ протестовъ, политическія страсти успокоились, и можно было думать, что комедія Гонкуровъ будетъ предоставлена ея собственной судьбѣ. Неожиданно однако послѣдовалъ новый ударъ, но уже изъ противоположнаго

лагеря—само правительство запретило пьесу. Официальная печать помѣщала статьи, направленные съ одной стороны противъ Гонкуровъ и безнравственности ихъ пьесы, съ другой—противъ вообще либерализма всѣхъ тѣхъ, кто посѣщаетъ салонъ принцессы Матильды. „Истинно вѣрное во всей этой исторіи, — писали Гонкуры своему другу Флоберу, — это то, что намъ сломала шею одна очень важная дама изъ вашихъ знакомыхъ, которая, какъ объ этомъ говоритъ весь Парижъ, ревнуетъ салонъ принцессы. „Эта важная дама была не кто иная, какъ императрица Евгенія. Такимъ образомъ правительство встрѣтилось съ тѣми, кто, шикая „Henriette Maréchal“, въ дѣйствительности желалъ только вызвать демонстрацію противъ порядковъ второй имперіи.

Волненія, вызванныя постановкой пьесы, неожиданно встрѣченной враждою, интригами, литературною борьбою изъ-за поруганнаго дѣтища, наконецъ административнымъ воспрещеніемъ дальнѣйшихъ представленій, болѣзненно отразились на обнаженныхъ нервахъ братьевъ Гонкуровъ. Они испытывали точно галлюцинаціи слуха: въ ухахъ ихъ цѣлыми днями неумолкаемо раздавался свистокъ. Въ теченіе нѣсколькихъ дней они истратили, какъ они сами выражаются, десять лѣтъ своей жизни, своей нервной системы, своего мозга. Они могли утѣшать себя только однимъ, — они достигли того, чего добивались: имя ихъ гремѣло, оно наполняло Парижъ, Францію; неуспѣхъ ихъ пьесы сдѣлалъ больше для ихъ славы, чѣмъ пятнадцать лѣтъ упорнаго литературнаго труда и столько же томовъ, написанныхъ съ рѣдкимъ талантомъ, но не раскупавшихся публикой. Сень-Бѣвъ отлично понялъ эту сторону шумной исторіи ихъ пьесы, и вотъ почему описывая эпизодъ съ Henriette Maréchal въ письмѣ въ одному изъ друзей и родственниковъ Гонкуровъ, онъ прибавилъ: „положеніе нашихъ друзей теперь превосходно. Общественное мнѣніе возбуждено, вниманіе сосредоточено на нихъ: тѣмъ лучше для ихъ будущей пьесы или ихъ будущаго романа. Они теперь въ полномъ свѣтѣ и открытомъ полѣ“. Не личныя только столкновенія съ порядками второй имперіи заставляли ихъ относиться враждебно къ правительству Наполеона III, — въ этихъ личныхъ столкновеніяхъ они видѣли лишь проявленіе губительной для общественнаго организма общей системы. Имперія, — говорили они, — мало того, что убила мысль, мало того, что искоренила всякое умственное движеніе, потворствуя лишь сплетнямъ, скандальной хроникѣ, личнымъ дразгамъ, нападкамъ на все возвышенное, чистое, — она сдѣлала больше: она убила здоровую веселость, все искреннее, прямодушное; она развратила общество, поощряя

спекуляцію, нечистоплотныя дѣлишки. Гонкуры не могли простить имперіи превращенія литературнаго моря, такъ недавно еще бурно волновавшагося, въ стоячее болото, которое даже нѣтъ силъ взволновать. Снаружи какъ будто бы ничего не перемѣнилось; въ дѣйствительности же сохранилась только маска жизни. Газеты какъ будто выходятъ по прежнему, книги продаются, академія продолжаетъ существовать, земля движется вокругъ солнца, но все это, — говорятъ Гонкуры, — только обманчивая наружность. Общественная атмосфера такова, что въ ней можно задохнуться, и они задаются вопросомъ: въ чему это внѣшнее, декоративное подобіе жизни, въ сущности бездушное и безцѣльное? „Книги продаются, неизвѣстно кому и для чего; писатели продолжаютъ существовать, неизвѣстно какъ и зачѣмъ... Словомъ, самый подходящій моментъ для того, чтобы имѣть 20 тысячъ франковъ годового дохода и печатать свои произведенія въ количествѣ 30 экземпляровъ“.

Сознаніе невыносимости такой удушливой общественной атмосферы, повидимому, должно было бы навести Гонкуровъ на мысль о важномъ значеніи для общественныхъ интересовъ, сосредоточивавшихся для нихъ въ литературѣ, такого политическаго порядка, который щадилъ бы, по крайней мѣрѣ, мысль, не атрофировать бы умственнаго движенія; но Гонкуры не исправимы; они точно умышленно закрываютъ себѣ глаза, не желая видѣть въ политикѣ ничего иного, кромѣ шарлатанства и пустыхъ словъ. Живое воспринимаемая впечатлѣнія окружающей ихъ среды, они, касаясь сферы общественной и политической жизни, не вдумывались достаточно въ причины оскорблявшихъ ихъ общественныхъ явленій и судили вообще о политикѣ по той политикѣ, которой они были свидѣтелями, точно также какъ о людяхъ, преданныхъ политическимъ интересамъ — по тѣмъ людямъ, которыхъ имъ приходилось встрѣчать. „Лживыя фразы, пустыя слова, наясничество — вотъ все, что мы находимъ у политическихъ людей нашего времени. Революція — это переездъ съ одной квартиры на другую, съ перенесеніемъ изъ покинутого жилища тѣхъ же самыхъ самолюбій, той же испорченности, тѣхъ же низостей, и притомъ сопряженный еще съ ломкою и большими расходами. Политической нравственности не существуетъ! Я ищу вокругъ себя хоть одно безкорыстное убѣжденіе — и не нахожу его. Люди рискуютъ, компрометируютъ себя изъ-за надежды на будущее положеніе, всецѣло отдаются партіи, которая представляетъ собою будущее. И это относится ко всѣмъ людямъ, которыхъ я вижу вокругъ себя... Въ концѣ концовъ, — читаемъ мы въ дневникѣ Гонкуровъ, — приходишь

къ разочарованію, къ отвращенію отъ всякаго вѣрованія, къ терпимости по отношенію ко всякой власти, какова бы она ни была, къ политическому индифферентизму, который я встрѣчаю у всѣхъ моихъ братьевъ по литературѣ, какъ у Флобера, такъ и у самого себя. Убѣждаешься, что не слѣдуетъ жертвовать собою ни изъ-за какого политическаго знамени, что слѣдуетъ уживаться съ каждымъ правительствомъ, какъ бы оно ни было вамъ антипатично, что не слѣдуетъ вѣрить ни во что, кромѣ искусства, и исповѣдовать только литературу. Все остальное—ложь и ловушка“. Если печальная дѣйствительность современной имъ эпохи могла привести Гонкуровъ и родственниковъ имъ по духу писателей, какъ Флобера, къ такому безнадежному политическому индифферентизму, то только необычайною впечатлительностью авторовъ дневника можно себя объяснить ту легкость, съ которою они обобщаютъ поразившія ихъ явленія мрачнаго періода упадка французскаго общества. Монархія, республика, имперія—для Гонкуровъ все это были только слова; ко всѣмъ этимъ различнымъ формамъ правленія они относились съ одинаковымъ недоувѣріемъ, видя въ нихъ только различныя вывѣски, причемъ сущность оставалась все та же. Какой-нибудь частный, самъ по себѣ ничего не значащій фактъ, въ глазахъ Гонкуровъ, благодаря ихъ нервной воспримчивости и крайней впечатлительности, получаетъ неожиданно крупное историческое значеніе, и тѣмъ самымъ вліяетъ на ихъ политическія воззрѣнія. „Ровно двадцать лѣтъ тому назадъ,—заносятъ они въ свой дневникъ, съ помѣтой 24-го февраля 1868 г.,—около часа дня, съ нашего балкона, выходившаго на улицу Капуциновъ, я увидѣлъ на противоположной сторонѣ улицы мѣдника, быстро взбиравшагося по лѣстницѣ и ускоренными ударами молотка сбивавшаго съ вывѣски слова: „du Roi“, слѣдовавшія за словомъ: „мѣдникъ“... Сегодня, проходя по улицѣ Капуциновъ, я случайно взглянулъ на вывѣску и прочелъ вмѣсто словъ: „мѣдникъ короля“—„мѣдникъ императора“. Гонкуры не идутъ дальше; они не ищутъ самаго простого объясненія подобному явленію,—для нихъ этотъ мѣдникъ, замѣняющій на своей вывѣскѣ слово: „Roi“—словомъ: „l'Empereur“, является живою эмблемою не шаткости, не неудовлетворительности того или другого режима, а безразличія формъ правленія.

Политическіе перевороты, ростъ демократіи, революціи, стремящіяся къ ограниченію, къ уничтоженію прежняго режима—все это для Гонкуровъ пустыя слова, шумиха, тѣшащая недалновидный, глупый народъ. „Странное дѣло,—говорятъ они,—несмотря на всѣ революціи, несмотря на уменьшеніе авторитета монархической

власти въ цѣлой Европѣ, несмотря на большое участіе народа въ государственномъ управленіи, словомъ, на царство массы, — никогда не существовало болѣе крупныхъ примѣровъ всемогущественнаго вліянія, деспотизма воли одного человѣка. Достаточно указать на Наполеона III и Бисмарка“. Очевидно, что Гонкуры не обладали историческою перспективою. Художники, артисты, великіе мастера тамъ, гдѣ имъ приходилось рисовать нравы, портреты, — Гонкуры слишкомъ сильно воспринимали впечатлѣнія, слишкомъ сильно чувствовали для того, чтобы оставаться всегда безпристрастными, и съ спокойствіемъ историковъ, критиковъ, философовъ, оцѣнивать общественныя явленія. Работая надъ революціонной эпохой, они изъ-за гильотины, крови, безпощадныхъ и бессмысленныхъ казней не видятъ громаднаго переворота, совершившагося въ эту трагическую эпоху, и смѣло произносятъ свой столь же суровый, сколько и неосновательный приговоръ. „Революція сколько угодно могла сдѣлать себя страшною, — она главнымъ образомъ глупа. Безъ крови она была бы смѣшна, безъ гильотины комична... И сколько лицемѣрія, сколько лжи представляетъ собою революція! Девизы, стѣны, рѣчи, исторія — все лжетъ въ эту эпоху. Какую книгу можно было бы написать подъ заглавіемъ: „les Blagues de la Révolution“!!

Къ народнымъ увлеченіямъ, поклоненіямъ, Гонкуры относятся съ крайнимъ скептицизмомъ. Они знаютъ, что Марату, этому маніаку, „этому карриватурному сумасшедшему“, воздвигнуто было сорокъ-четыре-тысячи памятниковъ и алтарей, и этого для нихъ было вполне достаточно, чтобы ко всякому народному увлеченію относиться вполне презрительно. Враги всякой фальши, всякой неправды, они не понимаютъ сантиментально-идиллическаго отношенія къ народу à la Жоржъ-Зандъ; но они переходятъ въ другую крайность, столь же неосновательную, говоря, что „народъ не любитъ ничего правдиваго, простого, что онъ любитъ только романъ и шарлатановъ“. Ихъ политическія идеи, ихъ понятіе о народѣ поражаютъ подчасъ своимъ обскурантизмомъ; они не скрываютъ своей антипатіи ко всеобщей подачѣ голосовъ, къ народнымъ избраніямъ; они усматриваютъ фразу, ложь — въ политическихъ правахъ страны. Они возмущаются, говоря, какъ послѣ столькихъ вѣковъ, столь медленнаго воспитанія „дикаго человѣчества“ можно было вернуться „къ варварству числа, къ побѣдѣ тупоумія слѣпой толпы“. Они радуются, что начинается, какъ они говорятъ, видимая реакція противъ всеобщей подачи голосовъ, противъ демократическаго принципа; что появляются избранные умы, видящіе „спасеніе бу-

душаго въ порабощеніи черни, отданной подъ власть благотѣльной умственной аристократіи“. Гонкуры не пропускаютъ случая, чтобы не подтрунить надъ всеобщей подачей голосовъ. „Когда, — пишутъ они въ письмѣ къ Флоберу, — самого Бога будутъ избирать всеобщей подачей голосовъ — что неминуемо должно наступить — мы подадимъ голосъ за васъ“...

Такою же эксцентричностью и парадоксальностью отличаются мнѣнія Гонкуровъ о народномъ образованіи, въ широкомъ пространеніи котораго они усматриваютъ опасность для современнаго общества. „Каждая женщина изъ народа, — говорятъ они, — стремится дать, и напрягаетъ къ тому свои послѣднія силы, своимъ дѣтямъ такое образованіе, котораго она сама не получила, научить правильно писать, чего сама она никогда не знала. Благодаря такому всеобщему безумію, этой маніи, всюду распространенной въ низшихъ классахъ общества, поднимать своихъ дѣтей выше себя, какъ ихъ поднимаютъ, чтобы лучше видѣть фейерверкъ, вырастаетъ Франція канцеляристовъ, писателей, — Франція, гдѣ работникъ не наследуетъ работнику, земледѣлецъ земледѣльцу, гдѣ скоро скажется недостатокъ рукъ для тяжелаго, физическаго труда, необходимаго родинѣ“.

Гонкуры держатся мнѣнія кардинала Ришельё, говорившаго въ своемъ завѣщаніи: „точно также какъ тѣло, которое всюду имѣло бы глаза, было бы уродливо, — было бы уродливо и государство, въ которомъ всѣ подданные были бы учеными“; и вслѣдъ за нимъ повторяютъ: „то общество постигло бы разложенье, въ которомъ всѣ мужчины умѣли бы читать и всѣ женщины играли бы на фортепьяно“; Гонкуры забываютъ только то, что между умѣніемъ читать и ученостью существуетъ изрядное разстояніе, и не объясняютъ, почему работа каждаго мастерового, земледѣльца будетъ хуже потому, что онъ сдѣлался грамотнымъ.

Многія парадоксальныя мнѣнія Гонкуровъ объясняются ихъ ненавистью къ общепринятымъ положеніямъ, къ общимъ мѣстамъ, которыя, по ихъ собственному сознанію, заставляли ихъ страдать, когда имъ приходилось выслушивать ихъ. Ко всякому общему мѣсту, какъ бы оно само по себѣ ни было справедливо, ко всему, что превратилось въ ходячую монету, Гонкуры относятся подозрительно, точно чуя какую-то фальшь, и только для того, чтобы не пѣть въ унисонъ съ другими, они готовы принять противоположную точку зрѣнія. Они всегда любятъ быть на сторонѣ меньшинства. Они по природѣ своей враги всякихъ готовыхъ опредѣленій, традиціонныхъ формулъ, лживыхъ фразъ, къ которымъ они относятъ и девизъ французской революціи: „свобода, равен-

ство и братство"! Они не только усматривают тутъ ложь,—они признаютъ, что „всеобщее братство людей является одною изъ самыхъ противоестественныхъ теорій“, что оно противно природѣ человѣка.

Можно было бы привести еще много образцовъ такихъ мнѣній Гонкуровъ, по которымъ ихъ легко было бы зачислить въ густые ряды реакціонеровъ, обсеурантовъ, враговъ общественнаго развитія; а между тѣмъ Гонкуры не принадлежать въ дѣйствительности ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, ни къ третьимъ. Поражая подчасъ своими враждебными широкую общественному развитію воззрѣніями, они одновременно не менѣе поражаютъ своими радикальными и даже иной разъ ультра-радикальными, чтобы не сказать, анархическими взглядами. Извѣстіе о пораженіи Гарибальди погружаетъ ихъ въ глубокую грусть, меланхолію. Въ Орсини они видятъ человѣка, рѣшившагося на „геройскій“ поступокъ. „Посмотрите,—говорятъ они въ своемъ журналѣ,—что сдѣлала бомба Орсини! Италія свободна,—и, быть можетъ, папство, т.-е. католицизмъ, умретъ отъ этой бомбы!“ Они всегда берутъ сторону слабыхъ; по природѣ своей, по своему темпераменту они никогда не бѣгутъ за колесницей триумфатора, они не любятъ побѣдителей. „Съ самой школьной скамьи, говорятъ Гонкуры, мы всегда стояли на сторонѣ побѣжденных... Мы ужъ такъ созданы, что не можемъ относиться безъ симпатіи къ людямъ, у которыхъ нѣтъ вульгарности, наглости успѣха“.

Насмѣшки Гонкуровъ надъ всеобщей подачей голосовъ, ихъ мнѣніе о вредѣ широкаго распространенія образованія, ихъ ненависть къ имперіи и полное недовѣріе къ республикѣ—могли бы дать основаніе предполагать, что въ душѣ своей они мечтаютъ о восстановленіи порядка до-революціонной Франціи съ сильною королевскою властью, поддерживаемою замкнутой аристократіей. Между тѣмъ такое предположеніе было бы такъ же ошибочно, какъ и всякое другое. Они не питаютъ пристрастія ни къ какой формѣ правленія,—всѣ такіе вопросы для нихъ безразличны. Не безразлично они относятся только къ лишеніямъ и страданіямъ обездоленныхъ, и на такомъ сочувствіи къ слабымъ они строятъ свои общественные идеалы. „Въ общественномъ устройствѣ, основанномъ на аристократіи, говорятъ они, но аристократіи способностей, открытой для народа и широко пополняющейся умственными силами рабочаго класса, я мечтаю бы о правительствѣ, которое уничтожило бы нищету, отмѣнило бы общую могилу, установило даровую юстицію, назначало бы адвокатовъ бѣднымъ, оплачиваемыхъ честию избранія, установило бы въ церкви бесплатность и равенство

въ крещеніи, вѣнчаніи, погребеніи, — о правительствѣ, которое дало бы въ госпиталѣ великолѣпный пріютъ болѣзни, — словомъ, я мечталъ бы о правительствѣ, которое создало бы министерство общественнаго страданія“.

Гуманность, пылкая любовь къ страждущему человечеству — вотъ основа всѣхъ взглядовъ Гонкуровъ, и этою своею стороною они всецѣло принадлежать демократіи. Взгляды свои они старались проводить въ литературѣ, романѣ, который, какъ они говорятъ, слишкомъ много занимается пустяками, казюкъ стороною высшаго общества, и слишкомъ мало удѣляетъ вниманія низшимъ классамъ общества. „Живя въ XIX вѣкѣ, — пишутъ они въ предисловіи къ своему роману „*Germinie Lacerteux*“, — во время всеобщей подачи голосовъ, демократіи, либерализма, мы задались вопросомъ: неужели то, что зовется „низшими классами“, не имѣетъ права на романъ; неужели этотъ міръ, застилаемый другимъ міромъ, народъ, долженъ остаться подъ литературнымъ запретомъ и вызывать къ себѣ пренебрежительное отношеніе авторовъ, хранящихъ молчаніе о душѣ и сердцѣ народа? Мы задались вопросомъ: существуютъ ли еще для писателя и для читателя, въ наше время равенства, недостойные слои, слишкомъ низменныя страданія, слишкомъ непривлекательныя драмы, катастрофы, ужасъ которыхъ недостаточно благороденъ?.. Мы желали узнать, настолько ли способны страданія слабыхъ и бѣдныхъ въ странѣ, не знающей больше кастъ и аристократіи, къ тому, чтобы затрогивать столь же глубоко чувство и состраданіе, какъ несчастія богатыхъ и знатныхъ; словомъ, способны ли слезы, которыя проливаются внизу, заставить плакать, какъ заставляютъ плакать слезы, проливаемые наверху?“

V.

Полное участія и состраданія отношеніе Гонкуровъ къ низшимъ народнымъ слоямъ нисколько, однако, не мѣшало имъ относиться съ глубокимъ скептицизмомъ ко всѣмъ демократическимъ принципамъ. Скептицизмъ — это вторая натура Гонкуровъ; онъ обрашиваетъ всѣ ихъ политическія, общественныя, религіозныя и нравственныя воззрѣнія, — и притомъ скептицизмъ, какъ они сами говорятъ, противопоставляя его здоровому скептицизму, — XVIII-го вѣка, подбитый горечью и острою болью. Вездѣ и во всемъ они видятъ только слова, слова и слова, наряжающіяся въ громкіе принципы и святыя начала. „Во имя милосердія, — говорятъ они, — людей сожигали, во имя братства людей гильотинировали“,

и съ ироніей прибавляютъ, что на сценѣ человѣчества афиша всегда находится въ коренномъ противорѣчій съ пьесой. Съ одной стороны, въ исторіи всего человѣчества играетъ господствующую роль ложь, а съ другой—на той же сценѣ торжествуетъ нелѣпость, поглотившая столько жертвъ, породившая столько мучениковъ.

Мрачный взглядъ на жизнь, на человѣчество, выразился у Гонкуровъ еще прежде появленія ихъ журнала, въ небольшой книжкѣ, появившейся въ 1866 году и посвященной ихъ другу Флоберу: „Idées et Sensations“. Эта книжка, въ сущности, была не чѣмъ инымъ, какъ извлеченіемъ изъ ихъ журнала, въ который они привыкли заносить всѣ свои отрывочныя думы, всѣ свои ощущенія. Включая ихъ въ изданные три тома журнала, Эдмонъ Гонкуръ только возвратилъ „идеямъ и ощущеніямъ“ ихъ первоначальное мѣсто. Гонкуры любили выражать свои мысли въ сжатой формѣ сентенцій, афоризмовъ, затрогивающихъ вопросы морали, религіи, общественнаго устройства, искусства,—словомъ, вопросы всей человѣческой жизни.

Для того, чтобы дать полное представленіе объ „идеяхъ и ощущеніяхъ“ Гонкуровъ, пришлось бы посвятить десятки страницъ выпискамъ изъ ихъ журнала, въ которомъ разбросано такъ много ума, чувства, остроумія, изящества. Мы ограничимся сравнительно немногими выдержками, обрисовывающими умственный и нравственный складъ Гонкуровъ.

Какъ мало поддаются точному опредѣленію ихъ политическія воззрѣнія; такъ же мало укладываются въ шаблонныя рамки ихъ религіозныя убѣжденія и нравственныя понятія. Множество разъ Гонкуры возвращаются въ своемъ журналѣ къ вопросамъ вѣры, религіи; вопросы эти видимо ихъ занимаютъ, тревожатъ, какъ вопросы неразрѣшимые, настойчиво требующіе отвѣта. Они не принадлежать къ тѣмъ вѣрующимъ, для которыхъ не существуетъ даже этихъ вопросовъ, но они и не принадлежать къ тѣмъ невѣрующимъ, для которыхъ вопросы эти утратили всякое значеніе. „Когда безвѣріе,—говорятъ они,—становится вѣрою, оно представляется менѣе разумнымъ, чѣмъ какая-либо религія“. У самихъ Гонкуровъ, какъ они признаются, вѣра смѣняется безвѣріемъ; сегодня они готовы вѣрить, завтра вѣра утасла; матеріализмъ и спиритуализмъ находятся въ постоянной борьбѣ. Но значеніе и силу религіи они никогда не отрицаютъ, и въ христіанской религіи они видятъ религію, наиболѣе отвѣчающую требованіямъ несчастнаго современнаго человѣчества. „Величайшая сила христіанской религіи,—записываютъ они въ свой журналъ,—заключается въ томъ, что это религія всѣхъ страданій жизни,

несчастій, печали, болѣзней, всего, что угнетаетъ сердце, тѣло и умъ. Она обращается ко всѣмъ страждущимъ. Она общается утѣшеніе тѣмъ, кто нуждается въ немъ, надежду отчаявающимся. Религіи древности, — прибавляютъ они, — были религіями человѣческихъ радостей, праздника жизни. Но съ тѣхъ поръ міръ сталъ болѣзненъ и дряхлъ“. Ихъ не пугаетъ сверхъ-естественное въ религіи; напротивъ, — говорятъ они, — религія безъ сверхъестественнаго напоминаетъ имъ одно газетное объявленіе: „продается вино не изъ винограда“.

Въ вопросахъ религіозныхъ Гонкуры не выносятъ нетерпимости, откуда бы она ни исходила; но болѣе всего они возмущаются нетерпимостью среди партіи терпимости, напомнившей имъ слова одного скептика XVIII столѣтія, Дюкло, говорившаго по поводу нетерпимости людей невѣровавшихъ: „они кончатъ тѣмъ, что заставятъ меня идти къ обѣднѣ“.

Религію, вѣру, Гонкуры постоянно приурочиваютъ къ человѣческимъ страданіямъ, и въ журналѣ ихъ мы встрѣчаемъ много опредѣленій въ такомъ родѣ: „Ни въ чемъ величіе Бога не проявляется съ такою силою, какъ въ безконечности человѣческихъ страданій. Количество болѣзней устрашаетъ меня еще болѣе, чѣмъ количество звѣзд“. Цѣлыя страницы журнала посвящены описанію тѣхъ горячихъ споровъ о вѣрѣ, о безсмертіи души, о загробной жизни, которые происходили въ средѣ писателей и философовъ, въ обществѣ которыхъ проводили свои досуги братья Гонкуры. Мы не имѣемъ возможности передавать самое существо и характерныя подробности мнѣній такихъ людей, какъ Ренанъ, Сентъ-Бѣвъ, Тэнъ, Поль Сентъ-Викторъ и многихъ другихъ; но та тщательность, съ которою Гонкуры воспроизводятъ въ журналѣ эти споры, доказываетъ, насколько умъ ихъ работалъ надъ этими вопросами. Быть можетъ, результатомъ этихъ споровъ для самихъ Гонкуровъ явился романъ ихъ „Madame Gervaisais“, въ которомъ они съ такимъ мастерствомъ изобразили мрачную сторону католицизма и побѣду его надъ надломленною женскою натурою. Недаромъ выражались Гонкуры, что религія — это часть женщины. Интересуясь философскою стороною великихъ неразрѣшимыхъ вопросовъ, Гонкуры относились съ свойственнымъ имъ скептицизмомъ къ религіозной практикѣ, и находили, что католическая религія вымираетъ во французскомъ обществѣ. „Вы спрашиваете насъ, — пишутъ они въ письмѣ къ Флоберу, — существуетъ ли какой-либо приличный способъ провести страстную пятницу. Мы отыскали самый безнадежный. Мы посѣтили всѣ модныя церкви, Saint-Thomas d'Aquin, Sainte Clotilde и другія. Намъ

кажется, что все это болѣе мертво, чѣмъ самая академія. Тѣ, что называютъ вѣрующими, — ихъ было мало, — мнѣ показалось чѣмъ-то автоматическимъ, оледенѣлымъ: патеры пѣли по привычкѣ... даже церковные сторожа, и тѣ, кажется, ни во что не вѣрятъ...”

Не всегда, однако, Гонкуры иронизируютъ; порой вырываются у нихъ крики боли, слова, преисполненные квинтъ-эссенціей скептицизма, въ которыхъ сказывается ихъ мрачный взглядъ на все существующее: „что же кроется подъ небеснымъ сводомъ; что означаетъ собою эта комедія — жизнь; что такое божество, которое вовсе не представляется намъ съ атрибутами доброты?.. Что такое Богъ природы, такъ жестоко относящейся къ людямъ?.. А вѣчность?! это нѣчто, что никогда не будетъ имѣть конца, какъ никогда не имѣла начала вѣчность позади, — вотъ чего не можетъ переварить нашъ бѣдный умъ“...

„Наконецъ, безсмертіе души, что это такое? можно ли говорить о безсмертіи личной души, или о безсмертіи души коллективной? Мысль скорѣе допускаетъ послѣднее. Природа исключаетъ все личное; она сама по себѣ коллективна... Нужно вернуться къ Канту: каждый разъ, когда онъ желалъ построить какую-либо систему, и чувствуя, какъ она проваливается, онъ приходилъ къ заключенію, что нѣтъ ничего кромѣ нравственного чувства, чувства долга. Но какъ это страшно холодно, убійственно сухо! Къ чему мы на землѣ? Къ чему смерть? И, наконецъ, что послѣ смерти? Въ концѣ концовъ это неотступная мысль человѣка... *Diis ignotis!* вотъ чудный алтарь аѳинянъ“. Этотъ мрачный, пессимистическій взглядъ на жизнь, природу, проходитъ красною нитью черезъ всѣ три тома ихъ журнала, равно какъ просвѣчиваетъ онъ во всѣхъ ихъ романахъ. Сами они болѣзненно-нервные, и ихъ глазъ невольно останавливается по преимуществу на человѣческихъ страданіяхъ, на несовершенствѣ природы человѣка, перенесшаго свое несовершенство въ общественную организацію. Жизнь личная полна горечи, отравы; жизнь общественная уродлива, несправедлива, бессмысленна; изъ-за чего же люди бьются, къ чему они дорожатъ жизнью? — вотъ вопросы, которые неотступно преслѣдуютъ Гонкуровъ, и на которые они такъ нелогично отвѣчаютъ, повторяя за Флоберомъ, что работа является лучшимъ средствомъ для того, чтобы одурачить жизнь! Они удивляются, что при томъ обиліи всяческихъ философскихъ системъ, всевозможныхъ религій, всѣхъ соціальныхъ идей, которыя возникали среди людей, не появилась ни въ какую историческую эпоху секта мудрецовъ, спокойно отказывающихся отъ жизни, убѣгающихъ отъ свирѣпости человѣческихъ страданій. „Какимъ образомъ, — спра-

пиваютъ они, забывая или не зная нѣмецкихъ философовъ,—до сихъ поръ никогда еще не проповѣдовалось прекращеніе чело-
вѣчества, и не только путемъ воздержанія и неоплодотворенія жизни,
но путемъ открытія и изобрѣтенія самаго безболѣзненнаго спо-
соба самоубійства, путемъ учрежденія общественныхъ школъ химіи,
гдѣ научали бы такой комбинаціи увеселительнаго газа, благо-
даря которому переходъ отъ бытія въ небытію выражался бы
лишь однимъ взрывомъ хохота“. Шопенгауеръ и Гартманъ при-
знали бы въ Гонкурахъ своихъ горячихъ послѣдователей.

Тѣмъ же угрюмымъ воззрѣніемъ на жизнь запечатлѣны всѣ
ихъ „идеи и ощущенія“, которыя, какъ золотыя песчинки, разсы-
паны по всѣмъ тремъ томамъ ихъ журнала. Острота взгляда,
блескъ формы, ѣдкость и часто глубина мысли—дѣлаютъ этотъ
отдѣлъ журнала Гонкуровъ особенно привлекательнымъ; но сгруп-
пировать ихъ идеи, образы, представляется задачею почти не-
исполнимою. Въ этихъ разбросанныхъ отрывкахъ мыслей Гонкуры
касаются всего, прошлаго и настоящаго, характера эпохи и со-
временнаго имъ общества, правовъ и вѣрованій, семьи, брака,
женщинъ,—они все задѣваютъ своимъ оригинальнымъ и иронизи-
рующимъ умомъ. Мысль свою, подчасъ очень сложную и каза-
лось бы требующую пространнаго объясненія, они выражаютъ
двумя, тремя мѣткими словами, освѣщающими ее со всѣхъ сто-
ронъ, рискуя, правда, иногда тѣмъ, что мысль ихъ можетъ по-
казаться парадоксальною.

Мы встрѣчаемъ у нихъ нѣсколько сжатыхъ характеристикъ
пережитаго ими времени. XIX-ый вѣкъ, говорятъ они, это вѣкъ
правды и пустословія. „Никогда столько не лгали, и никогда такъ
настойчиво не добивались истины“; нельзя не признать, что всѣ
главныя черты нашего времени вѣрно схвачены въ этомъ опредѣле-
ніи. Онъ отмѣчаетъ и другую современную черту. Лабрюеръ гово-
рилъ, что можно пользоваться мошенниками, но пользоваться съ
умѣренностью. „Въ наше же время,—говорятъ Гонкуры,—мошен-
никами злоупотребляютъ“. Наблюдая жизнь, нравы, Гонкуры скеп-
тически относятся къ счастью, къ успѣху, но при помощи ихъ
сентенцій можно было бы составить цѣлый катехизисъ практи-
ческой мудрости для людей, желающихъ добиться успѣха. Жизнь,
по ихъ мнѣнію, враждебна всѣмъ тѣмъ, кто уклоняется отъ торнаго
пути,—всѣмъ тѣмъ, кто не хочетъ вступать въ кадры регулярной
арміи, изображающей собой общество,—всѣмъ тѣмъ, кто не желаетъ
сдѣлаться чиновникомъ, бюрократомъ, кто не избираетъ себѣ какую-
либо признанную профессію. „На каждомъ шагѣ, который они
дѣлаютъ, на нихъ обрушиваются всякаго рода большія и ма-

ленькія неприємности, какъ тѣлесныя наказанія великаго закона сохраненія общества“. Они рекомендуютъ одно вѣрное средство быстро сдѣлать карьеру—это сѣсть на запятки какой-нибудь славы, какого-либо успѣха. „Правда, — прибавляютъ они, — рискуешь при этомъ быть обрызганнымъ грязью, получить нѣсколько ударовъ бича, но все же цѣль будетъ достигнута такъ точно, какъ лакей достигаетъ передней“.

Гонкуры не любятъ общество, главнымъ цементомъ котораго, какъ они говорятъ, служить злословіе, и они охотно записываютъ въ свой журналъ слова извѣстнаго юриста Ше-д'эсть-Анжа, что общество не только живетъ лицемѣріемъ, но это лицемѣріе нужно всячески поощрять, такъ какъ еслибы лицемѣріе исчезло, то люди показались бы слипшеомъ гадки. Если злословіе и лицемѣріе являются главными устоями современной жизни, то для искренности нѣтъ мѣста въ обществѣ, и Гонкуры преподаютъ еще одинъ совѣтъ людямъ, желающимъ пробиться черезъ толстую стѣну всеобщей зависти и взаимнаго нерасположенія—„никогда не говорить о себѣ другимъ, а говорить только о нихъ самихъ—въ этомъ все искусство нравиться людямъ“.

Деньги, богатство, вотъ элементъ, разлагающій, — говорятъ Гонкуры, — всякое, даже самое высокое чувство. Взгляните, какъ совершаются браки. „Родители, — пишутъ они, — охотно отдаютъ мужчинѣ тѣло, здоровье, счастье своей дочери, словомъ, всю женщину, за исключеніемъ лишь состоянія. Потому-то большинство современныхъ браковъ совершается подъ условіемъ раздѣльности состояній. Современный бракъ они называютъ „изнасилованіемъ съ согласія мѣра и одобренія родителей“, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ бракъ совершается не во имя любви, а во имя разсчета, выгоды, денегъ. Множество сентенцій Гонкуры посвящаютъ опредѣленію женскаго характера, отличительнымъ чертамъ мужчины и женщины, и нѣкоторыя изъ нихъ чрезвычайно красивы и рельефны. „Женщина, — выражаются Гонкуры, — была создана, чтобы быть сестрой милосердія. Ея самопожертвованіе не превозмогаетъ чувства отвращенія; оно просто не знаетъ его“. Или другой примѣръ: „мужчина ищетъ въ книгѣ правду, женщина — иллюзію“. Мы могли бы безъ числа черпать изъ журнала Гонкуровъ подобныя опредѣленія, касающіяся всѣхъ сторонъ, всѣхъ вопросовъ современной жизни, еслибы и приведенныхъ примѣровъ не было достаточно, чтобы уловить характеръ „идей и ощущеній“ Гонкуровъ.

Остановимся только для болѣшей полноты на нѣкоторыхъ разсужденіяхъ и сентенціяхъ, носящихъ на себѣ иной, — болѣе

отвлеченный характеръ. Гонкуры удивляются близорукости людей, которые никакъ не могутъ отрѣшиться отъ понятій, идей той эпохи, въ которую они живутъ и судятъ о прошломъ по настоящему. „Мелкіе умы,—пишутъ они,—которые судятъ о вчерашнемъ днѣ по сегодняшнему, поражаются величіемъ и какою-то магическою силою, заключавшеюся до 1789 г. въ словѣ: король. Они думаютъ, что любовь къ королю была не чѣмъ инымъ, какъ выраженіемъ народной приниженности. Между тѣмъ король былъ просто народною религіею того времени, какъ родина является національною религіею настоящаго. И быть можетъ, прибавляютъ Гонкуры, когда желѣзныя дороги сблизятъ расы, перемѣшатъ идеи, границы и знамена, наступитъ день, когда религія XIX в. покажется такою же узкою и мелкою, какъ и религія прошлаго“. Гонкуры знаютъ однако, что это смѣшеніе расъ еще не такъ близко, что прежде, чѣмъ оно произойдетъ, должно совершиться страшное столкновеніе двухъ расъ—нѣмецкой и латинской, и, какъ бы предчувствуя войну 1870 г., они говорили: „Великій современный вопросъ—нынѣ господствующій и угрожающій—это непримиримый антагонизмъ двухъ расъ: латинской и германской: эта послѣдняя должна поглотить первую. А между тѣмъ,—прибавляютъ они,—возьмите изъ этихъ двухъ народностей по образчику изъ каждой, и личныя способности всегда окажутся на сторонѣ чловѣка латинской расы, какъ, напримѣръ, итальянца. Но эта способность—не походить ли она на чисто артистическое солнце Рима, создающее только цвѣты, но не овощи?“... Очевидно, что въ шовинизмъ нельзя заподозрить Гонкуровъ.

Какъ ни разнообразны „идеи и ощущенія“ Гонкуровъ, но всѣ они проникнуты однимъ духомъ, и тогда, когда они говорятъ о давно минувшемъ, объ историческихъ событіяхъ, и тогда, когда они говорятъ о настоящемъ, о томъ, что совершается на ихъ глазахъ. Какъ въ исторіи они подмѣчаютъ два теченія—зависть и низость, причемъ первая, какъ они выражаются, порождаетъ революціонеровъ, людей, рвущихся впередъ, а вторая—консерваторовъ, такъ и въ настоящемъ эти два чувства являются господствующими. Гонкуры скептически относятся къ прогрессу, и не видятъ его въ томъ, въ чемъ усматриваютъ его другіе. Ихъ, этихъ страстныхъ любовниковъ литературы, нисколько не трогаетъ, напримѣръ, то, что все растетъ и растетъ кругъ читателей, утолщается слой людей, интересующихся умственнымъ движеніемъ. Они не вѣрятъ такому прогрессу. Да, мы знаемъ, говорятъ они, что въ прежнее время провинція не читала и не имѣла никакого мнѣнія о книгахъ и сочинителяхъ; но теперь

„провинція точно также не читаетъ, но у нея образовались литературныя мнѣнія, выхваченныя изъ фельетоновъ мелкихъ журналовъ. Печальный прогрессъ!“—восклицаютъ Гонкуры. Очевидно, ихъ тревожный, вѣчно работающій умъ никогда и ни на чемъ не могъ отдохнуть. Созерцаютъ ли они природу отдѣльнаго человѣка, наблюдаютъ ли они семью, общество, народъ, человѣчество,—на все тотчасъ ложится какой-то мрачный отбѣнокъ, оправдываемый меланхолическимъ настроеніемъ самихъ наблюдателей. Какъ бы объясняя самимъ себѣ свое мрачное настроеніе, они говорятъ: „всѣ наблюдатели испытываютъ грусть и не могутъ ее не испытывать. Они только смотрятъ на жизнь. Они—не дѣйствующія лица, они только свидѣтели жизни. Они не воспринимаютъ ничего изъ того, что обманываетъ и опьяняетъ людей. Ихъ нормальное состояніе — меланхолическое спокойствіе“. Спокойствіе не было, однако, нормальнымъ состояніемъ самихъ Гонкуровъ; оно не было даже и случайнымъ явленіемъ въ ихъ жизни, поглощенной работой безъ отдыха, непрерывною мозговою дѣятельностью, которая такъ пагубно отражалась на ихъ „обнаженной“ нервной системѣ. Они говорятъ: „Какъ черны думы бѣлыхъ ночей!“ Но они смѣло могли бы прибавить:—и черныхъ дней!

Зорко и неустанно присматриваясь къ жизни, нравамъ, людямъ, Гонкуры изощрили свою природную наблюдательность, и отъ вниманія ихъ, повидимому, не ускользаетъ ни одна самая мелкая, самая незамѣтная для невооруженнаго глаза черта. Эта наблюдательность и свойственное Гонкурамъ чувство правды особенно ярко сказываются въ тѣхъ мастерскихъ портретахъ ихъ современниковъ, съ которыми ихъ сталкивала жизнь,—а жизнь сталкивала ихъ съ людьми наиболѣе выдающимися и оставившими по себѣ слѣдъ въ исторіи своего общества. Къ этимъ-то портретамъ мы теперь и обратимся.

Евг. Утинъ.



НАКАНУНЪ ПЕРЕВОРОТА

ВЪ 60-хъ ГОДАХЪ.

Романъ въ двухъ частяхъ. Соч. Маріонъ Крофорта.

VI *).

Импровизированный банкетъ въ палаццо Сарачинески былъ не изъ веселыхъ; но опасность, которой подвергался городъ, и исчезновеніе донны Фаустины Монтеварки доставляли обильныя темы для разговора. Большинство было того мнѣнія, что дѣвушка потеряла голову и убѣжала домой; но такъ какъ ни Сантъ-Иларіо, ни его кузенъ, не возвращались, то для всякихъ предположеній открывалось обширное поле.

Обѣдъ былъ уже почти оконченъ, когда вошелъ Пасквале и шепнулъ князю, что жандармъ желаетъ поговорить съ нимъ объ очень важномъ дѣлѣ.

— Приведи его сюда!—отвѣтилъ старикъ Сарачинеска громко. —Пришелъ жандармъ,—прибавилъ онъ, обращаясь къ гостямъ:— онъ сообщить намъ новости. Призвать его сюда?

Всѣ съ восторгомъ приняли это предложеніе.

— Ну?—сказалъ князь жандарму.—Въ чемъ дѣло?

— Eccellenza, — началъ тотъ,—прошу прощенія что явился въ такомъ видѣ...

Дѣйствительно мундиръ у него былъ смятъ и разорванъ, а самъ онъ блѣденъ и утомленъ.

— Нужды нѣтъ, говори!

*) См. выше: янв., 227 стр.

— Eccellenza, извините, но какой-то господинъ, который назвался вашимъ уважаемымъ именемъ, донъ Джіованни...

— Знаю. Это мой сынъ! Чтò съ нимъ случилось?

— Онъ не сынъоръ principe di Santa-Fiore, eccellenza; онъ зоветъ себя иначе... маркизь ди... да... вотъ его карточка, eccellenza.

— Мой кузень, Санъ-Джіачинто. Чтò съ нимъ случилось?

— У eccellenza есть кузень...—пролепегалъ жандармъ.

— Ну, да! Развѣ противозаконно имѣть кузеновъ?—закричалъ князь.—Чтò случилось съ моимъ кузеномъ?

— Dio mio!—воскликнулъ жандармъ въ волненіи.—Какая случайность! Кузень eccellenza находится въ покойницкой госпиталя Св. Духа!

— Онъ умеръ?—спросилъ Сарачинеска, приподнимаясь со стула.

— Нѣтъ!—воскликнулъ жандармъ:—questo é il male! Въ томъ-то и бѣда! Онъ живъ и здоровъ.

— Что же, чортъ возьми, онъ дѣлаетъ въ покойницкой?—загремѣлъ князь.

— Eccellenza, прошу прощенія, я тутъ не при чемъ. Докторъ принялъ его за гарибальдійца. Его сейчасъ же освободятъ...

— Надѣюсь!—отвѣчалъ Сарачинеска въ ярости.—Къ чему ослабъ докторамъ путаться въ дѣла господъ? Мою шляпу, Пасквале! И какимъ образомъ мой кузень попалъ въ госпиталь св. Духа?

— Eccellenza, я ничего не знаю, но долженъ былъ исполнить свой долгъ.

— А если ты ничего не знаешь, то какъ же ты исполняешь свой долгъ? Вотъ я запрячу всѣхъ васъ съ докторами и пациентами въ тюрьму! Мою шляпу, Пасквале!

Произошло нѣкоторое смятеніе, во время котораго жандармъ, желая избѣгнуть ответственности въ дѣлѣ арестованія Санъ-Джіачинто, сбѣжалъ сломя голову съ лѣстницы дворца и усакалъ обратно въ госпиталь...

Двѣ минуты спустя послѣ его возвращенія, докторъ вошелъ въ комнату, гдѣ дожидался Санъ-Джіачинто,—извиняясь въ томъ, что замѣшквался, и пригласилъ идти за собой.

Они вошли въ небольшую чистенькую комнатку, гдѣ горѣла лампа съ абажуромъ. Сестра милосердія стояла у постели, на которой лежала молодая дѣвушка.

— Вы опоздали,—спокойно сказала монахиня.—Она уже мерла, бѣдное дитя.

Санъ-Джіачинто вскрикнулъ отъ ужаса и подбѣжалъ къ кровати раньше доктора. Онъ приподнял голову дѣвушки и загля-

нулъ въ ея остывшее уже лицо. Затѣмъ съ крикомъ удивленія опустилъ покойницу на подушки.

— Это не она, синьоръ профессоръ, — сказалъ онъ. — Извините за беспокойство. Очень вамъ благодаренъ. Сходство есть, но это не она...

Около полуночи небольшой отрядъ зуавовъ, командированный къ воротамъ св. Павла на другомъ концѣ города, гдѣ происходила схватка, возвращался обратно въ казармы. Этотъ отрядъ, въ которомъ находился и Гуашъ, чудомъ спасся отъ смерти, потому что пяти минутъ не прошло послѣ того какъ они выступили изъ казармъ, какъ послѣднія были взорваны. Извѣстіе объ этомъ, конечно, дошло до нихъ въ то время, какъ они отбивали атаку; но прошло нѣсколько часовъ прежде, нежели маленькій отрядъ, и съ нимъ вмѣстѣ и Гуашъ, могъ вернуться на мѣсто катастрофы. Онъ разставилъ людей вдоль улицы и сталъ размышлять о томъ, чтò случилось. Онъ былъ голоденъ, и ему хотѣлось пить; онъ весь почернѣлъ отъ пороха, но очевидно нечего было и рассчитывать на отдыхъ и на утоленіе голода и жажды. Ночь становилась холодна, и онъ долженъ былъ быстро ходить, чтобы согрѣться. Вдругъ, прислонившись на минуту къ громадному обломку, онъ услышалъ плачъ женщины. Прислушавшись, онъ даже разобралъ слова: „Requiem aeternam dona eis!“

Анастасъ не медлилъ долѣе. Осторожно пробираясь между развалинами, онъ вдругъ остановился въ удивленіи, къ которому примѣшивался нѣкоторый ужасъ.

Въ томъ углу, гдѣ стѣны не обрушились, стояла на колѣняхъ женщина; голова у нея не была покрыта, и слабый свѣтъ падалъ на тонкія черты лица, напоминавшаго изображенія ангеловъ. Анастасъ не вѣрилъ глазамъ своимъ. То была донна Фаустина Монтеварки, которая, стоя на колѣняхъ въ полночь, одна-одиношенька, повторяла торжественныя слова заупокойной обѣдни; она плакала по немъ, и онъ зналъ это.

Въ сильномъ волненіи онъ толкнулъ рукой обломокъ, и отъ него отвалился кусокъ штукатурки. При этомъ шумѣ Фаустина повернула голову. Глаза ея были широко раскрыты, и, поднимаясь съ колѣнъ, она покачнулася и ударилася объ стѣну. Въ одинъ мигъ Анастасъ былъ около нея, поддержалъ ее и, глядя въ лицо, проговорилъ:

— Фаустина!

— Я думала, что вы убиты! — проговорила она, наконецъ.

— Милая! — воскликнулъ онъ, прижимая ее къ груди.

— Вы рады, что вы остались живы! хотя ради меня. Вы не знаете, что я выстрадала!

Онъ молча обнималъ ее, забывъ о неслыханныхъ затрудненіяхъ ихъ обоюднаго положенія. Но молчаніе его было краснорѣчивѣе всякихъ словъ. А положеніе было дѣйствительно отчаянное. Гуашъ не могъ позволить Фаустинѣ вернуться одной домой, не могъ также и сопровождать ее. Онъ не могъ послать кого-либо изъ своихъ солдатъ за пріятелемъ, который бы его выручилъ, потому что довѣриться третьему лицу значило погубить репутацію дѣвушки въ мнѣніи цѣлаго Рима. При этомъ Фаустина была такое дитя, что ей нельзя было объяснить послѣдствій того, еслибы ее застали вмѣстѣ съ нимъ.

— Я думаю однако,—проговорила она, наконецъ, послѣ блаженнаго молчанія, но застѣнчивымъ голосомъ,—что теперь вамъ лучше отвести меня домой. Они, знаете, будутъ тревожиться обо мнѣ,—прибавила она, какъ бы боясь, чтобы онъ не подумалъ, что она торопится его оставить.

— Да, я долженъ доставить васъ домой,—отвѣчалъ Гуашъ разсѣянно.

Ей его тонъ показался холоднымъ.

— Вы сердитесь, потому что я хочу уйти?—спросила дѣвушка, любовно глядя ему въ лицо.

— Сержусь?—нѣтъ, милая! я бы долженъ былъ давно уже отвести васъ домой. Конечно, ваши родители должны страшно беспокоиться, и весь вопросъ только въ томъ, какъ устроить, чтобы вы вошли въ домъ незамѣченной. Можно это? есть какой-нибудь боковой подъѣздъ, который не запирается?

— Мы можемъ разбудить привратника,—сказала Фаустина просто.—Онъ впустилъ насъ.

— Этого никакъ нельзя. Онъ расскажетъ другимъ, что видѣлъ васъ со мной, а это вамъ повредитъ.

— Почему?

На этотъ невинный вопросъ Гуашъ не нашелъ сразу отвѣта. Онъ тихо улыбнулся и крѣпче прижалъ ее къ себѣ.

— Свѣтъ очень золъ, моя милая. Я, какъ мужчина, знаю это. Вы должны вѣрить, что я поступлю какъ слѣдуетъ. Вы вѣрите мнѣ?

— Какъ можете вы это спрашивать! Я всегда вѣрила и вѣрю вамъ.

— Ну, такъ я вамъ скажу, что мы сдѣлаемъ. Вы поѣдете домой съ княгиней Сантъ-Иларіо.

— Съ Короной? Но...

— Она знаетъ, что я васъ люблю, и она единственная жена въ Римѣ, которой я довѣряю. Не удивляйтесь. Она спрашиваетъ меня, правда ли это,—и я отвѣчалъ, что правда. Я здѣсь за по службѣ, и вы должны подождать, пока я обойду своихъ выхъ; это займетъ не болѣе пяти минутъ. Затѣмъ я отведу въ палаццо Сарачинески. Я здѣсь не понадобитсяъ раньше.

— Я сдѣлаю все, что вамъ угодно,—отвѣчала Фаустина.— Пусть будетъ, такъ будетъ лучше. Я боюсь только, что всѣ спятъ въ теперь очень поздно?

— Я разбужу ихъ, если они спятъ.

Онъ оставилъ ее и пошелъ обходить часовыхъ, и убѣдился, они не дремлютъ. Послѣ того нацарапалъ карандашемъ припомъ свѣтъ луны нѣсколько словъ на листочкѣ бумажки, вой вырвалъ изъ записной книжки.

„Княгиня,—писалъ онъ,—я встрѣтилъ донну Фаустину, которая заблудилась. Безусловно необходимо, чтобы вы отвезли ее отцу. Вы—единственное лицо, которому я могу довѣриться. Я шихъ ворота. Захватите какой-нибудь плащъ, которымъ можно бы прикрыть ее“.

Онъ подписалъ записку начальными буквами своего имени, вложилъ бумажку, сунулъ ее въ карманъ и вернулся назадъ къ мѣсту, гдѣ его дожидалась Фаустина. Онъ помогъ ей вырваться изъ развалинъ, и, пройдя по боковому переулку, чтобы жать часовыхъ, оба направились поспѣшно къ мосту. Часовой вынулъ Гуаша, который сказалъ пароль и былъ пропущенъ вымъ. Менѣе чѣмъ черезъ четверть часа они уже стояли у цдо Сарачинески. Слабый лучъ свѣта, проходившій сквозь бзныя ставни изъ ложи привратника, показывалъ, что тотъ еще спитъ. Анастасъ вынулъ штыкъ изъ ружья и постучался имъ въ окно.

— Кто тамъ?—спросилъ привратникъ, высывая голову.

— Дома князь ди Сантъ-Иларіо?—спросилъ Гуашъ.

— Его нѣтъ дома. Богъ знаетъ, гдѣ онъ теперь. Что вамъ во? Княгиня дожидается князя.

— Хорошо,—сказалъ Анастасъ.—Я присланъ съ запиской Ватикана. Требуется немедленный отвѣтъ. Потрудитесь сказать, что мнѣ велѣно дожидаться отвѣта.

Это объясненіе удовлетворило привратника, которому видъ а былъ пріятнѣе въ настоящую минуту, чѣмъ когда-либо.

Черезъ пять минутъ калитка въ воротахъ отворилась, и Гуашъ вѣлъ высокую фигуру Короны. Она колебалась съ минуту,

увидя, что зуавъ одинъ. Гуашъ поспѣшно наклонился и подаль ей руку.

— Поскорѣе!—сказалъ онъ:—или привратникъ увидитъ насъ. Донна Фаустина здѣсь подъ аркой. Вы знаете, какъ я вамъ благодаренъ, но говорить некогда.

Корона ничего не сказала, но поспѣшила къ Фаустинѣ. Послѣдняя бросилась ей на шею и поцѣловала ее. Княгиня набросила на плечи молодой дѣвушки большой плащъ и подняла капюшонъ ей на голову.

— Поскорѣе!—повторила она слова Гуаша.

Они молча пошли, и никто не говорилъ, пока не дошли до палаццо Монтеварки. Объясняться было неудобно, и каждый былъ слишкомъ поглощенъ опасностью положенія, чтобы говорить о чемъ-нибудь другомъ. За нѣсколько шаговъ до воротъ Корона остановилась.

— Вы можете насъ тутъ оставить,—холодно сказала она Гуашу.

— Но, княгиня, я провожу васъ домой,—протестовалъ Гуашъ, удивленный ея тономъ.

— Нѣтъ... я возьму съ собой слугу. Будьте такъ добры и оставьте насъ!—прибавила она почти высокомерно, и Гуашу ничего не оставалось какъ повиноваться.

— Прощайте, княгиня. Прощайте, mademoiselle Фаустина!—спокойно сказалъ онъ.—И съ поклономъ исчезъ въ темнотѣ.

Когда обѣ женщины остались однѣ, Корона положила руку на плечо молодой дѣвушки и поглядѣла ей въ лицо.

— Фаустина, дитя мое, какъ могли вы позволить увлечь себя на такую дикую выходку?

— Почему вы такъ сурово обошлись съ нимъ?—отвѣчала дѣвушка, сверкая глазами.—Вы были жестоки и недобры...

— Потому что онъ этого заслуживаетъ,—отвѣчала Корона съ возрастающимъ гнѣвомъ.—Какъ смѣлъ онъ... изъ моего дома... такого ребенка, какъ вы...

— Я не знаю, что вы себѣ воображаете,—сказала Фаустина глубоко обиженнымъ тономъ.—Я пошла за нимъ въ серристорійскія казармы и упала въ обморокъ, когда ихъ взорвало. Онъ нашелъ меня и привелъ къ вамъ, потому что сказалъ, что я не могу вернуться къ отцу вмѣстѣ съ нимъ. Если я люблю его, то какое вамъ до этого дѣло?

— Мнѣ большое дѣло до того, что онъ поставилъ васъ въ такое затруднительное положеніе.

— Совсѣмъ не онъ. Если я въ затруднительномъ положеніи,

то сама въ него попала. Развѣ вы тоже любите его, что такъ гнѣваетесь?

— Я!—вскричала Корона, удивленная дерзостью дѣвушки.— Бѣдный Гуашъ!—прибавила она съ полупрезрительной улыбкой.— Ну, пойдемъ, дитя. Нельзя же намъ стоять тутъ всю ночь и разговаривать. Я скажу вашей матери, что вы заблудились у меня въ домѣ, и я нашла васъ спящей въ одной изъ дальнихъ комнатъ.

— Я думаю, лучше сказать правду.

— И не думайте. Знаете ли, что будетъ? Отецъ запретъ васъ въ монастырь, а свѣтъ заговорить, что я потворствовала вашей любви къ Гуашу. Это дѣло серьезное. Вы ужъ лучше молчите. Я беру всю отвѣтственность за эту ложь на себя...

Онѣ постучались въ дверь и были впущены. Безполезно описывать волненіе и радость родителей Фаустины, которые сразу и съ понятнымъ восхищеніемъ повѣрили объясненію Короны.

Старикъ князь и Асканіо Беллегра проводили Корону домой, такъ какъ она рѣшительно отказалась дожидаться, пока запрягутъ карету.

Когда она уже входила въ домъ, привратникъ нагналъ ее, говоря:

— Eccellenza, синьоръ князь вернулся въ ваше отсутствіе, и я сказалъ ему, что вы получили записку изъ Ватикана и ушли съ зуавомъ, который ее принесъ. Надѣюсь, что я поступилъ хорошо?

— Разумѣется,—отвѣчала Корона. — Она была спокойная женщина, и ее не легко было вывести изъ себя, но, отвѣчая привратнику, она испытывала совсѣмъ новое и очень непріятное ощущеніе. Ей еще никогда до сихъ поръ не приходилось поступать такъ, чтобы нужно было думать: понравится ли это Джіованни. Впервые съ тѣхъ поръ, какъ она вышла за него замужъ, ей приходилось нѣчто скрывать отъ него. Возможно ли въ самомъ дѣлѣ сообщить ему исторію Фаустины, не погубивъ ее окончательно въ его мнѣніи?

Коронѣ впрочемъ некогда было раздумывать, потому что Джіованни уже дожидался ее въ будуарѣ, блѣдный и встревоженный.

— Слава Богу!—закричалъ онъ, когда жена вошла въ комнату.—Гдѣ ты была, моя милая?

— Джіованни,—сказала Корона внушительно, положивъ ему обѣ руки на плечи:—ты знаешь, что можешь довѣриться мнѣ, не правда ли?

— Какъ самому Богу,—нѣжно отвѣтилъ онъ.

— Ну, такъ довѣрься мнѣ теперь. Я не могу сказать тебѣ

теперь, гдѣ я была, но даю честное слово, что со временемъ скажу. Фаустина Монтеварки у матери. Я отвела ее и сказала, что она заблудилась въ нашемъ домѣ и заснула въ одной изъ дальнихъ комнатъ. Это неправда, но ты все-таки поддержи меня и не выдавай. Я не хочу лгать тебѣ, а потому говорю, что выдумала эту исторію.

Джіованни пристально поглядѣлъ въ глаза жены, которая твердо выдержала его взглядъ.

— Дѣлай какъ знаешь, Корона!—сказалъ онъ, закуривая папироску,—позволь мнѣ только спросить: зуавъ, который принесъ записку изъ Ватикана... вѣдь это Гуашъ?

Корона отвернулась; вопросъ былъ ей непріятенъ.

— Да, это былъ Гуашъ, — сказала она послѣ минутнаго колебанія.

— Я такъ и думалъ!—отвѣтилъ Сантъ-Иларіо тихимъ голосомъ, и, вставъ, бросилъ папироску въ огонь.

Надо сознаться, что положеніе было очень трудное для чловека съ его темпераментомъ. Корона была очень благородная и правдивая женщина, и онъ общалъ довѣряться ей...

VII.

Когда Сантъ-Джіачинто услышалъ отъ Короны объясненіе исчезновенія Фаустины, онъ не сказалъ ничего. Онъ вовсе не вѣрилъ этой исторіи; но разъ она удовлетворяла всѣхъ,—не было причины и ему оставаться недовольнымъ. Хотя онъ отлично зналъ, что рассказъ этотъ—чистая выдумка, и что за нимъ скрывается что-то неизвѣстное, но результатъ вполне соответствовалъ его желаніямъ. Онъ выслушалъ выраженія благодарности со стороны Монтеварки за свои безплодныя старанія и поздравилъ княгиню съ счастливымъ исходомъ дѣла. Конечно, исчезновеніе донны Фаустины подало поводъ къ различнымъ пересудамъ и сплетнямъ, но общій приговоръ свѣта былъ совершенно противоположенъ личнымъ заключеніямъ Сантъ-Джіачинто. Говорили, что объясненіе, данное семьей, должно быть вѣрно, такъ какъ было бы нелѣпостью думать, что дѣвушка, только-что вышедшая изъ монастыря, рѣшилась на такой безумный и смѣлый поступокъ, какъ убѣжать одной. Никакого другого предположенія нельзя было придумать, и объясненіе было принято, какъ единственно вѣрное. Сантъ-Джіачинто никому не говорилъ, что думаетъ иначе.

Его намѣреніе было прежде всего упрочить свое положе-

ніе въ римскомъ обществѣ, и природный тактъ подсказывалъ ему, что для того онъ долженъ никого не оскорблять и принимать безъ разсужденій мнѣніе большинства. Кромѣ того, такъ какъ однимъ изъ средствъ къ обезпеченію себѣ прочнаго положенія онъ считалъ женитьбу на сестрѣ Фаустины, то его прямая выгода требовала всѣми силами поддерживать доброе имя семьи. Онъ зналъ, что старикъ Монтеварки слылъ за одного изъ самыхъ непреклонныхъ ретроградовъ и заботился о поведеніи своихъ дѣтей такъ же неусыпно, какъ когда-то его отецъ заботился о его поступкахъ. Асканіо Беллегра былъ результатомъ этого домашняго воспитанія и уже обѣщалъ слѣдовать по стопамъ отца.

Санъ-Джіачинто въ высшей степени обладалъ мужественнымъ характеромъ, какъ и всѣ Сарачинески въ большей или меньшей степени. Онъ чутьемъ понималъ женщинъ и, несмотря на малое знакомство съ свѣтомъ, зналъ силу ихъ вліянія. Характерно для него было то, что онъ рѣшилъ жениться какъ можно скорѣе, лишь только вступилъ въ римское общество. Онъ понималъ, что онъ, породнившись съ могущественной фамиліей, получить возможность вліять на женщинъ; а это поможетъ ему добиться всего, что ему нужно. При посредствѣ кузеновъ онъ очень скоро познакомился съ семьей Монтеварки, и увидавъ, что тутъ есть двѣ невѣсты, рѣшился воспользоваться случаемъ. Можетъ быть, онъ предпочелъ бы Фаустину, но съ ней было больше хлопотъ, чѣмъ съ ея сестрой. Старый князь и княгиня приходили въ отчаяніе, видя, что ихъ дочь остается незамужней, и, конечно, не могли разсчитывать на лучшую партію, чѣмъ маркизъ ди Санъ-Джіачинто.

Ему съ самаго начала было ясно, что должна быть какая-нибудь причина, мѣшающая ей выйти замужъ, и кое-какіе дурные отзывы о ней, которые ему случалось время отъ времени слышать, возбуждали его любопытство. Онъ давно уже рѣшилъ посоветоваться объ этомъ съ главою семейства, такъ какъ не хотѣлъ приступать къ дѣлу, не разузнавъ правды о Флавіи, и былъ увѣренъ, что князь Сарачинеска разскажетъ ему все при первомъ намекѣ на предполагаемую женитьбу. Старый дворянинъ былъ слишкомъ гордъ для того, чтобы позволить своему кузену сдѣлать неприличную партію. Итакъ, на другой день послѣ разсказанныхъ нами событій, Санъ-Джіачинто послѣ завтрака отправился къ князю и напелъ его по обыкновенію одного въ кабинетѣ. На этотъ разъ онъ не дремалъ, такъ какъ отчетъ о событіяхъ минувшей ночи въ „Osservatore Romano“ былъ очень интересенъ.

— Вы, вѣроятно, слышали все относительно дочери Монте-

варки?—спросилъ Сарачинеска, откладывая газету и протягивая руку Санъ-Джіачинто.

— Слышалъ, и очень радъ, что происшествіе объяснилось; хотѣлъ разспросить васъ о другой сестрѣ.

— Надѣюсь, что Фавія не исчезла,—замѣтилъ князь.

— Я думаю, что нѣтъ,—отвѣчалъ Санъ-Джіачинто, смѣясь.

— Я пришелъ спросить васъ, одобрите ли вы мое намѣреніе жениться на ней?

— Это совершенно неожиданное извѣстіе для меня, — сказалъ Сарачинеска съ нѣкоторымъ удивленіемъ.—Я долженъ подумать. Я вполне цѣню ваше дружеское расположеніе, дорогой кузенъ, побудившее васъ узнать мое мнѣніе, и постараюсь обсудить дѣло, какъ могу лучше.

— Я буду вамъ очень благодаренъ,—съ важностью отвѣчалъ маркизъ.—Въ моемъ положеніи я чувствую необходимость посоветоваться съ вами. Ваше мнѣніе крайне важно для того, кто, какъ я, еще новичокъ въ римскомъ обществѣ.

Сарачинеска пристально взглянулъ на кузена, какъ будто ожидалъ замѣтить отгѣнокъ ироніи въ его тонѣ или выраженіяхъ. Онъ помнилъ бурные споры, происходившіе между нимъ и Джіованни, когда онъ хотѣлъ женить послѣдняго на Туллиі Майеръ, и удивлялся, что Санъ-Джіачинто, для котораго его авторитетъ не имѣлъ никакого дѣйствительнаго значенія, такъ послушенъ и такъ интересуется его мнѣніемъ.

— Я думаю, что вамъ было бы интересно узнать что-нибудь объ ея приданомъ,—сказалъ онъ, наконецъ.—Монтеварки богаты, но скупы. Онъ дастъ за ней, сколько ему вздумается.

— Было бы интересно узнать, сколько же ему вздумается дать,—отвѣчалъ Санъ-Джіачинто съ улыбкой.

— Конечно... Хорошо... Двѣ дочери уже замужемъ. За каждой дано по сто тысячъ скуди. Въ сущности это недурно, если принять въ расчетъ многочисленность семьи — но онъ могъ бы дать больше. Что касается до Фавіи, то онъ, можетъ быть, будетъ щедрѣе, если найдетъ...

Старикъ хотѣлъ сказать: — если найдетъ случай избавиться отъ нея,—и, можетъ быть, кузенъ угадалъ его мысль. Какъ бы то ни было, князь въ-время удержался и закончилъ довольно неловко:

— Если найдетъ такого хорошаго жениха.

— Почему она еще не замужемъ? — спросилъ Санъ-Джіачинто, слегка наклонивъ голову въ знакъ того, что оцѣнилъ complimentъ, при помощи котораго князь выпутался изъ затруднительнаго положенія.

— Кто знаетъ?—загадочно отвѣчалъ послѣдній.

— Нѣтъ ли какой-нибудь исторіи на ея счетъ? Предлагать ли ей кто-нибудь руку? Странно, если этого не было: она красивая дѣвушка. Прошу васъ, говорите откровенно; я ничего не знаю объ этомъ.

— Дѣло въ томъ, что я самъ не знаю. Она не похожа на другихъ дѣвушекъ, и такъ какъ часто ставитъ въ неловкое положеніе отца и мать, когда бываетъ въ обществѣ, то, я полагаю, родители молодыхъ людей и боятся просить ея руки. Но могу васъ увѣрить, что никакой исторіи на ея счетъ нѣтъ. Она имѣетъ привычку говорить непріятныя истины, которыя приводятъ въ ужасъ Монтеварки. Она была слабымъ ребенкомъ и воспитывалась дома; оттого, конечно, и не выучилась приличнымъ манерамъ.

— Я бы думалъ, напротивъ, что это должно было дать ей лучшія манеры,—замѣтилъ Санъ-Джіачинто. Князь взглянулъ на него съ удивленіемъ.

— Мы думаемъ иначе,—отвѣчалъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Кажется, Монтеварки—знатная фамилія, какъ у васъ говорится.

— Это не Савелли, не Франджипани, не Сарачинеска, но фамилія хорошая—хорошая кровь, хорошее состояніе и хорошіе принципы, какъ говорить Монтеварки.

— Итакъ, я хорошо сдѣлаю, если женюсь на доннѣ Флавіи?

— Да, конечно, это выгодный бракъ. Вы должны были жениться на Туллиі Майеръ, еслибы она не спатила сума и не поссорилась со мной, и еслибы это было два года тому назадъ—да, тогда на ея счетъ ходило много дурныхъ исторій. Но она богата—вотъ чтò! Этотъ негодяй дель-Фериче добивался только ея состоянія.

— Дель-Фериче? — повторилъ Санъ-Джіачинто. — Тотъ, что пытался доказать, будто вашъ сынъ женатъ, показывая копію съ моего брачнаго свидѣтельства?

— Тотъ самый. Я когда-нибудь расскажу вамъ конецъ этой исторіи. Въ то время была здѣсь Бьянка-Вальдерно, но она вышла за какого-то неаполитанца въ прошломъ году, и Рокка Канталупо—второй сынъ Монтеварки—подцѣпилъ ее и ея приданое, такъ что теперь остались только Флавія и Фаустина. Почему бы вамъ не жениться на Фаустинѣ? Правда, отецъ прочитъ ее за молодого Франджипани—только это ему не удастся; развѣ дастъ полъ-милліона въ приданое.

— Донна Фаустина слишкомъ молода, — спокойно отвѣчалъ

Санъ-Джіачинто.—Притомъ мнѣ больше нравится донна Флавія: она веселѣе, живѣе...

— Безъ сомнѣнія, гораздо живѣе, и вамъ придется зорко смотрѣть за ней, если только вы не влюбите ее въ себя.—Сарачинеска засмѣялся.

— Въ себя!—воскликнулъ Санъ-Джіачинто, тоже смѣясь.—Въ разсудительнаго вдовца, которому уже давно перевалило за тридцать! Какъ бы не такъ! Къ счастью, тутъ любовь не при чемъ. Впрочемъ я думаю, что буду въ состояніи смотрѣть за ея поведеніемъ.

— Я не хочу подзадоривать вашу ревность,—замѣтилъ Сарачинеска, съ удовольствіемъ разсматривая гигантскую фигуру и энергическое, худощавое лицо кузена.—Разумѣется, вы въ состояніи присмотрѣть за женой. Притомъ я думаю, что Флавія измѣнится, когда выйдетъ замужъ. Она не дурная дѣвушка—только любитъ поддразнивать отца и мать—и, право, чтѣ касается старика, я не удивляюсь этому. Есть однако одинъ пунктъ, насчетъ котораго вы должны будете удовлетворить его—я не любопытенъ, и не хочу васъ разспрашивать, а только предупреждаю, что хотя онъ радъ будетъ выдать замужъ свою дочь, но захочетъ узнать о вашемъ состояніи.

Санъ-Джіачинто помолчалъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, повидимому что-то соображая.

— Удовлетворить ли его состояніе, равное тому, что онъ дастъ за дочь?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Да. Я думаю,—отвѣчалъ князь, взглянувъ на кузена съ любопытствомъ.—Видите ли,—продолжалъ онъ,—такъ какъ у васъ есть дѣти отъ перваго брака, то Монтеварки захочетъ, чтобы сынъ Флавіи — если онъ родится — былъ обезпеченъ. Это ваше дѣло. Я не хочу дѣлать никакихъ намековъ.

— Я думаю,—сказалъ Санъ-Джіачинто, немного подумавъ,—что могу обезпечить извѣстной суммой дѣтей, которыя могутъ родиться отъ этого брака. Удовлетворится ли этимъ Монтеварки?

— Конечно, если вы сговоритесь насчетъ суммы. Подобныя вещи часто дѣлаются.

— Очень благодаренъ вамъ за ваши совѣты. Могу я разсчитывать на хорошій отзывъ съ вашей стороны, если князь захочетъ узнать ваше мнѣніе обо мнѣ?

— Конечно,—отвѣчалъ Сарачинеска не вполне искренно.

Онъ не любилъ своего кузена, и хотя успѣлъ преодолѣть инстинктивное отвращеніе къ этому человѣку, но теперь оно ожило при мысли, что на его отзывъ посмотреть какъ на гаран-

тію до извѣстной степени хорошихъ качествъ Сантъ-Джіачинто. Какъ бы то ни было, онъ зашелъ уже слишкомъ далеко — и, разъ одобривъ бракъ, не могъ отказывать въ своемъ дальнѣйшемъ содѣйствіи, еслибы оно оказалось необходимымъ. Легкая перемена въ тонѣ его голоса не ускользнула отъ вниманія Сантъ-Джіачинто. Онъ былъ наблюдателенъ отъ природы, а исключительное положеніе еще болѣе изощрило эту наблюдательность, такъ что онъ понялъ чувства князя можетъ быть лучше, чѣмъ самъ Сарачинеска.

— Надѣюсь, что мнѣ не придется прибѣгать къ вашей помощи, — замѣтилъ онъ. — Ваше одобреніе для меня важнѣе всякой матеріальной поддержки.

— Даю вамъ его отъ всего сердца, — горячо сказалъ Сарачинеска, нѣсколько устыдившись своей холодности.

Сантъ-Джіачинто распростился и вышелъ, совершенно довольный результатами своего визита.

Отецъ Флавіи находился въ своемъ кабинетѣ, когда пришелъ Сантъ-Джіачинто, и послѣдній былъ пораженъ различіемъ въ образѣ жизни своего кузена, котораго онъ только-что оставилъ, и чело-вѣка, которому онъ собирался предложить себя въ зятя. Сарачинески вовсе не были расточительными людьми, но заботились объ удобствахъ жизни и понимали въ нихъ толкъ лучше, чѣмъ большинство римлянъ того времени. Правда, и у нихъ вдоль стѣнъ и по угламъ просторныхъ комнатъ стояла массивная старинная мебель, но были тутъ и мягкіе ковры, и удобные стулья, и диваны. Въ холодную погоду горѣлъ огонь въ каминахъ; въ долгіе зимніе вечера зажигались лампы современнаго устройства. На столахъ лежали новыя книги, гравюры, фотографіи; цѣнныя и красивыя вещи не были заперты по шкафамъ, но стояли на виду, и замѣтно было, что ихъ разсматривали и любовались ими. Самый палаццо — былъ большой старинный замокъ въ центрѣ древнѣйшей части города, но внутри чувствовалась атмосфера широкой жизни, а съ тѣхъ поръ какъ Сантъ-Иларіо женился на Коронѣ — и тотъ отпечатокъ утонченности и вкуса, который можетъ внести только женщина.

Совсѣмъ не то представляла изъ себя резиденція Монтеварки. Узкіе половинки тянулись по холоднымъ мраморнымъ поламъ отъ одной двери до другой. Въмѣсто веселаго огня каминовъ, тѣсныя темныя комнаты согрѣвались грѣлками съ раскаленнымъ углемъ. Подюжины залъ были убраны не лучше. Въ каждой стояло по три мраморныхъ стола и дюжина стульевъ съ прямыми спинками, разставленныхъ вдоль стѣнъ; все разнообразіе заключалось

въ томъ, что одни были обиты краснымъ, другіе зеленымъ штофомъ; старинныя зеркала въ великолѣпныхъ рамахъ отражали въ себѣ картину унылой пустоты и холоднаго уединенія. Комнаты, занимаемыя членами семьи, были не лучше. Въ нихъ стояло больше столовъ и стульевъ,—но и только. Столовая была украшена ковромъ, который въ теченіе многихъ лѣтъ составлялъ предметъ величайшей заботливости для князя; уѣзжая изъ Рима на августъ и сентябрь, онъ самъ наблюдалъ, чтобы эту драгоценность вычистили, выбили и уложили въ полотняный чехолъ, такой же старый, какъ и самый коверъ, т.-е. имѣвшій четверть столѣтія отъ роду. Коверъ этотъ былъ единственной причудой, которую допустилъ старый князь, отецъ дона Лотаріо, по настоянію своей невѣстки-англичанки, и теперешній глава дома считалъ своею обязанностью сберегать его до своей смерти и даже дольше, если возможно. Сама княгиня помнила, что, добившись двадцать-пять лѣтъ тому назадъ этого ковра, она должна была отказаться отъ всякихъ попытокъ завести что-нибудь еще изъ современныхъ изобрѣтеній. Это былъ памятникъ невѣроятной энергіи, которую она цѣликомъ истратила въ первой схваткѣ, и видъ его напоминалъ ей о молодости. Послѣ этого она разъ навсегда подчинилась старымъ римскимъ обычаямъ, и хотя знала, что небольшое уменьшеніе расходовъ на толпу бесполезной прислуги или великолѣпный парадный экипажъ могло бы дать возможность устроить хоть одну комфортабельную комнату для нея, но уже не думала объ этомъ и утѣшалась тѣмъ, что приучила дѣтей къ неудобствамъ, которыя сама испытывала такъ долго и такъ терпѣливо.

Кабинетъ Монтеварки былъ такъ же неуютенъ, какъ всѣ остальные комнаты. Высокая, тѣсная, темная, не убранная коврами, плохо согрѣвавшаяся зимою грѣлкой съ угольями, а теперь, не смотря на холодную погоду, и ничѣмъ не согрѣвавшаяся, скудно украшенная пыльными полками, письменнымъ столомъ и нѣсколькими стульями съ кожаными сидѣньями, покрытая плесенью, которая, казалось, выросла изъ старыхъ книгъ и изъѣденнаго молю сукна на столѣ, комната эта больше походила на контору какого-нибудь разорившагося нотаріуса, чѣмъ на кабинетъ богатаго нобльмена древней фамиліи.

Старый князь вошелъ въ кабинетъ черезъ нѣсколько минутъ послѣ Санъ-Джіачинто; онъ уходилъ переодѣться. Его правиломъ было являться такъ же хорошо одѣтымъ, какъ и сосѣди, когда его могли видѣть, но дома онъ носилъ поношенное платье. Онъ приветствовалъ гостя съ полнымъ достоинствомъ, представлявшимъ

рѣзкій контрастъ съ тѣмъ оживленіемъ и возбужденіемъ, которое онъ проявилъ въ прошлую ночь.

— Я хочу поговорить съ вами о щекотливомъ предметѣ, — сказалъ молодой человекъ, усѣвшись на одинъ изъ стульевъ, который страшно затрещалъ подъ его тяжестью.

— Я къ вашимъ услугамъ, — отвѣчалъ старый джентльменъ съ вѣжливымъ поклономъ.

— Хотя мое личное знакомство съ вами, — продолжалъ Санъ-Джіачинто, — къ несчастію еще очень кратковременно, но дружественныя отношенія между вашей и моей семьей объясняютъ то, что я хочу вамъ сообщить. Я имѣю честь просить у васъ руку вашей дочери.

— Фаустины? — спросилъ старый князь равнодушнымъ тономъ, хотя его маленькіе пронизательные глаза были пристально устремлены въ лицо собесѣдника.

— Прошу прощенья, я имѣю въ виду донну Флавію Монтеварки.

— Флавію? — повторилъ князь съ нескрываемымъ удивленіемъ, которое впрочемъ тотчасъ же подавилъ, принявъ прежній равнодушный видъ. — Видите ли, мы столько думали о Фаустинѣ съ прошедшей ночи, что ея имя невольно срывается съ моихъ губъ.

— Конечно, это очень естественно, — отвѣчалъ Санъ-Джіачинто, тотчасъ же понявъ, что ему лучше всего ограничиться пока ролью слушателя. Поэтому онъ не прибавилъ ничего больше.

— Такъ вы хотите жениться на Флавіи, — замѣтилъ князь послѣ нѣкоторой паузы. — Вы, кажется, вдовецъ, маркизъ? Я слышалъ, что у васъ есть дѣти.

— Двое мальчиковъ.

— Двое мальчиковъ? Поздравляю васъ. Мальчики, если они воспитываются въ христіанскихъ правилахъ, доставятъ гораздо меньше хлопотъ, чѣмъ дѣвочки. Но, дорогой маркизъ, эти мальчики представляютъ препятствіе — серьезное препятствіе.

— Не столь серьезное, какъ вы, можетъ быть, думаете. Мое состояніе не подчинено закону первородства. Тутъ нѣтъ *fidei commissum*. Я могу располагать имъ, какъ мнѣ заблагоразсудится.

— А, а! Но это должно быть оформлено, — сказалъ Монтеварки, видимо заинтересованный.

— Это необходимо съ обѣихъ сторонъ, — важно сказалъ Санъ-Джіачинто.

— Вы, вѣроятно, подразумеваете приданое моей дочери, — отвѣчалъ князь болѣе равнодушнымъ тономъ. Знаете, оно не велико, — долженъ вамъ сказать откровенно.

— Мы, конечно, обсудимъ этотъ вопросъ, если вы склонны принять мое предложеніе.

— Вы знаете, дорогой маркизъ, что такое приданое молодыхъ женщинъ въ наши дни. Мы не особенно богаты.

— Я предложу вамъ слѣдующее,—сказалъ Санъ-Джіачинто. —Вы дадите приданое вашей дочери. Какъ бы оно ни было велико,—въ разумныхъ предѣлахъ, конечно,—я представлю такую же сумму съ тѣмъ, чтобы послѣ моей смерти оно перешло къ вашей дочери и ея дѣтямъ отъ меня, если таковыя родятся.

— Это, значитъ, только положить на ея имя приданое, которое я дамъ,—рѣзко возразилъ Монтеварки. —Я даю деньги вамъ. Вы переводите ихъ на имя вашей жены—вотъ и все.

— Вовсе нѣтъ,—возразилъ Санъ-Джіачинто. —Я вовсе не желаю распорядиться приданнымъ...

— Чортъ возьми! Да, да, конечно! Право, я слишкомъ старъ, чтобы дѣлать такіе расчеты. Какъ я могъ такъ ошибиться! Конечно, вы правы. Конечно, это такъ.

— Это не совсѣмъ такъ, какъ дѣлается обыкновенно,—спокойно замѣтилъ Санъ-Джіачинто:—большинство мужчинъ не согласились бы на такія условія. Во всякомъ случаѣ, таково мое предложеніе.

— О! я увѣренъ, что ради Флавіи мужчина сдѣлалъ бы многое,—отвѣчалъ князь, начинавшій думать, что Санъ-Джіачинто влюбленъ въ его дочь. Молодой человѣкъ однако не отвѣчалъ на это замѣчаніе и ждалъ, чтобы Монтеварки опредѣлилъ сумму.

— На какой же суммѣ мы остановимся?—спросилъ, наконецъ, послѣдній.

— Это зависитъ отъ васъ. Что дадите вы, то и я, если только буду въ состояніи.

— Да, но вѣдь я не знаю, сколько вы можете дать, дорогой маркизъ.—Князь подозрѣвалъ, что предложеніе маркиза, если заставить его высказаться, будетъ не особенно щедро.

— Долженъ ли я понимать ваши слова въ томъ смыслѣ,—спросилъ Санъ-Джіачинто,—что если я назначу сумму, которая послѣ моей смерти перейдетъ къ моей вдовѣ и ея дѣтямъ, то и вы дадите такую же? Если такъ, то я скажу, сколько я могу дать.

Монтеварки въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній пытливо смотрѣлъ на своего гостя, потомъ отвернулся и задумался. Ему очень хотѣлось выдать замужъ Флавію, и по разнымъ соображеніямъ онъ предполагалъ, что Санъ-Джіачинто не особенно богатъ.

— А какъ насчетъ титула?—спросилъ онъ внезапно.

— Мой титулъ, конечно, переходитъ къ старшему сыну отъ

перваго брака. Но если вы придаете этому значеніе, то я надеюсь, что мой кузенъ уступитъ одинъ изъ своихъ титуловъ старшему сыну вашей дочери. Это не будетъ ему чего-нибудь стоить и послужитъ нѣкоторымъ вознагражденіемъ за безразсудство моего дѣда.

— Какъ такъ? — спросилъ Монтеварки. — Я не понимаю васъ.

— Я думалъ, вы знаете эту исторію. Я—прямой потомокъ старшей линіи. Въ то время между двумя братьями состоялось соглашеніе: старшій уступилъ право первородства младшему, который тогда женился. Впослѣдствіи старшій, принявъ титулъ Санъ-Джіачинто, женился, и я—его внукъ. Еслибы онъ не поступилъ такъ безразсудно, я былъ бы теперь на мѣстѣ моего кузена. Какъ видите, съ его стороны естественно будетъ уступить моему сыну какой-нибудь титулъ. Вѣдь у него ихъ, кажется, около сотни. Если угодно, вы можете обратиться къ нему самому.

Серьезный тонъ Санъ-Джіачинто удостовѣрялъ Монтеварки въ истинности его словъ. Онъ подумалъ еще нѣсколько мгновений и, наконецъ, рѣшился.

— Я принимаю ваше предложеніе, любезный маркизъ,—сказалъ онъ необыкновенно мягкимъ тономъ.

— Я даю сто-пятьдесятъ-тысячъ скуди, — просто сказалъ Санъ-Джіачинто.—Князь вскочилъ со стула.

— Сто-пятьдесятъ-тысячъ!—повторилъ онъ медленно. — Да это цѣлое состояніе! Чортъ возьми! Я не думалъ, что вы будете такъ щедръ...

— Семь-тысячъ-пятьсотъ скуди въ годъ, считая по пяти процентовъ,—продолжалъ молодой человѣкъ дѣловымъ тономъ.—Вы дадите столько же. Итого пятнадцать тысячъ дохода. Это не Богъ знаетъ чтѣ, но все-таки достаточно для жизни. Кромѣ того, я не говорю, что не оставляю больше, если будетъ чтѣ оставить.

Князь снова опустился на стулъ и сталъ стучать по столу своими худыми пальцами. Лицо его выражало смѣсь удивленія и смущенія. Сказать правду, онъ ожидалъ, что Санъ-Джіачинто назначитъ тысячу пятьдесятъ, а теперь не зналъ, радоваться ли ему богатству дочери, или скорбѣть отъ того, что приходится лишить себя самого такой кучи денегъ.

— Это гораздо больше, чѣмъ я далъ за другими дочерьми,—сказалъ онъ, наконецъ, нерѣшительнымъ тономъ.

— Но тогда вы давали деньги дочерямъ или ихъ мужьямъ? —спросилъ Санъ-Джіачинто.

— Разумѣется, ихъ мужьямъ.

— Если такъ, то позвольте вамъ замѣтить, что настоящій случай совсѣмъ другого характера. Теперь вы помѣщаете деньги въ свою же семью. Мало того: я тоже отдаю такую же сумму въ вашу семью, вмѣсто того, чтобы воспользоваться вашими деньгами для своей надобности. Ясно, что въ этой сдѣлкѣ выгода на вашей сторонѣ.

— Но въ такомъ случаѣ не все ли равно, выдамъ ли я деньги теперь, или завѣщаю ихъ Флавіи послѣ своей смерти?— сказалъ князь, искавшій какой-нибудь лазейки.

— Не совсѣмъ,—возразилъ Санъ-Джіачинто. — Во-первыхъ, вы упускаете изъ виду ежегодные проценты до вашей смерти, которая, я увѣренъ, еще далеко. Затѣмъ, дѣла человѣческія невѣрны. Необходимо, чтобы вы выдали деньги, также какъ и я, при заключеніи брачнаго контракта. Иначе сдѣла не можетъ состояться.

— Такъ вы приходите отъ старшей вѣтви Сарачинески? Какъ дивны пути Провидѣнія, дорогой маркизъ!

— Это было величайшее безуміе со стороны моего дѣда,—отвѣчалъ маркизъ, пожимая плечами. — Никогда нельзя поручиться, что человѣкъ не женится, пока онъ еще не умеръ.

— О, нѣтъ! Пути Божіи неисповѣдимы! Не намъ, жалкимъ смертнымъ, пытаться измѣнить ихъ. Вѣроятно, соглашеніе, о которомъ вы говорили, оформлено законнымъ порядкомъ?

— По всей вѣроятности, такъ какъ съ тѣхъ поръ ни разу не было попытки измѣнить его.

— Да да, дорогой маркизъ. Очень интересно было бы посмотреть бумаги.

— Онѣ у моего кузена,—сказалъ Санъ-Джіачинто. — Смѣю думать, что онъ не будетъ имѣть ничего противъ. Но, извините, я возвращусь къ предмету, который близокъ моему сердцу. Могли ли я думать, что вы согласны на мое предложеніе? Если такъ, то условимся, когда совершить сдѣлку.

— Сто-пятьдесятъ-тысячъ,—сказалъ Монтеварки, почесывая подбородокъ своими костлявыми пальцами. — Пять на сто—семь тысячъ пятьсотъ! куча денегъ, синьоръ маркизъ, куча денегъ! А теперь суровыя времена! Какой же вы, должно быть, богатый человѣкъ, если такъ легко говорите о такихъ огромныхъ суммахъ. Ну, ну—вы очень краснорѣчивы, я долженъ согласиться, и, можетъ быть, при помощи строгой экономіи успѣю вернуть потерю.

— Но вѣдь это вовсе не потеря,—возразилъ Санъ-Джіачинто:—разъ деньги достаются вашей дочери и ея дѣтямъ, т.-е. остаются въ вашей семьѣ.

— Такъ-то такъ! Но деньги всегда деньги, другъ мой! — воскликнулъ князь, положивъ руку на столъ и сребря по сукну кривыми ногтями, какъ будто хотѣлъ выпарапать оттуда золото. Въ тонѣ его было что-то гордое, и маленькіе глаза недружелюбно блестѣли. Онъ хорошо понималъ, что сдѣлка выгодна для него, и что Санъ-Джіачинто — лучшая партія, на какую только онъ могъ разчитывать. Ему такъ хотѣлось поскорѣе рѣшить дѣло, что онъ не сталъ разспрашивать о прежней жизни Санъ-Джіачинто, опасаясь найти въ ней какое-нибудь препятствіе для брака.

— Итакъ, — продолжалъ онъ послѣ минутной паузы, — мы или наши нотаріусы сойдутся и внесутъ деньги, какъ мы рѣшили, обѣ стороны въ одно и то же время.

— Именно такъ, — отвѣчалъ Санъ-Джіачинто. — Нѣтъ денегъ, нѣтъ и контракта.

— Въ такомъ случаѣ я сообщу дочери о моемъ рѣшеніи.

— Я буду радъ съ своей стороны засвидѣтельствовать почтеніе доннѣ Флавіи.

— Свадьба состоится 30-го ноября. Затѣмъ наступитъ филипповъ постъ, а во время поста запрещено вѣнчаться безъ особеннаго разрѣшенія.

— Конечно, это требуетъ расходовъ, — сказалъ Санъ-Джіачинто серьезно, хотя ему хотѣлось смѣяться.

— Да. По крайней мѣрѣ пять скуди, — отвѣчалъ Монтеварки.

— Мы должны быть экономны.

— Святая церковь очень строга на этотъ счетъ, и вы должны всѣми силами беречь деньги.

— Конечно, — сказалъ Санъ-Джіачинто, вставая. — Не смѣю васъ больше задерживать. Позвольте мнѣ выразить вамъ мою горячую благодарность; я сочту за величайшую честь быть вашимъ зятемъ.

— Ахъ, право, вы очень добры, дорогой маркизъ! Конечно, я нуждаюсь въ утѣшеніи. Подумайте о чувствахъ отца, отдающаго возлюбленную дочь — Флавія ангелъ, сошедшій на землю,* другъ мой! — отдающаго дорогое дитя, которое онъ лелѣетъ какъ зеницу ока, другому человѣку, хотя бы и такому достойному, какъ вы. Когда ваши дѣти вырастутъ, вы поймете, что я испытываю.

— О, я вполне понимаю! — сказалъ Санъ-Джіачинто серьезнымъ тономъ. — Я поставлю цѣлью своей жизни заставить васъ забыть вашу потерю. Могу я придти завтра въ это же время?

— Да, дорогой маркизъ, да, дорогой сынъ — простите нѣжность отца... Завтра въ это время, и — онъ помедлилъ — и какъ ни-

будь передъ свадьбой сдѣлайте намъ удовольствіе раздѣлить съ нами завтракъ, пожалуйста. Мы простые люди, но мы гостепріимны. Гостепріимство есть добродѣтель... Необходимая добродѣтель, — прибавилъ онъ съ нѣкоторымъ удареніемъ на словѣ: „необходимая“.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — отвѣчалъ Санъ-Джіа-чинто. Затѣмъ онъ вышелъ изъ комнаты и черезъ нѣсколько минутъ медленно шелъ домой, размышляя о вѣроятныхъ послѣдствіяхъ своего союза съ Монтеварки.

Оставшись одинъ, Монтеварки пріятно улыбнулся и досталъ изъ секретнаго ящика большую конторскую книгу, которую перелистывалъ около получаса съ видимымъ удовольствіемъ. Потомъ заботливо спряталъ ее на старое мѣсто и послалъ за женой, которая тотчасъ явилась.

— Садись, Гвендолина! — сказалъ онъ: — я сейчасъ переодѣнусь, и тогда сообщу тебѣ кое-что интересное.

Удовольствіе, которое ему доставила сдѣлка съ Санъ-Джіа-чинто, заставило его забыть объ одеждѣ; но видъ жены напомнилъ о необходимости экономіи. Онъ считалъ одною изъ своихъ обязанностей служить для нея примѣромъ въ этомъ отношеніи. Вернувшись, онъ сѣлъ передъ нею.

— Я нашелъ мужа Флавіи, — были его первыя слова.

— Наконецъ-то! — воскликнула княгиня: — надѣюсь, что онъ представительнъ. — О состояніи его она не спрашивала, зная, что въ этомъ отношеніи можно положиться на мужа.

— Новый Сарачинеска, маркизъ ди Санъ-Джіа-чинто. — Румяное лицо княгини выразило величайшее удивленіе, и нижняя челюсть задрожала, когда она взглянула на стараго князя.

— Нищій! — воскликнула она, собравшись съ духомъ.

— Можетъ быть, Гвендолина, но онъ переводитъ на имя Флавіи и ея дѣтей сто пятьдесятъ тысячъ скуди. Это не похоже на нищету, — разумѣется, съ тѣмъ условіемъ, что я съ своей стороны сдѣлаю то же самое. Деньги будутъ помѣщены на имя Флавіи — понимаешь. Для себя онъ не требуетъ ни гроша. Ни гроша! Повѣрь, что твой мужъ — дѣловой человѣкъ, Гвендолина.

— Ты не говорилъ объ этомъ Флавіи? Конечно, это хорошая партія. Безъ сомнѣнія, онъ — Сарачинеска. Они приняли его въ свою семью. Но что скажетъ Флавія?

— Какой дикій вопросъ, моя милая! — воскликнулъ Монтеварки. — Сейчасъ видно, что ты англичанка. Я увѣренъ, что она будетъ въ восторгѣ. А если и нѣтъ — такъ не все ли равно?

— Я бы не хотѣла выйти за тебя противъ моей воли, Лотаріо,—замѣтила княгиня.

— Что касается меня, такъ я не имѣлъ выбора. Мой отецъ просто сказалъ мнѣ: сынъ мой, ты долженъ относиться почтительно къ той молодой лэди, которая будетъ твоей женой. Если же ты захочешь жениться на другой, я тебя запру. Я и женился. И что жъ, развѣ я не былъ тебѣ вѣрнымъ мужемъ въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ, Гвендолина?

Аргументъ былъ неотразимъ, и Монтеварки пускалъ его въ ходъ всякій разъ, когда женилъ кого-нибудь изъ своихъ дѣтей. Впрочемъ въ отношеніи супружеской вѣрности онъ дѣйствительно былъ образцовымъ мужемъ.

— Довольно того,—прибавилъ онъ, снисходя къ иностраннымъ понятіямъ жены,—довольно того, что съ одной стороны будетъ любовь, а съ другой—христіанскіе принципы. Могу тебя увѣрить, что Санъ-Джіачинто влюбленъ какъ нельзя больше; что же касается Флавіи, то развѣ не ты ее воспитывала?

— Что касается Флавіи, дорогой мой Лотаріо, то я могу только надѣяться, что она перемѣнится послѣ свадьбы. Дома она—ужасный ребенокъ.

— Теперь пошлемъ за Флавіей,—сказалъ Монтеварки.

— Не лучше ли мнѣ поговорить съ ней?—спросила княгиня.

— Милая моя,—сурово отвѣчалъ онъ,—когда рѣшаются важныя дѣла, обязанность главы дома сообщить о рѣшеніи тѣмъ, кого оно касается.

Итакъ, послали за Флавіей, которая скоро явилась. Ея милостивое лицо и лукавые черные глаза выражали смѣшанное чувство удивленія и ожиданія. Она была почти такъ же смугла, какъ самъ Санъ-Джіачинто, но совершенно другого типа. Ея слегка вздернутый носикъ совершенно спутывалъ представленія матери о гармоніи вещей; густые черные волосы естественно завивались надъ лбомъ. Фигура ея была граціозна, движенія быстры и свободны. Румяныя губы указывали на избытокъ жизненныхъ силъ, что подтверждалось и необыкновеннымъ блескомъ глазъ. Она не могла считаться красавицей, но была очень милостива и обладала нѣкоторыми изъ тѣхъ таинственныхъ качествъ, которыя очаровываютъ, не возбуждая сознательнаго восхищенія.

— Флавія,—сказалъ ей отецъ торжественнымъ тономъ,—ты выходишь замужъ, милое дитя мое.—Я послалъ за тобой, потому что времени терять нечего; свадьба состоится передъ началомъ поста. Это извѣстіе, вѣроятно, обрадуетъ тебя, но я надѣюсь, что

ты подумаешь о важности обязательствъ, налагаемыхъ бракомъ, и оставишь...

— Скажите мнѣ имя моего мужа? — спросила Флавія, перебивая родительскую рѣчь.

— Человѣкъ, котораго я избралъ своимъ зятемъ, могъ бы возбудить зависть къ тебѣ во всѣхъ женщинахъ, еслибы зависть не была смертнымъ грѣхомъ, и могу тебя увѣрить, что онъ будетъ стараться...

— Терзать, мучить и уродовать меня истинными христіанскими принципами, — съ хохотомъ перебила Флавія. — Знаю, знаю. Это одинъ изъ семи смертныхъ грѣховъ. — Я могу повторить вамъ все на память, если угодно.

— Флавія, ты изумляешь меня! — съ негодованіемъ воскликнула княгиня.

— Я не ожидалъ такого поведенія отъ моей дочери, — сказалъ Монтеварки. — И хотя въ настоящую минуту я долженъ смотрѣть на все сквозь пальцы, но я считаю это непростительнымъ. Ты обязана слушать съ величайшею скромностью и почтеніемъ все, что я говорю.

— Я сама скромность, почтеніе и вниманіе, но мнѣ хотѣлось бы знать его имя, папа, — надѣюсь, это простительно.

— Я не вижу причины, почему бы мнѣ не сказать тебѣ имя, и, конечно, сообщу всѣ свѣденія, которыя могутъ тебя касаться. Что онъ вдовецъ — это не должно удивлять тебя, такъ какъ по неисповѣдимымъ путямъ Провидѣнія многіе люди теряютъ своихъ женъ раньше, чѣмъ другіе. Лѣта его также не могутъ явиться препятствіемъ...

— Вдовецъ, старый, вѣроятно лысый, — я, кажется, уже вижу его. Онъ очень толстъ, папа?

— Онъ похожъ на гиганта; но я уже не разъ повторялъ тебѣ, Флавія, что качества, о которыхъ заботится разумный отецъ, выбирая мужа для своей дочери...

— Ради Бога, мама, — воскликнула Флавія, — скажите хоть вы его имя!

— Маркизь ди Санъ-Джіачинто... Дай говорить отцу и не перебивай его.

— Такъ какъ вы обѣ перебиваете меня, — сказалъ Монтеварки, — то мнѣ невозможно говорить.

— Я согласна, — замѣтила Флавія, вздохнувъ всею грудью. — Вы говорите о кузенѣ князей Сарачинеска, — Санъ-Джіачинто? Въ концѣ концовъ это еще не такъ плохо.

— Неприлично молодой дѣвушкѣ называть мужчинъ прямо по фамиліи...

— Ну, такъ Джіованни. Могу я называть его Джіованни?

— Флавія!—воскликнула княгиня.—Какъ ты можешь быть такой непослушной! Ты должна называть его маркизъ ди Санъ-Джіачинто.

— Молчите!—крикнулъ князь.—Я не хочу, чтобы меня перерывали! Маркизъ ди Санъ-Джіачинто будетъ у насъ завтра, чтобы засвидѣтельствовать тебѣ свое почтеніе. Ты должна принять его прилично.

— Да, папа,—сказала Флавія, внезапно принимая кроткій видъ и покорно складывая руки.

— Онъ ведетъ дѣло съ безпримѣрною щедростью,—продолжалъ Монтеварки,—и, надѣюсь, не нужно прибавлять, что я также не уронилъ чести нашего дома. Такъ какъ ты не хочешь выслушать отеческое наставленіе, которое я естественно хотѣлъ тебѣ сдѣлать при этомъ случаѣ, то я скажу кратко, что твой будущій мужъ именно такой человекъ, каковаго я желалъ бы имѣть зятемъ, что онъ Сарачинеска и богатъ, и что онъ привыкъ въ обществѣ женщинъ своей семьи встрѣчать болѣе приличныя манеры, чѣмъ тѣ, которыя ты обнаруживаешь въ присутствіи отца.

— Да, папа. Могу я идти?

— Если совѣсть позволяетъ тебѣ уйти, не поблагодаривъ родителей, которые, несмотря на твое дикое поведеніе, позаботились доставить тебѣ приличнаго мужа; если, говорю я, ты способна на такую неблагодарность, тогда, конечно, Флавія, ты можешь уйти.

— Я только-что хотѣла сказать, что отъ всего сердца благодарю васъ, папа, и васъ тоже, мама.

Она поцѣловала руки отца и матери, почтительно присѣла и пошла изъ комнаты. Впрочемъ важность ея разсѣялась прежде, чѣмъ она успѣла дойти до двери.

— Evviva! Ура!—воскликнула она внезапно, прыгая и пощелкивая пальцами на подобіе кастаньетъ.—Evviva! наконецъ-то замужемъ! Ура!—И съ этимъ салютомъ исчезла изъ комнаты.

По ея уходѣ отецъ и мать молча взглянули другъ на друга. Уже не въ первый разъ обмѣнивались они этими безмолвными взглядами въ теченіе жизни Флавіи. Воспитаніе другихъ дѣтей не доставило имъ никакихъ затрудненій, но Флавія была загадкой для обоихъ. Княгиня поняла бы англійскую дѣвушку, полную жизни и веселья, но скромную и застѣнчивую въ обществѣ, какою старая лэди сама была въ молодости. Но характеръ Фла-

віи былъ непонятенъ ея сѣверному темпераменту. Монтеварки лучше понималъ дочь, но любилъ ее еще меньше. То, что матери казалось причудами, онъ считалъ грубостью и неблаговоспитанностью. Онъ желалъ бы, чтобы она, подобно остальнымъ дѣтямъ, была послушна и молчалива въ его присутствіи, почтительна къ главѣ дома если не на дѣлѣ, то хоть по наружности. Характеръ Флавіи въ глазахъ римлянъ былъ очень серьезной помѣхой къ браку, такъ какъ по ихъ понятіямъ нравственныя достоинства необходимо сопровождаются внѣшнею важностью, извѣстнымъ декорумомъ, а легкомысленныя манеры—только наружный признакъ испорченнаго сердца.

Санъ-Джіачинто понималъ Флавію лучше, чѣмъ ея родители, и хотя смотрѣлъ на женитьбу прежде всего какъ на одно изъ средствъ добиться успѣха въ свѣтѣ, но въ то же время чувствовалъ къ дѣвушкамъ больше любви, чѣмъ ея отецъ считалъ нужнымъ въ такихъ дѣлахъ. Дѣло было рѣшено безъ дальнѣйшихъ проволочекъ; въ теченіе нѣсколькихъ дней всѣ формальности улажены законнымъ порядкомъ, между тѣмъ какъ Флавія изъ всѣхъ силъ налегала на родительскій кошелекъ, въ видахъ приданого.

Можетъ показаться страннымъ, что въ то время, какъ въ Римѣ разгоралась революція и свѣтская власть находилась въ величайшей опасности, Монтеварки и Санъ-Джіачинто такъ спокойно разсуждали объ условіяхъ брака и даже назначили день свадьбы. Единственное объясненіе этому заключается въ томъ, что ни тотъ, ни другой вовсе не вѣрили въ революцію. Замѣчательно, что богатые люди съ трудомъ вѣрятъ въ возможность большихъ перемѣнъ. Это самые консервативные люди; они считаютъ барыши въ моментъ опасности съ хладнокровіемъ, которое сдѣлало бы честь испытанному солдату. Люди съ деньгами вѣрятъ въ деньги и не довѣряютъ слухамъ о революціи. Изрѣдка, какъ показываетъ исторія, они ошибаются; но нужно сознаться, что вообще они правы.

Что касается до Санъ-Джіачинто, то его личные интересы гораздо больше поглощали его вниманіе, чѣмъ какія бы то ни было внѣшнія событія; а такъ какъ онъ былъ человѣкъ съ желѣзными нервами, то по всей вѣроятности оставался бы спокоенъ, среди гораздо большихъ смутъ, чѣмъ тѣ, которыя потрясали Римъ въ то время.

VIII.

Когда Анастась Гуашъ былъ, наконецъ, смѣненъ съ караула и вернулся домой уже на зарѣ, онъ легъ отдохнуть и обдумать ночныя событія. Протекшіе нѣсколько часовъ были самыми знаменательными въ его жизни и произвели въ ней большую перемѣну. Эта перемѣна была ему пріятна, и смущало его только обращеніе съ нимъ Корона, послѣ того какъ онъ привелъ къ ней Фаустину. По зрѣломъ размышленіи, онъ пришелъ къ заключенію, которое больно уязвило его самолюбіе. Очевидно, что Корона сочла ночное свиданіе влюбленныхъ предумышленнымъ и полагала, что Фаустина дѣйствовала по наущенію Гуаша. Чѣмъ болѣе онъ объ этомъ думалъ, тѣмъ сильнѣе утверждался въ этой мысли. Онъ рѣшилъ воспользоваться первымъ случаемъ для объясненія съ женщиной, которая могла питать такія обидныя на его счетъ предположенія. Въ пять часовъ пополудни онъ былъ неожиданно отпущенъ со службы и немедленно отправился въ палаццо Сарачинески. Зная, что послѣ сумерекъ никому не позволяютъ ходить по улицамъ, онъ былъ увѣренъ, что застанетъ Корону безъ гостей, и надѣялся выяснитъ беспокоившее его обстоятельство.

Прождавъ нѣсколько минутъ въ одной изъ залъ, онъ былъ проведенъ въ ту комнату, гдѣ сидѣла Корона, и къ своей великой досадѣ увидѣлъ, что вся семья въ сборѣ. Онъ не рассчитывалъ на присутствіе мужчинъ, а то обстоятельство, что и ребенокъ находился тутъ же, только затрудняло положеніе. Старикъ Сарачинеска встрѣтилъ его радушно; Сантъ-Иларіо былъ очень серьезенъ; а Корона, кивнувъ ему только головой, занялась ребенкомъ.

Объясненіе при такихъ условіяхъ было немислимо, и Гуашъ пожалѣлъ, что пришелъ. Дѣлать было однако нечего, и приходилось выпутываться какъ умѣешь.

— Ну, monsieur Гуашъ, — спросилъ старикъ князь: — какъ же вы провели ночь?

Онъ не могъ задать вопроса, который бы сильнѣе смутилъ всѣхъ присутствующихъ, за исключеніемъ младенца. Анастась невольно взглянулъ на Корону; та инстинктивно поглядѣла на мужа, между тѣмъ какъ послѣдній уставился на Гуаша, ожидая, что тотъ отвѣтитъ. Всѣ трое слегка поблѣднѣли, и нѣсколько секундъ длилось неловкое молчаніе.

— Я провелъ ночь очень безпокойно, — отвѣтилъ Гуашъ послѣ небольшого колебанія. — Насъ гоняли по всему городу, мы

отбивали атаки, стояли въ караулѣ, расчищали улицы, маршировали взадъ и впередъ. Меня отпустили только на зарѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ!—воскликнулъ Сантъ-Иларіо.—Я предполагалъ, что вы всю ночь оставались у воротъ св. Павла. Но ходило столько противорѣчивыхъ разсказовъ. Я нѣсколько тревожился, пока не удостоверился, что вы спаслись отъ адскаго замысла.

Гуашъ чуть-было не спросилъ, кто сказалъ Джіованни, что онъ спасся, но, къ счастью, во-время удержался и завелъ рѣчь о взрывѣ казармъ. Тутъ старый Сарачинеска разразился негодующей анафемой на злодѣевъ, и высказалъ, что сжегъ бы ихъ за-живо, да и то имъ слишкомъ мало. Анастасъ воспользовался краснорѣчіемъ старика и сталъ заигрывать съ младенцемъ. Но крошка Орсино изо всей мочи ударилъ его крошечнымъ кулачкомъ по лицу и во все горло закричалъ.

— Онъ не любитъ незнакомыхъ,—замѣтила Корона холодно.

Она встала съ ребенкомъ въ рукахъ и направилась къ двери, а Гуашъ бросился отворять дверь. Князь продолжалъ громить заговорщиковъ, и Гуашъ воспользовался этимъ, чтобы сказать Коронѣ вполголоса:

— Неужели вы не выслушаете моего оправданія?

Корона слегка подняла брови, какъ бы удивляясь, но выраженіе искренней печали на его лицѣ смягчило ея сердце, и она отвѣчала ему менѣе сурово, чѣмъ хотѣла.

Когда Гуашъ вернулся на прежнее мѣсто, онъ догадался, что Сантъ-Иларіо наблюдалъ за нимъ, по тому упорству, съ какимъ тотъ смотрѣлъ теперь въ другую сторону. Зувъ еще разъ пожалѣлъ, что пришелъ, но рѣшилъ продлить визитъ, въ надеждѣ, что, можетъ быть, Корона вернется. Сантъ-Иларіо былъ необыкновенно молчаливъ, но его отецъ оживленно разговаривалъ съ Гуашемъ.

Такъ длилось около получаса, въ концѣ котораго Анастасъ отказался отъ всякой надежды снова увидѣть Корону. И мужчины также, очевидно, не ждали, что она вернется, потому что закурили сигары.

— До свиданія, monsieur Гуашъ,—сказалъ старикъ князь, ласково трясъ его за руку.—Надѣюсь, что мы увидимъ васъ скоро здоровымъ и невредимымъ.

Въ то время какъ онъ это говорилъ, Джіованни позвонилъ, чтобы слуга пришелъ проводить гостя—незначительный фактъ, которому суждено было повести къ неожиданному результату. Самъ Джіованни, чувствуя, что, быть можетъ, никогда больше не

увидить Гуаша въ живыхъ, раскаялся въ своей холодности, и когда тотъ собирался уходить, задержалъ его вопросомъ, куда его посылають изъ Рима. Это вызвало оживленные пренія о вѣроятныхъ движеніяхъ Гарибальди, и это длилось нѣсколько минутъ.

Корона тѣмъ временемъ отнесла Орсино къ кормилицѣ и приказала горничной доложить ей, когда гость уйдетъ изъ гостиной. Женщина пошла въ переднюю и, услышавъ звонокъ Джіованни, вернулась и доложила объ этомъ госпожѣ, предполагая, что Гуашъ сейчасъ уйдетъ. Корона подождала нѣсколько минутъ и пошла въ диванную, находившуюся въ концѣ длиннаго ряда парадныхъ комнатъ. Въ результатъ вышло то, что она столкнулась съ Анастасомъ въ одной изъ комнатъ въ то время, какъ его велъ лакей, который вернулся въ переднюю, какъ только завидѣлъ господжу. Корона и Гуашъ остались вдвоемъ въ большой сумрачной комнатѣ. Гуашъ не преминулъ воспользоваться представившимся случаемъ.

— Княгиня, простите, что задерживаю васъ, но мнѣ нужно сказать вамъ нѣсколько важныхъ словъ. Я отправляюсь на границу и могу быть убитымъ, какъ и всякій другой. Завѣряю васъ честнымъ словомъ человѣка, который можетъ завтра умереть, что вполнѣ неповиненъ въ томъ, что вчера случилось. Если я вернусь, то докажу вамъ это. Если нѣтъ, то могу ли надѣяться, что вы будете вспоминать обо мнѣ съ уваженіемъ?

Голосъ молодого человѣка звучалъ искренностью.

Корона поглядѣла ему въ глаза и, видя честный, прямой взглядъ, устремленный на нее молодымъ человѣкомъ, повѣрила его прямодушію.

— Я вѣрю вамъ; простите, если обидѣла васъ въ мысляхъ.

— Благодарю васъ, благодарю васъ, дорогая княгиня!—закричалъ Гуашъ, беря ея руку и поднося къ губамъ.—У меня словъ не хватитъ выразить вамъ всю мою благодарность. А теперь прощайте. Благословите меня, какъ бы мать благословила меня.

Онъ улыбнулся, вспомнивъ предшествовавшій разговоръ.

— Прощайте,—сказала Корона,—и да будетъ надъ вами Божіе благословеніе.

Онъ ушелъ, а она все еще стояла, глядя ему вслѣдъ. Она жалѣла его и жалѣла, что сухо обошлась съ нимъ; но какъ только онъ скрылся изъ глазъ, сомнѣніе въ истинѣ его словъ снова закралось въ ея душу.

Она была выведена изъ задумчивости мужемъ, который, незамѣченный ею, подошелъ къ ней. Видя, что она не возвра-

щается въ гостиную, послѣ того какъ Гуашъ ушелъ, онъ пошелъ искать ее и случайно услышалъ послѣднія слова Короны и видѣлъ, какъ Анастасъ съ жаромъ поцѣловалъ ея руку. Фраза, которой она пожелала ему счастья, непріятно поразила его. Онъ вспомнилъ, что когда-то, во время незабвеннаго бала у Франджипани, три года тому назадъ, она точно такими же словами подарила и его, и такое совпаденіе было ему крайне непріятно.

Джіованни стоялъ около нея теперь, положивъ руку на ея плечо. Не въ его нравѣ было вспылить, какъ дѣлалъ его отецъ, когда ему что-нибудь не нравилось. Испанская кровь матери сообщила глубокую сдержанность его характеру; придававшую ему скорѣе глубину, чѣмъ холодность. Онъ не могъ рѣзко говорить, когда волновался, но самая трудность пріискать подходящія слова и отвращеніе къ ихъ употребленію дѣлали его болѣе искреннимъ, болѣе терпѣливымъ, но и болѣе злопамятнымъ, чѣмъ другіе люди. Онъ долго ждалъ прежде, чѣмъ высказать свои чувства, но они не теряли отъ того въ силѣ и не охлаждались. Онъ ненавидѣлъ — сильнѣе чѣмъ большинство людей — всякую скрытность и тайну, но, благодаря сдержанности, прослылъ и скрытнымъ, и расчетливымъ человекомъ. Джіованни не скрывалъ больше отъ себя, что его бѣсило то, что происходитъ, но даже самому себѣ не признался бы, что ревнуетъ.

— Я думалъ, что онъ ушелъ, — сказалъ онъ довольно спокойно.

— Да и я также, — отвѣчала Корона, холоднѣе, чѣмъ она обыкновенно говорила съ мужемъ.

Она тоже была недовольна, потому что подозрѣвала, что мужъ слѣдитъ за ней; а такъ какъ онъ обѣщалъ довѣриться ей, то это и казалось ей какъ бы нарушеніемъ договора.

Они пошли обратно въ гостиную, не прибавивъ больше ни слова. Но, дойдя еще до дверей, Джіованни остановилъ жену и, глядя на нее, спросилъ, повидимому, равнодушно:

— Это входитъ въ секретъ прошлой ночи?

— Да, — отвѣчала Корона. — Что же это и могло быть иначе? Я встрѣтила его случайно, и мы обмѣнялись нѣсколькими словами.

— Знаю. Я слышалъ, какъ ты прощалась съ нимъ. Признаюсь, что былъ удивленъ. Я думалъ, судя по твоему обращенію съ нимъ при всѣхъ насъ, что ты на него сердита, но ошибся. Надѣюсь, что твое благословеніе принесетъ ему счастье, моя душа!

Онъ говорилъ просто и безъ натяжки.

— Надѣюсь также, — отвѣчала Корона. — И ты могъ бы присоединить и свое, разъ ты былъ тутъ.

— По правдѣ сказать, — проговорилъ Джіованни съ короткимъ смѣхомъ, — я думаю, что мое благословеніе было бы не такъ пріятно.

— Какія ты странныя вещи говоришь, Джіованни!

— Неужели? мнѣ это кажется вполне естественнымъ. Пойдемъ въ гостиную.

— Джіованни, ты обѣщала прошлую ночью довѣриться мнѣ, а я обѣщала со временемъ все объяснить тебѣ. Ты долженъ или сдержать свое обѣщаніе, или незачѣмъ было его давать.

— Разумѣется, — отвѣтилъ Сантъ-Иларіо, растворяя дверь женѣ, и, такимъ образомъ, положилъ конецъ разговору, такъ какъ при старикѣ Сарачинеска нельзя было объ этомъ разговаривать.

Джіованни боялся какъ бы не сказать чего-нибудь такого, въ чемъ ему придется раскрываться, такъ какъ ему все-таки не хотѣлось показать, что онъ подозрѣваетъ жену. Къ несчастію, явная досада Короны на то, что онъ слышалъ ея слова, только усилила его недовольство всѣмъ происходящимъ. Они оба вошли въ комнату, но Джіованни скоро оставилъ жену и отца и ушелъ къ себѣ подъ тѣмъ предлогомъ, что ему надо писать письма.

IX.

Возбужденію, господствовавшему въ Римѣ въ протекшія нѣсколько недѣль, суждено было такъ же быстро окончиться, какъ оно и началось. Событія, наступившія вслѣдъ за 22 октября, описывались часто и подробно; но если мы примемъ во вниманіе незначительность военныхъ силъ, бывшихъ въ дѣлѣ, и быстроту, съ какой онѣ подавили революцію, обѣщавшую стать такою грозной, то не можемъ не удивляться колоссальному вниманію, какое было отведено этой маленькой кампаніи. Но дѣло въ томъ, что хотя военныя силы съ обѣихъ сторонъ были ничтожны, но ставки были громадны, и настоящія державы, которыя помѣрялись силами при Monte Rotondo и Ментонѣ, были итальянское королевство и французская имперія. До тѣхъ поръ, пока Италиі не былъ предъ-явленъ французскимъ посланникомъ ультиматумъ 19 октября, послѣдняя надѣялась завладѣть Римомъ подъ предлогомъ возстановленія порядка, предварительно давъ его нарушить гверильсамъ Гарибальди.

Военный вердонъ, образуемый итальянской арміей, чтобы помѣшать Гарибальди перейти черезъ границу, былъ простой декорацией. Арестъ самого Гарибальди, каковы бы ни были дѣйстви-

тельные намѣренія тѣхъ, кто его приказалъ арестовать, оказался одной комедіей; разъ онъ убѣждалъ, никто и не пытался вновь арестовать его.

Когда Франція вмѣшалась въ дѣло, обстоятельства перемѣнились. Она заявила о своемъ намѣреніи удержать конвенцію 1864 г. силою оружія, и Италія была вынуждена дозволить поражение Гарибальди, такъ какъ не могла рискнуть на войну съ могущественной сосѣдкой. Еслибы небольшой отрядъ французскихъ войскъ не вступилъ въ Римъ 30 октября, то событія 1870 г. произошли бы тремя годами раньше, хотя, вѣроятно, результаты ихъ были бы иные.

Главномандующій папской арміей имѣлъ въ виду сосредоточить армейскій корпусъ для встрѣчи съ Гарибальди, который теперь смѣло шелъ впередъ, и хотя часть отрядовъ этого корпуса была уже отправлена авангардомъ, другая часть все еще находилась въ Римѣ въ ожиданіи подкрѣпленій. Такимъ образомъ, выступленіе Гуаша откладывалось со дня на день, и въ ожиданіи его онъ тщетно пытался увидѣться съ Фаустиной. До событій памятной ночи онъ терпѣливѣе бы переносилъ разлуку, но теперь она казалась ему совсѣмъ невыносимой.

Только одинъ шансъ представлялся ему повидаться съ Фаустиной: онъ знаетъ, что она по воскресеньямъ ходитъ иногда къ ранней обѣднѣ съ горничной, такъ какъ мать съ сестрой Флавіей предпочитаютъ бывать у поздней обѣдни. Но какъ условиться съ ней насчетъ дня и церкви? Онъ пошелъ на всякій случай въ палаццо Монтеварки и спросилъ, не можетъ ли онъ видѣть княгиню.

Привратникъ отвѣчалъ, что княгиня не принимаетъ, а князи нѣтъ дома. Дѣлать нечего, приходилось уйти ни съ чѣмъ. Вдругъ онъ остановился подъ глубокой аркой воротъ, глядя на стѣну на противоположной сторонѣ улицы. Эта стѣна была широкая, гладкая и темная. Онъ взглянулъ на нее, и чтобы объяснить свою остановку привратнику, вынулъ папироску и закурилъ ее. Но, проходя минуту спустя по площади Колонна, онъ вошелъ въ лавку и купилъ двѣ банки съ краской и большую кисть. Въ эту ночь, когда его смѣнили съ караула, онъ отправился къ палаццо Монтеварки. Было очень поздно и на улицѣ не было никого. Онъ подошелъ къ намѣченной имъ стѣнѣ съ краской и кистью въ рукахъ.

На слѣдующее утро, когда привратникъ Монтеварки отперъ ворота, глазамъ его представился необыкновенный образчикъ каллиграфіи, выполненный на черномъ камнѣ ярко-красной краской.

Буквы А. Г. громадной величины начертаны были въ центрѣ и повторялись въ разныхъ мѣстахъ и разнаго размѣра. Кромѣ того слова:

„Domenica“ — воскресенье — и „Messa“ — обѣдня — были нацарапаны тоже во всѣхъ мѣстахъ и въ различныхъ видахъ: крупными, мелкими, заглавными и прописными буквами, и чтобы придать всему характеръ шалости уличнаго мальчишки красовались и другія надписи, какъ-то:

„Viva Pio IX“ и „Viva il Papa Rè“, а въ перемежку съ ними и другія, зеленого цвѣта: „Viva Garibaldi“ и другіе тому подобныя революціонныя возгласы. Но все было расположено такъ, чтобы шифръ Гуаша и два важныхъ слова рельефно выдѣлялись изъ остального и непременно бросились бы въ глаза.

Изъ всей толпы людей, входившихъ сегодня и выходившихъ въ ворота палаццо Монтеварки, двое только придали значеніе яркимъ надписямъ на противоположной стѣнѣ. Одна была сама Фаустина, которая увидѣла и поняла. Другой — Санъ-Джіачинто, тоже въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ глядѣвшій на стѣну и затѣмъ съ легкой улыбкой вошедшій во дворецъ. Онъ тоже догадался, что это значить, и замѣтилъ про себя, что Гуашъ — предприимчивый юноша, но что въ интересахъ фамиліи Монтеварки слѣдуетъ немедленно положить конецъ его любовнымъ похождениямъ. Сегодня суббота, и времени нельзя терять.

Санъ-Джіачинто сократилъ свой визитъ и немедленно отправился во дворецъ Сарачинески. Онъ зналъ, что въ этотъ часъ, по всей вѣроятности, не застанетъ Короны дома. Такъ и случилось, но онъ объявилъ, что будетъ ее ждать, и его провели въ ея пріемную. Какъ только слуга вышелъ, Санъ-Джіачинто подошелъ къ письменному столу Короны и взялъ съ него нѣсколько листовъ почтовой бумаги и нѣсколько конвертовъ. На послѣднихъ отпечатаны были ея шифръ и княжеская корона. Онъ тщательно сложилъ бумагу и положилъ въ карманъ. Затѣмъ подождалъ минутъ десять, но никто не приходилъ. Тогда онъ ушелъ изъ дому, поручивъ слугѣ сказать, что онъ былъ и скоро вернется. Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже былъ у себя на квартирѣ и написалъ слѣдующую записку:

„Я поняла, но, увы! не могу придти. О! мой милый! Когда-то мы увидимся. Мнѣ кажется, что годы протекли со вторника... но за мной такъ зорко слѣдять, что я ничего не могу сдѣлать. Насъ подозреваютъ. Я въ этомъ увѣрена. *Надежное лицо* доставить вамъ эту записку. Я люблю васъ... не сомнѣвайтесь, хотя и не могу придти завтра на свиданіе“.

Санъ-Джіачинто зналъ, что въ это утро Гуашъ не вернется домой раньше пяти часовъ. Хозяйка квартиры была глупая старая женщина и возилась съ жаровней съ углями, когда позвонилъ Санъ-Джіачинто. На его вопросъ о звуѣвъ она молча ткнула пальцемъ въ дверь послѣдняго.

Санъ-Джіачинто вошелъ и оглядѣлся, ища удобнаго мѣстечка, куда положить приготовленное имъ письмо. Столъ въ маленькой пріемной былъ весь заваленъ письмами и бумагами, книгами и рисунками, такъ что если положить на него записку то Гуашъ могъ ее и не замѣтить. Дверь въ сосѣднюю комнату была открыта, и въ нее видѣлся туалетъ, такъ какъ то была спальня Гуаша. Санъ-Джіачинто прошелъ туда и, вынувъ записку изъ кармана, положилъ ее на старомодную подушечку для булавокъ передъ зеркаломъ. Но записка свалилась, и тогда онъ приколотъ ее къ подушечкѣ большой золотой булавкой, лежавшей на столѣ. Послѣ того ушелъ и вернулся во дворецъ Сарачинески, какъ обѣщалъ.

Короны и ея мужа все еще не было дома, и онъ засталъ только старика князя.

— Кстати,—сказалъ онъ, сидя съ нимъ вдвоемъ въ кабинетѣ князя,—я помню, вы были такъ добры, что выразили готовность показать мнѣ фамиліныя бумаги. Онѣ должны быть очень интересны, и я желалъ бы воспользоваться вашимъ предложеніемъ.

— Разумѣется,—отвѣчалъ Сарачинеска.—Онѣ хранятся въ архивѣ въ одномъ изъ покоевъ библіотеки. Но сегодня уже поздно. Если вамъ все равно, то подождемъ до завтра.

— Сколько угодно. По правдѣ сказать, мнѣ бы хотѣлось показать ихъ своему будущему тестю; онъ такъ любитъ археологію. Я говорилъ съ нимъ о нихъ вчера. Но въ сущности есть, вѣроятно, дубликаты въ канцеляріи, и мы можемъ оттуда ихъ достать.

— Не знаю,—отвѣчалъ князь безпечно, такъ какъ никогда не трудился справляться объ этомъ.—Я въ этомъ не увѣренъ. Вѣдь я уже, по крайней мѣрѣ, лѣтъ тридцать не заглядывалъ въ оригиналы.

Слуга пришелъ доложить, что Корона вернулась, и они пошли къ ней въ гостиную.

— Гдѣ Джіованни?—спросила она, какъ только ихъ увидѣла.

Она стояла передъ каминомъ, еще не переодѣвшись послѣ прогулки.

— Не имѣю объ этомъ ни малѣйшаго понятія,—отвѣчалъ

Сарачинеска:—полагаю, что онъ въ клубѣ, или ѣздитъ съ визитами. Онъ сталъ очень аккуратенъ съ тѣхъ поръ, какъ женился.

И старикъ засмѣялся.

— Я разѣхалась съ нимъ,—сказала Корона, не обративъ вниманія на замѣчаніе тестя.—Я должна была захватить его на Пинчіо; но когда я туда пріѣхала, его уже тамъ не было. Я боюсь, что онъ подумаетъ, что я забыла за нимъ заѣхать, потому что опоздала. Меня задержала толпа около Тритона... тамъ всегда давка.

Корона казалась менѣ спокойной, чѣмъ обыкновенно. Дѣло въ томъ, что съ той минуты, какъ она замѣтила, что тайна, въ какой она держала отъ мужа похождения Фаустины, его нѣсколько раздражаетъ, она особенно ухаживала за нимъ и старалась угождать во всемъ. Обыкновенно они не сходились до обѣда, но сегодня уговорились, что она пріѣдетъ за нимъ на Пинчіо, чтобы отвезти домой. И теперь ей было несказанно досадно, что онъ даромъ прождалъ ее.

Чтобы объяснить, какъ это случилось, необходимо вернуться къ Джіованни, который дѣйствительно ждалъ жену нѣкоторое время на Пинчіо, пока ему это не надобно и онъ не ушелъ.

Хотя онъ мужественно скрывалъ свою ревность, но, разъ пустивъ корни въ его душѣ, она развивалась не по днямъ, а по часамъ. Онъ подозрѣвалъ всѣхъ и вся, хотя и прикидывался равнодушнымъ. Самыя усилія Короны угодить ему, которыя онъ отмѣтилъ про себя, возбуждали его подозрѣнія. Откуда взялась эта непрестанная заботливость о его здоровьѣ и счастьѣ? со-всѣмъ не въ ея обычай было прежде приходить къ нему въ кабинетъ и спрашивать, что онъ намѣренъ дѣлать? Непривычной вещью было и то, что она безпрестанно предлагала ему пойти гулять съ нимъ, выѣхать изъ дому вмѣстѣ, вслухъ читать ему, желала, такъ сказать, занимать собою не только его сердце, но и время. Еслибы эта перемѣна совершилась постепенно, онъ бы не заподозрѣлъ ея мотивовъ. Онъ любилъ общество жены и ея разговоръ, но все же считалъ нужнымъ вести обычную жизнь свѣтскаго человѣка, которая не допускаетъ, чтобы мужъ и жена были неразлучны.

Не легко человѣку спокойному понять состояніе духа человѣка, охваченнаго сильною страстью. Для человѣка, который утратилъ самообладаніе отъ мысли, что его обманываютъ, каждый пустякъ, каждое вздорное обстоятельство кажется лишнимъ звеномъ въ цѣпи доказательствъ измѣны. Недѣлей раньше Джіованни считалъ бы себя помѣшаннымъ, еслибы ему пришло на мысль, что

Корона любить Гуаша. Сегодня онъ думалъ, что она нарочно послала его дожидаться себя на Пинчю, чтобы обезпечить свое свиданіе съ Гуашемъ. Кровь бросилась въ его смуглое лицо, и все въ глазахъ подернулось краснымъ туманомъ. Машинально шелъ онъ, машинально раскланивался съ знакомыми; онъ не сознавалъ того, что дѣлаетъ, и двоился, какъ человѣкъ, попавшій во власть посторонней и высшей силы. Изъ всѣхъ страстей ревность, въ особенности когда она долго сдерживалась, всего легче можетъ подвинуть человѣка на всякое насиліе.

Джіованни самъ не зналъ, какъ добрался до Корсо и затѣмъ до темной лѣстницы, которая вела въ квартиру Гуаша. Онъ пришелъ какихъ-нибудь минутъ пятнадцать спустя послѣ того, какъ ушелъ Санъ-Джіачинто, и хозяйка, все еще не выпуская жаровни съ углями изъ рукъ, отворила ему дверь. И ему также, какъ и Санъ-Джіачинто, она указала пальцемъ на дверь своего квартиранта. Но Джіованни, услышавъ, что Гуаша нѣтъ дома, принался разспрашивать хозяйку.

— Былъ тутъ кто-нибудь?

— Былъ господинъ четверть часа тому назадъ,—отвѣчала старуха.

— А дама приходила сюда?

— Дама?

И старуха засмѣялась.

— Что здѣсь дамамъ дѣлать?

Джіованни слышалось нѣкоторое колебаніе въ ея голосѣ. Онъ былъ въ такомъ настроеніи, когда кажется, что всѣ обманываютъ.

— Любишь деньги?—грубо проговорилъ онъ.

— Что вамъ нужно? Развѣ я сумасшедшая, чтобы не любить денегъ! Но сеньоръ Гуашъ—очень добрый господинъ. Онъ, слава Богу, хорошо платитъ.

— За что онъ платитъ?

— Ну! какъ за что? да за квартиру же... за кофе. Vaschius! За что же еще? Странное дѣло. Развѣ у меня лавка? у меня квартиры! Но, можетъ быть, вамъ нравится домъ? Онъ на хорошемъ мѣстѣ... какъ разъ на Корсо и во время карнавала все видно какъ на ладони. Конечно, если вы дадите больше, чѣмъ сеньоръ Гуашъ, то я не скажу—нѣтъ...

— Мнѣ не нужна ваша квартира,—сказалъ Джіованни немного мягче,—мнѣ нужно только знать—кто бываетъ у вашего квартиранта.

— Кто бываетъ? пріятели его, конечно! Кто же еще?

— Дама, можетъ быть?—проговорилъ Джіованни хриплымъ голосомъ. Ему было больно это выговорить, и слова точно застревали у него въ горлѣ.—Можетъ быть, дама приходитъ иногда?—повторилъ онъ, вынимая нѣсколько ассигнацій.

Шелестъ бумажекъ показался старухѣ райской музыкой. Слезающіеся глаза ея засверкали въ темнотѣ.

— Еслибы красивая дама и приходила когда сюда, то это касается синьора Гуаша.—Никому другому нѣтъ до этого дѣла.

— Она красива, говорите вы?

— О!—воскликнула вѣдьма.

— Она брюнетка?

— Разумѣется,—отвѣчала старуха, догадываясь, какъ ей слѣдуетъ отвѣчать по тону Джіованни, который уже больше не сдерживался.

— И высокаго роста? Да? Она была здѣсь четверть часа тому назадъ, говорите вы? Да говори же!—закричалъ онъ, наступая на старуху.—Если ты мнѣ солжешь, я убью тебя! Говори... была она здѣсь?

— Была... была,—отвѣчала старуха, трясаясь отъ страха.—Per carità! не трогайте меня. . я скажу всю правду!

Джіованни вдругъ бросилъ ее и вошелъ въ квартиру Гуаша. Уже стемнѣло. Онъ зажегъ спичку и засвѣтилъ свѣчу, стоявшую на столѣ. Свѣтъ озарилъ его искаженное лицо, дико горѣвшіе глаза и напряжившіяся на лбу и на вискахъ жилы. Онъ озирался кругомъ, разглядывая столъ, покрытый бумагами, ожидая каждую секунду найти доказательства присутствія здѣсь Короны. Ничего не видя, онъ вошелъ въ спальню. Комната была небольшая, и онъ тотчасъ же очутился, какъ вошелъ, около туалетнаго столика. Записка, оставленная Санъ-Джіачинто, красовалась на томъ же мѣстѣ, приколотая булавкой къ подушечкѣ.

Джіованни дико уставился на этотъ предметъ, и лицо его помертвѣло. Доказательство на-лицо: булавка принадлежала Коронѣ. Джіованни самъ заказывалъ ее для жены. Корона обыкновенно прикалывала ея вуаль.

Когда кровь отхлынула отъ головы къ сердцу, Джіованни сталъ странно спокоенъ. Онъ поставилъ свѣчу на столъ и взялъ записку, спрятавъ булавку въ карманъ. Почеркъ показался ему измѣненнымъ, и онъ презрительно скривилъ губы, оглядывая записку со всѣхъ сторонъ и видя, что конвертъ безспорно принадлежалъ Коронѣ. Онъ нашелъ жалкимъ притворствомъ съ ея стороны мѣнять почеркъ, когда все остальное уличало ее. Безъ малѣйшаго колебанія раскрылъ онъ записку и прочиталъ. Одного

бѣглаго взгляда было довольно. „За мной такъ зорко слѣдять, что я ничего не могу сдѣлать. Насъ подозрѣваютъ“. Вниманіе его было привлечено словами: „*вѣрное лицо*—слова были подчеркнуты—доставить записку“. Смыслъ этихъ словъ объяснялся булавкой: вѣрное лицо была она сама...

Джіованни сунулъ записку въ карманъ и вышелъ изъ квартиры Гуаша. Увидѣвъ старуху, которая не могла дожидаться ухода Джіованни, онъ сказалъ ей:

- Не говорите никому, что я былъ.
- Я, синьоръ? Будьте спокойны! Деньги лучше словъ.
- Очень хорошо. Послѣ получишь вдвое, если скажешь правду...

А. Э.



МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ БІОГРАФІИ

М. Е. САЛТЫКОВА

Окончаніе.

II *).

12-го февраля 1856 — 28-го апреля 1889.

Въ 1856 г. надворный совѣтникъ Салтыковъ былъ переведенъ изъ Вятки въ Петербургъ—и въ томъ же году „надворный совѣтникъ Щедринъ“ помѣстилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ первые изъ своихъ „Губернскихъ Очерковъ“, сразу доставившихъ ему громкую извѣстность. Къ тому же году относится и женитьба Салтыкова на Е. А. Болтиной, такъ что этотъ годъ во всѣхъ отношеніяхъ представляется поворотнымъ пунктомъ въ жизни нашего писателя.

Сначала причисленный къ министерству внутреннихъ дѣлъ, Салтыковъ вскорѣ (20-го іюня 1856 г.) былъ назначенъ, въ томъ же министерствѣ, исправляющимъ должность чиновника особыхъ порученій VI-го класса. Еще раньше (12-го мая) на него было возложено составленіе свода распоряженій министерства внутреннихъ дѣлъ, касающихся войны 1853—56 года 5-го августа онъ былъ командированъ въ губерніи тверскую и владимірскую, для обозрѣнія на мѣстѣ письменнаго дѣлопроизводства губернскихъ

*) См. выше: янв. 313 стр.

комитетовъ ополченія. Результатомъ этихъ порученій явилась обширная записка о государственномъ ополченіи, черновая рукопись которой сохранилась въ бумагахъ Салтыкова. Изложивъ, въ главныхъ чертахъ, содержаніе положенія о государственномъ ополченіи, Высочайше утвержденнаго 29-го января 1855 г., Салтыковъ упоминаетъ объ инструкціяхъ, составленныхъ, въ то-же время, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и святѣйшимъ синодомъ. Въ первой изъ нихъ обращалось вниманіе на то, чтобы новый законъ былъ понятъ „въ истинномъ его значеніи“. Губернаторы и полицейскія власти обязывались разъяснять, что призывъ въ ополченіе, какъ временный, не влечетъ за собою никакихъ измѣненій въ „состояніи“ призываемыхъ, — другими словами, не даетъ и не общаетъ помѣщичьимъ крестьянамъ свободы отъ крѣпостной зависимости ¹⁾. Синодальная инструкція требовала отъ приходскихъ священниковъ разъясненія ихъ паствѣ, что война ведется за св. вѣру и за православныхъ христіанъ, страдающихъ подъ турецкимъ игомъ. Тамъ, гдѣ на приходскихъ священниковъ нельзя было положиться, архіереи должны были командировать другихъ благонадежныхъ священниковъ. Отъ этихъ предварительныхъ свѣдѣній Салтыковъ переходитъ къ главной своей задачѣ — къ обзорѣ распоряженій, состоявшихся въ дополненіе и поясненіе положенія о государственномъ ополченіи, а также способа исполненія этихъ распоряженій. Онъ говоритъ сначала объ инспекторской части (т.-е. о численномъ составѣ ополченія и о назначеніи начальствующихъ лицъ), потомъ о хозяйственной части, о врачебной части и, наконецъ, о роспускѣ ополченія. Въ отдѣлѣ, посвященномъ инспекторской части, нѣкоторый интересъ представляютъ, въ настоящее время, лишь немногіе факты, относящіеся къ избранію офицеровъ ополченія. Въ владимірской губерніи допущена была, вопреки закону, замѣна однихъ лицъ другими, по добровольному между ними соглашенію — то-есть, какъ выражается Салтыковъ, нѣчто въ родѣ личнаго найма. Въ московской губерніи половина офицеровъ оказалась набранною изъ отставныхъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ зазорнаго поведенія, недостойныхъ офицерскаго званія. Виновниками такого набора были признаны нѣкоторые уѣздные предводители дворянства, остававшіеся вполнѣ равнодушными къ устройству ополченія. Офицеры, избранные въ тверское ополченіе, на половину не явились къ своимъ мѣстамъ,

¹⁾ Оренбургскій и самарскій генералъ-губернаторъ, графъ В. А. Перовскій, напелъ, что такое разъясненіе, при неудачномъ выполненіи, можетъ произвести дѣйствіе противоположное ожидаемому, и не разослалъ подвѣдомственнымъ ему полицейскимъ учрежденіямъ инструкцію министерства внутреннихъ дѣлъ.

вслѣдствіе чего пришлось грозить имъ преданіемъ военному суду. О неблагонадежности нѣкоторыхъ офицеровъ ярославскаго и костромскаго ополченій понадобилось произвести слѣдствіе. Переходя къ обзору хозяйственной части, Салтыковъ замѣчаетъ, прежде всего, что губернскіе комитеты ополченія, — въ составъ которыхъ, вмѣстѣ съ высшими должностными лицами губерніи, входили и представители сословій, — обмундировали ополченіе, въ большинствѣ случаевъ, не только весьма дорого, но и весьма недоброкачественно. Покупка сукна и другихъ принадлежностей для незатѣливаго костюма ополченцевъ производилась, болѣею частью, въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, особо командированными чиновниками или комиссіонерами, что влекло за собою усиленный расходъ и на прогоны, и на провозъ матеріала. Въ калужской губерніи обмундировка ратниковъ оказалась дурною, сапоги — сдѣланными изъ конины, а подошвы — изъ лубковъ; нѣчто подобное было найдено и при осмотрѣ костромскаго ополченія. Вообще слухи о дѣйствіяхъ губернскихъ комитетовъ были таковы, что для ихъ провѣрки министерство внутреннихъ дѣлъ нашлось вынужденнымъ командировать въ нѣкоторыя губерніи особыхъ чиновниковъ. Результатомъ этой мѣры явилось обнаруженіе многихъ злоупотребленій или по меньшей мѣрѣ крайней нераспорядительности, особенно по саратовской губерніи. Въ тверской губерніи комитетъ ополченія постановилъ, въ предупрежденіе возвышенія цѣнъ, неизбежнаго при общемъ заподрядѣ, произвести заготовку одежды въ каждомъ уѣздѣ отдѣльно, черезъ посредство уѣздныхъ предводителей; но вслѣдъ за этимъ большинство предводителей (участвовавшихъ въ постановленіи комитета), а также тверская палата государственныхъ имуществъ, сдали заготовку одному и тому же лицу — купцу Ветошкину. За обмундированіе каждаго ратника Ветошкину платилось 14 руб. 22 коп., между тѣмъ какъ за тѣ-же вещи для кадровыхъ нижнихъ чиновъ тотъ же Ветошкинъ, въ то-же самое время, получалъ по 9 руб. 95¹/₂ коп., т.-е. почти въ полтора раза меньше. А эта послѣдняя цѣна была назначена комиссаріатскимъ департаментомъ, репутація котораго, какъ охранителя казенныхъ интересовъ, слишкомъ хорошо извѣстна. Затѣмъ губернскій комитетъ вообще и предсѣдатель его — губернаторъ — въ особенности являются ревностными защитниками Ветошкина. Для разбора жалобъ на Ветошкина, приносимыхъ начальникомъ оштакковской дружины, посылаются губернаторомъ комиссіи, оправдывающія подрядчика; въ концѣ концовъ губернаторъ отвѣчаетъ начальнику дружины, что назначеніе новой комиссіи, въ виду безрезультатности прежнихъ, представляется

ненужнымъ. Начальникъ одной изъ кашинскихъ дружинъ отказывается принять ополченскіе армяки, какъ сдѣланные изъ коровьей шерсти; губернаторъ отвѣчаетъ, что это быть не можетъ, потому что армяки сдѣланы изъ армейскаго сукна (доказаннымъ, другими словами, признается именно то, что еще слѣдовало доказать). Начальникъ бѣжецкой дружины доноситъ, что полушубки для кадровыхъ нижнихъ чиновъ сдѣланы не изъ русскихъ, а изъ ордынскихъ овчинъ; губернаторъ отвѣчаетъ, что ордынскія овчины — тѣ-же русскія. Нѣчто подобное происходитъ и во владимірской губерніи, гдѣ обмундировку всего ополченія беретъ на себя, безъ торговъ, купецъ Никитинъ, городской голова и членъ губернскаго комитета ополченія. Цѣны, ему платимыя, также превышаютъ въ полтора раза цѣнность обмундирования мѣстныхъ кадровыхъ нижнихъ чиновъ... Въ снаряженіи ополченія злоупотребленій было меньше, потому что максимальныя цѣны были назначены здѣсь комиссаріатскимъ департаментомъ. Вотъ, однако, что мы читаемъ въ запискѣ Салтыкова о подвигахъ все того же тверскаго купца Ветошкина. Начальникъ новоторжской дружины доноситъ, что поставленные Ветошкинымъ ранцы и патронташи негодны; губернаторъ отвѣчаетъ, что они сдѣланы въ Москвѣ и подрядчикъ долженъ былъ принять ихъ тамъ въ настоящемъ ихъ видѣ, изъ опасенія ничего не получить. Начальникъ корчевской дружины сообщаетъ, что дерево на патронныхъ ящикахъ дало щели и краска отстала; губернаторъ предлагаетъ начальнику дружины задѣлать щели и окрасить ящики на счетъ экономическихъ суммъ дружины. Начальникъ бѣжецкой дружины доноситъ, что патронные ящики не имѣютъ замковъ, и лопасти для штыковыхъ ноженъ сдѣланы изъ горѣлой кожи. Губернаторъ отвѣчаетъ, что замки нужно изготовить на счетъ экономическихъ суммъ дружины, а лопасти слѣдуетъ принять, потому что онѣ были свидѣтельствованы комитетомъ и найдены хорошими. По врачебной части достаточно отмѣтить слѣдующее общее заключеніе Салтыкова: „не смотря на принятія правительствомъ мѣры, врачебная часть въ ополченіи почти не существовала“.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что съ нѣкоторыми закулисными сторонами снаряженія и обмундированія ополченскихъ дружинъ Салтыковъ имѣлъ случай познакомиться еще въ Вяткѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть „Тяжелый годъ“, написанный во время послѣдней восточной войны, но относящійся къ эпохѣ крымской кампаніи („Благонамѣренныя рѣчи“, стр. 590). Мы видимъ здѣсь картину заholустья, въ верхнихъ слояхъ котораго народное бѣдствіе отражается только все болѣ-

шимъ и большимъ обостреніемъ хищническихъ аппетитовъ. Пока дѣло ограничивается учащенными и усиленными рекрутскими наборами, около него хлопчуть и грѣютъ руки предсѣдатель казенной палаты, управляющій палатой государственныхъ имуществъ, командиръ батальона внутренней стражи, совѣтникъ ревизскаго отдѣленія; когда приходитъ вѣсть о созывѣ государственнаго ополченія, движеніе захватываетъ самого губернскаго „патріарха“, до тѣхъ поръ довольствовавшася добровольными даяніями, въ видѣ рыбы, икры, миндаля, изюму, и т. п. „Патріархъ“ прозрѣлъ окончательно. Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы. — Ни беспокойныхъ людей, ни критиковъ я не потерплю — сказалъ онъ. — Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а потому и операціи въ немъ обширныя. И притомъ въ самоскорѣйшемъ времени. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую комиссію (припомнимъ мнѣніе тверскаго губернатора о безполезности комиссій). А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ (припомнимъ, почему начальнику новоторжской дружины рекомендовалось принять куда негодные ранцы и патронташи). Не критиковать надобно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а аммуничныя вещи въ особенности. Одинъ ратницкій сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой — до первой станціи (припомнимъ калужскія подметки изъ дубковъ). Никакая критика въ этомъ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ, и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ критика не установилъ“. Правда, вождельніа крутогорскаго „патріарха“ остались втунѣ — но это произошло совершенно независимо отъ его воли, просто потому, что нашелся другой хищникъ, болѣе смѣлый и болѣе ловкій (управляющій палатой государственныхъ имуществъ). „Неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Весь мало-мальски смышленный людъ заволновался. Всякій сгнѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобъ нѣчто урвать, утаить, ушить, укроить и вообще, по силѣ возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. Нашъ тихій городъ словно опалѣлъ. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о воеводѣ Пальмерстонѣ. Безсознательно, но тѣмъ не менѣе беспо-

падно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстахъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго — все потянулось въ ополченіе“ (припомнимъ „личный наемъ“ — во владимірскомъ ополченіи, составъ офицеровъ — въ московскомъ). Какъ глубоко запало въ душу Салтыкова печальное зрѣлище толпы, эксплуатирующей государственную невзгоду, объ этомъ можно судить и по слѣдующему отрывку изъ „Отголосковъ“, также написанному во время послѣдней восточной войны („Въ средѣ умѣренности и аккуратности“, стр. 483): „я помню очень многое, и между прочимъ 1853—55 годы. Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одоlvваемыхъ простымъ долгоязычіемъ, и людей, пользовавшихся долгоязычіемъ, какъ подходящимъ средствомъ, чтобы запускать руеу въ карманъ ближняго или казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благона-мѣренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито бѣлыми нитками. И что всего ужаснѣе: не только не представлялось возможности обличить ихъ, но даже устраниваться, уйти отъ нихъ было нельзя“... На ловца, гласитъ поговорка, и звѣрь бѣжитъ; первое порученіе, данное Салтыкову по возвращеніи его изъ ссылки, показало ему наглядно, что „крутогорскіе“ обычаи и нравы существуютъ повсемѣстно, что „дворянскія“ губерніи ничѣмъ, въ этомъ отношеніи, не отличаются отъ „не-дворянскихъ“. Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что это усилило интен-сивность щедринской сатиры. Печатаая „Губернскіе Очерки“, Салтыковъ не только догадывался — онъ *зналъ*, что ведетъ борьбу съ общимъ, всероссійскимъ зломъ, глубоко проникшимъ въ чиновную и сословную почву.

Кромѣ свода распоряженій по призыву государственнаго опол-ченія, въ послужномъ спискѣ Салтыкова упомянуто только одно занятіе, возложенное на него (въ октябрѣ 1856 г.), какъ на чиновника особыхъ порученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ¹⁾: это — составленіе предположеній объ улучшеніи устройства земскихъ повинностей. Въ чемъ состояли эти предположенія — мы не знаемъ. На самомъ дѣлѣ Салтыковъ исполнялъ, по всей вѣ-роятности, и другія служебныя работы. Между его бумагами на-шлась черновая записка объ устройствѣ православныхъ церквей въ западныхъ губерніяхъ, относящихся, очевидно, именно ко вре-мени бытности его чиновникомъ особыхъ порученій. Основная мысль этой записки, написанной отъ имени министра внутреннихъ

¹⁾ Онъ былъ утвержденъ въ этой должности 6-го ноября 1857 г.

дѣль, заключается въ томъ, что понужденіе помѣщиковъ западнаго края къ постройкѣ или исправленію православныхъ храмовъ было бы несовмѣстно съ достоинствомъ правительства и православной церкви; увеличеніе числа храмовъ и приведеніе ихъ въ надлежащій видъ можетъ быть достигнуто только воззваніемъ къ добровольнымъ жертвователямъ изъ среды всего православнаго народа и устройствомъ, для сбора пожертвованій и распоряженія ими, особаго общества, съ центральнымъ управленіемъ въ Петербургѣ и отдѣленіями въ Москвѣ и во всѣхъ губернскихъ городахъ имперіи. Гораздо болѣе обширна и болѣе замѣчательна другая служебная записка, также сохранившаяся въ бумагахъ Салтыкова: объ устройствѣ градскихъ и земскихъ полицій. Съ содержаніемъ ея необходимо ознакомиться подробно.

„Въ Россіи, — такъ начинается Салтыковъ, — *благотворное* дѣйствіе полиціи почти незамѣтно; что касается до ея злоупотребленій и сопряженныхъ съ всеобщимъ ущербомъ вмѣшательствъ въ частные интересы, то они не только замѣтны, но оставляютъ по себѣ несомнѣнно весьма вредное впечатлѣніе. Всякій, кто не праздно жилъ въ провинціи и всматривался въ окружающія явленія, безъ труда пойметъ справедливость этого замѣчанія. Въ провинціи существуетъ не *дѣйствіе*, а произволъ полицейской власти, совершенно убѣжденной, что не она существуетъ для народа, а народъ для нея“. Послѣ этого характеристичнаго вступленія, иллюстраціей которому можетъ служить любая страница „Губернскихъ Очерковъ“, Салтыковъ подчеркиваетъ различіе между полиціей въ обширномъ смыслѣ, обнимающей собою всю сумму дѣйствія центральной власти на народъ, и полиціей въ тѣсномъ смыслѣ, составляющей особую отрасль государственной администраціи. Понимаемая въ обширномъ смыслѣ, полиція не поддается точному опредѣленію; она стремится подчинить себѣ всякое проявленіе жизни и не признаетъ законности ни въ чемъ, развивающемся самобытно. Понимаемая въ тѣсномъ смыслѣ, полиція имѣетъ задачей преслѣдованіе правонарушеній, въ сферѣ государственной, общественной и частной; ея характеръ — чисто репрессивный, она не заслоняетъ собою самобытной дѣятельности гражданъ, а, напротивъ, является къ ней на помощь, въ особенности если осуществленіе дѣйствія полиціи возложено на самихъ гражданъ. Область полицейской власти расширяется тамъ, гдѣ господствуетъ централизація, суживается тамъ, гдѣ преобладаетъ противоположное начало. Въ поясненіе этой мысли Салтыковъ ссылается на примѣръ Франціи и Англіи. Во Франціи правительство постоянно стремилось подчинить своему вліянію какъ

частные, такъ и общинные интересы народа. „Это не помѣшало ей, однакоже, въ теченіе 60 лѣтъ волноваться революціями. Мало того: можно безъ преувеличенія сказать, что централизація власти весьма сильно способствовала тому волненію умовъ, которое и донныѣ во Франціи не прекращается. Въ Англіи, гдѣ правительство ограничивается наблюденіемъ народной жизни, государственнѣй организмъ развивается безъ всякихъ потрясеній“. Могутъ возразить, что это объясняется развитіемъ въ англійскомъ народѣ чувства законности и консерватизма. Но чѣмъ же воспиталось это чувство? Не тѣмъ ли, что народъ всегда сознавалъ свою личность, свое право, что онъ никогда не былъ тѣмъ бездушнымъ и бессмысленнымъ субъектомъ, который правительство могло гнуть въ ту или другую сторону по усмотрѣнію? „Азбука всякой системы администраціи“, продолжаетъ Салтыковъ, „гласитъ, что предметомъ ея должно быть благо народное. Но понятіе объ этомъ благѣ, особливо въ государствахъ обширныхъ, весьма относительно и измѣняется сообразно съ условіями мѣстности, обычаевъ и т. д. Претензія подчинить всѣ мѣстности однимъ и тѣмъ же началамъ не значила ли бы то же, что уложить всѣ личности на Прокустово ложе?“ Въ особенности сильно значеніе мѣстнаго элемента проявляется въ обсужденіи интересовъ „земства“¹⁾, составляющихъ плоть и кровь мѣстности, касающихся каждаго ея обитателя. Правительство, по мнѣнію Салтыкова, не имѣетъ надобности навязывать земству такіе-то и такіе-то интересы, а не тѣ, которые стоятъ на первомъ планѣ у самого земства. Задача правительства ограничивается согласованіемъ мѣстныхъ интересовъ съ общегосударственными. Разительный примѣръ преобладанія центральной власти въ дѣлахъ чисто домашняго свойства представляетъ наше законодательство по вопросу о переложеніи натуральныхъ повинностей въ денежныя. Это переложеніе допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія высшей центральной власти. Почему? Потому что правительству извѣстна наклонность бюрократіи выискивать во всякомъ предписаніи закона такую сторону, которая давала бы пищу для злоупотребленій—а злоупотребленіямъ денежная повинность поддается еще легче, чѣмъ натуральная. Въ бытность

¹⁾ Выраженіе: *земство* можетъ возбудить мысль, что излагаемая нами записка Салтыкова составлена уже послѣ введенія земскихъ учрежденій. Опроверженіемъ этой мысли служить все содержаніе записки. Понятіе о *земствѣ* существовало у насъ и тогда, когда не было еще рѣчи о земскихъ учрежденіяхъ. Въ упомянутой выше запискѣ Салтыкова о православныхъ храмахъ въ западныхъ губерніяхъ идетъ рѣчь о *земствѣ* этихъ губерній, въ которыхъ, какъ извѣстно, земскихъ учрежденій никогда не было и нѣтъ въ настоящее время.

Салтыкова, въ 1854 г., въ пермской губерніи (по дѣламъ службы), онъ имѣлъ случай удостовѣриться, что сборъ съ казенныхъ крестьянъ денегъ на отправленіе ямской гоньбы, въ замѣнъ натуральной повинности, простирался, въ нѣкоторыхъ волостяхъ, до ужасной цифры 90 коп. сер. съ души ¹⁾—и за всѣмъ тѣмъ лошади все-таки выставались натурой, потому что подрядчикъ, пользуясь покровительствомъ начальства, содержалъ количество лошадей недостаточное. Гдѣ же, однако, источникъ подобныхъ явленій? Не въ томъ ли, что чиновники совершенно чужды интересамъ земства, на которое они смотрятъ какъ на *raus conquis*, какъ на средство покормиться? Совсѣмъ иной оборотъ приняло бы дѣло, еслибы забота о лучшемъ устройствѣ интересовъ земства лежала на немъ самомъ. Оно было бы заинтересовано въ бережливомъ отношеніи къ собственнымъ силамъ — а излишняя бережливость или скупость могла бы быть предупреждена внимательствомъ центральной власти. „Какая, напримѣръ, надобность требовать въ вятской губерніи, чтобы земскія лошади имѣли не менѣе 2 арш. 2 вер. роста, если мѣстная порода лошадей, славящаяся во всей имперіи своею крѣпостью и выносливостью, представляетъ такой ростъ лишь какъ исключеніе? И отчего сотскій или разсылный земскаго суда или окружного начальника, и даже сами эти вельможи не могутъ ѣхать въ легкомъ плетеномъ тарантасикѣ, имѣющемъ у каждаго крестьянина, а должны трястись въ обширной телѣгѣ, окрашенной зеленою краскою?... Какая существенная надобность государству знать, какъ я хозяйствую у себя дома, если я въ точности исполняю всѣ обязанности, лежащія на мнѣ какъ на гражданинѣ? То же замѣчаніе въ такой же степени вѣрно и по отношенію къ земству, съ тою только разницей, что хозяйство послѣдняго происходитъ, такъ сказать, при открытыхъ дверяхъ, и слѣдовательно не только правительству, но и всякому частному человѣку представляется полная возможность контроля“... Дальше Салтыковъ перечисляетъ главные неудобства административной централизаціи. Первое изъ нихъ—солидарность между высшимъ правительствомъ и его агентами, тогда какъ на самомъ дѣлѣ между министромъ внутреннихъ дѣлъ и какимъ-нибудь ставнымъ приставомъ нѣтъ ничего общаго. Отсюда безпрестанныя жалобы на правительство, которое будто бы не имѣетъ надзора за своими агентами, будто бы не преслѣдуетъ злоупотребле-

¹⁾ Чтобы понять значеніе этой дѣйствительно „ужасной“ цифры, необходимо припомнить, что болѣею частью ее не превышаетъ теперешній земскій сборъ, удовлетворяющій столь многочисленнымъ и разнообразнымъ потребностямъ крестьянскаго населенія.

ній и не печется объ искорененіи ихъ. Второе неудобство централизаціи заключается въ томъ, что она какъ бы стираетъ всѣ личности, составляющія государство. Вмѣшиваясь во всѣ мелочныя отправленія народной жизни, принимая на себя регламентацію частныхъ интересовъ, правительство тѣмъ самымъ какъ бы освобождаетъ гражданъ отъ всякой самобытной дѣятельности. Третьимъ неудобствомъ централизаціи Салтыковъ признаетъ обусловливаемое ею „существованіе массы чиновниковъ, чуждыхъ населенію и по духу, и по стремленіямъ, не связанныхъ съ нимъ никакими общими интересами, безсильныхъ на добро, но въ области зла являющихся страшною, развѣдающей силой. Гарантіей противъ злоупотребленій не можетъ служить даже матеріальная обезпеченность чиновниковъ. Многіе ли изъ губернаторовъ, напримеръ, не пользуются такъ-называемыми безгрѣшными доходами? Положительно можно сказать, что такіе губернаторы извѣстны по имени не только правительству, но и всей Россіи. Важно не содержаніе — важенъ произволъ, который слѣдуетъ, но нельзя обуздать, пока въ государствѣ существуетъ особый видъ пролетаріата, носящій оффиціальное имя чиновничества“. Четвертое зло, производимое централизаціей, есть то невѣденіе народныхъ нуждъ, въ которое она погружаетъ правительство. „Рапорты о благополучіи“ — необходимая принадлежность чиновничества, чуждаго населенію и равнодушнаго къ его потребностямъ. Исключеніе дѣлается только для тѣхъ предметовъ, которые, какъ извѣстно чиновникамъ, обращаютъ на себя особое вниманіе правительства. Примѣръ: раскольники. Въ отношеніи къ этимъ предметамъ все „неблагополучно“. „Пишутся донесенія, отъ чтенія которыхъ становится страшно; подумаешь, что пробылъ послѣдній часъ для государства. А ларчикъ открывается весьма просто: чиновнику нужно отличиться — онъ описываетъ все какъ ему хочется“.

Покончивъ съ централизаціей, „составляющей въ настоящемъ дѣлѣ главный вопросъ“, Салтыковъ переходитъ къ слѣдующимъ вопросамъ „второстепенной важности“: 1) должно ли устройство полиціи быть коллегіальнымъ; 2) слѣдуетъ ли подвергать агентовъ полиціи какимъ-либо требованіямъ и испытаніямъ въ отношеніи къ способностямъ ихъ и знанію дѣла; 3) возможно ли допустить въ самомъ духѣ полицейскихъ учрежденій элементъ предупредительный, или же слѣдуетъ дать ихъ дѣйствіямъ исключительно репрессивный характеръ; и 4) какія должны быть самыя формы, въ которыхъ имѣетъ проявляться дѣйствіе полиціи? По первому вопросу Салтыковъ находитъ, что и коллегія, и единоличная власть, имѣютъ свои выгоды и свои невыгоды. Самая лучшая си-

стема—та, которая соединяетъ хорошія стороны обоихъ порядковъ; но такое соединеніе возможно только при децентрализаци, когда коллегія является принадлежностью земства, а принципъ единого агента—принадлежностью центральной власти. *По второму вопросу* Салтыковъ признаетъ необходимымъ и теоретическое, и практическое испытаніе полицейскихъ чиновниковъ. Замѣною теоретическаго испытанія служить дипломъ учебнаго заведенія; степени образованія, удостовѣряемой дипломомъ, должно соответствовать и право на полученіе той или другой должности въ административной іерархіи. Обойтись безъ теоретической подготовки могутъ только низшіе полицейскіе чиновники. Практическимъ испытаніемъ должна быть безвозмездная служба, ограниченная опредѣленнымъ срокомъ. Чѣмъ шире роль, предоставленная земству, тѣмъ меньше чиновниковъ—тѣмъ легче, слѣдовательно, для правительства убѣждаться въ ихъ способности и благонадежности. *По третьему вопросу* Салтыковъ высказывается за необходимость предупредительнаго элемента въ полицейской дѣятельности, но лишь подъ условіемъ децентрализаци. Чиновникъ, живущій въ постоянномъ отдаленіи отъ народа, не имѣетъ ни средствъ, ни даже охоты заботиться о предупрежденіи правонарушеній. Мѣстность, которою онъ завѣдываетъ, извѣстна ему лишь поверхностно, въ общихъ чертахъ; сегодня онъ здѣсь, завтра—тамъ, и чѣмъ онъ способнѣе, тѣмъ быстрѣ переходитъ съ одного мѣста на другое. Расширеніе полицейской дѣятельности, при господствѣ централизаци, представляется не только непрактичнымъ, но и нежелательнымъ, потому что всякому агенту централизованной власти, даже при полной добросовѣстности его, свойственно стремленіе къ произволу. Здѣсь Салтыковъ затрогиваетъ попутно вопросъ о судѣ и является защитникомъ *суда общиннаго*, разумѣя подъ этимъ именемъ нѣчто весьма похожее на судъ присяжныхъ. Общественнымъ началомъ въ судѣ онъ дорожитъ до такой степени, что высказывается даже противъ предполагавшагося въ то время сліянія уѣздныхъ судовъ съ городскими магистратами ¹⁾. *По четвертому вопросу*, наконецъ, Салтыковъ требуетъ возможно большаго ограниченія письменной полицейской процедуры, возможно большаго развитія *матеріальной* дѣятельности, т.-е. реальной, а не бумажной охраны интересовъ, ввѣренныхъ заботливости полицейскихъ учреждений. Въ концѣ этого отдѣла записки, авторъ еще разъ предпринимаетъ

¹⁾ Уѣзднымъ судамъ, составленнымъ изъ представителей дворянства и крестьянства, было подсудно уѣздное населеніе; городскимъ магистратамъ, члены которыхъ выбирались горожанами—городское населеніе.

une charge à fond противъ централизаціи, сравнивая ея идею съ идеей учрежденія іезуитскаго ордена. „И тамъ и тутъ,—воскликаетъ онъ,—царствуетъ общее недовѣріе и пастырей къ паствѣ, и пастырей между собою. И тамъ, и тутъ все до такой степени искусственно, что не знаешь, чему болѣе удивляться: терпѣнію ли людей, которые придумали призрачную машину, не имѣющую никакихъ корней въ природѣ человѣческой, или долговѣчности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжаетъ и дондѣсь существовать и пользоваться правами гражданственности“.

Въ Россіи торжество централизаціи при Петрѣ Великомъ очень скоро принесло горькіе плоды и вызвало реакцію, признаки которой Салтыковъ видитъ уже въ преобразованіяхъ Екатерины. Чтобы смягчить крайности централизаціи, императрица предоставила извѣстныя права купечеству и дворянству; но это не привело къ желанной цѣли. „Дворянство, въ сословномъ его значеніи, уже не существовало: оно слилось съ чиновничествомъ и приняло всѣ его формы“. О серьезномъ значеніи купечества тѣмъ болѣе не могло быть и рѣчи. Развитію административныхъ мѣръ Екатерины много препятствовало и то обстоятельство, что онѣ были слишкомъ исключительно сословныя. Преемники Екатерины не продолжали начатаго ею дѣла, и оно заглохло въ тинѣ постепенно расширяющейся централизаціи. „Настоящее положеніе полицейскаго управленія въ Россіи представляетъ поучительную, но крайне грустную картину. Это какое-то странное смѣшеніе произвола и дисциплины, хаоса и регламентаціи“. Истинной централизаціи въ Россіи нѣтъ, потому что она предполагаетъ ясно сознательную государственную идею—а у насъ интересы государства непонятны не только для станovýchъ приставовъ, но даже и для многихъ губернаторовъ. Въ Россіи существуютъ лишь попытки къ централизаціи, выражающіяся въ преобладаніи произвола и въ невозможности самобытнаго развитія народныхъ силъ. Кругъ дѣйствій полиціи несоразмѣрно великъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не опредѣленъ съ достаточною ясностью; общая полиція безпрепятственно сталкивается съ спеціальными (въ примѣръ этому Салтыковъ приводитъ дорожное дѣло: общая полиція настаиваетъ на немедленномъ исправленіи дороги, не принимая въ расчетъ никакихъ побочныхъ обстоятельствъ—окружной начальникъ, облеченный полицейскою властью по отношенію къ государственнымъ крестьянамъ, противопоставляетъ этому требованію хозяйственныя нужды крестьянъ, въ данную минуту не оставляющія имъ досуга для починки дороги). Наши коллегіальныя присутствен-

ныя мѣста (губернскія правленія, земскіе суды) представляютъ собою пародію на коллегію въ истинномъ смыслѣ этого слова; все зависитъ здѣсь отъ усмотрѣнія одного лица, „наставленія“ котораго равносильны предписаніямъ. Отдѣльные агенты правительства сплошь и рядомъ могутъ быть названы его врагами, потому что ежечасно подрываютъ довѣріе къ нему народа. Въ видѣ иллюстраціи Салтыковъ ссылается на положеніе слѣдственной части, отличительная черта которой—необузданный произволъ слѣдователя. „Бюрократія,—воскликаетъ онъ,—до того уже охватила всѣ формы русской жизни, что благонамѣренному чиновнику ничего не остается болѣе дѣлать, какъ заняться перепискою бумагъ“. Другое зло нашей административной жизни—это крайнее размноженіе переписки. Салтыковъ объясняетъ его двумя главными причинами: раздробленіемъ властей, изъ которыхъ каждая, считая себя чѣмъ-то независимымъ, стремится защищать свой взглядъ и отстаивать свои мнимыя права, и несоразмѣрностью штатовъ съ числомъ и значеніемъ предметовъ, составляющихъ кругъ дѣйствій извѣстнаго мѣста или лица. Если штатъ слишкомъ великъ, чиновники стараются доказать свою необходимость и напрасно плодятъ переписку; если штатъ слишкомъ малъ, они плодятъ ее для того, чтобы сбросить съ себя часть непосильнаго бремени, зачисливъ какъ можно больше дѣлъ за постороннимъ вѣдомствомъ. Основываясь на собственномъ опытѣ, Салтыковъ осмѣиваетъ практику ревизіонныхъ столовъ губернскихъ правленій, рассылающихъ ежегодно десятки тысячъ никому не нужныхъ и ни къ чему не ведущихъ подтвержденій. „Что дѣлаютъ совѣтники губернскаго правленія? А если совѣтники дѣльные, то чѣмъ занимаются секретари ихъ отдѣленій? По большей части или тѣ, или другіе, а часто и оба вмѣстѣ—люди древніе, доживающіе свой вѣкъ подъ сѣнію коллегіи, дающей имъ возможность, ничего не дѣлая, состоять на службѣ. Надобно прочесть любой журналъ губернскаго правленія, чтобы убѣдиться въ томъ, что весь онъ—результатъ работы писца, его перебѣлывшаго. Работа столоначальника заключается въ томъ только, что онъ на подлинныхъ бумагахъ обозначаетъ, съ которыхъ поръ до которыхъ слѣдуетъ переписать. Изъ этого происходитъ галиматья неописанная. Встрѣчаются мѣста, которыхъ никакими силами понять нельзя, а *приказали*, т. е. то мѣсто, въ которомъ должна выразиться самобытная дѣятельность коллегіи, бываетъ, по выраженію народному, короче утиного носа и обыкновенно выражается въ словахъ: *о содержаніи справки дать знать та-*

кому-то, или: *предписать такому-то, чтобы поступил на законномъ основаніи*“.

Изъ всѣхъ приведенныхъ нами фактовъ и соображеній Салтыковъ выводитъ заключеніе о необходимости общаго переустройства губернской и уѣздной администраціи—но, оставаясь въ предѣлахъ возложенной на него задачи, онъ говоритъ болѣе подробно только о преобразованіи полиціи. Прежде всего ему кажется излишнимъ обособленіе полиціи земской (т.-е. уѣздной) отъ полиціи городской; отдѣльная городская полиція должна быть оставлена только въ большихъ городахъ. Дальше онъ предлагаетъ совершенно отдѣлить полицію исполнительную отъ судной и слѣдственной и передать первую въ вѣденіе земства. Организацию земства Салтыковъ представляетъ себѣ такъ. Образуется уѣздный земскій совѣтъ, изъ девяти членовъ: трехъ—по выбору дворянства, трехъ—по выбору городского сословія, трехъ—по выбору казенныхъ крестьянъ (припомнимъ, что записка Салтыкова относится ко времени, предшествующему отмѣнѣ крѣпостного права). Этотъ сословный составъ совѣта рекомендуется Салтыковымъ не какъ наилучшій (наоборотъ, сословная организація кажется ему противорѣчащей интересамъ массы), а какъ наиболѣе соотвѣтствующій тогдашней дѣйствительности; на этомъ же основаніи предсѣдательство въ совѣтѣ возлагается имъ на уѣзднаго предводителя дворянства. Характеръ занятій совѣта не долженъ быть исключительно полицейскій, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и даже преимущественно, административный; совѣтъ долженъ замѣнить собою всѣ нынѣ существующія уѣздныя административныя учрежденія. Ему должно принадлежать обсужденіе всѣхъ мѣръ по общему управленію уѣздомъ и городомъ, по устройству повинностей, развитію торговли и промышленности, наблюденію за правильнымъ ихъ производствомъ, *учрежденію школъ*, охраненію тишины и спокойствія и т. п. Разъѣздовъ члены совѣта не должны предпринимать, и общее присутствіе совѣта должно быть созываемо только извѣстное число разъ въ году, когда это не можетъ быть для членовъ совѣта обременительнымъ. Въ прочее время года совѣтъ можетъ дѣйствовать въ уменьшенномъ составѣ. Содержаніе, низшая цифра котораго должна быть опредѣлена закономъ, члены совѣта получаютъ отъ своихъ сословій. Въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ постановленія совѣта исполняются волостными и сельскими управленіями; что касается до помѣщичьихъ имѣній, то они раздѣляются на группы, и для каждой группы избирается дворянами особый полицейскій начальникъ, исполняющій постановленія совѣта и производящій судно-полицейское раз-

бирательство. Городъ раздѣляется на участки, и въ каждый участокъ опредѣляется полицейскій начальникъ, по выбору городского общества. Правительство, съ своей стороны, назначаетъ въ каждый уѣздъ стряпчаго и нѣсколькихъ его помощниковъ; первый присутствуетъ въ засѣданіяхъ совѣта; послѣдніе производятъ слѣдствія, при участіи депутата отъ сословія, къ которому принадлежитъ обвиняемый. По дѣламъ, касающимся интересовъ государства, голосъ стряпчаго обязательнъ для совѣта; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ его мнѣнія имѣютъ только „руководительное“ значеніе. Права и обязанности земскаго совѣта, а также подчиненныхъ ему мѣстъ и лицъ, должны быть со всею точностью опредѣлены закономъ. Протоколы и резолюціи земскаго совѣта (протоколы—по общимъ вопросамъ, резолюціи—по частнымъ дѣламъ) должны быть излагаемы просто и ясно. „Справки должны быть въ головѣ у присутствующихъ, и потому нѣтъ надобности наполнять ими цѣлыя десятки листовъ“. Сношенія стряпчаго съ совѣтомъ происходятъ на словахъ. У полицейскихъ начальниковъ переписка должна быть самая ничтожная. Заканчивается записка такъ: „Предположенія, высказанныя здѣсь лишь въ общихъ чертахъ, необходимо должны уясниться при болѣе подробномъ развитіи ихъ. Порученіе, возложенное на меня, сопряжено съ большимъ трудомъ и требуетъ много самыхъ разнообразныхъ работъ и разысканій. По мнѣнію моему, оно должно обнять слѣдующія главныя части: 1) Обзоръ всѣхъ предположеній, собранныхъ по настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ по этому предмету. Эти предположенія составляютъ четырнадцать огромныхъ томовъ. 2) Обзоръ, по источникамъ, отечественнаго законодательства, какъ по самому устройству полицій, такъ и по опредѣленію ихъ обязанностей. Обзоръ сіе должно быть сдѣлано во всей подробности и снабжено критическимъ взглядомъ. Для достиженія сей послѣдней цѣли представляется необходимымъ изъ ревизіи нѣкоторыхъ земскихъ судовъ и градскихъ полицій убѣдиться практически, какимъ образомъ приводятся въ исполненіе на мѣстахъ предписанія закона. 3) Критическій обзоръ законодательствъ главнѣйшихъ государствъ Европы по этому дѣлу. Эта часть труда необходима не для того, чтобы рабски слѣдовать, въ новомъ уставѣ, примѣру иностранныхъ государствъ, но для того, чтобы, при сообщеніи сему дѣлу дальнѣйшаго хода, оно могло отвѣчать на всѣ вопросы. 4) Наконецъ, самый проектъ полицейскаго устава, который долженъ быть, безъ сомнѣнія, не что иное, какъ логическій результатъ предшествующихъ трехъ частей труда“.

Такова любопытная записка, представляющая Салтыкова въ новой для насъ роли административнаго реформатора. Мы предполагали сначала, что она составлена въ 1860 г., когда Салтыковъ, будучи рязанскимъ вице-губернаторомъ (онъ назначенъ на эту должность 6-го марта 1858 г.), участвовалъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, въ занятіяхъ учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ комиссіи о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ. Ближайшее знакомство съ запиской привело насъ къ другому заключенію; мы думаемъ, что она написана раньше, еще въ бытность Салтыкова чиновникомъ особыхъ порученій. Въ ней нѣтъ и намека на предстоящее освобожденіе помѣщичьихъ крестьянъ, — а это едва ли было бы возможно въ 1860 г., наканунѣ отмѣны крѣпостнаго права; нѣтъ также никакихъ указаній на преобразование слѣдственной части, состоявшееся въ 1860 г. (учрежденіе судебныхъ слѣдователей). Вездѣ, гдѣ Салтыковъ ссылается на собственный свой служебный опытъ, онъ говоритъ только о вятской губерніи, только о должности совѣтника губернскаго правленія; о рязанской губерніи въ запискѣ вовсе нѣтъ рѣчи; о должности вице-губернатора сказано лишь нѣсколько словъ. Работу, предназначенную для комиссіи *о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ*, Салтыкову не зачѣмъ было бы, наконецъ, искусственно замыкать въ тѣсныя рамки вопроса о земскихъ и градскихъ полиціяхъ. Если наша догадка о времени составленія записки основательна, то этимъ объясняется многое въ ея содержаніи — напримѣръ, соединеніе полицейской и судебной власти, по отношенію къ помѣщичьимъ имѣніямъ, въ рукахъ полицейскаго начальника, избираемаго дворянствомъ. При существованіи крѣпостнаго права такое учрежденіе было бы несомнѣннымъ шагомъ впередъ, потому что замѣнило бы, до известной степени, произволъ помѣщика болѣе или менѣе правомѣрною дѣятельностью должностнаго лица, подчиненнаго всеословному земскому совѣту... Чѣмъ раньше составлена записка, тѣмъ больше она заслуживаетъ удивленія. И въ 1860 году немного было должностныхъ лицъ, способныхъ и готовыхъ говорить, въ формальной служебной бумагѣ, такъ рѣшительно и такъ откровенно, какъ говоритъ авторъ записки. Еще меньше, конечно, ихъ было за два или три года передъ тѣмъ, когда только что начиналась новая эра. Безпощаднаго анализа системы, едва поколебленной и официально еще не осужденной, всего труднѣе было ожидать отъ молодого чиновника, только-что вернувшагося изъ продолжительной ссылки и занимавшаго весьма скромное положеніе въ административномъ мірѣ. Салтыковъ не остановился

передъ соображеніями личной безопасности и личной выгоды; получивъ возможность высказаться, онъ воспользовался ею широко и смѣло. Оружіемъ ему послужили и личный служебный опытъ, и теоретическія знанія, прибрѣтенныя имъ во время вынужденныхъ вятскихъ досуговъ. Первый помогъ ему нарисовать вѣрную картину дѣйствительности; въ послѣднихъ онъ почерпнулъ масштабъ для критики и исходную точку для преобразовательнаго плана. Разсужденія о вредѣ административной централизаціи, конечно, не составляютъ авторской собственности Салтыкова, но ему принадлежитъ честь примѣненія ихъ къ русской жизни, подтвержденія ихъ данными, взятыми изъ прошедшаго и настоящаго Россіи. Многое въ запискѣ Салтыкова не устарѣло до сихъ поръ, какъ потому, что уцѣлѣли нѣкоторые изъ тогдашнихъ учреждений (напримѣръ — губернскія правленія), нѣкоторые изъ тогдашнихъ обычаевъ (канцелярскія отписки, доклады, составляемые съ помощью отмытокъ: отъ А до Б), такъ и потому, что далеко не во всемъ измѣнился общій духъ администраціи... Въ самомъ проектѣ реформы, набросанномъ Салтыковымъ, есть, конечно, очевидныя ошибки — очевидныя *теперь*, при свѣтѣ всего совершившагося въ продолженіе трехъ послѣднихъ десятилѣтій; но въ главномъ, общемъ, цѣли и пути указаны Салтыковымъ совершенно вѣрно, и рано или поздно могутъ осуществиться нѣкоторые изъ его желаній. Къ ошибкамъ слѣдуетъ отнести, какъ намъ кажется, предположенія Салтыкова о составѣ земскаго совѣта, слишкомъ малочисленномъ для учрежденія обсуждающаго, слишкомъ многочисленномъ для учрежденія исполняющаго. Земскій совѣтъ, проектируемый Салтыковымъ — это въ одно и то же время и земское собраніе, и земская управа; именно потому онъ не могъ бы быть какъ слѣдуетъ ни тѣмъ, ни другимъ. Не вполне ясно и послѣдовательно установлено также у Салтыкова различіе между полиціей благоустройства и полиціей безопасности. Чрезвычайно плодотворной является, зато, мысль объ объединеніи всего уѣзднаго управленія, совершенно упущенная изъ виду въ эпоху великихъ реформъ, всплывшая на верхъ въ земскихъ проектахъ восьмидесятихъ годовъ, но до сихъ поръ не проведенная въ дѣйствительность. Не менѣе цѣнно и то, что это объединеніе приурочивалось Салтыковымъ къ *земской* почвѣ; отношеніе между земствомъ и центральною властью понималось имъ именно такъ, какъ оно рисуется лучшими представителями современнаго государственнаго права.

Мы уже сказали, что въ мартѣ 1858 г. Салтыковъ былъ назначенъ разанскимъ вице-губернаторомъ. 3-го апрѣля 1860 г.

онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тверь и нѣсколько разъ исполнялъ тамъ обязанности губернатора. Служебная дѣятельность не мѣшала Салтыкову отдавать много времени литературѣ. Въ 1857 г. окончилось появленіе „Губернскихъ Очерковъ“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и вслѣдъ затѣмъ они вышли въ свѣтъ особой книжкой; въ томъ же году Салтыковъ напечаталъ еще нѣсколько произведеній, отчасти вошедшихъ, отчасти не вошедшихъ въ полное собраніе его сочиненій. Къ послѣдней категоріи принадлежатъ комедія: „Смерть Пазухина“ („Русскій Вѣстникъ“, № 19) и „Женихъ“, картина провинціальныхъ нравовъ („Современникъ“, № 10). Въ 1858 и 1859 г. произведенія Салтыкова появлялись въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, „Атенеѣ“, „Современникѣ“, „Библіотекѣ для Чтенія“ и „Московскомъ Вѣстникѣ“; почти все написанное имъ за это время вошло въ составъ „Невинныхъ разсказовъ“. Съ 1860 г. Салтыковъ становится постояннымъ сотрудникомъ „Современника“; изъ другихъ ежемѣсячныхъ журналовъ только „Время“ (1862 г., №№ 4 и 9) получаетъ отъ него нѣсколько сценъ и разсказовъ, перепечатанныхъ, впоследствии, въ „Сатирахъ въ прозѣ“. Совершенно забыты, въ настоящее время, небольшія публицистическія статьи, помѣщенные Салтыковымъ, за его подписью, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 г. (редакторомъ этой газеты былъ въ то время В. Θ. Коршъ, двумя годами позже сдѣлавшійся редакторомъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“); онѣ не попали въ „Библіографическій очеркъ литературной дѣятельности Салтыкова“, напечатанный въ № 7 „Русской Мысли“ 1889 г. А между тѣмъ онѣ заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія. Мы изложимъ содержаніе ихъ по находящимся въ нашихъ рукахъ черновымъ рукописямъ Салтыкова. Первая изъ нихъ, въ рукописи озаглавленная: „Къ крестьянскому дѣлу“, въ печати — „Объ истинномъ значеніи недоразумѣній по крестьянскому дѣлу“, появилась въ свѣтъ весьма скоро послѣ обнародованія положеній 19-го февраля. Она имѣетъ двоякую цѣль: раскрыть главный источникъ замѣшательствъ и волненій, неизбѣжныхъ въ началѣ новаго фазиса народной жизни, и указать лучшее средство къ ихъ предупрежденію. „Представьте себѣ—такъ начинается авторъ — бѣднаго петербургскаго чиновника, который, въ теченіе тридцати и болѣе лѣтъ своей службы, ежедневно прохаживался изъ Галерной Гавани въ тотъ департаментъ, гдѣ имѣлъ честь состоять писцомъ, и который давнымъ давно забылъ мечтать о томъ, что есть на свѣтѣ мѣста помощниковъ столоначальника, дающія возможность износить въ годъ лишнюю пару сапоговъ; предположите, что этотъ забытый и загнанный судьбою человекъ

совсѣмъ неожиданно получаетъ извѣстіе о доставшемся ему миллионномъ наслѣдствѣ. Какъ поступить, какъ поведетъ себя нашъ труженикъ? Прежде всего, думаю я, онъ не повѣритъ полученному извѣстію, и сомнѣнія его разсѣются уже тогда, когда объявляющій ему эту вѣсть квартальный поручикъ назоветъ его сіятельствомъ и поцѣлуетъ у него руку. Потомъ онъ сочтетъ первымъ долгомъ нагробить своему столоначальнику и не встать съ мѣста при появленіи начальника отдѣленія. Потомъ онъ примется переписывать брошенную ему на столъ бумагу, но работа будетъ идти худо и не споро, и онъ, не кончивъ ея, сѣѣжитъ изъ департамента въ свою любезную Гавань. Тамъ онъ закричитъ благимъ матомъ, созоветъ товарищей своего прежняго безотраднago существованія и учинить дебошъ. Я даже не прочь отъ мысли, что онъ напьется пьянъ и что-нибудь напаскудитъ мимоходомъ". Безспорно, было бы лучше, еслибы счастливецъ поступилъ иначе—сходилъ въ храмъ Божій, потомъ въ баню, испросилъ у добрыхъ начальниковъ отпускъ для устройства домашнихъ дѣлъ, и т. д.; но вѣдь въ жилахъ его течетъ кровь, сердце у него заиграло отъ радостной вѣсти, а въ такомъ настроеніи естественно и даже законно „подпрыгнуть до потолка и показать, въ нѣкоторомъ родѣ, языкъ своему прошедшему". Съ положеніемъ внезапно разбогатѣвшаго чиновника имѣетъ много общаго положеніе крестьянъ, только-что выслушавшихъ добрую вѣсть о свободѣ. Возможно ли, чтобы эта вѣсть не потрясла ихъ до глубины души, чтобы при полученіи ея они сохранили все благоразуміе, все хладнокровіе? „Конечно, было бы весьма пріятно слышать, что они, одѣвшись въ синіе армяки или праздничные сарафаны, вышли на улицу и стали кроткимъ манеромъ играть хороводы, а потомъ спокойно разошлись по домамъ, съ тѣмъ, чтобы на другой день благоправно приняться за исполненіе старыхъ обязанностей. Но увь! какъ ни соблазнительна подобнаго рода идиллія, она едва ли возможна. Всякій благоразумный помѣщикъ пойметъ, что крестьянину, преисполненному новымъ для него чувствомъ свободы и довольства, трудно воздержаться отъ того, чтобы даже не поприередничать малость". А между тѣмъ выскиваются люди, предъявляющіе къ крестьянамъ неисполнимыя требованія. Они ужасно волнуются при мысли, что душою крестьянина чувство благодарности за дарованныя права владѣетъ не всецѣло. Отсюда тѣ дикіе вопли, которые нерѣдко слышатся въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ; отсюда неистовыя воззванія къ насилию, какъ единственному убѣжищу противъ черной неблагодарности и единственному средству для насажденія надлежащихъ чувствъ въ

черствой душѣ крестьянина. Обычнымъ орудіемъ такого насилія являются „полицейскія мѣры“—и именно противъ нихъ съ особенною силою возстае Салтыковъ. Онъ желалъ бы, чтобы въ „недоразумѣнія“ между помѣщиками и крестьянами вовсе не вмѣшивалась полиція, предоставляя разрѣшеніе ихъ исключительно новымъ крестьянскимъ учрежденіямъ. Отъ послѣднихъ Салтыковъ ожидаетъ образа дѣйствій, свободнаго отъ старыхъ административныхъ традицій. „Не на завладѣніе ферулой, а на исторженіе ея изъ рукъ прочихъ административныхъ мѣстъ и на преданіе ея всенародно сожженію, должно быть обращено ревнивое вниманіе крестьянскихъ учреждений“. Главная ихъ задача—„толковое и терпѣливое разъясненіе крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей“; необходимо также устранять „излишнія и стѣснительныя для крестьянъ требованія помѣщиковъ“, запрещенныя закономъ даже во времена крѣпостного права и еще менѣе допустимыя послѣ освобожденія крестьянъ. На степень безпорядка, неповиновенія, противодѣйствія слишкомъ часто, притомъ, возводятся такіе поступки крестьянъ, которые вовсе не имѣютъ этого характера. „Какая-нибудь ключница Мавра донесетъ барынѣ, что дядя Корнѣй, лежа на печи, бормоталъ: вы-ста, да мы-ста—вотъ ужъ и злоумышленіе. Какой-нибудь староста Акимъ подольстится къ барынѣ, что у насъ-де, сударыня, давеча Васька-скоть на всю сходку оралъ: а пойдѣмте-ка, братцы, къ барынѣ, пускай она водки намъ поднесетъ—вотъ ужъ и бунтъ! Васька-скоть летитъ въ станovou квартиру, а дядя-Корнѣй записывается въ книжечку, какъ будущій зачинщикъ и подстрекатель. Кстати о зачинщикахъ. Одна дама спрашивала нѣкотораго глубокомысленнаго администратора, хвалившагося, что онъ въ такомъ-то случаѣ взялъ столько-то зачинщиковъ и поступилъ съ ними по всей строгости (есть такіа плоскодонныя головы, которыя и этимъ хвалятся!):—скажите, пожалуйста, какимъ образомъ вы умѣете отличить зачинщиковъ?—Администраторъ вытаращилъ глаза и повидимому изумился, какъ это ему никогда не приходило въ голову подобный вопросъ. — Вы, можетъ быть, отличаете ихъ по волосамъ: одинъ разъ зачинщики—бѣлокурые, другой разъ—брюнеты?—Администраторъ побагровѣлъ отъ злости, но удовлетворительнаго отвѣта не далъ. Увы! я и самъ до сихъ поръ не знаю, какіе отличительные наружные признаки зачинщика. Мнѣ все сдается, что зачинщикъ—время, и что его-то именно и слѣдуетъ подвергнуть полицейскому взысканію. Очень можетъ быть, что я ошибаюсь“... Возможность исключительныхъ случаевъ, вызывающихъ полицейскія мѣры, Салтыковъ признаетъ, но думаетъ, что

они почти всегда могли бы быть предупреждены *своевременнымъ* увѣщаніемъ и соглашеніемъ. Въ самомъ своемъ началѣ безпорядковъ можетъ быть прекращенъ гораздо легче, чѣмъ тогда, когда онъ уже успѣлъ, такъ сказать, организоваться. Конечно, услѣдить за чуть примѣтными зачатками беспокойства довольно трудно; но власть не для того существуетъ, чтобы дѣйствовать спустя рукава. Отвѣтственности за безпорядки должны подлежать, поэтому, не только крестьяне, но и учрежденія или лица, допустившія развитіе безпорядковъ. Салтыковъ вполне убѣжденъ, что даже и въ серьезныхъ случаяхъ мѣры, не выходящія изъ предѣловъ законности, принесутъ пользу несравненно болѣе дѣйствительную и прочную, чѣмъ мѣры „экстренныя“. Впечатлѣнія, вызванныя употребленіемъ силы, болѣе интенсивны, но менѣе продолжительны. Самая медленность законной процедуры имѣетъ свою хорошую сторону, потому что даетъ раздраженію время притупиться, а лицу дѣйствующему противъ этого раздраженія позволяетъ оглядѣться и приступить къ искорененію зла съ полнымъ знаніемъ его сущности... Въ заключеніе Салтыковъ высказывается за гласность засѣданій губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій и за доведеніе особыхъ мнѣній, подаваемыхъ членами этихъ присутствій, до свѣденія центральной власти.

Непосредственнымъ продолженіемъ этой статьи является небольшая замѣтка, посвященная специально членамъ отъ дворянства въ губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіяхъ ¹⁾. На нихъ въ особенности разсчитываетъ Салтыковъ для достиженія цѣлей, указанныхъ имъ раньше—для разъясненія крестьянамъ ихъ правъ и обязанностей и для предупрежденія „недоразумѣній“, изъ которыхъ возникаютъ „безпорядки“. Въ появленіи ихъ на мѣстѣ Салтыковъ видитъ одну изъ гарантій противъ ненавистныхъ ему полицейскихъ мѣръ. „Дѣйствіе полиціи, какъ оно до сихъ поръ представлялось въ понятіяхъ народа, есть нѣчто не только не успокоивающее, но даже производящее результаты совершенно противоположныя... То, въ чемъ полицейская власть видитъ неповиновеніе или сопротивленіе закону, въ глазахъ добросовѣстнаго члена губернскаго присутствія можетъ принять характеръ событія, коего основа лежитъ, быть можетъ, въ неясномъ пониманіи обязанностей съ одной стороны, а быть можетъ и въ стараніи удержаться на прежней почвѣ произвола—съ другой“.

¹⁾ Такихъ членовъ въ каждомъ губернскомъ присутствіи было четыре: двое—по назначенію министра внутреннихъ дѣлъ, двое—по выбору собранія губернскаго и уѣздныхъ предводителей.

Слѣдующая замѣтка Салтыкова: „Объ ответственности мировыхъ посредниковъ“, помѣщенная въ № 91 „Московскихъ Вѣдомостей“ (все за тотъ же 1861 г.), написана по поводу статьи Ржевскаго (довольно извѣстнаго, въ свое время, сторонника консервативно-дворянской партіи): „Нѣсколько словъ о дворянствѣ“, напечатанной въ № 11 „Нашего Времени“. Статья Ржевскаго, насколько она касалась мировыхъ посредниковъ, была проникнута полнѣйшимъ, безграничнымъ оптимизмомъ. Авторъ не сомнѣвался въ безусловной пригодности новыхъ должностныхъ лицъ къ возложенному на нихъ дѣлу; онъ не допускалъ даже и мысли, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ употребить во зло независимое положеніе, предоставленное имъ закономъ. Салтыковъ не раздѣляетъ этого прекраснодушія. Онъ напоминаетъ, что въ Россіи еще слишкомъ крѣпка привычка смотрѣть на всякую должность не столько съ точки зрѣнія обязанностей, съ нею сопряженныхъ, сколько съ точки зрѣнія доставляемыхъ ею личныхъ выгодъ. Слишкомъ мало распространена въ средѣ дворянства подготовка къ серьезному труду, къ пониманію крестьянскихъ интересовъ. Не даромъ наша литература изображала помѣщиковъ либо самодурами, либо неумѣлыми мечтателями; соединеніе добрыхъ намереній съ умѣньемъ проводить ихъ въ жизнь встрѣчается у насъ весьма рѣдко; помѣщики въ родѣ Костанжогло существуютъ только на бумагѣ. Слишкомъ велико, наконецъ, значеніе „рекомендацій“, слишкомъ много рекомендующихъ и рекомендуемыхъ. „Не дремлетъ Матрена Ивановна, не дремлетъ статскій совѣтникъ Стрекоза—и та, и другой неустанно строчать рекомендательныя письма. Первая рекомендуетъ своего protégé по причинѣ *comme il faut*, второй своего—за скромность. Матрена Ивановна—хорошая женщина, отличные подаются у нея пироги за обѣдомъ; Стрекоза припоминаетъ въ письмѣ о пріятныхъ минутахъ, тогда-то вмѣстѣ проведенныхъ. Согласитесь, что какъ-то трудно, неловко отвѣчать отказомъ на такое въ душу лѣзущее приставанье“. Въ виду всего этого трудно думать, чтобы выборъ въ мировые посредники всегда и вездѣ былъ безупреченъ. И у нихъ могутъ быть слабости, коррективомъ которыхъ должна служить строгая ответственность. Независимому положенію мировыхъ посредниковъ Салтыковъ сочувствуетъ вполне, но протестуетъ противъ смѣшенія независимости съ безответственностью. Законъ „оградилъ мировыхъ посредниковъ отъ придирчивости вліянія мѣстной власти на дѣйствія ихъ и убѣжденія, но не снялъ съ нихъ ответственности за послѣдствія тѣхъ и другихъ“. Иначе въ дѣятельности мировыхъ посредниковъ сталъ бы господствовать тотъ же произволъ,

какимъ отличалась у насъ до тѣхъ поръ вся дѣятельность администраціи. Правда, привлечь мирового посредника къ отвѣту можетъ только сенатъ—но возбудить вопросъ о такомъ привлеченіи зависить отъ губернскаго начальства, и если оно не пользуется, въ случаѣ надобности, своимъ правомъ, то въ этомъ заключается явное нарушеніе обязанности. Салтыковъ разсчитываетъ впрочемъ не на одну только служебную отвѣтственность посредниковъ. Онъ предлагаетъ организацію ежегодныхъ губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, замѣчая, что нѣчто подобное было устроено въ одной изъ внутреннихъ губерній (вѣроятно, тверской) по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ. На съѣздѣ, по его мнѣнію, мировымъ посредникамъ слѣдовало бы не только обмѣниваться мыслями и совѣщаться о возникающихъ въ нихъ практикѣ вопросахъ, но и представлять отчетъ о всей своей дѣятельности. Журналы посредниковъ одного уѣзда могли бы быть повѣряемы посредниками другого уѣзда. Кромѣ посредниковъ, участіе въ губернскомъ съѣздѣ должны были бы принимать члены губернскаго крестьянскаго присутствія и правительственные члены уѣздныхъ мировыхъ съѣздовъ. Результаты совѣщаній съѣзда и повѣрки отчетовъ слѣдовало бы публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. „Мы убѣждены,—говоритъ Салтыковъ,—что одна мысль о возможности взаимной повѣрки дѣйствій мировыхъ посредниковъ много очиститъ этотъ рождающійся у насъ институтъ. Надъ нею задумается не одинъ изъ сторонниковъ идеи самоуправленія, переложеннаго на русскіе нравы; не одинъ изъ тѣхъ, которые въ юношескомъ восторгѣ повторяли другъ другу: *mon cher, nous sommes indépendants!* оставить свою затѣю и уѣхать во-свояси пасти гусей. Но зато тѣ, которые останутся, будутъ дѣйствительно хорошими и полезными мировыми посредниками“.

Почти одновременно съ статьей объ отвѣтственности мировыхъ посредниковъ написана Салтыковымъ статья: „Гдѣ истинные интересы дворянства“. Она также начинается возраженіемъ Ржевскому. „Покуда г. Ржевскій приглашаетъ дворянъ воспользоваться какимъ-то единственнымъ въ исторіи случаемъ, чтобы утвердить свое политическое преобладаніе надъ прочими сословіями, благоразумнѣйшіе и образованнѣйшіе изъ дворянъ помышляютъ не о преобладаніи и даже не о томъ, чтобы удержаться, такъ сказать, на поверхности возникающаго въ Россіи земства, а о томъ, чтобы просто-на-просто сдѣлаться членами этого земства—членами не случайными, признающими за собой только право, а не обязанности, но дѣйствительными членами,

связанными съ земствомъ всей совокупностью условій, налагаемыхъ этимъ званіемъ. И это весьма понятно. Какими бы правами ни пользовалось извѣстное сословіе, дѣйствительная сила свободнаго государства лежитъ въ земствѣ. Тамъ источникъ матеріальнаго его благосостоянія; тамъ же залогъ дальнѣйшаго его политическаго и умственнаго развитія. Оторваться отъ всего этого — значило бы оторваться отъ общей жизни государства, значило бы стать въ классъ бобылей, тотъ самый классъ, въ который нѣкоторые благодѣтели человѣческаго рода такъ усердно хлопотали пристроить крестьянъ“. Въ Россіи необходимость дружной, единокупной работы всѣхъ общественныхъ силъ понималась до сихъ поръ довольно слабо; помѣхи и преграды такая работа встрѣчала со всѣхъ сторонъ. „Тутъ сословія, тамъ вѣдомства, тутъ чины, тамъ гильдіи и разряды; все топорщится, все предъявляетъ свои особенныя права, ни къ чему нельзя приступить, не сдѣлавши напередъ особеннаго и совершенно безсмысленнаго маневра. Однако, русскій человѣкъ повладистъ, привыкаетъ ко всему. Привыкъ и къ маневрамъ, такъ привыкъ, что безъ нихъ ему и жизнь не въ жизнь: все равно, что безъ клоповъ спать и безъ таракановъ щи хлебать. И еслибы расплотившіяся въ Петербургѣ коммисіи не доказали намъ фактически, что мы ежечасно приносимъ въ жертву наши интересы нѣкоторому чудовищу, именуемому гилью, то мы и до сихъ поръ были бы вполне довольны своей судьбой“. Искусственныя дробленія, созданныя администраціей, ею же могутъ быть и уничтожены. Съ этимъ уничтоженіемъ не легко примирится большинству, — а между тѣмъ примиреніе необходимо. Съ отмѣной крѣпостнаго права сословные интересы дворянства потеряли прежнее значеніе. „Напрасно толпа (увы! въ каждомъ сословіи, какъ бы высоко оно ни было поставлено, есть своя толпа!) старается удержаться за немногія крохи, упавшія съ паскудной трапезы крѣпостнаго права и несметенныя лишь по недоразумѣнію; напрасно философы и юристы этой толпы усиливается эскамотировать благодѣтельныя послѣдствія реформы, придумывая новыя, обманывающія только зрѣніе формы для упроченія того же крѣпостнаго права. Усилія эти останутся безплодными уже потому, что они ставятъ дворянство внѣ общей жизни государства, а ему необходимо войти въ самое сердце этой жизни“. Констатировавъ признаки увеличивающагося сближенія между народомъ и дворянствомъ, Салтыковъ указываетъ на единственное средство упрочить это сближеніе, сдѣлать его дѣйствительнымъ и дѣятельнымъ: помѣщикъ долженъ стать членомъ сельскаго общества и волости.

Законъ этого не требуетъ, но и не воспрещаетъ, предоставилъ разработку вопроса времени и общественному мнѣнію. Разрѣшеніе его въ утвердительномъ смыслѣ было бы одинаково полезно и для помѣщиковъ, и для крестьянъ, подъ однимъ только условіемъ: чтобы сближеніе было искреннее. Крестьяне съумѣли различить волка отъ сторожевого пса, и дѣло, испорченное однимъ долго не поправится даже при соединенныхъ усиліяхъ многихъ Помѣщикъ, желающій вступить въ составъ сельскаго общества волости, долженъ предварительно окончить, путемъ выкупа, сдѣлки, всѣ расчеты съ бывшими своими крестьянами, и затѣмъ участвовать, наравнѣ съ прочими членами общества, въ платежѣ податей и повинностей, лежащихъ на обществѣ.

Статьи Салтыкова вызвали возраженіе Ржевскаго (въ „Русскомъ Вѣстникѣ“), на которое, въ свою очередь, отвѣчалъ Салтыковъ. На личной сторонѣ спора, принявшаго довольно жесткій характеръ, мы останавливаться не будемъ; для насъ важно не столько то, что способствуетъ разъясненію мысли Салтыкова. Ржевскій назвалъ Салтыкова *бюрократомъ*. „Извѣстно мнѣ“, говоритъ по этому поводу Салтыковъ, — что въ глазахъ Собакинъ и Маниловыхъ это ужасно ругательное слово, все равно что *моветонъ* въ глазахъ Земляники и Ляпкина-Тяпкина. Сказать, какъ разсуждаютъ эти господа о централизаціи и бюрократіи, бываетъ по истинѣ уморительно. Одинъ доказываетъ, что децентрализація заключается въ учрежденіи сатрапій; другой мнитъ, что децентрализація въ томъ состоитъ, чтобы водку всякое время пить. Что такое бюрократъ? — спрашиваетъ Мамзюевъ. — А вотъ, братецъ, объясняетъ Ноздревъ: хочу я, напримеръ, теперь водки выпить — а нѣ тутъ бюрократъ: стой, говорить, водку велѣно пить въ двѣнадцать часовъ, а не теперь. Меня, однакожъ, это слово отнюдь не пугаетъ; во-первыхъ, оно выражаетъ собою принципъ, котораго участіе въ жизненныхъ управленіяхъ государства столь же необходимо, какъ и участіе земства, а во-вторыхъ, я сомнѣваюсь, чтобы даже нанученнѣйшіе изъ Ноздревыхъ могли удовлетворительно объяснить, какое отношеніе имѣетъ понятіе о бюрократіи собственно къ русской почтѣ. Гдѣ взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократію, отдѣльную отъ русскаго дворянства — это тайна, разгадки которой слѣдуетъ искать въ трущобахъ сердецъ Ноздревскихъ. Быть можетъ, ихъ сбило съ толку наше подъячество; но оно представляетъ собою не бюрократію, а скорѣе пародію на адвокатуру, и стоитъ въ самомъ чиновничествѣ (дворянство тоже) такимъ особнякомъ, что служить для него предметомъ постоян-

ныхъ потѣхъ и насмѣшекъ. Называя меня бюрократомъ, г. Ржевскій, очевидно, не сознавалъ, что употребляетъ выраженіе, которому въ русской жизни нѣтъ соответствующаго понятія. Въ Россіи, какъ между служащимъ дворянствомъ, такъ и между неслужащимъ (но служившимъ), могутъ быть ералаписты, могутъ быть преферансисты, могутъ быть даже люди весьма серьезные и начитанные, но бюрократіи, какъ корпораціи дисциплинированной, служащей опредѣленнымъ цѣлямъ, нѣтъ и быть не можетъ, по той естественной причинѣ, что нѣтъ еще въ виду земства. Ужели гоголевскій губернаторъ, отлично вышивающій по канвѣ, можетъ быть названъ бюрократомъ? Нѣтъ, воля ваша, это совсѣмъ не бюрократъ; это патріархъ, бесѣдующій съ пасомымъ имъ стадомъ въ халатѣ, запросто, и только въ указанные дни натягивающій на себя досадный мундиръ"... Именуя Салтыкова *адвокатомъ благоусмотрѣнія начальствующихъ лицъ*, Ржевскій обвинялъ его въ томъ, что онъ хлопочетъ о распространеніи на мировыхъ посредниковъ *неделикатныхъ отношеній*, на которыя губернскія власти имѣютъ право во всемъ касающемся исправниковъ и становыхъ. „Отвращеніе, которое я питаю къ неделикатнымъ отношеніямъ,—отвѣчаетъ на это Салтыковъ,—достаточно доказывается псей моей литературной дѣятельностью, которая почти исключительно направлена къ обнаруженію ихъ нелѣпости“. Намекалъ Ржевскій и на то, что Салтыковъ „увлекается направленіемъ извѣстной школы реформаторовъ, желающихъ во что бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ“. Салтыковъ, приводя эти слова, сопровождаетъ ихъ комментариемъ: „вотъ оно, истинное-то значеніе слова *бюрократъ!*“ Заключеніе отвѣтной статьи Салтыкова посвящено подробному развитію мысли о губернскихъ сѣздахъ мировыхъ посредниковъ. Ржевскій старался осмѣять эту мысль, представляя ее въ такомъ видѣ, что одни мировые посредники, повѣряя другихъ, будутъ просить ихъ „быть старательнѣе, писать четче, не капать чернилами и т. п.“. Не смущаясь этими претензіями на остроуміе, Салтыковъ поясняетъ свой проектъ цѣлымъ рядомъ наглядныхъ примѣровъ. „Вообразимъ себѣ,—говоритъ онъ,—что такой-то посредникъ замѣчается въ излишнемъ пристрастіи къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Губернскій сѣздъ, свѣдавъ о подобномъ явленіи, можетъ однимъ молчаніемъ своимъ весьма краснорѣчиво выразить свое неодобреніе подобному пристрастію. Другой посредникъ слишкомъ часто прибѣгаетъ для разрѣшенія недоразумѣній къ вмѣшательству полиціи; губернскій сѣздъ можетъ сдѣлать только: *им!* и, конечно, посредникъ, о которомъ

идеть рѣчь, хорошо пойметъ значеніе этого им^а. Салтыковъ не желаетъ, чтобы мысль о губернскихъ сѣздахъ была осуществлена приказаніемъ свыше; ему хотѣлось бы, чтобы она была принята посредниками motu proprio, безъ всякаго принужденія.

Послѣдняя замѣтка Салтыкова направлена противъ новаго отвѣта, напечатаннаго Ржевскимъ въ № 30 „Современной Лѣтописи“ (такъ называлось тогда еженедѣльное прибавленіе къ „Русскому Вѣстнику“). Въ этомъ отвѣтѣ Ржевскимъ было дано слѣдующее опредѣленіе бюрократіи: „безпрерывная регламентація, безпрерывное вмѣшательство въ частную жизнь, стремленіе замѣнить не только жизнь, но и самую совѣсть предписаніями начальства“. „Гораздо справедливѣе и проще было бы сказать, — возражаетъ Салтыковъ, — что бюрократія представляетъ собою въ государствѣ органъ центральной власти, которая въ свою очередь служить представительницей интересовъ и цѣлей государственныхъ... Г. Ржевскій напрасно беретъ на себя трудъ формулировать мою мысль такъ: вездѣ, гдѣ нѣтъ земства, господствуетъ бюрократія. Нѣтъ, я сказалъ и желалъ сказать: гдѣ нѣтъ земства, тамъ нѣтъ и бюрократіи, а есть чепуха, есть безконечная путаница понятій и отношеній, при существованіи которыхъ всякій отдѣльный общественный дѣятель получаетъ возможность играть въ свою собственную дудку“... Ржевскій обвинялъ Салтыкова въ неуваженіи къ общественному мнѣнію. Отвергая это обвиненіе, Салтыковъ замѣчаетъ, что и по отношенію къ общественному мнѣнію не всегда подобаетъ играть роль Молчалина. „Бываютъ общества, гдѣ эксплуатація человѣка человѣкомъ, біеніе по зубамъ и пр. — считаются не только обыденнымъ дѣломъ, но даже разсматриваются мѣстными философами и юристами съ точки зрѣнія права. Благоговѣтъ передъ мнѣніями такихъ обществъ было бы не только безразсудно, но и бессмысленно“.

Прежде чѣмъ сказать нѣсколько словъ по поводу шести вкратцѣ изложенныхъ нами статей Салтыкова, замѣтимъ, что вопросъ о значеніи административной власти, о ея правахъ и обязанностяхъ, объ отношеніяхъ ея къ обществу и земству, не переставалъ интересоваться Салтыкова и много лѣтъ спустя, когда онъ окончательно оставилъ службу и всецѣло посвятилъ себя литературѣ. Въ его бумагахъ нашлось нѣсколько номеровъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Современной Лѣтописи“ 1870 г., въ которыхъ напечатана замѣтка о губернаторахъ, по поводу тогдашняго проекта административной реформы. Свѣденія, заключавшіяся въ этой замѣткѣ, должны были, очевидно, послужить Салтыкову матеріаломъ для статьи, отъ которой сохранилось въ рукописи только

начало, вмѣстѣ съ наброскомъ программы дальнѣйшаго изложенія. Основная мысль статьи, предназначавшейся, вѣроятно, для „Отечественныхъ Записокъ“, заключалась, повидимому, въ томъ, что губернаторская власть подлежитъ не усиленію (какъ тогда предполагалось), а введенію въ законные предѣлы. „Власть губернаторовъ, — говоритъ Салтыковъ, — въ настоящее время настолько обширна, что усилить ее нѣтъ возможности. Какъ расширить то, что уже само по себѣ не имѣетъ точныхъ границъ? Когда все дано, то трудно себѣ представить, чтобы существовало что-нибудь такое, что было бы болѣе этого всего“.

Публицистическія статьи Салтыкова, напечатанныя въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1861 г., замѣчательны, прежде всего, уже тѣмъ, что появились въ свѣтъ за полною его подписью. Онъ не считалъ нужнымъ скрыться даже подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Щедрина, въ которому такъ часто прибѣгалъ въ другихъ случаяхъ. Онъ не могъ не знать, что его статьи многихъ раздражаютъ, многихъ испугаютъ, подвергнутся злостнымъ перетолкованіямъ — и несмотря на то, или именно потому, выступилъ на сцену съ поднятымъ забраломъ. Это было почти равносильно отказу отъ дальнѣйшей административной карьеры ¹⁾. Въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, гдѣ служилъ тогда Салтыковъ, охлажденіе къ только-что совершившейся реформѣ наступило весьма быстро, и горячая ея защита не могла нравиться власти имущимъ лицамъ. Когда Салтыковъ утверждалъ, что „недоразумѣнія“ между помѣщиками и крестьянами почти всегда могутъ быть покончены миролюбиво, путемъ увѣщанія и соглашенія, его слова должны были показаться косвеннымъ осужденіемъ „экстренныхъ мѣропріятій“, которыми былъ такъ богатъ 1861 годъ. Когда онъ предлагалъ устройство губернскихъ съѣздовъ мировыхъ посредниковъ, его могли обвинить въ стремленіи поставить общественный контроль на мѣсто или выше правительственнаго надзора. Когда онъ рекомендовалъ дворянамъ вступленіе въ составъ сельскаго общества и волости, его могли заподозрить въ ультра-демократическихъ тенденціяхъ, въ непризнаніи границъ, установленныхъ обычаемъ и закономъ. Не останавливаясь передъ подобными соображеніями, Салтыковъ рѣшился высказать, по возможности, все то, что накопилось у него на душѣ во время службы въ двухъ центральныхъ губерніяхъ. Онъ видѣлъ, какую массу дурныхъ чувствъ возбудило освобожденіе

¹⁾ Комическое впечатлѣніе производитъ, поэтому, намекъ Ржевскаго на желаніе Салтыкова сдѣлаться „крутогорскимъ“ губернаторомъ.

крестьянъ, какими опасностями и затрудненіями окружено новое дѣло. Онъ зналъ, что всѣ огорченные и обиженные реформой стоятъ на стражѣ „недоразумѣній“, чтобы тотчасъ же закричать о необходимости экстренныхъ полицейскихъ мѣръ — а потомъ изъ самаго факта принятія этихъ мѣръ вывести заключеніе о преждевременности освобожденія. Настаивая на миролюбивомъ прекращеніи „недоразумѣній“, Салтыковъ касался именно того вопроса, который имѣлъ тогда наибольшую важность; онъ указывалъ тотъ единственный путь, на которомъ было возможно безостановочное и безпрепятственное движеніе впередъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что многіе изъ крестьянскихъ „бунтовъ“, омрачившихъ великій 1861 годъ, могли быть предупреждены своевременнымъ, *терпеливымъ* разъясненіемъ новыхъ земельныхъ и личныхъ отношеній — а чѣмъ меньше было бы бунтовъ, тѣмъ меньше было бы матеріаловъ для реакціи, первые признаки которой замѣчаются уже въ 1862 году.

Обвиненіе Салтыкова въ бюрократизмъ возбуждаетъ невольную улыбку, въ особенности теперь, когда записка объ устройствѣ полиціи познакомила насъ съ взглядами Салтыкова на задачи и приемы управленія. И тогда, впрочемъ, нетрудно было понять, что защитникъ гласности и общественнаго контроля, систематическій противникъ „экстренныхъ“ мѣръ не имѣетъ ничего общаго съ бюрократомъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ понималъ это слово оппонентъ Салтыкова — Ржевскій. Отличительный признакъ истаго бюрократа — это недовѣріе къ суду и къ обществу; а Салтыковъ требовалъ формальной отвѣтственности посредниковъ передъ судомъ, нравственной отвѣтственности ихъ передъ обществомъ. Огражденію мировыхъ посредниковъ отъ административнаго усмотрѣнія онъ сочувствовалъ вполне; онъ хотѣлъ только, чтобы надзоръ сената не былъ пустымъ словомъ и чтобы къ нему присоединялся надзоръ товарищей, соединяемыхъ, этимъ самымъ, въ одну крѣпко сплоченную корпорацію. Какимъ же образомъ могло случиться, что къ Салтыкову была примѣнена столь мало подходящая къ нему кличка бюрократа? Объясняется это, какъ намъ кажется, довольно просто. Мировые посредники, какъ извѣстно, могли быть избираемы только изъ числа дворянъ-землевладѣльцевъ, т.-е. изъ числа бывшихъ помѣщиковъ. Естественно было предполагать, что они будутъ дѣйствовать, болѣею частью, въ интересахъ своего сословія. Кто желалъ этого, тотъ настаивалъ, подобно Ржевскому, на возможно болѣе независимости мировыхъ посредниковъ, на возможно болѣе нейтралитетѣ представителей власти, лично не заинтересованныхъ въ дѣлѣ

переустройства аграрныхъ отношеній и потому, сравнительно, безпристрастныхъ. Кто, наоборотъ, опасался односторонняго покровительства помѣщичьимъ интересамъ, тотъ, подобно Салтыкову, искалъ гарантій противъ посредническаго произвола — и находилъ ихъ въ разныхъ формахъ ответственности. Открыть свои карты сторонникамъ помѣщичьихъ интересовъ было не совсѣмъ удобно; и вотъ, зная недоувѣріе тогдашняго общества къ администраціи, нерасположеніе его къ принципу правительственнаго вмѣшательства, они пускаютъ въ ходъ страшное словечко: *бюрократъ*. Бюрократами слыли тогда, въ извѣстныхъ сферахъ, Николай Милютинъ, Яковъ Соловьевъ и другіе дѣятели редакціонныхъ комиссій; неудивительно, что къ тому же сонму оказался причисленнымъ и Салтыковъ — и столь же понятно, что онъ отнесся довольно хладнокровно къ этому причисленію. Истинный его смыслъ сдѣлается для насъ совершенно понятнымъ, если мы припомнимъ, что Салтыковъ изобличался одновременно въ бюрократизмъ — и въ сочувствіи „извѣстной школѣ реформаторовъ, желающихъ во что бы то ни стало благодѣтельствовать низшимъ классамъ населенія“... Слабымъ пунктомъ въ полемикѣ Салтыкова противъ Ржевскаго кажется намъ одно лишь теоретическое опредѣленіе бюрократіи и противопоставленіе ея земству. Администрація, предоставляющая земству широкую свободу въ завѣдываніи мѣстными дѣлами и удерживающая за собою, въ общегосударственныхъ интересахъ, только общій контроль надъ дѣятельностью земства, едва ли можетъ быть названа бюрократіей. Характеристическіе признаки бюрократіи совсѣмъ другіе: это — высокомерное отношеніе къ „ограниченному уму“ простыхъ гражданъ, стремленіе къ вседѣйствующей и всевластной чиновничества, безусловная вѣра въ спасительную силу запрещеній и предписаній. Господство бюрократіи, съ этой точки зрѣнія, вполне возможно и тамъ, гдѣ нѣтъ земства. Въ до-реформенной Россіи преобладала бюрократія грубая, первобытная, неумѣлая — но все-таки бюрократія, къ которой принадлежали, до извѣстной степени, и „даровые полиціймейстеры“, т.-е. помѣщики, какъ начальники надъ своими крѣпостными. Ошибка Салтыкова заключалась, впрочемъ, исключительно въ неправильномъ выборѣ термина. Въ своихъ газетныхъ статьяхъ, какъ и въ запискѣ о переустройствѣ полиціи, онъ исходилъ изъ совершенно правильнаго пониманія взаимныхъ отношеній администраціи и земства. Мысли его по этому предмету и въ послѣдующее время — можно сказать, сохранили всю свою цѣну и далеко не утратили прежней своей силы.

Намъ могутъ замѣтить, что дѣятельность мировыхъ посредни-

ковъ перваго призыва, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не давала повода къ подозрѣніямъ, съ которыми относились къ ней Салтыковъ. Совершенно справедливо; но изъ того, что мы это видимъ *теперь*, еще не слѣдуетъ, что это должны были видѣть и современники. Надежды крѣпостниковъ оказались тщетными — но это еще не значитъ, что онѣ не существовали. Уже одно то обстоятельство, что за возможно большую безответственность посредниковъ стояли такіе публицисты, какъ Ржевскій, оправдываетъ недоверчивость Салтыкова. Въ первой половинѣ 1861 года, къ которой относятся его статьи, нельзя было еще предугадать общій характеръ дѣятельности новыхъ учреждений — а отдѣльные случаи злоупотребленій или бездѣйствія власти, подъ вліяніемъ которыхъ, очевидно, писалъ Салтыковъ, позволяли опасаться широкаго развитія подобныхъ явленій. Въ чемъ Салтыковъ былъ правъ безусловно — это въ проповѣди сближенія между помѣщиками и крестьянами и въ указаніи путей, къ нему ведущихъ. Обязательное включеніе помѣщиковъ въ составъ сельскаго общества и волости, еслибы оно состоялось вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, принесло бы болѣе вреда, чѣмъ пользы; крестьяне, привыкшіе повиноваться, слишкомъ легко могли бы подпасть подъ исключительное вліяніе своихъ недавнихъ господъ. Другое дѣло — добровольное присоединеніе помѣщика, покончившаго всѣ расчеты съ бывшими крѣпостными. Оно дало бы сельскимъ обществамъ и волостямъ дружественныхъ совѣтниковъ и руководителей, въ которыхъ они тогда такъ нуждались, и послужило бы естественнымъ переходомъ къ созданію настоящей всесословной волости, своевременное осуществленіе которой послужило бы залогомъ правильнаго развитія нашей государственной и общественной жизни.

9-го февраля 1862 г. Салтыковъ въ первый разъ вышелъ въ отставку. Сначала онъ хотѣлъ поселиться въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ; но когда ему это, какъ мы увидимъ, не удалось, онъ переѣхалъ въ Петербургъ и съ начала 1863 г. сдѣлался, *de facto*, однимъ изъ редакторовъ „Современника“. Нѣсколько раньше — повидимому, въ концѣ 1862 г. — онъ написалъ „Замѣчанія на проектъ устава о книгопечатаніи“, составленный въ это время особой комиссіей при министерствѣ народнаго просвѣщенія, подъ предсѣдательствомъ князя Д. А. Оболенскаго (впослѣдствіи этотъ проектъ былъ пересмотрѣнъ другой комиссіей, учрежденной при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, и послужилъ основаніемъ закона 6-го апрѣля 1865 г.). Замѣчанія на проектъ — черновая рукопись ихъ сохранилась въ

бумагахъ Салтыкова—начинаются съ указанія на общіе его недостатки. По мнѣнію Салтыкова, они заключаются въ слѣдующемъ: 1) Проектъ направленъ исключительно къ огражденію отъ злоупотребленія печатнымъ словомъ. Въ этомъ убѣждала его та предусмотрительность, съ которою цензура вооружалась не столько для преслѣдованія преступленій совершившихся, сколько для предупрежденія преступленій воображаемыхъ. Такая предусмотрительность—писалъ онъ—можетъ быть умѣстной только во Франціи, гдѣ вся внутренняя политика устремлена исключительно къ охраненію династическихъ интересовъ Наполеона III, или въ странахъ покоренныхъ, и потому находящихся на военномъ положеніи. 2) Не представляя ничего существенно новаго, проектъ замѣняетъ лишь произволъ безпорядочный, существовавшій доселѣ, произволомъ систематическимъ и формально узаконеннымъ (право высшей администраціи разрѣшать или не разрѣшать періодическое изданіе, принимать или не принимать мнѣніе главнаго управленія относительно административныхъ взысканій или преданія суду). Коррективомъ произвола, дѣйствовавшаго безъ правилъ и даже безъ права, могли служить личныя послабленія; на будущее время нельзя рассчитывать даже на этотъ коррективъ. 3) Предварительная цензура, оставляемая въ силѣ для многихъ произведеній печати, будетъ строже, чѣмъ прежде, потому что дозволенная цензурой книга все-таки можетъ быть запрещена, съ отвѣтственностью цензора за убытки, понесенные издателемъ или авторомъ. 4) Проектъ имѣетъ видъ сколка съ французскаго (наполеоновскаго) законодательства о печати. Хотя коммиссія изучила даже бразильское законодательство, но сердце ея, очевидно, лежало къ французскому. При существующемъ въ публикѣ мнѣніи насчетъ зависимости отношеній нашего правительства къ французскому, — говорить Салтыковъ, —едва ли было бы желательно, чтобы законодательство о книгопечатаніи представляло подтвержденіе этой мысли ¹⁾. 5) Коммиссія не должна забывать, что въ публикѣ ожидается законъ, облегчающій свободу слова, а не такой, который регламентируетъ лишь способы стѣсненія ея. Не должно скрывать отъ себя также, что въ публикѣ и безъ того ходятъ преувеличенные слухи о вліяніи правительства на направленіе литературы; не лишнее было бы, чтобы новое законодательство ослабило эту мысль, принявъ за исходный пунктъ возможность

¹⁾ Салтыковъ намекаетъ здѣсь, вѣроятно, на упорно державшійся въ обществѣ, хотя и явно нелѣпый слухъ о вліяніи французскаго правительства на освобожденіе крестьянъ. Предположеніямъ о „зависимости“ положили конецъ знаменитыя апрѣльскія ноты кн. Горчакова (1863 г.) по польскому вопросу.

существованія въ Россіи самостоятельной литературы. Подобное признаніе произведетъ впечатлѣніе выгодное и для самого правительства, которое не настолько слабо, чтобы публично сознаться въ неимѣніи другихъ средствъ защиты.

Отъ общихъ замѣчаній на весь проектъ Салтыковъ переходитъ къ разбору отдѣльныхъ его статей, а также нѣкоторыхъ изъ числа соображеній, которыми руководилась составлявшая его комиссія. Необходимость особенно строгихъ предупредительныхъ мѣръ по отношенію къ періодическимъ изданіямъ комиссія мотивировала, между прочимъ, тѣмъ, что эти изданія дѣйствуютъ непрерывно, систематически, образуя цѣлое направленіе, неуловимое для преслѣдованія. „Что это за направленіе,—спрашиваетъ Салтыковъ, которое всѣ чувствуютъ, но уловить не могутъ? Положительно можно сказать, что такихъ направленій нѣтъ и быть не можетъ, преимущественно въ журналахъ и газетахъ. Журналъ и газета имѣютъ дѣло съ фактомъ, съ подробностями общественной жизни; связанные этимъ, они волей или неволей должны высказываться опредѣлительно, такъ какъ въ противномъ случаѣ потеряютъ всякое значеніе для публики“. Дѣйствовать посредствомъ направленія, выражающагося въ умолчаніи, въ неясныхъ намекахъ, можетъ только подцензурная, несвободная печать; при свободѣ печати кто же станетъ подписываться на изданіе, потчующее *направленіемъ*, тогда какъ рядомъ съ нимъ другой органъ печати обсуждаетъ жизненные факты ясно и безбоязненно?.. Комиссія опасалась, далѣе, что журналамъ и газетамъ удастся утомить преслѣдующую власть, выходя за предѣлы дозволеннаго безпрестанно, но не слишкомъ далеко и не слишкомъ замѣтно. „Неужели,—возражаетъ на это Салтыковъ,—наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣдующей власти? И что же такое эта преслѣдующая власть, которая такъ скоро утомляется?“ Не имѣетъ никакихъ основаній, по мнѣнію Салтыкова, право администраціи освобождать или не освобождать періодическое изданіе отъ предварительной цензуры. Если и смотрѣть на слово какъ на нѣчто въ родѣ смертоноснаго орудія, „то все-таки нельзя отнимать у писателей право, которымъ обладаетъ всякій разбойникъ: право подвергать себя наказанію за совершенное преступленіе“. Право автора и издателя такихъ произведеній, которыя освобождены отъ предварительной цензуры, подчиняться ей добровольно—Салтыкову кажется излишнимъ. „Какая надобность правительству предлагать свою опеку для всѣхъ нищихъ духомъ? Вѣдь не учреждаетъ же оно особой палаты для управленія тѣми имѣніями, владѣльцы которыхъ не

умѣють извлечь изъ нихъ всѣхъ выгоды“. Во-вторыхъ, благонамѣренныя издатели могутъ, если встрѣтятъ сомнѣніе въ своей благонамѣренности, посоветоваться съ своими пріятелями, а не затруднять правительство. Въ-третьихъ, наконецъ, проектируемый порядокъ можетъ породить въ литературѣ „дурныя привычки“; могутъ найтись люди, подчиняющіеся цензурѣ съ цѣлью заявить о своей благонамѣренности. Чѣмъ больше наберется такихъ людей, тѣмъ болѣе подозрительными будутъ казаться не слѣдующіе ихъ примѣру... Отъ перехода цензуры въ вѣденіе министерства внутреннихъ дѣлъ Салтыковъ не ожидалъ пользы для литературы. Литература—одинъ изъ могущественнѣйшихъ рычаговъ народнаго просвѣщенія; слѣдовательно ей и приличіе было бы оставаться въ вѣдомствѣ того министерства, которое завѣдуетъ просвѣщеніемъ. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ что-нибудь сдѣлать къ огражденію интересовъ науки и литературы. „Что сдѣлано въ этомъ отношеніи проектомъ?“ — спрашиваетъ Салтыковъ. „Предположено учредить при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ совѣтъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Изъ кого онъ долженъ состоять? Изъ предсѣдателя и членовъ, назначаемыхъ министромъ. Какія права членовъ? Право представлять министру свои замѣчанія и видѣть ихъ оставленными безъ вниманія“... Гораздо цѣлесообразнѣе было бы „наблюдательное учрежденіе“, пользующееся извѣстною степенью независимости и самостоятельности—другими словами, избираемое самими литераторами. Противъ такого избранія Салтыковъ предвидитъ два возраженія: *первое*—что литераторы стали бы судьями въ собственномъ дѣлѣ; *второе*—что нѣтъ литературной корпораціи, которой могло бы быть поручено производство выборовъ. Первое изъ этихъ возраженій Салтыковъ опровергаетъ тѣмъ, что „литература нигдѣ и ни въ какія времена не составляетъ однороднаго цѣлаго; напротивъ, въ ней имѣются самыя разнообразныя оттѣнки, начиная отъ крайне консервативнаго до крайне оппозиціоннаго. Нѣтъ никакого основанія думать, чтобы изъ выборовъ вышли люди крайностей, по той простой причинѣ, что крайняя партія прежде всего опасается торжества партіи, ей противоположной“. Отсюда вѣроятность соглашенія на чемъ-либо среднемъ, представляющемъ болѣшія гарантіи безпристрастія. Подтвержденіе этого предположенія Салтыковъ видитъ въ составѣ комитета литературнаго фонда. Что касается до втораго возраженія, то Салтыковъ считаетъ вполне возможнымъ созывъ представителей отъ существующихъ органовъ русскаго слова—по два отъ большихъ и по одному отъ менѣе значительныхъ. Составленный такимъ образомъ совѣтъ пользовался бы безусловнымъ довѣ-

ріемъ литературы и былъ бы въ то же время соединяющимъ звеномъ между правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ.

Возражая противъ той статьи проекта, которою разрѣшеніе или неразрѣшеніе новыхъ періодическихъ изданій ставилось въ зависимость отъ усмотрѣнія администраціи, Салтыковъ считаетъ ее, прежде всего, излишней, въ виду другихъ предупредительныхъ и репрессивныхъ мѣръ, устанавливаемыхъ проектомъ. Каждое новое изданіе увеличитъ количество труда, лежащаго на министерствѣ; отсюда вѣроятность неосновательныхъ отказовъ—а между тѣмъ отказъ равносильнъ сопричисленію просителя къ разряду людей неблагонамѣренныхъ. „Пишущій эти строки,—продолжаетъ Салтыковъ,—на себѣ испыталъ неудобство такого порядка вещей. Въ апрѣлѣ настоящаго (очевидно, 1862) года онъ просилъ, черезъ московскій цензурный комитетъ, разрѣшенія на изданіе въ Москвѣ двухнедѣльнаго журнала; но г. министръ народнаго просвѣщенія не счелъ нужнымъ дать просимое разрѣшеніе, на томъ основаніи, что такъ какъ разсматриваются новыя законоположенія о книгопечатаніи, то и принято за правило до окончанія этого дѣла не разрѣшать новыхъ журналовъ. Законоположенія эти до сихъ поръ не разсмотрѣны, а между тѣмъ съ тѣхъ поръ разрѣшено не мало-таки новыхъ журналовъ. Чтѣ означаетъ этотъ фактъ? Не то ли, что просто-на-просто хотѣли отказать въ изданіи журнала именно Салтыкову; но почему же Салтыкову, который четырнадцать лѣтъ служилъ по министерству внутреннихъ дѣлъ, и изъ нихъ четыре года былъ вице-губернаторомъ? Салтыковъ могъ, на общемъ законномъ основаніи, принести жалобу сенату; почему же онъ не воспользовался этимъ правомъ? А потому, просто, что въ то время, когда вышелъ отказъ, онъ думалъ, что и въ самомъ дѣлѣ существуетъ какое-то правило о временномъ неразрѣшеніи журналовъ; когда же онъ впоследствии убѣдился, что такого правила нѣтъ или что оно нарушается, то срокъ на подачу жалобы прошелъ“. Возможность такихъ фактовъ заставляетъ Салтыкова отдать предпочтеніе австрійской системѣ, требующей отъ редактора только одного условія: безукоризненной нравственности. Чтобы отказать въ разрѣшеніи на изданіе, правительство, при этой системѣ, должно доказать претенденту на редакторство его безнравственность. „Если оно докажетъ это—ну, и съ Богомъ; но крайней мѣрѣ, и то утѣшительно, что въ Австріи разговариваютъ, а то такъ, безъ разговоровъ... Это уже слишкомъ легко“! ...Остальные замѣчанія Салтыкова, мотивированныя гораздо короче, направлены противъ требованія залога отъ подцензурныхъ изданій, противъ проектированнаго порядка разрѣшенія типографій и по-

вѣржи производимыхъ въ типографіи работъ и противъ безапелляціонности административныхъ взысканій, налагаемыхъ на органы печати. Были ли представлены кому-либо замѣчанія Салтыкова на проектъ устава о книгопечатаніи, и если были, то кому именно—не знаемъ. По всей вѣроятности они не были оставлены имъ подъ спудомъ и имѣлись въ виду при дальнѣйшей разработкѣ проекта. Весьма любопытно, что они не содержатъ въ себѣ ни слова противъ личной отвѣтственности писателей, противъ которой такъ сильно ратовалъ Салтыковъ въ 1880 г., когда ожидался пересмотръ законодательства о печати (т. VI, „За рубежомъ“, стр. 80—82). Замѣну административныхъ каръ, направленныхъ противъ *изданія*, карами судебными, направленными противъ *автора*, Салтыковъ признаетъ здѣсь желательною только подъ слѣдующими условіями: „1) чтобы процедура преданія суду сопровождалась не сверхъ-естественнымъ, а обыкновеннымъ порядкомъ; 2) чтобы суды были тоже не сверхъ-естественные, а обыкновенные, такіе же, какъ для татей, и 3) чтобы „кутузки ни подъ какимъ видомъ по дѣламъ книгопечатанія не полагалось“. „Ежели эти мечтанія осуществятся,—прибавляетъ Салтыковъ,—да еще ежели денежными штрафами не слишкомъ донимать будутъ, то будетъ совсѣмъ хорошо“.

Въ продолженіе двухъ лѣтъ (1863 и 1864), проведенныхъ имъ въ редакціи „Современника“, Салтыковъ писалъ чрезвычайно много. Только небольшая часть напечатаннаго имъ въ это время вошла въ составъ отдѣльныхъ изданій („Невинные рассказы“, „Признаки времени“, „Помпадуры и Помпадурши“) и полного собранія его сочиненій. Обзорѣніе остальныхъ его статей, относящихся къ самымъ разнообразнымъ предметамъ, сдѣлано было недавно въ нашемъ журналѣ А. Н. Пыпинымъ ¹⁾. Къ этому времени относится характеристика Салтыкова, встрѣчающаяся въ „Воспоминаніяхъ“ госпожи Головачевой ²⁾. „Сумрачное выраженіе лица“, которое госпожа Головачева замѣчала въ Салтыковѣ-лицеистѣ, „еще болѣе усилилось. Я замѣтила, что у него появилось нервное движеніе шеи, точно онъ желалъ высвободить ее отъ туго завязаннаго галстука. Изъ молчаливаго онъ сдѣлался очень говорливымъ... Я была однажды свидѣтельницей страшнаго раздраженія Салтыкова противъ литературы. Не могу припомнить названія его очерка или рассказа, запрещеннаго цензоромъ. Это запрещеніе было очень непріятно и Некрасову, потому что нужно было дать набирать вновь что-нибудь другое, отчего номеръ жур-

¹⁾ См. № 10, 11 и 12 „Вѣстника Европы“ за 1889 г.

²⁾ См. „Историческій Вѣстникъ“ 1889 г., № 11, стр. 278—4.

нала долженъ былъ очень запоздать. Салтыковъ явился въ редакцію въ страшномъ раздраженіи и нещадно сталъ бранить русскую литературу, говоря, что можно поколѣть съ голоду, если писатель разсчитываетъ жить литературнымъ трудомъ, что одни дураки могутъ посвящать себя литературному труду при такихъ условіяхъ, когда какой-нибудь вислоухій камергеръ имѣетъ власть не только исказить, но запретить печатать умственный трудъ литератора, что чиновничья служба имѣетъ передъ литературой хоть то преимущество, что человѣка не грабятъ. Салтыковъ увѣрялъ, что онъ навсегда прощается съ литературой, и набросился на Некрасова, который, усмѣхнувшись, ему замѣтилъ, что не вѣрить этому". Весьма можетъ быть, что въ одномъ изъ такихъ настроеній Салтыковъ рѣшился оставить литературу или, по крайней мѣрѣ, журналистику и вновь поступить на службу. Были дѣлаемы попытки объяснить его выходъ изъ „Современника“ размолвкой съ редакціею, вызванной, будто бы, нападеніями на Салтыкова со стороны „Эпохи“ и въ особенности „Русскаго Слова“; но это опровергается свидѣтельствомъ А. Н. Пыпина ¹⁾ и самымъ фактомъ продолжавшагося сотрудничества Салтыкова въ „Современникѣ“, продолжавшейся близости его къ Некрасову. Какъ бы то ни было, 6-го ноября 1864 г., черезъ два года и девять мѣсяцевъ послѣ перваго выхода въ отставку, Салтыковъ былъ назначенъ предсѣдателемъ пензинской казенной палаты. Два года спустя, 2-го ноября 1866 г., онъ былъ переведенъ на ту же должность въ Тулу, а въ октябрѣ 1867 г. — въ Рязань. Время службы Салтыкова въ вѣдомствѣ министерства финансовъ было временемъ наименьшей дѣятельности его въ области литературы. Въ продолженіе трехъ лѣтъ (1865, 1866 и 1867 г.) напечатана, сколько намъ извѣстно, только одна его статья (впоследствии вошедшая въ составъ сборника: „Признаки времени“): „Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“ („Современникъ“ 1866 г., № 1). Очевидно, Салтыковъ хотѣлъ-было порвать съ литературой; но влеченіе его къ ней было слишкомъ сильно. Когда Некрасовъ пригласилъ Салтыкова къ участію въ преобразованныхъ (съ 1-го января 1868 г.) „Отечественныхъ Запискахъ“, Салтыковъ сразу сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ сотрудниковъ этого журнала ²⁾, а 14-го іюня 1868 года окончательно вышелъ въ отставку, поселился въ Петербургѣ и сдѣлался, фактически, однимъ изъ редакторовъ „Отечественныхъ Записокъ“. Въ 1877 г., послѣ

¹⁾ См. „Вѣстникъ Европы“ 1889 г. № 11, стр. 228—229.

²⁾ Изъ числа шести первыхъ книжекъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1868 г., вышедшихъ до отставки Салтыкова, его статей нѣтъ только въ двухъ (3-й и 6-й); во второй книжкѣ помѣщены, зато, двѣ его статьи.

смерти Некрасова, онъ былъ утвержденъ редакторомъ журнала и руководилъ имъ до самаго его запрещенія (въ апрѣлѣ 1884 г.). По единогласному отзыву бывшихъ его сотрудниковъ (Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Я. В. Абрамова и др.), онъ работалъ, какъ редакторъ, чрезвычайно много. Въ рукописяхъ, особенно беллетристическихъ, онъ часто дѣлалъ большія сокращенія и измѣненія, значительно поднимавшія достоинство произведеній и способствовавшія ихъ успѣху. По свидѣтельству тѣхъ же лицъ, подъ суровою внѣшностью и рѣзкими манерами у него скрывалась величайшая доброта, дѣлавшая его дорогимъ для всѣхъ имѣвшихъ случай узнать его поближе ¹⁾. Понятно, что запрещеніе журнала должно было оставить большой пробѣлъ въ жизни Салтыкова, хотя возможность продолжать литературную дѣятельность представилась для него весьма скоро. Въ бумагахъ его нашлось начало „оправдательной записки“, слѣдующаго содержанія: „Я никогда не могъ похвалиться ни хорошимъ здоровьемъ, ни физическою силой, но съ 1875 г. не проходило почти ни одного дня, въ который я могъ бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болѣзненные припадки и мучительная воспримчивость, съ которою я всегда относился къ современности, положили начало тому злему недугу, съ которымъ я сойду и въ могилу. Не могу также пройти молчаніемъ и непрерывнаго труда; могу сказать смѣло, что до послѣднихъ минутъ вся моя жизнь прошла въ трудѣ, и только когда мнѣ становилось ужъ очень тяжело, я бросалъ перо и впадалъ въ мучительное забытѣе. Наконецъ, закрытіе „Отечественныхъ Записокъ“ и болѣзнь сына окончательно сломили меня. Недугъ охватилъ меня со всѣхъ сторонъ и сдѣлался главнымъ факторомъ моей жизни“...

Неизданныхъ или мало извѣстныхъ матеріаловъ, которые относились бы къ послѣднимъ двадцати пяти годамъ жизни Салтыкова, въ нашихъ рукахъ нѣтъ почти вовсе. Намъ доставлены лишь нѣсколько писемъ Салтыкова къ его дѣтямъ и одно письмо, отъ 2 января 1881 г., къ писателю, только-что передъ тѣмъ напечатавшему разборъ одного изъ произведеній Салтыкова („Круглаго года“). Это послѣднее письмо очень интересно, но, къ сожалѣнію, напечатаніе его вполне было бы еще преждевременно, а потому мы ограничимся однимъ отрывкомъ. „Мнѣ кажется,—пишетъ Салтыковъ,—что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ,

¹⁾ Пишущій эти строки слышалъ отъ одного изъ преемниковъ Салтыкова по управленію казенной палатой, что такую же добрую память онъ оставилъ и между бывшими своими подчиненными.

кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ—значить добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человекомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ... Устраиваться въ подробностяхъ, отстаивать одни и разрушать другія—дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго: *Что дѣлать*, я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезъ-чуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ ли оно такъ? И можно ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно спасти идеаль свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ *основамъ*, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попрается“...

Письма Салтыкова къ дѣтямъ—сыну Константину и дочери Елизаветѣ—написаны весной и лѣтомъ 1880 и 1881 г., когда семья Салтыкова находилась за границей, а онъ самъ временно оставался въ Петербургѣ. Сыну его было въ 1880 г. около девяти, дочери — около семи лѣтъ. „Доношу вамъ,—пишетъ Салтыковъ въ первомъ письмѣ (12 мая 1880 г.),—что безъ васъ скучно и пусто. Когда вы были тутъ, то бѣгали и прятались въ моей комнатѣ, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и въ цѣлости. Имъ тоже скучно, что никто ихъ не ломаетъ. А еще доношу, что сегодня Арапка (только-что оперившаяся канарейка, очевидно — большая любимица маленькихъ Салтыковыхъ), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такъ сюрпризъ. Что же касается до крылатки (также канарейка), то она еще совсѣмъ голенъкая, но мать начинаетъ уже летать отъ нея. Ни конфетъ, ни апельсиновъ послѣ вашего отъѣзда въ Петербургъ ужъ нѣтъ; всѣ уѣхали слѣдомъ за вами въ Баденъ. Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мнѣ что вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете

больше, мы станемъ вмѣстѣ ихъ пересчитывать. Цѣлую васъ обоихъ крѣпко-на-крѣпко. Какъ только можно будетъ, прилечу. Не забывайте папу“. Это письмо мы привели почти цѣликомъ; изъ другихъ заимствуемъ только отрывки. „Дѣла наши въ томъ же положеніи. Куколка лежитъ въ кровати и поживаетъ; Арапка летаетъ совсѣмъ какъ большой; Бепка (отецъ канареечнаго семейства) обходится съ нимъ совсѣмъ какъ съ товарищемъ... А я все кашляю, и все на стары манеры, даже новаго ничего выдумать не могу. И скучно мнѣ очень, что не слышу больше вашего дѣтскаго милаго шума“ (№ 2, 17 мая). „Совѣтую тебѣ (дочери) писать по линейкамъ. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она васъ по-нѣмецки говорить приучала: теперь вы легко научитесь, а потомъ будетъ очень трудно. Я всѣ дни сижу дома и скучаю. И дѣлать ничего не хочется. Птицы тоже скучаютъ безъ васъ и одичали. Арапка совсѣмъ дикій сдѣлался и даже не ночуетъ въ клеткѣ, а забирается на карнизъ на печку“ (№ 3, 20 мая). „Имѣю честь доложить вамъ, что крылатка вышла изъ гнѣзда, а мадамъ (канарейка-мать) опять начала нести яйца. Крылатка—премиленный, весь въ Бепку: желтый, съ сѣрыми хохолкомъ и сѣрыми крылушками. Лизина кукла все поживаетъ; никакъ разбудить нельзя“ (№ 4, безъ числа)... „Костя! пересталъ ли ты вертѣться? Смотри, приѣду, увижу, что ты вертишься—и зашлѣчу. Мадамъ ужъ три дня какъ сидитъ на яйцахъ, но сколько яицъ—не знаю, потому что какъ ни придешь, а она все сидитъ. Скучно она, бѣдная, лѣто проводить“ (№ 5, безъ числа). „Сегодня madame вывела одного маленькаго, а другое яйцо еще цѣло. Какъ назвать новорожденнаго? Я предлагаю назвать Милкой или Голубчикомъ. А впрочемъ какъ прикажете, такъ и будетъ. Коверъ твоей куклы, Лиза, цѣлъ и спрятанъ отъ моли; ты можешь быть спокойна. Я очень радъ, что ты мнѣ сама, безъ диктовки, пишешь. Такъ и впередъ дѣлай. Мнѣ хочется знать, что ты думаешь“ (№ 8, 9 іюня). „Я скоро приѣду и буду часа полтора каждый день читать и заниматься съ вами. Вижу, что вы извольничались безъ меня и никто васъ не наказываетъ. А я буду съ вами ходить и покупать ягоды и шоколадъ пить—вотъ и наказанье“ (№ 9, безъ числа). „Объ какихъ куклахъ вы мнѣ пишете? Какія я могу вамъ привезти отсюда—не лучше ли купить тамъ или въ Парижѣ, гдѣ куклы и красивѣе, и дешевле. Я думаю, что вы и сами подумавши согласитесь съ этимъ. Лиза! ты хоть и не поцѣловала меня въ письмѣ, но я знаю, что это ненарочно случилось и что ты непременно сейчасъ же объ этомъ вспомнила и

мысленно поцѣловала меня. И я тебя, дружокъ, крѣпко цѣлую“ (№ 10, безъ числа). Другія три письма относятся къ 1881 году. Въ первомъ, отъ 22 мая, Салтыковъ проситъ сына обратить вниманіе на почеркъ. „Буквы у тебя выходятъ пузатенькія, съ ножками и рожеками. Надо лучше писать, потому что члену литературнаго фонда безъ этого стыдно глаза въ свѣтъ показывать. Лиза гораздо пріятнѣе пишетъ и надо ее догонять. Очень я радъ, голубчики, что вамъ хорошо живется. Гуляйте и пользуйтесь случаемъ, чтобы по-нѣмецки научиться. Научитесь—будете родителей за границей выручать, потому что родители ваши по-нѣмецки не мастера говорить. А мнѣ здѣсь очень скучно; цѣлые дни на своемъ мѣстѣ сижу и все молчу или кашляю“. Въ двухъ другихъ письмахъ разсказывается дѣтямъ сказка объ удивительныхъ похожденияхъ канареекъ—Бепки, поступившаго въ гимназію, Арапки, вышедшей замужъ за чижика, и т. п. Вся эта переписка не требуетъ комментаріевъ; слишкомъ ясны, сами по себѣ, симпатичныя черты, которыя она прибавляетъ къ образу Салтыкова. Его отношеніе къ семьѣ обрисовывается особенно рельефно въ предсмертномъ письмѣ къ сыну—столь же рельефно, какъ и отношеніе его къ литературѣ. Вотъ полный текстъ этого письма, отрывки изъ котораго были напечатаны въ газетахъ вскорѣ послѣ смерти Салтыкова: „Милый Костя, такъ какъ я каждый день могу умереть, то вотъ тебѣ мой завѣтъ: люби мать и береги ее; внушай то-же и сестрѣ. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннѣйшаго вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться и будь безусловно честенъ въ жизни. Вотъ все. Любящій тебя отецъ. Еще: паче всего люби родную литературу, и званіе литератора предпочитай всякому другому“.

Намъ остается только перечислить, въ хронологическомъ порядкѣ, произведенія Салтыкова ¹⁾, появившіяся при его жизни въ отдѣльныхъ изданіяхъ и вошедшія въ составъ полнаго собранія его сочиненій (приготовленнаго, какъ извѣстно, имъ самимъ, незадолго до смерти). „Губернскіе Очерки“, печатавшіеся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1856 и 1857 г. (и отчасти въ „Библіотекѣ для Чтенія“ 1857 г.), вышли въ свѣтъ первымъ изданіемъ въ 1857 г.; въ томъ же году появилось второе изданіе, въ 1864—третье, въ 1882—четвертое. „Невинные разсказы“, печатавшіеся подъ разными заглавіями въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1857 г., „Библіотекѣ для Чтенія“ и „Атеневѣ“ 1858 г., „Московскомъ

¹⁾ Мы руководствуемся при этомъ преимущественно „библіографическимъ очеркомъ“ г. Я., появившимся, какъ мы уже сказали, въ № 7 „Русской Мысли“ 1889 г.

Вѣстникъ 1859 г., „Современникъ“ 1859 и 1863 г., вышли въ свѣтъ первымъ изданіемъ въ 1863, вторымъ—въ 1881, третьимъ—въ 1885 году. „Сатиры въ прозѣ“, печатавшіяся въ „Современникъ“ 1860, 1861 и 1862 г., также выдержали три изданія, одновременно съ „Невинными разсказами“. „Признаки времени“, печатавшіяся въ „Современникъ“ 1866 г. и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1868 и 1869 г., и „Письма изъ провинціи“, печатавшіяся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1868, 1869 и 1870 г., были соединены Салтыковымъ въ одинъ сборникъ, изданный въ первый разъ въ 1870 г., во второй—въ 1872-мъ, въ третій—въ 1885 г. „Исторія одного города“ появилась въ „Отечественныхъ Запискахъ“ въ 1869 и 1870 г.; первое отдѣльное ея изданіе вышло въ 1870 г., третье—въ 1883 г. (о времени появленія второго изданія въ очеркѣ г. Я. свѣдений нѣтъ). „Господа Ташкентцы“ печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1869, 1870, 1871 и 1872 г.; первое отдѣльное ихъ изданіе вышло въ свѣтъ въ 1873, второе—въ 1881, третье—въ 1885 году. Столько же изданій и въ тѣ-же годы выдержалъ „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ“, печатавшійся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1872 и 1873 г. Въ составъ сборника: „Помпадуры и Помпадурши“—первое изданіе котораго относится къ 1873 году, третье (о второмъ въ очеркѣ г. Я. свѣдений нѣтъ)—къ 1882, четвертое—къ 1886 г., вошли разсказы, появившіеся отчасти въ „Современникъ“ 1863 и 1864 г., отчасти въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1868, 1871 и 1873 г. Подъ общей рубрикой „Благонамѣренныхъ рѣчей“ печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1872-76 г. какъ статьи, очерки и разсказы, изданные отдѣльно подъ этимъ именемъ (въ первый разъ въ 1876, во второй разъ—въ 1883 году), такъ и серія картинъ изъ жизни одной помѣщицѣй семьи, составляющая Головлевскую эпопею. „Господа Головлевы“ вышли въ свѣтъ первымъ изданіемъ въ 1880, вторымъ—въ 1883 г. „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности“ начинаются печатаніемъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1874 г., заканчиваются въ 1876 г.; затѣмъ, въ 1876 и 1877 г. появляется рядъ статей, соединенныхъ впоследствии подъ именемъ „Отголосковъ“ и вошедшихъ, вмѣстѣ съ „Экскурсіями“, въ составъ сборника: „Въ средѣ умѣренности и аккуратности“, вышедшаго въ свѣтъ первымъ изданіемъ въ 1878, вторымъ—въ 1881, третьимъ—въ 1885 г. „Убѣжище Монрепо“ печатается въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1878 и 1879 г., но отдѣльное изданіе его появляется въ свѣтъ только въ 1882 году; за первымъ изданіемъ быстро,

въ 1883 году, слѣдуетъ второе (въ библиографическомъ очеркѣ г. Я. не упоминается о дальнѣйшихъ изданіяхъ этой книги, но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что оно выдержало еще одно, третье изданіе). Очерки, соединенные подъ заглавіемъ: „Круглый годъ“, печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1879 г. и вышли въ свѣтъ отдѣльной книгой въ первый разъ въ 1880, во второй разъ—въ 1883 году. Въ 1881 г. вышелъ въ свѣтъ сборникъ: „За Рубежемъ“, составленный изъ статей 1880 и 1881 г. Въ томъ же году Салтыковъ собралъ въ одно цѣлое нѣсколько сказокъ, очерковъ и разсказовъ, напечатанныхъ имъ въ разное время, между 1869 и 1879 г. Этотъ „Сборникъ“ выдержалъ, въ 1883 г., второе изданіе. Въ 1882 г. вышли въ свѣтъ „Письма къ тетенькѣ“, печатавшіяся въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1881 и 1882 г., въ 1883 г.—„Современная Идиллія“ („Отечественныя Записки“ 1877, 1878, 1882 и 1883 г.), въ 1885 г.—„Недоконченныя бесѣды“ („Отечественныя Записки“ 1873, 1874, 1875, 1882, 1883, 1884 г.) и „Помехонскіе разсказы“ („Отечественныя Записки“ 1883 и 1884 г.), въ 1886 г.—„Пестрыя письма“ („Вѣстникъ Европы“ 1884, 1885 и 1886 г.) и „Сказки“, печатавшіяся въ разныхъ изданіяхъ („Отечественныхъ Запискахъ“, „Недѣль“, „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, „Сборникъ“ литературнаго фонда) между 1880 и 1885 г., въ 1887 г.—„Мелочи жизни“ („Вѣстникъ Европы“ 1886 и 1887 г.). Съ осени 1887 г. началось печатаніе въ „Вѣстникъ Европы“ „Помехонской Старинны“, окончившееся только въ мартѣ 1889 г., за два мѣсяца до смерти Салтыкова; отдѣльной книгой это произведеніе при жизни Салтыкова не выходило и перепечатывается въ первый разъ въ полномъ собраніи его сочиненій. Итакъ, изъ всѣхъ книгъ Салтыкова только двѣ—„Губернскіе Очерки“ и „Помпадуры и Помпадурши“—выдержали при его жизни четыре изданія. Это—новая иллюстрація къ поговоркѣ: „habent sua fata libelli“. „Губернскіе Очерки“ безспорно принадлежать къ числу самыхъ крупныхъ произведеній Салтыкова, но о „Помпадурахъ и Помпадуршахъ“ этого сказать никакъ нельзя. Въ трехъ изданіяхъ вышли *все* книги Салтыкова, появившіяся въ свѣтъ до половины семидесятыхъ годовъ, и нѣкоторыя изъ позднѣйшихъ. Особенно увеличивается спросъ на сочиненія Салтыкова въ восьмидесятыхъ годахъ; популярность ихъ растетъ постоянно и выражается, наконецъ, въ блестящемъ успѣхѣ полного ихъ собранія, разошедшагося въ 6,500 экземплярахъ въ нѣсколько мѣсяцевъ.

К. АРСЕНЬЕВЪ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РОСПИСЬ

на 1890 годъ.

По государственной росписи на 1890 годъ *обыкновенныхъ* доходовъ (безъ оборотныхъ) ожидается 888.898.051 р.—и *обыкновенныхъ* расходовъ предвидится 887.457.282 р., что въ результатъ даетъ превышеніе доходовъ надъ расходами на 1.440.769 р. По *чрезвычайному* бюджету расходы исчислены въ суммѣ 57.818.700 р., на удовлетвореніе которыхъ предусматривается дѣйствительныхъ поступленій лишь 15.869.465 р.; недостающіе затѣмъ 41.949.235 р. предполагается покрыть полутора-милліоннымъ излишкомъ обыкновеннаго бюджета и—въ количествѣ 40.508.466 р.—свободной наличностью государственнаго казначейства. Въ общемъ результатъ, такимъ образомъ, государственная роспись на 1890 годъ сводится къ недобору въ доходахъ сравнительно съ расходами на сумму въ 40½ м. рублей.

Какъ извѣстно, роспись эта вызвала одобреніе во многихъ органахъ печати, какъ нашей, такъ и заграничной, но, конечно, не по отношенію къ дѣйствительно блестящему исполненію росписи за 1888 годъ, по которому въ обыкновенномъ бюджетѣ оказался избытокъ доходовъ надъ расходами въ 60 милл. руб., между тѣмъ какъ сведеніе того же бюджета на 1890 годъ оказалось возможнымъ только съ избыткомъ доходовъ въ 1½ мил. рублей. Притомъ, по имѣющимся въ росписи цифрамъ роспись *обыкновенныхъ* доходовъ и расходовъ можетъ сводиться на 1890 годъ не съ превышеніемъ въ доходахъ, а скорѣе съ дефицитомъ въ 11 мил. р., такъ какъ превышеніе получается собственно лишь оттого, что часть *обыкновенныхъ* расходовъ перенесена въ рубрику расходовъ чрезвычайныхъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда понадобилось ремонтировать крѣпости на нашей западной границѣ, на это было отпущено около

6 милл. руб., которые и были внесены въ число чрезвычайныхъ расходовъ. Мы тогда находили это недостаточно правильнымъ, доказывая, что такіе расходы, какъ ремонтъ или постройка крѣпостей, настолько же обыкновенный ежегодный государственный расходъ, насколько и постройка зданій для университета, для суда, присутственнаго мѣста, казармы, броненосца и т. п. Изъ отчета государственнаго контроля въ слѣдующемъ году мы увидѣли, что дѣйствительно не только дальнѣйшіе расходы на постройку крѣпостей занесены въ роспись обыкновенныхъ расходовъ, но и указанные 6 милл. руб. причислены заднимъ числомъ обыкновеннымъ расходомъ. Основываясь на такомъ мнѣніи отчета государственнаго контроля, мы и теперь не видимъ основанія причислить, какъ это сдѣлано по росписи 1890 года, къ чрезвычайнымъ расходамъ $10\frac{1}{2}$ м. р. по перевооруженію. Такіе расходы, очевидно, въ большей или меньшей цифрѣ производятся не чрезвычайно, а постоянно, и составляютъ удовлетвореніе обыкновенной государственной потребности, которое должно потому покрываться обыкновенными, изъ года въ годъ поступающими средствами государственнаго казначейства. Также едва ли можно включать въ чрезвычайные расходы 2 м. р. на заготовленіе специальныхъ резервовъ продовольствія въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ своевременная доставка можетъ встрѣтить затрудненія. Этотъ прямой расходъ интендантской смѣты производится, очевидно, не первый годъ — и никогда до сихъ поръ къ чрезвычайнымъ расходамъ не относился. Если и было основаніе — намъ, впрочемъ, неизвѣстное — выдѣлить эти два расхода изъ *нормальнаго* бюджета военнаго вѣдомства, подобно тому, какъ выдѣлены въ особую рубрику 3 м. р. на случай возможнаго возвышенія цѣнъ на провіантъ и фуражъ, то изъ этого не вытекала еще необходимость включить ихъ въ бюджетъ поступлений и расходовъ чрезвычайныхъ. Такимъ образомъ, если эти два расхода $10\frac{1}{2}$ и 2 мил. руб. перенести, согласно вышеприведенному указанію государственнаго контроля, въ надлежащее мѣсто, т. е. въ обыкновенный бюджетъ, то при сведеніи обыкновенныхъ доходовъ и расходовъ на 1890 г. получится уже другой результатъ.

Куда бы, впрочемъ, ни отнести эти $12\frac{1}{2}$ м. р., результатъ по всей росписи долженъ получиться тотъ же, а именно: недоборъ доходовъ, сравнительно съ расходами, въ $40\frac{1}{2}$ м. р. и даже въ 43 м. р., — если 2.229.882 р., составляющіе сбереженіе отъ кредитовъ на погашеніе восточныхъ займовъ въ періодъ 1878—1886 годовъ считать не доходнымъ чрезвычайнымъ источникомъ 1890 года (какъ это дѣлается въ росписи), а такую же свободною наличностью государственнаго казначейства, какъ и $40\frac{1}{2}$ м. р., назначенные по росписи на покры-

тіе „недостатка поступленія для исполненія чрезвычайныхъ расходовъ“. Еще недавно (во всеподданнѣйшемъ докладѣ по росписи на 1889 годъ) г. министромъ финансовъ нормальнымъ признавался лишь такой порядокъ, когда превышеніемъ обыкновенныхъ доходовъ будутъ вполнѣ покрываться недоборы чрезвычайнаго бюджета, *помимо кредитныхъ операций*,—а заимствование суммъ на расходы изъ наличности государственнаго казначейства есть тоже кредитная операція. Кромѣ того, нельзя не обратить вниманія и на то, что въ отвращеніе неудовлетворительнаго положенія нашего государственнаго бюджета въ послѣднее время былъ предпринятъ цѣлый рядъ мѣръ, изъ которыхъ многія потребовали значительнаго обремененія платежныхъ силъ: размѣръ существовавшихъ налоговъ возвышенъ и установлены новые. Мѣры эти не остались безъ послѣдствій: благодаря имъ, при счастливыхъ экономическихъ условіяхъ, по исполненію росписи на 1889 годъ обыкновенными доходами не только оказалось возможнымъ покрыть всѣ расходы, какъ обыкновенные, такъ и чрезвычайные, но еще получился крупный избытокъ въ 34 мил. рублей. Но надобно думать, что всѣ эти мѣры оказались дѣйствительны не на одинъ и не на два года, а потому, при отсутствіи замѣтныхъ экономическихъ невзгодъ, государственная роспись могла бы быть сведена съ весьма значительнымъ превышеніемъ доходовъ по обыкновенному бюджету и безъ крупнаго недобора по всей росписи. Но на дѣлѣ этого не оказалось: и превышеніе незначительно, и недоборъ довольно крупенъ.

Мы думаемъ, однако, что неудовлетворительные выводы росписи на 1890 годъ составляютъ не болѣе, какъ слѣдствіе необычайно строгаго ея составленія, причемъ доходы, по нашему мнѣнію, исчислены далеко въ низшемъ размѣрѣ, нежели слѣдуетъ ожидать ихъ по имѣющимся для этого даннымъ. Въ этомъ легко убѣдиться сопоставленіемъ цифры обыкновенныхъ государственныхъ доходовъ послѣдняго отчетнаго года, т.-е. 1888, съ цифрами росписи на 1890 годъ. По этой росписи обыкновенныхъ доходовъ исчислено 889 м. р. Между тѣмъ уже въ 1888 году ихъ получено (безъ оборотныхъ) 899 мил. рублей. По свѣденіямъ министерства финансовъ за первые 10 мѣсяцевъ 1889 года—доходы превъсили доходы 1888 года на 44 мил. р., т.-е. въ доходахъ обнаружилось такое поступательное движеніе, которое не можетъ разомъ упасть даже при весьма неблагоприятныхъ экономическихъ условіяхъ. Правда, въ этихъ 44 м. р. излишка заключаются такъ-называемые доходы льготнаго срока 1888 года, т.-е. дополнительные взносы разныхъ окладныхъ сборовъ, долговъ и пособій казѣ, части доходовъ отъ казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ и т. п.,—взносы, которые

были исчислены по росписи 1888 года и, еслибы не послѣдовала отмѣна льготнаго срока, были бы зачислены въ доходъ этого года, а не 1889 г. Но и по исключеніи указанныхъ доходовъ (ихъ было 13½ м. р.), все еще остается 30-ти-милліонное превышеніе. Это превышеніе принимается нами—не какъ основаніе для нашихъ выводовъ о вѣроятной цифрѣ доходовъ 1890 г., а только какъ признакъ, указывающій, что нѣсколько невыгодныя экономическія условія 1889 г. (плохой урожай въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ имперіи) даже въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ второго полугодія не оказали неблагоприятнаго вліянія на поступленіе государственныхъ сборовъ. Для упомянутыхъ выводовъ мы остановимся на цифрахъ исполненія государственной росписи за 1888 годъ.

Какъ показано выше, доходъ 1888 года=899 мил. рублей. Но въ него не вошли дополнительные взносы бывшаго льготнаго срока,—въ доходъ же 1890 года эти взносы (за 1889 годъ) войдутъ; поэтому къ 899 м. р., для опредѣленія вѣроятнаго дохода 1890 года, слѣдуетъ прибавить еще милліоновъ 15 р.¹⁾ Затѣмъ, съ 1890 года на ходятся въ казенномъ вѣденіи три перешедшія отъ частныхъ обществъ желѣзныя дороги: закавказская, ряжско-виземская и сызранская, съ доходомъ до 22 м. р., и расширились обороты нѣкоторыхъ другихъ желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе чего доходность казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, по расчету министерства финансовъ, увеличилась съ 22 до 51 м. р., т.-е. на 29 м. р., которые также должны быть прибавлены къ доходу 1888 года. Въ общемъ это составитъ 943 мил. рублей. Но изъ этой суммы слѣдуетъ вычесть 15 м. р., уплаченныхъ въ 1888 году николаевской желѣзной дорогой по прежнимъ счетамъ, и еще около 8 мил. р., вслѣдствіе того, что доходы, поступающіе въ золотой валютѣ въ 1888 г., перечислялись въ кредитные по курсу 1 р. 80 коп. за золотой рубль, а въ 1890 году будутъ перечисляться по 1 р. 70 коп.,—итого 23 мил. р. За исключеніемъ ихъ, вѣроятный доходъ 1890 года, допуская одинаковыя съ 1888 годомъ условія государственнаго хозяйства, составитъ 920 м. р., болѣе противъ исчисленнаго по росписи на 32 м. рублей.

Но одинаковы ли указанные условія? Г. министръ финансовъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ по росписи на 1890 годъ, упомяная объ особенной осторожности департамента государственной экономіи при исчисленіи доходовъ 1890 года, указываетъ на то, что урожай хлѣбовъ и сборъ сѣна въ 1889 году былъ значительно ниже, чѣмъ въ 1887 и 1888 годахъ; это должно отозваться на доходахъ

¹⁾ Средняя цифра за прежнее время доходовъ льготнаго срока—около 20 м. р.; только за 1888 годъ она спустилась до 13½ м. р. Принимая для росписи 1890 года 15 м. р., мы беремъ, по всей вѣроятности, меньше, нежели слѣдуетъ.

первой половины 1890 года; доходы же второй половины будутъ зависеть отъ урожая этого года. Что успѣшное поступленіе государственныхъ доходовъ находится въ связи съ экономическимъ благосостояніемъ населенія—это несомнѣнно. Но вліяніе на эти доходы большаго или меньшаго урожая одного или двухъ лѣтъ вовсе не такъ быстро и непосредственно, какъ то можетъ казаться. Это нетрудно подтвердить примѣрами. Урожай 1889 года считается ниже урожая двухъ предшествовавшихъ лѣтъ, но особенно плохимъ для всѣхъ мѣстностей имперіи онъ названъ быть не можетъ; что будетъ въ нынѣшнемъ году, пока предвидѣть трудно. Между тѣмъ еще недавно были два года, 1884 и 1885, весьма неудовлетворительные въ экономическомъ отношеніи. Почти повсемѣстный по имперіи неурожай сопровождался закрытіемъ многихъ фабрикъ, торговыми банкротствами и уменьшеніемъ нашего заграничнаго отпуска. Все это подорвало благосостояніе населенія, но на цифру государственныхъ доходовъ не оказало замѣтнаго вліянія: въ 1884 и 1885 годахъ государственныхъ доходовъ поступило гораздо болѣе, нежели въ два предшествующіе года. Но допустимъ для 1890 года и плохой урожай, и уменьшеніе вслѣдствіе этого государственныхъ доходовъ: оно едва-ли превзойдетъ тотъ тридцати-милліонный излишекъ, который оказался въ поступленіи государственныхъ доходовъ въ 1889 году сравнительно съ предшествовавшимъ. Такимъ образомъ, для 1890 года должна сохраниться цифра дохода 1888 года съ тѣми, указанными выше, добавленіями, которыя нисколько не зависятъ отъ урожая.

Къ тому же выводу приводитъ какъ разсмотрѣніе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ статей доходной росписи, такъ и тщательное ознакомленіе со всеподданнѣйшимъ по росписи 1890 г. докладомъ г. министра финансовъ.

Остановимся на главномъ изъ доходовъ—питейномъ, доставляющемъ значительно болѣе четверти всѣхъ государственныхъ доходовъ. По росписи на 1890 годъ онъ исчисленъ въ суммѣ 253.338.580 р., —нѣсколько менѣе дохода 1883 года (253.668.039 р.). Между тѣмъ акцизъ въ 1883 году былъ въ 8 р. съ ведра безводнаго спирта, а въ 1890 году (съ 1888 г.) онъ увеличенъ до 9 р. 25 коп. При такомъ же расходѣ вина, какой былъ въ 1883 году, питейный доходъ уже съ 1888 г. долженъ бы доставлять казнѣ болѣе на 30 м. р., т.-е. 283 мил. рублей. Потому ли, что съ увеличеніемъ акциза уменьшилось потребленіе, потому ли, что усилилось обращеніе въ народѣ корчемнаго, не оплаченнаго акцизомъ, вина, доходъ не достигъ такой цифры: въ 1888 году его поступило 265 м. р., а въ теченіе 9 мѣсяцевъ 1889 года поступленіе его превысило поступленіе за тотъ же

періодъ 1888 года почти на 13 м. рублей. Питейный сборъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ части. Первую и главную изъ нихъ составляетъ акцизъ со спирта и вина; его поступило въ 1888 году 237 м. р. съ небольшимъ, что соотвѣтствуетъ оплатѣ (по 9 р. 25 к.) 25.650.000 ведеръ безводнаго спирта ¹⁾; вторую часть, около 28 м. р., составляетъ акцизъ съ водокъ, пива, дрожжей, патентный сборъ и пр. Если эти 28 мил. р. вычесть изъ 253¹/₂ м. р. питейнаго дохода по росписи 1890 года,—акциза со спирта и вина остается 225¹/₂ м. р., что соотвѣтствуетъ менѣе нежели 24¹/₂ мил. ведеръ безводнаго спирта, т.-е. какъ бы ожидается, что потребление спирта сократится слишкомъ на миллионъ ведеръ противъ 1888 г. — и еще болѣе противъ 1889 г. Слѣдуетъ однако вспомнить, что въ неблагопріятные даже годы расходъ спирта не упадалъ ниже 25 м. ведеръ: въ 1884 году его оплачено акцизомъ до 27 м. ведеръ; въ 1885 году—до 25¹/₂ мил. ведеръ. Впрочемъ ненормальность исчисленія питейнаго дохода въ столь незначительной цифрѣ признается, повидимому, самимъ министерствомъ финансовъ: „питейный доходъ, — говоритъ г. министръ финансовъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ, — какъ находящійся въ самой тѣсной связи съ урожаемъ, государственнымъ совѣтомъ ограниченъ цифрою въ 253,3 вмѣсто дѣйствительно поступившихъ въ 1888 году 265 м., и *несмотря на то*, что питейный доходъ за девять мѣсяцевъ 1889 г. далъ превышеніе въ 12,7 м. надъ доходомъ соотвѣтствующаго періода въ истекшемъ (1888) году“.

Такое, по нашему мнѣнію и — намъ кажется — по мнѣнію г. министра финансовъ, нѣсколько преувеличенно-скромное исчисленіе доходовъ въ росписи на 1890 годъ оказалось не по одному питейному сбору. „Таможенный доходъ, — читается далѣе въ томъ же всеподданнѣйшемъ докладѣ, — назначенъ въ 121 м. р., вмѣсто дѣйствительно поступившихъ въ 1888 году 134 м. р. ²⁾, *хотя* за десять мѣсяцевъ таможенныхъ пошлинъ собрано въ 1889 году на 9¹/₂ м. р. золотомъ, болѣе чѣмъ въ 1888 году. Точно такую же версію, съ болѣе или менѣе значительнымъ пониженіемъ назначеній росписи противъ поступления двухъ предшествующихъ лѣтъ, мы находимъ въ докладѣ относительно доходовъ: табачнаго, гербоваго, крѣпостного, съ наслѣдствъ и пр., и отъ казенныхъ имуществъ. При этомъ

¹⁾ При этомъ не принимается въ расчетъ 7 м. р., поступившіе, по удостовѣренію министерства финансовъ, лишь случайно въ 1887 году (во извѣжаніе возмнѣннаго акциза), но слѣдующіе въ доходъ 1888 года.

²⁾ По отчету за 1888 г. поступленіе показано въ 141 м. р.; но если золотые рубля перечислить по курсу, принятому для росписей 1889 и 1890 гг., т.-е. по 1 р. 70 коп. за кредитный рубль (а не 1 р. 80 к.), то доходъ выразится цифрою 134 м. р.

для объясненія цѣлаго рода такихъ пониженій въ докладѣ ничего не приводится; единственнымъ объясненіемъ можетъ служить приведенное нами выше указаніе, что урожаѣ 1889 г. былъ хуже урожаѣ двухъ предшествовавшихъ лѣтъ.

Мы не разъ указывали на одинъ механическій приѣмъ составленія вообще нашихъ росписей ¹⁾. При разсмотрѣніи первоначально не росписи въ общемъ ея составѣ, а смѣты отдѣльныхъ вѣдомствъ по доходамъ и расходамъ, — выяснившіяся при обсужденіи въ департаментѣ государственной экономіи цифры вносятся затѣмъ уже безъ измѣненія въ роспись. Лишь по немногимъ статьямъ, доходнымъ или расходнымъ, цифры регулируются при сведеніи росписи. Затѣмъ, къ тому времени, когда смѣты разсматриваются, въ распоряженіи обсуждающихъ ихъ учреждений находятся далеко не полныя данныя, — хотя съ прошлаго года, по уничтоженіи льготнаго срока по доходамъ, они могутъ быть нѣсколько полнѣе. Наиболѣе надежнымъ основаніемъ для заключенія о вѣроятномъ доходѣ предстоящей росписи могли бы служить цифры истекающей смѣты, — но ихъ-то и не можетъ быть. Свѣденія о поступленіи доходовъ за 9 мѣсяцевъ 1889 года напечатаны въ „Вѣстникѣ финансовъ и промышленности“ лишь во второй половинѣ декабря, и самъ г. министръ финансовъ во всеподданнѣйшемъ докладѣ, редактированномъ, какъ можно думать, въ самомъ концѣ декабря, лишь по таможенному доходу могъ привести цифру десяти-мѣсячнаго поступленія, ограничиваясь по другимъ статьямъ девятью мѣсяцами. А между тѣмъ по многимъ доходнымъ статьямъ наибольшее, если не исключительное поступленіе оказывается лишь въ послѣдніе мѣсяцы смѣтнаго года (нынѣ по доходамъ совпадающаго съ гражданскимъ). Въ департаментѣ государственной экономіи смѣтныя назначенія разсматриваются, разумѣется, весьма тщательно, на основаніи смѣтныхъ соображеній, представляемыхъ подлежащими управленіями, и замѣчаній министерства финансовъ и государственнаго контроля. Но и департаментъ руководствуется установленными приѣмами исчисленія (напр., по трехлѣтней сложности поступленій) и при назначеніи доходныхъ цифръ росписи рѣдко можетъ увеличивать ихъ противъ исчисленій самихъ управленій. Главныя доходныя статьи росписи находятся въ смѣтахъ министерства финансовъ, и мы склоняемся къ мысли, что починъ въ излишней, по нашему мнѣнію, сдержанности назначеній доходной росписи принадлежитъ не столько департаменту государственной экономіи, сколько самому

¹⁾ Смѣемся въ пригѣръ на статью о бюджетѣ 1879 г. „Вѣстника Европы“, декабрь, 1880 года, стр. 880.

министерству финансовъ. Должно сознаться, что сдержанность эта не лишена основанія. Въ былое время, въ 70-хъ годахъ, какъ ни щедрны бывали смѣтныя назначенія; въ дѣйствительности доходовъ поступало обыкновенно болѣе назначеннаго; но въ періодъ 1883—1887 гг. цифра доходной росписи, при ея исполненіи, ни разу не оправдалась: недоборы были не крупные, но все-таки были; лишь въ 1887 году оказался значительный, около 35 м. р., излишекъ въ доходахъ противъ исчисленнаго по росписи; но это лишь потому, что со второй половины года былъ увеличенъ размѣръ многихъ налоговъ. Весьма вѣроятно предположить, что министерство финансовъ, основываясь на неудачномъ примѣрѣ недавняго прошлаго, не имѣя еще свѣденій о поступленіи доходовъ во второй половинѣ 1889 г., и приписывая благоприятныя цифры перваго полугодія хорошимъ экономическимъ условіямъ предшествующихъ двухъ лѣтъ,—въ виду того, что въ 1889 г. эти условія измѣнились къ худшему (насколько, въ точности оно не могло еще знать) задалось осторожностью, быть можетъ, нѣсколько преувеличенною. На всеподданнѣйшій докладъ министра финансовъ, насколько въ немъ говорится о цифрахъ доходовъ, мы готовы смотрѣть какъ на поправку скудныхъ исчисленій доходной росписи. Принимая въ соображеніе эту поправку и основываясь на общихъ исчисленіяхъ, сдѣланныхъ нами выше, мы съ полнымъ убѣжденіемъ выражаемъ увѣренность, что при исполненіи росписи 1890 года обыкновенные доходы значительно превзойдутъ ея предположенія и дадутъ возможность излишкомъ ихъ покрыть если не сполна, то хотя на половину недоборъ чрезвычайнаго бюджета.

Обыкновенныхъ государственныхъ расходовъ исчислено по росписи на 1890 годъ (съ оборотными) 890 мил. р.,—болѣе противъ росписи на 1889 годъ (861 м. р.) на 29 мил. р. и на 49¹/₂ м. р. болѣе противъ дѣйствительнаго расхода по исполненію росписи 1888 года. Сравнительно съ послѣднимъ наибольшая цифра увеличенія (на 25 м. р.) оказывается по министерству путей сообщенія вслѣдствіе того, что въ 1889 году и въ началѣ 1890 г. въ казну перешло вновь нѣсколько частныхъ желѣзныхъ дорогъ и расширена сѣть прежнихъ казенныхъ дорогъ. Усилившіеся расходы на ихъ эксплуатацію, какъ показано выше, съ избыткомъ покрываются увеличеніемъ отъ нихъ дохода.—На 10 мил. р. увеличились расходы военнаго министерства, главнымъ образомъ, вслѣдствіе ожидаемаго усиленія расходовъ на обмундированіе и снаряженіе, на денежное довольствіе войскъ и на учебные сборы нижнихъ чиновъ запаса и

ратниковъ ополченія, независимо отъ 10^{1/2} м. р., отпущенныхъ на перевооруженіе въ числѣ расходовъ чрезвычайныхъ. — Затѣмъ, замѣтно увеличены расходы по министерствамъ: финансовъ (на 7 м. р.), государственныхъ имуществъ (на 2^{1/2} м. р.), внутреннихъ дѣлъ (на 4^{1/2} м. р.), народного просвѣщенія (на 1^{1/2} м. р.) и юстиціи (на 2 м. р.). — Предполагается довольно значительное (на 1.700.000 р.) сокращеніе расходовъ по морскому министерству, но наиболѣе замѣнательно уменьшеніе кредитовъ на уплату по государственнымъ долгамъ. Въ одной изъ предшествовавшихъ статей по государственнымъ бюджетамъ мы говорили о постоянномъ и непрерывномъ ростѣ расходовъ по этой статьѣ до 1887 года, когда они достигли 281 м. р. Въ 1888 году расходъ этотъ уменьшился на 1^{1/2} м. р.¹⁾ противъ предшествующаго года. По росписи на 1889 годъ кредитовъ на уплату государственныхъ долговъ было назначено 272^{1/2} м. р., и по росписи на 1890 годъ всего лишь 266 м. р., менѣе противъ расхода 1888 года на 13^{1/2} м. рублей. Около половины этого уменьшенія объясняется инымъ счетомъ по уплатамъ золотомъ (по 1 р. 70 к. вмѣсто 1 р. 80 к., какъ въ 1888 г., за золотой рубль), но затѣмъ около 6—7 м. р. предвидится дѣйствительнаго сокращенія расходовъ. Это сокращеніе состоитъ отчасти въ уменьшеніи суммы уплатъ казны по облигаціямъ желѣзныхъ дорогъ (уплатъ, будто бы подлежащихъ возврату), а отчасти, на 3 м. р. слишкомъ, вслѣдствіе удачныхъ конверсій въ 1888 и 1889 году пятипроцентныхъ металлическихъ займовъ въ четырехпроцентные. Эта послѣдняя сумма составляетъ прямое и постоянное сбереженіе въ государственныхъ расходахъ.

Отмѣтимъ еще особенность росписи на 1890 годъ. У насъ, какъ извѣстно, въ послѣднее время основательно обрѣтаются не въ авантажъ (и болѣе, нежели основательно) сверхсметные кредиты, т. е. расходы, не предусмотрѣнные заранѣе и составлявшіе въ прежнее время одну изъ наиболѣе слабыхъ сторонъ нашихъ бюджетовъ. Во избѣжаніе крупныхъ сюрпризовъ въ этомъ отношеніи, въ росписи послѣднихъ лѣтъ „на

¹⁾ Напомнимъ, что по системѣ государственнаго кредита нужно расходомъ считать всю отпускаемую по росписи сумму, такъ какъ кредиты по этой статьѣ не закрываются и неуплаченные въ теченіе смѣтнаго года суммы считаются подлежащими отпуску, за незначительными исключеніями. Крупное исключеніе въ этомъ отношеніи являетъ 1888 годъ, когда было закрыто около 9 м. р., вслѣдствіе того, что въ этомъ году 5% билеты 1-го выпуска пересрочены на новыя 87-лѣтній періодъ, и въ тиражъ погашенія въ этомъ году поступило билетовъ менѣе на сумму до 9 м. р., такъ что вмѣсто назначенныхъ по росписи на расходы по государственнымъ долгамъ 288 м. р. (безъ малаго), израсходовано 279^{1/2} м. р. Въ сущности, какъ это и видно, такая операція составила не уменьшеніе расхода, а лишь его разсрочку.

расходы, не предусмотрѣнные смѣтами, и на экстренныя въ теченіе года надобности" вносятся не 3 м. р. какъ прежде (до росписи 1887 г. включительно), а 6 м. рублей. Въ росписи 1890 года, сверхъ этихъ 6 м. р., внесено еще 3 м. р. „на покрытіе расходовъ по случаю предусматриваемаго возвышенія цѣнъ на провіантъ и фуражъ“.

Переходимъ къ чрезвычайному бюджету. О расходѣ въ 10¹/₂ м. р. по перевооруженію арміи и въ 2 м. р. на заготовленіе спеціальныхъ резервовъ продовольствія въ отдаленныхъ краяхъ мы сказали уже выше. Остается затѣмъ 45 м. р. на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ и портовъ. Сумма эта значительно превосходитъ какъ назначеніе по росписи на 1889 годъ (34 м. р.), такъ и дѣйствительный расходъ 1888 года (около 37 м. р.) ¹⁾. Столь щедрое назначеніе объясняется во всеподданнѣйшемъ докладѣ министра финансовъ необходимостью многихъ улучшеній на желѣзныхъ дорогахъ, которыя были не въ состояніи удовлетворять предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ со стороны торговли, и потребностью скорѣйшаго приведенія портовъ въ удовлетворительное состояніе. Если есть средства, то очевидно, что неизбѣжные расходы, особенно производительные, слѣдуетъ выполнить какъ можно скорѣе; это только усилитъ ихъ пользу, а наши желѣзныя дороги и неустроенность большей части нашихъ портовъ давно уже вызываютъ справедливыя сѣтованія, несмотря на сотни милліоновъ, на нихъ потраченныя.

Мы не можемъ въ заключеніе нашей статьи не повторить того, что говорилось нами не разъ. Бездефицитное исполненіе государственныхъ росписей мы считали всегда дѣломъ первостепенной важности и не разъ высказывали, что, во что бы то ни стало, оно должно быть достигнуто, такъ какъ неудовлетворительное положеніе государственныхъ финансовъ влечетъ не только административныя затрудненія, но и политическую опасность. Теперь мы склонны думать, что судьба нашихъ государственныхъ бюджетовъ по меньшей мѣрѣ на нѣсколько лѣтъ вполне обезпечена. Но намъ кажется, что задача министерства не будетъ вполне исполнена—безъ вниманія къ другой, обратной сторонѣ медали. Избытокъ государственныхъ доходовъ, котораго, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ ожидать въ ближайшіе годы, долженъ бы побудить къ нѣкоторому пересмотру существующихъ размѣровъ и порядковъ обложенія. Несомнѣнно есть сборы, съ одной стороны, тяжело ложащіеся на классы населенія, наименѣе обезпеченные, съ другой—сами по себѣ не тяжелые, но неудобные

¹⁾ Израсходовано въ 1888 году собственно около 27 м. р., и около 10 м. р. остались въ кредитъ на льготный срокъ и на основаніи смѣтнаго правила, что строгіе кредиты отпускаются на два смѣтные періода.

въ томъ отношеніи, что косвеннымъ путемъ служатъ къ стѣсненію промышленности. Чѣмъ шире и всестороннѣе будетъ принимать министерство финансовъ свои задачи, тѣмъ обезпеченіе и выгоды для страны явится успѣхъ его.

Мы заканчивали свою статью, когда появился № 2 „Вѣстника Финансовъ“ съ „предварительными кассовыми свѣденіями о государственныхъ доходахъ и расходахъ съ 1-го января по 1-е ноября 1889 г.“. Изъ нихъ видно, что и за десять мѣсяцевъ поступленія обыкновенныхъ доходовъ 1889 года значительно, на 42¹/₂ м. р., превысили поступленія въ теченіе такого же срока 1888 года.

О.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 февраля 1890 г.

Приведеніе въ дѣйствіе положеній 12-го іюля.—Правила 29-го декабря о производствѣ судебныхъ дѣлъ у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей.—Гласность засѣданій и участіе повѣренныхъ.—Повѣрка выборовъ въ земскія собранія.—Нѣсколько словъ по поводу статьи кн. Н. С. Волконскаго.—Земскія новости.

Послѣдніе дни минувшаго года принесли съ собою окончательное завершеніе административно-судебной реформы. 29-го декабря утверждены правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, а также нѣкоторыя измѣненія и дополненія къ закону 12-го іюля. Установлено число земскихъ начальниковъ и городскихъ судей въ тѣхъ шести губерніяхъ, съ которыхъ начинается осуществленіе новаго порядка, и опредѣлены, для тѣхъ же губерній, мѣстности, не входящія въ составъ земскихъ участковъ. Наибольшее число земскихъ начальниковъ въ уѣздѣ—*восемь*, наименьшее—*два*, среднее—отъ четырехъ до пяти. Земскихъ участковъ будетъ, такимъ образомъ, только немногимъ больше, чѣмъ мировыхъ, и приближеніе суда къ населенію окажется, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, очень незначительнымъ. Городскихъ судей назначено по двое только въ губернскіе города (за исключеніемъ, конечно, Москвы, гдѣ остаются мировые судьи), въ два уѣздныхъ города (Нѣжинъ и Стародубъ) и въ посадъ Иваново-Вознесенскій; во всѣхъ остальныхъ уѣздныхъ городахъ, а также въ Павловскомъ посадѣ (богородскаго уѣзда, московской губерніи), ихъ будетъ по одному. Городскому судѣ, живущему въ уѣздномъ городѣ, будутъ подвѣдомственны и тѣ мѣстности въ уѣздѣ, которыя не включены въ составъ земскихъ участковъ. Такія мѣстности (заштатные города, посады, слободы, мѣстечки, желѣзно-дорожныя станціи, монастыри, дачныя поселенія, крупныя фабрики) имѣются, — не считая упомянутыхъ уже нами посадовъ Павловскаго и Иваново-Вознесен-

скаго—въ шестнадцать уѣздахъ. При отдаленности уѣзднаго города отъ мѣстности, отнесенной къ кругу дѣйствій городского судьи, обращеніе къ суду, для населенія послѣдней мѣстности, будетъ сопряжено съ значительными неудобствами.

Положеніе о земскихъ начальникахъ, утвержденное 12-го іюля 1889 г., установило двѣ категоріи кандидатовъ на это званіе, съ тѣмъ, чтобы выборъ изъ среды второй категоріи производился только при недостаткѣ лицъ первой категоріи (удовлетворяющихъ болѣе строгимъ требованіямъ по части имущественнаго, образовательнаго и служебнаго ценза). Общимъ условіемъ для кандидатовъ обѣихъ категорій представляется принадлежность къ мѣстному потомственному дворянству; предусмотрѣна, однако, возможность назначенія въ земскіе начальники и такихъ лицъ, которыя не подходятъ ни подъ ту, ни подъ другую категорію. „Когда,—сказано въ статьѣ 15-ой,—за недостаткомъ мѣстныхъ потомственныхъ дворянъ, имѣющихъ право быть назначенными на должности земскихъ начальниковъ, за отказомъ избранныхъ на оныя кандидатовъ отъ назначенія, или по другимъ причинамъ, оказывается невозможнымъ замѣстить всѣ положенныя должности земскихъ начальниковъ, министру внутреннихъ дѣлъ предоставляется назначать на остающіяся незамѣщенными должности лицъ, хотя и не принадлежащихъ къ числу упомянутыхъ дворянъ, но окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеній имперіи или выдержавшихъ соотвѣтственное испытаніе“. Изъ дѣйствія общихъ правилъ о назначеніи земскихъ начальниковъ слѣдующая, 16-ая статья исключаетъ губерніи астраханскую, вятскую, пермскую и олонекскую, а также вельскій и тотемскій уѣзды вологодской губерніи; отъ кандидата въ земскіе начальники требуется и здѣсь только окончаніе курса въ одномъ изъ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеній имперіи, или выдержаніе соотвѣтственнаго испытанія. Эти двѣ статьи положенія 12-го іюля измѣнены, еще до вступленія ихъ въ дѣйствіе, мнѣніемъ государственнаго совѣта, Высочайше утвержденнымъ 29-го декабря 1889 г. Въ случаяхъ, ими предусмотрѣнныхъ, министру внутреннихъ дѣлъ предоставлено—*временно*, „впредь до болѣе полнаго выясненія опытомъ затрудненій въ точномъ примѣненіи положенія о земскихъ начальникахъ“,—опредѣлять въ земскіе начальники и „такихъ лицъ, которыя хотя и не получили свидѣтельствъ объ окончаніи курса въ одномъ изъ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеній имперіи, или о выдержаніи соотвѣтственнаго испытанія, но, по имѣющимся у министра свѣденіямъ, оказываются достойными занять должность земскаго начальника и обладающими достаточными познаніями для исполненія возлагаемыхъ на нихъ обязанностей“. О смыслѣ этого

„временнаго“ правила возникъ споръ между двумя петербургскими газетами. Одна изъ нихъ („Новое Время“, № 4984) полагаетъ, что оно „имѣетъ значеніе лишь для тѣхъ медвѣжьихъ угловъ, гдѣ не только образованныхъ дворянъ, но и вообще образованныхъ людей слишкомъ мало, и гдѣ, поэтому, по необходимости приходится допускать въ участковые начальники всякихъ благонадежныхъ лицъ, какого бы они ни были происхожденія и образованія“. Другая газета („Новости“, № 15) находитъ, наоборотъ, что *юридически*, въ силу установленнаго изъятія, на должность земскаго начальника въ настоящее время *вездѣ* можетъ попасть лицо, не обладающее ни имущественнымъ, ни образовательнымъ, ни сословнымъ цензомъ. Что касается до „медвѣжьихъ угловъ“, то именно здѣсь въ особенности нужны образованные люди, въ присканіи которыхъ—разъ, что допущено назначеніе не изъ числа мѣстныхъ жителей,—едва ли встрѣтились бы какія-либо затрудненія. На чьей сторонѣ, въ данномъ случаѣ, правда—это, въ нашихъ глазахъ, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Разбирая положеніе 12-го іюля, мы имѣли уже случай замѣтить, что разница между обѣими главными категоріями кандидатовъ на должности земскаго начальника—въ сущности мнимая, потому что назначеніе изъ среды послѣдней категоріи не обусловлено *абсолютнымъ* недостаткомъ лицъ, принадлежащихъ къ первой. Губернатору и предводителямъ дворянства довольно признать, что между кандидатами первой категоріи нѣтъ надлежащаго числа лицъ, *заслуживающихъ* назначенія,—и этимъ самымъ открывается доступъ кандидатамъ второй категоріи. То же самое слѣдуетъ сказать и о третьей, экстренной категоріи кандидатовъ, установленной ст. 15-ой положенія 12-го іюля и расширенной закономъ 29-го декабря. Наравнѣ съ недостаткомъ (т.-е. безусловнымъ недостаткомъ) кандидатовъ первыхъ двухъ категорій и съ отказомъ ихъ отъ назначенія поставлены здѣсь *другія причины*, къ числу которыхъ относится, очевидно, и забракovanje полноправныхъ кандидатовъ. Тѣмъ важнѣе было бы сохраненіе образовательнаго ценза, установленнаго, для подобныхъ случаевъ, первоначальнымъ текстомъ закона. Слишкомъ высокимъ этотъ цензъ очевидно не былъ. Среднее образованіе представляетъ собою наименьшую гарантію свѣденій, необходимыхъ для удовлетворительнаго исполненія сложныхъ обязанностей земскаго начальника. Недостатка въ лицахъ, получившихъ такое образованіе, нигдѣ и никогда у насъ быть не можетъ, разъ, что идетъ рѣчь о замѣщеніи должности вліятельной и хорошо оплачиваемой. Суррогатомъ образованія, по общему смыслу законовъ 12-го іюля, является такъ-называемый служебный цензъ, т.-е. служба въ извѣстныхъ должностяхъ—мирового посредника, мирового судьи, непремѣннаго члена

крестьянскаго присутствія; новое правило не требуетъ и служебнаго ценза. Что касается до „временнаго“ характера этого правила, то, за неопредѣленіемъ срока дѣйствія его, оно можетъ оказаться на самомъ дѣлѣ столь же продолжительнымъ и прочнымъ, какъ и множество другихъ существующихъ у насъ „временныхъ“ правилъ.

Наиболѣе горячую защиту поправка къ ст. 15-ой встрѣтила въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (№ 17). Здѣсь прямо выражается надежда, что новому правилу предстоитъ окончательно замѣнить собою прежнюю редакцію ст. 15-ой. При назначеніи земскихъ начальниковъ — такъ разсуждаетъ московская газета — главную роль, вообще говоря, играетъ рекомендація губернатора или предводителя; министръ ограничивается утвержденіемъ представленнаго ему кандидата, чѣмъ, конечно, не снимается съ него отвѣтственность за назначеніе. Но при назначеніи на должность непосредственно министромъ отвѣтственность эта дѣлается сугубою — и этимъ самымъ устраняется надобность въ какихъ бы то ни было внѣшнихъ условіяхъ назначенія. Мнѣніе министра о способностяхъ назначаемого лица не есть ли гарантія, гораздо болѣе надежная, чѣмъ окончаніе курса въ томъ или другомъ учебномъ заведеніи? „На должности земскихъ начальниковъ нерѣдко идутъ люди, достигшіе такого возраста и прошедшіе настолько продолжительный служебный искусь, что вопросъ: *идѣтъ ли вы окончили курсъ?* становится просто смѣшнымъ“... Несостоятельность этой аргументаціи бросается въ глаза. Она доказываетъ гораздо больше, чѣмъ хочетъ доказать. Если, по отношенію къ лицамъ извѣстнаго возраста, смѣшнѣе вопросъ о мѣстѣ окончанія курса, то къ чему же допускать его для какой бы то ни было категоріи земскихъ начальниковъ? Къ чему вводить образовательный цензъ въ число условій замѣщенія этой должности, независимыхъ отъ возрастнаго ценза? Къ чему ставить на одинъ уровень съ нимъ только службу въ извѣстныхъ, определенныхъ должностяхъ, а не вообще „продолжительный служебный искусь“? Если мнѣніе министра, отвѣтственнаго за каждое назначеніе въ земскіе начальники — „гарантія гораздо болѣе надежная“, нежели образовательный цензъ, то къ чему стѣснять, когда бы и чѣмъ бы то ни было, свободу дѣйствій министра въ выборѣ земскихъ начальниковъ?.. Защита поправки, сдѣланной къ закону 12-го іюля, сводится, такимъ образомъ, къ осужденію системы, положенной въ основаніе самого закона. Напрасно московская газета пытается установить различіе между назначеніемъ по рекомендаціи и назначеніемъ по непосредственному усмотрѣнію. Послѣднее, на самомъ дѣлѣ, также почти всегда будетъ основываться на рекомендаціи. Только въ видѣ

исключенія выборъ министра упадетъ самъ собою на кандидата, лично ему извѣстнаго и никѣмъ ему не указаннаго; въ громадномъ большинствѣ случаевъ поводомъ къ назначенію будетъ служить официальное представленіе того или другого должностнаго лица, подчиненнаго министру (губернатора, предводителя дворянства, правителя канцеляріи, директора департамента и т. п.). Именно въ виду этого неизбежнаго характера административныхъ назначеній и опредѣлены, закономъ 12-го іюля, условія занятія должности земскаго начальника — условія, къ совершенному устраненію которыхъ направлена, въ сущности, аргументація московской газеты.

Правила производства судебныхъ дѣлъ у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей представляются, болѣею частью, простымъ воспроизведеніемъ соответствующихъ отдѣловъ судебныхъ уставовъ. Въ этомъ заключается главное отличіе ихъ отъ первоначальнаго проекта, выработаннаго зимою 1887-88 г., и, вмѣстѣ съ тѣмъ, — ихъ главное достоинство. Въ первомъ фазисѣ преобразовательной работы имѣлось въ виду создать, для земскихъ начальниковъ (о городскихъ судьяхъ тогда не было еще и помину), форму разбора совершенно новую, не совсѣмъ судебную ¹⁾. Земскому начальнику предоставлялось — пользоваться судебными полномочіями, не будучи и не чувствуя себя судьей; онъ долженъ былъ олицетворять собою судъ бытовой, народный, свободный отъ формальностей и смотрящій исключительно въ самую суть дѣла. Всѣмъ этимъ предположеніямъ придавалась существенная важность; только отъ нихъ ожидалось согласованіе суда по мелкимъ дѣламъ съ настоящими потребностями народной жизни. Между мировымъ судомъ и судомъ земскаго начальника должна была, однимъ словомъ, существовать цѣлая пропасть. Теперь отъ нея не осталось и слѣда — и не мы, конечно, будемъ сокрушаться о такомъ результатѣ. Статья 88-ая новыхъ правилъ, опредѣляющая способъ рѣшенія гражданскихъ дѣлъ, представляетъ собою почти буквальное повтореніе ст. 129, 130—131 и 132 устава гражданского судопроизводства ²⁾; статья 200-ая новыхъ правилъ, касающаяся способа рѣшенія уголовныхъ дѣлъ, играетъ ту же роль по отношенію къ ст. 119 устава уголовного судопроизводства. Первоначальный проектъ возстановлялъ „собираніе справокъ“ по дѣламъ гражданскимъ и, что еще хуже, разрѣшалъ зем-

¹⁾ См. Внутреннее Обозрѣніе въ № 2 „Вѣстника Европы“ за 1888 г.

²⁾ Такое соединеніе нѣсколькихъ статей въ одну, едва-ли удобное съ практической точки зрѣнія, встрѣчается не рѣдко въ новыхъ правилахъ. Только благодаря тому, въ нихъ числятся 255 статей взамѣнъ соответствующихъ 167 статей устава уголовного судопроизводства и 173 статей устава гражданского судопроизводства.

скому начальнику возлагать эту функцію на урядниковъ, сотскихъ и десятскихъ, на волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ; статья 52-я новыхъ правилъ, по примѣру ст. 82 и 367 устава гражданскаго судопроизводства, прямо воспрещаетъ собираніе доказательствъ, разрѣшая лишь указывать сторонамъ на неполноту дѣла, въ формѣ *предложенія* представить дополнителныя свѣденія. Этимъ правомъ пользовались и пользуются суды, дѣйствующіе на основаніи уставовъ 1864 г.; оно принадлежитъ имъ за силою статьи 368-й устава гражданскаго судопроизводства, примѣнимой, какъ давно уже разъяснили сенатъ, и къ разбирательству у мировыхъ судей. Нужно быть совершенно незнакомымъ съ теоріей и практикой нашего гражданскаго процесса, чтобы утверждать, какъ это дѣлаютъ „Московскія Вѣдомости“, что мировой судья не могъ выяснитъ дѣла тѣмъ путемъ, который открытъ теперь для земскихъ начальниковъ и городскихъ судей. „Мировой судья,—воскликаетъ, очевидно, мало свѣдущая газета,—играетъ роль посторонняго лица, обязаннаго слушать тѣ, что ему говорятъ стороны, прочесть тѣ, что ему укажутъ прочесть; это—какіе-то автоматическіе вѣсы для взвѣшиванія показаній сторонъ“. Въ этой картинѣ нѣтъ ни слова правды; она нарисована, очевидно, въ-торопяхъ, подъ влияніемъ досады на нерѣшительность новыхъ правилъ. „Разъ нашли нужнымъ отказаться отъ принципа невмѣшательства,—читаемъ мы дальше,—почему не довести дѣла до конца, предоставивъ земскому начальнику полную свободу собирать доказательства, выяснять истину всѣми возможными путями“. По мнѣнію газеты, правила 29-го декабря напрасно приспособлены къ условіямъ дѣятельности городскихъ судей; слѣдовало бы, наоборотъ, приспособить ихъ къ условіямъ дѣятельности земскихъ начальниковъ. „Состязательный процессъ и земскій начальникъ, въ томъ видѣ, какъ онъ созданъ положеніемъ 12-го іюля, какъ-то не выжутся вмѣстѣ“. Правильнѣе было бы сказать, что состязательный процессъ не вяжется съ тѣмъ представленіемъ о земскомъ начальникѣ, которое усвоила себѣ, основываясь *отчасти* на первоначальномъ проектѣ министерства внутреннихъ дѣлъ,—московская газета. Съ этимъ представленіемъ несогласимы вообще какія бы то ни было точныя, опредѣленные правила; обязанность руководствоваться закономъ кажется стѣсненіемъ; единственнымъ критеріемъ дѣятельности признается усмотрѣніе, ничѣмъ не ограниченное. Понятно, что въ большинствѣ постановленій, вошедшихъ въ составъ закона 29-го декабря, „Московскія Вѣдомости“ должны видѣть досадное отступленіе отъ истиннаго пути и утѣшаться лишь надеждой на скорое устраненіе всего „непрактичнаго и несоответственнаго потребностямъ дѣла“.

Продолжаемъ указаніе главныхъ точекъ соприкосновенія между

судебными уставами и закономъ 29-го декабря. Прямо изъ устава гражданского судопроизводства (ст. 409 и 410) заимствованы постановленія о допустимости и значеніи свидѣтельскихъ показаній (правила 29-го декабря, ст. 69 и 70). Въ области уголовного процесса земскому начальнику, какъ и городскому судѣ, не предоставлено никакихъ экстраординарныхъ правъ; итъ и помину о „распорядительномъ производствѣ“, заключеніемъ котораго, по смыслу первоначальнаго проекта, долженъ былъ служить „приказъ“ о наказаніи. Всѣ проступки, подвѣдомственные земскому начальнику, разбираются имъ, какъ и городскимъ судьей, въ порядкѣ судебномъ, а не административно-карательномъ. Сохранено, наконецъ, въ противоположность первоначальному проекту, и право тяжущихся и подсудимыхъ имѣть повѣренныхъ или защитниковъ изъ числа профессиональных адвокатовъ. Отступленія отъ судебныхъ уставовъ допущены въ немногихъ случаяхъ и имѣютъ, большею частью, нейтральный характеръ, т.-е. вытекаютъ не изъ стремленія расширить дискреціонную власть земскаго начальника. Посмотримъ ближе, въ чемъ заключаются важнѣйшія изъ этихъ отступленій.

По уставу гражданского судопроизводства (ст. 57) истецъ, основывающій свои требованія на письменныхъ доказательствахъ, передаетъ ихъ мировому судѣ при подачѣ исковой просьбы—и во всякомъ случаѣ не позже двухъ часовъ по-полудни наканунѣ дня, назначеннаго для явки на судъ. Новыя правила (ст. 34) *предоставляютъ* земскому начальнику или городскому судѣ требовать отъ истца, основывающаго свой искъ на письменныхъ доказательствахъ, представленія этихъ доказательствъ до открытія засѣданія по дѣлу и во всякомъ случаѣ столь заблаговременно, чтобы отвѣтчикъ имѣлъ возможность съ ними познакомиться. Новое постановленіе, повидимому, менѣе стѣснительно для истца, чѣмъ прежнее, потому что обязываетъ его къ заблаговременному представленію доказательствъ не безусловно, а только въ случаѣ, если это признаетъ нужнымъ земскій начальникъ или городской судья. На практикѣ, однако, ст. 57-я устава гражданского судопроизводства понималась весьма широко; новыя доказательства принимались отъ истца (какъ и отъ отвѣтника) при всякомъ положеніи дѣла. При буквальной, строгомъ примѣненіи новаго правила, оно можетъ повлечь за собою существенное ограниченіе правъ истца. Весьма важно, съ этой точки зрѣнія, опредѣлить—допускаютъ ли правила 29-го декабря представленіе новыхъ доказательствъ при всякомъ положеніи дѣла, и притомъ не только въ первую, но и въ апелляціонную инстанцію. Уставъ гражданского судопроизводства 1864 г. не даетъ прямого отвѣта на этотъ вопросъ; но практика, закрѣпленная кассационными рѣшеніями, давно уже

разрѣшила его утвердительно—и такое разрѣшеніе кажется намъ совершенно правильнымъ. Сразу явиться во всеоружіи, сразу обставить дѣло всѣми возможными доказательствами чрезвычайно трудно, а для тяжущихся, ведущихъ дѣло лично или черезъ посредство мало свѣдущихъ повѣренныхъ, почти немислимо. Есть поводъ думать, что точно такъ же смотреть на дѣло и новыя правила, содержащія въ себѣ слѣдующее постановленіе (ст. 120): „уѣздный съѣздъ входитъ въ разсмотрѣніе всѣхъ имѣющихся въ дѣлѣ доказательствъ, но обязанъ провѣрить вновь только тѣ изъ нихъ, отъ повѣрки коихъ первая инстанція уклонилась безъ достаточныхъ основаній“. Отсутствіе какой бы то ни было оговорки относительно времени представленія „имѣющихся въ дѣлѣ доказательствъ“ равносильно, въ нашихъ глазахъ, разрѣшенію представлять ихъ во всякое время; вся разница въ томъ, что по отношенію къ доказательствамъ, представленнымъ въ апелляціонную инстанцію, повѣрка *не обязательна*, а всецѣло зависитъ отъ усмотрѣнія суда. Другими словами, уѣздный съѣздъ *можетъ* спросить, но можетъ и не спросить вновь выставленныхъ свидѣтелей ¹⁾. *Повѣрку* доказательствъ не слѣдуетъ смѣшивать съ ихъ *разсмотрѣніемъ*; послѣднее, по смыслу начальныхъ словъ ст. 120, во всякомъ случаѣ обязательно для уѣзднаго съѣзда, хотя бы то или другое доказательство и не было въ виду низшей инстанціи. Если это такъ, то ст. 34 новыхъ правилъ, очевидно, также должна быть толкуема въ распространительномъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ права истца представлять доказательства и послѣ назначеннаго ему первоначально срока.

Съ цѣлью ограничить, по возможности, число заочныхъ рѣшеній, дѣйствительно сопряженныхъ съ серьезными неудобствами, законъ 29-го декабря устанавливаетъ слѣдующія правила. Отвѣтчику представляется, вмѣсто явки къ разбирательству лично или черезъ повѣреннаго, представить письменное объясненіе, со всѣми необходимыми, по его мнѣнію, свѣденіями и документами. Рѣшеніе, постановленное безъ бытности отвѣтчика, не считается, въ такомъ случаѣ, заочнымъ (ст. 42). Въ случаѣ неявки отвѣтчика и непредставленія имъ письменнаго объясненія, земскій начальникъ или городской судья постановляетъ заочное рѣшеніе; но вторичный разборъ дѣла, по отзыву отвѣтчика, допускается только тогда, когда причина неявки отвѣтчика будетъ признана уважительною. Въ противномъ случаѣ заочное рѣшеніе остается въ силѣ и можетъ быть обжаловано отвѣтчикомъ лишь въ апелляціонномъ порядкѣ (ст. 95—98). Соотвѣт-

¹⁾ Такимъ же правомъ облечена, по разъясненію сената, и апелляціонная инстанція, дѣйствующая на основаніи устава 1864 г.

ствуюція правила установлены и для тѣхъ уголовныхъ дѣлъ, по которымъ обвиняемому угрожаетъ наказаніе не выше ареста (ст. 210—216); что касается до дѣлъ, по которымъ обвиняемый можетъ быть приговоренъ къ тюремному заключенію, то здѣсь присутствіе обвиняемаго на судѣ безусловно необходимо. Всѣ эти постановленія слѣдуетъ признавать совершенно цѣлесообразными. Вполнѣ заслуживаетъ сочувствія и то правило (ст. 247), въ силу котораго исполненіе приговора, присуждающаго къ лишенію свободы, можетъ быть отсрочено, по особу уважительнымъ причинамъ (семейныя и хозяйственныя обстоятельства и т. п.), впредь до минованія обстоятельствъ, служащихъ основаніемъ къ отсрочкѣ.

Обратимся теперь къ правиламъ, касающимся кассационнаго производства. Просьбы объ отиѣнѣ окончательныхъ рѣшеній и приговоровъ земскихъ начальниковъ или городскихъ судей, а также уѣздныхъ стѣздовъ, допускаются (помимо открытія новыхъ обстоятельствъ и нарушенія правъ третьихъ лицъ): 1) въ случаѣ постановленія рѣшенія или приговора по дѣлу, изъятому изъ вѣдомства земскихъ начальниковъ, городскихъ судей и волостныхъ судовъ, и 2) въ случаѣ допущенія, при производствѣ или рѣшеніи дѣла, столь существеннаго нарушенія закона, что вслѣдствіе сего приговоръ нельзя признать въ силѣ судебного рѣшенія (ст. 129 и 237). Сличая эти правила съ соотвѣтствующими статьями уставовъ гражданскаго и уголовного судопроизводства (186 и 793, 174 и 912), нетрудно замѣтить, что разница между ними только формальная, редакціонная, не измѣняющая характера дѣятельности кассационной инстанціи. Существо дѣла остается безусловно неподлежащимъ ея разсмотрѣнію; по новымъ правиламъ, какъ и по старымъ, основаніемъ къ отиѣнѣ окончательнаго рѣшенія является исключительно *нарушеніе закона*. Различіе между нарушеніями существенными и несущественными знакомо и уставамъ 1864 г.; оно постоянно играло и играетъ большую роль въ практикѣ кассационныхъ департаментовъ сената, такъ что и съ этой точки зрѣнія законъ 29-го декабря не создаетъ и не вводитъ ничего новаго. Всѣ выходы противъ кассационнаго суда и кассационнаго производства не привели, такимъ образомъ, ни къ какому практическому результату; онѣ разбились о силу вещей, о невозможность возстановить длинный рядъ до-реформенныхъ судебныхъ инстанцій, ничѣмъ не отличающихся другъ отъ друга, повторяющихъ, на одинъ и тотъ же ладъ, одну и ту же работу. На этомъ пунктѣ, какъ и на всѣхъ другихъ, не предрѣшенныхъ соображеніями политическаго свойства—побѣда осталась за основными положеніями судебной реформы.

Чѣмъ ближе задачи губернскихъ присутствій, по дѣламъ судеб-

нимъ, подходить къ задачамъ кассационнаго суда, тѣмъ меньше соотвѣствующимъ своему назначенію кажется намъ составъ этихъ присутствій. Мы знаемъ уже, что юридическій элементъ, столь необходимый при кассационномъ разсмотрѣніи дѣла, представленъ здѣсь только *однимъ* лицомъ (предсѣдателемъ или членомъ окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда предъявляетъ заключеніе по дѣлу, но не участвуетъ въ постановленіи рѣшенія); мы знаемъ также, что кассационная власть, по самому существу своему предполагающая извѣстное сосредоточеніе, извѣстное единство, раздроблена между *тридцатью-шестью* губернскими присутствіями. Коррективомъ неудобствъ, вытекающихъ изъ такого устройства, должно служить слѣдующее правило, утвержденное 29-го декабря въ дополненіе къ закону 12-го іюля: „когда министръ юстиціи, изъ дошедшихъ до него свѣдѣній, усмотритъ, что губернское присутствіе, при разбирательствѣ или рѣшеніи судебнаго дѣла, допустило явное отступленіе отъ истиннаго смысла закона, то, по сношеніи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ предлагаетъ о семъ прав. сенату, для установленія правильнаго и единообразнаго примѣненія закона и возстановленія нарушеннаго порядка. Въ сенатѣ означенныя предложенія разсматриваются въ соединенномъ присутствіи перваго и гражданскаго или уголовнаго кассационныхъ департаментовъ по принадлежности. Присутствіе это составляютъ, подъ предсѣдательствомъ первоприсутствующаго подлежащаго кассационнаго департамента, три сенатора перваго и три сенатора гражданскаго или уголовнаго кассационнаго департаментовъ“. Значеніе этого корректива безспорно; но едва-ли оно такъ велико, какъ полагаютъ нѣкоторыя газеты, едва-ли можно утверждать, что по отношенію къ земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ сѣздамъ „судебное вѣдомство въ полной мѣрѣ удержало за собой ту же контролирующую и руководящую функцію, которая принадлежала ему по отношенію мирового суда“. „Руководство“ земскими начальниками сосредоточивается всецѣло въ рукахъ губернатора. Нѣкоторому контролю министерства юстиціи подчинена судебная дѣятельность однихъ только губернскихъ присутствій; для земскихъ начальниковъ и уѣздныхъ сѣздовъ этотъ контроль вовсе не существуетъ. Насколько бы постановленія уѣздныхъ сѣздовъ (облеченныхъ, замѣтимъ мимоходомъ, и кассационною властью по наименѣе важнымъ изъ числа дѣлъ, подвѣдомственныхъ земскому начальнику и городскому судѣ) ни шли въ разрѣзъ съ „истиннымъ смысломъ закона“, министръ юстиціи ничего не можетъ предпринять съ цѣлью „возстановленія нарушеннаго порядка“. Отъ него зависить, конечно, сообщить дошедшія до него свѣдѣнія министру внутреннихъ дѣлъ, но вовсе не зависить дальнѣйшее движеніе дѣла.

Совершенно безсилень въ подобныхъ случаяхъ и сенатъ, изъ-подъ наблюденія котораго ускользаетъ, такимъ образомъ, цѣлая масса судебныхъ дѣлъ. Не совсѣмъ ясно, наконецъ, опредѣленъ въ законѣ характеръ „сношенія“ министра юстиціи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, предшествующаго обращенію къ соединенному присутствію сената. Нужно полагать, что подъ именемъ *сношенія* разумѣется здѣсь не *соглашеніе*, а просто *уведомленіе*—другими словами, что передача спорнаго вопроса на разсмотрѣніе соединеннаго присутствія возможна и при разногласіи между обоими министрами.

Какимъ путемъ, однако, будутъ доходить до министра юстиціи свѣденія о нарушеніи губернскимъ присутствіемъ „истиннаго смысла закона“? Всего чаще, конечно, онъ будетъ получать ихъ отъ предсѣдателя или члена окружного суда, участвовавшаго въ засѣданіи губернскаго присутствія и оставшагося при особомъ мнѣніи, или отъ прокурора окружного суда, заключеніе котораго не принято присутствіемъ. Но вѣдь могутъ быть и такіе случаи, когда отступленіе отъ истиннаго смысла закона будетъ допущено съ согласія обоихъ представителей судебного вѣдомства или оставлено ими безъ возраженія. Правило о невынесеніи сора изъ избы имѣетъ у насъ еще немало приверженцевъ; еще больше число лицъ, не желающихъ нарушить добрыхъ отношеній къ высшимъ властямъ губерніи. Тѣмъ болѣе, поэтому, можно пожалѣть о томъ, что закономъ 29-го декабря (ст. 135 и 241) установлена непубличность и негласность судебныхъ засѣданій губернскаго присутствія, какъ по дѣламъ гражданскимъ, такъ и по дѣламъ уголовнымъ. Доступъ къ этимъ засѣданіямъ открытъ только участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ, а для лицъ постороннихъ запрещенъ безусловно. Этимъ самымъ устранена возможность печатанія и обсужденія судебныхъ постановленій губернскаго присутствія. Между тѣмъ именно изъ газетныхъ сообщеній министерство юстиціи могло бы заимствовать богатый матеріалъ для своей контролирующей дѣятельности по отношенію къ губернскимъ присутствіямъ. Само собою разумѣется, что ни одно изъ этихъ сообщеній не было бы принимаемо на вѣру, но они обращали бы вниманіе министерства на то, что происходитъ въ губернскихъ присутствіяхъ, и побуждали бы его къ собранію болѣе точныхъ свѣденій, которыя, въ свою очередь, могли бы служить основаніемъ къ передачѣ дѣла на разсмотрѣніе сената. Къ засѣданіямъ земскихъ начальниковъ, городскихъ судей и уѣздныхъ сѣздовъ примѣнены всецѣло общія правила о гласности, установленныя судебными уставами 1864 г. и видоизмѣненныя закономъ 12-го февраля 1887 г.; исполнѣ возможно, затѣмъ, было бы распространить ихъ и на судебныя засѣданія губернскихъ присутствій. Если высшій кассационный

судъ имперіи—т.-е. кассационные департаменты сената—засѣдаетъ при открытыхъ дверяхъ, и рѣшенія его подлежатъ оглашенію и критикѣ на общемъ основаніи, то почему же нельзя было бы подчинить тому же порядку и тридцать-шесть новыхъ кассационныхъ инстанцій? Само собою разумѣется, что гласность и публичность судебной дѣятельности губернскихъ присутствій представлялась бы желательной не только въ видахъ усиленія officialнаго контроля, но и по многимъ другимъ, не менѣе важнымъ причинамъ. Перечислять ихъ подробно мы не будемъ; онѣ хорошо памятли еще съ того времени, когда вопросъ о гласности въ первый разъ былъ поставленъ на очереди въ русской печати (т.-е. съ конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ).

Право быть повѣренными по гражданскимъ дѣламъ, подвѣдомственнымъ земскому начальнику или городскому судѣ, принадлежить, кромѣ родственниковъ тяжущагося: 1) управляющимъ, приказчикамъ, конторщикамъ, старостамъ и другимъ представителямъ хозяйственныхъ интересовъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ; 2) присяжнымъ повѣреннымъ, и 3) лицамъ, получившимъ отъ мѣстнаго уѣзднаго сѣзда свидѣтельства на право ходатайства по чужимъ дѣламъ (правила 29-го декабря, ст. 5). Если сравнить эту статью новыхъ правилъ съ дѣйствующими законами, то кругъ лицъ, изъ которыхъ можетъ быть выбранъ повѣренный, окажется, съ одной стороны, расширеннымъ (допущеніемъ къ ходатайству не только завѣдующихъ по общей довѣренности, имѣніемъ и дѣлами тяжущагося, но и управляющихъ его, приказчиковъ и т. п.), съ другой—суженымъ (вслѣдствіе непримѣненія къ новымъ учрежденіямъ статьи 18-й закона 25-го мая 1874 г., разрѣшающей ходатайство у мирового судьи, въ теченіе одного года, по тремъ дѣламъ, безъ взятія свидѣтельства на званіе частнаго повѣреннаго). Для землевладѣльцевъ и вообще для лицъ состоятельныхъ — это, несомнѣнно, перемѣна къ лучшему; имъ очень выгодно и сподручно поручать веденіе своихъ дѣлъ лицамъ, состоящимъ у нихъ на службѣ. Нельзя сказать того же самаго о простомъ сельскомъ обывателѣ. До сихъ поръ, благодаря приведенной нами статьѣ закона, онъ легко могъ найти, въ своей же мѣстности, грамотнаго, толковаго человѣка, не имѣющаго ничего общаго съ профессиональной адвокатурой, но способнаго дать объясненія мировому судѣ или мировому сѣзду. Теперь ему придется или вести дѣло самому, или обратиться къ дорого стоящимъ и не всегда доступнымъ услугамъ патентованнаго адвоката. Намъ кажется, что для устраненія этого неудобства необходимо было бы разрѣшить крестьянамъ поручать веденіе своихъ гражданскихъ дѣлъ одному изъ своихъ односельцевъ (какъ это допущено,

статьей 6-ю новыхъ правилъ, для дѣлъ сельскихъ обществъ) или ближайшихъ сосѣдей. Подъ эту послѣднюю рубрику подошли бы и мѣстные землевладѣльцы, часто готовые помочь, совершенно безвозмездно, обитателю сосѣдней деревни. Для предупрежденія злоупотребленій со стороны такихъ случайныхъ повѣренныхъ достаточно было бы распространить на нихъ правило, установленное закономъ 29-го декабря относительно случайныхъ повѣренныхъ (ст. 7) по дѣламъ уголовнымъ (къ защитѣ обвиняемыхъ допускается всякій, кромѣ лицъ, вовсе лишенныхъ права быть повѣренными). Этимъ послѣднимъ, въ случаѣ допущенія ими неправильныхъ или предосудительныхъ дѣйствій, уѣздный съѣздъ можетъ воспретить дальнѣйшее веденіе дѣла какъ въ съѣздѣ, такъ и у подвѣдомственныхъ ему земскихъ начальниковъ и городскихъ судей.

Къ числу лицъ, не имѣющихъ, вообще, права быть повѣренными по дѣламъ, производящимся въ новыхъ учрежденіяхъ, ст. 8-ая закона 29-го декабря относитъ всѣхъ тѣхъ, коимъ ходатайство по дѣламъ воспрещено по соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи, или распоряженіемъ министра юстиціи. Министру юстиціи право устранять отъ ходатайства по судебнымъ дѣламъ принадлежить, по отношенію къ частнымъ повѣреннымъ при судебныхъ мѣстахъ, организованныхъ на основаніи уставовъ 1864 г., за силою ст. 16-й закона 25-го мая 1874 г.; министрамъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи предоставлено вновь такое же право по отношенію ко всѣмъ ходатайствующимъ въ новыхъ судебно-административныхъ учрежденіяхъ (правила 29-го декабря о частныхъ повѣренныхъ при уѣздныхъ съѣздахъ, ст. 6). Намъ кажется, что интересы правосудія были бы достаточно ограждены и безъ такого чрезвычайнаго права, одною дисциплинарною властью, предоставленною уѣзднымъ съѣздамъ, въ особенности еслибы прокуратурѣ и администраціи предоставлено было переносить дѣла этого рода на разсмотрѣніе губернскаго присутствія. При такомъ порядкѣ можно было бы, по крайней мѣрѣ, предполагать, что никто не будетъ лишенъ принадлежащаго ему права безъ выслушанія его оправданій и безъ всесторонняго обсужденія дѣла. Еще больше сомнѣній возбуждаетъ въ насъ слѣдующее постановленіе новыхъ правилъ (ст. 9): „въ случаѣ неправильныхъ и предосудительныхъ дѣйствій присяжныхъ повѣренныхъ при веденіи дѣлъ, подсудныхъ земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, уѣздному съѣзду предоставляется сообщить о дѣйствіяхъ этихъ лицъ прокурору окружнаго суда, причемъ *имъ можетъ быть воспрещено дальнѣйшее ходатайство по чужимъ дѣламъ въ подвѣдомственномъ съѣзду уѣзду, впредь до окончанія возбужденнаго по сообщенію съѣзда дисциплинарнаго о сихъ лицахъ производства*“. Такое право не при-

надлежало и не принадлежить по отношенію къ присяжнымъ повѣренными, ни мировымъ сѣздамъ, ни окружнымъ судамъ, ни судебнымъ палатамъ, ни даже сенату, и намъ никогда не случалось читать или слышать, чтобы отсюда возникали какія-либо затрудненія или неудобства. А что, если дисциплинарное производство, возбужденное по сообщенію уѣзднаго сѣзда, окончится во всѣхъ инстанціяхъ оправданіемъ обвиняемаго или присужденіемъ его къ незначительному взысканію (замѣчанію, выговору), нимало не ограничивающему его адвокатскую правоспособность? Кто вознаградить присяжнаго повѣреннаго за потери, прямые и косвенныя, понесенныя имъ вслѣдствіе внезапнаго устраненія отъ ходатайства въ цѣлой группѣ учреждений? Не пострадаетъ ли достоинство самого уѣзднаго сѣзда, когда присяжный повѣренный, временно имъ устраненный, но оправданный дисциплинарнымъ судомъ, опять станетъ ходатайствовать передъ сѣздомъ и подчиненными ему земскими начальниками и городскими судьями? Не лучше ли было бы, во всѣхъ отношеніяхъ, спокойное ожиданіе окончательнаго приговора, безъ предпріятія возможныхъ, но вовсе не неизбежныхъ его послѣдствій?

Безспорнымъ достоинствомъ новаго закона слѣдуетъ признать устанавливаемые имъ правила о понудительномъ исполненіи по актамъ. Необходимость установить особый, упрощенный и сокращенный порядокъ производства по безспорнымъ взысканіямъ признана уже давно. Давно, если мы не ошибаемся, составленъ и проектъ правилъ по этому предмету, но его постигла судьба многихъ полезныхъ законодательныхъ предположеній; движеніе его было приостановлено на неопредѣленное время, и частная мѣра состоялась раньше общей, хотя, въ сущности, не было никакой надобности отдѣлять одну отъ другой. Нужно полагать, что въ скоромъ времени понудительное исполненіе по актамъ будетъ введено и въ область дѣйствія судебныхъ уставовъ ¹⁾.

Въ дѣйствующемъ положеніи о земскихъ учрежденіяхъ есть одна несомнѣнно-слабая сторона: это — правила, опредѣляющія порядокъ обжалованія и опротестованія постановленій уѣздныхъ земскихъ собраний. Не говоримъ уже о томъ, что плательщики земскихъ сборовъ, если за нихъ не вступится административная власть, вовсе лишены возможности достигнуть пересмотра опредѣленій, въ которыхъ они усматриваютъ нарушеніе своего интереса или своего права. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда пересмотръ возможенъ, постановленія,

¹⁾ По свѣденіямъ „Русскихъ Вѣдомостей“ (№ 17), этого слѣдуетъ ожидать еще до окончанія текущей законодательной сессіи, равно какъ и пересмотра правилъ устава гражданскаго судопроизводства о заочныхъ рѣшеніяхъ.

его регулируюція, оставляютъ желать весьма многого. Ясное и зательство этому представила недавно закончившаяся сессія бурскаго губернскаго земскаго собранія. Протесты губернатора противъ постановленій уѣздныхъ земскихъ собраній направлялись закону, двумя различными путями. Протесты противъ уѣздныхъ или раскладокъ разрѣшаются губернскимъ земскимъ собраніемъ, остальные протесты разсматриваются тѣмъ уѣзднымъ собраніемъ противъ постановленій котораго они заявлены. Если собраніе не идетъ при прежнемъ мнѣніи, спорный вопросъ можетъ быть перенесенъ губернаторомъ на разсмотрѣніе сената. Къ послѣдней категоріи протестовъ принадлежатъ и тѣ, предметомъ которыхъ служатъ постановленія уѣзднаго собранія о правильности или неправильности выборовъ въ гласные, другими словами — о признаніи или не признаніи за тѣмъ или другимъ лицомъ (или за цѣлой категоріей лицъ) права на званіе гласнаго. Одно изъ уѣздныхъ земскихъ собраній петербургской губерніи, избранное вновь въ 1889 г., утвердило протестъ всѣхъ гласныхъ, выбранныхъ на сѣздѣ крупныхъ землевладѣльцевъ. Губернаторъ нашелъ, что при избраніи одного изъ нихъ была допущена существенная неправильность, лишающая его права быть гласнымъ. Прежде чѣмъ уѣздная земская управа успѣла созвать экстренное уѣздное собраніе для разсмотрѣнія этого протеста, наступилъ срокъ открытія губернскаго собранія. Между тѣмъ однимъ изъ губернскихъ гласныхъ отъ даннаго уѣзда избрано было именно это лицо, правильность выбора котораго въ уѣздные гласные была осуждена губернаторомъ. Въ губернскомъ собраніи возникъ вопросъ, можетъ ли это лицо быть допущено къ исполненію обязанностей губернскаго гласнаго, впредь до постановленія, уѣзднымъ собраніемъ или сенатомъ, окончательнаго рѣшенія по протесту губернатора. Послѣ продолжительныхъ преній, большинство отвѣчало на этотъ вопросъ отрицательно, и гласный, о которомъ шла рѣчь, былъ временно устраненъ изъ состава губернскаго собранія. Представимъ себѣ теперь, что протестъ губернатора былъ бы принесенъ не на одинъ отдѣльный выборъ, а на избраніе цѣлой категоріи гласныхъ, напр. гласныхъ отъ землевладѣльцевъ. Участвовали ли бы въ разсмотрѣніи этого протеста, въ уѣздномъ собраніи, гласные, противъ которыхъ онъ направленъ? Безъ сомнѣнія — да, потому что они составляютъ, сплошь и рядомъ, половину общаго числа гласныхъ. Постановленіе, состоявшееся безъ ихъ участія, было бы только *мнѣніемъ* двухъ другихъ избирательныхъ группъ, а не *рѣшеніемъ* земства. Такъ смотритъ на дѣло и сенатъ, установившій, еще въ 1872 г., что повѣрка правильности выборовъ принадлежитъ *всему* собранію, хотя бы осматривались полномочія цѣлой группы гласныхъ. Сенатъ пошелъ еще

дальше и призналъ право участія въ повѣркѣ и за отдѣльнымъ гласнымъ, избраніе котораго составляетъ предметъ протеста или спора. Итакъ, по смыслу нашего законодательства протестъ или споръ не приостанавливаетъ дѣйствія правъ, приобретенныхъ въ силу избранія. И въ самомъ дѣлѣ, всякое другое рѣшеніе вопроса повлекло бы за собою весьма существенныя неудобства. Быстро заканчивается только первый фазисъ повѣрки выборовъ (первоначальное рѣшеніе уѣзднаго собранія); послѣдующіе фазисы ея—созывъ вторичнаго, экстреннаго собранія (для чего необходимо разрѣшеніе министра внутреннихъ дѣлъ) и рассмотрѣніе дѣла въ сенатѣ—сопряжены съ большою медленностью. Отсюда необходимость признанія за собраніемъ права дѣйствовать въ томъ составѣ, какой опредѣлился выборами, хотя бы послѣдніе и не имѣли еще, вслѣдствіе протеста, окончательной силы.

Если все сказанное нами до сихъ поръ не лишено основанія, то губернское собраніе очевидно не должно было устранять изъ своей среды, хотя бы и на время, гласнаго, избраніе котораго только оспорено, но не отмѣнено. Черезъ нѣсколько недѣль будетъ созвано экстренное уѣздное собраніе, для рассмотрѣнія протеста губернатора; гласный, устраненный губернскимъ собраніемъ, займетъ свое мѣсто въ уѣздномъ собраніи, приметъ участіе въ баллотировкѣ относящагося къ нему вопроса, а въ случаѣ разрѣшенія этого вопроса въ его пользу—и во всѣхъ другихъ дѣлахъ собранія. Не явную ли несообразность является, при такомъ положеніи дѣла, постановленіе губернскаго собранія? Хорошо еще, что въ данномъ случаѣ шла рѣчь только объ *одномъ* гласномъ; а еслибы губернское собраніе имѣло въ виду протестъ губернатора противъ правъ *всѣхъ* гласныхъ отъ какого-либо уѣзда, основанный на неразрѣшенномъ еще сомнѣніи въ правильности состава того или другого избирательнаго съѣзда? Чтобы быть послѣдовательнымъ, собраніе должно было бы устранить и этихъ гласныхъ, и остаться, въ продолженіе всей сессіи, безъ представителей отъ цѣлаго уѣзда. Такой же случай возможенъ и по отношенію къ нѣсколькимъ уѣздамъ. Выходъ изъ всѣхъ этихъ противорѣчій и затрудненій только одинъ: признаніе, что протестъ губернатора по отношенію къ выборамъ не имѣетъ суспенсивной, приостанавливающей силы. Пока избраніе не отмѣнено (земскимъ собраніемъ или сенатомъ), избранное лицо *предполагается* правильно избраннымъ и пользуется всѣми проистекающими отсюда правами.

Можно ли, однако, признать нормальнымъ такой порядокъ, при которомъ столь долго остается невыясненнымъ и спорнымъ существенно-важное право—важное какъ по отношенію къ лицу, которое имъ пользуется, такъ и по отношенію къ цѣлому учрежденію? Безспорно—нѣтъ. Способъ повѣрки выборовъ, установленный земскимъ

положеніемъ, несомнѣнно требуетъ коренныхъ поправокъ. Нецѣлесообразнымъ кажется намъ, прежде всего, вторичное разсмотрѣніе вопроса тѣмъ самымъ уѣзднымъ собраніемъ, которымъ онъ однажды уже разрѣшенъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ собраніе остается при прежнемъ мнѣніи, и время теряется совершенно напрасно. Желательно, конечно, чтобы собраніе имѣло въ виду всѣ возраженія губернатора противъ выборовъ; но это вполне возможно и при первой повѣркѣ, потому что выборные листы тотчасъ же послѣ выборовъ сообщаются губернатору. Затѣмъ, если губернаторъ не найдетъ возможнымъ согласиться съ опредѣленіями уѣзднаго собранія относительно выборовъ, ему слѣдовало бы предоставить право опротестовать ихъ передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, подобно тому, какъ это установлено для протестовъ на уѣздныя смѣты и раскладки. Этимъ путемъ обезпечивалось бы, во-первыхъ, быстрое разрѣшеніе спорныхъ вопросовъ. Губернское собраніе всегда созывается не позже двухъ-трехъ мѣсяцевъ послѣ закрытія уѣздныхъ; только въ продолженіе этого срока и оставались бы подъ сомнѣніемъ права тѣхъ или другихъ уѣздныхъ гласныхъ. Во-вторыхъ, невозможны были бы недоразумѣнія въ родѣ тѣхъ, какія мы видѣли въ петербургскомъ губернскомъ собраніи; о *временномъ* устраниніи того или другого гласнаго не могло бы быть и рѣчи, потому что по всѣмъ спорнымъ вопросамъ немедленно постановлялось бы окончательное рѣшеніе. Въ-третьихъ, въ случаѣ отміны выборовъ по цѣлому избирательному сѣзду губернское собраніе могло бы отложить продолженіе своихъ занятій до производства новыхъ выборовъ и до окончанія сессіи вновь избраннаго уѣзднаго собранія. Немыслимо было бы, такимъ образомъ, губернское собраніе, дѣйствующее безъ участія представителей одного или нѣсколькихъ уѣздовъ. За постановленіями губернскаго собранія относительно повѣрки выборовъ слѣдовало бы признать окончательную силу. На разсмотрѣніе сената администрація могла бы переносить только общіе вопросы о порядкѣ производства выборовъ, съ тѣмъ, чтобы опредѣленія сената, опубликованныя во всеобщее свѣденіе, получали, на будущее время, обязательную силу для всѣхъ земскихъ собраній; но выборы, однажды утвержденные губернскимъ земскимъ собраніемъ, оставались бы неприкосновенными, хотя бы они и не соотвѣтствовали позднѣйшему разъясненію сената.

Въ предъидущей книжкѣ нашего журнала напечатана статья кн. Н. С. Волконскаго: „По поводу проекта реформы земскаго обложенія“. Со многими мнѣніями почтеннаго автора мы согласны вполне. Онъ совершенно правъ, когда возражаетъ противъ изыятія изъ рукъ

земства оцѣнки имущества, подлежащихъ земскому обложенію, съ передачей ея въ руки смѣшанныхъ оцѣночныхъ комиссій,—совершенно правъ и тогда, когда отстаиваетъ способность земскихъ учреждений къ самостоятельной дѣятельности. Разногласіе наше сводится къ двумъ главнымъ пунктамъ, на которыхъ, въ виду ихъ важности, мы считаемъ не лишнимъ остановиться.

Кн. Волконскій отрицаетъ цѣлесообразность установленія предѣльныхъ нормъ земскаго обложенія, находя, что оно можетъ принести пользу—и то скорѣе мнимую, чѣмъ дѣйствительную—только двумъ категоріямъ плательщиковъ: очень крупнымъ землевладѣльцамъ, извлекающимъ изъ своихъ имѣній сравнительно ничтожный доходъ, и землевладѣльцамъ очень задолженнымъ, болѣзненно чувствительнымъ ко всякому новому платежу. Едва-ли это такъ. Въ виду ограниченій, которымъ подлежитъ право земскихъ учреждений облагать промышленность и торговлю, ростъ земскаго сбора вездѣ упадаетъ на землю—а значительная часть земель принадлежитъ сельскимъ обществамъ, въ большинствѣ уѣздовъ, притомъ, обложеннымъ сравнительно выше, чѣмъ личные землевладѣльцы. Нельзя сказать, поэтому, чтобы масса населенія не была заинтересована въ установленіи предѣловъ для земскаго сбора. Правда, она больше всего извлекаетъ пользы изъ необязательныхъ земскихъ расходовъ; тѣмъ не менѣе есть граница, за которой эта польза не уравнивается собою обременительности земскаго сбора. Для того, чтобы нормировка земскаго обложенія не отразилась неблагоприятно на ходѣ земскаго дѣла, необходимо только одно,—чтобы норма была установлена достаточно высокая и притомъ подвижная. Другими словами, нужно, чтобы предѣльный процентъ отношенія земскаго сбора къ доходности или цѣнности имѣнія былъ избранъ не слишкомъ низкій, и чтобы переоцѣнка имѣній, могущая повлечь за собою соотвѣтствующее повышение земскаго сбора, зависѣла отъ самого земства (разумѣется, подъ условіемъ соблюденія опредѣленныхъ закономъ правилъ).

Второй пунктъ разногласія, тѣсно связанный съ первымъ, касается взаимной земской помощи. Если размѣръ сбора не можетъ превосходить извѣстной нормы, то что же дѣлать, если онъ оказывается недостаточнымъ для покрытія безусловно необходимыхъ или существенно-важныхъ расходовъ? Можно, конечно, ограничиться чисто-формальнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ; можно утверждать, что смѣта расходовъ должна быть во что бы то ни стало введена въ рамки, обусловливаемая цифрой земскаго сбора. „При установленіи максимума,—говоритъ одинъ изъ защитниковъ нормировки, баронъ П. Л. Корфъ („Ближайшія задачи мѣстнаго управленія“, стр. 81),—можетъ случиться, что нѣсколько уѣздовъ въ Россіи, допускающіе

слишкомъ большіе расходы, вынуждены будутъ значительно урѣзать свои смѣты въ отдѣлѣ необязательныхъ расходовъ. Для такихъ уѣздовъ нужно назначить срокъ нѣсколькихъ лѣтъ, въ теченіе конхъ они обязаны будутъ привести свои смѣты въ такое положеніе, чтобы раскладки не выходили изъ нормъ". Таково простѣйшее рѣшеніе, недостаточность котораго тотчасъ же, однако, чувствуется самимъ авторомъ. Онъ признаетъ, что нѣкоторые уѣзды, мало населенные и бѣдные, будутъ стѣснены нормою въ удовлетвореніи нѣкоторыхъ изъ своихъ *насушимъ* потребностей. „Въ этихъ случаяхъ,—читаемъ мы дальше,—губернское земское собраніе можетъ придти къ нимъ на помощь, присоединивъ нѣкоторые изъ такихъ расходовъ къ числу губернскихъ". А если губернское собраніе не сочтетъ нужнымъ это сдѣлать? Здѣсь-то и обнаруживается преимущество официальнаго проекта передъ предположеніями барона Корфа. Уѣзднымъ земскимъ собраніямъ обезпечивается возможность достигнуть осуществленія необходимыхъ расходовъ, на которые не хватаетъ собственныхъ средствъ уѣзда—и вмѣстѣ съ тѣмъ предусматривается случай вспомошествованія цѣлымъ губерніямъ, поставленнымъ въ особенно неблагоприятныя условія. Безспорно, это—далеко не идеально-совершенный способъ разрѣшенія вопроса; гораздо лучше была бы та форма общеземской солидарности, на которую указываетъ кн. Волконскій,—но мы разсматривали и разсматриваемъ проектъ не съ отвлеченной точки зрѣнія, а примѣняясь къ современной дѣйствительности.

Отъ обязательнаго, при извѣстныхъ условіяхъ, возложенія на губернское земство извѣстной доли уѣздныхъ земскихъ расходовъ кн. Волконскій ожидаетъ самыхъ вредныхъ послѣдствій. Онъ думаетъ, что земскіе расходы во многихъ уѣздахъ сразу будутъ доведены до высшей нормы, въ виду разчета на пособія изъ губернскихъ средствъ или общегосударственнаго земскаго фонда; онъ полагаетъ, что суммы, полученныя извнѣ, земство станетъ тратить спустя рукава, безъ той разумной бережливости и распорядительности, которою отличается вообще земское хозяйство; онъ опасается переимѣны къ худшему въ самомъ составѣ земскихъ учреждений, такъ какъ отъ земскихъ дѣятелей будетъ требоваться не столько умѣнье вести дѣло, сколько умѣнье выпрашивать пособія. Мы не раздѣляемъ этихъ догадокъ и этихъ опасеній. Если сборъ съ патентовъ и торговыхъ свидѣтельствъ, установленный закономъ 21-го ноября 1866 г., почти повсемѣстно былъ сразу доведенъ до высшей нормы, то отсюда вовсе еще не слѣдуетъ, чтобы нѣчто подобное должно было повториться, въ случаѣ введенія нормировки, для земскихъ сборовъ вообще. Возвышеніе сбора на патенты и т. п.—нигдѣ не встрѣтило препятствій, потому что промышленники и торговцы нигдѣ не составляли большинства,

ни въ собраніи, ни въ уѣздѣ. Другое дѣло—возвышеніе земскаго сбора на землю, прямо касающееся большинства гласныхъ и массы населенія; искусственно ускорять его, путемъ увеличенія расходовъ, никто не станетъ, тѣмъ болѣе, что въ помощи изъ губернскихъ средствъ, при такомъ способѣ возвышенія земскаго сбора, почти навѣрное было бы отказано. Ожидать измѣненій въ общемъ характерѣ земскаго хозяйства нельзя уже потому, что пособіе изъ губернскихъ или общегосударственныхъ средствъ покроетъ, во всякомъ случаѣ, лишь небольшую часть земскихъ расходовъ, главное бремя которыхъ по прежнему будетъ лежать на платежныхъ силахъ самого уѣзда. Не измѣнятся, слѣдовательно, и свойства земскихъ дѣятелей; важнѣйшей ихъ задачей по прежнему будетъ умѣлое употребленіе земскихъ средствъ, а не увеличеніе ихъ, въ небольшомъ размѣрѣ, какою-нибудь экстраординарной ассигновкой.

Если мы, разбирая проектъ реформы земскаго обложенія, не высказались ни противъ установленія предѣльныхъ нормъ, ни противъ обусловливаемаго имъ принципа взаимной земской помощи, то насъ побудило къ тому еще одно серьезное соображеніе. Всѣмъ извѣстна изъ газетъ сущность проектируемаго — или, по крайней мѣрѣ, проектировавшагося года два тому назадъ—преобразованія земскихъ учреждений ¹⁾. Всѣмъ извѣстно, что рѣчь идетъ или шла о полномъ ограниченіи самостоятельности земства, о дѣйствительности его постановленій лишь подъ условіемъ предварительнаго ихъ утвержденія административною властью, о *назначеніи* исполнительныхъ органовъ земства. Намъ казалось и кажется до сихъ поръ, что шансы сохраненія основныхъ началъ, созданныхъ положеніемъ 1864 г. и составляющихъ залогъ жизненности земскихъ учреждений, были бы гораздо больше, еслибы земское обложеніе было нѣсколько точнѣе регулировано закономъ. Потеря, которую понесла бы при этомъ самостоятельность земства, была бы совершенно ничтожна въ сравненіи съ тою, которую ожидало земство съ другой стороны.

Кстати о земствѣ. Оно все больше и больше заботится, въ послѣднее время, о расширеніи своей экономической дѣятельности, направленной къ поднятію благосостоянія массы. Мы говорили, въ предъидущей книгѣ, объ открытіи губернскаго совѣта и экономического бюро при московской губернской земской управѣ. Съ такою же цѣлью выбрана саратовскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ

¹⁾ См. въ № 3 „Вѣстника Европы“ за 1888 г. статью подъ заглавіемъ: „По поводу реформы земскихъ учреждений“.

статистико-экономическая коммиссія, въ составѣ десяти губернскихъ гласныхъ. Петербургское губернское земское собраніе, въ виду приближающагося къ концу статистическаго изслѣдованія губерніи, признало необходимымъ воспользоваться собранными этимъ путемъ данными и подготовить, руководствуясь ими, рядъ мѣръ, могущихъ улучшить экономическое положеніе населенія. Эта работа возложена собраніемъ на губернскую управу, вмѣстѣ съ особой коммиссіей, въ составъ которой вошли, по выбору собранія, восемь губернскихъ гласныхъ, и сверхъ того всѣ предсѣдатели уѣздныхъ управъ. Губернской управѣ предоставлено приглашать къ участію въ работѣ и другихъ лицъ, не принадлежащихъ къ числу гласныхъ. Какъ широко и плодотворно можетъ быть такое участіе — это показываетъ примѣръ московскаго губернскаго земства, трудамъ котораго по предварительной постановкѣ экономическихъ вопросовъ содѣйствовали фабриканты, техники, профессора, директора техническихъ учебныхъ заведеній. Нужно надѣяться, что недостатка въ такихъ добровольныхъ работникахъ не будетъ и въ Петербургѣ.

Въ двухъ губерніяхъ, московской и пензинской, происходило недавно рѣдкое зрѣлище: и тамъ, и тутъ было избрано на *девятое третлетіе* въ предсѣдатели губернской земской управы лицо, занимающее эту должность съ самаго открытія земскихъ учреждений (въ Москвѣ—Д. А. Наумовъ, въ Пензѣ—А. Н. Бекетовъ). „Озираясь на далекое уже теперь прошлое, въ которомъ начиналась земская жизнь,—сказалъ А. Н. Бекетовъ на обѣдѣ, данномъ по поводу его избранія („Русскія Вѣдомости“, № 15),—мы сознаемъ, что нелегкіе труды земства и тяжелыя его жертвы не миновали безплодно. Они оставили на богатой почвѣ нашего отечества сѣмена добрыя, которыя принесутъ грядущимъ поколѣніямъ обильную жатву. Мы не забудемъ, что земскія учрежденія развили и укрѣпили въ насъ сознаніе нашихъ обязанностей передъ обществомъ, приучили насъ къ служенію общему благу“. Пензинскій губернский предводитель дворянства (Д. К. Гевличъ), привѣтствуя А. Н. Бекетова отъ имени земства и дворянства, замѣтилъ, между прочимъ, что дворянство пензинской губерніи „всегда принимало живое участіе въ земскихъ учрежденіяхъ, а по числу своихъ гласныхъ составляетъ главную силу губернскаго земства“. „Наше земство,—продолжалъ онъ, обращаясь къ А. Н. Бекетову,—можетъ гордиться постоянствомъ своего полного довѣрія къ вамъ. Я долго бы не кончилъ, еслибы захотѣлъ напомнить хотя кратко все, что сдѣлано земствомъ по вашей инициативѣ. Вы вложили вашу душу въ земское дѣло и посвятили ему чуть не половину вашей дѣятельной жизни. Великое вамъ спасибо отъ земли нашей и высокая вамъ, добрая слава въ лѣтописяхъ русскаго земства!“ Не

всѣмъ губерніямъ удастся такъ долго пользоваться трудами одного и того же лица—но это зависитъ, сплошь и рядомъ, не отъ неблагодарности земскихъ учрежденій. Дѣятели, составившіе себѣ почетное имя на земской службѣ, часто призываются правительствомъ на высшіе административные посты. Вслѣдъ за предсѣдателями новгородской, херсонской, ярославской губернскихъ земскихъ управъ, такой призывъ выпалъ недавно на долю И. А. Горчакова, бывшаго двѣнадцать лѣтъ предсѣдателемъ петербургской губернской земской управы. Петербургское губернское земское собраніе сдѣлало ему прощальную овацію и рѣшило поставить его портретъ въ помѣщеніи управы, рядомъ съ портретомъ его предшественника, барона П. Л. Корфа. Немного, думается намъ, найдется губерній, въ которыхъ земское дѣло не имѣло бы, въ продолженіе истекшихъ двадцати-пяти лѣтъ, такихъ же выдающихся, достойныхъ представителей. А сколько остается еще скромныхъ земскихъ дѣятелей, хорошо извѣстныхъ только въ предѣлахъ своего уѣзда, но оказавшихъ ему самыя существенныя услуги! Есть же что-нибудь живое и жизненное въ выборномъ земскомъ началѣ, если оно выдвигаетъ на сцену столько крупныхъ силъ и такъ долго удерживаетъ ихъ на земскомъ поприщѣ! Не меньшаго вниманія заслуживаетъ и близость, устанавливающаяся, при нормальныхъ условіяхъ, между земствомъ и дворянствомъ. Мы видѣли уже, какъ тепло отнесся къ А. Н. Бекетову пензинскій губернский предводитель дворянства; столь же искренно чествовало петербургское губернское земское собраніе гр. А. А. Бобринскаго, четырнадцать лѣтъ сряду руководившаго его преніями и оставляющаго теперь, къ общему сожалѣнію петербургскихъ земцевъ, постъ петербургскаго губернскаго предводителя дворянства. Прощальная рѣчь гр. Бобринскаго была исполнена уваженія къ учрежденію, съ которымъ онъ сроднился, и которое, въ свою очередь, признаетъ его своимъ, близкимъ человекомъ.

Post-scriptum.—Наше обозрѣніе было уже окончено, когда появился въ печати списокъ первыхъ земскихъ начальниковъ. *Утвержденныхъ*, между ними, оказывается 256, *назначенныхъ*—32. Къ первой категоріи отнесены, очевидно, всѣ тѣ, которые утверждены министромъ по рекомендаціи губернатора и предводителей (или одного изъ этихъ лицъ), на основаніи ст. 6, 7, 13 и 14 положенія 12-го іюля; ко второй—всѣ тѣ, которые назначены непосредственно министромъ, на основаніи ст. 15 положенія, измѣненной закономъ 29-го декабря. Назначенія этого рода встрѣчаются во всѣхъ шести губерніяхъ, гдѣ введены земскіе начальники; но распредѣлены между губерніями

они неравномѣрно. Всего больше ихъ въ московской губерніи (13—въ семи уѣздахъ), всего меньше—въ калужской губерніи (2—въ двухъ уѣздахъ); въ остальныхъ губерніяхъ (черниговской, владимірской, рязанской и костромской) число назначеній колеблется между тремя и пятью. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, одно: областью дѣйствій ст. 15, въ новой ея редакціи, служить и будутъ служить не одни только вышеупомянутые „медвѣжьи углы“. Подъ это наименованіе не подходитъ ни одна мѣстность въ шести губерніяхъ, въ которыхъ введено въ дѣйствіе положеніе 12-го іюля. Сколько изъ числа *утвержденныхъ* земскихъ начальниковъ приходится на долю первой категоріи (статья 6-я положенія), сколько—на долю второй (статья 7-я),—объ этомъ на основаніи обнародованнаго списка судить нельзя; онъ показываетъ только чинъ или званіе каждаго утвержденного или назначеннаго лица, но не даетъ свѣдѣній о его образовательномъ, имущественномъ и служебномъ (въ смыслѣ занятія той или другой должности) цензѣ. „Новости“ сгруппировали всѣхъ земскихъ начальниковъ, какъ утвержденныхъ, такъ и назначенныхъ, по чинамъ военнымъ и гражданскимъ. Въ военныхъ чинахъ состоитъ 92, въ гражданскихъ 151 лицо; остальные 45 показаны потомственными дворянами, безъ означенія чина, котораго они, вѣроятно, не имѣютъ. Между военными всего больше поручиковъ (32) и штабсъ-капитановъ или штабсъ-ротмистровъ (23); между гражданскими — коллежскихъ и губернскихъ секретарей (40 и 28). Сорокъ-пять должностей (изъ 333) остаются пока еще незамѣщенными.



ВОСЬМОЙ СЪѢЗДЪ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Двадцать-два года тому назадъ состоялся, 28-го декабря 1867 г., въ Петербургѣ *первый* общій съѣздъ русскихъ естествоиспытателей. Нѣтъ надобности въ настоящее время припоминать тѣ историческія условія, при которыхъ возникла впервые въ Россіи мысль о пользѣ и необходимости періодическихъ ученыхъ собраній по различнымъ отраслямъ знанія. Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, насколько оправдалось впослѣдствіи предположеніе основателя съѣздовъ въ Россіи, проф. К. Θ. Кесслера, а именно, что „они окажутъ самое плодотворное вліяніе на развитіе у насъ естествознанія“.

Восьмой съѣздъ происходилъ въ Петербургѣ съ 28-го декабря 1889 по 7-е января 1890 года, причемъ, въ общей сложности, въ 83-хъ засѣданіяхъ секцій было сдѣлано 441 сообщеніе, а число членовъ съѣзда простиралось до 2¹/₂ тыс. человѣкъ, несмотря на то, что одновременно съ съѣздомъ натуралистовъ и врачей открылся и закрылся первый съѣздъ технического Общества по вопросамъ технического и профессиональнаго образованія. И тамъ, и здѣсь вопросы представляли одинаковую научно-бытовую важность и нерѣдко имѣли много общаго между собою. Прослѣдить шагъ за шагомъ работы того и другого съѣзда, непосредственно касающіяся самыхъ разнообразныхъ слоевъ русскаго общества, немислимо въ небольшомъ очеркѣ. Но такъ какъ отчеты по отдѣльнымъ секціямъ и отдѣламъ обоихъ съѣздовъ ежедневно печатались во всѣхъ газетахъ, то теперь вполне достаточно представить лишь общую картину того, что происходило на съѣздѣ ¹⁾.

Занятія восьмого съѣзда натуралистовъ и врачей были распределены по 11 секціямъ, тогда какъ на первомъ съѣздѣ въ 1867 году, гдѣ врачи не принимали самостоятельнаго участія, было всего лишь шесть секцій. Изъ прибавленныхъ вновь и не бывшихъ раньше ни

¹⁾ Во время съѣзда издано было 10 номеровъ, in quarto, „Дневника“, подъ редакціей проф. А. С. Фаминцина. Въ этомъ дневникѣ помѣщены краткіе протоколы трехъ общихъ собраній и засѣданій по секціямъ, а въ приложеніяхъ напечатаны чрезвычайно интересныя и вполне популярныя рѣчи по многимъ общественно-научнымъ вопросамъ естествознанія и медицины, произнесенныя или доставленныя на съѣздъ выдающимися русскими учеными.

на одномъ изъ предъидущихъ семи съѣздовъ, въ особенности слѣдуетъ отмѣтить: агрономическую секцію, а также по географіи съ этнографіей и антропологіей (на VI съѣздѣ 1879 г., въ Петербургѣ была секція лишь по антропологіи). Смерть проф. А. П. Доброславина и болѣзнь заслуженнаго профессора академика Н. Θ. Здекауера повліяли на успѣшность работъ по секціи научной гігіены. Вообще, какъ въ этой послѣдней секціи, такъ и въ секціи научной медицины, чувствовалось, что не было выработано заблаговременно программы тѣхъ вопросовъ, которые должны быть обсуждаемы на совмѣстныхъ съѣздахъ натуралистовъ и врачей. Не далѣе какъ годъ тому назадъ происходилъ третій съѣздъ русскихъ врачей, и потому не было еще возможности опредѣлить различіе въ характерѣ очередныхъ занятій по научной медицинѣ и гігіенѣ, чтобы результаты этихъ работъ оправдывали свое историческое значеніе, свои современныя задачи и условія взаимодѣйствія съѣздовъ чисто-медицинскихъ и внѣшнимъ образомъ сходныхъ съ ними съѣздовъ по вопросамъ *естествознанія и медицины*. Между тѣмъ установить или, по крайней мѣрѣ, предначертать схематически планъ будущей дѣятельности тѣхъ и другихъ—*одинаково* необходимыхъ и плодотворныхъ—съѣздовъ было бы весьма необходимо. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что мысль о надлежащемъ распредѣленіи работъ спеціальныхъ и общихъ естественно-научныхъ съѣздовъ не получила еще права гражданства даже въ Германіи, гдѣ естествоиспытатели собираются уже болѣе 70 разъ со времени перваго съѣзда германскихъ натуралистовъ и врачей.

Нынѣшній съѣздъ обратилъ особенное вниманіе на образовательный, популяризаціонный характеръ рѣчей въ общихъ собраніяхъ. Такъ, изъ всѣхъ девяти рѣчей, предназначавшихся не только для членовъ съѣзда, но и для публики, значительная часть вполнѣ была доступна для массы постороннихъ слушателей.

Слѣдуетъ также отмѣтить въ нынѣшнемъ съѣздѣ преобладающій характеръ секціонныхъ докладовъ и сообщеній, которые, вопреки предостереженіямъ проф. И. И. Мечникова на VII одесскомъ съѣздѣ, въ 1882 году, относительно необходимости теоретичности занятій русскихъ ученыхъ съѣздовъ, — носили прикладной характеръ. Значительная часть докладовъ и преній въ различныхъ секціяхъ прямо указывала на то, что теперь получаетъ большее распространеніе пожеланіе проф. А. С. Фаминцына на второмъ съѣздѣ натуралистовъ въ Москвѣ, въ 1869 году, а именно: „продать чашимъ съѣздамъ болѣе жизни и расширить сферу ихъ дѣятельности, не мѣшая, однако, нимало дальнѣйшему развитію интересовъ, преслѣдуемыхъ ими до сего времени“. Посмотримъ же, насколько культурно-бытовая роль VIII-го

съѣзда обнаружилась въ темахъ и содержаніи отдѣльных докладовъ, за исключеніемъ, само собою разумѣется, чисто-спеціальныхъ по математикѣ, астрономіи и т. п.

Въ качественномъ отношеніи, по научности и новизнѣ научныхъ сообщеній, а также по широтѣ практическаго ихъ значенія для русскаго общества, VIII-й съѣздъ натуралистовъ возбуждаетъ къ себѣ полную симпатію. Есть много данныхъ въ пользу того, что общественное значеніе будущихъ съѣздовъ, — въ особенности если осуществится предположеніе объ организаціи *постояннаго комитета* и отечественной ассоціаціи наукъ естествознанія и медицины, — еще болѣе усилится, нежели за истекшіе двадцать-два года.

Въ секціи *физики*, кромѣ спеціальныхъ докладовъ (новая гипотеза цвѣтового зрѣнія, въ особенности просто объясняющая нѣкоторыя явленія дальтонизма и пр.), было возбуждено ходатайство чрезъ общее собраніе о необходимости официальнаго *введенія метрической системы* въ Россіи, что представляетъ одинаковый интересъ для всѣхъ отраслей знанія. Въ секціи *химіи*, въ числѣ другихъ, чисто спеціальныхъ докладовъ, былъ возбужденъ не менѣе важный вопросъ, который подвергался обсужденію и въ соединенномъ засѣданіи общества охраненія народнаго здравія, а именно, *объ измѣдованіи русскихъ виноградныхъ винъ*. Были также общинтересные доклады и въ другихъ секціяхъ, какъ, напримѣръ: по *ботаникѣ о пьяномъ хлѣбѣ* въ южно-уссурійскомъ краѣ, гдѣ на колосьяхъ и на зернахъ хлѣба М. С. Воронинъ нашелъ до 15 различныхъ микроскопическихъ организмовъ, вызывавшихъ своеобразное отравленіе; по *иниенту* — о постановкѣ кумысо-лечебнаго дѣла въ Россіи, находящагося въ самомъ печальномъ положеніи повсюду, какъ и всѣ наши отечественныя минеральныя воды и климатологическія станціи, и т. д. и т. д. Много интересныхъ докладовъ было сдѣлано, въ особенности, въ секціяхъ агрономіи и географіи, въ засѣданіяхъ вольно-эконом. общества (запросы сельскаго хозяйства къ естествознанію и др.), въ соединенныхъ засѣданіяхъ преподавателей математики, физики, географіи, совместно съ членами VIII-го съѣзда, въ педагогическомъ музеѣ и т. д.

Для характеристики *современнаго* значенія съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей слѣдуетъ упомянуть о соединенномъ засѣданіи секцій физики, химіи, геологіи, географіи, агрономіи, гигиены, зоологіи и ботаники, причемъ были заслушаны чрезвычайно важныя сообщенія (проф. В. В. Докучаева — о детальномъ естественно-историческомъ, физико-географическомъ и сельско-хозяйственномъ изслѣдованіи ближайшихъ окрестностей Петербурга; проф. Клоссовскаго — о

колебаніяхъ уровня и температуры въ береговой полосѣ Чернаго моря), а равно возбуждена была масса очередныхъ вопросовъ ¹⁾).

Въ первомъ общемъ собраніи при открытіи сѣзда были прочтаны официальные рѣчи, отчетъ о дѣятельности по устройству сѣзда, нѣсколько привѣтственныхъ телеграммъ и писемъ, а равно результаты выборовъ должностныхъ лицъ. За отказомъ проф. Менделѣева, былъ избранъ предсѣдателемъ сѣзда проф. А. Н. Бекетовъ, а товарищами предсѣдателя—профессора московскаго университета Склифассовскій и Столѣтовъ, членами комитета—8 пріѣзжихъ профессоровъ.

Во второмъ общемъ собраніи принято было чрезвычайно важное постановленіе, послѣдовательно вытекающее изъ дѣятельности предъидущихъ семи сѣздовъ натуралистовъ и трехъ сѣздовъ русскихъ врачей, а именно: ходатайствовать о соединеніи распорядительнаго комитета нынѣшняго сѣзда съ распорядительнымъ комитетомъ будущаго IX-го сѣзда въ постоянный комитетъ. На обязанности его лежали бы заботы о приведеніи въ исполненіе постановленій послѣдняго и объ организаціи будущаго сѣзда.

Въ послѣднемъ общемъ собраніи, между прочимъ, было постановлено: 1) созвать будущій сѣздъ въ Москвѣ черезъ два года; 2) издать „Труды“ VIII-го сѣзда *in extenso*, какъ на первомъ и второмъ сѣздахъ русскихъ естествоиспытателей; 3) поручить будущему постоянному комитету осуществленіе всѣхъ многочисленныхъ и крайне важныхъ предложеній и постановленій 11 секцій VIII-го сѣзда. Далѣе, изъ всей суммы членскихъ взносовъ (около 6.600 руб.) рѣшено ассигновать тысячу рублей на предварительную организацію, согласно предложенію проф. В. В. Докучаева, „всесторонняго изслѣдованія сѣверной столицы и ея ближайшихъ окрестностей“. Всѣ остальные членскіе взносы предназначены, частью въ помощь будущей отечественной ассоціаціи наукъ, частью на изданіе трудовъ VIII-го сѣзда и другія, желательныя въ интересахъ науки, затраты.

Вообще относительно VIII го сѣзда русскихъ натуралистовъ нельзя не отмѣтить, что нынѣшній разъ онъ, видимо, успѣлъ заручиться общимъ сочувствіемъ, въ болѣе степені, нежели въ прежнее время. Общая сумма денежныхъ субсидій на устройство сѣзда, не считая членскихъ взносовъ, равняется 7½ тыс. рублей, въ томъ числѣ: 4 тыс. рублей отъ министерства финансовъ, 1.500 руб. отъ петербургской думы, 1.000 руб. отъ совѣта петербургскаго университета и 1.000 рублей отъ члена физико-химическаго общества, Ѳ. И. Базилевскаго.

¹⁾ Дневникъ VIII сѣзда, № 10.

Почти всѣ правленія желѣзныхъ дорогъ сдѣлали значительныя уступки съ проѣздной платы.

Въ заключеніе, нельзя не отмѣтить той генетической, преемственной связи, которая обнаруживается въ тѣмахъ и вопросахъ всѣхъ бывшихъ до сихъ поръ съѣздовъ русскихъ естествоиспытателей. На первомъ съѣздѣ въ 1867 году было, между прочимъ, возбуждено ходатайство объ ассигнованіи денежныхъ средствъ (2—3 тыс. руб.) для организаціи воздушныхъ путешествій зимою въ цѣляхъ изслѣдованія упругости и температуры атмосферныхъ слоевъ на разныхъ высотахъ. Ходатайство это не встрѣтило сочувствія, но на послѣднемъ съѣздѣ снова былъ возбужденъ тотъ же вопросъ предложеніемъ проф. Глазенапа воспользоваться для метеорологическихъ наблюдений высокими перевалами и колокольнями. На первомъ же съѣздѣ кружокъ лицъ, проживавшихъ въ г. Чердыни, предлагалъ устроить среди членовъ подписку для составленія капитала на изданіе „Вѣстника естественныхъ наукъ“. Во время восьмого съѣзда вышелъ на-конѣцъ первый № „Вѣстника Естествознанія“, и подписка на этотъ журналъ пошла сразу чрезвычайно успѣшно.

Далѣе, на первомъ съѣздѣ была заслушана небезынтересная рѣчь проф. Э. А. Юнге „объ умозрѣніи и опытѣ“, гдѣ онъ воснулъ вопроса, который выдвинуть былъ снова въ одномъ изъ докладовъ въ секціи физиологій, восьмого съѣзда, а именно, объ отношеніи философіи къ естествознанію.

Изъ другихъ вопросовъ, которые возбуждались на первомъ съѣздѣ нашихъ натуралистовъ, и вновь возникли на восьмомъ, укажемъ слѣдующія: 1) о пользѣ введенія десятичной системы мѣръ и вѣсовъ въ Россіи (Д. И. Менделѣва); 2) о необходимости высшаго женскаго образованія и распространенія естественно-научныхъ знаній среди простого народа; 3) о содѣйствіи лицамъ, живущимъ въ провинціи и встрѣчающимъ затрудненія въ полученіи приборовъ для физическихъ и другихъ опытовъ и наблюдений, и т. д.

Но и нынѣшній съѣздъ повторилъ тотъ же общій всѣмъ нашимъ съѣздамъ недостатокъ въ организаціи, который можно опредѣлить словами: случайность докладовъ и отсутствіе историко-сравнительнаго метода. Самая преемственность возбуждаемыхъ отдѣльными докладчиками вопросовъ, въ особенности въ области гигиены, распределеніе на секціи, порядокъ записей членовъ, изданіе трудовъ и т. д. и т. д. носили до сихъ поръ характеръ какой-то національной „стихійности“. Но теперь можно надѣяться, что съ учрежденіемъ проектированнаго на VIII-мъ съѣздѣ постояннаго комитета и съ организаціей отвѣтственной ассоціаціи по естествознанію и медицинѣ

этотъ элементъ стихійной случайности навсегда отойдетъ въ область историческихъ преданій.

На второмъ сѣздѣ въ Москвѣ, въ 1869 году, прибавлена была чрезвычайно важная для Россіи секція по технологіи и практической механикѣ. Впослѣдствіи она уже болѣе не повторялась, хотя въ настоящее время было бы вполне уместно вновь ее организовать, также какъ и нѣкоторые другіе отдѣлы. Что касается возникшей въ 1889 году мысли объ отечественной ассоціаціи естественныхъ наукъ, то интересно напомнить, что уже на второмъ сѣздѣ проф. Г. Е. Щуровскій замѣтилъ, что „сѣзды, несмотря на свою раздѣльность, должны составлять одно осмысленное цѣлое“. Для такой органической связи между сѣздами необходимо, по его мнѣнію, такое же учрежденіе, какое 40 лѣтъ тому назадъ основано въ Англіи и принесло громадную пользу наукѣ и странѣ: это — такъ-называемая „Британская Ассоціація естественныхъ наукъ“.

На томъ же сѣздѣ одинъ изъ устроителей нынѣшняго сѣзда и редакторъ его „Дневника“, проф. Фаминцынъ, внесъ предложеніе: превратить сѣздъ изъ періодическаго собранія въ общество *постоянно дѣйствующее* и связать его дѣятельность съ другими обществами. Все это въ настоящее время можно, повидимому, считать близкимъ къ осуществленію...

А. П—въ.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го февраля 1890.

Особенности избирательнаго движенія въ Германіи.—Парламентскія партіи и правительство.—Засѣданія имперскаго сейма и законъ противъ социалистовъ.—Роль императора Вильгельма II.—Чешскій вопросъ въ Австріи.—Нѣмецко-чешское соглашеніе и внутренніе партійные споры.—Французскія дѣла; минимй антисемитизмъ буланжистовъ и политическія ихъ превращенія.—Англо-португальскій споръ.

Политическія партіи въ Германіи дѣятельно готовятся къ выборамъ въ имперскій сеймъ, назначеннымъ на 20 (8) февраля. Избирательное движеніе происходитъ теперь при обстоятельствахъ, совершенно отличныхъ отъ тѣхъ, которыми сопровождались выборы 1887 года. Консерваторы имѣли тогда своимъ лозунгомъ увеличеніе и утвержденіе военныхъ средствъ имперіи, въ виду внѣшнихъ опасностей, окружавшихъ будто-бы Германію. Оффиціозные публицисты запугивали общественное мнѣніе перспективою неминуемой войны, въ случаѣ непринятія правительственнаго проекта о семилѣтнемъ срокѣ дѣйствія военно-бюджетныхъ смѣтъ. Хотя парламентъ не отказывалъ въ суммахъ на потребности арміи и флота, а отвергалъ только военный септеннатъ, тѣмъ не менѣе борьба велась на почвѣ воинственнаго патріотизма, и реакціонная печать смѣло объявляла врагомъ имперіи всякаго, кто не одобрялъ безусловно всѣхъ предположенныхъ военныхъ и политическихъ мѣропріятій. Ничего подобнаго не замѣчается въ настоящее время. Правительство не принимаетъ уже непосредственнаго участія въ избирательной агитаціи; оффиціозная журналистика не старается вліять на публику сенсаціонными заявленіями и намеками, не сыплетъ обвиненіями направо и налево, не сѣетъ тревоги въ умахъ, а ведетъ себя вообще довольно сдержанно и прилично. И однако тѣ же мотивы внутреннего антагонизма существуютъ и теперь, какъ существовали въ 1887 году. Парламентъ не согласился предоставить правительству полномочія, которыхъ оно домогалось относительно социалистовъ; къ оппозиціи принадлежали на этотъ разъ и преданные князю Бисмарку національ-либералы, и многіе изъ консерваторовъ, и члены партіи центра. Въ былое время такая неудача считалась бы личною обидою для представителей государственной власти, и отгѣнокъ раздраженія звучалъ бы въ тронной рѣчи, при закрытіи сейма; теперь же имперскій сеймъ былъ закрытъ одною изъ самыхъ благосклонныхъ и со-

чувственныхъ официальныхъ рѣчей, какія когда-либо произносились въ Германіи. Императоръ Вильгельмъ II нѣсколько разъ упоминаетъ о важныхъ заслугахъ парламента передъ отечествомъ, о благотворномъ участіи сейма въ законодательствѣ, въ дѣлѣ упроченія военного могущества страны, въ мѣрахъ на пользу народа и рабочаго класса. Можно сказать, что тронная рѣчь, прочитанная Вильгельмомъ II-мъ 25-го января (н. ст.), имѣла чисто-благодарственный характеръ, по отношенію къ имперскому сейму. Отдѣльный министерскій проектъ могъ не встрѣтить сочувствія въ палатѣ; но объ этомъ ничего не сказано въ этой рѣчи, вѣроятно потому, что отклоненіе неудобныхъ законопроектовъ входитъ въ обычные законныя функціи народнаго представительства.

Перемена, совершившаяся за послѣдніе три года въ отношеніяхъ между правительствомъ и парламентомъ, объясняется естественнымъ ходомъ вещей: нынѣшній германскій императоръ унаслѣдовалъ конституціонный режимъ отъ двухъ своихъ предшественниковъ и не можетъ уже смотрѣть на выборныя палаты какъ на стѣснительныя преграды или помѣхи для власти. Покойный имп. Вильгельмъ I выросъ и возмужалъ въ эпоху процвѣтанія въ Пруссіи идей абсолютизма и реакціи; онъ лично участвовалъ въ борьбѣ противъ либеральныхъ движеній въ Германіи и до конца своихъ дней оставался въ душѣ абсолютистомъ, хотя и исполнялъ вполне добросовѣстно свои конституціонныя обязательства. Необходимость считаться съ парламентомъ была для него непривычнымъ бременемъ, предметомъ заботъ и огорченій; всякое значительное разногласіе, особенно по вопросамъ военнымъ, казалось ему посягательствомъ на верховныя права короны. Такъ можетъ отчасти смотрѣть и князь Бисмаркъ, присутствовавшій при зарожденіи современнаго нѣмецкаго парламентаризма и привыкшій относиться къ нему недоувѣрчиво. Оба они—и Вильгельмъ I, и его канцлеръ—„дѣлали исторію“ помимо парламента и даже вопреки ему; но они глубоко и твердо сознавали, что это положеніе было только временнымъ, исключительнымъ, и что нельзя долго управлять Германіею безъ прямого участія организованнаго народнаго мнѣнія, въ видѣ представительства. Тѣ, что прежде было неизбѣжною уступкою духу времени, получило теперь значеніе спокойной традиціи. Молодой правитель, заставшій парламентскія учрежденія въ періодъ ихъ прочнаго и свободнаго развитія, не имѣетъ уже основанія видѣть въ нихъ нѣчто постороннее или чуждое; онъ долженъ уже признавать ихъ существенными, окончательно утвердившимися элементами государственнаго строя имперіи, такъ какъ конституція существовала раньше вступленія его на престолъ и была не разъ торжественно подтверждаема его дѣдомъ и отцомъ. Каковы бы ни были воззрѣнія и сим-

патіи Вильгельма II, онъ не можетъ чувствовать себя иначе какъ конституціоннымъ государемъ, ибо ни къ какой другой роли онъ не готовился. Первый императоръ Германіи, достигшій національнаго объединенія съ оружіемъ въ рукахъ, могъ противопоставить парламенту свой личный авторитетъ, основанный не только на военныхъ побѣдахъ, но и на многолѣтнемъ политическомъ опытѣ; теперь же нѣтъ матеріала для такого противопоставленія. Если существуетъ парламентъ, то право его на самостоятельныя мнѣнія по текущимъ государственнымъ вопросамъ разумѣется само собою; а что эти мнѣнія не могутъ всегда совпадать съ желаніями и взглядами ближайшихъ совѣтниковъ короны—это тоже понятно каждому въ Германіи. Въ случаѣ разногласія, невольно является мысль, что коллективный голосъ народнаго представительства имѣетъ естественный перевѣсъ надъ мнѣніемъ отдѣльныхъ министровъ и сановниковъ, независимо отъ предписаній конституціи, и что гораздо почетнѣе для монарха обнаруживать солидарность съ массою народа и его представителей, чѣмъ съ ограниченнымъ кругомъ придворныхъ лицъ. Политическіе дѣятели, не обладающіе талантами и опытностью князя Бисмарка, не могутъ претендовать на ту исключительную роль, которую съ такимъ блестящимъ успѣхомъ игралъ канцлеръ въ теченіе многихъ лѣтъ; они должны сами допускать предположеніе, что ошибки возможны и на ихъ сторонѣ, и что выборныя палаты могутъ оказаться правыми по извѣстнымъ спорнымъ вопросамъ. Это новое отношеніе къ парламенту проглядываетъ во всѣхъ дѣйствіяхъ и заявленіяхъ германскаго правительства за послѣднее время.

Правительственное большинство бывшаго имперскаго сейма составилось путемъ сдѣлки между двумя партіями—умѣренными консерваторами и національ-либералами; это соглашеніе (Kartell) остается въ силѣ и для предстоящихъ выборовъ. Срокъ парламентскихъ полномочій будущаго сейма—пятилѣтній, вмѣсто трехлѣтняго, существовавшаго до сихъ поръ. Крайніе консерваторы и реакціонеры, имѣющіе своимъ органомъ „Крестовую газету“, продолжаютъ выражать недовольство противъ союза съ національ-либералами, хотя ссылки ихъ на сочувствіе императора вызвали въ свое время рѣзкое и категорическое заявленіе въ официальномъ „Имперскомъ Указателѣ“. Вильгельмъ II стоитъ за соблюденіе принциповъ партійнаго союзничества—Kartell'я, вопреки реакціонерамъ, и онъ рѣшительно выразилъ это печатно и устно, чтобы положить конецъ злоупотребленію его именемъ со стороны реакціонной журналистики. Въ Германіи реакціонеры всегда имѣли склонность прикрывать свои корыстныя тенденціи усерднымъ проявленіемъ горячихъ монархическихъ чувствъ; но эти обычные приемы никого уже не введутъ въ заблужденіе насчетъ истин-

ныхъ цѣлей и желаній реакціонныхъ группъ. Не слѣдуетъ, впрочемъ, забывать, что направленіе, называемое реакціоннымъ или строго консервативнымъ въ Германіи, было бы еще черезъ-чуръ либерально и прогрессивно для страны не-парламентской; между нѣмцами нѣтъ уже такихъ реакціонеровъ, которые желали бы возвратиться къ временамъ старой прусской системы негласнаго и безконтрольнаго административнаго усмотрѣнія. Принципы публичности, законности и общественнаго контроля настолько уже вошли въ сознаніе нѣмецкаго народа, что никому уже не придетъ на мысль предлагать уклониться отъ нихъ ради какихъ бы то ни было интересовъ и соображеній. Поэтому и возможенъ былъ союзъ между такими разнородными въ сущности элементами, какъ консерваторы и національ-либералы. Последніе идутъ за своими союзниками и за правительствомъ только до извѣстнаго предѣла, пока не затрогивается какой-нибудь важный принципиальный вопросъ, дѣйствующій возбуждающимъ образомъ на заснувшую добрую совѣсть. Националь-либералы проявили значительную степень независимости по поводу закона о социалистахъ; они ничего не имѣли противъ превращенія временнаго исключительнаго закона въ постоянный, но ни за что не соглашались принять нѣкоторые пункты этого закона, опасные для личной и общественной свободы всѣхъ гражданъ. Они отказывались признать за правительствомъ право административной высылки извѣстныхъ лицъ изъ предѣловъ данной мѣстности, хотя бы эти лица несомнѣнно принадлежали къ числу социалистовъ. Они отвергали также право прекращенія періодическихъ изданій, придерживающихся программы воинственнаго социализма. Возникшій расколъ среди большинства заставляетъ ожидать личнаго вмѣшательства князя Бисмарка, прибывшаго въ Берлинъ къ самому концу парламентской сессіи; но канцлеръ не присутствовалъ при послѣднемъ чтеніи спорнаго закона въ засѣданіи 25-го января. Правительство рѣшило отказаться отъ законопроекта въ исправленномъ его видѣ (безъ права высылки), и соответственно этому консервативная партія отклонила законъ при окончательномъ голосованіи, вмѣстѣ съ прогрессистами, партією центра и нѣкоторою частью имперской группы (169 голосами противъ 98).

Парламентскія пренія о законѣ противъ социалистовъ представляли живой интересъ только съ точки зрѣнія политической борьбы между консервативными и либеральными элементами нѣмецкаго общества; сами по себѣ эти пренія не могли внести ничего новаго въ пониманіе нѣмецкаго социальнаго вопроса. Ораторы социаль-демократіи, Бебель и Либкнехтъ, доказывали, что социалисты не имѣютъ ничего общаго съ анархистами, что они дѣйствуютъ законными способами и не сходятъ съ легальной почвы; что мнимыя революціон-

ныя предпріятія составляютъ лишь продуктъ полицейскаго усердія агентовъ подстрекателей, и что никакія насильственные мѣры не останавливаютъ постепеннаго распространенія и развитія социаль-демократіи въ нѣмецкомъ народѣ. Министръ Герфуртъ не могъ отрицать того, что полицейская власть вынуждена часто пользоваться услугами сомнительныхъ личностей, особенно перебѣжчиковъ изъ социально-демократическаго лагеря, и что эти личности нерѣдко сознательно вводятъ правительство въ обманъ, какъ это обнаружилось и въ недавнемъ процессѣ въ Эльберфельдѣ. По мнѣнію министра, партія социаль-демократовъ не представляетъ собою рабочаго класса, а только развѣ тотъ разрядъ рабочихъ, который не желаетъ работать; между прочимъ, всякая забастовка встрѣчаетъ поддержку и сочувствіе этой партіи. Конечно, министръ не хотѣлъ этимъ сказать, что рабочія стачки, обнимающія десятки тысячъ трудящагося населенія, происходятъ вслѣдствіе нежеланія работать. Министръ заявилъ далѣе, что законъ направленъ вовсе не противъ социаль-демократіи, а только противъ опасныхъ для общества стремленій, проявляющихся въ незаконной формѣ. Агитація, остающаяся въ предѣлахъ легальности, не будетъ входить въ сферу дѣйствія закона о социалистахъ. Исключительныя мѣры надзора и преслѣдованія получаютъ свое примѣненіе только въ той области пропаганды, гдѣ готовятъ и выступаютъ наружу преступныя посягательства на общественное спокойствіе. Объясненія Герфурта не имѣли особеннаго успѣха въ палатѣ. Предводитель партіи центра, Виндгорстъ, возставалъ противъ всякихъ чрезвычайныхъ мѣръ и совѣтовалъ бороться съ социализмомъ нравственными средствами, духовнымъ и умственнымъ оружіемъ, при помощи церкви; полицейскіе же способы борьбы совершенно безсильны противъ распространенія социалистическихъ идей. Въ этомъ же смыслѣ высказался весьма краснорѣчиво и горячо одинъ изъ видныхъ членовъ имперской партіи, принцъ Шенаихъ-Каролятъ. Этотъ силезскій аристократъ, принадлежащій по рожденію и связямъ къ высшему консервативному обществу, произнесъ замѣчательную рѣчь въ засѣданіи 25 января. По отзывамъ прогрессистской печати, это была лучшая изъ рѣчей, произнесенныхъ за все время преній о социалистахъ, и эффектъ ея усиливался еще тѣмъ, что она сказана была передъ самымъ закрытіемъ сессіи. Принцъ Каролятъ находилъ невозможнымъ предоставить администраціи право высылки. „Мы считаемъ себя въ правѣ, — говорилъ онъ, — быть иногда другого мнѣнія, чѣмъ правительство. Мы противъ высылки, потому что именно этимъ создаются агитаторы по профессіи; высылка отрываетъ людей отъ нормальнаго семейнаго существованія и отъ привычныхъ заработковъ, вслѣдствіе чего агитація дѣлается ихъ главною дѣятель-

ностью. Еслибы мы и пожелали довѣрить настоящему правительству право высылки, то мы не знаемъ и не можемъ знать, въ какія руки перейдетъ въ будущемъ примѣненіе этого права и практическое истолкованіе закона. Мы хотѣли бы, чтобы борьба противъ социалистовъ велась духовнымъ оружіемъ. Зная, что существуетъ полицейскій законъ, обыватель спокойно спитъ и думаетъ: полиція уже заботится обо всемъ, намъ нечего тревожиться. Будетъ гораздо лучше, если граждане сами интересуются дѣломъ, станутъ посѣщать собранія, выслушивать ученія социальной демократіи и затѣмъ опроверженія ихъ. Притомъ многіе изъ членовъ социальнo-демократической партіи суть только увлеченные въ ложную сторону идеалисты. Мы живемъ въ эпоху матеріализма и своекорыстія, и потому не мѣшааетъ вспомнить о другихъ, болѣе благородныхъ мотивахъ дѣятельности; пусть каждый изъ насъ примѣняетъ на практикѣ чувство состраданія, любовь къ ближнему, и пусть каждый дѣлаетъ что можетъ, въ своемъ кругу, гдѣ кого Богъ поставилъ. Это тоже будетъ своего рода социальная политика, и не самая худшая". Эта неожиданная проповѣдь идеализма изъ устъ консервативнаго аристократа должна была произвести впечатлѣніе на имперскій сеймъ и вѣроятно не осталась безъ вліянія на результатъ баллотировки.

Повидимому, правительство желаетъ сохранить возможное безпристрастіе во время предстоящихъ выборовъ. Система Путкаммера, процѣтавшая въ 1887 году, не находитъ теперь серьезныхъ приверженцевъ и кажется безповоротно осужденною даже среди консервативныхъ партій. Представители власти стараются всѣми мѣрами разсѣять укоренившееся убѣжденіе, что государственная власть признаетъ себя солидарною съ какою-нибудь отдѣльною политическою партіею и смотритъ на противниковъ или критиковъ министерской политики какъ на „враговъ имперіи". Еще недавно Вильгельмъ II имѣлъ случай показать, что честная парламентская оппозиція внушаетъ ему такое же уваженіе, какъ и дѣятельность убѣжденныхъ сторонниковъ правительства; поводомъ къ демонстраціи послужила болѣзнь одного изъ предводителей партій центра, барона Франкенштейна, союзника и сотрудника Виндгорста въ парламентѣ. Императоръ посѣтилъ его и оказалъ ему и семьѣ его столько вниманія, что газеты долго говорили объ этомъ и пускались въ разныя догадки о мнимомъ политическомъ значеніи сдѣланнаго шага. Въ сущности нѣтъ ничего естественнѣе желанія Вильгельма II доказать, что онъ стоитъ внѣ и выше партій; это желаніе сказывается одинаково и въ энергическомъ публичномъ выговорѣ, данномъ „Крестовой газетѣ", и въ публичномъ выраженіи сочувствія оппозиціонному консервативному дѣятелю. Что касается самого Франкенштейна, то онъ имѣлъ

значеніе, какъ вліятельный руководитель баварской группы въ составѣ католической партіи центра; онъ не былъ ораторомъ, и главная дѣятельность его происходила за кулисами парламента. Какъ бывшій баварскій патриотъ, постепенно перешедшій на сторону имперіи, Франкенштейнъ оставался всегда далеко отъ идей и стремленій князя Бисмарка; тѣмъ не менѣе, со времени окончанія „культуркампфа“, канцлеръ пытался привлечь его въ пользу соглашенія съ правительствомъ и вообще относился къ нему гораздо внимательнѣе и сочувственнѣе, чѣмъ къ Виндгорсту. Если послѣдній былъ стратегомъ партіи, то Франкенштейнъ былъ ея дипломатомъ. Дипломатическая роль умершаго барона облегчалась его виднымъ общественнымъ положеніемъ и аристократическими родственными связями; но все-таки роль его была второстепенная и не выходила изъ предѣловъ программы, неуклонно проводимой дѣйствительнымъ вождемъ центра, Виндгорстомъ.

Въ Австріи происходила съ начала года усиленная газетная полемика по вопросу о соглашеніи между чехами и нѣмцами въ королевствѣ Богеміи. Послѣ того какъ нѣмецкіе депутаты торжественно вышли изъ состава чешскаго сейма, мѣстный національный кризисъ получилъ общее политическое значеніе и едва не привелъ къ министерскому кризису. Правительство графа Таафе рѣшило употребить всѣ усилія для возможнаго удовлетворенія нѣмецкихъ требованій и домогательствъ, безъ ущерба для чеховъ. Созвана была официальная конференція изъ представителей заинтересованныхъ партій, при участіи намѣстника Чехіи, графа Туна, и нѣкоторыхъ министровъ, подъ предсѣдательствомъ самого главы кабинета. Занятія этого съѣзда продолжались въ Вѣнѣ отъ 4-го до 19-го января (н. ст.) и, сверхъ ожиданія, окончились вполне успѣшно: между уполномоченными обѣихъ сторонъ состоялось дѣйствительное соглашеніе, что вообще рѣдко удается въ спорахъ національныхъ и племенныхъ. Въ области народнаго образованія и мѣстнаго управленія будетъ произведено болѣе точное размежеваніе смѣшанныхъ округовъ, причемъ будутъ приняты во вниманіе и права меньшинства. Австрійскіе нѣмцы не особенно довольны достигнутымъ результатомъ и не теряютъ еще надежды на возстановленіе прежняго господства нѣмецкаго элемента въ Австріи; но они считаютъ весьма важнымъ успѣхомъ то обстоятельство, что равноправность обѣихъ народностей въ Чехіи признана не только принципиально, но и фактически, по крайней мѣрѣ относительно употребленія того или другого языка въ школахъ и въ мѣстной администраціи. Чешскіе патриоты, и именно старочехи, вдвойнѣ торжествуютъ побѣду, въ смыслѣ національномъ и партій-

номъ; они одни привлечены были къ участию въ конференціи, въ лицѣ своихъ авторитетныхъ вождей — Ригера, князя Лобковича, графа Кламъ-Мартиница. Младочехи, оставленные безъ вниманія правительствомъ, подозрѣвали измѣну и предательство, жаловались на чрезмѣрную уступчивость чешскихъ феодаловъ и ихъ союзниковъ, предсказывали всякія неудачи и бѣды.

Насколько можно судить по рѣзкому тону газеты „Politik“, органа болѣе сдержанныхъ старо-чеховъ, обѣ чешскія партіи враждуютъ между собою самымъ рѣшительнымъ и непримиримымъ образомъ. Газета „Politik“ ежедневно доказываетъ публикѣ, что усиленіе партій младочеховъ сильно повредило національнымъ интересамъ Чехіи и подорвало довѣріе къ политической будущности страны; въ подтвержденіе приводятся отзывы враждебныхъ чехамъ нѣмецкихъ и мадьярскихъ газетъ. Эта полемика, быть можетъ, оправдывается дѣйствіями младочеховъ и воинственнымъ тономъ ихъ печати; но для посторонняго наблюдателя остаются совершенно непонятными настойчивыя заявленія и жалобы газеты „Politik“. Какимъ образомъ могли пострадать интересы Чехіи отъ увеличенія числа энергическихъ чешскихъ патріотовъ въ составѣ земскаго сейма? Какъ бы ни заблуждались младочехи съ точки зрѣнія „Politik“, они во всякомъ случаѣ внесли новую энергію въ политическую жизнь Чехіи и заставили самихъ старочешскихъ дѣятелей отказаться отъ роли пассивныхъ союзниковъ феодальной чешской аристократіи. Присутствіе значительной группы младочеховъ въ чешскомъ сеймѣ отразилось уже въ цѣломъ рядѣ мѣръ, свидѣтельствующихъ о возвышеніи и укрѣпленіи національнаго сознанія въ странѣ. Указомъ отъ 23-го января (н. ст.) утверждена „чешская академія наукъ, литературы и искусствъ“, на основаніи которой было пожертвовано двѣсти тысячъ гульденовъ однимъ лицомъ, пожелавшимъ скрыть свое имя. Въ будущемъ году рѣшено устроить въ Прагѣ національную юбилейную выставку въ память столѣтней годовщины коронаванія Леопольда II чешскимъ королемъ и состоявшейся по этому случаю выставки въ 1791 году—едва-ли не первой вообще выставки подобнаго рода на материкѣ Европы. На это дѣло чешскій сеймъ ассигновалъ уже значительную сумму денегъ. Наконецъ, самый успѣхъ соглашенія съ нѣмцами могъ быть достигнутъ такъ скоро лишь подъ давленіемъ сознанія, что за спиною старочеховъ стоятъ болѣе настойчивые и безпокойные младочехи, съ которыми будетъ гораздо труднѣе столкнуться. Нѣмцы какъ будто торопились добиться извѣстныхъ уступокъ, пока еще младочешское движеніе не завладѣло Чехіею и не перенесло политическаго руководства въ другія, болѣе энергическія руки. Нѣмцы должны были довольствоваться немногимъ, ибо знали хорошо, что и

на это немногое нельзя было бы рассчитывать при переходѣ власти къ младочехамъ. Въ свою очередь и представители старочешской партіи должны были по-неволѣ воздерживаться отъ уступчивости и могли съ полнымъ правомъ указывать на необходимость считаться съ неугомоннымъ младочешскимъ патриотизмомъ. Младочехи не присутствовали на вѣнскихъ совѣщаніяхъ, но косвенное, невидимое участіе ихъ давало себя чувствовать неизбѣжно, къ несомнѣнной выгодѣ чешской народности. Можно ли поэтому серьезно утверждать, какъ это дѣлаетъ пражская „Politik“, что національная чешская партія есть только одна старочешская, и что шумное выступленіе младочеховъ на политическую сцену повредило интересамъ Чехіи? Взаимная вражда партій, одинаково претендующихъ на защиту и охрану одной и той же національности, не умолкаетъ даже во время щекотливыхъ переговоровъ съ общими противниками, когда совмѣстная программа дѣйствій была бы наиболѣе необходима. Не странно ли говорить о соглашеніи съ нѣмцами, когда не состоялось еще соглашенія между самими чехами? Этотъ внутренній разладъ является плохимъ предзнаменованіемъ для будущей политической автономіи чешскаго королевства. Австрійцы могутъ имѣть лишній аргументъ противъ признанія „историческаго государственнаго права“ Чехіи; ибо возможно ли отдать Богемію въ полное распоряженіе чеховъ, если теперь уже чешская народность раздирается междоусобіями и не можетъ придти къ согласію относительно важнѣйшихъ вопросовъ національной политики? Не лучше ли для самихъ чеховъ сохранить надъ собою примиряющую и контролирующую силу австрійскаго правительства, для избѣжанія хроническихъ раздоровъ и волненій? Впрочемъ, борющіяся между собою чешскія партіи вѣроятно позаботились бы о соглашеніи и стали бы дѣйствовать дружно, еслибы имъ угрожала какая-либо серьезная опасность со стороны австрійскихъ централистовъ. А пока этотъ странный чешскій разладъ представляетъ одинъ изъ многихъ примѣровъ славянской розни и вытекающей изъ нея политической слабости. Когда Венгрія добивалась самостоятельности и ожидала соглашенія съ вѣнскимъ кабинетомъ, она какъ одинъ человекъ стояла за Деакомъ и вѣрила ему безусловно: ни о какихъ другихъ партіяхъ, кромѣ единой національной, не было слышно у мадьяръ. Чтобы достигнуть такого положенія, какъ Венгрія, чешская народность должна была бы дѣйствовать подобно мадьярамъ; поэтому устраненіе внутреннихъ разногласій представляется для Чехіи еще болѣе настоятельнымъ и существеннымъ, чѣмъ устройство соглашенія съ нѣмцами.

Французская политическая хроника за послѣднее время была бы очень бѣдна содержаніемъ, еслибы ее не разнообразили подвиги и приключенія небольшой группы буланжистовъ, засѣдающихъ въ палатѣ депутатовъ. Можно сказать положительно, что эта шумная горсть поклонниковъ генерала Буланже занимаетъ собою публику несравненно больше и сильнѣе, чѣмъ всѣ остальные парламентскія партіи въ совокупности. Дѣловые республиканцы, занятые обсужденіемъ новыхъ законопроектовъ, работаютъ въ тѣни и не обращаютъ на себя никакихъ любопытныхъ взоровъ; зато вся французская печать ежедневно толкуетъ о герояхъ, устраивающихъ скандалы въ палатѣ и на сходкахъ, во имя будущаго торжества буланжизма. Возбужденное состояніе буланжистовъ, повторяясь непрерывно изо дня въ день, сдѣлалось чѣмъ-то нормальнымъ и привычнымъ, такъ что французы уже не могутъ представить себѣ дѣятелей этой партіи иначе чѣмъ въ состояніи хронического экстаза и изступленія. Люди возбуждены и шумятъ тѣмъ охотнѣе, что ничего другого имъ не остается дѣлать: стремленія и надежды разбиты, честолюбіе не удовлетворено, грозныя предсказанія и обѣщанія осмѣяны, а самостоятельныхъ идей никакихъ. Шумныя исторіи позволяютъ буланжистамъ скрывать свою идейную пустоту, свое политическое ничтожество, свои внутренніе раздоры. До сихъ поръ эти оригинальные патріоты не могли еще уяснить ни себѣ, ни другимъ, какого направленія думаютъ они держаться по элементарнымъ вопросамъ внутренней политической жизни. Въ половинѣ января они рѣшили избрать своимъ девизомъ борьбу съ еврействомъ; но въ концѣ этого мѣсяца (н. ст.), подъ вліяніемъ письма Буланже, они отреклись отъ антисемитизма и приняли уже другой девизъ, прямо противоположный—устраненіе религіозной и племенной розни, объединеніе всѣхъ французовъ подъ общимъ знаменемъ патріотизма. Эти люди готовы сегодня идти воевать съ капиталистами, а завтра вступить съ ними въ сдѣлку; они столь же легко проповѣдуютъ вѣротерпимость, какъ и религіозную вражду. Они не знаютъ, чѣмъ имъ быть, и бросаются то въ одну, то въ другую сторону, лишь бы не быть заподозренными въ совершенной ненужности.

Вторичные депутатскіе выборы въ нѣкоторыхъ буланжистскихъ округахъ даютъ удобные поводы для всевозможныхъ демонстрацій. На избирательной сходкѣ въ Нельи, 18-го января, по случаю кандидатуры бездарнаго газетнаго публициста Франсиса Лора, буланжистскіе дѣятели устроили эффектное зрѣлище. Представители многихъ знатныхъ фамилій сошлись рука объ руку съ сомнительными личностями буланжистскаго лагеря, чтобы выслушать возгласы нѣкоторыхъ ораторовъ противъ еврейства вообще и Ротшильда въ осо-

бенности. Герцоги Люинъ и д'Юзесъ, князь Понятовскій, принцъ Тарентскій, маркизы Моресъ, Мейроннэ, де-Бретейль и другіе носители громкихъ именъ усердно рукоплескали заявленіямъ извѣстнаго автора книги „La France juive“, Дрюмона. Дрюмонъ выразилъ надежду, что народъ расправится по своему съ Ротшильдомъ и раздѣлитъ между собою принадлежащіе ему три милліарда франковъ. Почему нужно взяться за одного Ротшильда, а не за другихъ многочисленныхъ милліонеровъ, находящихся во Франціи,—осталось неизвѣстнымъ. Любопытнѣе всего, что аристократы, соглашавшіеся съ теоріею Дрюмона, забыли, повидимому, о своихъ собственныхъ милліонахъ и земельныхъ владѣніяхъ, которыя могли бы быть потребованы народомъ съ такимъ же основаніемъ, какъ и милліоны упомянутыхъ банкировъ. Буланжистъ Лезанъ, присоединяясь къ лозунгу: „долой жидовъ!“—пытался пояснить, что подъ послѣдними слѣдуетъ разумѣть не евреевъ по происхожденію, а всѣхъ вообще людей, живущихъ на чужой счетъ. Поль Дерулэдъ объявилъ себя также „врагомъ евреевъ“ и мотивировалъ свою вражду непріязненными дѣйствіями депутата Рейнака, который оказывается евреемъ; но, остановленный раздавшимся изъ публики вопросомъ объ еврей Нака́, руководителѣ буланжистской партіи, смѣлый поэтъ сталъ утверждать, что „Нака́—не еврей, а философъ, патріотъ и республиканецъ французскій“. Почему Нака́ исключается изъ числа евреевъ, а Рейнакъ причисляется къ нимъ, хотя оба они семиты,—это осталось тайной Дерулэда. Очевидно, буланжисты выступили съ своею новою profession de foi совершенно неожиданно для самихъ себя; они не успѣли даже сообразить, что поставятъ въ неловкое положеніе свою собственную партію, руководимую сенаторомъ Нака́, евреемъ по происхожденію,—а обидѣть или оттолкнуть отъ себя Нака́ не могло имъ придти въ голову уже потому, что это самый вліятельный и авторитетный человекъ въ ихъ лагерѣ, даже единственный политическій дѣятель буланжизма. Впослѣдствіи, какъ упомянуто уже выше, была сдѣлана тѣми же лицами контръ-демонстрація противъ антисемитической агитаціи, причемъ прочитано было присланное генераломъ Буланже заявленіе въ пользу безусловной религіозной терпимости и равноправности. Странные политическіе дѣятели, отрекающіеся сегодня отъ того, что проповѣдывали вчера! Отсутствие всякихъ убѣжденій прикрывается у нихъ необычайною безцеремонностію и назойливымъ исканіемъ уличной популярности. Въ засѣданіи палаты, 20-го января, по поводу появленія на трибунѣ соперника Буланже по выборамъ, Жоффрена, они устроили такую сцену, какой не запомнятъ даже старожилы Бурбонскаго дворца; Дерулэдъ, Милльвуа и Лагерръ поочередно заставили себя удалить изъ палаты при помощи военной

силы. Не подлежит сомнѣнію, что эти нелѣпыя выходки разрушать въ обществѣ послѣдній остатокъ довѣрія къ такъ-называемой „національной партіи“, имѣвшей при своемъ возникновеніи такіе блестящіе виды на будущее и теперь падающей все ниже и ниже, во всѣхъ отношеніяхъ.

Происходившіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ депутатскіе выборы доставили побѣду республиканцамъ; особенно любопытна была кампанія въ Лоріанѣ, гдѣ буланжисты не могли вторично провести своего собственнаго кандидата и должны были раздѣлить свои голоса между монархистомъ Плюве и республиканцемъ Гіейссомъ; послѣдній оказался выбраннымъ громаднымъ большинствомъ голосовъ. Накѣ, повидимому, отказался отъ мысли баллотироваться вновь въ округъ Латинскаго квартала; онъ имѣлъ благоразуміе не слагать съ себя званія сенатора до провѣрки выборовъ палатою, и такимъ образомъ ничего не потерялъ отъ признанія его депутатскихъ полномочій не дѣйствительными. Одновременно съ вѣшнимъ упадкомъ буланжизма, повторяются внутреннія препирательства и разоблаченія, болѣе или менѣе компрометирующаго свойства; одинъ изъ депутатовъ, Мартинѣ, чуть не подвергся даже настоящему суду Линча за печатное обвиненіе нѣкоторыхъ товарищей въ секретныхъ связяхъ съ претендентами на престолъ.

Если оставить въ сторонѣ эту буланжистскую группу, то въ большинствѣ нынѣшней французской палаты замѣчается стремленіе къ сосредоточенію силъ и къ чисто-дѣловой группировкѣ партій, сообразно главнымъ разрядамъ интересовъ—земледѣльческимъ, промышленнымъ и другимъ. Само министерство Тирара имѣетъ такой же дѣловой характеръ, и оно держится именно своею дѣловитостію, такъ какъ оно не блещетъ ни политическими, ни ораторскими талантами. Къ сожалѣнію, такихъ талантовъ вообще очень мало въ современной Франціи, а недостатокъ выдающихся дарованій въ области политики не возмѣщается никакими хорошими намѣреніями.

Что касается международныхъ вопросовъ, занимавшихъ общественное мнѣніе Европы въ послѣднее время, то изъ нихъ слѣдуетъ упомянуть объ англо-португальскомъ спорѣ, вызванномъ военными дѣйствіями португальцевъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ юго-восточной Африки, около притоковъ рѣки Замбези. Англичане отрицали право Португаліи на владѣніе землями, гдѣ ея номинальная власть ничѣмъ не обнаруживалась фактически въ теченіе двухсотъ лѣтъ, и гдѣ дѣйствовали одни лишь англійскіе миссіонеры и промышленники. Португальское правительство отстаивало по возможности свою

точку зрѣнія, но не трудно было предвидѣть развязку этого неравнаго спора. Слабая Португалія должна была безусловно подчиниться требованіямъ могущественной Англіи и отозвать предприимчиваго майора Серпа-Пинто изъ предѣловъ спорной территоріи, а когда дѣйствія этого отряда не сразу прекратились, то британскій министръ иностранныхъ дѣлъ послалъ грозный ультиматумъ (10-го января, н. ст.), назначивъ срокъ исполненія въ двадцать-четыре часа. Португалія смирилась официально, а населеніе ея вознегодовало; произошла перемѣна министерства, и кризисъ едва не коснулся королевской династіи. Малочисленный народъ чувствуетъ себя глубоко уязвленнымъ великою державою, поступившею съ нимъ столь круто и рѣзко; многіе португальцы прекратили торговля сношенія съ Англіею и успѣли причинить не мало убытковъ англійской торговлѣ и промышленности. Повсюду господствуетъ убѣжденіе, что англійская дипломатія совершила крупную политическую ошибку, оттолкнувъ и оскорбивъ безъ надобности слабое государство, которое и безъ того исполнило бы желаніе Англіи. Сдѣлать съ слабымъ то, чего никогда не сдѣлали бы относительно сильнаго,—это принципъ, не могущій внушить сочувствіе и уваженіе къ дипломатіи; элементъ же общественнаго сочувствія или порицанія играетъ еще большую роль въ наше время, даже въ вопросахъ международныхъ, несмотря на общее видимое преобладаніе традиціоннаго культа грубой силы.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го февраля, 1890.

— Чтенія въ историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца. Книга вторая. Издана подъ редакціей д. чл. Н. П. Дашкевича и А. И. Соболевскаго. Кіевъ, 1888.

Историческое Общество лѣтописца Нестора основано было въ половинѣ 70-хъ годовъ, и въ концѣ тѣхъ годовъ вышла первая книга его трудовъ; вторая книга, помѣченная 1888 годомъ, вышла въ 1889 г. Не мудрено, что Общество было довольно мало извѣстно; самое существованіе его могло бы представиться нѣсколько искусственнымъ. Кіевъ имѣетъ университетъ и духовную академію; эти два высшія учебныя учрежденія считаютъ въ своей средѣ не мало болѣе или менѣе замѣчательныхъ дѣятелей науки, и какъ духовная академія, такъ и факультеты въ университетѣ составляютъ своего рода ученныя общества и для помѣщенія ихъ трудовъ существуютъ въ Кіевѣ два спеціальныя изданія—„Труды“ академіи и „Извѣстія“ университета. Возможно было, однако, желаніе образовать особый кружокъ, имѣющій спеціальную цѣль—чисто историческихъ изслѣдованій и совмѣстной работы. „Труды“ духовной академіи, представляющей какъ бы одинъ богословскій факультетъ, распадаются, однако, на весьма различныя отдѣлы, какъ собственное богословіе и исторія; университетское изданіе есть собраніе предметовъ уже совершенно разнородныхъ. Замѣтимъ кстати, что университетскія изданія, составляющія теперь весьма обширную коллекцію, распространены довольно мало, и причина этого, кромѣ недостатка заботы со стороны редакцій о доступности ихъ въ книжной торговлѣ, заключается въ самой разнородности состава изданій: кому изъ обыкновенныхъ читателей, занимающихся, напримѣръ, исторіей, нужны прибавляемые въ историческимъ статьямъ трактаты по чистой математикѣ, химіи, медицинѣ и т. п., которые онъ обязательно получитъ вмѣстѣ съ двумя, тремя историческими статьями? Было бы, кажется, гораздо цѣле-

сообразнѣе, еслибы факультетскія специальности были раздѣлены, и одна специальность для любителей другой не казалась только надобнымъ хламомъ. Намъ кажется, что подобное раздѣленіе (какъ сдѣлано, напримѣръ, въ изданіяхъ Географическаго Общества или въ изданіяхъ Академіи наукъ) послужило бы только съ пользой и для университетскихъ изданій, и для читателей. Намъ случилось слышать, что изданія одного изъ нашихъ университетовъ, весьма не лишены ученаго матеріала, но которыя очень рѣдко случается видѣть и въ наличности, и въ цитатахъ, лежатъ массами недвижимо въ университетскомъ складѣ, становясь добычей тлѣнія... Учрежденіе, даже въ провинціальномъ университетскомъ городѣ, особаго общества для специальной научной цѣли, находить себѣ достаточное оправданіе, во-первыхъ, въ желаніи выдѣлить извѣстную область науки, въ данномъ случаѣ исторію, отъ астрономіи, химіи, акушерства и т. д.; во-вторыхъ, въ томъ, что особое общество привлекаетъ къ общей работѣ много лицъ внѣ необходимо ограниченаго университетскаго круга и даетъ возможность этимъ лицамъ вести совмѣстную работу, провѣрять свои выводы и находить помѣщеніе для своихъ трудовъ. Таковы, безъ сомнѣнія, и были побужденія основателей кievскаго Общества лѣтописца Нестора. Изъ списка его членовъ, приложеннаго въ началѣ вышедшей теперь книги, можно видѣть, что кромѣ лицъ, состоящихъ въ этомъ спискѣ такъ сказать номинально (какъ „почетные члены“), въ немъ есть цѣлый рядъ лицъ, не принадлежащихъ къ официальному ученому міру, но усердно работающихъ въ той или другой области исторической науки, особливо мѣстной исторіи.

Вторая книга „Чтеній“ вышла черезъ такой длинный промежутокъ времени послѣ первой, что многое изъ трудовъ и протоколовъ Общества является само дѣломъ исторіи. Цѣлый рядъ участниковъ Общества сошелъ въ могилу, какъ его предсѣдатель въ 1878—1881 г. А. А. Котляревскій, какъ В. Шульгинъ, Н. Хлѣбниковъ, Туловъ, Аландскій, Ф. Терновскій, Кистяковскій, Ѳ. Лебединцевъ и другіе. Иныя работы, заявляемыя въ протоколахъ (1878—1887 г.), давно изданы, какъ напримѣръ книга Кистяковскаго: „Права, по которымъ судится малороссійскій народъ“; многія статьи, напр. г. Дашкевича, Житецкаго и др., читанныя въ собраніяхъ Общества, печатаются въ другихъ изданіяхъ, напримѣръ университетскихъ „Извѣстіяхъ“, „Кievской Старинѣ“, „Р. Филологическомъ Вѣстникѣ“ и т. д.; рецензіи многихъ книгъ запаздываютъ на нѣсколько лѣтъ послѣ ихъ появленія и т. д. Отчего призошла эта запоздалость изданія протоколовъ Общества и читанныхъ въ немъ докладовъ, не объяснено въ изданіи: могло быть, что виною этого, между прочимъ, была большая

скудость денежныхъ средствъ Общества; могло быть, что въ неправильномъ ходѣ трудовъ Общества участвовали какія-нибудь мѣстные причины, намъ неизвѣстныя. Въ томъ и другомъ случаѣ жаль, что дѣятельность Общества не была заявляема, кромѣ исчезающихъ газетныхъ извѣстій, его собственными своевременными изданіями.

Какъ видно изъ настоящаго обзора занятій Общества за десять лѣтъ, въ собраніяхъ его дѣлалось много докладовъ, весьма интересныхъ для тѣхъ, кто занимается древней и поздней южно-русской исторіей и литературой. Если мы замѣтимъ, что въ трудахъ Общества принимали болѣе или менѣе дѣятельное участіе такіе компетентные ученые, какъ В. Антоновичъ, Н. Дашкевичъ, П. Житецкій, И. Малышевскій, А. Соболевскій, покойные Кистяковскій, Котляревскій и другіе, понятенъ будетъ научный интересъ, какой могли имѣть своевременныя публикаціи Общества. Правда, что многіе изъ трудовъ, читанныхъ въ собраніяхъ, какъ мы упоминали, явились тогда же или нѣсколько позднѣе въ печати въ другихъ изданіяхъ, но явились безъ тѣхъ возраженій и объясненій, которыя ихъ сопровождали, словомъ, внѣ Общества.

Статьи „Чтеній“ состоятъ болѣею частью изъ краткихъ докладовъ, нерѣдко весьма любопытныхъ, по археологій, исторіи, старой и новой литературѣ, народной поэзіи, и т. д. Таковы нѣсколько докладовъ В. Б. Антоновича объ археологическихъ изслѣдованіяхъ въ разныхъ мѣстностяхъ южной и средней Россіи и на Кавказѣ, и по исторіи Малороссіи; нѣсколько докладовъ Котляревскаго, напр. объ историческомъ значеніи народныхъ поэтическихъ произведеній, очеркъ исторіи поединковъ у славянъ, новыя данныя для исторіи нравовъ и воспитанія въ русскомъ обществѣ XVIII-го вѣка, о Грибоѣдовѣ и пр.; археологическія замѣтки г. Малышевскаго; доклады г. Дашкевича по исторіи Кіева послѣ татарскаго нашествія и проч. Въ 1883 г., въ Обществѣ поставленъ былъ г. Соболевскимъ любопытный историческій и филологическій вопросъ: какъ говорили въ Кіевѣ въ XIV и XV вѣкахъ? Положеніе г. Соболевскаго, изложенное имъ послѣ въ „Очеркахъ изъ исторіи русскаго языка“ (Кіевъ, 1884), состояло въ томъ, что по характеру языка памятниковъ, писанныхъ въ тѣ вѣка въ Кіевѣ, надо заключить, что въ Кіевѣ XIV—XV вѣка, а слѣдовательно и раньше, было великорусское нарѣчіе, а что нынѣшнее малорусское нарѣчіе этого края было языкомъ пришлаго населенія, которое передвинулось сюда приблизительно въ XV вѣкѣ съ запада, изъ Волыни, Подолія и Галиціи, и ассимилировало прежнихъ жителей. Этотъ тезисъ вызвалъ многочисленныя возраженія (г. Голубева, Житецкаго, Антоновича, Науменка, Мищенко и др.), которыя вообще настаивали, напротивъ, на древнемъ пребываніи

малоруссовъ въ кievской области. Вопросъ остался нерѣшеннымъ. Редакція „Чтеній“ замѣчаетъ (стр. 216), что пренія, происходившія въ Обществѣ по этому предмету, изложены въ его настоящихъ протоколахъ „въ болѣе части по сообщеніямъ мѣстныхъ газетъ“, и что она, въ сожалѣнію, не можетъ ручаться за полную точность этихъ сообщеній.

Изъ отдѣльныхъ критическихъ отзывовъ любопытно мнѣніе Котляревскаго объ изданіяхъ Общества любителей древней письменности, основаніе котораго было дѣломъ кн. П. П. Вяземскаго (стр. 48—49). Котляревскій не сочувствовалъ самой постановкѣ этого Общества — съ годовымъ взносомъ (200 руб.), возможнымъ только для людей богатыхъ, какими очень рѣдко бываютъ наши ученые, вследствие чего главныя изданія Общества становились недоступны. Кромѣ того, Котляревскій осуждалъ приемы изданія; Общество печатало, напр., какой-либо памятникъ въ спискѣ XVIII-го вѣка, когда извѣстны были списки его изъ XV-го столѣтія.

Второй отдѣлъ „Чтеній“ былъ напечатанъ также отдѣльной книгой подъ заглавіемъ: „Сборникъ въ память 900-лѣтія крещенія Руси“, и заключаетъ слѣдующія статьи: „Годъ крещенія Владимира св.“, г. Соболевскаго; имъ же слѣланное изданіе „Памятниковъ древнерусской литературы, посвященныхъ Владимиру св.“; „Св. Владимиръ строитель городовъ“, г. Бережкова, и „Крещеніе князя Владимира и Руси по западнымъ извѣстіямъ“, г. Фортинскаго. Памятники, относящіеся къ св. Владимиру, изданы г. Соболевскимъ по новымъ спискамъ, иногда очень важнымъ, какъ напримѣръ житіе Ольги напечатано, по мнѣнію издателя, едва ли не по самому древнему списку. Г. Соболевскій сопровождалъ памятники комментаріями, гдѣ, между прочимъ, высказывается иногда противъ общепринятыхъ или наиболѣе распространенныхъ взглядовъ. Новыя мнѣнія г. Соболевскаго, быть можетъ, еще требуютъ болѣе детальныя доказательствъ; напримѣръ, на московскомъ археологическомъ съѣздѣ А. С. Павловъ, судя по газетнымъ отчетамъ, весьма рѣшительно беретъ подъ свою защиту подлинность церковнаго устава Владимира, отрицаемую и г. Соболевскимъ; но во всякомъ случаѣ замѣчанія г. Соболевскаго потребуютъ вниманія специалистовъ.

— Соловки. Доктора медицины П. Ѳ. Ѳедорова. Кронштадтъ, 1889.

Книга г. Ѳедорова есть положительно лучшее сочиненіе о Соловецкомъ островѣ (или островахъ) и монастырѣ въ нашей литературѣ. Авторъ имѣлъ возможность изучить ихъ очень близко: состоя судо-

вымъ врачомъ на военной шкунѣ „Полярная звѣзда“, онъ съ 1882 по 1886 имѣлъ возможность посѣщать Соловецкій монастырь по нѣскольку разъ въ лѣто; всего въ эти годы шкуна простояла тамъ 69 дней; кромѣ того весной 1886 года онъ посѣтилъ Соловецкій монастырь еще на нѣсколько дней въ качествѣ простого паломника. „Очень многое,—говоритъ г. Ѳедоровъ,—въ жизни Соловецкаго монастыря (въ продолженіе 76 дней) мнѣ приходилось видѣть самому непосредственно, о многомъ разспрашивать, бывать въ келіяхъ монаховъ, бесѣдовать, спорить, переписываться съ ними о различныхъ предметахъ, лечить ихъ отъ разныхъ болѣзней, обращаться къ монастырскому начальству съ тѣми или другими просьбами; наконецъ, цѣнныя свѣдѣнія, особенно по части заболѣваемости, я получилъ отъ монастырскаго фельдшера.

„Прочитавъ все, что можно найти въ русской свѣтской литературѣ о Соловецкомъ монастырѣ, я увидѣлъ, что имѣющіяся въ ней свѣдѣнія, во-первыхъ, скудны, недостаточны, а во-вторыхъ, болѣею частью односторонни или даже прямо ложны. Брошюры и книги, составленныя духовными лицами, содержатъ почти исключительно описанія сватынь и разныхъ достопримѣчательностей монастыря и совсѣмъ не касаются внутренняго склада жизни. Все это привело меня къ той мысли, что подѣлиться добытыми мною свѣдѣніями будетъ дѣломъ не лишнимъ“.

Автору хотѣлось представить картину внѣшней и внутренней жизни соловецкихъ монаховъ и значеніе Соловецкой обители для русскаго народа. Прежняя литература о Соловецкомъ монастырѣ, какъ мы видѣли, не удовлетворила г. Ѳедорова, и справедливо. Кромѣ того, что она не давала достаточно точныхъ фактическихъ данныхъ, она давала предмету также иногда слишкомъ искусственную окраску, какъ напримѣръ было это въ извѣстной книгѣ г. Немировича-Данченко, очень искусной въ беллетристическомъ отношеніи, но не всегда отдѣлявшей поэзію отъ дѣйствительности. Описаніе г. Ѳедорова, напротивъ, нигдѣ не покидаетъ самой реальной почвы; онъ говоритъ фактами, видѣнными имъ лично или взатыми изъ достовѣрныхъ источниковъ; очень часто говоритъ прямо точными цифрами.

Книга представляетъ подробное описаніе Соловецкихъ острововъ въ физическомъ отношеніи и описаніе быта ихъ населенія постоянного, монашескаго, и пришлаго, лѣтнихъ богомольцевъ. Такимъ образомъ, авторъ посвящаетъ обстоятельное изслѣдованіе климату и общему характеру природы острововъ, причемъ даетъ цѣлый рядъ подробныхъ метеорологическихъ таблицъ, отчасти за старое время, но главнымъ образомъ за послѣдніе годы. Далѣе, онъ подробно разби-

раетъ составъ населенія: это, во-первыхъ, сами монашествующіе; затѣмъ даровые рабочіе богомольцы; трехдневные богомольцы; богомольцы второй половины навигаціи; наемные рабочіе монастыря; наконецъ, военные, ссыльные и арестанты. Далѣе, авторъ сообщаетъ данныя о вѣншемъ бытѣ населенія туземнаго и пришлаго, по слѣдующимъ рубрикамъ: жилище, освѣщеніе, одежда и бѣлье, баня и прачешная, питаніе, богомольческая или нижняя трапеза, рабочая трапеза, питаніе крестьянъ лѣтнаго берега Бѣлаго моря, питаніе крестьянъ симбирской губерніи, питаніе бѣлоруссовъ могилевской губерніи. Наконецъ, онъ говоритъ объ администраціи, экономическомъ состояніи, ремесленномъ и образовательномъ значеніи монастыря.

Собственно описанія Соловецкаго монастыря авторъ не дѣлаетъ, но въ изображеніи „жилища“, въ разсказѣ о богомольцахъ, которыхъ онъ ведетъ по разнымъ святынямъ и достопримѣчательностямъ монастыря, собрано много описательнаго матеріала. Вся книга исполнена интереса, но наиболѣе любопытны тѣ главы, которыя посвящены внутреннему быту монастыря и картинамъ богомолья. Авторъ старался собрать по возможности точныя цифры по разнымъ отношеніямъ монастырскаго быта, и между прочимъ приводитъ численность какъ монашествующей братіи, такъ и богомольцевъ. Всѣхъ монашествующихъ за 1885 годъ было, по официальному счету, 228 человѣкъ; большинство ихъ, 137, изъ крестьянъ; остальные изъ мѣщанъ, духовнаго сословія, изъ солдатъ и дворовыхъ, нѣсколько изъ мелкихъ чиновниковъ и двое изъ дворянъ: такимъ образомъ, составъ братіи совершенно демократическій. По мѣсту происхожденія, наибольшее число монаховъ приходится на сосѣднія сѣверныя губерніи (изъ вологодской—49 человѣкъ, архангельской—46, вятской—38, олонецкой—13), затѣмъ цифра все падаетъ по мѣрѣ отдаленности губерній. Число даровыхъ рабочихъ богомольцевъ, которыхъ называютъ „трудниками“ или „обѣтниками“ (такъ какъ они по обѣту приходятъ работать на монастырь въ теченіе извѣстнаго времени, обыкновенно годъ), это число держится между 500—600 человѣкъ: изъ нихъ опять огромное большинство приходится на ближайшія губерніи; въ 1885 году было изъ архангельской губерніи 190 человѣкъ, изъ вологодской—131, олонецкой—69, новгородской—64, вятской—55 и т. д. Это было зимой; а лѣтомъ, въ іюлѣ слѣдующаго года, общая цифра возросла до 646, и изъ архангельской губерніи было 202 человѣка, изъ вологодской—236 и т. д. По сословіямъ, опять громадный перевѣсъ крестьянъ—537 человѣкъ; остальные опять изъ мѣщанъ, отставныхъ солдатъ, духовнаго званія и нѣсколько человѣкъ изъ мелкихъ чиновниковъ и купцовъ. По возрасту, эти даровые трудники на $\frac{3}{4}$ всего числа ихъ имѣютъ меньше 30 лѣтъ; самая боль-

шая цифра, 252 человека, приходится на возрастъ отъ 16 до 20 л.; самый младшій трудникъ—10 лѣтъ (этихъ мальчиковъ обыкновенно посылаютъ въ монастырь родители, по *своимъ* объѣтамъ, или просто не имѣя возможности прокармливать дѣтей), самый старшій—79. По замѣчанію автора, огромное большинство монастырскихъ работъ производится этими даровыми рабочими богомольцами; спросъ на даровую работу въ монастырь очень большой, но даровое предложеніе еще больше, такъ что значительная часть обѣтниковъ не находятъ мѣла и не принимается монастыремъ. Принятые поступаютъ въ полное распоряженіе монастыря; имъ назначаются обыкновенно работы, для которыхъ они оказываются наиболѣе пригодными; монахи только распоряжаются и держатъ рабочихъ довольно строго.

Другой разрядъ богомольцевъ — трехдневные. Численность ихъ доходить въ среднемъ счетѣ до 12.000 (не меньше 11 и не больше 15 тысячъ) въ годъ. Большинство ихъ опять крестьяне и изъ тѣхъ же сѣверныхъ губерній; но есть, конечно, и богомольцы изъ всѣхъ краевъ Россіи. Добравшись до Архангельска, они поселяются даромъ, но на своихъ харчахъ, въ Соловецкомъ подворьѣ, затѣмъ получаютъ за 4 рубля (кто бѣденъ, иногда со сбавкой, или даромъ) билетъ, дающій право проѣхать на пароходѣ въ Соловки и обратно въ Архангельскъ, и прожить три дня въ монастырь, съ даровымъ помѣщеніемъ и пищей. Пароходъ „Соловецкій“ вмѣщаетъ во всѣхъ классахъ не больше 750 чел., но при большомъ стеченіи богомольцевъ помѣщаетъ до 900 чел., такъ что въ 3-мъ классѣ они набиты какъ сельди въ боченѣ. Какъ мы сказали, авторъ подробно слѣдитъ богомольцевъ во время путешествія и во время пребыванія въ монастырь: ихъ настроеніе, ихъ бытъ въ монастырскихъ гостинницахъ, посѣщеніе святынь и т. д. Первое впечатлѣніе монастыря бываетъ обыкновенно очень сильное: богомольцы настроены серьезно, держатся чинно и благоговѣйно; но любопытно, что цѣль благочестиваго путешествія не сдерживаетъ привычныхъ грубоватыхъ нравовъ. Помѣщеніе въ монастырскихъ гостинницахъ, при большомъ наплывѣ посѣтителей, очень тѣсно и не весьма удобно: въ комнату съ нарами помѣщаютъ человекъ 40—50 обоого пола, которымъ нельзя тамъ помѣститься, такъ что даже полы бываютъ заняты въ-повалку. „Посѣщая нарина комнаты вечеромъ,—говоритъ г. Оедоровъ,—когда публика укладывается спать, я, какъ это ни странно, совсѣмъ не находилъ среди пилигримовъ религіознаго настроенія: шутки, остроты, даже сальности, наполняли воздухъ. Вслѣдствіе смѣшанности половъ было много совсѣмъ неприличныхъ положеній. По словамъ многихъ паломниковъ, на пути въ обитель между ними бываетъ „все“: и ссоры, и развратъ, и воровство“...

Въ главѣ, посвященной „причинамъ паломничества“, авторъ объясняетъ, что главнымъ мотивомъ благочестиваго странствованія бывають какія-либо житейскія несчастія, особливо болѣзни, которыя ведутъ за собою объѣзъ; но „исполненіе обѣщаній,—говоритъ авторъ,—не всегда вытекаетъ изъ чувства благодарности за полученное благодѣяніе, или помощь, а часто просто изъ чувства должника, обязаннаго заплатить, боящагося не заплатить“. Многіе идутъ на богомолье замаливать какіе-нибудь тяжкіе грѣхи; другіе—изъ любопытства или подражанія. Авторъ излагаетъ подробно народный взглядъ на молитву, которая считается наиболѣе дѣйствительною на мѣстахъ, обладающихъ церковными святынями или гдѣ помѣщались святыя люди. Этотъ взглядъ извѣстенъ; но авторъ еще разъ подтверждаетъ другую сторону народнаго благочестія—слишкомъ большое преобладаніе внѣшности, чему не противодѣйствуетъ и вліяніе соловецкаго паломничества. „Въ самомъ общемъ видѣ,—говоритъ г. Оедоровъ,—вліяніе монастыря можно формулировать такъ: во всей его поражающей простолюдина обстановкѣ и во внѣшней, показной, жизни иноковъ богомольцы видятъ, какъ слѣдуетъ относиться къ Богу, какъ должно ему служить, и почти ничего не видятъ и ничего не слышать, какъ нужно относиться къ своимъ ближнимъ въ обыденной и повседневной жизни. Соловецкій монастырь дѣйствительно распространяетъ и поддерживаетъ вѣру и благочестіе, но только благочестіе одностороннее, формальное, благочестіе, которое выражается въ разныхъ видахъ молитвъ, въ молебнахъ, панихидахъ, свѣчахъ, лампадахъ, въ постѣ и въ массѣ другихъ обрядностей, составляющихъ суть народной религіи. Духовно-нравственная же сторона ученія Христа Спасителя стоитъ на заднемъ планѣ и совершенно заслоняется этою обрядностью“.

Въ главѣ объ образовательномъ состояніи монастыря авторъ сообщаетъ любопытныя данныя, которыми объясняется предыдущее. Мы видѣли, что огромное большинство монаховъ принадлежитъ прямо народной массѣ; довольно значительный процентъ—совершенно безграмотныхъ или полу-грамотныхъ, и только четверо изъ іеромонаховъ кончили курсъ духовной семинаріи. Въ монастырскую бібліотеку выписывается нѣсколько духовныхъ журналовъ; изъ свѣтскихъ—только „Московскія Вѣдомости“ и „Русская Старина“; затѣмъ „съ восьмидесятихъ годовъ шесть человѣкъ братіи сообщаютъ на свои деньги выписывали „Свѣтъ“ и „Газету Гатцука“. Библіотека монастыря состоитъ почти исключительно изъ богослужебныхъ книгъ и упомянутыхъ духовныхъ изданій. При монастырѣ есть первоначальная школа, но въ весьма неблагоустроенномъ видѣ. „Изъ приведенныхъ данныхъ,—говоритъ авторъ,—вполнѣ очевидно, что соловецкая школа,

если и имѣть какое-либо значеніе для народа, то только въ смыслѣ распространенія одной грамотности, а никакъ не религіознаго развитія", и авторъ указываетъ преувеличенность или просто невѣрность отзывовъ г. Немировича-Данченка, какъ и въ другихъ случаяхъ не разъ опровергаетъ его поэтическія изображенія.

Въ главѣ объ экономическомъ и ремесленномъ значеніи обители г. Федоровъ сообщаетъ точныя цифровыя данныя о разныхъ видахъ „послушанія“, т.-е. работъ монаховъ и богомольцевъ, и вообще данныя объ экономическихъ дѣлахъ монастыря, и приходитъ къ такому заключенію: „Благодаря В. И. Немировичу-Данченко, о Соловецкомъ монастырѣ въ обществѣ составилось представленіе какъ о весьма производительной общинѣ, все создавшей и великой трудами рукъ своихъ—трудами живущихъ въ ней иноковъ. Такое представленіе крайне преувеличено“. Дѣйствительно, такое представленіе должно сильно измѣниться при соображеніи 600 (круглымъ счетомъ) даровыхъ рабочихъ на 228 человѣкъ самой братіи. „Какъ распространитель хозяйственныхъ знаній (въ мірѣ) чрезъ даровыхъ трудниковъ монастырь не имѣетъ никакого значенія: въ хозяйствѣ любой крестьянской земли гораздо больше отраслей и болѣе разумныхъ началъ, чѣмъ въ монастырѣ, гдѣ есть только огородничество, своеобразное скотоводство и сѣновозъ, и гдѣ все берется количествомъ (?): у насъ, говорилъ одинъ монахъ, только сила солому ломить“.

Приведенные нами нѣсколько образчиковъ даютъ понятіе о характерѣ книги г. Федорова. Это внимательно исполненный трудъ, свободный отъ всякихъ преувеличеній и беллетристическихъ прикрасъ, представляющій дѣло какъ оно есть; онъ является тѣмъ болѣе кстати, что описанія Соловецкаго монастыря, какъ цвѣтущей „народно-религіозной общины“,—описанія, сдѣланныя именно съ прикрасами, до сихъ поръ, кажется, не встрѣтили въ нашей литературѣ должной провѣрки и не были замѣнены болѣе спокойными и компетентными трудами. Въ книгѣ г. Федорова факты являются безъ всякаго фальшиваго освѣщенія и сами по себѣ остаются чрезвычайно любопытны.

— *Сочиненія Н. В. Гоголя*. Изданіе десятое. Текстъ сверенъ съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведеній Николаемъ Тихонравовымъ. Томъ третій. М. 1889.

Въ Литературномъ Обзорѣнн было говорено о вышедшихъ раньше томахъ этого изданія (т. I, IV, V); теперь появился III-й томъ, заключающій въ себѣ „Мертвыя Души“, съ обычными подробными комментаріями и вариантами. Именно, послѣ извѣстнаго текста

первой части „поэмы“, мы находимъ здѣсь: предисловіе ко второму изданію перваго тома „Мертвыхъ Душъ“; замѣтки Гоголя, относящіяся къ первому тому; окончаніе IX-й главы въ передѣланномъ видѣ; далѣе, повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, въ двухъ видахъ—въ одной изъ первоначальныхъ редакцій и въ редакціи, зачеркнутой цензоромъ. Затѣмъ помѣщена въ этомъ томѣ вторая часть „Мертвыхъ Душъ“ по одной изъ первоначальныхъ редакцій; наконецъ, обширныя примѣчанія редактора и варианты (стр. 412—613). Мы говорили раньше о всемъ способѣ передачи Гоголя въ настоящемъ изданіи: г. Тихонравовъ поставилъ себѣ задачей привести все, что осталось въ рукописяхъ Гоголя; эти рукописи, нерѣдко до крайности нечеткія, любопытны тѣмъ, что даютъ возможность изучить процессъ его работы и, относительно „Мертвыхъ Душъ“, отраженіе на этой работѣ того душевнаго настроенія, которое все больше овладѣвало Гоголемъ въ послѣдніе годы его жизни, съ первой половины сороковыхъ годовъ. Въ своихъ примѣчаніяхъ г. Тихонравовъ обстоятельно изучаетъ исторію этой работы Гоголя надъ „Мертвыми Душами“, собираетъ и сопоставляетъ всѣ данныя, какія заключаются въ его перепискѣ, въ показаніяхъ его друзей, наконецъ, въ составѣ сохранившихся рукописей. Опять, по характеру почерковъ, по бумагѣ, по чертамъ содержанія, г. Тихонравовъ опредѣляетъ хронологію замѣтокъ, поправокъ, накопленныхъ на уцѣлѣвшихъ рукописяхъ „Мертвыхъ Душъ“, и такимъ образомъ восстанавливаетъ хронологію самой работы и настроеніе писателя въ разныя эпохи, на пространствѣ нѣсколькихъ лѣтъ. Познакомившись съ примѣчаніями и взглянувъ на громадную массу вариантовъ, читатель увидитъ, какой настойчивый трудъ нуженъ, чтобы ориентироваться въ этой массѣ мелкихъ подробностей. Зато въ результатѣ мы впервые получаемъ возможность восстановить, съ большою вѣроятностью, историческую судьбу твореній одного изъ величайшихъ писателей нашей литературы. Повторимъ желаніе, чтобы съ концомъ работы (остается еще второй томъ) г. Тихонравовъ обобщилъ свои изслѣдованія надъ текстами Гоголя въ цѣльное изображеніе исторіи его творчества, которая была вмѣстѣ его личной внутренней исторіей.

— *Сборникъ уральскихъ казачьихъ пѣсенъ*. Собралъ и издалъ Н. Г. *Мякушинъ*. 162 пѣсни и 18 стихотвореній Уральскаго и другихъ казачьихъ войскъ. Спб. 1890.

Казацкій бытъ и старина имѣютъ давно своихъ изслѣдователей, историковъ и этнографовъ. Недавно мы имѣли случай говорить объ одномъ изъ нихъ, І. Желѣзновѣ, по поводу новаго изданія его со-

чиненій. Желѣзновъ, какъ и другіе писатели въ этой области, сами принадлежавшіе къ казацкой средѣ, отличался горячимъ, именно мѣстнымъ патріотизмомъ; это не былъ вовсе человѣкъ съ научной подготовкой,—скорѣе популярный рассказчикъ, но онъ старался внимательно изучить прошлое и настоящее своей родины, дорожилъ преданіями, идеализировалъ старину. Эти качества находимъ и у новѣйшаго этнографа: г. Мякушинъ также дорожить преданіями, и самый поводъ къ составленію настоящаго сборника заключался не въ чисто научной любознательности, по существу холодной, критической, а гораздо больше въ чувствѣ мѣстнаго патріотизма, въ желаніи собрать старину для поученія молодымъ поколѣніямъ. Какъ ни исключительно положеніе казачества (особливо донскаго и уральскаго), общественное, бытовое и служилое, созданное давней и долго поддержанное новой исторіей, съ успѣхами общественности и бытовой новизны и оно, повидимому, начинаетъ имъ подчиняться. Г. Мякушинъ касается этого вопроса только въ примѣненіи именно къ пѣснямъ. По словамъ его, старожилы-казаки и до сихъ поръ дорожатъ старой славой своего Яика и прославляютъ его въ своихъ старинныхъ „доморощенныхъ“ пѣсняхъ. „Такъ, конечно,—говоритъ авторъ,—должно бы поступать и все молодое поколѣніе, потому что въ каждомъ изъ насъ течетъ кровь предковъ, тѣхъ славныхъ, лихихъ и отважныхъ казаковъ, которые своими могучими плечами завоевали и удержали за собой Яикъ, на которомъ мы теперь такъ тихо и славно проживаемъ. Но, откровенно говоря, нельзя не пожалѣть о томъ, что не всегда молодое наше казачество достаточно сочувственно относится къ своимъ казачьимъ пѣснямъ, внося въ свой репертуаръ все болѣе и болѣе, такъ сказать, „модныя“ пѣсни, совершенно не казачьяго творчества и духа, отражающіяся въ казачьемъ быту весьма дурно. Не разъ также приходилось слышать и видѣть, какъ молодое наше поколѣніе поотстало отъ своихъ стариковъ въ отношеніи знанія старинныхъ казачьихъ пѣсенъ и умѣнія ихъ пѣть. И это весьма естественно; прежде служили всѣ до послѣдней возможности, до глубокой старости, нерѣдко до 60 и болѣе лѣтъ, до полного истощенія силъ; дѣти и внуки выходили на службу выѣстъ съ отцами и дѣдами, подъ ихъ руководствомъ молодой казакъ учился всему: такимъ образомъ, служба была отличною школою, она выдвигала молодого казака, и, возвращаясь домой, онъ всегда вращался въ кругу старыхъ, закаленныхъ въ походахъ и бояхъ одностаничниковъ. При такихъ условіяхъ служебно-боевой опытъ дѣдовъ и отцовъ не пропадалъ даромъ и примѣнялся при всякомъ случаѣ, и молодой казакъ въ скоромъ времени уже не отставалъ ни въ чемъ отъ старика“. Не то происходитъ теперь: въ строевой

службѣ все рѣже встрѣчаются старослужилые казаки, большинство бываетъ на службѣ только одно трехлѣтіе, и молодежь не успѣваетъ перенять отъ старшаго поколѣнія старыхъ казацкихъ преданій, и у себя дома, въ станицахъ, молодое поколѣніе, по словамъ г. Мякушина, „не усваиваетъ отъ стариковъ свои родныя пѣсни, предпочитая имъ модныя, добываемыя изъ разныхъ народныхъ пѣсенниковъ“. Г. Мякушинъ находитъ, что причиною этого служить также и то, что „уральское войско, существуя 300 лѣтъ, не имѣетъ у себя ни одного изданія избранныхъ и составленныхъ систематически своихъ *національных* пѣсенъ“. Очевидно, однако, что причина забвенія гораздо шире, и не ограничивается измѣненіемъ строевой службы и отсутствіемъ изданій пѣсенъ. Жизнь дѣлаетъ свое: старый бытъ измѣняется повсюду съ измѣненіемъ всего строя бытовой и экономической жизни. Старыя пѣсни были принадлежностью прежняго полу-патріархальнаго быта, и съ его паденіемъ, которое не подлежитъ сомнѣнію, неизбежно забывается и выходитъ изъ обращенія старая поэзія, и ее нельзя удержать ни увѣщаніями, ни изданіями книгъ.

Это не мѣшаетъ сборнику г. Мякушина быть очень любопытнымъ. Возможно, что обыкновенный читатель не найдетъ, чтобы въ ряду русскихъ историческихъ пѣсенъ эти пѣсни особенно отличались „необыкновенно вѣрной обрисовкой событій“, какъ полагаетъ собиратель. Пѣсня не есть исторія; довольно, если она передаетъ съ точностью самый общій фактъ и настроеніе дѣйствующихъ лицъ; но иногда нѣтъ и этого. Возьмемъ для примѣра въ отдѣлѣ „историческихъ пѣсенъ“ № 22, гдѣ рассказывается, какъ по морю „еврейскому“ (?) выплывали тридцать-три кораблика; одинъ корабль „напередъ бѣжитъ“, въ корабликѣ „разукрашенъ чердакъ“, въ чердакѣ стоитъ „раздвиженный стулъ“, а „на стулу сидѣлъ самъ прущкой король“. Вѣрная обрисовка событія сомнительна. Или тамъ же № 47, „Уральцы въ походѣ у Абаевцевъ“: изъ содержанія пѣсни довольно трудно понять самый фактъ, который исторически переданъ въ примѣчаніи къ этой пѣснѣ (стр. 99—100), и т. п. Въ пѣснѣ, даже болѣе точно исторической, ея тема нерѣдко бываетъ только поводомъ къ варьированію стараго поэтического мотива; новый фактъ подлаживается къ знакомымъ поэтическимъ оборотамъ и для ближайшихъ составителей пѣсни она доставляетъ поэтическое удовлетвореніе; настоящей исторіи она не даетъ и никто отъ нея не потребуешь.

Въ своемъ сборникѣ г. Мякушинъ лишь небольшое число пѣсенъ заимствовалъ изъ прежнихъ собраній; большинство записано имъ самимъ: онъ слышалъ ихъ въ разное время и въ строевой службѣ, и дома на Уралѣ отъ пѣвцовъ казаковъ и офицеровъ, и многія запи-

сывалъ съ голоса, причемъ, — говоритъ онъ, — „записанный текстъ пѣсни съ голоса иногда разнился отъ ея разговорнаго текста“.

„О вѣрности того или другого текста судить не берусь, но, назначая „Сборникъ“ свой для пѣнія, я, конечно, долженъ былъ написать пѣсню такъ, какъ она мнѣ передавалась, или какъ при мнѣ она пѣлась, стараясь записывать безъ всякихъ исправленій, а тѣмъ болѣе передѣлываній по своему, помня хорошо, что дѣлать подобныя искаженія никто не въ правѣ и потому еще, что пѣсни эти—народныя, которыя не осмѣлилось уничтожить и само время“.

Собраніе г. Мякушина представляетъ нѣсколько различныхъ отдѣловъ. Самый старый по происхожденію пѣсень отдѣлъ заключаетъ нѣсколько вариантовъ *былинъ*; болѣею частью онѣ взяты здѣсь изъ прежнихъ сборниковъ,—при этомъ желательно было бы знать, сохраняются ли и донинѣ эти былины въ уральскомъ пѣсенномъ употребленіи. Далѣе слѣдуютъ пѣсни разбойничьи, взятые также отчасти изъ прежнихъ сборниковъ, между прочимъ изъ сборника *домскихъ* пѣсень Пивоварова, извѣстность которыхъ на Уралѣ опять невыяснена. Специально уральскія и наиболѣе многочисленныя пѣсни являются въ отдѣлахъ пѣсень историческихъ, военныхъ, удачныхъ и бытовыхъ. Это — наиболѣе интересная часть всего сборника, гдѣ мы встрѣчаемся именно съ уральскимъ пѣсеннымъ творчествомъ, частію на общей основѣ старой народной пѣсни, частію новѣйшаго происхожденія, гдѣ, какъ всегда въ народной поэзіи, новое значительно уступаетъ старому въ изиществѣ; въ пѣсняхъ новыхъ все болѣе становится замѣтно личное сочинительство; въ нѣкоторыхъ случаяхъ .указывается прямо имя автора.—А. В.

Въ теченіе января поступили въ редакцію слѣдующія новыя книги и брошюры:

Анисимовъ, А. Уставъ о гербовомъ сборѣ, съ разъяснен. Правит. Сената. Спб. 90. Стр. 43. Ц. 50 к.

Анненковъ, К. Н. Задачи губернскаго земства. Спб. 90. Стр. 99. Ц. 75 к.

Аррениусъ, С. Современная теорія состава электролитическихъ растворовъ. Перев. съ франц. Н. С. Дрентельна. Съ рисунк. Спб. 90. Стр. 60. Ц. 60 к.

Барсуковъ, Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. III. Спб. 90. Стр. 387. Ц. 2 р. 50 к.

Бильдерлингъ, П. Обзоръ современнаго состоянія землѣдѣлія и сельскохозяйства. образованія во Франціи. Спб. 89. Стр. 209.

Бойсезъ, Краткозъ руководство по греческимъ древностямъ. Перев. съ 2-го нѣм. изд. К. Зембергъ. Рига. 90. Стр. 276.

Бочкаревъ, В. Колхида (нынѣшняя Кутаисская губ.). Географическій очеркъ. Кутаисъ. 90. Стр. 42. Ц. 35.

Бумаковъ, Ѳ. И. Наши художники: живописцы, скульпторы, мозаикисты, граверы и медалеры — на академическихъ выставкахъ по случаю 25-лѣтія. Біографіи, портреты художниковъ и снимки съ ихъ произведеній. Т. I. Спб. Стр. 230. Подписка на 2 тома—15 руб.

Васюковъ, С. Среди жизни. Этюды и очерки. М. 90. Стр. 282. Ц. 1 р.

Витевскій, И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край въ прежнемъ его составѣ до 1758 г. Вып. II. Каз. 90. 177—368. Ц. 2 р.

Вишняковъ, Е. П. Фотографіи съ натуры. Вып. II. Спб. 89.

Гарусовъ, И. Очерки литературы древнихъ и новыхъ народовъ. Драматическая поэзія. Пособіе при изученіи словесности въ среднеучебн. завед. Изд. 2-е, съ 25 политипажжами. Спб. 90. Стр. 246. Ц. 1 р. 25 к.

Герцъ, Г. Объ отношеніяхъ между свѣтомъ и электричествомъ. Перев. съ нѣм. Н. Дрентельна. Спб. 90. Стр. 21. Ц. 50 к.

Дамилевскій, Г. П. Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя. Изд. Комит. грамотности. № 34. Спб. 89. Стр. 27. Ц. 5 к.

——— Царь Алексѣй съ соколомъ. Изд. Комит. грамотности. Спб. 89. Стр. 24. Ц. 5 к.

Донъ-Менкесъ. Къ 50-лѣтнему юбилею А. Г. Рубинштейна, съ фотограф. портр. юбиляра. Од. 89. Стр. 83. Ц. 1 р.

Ивановъ, Н. Предохранительныя мѣры при леченіи заразительныхъ болѣзней на дому, и дезинфекція квартиръ по окончаніи болѣзни Спб. 90. Стр. 42. Ц. 35 к.

Иушновъ, І. И. Судебные Уставы Имп. Александра II, съ законодательными мотивами и объясненіями. Изданіе юбилейное (1864—1889 г.). Т. I: Положеніе о нотаріальной части. Т. II: Уставъ гражданского судопроизводства. Вып. 1: Общія положенія и порядокъ производства въ миров. судебн. установленіяхъ. Спб. 90.

Коломійцевъ, Д. Стихотворенія. Бердянскъ. 89. Стр. 110.

Котъ-Мурлыка, Повѣсти, сказки и рассказы. Т. IV. Спб. 90. Стр. 348. Ц. 1 р. 75 к.

Коцинъ, М. Б. Опытъ систематическихъ наблюденій надъ колебаніемъ химическаго и бактериологическаго состава воды Москвы-рѣки за 1887—88 г. М. 89. Стр. 177.

Красноперовъ, Е. И. Кустарная промышленность пермской губерніи на сибир.-урал. промышл. выст. въ Екатеринб. въ 1887 г. Вып. 1, 2 и 3. Пермь. 89.

——— Матеріалы къ составленію уставовъ и условий для кустарно-промышл. артелей и товариществъ. Пермь. 89. Стр. 62.

Краснопольскій. Пермь—Солнкамскъ. Геологическія изслѣдованія на западномъ склонѣ Урала Съ 2-мя табл. и 15 политип. Спб. 1889. Стр. 522. Ц. 6 р.

Крижъ, В. О. Первое домашнее чтеніе сельскаго школьника. Вып. 1. Спб. 89. Стр. 24. Ц. 2 к.

Ламбинъ, Б. Проектъ воздухоплаванія. Спб. 99. Стр. 42 (Напечатано въ видѣ рукописи).

Лебедевъ, Л. Жизнь Петра В. Съ рисунками. Составл. по Устрялову, Соловьеву, Костомарову, Брикнеру и др. Спб. 90. Стр. 675. Ц. 2 р.

Лисовскій, Н. М. Музыкальный Календарь-Альманахъ и справочная книжка на 1890 г. Спб. 89. Стр. 128.

Мякушинъ, Н. Г. Сборникъ уральскихъ казачьихъ пѣсенъ. Спб. 90. Стр. 289.

Мантегациа, П. Большая любовь. Гигиеническій романъ. Перев. Люботинскій. Спб. 90. Стр. 156. Ц. 50 к.

Мешерскій, И. И. О садахъ и питомникахъ при народныхъ школахъ. Спб. 89. Стр. 59.

Минскій, Н. М. При свѣтѣ совѣсти. Мысли и мечты о цѣли жизни. Спб. 90. Стр. 261. Ц. 1 р. 25 к.

Н., бар. Изъ 99 дней царствованія имп. Фридриха III. Перев. съ нѣмец. Спб. 90. Стр. 89. Ц. 55 к.

Нейштабъ, д-ръ Я. Т. Чахотка и научно-санитарный планъ борьбы съ нею. Спб. 90. Стр. 23. Ц. 30 к.

Немировичъ-Данченко, Вас. Святочные рассказы. Спб. 90. Стр. 448. Ц. 2 р.

Отрадинъ, В. Стихотворенія и драматическія поэмы. Спб. 90. Стр. 462. Ц. 1 р. 50 к.

Повалишинъ, А. Д. Рязанское земство въ его прошломъ и настоящемъ. Ряз. 89. Стр. 203.

Позняковъ, Н. И. Святочные рассказы: I. Кичливая и счастливая. II. Безъ елки. III. Мятель. IV. Св. Николай. V. Малышъ. Спб. 98. Ц. отъ 5 до 10 к.

Рубакинъ, Н. А. Испытанія д-ра Исаака. Старинная быль. Для школъ и грамотнаго народа. М. 89. Стр. 45. Ц. 5 к.

Рудкинъ, П. Г. Изъ лекцій по исторіи философіи права въ связи съ исторіей философіи вообще. Т. III. Спб. 90. Стр. 475. Ц. 3 р.

Симоновъ, д-ръ Л. Способы домашнего освѣщенія. Съ 44 рис. Освѣщ. керосиномъ, газомъ и электричествомъ. Спб. 89. Стр. 110. Ц. 1 р. 25 к.

— Руководство къ обойному мастерству и оклейкѣ обоями. Спб. 89. Стр. 140. Ц. 1 р. 50 к.

— Главнѣйшіе съѣдобные и вредные грибы, съ 8 табл. аквар. рис., писан. съ нат. г-жею Ел. Бемъ. Спб. 89. Стр. 36. Ц. 2 р.

С—кій, Ал. Нѣсколько итоговъ къ злобамъ дня. Этюдъ по общественной морали. Спб. 89. Стр. 53.

Скритицынъ, В. А. Подсудимые. Очерки и рассказы. Воспоминанія и наблюденія защитника уголовного правосудія. Спб. 90. Стр. 320. Ц. 2 р.

Трубецкой, кн. Сергій. Магифизика въ древней Греціи. М. 90. Стр. 508. Ц. 3 р.

Федоровъ, М. П. Обзоръ международной хлѣбной торговли. Спб. 89. Стр. 361.

Х., В. На Сѣверѣ. Путевыя воспоминанія. М. 90. Стр. 234. Ц. 1 р. 30 к.

Чудновскій, С. Л. Переселенческое дѣло на Алтаѣ. Иркутскъ. 89. Стр. 154.

Шнейдеръ, Е. Ѳ. Произведенія Эврипида въ переводѣ. Вып. II: Альцеста, драма. М. 90. Стр. 87. Ц. 50 к.

Языковъ, Д. Д. Обзоръ жизни и трудовъ покойныхъ русскихъ писателей. Вып. 6-й. Русскіе писатели, умершіе въ 1866 г. Спб. 89. Стр. 140.

Эристъ, К. Ю. Заиканіе, его причины и лѣченіе. Руководство къ совершенному искорененію заиканія, въ особенности для самостоятельнаго употребленія страдающаго. Спб. 89. Стр. 233.

Эристремъ, І. Очеркъ сельско-хозяйственнаго образованія и мѣропріятій для поощренія земледѣлія и его побочныхъ промысловъ въ В. Кн. Финляндскомъ. Гельсингф. 89. Стр. 70.

Dementieff, Dr E. M. Die Lage der Fabrikarbeiter im Zentralrussland. Tübing. 89. (Separatabdruck. aus Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik.).

— Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Мензелинскаго уѣзда. Уфа. 89. Стр. 149.

- Николаевскій вывозной портъ. Изд. Времен. Управл. казен. желѣзныхъ дорогъ мин. путей сообщенія. Спб. 89. Стр. 43.
- Обзоръ книгъ для дѣтскаго чтенія примѣнительно ко всякому возрасту. Вып. 1. Од. 90. Стр. 45. Ц. 20 к.
- Общій отчетъ состоянія народныхъ училищъ Таврической губерніи за 1888 г. Составленъ Директоромъ народныхъ училищъ, на основаніи ст. 23 Полож. о начальныхъ народн. училищахъ. Бердянскъ. 89. Стр. 174.
- О свободѣ воли. Опытъ постановки и рѣшенія вопроса. Рефераты и статьи членовъ Психологическаго Общества. М. 89. Стр. 369. Ц. 2 р.
- Очеркъ техническаго и профессиональнаго образованія въ Финляндіи. Гельсингф. 89. Стр. 88.
- Русскіе дѣятели въ портретахъ, изд. редакціею историч. журн. „Русская Старина“. 4-ое собр. Спб. 90. Стр. 112. Ц. 3 р.
- Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. 70. Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ эпоху Наполеона I. Т. I: 1800—1802. Спб. 90. Стр. 780. Ц. 3 р.
- Сборникъ народныхъ умотвореній, наука и книжнина, издана министерствомъ на народное просвѣщеніе. Кн. I. Софія. 89.
- Сборникъ техническихъ отчетовъ экспертной комиссіи выставки предметовъ освѣщенія и нефтяного производства, устроенной Имп. Русск. Технич. Общ. въ 1887—88 гг. Спб. 89.
- Сельско-хозяйственный календарь для черноземной полосы Россіи на 1890 г. Харьковъ. 90. Стр. 228. Ц. 30 к.
- Справочная книжка для членовъ VIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Спб. 28 дек. 1889—8 янв. 1890. Спб. 89. Стр. 140.
- Статистическій Ежегодникъ Московской губерніи за 1889 годъ. М. 89. Ц. 2 р.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

L'état moderne et ses fonctions. Par *Paul Leroy-Beaulieu.* Paris, 1890. стр. VI
и 468. Ц. 9 фр.

Вопросы о значеніи и роли государства, объ отношеніи его къ обществу и народу представляютъ столько практическаго и научнаго интереса, что всякое изслѣдованіе на эту тему невольно обращаетъ на себя вниманіе. Книга извѣстнаго французскаго экономиста не удовлетворитъ, однако, тѣхъ читателей, которые вздумали бы искать въ ней обстоятельнаго отвѣта на упомянутые общіе вопросы политической жизни. Поль Леруа-Болье очень мало останавливается на теоретическихъ понятіяхъ и принципахъ; онъ не касается ни происхожденія и развитія государствъ, ни ихъ историческихъ и національных основъ, ни различныхъ правительственныхъ формъ, а разбираетъ только современную систему управленія и законодательства во Франціи, въ связи съ нѣкоторыми общими чертами политическаго строя въ западныхъ странахъ. Авторъ не вдается ни въ какія отвлеченности и не выставляетъ никакой опредѣленной теоріи; онъ придерживается чисто-практической точки зрѣнія и всегда имѣетъ въ виду текущія „злобы дня“ французской республики.

Подъ „современнымъ государствомъ“ авторъ разумѣетъ власть, основанную на народномъ избраніи, съ переменчивымъ составомъ дѣйствующихъ лицъ. По его словамъ, такъ какъ „государство (т.-е. парламентское правительство?) выходитъ изъ массы гражданъ посредствомъ выборовъ на короткій срокъ“, а выборы совершаются среди напряженнаго шума и волненія, то государство „служитъ выраженіемъ минутнаго увлеченія большинства націи“; оно изображаетъ народъ на подобіе того, какъ „мгновенное фотографированіе схватываетъ черты скачущей лошади“. Здѣсь парламентская форма государственной власти принимается за самое государство въ современномъ западно-европейскомъ его видѣ, что, очевидно, нелогично. Леруа-Болье постоянно говоритъ объ избирательномъ характерѣ „современнаго государства“, дѣлающемъ его будто бы нерѣшительнымъ, колеблющимся, увлекающимся и пр.,—хотя избирательнымъ можетъ быть названо только правительство, а не государство. Смѣшеніе государ-

ства съ правительствомъ тѣмъ болѣе странно со стороны Леруа-Больё, что въ одномъ мѣстѣ книги (стр. 11, прим.) онъ самъ предупреждаетъ читателей отъ такого смѣшенія. Односторонній взглядъ его на сущность современнаго государства проявляется и въ томъ обстоятельствѣ, что обширная и важная область международныхъ отношеній и связанныхъ съ ними военно-дипломатическихъ заботъ не нашла себѣ мѣста въ трактатѣ о „современномъ государствѣ“ и его функціяхъ. О внѣшней политикѣ и вооруженіяхъ упоминается только мимоходомъ, по поводу военныхъ бюджетовъ, а также косвенно въ небольшой заключительной главѣ о колонизаціи. Наибольше вниманія авторъ удѣлилъ экономическимъ и финансовымъ вопросамъ, вытекающимъ изъ постепеннаго расширенія государственной дѣятельности по мѣрѣ возрастанія могущества демократіи.

Осуждая недостатки и увлеченія новѣйшаго государства, Леруа-Больё забываетъ проводить параллель съ прошлымъ, для болѣе правильной оцѣнки относительныхъ достоинствъ стараго и новаго режима; онъ даетъ понять, что прежній политическій строй лучше удовлетворялъ потребности народа и свободенъ былъ отъ разорительныхъ слабостей, присущихъ будто-бы парламентскому управленію. Стоило бы только вспомнить о временахъ маркизы Помпадуръ, о порабощеніи народныхъ массъ высшими привилегированными сословіями, о господствѣ произвола и беззаконія вплоть до революціонной эпохи, чтобы отнестись совсѣмъ иначе къ недостаткамъ позднѣйшаго парламентаризма. Судить о преимуществахъ того или другого порядка вещей возможно только путемъ сравненій, а между тѣмъ сравнительный методъ отсутствуетъ въ разсужденіяхъ и доводахъ Леруа-Больё. Какъ мало у него безпристрастія, можно видѣть изъ того, что даже несомнѣнные грѣхи второй имперіи онъ приписываетъ демократіи, и седанскій погромъ онъ выдаетъ за доказательство военной несостоятельности государства, основаннаго „всецѣло на выборномъ началѣ“. „Война 1870—71 годовъ—по мнѣнію автора—дала блестящее подтвержденіе этой слабости современнаго государства, съ точки зрѣнія военной обороны: съ одной стороны, авантюристскій походъ къ Седану рѣшенъ былъ только вслѣдствіе опасенія безпорядковъ въ Парижѣ въ случаѣ возвращенія арміи къ столицѣ; съ другой стороны, революція 4-го сентября уничтожила правительство въ тотъ именно моментъ, когда было наиболѣе необходимо сплотиться около него всей націи. Народъ, покидающій своихъ вождей въ минуту поражений, лишаетъ себя главныхъ шансовъ поправить свои неудачи. Но для государства, основаннаго на избирательномъ принципѣ, чрезвычайно трудно избѣгнуть полнаго кризиса и замѣшательства при первомъ серьезномъ пораженіи“. Нечего и гово-

рить, что внутреннее безсиліе режима, установленнаго Наполеономъ III, не могло быть объясняемо чрезмѣрнымъ уваженіемъ къ выборному началу; власть, созданная узурпаціею и поддерживаемая системою личнаго усмотрѣнія и авторитета, пала послѣ седанской катастрофы, вслѣдствіе отсутствія элементарнаго общественнаго довѣрія къ добросовѣстности растерявшихся правителей. Судьба второй имперіи можетъ, конечно, служить доводомъ противъ принциповъ бонапартизма, но никакъ не противъ началъ выборнаго государственнаго управленія.

Основная идея сочиненія Поля Леруа-Болье заключается въ томъ, что свободная дѣятельность личности есть источникъ всякаго человѣческаго прогресса, и что государство должно по возможности ограничивать свои функціи, предоставляя наибольшій просторъ частной инициативѣ. Противъ господствующей нынѣ тенденціи къ расширенію государственнаго вмѣшательства направлена вся аргументація автора. Сдѣлавъ краткую характеристику существующихъ теоретическихъ воззрѣній на государство, авторъ указываетъ на нецѣлостность смѣшенія государства съ обществомъ и уподобленія общества организму. Государство представляется обыкновенно въ тройственномъ видѣ властей—національных, областныхъ и муниципальных. „Государственная власть можетъ дѣйствовать только посредствомъ сложнаго механизма, состоящаго изъ многочисленныхъ исполнителей, подчиненныхъ одинъ другому; поэтому она ничего не изобрѣтаетъ и не создаетъ. Всѣ успѣхи человѣчества—или почти всѣ—связаны съ собственными именами, съ именами тѣхъ людей, которыхъ главный министръ второй имперіи называлъ „непризванными“ личностями. Миръ идетъ впередъ и развивается только при помощи этихъ „личностей безъ уполномочія“. Важнѣйшія изобрѣтенія и усовершенствованія, даже въ специально-военномъ дѣлѣ, осуществлялись частными лицами и съ трудомъ находили поддержку со стороны правительствъ. Государство только усваиваетъ и распространяетъ результаты частной предприимчивости, рискуя нерѣдко умножить и утвердить недостатки; оно не можетъ играть роль перваго фактора или главной причины прогресса въ человѣческомъ обществѣ“. Авторъ значительно облегчилъ для себя доказательство своей мысли, остановившись на такой сферѣ дѣятельности, которая вовсе не свойственна государству; онъ, быть можетъ, пришелъ бы къ другому выводу, еслибы упомянулъ не о научно-технической предприимчивости, а о предприимчивости политической и законодательной. Авторъ ничего не говоритъ о значеніи дѣйствій и предпріятій послѣднаго рода для человѣческаго прогресса, такъ что выводъ его долженъ быть признанъ по меньшей мѣрѣ одностороннимъ. О благотворномъ вліяніи законодательства въ области тѣхъ или другихъ спеціальныхъ интересовъ будущаго вы-

сказано нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній въ одной изъ дальнѣйшихъ главъ, при обсужденіи вопросовъ объ охранѣ лѣсовъ, осушеніи болотъ, поддержаніи плодородія почвы и пр. (стр. 120—128).

Разсматривая по порядку главныя правительственныя функціи, авторъ находитъ, что всѣ онѣ плохо исполняются современнымъ государствомъ и что нѣкоторые изъ нихъ могли бы быть съ пользою переданы всецѣло въ руки частныхъ предпринимателей. Если вѣрить автору, мы отстаемъ отъ временъ Ришелье даже въ дѣлѣ правосудія и общественной безопасности. Законы, создаваемые „непрерывно дѣйствующими законодательными фабриками“, приносятъ будто бы больше вреда, чѣмъ пользы, и парализуются отчасти полезными практическими обходами и уловками. Законодатель не создаетъ права, а только регулируетъ его примѣненіе; но регулированіе часто совершается неудачно и несогласно съ дѣйствительностью. Публичныя работы велись бы гораздо успѣшнѣе при частной инициативѣ, чѣмъ подъ руководствомъ и контролемъ государства; правительственная опека ослабляетъ предусмотрительность и энергію населенія. Авторъ приводитъ многіе примѣры крайней невыгодности и нерасчетливости публичныхъ работъ во Франціи, вслѣдствіе примѣненія къ нимъ политическихъ, филантропическихъ и иныхъ постороннихъ точекъ зрѣнія, вмѣсто техническихъ и экономическихъ. Частныя компаніи не могли бы дѣйствовать подобнымъ образомъ. Извѣстная программа общепользныхъ сооружений, составленная Фрейсинэ и рассчитанная на затрату миллиардовъ, называется авторомъ не иначе какъ „безуміе Фрейсинэ“ (*la folie Freycinet*). Исторія желѣзныхъ дорогъ въ западной Европѣ даетъ автору благодарный матеріалъ для подтвержденія и развитія его любимой идеи о превосходствѣ свободной частной дѣятельности передъ правительственною. Городскія и общественныя предпріятія (напр., по освѣщенію, устройству конно-желѣзныхъ дорогъ и пр.) также задерживаются лишь одностороннимъ хозяйничаньемъ выборныхъ корпорацій, по мнѣнію Леруа-Болье.

Отдѣлы о религіи и народномъ образованіи имѣютъ отчасти полемическій характеръ; авторъ рѣзко критикуетъ дѣйствія французскихъ республиканцевъ и отвергаетъ всякія ограниченія свободы совѣсти и преподаванія, хотя и допускаетъ нѣкоторый правительственный надзоръ. Въ главахъ о призрѣніи бѣдныхъ, о рабочемъ вопросѣ и о страхованіи рабочихъ содержится много вѣрныхъ замѣчаній и соображеній, относительно административной практики нѣкоторыхъ государствъ, равно какъ и по поводу новѣйшихъ соціально-реформаторскихъ законовъ и проектовъ.

Авторъ такъ сурово относится къ „современному государству“, что даже такое несомнѣнно удавшееся предпріятіе, какъ послѣдняя

всемирная выставка въ Парижѣ, встрѣчаетъ въ немъ неумолимаго порицателя. Грандіозный банкетъ 12.000 мѣровъ кажется строгому автору „однимъ изъ самыхъ абсурдныхъ и пагубныхъ (!) инцидентовъ этого дорого стоившаго карнавала“ (стр. 423, прим.). Явная односторонность сужденій и критики, недостатокъ безпристрастія—значительно ослабляютъ безспорныя положительныя достоинства обширнаго труда Леруа-Болье. Отдѣльныя части этой книги были напечатаны въ „Revue des deux Mondes“ 1888 и 1889 годовъ, и тогда уже обратили на себя вниманіе читателей.

II.

Education et hérédité. Étude sociologique, par M. Guyau. Paris, 1889. Стр. XIV и 304. Ц. 5 фр.

Вторая посмертная книга Гюйо—о воспитаніи и наслѣдственности—столь же интересна и поучительна, какъ и первая—объ искусствѣ. Обѣ эти книги имѣютъ характеръ „соціологическихъ этюдовъ“ въ томъ смыслѣ, что затрогиваемые въ нихъ вопросы обсуждаются съ самой широкой общественно-научной точки зрѣнія, въ непосредственной связи съ интересами и условіями человѣческаго прогресса. Живое и ясное изложеніе, оригинальность и свѣжесть мысли, богатство литературныхъ и фактическихъ свѣденій, образный, поэтический языкъ и, наконецъ, общая бодрость всего міросозерцанія, — все это дѣлаетъ труды Гюйо привлекательными даже для тѣхъ, кто не раздѣляетъ его мнѣній и выводовъ. Еслибы мы пожелали однимъ словомъ опредѣлить литературную фізіономію Гюйо, мы прежде всего должны бы были назвать его писателемъ въ высшей степени симпатичнымъ. Какой-то сердечный, искренній тонъ проникаетъ собою всѣ его разсужденія и изслѣдованія, и это соединеніе задушевности тона съ научною серьезностью содержанія составляетъ характеристическую особенность трудовъ Гюйо.


Между прочимъ, Гюйо пытается примѣнить къ теоріи воспитанія новѣйшія данныя о гипнотизмѣ и гипнотическомъ внушеніи; онъ полагаетъ, что посредствомъ внушенія можно весьма существеннымъ образомъ вліять на нравственные инстинкты, подавляя одни и вызывая или поддерживая другіе. Достаточно повторять дѣтямъ или давать имъ чувствовать, что въ нихъ предполагаются такіа-то хорошія качества и стремленія, — чтобы они дѣйствительно старались развить въ себѣ и обнаруживать приписанныя имъ свойства. Приписывать дѣтямъ дурныя побужденія, дѣлать имъ частые упреки и обращаться съ ними строго, — значитъ заставлять ихъ дѣйствительно быть дур-

ными. То же самое наблюдается относительно взрослых: объявлять преступникомъ челоѣка, сбившагося съ пути, значитъ толкать его на дорогу преступленій. Поднять кого-нибудь въ обществѣ уваженіи и въ его собственныхъ глазахъ — это лучшее средство вызвать въ немъ дѣйствительный нравственный подъемъ. Когда молодой увлекающійся адвокатъ сочувственно подаетъ руку подсудимому, обвиняемому въ десяткахъ кражъ, онъ этимъ производитъ на него неизгладимое ободряющее впечатлѣніе. Уваженіе, выказываемое челоѣку, есть одна изъ сильнѣйшихъ формъ внушенія. „Въ воспитаніи—говоритъ Гюйо—нужно всегда держаться этого правила—предполагать хорошія качества и добрую волю. Гласное указаніе на недостатки ребенка тотчасъ же играетъ роль внушенія: „Это злой мальчикъ, лѣнивый, — онъ не сдѣлаетъ того или другого“. Сколько пороковъ посяно и развито такимъ способомъ, безъ наслѣдственныхъ предрасположеній, одною неумѣlostью воспитателей! Порицая ребенка за дурной поступокъ, никогда не слѣдуетъ истолковывать его дѣйствія въ худшемъ смыслѣ. Ребенокъ дѣйствуетъ вообще не настолько сознательно, чтобы имѣть положительно обдуманнаго намѣренія; приписывая ему такіа сознательныя рѣшенія, мы не только ошибаемся, но способствуемъ ихъ развитію. Предполагать порокъ—значитъ часто создавать его. Нужно сказать провинившемуся: „ты, конечно, не хотѣлъ сдѣлать этого, а между тѣмъ твой поступокъ ведетъ къ такимъ-то послѣдствіямъ, и вотъ какъ могутъ взглянуть на дѣло люди, не знающіе тебя“. Разумное и систематическое внушеніе нравственныхъ мотивовъ и качествъ должно парализовать и измѣнять вліяніе наслѣдственности. Вся теорія воспитанія заключается, по Гюйо, въ этой системѣ внушеній, которую авторъ подтверждаетъ многими любопытными фактами и остроумнымъ психологическимъ анализомъ. Само общество есть не что иное какъ сложная сѣть взаимныхъ психическихъ воздѣйствій, т.-е. внушеній; чувство общности должно быть наибольше возбуждаемо и развиваемо съ дѣтства, такъ какъ первая и главнѣйшая наша профессія—положеніе челоѣка, живущаго среди людей. Наклонность къ скрытому недовольству, къ раздраженію и ссорамъ легко переходитъ въ привычку и придаетъ характеру непріятныя черты, если не противодѣйствовать этому съ малыхъ лѣтъ. Недостатокъ общаго чувства, по мнѣнію Гюйо, лежитъ въ основѣ всѣхъ дурныхъ качествъ и привычекъ; общительность есть первое условіе правильнаго нравственнаго развитія. Извѣстная степень замкнутости и неуживчивости свойственна всѣмъ сумасшедшимъ; всегдашнимъ признакомъ умственнаго расстройства является преувеличенное сознаніе своего „я“ и чрезмѣрная забота о себѣ самомъ. „Отъ крайняго тщеславія—часто одинъ шагъ къ сумасшествію;

а тщеславіе, гордость, этотъ первый изъ основныхъ грѣховъ, составляетъ видъ неуживчиваго эгоизма. У кого достаточно развиты альтруистическія чувства, тотъ оцѣниваетъ по достоинству чужія заслуги и находитъ, такимъ образомъ, противовѣсъ сознанию своихъ личныхъ преимуществъ".

Объясняя происхожденіе нравственнаго инстинкта, Гюйо подробно анализируетъ вліяніе наслѣдственныхъ и искусственно создаваемыхъ привычекъ, и признаетъ великое значеніе нравственныхъ идей, какъ положительныхъ силъ, побуждающихъ насъ къ практическимъ дѣйствіямъ и опредѣляющихъ наши цѣли и стремленія. Авторъ вполне принимаетъ теорію „идей-силъ“ („*idées-forces*“), выработанную Альфредомъ Фулье, и дополняетъ ее новыми аргументами, въ примѣненіи къ задачамъ воспитанія.

Въ дальнѣйшихъ частяхъ книги говорится о физическомъ воспитаніи, о системахъ и приѣмахъ обученія, о переутомленіи физическомъ и умственномъ, о цѣляхъ и способахъ умственнаго воспитанія, о школахъ и школьномъ преподаваніи, о среднемъ и высшемъ образованіи, о воспитаніи дѣвушекъ, о ходѣ умственной и нравственной эволюціи человѣческихъ обществъ. Уже изъ этого перечисленія можно видѣть, сколько важныхъ темъ и вопросовъ затронуто въ сочиненіи Гюйо. Отлагая разборъ этого интереснаго матеріала до болѣе обстоятельной оцѣнки всѣхъ вообще работъ Гюйо (или по крайней мѣрѣ главныхъ изъ нихъ), мы пока ограничимся этимъ краткимъ указаніемъ. Между прочимъ, въ главѣ о школьномъ преподаваніи авторъ дѣлаетъ много выписокъ изъ наблюденій и размышленій графа Льва Толстого въ его „Ясной Полянѣ“, снабжая ихъ своими комментаріями и возраженіями.—Л. С.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го февраля 1890.

Петербургское губернское земское собраніе восемь лѣтъ тому назадъ и теперь; что въ немъ перемѣнилось, что осталось по прежнему; слабыя и сильныя стороны собранія.—Радикальное разногласіе по самому простому вопросу.—Съ больной головы на здоровую.

Восемь лѣтъ тому назадъ, одно изъ обзорѣній нашего журнала ¹⁾ было посвящено характеристикѣ петербургскаго губернскаго земскаго собранія. Это былъ одинъ изъ тѣхъ періодовъ, когда усиленно бьется пульсъ земской жизни, когда передъ земствомъ открываются широкія задачи и еще болѣе широкія перспективы. Движеніе, вызванное эпохой „новыхъ вѣяній“ и получившее опредѣленную почву въ извѣстномъ декабрьскомъ циркулярѣ гр. Лорисъ-Меликова, не было остановлено послѣдовавшей за ней эпохой „народной политики“. Только-что разошлись „земскіе свѣдущіе люди“—и разошлись, повидимому, лишь для того, чтобы скоро собраться вновь, въ новомъ составѣ и на новыхъ основаніяхъ. Губернскія земскія собранія почти вездѣ обсуждали планы реформы мѣстнаго управленія, присоединяя къ этому основному вопросу множество другихъ, связанныхъ съ нимъ болѣе или менѣе тѣсною связью. Не отставало отъ другихъ и петербургское губернское земство. Сессія его продолжалась необыкновенно долго (съ 12-го января по 10-е февраля, съ пятидневнымъ перерывомъ) и отличалась необыкновеннымъ оживленіемъ. Цѣлая недѣля была употреблена на разсмотрѣніе обширнаго доклада коммисіи о пользахъ и нуждахъ губерніи. Собраніе высказалось за всеобщую волость, за отміну тѣлесныхъ наказаній, за новый способъ обсужденія законодательныхъ вопросовъ. Совершенно инымъ характеромъ отличалось собраніе нынѣшняго года—и это не могло быть иначе, потому что на земской дѣятельности, какъ и на всякой другой, неизбѣжно отражаются господствующія теченія данной минуты. Отсюда не слѣдуетъ еще, однако, чтобы только-что закончившаяся сессія не представляла никакого интереса. Чтобы составить себѣ правильное понятіе объ учрежденіи, нужно изучить его при самыхъ различныхъ условіяхъ, въ самые различные моменты

¹⁾ См. „Вѣстникъ Европы“ 1882 г., № 3.

его существованія. Весьма важно знать, на что оно способно при высшемъ напряженіи всѣхъ своихъ силъ—но любопытны и тѣ наблюденія, которыя относятся къ будничной его жизни.

Въ 1882 г. намъ приходилось жаловаться на абсентеизмъ большинства губернскихъ гласныхъ. Среднее число наличныхъ гласныхъ не превышало 32 (изъ 67); засѣданія часто начинались позже или заканчивались раньше назначеннаго часа, потому что цифра присутствующихъ не достигала законной нормы ¹⁾. Въ нынѣшнемъ году мы видѣли совсѣмъ другое. Значительно большая часть гласныхъ посѣщала собраніе весьма аккуратно; число наличныхъ гласныхъ ни разу не опускалось ниже сорока, чаще подходи къ пятидесяти или даже превышая эту цифру; ни разу не приходилось поджидать запоздавшихъ гласныхъ или закрывать собраніе вслѣдствіе отсутствія комплекта. Чѣмъ объяснить такую разницу? Кратковременностью настоящей сессіи, продолжавшейся только семь дней? Нѣтъ; въ 1882 г. засѣданія уже съ самаго начала, когда не могло еще быть рѣчи объ утомленіи гласныхъ, посѣщались слабо. Тѣмъ ли, что въ 1882 г. не происходили выборы въ губернскую управу и на другія должности, замѣщаемыя губернскимъ земскимъ собраніемъ, а въ нынѣшнемъ году—происходили? Также нѣтъ; всѣмъ было извѣстно, что выборы состоятся въ самомъ концѣ сессіи, а исправно посѣщалось собраніе съ самаго начала. На второй день производства выборовъ гласныхъ было на-лицо даже нѣсколько меньше, чѣмъ въ первые дни сессіи. Остается предположить только одно: интересъ къ земскому дѣлу, въ петербургской губерніи (едва-ли составляющей, въ этомъ отношеніи, исключеніе изъ общаго правила), распространенъ теперь больше, чѣмъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Быть можетъ, этому способствуетъ сравнительное оскуднѣніе общественной жизни, заставляющее больше дорожить тѣмъ немногимъ, чего оно еще не коснулось; быть можетъ, также, что привязанность къ благу растетъ параллельно съ опасностью его лишиться. Все глубже и глубже, очевидно, пускаетъ корни сознаніе пользы, приносимой земскою работою; все больше и больше выясняются задачи, поставленныя на очередь земствомъ и отъ него же ожидающія разрѣшенія. Чѣмъ важнѣе эти задачи, тѣмъ тяжелѣе отвѣтственность, лежащая на земскихъ дѣтеляхъ. Одними она понимается ясно, другими—смутно, но въ той или иной мѣрѣ чувствуется всѣми. Уменьшить

¹⁾ Для дѣйствительности постановленій собранія необходимо участіе, по меньшей мѣрѣ, одной трети гласныхъ. Въ петербургскомъ губернскомъ земскомъ собраніи эта минимальная цифра равна 23.

ее или уничтожить могло бы только измѣненіе условій земской дѣятельности. Теперь земскія собранія постановляютъ *рѣшенія*, дѣятельность которыхъ зависитъ только отъ ихъ законности; исполненіе рѣшеній возлагается на избранниковъ земства, имъ самимъ направляемыхъ и руководимыхъ. Другое дѣло, еслибы земскимъ собраніямъ предоставлено было только высказывать *мнѣнія*, заимствующія свою силу отъ посторонней апробаціи и осуществляемыхъ лицами, призванными къ тому не земствомъ. Для земскихъ собраній, заключенныхъ въ такой кругъ дѣйствій (если только здѣсь можетъ еще быть рѣчь о *дѣйстви*), пришлось бы, по всей вѣроятности, значительно понизить минимальное число гласныхъ, необходимое для открытія и продолженія засѣданій.

Кромѣ болѣе аккurateности гласныхъ, мы замѣтили еще одну переимѣну къ лучшему въ собраніи. Петербургское губернское земское собраніе состоитъ (не считая представителей казны и удѣла) изъ 65 гласныхъ: 25—отъ города Петербурга, 40—отъ восьми уѣздовъ губерніи. Восемь лѣтъ тому назадъ гласные отъ Петербурга отличались, говоря вообще (исключенія, конечно, были), большимъ равнодушіемъ къ земскому дѣлу. Нѣкоторые изъ представителей столицы никогда не бывали въ засѣданіяхъ собранія; почти никто изъ нихъ не участвовалъ въ комиссіяхъ и совѣтахъ, требующихъ болѣе или менѣе усиленной работы. Въ разрѣшеніи самаго важнаго вопроса всей сессіи (засѣданіе 29-го января) участвовало 33 гласныхъ; гласныхъ отъ Петербурга между ними было не болѣе *шести*. Горячо принимали къ сердцу петербургскіе гласные только одно—раскладку губернскаго земскаго сбора, т.-е. распредѣленіе его между уѣздами и столицей. Имъ казалось ужасно несправедливымъ, что на долю столицы упадетъ болѣе трехъ четвертей всего сбора (97 тысячъ рублей изъ 128), хотя это и зависѣло отъ отношенія цѣнности облагаемыхъ имуществъ въ Петербургѣ къ цѣнности ихъ во всей остальной губерніи. Не возражая противъ основаній оцѣнки, не утверждая, чтобы она была чрезмѣрно повышена для столицы или чрезмѣрно понижена для уѣздовъ, многіе изъ столичныхъ гласныхъ возставали противъ излишняго обремененія Петербурга и требовали для столицы, по меньшей мѣрѣ, такого числа представителей въ губернскомъ земскомъ собраніи, которое соотвѣтствовало бы уплачиваемой ею долѣ губернскаго земскаго сбора. По выраженію одного изъ нихъ, расходы, производимые губернскимъ земствомъ, почти вовсе не касаются *столичной территоріи* и, слѣдовательно, должны быть признаны бесполезными для столицы. Теперь подобныхъ жалобъ и домогательствъ больше не слышно, хотя распредѣленіе зем-

скаго сбора между столицей и уѣздами осталось прежнее; изъ 144 тысячъ Петербургъ платитъ 110, т.-е. тѣ же 76%. Вопросъ земскаго представительства не разсматривается уже больше столичными гласными съ чисто-арифметической точки зрѣнія; они понимаютъ тѣсную связь „столичной территоріи“ съ уѣздными, понимаютъ солидарность интересовъ, въ силу которой улучшеніе земскаго дѣла въ уѣздахъ не можетъ быть безразлично для столицы. И въ самомъ собраніи, и въ комиссіяхъ участіе столичныхъ гласныхъ гораздо болѣе замѣтно, чѣмъ прежде.

Сравнимъ теперь смѣты губернскихъ земскихъ расходовъ того трехлѣтія (1880—82 г.), которое служитъ для насъ исходной точкой, съ смѣтой тѣхъ же расходовъ на текущій 1890 г. Разница итоговъ не слишкомъ велика; въ 1880—82 г. общая цифра расходовъ колебалась между 151.963 и 152.692 руб.; въ 1890 г. она составляетъ 170.572 рубля ¹⁾. Въ отдѣлѣ обязательныхъ расходовъ возросли только двѣ статьи: одна—совершенно независящая отъ земства (выдача пособій семействамъ нижнихъ чиновъ, убитыхъ и умершихъ отъ ранъ въ послѣднюю войну съ турками), другая—увеличивающаяся вслѣдствіе естественнаго повышенія цѣнъ на работу и на матеріалы (содержаніе и ремонтъ губернскихъ земскихъ дорогъ). Изъ числа необязательныхъ расходовъ совершенно исчезла (уже съ 1886 г.) ассигновка на постепенное шоссированіе губернскихъ дорогъ; зато значительно возросли расходы на народное образованіе и на врачебную часть, а также появился новый расходъ—на статистическое описаніе губерніи. Прежде на врачебное дѣло тратилось—въ тѣ годы, когда не было сильно распространенныхъ эпидемій—отъ 8 до 9 тысячъ рублей; теперь, вслѣдствіе увеличенія числа призрѣваемыхъ душевно-больныхъ, а также вслѣдствіе организаціи губернской санитарной части, нормальный расходъ по этой статьѣ составляетъ болѣе 15 тысячъ рублей. Увеличеніе расходовъ на народное образованіе (съ 30 до 42 тысячъ) зависитъ болѣе всего отъ переустройства учительской школы, которая, со времени прибавки къ ней третьяго класса, гораздо лучше отвѣчаетъ потребностямъ губерніи. Статистическое описаніе губерніи стоило, въ продолженіе восьми лѣтъ, около восьмидесяти тысячъ рублей; остается затратить на него еще тысячъ 15—и оно будетъ приведено къ концу, создавъ прочный фундаментъ для экономической дѣятельности земства какъ въ губерніи, такъ и въ уѣздахъ. Въ губернскомъ земствѣ эта дѣя-

¹⁾ Изъ этой суммы 26.352 руб. покрываются разными доходами, а разверстѣ подлежатъ 144.220 рублей.

тельность была развита до сихъ поръ, довольно слабо; она ограничивалась почти исключительно ассигновкой суммъ на осушеніе болотъ, открытіемъ кредитовъ на покупку пожарныхъ трубъ и организаціей добровольнаго страхованія отъ огня и отъ эпизоотій. Поручивъ губернской управѣ, совмѣстно съ особой комиссіей, выработать цѣлый рядъ мѣръ къ поднятію матеріальнаго благосостоянія губерніи, петербургское земство примкнуло къ движенію, характеризующему собою новѣйшій періодъ земской жизни ¹⁾. Инициатива этого движенія принадлежитъ не петербургскому земству, никогда не отличавшемуся творческою силой. Въ организаціи земско-статистическихъ изслѣдованій, въ устройствѣ санитарнаго дѣла наше губернское собраніе точно такъ же шло позади московскаго (и нѣкоторыхъ другихъ), какъ и въ заботливости объ экономическомъ положеніи населенія; но умѣнье и готовность во-время слѣдовать благимъ примѣрамъ также имѣетъ свою несомнѣнную цѣну—и въ этомъ умѣньѣ, въ этой готовности нельзя отказать петербургскому земству.

Въ преніяхъ петербургскаго губернскаго собранія замѣтны до сихъ поръ, хотя и въ нѣсколько меньшей степени, нѣкоторыя черты, указанныя нами восемь лѣтъ тому назадъ. „Степень вниманія, посвящаемаго собраніемъ каждому изъ очередныхъ вопросовъ,—говорили мы тогда,—не всегда соотвѣтствуетъ степени ихъ важности. Есть излюбленные предметы, ежегодно обсуждаемые съ большою подробностью; есть предметы, почти не возбуждающіе преній, несмотря на значительность обусловливаемаго ими расхода. Къ числу послѣднихъ принадлежитъ, напримѣръ, дорожная часть, къ числу первыхъ—земская учительская школа“. Ту же самую неравномѣрность или несоразмѣрность можно было наблюдать и во время только-что окончившейся сессіи. Объясняется это въ особенности тѣмъ, что элементъ чисто практическій занимаетъ въ губернскомъ земствѣ гораздо меньше мѣста, чѣмъ въ уѣздныхъ. Въ уѣздныхъ собраніяхъ говорятъ болѣею частью только тѣ, которые имѣютъ что сказать по существу вопроса—и только тѣ, что къ нему относится. Отсюда краткость и дѣловитость рѣчей, которыхъ, собственно говоря, почти нельзя и называть рѣчами; это скорѣе разговоръ, прямо идущій къ цѣли, т. е. къ разрѣшенію вопроса. Многоглаголанію о формальной сторонѣ дѣла мѣшаетъ, въ уѣздныхъ собраніяхъ, уже присутствіе гласныхъ отъ крестьянъ, интересующихся только тѣмъ, что просто, ясно и понятно. Въ губернскомъ земскомъ собраніи также не принято произносить длинныя рѣчи; но замѣчанія гласныхъ гораздо чаще сколь-

¹⁾ См. выше, Внутреннее Обзоріе.

зять здѣсь по поверхности дѣла, останавливаясь на редакціи предложенія, на способѣ обсужденія его, на несущественныхъ его подробностяхъ. Разсмотрѣнію собранія подлежалъ, между прочимъ, проектъ обязательнаго постановленія, по которому скотъ, пригоняемый въ Петербургъ, долженъ быть помѣщаемъ, если онъ не направляется прямо на скотобойню, не на частныхъ дворахъ, а на городскомъ сѣнномъ дворѣ, только-что устроенномъ городской думой (въ видахъ лучшаго надзора за скотомъ и предупрежденія заразныхъ болѣзней). Пѣлесообразность этого постановленія никѣмъ не оспаривалась, но возникли продолжительные споры о его формулировкѣ, а также о томъ, не слѣдуетъ ли передать его на предварительное разсмотрѣніе городской думы. Принятіе этого послѣдняго мнѣнія замедлило бы на цѣлый годъ осуществленіе мѣры, во всѣхъ отношеніяхъ выгодной для города и принимаемой согласно съ его желаніемъ; тѣмъ не менѣе оно нашло защитниковъ между гласными, отправлявшимися, очевидно, отъ того формальнаго взгляда, что постановленіе, касающееся города, не можетъ быть утверждено безъ выслушанія городского общественнаго управленія. Другой примѣръ: послѣ переговоровъ, продолжавшихся нѣсколько лѣтъ, состоялось, наконецъ, соглашеніе между губернской земской управой и тремя уѣздными о соединеніи пограничныхъ мѣстностей трехъ уѣздовъ въ одинъ врачебный участокъ, содержащій на общій счетъ губерніи, заинтересованныхъ уѣздныхъ земствъ и мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ. Польза такихъ смѣшанныхъ участковъ очевидна; въ другихъ губерніяхъ, на примѣръ—московской, они существуютъ уже давно. Въ нашей губерніи это былъ первый опытъ, и можно было только пожелать ему полнаго успѣха. Къ сожалѣнію, одно изъ уѣздныхъ собраній ассигновало на содержаніе участка сумму нѣсколько меньшую, чѣмъ слѣдовало по разсчету. Отсюда длиннѣйшія пренія въ губернскомъ собраніи. Одни гласные предлагаютъ выждать, пополнить ли слишкомъ экономный уѣздъ свою ассигновку; другіе говорятъ о какомъ-то посягательствѣ губернскаго земства на права уѣзда; третьи высказываются за принятіе всѣхъ расходовъ по содержанію участка (кромѣ тѣхъ, которые упадаютъ на крестьянъ) на счетъ губернскаго земства. Затѣмъ возникаетъ вопросъ, не будетъ ли у смѣшаннаго врачебнаго участка нѣсколькихъ хозяевъ, не окажется ли завѣдующій имъ врачъ подъ перекрестнымъ огнемъ предписаній, идущихъ изъ четырехъ различныхъ источниковъ. Напрасно указываютъ сомнѣвающимся, что по смыслу соглашенія единственнымъ хозяиномъ дѣла является губернская управа; они сдаются не сразу, и на объясненія по этому предмету уходитъ опять-таки не мало времени. Оканчивается дѣло, ко-

нечно, утвержденіемъ соглашенія. Не менѣе продолжительны были пренія о повѣркѣ выборовъ, объ ассигнованіи или не-ассигнованіи губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію двухъ тысячъ рублей на ремонтъ мебели и устройство архива. Съ чрезвычайною быстротою, наоборотъ, были утверждены почти всѣ смѣтные предположенія, а также доклады выбранныхъ собраніемъ комиссій. Одной изъ этихъ комиссій было поручено разсмотрѣніе протестовъ губернатора на уѣздныя смѣты и раскладки, другой—разсмотрѣніе жалобы частнаго лица на неправильныя дѣйствія предсѣдателя одной изъ уѣздныхъ управъ. Первая комиссія работала три часа; ея предложенія утверждены въ три минуты. Вторая комиссія, избранная еще прошлагоднимъ собраніемъ, собиралась нѣсколько разъ въ теченіе года и имѣла продолжительное засѣданіе во время самой сессіи; ея заключеніе принято безъ всякихъ преній. Мы не ставимъ этого въ вину собранію; мы очень хорошо знаемъ, что хорошая разработка вопроса въ комиссіи значительно облегчаетъ окончательное его рѣшеніе—но все-таки нельзя не сказать, что при другомъ, менѣе техническомъ, менѣе дѣловомъ характерѣ докладовъ они не прошли бы въ собраніи такъ быстро и гладко. Особенно легко возникаютъ и особенно долго затягиваются пренія именно тогда, когда участіе въ нихъ возможно безъ тщательной подготовки, безъ основательнаго изученія предмета. И это вполне понятно: на подготовку, на изученіе нужно время, а для возбужденія спора о томъ, куда направить дѣло—въ управу или въ особую комиссію,—достаточно привычки говорить передъ болѣе или менѣе многочисленнымъ собраніемъ. Неудивительно, что споромъ этого рода было встрѣчено даже предложеніе приступить къ разработкѣ мѣръ, направленныхъ къ поднятію матеріальнаго благосостоянія губерніи.

Совершенно ошибочно, однако, было бы думать, что пренія петербургскаго губернскаго земскаго собранія никогда не выходятъ изъ этого закодированнаго круга. Напротивъ того, не было ни одного засѣданія, въ которомъ не происходилъ бы живой и серьезный обмѣнъ мыслей по существенно-важнымъ вопросамъ земскаго хозяйства. Это не можетъ быть иначе уже потому, что въ составъ собранія входятъ многіе изъ числа земскихъ дѣятелей, занимающихъ или занимавшихъ мѣста предсѣдателей и членовъ земскихъ управъ, непремѣнныхъ членовъ крестьянскихъ присутствій, предводителей дворянства, мировыхъ судей. Хорошо знакомые, болѣею частью, съ положеніемъ и потребностями своей мѣстности, они легко могутъ составить себѣ понятіе объ общихъ нуждахъ губерніи. Земское дѣло, во всѣхъ его видахъ и формахъ—для нихъ именно *дѣло*, и притомъ дѣло близкое и род-

ное. Точно также относятся къ нему и многіе изъ гласныхъ—какъ уѣздныхъ, такъ и столичныхъ,—не принимающихъ и не принимавшихъ непосредственнаго участія въ земскомъ управленіи. Одного въ особенности занимаетъ все касающееся народнаго образованія, другого—врачебная часть, третьяго—земская статистика. Когда съ знаніемъ вопроса соединяется горячее отношеніе къ нему, интереснымъ становится самый сухой матеріалъ, краснорѣчіе приобрѣтаютъ даже цифры; вниманіе собранія поддерживается безъ труда во все время преній, какъ бы они ни были продолжительны. Укажемъ, для примѣра, на рѣчь предсѣдателя одной изъ уѣздныхъ управъ, отстаивавшаго обязательное страхованіе по особой оцѣнкѣ¹⁾. Нельзя упрекнуть собраніе и въ слишкомъ консервативномъ отношеніи къ однажды принятому рѣшенію. Въ практикѣ петербургскаго губернскаго земства долго господствовалъ принципъ, что въ школьномъ дѣлѣ оно должно заботиться только о подготовкѣ народныхъ учителей и развѣ еще о развитіи двухклассныхъ училищъ, какъ высшей степени начального обученія; все остальное должно входить всецѣло въ область дѣйствій уѣздныхъ земствъ. Допускались исключенія изъ этого правила, но рѣдко и неохотно. Три года тому назадъ однимъ изъ гласныхъ внесено было предложеніе объ оказаніи со стороны губернскаго земства содѣйствія уѣзднымъ земствамъ къ учрежденію новыхъ и улучшенію существующихъ школьныхъ библіотекъ. Противъ этого предложенія высказалась, годъ спустя, губернская управа, находя его несовмѣстнымъ съ вышеупомянутой системой,—и собраніе согласилось съ мнѣніемъ управы. Въ продолженіе нынѣшней сессіи тотъ же вопросъ возникъ вновь, вслѣдствіе ходатайства одного изъ уѣздныхъ земствъ. Это земство, сравнительно-бѣдное, постоянно увеличиваетъ число и улучшаетъ положеніе своихъ земскихъ школъ. Осенью прошлаго года оно еще разъ сдѣлало значительную прибавку къ школьному бюджету, назначивъ, между прочимъ, болѣе 200 руб. на улучшеніе школьныхъ библіотекъ; но такъ какъ эта сумма недостаточна для достиженія цѣли, а поднять ее не позволяли другіе расходы, то уѣздное земское собраніе обратилось въ губернское съ просьбой ассигновать на тотъ же предметъ добавочные сто рублей. Губернская управа, оставаясь на почвѣ прѣжняго рѣшенія, предложила отклонить ходатайство уѣзднаго земства; но собраніе, на этотъ разъ, пришло (по большинству голосовъ) къ другому заключенію. Оно признало, что распространеніе и улучшеніе школьныхъ библи-

¹⁾ Ревизіонная коммиссія высказалась, въ своемъ докладѣ, за сохраненіе обязательнаго страхованія только по нормальной, т. е. низшей оцѣнкѣ.

такъ имѣть въ высшей степени важное значеніе не только для учащихся, но и для учившихся, какъ одно изъ лучшихъ средствъ противъ рецидива безграмотности, да и вообще для населенія, все чаще и чаще пользующагося школьными книгами. Чѣмъ больше заботится объ этомъ дѣлѣ уѣздное земство, тѣмъ больше оно имѣетъ правъ на поддержку губернскаго земства, и совершенно несправедливо было бы отказывать въ ней изъ-за „системы“, вовсе не имѣющей абсолютнаго значенія. Замѣтимъ, по этому поводу, что участіе въ устройствѣ народныхъ библиотекъ (школьная библиотека—только разновидность народной) рѣшилось принять, почти въ одно время съ петербургскимъ, и саратовское губернское земское собраніе.

„Признаковъ времени“, въ специфическомъ, нѣмѣнномъ смыслѣ этого слова, послѣдняя сессія петербургскаго губернскаго земскаго собранія представляла весьма мало. Только одинъ изъ шестидесяти-семи гласныхъ завелъ однажды рѣчь о развращенности народа, о неудовлетворительности земскихъ школъ, о предстоящей и желательной передачѣ начальнаго обученія исключительно въ руки духовенства; но онъ ни въ комъ, рѣшительно ни въ комъ не встрѣтилъ сочувствія и поддержки. Какая бы судьба ни постигла земскія учрежденія, о петербургскомъ земствѣ, какъ и о всѣхъ другихъ, можно будетъ сказать, что оно трудилося до конца, не впадая въ малодушное уныніе, не приспособляясь къ обстоятельствамъ и не выпуская изъ рукъ ввѣреннаго ему дѣла.

Какъ различно отражаются въ различныхъ умахъ одни и тѣ же факты, даже самые ясные и простые! Въ одной изъ волостей бобровскаго уѣзда (воронежской губерніи) волостной сходъ постановилъ ходатайствовать передъ уѣзднымъ крестьянскимъ присутствіемъ о разложеніи волостного сбора, взымавшагося до тѣхъ поръ по душамъ, на земли, и притомъ не только общественно-крестьянскія, но и частновладѣльческія. Основаніемъ къ ходатайству было выставлено то обстоятельство, что землевладѣльцы, не участвуя въ платежѣ волостныхъ сборовъ, пользуются, во многихъ случаяхъ, услугами волостного управленія. Съ формальной точки зрѣнія постановленіе волостного схода представляется, очевидно, незаконнымъ, и никто не удивляется тому, что оно было отмѣнено уѣзднымъ крестьянскимъ присутствіемъ. Разногласіе возникаетъ только по вопросу о томъ, въ такой степени оно соответствуетъ *справедливости*. Корреспондентъ „Московскихъ Вѣдомостей“ видитъ въ ходатайствѣ крестьянъ одинъ только „сумбуръ“ и иронически отзывается о его мотивахъ; рѣшитель-

ность крестьянъ довести дѣло до сената кажется ему доказательствомъ тому, что они „могутъ, хоть сейчасъ, явиться представителями лѣвой стороны или центра“ (!). Корреспондентъ „Русскихъ Вѣдомостей“ находитъ, наоборотъ, что волостной сборъ является, въ сущности, чисто земскимъ налогомъ. Волостной старшина и писарь производятъ полицейскія дознанія, преслѣдуютъ воровъ и преступниковъ; волостной судъ разбираетъ дѣла, возбуждаемыя не только крестьянами, но и лицами другихъ сословій; книги сдѣлокъ и договоровъ, веденіе которыхъ лежитъ на волостныхъ правленіяхъ, бывають переполнены условіями и обязательствами, заключенными между крестьянами и частными землевладѣльцами. Волостная крестьянская администрація выполняетъ цѣлый рядъ функций полицейскаго, распорядительнаго и судебного характера для всѣхъ сословій, а оплачивается одними крестьянами. Логическій выводъ отсюда — необходимость переложить волостной сборъ на всѣ сословія. Которое изъ двухъ противоположныхъ мнѣній ближе къ истинѣ — объ этомъ, думается намъ, не можетъ быть никакого спора. Обращеніе волостного правленія въ присутственное мѣсто, въ низшую административную инстанцію давно уже составляетъ совершившійся, всѣми признанный фактъ — а расходы по содержанію присутственнаго мѣста, входящаго въ общій строй государственныхъ учреждений, ни въ какомъ случаѣ не должны лежать на одной группѣ населенія. Предметомъ ироніи и политическихъ инсинуацій законное (повторяемъ, не въ формальномъ смыслѣ этого слова) желаніе бобровскихъ крестьянъ могло стать только въ наше время, когда газеты извѣстнаго направленія совершенно утратили сознаніе справедливости и чувство мѣры.

Яркимъ подтвержденіемъ тому, что чувства мѣры нѣтъ больше на-лицо въ реакціонной прессѣ, можетъ служить слѣдующая выдержка изъ литературно-критическаго фельетона „Московскихъ Вѣдомостей“. Рѣчь идетъ о „Горѣ отъ ума“, о міросозерцаніи Чацкаго, о болѣе или меньшей близости его къ тому или другому главному теченію русской мысли. „Фамусовы, Молчалины, Скалозубы, — восклицаетъ фельетонистъ, — живы и сейчасъ, только иначе окрашены. Развѣ не Фамусовъ еще такъ недавно произносилъ либеральныя рѣчи въ думахъ и земскихъ собраніяхъ? Развѣ не Молчалинъ пописываетъ теперь *умѣренныя* и *аккуратныя* либеральныя статейки въ газетахъ и журналахъ? Развѣ очень отдалено отъ насъ то время когда полковникъ Скалозубъ только и дѣлалъ, что говорилъ о гуманности и прогрессѣ? Развѣ Репетиловъ и Загорѣцкій... Но что говорить о Репетиловѣ и Загорѣцкомъ? Кому не извѣстно, что вѣдѣ

это они въ продолженіе многихъ лѣтъ производятъ либеральный шумъ. Развѣ графиня-внучка не хлопочетъ о женскомъ образованіи, развѣ княжны Зизи и Мими не озабочены женскимъ вопросомъ? Надо быть очень непроницательнымъ, чтобы не замѣтить, какъ въ новыхъ формахъ проявляется то же старое содержаніе, какъ снова, уже въ либеральной окраскѣ, проявляется та же самая старая житейская пошлость... И еслибы появилось новое *Горе отъ ума*, гдѣ новый Чацкій былъ бы, благодаря условіямъ современной дѣйствительности, поставленъ въ соприкосновеніе съ средой либеральныхъ уже Фамусовыхъ и Молчалиныхъ, то врядъ ли онъ оказался бы столь непроницательнымъ, чтобы не узнать въ этихъ новыхъ лицахъ своихъ старыхъ знакомцевъ. И какъ въ старомъ *Горѣ отъ ума* умъ сталкивается съ посредственностью и пошлостью, такъ и въ новомъ—уму пришлось бы столкнуться съ либеральною посредственностью и либеральною пошлостью... Но либеральная посредственность и пошлость гораздо ехиднѣе и злобнѣе той, старой, посредственности и пошлости. Если старые Фамусовы, Молчалины и Загорѣцкіе ослили Чацкаго всего только сумасшедшимъ, то новые ослили бы его ретроградомъ, обскурантомъ, и подвергли бы его либеральной травлѣ. Примѣры тому у всѣхъ на глазахъ. Кто изъ нашихъ выдающихся людей не подвергался этой либеральной травлѣ? Развѣ не травили въ свое время Тургенева и Достоевскаго, Толстого и Гончарова, Майкова и Фета, Аксакова и Каткова ¹⁾? Это были люди разныхъ мировоззрѣній, но всѣ одинаково люди ума и дарованія, и всѣ они одинаково, среди нашей общественности, разыграли роль Чацкаго, столкнувшись съ либеральною пошлостью и либеральною посредственностью“.

Вотъ уже чтò называется валить съ больной головы на здоровую! Многое можно объяснить и извинить увлеченіемъ полемики—только не провозглашеніе фамусовско-молчалинско-скалозубовскаго наслѣдства всецѣло перешедшимъ въ руки либераловъ. Для этого понадобился особый маневръ, не столько хитрый, сколько претендующій на хитрость. Новой, либеральной посредственности и пошлости противопоставлена *старая* посредственность и пошлость, но безъ соотвѣтствующаго „политическаго“ эпитета. И это совершенно понятно: такимъ эпитетомъ могло бы быть только одно слово—„реакціонная“ или „ретроградная“. Идеалы Фамусова, Молчалина, Скалозуба всѣ лежатъ позади, далеко позади, гораздо дальше „временъ Очаковскихъ и по-

¹⁾ Минимая „травля“ Каткова напоминаетъ намъ извѣстное мѣсто въ одной изъ комедій Островскаго (цитируемъ на память): „Кто васъ обидитъ, Китъ Катичъ, вы сами всякаго обидите“.

„либерализму“! Гончаровъ также ищетъ преемниковъ Чацкаго, но находитъ ихъ не въ Аксаковѣ и Катковѣ, а въ Герценѣ и Бѣлинскомъ. Чацкій, въ его глазахъ—это поклонникъ „идеала свободной жизни“, „сломленный количествомъ старой силы, но нанесшій ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей“. „Чацкій неизбеженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ... Чацкіе повторяются вездѣ, гдѣ длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ... Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго. Кто бы ни были дѣятели, имъ не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: съ одной стороны—совѣтъ *учиться на старшихъ глядя*, съ другой—жажда стремиться впередъ и впередъ, отъ рутинны къ свободной жизни“...

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА.

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ, 1890.

Книга первая. — Январь.

	стр.
Распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ, 15-го декабря 1889 г.	3
Ипполитъ Тэнъ и его значеніе въ исторической наукѣ. — I-XI. — В. И. ГЕРБЕ	5
Стихотворенія. — I. Средневѣковая легенда. — II. Нѣво и море. — III. У моря. — IV. Молитва. — V. Нѣмая вѣжа. — Д. МЕРЕЖКОВСКАГО	66
Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій. — I-VIII. — В. И. ШЕНРОКА	71
На ущербѣ. — Романъ. — Часть первая: I-XI. — П. Д. БОБОРЫКИНА	119
Гривоводъ. — Историческія замѣтки. — А. Н. ПЫПИНА	185
Пѣсни объ уединеніи. — Стих. А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА	225
Наканунъ переворота въ 60-хъ годахъ. — Романъ Маріонъ Крофорда. Часть первая. — I-V. — Съ англ. А. Э.	227
Стихотворенія. — I. Изъ Гейне. — II. На мотивъ вальса: Невозвратное время. — ВЛАД. МАРТОВА	280
Интимная литература. — Journal des Goncourts. — I-III. — ЕВГ. УТИНА	282
Материалы для біографіи М. Е. Салтыкова. — I. — 1826-1856 гг. — К. К. АРСЕНЬЕВА	313
Поэтъ „пошлости“. — Отрывокъ. — АЛЕКСАНДРА ГРАДОВСКАГО	352
Хроника. — Отчетъ государственнаго контроля по росписи на 1888 г. — О.	360
Внутреннее Овозрѣніе. — Главныя итоги истекшаго года.	369
По поводу проекта реформы земскаго овленія. — Письмо въ редакцію. — КН. Н. С. ВОЛКОНСКАГО	375
Иностранное Овозрѣніе. — Политическіе итоги 1889-го года. — Нѣкоторые характерные факты. — Положеніе дѣлъ во Франціи. — Особенности новѣйшаго буланжизма. — Внутренніе и внѣшніе вопросы въ Германіи. — Африканскія экспедиціи. — Австрійскія и балканскія дѣла	403
Государственные конкурсы во Франціи. — Письмо изъ Париза. — М.	421
Литературное Овозрѣніе. — Полное собраніе сочиненій А. С. Грибоедова, подъ ред. И. А. Шляпкина, т. I и II. — Сочиненія А. Скабичевскаго, въ 2-хъ томахъ. — Книга Калила и Димна, перев. съ арабскаго М. О. Аттая и М. В. Рабинина. — А. П. — Киргизы и Каракиргизы Сыръ-Дарьинской области, Н. И. Гродекова. — Киргизы Букеевской орды, А. Харузина. — А. В. — Новыя книги и брошюры	428
Новости иностранной литературы. — Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, par Fustel de Coulanges. — Remarques sur l'exposition de centenaire, par le v-te E. M. Vogué. — Der Boulanger-Schwindel und die Patrioten-Liga, von Bosse	441
Изъ Овещественной хроники. — С. П. Боткинъ, Э. Э. Эйхвальдъ и А. П. Доброславинъ †. — Сессія губернскихъ земскихъ собраній. — Ходатайство орловскаго дворянства. — Газетный походъ противъ присяжной адвокатуры. — „Юридическій Вѣстникъ“ и драмы изъ отечественной исторіи передъ судомъ печати	447
Библиографическій листокъ. — Н. Карвезъ, Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи. Выпускъ I. — Новѣйшіе успѣхи знанія, популярныя очерки Я. В. Абрамова. — Материалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1086—1796), Е. Лихачевой. — Сказка про маленькую рыбку и про великаго человѣка, В. Каренина. — Дѣятельность земства по устройству судо-сберегательныхъ товариществъ, П. А. Соколовскаго.	

Книга вторая. — Февраль.

стр.

Стихотворения.—I-II.—П. КОЗЛОВА	461
Исполнить Тѣнь, и его значеніе въ исторической наукѣ.—XII-XVI.—Окончаніе.—В. И. ГЕРЬЕ	463
На ущербѣ.—Романъ.—Часть первая: XII-XXIV.—П. Д. БОБОРЫКИНА	501
Н. В. Гоголь и А. С. Данилевскій.—VIII-X.—Окончаніе.—В. И. ШЕНРОКА	563
Практическая филантропія въ Англіи.—I. Народный дворецъ.—II. Университетское поселеніе въ Восточномъ Лондонѣ.—ИВ. ЯНЖУЛА	620
Стихотворенія.—Пѣсни любви.—ВЛ. М.	675
На лонѣ природы.—Разсказъ.—I-IX.—В. ДѢДЛОВА	679
Интимная литература.—Journal des Goncourts.—IV-V.—ЕВГ. УТИНА	722
Наканунѣ переворота въ 60-хъ годахъ.—Романъ, соч. Маріонъ Крофорда.—Съ англійскаго.—VI-IX.—А. Э	746
Материалы для биографіи М. Е. Салтыкова.—II.—1856-89 гг.—Окончаніе.—К. К. АРСЕНЬЕВА	782
Хроника.—Государственная роспись на 1890 годъ.—О	825
Внутреннее Овозрѣніе.—Приведеніе въ дѣйствіе положеній 12-го іюля.—Правила 29-го декабря о производствѣ судебныхъ дѣлъ у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей.—Гласность засѣданій и участіе повѣренныхъ.—Повѣрка выборовъ въ земскія собранія.—Нѣсколько словъ по поводу статьи кн. Н. С. Волконскаго.—Земскія новости	836
Восьмой съѣздъ естественныхъ наукъ въ Петербургѣ.—А. П.—ВЪ	859
Иностранное Овозрѣніе.—Особенности избирательнаго движенія въ Германіи.—Парламентскія партіи и правительство.—Засѣданія имперскаго сейма и законъ противъ социалистовъ.—Роль императора Вильгельма II.—Чешскій вопросъ въ Австріи.—Нѣмецко-чешское соглашеніе и внутренніе партійные споры.—Французскія дѣла; мнимый антисемитизмъ буланжистовъ и политическія ихъ превращенія.—Англо-португальскій споръ	865
Литературное Овозрѣніе.—Чтенія въ историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца, кн. 2.—Соловки, д-ра мед. П. О. Федорова.—Сочиненія Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. III.—Сборникъ уральскихъ казачьихъ пѣсень, Н. Г. Макушина.—А. В.—Новыя книги и брошюры	878
Новости иностранной литературы.—L'état moderne et ses fonctions par P. Leroü-Beaulieu.—Education et hérédité, par M. Guizot.—Л. С.	894
Изъ Общественной Хроники.—Петербургское губернское земское собраніе восемь лѣтъ тому назадъ и теперь; что въ немъ перемѣнилось, что осталось попрежнему; слабыя и сильныя стороны собранія.—Радикальное разногласіе по самому простому вопросу.—Съ больной головы да на здоровую	901
Библиографическій Листокъ.—Жизнь и труды М. П. Погодина, Н. Барсукова. Кн. III.—Изъ лекцій заслуженнаго профессора П. Г. Рѣкина по исторіи философіи права въ связи съ исторіею философіи вообще. Т. III.—О свободѣ воли. Опытъ постановки и рѣшенія вопроса. Рефераты и статьи членовъ Психологическаго общества.—Снѣжный король. Сценн изъ тридцатилѣтней войны по Шиллеру, Лодброку и Старбеку. Заимствовалъ съ шведскаго Э. Гранстремъ. Съ рисунками В. Крюкова, М. Михайлова и др.	

•



3 2044 036 312 650



3 2044 036 312 650